



КЛАССИКИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ФИЛОЛОГИИ

---

---

М. В. ПАНОВ

---

---

ТРУДЫ  
ПО ОБЩЕМУ  
ЯЗЫКОЗНАНИЮ  
И РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ТОМ 2

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ







КЛАССИКИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ФИЛОЛОГИИ



---

---

**М. В. ПАНОВ**

---

---

ТРУДЫ  
ПО ОБЩЕМУ  
ЯЗЫКОЗНАНИЮ  
И РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ТОМ 2



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОСКВА 2007

ББК 81.031  
П 16

Издание осуществлено при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(РГНФ)  
проект № 03-04-16133

**Панов М. В.**

П 16 Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2 / Под ред. Е. А. Земской, С. М. Кузьминой. — М.: Языки славянской культуры, 2007. — 848 с. — (Классики отечественной филологии).

ISBN 5-9551-0190-X

В двухтомнике М. В. Панова «Труды по общему языкознанию и русскому языку» собраны работы, отражающие многогранность научной деятельности ученого. Это статьи, а также отрывки из коллективных монографий, руководителем и вдохновителем которых был Михаил Викторович. Многие из публикуемого давно стало библиографической редкостью, например, содержащий глубокие новаторские идеи теоретический проспект монографии «Русский язык и советское общество», опубликованный в 1962 г. в Алма-Ате тиражом 550 экземпляров.

Название разделов в двухтомнике отражает сферу научных интересов М. В. Панова, однако распределение его работ по предлагаемым разделам носит по необходимости условный характер. Так, статья «О частях речи в русском языке» помещена в раздел «Общие вопросы теории» (1-й том), а «О членности слов на морфемы» — в раздел «Морфология и словообразование» (2-й том), хотя обе эти статьи разрабатывают теорию грамматики. Мысль М. В. Панова не укладывается в жесткие рамки любой рубрикации. У него нет чисто описательных работ. Все его работы носят теоретический характер.

**ББК 81.031**

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 5-9551-0190-X

© Е. А. Земская, С. М. Кузьмина, редактурa, 2007  
© Языки славянской культуры, 2007

## Оглавление

Личность.....	9
---------------	---

### IV. Вопросы теории

Языковые антиномии как внутренние стимулы развития языка.....	17
О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX в. ....	23
О развитии русского языка в советском обществе (К постановке проблемы) .....	43
Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики.....	63
Из Проспекта коллективной монографии «Русский язык и советское общество».....	85
Словообразование .....	85
Словоизменение .....	122
Синтаксис.....	144
Фонетика.....	158
Письмо (графика и орфография).....	171
Стилистика.....	176

### V. Морфология и словообразование

Фрагменты из монографии «Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского языка».....	197
Аббревиация .....	197
Степени членимости слова на морфемы .....	203
О членимости слов на морфемы .....	207
О степенях членимости слов .....	218
О переводах на русский язык баллады «Джаббервокки» Л. Кэрролла.....	223
О наложении морфем.....	233
Предсказуемость алломорфа.....	242
О позиционных чередованиях в фонологии и морфонологии.....	250



О «скрытых» грамматических значениях .....	260
О значении вида у глагола .....	265
Об изучении русского словообразования .....	269
Отношение частей речи к слову .....	282
К проблемам грамматики современного русского литературного языка .....	286

## VI. Преподавание русского языка

Лингвистика и методика преподавания русского языка .....	305
Усложнить, чтобы упростить .....	322
Два анализа? Об изучении состава слова в школе .....	329
О способе определения однокоренных слов .....	337
Об изучении русских падежей в национальной школе .....	342
Числительное в новом учебнике .....	359
Типология лексических ошибок, вызванных взаимодействием языковых систем .....	373

## VII. Поэтика

Ритм и метр в русской поэзии .....	387
Ритм и метр в русской поэзии. Статья вторая. Словесный ярус .....	423
Из рассказов о русском стихе. Тактовик .....	446
Рассказы о русском стихе. Пиррихий .....	464
Рассказы о русском стихе. Цезура .....	472
Рассказы о русском стихе. Логаэдический стих .....	485
Сочетание несочетаемого .....	496
Даниил Хармс .....	525
Сценическая речь и театральные системы .....	551
Фонетика поэзии .....	567

## VIII. История отечественного языкознания

О «Российской грамматике» А. А. Барсова .....	587
О преподавании «Истории отечественного языкознания» .....	601
Московская лингвистическая школа: 100 лет .....	615
Из истории изучения русской фонетики .....	647
Из истории отечественного языкознания 20—40-х гг. Н. Ф. Яковлев (1893—1974) .....	707
[Рецензия на кн.:] Ф. Д. Ашин, В. М. Алтаев. «Дело славистов». 30-е годы. М.: Наследие, 1994 .....	715

---

Значение трудов Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново для становления фонологии .....	724
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова .....	730
Д. Н. Ушаков. Жизнь и творчество .....	742
Воспоминания об Алексее Михайловиче Сухотине .....	776
Александр Александрович Реформатский .....	789
Р. И. Аванесов — фонолог .....	802
Фонологические взгляды К. В. Горшковой .....	813
О теории русской интонации Е. А. Брызгуновой .....	818
Список трудов М. В. Панова .....	823
Summary .....	835
Contents .....	836



## Личность

«Человек он был». Эта цитата из «Гамлета» — своего рода пароль, необходимый для того, чтобы войти в мир Панова, адекватно воспринять созданное им как ученым и как литератором.

В науке нет абсолютных авторитетов, любая концепция не только может быть оспорена, но и объективно нуждается в испытании противоположной точкой зрения. «Каждый человек имеет право на несогласие» — любимое изречение Михаила Викторовича.

В литературе, в искусстве в целом нет и быть не может монополии на художественное совершенство — ни у отдельного творца, ни у стиливого направления. «Победитель будет побежден» — так Панов объяснял сущность литературной эволюции в своих лекциях по истории русской поэзии.

Но вечно-незыблемые ценности существуют, и связаны они прежде всего с человеческой природой. Свободное развитие личности — вот идеал, оспорить который невозможно, а практически реализовать в своей жизненной практике удастся очень немногим. Феноменальность Панова — в том, что он непрерывно развивался как личность. В юные годы он задался вопросами, ответы на которые искал и находил до последнего дня. В семьдесят лет он ощутимо отличался от себя шестидесятилетнего, его взгляды изменялись, оценки уточнялись. На восьмом десятке лет он сохранял чувствительность и любопытство к новым научным и философским идеям, к литературно-эстетическим веяниям конца XX столетия. Эта особенность его личности и его многогранной деятельности поистине беспримерна.

Панов любил образные аналогии со световым спектром. Даже системные эпохи в истории русского произношения он обозначил цветами радуги — от «пурпурной» (книжный язык первой половины XVIII века) и «лиловой» (бытовой язык того же периода) до «оранжевой» (речь старшего поколения в XX веке) и «алой» (речь младшего поколения в XX веке). И его личность, его биография, вся совокупность его научных и литературных произведений — это целый спектр, насчитывающий не менее семи ярких цветов (а оттенков, конечно, еще больше).

Эстетик. Поэт. Языковед. Литературовед. Педагог. Организатор научно-исследовательского процесса. Гражданин.

Продолжим разговор в этой последовательности, имея в виду, что базовая, языковедческая составляющая пановского спектра с достаточной полнотой охарактеризована Е. А. Земской и С. М. Кузьминой в предисловии к первому тому настоящего издания.

«Эстетик». Само это слово в наши дни малоупотребительно, поскольку немногие исследователи умеют сосредоточиться на сугубо эстетической сущности изучаемых явлений, не впадая ни в политиканство, ни в спекулятивное философствование, ни в щеголяние новомодными «точными» методами. Панов всегда подходил к литературному тексту с точки зрения его эстетической специфики, ощущая и фактуру материала, и направление творческой трансформации, художнического усилия. Это обуславливало внутреннюю цельность и системность всех эстетических оценок Панова, в которых он был поразительно независим от сложившихся иерархий. Панов обосновал чрезвычайно плодотворную и эвристически ценную категорию *предельности* произведения: если возможности данного материала реализованы художником до предела, то его творение уже не может быть «превзойдено», оно не может быть «хуже» другого произведения, каким бы шедевром то ни являлось. Истинные, «предельные» создания поэтов и прозаиков составляют открытый для продолжения ряд равноправных эстетических ценностей. И это, конечно, относится не только к художественной словесности. Панов всегда проявлял интерес к другим видам искусства, особенно изобразительного. Ему был чужд «литературоцентризм», он признавал за музыкой, театром, кино, живописью самостоятельную специфику, особенный «язык», уже в метафорическом, а не в буквально лингвистическом значении. Так, для живописи языком являются линии и краски, для театра — жесты и зрелищность. Панов с удовольствием вникал в эти языки, увлекался театром Мейерхольда, русским художественным авангардом.

Ярким новатором предстает Панов в своем поэтическом творчестве. В поэзии ему особенно близки были футуристы, и в первую очередь — Велимир Хлебников. Панов не подражал Хлебникову (да это и невозможно в принципе), а воспринял идущий от этого поэта творческий импульс — бесконечной свободы слова и стиха, сочетания отважной сложности с не менее смелой простотой высказывания. Как и Хлебников, Панов писал в основном свободным стихом (верлибром), не стесняя себя строгими размерами и обязательной рифмой. Именно в такой форме нуждался индивидуальный язык поэта. Именно свободный стих стал для него естественным способом формулирования мыслей и выражения чувств.

Вот фрагмент из сложенного Пановым на войне стихотворения «Ночью». Двадцатидвухлетний лейтенант рассказывает об артиллерийских буднях, о книге Блока, которую он постоянно носил с собой, вспоминая знаменитые и

написанные, кстати, верлибром строки «Она пришла с мороза покрасневшая...»:

Натаскиваю, натягиваю шинель, чтобы укрыться с головою.  
Рвет ветер! Ко мне сочатся его ледяные потоки.  
Медленно вырастает звук порывистый и воющий:  
«Мессершмит»? Или может... нет, не «фокке-вульф».  
Думаю о судьбе русского свободного стиха:  
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,  
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыхания,  
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.

Свободный стих не причуда, он вызревает в недрах русского языка, особенно разговорного. Он открывает возможность рассказа честного, доверительного, эмоционально доходчивого. Военные верлибры Панова мгновенно создают эффект читательского присутствия и даже соучастия в событиях. Вместе с тем Панов не чурался и стиха метрического, наращивая мощь интонации преодолением барьеров и плотин строгих форм. Так работает у него сонет, полностью освобожденный от декоративности и условности. Традиционно-пятистопная строчка вдруг становится смысловой вспышкой: «Я мир считал своим. А он — ее» — это из стихов, написанных на смерть матери. Рифма же здесь предстает не профессионально-стихотворческой обязанностью, а будто впервые обретенным способом преодоления дискретности, дробности мира:

Обуза дел отпала; белый шнур  
Сгорел, свистя, — и сухо мрак рванулся.  
Освенцим дня умолк, и Орадур  
Угрюмыми огнями огрызнулся.

А у тебя? Счастливый день очнулся,  
Залит росой? Или безлюдно-хмур  
И тягостен, мрак ночи развернулся  
Тебе горя из черных амбразур?

«Стих — это человеческая речь, переросшая сама себя» — это определение Ю. Н. Тынянова (ученого и писателя, чрезвычайно близкого Панову по научно-эстетическим взглядам) в полной мере относится к поэтическому языку Панова.

Как литературовед Панов выступил непосредственным продолжателем методологической традиции ОПОЯЗа. Ориентация на научный опыт Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, раннего Jakobсона была у него осознанной, а «формальный метод» — точкой отсчета подлинной научности в исследовании литературы. Глубокие теоретические прозрения «формалистов» во многом

опирались на творческую практику русского авангарда. При всей широте своего эстетически-вкусового диапазона именно в новаторской поэзии первой трети XX века находим наиболее благодатный материал для постижения общих законов литературы как таковой и логики ее историко-эволюционного развития.

С Тыняновым, Шкловским и Jakobсоном Панова сближал страстный интерес к Хлебникову, многолетние наблюдения над языком которого отражены в статье «Сочетание несочетаемого». Не меньшую эвристическую значимость для ученого имела «экстремальная» поэтика Хармса. В посвященной легендарному обэриуту статье Панов обозначил перспективные методологические принципы построения научной истории русской поэзии XVIII—XX веков. Пановские мысли о «самодвижении» поэзии во многом перекликаются с тыняновской идеей о том, что литературная преемственность есть прежде всего борьба. При этом для Панова важна еще и самодостаточность художественных явлений, не отменяемая эволюционным процессом: «Каждый мир — самоценное совершенство и вместе с тем — возможность продолжения в новом, ином поэтическом мире».

Панов усвоил и последовательно применил лежащую в основе опоязовской эстетики антитезу «материал — прием». Может быть, такой специфический подход к художественным явлениям в принципе доступен только людям творчески одаренным, какими были лидеры ОПОЯЗа — писатели-ученые, являвшиеся одновременно и «ихтиологами», и «рыбами». Как и они, Панов сочетал четкую научность с глубоким пониманием предмета «изнутри». Исходным для Панова с самого начала было принципиальное положение «формалистов» о том, что «мысль» в искусстве есть «материал». По этой причине он был критически настроен по отношению к структурно-семиотической школе, подменявшей эстетическую сущность искусства «знаковостью», которая для Панова была лишь свойством материала, свойством, присущим и многим нехудожественным явлениям. Не будет преувеличением сказать, что Панов в одиночку пронес научную эстафету опоязовской традиции и передал ее XXI веку — и в своих опубликованных трудах, и в имевших огромный публичный успех лекциях по истории русской поэзии в МГУ.

Особо следует сказать о новаторском вкладе Панова в теорию стиха. Стиховедческий аспект в его трудах был всегда органично включен в общую систему поэтики, отсюда — широкий взгляд на ритмику, охватывающий и ритм образа, и ритм композиционный. Статьи Панова о ритме и метре, его доходчивые «Рассказы о русском стихе» основаны на принципиально новом подходе к предмету. Панов видел в стихе соотношение (а порой и столкновение) *стопной* и *тактовой* организации. С тактовиком (в пановском понимании термина) по-своему граничит и верлибр. Такая типология стиха — это развитие идей тыняновской «Проблемы стихотворного языка». В ее свете яв-

но устаревшим видится противопоставление «классических» и «неклассических» размеров, не очень нужной оказывается громоздкая статистика и процентные данные. В своих обобщениях Панов опирался не на «валовой продукт» поэзии, а на эстетически значимые стиховые закономерности. У такого подхода к стиху большое будущее.

Продолжать дело Панова сегодня — значит преодолевать ведомственные границы между языкознанием и литературоведением, между филологией и литературой, перепрыгивать барьеры между системностью культуры и хаотичной непредсказуемостью живой жизни, между строгим познанием и артистичной игрой. Книга Панова «Позиционная морфология русского языка» оканчивается главами «Окно в лексику» и «Окно в синтаксис». Вся работа Панова — это непрерывное открывание таких новых окон. От факта к обобщению, от уровня к уровню, от позиционного чередования звуков до закономерной смены художественных систем — такова духовная вертикаль, выстроенная ученым. И в стройности этой познавательной системы отражается гармоничность личности филолога и поэта.

Очень личностной, неповторимо-индивидуальной была и общественно-политическая позиция Панова. Он не принадлежал к активным «антисоветчикам» и диссидентам, мог порой критически оценивать шаблонно, нетворчески мыслящих «прогрессистов» («Они просто перешли в другое стадо», — говорил он в таких случаях). Но сама человеческая натура Панова, его научные и эстетические убеждения не могли не вступить в решительное противоречие с советским тоталитаризмом. Андрей Синявский на судебном процессе 1966 года говорил, что у него с советской властью «стилистические разногласия». Для Панова (кстати, написавшего в Кремль письмо в защиту Синявского и Даниэля), разочарование в социалистических идеалах тоже началось со стилистики. Михаил Викторович рассказывал, как его отец, интеллигент с дореволюционным воспитанием, находил в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)» грубейшие речевые ошибки и саркастически их комментировал. А много лет спустя Панов вступил в непримиримый конфликт с чиновными конформистами, для которых властная конъюнктура была важнее и ценнее, чем русский язык и великая русская словесность. Михаил Викторович вспоминал о том, как, защищая своих вольнодумных коллег, разговаривал с академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР М. Б. Храпченко. Тот, будучи циничным, но неглупым чиновником от науки, искренне не мог понять, почему эти наивные языковеды выступили против ввода советских войск в Прагу: «Чего они хотят добиться? Есть армия, есть органы. Лбом стену пытаются прошибить!».

Этот эпизод вспомнился еще и потому, что вскоре вслед за ним последовал уход Панова из академического Института русского языка. Это нанесло



огромный ущерб не только отечественному языкознанию, но и всей филологической науке, всей гуманитарной культуре. Именно Панов, со своей научно-культурной универсальностью, призван был возглавлять Отделение литературы и языка, вдохновлять коллективные научные исследования — как лингвистические, так и литературоведческие. Уверен, что тогда наша наука смогла бы активнее воспользоваться преимуществами перестроечной эпохи, что не произошло бы того понижения общественно-духовного статуса филологии, о котором мы вынуждены сегодня говорить.

А свой индивидуальный жизненный и научно-творческий путь Панов прошел достойно и плодотворно. Он не раз примерял к своей судьбе известный афоризм Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал» (понимая его не в узкорелигиозном, а в широком гуманистическом смысле). Панов был личностью философского масштаба. Это можно сказать отнюдь не о каждом большом ученом и не о каждом талантливом литераторе. Это редчайшее качество, которое не только делает неизменно интересными написанные Пановым книги, статьи и стихи, но и укрепляет в их читателе веру в человека как такового.

1920 — 2001. Даты жизни Михаила Викторовича Панова символичны. Он человек двадцатых годов двадцатого века — с их авангардной мечтательностью, конструктивно-созидательным мышлением, творческим отношением к классической традиции. Вместе с тем он успел перешагнуть рубеж тысячелетий, заглянуть в двадцать первый век, в котором его идеям и его наследию суждена долгая жизнь.

*Вл. Новиков*

**Часть IV**

**ВОПРОСЫ ТЕОРИИ**



## **Языковые антиномии как внутренние стимулы развития языка \***

В языке существует качественно своеобразная борьба противоположностей, которая и определяет его саморазвитие. Эти противоположности можно назвать языковыми антиномиями, так как каждое конкретное разрешение любой из этих противоположностей порождает новые столкновения, новые противоречия в языке (в принципе — того же порядка) и, следовательно, их окончательное разрешение невозможно: они — постоянный стимул внутреннего развития языка. Таким образом, антиномии рассматриваются как противоречия, присущие самому объекту. Но ввиду отмеченной их особенности — разрешение данной конкретно выраженной антиномии в языке данной эпохи не означает ее коренного преодоления — целесообразно эти противоречия выделить среди других диалектических противоречий. Это и достигается обозначением их с помощью слова *антиномия*.

Какие же это антиномии?

1) Антиномия говорящего и слушающего. В интересах говорящего упростить высказывание мысли, в интересах слушателя упростить процесс восприятия высказанного. Эти два устремления часто оказываются конфликтными. Например, аллегровое произношение удобно для говорящего, но для слушателя оно приемлемо лишь в некоторых условиях речевого общения: при возможности переспросить, в обстановке, когда нет сильных звуковых помех, например, шума многолюдного собрания. В интересах говорящего пользоваться всем привычным для него словарем, независимо от его общеупотребительности; слушатель «не принимает» некоторых слишком индивидуальных словоупотреблений. Следовательно, интересы слушателя ограничивают интересы говорящего; развитие языка противоречиво, так как идет то в пользу слушателя, то в пользу говорящего; победа одной из конфликтных сторон впоследствии вызывает компенсацию для другой стороны (на-

---

\* Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка: Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М. В. Панова. М.: Наука, 1968. С. 24—29.

пример, если достигнута бóльшая степень редукции флексий и тем самым удовлетворены интересы говорящего, то грамматикализуется место слова в предложении, чтобы возместить убытки слушателя).

Разумеется, и в интересах слушателя, и в интересах говорящего добиться взаимопонимания; поэтому упрощение высказывания возможно лишь постольку, поскольку оно не нарушает возможности взаимопонимания. Однако и при выполнении этого важнейшего требования, при полной обеспеченности взаимопонимания остается много разных возможностей высказать мысль с помощью языка. Одни из этих высказываний потребуют большего внимания слушателя, но меньше усилий говорящего — усилий, конечно, не только артикуляционных, но и по выбору слов, грамматических конструкций и т. д. Другие высказывания той же мысли, напротив, будут легки для слушателя, но и более обременительны для говорящего. Речь идет, таким образом, о том, насколько можно уменьшить «избыточную информацию» при языковом общении. Для слушателя важно не уменьшать ее ниже определенного порога, для говорящего это ограничение не актуально.

2) Антиномия узуса и возможностей языковой системы. Узус ограничивает использование языковых единиц и их сочетаний; живые потребности речевого употребления заставляют постоянно прорывать цепь этих ограничений, используя возможности, заложенные в языковой системе. Например, узус запрещает сказать *победу*, или *побежу*, или *побежду*. Можно использовать оборот *я буду победителем*, *я одержу победу*, *победа за мной*; но они слишком книжны, не годятся для непринужденной бытовой речи (и могут в ней употребляться только шутливо). Потребности языкового общения и запрещают и одновременно заставляют использовать эти формы (ведь строгое исполнение языковых запретов отвечает определенной потребности общения).

Указанная антиномия может рассматриваться как частный случай антиномии «говорящий — слушающий». Если говорящему надо сказать *победу* и он уверен, что слушатель принимает эту форму как нормативную, то ничто не может помешать ему употреблять именно ее (разве только «языковая совесть», т. е. представление о другом, отсутствующем слушателе, который осудил бы такое употребление).

Развитие языка постоянно определяется стремлением сохранить установившееся употребление языковых единиц и невозможностью ее сохранить.

3) Антиномия кода и текста. Если говорящий и слушатель понимают друг друга, то это означает, что у них в памяти существует общий код (набор знаков) и они по общим для них законам сочетают их, создавая текст. Между текстом и кодом существует определенная связь: стоит нам укоротить код (выбросить из него некоторые знаки), как, при прочих равных

данных, необходимо будет удлинить текст<sup>1</sup> (ср. двоичную систему исчисления: код состоит всего из двух знаков, но тексты, т. е. обозначения чисел, в этой системе длиннее, чем в десятичной).

Стремление упростить, т. е. укоротить, код и стремление укоротить, т. е. упростить, текст — антагонистичны. В истории языков может осуществляться одно из этих устремлений — пока не будет чрезмерно нарушено противоположное стремление; вслед за этим процесс идет обычно в противоположном направлении<sup>2</sup>.

Иногда считают, что эта антиномия просто одно из выявлений антиномии «говорящий — слушающий», но вряд ли это так. Антиномия кода и текста часто проявляется так, что несходство интересов говорящего и слушателя не обнаруживается.

Один из опекунов русского языка горько сожалеет, что из современного русского языка уходят слова *шурин*, *деверь*, *золовка*, *сноха*; эти слова стали заменять описательными сочетаниями: *брат жены*, *брат мужа*, *сестра мужа*, *жена сына* и т. п. «Насколько глубоко это вошло в наш современный язык, видно

---

<sup>1</sup> Исключения из этого правила могут быть только в одном случае: если исключаемый кодовый знак избыточен, если он полный синоним другого знака. Например, исключение ъ из русского алфавита не повлекло за собой удлинения текстов: буква ъ — полный синоним буквы *е*. Если бы исключили, например, букву *б*, то передачу фонемы ⟨б⟩ пришлось бы осуществлять каким-либо сочетанием букв, т. е. тексты бы удлинились; это потому, что буква *б* не является избыточной в коде. Следует добавить, что сокращение текстов при удлинении кода (и их удлинение при сокращении кода) происходит лишь в том случае, если не увеличивается и не сокращается число объектов названия, которые передаются единицами данного типа. В последнее время появились слова: *скрепер*, *бульдозер*, *транзистор*, *телевизор* — код из слов увеличился; но так как эти слова появились не вместо каких-либо старых наименований для уже известных объектов названия, а, напротив, нужны были для обозначения новых объектов, то на строении текстов их появление никак не отозвалось.

<sup>2</sup> Противоречие между кодом и текстом иногда проявляется как антиномия структуры (строения единиц) и употребления. Структурно расчлененные единицы могут быть хороши во многих отношениях: они создаются из нескольких составляющих (слов или морфем), набор которых может быть невелик, т. е. код составляющих очень краток; комбинации этих составляющих, построенные по общим законам, могут полностью расчленять какое-либо лексическое поле (полностью заполнить матрицу): для каждого участка этого поля легко находится своя расчлененная единица. Такие расчлененные единицы легки для запоминания (они минимально идиоматичны), просты и удобны для формирования прямо в потоке речи. Но выигрыш в коде тяжело отзывается на длине текстов: чем меньше код составляющих, чем логичнее и последовательнее построены расчлененные единицы, тем они длиннее, тем труднее оперировать ими в речи, тем сильнее желание заменить их хотя бы и капризно-идиоматическими, нелогичными, но более краткими единицами.

из того, что даже писатели, которые, естественно, должны быть хранителями русского языка, стали избегать упоминания этих старинных русских слов или употреблять их неверно». «Даже такой знаток русского народного языка, как Демьян Бедный, допустил подобную ошибку. В стихотворении „Светлая исповедь“ он говорит о „бабушке Нениле, которая обращается то к свату Федору, то к шурина Вавиле“... Однако *шурин* — это брат жены!»<sup>3</sup>.

Возможно одно из двух: следует запомнить особые знаки — слова *шурин*, *деверь*, *сноха* и т. д., т. е. увеличить языковой код, хранящийся в сознании, тогда возможно экономное (однословное) обозначение понятий ‘брат жены’ и проч.; куски текста, отвечающие этим понятиям, окажутся краткими. Можно, напротив, не пользоваться этими словами, код сократится, но при этом тексты придется удлиннять. Пока употребительность этих слов была высокой (в условиях патриархального семейного уклада), было предпочтительно первое решение; сейчас, очевидно, имеет преимущества второе, и бесполезны требования восстановить эти слова ради богатства русского языка. При этом существенно, что первое решение при частом использовании понятий ‘брат жены’ и проч. было выгодно и для говорящего, и для слушающего (экономило время того и другого), а сейчас и для того и для другого выгоднее второй путь (и тому и другому не нужно хранить в памяти редко употребляющиеся слова)<sup>4</sup>.

4) Важным стимулом развития языка является антиномия, обусловленная асимметричностью языкового знака<sup>5</sup>. Асимметричность заключается в том, что в структуре языкового знака означающее и означаемое находятся в состоянии перманентного конфликта: означающее стремится к приобретению новых значений, означаемое — к приобретению новых средств своего выражения. Данная антиномия, стимулирующая развитие любого яруса языковой системы, имеет особенно большое значение для развития грамматики. Грамматический строй наиболее последовательным образом складывается из бинарных (двучленных) корреляций, в значительной части которых соотношение отдельных членов отличается асимметричностью, которая выступает в двух основных разновидностях:

а) Два означающих относятся к одному и тому же означаемому, причем одно из них указывает на какой-либо признак означаемого, а другое не содержит подобного указания. Так, и *учительница*, и *учитель* могут служить названиями женщины, занимающейся преподаванием, но первое название указывает на пол (женский), а второе этого не указывает.

<sup>3</sup> Тимофеев Б. Правильно ли мы говорим? Л., 1963. С. 90.

<sup>4</sup> Победа названий типа *брат жены* (вместо *шурин*) в современном русском языке была стимулирована и внутриязыковой тенденцией к усилению лексического аналитизма.

<sup>5</sup> См.: *Karcevsky S. Du dualisme asymétrique du signe linguistique // Cahiers Ferdinand de Saussure*, 14. Genève, 1956. P. 18—24.

б) Одно означающее может относиться к двум означаемым, причем в одном случае оно не характеризует означаемого по определенному признаку, в другом случае оно отрицает наличие этого признака. Так, форма *теленки* в отличие от формы *телка* может обозначать детеныша коровы без указания на пол и может обозначать только самца<sup>6</sup>. Подобные взаимоотношения членов корреляций вызывают много изменений в грамматическом строе языка.

5) Антиномия двух функций языка: чисто информационной и экспрессивной. Эту же антиномию можно характеризовать как противоречие между устремлением к регулярности единиц и, с другой стороны, к их экспрессивной выделенности. Информационная функция языка протезирует регулярности, однотипности единиц, экспрессивная, напротив, поощряет их нестандартность, выделимость в ряду других и идиоматичность в широком смысле слова.

В каждом ярусе языка есть единицы, подчиняющиеся какому-то общему правилу, и единицы, которые регулируются другим, менее сильным правилом. Постоянно действует тенденция уподобить слабую часть системы более сильной, подчиняющейся более общему правилу. Это — тенденция, стимулированная языком, в его чисто информационной функции. Если в языке есть агглютинативные и фузионные единицы, то неизбежно возникает стремление обобщить их или в сторону последовательной, полной агглютинативности, или в сторону полной фузионности.

Но такие устремления сталкиваются с противоположными — с постоянной тенденцией сохранить для экспрессивных целей выделенность, «отчужденность» некоторых единиц. Каждая единица языка имеет и чисто информационное, и (в той или иной степени) экспрессивное назначение; следовательно, эта антиномия определяет жизнь каждой единицы языка.

Все эти антиномии — внутренние стимулы развития языка и в качестве таковых отличаются от воздействия на язык непосредственно социальных факторов (т. е. от воздействий конкретных социальных условий бытования данного языка в данную эпоху). Сами эти стимулы саморазвития языка не асоциальны: они все определены сущностью языка как важнейшего средства общения. Однако они действуют во всех языках, в любую социальную эпоху, так как определяются или общими условиями речевого общения, речевого акта, или системным характером языка, поэтому их надо считать двигателями спонтанного развития языка.

Будучи двигателями языка в любую эпоху, в любых социальных условиях, внутренние антиномии не абсолютно безразличны к этим условиям. На-

---

<sup>6</sup> Jakobson R. O. Zur Struktur des russischen Verbuns // Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata. Pragaе, 1932. S. 83—84.



пример, выбор развития языковых средств в пользу слушающего или в пользу говорящего как правило определяется самой системой языка: если она уже закрепила слишком много уступок говорящему, то неизбежен поворот в сторону интересов слушающего.

Но в этом выборе «установки на говорящего» или «установки на слушающего» могут иметь право голоса и социальные условия существования языка. В обществе, где играют ведущую роль публичные формы языкового общения (митинг, собрание, радиоречь, театр и т. д.), установка на слушателя будет, несомненно, более ощутимой, чем в обществе, где языковое общение замкнуто в круг только более или менее «приватных», уединенных, узкоадресованных речевых жанров. Огромное значение публичных речевых жанров в русском языке советской эпохи определило особую значимость «установки на слушателя» для многих языковых преобразований нашего времени.

Также и антиномия нормы и употребления, ускользающего от велений нормы, оказывается социально отзывчивой. В одних общественных условиях как правило побеждает норма, регламентация, а новшества узакониваются с огромным трудом; в других норма легко уступает речевому буйству (и иногда расшатывается под влиянием слишком нерегламентированного употребления). Русский язык советской эпохи показывает эти колебания особенно ярко.

Антиномию кода и текста в свою очередь нельзя считать безразличной к социальным воздействиям. В эпохи резкой демократизации языка эта антиномия в огромном большинстве случаев разрешается в пользу текста: носители данной языковой системы (в своем новом, более широком, более демократическом составе) охотнее идут на сокращение кода, даже если это ведет к удлинению текстов, чем к изменениям противоположного характера. Причины этого не вполне ясны; делались попытки определить, почему эпохи демократизации языка связаны именно с таким решением антиномии «код — текст», но эти попытки не очень убедительны. Очевидно, данный вопрос решат будущие исследования. Важно отметить, что в русском языке послеоктябрьской эпохи решение антиномии «код — текст» тоже идет как правило в пользу текста. Усиление агглютинации в словообразовании, усиление аналитизма в морфологии можно понять именно как стремление к сокращению числа кодовых единиц (вариантов морфем, словоформ) при увеличении отрезков текста, которые полностью определяют эти единицы.

Не безразлична к социальным условиям и последняя внутренняя антиномия — между стремлением к результатам и к экспрессивной выделенности единиц. В разные эпохи различна потребность в экспрессивных формах речи.

**О некоторых общих тенденциях  
в развитии русского литературного языка XX в.  
(Основные позиционные изменения в фонетике и морфологии)\***

1

Понятие позиции является основным в современной фонетической теории. Введение этого понятия перестроило всю традиционную фонетику: более того, можно сказать, что только после введения понятия позиции и стала создаваться подлинно научная фонетика. Понятно стремление перенести учение о позиции в другие ярусы языкознания: в морфологию, синтаксис. Однако попытки построить грамматику на позиционной основе встречают ряд трудностей; зародилось даже подозрение: плодотворна ли позиционная интерпретация грамматики? Думается, плодотворна. Разочарования же иногда возникают потому, что учение о позициях переносится из фонетики в грамматику крайне упрощенно и механически. Ведь понятие грамматической позиции, по всей вероятности, сложнее, чем понятие фонетической позиции. Очевидно, что позиционность в фонетике представляет собой редуцированный вариант позиционности в грамматике.

Когда-то физика Ньютона претендовала на всеобщность; она стремилась объяснить все факты физического мира. Но оказалось, что она недостаточна для объяснения некоторых явлений; поиски выхода из этого тупика привели к созданию теории относительности. Формулы теории относительности при некоторых данных (при измерении скоростей, неизмеримо малых по сравнению со скоростью света) подвергаются упрощению и преобразуются в формулы Ньютона. Ньютонова физика оказалась лишь частным случаем, притом наиболее простым, физики Эйнштейна. Это закономерный путь в науке, который проходят и большие и малые открытия: сначала устанавливается частный случай какой-то общей закономерности, он пытается выдать себя за эту общую закономерность; начинаются мучительные попытки доказать повсеместность, всеобщую приемлемость этого частного случая. Частичную зако-

---

\* Вопросы языкознания. 1963. № 1. С. 3—17.

номерность пытаются натянуть на все факты, и это понятно: ведь некоторые из фактов она прекрасно сумела объяснить. Но усилия напрасны. Выход можно найти не в попытках механически перенести частную формулу на все факты, а в преобразовании формулы, в поисках более сложной закономерности, которая при известных данных редуцируется до первоначально установленной простейшей закономерности. Очевидно, так дело обстоит и с поисками грамматических позиций. Существует позиционная система в грамматике; существует и в фонетике. Фонетическая — в упрощенной, редуцированной форме воспроизводит принципы системы грамматической (в этом и заключается, этим и ограничивается изоморфизм в языковых ярусах).

Плодотворным может оказаться такой путь поисков. Надо определить фонетическую позицию в наиболее общей форме. Эти наиболее общие черты фонетической позиции должны быть необходимыми чертами и грамматической позиции; но для описания ее они, очевидно, не окажутся достаточными, и возникнет задача дополнить определенные позиции, чтобы можно было применить их ко всем ярусам языка. Как проще всего можно определить фонетическую позицию? Позиция — это окружение. В словах *дом* и *дам* гласные [о, а] находятся в одной и той же позиции: у них тождественное окружение. Описание любой позиции можно свести к указанию на соседство звуков (контактное или неконтактное; при этом степень неконтактности должна быть в каждом случае строго определена); это не снимает проблемы суперсегментных единиц (ударений, интонаций, диэрем), но позволяет не учитывать их в определении позиции особо, как отдельный фактор, характеризующий позицию. Например, в словах *обижать* и *убежать* первые гласные находятся в одинаковой позиции: после потенциальной паузы (диэремы) перед звуковым отрезком [б'и'ж'ат'].

Простое указание на конкретное звуковое соседство, конечно, мало плодотворно и не принесет большой пользы в изучении закономерностей языка. Частные позиции необходимо обобщать. В словах *обижать* и *убежать* начальные гласные стоят не просто перед одинаковым звуковым отрезком [б'и'ж'ат'], а во втором предударном неприкрытом слоге<sup>1</sup>. Следовательно, начальные гласные находятся в одной и той же позиции в словах: *обижать*, *убежать*, *учредить*, *обещать*, *изъявить* и т. д. Как обобщаются позиции? Позиция согласных перед [а] тождественна позиции согласных перед [о], потому что в обоих случаях возможны 34 согласных (и притом все они — те же самые). А позиция на конце слова уже иная: здесь возможны только 23 согласных.

Итак, чтобы определить позицию, надо: установить, в соседстве с какими единицами встречается одинаковый набор некоторых других единиц. Однако

---

<sup>1</sup> Возможно и еще более общее определение этой позиции.

такое определение фонетической позиции еще очень не полно. Описание языка можно считать полным, если указать не только основные закономерности сочетания единиц (синтагматика языка), но и основные законы чередования единиц (парадигматика языка). Закономерности чередования и закономерности сочетания единиц внутренне различны; одни не сводятся полностью к другим; поэтому каждое языковое явление должно быть рассмотрено и в цепи парадигматических, и в цепи синтагматических отношений.

До сих пор позиция рассматривалась здесь в чисто синтагматическом плане. Речь шла о том, как возможности выбора фонетических единиц определяются соседними звуками. Соседними названы были звуковые сегменты, которые предшествуют во времени данной, анализируемой единице или следуют за нею. Но можно взять и другой план изучения, не синтагматический, а парадигматический. Предположим, в речевой цепи выделен элемент *Z*. Как определить позицию, в которой находился *Z*? Надо выяснить, в какой степени выбор этого элемента обусловлен соседними элементами. Например, в позиции перед [т] в русском языке возможны 15 согласных. В других позициях их возможно гораздо больше — до 34. Ясно, что позиция перед [т] ограничивает выбор языковых элементов; не все 34 единицы сочетаются с последующим [т]. Поскольку речь идет о возможностях сочетания, постольку данная позиция характеризуется синтагматически. Эта характеристика свидетельствует о том, что какой-то элемент *Z*, найденный в данной позиции, противопоставлен не 33 другим единицам, а только 14.

Однако эта синтагматическая характеристика позиции еще не полна. Сопоставим сочетания [пт] (например, в слове *шептать*), [чт] (например, в слове *чтут*) и [кт] (например, в слове *кто*). В одинаковой ли позиции находятся здесь [п, ч, к]? Синтагматически — в одинаковой. Все они входят в число 15 единиц, возможных перед [т]; у всех у них нет здесь противопоставления по звонкости — глухости, по твердости — мягкости. Но [ч] и в других позициях не имеет противопоставлений по глухости — звонкости и по твердости — мягкости. Следовательно, в позиции перед [т] сохраняется максимально возможное в русском языке число различительных признаков у [ч]: позиция их не убавила. У [к] в других позициях (например, перед гласными) возможно противопоставление по глухости; это противопоставление у [к] в позиции перед [т] нейтрализовано, сведено к нулю. А противопоставлений по твердости — мягкости у [к] нет ни в одной позиции. Значит, положение перед [т] заставило звуковую единицу [к] потерять одно различительное свойство. Наконец, [п] в этой позиции потеряло два различительных свойства: противопоставленность по твердости-мягкости (перед [т] возможны только твердые губные) и по звонкости — глухости (перед [т] возможны только глухие). Надо сделать вывод, что положение перед [т] не одинаково для трех единиц —

[ч, к, п]. Одна из них в этой позиции сохраняет все свои различительные качества, другая теряет одно, третья — два различительных качества. Как это было установлено? Мы сопоставляем [ч] в данной позиции и в другой, имеющей иной набор звуковых единиц (именно — с той позицией, где этот набор максимален). Таким образом, мы синтагматический анализ дополнили парадигматическим — рассматривали звуковую единицу в контрастных позициях.

Синтагматический и парадигматический план в изучении позиции можно обобщить следующим образом: определить позицию — значит указать, какие черты звуковой единицы, заданные парадигматически, нейтрализуются в данной синтагме. Возможны два крайних случая. Ни одна черта единицы, заданной парадигматически, в данной позиции не нейтрализуется. Например, под ударением в русском языке различаются пять гласных; ни в одной другой позиции нет большего их числа. Значит, здесь полностью выявляются их парадигматические особенности. Это парадигматически сильная позиция. Другая крайность. В заударной позиции между мягкими (в аллегровой речи) возможен всего один гласный — типа редуцированного [и]. Одинаково произносятся заударные гласные предпоследнего слога в словах: *вынеси, выпряги, залито, высеки, челюсти*; в парадигматически сильной позиции их соответствия, входящие в те же парадигмы, отличаются друг от друга (*нёс, пряжа, лить, сек, челюстнóй*). В этой заударной позиции безразлично, к какой парадигме принадлежит данный гласный, т. е. связан ли он с ударным [о], или с ударным [а], или с ударным [э] и т. д. Качества гласного целиком определяются синтагматически. Такую позицию будем называть синтагматически сильной.

Итак, две крайности. Первая: звук, который мы находим в речевой цепи, не обусловлен синтагматически, а целиком определяется парадигматически, т. е. этот звук находится в парадигматически сильной и синтагматически слабой позиции. Примеры: гласные под ударением, согласные перед гласными /а/, /о/, /и/. Если бы все позиции в языке были такого типа, то отпала бы необходимость в понятии позиции. Ведь в любой синтагме количество возможных звуков было бы одинаково и набор их был бы функционально тождествен. Была бы налицо везде одна и та же позиция, т. е. ни одной. Вторая крайность: звук, который мы находим в звуковой цепи, не обусловлен парадигматически, а целиком определяется синтагматически, своим окружением; таким образом, этот звук находится в парадигматически слабой и синтагматически сильной позиции<sup>2</sup>. Пример был приведен выше. Между этими двумя крайностями множество переходных случаев.

<sup>2</sup> Термины «парадигматически сильная позиция» и «синтагматически слабая позиция» нельзя считать синонимическими. Например, в сочетании *дочь бы* звонкое [ч]

В историческом развитии языка некоторые позиции превращаются из парадигматически слабых в сильные (или в менее слабые) или из синтагматически сильных в слабые (или в менее сильные).

Какова общая схема этого процесса? Возможны два пути: проследим их на конкретном (хотя и искусственном) примере. В сочетании [пт], как уже говорилось, [п] по твердости — мягкости находится в слабой позиции. Можно указать, что все это сочетание обладает единым целостным признаком, распространившимся на два сегмента, на две стоящие рядом единицы: твердостью, причем на [п] не приходится особой, отдельной твердости. По твердости — мягкости [п] здесь находится в парадигматически слабой позиции и в синтагматически сильной. Как может быть парадигматическая ослабленность превращена здесь в парадигматическую независимость? Первый путь: перед [т] станут возможны и мягкие и твердые губные<sup>3</sup>. Тогда, наряду с сочетанием [пт], станет возможным сочетание [п'т], и позиция по этому признаку станет для [п] сильной. Мягкость и твердость [п] или [п'] будут заданы парадигмой, а не синтагмой. Итак, позиция из слабой превращается в сильную (парадигматически), если в ней оказываются представленными порознь (особыми, отдельными знаками) те парадигмы, которые ранее были нейтрализованы, т. е. были представлены одним знаком. Но возможен и другой путь. Представим, что во всех позициях будет представлен только один звук [п], т. е. во всех позициях не будет [п']. В таком случае уже нельзя будет считать, что противопоставленность [п — п'] — свойство только данной синтагмы. Это тоже приведет к тому, что позиция для [п] в сочетании [пт] окажется сильной парадигматически в отношении твердости — мягкости: в этой позиции будет сохраняться парадигматически заданное безразличие к твердости — мягкости.

Возможны и другие пути превращения парадигматически слабой позиции в сильную; но для нас сейчас важны только эти два. Первый путь: увеличение числа возможных противопоставленных знаков в данном месте синтагмы (не только [п], но [п']). Второй путь: уменьшение числа возможных парадигм.

Говоря о позиции, мы упустили один очень важный момент. Если изучаются отношения в синтагме [пт], то важно, к какой большей единице относится это [пт]; все сопоставляемые сочетания должны относиться к большим единицам того же типа. Пример покажет, насколько важно это условие. Перед [т] возможно только твердое [п]: *птаха, оптом, ланпа* и т. д. Но этому

---

(т. е. [д̆ж']) указывает синтагматическую связь между согласными; для [ч] это позиция парадигматически сильная (не утеряно ни одно различительное свойство) и синтагматически сильная: «приобретено» свойство общей звонкости для всего согласного сочетания; [д̆ж'] свидетельствует, что далее следует звонкий шумный согласный.

<sup>3</sup> Или в одних позициях только [п], в других — только [п'].

правилу противоречат сочетания [пт] в таких случаях: *топь тут глубокая; да не сыть ты мимо* и т. д. Здесь [п'] и [т] принадлежат разным словам (т. е. разным единицам более высокого порядка); поэтому и не осуществляется влияние одного согласного на другой. Оказывается, определяя позицию [п] перед [т], надо добавить: в пределах того же слова.

Итак, все синтагматические сопоставления должны быть даны в единицах тождественного типа. Эти единицы должны быть больше, чем единицы, непосредственно составляющие синтагму; например, изучая звуковые единицы [п] и [т], их сочетаемость, мы берем их в пределах слова. Слово может состоять из нескольких звуков; а звук никогда не состоит из нескольких слов; это и служит основанием, чтобы считать слово большей единицей, чем звук (несмотря на то, что возможны слова из одного звука). Но единица, в пределах которой сопоставляются меньшие единицы, должна обладать и еще одним свойством. В языке существует два взаимосвязанных плана: план значения (обозначаемого) и план звучания (обозначающего в узком смысле слова). Если изучаются синтагматические отношения звуковых единиц, то большая единица, в пределах которой находится синтагма, должна быть определена в плане единиц значения (например, слово, морфема); если же изучаются синтагматические отношения значимых единиц, то большая единица должна быть определена в плане единиц обозначающих, звуковых (например, сочетаемость морфем надо было бы изучать в пределах фонетического слова, т. е. такта: такт больше морфемы в том значении, какое было указано раньше). Это же требование относится к парадигматическим сопоставлениям. Чередование звуков можно установить только в пределах морфем и слов и т. д.<sup>4</sup>

Законы позиционного распределения относятся не только к фонетическим единицам и их сочетаниям, но и к единицам значения. «Смыслы» в языковой цепи дискретны; они прикреплены к определенным ее участкам. Можно было бы осуществить семантическую транскрипцию высказываний, в принципе совершенно подобную фонетической транскрипции. Отдельным смыслам присваиваются определенные знаки; если в речевой цепи попадают отрезки с одинаковым смыслом, то в транскрипции повторяется тот же знак (при этом одинаковость устанавливается, как и в фонетической транскрипции, с определенной эмпирически установленной точностью). При со-

---

<sup>4</sup> Ср. очень показательный пример определения парадигматически сильной позиции на морфемном уровне в работе: *Сидоров В. Н.* Непродуктивные классы глагола в современном русском литературном языке // Рус. яз. в шк. 1951. № 5. С. 27—30. Изучаются морфонологические типы глагольных основ; поэтому они взяты в больших единицах (словоформам), определенных семантически: это формы 3-го лица мн. числа настоящего и будущего времени; формы прошедшего времени.

поставлении семантических транскрипций может оказаться, что отдельные знаки могут сопровождаться определенными знаками и не могут сопровождаться некоторыми другими знаками. Эти особенности сочетания знаков смысла дают возможность (используя ту же технику, которая применяется в фонологии) объединить некоторые знаки, заменив их знаками более высокой степени обобщения, из аллосем построить семантемы.

Итак, если дано сочетание *АВ* и надо характеризовать позицию *А*, то для этого: 1) следует выяснить, какие другие единицы, кроме *А*, могут сочетаться с *В*. Сопоставление между собою всех единиц, возможных в данной синтагме (т. е. перед *В*), позволит выяснить, какие различительные черты есть у *А* в изучаемой позиции; 2) при сопоставлениях, описанных в пункте 1, необходимо все сочетания единиц с *В* брать в единицах одного и того же типа; они должны быть больше, чем единицы *А* и *В*, и принадлежать к тому плану языка, к которому не принадлежат *А* и *В*; 3) следует выяснить, к какой парадигме принадлежит единица *А*. Сопоставление ее с другими членами этой парадигмы позволит определить, обладает ли *А* максимальным количеством различительных признаков, возможных для членов данной парадигмы; 4) при сопоставлениях, описанных в пункте 3, необходимо все члены парадигмы *А* брать в единицах одного и того же типа; они должны ответить условиям, указанным в пункте 2.

Здесь дано описание фонетической позиции в самом общем виде. В таком описании нет ни одного фонетического термина. Это дает основание попытаться применить указанное описание к изучению грамматических явлений; можно выяснить, в чем состоит недостаточность такого определения позиции для высших ярусов языка.

## 2

Морфологические образования *пришел*, *пришла* встречаются в одной позиции: *я пришел*, *я пришла*. Следовательно, это отдельные, позиционно независимые морфологические образования, «инварианты». В указанных сочетаниях они находятся в парадигматически сильной позиции. С другой стороны, есть синтагмы типа *он пришел*, *она пришла*; в каждой из них возможна только одна из форм. В этих синтагмах формы типа *пришел*, *пришла* находятся в парадигматически слабой, синтагматически сильной позиции.

Ввиду непротивопоставленности в этих позициях форм *пришел*, *пришла* они здесь лишаются парадигматического содержания; единственное назначение окончаний *-а* и нулевого — показывать связь одного члена синтагмы с другим, т. е. задача чисто синтагматическая. Это достаточно полная параллель к синтагматическим связям в фонетике. Н. С. Трубецкой верно указал на



то, что позиционные ограничения имеют свою синтагматическую функцию: позиционно зависимый член всегда указывает на качество члена, который вызвал зависимость, и поэтому всегда подчеркивает связи в ряду сочетающихся единиц. Итак, два ряда факторов: в синтагмах *я, ты, Григоренко, Милле, забияка, шимпанзе... пришел, пришла* формы с окончанием *-а* и с нулевым окончанием образуют отдельные парадигмы; выбор их не вызван позицией. Напротив, в синтагмах *она, Мария, Нелли, учительница, дочь, мисс, Кузьминична... пришла* и в синтагмах *он, Иван, учитель, Кузьмич, подмастерье... пришел* родовые формы глагола находятся в парадигматически слабой позиции.

Можно ли в фонетике найти полную аналогию этим фактам? Это сделать нетрудно. В сочетаниях [та, да] единицы [т] и [д] встречаются в одной и той же позиции и представляют разные парадигмы; звонкость и глухость согласных здесь не обусловлена позиционно и служит целям различения бóльших единиц. Но в сочетаниях [тпа] (например, в слове *отпасть*) и [дба] (в слове *отбавить*) те же [т] и [д] находятся в парадигматически слабой позиции и их звонкость или глухость является вынужденной. Следовательно, в каждом из сочетаний типа *он пришел, она пришла* налицо нейтрализация единиц, обусловленная позиционно. При этом в каждом случае позиционный заместитель совпадает с одним из инвариантов в сильной позиции (полная аналогия с приведенным раньше фонетическим примером).

Легко проверить, что наше описание позиции родовой формы глагола полностью отвечает предложенному ранее образцу таких описаний. Дано сочетание двух единиц *АБ*, т. е. *он пришел*; чтобы определить позицию формы *пришел*, надо выяснить, какие еще единицы сочетаются со словом *он*. Важно, что другие родовые формы не вступают в сочетание с *он* (в пределах большей единицы: предикативного словосочетания)<sup>5</sup> (см. пункты 1 и 2 на с. 29). Следует принять во внимание парадигматические отношения, т. е. возможность у форм *пришел — пришла* в другой позиции быть самостоятельными показателями рода, взаимно противопоставляться (пункты 3 и 4)<sup>6</sup>. Отсюда следует в качестве вывода характеристика этих позиций. Следовательно, схема определения позиции, данная раньше, здесь нашла свое применение.

В каком направлении развивается описанная система позиций в русском языке? Давно отмечено одно важное изменение, которое сначала проникло в

<sup>5</sup> При этом анализируемые формы определены по их морфонологическому составу: в исходе *-а* или ноль; бóльшая единица — по семантическому: предикативное сочетание.

<sup>6</sup> При этом анализируемые формы определены по их морфонологической характеристике (форма с *-а*, форма с нулем после тождественных морфонемных комплексов), а бóльшая единица — по семантической: предикативные сочетания *я пришел, я пришла*.

просторечие, потом переключалось в разговорные стили литературной речи, а теперь утверждается в нейтральном стиле, в самой сердцевине литературного языка. Теперь говорят и пишут: *Доктор пришел* и *Доктор пришла*, *Председатель сказал* и *Председатель сказала*. В сочетании со словами типа *доктор*, *председатель* позиционная закрепленность форм *пришел*, *пришла* уменьшилась; вместо одной формы стали употребляться две. Поэтому в таких сочетаниях глагольные флексии *ноль* и *-а* перестали выполнять только синтагматическую роль, только указывать на связь единиц в речевой цепи, но наполнились и парадигматическим содержанием: независимо от подлежащего, они сами указывают на пол лица, которое совершает действие. Ранее было сказано, что превращение парадигматически слабой позиции в сильную возможно двумя путями: или в результате увеличения числа единиц в данной позиции, или в результате выравнивания элементов данной парадигмы в разных позициях. Здесь развитие шло первым путем.

С какими существительными возможны сочетания типа *Доктор пришел* (*пришла*)? Это слова мужского рода со значением лица. Если у слова мужского рода есть соотносительное с ним слово женского рода, то такого освобождения позиции не происходит; например, невозможны сочетания *учитель*, *ткач*, *доктор*, *поэт* *пришла*, так как есть соотносительные существительные: *учительница*, *ткачиха*, *докторша*, *поэтесса*. Но при словах *инженер*, *прораб*, *доктор* нет соотносительных существительных женского рода; поэтому-то и возможно сочетание *доктор* *пришла*. Сейчас стали неупотребительны (в стилистически нейтральной речи) слова *председательница*, *директриса*, *инспектриса*, *кондукторша*; поэтому и оказались возможны сочетания *директор*, *инспектор*, *кондуктор* *пришла*.

Итак, есть связь между освобождением единиц типа *пришел* — *пришла* (в определенной позиции) и строением единиц типа *учитель* — *учительница*. Надо дать позиционное толкование состава этих единиц. Есть морфологические отрезки: *учитель-*, *писатель-*, *ткач-*, *поэт-*... Обобщим эти отрезки, назвав их, например, *A*. К *A* могут присоединяться два зависимых элемента:  $B_1$  — флексия *-а* с предшествующим суффиксом, который обусловлен этой флексией и характером основы; например, *учительница*, *писательница*, *ткачиха* и т. д.;  $B_2$  — нулевая флексия (мужского рода). В одних случаях возможны оба сочетания:  $AB_1$  и  $AB_2$  (*учительница*, *учитель* и т. д.), в других возможно только одно  $AB_2$  (*директор*, *инженер*). В последнем случае позиция после *A* (позиция зависимости от *A*) оказывается несвободной для чередования  $B_1$  и  $B_2$ . Вместо двух элементов оказывается возможным только один. Таким образом, после таких *A*, как *учитель*, *ткач* и пр., «словообразовательная» позиция для *B* парадигматически сильная; после же *врач*, *председатель*, *инструктор* позиция для *B* парадигматически слабая. Следовательно, слабая

позиция для грамматического элемента в пределах слова (для аффикса) вызвала здесь усиление грамматической позиции для конструкций типа *врач пришла*. Позиционная скованность в словообразовательном ярусе вызвала позиционное раскрепощение в ярусе словоизменительном.

\* \* \*

В случаях сильного управления глагол требует определенного поясняющего слова в определенной форме. Отсутствие дополнения вносит изменение в семантику глагола (ср. *Он уже пишет и читает* = умеет, способен писать, читать). Естественно считать, что в последнем случае налицо нулевое дополнение, которое и преобразует семантику глагола. Кроме этих обязательных дополнений, связанных с глаголом с сильным управлением, существует множество возможностей связать с глаголом существительные при помощи так называемого слабого управления. Например, при каждом глаголе возможна форма твор. падежа с предлогом *с*, имеющая значение совместности (*он + глагольная форма + с кем-то*)<sup>7</sup>.

При сильном управлении одно слово определяет выбор парадигматической формы другого. В отличие от согласования, этот выбор определяет не флексия главного слова, а его основа. Она влечет за собой возможность и необходимость выбора определенной грамматической формы поясняющего слова; так как выбор возможен только один, то противопоставления падежей здесь нейтрализованы: формы род., дат., вин., твор. падежей в сочетаниях *боятся кого-то, нравятся кому-то, хвалят кого-то, интересуются кем-то* семантически тождественны. Пока мы находимся только в пределах русского языкового сознания, мы можем предполагать «естественность» распределения падежей при сильном управлении, но сопоставление с синонимическими конструкциями в другом языке (например, польском) покажет полную условность и опустошенность этих падежных форм.

Другое дело — так называемое слабое управление. Здесь форма зависимого слова не вызвана характеристикой главного, не определяется принадлежностью главного к определенной группе глагольных образований. Все это давно известно и освещено в ряде работ; я здесь повторяю это, крайне схематизируя факты, чтобы подчеркнуть принципиальную разницу между сильным и так называемым слабым управлением, которое в сущности не отличается от примыкания; связь между словами *сделал впопыхах* и *сделал с неудовольствием* в принципе одинакова.

---

<sup>7</sup> Следовательно, сильноуправляемое дополнение стоит в позиции «после глагола» (или «при глаголе»), слабоуправляемое слово стоит в позиции «после сочетания глагола с сильноуправляемым дополнением» (или «при этом сочетании»).

Отношения в синтагмах *я пришел, я пришла* коренным образом отличны от соотношения в синтагмах *он пришел, она пришла*. В первом случае возможен выбор родовой формы в зависимости от общего содержания высказывания; во втором случае выбора нет: использование той или иной формы уже предрешиено выбором подлежащего. То же различие налицо и в случаях сильного и слабого управления. Глагол *интересуется* предрешиает выбор падежной формы существительного: *интересуется чем-то*; место сильноуправляемого слова должно быть непременно занято; другие же места («слабоуправляемые») не ограничены выбором форм; здесь возможно, как при любом другом глаголе, использование разных падежных форм, контрастирующих друг с другом и поэтому парадигматически полнозначных.

Синтагматически сильная позиция, т. е. с синтагматически обусловленной формой слова, для некоторых сочетаний со связью управления изменяется в парадигматически сильную, т. е. в такую, где форма слова обусловлена только парадигматически. Напомню модель подобного процесса в фонетике. В сочетании [пт] невозможно [п’], но оно возможно в других, сильных позициях и дает в них контраст по твердости — мягкости (ср. сочетания [п’а — па]). Следовательно, в сочетании [пт] налицо парадигматически слабая (и синтагматически сильная) позиция для [и]: это [и] не обладает всеми различительными признаками, на которые оно способно в других позициях. Превращение этой позиции в сильную состоялось бы в том случае, если бы [п’] исчезло вовсе, во всех позициях. Так дело обстоит и с падежными формами. Растет число имен, у которых нет форм косвенных падежей; они не встречаются в тех позициях, где обычны косвенные падежи. Разумеется, отсутствие косвенных падежей равно неизменяемости, т. е. непадежности слова. Перечислю несколько фактов.

1. Вместо того, чтобы говорить, как учат грамматические руководства, с *тридцатью пятью тысячами восемьюстами пятьюдесятью семью* сейчас обычна разговорная форма с *тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят семью*<sup>8</sup>. Склонение частей составного числительного упраздняется или становится менее строгой нормой.

2. Склонение: *этот Григоренко, этому Григоренке, этого Григоренку* и т. д. становится достоянием учебников, а в речи такие имена не склоняются.

3. В сочетаниях типа *Москва-река* (явно еще не ставших идиомами) первая часть имеет тенденцию перестать склоняться. Протесты пуристов не в силах помешать распространению этой тенденции.

4. Распространяются несклоняемые аббревиатурные существительные: *ООН, НАТО* и т. д.

---

<sup>8</sup> См.: *Виноградов В. В.* Русский язык. М.; Л., 1947. С. 305.

5. Распространяются аналитические прилагательные<sup>9</sup>.

Всюду так или иначе пробивает путь тенденция использовать падежно-неизменяемые единицы вместо падежно-изменяемых и гибких. Падежные формы — хороший пример парадигматического ряда, т. е. единиц позиционно взаимоисключенных. В синтагмах с сильным управлением падежная форма присутствует в качестве единственно возможной (здесь налицо позиционная взаимоисключенность). Если вместо разных позиционно обусловленных форм всюду используется одна, то ее надо рассматривать как позиционно безразличную: все ее качества заданы парадигматически, а не вызваны синтагматическим окружением.

Следовательно, при помощи распространения ряда аналитических форм имен в современном русском языке осуществляется превращение парадигматически слабых позиций в сильные одним путем, а при помощи распространения конструкций типа *врач пришла* тот же процесс реализуется другим из двух возможных путей.

Изменения в русской словоизменительной системе за последние полвека невелики. Важно, однако, отметить, что большинство из них связано с превращением парадигматически слабых позиций в парадигматически сильные<sup>10</sup>.

## 3

Распределение единиц в разных окружениях может быть трех типов.

А. Несколько функционально объединяемых единиц оказываются взаимоисключаемыми в разных окружениях: всегда возможна или одна из них, или другая. Например, суффиксы *-ота*, *-изна*, *-ева*, *-ость*, имеющие тождественное значение, встречаются после основ *красн-*, *желт'*-, *син'*-, *фиолетов-*. Но в каждом случае возможна только одна из единиц; не существуют в языке единицы *краснизна*, *краснева*, *красность*. Выбор той или иной единицы определяется качествами данного индивидуального контекста; после основы *красн-* должно следовать *-ота*, а после основы *желт'* (или *бел'*-) возможен суффикс *-изна*, а не его синонимы. В морфеме *друг-*, *друг'*-, *друж-* (ср. с *другом*, *друзья*, *дружить*) чередуются фонемы ⟨г, з', ж⟩. Это связано с изменени-

<sup>9</sup> Другие случаи утраты падежной изменяемости слов см. в кн.: Русский язык и советское общество: Проспект. Алма-Ата, 1962. С. 52—54. Важные наблюдения о росте аналитичности в современном русском языке см. в работах: *Horálek K.* K charakteristice ruštiny // *Kniha o překládání*. Praha, 1953. S. 154—155; *Skalička V.* Vývoj jazyka. Praha, 1960. S. 108—110.

<sup>10</sup> Более подробный перечень этих случаев см. в кн. «Русский язык и советское общество», раздел «Словоизменение».

ем окружения (т. е. синтагматических связей), определяется последующим аффиксом. Надо знать в каждом случае особо, какой вариант корня следует употребить. Ср. *округ* — *округа* (а не *окружья*); следовательно, флексии множественного числа как определенный класс единиц не вызывают чередования ⟨г—з'⟩; это чередование определено флексиями множественного числа только при основе *друг-*. Чередование фонем ⟨г—з'⟩ здесь не вызвано типизированными условиями окружения, а индивидуально определяется именно этим, единичным окружением<sup>11</sup>.

Б. Напротив, чередование *друг* — *дружить* позиционно неизбежно; ср. *круг* — *кружить*, *услуга* — *услужить*, *вьюга* — *вьюжить*; это чередование обязательно и для неологизмов; ср. *овраг* — *обезовражить*, *бумага* — *забумажился*. Следовательно, перед флексией *-ить* корневое ⟨г⟩ систематически меняется на ⟨ж⟩. Если даны две однофункциональные единицы (частицы *-сь* и *-ся*), использование их регулируется правилом: после основ, имеющих в исходе гласный, следует *-сь*, после остальных *-ся*. Здесь выбор единицы определяют типизированные условия контекста (а не индивидуальное, конкретное окружение).

В. Наконец, третий случай: у данной единицы нет однофункциональных дублетов (т. е. синонимов или функционально связанных полисемов). Например, частица *ли*, в какие бы она синтагматические связи ни вступала, всегда избирается при значении вопроса. Возможен и такой случай: имеются однофункциональные дублеты (например, лексемы-синонимы), но они взаимозаменяются в любых контекстах (ср. *стачка* — *забастовка*). Этот случай тоже относится к группе В. Следовательно, в эту группу входят те случаи, когда появление данной единицы не обусловлено контекстом — ни его типизированными особенностями, ни его индивидуальным своеобразием<sup>12</sup>.

Примеры, приведенные только что для чередований *A—B—B*, анализировались на грамматическом уровне. Но они имеют аналог и на уровне фонетическом. Тип *A* в области фонетики — это чередование фонем (ср. *друг* — *дру-*

<sup>11</sup> Чередования типа *A* могут быть описаны по схеме, предложенной выше (с. 29). Например: в слове со значением «amicus» с фонемным рядом ⟨дру-⟩ сочетаются ⟨г⟩ или ⟨з'⟩, в зависимости от следующего аффикса (пункт 1—2). Морфонема {г}, когда она представлена в данной морфеме фонемой ⟨з'⟩, оказывается непротивопоставленной морфонемам {з} и {з'} (пункт 3—4).

<sup>12</sup> Задается два вопроса: 1) есть ли разные единицы, функционально объединенные? 2) определяется ли их выбор типизированными условиями контекста? На каждый вопрос возможен ответ *да* (+) или *нет* (-). Возможны три случая: а) 1+, 2-; б) 1+, 2+; в) 1-, 2-. Это и есть перечисленные в тексте типы. Случай 1-, 2+ исключается как невозможный.

зья, друг — дружить)<sup>13</sup>. Однако с точки зрения фонетики эти чередования не отличаются от таких «чередований», как *друг — круг* и т. д. Фонетически это просто несовпадающие «инварианты»<sup>14</sup>. Тип *Б* — позиционные чередования в пределах одной фонемы. Тип *В* — случай, когда чередования вариантов фонем отсутствуют (пример — фонема ⟨ч'⟩).

Возможны следующие исторические изменения типов размещения единиц:  $A \rightarrow B$ ,  $A \rightarrow B$ ,  $B \rightarrow A$ ,  $B \rightarrow B$ ,  $B \rightarrow B$ . Для современного русского языка наиболее актуально изменение  $B \rightarrow B$ ; оно и позволяет сделать вывод о том, что позиционная обусловленность единиц уменьшается. Но не менее актуально, по крайней мере для словообразования, и изменение  $A \rightarrow B$  и  $A \rightarrow B$ . Если из двух синонимических единиц, размещенных по типу *A*, постепенно одна вытесняется, то тип *A* превращается в тип *B*. Если эти две единицы размежвываются и начинают использоваться в разных типизированных окружениях, то тип *A* превращается в тип *B*. В обоих случаях масса индивидуальных «правил» заменяется немногими типизированными правилами использования единиц (или даже одним правилом). Таким образом, и здесь налицо особый тип освобождения единиц от позиционного давления, если под позицией понимать любой — типизированный и нетипизированный — контекст, требующий определенного выбора одной из единиц функционально связанного ряда.

В случае *A* позиция определена данным окружением во всей совокупности его характеристик: фонетических, лексических, грамматических. Чередование *друг — друзья* обусловлено таким контекстом: в морфеме, имеющей значение «amicus» и морфемный состав {друг-}, ⟨г⟩ заменяется на ⟨з'⟩ в формах множественного числа перед интерфиксом *-j-*. Превращение типа *A* в тип *B* связано с типизацией какого-то одного условия (или двух) из всей со-

<sup>13</sup> В грамматическом ярусе последний случай, как уже сказано, должен рассматриваться иначе: как чередование типа *Б*.

<sup>14</sup> Можно объяснить, почему чередования типа *A* как особая разновидность выделяются только на морфемном уровне. В словоформах *друг — другу — другом — друзья — друзьями...* общего фонемного отрезка ⟨дру-⟩ вполне достаточно, чтобы признать здесь общий корень. Элемент ⟨г⟩ не может по законам морфемного членения слова считаться особым аффиксом или частью аффикса. Наличие слова *дружить* с закономерным, типа *Б*, чередованием ⟨г — ж⟩ подтверждает, что ⟨г⟩ в словоформах *друг — друга...* — не прибавка к корню, а его неотъемлемая часть. Тогда и ⟨з'⟩ в *друзья...* — часть корня. Следовательно, налицо чередование ⟨г — з'⟩ в составе корня. Все построено на том, что в морфеме с чередованием *A* есть часть ⟨дру-⟩, достаточная для отождествления морфем в разных словоформах, т. е. на том, что морфемы — это определенные фонемные фигуры. Напротив, сами фонемы фигур не имеют (не столько в тыняновском, сколько в ельмслевом смысле слова), и поэтому на фонемном уровне чередование типа *A* не выделяется как особый тип.

вокупности характеристик. В приведенном случае эта генерализация условий могла бы пойти одним из следующих путей: 1) во всех случаях [г] перед [j] заменялось бы звуком [з']; такое [з'] превратилось бы в вариант фонемы ⟨г⟩; образовалось бы чередование типа *Б* (в фонетическом ярусе). Типизированными оказались бы звуковые условия; 2) во всех грамматических формах с интерфиксом *-j-* (другая возможность: с флексиями мн. числа) корневое ⟨г⟩ заменяется фонемой ⟨з'⟩. В этом случае новое чередование типа *Б* имело бы грамматический характер; 3) чередование могло бы охватить лексику с определенным типом значения; тогда оно приняло бы лексико-грамматический характер.

Но невозможен такой случай, чтобы генерализовались все условия, указанные для современного чередования *друг-* / *друг'*-. Если это чередование «обобщится» так, что распространится на все единицы, отвечающие приведенному выше описанию (единицы со значением «amicus» такого-то морфологического строения, такого-то стиля, в таких-то грамматических формах), то это «обобщение» в конечном итоге приведет к нашей единственной индивидуально-неповторимой единице<sup>15</sup>.

Для словообразовательной системы русского языка XIX и XX вв. особенно характерно превращение чередований типа *А* в чередование типа *В*. Суффиксы отглагольных прилагательных часто бывают многозначны; в сочетании с разными производящими основами они непоозиционно (по типу *А*) варьируют свое значение. С течением времени у них активизируется качественное значение и вытесняется процессуальное; суффиксы уменьшают свою семантическую пестроту, становятся постепенно все более стандартными по значению (тип *А* заменяется типом *В*)<sup>16</sup>. Процесс этот, характерный для XIX в., продолжается и в современном русском языке.

«В области суффиксального и префиксально-суффиксального образования имен существительных с отвлеченным значением современный русский язык обнаруживает тенденцию к концентрации и к усиленному использованию немногих основных словообразовательных типов. Большая часть словообразовательных моделей в сфере категории отвлеченности становится или стала непродуктивной. Это обстоятельство вызвано тем, что основные значе-

---

<sup>15</sup> Таким образом, условия, при которых осуществляется чередование типа *А*, и условия, при которых осуществляется чередование типа *Б*, отличаются тем, что в одном случае они охватывают данные всех языковых ярусов, а в другом — одного. Возможны переходные случаи, когда чередование определяется условиями двух ярусов; ср. выше упоминание о возможной лексико-грамматической обусловленности чередования.

<sup>16</sup> Земская Е. А. Об основных процессах словообразования прилагательных в русском литературном языке XIX в. // Вопр. языкознания. 1962. № 2.



ния, связанные с категорией отвлеченности, значения качества в отвлечении от предмета (или определенногo качества), значения состояния и действия в процессе исторического развития русского языка, становятся все обобщеннее, внутренние же оттенки и различия в круге того или иного из этих общих значений определяются как лексическим содержанием слова и его морфологическим строением (прежде всего — строением основы), так и соединением его с другими словами в составе словосочетания и предложения»<sup>17</sup>, т. е. определяются типизированными условиями сочетаемости аффиксов. Тенденция к использованию немногих словообразовательных типов всегда означает вытеснение одними аффиксами других, синонимических. Словообразовательные аффиксальные синонимы в русском языке распределяются, как правило, по типу *A*; вытеснение некоторых из них продвигает словообразовательную систему к тому состоянию, когда данное значение при всех основах передается одним аффиксом. И именно в «современном русском языке чрезвычайно остро и наглядно выступает тенденция к ускорению и распространению немногих обобщенных словообразовательных типов»<sup>18</sup>. Таким образом, в речевом потоке число случаев, когда данное грамматическое значение передается аффиксом *X*, все возрастает, число передач его аффиксами *Y*, *Z* падает; движение идет к тому, чтобы закрепить взаимооднозначное соответствие между грамматическим значением и его аффиксальным выражением<sup>19</sup>. Это и есть путь от типа *A* к типу *B*. Но почти все словообразовательные процессы в современном русском языке характеризуются именно устремлением к взаимооднозначным соотношениям обозначаемого и обозначающего<sup>20</sup>.

С другой стороны, продуктивные модели интенсивно вытесняют многие синонимические непродуктивные образования; аффиксы этих вытесняемых моделей постепенно превращаются в аффиксоиды. Они становятся наростами

<sup>17</sup> *Виноградов В. В.* Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии // Вопросы теории и истории языка... М., 1952. С. 125—126.

<sup>18</sup> *Виноградов В. В.* Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, С. 128. Ср. также ряд фактов и обобщений в: *Виноградов В. В.* Вопросы современного русского словообразования... // Рус. яз. в шк. 1951. № 2.

<sup>19</sup> Взаимооднозначное соответствие между обозначающим и обозначаемым можно считать одним из проявлений агглютинативности в строе языка (ср. *Doroszewski W.* Podstawy gramatyki polskiej, I. Warszawa, 1952. S. 134). Тогда, очевидно, можно считать, что современному русскому языку свойственна устремленность к усилению агглютинативных моделей. См.: *Леков И.* Отклонения от флективного строя в славянских языках // Вопр. языкознания. 1956. № 2. С. 19; *Ego же.* Tendencje rozwoju gramatycznego w językach słowiańskich // Poradnik językowy. 1958. 10. S. 483; *Skalička V.* Op. cit. S. 108—110.

<sup>20</sup> Более подробное описание этих словообразовательных процессов см.: Русский язык и советское общество (раздел «Словообразование»).

на корне, подобно таким отрезкам, как *-унок* в слове *рисунок* или *-арус* в слове *стеклярус*. Потеря продуктивности, сокращение числа слов, в которых представлен данный аффикс, обычно ведут к угасанию грамматической самостоятельности и отдельности аффикса. Он превращается в синтагматически закрепленный наполнитель слова или в обесмысленную «прокладку» (*Verbindung Morphem*) между семантически полноценными морфемами.

\* \* \*

Распространение и дифференциация типов слабого управления, замены связи согласования связями примыкания, «соположения» и т. д. говорит о том, что и в синтаксисе происходит движение от позиционной связанности к «раскрепощенности». Возрастание значения слабого управления за счет сильного — это усиление соотношений типа *B* за счет соотношений типа *A*. Распространение соположения за счет согласования — это усиление отношений *B* за счет отношений *B*.

#### 4

В современном русском языке позиционная скованность согласных уменьшается. Например, в сочетаниях «зубной согласный + мягкий губной» (*зверь, две*) еще в начале века были возможны только мягкие зубные. В настоящее время широко распространено и устойчиво произношение в этой позиции твердых зубных; но сохраняется в определенном круге слов и произношение мягких. Таким образом, перед мягкими губными оказались возможными и твердые, и мягкие зубные; ср. *разве* (с мягким [з']) и *развит* (с твердым [з]) и т. д. Подобные же процессы характеризуют и ряд других сочетаний согласных. Во всех подобных случаях в какой-то позиции становятся возможными звуки, ранее противопоказанные данному сочетанию.

В современной русской фонетической системе используется и другой путь превращения слабых позиций в сильные. Все шире распространяется произношение твердых губных в словах: *приготовьте, познакомьтесь, оставьте* и т. д. *семь, восемь* и т. д. Раньше такое произношение характеризовали как петербургское; теперь оно широко известно в речи людей, владеющих литературным языком, и за пределами Ленинграда. Например, оно присуще многим дикторам московского телевидения и радио. В результате изменения произношения ряда грамматических форм (*любят, терпят, ставят, потрафят, кормят* с [-ь] во флексии вместо прежних *любуют, терпят, ставят, потрафют, кормют*) мягкие губные оказались непредставленными перед лабиализованными гласными, за исключением форм *червью, голубю*.

Процесс, следовательно, направлен к тому, чтобы в каждой позиции были либо одни мягкие (перед [э]), либо одни твердые губные. Когда эта тенденция полностью осуществится, то в языке исчезнет фонематическое противопоставление по мягкости — твердости у губных согласных, и все позиции по этому качеству для губных окажутся сильными.

С другой стороны, мы наблюдаем изменения в позиционном размещении гласных. Они все больше подвергаются позиционному влиянию: во многих позициях становится все более жестким отбор возможных гласных. Усиливается роль гласных как дублетов согласных. Гласные подчеркивают мягкость или твердость согласных и «охраняют» этот признак<sup>21</sup>.

Итак, в современном русском языке наиболее существенным процессом является уменьшение синтагматической зависимости многих классов единиц. Это изменение обычно (но не во всех ярусах) сопровождается контрпроцессом: усилением синтагматической зависимости некоторых других классов единиц (как правило, численно ограниченных) и уменьшением их функциональной нагрузки.

## 5

Определение позиции, данное на фонетическом материале, было использовано для определения и описания некоторых грамматических закономерностей. Однако обнаружилось и отличие позиций «верхних» ярусов от позиций фонетических. Фонетическое определение на грамматическом уровне оказывается недостаточным. В фонетике позиционное влияние устанавливается в зависимости от определенного окружения. *Б* находится в позиции *А*, когда стоит рядом с *А*. Ясно, что для грамматики это условие не существенно: *А* может находиться в одном конце предложения, а *Б* — в другом, и все же между ними возникают отношения позиционной зависимости. Ср.: *Утром я ему все расскажу об этом; Я ему утром все об этом расскажу; Я утром все ему расскажу об этом; Об этом утром я все расскажу ему...* Меняется порядок слов, меняется окружение, но грамматические зависимости остаются неизменными. Очевидно, что в грамматике не только соседство указывает на позиционную зависимость; есть и другие способы подчеркнуть, что два элемента составляют одну синтагму.

Контраст между фонетикой и грамматикой в этом отношении, однако, не следует преувеличивать. Ведь и в фонетике соседство должно пониматься

---

<sup>21</sup> Подробнее эта тема изложена в кн.: Русский язык и советское общество (см. раздел «Фонетика»). Там же дан перечень фактов, характеризующих все процессы, кратко упомянутые здесь.

достаточно широко: важно не только контактное соседство, но и дистактное. В некоторых говорах неизбежно диссимилируются два [р], принадлежащих одному слову: *дилектор, секлетарь, колидор* и т. д. Позиционные отношения таковы: при наличии в слове звука [р] нейтрализуются фонемы ⟨р — л⟩ в предыдущей части того же слова. Этого достаточно, чтобы говорить о позиционной обусловленности: если в слове есть единицы *A* и *B*, то *B* влечет за собой определенный выбор единиц типа *A*. Точно так же и в предложении *Большую я совершил вместе со своим приятелем ошибку* синтагматическая зависимость между *большую* и *ошибку* обнаруживается в том, что единица *ошибку* влечет за собой выбор из парадигмы *большая — большой — больше — большего — больших* и т. д. одной определенной формы *большую*. *Большую* находится в синтагматически сильной позиции, т. е. показывает связи в синтагме и в парадигматически слабой позиции, так как противопоставление, например, формам *большого, большим* здесь нивелировано; сведена на нет и самостоятельная родовая зависимость этой формы. Напротив, в предложениях *Я помню тебя совсем маленьким; Я помню тебя совсем маленькой* налицо противопоставление *маленьким — маленькой* в одной и той же позиции; родовое различие перестает быть синтагматически обусловленным, возрастает (по сравнению с сочетаниями типа *большую ошибку*) парадигматическая независимость позиции; родовые окончания наполнены самостоятельной значимостью. В последнем предложении налицо такая синтагма: *помню тебя* (обусловливающий член, он определяет позицию другого члена) + *маленьким* (обусловленный член, он определен позицией другого члена). Вместо *помню тебя* может стоять: *видел его, вспоминаю Ивана, встретил доктора*; вместо *маленьким* может стоять: *утомленным, сердитым, спешащим, сотым* и т. д. Схема отношений такова: «переходный глагол (определенного лексического значения) + прямое дополнение» = обусловливающий член синтагмы; «имя с флексией твор. падежа» = обусловленный член. Само по себе *помню*, без дополнения, не позволяет появиться форме *маленьким*, так же и *тебя* не мотивирует появления формы прилагательного в твор. падеже. Вместе же *помню тебя* влекут за собой появление формы *маленьким* (точнее, мотивируют возможность появления этой формы). Для того чтобы установить позиционную зависимость, достаточно определить, что *A* влечет за собой какое-то *B*, что *A* ограничивает (или не ограничивает) выбор этих *B*.

Позиционная связь в этом случае показана не соседством форм, а их флективной относительностью. Флексии показывают, что в предложении *Большую я совершил вместе со своим приятелем ошибку — большую* находится в зависимости от *ошибку*; эта зависимость полностью отвечает той формулировке позиции, которая была дана на фонетическом материале. В фонетике позиционная зависимость выражается только либо непосредственным

соседством (т. е. примыканием), либо дистактным расположением — причем всегда стандартизована степень дистактности. В грамматике это лишь один из способов показать, что два члена входят в одну синтагму. Кроме него, есть и другие, например аффиксальная связь. В грамматике, следовательно, усложняются способы указания на то, что две единицы составляют одну синтагму.

В фонетике и не могло быть иного способа указать на позиционную зависимость, кроме примыкания (или, шире, соседства). Предположим, дан ряд фонем. Мы хотим обозначить их позиционную зависимость не соседством, а введением ряда показателей. Но фонема — мельчайший различительный знак в языке; значит, в качестве позиционных показателей мы можем ввести только фонемы же (меньшего не дано). Получается ряд фонем, в котором одни сегментные единицы находятся в определенных позициях, другие — такие же единицы — указывают позиции. Но надо иметь способы различать те и другие единицы. Значит, необходимо ввести новые показатели, позволяющие отличить сегментные единицы от единиц, которые характеризуют позиции. В результате введения этих новых показателей получаем задачу еще более усложненную: у нас три типа фонем. Становится очевидным, что решение этой задачи приводит к появлению других все более и более сложных задач. Ясно, что в ряду мельчайших единиц, т. е. в фонемном ярусе, позиция может быть показана только примыканием. Развернутая, многообразная система показателей того, что две единицы составляют синтагму, представлена в грамматике; в фонетике она редуцирована до простейшей формы. Поэтому понятие позиции в фонетике естественно рассматривать как упрощение, как редукцию позиционной системы в грамматике.

## О развитии русского языка в советском обществе (К постановке проблемы)\*

### 1

В XX веке Россия пережила огромные социальные сдвиги. Это не могло не отразиться на условиях существования русского языка и на тенденциях его развития. Литературная речь после революции была усвоена теми народными кругами, которые раньше владели только определенным местным диалектом или городским просторечием. Навыки литературного говорения для них были суперстратными; на первых порах сквозь эти навыки постоянно просвечивала субстратная, диалектно-просторечная основа. Естественно, нормы литературного языка оказались расшатанными. Исторические условия 20-х годов не позволяли сразу поднять школьное и педагогическое образование; не хватало учителей; не хватало книг; все это еще более усложняло языковое строительство, борьбу за строгую нормативность речи.

Как известно, временная языковая разруха очень беспокоила В. И. Ленина; именно он поставил перед советской общественностью важную задачу: отстоять стабильность русского литературного языка. Отказ от этой исторически сложившейся стабильности означал бы, что разорвана живая связь с традициями русской демократической культуры.

Говорят, что развитие литературного языка заключается и в том, что он все меньше развивается. Это совершенно справедливо, по крайней мере по отношению к фонетической и грамматической системе языка<sup>1</sup>. Такая законо-

---

\* Вопросы языкознания. 1962. № 3. С. 3—16.

<sup>1</sup> Недавно были сделаны первые (и очень несовершенные) попытки проверить при помощи теории информации, насколько реально и существенно замедление в темпах развития русского литературного языка. Проверке подверглись некоторые фонетические модели. Первые ориентировочные подсчеты показали, что энтропия определенных типических звуковых синтагм в связи с изменениями в фонетической системе русского языка постепенно уменьшается, но темп этих уменьшений на протяжении последних веков становится медленнее. Подсчеты велись по трем синхронным срезам: середина XVIII в., середина XIX в. и середина XX в. Энтропия опреде-

мерность имеет естественное объяснение: литературный язык соединяет людей не только в пространстве, но и во времени; чем больше на нем накоплено культурных ценностей, тем сильнее (и объективно оправданнее) стремление остаться в пределах этого языка. Поэтому постепенное замедление в темпах языковых изменений становится объективным законом развития литературного языка. Между тем стремительный наплыв диалектно-просторечных новшеств угрожал именно этой, исторически все более укрепляющейся, стабильности русского литературного языка.

Одна из больших заслуг советской общественности состоит в том, что она сумела отстоять литературный язык от разрушений, которыми грозили диалектные и просторечные вторжения. Борьба за строгую нормативность литературного языка прошла после Великой Октябрьской революции через несколько существенно различных периодов.

Литературный язык 20-х годов можно представить в виде двух концентрических окружностей. Меньшая — это строго нормативная речь, продолжающая традиции XIX — начала XX века. Большая — это пестрая и неустойчивая речь, которую только в потенции можно было назвать литературной. Через условную границу, разделяющую эти два типа речи, шло интенсивное перемещение конструкций и моделей. Строго литературная речь поглощала полулитературную, ассимилировала ее, сама обогащаясь и внутренне преобразуясь.

Новые носители литературного языка часто еще не сознавали всех функциональных различий внутри литературной языковой системы, не принимали в расчет контрастность между нормативными и ненормативными фактами речи. Особенности литературной речи активно усваивались, но самое представление о должном в языке, о норме оставалось во многих случаях еще чисто диалектным. В диалектах, конечно, тоже есть границы между тем, что хорошо и обычно в речи, и тем, что смешно и недопустимо. Однако пределы допустимого очень широки; синонимия единиц и моделей исключительно велика; использование и того, и другого, и третьего способа выражения оказывается функционально никак не разграниченным. То, что в литературном языке образует иерархию (стилистическую, семасиологическую и т. д.), в диалекте нередко выстраивается в один ряд. Овладеть новым пониманием

---

ленных синтагм, высчитанная с учетом звуковых законов XVIII в., оказалась больше, чем энтропия соотносительных синтагм, высчитанная с учетом звуковых законов XIX в.; еще меньше она оказалась для XX в. Но контраст между данными XVIII и XIX вв. гораздо более резок, чем контраст между XIX и XX вв. Дальнейшие исследования покажут, насколько всеобщи и характерны для развития литературного языка эти отношения. Изучение этой проблемы проводится в Институте русского языка АН СССР сектором современного литературного языка.

нормы, характерным для литературного языка, можно было только на перво-классных авторитетных образцах современной речи. Такими образцами оказались статьи, выступления В. И. Ленина и его соратников (М. И. Калинина, А. В. Луначарского, Я. М. Свердлов, А. В. Чичерина и др.).

Щедро отразила «языковую смуту» 20-х годов художественная литература. Речевые контрасты были использованы с целями экспрессивно-художественными; они соответствовали идейно-образным противопоставлениям в произведении. Типизированные речевые маски получали эстетическую оценку; факты речи были соотнесены с литературной языковой нормой (субъективно преломленной в сознании писателя). Речевые характеристики, кроме того, выступали на фоне авторской речи, и этот контраст опять-таки позволял читателю оценить степень нормативности изобразительно-экспрессивных частей повествования. Впрочем в это время нейтральный, строго нормативный фон иногда и вовсе отсутствовал; контраст между ним и «раскрашенными» языковыми кусками произведения нередко был нивелирован. Все же заслуги художественной литературы этого периода в воспитании чувства языковой нормы неоспоримы. Однако в целом надо признать, что в этот период литературная речь оказалась переобремененной сообщениями на уровне «Kundgabe» (по терминологии Бюлера и Трубецкого); разгрузка была неизбежна, и она наступила.

30-е и 40-е годы — это время укрепления литературно-языковых норм. Нейтральный стиль, самый нормативный, самый традиционный и устойчивый, становится особенно желанным в литературном языке и оттесняет другие стилистические системы. Идет шлифовка семантических соотношений в этом стиле; в центре внимания не «Kundgabefunktion», а «Darstellungfunktion». Успехи художественной литературы в эту пору связаны с произведениями, раскрывающими смысловое богатство, семантическую гибкость и выразительность нейтрального стиля языка (проза М. Пришвина, А. Толстого, Ю. Олеши, В. Катаева, А. Фадеева, К. Паустовского, К. Федина). Это был плодотворный и необходимый процесс: развитие окрашенных стилей в пределах литературного языка возможно только на фоне нейтрального стиля и в соотношении с ним. Совершенствование других стилей в пределах литературного языка требовало, чтобы сначала был укреплен нейтральный стиль — то начало всех координат в системе литературного языка, от которого и ведутся стилистические отсчеты.

Но закономерный процесс укрепления литературно-языковых норм породил и целый ряд болезненных явлений. Появились рецидивы пуризма; литературная речь (и художественная, и деловая, и бытовая) часто обескровливалась и упрощалась. Использование в художественной литературе речевых масок, воспроизводящих просторечную, арготивную, диалектную речь, стало



иногда восприниматься настороженно или враждебно, даже если включение этих речевых характеристик было оправдано образной структурой произведения<sup>2</sup>. Наиболее актуальным в эту эпоху оказалось противопоставление: литературность — нелитературность речи; при этом понятие литературности часто сужалось до понятия нейтрального стиля. Другие противопоставления оказались отодвинутыми на задний план<sup>3</sup>.

Наконец, сравнительно недавно (в 50-х годах) начался третий период в развитии литературной языковой нормы. О нем особенно трудно говорить: далеко не все его тенденции выявились и определились. В центре внимания теперь находится разработка внутрилитературных стилистических контрастов; сам литературный язык понимается как система стилей; каждому из них присуща особая нормативность. Объективно это было так и в предыдущие периоды, но только теперь настало время интенсивно, напряженно совершенствовать эти внутрилитературные соотношения. Все окрашенные стили литературного языка (разговорный, книжный, ораторский и т. д.) соотнесены с нейтральным; только после укрепления нейтрального стиля стало возможно глубокое развитие «окрашенных» стилей. В художественной литературе снова возникают тенденции инкрустировать литературную речь диалектными, жаргонными характеристиками, остро индивидуальными отклонениями от литературности, но на строгом фоне общелитературной, точно нормированной речи.

Тенденции, особые для каждого периода, охватывали весь литературный язык, во всех его функционально различных проявлениях. Они выявлялись и в бытовой речи, и в деловых документах, и в художественной литературе. Но в каждом функциональном ответвлении литературного языка выявлялись по-своему. Судьбы языковой нормы во многом зависят от способов передачи и усвоения литературного языка. До революции в усвоении языковых норм первостепенную роль играли семейные традиции. Круг интеллигенции, которая являлась носителем литературного языка, был социально замкнут и относительно неподвижен. Навыки литературного говорения передавались из по-

---

<sup>2</sup> Характерный пример стремления к ультранейтральности речи — стилистико-языковые заметки И. В. Сталина на первый том «Истории гражданской войны». Все, что отступало от безлично-нейтрального языкового фона (хотя бы и было само по себе заурядно-шаблонно), оценивалось как «модернизм» и зачеркивалось. Стремление к нормативной строгости превращалось в требование нормативного однообразия и серости. (См. *И. [И.] Минц*. Подготовка великой пролетарской революции (к выходу в свет первого тома «Истории гражданской войны в СССР») // *Большевик*. 1935. № 21. С. 26—28.)

<sup>3</sup> Это относится в первую очередь к массовой литературной речи, а не к отдельным вершинным ее проявлениям.

колениа в поколение примерно так же, как передаются навыки диалектного говорения. Если литературная норма допускала вариативность, то свободного выбора одного из вариантов не было: усваивалось то, что было дано семейной традицией (или традицией узкой социальной и локальной группы).

И вот этот узкий круг носителей литературного языка распахнулся, во-брав в себя массы людей, которые упорно усваивали новые нормы речи, отказываясь от диалектного или просторечного говорения. Семейные традиции перестали быть основным средством передачи навыков речи. Книга превратилась в первого учителя языка. Усвоение литературных норм при этом стало более осозанным. Большой простор открылся для рационалистического отбора произносительных, грамматических, лексических вариантов в пределах литературной нормы. Благодаря тому, что усилия новых хранителей и строителей литературного языка были сознательно направлены на усвоение строгой нормативности речи, оказалось возможным в короткий срок, в три-четыре десятилетия преодолеть (или значительно сократить) контрасты между строго литературной речью («меньшей окружностью») и речью полулитературной («большой окружностью»).

Ориентация на книгу как на главного учителя языка обусловила массовое проникновение элементов книжной речи в разговорную, нечеткое разграничение разговорных и книжных норм языка (явление, очень характерное для 20-х и 30-х годов). Но постепенно пути усвоения и обогащения литературной речи становились все более разнообразными. Рядом с книгой стало радио; очень может быть, что его влияние на живую, звучащую речь со временем станет главенствующим. Радио расширило возможности влияния сценической речи на общие языковые нормы. Наконец, созданы новые семейные традиции литературной речи — на значительно более широкой социальной базе, чем раньше. Все это способствовало и способствует более органическому, более глубинному усвоению литературных норм всей массой говорящих по-русски, чем это было в первые годы революции.

Изучение литературной нормы в русском языке советской эпохи ставит перед исследователем много важных и трудных задач. Надо изучить влияние на формирование современной литературной нормы языка политической публицистики; отражение в художественной литературе различных этапов строительства новых языковых норм; роль радио в пропаганде и распространении литературной речи; стабильность современных семейных традиций литературного говорения (для разных социальных кругов)<sup>4</sup>; усиление сознательного отбора языковых норм, сознательной деятельности в формировании

---

<sup>4</sup> Изучение устойчивости семейных речевых традиций (по массовым материалам фонетического вопросника) начато Институтом русского языка.

литературного языка. Особо важно для каждого периода — изучить различное общественное понимание и оценку языковых норм.

## 2

За прошедшие полвека много новшеств вошло в стилистическую систему русского языка. «... Развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом», — писал Л. В. Щерба<sup>5</sup>. Стили языка образуют систему. В основе ее лежит нейтральный, неокрашенный, немаркированный стиль. Ему противопоставлены две группы по-разному маркированных стилей: высокие и сниженные (разговорные). Высокие стили связаны с особо значительными, с точки зрения говорящего, социальными ситуациями; сниженные — с ситуациями, которые оцениваются как обычные; нейтральный стиль не содержит в себе оценки речевой ситуации. Поскольку в стилях языка запечатлена оценка и классификация характерных социальных условий общения, постольку стили особенно чутко и разносторонне отразили изменения в общественных условиях бытования языка.

Стилистические парадигмы пронизывают все ярусы: лексику, словообразование, словоизменение, синтаксис, фонетику. В лексике это соотношения типа *очи — глаза — гляделки*.

Ср.: у А. А. Блока:

⟨...⟩ смотрят  
Его гляделки в ясные глаза.  
(«Вольные мысли»)

У П. Г. Антокольского:

В страшный час мировой этой ночи,  
В страшный час беспощадной войны  
Только зоркие, чистые очи  
Называться глазами должны.  
(«Третья книга войны»)

В словообразовании — это соотнесенность морфемных моделей. Ср. *формализм, утопизм — формалистика, утопистика* и т. д.; *перекручивание, забрасывание, отбеливание, замораживание — перекрутка, заброска, отбелка, заморозка* и т. д. В синтаксисе — это соотношения конструкций таких, например, типов: *Если бы я пришел раньше... — Приди я раньше... или Автор, переведший... — Автор, который перевел... и т. д.* В каждом ярусе эти

<sup>5</sup> Щерба Л. В. Современный русский литературный язык // Рус. яз. в шк. 1939. № 4. С. 23.

отношения темперированы; так, книжные, высокие стили в лексике образуют несколько подгрупп, в разной степени, с большей или меньшей резкостью противопоставленных нейтральному стилю. Эти подгруппы соотносительны с градацией, например, синтаксических стилевых средств и т. д. Так как стилистические отношения охватывают весь литературный язык, то, естественно, изменения в стилистике влияют на лексическую, грамматическую, фонетическую системы; именно поэтому стилевые градации должны быть в центре внимания при изучении истории русского языка в советском обществе.

Стилистические изменения, характерные для последнего периода в развитии русского языка, обнаруживают общие закономерности в разных языковых ярусах. Большинство из этих изменений связано с демократизацией русской литературной речи, с распространением ее в самых широких народных кругах. Резко усилилось влияние разговорных стилей на нейтральный. Вместе с тем большой вес, большее значение приобрел сам разговорный стиль; нормы его (в их предельном выражении) стали более контрастными по отношению к нейтральному стилю. Высокие стили также испытали влияние стиля разговорного, но оно не было особенно интенсивным. Влияние книжного стиля (т. е. одного из высоких) на нейтральный оказалось весьма значительным; в 20—30-е годы это было связано с недостаточной разграниченностью у массы говорящих норм книжной и устной речи, а позднее стимулировалось стремительным развитием социалистической культуры, в первую очередь науки, ее широким проникновением в быт, в повседневные человеческие отношения.

Особенные трудности представляет изучение современного разговорного стиля, его изменений, его норм. Он почти целиком игнорируется языковедами; его реализации трудно зафиксировать и проанализировать. Этот стиль в своих наиболее чистых и специфических формах проявляется только в обстановке непринужденного и естественного общения; внесение любых, даже самых незначительных, искусственных условий в общение неизбежно спугнет разговорную речь, во всяком случае — сузит ее возможности. Еще большая трудность в том, что речь, реализующая разговорный стиль, предельно автоматизирована; обычно и сам исследователь (не только говорящий) не замечает ее, не может схватить в естественном течении. Наблюдение, что слова *есть* и *десять* в этом непринужденно-привычном стиле могут произноситься одинаково, оказалось неожиданным и удивительным открытием; Е. Д. Поливанов установил этот факт, используя наблюдения студентов-китайцев, речевое восприятие которых по отношению к русскому языку не было фонематически автоматизировано. Каждое новое наблюдение за этой речью пока дается с трудом и часто вызывает сомнения и недоверие.

Часто говорят, что эта раскованная и непринужденная речь находится за пределами литературного языка. На самом деле она разновидность последне-

го, так как не включает никаких диалектных и просторечных особенностей; этой разговорной речью пользуются в определенных ситуациях (дружеская беседа, бытовой разговор и т. д.) те же люди, которые в других условиях полно и точно применяют нейтральный и высокие стили языка<sup>6</sup>.

Разговорная речь в значительной степени обособилась от остальных стилей языка. Чтобы начать планомерное исследование этой речи, надо организовать систематическую ее запись, собирание массовых фактов. Пока же характеристика разговорного стиля неизбежно будет отрывочной и скупой.

В этом стиле предельно широко используются метафорические и метонимические осмысления слов и выражений. Возможность синонимических замен в нем гораздо шире, чем в других стилях. Многие семантические контрасты и разграничения нивелируются, текстуально «снимаются». Вообще значение контекста (и конситуации) для понимания отдельных слов и выражений здесь значительно выше, чем в любых иных стилях.

Эмоциональная окрашенность лексических единиц в разговорном стиле выявляется особенно резко и подчеркнута. Сильна фразеологическая спаянность отдельных лексем.

Закономерны и часты в этом стиле различные окказиональные словообразования [типа: *Надоело мне стеречь твоих вещей* (пример Л. В. Щербы)]. Ряд моделей, являющихся нерегулярными для нейтрального и высоких стилей, высокорегулярны в разговорном. Грамматические формы у определенных лексем, запретные для других стилей, в разговорном оказываются допустимыми (ср.: *я его убежу; берега* и т. д.).

Синтаксические особенности этого стиля особенно своеобразны и резки. Можно думать, что в разговорном стиле действуют особые синтаксические тенденции, чуждые другим стилям. Многообразны в нем, например, типы расчленения сообщения на две резко противопоставленные части: указание на тему сообщения и самое сообщение (в высоком стиле этому соответствуют конструкции с именительным представлением: *Москва!.. Как много в этом звуке...*). Вот несколько примеров (записи устной речи). У газетного киоска: — *«Иностранная» — у вас седьмой?* — В переводе на нейтральный стиль: — *Это у вас седьмой номер журнала «Иностранная литература»?* В беседе: — *Иванов? Его согласие нам не нужно; а Селиванов будет за.* На железнодорожной станции: — *Пассажирский на Люберцы... Это со следующей платформы?* В нотариальной конторе: — *Нотариальная пошлина; вам можно заплатить?*<sup>7</sup> Всюду одно и то же стремление: вынести вперед и

<sup>6</sup> Сказанное не исключает, конечно, и того, что существует масса всяких индивидуальных типов говорения, находящихся за пределами литературного языка.

<sup>7</sup> При помощи знаков препинания здесь делается попытка передать хотя бы некоторые особенности интонационного членения речи.

обособить указание на предмет сообщения, превратить его в особый синтаксический фрагмент. Все такие конструкции соотносительны с конструкциями нейтрального стиля. Все они могут быть заменены нейтральными синтаксическими построениями. Но вряд ли их можно рассматривать как эллиптическое сокращение нейтральных по стилю конструкций. Сами принципы их построения в разговорном стиле специфичны.

Описание тенденций в развитии современного разговорного синтаксиса, анализ синтаксических моделей в разговорном стиле — одна из наиболее трудных, но и наиболее важных задач нашей русистики. Разговорный стиль находится в пределах литературного языка; он нормирован, его нормы соотносены с нормами нейтрального стиля. Необходимо точное определение этих норм, описание пределов их варьирования, выяснение тех границ, нарушив которые, литературный разговорный стиль переходит в нелитературное просторечие<sup>8</sup>.

Есть основания все описанные превращения в стилевых соотношениях так или иначе связывать с функционированием языка в новых социальных условиях. Но стили имеют и такие внутренние тенденции развития, которые проявляются независимо от социальных условий существования языка, «... все большее расширение области применения литературного языка вызывает рост дифференциации стилей, все большее их дробление, с одной стороны, а с другой — использование их противопоставлений на коротких отрезках, их композиционное сочетание»<sup>9</sup>. Эти стилистические устремления, ясно проявлявшиеся в русском языке XIX в., продолжали действовать и в языке советской эпохи. Очень большую расчлененность, четкую темпированность приобрела шкала «высоких» (книжных, ораторских, поэтических) стилей. Соотношения в стилистических парадигмах оказались очень тонко нюансированными. Вместе с тем явно обострилась тенденция к композиционным сочетаниям разных стилистических планов в одном тексте; стилистическая расчлененность текста в синтагматическом отношении также усилилась.

Стилистика языка, как видно из сказанного выше, выражена в различных системно закрепленных соотносительных рядах (лексических, или словообразовательных, или синтаксических и т. д.). Стилиевые градации в языке мож-

---

<sup>8</sup> Особенности русского разговорного стиля в некоторых отношениях подобны особенностям чешского разговорного языка (четко обособившегося от «книжной» литературной речи); в других же отношениях это подобие отсутствует. Сопоставительное изучение разговорного стиля в русском и чешском языках (особенно в области лексики, синтаксиса, словообразования, фонетики), несомненно, поможет прояснить многие закономерности в развитии русской стилистической системы.

<sup>9</sup> С[ухотин] А. [М.] Стилистика лингвистическая // Лит. энциклопедия. Т. 11. М., 1939. Стб. 39—40.

но представить в виде парадигм. Стилистическая парадигматика и есть, собственно говоря, то, что называют стилями языка. Стилистическая синтагматика подводит нас к иной проблеме: к изучению стилей речи. Нет текстов, в которых использовались бы только слова высокого стиля; они неизбежно будут сочетаться с большим количеством слов нейтрального стиля. Нейтральный стиль создает фон, который окрашивается вкраплениями иного стиля.

В каждую эпоху существуют относительно устойчивые типы сочетания слов разных стилистических групп в пределах одного текста; эти типы можно назвать речевыми жанрами. Выступление на собрании, передовая в газете, приятельская беседа, стихотворная басня, приказ по военному подразделению, шуточная песенка, дипломатическая нота, речь защитника на суде, научно-популярная статья, справка из учреждения, историческая драма — в каждом из этих речевых жанров сочетаются по своим законам единицы неокрашенного (нейтрального) и окрашенных стилей. Исторически очень изменчивы приемы сочетания стилистически контрастных единиц и конструкций в пределах целостного сообщения, принципы отбора лексического и грамматического материала для речевых жанров, способы сочетания нейтрального фона со стилистическими наслоениями, количественные соотношения единиц разной стилистической окрашенности в типичных для данного речевого жанра текстах.

В нашу эпоху «изменения в самой структуре русского языка менее глубоки и разнообразны, чем изменения в жанрах и типах общественно-речевой практики, в характере и организационных формах социально-речевого общения»<sup>10</sup>. Поэтому изучение стилистических речевых жанров (разумеется, с применением статистического метода) необходимо для того, чтобы определить различные изменения и переинтеграции в современном русском литературном языке, возникшие в качестве ответа на известные социальные сдвиги.

### 3

Считают, что влияниям новой социальной действительности подверглись в языке лишь отдельные частности, целостная же языковая система осталась неизменной. Это мнение не так неоспоримо, как может показаться. Действительно, социальные воздействия часто преобразуют отдельные языковые (или речевые) явления; но далее следует цепная реакция: одно изменение влечет за собой ряд других, иногда совсем в иных ярусах языка. Эти изменения могут быть микроскопичны и мало заметны, но все же они образуют определенное

---

<sup>10</sup> *Виноградов В. В.* Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры // *Вопр. языкознания.* 1961. № 4. С. 4.

«поле» взаимосвязанных фактов, а не изолированную точку. Вот один пример, подтверждающий это.

В литературном языке начала XX в. было три спряжения. Каждое из них можно характеризовать формой 3-го лица мн. числа: 1) тип *сидят, твердят* (с ударной флексией *-ат*); 2) тип *берут, встают* (с ударной флексией *-ут*); 3) тип *знают, сидеют, видют, просят, ловют, любят, терют* (с безударной флексией *-ут*). Норма была прочной и стойкой: без ударения использовалась только флексия *-ут*; на письме же она в ряде случаев (у глаголов так называемого «второго спряжения») передавалась буквенными сочетаниями *-ат, -ят*. Все многочисленные описания русского языка начала XX в. подтверждают полное господство этой нормы. Но все же «буквенное произношение» *видят, просят, ловят* и т. д. просачивалось в литературный язык<sup>11</sup>, хотя крайне медленно и скупо. Оно проникало в разные социальные ответвления литературной речи и оценивалось как «семинаристская привычка», как манерная речь петербургского чиновничества и т. д. Проникновение его в строго нормированную речь встречало сильнейшее сопротивление. После революции, когда основным наставником в усвоении литературного языка на первых порах оказалась книга, с удивительной быстротой распространилось и упрочилось «буквенное произношение» глагольных флексий 3-го лица (*видят, просят* и т. д.).

Это не было безразлично для морфологической системы русского языка. Если взаимно-однозначное соответствие между значением (или комплексом значений) и его выражением называть агглютинативностью, то следует признать, что в безударных глагольных флексиях русского языка форм *видют, просят, знают...* была достигнута предельно высокая степень агглютинативности. Напротив, в ударных флексиях один и тот же комплекс значений передавался двумя различными выражениями: звуковыми комплексами *-ут* и *-ат*. Распространение ударной схемы отношений на безударные флексии означало уменьшение агглютинативности в послекорневой части глагола.

Это морфологическое явление имело неожиданные и значительные фонетические последствия. Среди согласных русского языка, противопоставленных по твердости — мягкости, самое слабое звено — губные согласные. У них твердость и мягкость во многих позициях нейтрализована: перед всеми согласными, даже перед задненёбными (возможны только твердые губные); перед /э/ (только мягкие губные). Лишь на конце слова<sup>12</sup> и перед /а, о, у, и/ губные оказываются противопоставленными по твердости — мягкости. Но и

<sup>11</sup> Слова «буквенное произношение», конечно, не могут никого ввести в заблуждение: здесь речь идет не о фонетических, а о морфологических фактах.

<sup>12</sup> Точнее, перед диэремой (фонетическим сигналом границы слов или морфем); ср. *рассытсья, рассыттьте* и пр., с сочетаниями [п'с], [п'т'], которые невозможны внутри единицы, не расчлененной диэремой.



здесь в ряде позиций противопоставленность резко ослаблена. Перед ударным [о] часто встречаются в словоформах твердые губные, но весьма редки мягкие (ср. *вёл, мёл, ревёт, ревьешь, рвёт, гребёт, ошибётся, червём* и некоторые другие словоформы). Перед [у] тоже обычны твердые губные, а мягкие встречаются только в следующих случаях: а) в словоформах *червью, голубю*<sup>13</sup>, б) в формах *любуют, терпят, ловют, потрафуют, кормют* и т. д. (около 710 случаев)<sup>14</sup>. Вытеснение этих форм другими, «буквенными» (*любят, терпят* и т. д.) сильно ослабило противопоставленность твердых и мягких губных перед [у]. Мягкий губной теперь представлен в этой позиции только в словоформах *червью, голубю*.

Представим такую фонетическую систему, где перед губными гласными [о, у] возможны только твердые губные согласные. Тогда в сочетаниях «губной согласный + губной гласный» обе звуковые единицы обладают единым для всего отрезка низким собственным тоном (так же, как в сочетаниях «согласный + [э]» налицо единый для всего звукового отрезка высокий собственный тон). С падением словоформ *любуют, терпят* и заменой их формами *любят, терпят* сделан весьма решительный шаг в сторону именно такой системы распределения губных согласных перед губными гласными<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Не следует принимать в расчет заимствования типа *дебют, куафюра* и под., входящие в группу слов с особой фонетикой.

<sup>14</sup> Подсчеты здесь и дальше произведены по обратному словарю Г. Г. Бильфельдта; при этом учитывались, конечно, не только приведенные там начальные формы слов, но все парадигматически возможные от приведенных форм.

<sup>15</sup> Пока существуют (или возможны) такие формы, как *червью, голубю*, сохраняется противопоставленность мягких — твердых согласных в этой позиции. Но было бы неверно не учитывать количество единиц, в которых налицо исследуемые сочетания (в данном случае «мягкий губной + [у]» и «твердый губной + [у]»). Предположим, в каком-то языке существуют фонемы с такими частотностями:

$$g = 0,018; \quad k = 0,096; \quad k' = 0,039; \quad x = 0,047;$$

$$g^\circ = 0,000; \quad k^\circ = 0,236; \quad k'^\circ = 0,002; \quad x^\circ = 0,043.$$

Ч. Хоккет, анализируя эту схему заднеязычных взрывных (таосского языка), справедливо отмечает, что без указания частотностей пришлось бы констатировать, что фонема  $g^\circ$  отсутствует в этом языке, а фонема  $k'^\circ$  существует. Но на самом деле, как показывает подсчет частотностей фонем, они предельно близки друг другу и «существование» в языке одной фонемы почти не отличается от «несуществования» другой (*Hockett Ch. F. A manual of phonology. Baltimore, 1955. P. 143*). Если бы мы подсчитали частотность сочетания «мягкий губной + [у]», то она неизбежно оказалась бы исключительно малой (так как это сочетание налицо лишь в словах *червью, голубю* и в нескольких заимствованиях). Наличие этого сочетания предельно близко к его отсутствию в языке и речи. А следовательно, и противопоставленность мягких и твердых губных перед [у] предельно близка к их непротивопоставленности (в этой статье всюду берется только синтагматический план фонологии).

«Исчезновение» мягких губных перед [у] вообще значительно уменьшило весомость признаков мягкости — твердости у этих фонем. По данным обратного словаря Бильфельдта, мягкие губные согласные встречаются: перед диэремой (положение в конце слов, а также у повелительных форм глаголов перед частицами *-ся* и *-те*) — у 720 словоформ; перед [а] — у 360 словоформ<sup>16</sup>; перед [у] — у 710 словоформ, почти исключительно у глаголов типа *любят*, *терпят* и т. д. (кроме них, как указывалось, еще два других случая). Вытеснение этой массы форм, мощно представлявших сильную позицию для губных перед [у], было значительным шагом к полному вытеснению у губных противопоставленности по твердости — мягкости.

С другой стороны, появилось множество форм с сочетанием «мягкий губной + гласный [ъ]». После мягких этот гласный возможен в одном лишь случае: если он начинается собой флексию. Поэтому было бы правильно считать, что мягкие губные в словоформах *любят*, *терпят*, *кормят* и т. д. находятся в позиции перед диэремой (сочетание «мягкий губной + [ъ]» сигнализирует о наличии границы между двумя сегментными языковыми единицами, т. е. о наличии диэремы)<sup>17</sup>. Вывод таков: противопоставленность твердых и мягких губных внутри морфемных единств резко упала, но она укрепила свое значение в качестве сигнала синтагматических границ.

Как видно, изменение в морфологическом составе ряда слов, вызванное новыми условиями существования русского языка, отозвалось и на некоторых фонетических соотношениях, немаловажных для языка. Влияние буквенного воспроизведения глагольных форм неожиданно оказало поддержку двум тенденциям в русском языке: 1) постепенной утрате различительной силы по твердости — мягкости у губных согласных, 2) усилению фузионности в послекорневой части глагольного слова.

Характер предкорневых и послекорневых аффиксов у русского глагола контрастен. Предкорневые морфемы стремятся к агглютинации, послекорне-

---

<sup>16</sup> Мягкие губные перед [о], как говорилось, достаточно редки. Число мягких губных перед [и] огромно; зато ограничены случаи твердых губных перед [ы]. Это понятно: [ы] — зависимый позиционный вариант фонемы /и/. Общее правило можно сформулировать так: перед каждым гласным сравнительно реже представлены в словоформах или мягкие, или твердые, но всегда — те согласные, которые сочетаются с позиционно-зависимой вариацией гласного. Иначе: сравнительно ограничено число случаев, когда с гласным сочетается губной, изменяющий качество гласного.

<sup>17</sup> Очевидно, позиция, описанная таким образом, охватывает и случаи *червью*, *голубю*. При использовании форм *любят*, *терпят* не вставал вопрос о наличии диэремы после корня, так как сочетание «мягкий согласный + [у]» возможно не только на стыке морфем.

вые — высоко фузионны<sup>18</sup>. Фузионность их двустороннего типа: фонемный состав аффиксов (при тождественном грамматическом значении) очень вариативен; значение аффиксов (даже при тождественном фонемном составе слова) крайне текуче, зыбко, распадается на ряд неопределенных оттенков. Только два факта противоречат этому: а) четкая агглютинация аффикса *-те* после повелительной формы; б) безударные флексии *-ут*, взаимоднозначно связанные с определенным комплексом значений<sup>19</sup>. Эта вторая черта была «затерта» в ходе языковой эволюции. Контраст предкорневой агглютинации и послекорневой фузии выступил после этого ярче, последовательнее. Таким образом, облегчено было дальнейшее действие эволюции в том же направлении. Именно: все шире распространяется сейчас (в речи людей, говорящих литературно) такая реализация повелительных форм: *пригото[ф]те, оста[ф]те, познако[м]тесь, рассы[п]те* и т. д.<sup>20</sup> У дикторов московского радио и телевидения это произношение встречается достаточно часто.

Причины этого процесса ясны. Здесь повелительное наклонение выражено и меной конечных согласных основы (парные твердые заменяются мягкими перед всеми флексиями этого наклонения, в том числе и перед нулевой), и аффиксом *-те*. Дублирование показателей устраняется без ущерба для грамматической выразительности этих форм (ср. отсутствие такого процесса в формах *подготовься, познакожься*, где нет подчеркивающего дублирующего повелительного аффикса, подобного *-те*).

Итак, действуют две тенденции: усиление фузии в глагольных постфиксах; ослабление противопоставленности губных по твердости и мягкости внутри диэремно не разграниченных, фузионно-сплавленных единиц. Обе эти тенденции и приводят к появлению таких языковых фактов, как *приго-*

<sup>18</sup> Русский глагол характеризуют «с одной стороны, спаянность всех морфологических элементов, примыкающих к глагольной основе „сзади“, а с другой стороны, неразрывная слитность с ними самой основы» (Виноградов В. В. Русский язык. М.: Л., 1947. С. 441). Послестороннюю часть глагола характеризует «спаянность всех морфологических элементов, „фузионность“ морфем в структуре глагольного слова» (там же). Напротив, «господство префиксов придает системе русского глагола отпечаток агглютинативного строя» (там же, с. 55).

<sup>19</sup> Может показаться, что флексия первого лица *-у* также высоко агглютинативна (в том смысле, как указано выше). Но это не так: перед флексией *-у* обычны чередования в корне глагола; следовательно, эта флексия вызывает морфонемную вариативность корня и тем нарушает принцип взаимоднозначного соответствия между значением и выражением.

<sup>20</sup> Здесь идет речь не о признании форм типа *пригото[ф]те, познако[м]тесь* и пр. литературными, а лишь о тенденциях, пробивающих себе путь в литературный язык.

то[ф]те, познако[м]тесъ и т. д.<sup>21</sup> Исходное явление было точечным, касалось ограниченного числа языковых фактов, но отзвуки этого явления были значительными, потому что оно вошло в сеть многих фонетических и морфологических отношений, было сцеплено со многими другими фактами; оно поддерживало определенные тенденции в языке и было поддержано ими.

Можно привести еще немало примеров такой «цепной реакции» в языке, возникшей под воздействием новой социальной действительности. Еще А. М. Пешковский отметил распространение синтаксических конструкций типа *врач пришла* (когда имеется в виду женщина). Сейчас не только в бытовой речи, но и в газетах, журналах постоянно встречаются сочетания *кондуктор объявила, инспектор сказала нам, прораб разъяснила* и т. д. Этот тип синтаксических конструкций широко распространился после Октябрьской революции. Такие конструкции возможны не со всеми существительными мужского рода. Не встречаются сочетания *ткач сказала, поэт написала, учитель спросила* и т. д., потому что у этих существительных есть соотносительные слова женского рода: *ткачиха, поэтесса, учительница*. Распространение сочетаний *председатель, директор, кондуктор спросила* привело к тому, что соотносительные существительные *председательница, директориса, кондукторша* и др. ушли в пассивный словарь говорящих, и сейчас вряд ли было бы возможно встретить эти слова в стилистически нейтральной речи. Синтаксическое явление в данном случае оказалось связанным с падением морфологических противопоставлений у словесных пар определенного типа.

В народных говорах, в профессиональных аргосе особенно многочисленны отглагольные существительные с суффиксом *-к(а)*. В 20—30-е годы, когда диалектная речь оказывала особенно сильное давление на литературный язык, многие из этих слов стали обычными и в литературной речи; большое число таких лексем было заимствовано из диалектов. Этот лексический факт был существен и для морфологии. Под влиянием большого наплыва таких существительных модель «основа префиксального переходного глагола + *-к(а)*» стала регулярной. Иначе говоря, теперь такие образования возможны от любого глагола указанного типа; существительное с суффиксом *-к(а)* уже потенциально существует, если есть соответствующий глагол. Образование форм *прокрутка, отмерка, подсыпка, разливка* и т. д. принципиально ничем не отличается от образования какой-нибудь парадигматической формы глагола, например 1-го лица, если известны формы инфинитива или 3-го лица

---

<sup>21</sup> Напомним, что сочетания [ф'т'], [м'т'] невозможны внутри современного русского слова, если отсутствуют диеремные разграничения.

мн. числа. Различие же между регулярными и нерегулярными формами для морфологии исключительно важно<sup>22</sup>.

Итак, изучение развития русского языка в советском обществе требует, чтобы различные ярусы языка изучались в их диалектическом единстве. Необходимо, изучая морфологические явления, выйти за рамки морфологии; и так во всех других ярусах. Это нередко противоречит нашим исследовательским привычкам. Нужно преодолеть барьеры узкой специализации и идти по пути комплексных поисков и решений.

#### 4

Один из центральных вопросов современного языкознания — соотношение внутренних и внешних факторов развития языка. Русский язык советской эпохи дает особенно яркий и богатый материал для изучения взаимодействия этих двух типов закономерностей.

Нельзя всякое новшество в языке, появившееся или распространившееся после 1917 г., приписывать воздействию новой социальной действительности. Есть общие тенденции в развитии языка, проявляющиеся на протяжении длительного времени, которые обусловлены внутренними соотношениями в системе. Только изучив и выделив эти внутренне обусловленные тенденции, мы сможем найти и такие черты в эволюции языка, которые нельзя объяснить изнутри системы; ясно, что необходимо их истолковать как результаты влияния на язык новых социальных условий его существования. Воздействие социальной действительности на язык не может быть деструктивным, не может разрушать языковую систему. Внешние факторы никогда не отменяют действия внутренних законов языка, они способны только ускорить или замедлить действие отдельных тенденций развития языковой системы или же предоставить новый материал, подлежащий воздействию этих законов. Если остановиться на этой точке зрения, то можно предположить, что социальные воздействия вносят только внешне-количественные изменения в языковую систему, а не порождают новые внутренние тенденции ее развития. На самом деле это не так: взаимодействие внутренних и внешних факторов сложнее.

---

<sup>22</sup> А. И. Смирницкий выделял в языке, с одной стороны, слова, фразеологические комплексы и т. д., с другой — формулы предложений (*Смирницкий А. И.* Синтаксис английского языка. М., 1957. С. 37). Регулярная словообразовательная модель подобна формуле предложения: она существует как абстрактный закон образования массы речевых конкретных единиц. Превращение нерегулярной модели в регулярную — это, строго говоря, введение в язык новой абстрактной словообразовательной единицы и превращение массы конкретных словесных образований, соответствующих этой модели, в единицы чисто речевые.

Изучение русского языка советской эпохи помогает яснее определить самую «технику» взаимодействия внутренних и внешних языковых изменений, принципы сотрудничества и взаимозависимости социально стимулированного и системно обусловленного в языке. Для изучения этих взаимодействий необходимо обратиться к опыту историков языка. Им приходится давать толкование такой, например, исторической ситуации: единый язык распадается на несколько самостоятельных языков; исходная система одна и та же, но развитие обособившихся языков пошло по разным путям. Появились, следовательно, совершенно новые тенденции в их развитии; но они возникли из естественного развертывания одной и той же системы и не были ей искусственно навязаны. Такое изменение пережил, например, восточнославянский праязык, распадаясь на три отдельных языка.

Н. С. Трубецкой так объясняет появление новых тенденций развития в подобных случаях<sup>23</sup>. Предположим, существуют на одном направлении («на одной прямой») 4 географические точки: *A*, *B*, *C*, *D*. Из точки *A* идет волна какого-то языкового новшества (волна *a*). Распространяясь, она достигает сначала *B*, потом *C*. Из *D* идет навстречу другая волна, т. е. какое-то другое языковое новшество (волна *d*). Она сначала достигает *C*, потом *B*. Если обе волны начали распространяться более или менее одновременно, то языковой материал в точке *B* сначала будет преобразован волной *a*, а потом на него будет наложено влияние другого языкового новшества, волны *d*. Напротив, в точке *C* сначала языковой материал преобразует новшество *d* и уже на этот преобразованный материал воздействует *a*. Н. С. Трубецкой показал, что подобная интерпретация фактов способна объяснить возникновение новых исторических тенденций в развитии языков<sup>24</sup>.

Схема Н. С. Трубецкого предполагает, что обе волны, *a* и *d*, распространяются примерно с одинаковой скоростью. Предположим, однако, что скорость волны *a* значительно меньше, чем скорость *d*. Тогда возможно, что

<sup>23</sup> Взгляды Н. С. Трубецкого по данному вопросу наиболее полно изложены им в статье: Einiges über die russische Lautgeschichte und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit // Zeitschrift für slavische Philologie, I, 1925.

<sup>24</sup> Вот пример такой интерпретации. Общеслав. \**sebdmь* испытало действие таких процессов: *a* — ассимиляция первого взрывного вторым взрывным; *b* — сокращение долгих взрывных; *c* — утрата краткого *d* перед *m*. Языковой материал в восточнославянской области испытал наплывы этих волн в таком порядке: *a—b—c*, т. е. \**sebdmь* > *a* — \**seddmь* > *b* — \**sedmь* > *c* — \**semь*. В западных и южных славянских областях порядок воздействия этих волн был иной: *a—c—b*, т. е. \**sebdmь* > *a* — \**seddmь* > *c* — \**seddmь* > *b* — \**sedmь*. Здесь процесс *c* не воздействовал на сочетание *-ddm-* с долгим *dd* (см.: Trubetzkoy N. Russ. *semь* «sieben» als gemeinostslavisches Merkmal // Zeitschrift für slavische Philologie, IV, 3/4, 1927. S. 376).

волна *d* все же первой затронет *B*, и только потом докатится до той же точки волна *a*. Иными словами, введя понятие быстроты распространения языковых новшеств, можно так упростить схему: есть точки *A*, *B*, *C*; из точки *A* идет волна *a*, из точки *C* — волна *c*. В зависимости от скорости распространения волн возможны два случая: или языковой материал в точке *B* окажется сначала преобразованным более быстрой волной *a* и лишь потом волной *c*; или же, напротив: сначала более быстрой волной *c*, а потом волной *a*. Таким образом, из схемы может быть полностью исключен пространственный момент: точка *B* может пониматься не географически, а лишь как определенное состояние языкового материала до его преобразования; волны же *a* и *c* — не пространственные, а временные: быстро развивающаяся тенденция *a* преобразует материал *B*, и лишь потом он подвергается воздействию медленно развивающейся тенденции *c* или же, наоборот, воздействует на материал *B* после *c*.

Эта схема принципиально важна для объяснения того, как убыстрение или замедление в развитии языка определенных тенденций, вызванное социальным воздействием, может порождать новые языковые тенденции. Пример пояснит это. В русском языке начала XX в. действовали две очень разные тенденции; обозначим их, в соответствии с ранее приведенной схемой, буквами *a* и *c*. Тенденция *a* — усиление редукции заударных гласных — выражалась в первую очередь в двух фонетических изменениях: α) заударный гласный [ь] после мягких согласных (*вишня, о вишнях, вишням, время, принят, занят, видя* и т. д.) стал редуцироваться до степени [ь]<sup>25</sup>; β) заударный гласный [у] между мягкими согласными редуцировался до [ь] (в аллегровой речи: *зреющий, челюсть* и т. д. могут произноситься с [ь] на месте [у]; особенно характерно для разговорного стиля). Тенденция *c* — сближение устной и книжной речи, в частности «буквенное» произношение ряда грамматических форм. Дан определенный языковой материал (*B* в нашей схеме; это точка приложения разных временных волн, накладывающихся друг на друга): грамматические формы с гласным [ь] после мягких согласных во флексии. Возможны два случая: 1) языковой материал подвергнется сначала воздействию тенденции *a*, стремительно развивающейся в языке, и уже потом — тенденции *c*; 2) напротив, он сначала попадет под влияние *c* и лишь потом будет изменен тенденцией *a*<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> По словам Р. Кошутича, младшее поколение москвичей в значительной своей части произносило эти формы с гласным [ь] во флексиях (см.: *Кошутих Р.* Грамматика русского языка. Гласови. Пг., 1919. С. 167—168).

<sup>26</sup> Эти тенденции могут быть двух типов: 1) глаголы непродуктивного класса *мижет, лачет, тычет* заменяются формами первого продуктивного класса: *мига-*

Разберем первый случай. Многочисленные глагольные формы типа *любят, терпят, видят* и т. д. подвергаются все усиливающейся редукции заударных гласных; в безударных флексиях глаголов 3-го лица мн. числа произносится [ь]. Это обусловит оморфность образований *любит — любят, терпит — терпят, ходит — ходят* и т. д. (что, в свою очередь, изменит законы употребления местоимений при этих формах). Вследствие усилившейся редукции звук [ь] в формах *вишням, вишнях, принят, занят* и т. д. также будет превращен в [ь]. Более медленно действующая тенденция к сближению письменной и произносительной реализации языка в таком случае не найдет для себя в глаголах никакого приложения.

Разберем второй случай. Стремительно распространяется буквенное воспроизведение грамматических форм, в том числе глагольных. Формы *любят, ходят* теперь произносятся с [ь] в заударной части (образец: *вишням, принят* и т. д.). Более медленно и вяло действующая тенденция нивелировать все заударные гласные, превратив их в [ь], встречается в этом случае с серьезным препятствием: число противостоящих ей форм сильно пополнилось; притом это особенно устойчивые формы, так как действует фонематическое отталкивание между *любят* и *любит, ходят* и *ходит* и т. д. Все это изменит движение в языке.

Именно этот второй случай и произошел в русском послереволюционном языке. Ранее была несомненна тенденция во многих формах типа *вишня, вишням, принят* и т. д. [ь] редуцировать до [ь]; теперь, как показывают массовые наблюдения, напротив, произношение этих форм с гласным [ь] — упрочившаяся традиция. Редукция, по-прежнему усиливаясь в заударной части слова, обходит гласные во флексии, стоящие после диэремы. Таким образом, развитие тенденции изменилось, пошло по иному, чем раньше, пути.

Итак, последовательность воздействия на языковой материал двух волн в значительной степени определяется социальными факторами, замедляющими и убыстряющими действие отдельных языковых процессов. Соотношения между этими процессами (их силой, их всеобщностью) могут быть различны в разных социальных условиях; будут качественно различны и результаты их взаимодействия.

---

*ет, лакает, тыкает*; процесс не захватил глаголы *машет, скачет*, но, возможно, со временем очередь дойдет и до них. Здесь тенденция вовлекать все новые и новые единицы, двигаясь «вдоль» материала; 2) усиливается фузионность какой-то грамматической единицы или редуцированность фонетической. Здесь тенденция движется «поперек» материала, все глубже преобразуя каждую единицу данного типа. Следовательно, эти языковые волны, подобно физическим, могут быть продольными и поперечными.



\* \* \*

Новая эпоха в развитии русского языка создала условия для появления новых тенденций развития в лексике, грамматике, фонетике; изучение этих тенденций совершенно необходимо.

Социальные факторы, действовавшие на русский язык нашей эпохи, многообразны. Вот важнейшие из них: расширение социальной базы русского литературного языка; изменение путей передачи и распространения навыков литературной речи; расширение социальных функций литературного языка; убыстрение темпа общественной жизни; преодоление территориальной разрозненности, лоскутности старой России; энергичные перемещения людских масс в эпохи больших исторических переломов (Октябрьская революция и Гражданская война, промышленное строительство на востоке страны, Великая Отечественная война); рост общей культуры населения. Эти социальные факторы по-разному влияли на язык, вызывали изменения в разных языковых ярусах, то глубокие, то более внешние. Необходима классификация этих факторов, их лингвистическая оценка. Целостное изучение развития русского литературного языка в советском обществе — важнейшая задача советского языковедения. Это поможет глубже и вернее понять законы развития языков других народов Советского Союза, законы развития языков в социалистическом обществе.

## Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики\*

### 1

Если вы внимательно прочтете несколько газет десятилетней давности, вам сразу бросится в глаза непривычный стиль этих газет: все серьезно, сдержанно, строго, с чувством ответственности, точно, ясно — но чего-то будет не хватать. Вы почувствуете, что это не сегодняшняя газета.

Будет не хватать стилистических красок. Речь сегодняшних газет гораздо более динамична в лексическом и грамматическом отношении: чаще встречаются стилистические контрасты. В каждом номере используется большая гамма красок. С другой стороны, современные газеты имеют различные стилистические устремления. Даже не в очень далеком прошлом газеты были по стилю гораздо более похожи друг на друга, и разные материалы в номере тоже были примерно стилистически однотонны. Это единство стиля несколько нарушали фельетоны, но и те были скромны. Читая газеты десятилетней давности, мы будем все время чувствовать, что находимся на стилистической диете.

В этой статье наше внимание займут те жанры, которые являются сердцевинной ежедневной печати. Я не коснусь фельетонов, отделов юмора, художественных очерков, рецензий на книги и на спектакли, тем более — газетных стихов, а также повестей, которые печатаются с продолжением. Сердцевина газеты — это злободневный репортаж, обзор событий, текущая информация, обсуждение экономических, социальных и политических вопросов, интервью, письма в газету. О них и пойдет речь. Когда-то Корней Иванович Чуковский сказал, что главная опасность, которая грозит современному языку, — это канцелярит. В каждую эпоху есть какая-то особенно серьезная помеха для полноценной жизни языка. Сейчас (Корней Иванович прав) именно канцелярит сушит нашу речь, обедняет ее и нередко обесмысливает. Постепенно, но медленно эта опасность отступает. Хорошо, что газеты сейчас в общем этой опасности противостоят.

---

\* Язык современной публицистики. М., 1988. С. 4—27.

Противостоят уже тем, что, как сказано, возможен выбор разных стилистических направлений. Есть два стилистических полюса, между которыми много промежуточных ступеней. Один полюс — газеты строгого стиля: «Правда», «Красная Звезда», «Социалистическая индустрия» и другие. Стиль точный, скупой, волевой; строгий отбор стилистических красок; полная определенность формулировок; стиль ясности и прямоты. Другой полюс, другая линия, дружественная, но стилистически самостоятельная — это «Комсомольская правда», «Известия», «Советская Россия», «Московская правда», «Московский комсомолец» и ряд других газет. Стиль языковой раскованности, стиль многокрасочности, эмоциональной остроты.

Эти разные стилевые тенденции в полную силу проявились именно в последние десять лет. Конечно, и раньше «Правда» и «Комсомольская правда» различались, но больше по охвату тем, по сферам преимущественного внимания, и лишь незначительно — по языку. Функции газет различны, и именно сейчас это в полной мере отражается в их языке.

Современный читатель чуток к тому, чтобы стиль газеты был найден в точном соответствии с ее функцией. Когда-то «Учительская газета» была оплотом стилистической сухости и однолинейности. Новая редакция взяла иной курс, более отвечающий назначению газеты. «Учительская газета» стала одной из ярких стилистически «разноцветных» газет — и завоевала привязанность читателей. С другой стороны, необходим и строгий стиль «Красной Звезды»: читатели по достоинству оценили и значительность содержания, и серьезный речевой тон этой газеты. Обычное ее название в быту — «Звездочка»; в одном слове уже заключена читательская оценка газеты.

Разумеется, строгий, даже официально-деловой стиль есть в каждой газете. Важно, каков общий фон. В «Комсомольской правде» официально-деловые материалы выделяются своим языком на общем, более разговорном фоне и тем подчеркивают свою значительность и информационную важность. В «Красной Звезде» все, что содержит непринужденно-раскованную бытовую речь, вводится по принципу «делу время, потехе — час». Таким образом создаются стилистические перепады не только между газетами, но и внутри каждого газетного номера.

Разницу между двумя стилистическими устремлениями можно показать на газетных заголовках. Вот «Московская правда» 7 марта 1985 года. Почти каждое заглавие — либо троп, либо синтаксический осколок, эллипсис, либо непринужденная, «домашняя» конструкция, либо шутка, либо загадка — заглавие интригует, не раскрывает до конца содержание статьи, зовет прочесть ее. Конечно, в «Московской правде» есть и обычные заголовки, которые могут быть в любой газете: «Зарубежная информация», «Миллионы книг для детей», «Во имя мира и безопасности» и другие. Сама тематика требует здесь строгости. Но есть и другие заголовки, они задают тон.

Передовая называется так: «Нужна ли в цехе герань?». Это метонимия: речь идет не только о герани, а вообще о благоустройстве цеха, более того, о благоустройстве любого рабочего места; тема статьи — забота о рабочем человеке. Другая статья: «Не за тридевять земель». Что это значит? Заглавие интригует. Оказывается, это о помощи Москвы сельским местностям. «Магазин без... покупателя». Это магазин, который готовит так называемые заказы и рассылает их предприятиям. «Точка в конце пролога» — о поисках резервов производства, и, значит, мысль та, что хорошие итоги уже есть, но успокаиваться нельзя. «Робот за десятерых», «Машина на завтра». Сказано не совсем обычно, разговорно. «По спидометру и по совести». Возможное содержание мерцает сквозь такой заголовок, но не совсем четко, надо читать статью.

Иной стилистический строй у заголовков, например, «Красной Звезды». Примеры из номера тоже за 7 марта: «Боевая учеба армии и флота». — «На экране — жизнь полка». — «Эффект тренировки». — «Побеждает дружба народов». — «Ответственность — взаимная». — «Медицинские сестры». — «Эта память вечна». Строго, с достоинством, точно, с уважением к теме.

Вот заглавия: ни одно из них лет десять тому назад не могло стоять над серьезной статьей. Их место было над фельетоном, где-то в отделе юмора, на последней полосе субботнего номера. А сейчас обычные статьи, серьезные, строгие по мысли, с цифрами, с экономическими и социологическими сведениями, публицистически ответственные, называются так: «Жар, пар и машинистка», «Кто поможет Винни-Пуху?», «Жилет с пролысинами», «Три наряда вне очереди» — это о модах; «Имени Цицерона» — это о сельскохозяйственной Академии наук; «Диплом для огурчиков», «Почему не спится?», «Идеально, но... неудобно», «Любовь на весах экономики», «Не до галстука!» — о хороших моделях спецодежды; «А с роботом особенно и не поспоришь», «Пришла в гости молния» (заглавия из газет за февраль 1985 г.: «Московский комсомолец», «Советская культура», «Советская Россия», «Комсомольская правда»).

Название отдела в газете особенно ответственно. Оно повторяется. По нормам десятилетней давности тут уж должна быть полная серьезность. А в «Московском комсомольце» — эта газета особенно смела и изобретательна — отделы называются так: «Скажи-ка, дядя» — призывы к взрослым, чтобы помогли детсаду, школе. Другой отдел называется «Пора-порапорадуемся» — о всяких хороших делах. Или: «Станьте в угол!»

Часто в газетах статья имеет несколько заглавий. Если одно заглавие уточняет, детализирует, дополняет другое — это обычно и есть во всякой газете. Теперь не редкость и другое: два заглавия одной статьи не поддерживают друг друга, они — свет с разных сторон. При этом они часто сохраняют

загадочность, они не объясняют друг друга. Двойные заглавия на одной полосе «Московского комсомольца» 12 сентября 1985 года:

Званный гость. — Все, что нас окружает.

Дорога к себе. — И с одной стороны, и с другой.

Вещественные доказательства. — Дело вкуса.

Однако. — Исправленному верить?

Окно во взрослом этаже. — Кризис жанра.

Эти заглавия попарно относятся к одной статье... Освещая предмет статьи с разных сторон, заголовки могут спорить друг с другом. В «Советской России» помещают отклики на разные опубликованные статьи, и часто эти отклики не просто справка, а новая статья. Тогда дается два названия: повторяется заглавие статьи, а затем — название нового материала. Иногда второе заглавие «снимает» предыдущее: меры приняты, проблема решена. Вот так: «И опять со скидкой?» — «Спрос без скидок». Или: «Услуга для спекулянта». — «Лазейка закрыта». В других случаях, наоборот, наступательный характер первого выступления усиливается и заостряется: «Спор о пяти углах» — «Скроили дом из протоколов»; «Укroшение пыли» — «Ведомственное сито», о том, что надо наладить производство сепараторов (все заглавия из номера от 15 февраля 1985 г.). Названия статьи — старое и новое — перекликаются, идет их разговор. При этом они часто сохраняют интригующую полузагадочность.

Заголовок-загадка сейчас сохраняет еще привлекательность новинки, но уже видно, что он не везде уместен. Если название повлекло читателя в чтение статьи, а она оказалась узко-специфической, нужной только небольшому кругу людей, с особым кругом интересов, то многие будут недовольны — их вовлекли в ненужное занятие. Читатель вправе роптать: ему задали загадку, но ответ на нее оказался неинтересным.

Говоря о заглавиях, мы уже коснулись важной стилистической особенности современной газеты: ее диалогичности. Не так давно газета большей частью была монологична: в каждой статье звучал только стилистически однотонный голос автора. Он в то же время был и голосом всей газеты. Сейчас статья часто строится на столкновении стилистически контрастных кусков, на несовпадении разных голосов.

Статья на бытовую тему начинается письмом читательницы: «Уважаемая редакция! Спросите у министра легкой промышленности, куда пропала обыкновенная резинка. Еще совсем недавно ее было сколько угодно, и самой разной. Сейчас у нас в Бибиреве нет ее ни в одном магазине». Вот как разговорно и свободно: «спросите у министра...», «сколько угодно и самой разной...». Далее звучит голос редакции: «Появились симптомы дефицита на ходовое, притом простейшее изделие. В производственном отделе промышленного объединения Роспромтекстильгалантерея, которое входит в Минтек-

стильпром РСФСР, подтвердили, что в последнее время не удовлетворяется потребность торгующих организаций в эластичной тесьме... К концу года проблема должна решиться». Совсем иной языковой мир! Резинка переименована в эластичную тесьму. «Нет резинки» — «Дефицит на ходовое изделие». Для контраста такой стиль хорош. Он говорит, что редакция к делу подошла серьезно. Если бы было сказано: не успеет год кончиться, а резинка уже будет — это не серьезно. Не внушает доверия. «К концу года проблема должна решиться» — читатель уверен, что так и будет.

Но кончить статью или заметку на этом нельзя. Нет композиционной завершенности. И следует третья часть: рассуждение журналиста, в смягченно-разговорном стиле. Стилистическое кольцо замкнуто: «Эти постоянные «качели» не могут не привести на мысль о серьезных организационных просчетах в отрасли. Ведь не вдруг, не в один день меняется спрос на любые товары...» — и т. д. (Моск. правда. 1985. 6 марта).

Другой пример. Статья называется «Рассудили...» (в кавычках), автор — А. Тарасов. Речь идет о некоем Ш., который делами своими весьма нелестно себя рекомендовал. Приводится следственный документ: «В ходе следствия были проверены и доводы относительно щитовых домиков. Действительно, Ш. часть щитов из разукомплектованного домика завез к себе домой и использовал для устройства забора. Однако это обстоятельство не дает оснований для привлечения к уголовной ответственности».

Далее следуют размышления автора: «Ну, не дает, так не дает. Привлекать или не привлекать — на то они и органы правосудия, чтобы решить. Но, согласитесь, одно будет чрезмерно. Считать, что можно выплачивать сотни казенных рублей „мертвым душам“, утаивать полевое довольствие от подчиненных, утащить в свой двор казенный домик, оклеветать товарища по многолетней работе, подтасовать научные данные — и еще требовать уважения. Тут, конечно, перебор. Подать ли человеку руку после всего этого или отвернуться — дело совести, а не приказа» (Комс. правда. 1985. 6 марта). Итак, «встык» даны стилистически контрастные части. Хороша разговорная рассудительность автора, его ирония, уверенная и неназойливая... Они друг друга оттеняют: язык канцелярской отписки и язык человеческого внимания. Иногда автор просто переводит с одного языка на другой: «разукомплектованный домик завез к себе домой» — «утащил в свой двор казенный домик»... Так появляется стилистическое многоголосие в газете.

«Тигры на сеновале» — название статьи в «Правде» от 15 февраля 1985 года, автор — В. Хатунцев. Статья деловая, стиль книжный: «Планы заготовки мяса диких животных если и не растут, то не снижаются. В этом году хабаровским промысловикам надо добыть 500 кабанов, 900 изюбрей, 1600 лосей. Но экологический баланс весьма чувствителен ко всякого рода вторжениям в

святая святых природы...» А далее — прямая речь, мнение ученого-биолога: «Чего-чего, а сообщений, а еще больше слухов о тиграх достаточно. Конечно, если зверь превратился в «скотника» и уже потерял вкус к естественной охоте, его надо всеми силами отваживать, на худой конец изымать. Но бывает, что напал тигр молодой по недоразумению. Выследить и отпугнуть выстрелами — ему навек запомнится... К сожалению, у нас еще слабо поставлен контроль за популяцией тигров. Об этом, в частности, говорилось на совещании по проблемам диких хищников, состоявшемся несколько лет назад во Владивостоке. Понятно, что без координации действий ученых, охотоведов, природоохранных органов ничего не сделаешь». В речи биолога, в ее начале, умеренно-разговорный стиль противостоит предшествующему деловому куску, но этого мало: контрастна сама его речь. В ней две части, вторая снова вводит в деловой стиль. Характер биолога освещен с разных сторон: в нем есть и человеческая заботливость, умная доброта, и энергичность общественного работника.

Далее опять идет возвращение к нейтральному стилю, слегка окрашенному разговорностью: «Тигр пока не дал явного повода, чтобы в срочном порядке хвататься за ружья. Но опасная черта приближается. Человеку решать, как уравновесить две чаши весов: сохранить ценный вид и обезопасить себя от нежелательных контактов с самой большой на свете кошкой». Характерны для столкновения стилей переименования: тигр (в сочетании: популяция тигров) — самая большая на планете кошка... Стилистические различия в статье даны не резко, доминируют нейтральный, деловой, умеренно-разговорный стили и их различные градации.

Журналиста здесь ожидают опасности. При смене стилей, при их тонкой градуированности может стать неясным, в каких-то своих частях, сам стилистический замысел. Стили могут быть нечетко разграничены, контраст между ними размыт.

Вот талантливая статья «Деньги для Марии» (Известия. 1985. 9 февр., автор — А. Ващинский). Речь идет о том, как работницы предприятия собрали деньги для детей-сирот, а начальство сочло, что это своеволие: разнесло в пух и прах, зачем они действовали без разрешения. Стиль разговорный: «Его задело, что люди не обратились к нему за разрешением, не потрафили его начальственному самолюбию. Пусть в вопросе хоть и не в производственном, а житейском, но обошлись сами. „Отсебятина“ его задела... Позволю представить себе ход мысли Петра Яковлевича: „Всегда полезно припугнуть, так, на всякий случай. Авось, у кого-нибудь на уме будут плохие мысли, так в самую пору его профилактически и приструнить. И лишний повод, чтобы подумали: все про них начальник знает. А то, что оскорбительно это,— так, мол, ничего, не барыни, переживут“». Автор очень удачно противопоставляет язык и мир

этого бюрократа и обычный мир советского человека. Он говорит *отсебятина*, а мы понимаем: самостоятельность. Использует выражение *пускать на самотек*, а мы говорим *поощрить инициативу снизу*. Резко противопоставлены бюрократический язык, канцелярит и обычная речь. И все было бы хорошо, если бы у автора этой статьи временами не пробивался в его собственной речи — очень разговорной — тот же самый канцелярит. «В этой плоскости и лежит главная тема разговора». «Конечно, оценить (этого начальника) можно по многим параметрам». «И все это было в рамках одного случая». Поэтому в некоторых случаях неясно, что значит канцелярит, ворвавшийся в текст: несет ли он иронию, пародирует ли стиль бюрократа, или опять допущен авторский просчет, и «конторские принадлежности» введены в текст не по замыслу, а по недосмотру.

Читаем: «Стиль Петра Яковлевича, как убеждает все та же история с запретом на сбор денег, страдает изолированностью составляющих его компонентов». Что это — ирония? Или всерьез? И дальше: «Будто и в самом деле многое не связывается в его сознании, будто в нем разные отсеки — одни для цитат, другие для конкретных действий, для повседневного пользования. Этакие несообщающиеся сосуды». Хороший нейтральный стиль с легкой разговорностью, с шуткой (*этакие несообщающиеся сосуды*). Так и остается стилистически неясным выражение об «изолированности компонентов»: то ли это замысел и пародия, то ли стилистический недосмотр. Почему? А именно потому, что у самого автора не соблюдена четкость стилистического разграничения — использование канцелярита у него не всегда связано с ясной авторской оценкой.

В сегодняшней газете и книжный стиль, и разговорный живут рядом. Нужно искусство в их распределении, в их целесообразном использовании. Покажем еще на одном примере, как может испортить заметку неискusstное соединение двух стилевых пластов языка. Речь идет о больнице: ее администрация создает помехи для посетителей. Об этом рассказывается так: «Наготовив домашнего, мы отправились в больницу навестить пожилую одинокую женщину. Проехали через весь город, нашли на территории 12-ый корпус. Сняли пальто. Нам выдали когда-то белые халаты. И... мы замерли на месте. Табличка на двери гласила, что вход в клинику без сменной обуви категорически запрещен.

Тапочки. Как же мы сами не догадались. Больница же. Но, может быть, в том же гардеробе нам могут помочь? В конце концов в музее, например, решают эту проблему. Оказалось, что тапочки здесь никакие не выдают, нужно приносить свои. Мы пригорюнились. Да и любой, оказавшись в такой ситуации, нос бы повесил. В сумке стынут пирожки, дома ждут дети. А где-то наверху беспокоится больной человек — ведь мы обещали навестить именно



сегодня. «Хоть бы по телефону предупреждали» — искали мы виновников своей неудачи. Сидим в вестибюле и грустим». Предельная и обаятельная естественность и непринужденность речи. И — неожиданные, немотивированные вкрапления: нашли на территории... табличка гласила... решают эту проблему (проблему тапочек!)... оказавшись в такой ситуации (почему не на нашем бы месте?). Необоснованное вторжение канцелярита! Он испортил текст.

В газетной статье, в заметке разнообразно взаимодействуют разные стили. Язык сдержанно-книжный — на его фоне является разговорный кусок. Или: разговорный стиль — и он перебивается подчеркнуто книжным. Контраст создается монтажно: вносится в текст документ, или прямая речь... или сам автор меняет свой стилевой регистр. Есть и другие типы стилистического многоголосия, например, подборка писем читателей. Звучат разные мнения и сталкиваются разные языковые миры. Или, как это бывает в «Литературной газете», высказываются в двух статьях контрастные мнения: одно — свежее, новое, острое; другое — традиционно-привычное, часто трафаретное. В заключение высказывает свое мнение редакция; она обычно становится на сторону второго мнения. И это умно: сторонники первого мнения скандалить и писать в редакцию опровержения не будут, а сторонники второго вполне успокоены тем, что редакция на их стороне.

Особое место в газете занимает интервью. Корреспондент спрашивает — кто-то отвечает. Настоящий диалог.

Сейчас такая форма газетного материала кажется привычной. Но эта привычность — недавнего происхождения. Попробуйте найти интервью с такими известными писателями, как Паустовский, Эренбург, Асеев, Твардовский, Яшин... Это окажется трудным или даже невозможным. Сейчас любого известного писателя, артиста, композитора, ученого, героя труда интервьюируют по многу раз.

Интервью может в различной степени реализовать свои диалогические возможности. Иногда этот жанр полностью отказывается от права сопоставлять мысли и речевые манеры: корреспондент со своими вопросами слегка подталкивает отвечающего к нужной для газеты тематике, и он идет по существу «своим ходом».

Интервью с артистом. Артист говорит, что у него был вынужденный простой: ожидал роли. Корреспондент:

— И чем закончилось ваше вынужденное ожидание?

Артист рассказывает.

— Что это за роль?

Артист рассказывает.

— Что значит «действительно играть»?

Артист рассказывает.

— Что же произошло?

Артист рассказывает.

— Так что теперь у вас все в порядке?

Артист соглашается (Сов. культура. 1985. 31 авг.).

Такие безучастные вопросы мог бы задавать и робот. Нет личности журналиста, нет его особого языкового мира: диалог не состоялся.

Интереснее, когда корреспондент рискует не соглашаться с мэтром, излагающим свой взгляд на мир (или на приготовление пирогов с капустой, или на преимущества порошковой металлургии, или на роль женщин в обществе). Так, например, один беллетрист высказывает свой «взгляд и нечто» (в майском номере «Советской культуры» за 1985 год), на «древнем языке», притом судит о женщинах несколько в домостроевском направлении. Корреспондент (Г. Грибовская), не желая ссориться с большей (лучшей) половиной читателей, высказывает убеждение, что женщины достойны не столь строгих слов. Беллетрист оказался достаточно чуток, чтобы несколько изменить свое мнение. Такой диалог, когда его течение определяют оба собеседника, дает простор и для стилевой динамики. Беллетрист говорит так: «Пропадают благодарность и жертвенность в семье. Добрый поступок возводится в заслугу, за которую нужно кланяться... Утехой семья не скрепится, скоро треснет... Говаривали прежде: муж — игла, жена — нитка. А сколько женщин не желают нынче быть ниткой...». Корреспондент говорит обычным газетным языком с уклоном на канцелярит: «Несмотря на ваши строгие слова в адрес (!) женщин, я должна сказать, что в ваших книгах, как, впрочем, и в жизни, они выступают в иных ролях...». На фоне стилизованного беллетристического языка даже канцелярит кажется как-то милее...

Итак, интервью дает возможность сопоставления разных языковых миров. Но эти возможности не так легко реализовать. Интервьюируемый — в какой-то области специалист. Иначе его не о чем спрашивать. Кто интервьюер? Тоже специалист? В той же области? Если так, то получится не интервью, а разговор, дискуссия, спор двух специалистов. И, как всякий спор специалистов, он не имеет конца. Это в некоторых случаях, может быть, годится для газеты, но стилистической игры не будет. А если работник газеты не специалист, то получится разговор не «на равных» и поэтому — пресный, без нерва, почтительно-скованный с одной стороны, уверенно-авторитетный — с другой. Неинтересно. Очевидно, настоящий диалог получится, если корреспондент найдет какие-то свои личные преимущества, равноценные с преимуществами специалиста.

Вспомним известный афоризм Козьмы Пруткова о специалисте. Неспециалист имеет то преимущество, что он не подобен флюсу. Он не односторо-

нен. Мысли, которые высказывает спец, у него могут возбудить неожиданный и острый отклик, с которым придется считаться и доке-знатоку.

«Приделать к стрессу тормоза» — так называется интервью в «Московском комсомольце» от 28 февраля 1985 года. Доцент Е. Юматов рассказывает корреспонденту А. Аловой о стрессе. Ученый говорит: «Положительная эмоция просто физиологически не может появиться, так сказать, на ровном месте, среди ясного неба — она может возникнуть только после отрицательной эмоции. У счастья — полосатая логика...» Корреспондент: «Выходит, мы напрасно завидуем людям, у которых все хорошо? И счастливых надо искать среди неудачников?» Вопрос говорит, что журналист не хочет играть роль поддакивателя, который с готовностью подхватывает мысль ученого. Вопрос поставлен неожиданно и парадоксально, но ведь он прямо опирается на слова доцента-физиолога. Специалист отвечает: «У человека, у которого все хорошо, у которого нет или почти нет отрицательных эмоций, со временем развивается ужасное состояние — отсутствие каких бы то ни было эмоций, синдром Царевны Несмеяны...». Следует рассказ о том, что стресс — «это и хорошо и плохо».

Какой же выход? До сих пор ученый говорил образно, язык его красочен. Теперь язык стал книжным, точным. И это оправдано ходом беседы — мы подошли к научной сердцевине интервью. Вот каким стал язык: «Экспериментально стресс у животных вызвать можно. Например, мы сажали крыс на несколько дней в боксы — настолько маленькие, что зверьки в них были полностью обездвижены. Это порождает у животных настоящий затяжной стресс, который мы фиксируем, измеряя у них давление, частоту пульса и прочие физиологические параметры. Так вот: одни крысы спокойно этот стресс пережили, а другие погибли. У них были обнаружены язвы, эрозии желудка, инфаркт и другие следы действия стресса. Значит, существует какой-то природный механизм „обезвреживания“ стресса, который у одних работает, а у других сломался... Искали долго — восемь лет. У устойчивых к стрессу крыс брали белковую фракцию — кусок длинной белковой молекулы — и смотрели в эксперименте, влияет она на устойчивость к стрессу или нет». Доцент целиком ушел в тему «лекарство от стресса». Увлекательная тема. Интервью идет к концу... Здесь корреспондент и использовал свои преимущества неспециалиста. Поиски лекарства от стресса? Хорошо, но ведь сам же ученый говорил, что без стрессовых переживаний нет и настоящего счастья. Устремленный к одной теме — лечить от стресса, — он отодвинул в сторону эту другую тему и забыл о ней. Здесь и выступает журналист, свободный от односторонней увлеченности ученого. Он умеет смотреть не только в одном направлении: «Евгений Антонович, я сейчас подумала: есть люди, которые слишком быстро переключаются с одного на другое, отрицательные

эмоции у них непродолжительны и, значит, стресс им не грозит. Так вот, может быть, для этих людей надо изобрести лекарство с противоположным эффектом — лекарство для стресса?» И ученый, несколько обескураженный, отвечает: «Честно говоря, над этим я не задумывался. По-моему, пока наука занята проблемами здоровья — защитой от длительного стресса — ей не до этой чисто нравственной проблемы. Ведь характер тех людей, о которых вы говорите, как правило коррелирует с нормальным здоровьем. Но в принципе лекарство для стресса — вещь вполне реальная, в будущем осуществимая...» Это — триумф журналиста. Это — разговор на равных со специалистом — именно потому, что корреспондент в данной области не специалист. А. Алова заканчивает, обращаясь к читателю: «Когда-нибудь врач будет прописывать каждому стресс строгой дозировки. Чтоб гарантировать и здоровье, и глубину переживания. Мы сможем выбирать: скажем, творческий стресс удлиним, а стресс от конфликта с начальником — укоротим. Главное — не перепутать...» Так шутливо, а на деле — содержательно, — подводятся итоги интервью.

Две речевые стихии — научная и разговорная, не связанная с определенной системой терминов-понятий, оказались обе, хотя и по-разному, ценными.

Так многообразно строится в газете взаимодействие разных стилистических областей, разных типов языкового мышления, разных навыков речевой активности. Куски одного стиля, контрастируя, перебивают куски другого стиля.

Хорошо, книжный, разговорный и другие окрашенные стили цветут в современной газете. А нейтральный? Тот стиль, который напоминает самую чистую, холодную, вкусную воду, в которой нет никаких заметных примесей? Из такой воды хорош чай, но ведь и сама по себе вода хороша. И только сейчас мы в полной мере можем почувствовать в газете красоту нейтрального стиля. Никак не окрашенного. Газеты десятилетней давности, поскольку они все были окрашены более-менее книжно, такого чувства красоты нейтрального стиля не давали.

В «Комсомольской правде», в нескольких номерах за 1985 год, печатались письма читателей под названием: «Повесть о первой любви». Это письмо о самоотверженности в любви, о верности, о преданности. Хотя материал здесь подлинный, но в воле редакции было отобрать его и аранжировать в определенном стилистическом ключе. Какой же стиль считать желательным? взволнованно-лирический? украшенный? метафорически-приподнятый? учено-рассудительный? проникновенно-доверительный? Нет, все это не годится. Нейтральный. Именно он здесь уместен, только он, и по праву, главенствует в «Повести о первой любви». На его фоне — отдельные эмоциональные «окна». Обнаруживается красота нейтрального стиля. Он не навязан, как неизбежность, он избран.

## 2

Примеры показывают, что переход из одной стилистической области в другую нередко связан с переименованием. Там была «резинка» — здесь «эластичная тесьма». Стилистические контрасты привлекают внимание к возможности одно и то же назвать по-разному. Сам поиск наиболее подходящего слова приобретает стилистическую ценность. И вот журналист, наш современник, на глазах у читателя выбирает наиболее подходящее наименование. Слова сопоставляются и разграничиваются:

— «Старый заслуженный врач, обладающий огромным опытом, рассказал однажды, что молоденькая заведующая отделением довольно резко попросила его „немедленно обслужить больного...“ Мне кажется, это принижает авторитет истинного врача. Он нас не обслуживает, он нас спасает» (Известия. 1985. 21 июля).

— «Сколько в современном мире профессий? Три, тридцать тысяч? Но только врачи, единственные, дают клятву перед вступлением в трудовую жизнь. Разве не накладывает это обязательств на всех нас по отношению к людям столь уникальной профессии? В связи с этим приведу одно наблюдение. Прекрасному, революцией рожденному слову „здравоохранение“ мы все чаще даем сейчас замену „медицинское обслуживание“. Что в слове! Но за словом идет аналогия — бытовое, торговое обслуживание... И уже надменный дамский мастер выговаривает сокрушенному доктору: „У меня в очереди столько, сколько у вас, не сидят!“» (Сов. Россия. 1985. 14 авг.).

— «Однако следует всегда различать и отделять командирскую самостоятельность от самовольства и своеволия. Одно идет на пользу делу, второе наносит ущерб и тешит разве что командирское самолюбие. Грань здесь тонкая...» (Красная звезда. 1985. 8 июня).

— «Случается, мы путаем понятия „хранитель“ и „охранник“. Это у охранника логика: „Шаг влево, шаг вправо считаю побегом“. У хранителя идея совсем другая» (Сов. культура. 1985. 13 июня).

— «Выпускной вечер — очень серьезное мероприятие для школы. Но для ребят это не мероприятие, это единственный и неповторимый праздник. И расставаться в этот вечер им не хочется — ведь впереди у многих такая долгая разлука. И торты с конфетами — не еда для них, а трапеза. Общая трапеза!» (Известия. 1985. 27 июня).

— «Никак не верилось зарубежному гостю, что этот отличный особняк, именуемый бытовкой, платоновцы построили из бракованных деталей в нерабочее время, а всю обстановку, от иголки до телевизора, — за свои кровные, на морозе заработанные рубли» (Известия. 1985. 10 февр.).

— «Я убедился, что если со старшеклассниками побеседовать (даже, лучше сказать, поболтать) в течение хотя бы получаса, то начнутся те самые „почему?“, которыми мы восхищаемся у первоклассников» (Моск. правда. 1985. 6 марта).

— «Кара проводит родительские собрания каждую первую субботу месяца, удивляя коллег стопроцентной явкой. О нем говорят:

— У Кары не собрания, а педагогические „посиделки“: спорят, разбирают ситуации, ищут ответы» (Комс. правда. 1985. 19 февр.).

Текущее, мимолетное — по ходу дела — переименование тоже вносит многоголосие. Общее название такое-то (голос массы), а я предпочту другое. Общее мнение — и взгляд автора в данной ситуации. Вообще называется неприятно *бытовка*, а я назову *особняк*. *Педагогические собрания...* нет, я бы назвал их *посиделками*. Иногда переименование возникает в споре. Репортер спрашивает генерального директора: «Как вы получаете для этих „непредсказуемых“ машин материалы?» Генеральный разводит руками. «Но ведь выпускаете вы их в итоге?» — «Да». — «Так как же? Выпрашиваете ресурсы, пользуясь личным обаянием?» — «Если только мои бесконечные мольбы и поклоны можно так назвать» (Моск. правда. 1985. 20 февр.). Личное обаяние принято с условием, чтобы его в данной ситуации переименовать в мольбы и поклоны.

Везде в современной газете обнаруживается динамика стилей, и на первом месте динамика отталкивания, разграничения. Так и слово уясняется (а с ним — и жизненные факты) путем отталкивания от другого слова.

### 3

Из этой речевой тенденции естественно возникает другая: использовать в нейтральном авторском контексте характерное слово. То есть слово, рисующее характер, раскрывающее его своеобразность. Круг источников расширен: характерное слово может быть взято из любой речевой области.

Стилистические разграничения закреплены в системе литературного языка. Они могут рисовать индивидуальность, но в пределах, допускаемых типизированными средствами нормативного языка. Характерное слово более специфично. Оно, как в фокусе, собирает суть личности или какой-то особой прослойки в обществе. Характерное слово индивидуально, и поэтому оно — штрих, мазок, оно требует краткости. Это реплика, часто — всего одно слово. Даже абзац, написанный «характерными словами», выглядел бы в газете нарочито...

Итак, слово характерное противопоставлено словам нехарактерным, которые, конечно, могут быть по-своему выразительны. Покажем это на примерах.

Вводится отдельное чужое слово:

— «Муравленко и других окрестили предельщиками. Это уже действовала, как выразился один из наших собеседников-нефтяников, „заманиха“ больших, привлекательных цифр» (Известия. 1985. 26 мая).

— «Анвар желает стать выше своего класса по учебе — над ним смеются и тянут назад, чтобы он не „возникал“, а был как все» (Сов. культура. 1985. 2 июня).

— «Он сказал скотнику несколько урезонивающих, казенных фраз, пообещал разобраться.

— Не верим, принимайте меры сейчас, — возразила одна из доярок. — Вы к ним, бессовестным, притерпелись, а у нас терпение лопнуло.

Общая невзыскательность, примиренчество, то самое пресловутое „притерпелись“ как раз и порождает равнодушие» (Сов. Россия. 1985. 5 апр.).

— «Обходили десятой дорогой скверик трезвые прохожие. Школьники из ближней триста восьмидесятой постигали тайный смысл слов „шкалик“, „стопарь“, „чекалдыкнуть“... Веселье рядом с улицей Потешной набирало силу...» (Комс. правда. 1985. 27 июня).

— «Хорошо заведено у металлургов: даже инженер какое-то время стоит подручным у сталевара. Технолог, будущий специалист, тоже должен стоять у станка, чтобы не стать „недорабочим“, как высказался один мастер, то есть недорабатывающим» (Известия. 1985. 7 марта).

— «Недавно я был на одном открытом уроке математики. Там было все: четкое объяснение, и хорошо организованная проверка домашнего задания, и усиленный опрос. Учитель все время повторял слово „быстренько“, и действительно все проходило очень „быстренько“. Мне это слово не нравится. На мой взгляд, темп — безусловно важен, но, как говорится, учить надо быстро, но не торопясь» (Моск. правда. 1985. 6 марта).

Вводится словосочетание или целая реплика, которые с помощью минимума слов раскрывают характер, индивидуальный или групповой:

— «Девчонки иногда выходили из залитого светом „Универмага“, чтобы поглядеть на рекламу кинотеатра напротив — не прошвырнуться ли в кино? — или вверх, на звезды над головой» (Учит. газета. 1985. 26 февр.).

— «Появление в доме Деда Мороза (из Бюро добрых услуг) — ситуация экстремальная. Характеры взрослых и детей как на ладони... Учительница в газетной статье сетовала, что дети плакать разучились. Смотрят фильм про Белого Бима и не плачут. Сначала речи эти ханжескими казались, а потом... Потом такой вот Валера спросит: „У вас все, товарищ Мороз? Вы свободны“... Ах, хорошие строчки есть у поэта Давида Самойлова: „Мы с тобой в чудеса не верим. Оттого их у нас не бывает“» (Сов. культура. 1985. 5 марта).

— «Если учитель не скрывает своего удивления перед колоссами XIX века, если он никогда не начнет урок словами: „Расскажите образ Татьяны Лариной“ — он на верном пути» (Учит. газета. 1985. 5 марта).

— «На станции отправления груз принимает один приемосдатчик. Сдает его получателю где-то за тысячи километров другой. Порой по принципу: „Выгружай, ребята!“ А не хватит — сочиним актик...» (Гудок. 1985. 5 апр.).

— «До 1973 года на КамАЗе ходили в телогрейках, на спине — эмблемы: „Воронеж“, „Саратов“... А у одной девушки на спине надпись была: „Не уверен — не обнимай!“ Запомнилось — тоже ведь деталь нашего здесь начала. Вот этой точности деталей не было в фильме» (Сов. культура. 1985. 25 мая).

— «А как считает Игорь, почему дети убежали? Он разводит руками. Может быть, они действительно испугались обещания водителя „устроить варфоломеевскую ночь“ за пропуск мероприятия? „Да нет, я каждые полчаса обещаю им голову оторвать, и никто не убегает“, — говорит Игорь» (Моск. комсомолец. 1985. 9 авг.).

— «В романе особенно колоритен министр неизвестно какой промышленности, похожий на фельетонного сторожа, — во время очередного сеанса связи он растерянно бормочет: „Мы ведь в ученых тонкостях не шибко разбираемся...“» (Лит. газета. 1985. 14 авг.).

— «Наши меломаны вскакивали с мест, размахивали над собой куртками и кричали. Наиболее ретивых дружинники вынуждены были просить успокоиться... Кто-то из моих соседей бросил с балкона вниз ботинок, чтобы подбодрить сидящих там „своих“.

— Такая музыка! Тут на ушах стоять надо! — восторгались мои соседки-подруги» (Сов. культура. 1985. 2 марта).

— «Ну было, отметили немного праздник, — без тени смущения заявил мне С. — Так что же, скорее брать на „промокашку“? От этой Антоновой жистья нет» (Правда. 1985. 31 мая).

— «Прогоул Андрея составил 24 дня! Один из его коллег долго рассказывал мне о том, что это „возмутительный факт нарушения дисциплины, который нельзя оставлять безнаказанным“. А завершил свою тираду просьбой:

— Спросите меня о чем-нибудь еще. Неохота идти в отдел...» (Моск. правда. 1985. 17 февр.).

— «Нам было так интересно! — улыбается Лена своим воспоминаниям. — Коровы оказались очень умными животными, у каждой из нас завелись свои любимицы... Вначале ужасно боялась. Их, когда привязывают, то для этого как бы обнимают за шею. Первый раз обнять — очень страшно!.. А к концу месяца мы их так полюбили, что говорили, как про людей: „сто человек коров“...» (Моск. комсомолец. 1985. 11 июня).



— «На огромном стенде „Уголок педагога-организатора“ одиноко красовался аккуратный список актива подростков.

— Жаль, жаль, — посетовал Игорь Измаилович, — что не знал заранее. Ну, что могу рассказать о своей работе... В соответствии...

И он с пафосом заговорил о том, что основная их цель — „бороться за качество молодежи“» (Моск. правда. 1985. 11 июля).

— «И тут Владимир Егорович, против фамилии которого стояло твердое „знает норму“, убежденно высказался в том духе, что очень даже просто со всей этой пьянкой покончить.

Я даже ручку в сторону отложила и во все глаза смотрела на человека, который, оказывается, не только знает решение, но и считает вопрос пустяковым. А Владимир Егорович, выдержав приличествующую моменту значительную паузу, произнес:

— Надо просто взять себя в руки!

Так-то оно так...» (Сов. культура. 1985. 31 янв).

— «Тут-то и возникает блюстителю порядка. Жестом останавливает трактор: „Гони права“, — велит трактористу. — „Федьк, меня же у комбайна ждут!“ — „Усугубляешь!“» (Сов. культура. 1985. 19 февр.).

Это большое мастерство — одним словом, одной репликой очертить характер. «Быстренько»... Учитель дергает учеников. Не дает задуматься, вникнуть, понять. «Быстренько» — это стиль преподавания. Это — человек. Примеры показывают, как разнообразна в газетах галерея характеров — ментальных снимков. Бывает, что в одном номере несколько таких мгновенных портретов.

Письма читателей — обширное поле для характерных словечек. В первых, сам пишущий себя в слове выражает, во вторых, он подмечает чужие характерные выражения.

Пришел человек подстричься в парикмахерскую. Ждал долго, в несколько приемов. «Стал я вновь ждать парикмахера, но вскоре они направились в довольно уютную комнату возле мужского зала, где стояли кресла, стол с тортом, чайник и даже газовая плита. В конце концов, может же позволить себе работник испить чаю „с устатку“, хотя в предбаннике томится еще с десяток клиентов». Как видно, здесь есть и словцо самого клиента, ироническое: *в предбаннике*; здесь и слова, которые он как бы вкладывает в уста «героям» заметки. Он не скандалист, он упорно ждет. Наконец, все-таки он сделал мастерам замечание и заставил их приступить к делу. «Мимо нас, что называется, „в упор не видя“, проплыли высокомерные мастера. Попробуйте сделать замечание! Они тоже имеют право отдохнуть, но их цветущий вид вовсе не располагал к мысли, что они способны надорваться. Девушка по фамилии Шлома посчитала обидным мое замечание, — пишет автор письма. —

Ей меньше других пришлось испытать чаю. Она на весь зал рассуждала, что „ходят тут всякие...“» (Моск. комсомолец. 1985. 9 февр.).

Очень живое письмо, типичное для современной газеты. Слово автора метко, иронично, он наблюдателен, он замечает речь своих героев, он ее воспроизводит. Письма читателей — излюбленный жанр в сегодняшней газете, отчасти, наверное, и потому, что он дает возможность широко проявиться новым речевым тенденциям.

Слово связано с понятием, но слово связано и с образом. Газетный контекст обычно понятен. Из него вырывается, с ним контрастирует характерное слово; вырывается, чтобы обогатить этот контекст образом. Внимание наших газет к характерному слову говорит о той же направленности речевых поисков, которая обнаружилась в использовании стилистических разграничений: о стремлении усилить экспрессию противопоставлений.

#### 4

В современной газете очень заметна забота о пестроте, об изменчивом многообразии лексики. О пестроте в положительном смысле: это не та пестрота, от которой в глазах рябит, а та, от которой глаза разбегаются...

Передовая в «Московской правде» от 7 марта 1985 года. Стиль — деловой. Вначале идут цифровые данные: рост производительности труда, уменьшение простоев, повышение заработной платы... А затем — такая деталь: «Три года назад цветы у нас, как ни бились, не приживались: слишком велика была засоренность воздуха, испарения от химикатов, а сейчас в каждом цехе стоят цветочницы с петуньями, геранями, кактусами». Что для меня и для каждого давнишнего читателя газет здесь необыкновенно? В цеху не было цветов, а сейчас они появились — такое, конечно, всегда могло быть сказано. Но то, что цветы любовно перечисляются, и их названия журналисту — и читателю — нужны, это для меня новая краска. Можно было бы просто сказать: «А сейчас в каждом цеху стоят цветы» — все ясно, претензий к автору статьи нет. Но современный читатель обрадуется детали, оценит разнообразие лексики: названия цветов нечасто появляются в передовой статье, посвященной производству. Газета идет навстречу читателю, а, с другой стороны, воспитывает его языковой вкус.

Стремление к пестроте лексики особенно заметно в малых газетных жанрах. На малые жанры, очевидно, сейчас есть спрос. Многие газеты завели, сравнительно недавно, постоянные отделы калейдоскопически-разнообразных заметок. Это — «Интеркуррьер» в «Советской России», «Зарубежный калейдоскоп» в «Известиях», «Что? Где? Когда?» — в «Комсомольской правде». Такой калейдоскоп создает исключительное разнообразие впечат-

лений, расширяет круг тем, следовательно — обогащает лексический диапазон газеты.

И лексика при этом обнаруживает устремленность к неожиданным сочетаниям. «Сопрягаются далековатые идеи». Расширять лексический диапазон тогда имеет смысл, когда слова не обесцвечиваются, сохраняют свое многоцветное различие, а еще лучше, если они его усиливают, контрастируя друг с другом.

Вот примеры из «Интеркурьера» в «Советской России»: В небе — велосипед. — Арест робота. — По реке — на бумаге. — Приговор: оставаться бароном. — Мистер Сом и мисс Селедка. — Подарок для жирафы. — Нефтяные вышки в Париже. — Конура... на колесах. — «Солнечный дирижабль». — Пешком по морю. — Соревнуются обезьяны. — К акулам в гости. — Недоверие красавицам. — Трудно оседлать страуса. — Крокодил... с конвейера. — Конкурент из преисподней. — Взгляд-ключ. — Радиоуправляемая... корова. — Поплатился за... честность. — Паспорт для косолапого. — Догони карпа. — И душ, и велосипед. — Поздравление... на ходулях. — Голубоглазым легче. — Разрешение на мышеловку. — Ненависть к телефону. — Спросите у собаки. — «Водоплавающие» коровы? — Раскопки... в сундуке. — Рекорд — 52 комара. — Картофельный автомобиль. — Почем модный нос? (Сов. Россия. 1985. Март-апрель).

Здесь во многих случаях словосочетание разорвано многоточием. Оно — знак неожиданности, удивления. Поражает необычность сдвигения в одно словосочетание столь разных слов-значений. Они не привыкли быть рядом друг с другом... Нетрудно проверить по данным примерам, что многоточие уместно было бы в большинстве заголовков; например: В небе... велосипед. Арест... робота. Мистер... Сом и мисс... Селедка. Подарок для... жирафы, — и т. д. Все заголовки предполагают возможность многоточия, потому что они построены как семантические контрасты.

Контраст бывает настолько сильным, что сдвигает, изменяет значение слова. Оно становится метафорическим, метонимическим, сужает или расширяет свое значение. Оно переосмысливается в контексте и как бы рождается заново.

## 5

Чтобы гидроэлектростанция работала, нужен разный уровень воды — до и после плотины. Чтобы работал ток, нужна разность потенциалов в электрической сети. Чтобы в тексте работали речевые единицы, нужны тоже различие уровней, различие потенциалов — стилистических, речевых, языковых.

Притом: чем значительнее разность потенциалов (контраст между стилистически различными кусками, или: между образным, характерным словом и

конкретным контекстом, или: между двумя соседними смыслами), тем меньше нужен текст, чтобы эта разность стала для читателя очевидной.

И характерные слова, которые сразу вносят чужую жизнь, чужую речь, и контрастные словосочетания, на один миг ставящие мир дыбом, как правило, кратки. Для них нужны или достаточны мини-тексты. Стилистические разграничения, о которых речь шла в начале статьи, менее резки, и они требуют сравнительно больших кусков текста.

Если оценивать движение газетного языка в течение последнего десятилетия, то:

— Сравнительно давно привлекла внимание журналистов и стала обычной на газетной полосе работа с контрастом нейтрального — делового — разговорного стилей.

— Затем стала заметна тяга к характерному слову (в том смысле, который придан этому термину в данной статье). Оно и до сих пор в одних газетах — желанно («Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец»), в других встречается редко («Труд», «Сельская жизнь», «Советский спорт»).

— Только в последнее время начинает использоваться более интенсивно, чем раньше, контраст смыслов в словосочетаниях.

Каждая ступень дает все более широкий диапазон речевых средств. Контраст стилей использует (хотя и интенсивней) давно устоявшийся арсенал средств. Характерное слово вовлекает в текст массу индивидуальных речевых стилей (конечно, типизированных), не всегда даже строго отвечающих норме. Наконец, создание смысловых контрастов связано с широчайшим увеличением лексической базы газеты, с переосмыслением многих слов в составе неожиданного словосочетания.

С другой стороны, сочетание двух уровней, контрастное столкновение осуществляется все на меньших отрезках текста. О таком направлении стилистического (в широком смысле слова) развития языка писал А. М. Сухотин.

Все это можно подытожить и более кратко: в языке современной газеты усилены контрасты, парадигматические и синтагматические (в том обывательском значении этих терминов, которое распространено среди лингвистов). Усиливается динамичность текста.

Совершенно естественно, что активизируется глагол — носитель речевого динамизма. Он выполняет разные работы. Глагол рисует в газетном сообщении сложное, изменчивое, многоплановое, рассредоточенное во времени движение. Смотри публикации в газете «Гудок» (например, «Иллюстрация к неотправленному письму». 1985. 25 июня). Глагол показывает развернутый процесс в реальной действительности, последовательно проверяемый системой понятийных категорий. Смотри публикации на экономические темы в «Правде» (например, «Лес после ГЭС». 1985. 11 сент.). Глагол изображает

напряженность волевого, продуманного, мужественно-целеустремленного движения. Смотри корреспонденции с полевых занятий в «Красной Звезде» (например, «Экзаменуют горы». 1985. 8 июня; «Исходя из деловых качеств». 1985. 13 апр.).

Глагол выступает в газете в качестве главной части речи. И он обнаруживает те же свойства, которые господствуют во всем строе языка современной газеты: он любит выделяться. Быть незаметным винтиком — это не для него. Видна любовь к особым глагольным формам, к тем, которые не на всякий случай жизни годятся, а используются иногда...

Филологи давно считают глагольные формы типа *хаживать* дышащими на ладан. Однако именно газета занялась их пропагандой: «Каких только шашек *не видывал* мир!» (Моск. комсомолец. 1985. 3 марта). — «У многих работников управления вдруг обнаружилась страсть к путешествиям... по родной дороге. Вплоть до самых отдаленных ее закоулков, где отродясь *не видывали* живого управленца» (Известия. 1985. 3 апр.). — «*Говаривали* в старину...» (Сельская жизнь. 1985. 7 авг.). — «Это было тем более странно, что сын *не сиживал* в барах и ресторанах» (Учит. газета. 1985. 17 авг.). — «И потом еще несколько лет *не хаживала*» (Сов. культура. 1985. 7 марта). — Заметка из «Интеркурьера», заглавие: «Коко Шанель *говаривала*» (высказывания хозяйки знаменитого французского дома моделей) (Сов. Россия. 1985. 8 марта).

Особой стилистической выразительностью обладают формы типа *А я и позабудь... Морозы вдруг ударь...* — не в повелительном значении. В речи они тоже особые, выделенные; сама экспрессия их многообразна, например:

— «Его занятием была травля журналистов, *вздумай* они воздержаться от прославления Никсона» (Сов. Россия. 1985. 3 марта).

— «Мой профессиональный рост сотрудникам отдела не выгоден. *Научись* я чему-нибудь, — сразу захочу идти дальше. А кто тогда паять будет, сверлить, провода резать? Нет уж, дудки! Оставайся, дружок, в подмастерьях. А думать здесь есть кому» (Моск. комсомолец. 1985. 28 февр.).

— «Даже самый наисовременнейший автомат скован программой. *Появись* непредвиденная ситуация в период освоения и доводки самолета, и он окажется бессилён» (Комс. правда. 1985. 1 сент.).

— «*Случись* какой-то срыв или сбой, и исполком Совета должен принимать меры» (Известия. 1985. 3 апр.).

— «На каникулах старший сын *возьми да и заяви*: тебе сорок четыре, а никакого самолюбия у тебя нет...» (Красная Звезда. 1985. 18 апр.).

— «Подобные молодежные клубы, *появись* они в наших городах, могли бы стать местом духовного общения юношества» (Сов. Россия. 1985. 22 июня).

— «Думаю, *не засидись* он на одном месте, этого не произошло бы» (Известия. 1985. 18 мая).

— «Наташа всегда думала о том, что самые счастливые люди на свете — те, у которых есть семья. И случись ей объяснить, почему она так считает, она, вероятно, сказала бы коротко, что смысл есть только в человеческом тепле» (Моск. комсомолец. 1985. 25 мая).

— «А тут: строители возвели стены — колхоз *плати*, монтажники электропроводку сделали — *плати*... По сей день наши партнеры рвут куски от колхозного пирога, а объект так и не сдан» (Известия. 1985. 20 июня).

Как видно, эта мнимо-повелительная форма<sup>1</sup> сверкает в газете разными гранями.

Есть одна очень своеобразная и выразительная глагольная форма: «мы» совместности. Врач входит в комнату к ребенку и говорит: «Ну, как мы спали? Какая у нас температура?» Очень уютная, домашняя форма. И вдруг она — в газете. И хотя известно, что газеты сейчас любят глагольную раскованность, но использование таких форм все-таки большая смелость: «Детский врач предупредила нас, что ватное одеяло мы купили напрасно. „Оно вам мало“, — сказала она с улыбкой. Ребенок действительно родился крупный — 54 сантиметра... Сейчас все чаще дети рождаются крупные, и во что их заворачивать, пеленать, одевать, обувать — не ясно. Все ползунки нам были малы к 4 месяцам. Самый маленький размер у нас был — 12,5, и пинеток такого размера найти так и не удалось. В довершение всего замечательная коляска — синяя, на больших колесах (мамы поймут, о чем я говорю) с веселенькими цветочками внутри, оказалась нам коротка... уже в 6 месяцев» (Моск. комсомолец. 1985. 2 марта).

Близко к этому: «Как рождаются эмоции? Некоторые — еще до нашего появления на свет. Когда ученые смогли с помощью волоконной оптики сделать снимок ребенка во чреве матери — до рождения было еще 4 месяца — ребенок сосал палец и улыбался. Но вот мы родились. И шквал новых впечатлений обрушился на нас...» (Известия. 1985. 5 авг.).

Глагол в современной газете следует общей тенденции газетной речи. Он хочет контрастировать с нейтральным фоном. И, выделяясь, хочет работать вместе со всеми другими средствами речевой выразительности: создавать выразительный язык современной газеты.

## 6

Раньше газета говорила одним голосом, усредненным голосом журналиста. Этот журналист, конечно, мог быть и талантливым, но его талантливость проявлялась в журналистской остроте взгляда, в умении глубоко анализиро-

---

<sup>1</sup> Об этой форме см.: *Виноградов В. В.* Русский язык. М.: Учпедгиз, 1947.

вать факты, в умении извлечь истину, скрытую суетой дня. Все эти достоинства остались и сейчас. Но в отношении к языку эта талантливость не проявлялась или проявлялась слабо. Требование к языку газеты — быть талантливым — появилось недавно.

Теперь газета говорит многими голосами. Одна из причин этого сдвига — иное отношение к норме.

В 30—60-е годы господствовало такое отношение к литературному языку: норма — это запрет. Норма категорически отделяет пригодное от недопустимого. Теперь отношение изменилось: норма — это выбор. Она советует взять из языка наиболее пригодное в данном контексте.

Следуя прежнему пониманию нормы, следовало выравнивать язык по ее повелениям. Новое понимание требует гибкого следования целям и условиям общения, которые могут меняться, например, в начале статьи быть чисто информативными (господствует деловой стиль), а в конце ее смещаться в сторону свободного обсуждения проблемы (стиль разговорный). Раньше забота журналиста: не отклониться бы! Теперь: выбрать бы самое действенное! То, что соответствует стилю всего издания, и его данному отделу, и данной статье, и ее именно этому месту.

Задачи стали сложнее, но ведь и газеты стали интереснее, живее, и роль их в воспитании речевого вкуса возросла. Можно ли сказать, что лет десять назад газеты воспитывали вкус читателя? Наверное, можно, но этот вкус не годился для бытовой речи. Говорить в повседневном быту по-газетному было нельзя. И сейчас нельзя, но газета учит выбирать, оценивать, сопоставлять речевые возможности, а это важно и для бытовой речи.

Но, правда, и канцелярита в газетах еще достаточно.

## Из Проспекта коллективной монографии «Русский язык и советское общество»\*

### Словообразование

*Содержание раздела. — А (§ 1—6). Взаимодействие между грамматическими значениями в пределах одной грамматической категории. Влияние на это взаимодействие социальных условий существования русского языка в советскую эпоху. — Б (§ 7—12). Превращение словообразовательных моделей в словоизменяемые. Увеличение регулярности ряда моделей как причина такого превращения. Усиленное и обостренное протекание этого процесса в русском языке советского времени. Влияние общественных факторов на этот процесс. — В (§ 13—21). Изменение продуктивности словообразовательных моделей. Рост продуктивности многих моделей под влиянием общественных воздействий на язык. Активизация заимствованных аффиксов; превращение аффиксоидов в аффиксы; обострение морфологической членимости заимствованных слов. Актуализация некоторых грамматических значений под влиянием социальной действительности; воздействие такой актуализации на продуктивность словообразовательных моделей. — Г (§ 22—27). Борьба синонимических словообразовательных моделей. Различные исходы этой борьбы, обусловленные внутриязыковыми тенденциями развития и «внешними», социальными воздействиями. Особая напряженность столкновения синонимических моделей в терминологии. — Д (§ 28—31). Стилистические взаимодействия в словообразовательной системе, их интенсивность в русском языке XX века. Влияние на это взаимодействие демократизации русского литературного языка после Октябрьской революции. — Е (§ 32—33). Специализированные подсистемы в словообразовании; особая важность среди них терминологической подсистемы. Рост влияния принципов словообразования, характерных для терминологических систем, на общую словообразовательную систему. — Ж (§ 34—49). Рост агглютинативности в словообразовательной системе русского языка у одних моделей, фузионности — у других. Пере-*

---

\* Издательство Академии наук Казахской ССР. Алма-Ата, 1962.

Проспект составили: С. И. Ожегов (раздел «Лексика»), И. А. Оссоветский (раздел «Влияние литературного языка на говоры»), М. В. Панов (грамматические разделы. «Фонетика», «Письмо», «Стилистика»). Отв. редактор академик АН КазССР С. К. Кенесбаев.

В настоящей книге публикуются только разделы, написанные М. В. Пановым.



вес принципов усиления агглютинативности. Роль общественных условий существования русского языка нашей эпохи в стимулировании этих процессов. Ослабление агглютинации (в некоторых частных случаях) в результате лексических преобразований, характерных для нашей эпохи.

0. Грамматическая система языка (в том числе и словообразовательная) развивается по своим внутренним законам. Но это развитие испытывает сильнейшее воздействие со стороны общественных условий существования языка. Социальные факторы могут способствовать ускорению одних исторических преобразований в грамматике, задерживать развитие других, предоставлять новый материал для некоторых внутренне обусловленных процессов и т. д. Но эти социальные влияния не могут быть деструктивными по отношению к языковой системе.

В советскую эпоху воздействие социальных факторов на язык было во многих случаях очень значительным. Оно не отменило, разумеется, никаких внутренних законов развития грамматической системы русского языка, но взаимодействовало с ними, усиливая или ослабляя их.

A1. Между словообразовательными моделями могут быть такие соотношения:

$$\begin{aligned} \alpha) nA \parallel n\bar{A} \\ \beta) nA \parallel \bar{n}A \end{aligned}$$

Здесь  $n$  = ‘указано’;

$A$  = определенное грамматическое значение;

$\bar{\phantom{x}}$  = ‘не’.

Например, соотношение между словами: *учитель* — *учительница*, *ткач* — *ткачиха*, *поэт* — *поэтесса*, *секретарь* — *секретарша*, характеризуется формулой  $\beta$ ; здесь  $A$  = ‘лицо женского пола, охарактеризованное по профессии’. Соотносительные слова *учитель*, *поэт*, *продавец*, и т. д. не указывают, что при назывании имеется в виду женщина; немаркированный член противопоставления —  $\bar{n}A$  (В. Н. Сидоров, 1947).

Возможно и принципиально иное соотношение. Слова *грузин* — *грузинка*, *русский* — *русская*, *француз* — *французженка*, *москвич* — *москвичка*, *киевлянин* — *киевлянка*, *сибиряк* — *сибирячка*, *северянин* — *северянка* и т. д. соотносятся по типу  $\alpha$ . Здесь одно слово указывает, что названа женщина, другое (соотносительное) слово — что назван мужчина.

Когда налицо соотношение типа  $\beta$ , то всегда осуществляется формула: все ‘ $nA$ ’ являются ‘ $\bar{n}A$ ’ (напр., все учительницы в то же время и учителя; ср. *Анна Николаевна* — *опытный учитель* и пр.); при отношениях типа  $\alpha$  эта формула оказывается неосуществимой, и речевые единицы, построенные на

ее основе, языковым сознанием говорящих оцениваются как неправильные (невозможны выражения: *обаятельный француз Нинон Бросье* и под.).

Из двух членов глагольной видовой пары один указывает, что действие доведено до качественного предела, это глагол совершенного вида. Возможны и другие определения, но важно, что и они характеризуют значение совершенного вида как  $nA$  (С. Карцевский, 1926; В. Н. Сидоров, 1947).

Противостоящий же член определяется разными исследователями в принципе различно. Одни считают, что он имеет значение  $\bar{n}A$  — не содержит указания на законченность (предельность) действия. Отсюда возможность такого употребления этих форм: — *Ты напишешь брату письмо об этом? — Я уже ему писал*; или: — *Выпей чаю. — Я уже пил* и т. д. Здесь оказывается, что *писал* = *написал*; *пил* = *выпил*;  $\bar{n}A \subset nA$ . Таким образом, несовершенный вид определяется как немаркированный член (С. И. Карцевский, 1926; В. Н. Сидоров, 1947).

Другие исследователи считают, что и этот член видового противопоставления маркирован ( $n\bar{A}$ ); он указывает на незавершенность действия (И. П. Мучник, 1947)<sup>1</sup>.

В действительности видовые глагольные пары осуществляют и тот и другой тип соотношений. Противопоставления *писать* — *написать*, *пить* — *выпить* и т. д. относятся к типу  $\bar{n}A \parallel nA$ . Напротив, в противопоставлениях *переписать* — *переписывать*, *выбросить* — *выбрасывать* осуществляется тип  $nA \parallel n\bar{A}$ . Соотношения в репликах: — *Перепиши эту фразу. — Я уже переписывал ее*; или: — *Налей воду сюда. — Я уже наливал* и т. д., совсем не те, что в приведенных выше репликах со словами *писал* — *написал*, *пил* — *выпил*. Здесь названия действия *дописывал* и *дописал* не соотносятся как более общее и более частное; одно не влечет за собой другое. Слово *переливал* в приведенной реплике не означает: ‘я уже выполнил то действие, которое ты назвал словом *перелил*’. Словом *переливал* названо другое действие: многократное или однократное незаконченное. Таким образом, в парах *переписать* — *переписывать* налицо соотношение  $nA \parallel n\bar{A}$ ;  $A$  = ‘действие доведено до качественного предела’;  $\bar{A}$  = ‘действие до него не доведено’.

Как видно из примеров, в пределах одной грамматической категории (родовой, видовой и т. д.) могут осуществляться и отношения типа  $\alpha$  (в одних единицах), и отношения типа  $\beta$  — в других. В таких случаях часто возникает взаимодействие между отношениями типа  $\alpha$  и типа  $\beta$ , вытеснение одних другими. При этом процесс протекает двумя путями: или определенные морфологические образования заменяются новыми, или же переосмысливаются ка-

---

<sup>1</sup> Три огня светофора можно было бы обозначить так:  $nA$  = указано: иди (зеленый),  $n\bar{A}$  = указано: не иди (красный),  $\bar{n}A$  = не указано: «иди» (желтый).

кие-то морфологические единицы, внешне не изменяясь. В последнем случае возможна замена отношений типа  $\alpha$  отношениями типа  $\beta$  (при этом  $n\bar{A}$  изменится, расширяя свое значение, до  $\bar{n}A$ ), но не наоборот. Изменение  $\bar{n}A$  в  $n\bar{A}$  означало бы сужение объема значения у единиц, претерпевающих такое изменение, т. е. сужение числа контекстов, где они возможны, что для грамматических категорий маловероятно.

Напротив, при отмирании старых морфологических образований и замене их новыми возможно превращение отношений типа  $\alpha$  (т. е.  $nA \parallel n\bar{A}$ ) в основные для данной грамматической категории отношения типа  $\beta$ .

**A2.** Существительные, соотносительные по роду, выражают и соотношение  $nA \parallel \bar{n}A$  (названия лиц по профессии) и соотношение  $nA \parallel n\bar{A}$  (названия по национальности, по месту жительства). Некоторые типы таких существительных испытывают воздействие и того и другого соотношения. Такова, например, группа слов, называющих лицо по черте характера, внешности и т. д.: *лентяй — лентяйка, красавец — красавица, трус — трусиха, сумасброд — сумасбродка, герой — героиня, ворчун — ворчунья, выдумщик — выдумщица, мечтатель — мечтательница, начетчик — начетчица, театрал — театралка* и т. п. Такие слова-характеристики в большинстве своем отвечают формуле  $nA \parallel n\bar{A}$ ; ср. *красавец — красавица, говорун — говорунья* и т. д. Соотношение этого типа ( $\alpha$ ) очень характерно для данной группы слов. Оно поддерживается и синтаксически: такие существительные наиболее обычны в роли приложения, и тогда они «согласуются» в роде с другим существительным (А. В. Миртов, 1946).

Но в некоторых парах налицо другое соотношение:  $nA \parallel \bar{n}A$ ; ср. *театрал — театралка, герой — героиня* и т. д. Именно это последнее отношение в нашу эпоху начинает широко использоваться у таких существительных и вытеснять отношение  $nA \parallel n\bar{A}$ .

Причины этого процесса могут быть поняты так. Соотношения типа  $nA \parallel n\bar{A}$  функционируют нормально, если есть полный параллелизм соотносящихся форм; каждому члену  $nA$  должен соответствовать член  $n\bar{A}$ , отличающийся только грамматическим значением. Это условие, например, строго выполняется для ряда *грузин — грузинка, москвич — москвичка*. У существительных разбираемого типа такой точной соотносительности нет. Во-первых, многим членам  $nA$  не соответствует член  $n\bar{A}$ <sup>2</sup>; ср.: *храбрец, добряк, простак* и т. д. Во-вторых, между соотносительными парами иногда существуют не только грамматические, но и стилистические контрасты; ср. *трус* (нейтр.) — *трусиха* (разг.), *лентяй — лентяйка* и пр.

<sup>2</sup> При соотношениях типа  $\alpha$  безразлично, какому члену противопоставления приписать обозначение  $nA$  и какому —  $n\bar{A}$ .

В разговорной речи, при обмене репликами, обычны такие параллелизмы в построении предложений: — *Ну и выдумщик же ты!* — *Да ведь и ты выдумщица*; или: — *Нет, я не мечтатель.* — *А я, прямо скажу, мечтательница*; или: — *Такого говоруна, как ты, свет не видывал.* — *И такой говоруны, как ты* — и пр.

Автоматизм речи, характерный для разговорного стиля, делает такое использование соотносительных слов в диалоге очень частым и желательным. Но если бы слова мужского рода у существительных анализируемого типа имели всегда значение пА, то, при указанных выше условиях, этот автоматизм во многих случаях не смог бы осуществиться; ср. — *Ее брат просто храбрец!* — *Но ведь и она тоже очень смелая* — и т. д. Это связано именно с тем, что контраст между словами такого типа нерегулярен: иногда он осложнен стилистическими оттенками, иногда налицо только один из членов этого контраста. В разговорном стиле естественно стремление расширить использование в этой группе слов соотношения пА—п̄А; оно позволит использовать автоматизм параллельных построений, создавать ответную реплику из речевого материала собеседника: — *Ее брат храбрец!* — *Да и она ведь тоже храбрец* — и т. д. Поэтому в современном разговорном стиле все шире используются конструкции: *она... герой, мечтатель, большой выдумщик* и т. д.

Усиленное влияние разговорного стиля на нейтральный (вызванное социальными причинами) позволило широко распространиться и укрепиться соотношениям типа пА—п̄А в группах существительных данного типа.

**А3.** Видовым парам, которые отличаются наличием — отсутствием суффикса *-ива-* (он всегда сопровождается префиксом или префиксоидом), свойственно соотношение пА || п̄А; оно последовательно выдержано у этих форм.

Отношение пА || п̄А характеризует некоторые видовые пары, отличающиеся наличием — отсутствием префикса. Но: а) префиксальное образование видовых пар нестандартно, нет специализированных приставок, используемых только при видовом словообразовании; выбор их, с точки зрения современных языковых отношений, не мотивирован; ср.: *радовать* — *обрадовать*, *сеять* — *посеять*, *играть* — *сыграть*, *душить* — *задушить*, *мочить* — *намочить*, *печь* — *испечь*, *топить* — *утопить...*; б) отношение пА || п̄А характерно только для некоторых видовых пар префиксально-беспрефиксального типа, т. е. использование его в данной модели не является последовательным.

Итак, данная модель характеризуется нерегулярностью означающих и нерегулярностью означаемых. Очевидно, что она мало продуктивна для современного русского языка (подробнее о продуктивности моделей см. дальше). Пополняется в основном разряд видовых пар, различающихся суффиксами (И. П. Мучник, 1957). Постепенно пары *пить* — *выпить*, *читать* —

*прочитать* с отношениями  $nA \parallel \bar{n}A$  оказываются все в большей изоляции, должны противостоять все большему числу регулярных отношений типа  $nA \parallel \bar{n}A$  и тем самым все более явно преобразуют свое грамматическое соотношение в лексическое, изолированно-нерегулярное, все более теряют право входить в ряд видовых глагольных пар.

**A4.** Соотношение существительных с качественными прилагательными может быть двоякого типа:  $\alpha$ ) *медленный* — *медленность*; *темный* — *темнота*; *тупой* — *тупость*; *краткий* — *краткость*; *мелкий* — *мелкость*; *светлый* — *светлизна*; *тусклый* — *тусклость*;  $\beta$ ) *длинный* — *длина*; *скорый* — *скорость*; *длительный* — *длительность*; *глубокий* — *глубина*; *высокий* — *высота*; *острый* — *острота*; *яркий* — *яркость*.

В случаях  $\alpha$  соотношение описывается такими формулировками: *смелость* — качество смелого, *темнота* — качество темного и т. д. или: *смелый* — ‘тот, кому присуща смелость’, *темный* — ‘тот, кому (то, чему) присуща темнота’ и т. д. Но неверны определения: *длина* — это ‘качество длинного’, *скорость* — ‘качество скорого’ или: *длинный* — ‘тот, кому (то, чему) присуща длина’, *скорый* — ‘тот, кому (то, чему) присуща скорость’ (см. выше группу слов  $\beta$ ).

Слова *длинный*, *скорый* и под. содержат указание на положительное обладание каким-то признаком: *длинный* — ‘тот, кому присуща значительная длина’; *скорый* — ‘имеющий значительную скорость’ и т. д. Здесь прилагательные указывают на положительное (значительное) проявление данного признака, а существительные не указывают, значительно ли это проявление. Скоростью обладают нескорые объекты, длиной — недлинные, яркостью — неяркие и т. д. Соотношение здесь, в группе  $\beta$ , определяется формулой  $nA \parallel \bar{n}A$ . Различие между словами *длинный* — *длина*, *скорый* — *скорость* и т. д. — аффиксально и, следовательно, должно быть признано грамматическим (деривационным).

У прилагательных *тусклый* — *яркий* и т. д. антонимичность, конечно, имеет лексический характер; грамматически они совершенно тождественны. Их лексическое противопоставление можно выразить формулой:  $nA \parallel \bar{n}A$  (*тусклый* — это неяркий).

Суффиксы отприлагательных существительных *-ость*, *-изн(а)*, *-ин(а)*, *-от(а)* и т. д. имеют два оттенка значения: они или указывают, что отвлеченный признак, указанный производящей (прилагательной) основой, берется в тех же пределах, которые характеризуют прилагательное (и определены, ограничены его антонимом), или же снимают эту ограниченность. Таким образом, *-ость* означает:  $\alpha$ ) признак, который указан производящей основой, взятый в отвлечении, абстрактно;  $\beta$ ) признак, который указан производящей основой и ее антонимом, взятый абстрактно. Например, вполне реально в речи выраже-

ние: *яркость этой лампочки ничтожна*, т. е. она тускла. Здесь *яркость* — это свойство яркого — тусклого, любая степень проявления этого свойства. Напротив, выражение *тусклость этой лампочки ничтожна* не используется для указания, что лампочка ярка. В этом последнем случае (т. е. случае  $\alpha$ ) *тусклость* — только положительная степень проявления тусклого. Здесь в словах типа *тусклость* (случай  $\alpha$ ) суффикс существительного не вносит изменений в объем значения основы прилагательного. Напротив, в словах типа *яркость* (случай  $\beta$ ) суффикс существительного преобразует значение прилагательной основы, расширяя его объем. Если слова *тусклый* — *яркий* соотносятся по формуле  $nA$  —  $n\bar{A}$ , то существительные *тусклость* — *яркость* соотносятся по формуле  $nA$  —  $\bar{n}A$ ; изменение в соотношении внесено деривационным аффиксом в слове *яркость*.

В современном русском литературном языке отношения типа  $\beta$  между прилагательным и соотносительным существительным постепенно распространяются, все шире захватывая новый лексический материал. Это связано с расширением терминологической лексики и с ее усиливающимся влиянием на лексику нетерминологическую. Отношения же типа *скорый* — *скорость* характерны именно для терминологической лексики. Есть антонимы: *яркость* — *тусклость*, *глубокий* — *мелкий* и т. д., но когда необходимо измерить, насколько объект исследования ярок — тускл, глубокий — мелок и т. д., необходима единая шкала, нужен один термин, характеризующий движение по этой шкале. Избирается одно из существительных-антонимов (*яркость* или *тусклость*, *глубина* или *мелкость*), чтобы характеризовать вообще какую-то степень проявления данного признака, малую или большую.

Многие существительные, соотносительные с качественными прилагательными, колеблются между типом  $\alpha$  и  $\beta$ , приобретают тот или иной оттенок значения в зависимости от контекста (ср.: *строгость доказательства у вас невелика*; *во всем его облике чувствовалась строгость*; *крутизна склонов в этой местности меняется от 7 до 40°*; *трудно спуститься по такой крутизне* и т. д.). Получая хотя бы слабый оттенок терминологизованности, они имеют значение  $\bar{n}A$ : указывают на обладание — необладание данным признаком (по соотношению с производящим прилагательным); в нетерминологизованном, бытовом, разговорном употреблении имеют значение  $n\bar{A}$ .

**A5.** Итак, весьма часто два типа соотношений ( $\alpha$  и  $\beta$ ) борются внутри одной и той же грамматической категории. Эта борьба порождает сложное варьирование значений у отдельных морфологических образований, входящих в данный грамматический ряд. Направление и исход этой борьбы зависят от множества частных причин и взаимодействий, отчасти внутренне присутствующих языку (таково, например, движение в сторону отношений типа  $\alpha$  у гла-

гольных видовых пар; оно обусловлено соотношением регулярных и нерегулярных моделей в языке), отчасти определяемых социальными условиями жизни языка (таково, например, движение в сторону отношений типа  $\beta$  у существительных *герой* — *героиня*; оно обусловлено усиливающейся ролью разговорной стихии в современном русском языке, что, в свою очередь, имеет социальные причины).

Нет основания считать, что тот или другой тип соотношений имеет объективные преимущества; и та и другая внутренняя форма, которую несут с собой соотношения  $\alpha$  и  $\beta$ , не обременяют мысль, в равной степени дают ей возможность четко сформироваться — и в равной степени они несут в себе условность. Поэтому было бы напрасно искать общую тенденцию в языке к смене отношений всех  $nA \parallel n\bar{A}$  отношениями  $nA \parallel \bar{n}A$  (или наоборот). Таких общих тенденций, весьма вероятно, не существует. И все же было бы неверно процессы взаимодействия соотношений  $\alpha$  и  $\beta$  представлять как пестрый разнобой, управляемый в каждом грамматическом ряду только своими частными причинами. Всюду заметно стремление свести отношение в данной грамматической категории<sup>3</sup> или к типу  $\alpha$  или к типу  $\beta$ , т. е. освободиться от многозначности соотношений или, по крайней мере, уменьшить ее.

Это стремление реализуется разными путями. Один путь — массовое образование новых единиц по модели, четко связанной с одним каким-либо типом соотношений; при этом образования по другой модели (связанной с иным типом соотношений) постепенно изолируются, их связи превращаются из грамматических в лексические. Другой путь — постепенное оттеснение и изгнание из языка лексем, в которых представлены «ущербные» для данного грамматического ряда соотношения. Наконец, третий путь — расширение у некоторых лексем значения  $n\bar{A}$  до пределов  $\bar{n}A$  (по образцу других лексем, представляющих ту же грамматическую категорию).

**А6.** Однако эта грамматическая тенденция может встретить сопротивление лексического материала. Так случилось в соотносительных парах *скорый* — *скорость*, *глубокий* — *глубина* и т. д. У большинства таких пар существительное сохраняет объем значения соотносительного прилагательного, и лишь у меньшей части отприлагательных существительных суффиксы *-ость*, *-ин(а)*, *-изн(а)* и пр. преобразуют значение основы, расширяя его. В этом случае у грамматической категории нет сил, нет возможности свести все отношения в данных парах к типу  $nA \parallel n\bar{A}$ , который представлен основной массой

<sup>3</sup> Образования, которые имеют грамматические соотношения  $nA \parallel \bar{n}A \parallel n\bar{A}$ , образуют одну грамматическую категорию; образования с соотношениями  $nB \parallel \bar{n}B \parallel n\bar{B}$  — другую грамматическую категорию. Например, глаголы обладают категорией вида, личные существительные — категорией рода и т. д.

таких слов. Терминологическая лексика, пусть даже не очень частотная в литературной речи, представляет очень важную часть словаря, она все время пополняется и все сильнее влияет на нетерминологическую лексику. Хотя отношение  $nA \parallel \bar{n}A$  здесь представлено в меньшей части грамматического ряда, но оно не может быть вытеснено и не может само вытеснить другое соотношение, данное в большинстве единиц такого типа. Здесь грамматика не может преодолеть сопротивление словаря.

**Б7.** Грамматическое значение  $nA$  может распадаться на ряд оттенков:  $na_1, na_2, na_3 \dots$  и т. д. Например, аффикс *-тель* имеет оттенки значения:  $a_1 =$  ‘лицо, совершающее действие, которое указано производящей основой’;  $a_2 =$  ‘предмет, совершающий... (и т. д.)’. В зависимости от того, выражено в слове значение  $na_1$  или  $na_2$ , винительный падеж получает разное оформление. Другой пример: аффикс *-ом* имеет значения:  $a_1$  — орудия действия,  $a_2$  — способа действия... (и т. д.).

Возможны два противоположных случая. Дан ряд морфологических единиц<sup>4</sup>; все они представляют собой сочетание аффикса  $M$  с разными основами. При этом аффикс  $M$  может принимать грамматические значения  $na_1, na_2, na_3$ ; наличие того или иного значения зависит от контекста. Именно так обстоит дело с аффиксом существительных *-ом*: *действовать веслом, пером, канатом, зубом, рулем; добиться умением, умом, убеждением, трудом* (здесь контекст аффикса *-ом* в каждом из обоих случаев типизирован: взят тот же управляющий глагол, и основы, присоединяющие аффикс, семантически однотипны).

Другой, противоположный случай. Аффикс  $N$  в соединении с одними основами имеет значение  $na_1$  и  $na_2$  (в разных контекстах); в соединении с другими (того же типа) — значение  $na_1$ , в соединении с третьими (того же типа) —  $na_2 \dots$  При этом выбор значения в каждом случае нельзя связать с типизированным характером основы: другие основы именно того же типа вызывают у аффикса  $N$  другой оттенок значения. Таков аффикс *-тель*. С одними основами он имеет значение  $na_1 =$  *обследователь, водитель, просветитель*; с другими  $na_2 =$  *определитель, указатель, прерыватель*; с третьими и  $na_1$  и  $na_2 =$  *искатель*.

Какая-то основа может сочетаться с несколькими аффиксами типа  $M$ , тогда все образующиеся в результате такого сочетания морфологические единицы составляют одну лексему<sup>5</sup>. Напротив, одна и та же основа в соединении с

<sup>4</sup> Морфологической единицей называем слово или словоформу.

<sup>5</sup> Если сочетание такого  $M$  с «основой» (точнее — с какой-то значимой единицей) не образует словосочетания; впрочем, назвав  $M$  аффиксом, мы уже отстранили эту возможность. О случаях, когда единицы типа  $M$ , сочетаясь с другими единицами, образуют словосочетания, см. в разделе «Словоизменение», § А4—А7.



разными аффиксами типа N не образует единиц, принадлежащих одной лексеме. В соответствии с данным определением, входят в одну лексему такие морфологические единицы: *стол* — *столу* — *столом* — *столы* — *столам*...; или: *вижу* — *видишь* — *видят* — *видел* — *видевший*...; или: *быстрый* — *быстрая* — *быстрыми* — *быстрее* — *быстро* (кратк. прилагат.) — *быстро* (нареч.) и т. д.

Предположим, что какое-то большое число морфологических единиц имеет аффикс типа M при разных основах; у всех этих единиц аффикс M имеет позиционно обусловленные значения  $a_1$  и  $a_2$ <sup>6</sup>. И лишь у нескольких образований этот аффикс имеет, кроме значений  $a_1$ ,  $a_2$ , еще и значение  $a_3$ . Тогда данное морфологическое образование будет осознано говорящими как распавшееся на омонимы: единицы, обнаруживающие значения  $a_1$  и  $a_2$ , будут признаваться членами обычной лексемы (т. е. войдут в семью форм, отличных друг от друга только аффиксом типа M), образование же, обнаруживающее значение  $a_3$ , будет выведено за пределы этой лексемы. «Специализация падежа, осложнение его обстоятельственными значениями ведет к адвербиализации соответствующих форм... Предлог *в* с винительным падежом в значении способа и образа действия, иногда с примесью оттенков цели ('в качестве чего-нибудь' — и отсюда: 'для чего-нибудь'), становится средством адвербиализации имен существительных, создавая грамматические единства, не вмещающиеся в привычный строй отношений между значением падежа и значением предлога. Например: ...*сказать в шутку*, *скакать в карьер*...» (В. В. Виноградов, 1947).

Это же случится и тогда, когда аффикс M, при соединении с основами данного типа имеющий значения  $a_1$  и  $a_2$ , окажется способным при соединении с некоторым ограниченным количеством основ того же типа иметь только значение  $a_1$ , тогда данное сочетание выпадет из лексемы. «Замутнение в какой-нибудь конкретной форме творительного падежа ее основных функций, закрепление за этой формой только одного из присущих ей значений равносильно отпадению ее от системы склонения данного существительного (например: *отдать даром*, *уцелеть чудом*)» (В. В. Виноградов, 1947).

Итак, схематически это можно изобразить следующим образом. Есть ряды морфологических единиц (с однотипными основами a, b, c):

$aM^1$	$bM^1$	$cM^1$
$aM^2$	$bM^2$	$cM^2$
$aM^3$	$bM^3$	$cM^3$

Пусть  $M^3$  имеет значения  $a_1$  и  $a_2$  во всех единицах, кроме  $cM^3$ , где налицо значение  $a_1$ ,  $a_2$  и  $a_3$ , тогда  $cM^3$  со значением  $a_3$  превратится в отдельную лек-

<sup>6</sup> Для простоты здесь и дальше приняты обозначения  $a_1$ ,  $a_2$ ... вместо  $pa_1$ ,  $pa_2$ ...

сему. Если же  $cM^3$  имеет только значение  $a_1$  (но не  $a_2$ ), то  $cM^3$  выпадает из объема данной лексемы.

**Б8.** В истории языка все время происходят подспудные движения в значениях аффиксов, которые меняют типические объемы лексем. В старославянском языке, как показал Н. С. Трубецкой (1937), притяжательные прилагательные *отъцевъ*, *сестринъ* входят в объем лексем существительных (*отъць*, *сестра*). В дальнейшем они обособились от парадигмы существительного<sup>7</sup>.

Отдельные морфологические образования постепенно могут сближаться между собой так, что их аффиксы типа N преобразуются в аффиксы типа M.

Морфологические единицы входят в пределы одной и той же лексемы, если они строго отвечают указанным выше требованиям<sup>8</sup>. Эти требования можно рассматривать как порог, который какому-то образованию необходимо перейти, чтобы примкнуть к замкнутому набору словоформ — к определенной лексеме. В некоторых случаях морфологические образования подходят к этой границе, не переступая ее; они могут приближаться или удаляться от нее (и, следовательно, по отношению к данному типу лексемы суффикс этого «удаляющегося» образования из типа M переходит в N).

**Б9.** В XVIII веке образования типа *ругание*, *развезание*, *протачивание*, *отбитие* и т. д. легко производились от глаголов (ограничения были закономерно, т. е. касались глагольных основ некоторых строго очерченных типов)

---

<sup>7</sup> Надо подчеркнуть принципиальную возможность сочетания в одной лексеме морфологических единиц (словоформ), принадлежащих к разным частям речи. Так, в немецком языке *das Lesen* и *lesen* или *das Laufen* и *laufen* и т. д. принадлежат к одной парадигме (говорят, что в этих случаях глагол «субстантивируется», как будто здесь налицо какой-то исторический процесс, а не синхронное сосуществование единиц, входящих в одну лексему). Возможность сосуществования в пределах одной лексемы словоформ, принадлежащих к разным частям речи, обосновывается тем, что распределение морфологических единств по частям речи и распределение морфологических единств по лексемам основано на совершенно разных, не пересекающихся друг с другом принципах.

<sup>8</sup> Следовательно, аффикс надо считать словоизменительным (формообразующим), если: 1) ему присущ определенный стандартизованный набор значений, из которых конкретизируется (в каждом речевом воспроизведении с данным аффиксом) то или другое в зависимости от типизированных условий контекста, т. е. в зависимости от позиции; 2) он регулярно присоединяется к основам определенного типа.

Две основы принадлежат одному определенному типу, если набор аффиксов M при одной основе совпадает в большинстве своих звеньев с их набором при другой основе. Во многих случаях словоизменительные аффиксы имеют реляционное значение, но этот типический для таких аффиксов признак (т. е. весьма обычный для них) не является необходимым.

и имели стандартизованное значение: они указывали на процесс в отвлечении от времени; большинство из них только это значение и имели. Они были близки к тому, чтобы войти в пределы глагольной лексемы. В результате множества индивидуальных лексических изменений эти образования на *-ние*, *-тие* все дальше отходили от глагольных лексем. Но необходимость в абстрактных наименованиях действия сохранялась (инфинитив был не во всех отношениях удобен, поскольку его синтаксическая сочетаемость, как падежно-неизменной формы, весьма ограничена).

В наше время очень активизировалось образование отглагольных существительных с суффиксом *-к(а)*; они возможны от любого переходного приставочного глагола<sup>9</sup>. Эти существительные особенно широко распространены в диалектах и в профессиональных аргю. В 20-е годы, при усилении диалектного влияния на литературный язык, они стали широко вливаться в разговорную литературную речь.

Наплыв диалектных и профессиональных *-к(а)*-образований в непринужденно-раскованную, бытовую, повседневную речь повлек за собой постепенное превращение этой модели в регулярную.

Регулярные модели — это те, по которым от основ определенного типа всегда можно образовать морфологическую единицу, имеющую данный аффикс со стандартным значением<sup>10</sup>. В языке существуют конкретно-материальные единицы (слова, фразеологические словосочетания) и относительно-материальные (модели словосочетаний и предложений). Конкретное предложение, возникшее в речевом акте, конечно, не является единицей языка; только его модель имеет языковое существование (А. И. Смирницкий, 1954).

Точно так же слова *догрузка*, *разлиновка*, *надписка*, *отброска*, *расплавка* и т. д. — не воспроизводимые, а создаваемые в речи единицы; в языке существует регулярная модель, по которой можно в процессе речи создавать такие слова от любой основы определенного типа (и все ограничения при таком образовании сами окажутся строго закономерными).

Внешне все осталось прежним в этих моделях с суффиксом *-к(а)*: и в XIX веке были существительные такого типа, есть они и сейчас. Разница, ка-

<sup>9</sup> Разумеется, это нельзя установить, подсчитывая такие образования по словарям. Например, в словаре под ред. Д. Н. Ушакова их меньше, чем образований на *-ние*, *-тие*, но это и понятно: регулярно образуемые единицы не отмечаются в словарях, не попадают в поле зрения лексикографов.

<sup>10</sup> Модель словоизменительная (формообразовательная, с аффиксом типа М) — это всегда регулярная модель. Термин «регулярная модель», однако, подчеркивает особую сторону этих образований: их способность к сочетанию с определенными единицами. Эта способность может расти и уменьшаться, следовательно, регулярность может быть большей или меньшей. Понятие же словоизменительного качества модели имеет пороговый характер: модель или словоизменительна, или нет.

залось бы, только в том, что они стали чаще встречаться в речевом потоке. Но количественные изменения отозвались и на качестве модели: теперь языку принадлежат не отдельные конкретные слова типа *догрузка*, *разлиновка* и т. д. (со значением процесса), а модель образования этих слов (и, конечно, те отглагольные слова с суффиксом *-к(а)*, у которых он имеет иное, нестандартизованное, непроцессуальное значение). Процесс превращения нерегулярной модели в регулярную — это всегда замена сотен конкретно-материальных языковых единиц одной относительно-материальной; такое превращение исключительно важно для языковой системы.

Все продуктивные модели с аффиксами типа М регулярны: чем регулярнее модель, тем ближе образования, созданные по этой модели, к превращению в словоформы определенных лексем<sup>11</sup>. Образования типа *разлиновка*, *надписка*, *отброска*, *расплавка* и под., вероятно, еще не стали словоформами глаголов *разлиновать*, *надписать*, *отбросить*, *расплавить*, но они близки к тому, чтобы преодолеть порог этих глагольных лексем.

**Б10.** Когда решается вопрос о том, входит ли образование  $cM^3$  в лексему  $cM^1$ ,  $cM^2 \dots$ , то необходимо учесть, имеет ли аффикс  $M^3$  всегда значение  $a_1$ <sup>12</sup>, если всегда, т. е. в сочетании с любыми основами данного типа, то  $M^3$  — формообразующий аффикс и  $cM^3$  — одна из словоформ в лексеме  $cM^1$ ,  $cM^2 \dots$

В этом определении требует пояснения слово «всегда». Предположим,  $M^3$ , присоединяясь к основам данного типа, может иметь при некоторых из них еще и значение  $a_2$ . Всегда ли такая семантическая нерегулярность превратит аффикс М в аффикс типа N? Здесь важны количественные отношения. Предположим, в речевом потоке на каждую тысячу образований с аффиксом  $M^3$  (... $cM^3$ ,  $dM^3$ ,  $eM^3$ ,  $fM^3$ , ...  $xM^3$ ,  $yM^3$ ,  $zM^3 \dots$ ) у 997 налицо значения  $a_1$  и лишь у 3 образований — значения  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ . Тогда эти последние образования, естественно, будут признаны особым изолированным типом, не связанным с общей регулярной моделью; тем самым модель с аффиксом М окажется не потерявшей своей регулярности, а аффикс М — своей формообразовательной (словоизменяющей) функции. Образования со значениями  $a_2$ ,  $a_3$  и  $a_4$  будут восприниматься как нерегулярные, как образования с аффиксами-омонимами по отношению к регулярному аффиксу.

Другой возможный случай: среди тысячи образований с этим аффиксом, извлеченных из речевого потока, в среднем окажется: около 300 образований, где аффикс  $N^3$  имеет значение  $a_1$ , около 200 — со значением  $a_2$  у того же аффикса, около 350 — со значением  $a_3$ , около 150 — со значением  $a_4 \dots$  (при

<sup>11</sup> Именно лексем, имеющих ту же основу, соединенную с аффиксом типа М.

<sup>12</sup> Или несколько значений, появление которых в каждом случае позиционно обусловлено, т. е. вызвано типизированными условиями контекста.

этом все аффиксы присоединяются к основам того же типа и различный выбор значения в каждом случае не определен типизированным контекстом, т. е. значения  $a_1 — a_2 — a_3 — a_4$  не встречаются у одних и тех же образований, а распределены между ними — как и в случае, описанном в предыдущем абзаце). Если значения  $a_1 — a_4$  семантически между собой связаны и аффикс, имеющий эти значения, присоединяется к основам одного и того же типа, то нельзя видеть здесь действие 4-х различных моделей — модель одна и та же. Но она нерегулярна. 300 образований со значением  $a_1$  невозможно рассматривать как идиомы, как исключения по отношению к 350 «неидиоматическим» образованиям со значением  $a_3$ . Т. о. регулярность или нерегулярность модели связана со статистическими отношениями, существующими в речевом потоке (которые отражают статистические соотношения между единицами языка).

Вернемся к распределению частотностей у значений  $a_1 — a_2$  аффикса  $N^3$ , которое было указано выше: в среднем  $a_1 = 300$ ;  $a_2 = 200$ ;  $a_3 = 350$ ;  $a_4 = 150$  на тысячу образований с  $N^3$ , встреченных в тексте. В результате энергичного увеличения в языке числа образований со значением  $a_3$  через некоторое время соотношения изменились:  $a_1 = 200$ ;  $a_2 = 150$ ;  $a_3 = 550$ ;  $a_4 = 100$ . Очевидно, что модель стала регулярнее; если развитие пойдет и дальше в том же направлении, то значения  $a_4$ ,  $a_2$  и за ними  $a_1$  станут малочисленны, превратятся в исключения, в идиомы. Но вопрос о регулярности или нерегулярности модели — это вопрос о том, словообразовательным или словоизменительным является данный аффикс. Изменение статистических отношений превращает совершенно несловоизменительные аффиксы в почти словоизменительные.

Например, суффикс отглагольных существительных  $-к(a)$  надо считать словообразовательным, хотя он и близко подошел к границам глагольной лексемы; все же он не преодолел этих пределов. Причина не в том, что образование таких существительных ограничено: а) классом определенных глаголов (они не образуются от глаголов продуктивного класса на  $-еть/-еют$ ); б) исходной основой глагола (невозможно их образование от глаголов *заострить*, *затруднить* и др., так как сочетания *стрк*, *днк* нежелательны внутри слова); в) грамматическим значением образующего глагола (они не образуются от непереходных глаголов) и т. д. Все эти ограничения имеют регулярный характер и не мешают осмыслению данных образований как словоформ той же лексемы, в которую входит глагол (ср., например, ограничения в образовании деепричастий, т. е. наречий, входящих в глагольную лексему<sup>13</sup>). Не существенно и то, что эти слова не выражают видовых оттенков (в отличие от

<sup>13</sup> Точнее: в лексему, которая включает глагольные словоформы. Как сказано, лексема может включать разные части речи, и поэтому ее только условно можно называть по одной из этих частей речи.

существительных на *-ние*, сохраняющих в известных случаях видовые оттенки): *засолка* — связано одновременно с *засолить* и *засаливать*, *разливка* — с *разлить* и *разливать*<sup>14</sup> и т. д. Даже если считать, что парные по виду глаголы составляют две лексемы, нет основания думать, что они не могут иметь омонимических членов (ср. формы сравнительной степени у наречий и прилагательных).

Основная причина, которая не позволяет *-к(а)*-образование ввести в пределы глагольной лексемы, это нестандартность значений у большого числа этих образований. Слова *сходка*, *записка*, *загородка* и пр. имеют не процессуальное, а предметное значение; слова *вышивка*, *наклейка*, *замазка*, *надстройка*, *выписка* — и процессуальное, и вещественное; *переброска*, *побелка* — только процессуальное. Основная масса образований связана именно с таким процессуальным значением, оно резко преобладает над другими, но все же и другие представлены слишком широко, чтобы можно было считать их морфологическими идиомами и говорить о регулярности модели с суффиксом *-к(а)*: статистический порог, позволяющий войти в глагольную лексему, этими образованиями (с суффиксом *-к(а)*, имеющим процессуальное значение) еще не достигнут.

**Б11.** В русском языке советской эпохи многие модели значительно усилили свою регулярность. Складываются такие отношения, при которых глагольные модели в целом (включая отглагольные существительные) оказываются более регулярными, чем именные неотглагольные образования. Например, приставка *за-* в начинательном значении может в разговорной речи присоединяться потенциально почти к любому глаголу, продуктивность ее почти неограниченна, и все частные ограничения закономерны и регулярны (Е. А. Земская, 1955). Это же можно сказать о ряде других глагольных приставок, о префиксации некоторых типов прилагательных.

Едва ли не от каждого личного существительного можно образовать глагол на *-ить*, если в этом есть семантическая необходимость и нет конкурирующих традиционных образований; ср. *командирить*, *кочегарить* и пр.

Напротив, у имен регулярные образования достаточно редки.

В разговорной речи относительно регулярны некоторые образования с уменьшительно-оценочными суффиксами. Для разговорного речевого стиля характерно такое использование этих суффиксов, когда они приобретают

---

<sup>14</sup> При образовании слова *разливка* по морфонологическим причинам использован вариант основы *разлив-*, а не *разли-*: суффикс *-(к)а* у отглагольных существительных может следовать только за согласным. Таким образом, *-в-* здесь интерфикс, и семантические связи у слова *разливка* со словом *разливать* не более прочны, чем со словом *разлить*.

чисто экспрессивное значение; при этом они проникают и в те слова, которые обозначают предметы, имеющие отношение к объекту эмоции, но сами по себе не вызывающие оценочного отношения. Таково, например, «обращение продавцов: *Вам батончик?*; кондукторов: *Получайте билетики!*, парикмахеров: *Височки прямые или косые?* и так далее как средство выражения вежливости и предупредительности к покупателю, пассажиру, клиенту, но, конечно, не к батону, билету, вискам и т. д.» (И. А. Оссовецкий, 1957). Ср. обращение к ребенку: *Пойди ко мне на ручки* и под. В целом же такая регулярность образований не типична для имен.

Следовательно, намечается противопоставление глагольных и отглагольных единиц единицам именным (неотглагольным) как более регулярных — менее регулярным. Возможно, однако, что прилагательные в этом отношении ближе к глаголам, чем к существительным; ср. регулярность образований на *-ск(ий)*, *-овск(ий)* от имен собственных и др.

**Б12.** Причины, вызывающие общий рост регулярности морфологических образований, лежат внутри языка (см. дальше); но в XX веке этот рост был особенно интенсивным. Очевидно, имели значение и внешние причины, т. е. условия социального бытования языка.

Разговорной речи свойственно усиливать регулярность моделей. Образования типа *мне надоело стеречь твоих вещей*, недопустимые в нейтральном стиле, оказываются уместными в разговорном (Л. В. Щерба, 1938).

В 20-е годы, когда разговорная стихия была особенно сильна, когда функции ее значительно расширились, многих исследователей удивляло необычно свободное «словотворчество» в речи. Один из исследователей, отмечая склонность к словотворчеству у поэтов 20-х годов, пишет: «Конечно, эти литературные новшества были отражением того, что совершалось в быту, потому что в ту эпоху и разговорная речь изобиловала такими словами: — *Ах, как я закастрилилась!* — *Он подфамилил бумагу...* — *Как вам не стыдно мешочничать!* — *Моя жена третий день бюллетенит*» (К. И. Чуковский, 1929).

Однако разговорная речь всегда была склонна к таким окказиональным словообразованиям; это ее характернейшая черта. Необычным, очевидно, оказалось очень широкое использование в ту эпоху (20-е годы) этих возможностей разговорной речи в нейтральном стиле, применение особенностей этого разговорного стиля в таких условиях языкового общения, в каких они не использовались в дореволюционную эпоху<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Использование в поэзии тех лет особенностей разговорной речи (в качестве речевого материала, подлежащего художественной интерпретации) приводило к нагнетанию у многих поэтов разговорных неологизмов; разумеется, функция этих неологизмов в поэтических текстах совершенно преобразована.

30-е и 40-е годы восстановили права нейтрального и строгого стилей; но сам нейтральный стиль уже усвоил ряд особенностей, ранее принадлежавших только разговорному. Поэтому некоторые модели, раньше регулярные только для разговорной речи, теперь стали более регулярными и в нейтральной.

В отдельных случаях усилению регулярности моделей способствовали: обильное пополнение литературного языка диалектной, профессиональной и диалектно-профессиональной лексикой; влияние терминологической лексики на литературное словообразование.

**В13.** С регулярностью моделей связан вопрос об их продуктивности. Продуктивность следует рассматривать в синхроническом и диахроническом плане.

Диахронически продуктивность проявляется в том, что определенные модели с течением времени оказываются представленными в языке все большим числом конкретных единиц.

Из этого вытекает, что по отношению к регулярным моделям применение понятия диахронической продуктивности бессмысленно: будучи регулярными, эти модели являются относительно-материальными единицами; они обуславливают потенциальное существование определенного круга конкретных единиц. Пока остается неизменным круг основ, от которых образуются новые слова по данной регулярной модели, до тех пор пребывает неизменным круг потенциальных речевых единиц, представляющих в речи данную модель.

Но сами регулярные модели могут изменяться, например, охватывать все более широкий круг основ, включая новые их типы; исторически изменчива и система закономерных ограничений при образовании слов по этой модели. В таких случаях можно говорить о том, что диахроническая продуктивность этой модели в результате ее изменения возросла.

Например, в современном литературном языке уменьшительно-оценочные суффиксы расширяют свою сочетаемость с основами отвлеченных существительных, с основами заимствованных слов: *идейка, фактики, утопийки* и т. д. За счет вовлечения новых типов производных основ увеличивается продуктивность суффиксов прилагательных *-ат(ый), -аст(ый)*, суффиксов существительных *-ик* (он расширяет свои связи с основами прилагательных) и т. д.

Продуктивностью в синхроническом плане является определенное соотношение основ у какой-то значительной группы морфологических единиц (слов или словоформ); оно-то и провоцирует появление в речи других единиц того же типа, т. е. вызывает продуктивность диахроническую.

В синхронном плане абсолютно продуктивны регулярные модели, но могут быть продуктивными и нерегулярные. Если есть значительная группа морфологических единиц, образованная по определенной модели, и все единицы однотипно связаны с другими, более простыми по морфемному строению



единицами<sup>16</sup>, то такая группа единиц синхронно продуктивна. Как сказано выше, модель существительных «глагольная основа определенного типа + *тель*» — нерегулярна: одна часть слов с этим суффиксом имеет значение лица, другая — значение орудия действия, но каждая из групп имеет однотипные отношения с глаголами; ср. *выключать* — *выключатель*, *зажигать* — *зажигатель*, *прерывать* — *прерыватель* и т. д. Поскольку есть такая группа слов (притом достаточно многочисленная), у которой стандартны, однотипны отношения с глаголами, постольку появление в речи новых единиц такого типа принципиально возможно<sup>17</sup>.

Образуя новое слово с суффиксом *-тель*, напр., *пробиватель*, можно придать ему или значение лица, или орудия действия (поскольку оба эти оттенка значения есть у образований с суффиксом *-тель*); контекст, а в дальнейшем традиция употребления закрепит за этим образованием данное значение. Напротив, в группе слов *мыло*, *рыло*, *вилы*, *точило*, *било* суффикс *-л(о)* присоединен к однотипной глагольной основе; но отношения *мыло* — *мыть*; *рыло* — *рыть* (землю); *вилы* — *навивать* (сено на стог); *точило* — *точить* и т. д. настолько разнообразны, нестандартны, наполовину распались, что данная модель в синхронном плане (для современного русского языка) крайне непродуктивна.

**В14.** Выше было сказано, что для синхронической продуктивности словообразовательной модели важно, чтобы однотипные отношения между производной и производящей основой были у значительной группы слов. Надо выяснить, при каких условиях группу слов можно признать «значительной».

Группа слов, образованная по данной модели, значительна в том случае, если другие группы слов, образованные по синонимическим моделям, менее численны. Это относится и к тем случаям, когда численность этих других групп равна нулю, т. е. когда нет синонимических моделей. Если так понимать слова «значительная группа» в определении синхронической продук-

<sup>16</sup> Из двух соотносительных (т. е. имеющих тот же корень) морфологических единиц сложнее та, которая: а) включает большее число морфем, считая и нулевые; б) при равном количестве морфем включает семантически более сложные аффиксы. Аффикс типа N сложнее аффикса типа M. Интерфиксы не усложняют морфологическую единицу. Следовательно: единица *из-мен-(и)-ть<sup>M</sup>* проще, чем *из-мен-енн-ый*; *взлет-* = {*вз-лет*—O<sup>N</sup>—O<sup>M</sup>} более сложно, чем *взлететь* = *вз-лет-(е)-ть<sup>M</sup>* и т. д.

<sup>17</sup> Но так называемое «образование по конкретному образцу» (Н. А. Янко-Триницкая, 1959) возможно и по непродуктивной модели. Например, *это не мыло, а скорее какое-то грязнито...* Здесь непродуктивная модель, представленная в слове *мыло*, послужила средством образования нового слова (в данном случае — окказионально-недолговечного).

тивности, то справедливо заключение: синхроническая продуктивность всегда влечет за собой продуктивность диахроническую<sup>18</sup>.

Соперничество форм *по-волчьи* — *по-волчьему*, *по-галочьи* — *по-галочьему* и т. д. приводит к постепенному оттеснению форм типа *по-волчьи*. Это объясняется тем, что группа слов *по-волчьему* значительнее группы слов *по-волчьи*. Примеры легко было бы умножить.

Чем больше группа слов с данным морфологическим строением, чем частотнее отдельные слова в этой группе, чем стандартнее и неизменнее значение суффикса, тем сильнее синхроническая продуктивность этой группы, тем упорнее она и в диахроническом плане оттесняет синонимическую группу слов, строя по своему образцу новые слова.

**В15.** В языке возможно постепенное формирование группы слов, имеющей синхронную продуктивность. Например, в начале XIX века в русский литературный язык вошло несколько слов с суффиксом *-ист*; стали появляться и слова с русским корнем + суффикс *-ист*. Первым новообразованием было слово *гуслист*. Причины понятны: в пестрой группе единиц с *-ист*, среди которых были и морфологически разложимые и неразложимые, образовалась группа слов *органист*, *валторнист*, *арфист*. У них были строго однотипны соотношения со словами (тоже заимствованными) *орган*, *валторна*, *арфа*; естественно, что синхроническая продуктивность этой группы повлекла за собой диахроническую продуктивность — появление слова *гуслист* и других вслед за ним (В. Г. Костомаров, 1957).

**В16.** В XX веке международный обмен теориями и научными идеями возрос; пополнение терминологической и общеупотребительной лексики интернациональными словами шло интенсивно. Отдельные изолированные заимствованные слова «обрастали» соседями; их отношения друг с другом и с производными основами становились все более регулярными — непродуктивные и малопродуктивные аффиксы (как компоненты определенной модели) становились продуктивными. Синхроническая продуктивность, т. е. стандартизированное соотношение между «производными» и «производящими» единицами, обуславливала продуктивность диахроническую.

---

<sup>18</sup> Возможно только одно исключение из этого правила: если уже исчерпаны все основы, к которым могут присоединяться аффиксы по единой модели. Например, соотношения *глаз* — *безглазый*, *нос* — *безносый*, *щеки* — *безщекий*, *губы* — *безгубый*... строго регулярны; но модель сейчас не продуктивна диахронически: исчерпаны все слова (названия частей тела), от которых можно было бы образовать производные прилагательные.

В других случаях, напротив, в результате лексических, индивидуально-прихотливых сдвигов в значениях слов распадается группа образований с синхронической продуктивностью, теряет эту продуктивность (см. об этом дальше).

**В17.** Для заимствованной лексики в последние полвека был актуален процесс превращения некоторых аффиксоидов, т. е. частей слова, обладающих «остаточной выделяемостью» (А. И. Смирницкий, 1946), в полноценные аффиксы, процесс превращения неразложимых основ в аффиксальные.

Этот процесс особенно сильно затронул префиксацию. Многие префиксы, представленные ранее только в заимствованных словах, приобрели продуктивность и стали широко сочетаться с русскими основами (и давно усвоенными заимствованными): *антиобледенитель*, *антитело*, *античастица*; *субпродукт*; *трансменделевий* (элемент); *ультраколонизатор*; *антигуманный*, *антикоррозионный*; *архиаktуальный*; *неонацистский*, *неоколониалистский*; *ультранационалистический*.

Очень активизировался суффикс *-ирова(ть)*, *-изова(ть)*, он связан с серией других суффиксов: *-ация*, *-(из)ация*, *-атор*; здесь получает активность целый суффиксальный ряд; регулярность всей серии этих продуктивных аффиксов по отношению друг к другу возрастает.

Суффикс *-аж* еще в XIX в. выделился из заимствованных основ, поскольку образовалась группа слов с этим суффиксом, однообразно соотносенных с глаголами (С. И. Ожегов, 1947). Этот суффикс в современном русском языке усиливает свою производительность под влиянием технических диалектов и книжно-газетного языка (В. В. Виноградов, 1947). Рост продуктивности таких образований всегда связан с обострением морфологической членности заимствованных слов.

**В18.** Продуктивность модели может увеличивать ее регулярность, это бывает в тех случаях, когда из нескольких значений данного аффикса продуктивным оказывается только одно.

Так, модель с суффиксом *-тель* продуктивна; особенно много новообразований с этим суффиксом имеет значение орудия действия; рождению таких новообразований содействует влияние на литературный язык технических диалектов (В. В. Виноградов, 1947). Напротив, *-тель*-новообразования со значением лица немногочисленны (*озеленитель*, *отображатель*, *опровергатель*...). В целом регулярность модели возрастает, так как число образований со значением  $a_1$  все более превышает число образований со значением  $a_2$ ; образования со значением  $a_2$  все более фразеологизируются. Продуктивен суффикс *-льник*, но только со значением орудия действия, а не лица, и т. д.

Но возможен, хотя и более редок, противоположный случай: продуктивность увеличивает нерегулярность модели. У суффикса *-мость* постепенно увеличивается цепь продуктивных оттенков значения:  $a_1$  — ‘возможность действия, обозначаемого основой’ (*слышимость*);  $a_2$  — ‘степень, в которой осуществляется действие’ (*посещаемость, успеваемость*);  $a_3$  — ‘степень, в которой можно подвергнуться какому-нибудь действию’ (*угрожаемость, нуждаемость*). Тип этот продуктивен; он характерен для профессиональных диалектов и все больше навязывается литературному языку. Обрастает побочными значениями суффикс *-ств(о)*, *-еств(о)*.

Наречия на *-ски*, *-цки* с префиксом *по-* приобретают новый оттенок: ‘так, как полагается, в соответствии с какими-нибудь нормами’ (*по-обывательски, по-братски*; ср. *обывательски, братски*). Увеличение числа непозиционно распределенных значений модели усиливает ее нерегулярность.

Описанный процесс уменьшения регулярности моделей (из-за появления и распространения образований с новыми оттенками значений) — явление по своей природе лексическое, а не грамматическое.

Социальная действительность выдвигает на первый план некоторые деривационные значения, актуализирует их. Некоторые из них становятся диахронически продуктивными, несмотря на то, что первоначально синхронная их продуктивность была весьма слабой. Возможно в этом случае, что «образования по конкретному образцу» (см. выше) постепенно формируют новую синхронно-продуктивную группу слов с таким оттенком аффикса, который был представлен лишь у одного-двух слов и являлся лексикализированным.

В некоторых случаях социальная актуализированность новых оттенков значения у аффиксов несомненна и очень наглядна. Например, формируется новый оттенок у суффикса *-ость* (в словах, образованных от причастий); он может обозначать состояние как результат коллективной сплоченности действия: *слетанность, сговоренность, скатанность* (у конькобежцев) и т. д. (В. В. Виноградов, 1951).

Все же грамматически существенным и характерным для современного русского языка надо считать процесс увеличения регулярности модели в результате ее продуктивности.

**В19.** Продуктивность отдельных словообразовательных моделей поддерживается не только «изнутри» литературного языка (не только определенными стабильными соотношениями между производящей и производной морфологическими единицами), но и внешними влияниями — словообразовательными тенденциями русских говоров, городского просторечия, специализированных терминологических систем, родственных славянских языков.

Например, продуктивность суффикса *-льщик* для обозначения лиц по роду их работы поддерживается широким распространением этих образований

в севернорусских говорах. Распространение отглагольных существительных с суффиксом *-(от)ня*: *беготня, егозня, трепотня, плескотня*, имеет источником городское просторечие (и, может быть, диалектные образования). Прилагательные с суффиксом *-н(ый)* от глагольных основ очень продуктивны в профессионально-технических диалектах (*мойный, подъемный* и т. д.); это поддерживает рост их продуктивности и в литературном языке (В. В. Виноградов, 1947).

**В20.** Взаимодействие между русским языком и другими родственными языками в нашу эпоху, за последние 50 лет, стало интенсивнее. Особенно значительно взаимодействие между восточнославянскими языками.

Некоторые украинские (или белорусские) морфологические образования калькируются русским населением Украины (или Белоруссии) и южных областей России; от них усваиваются и другими лицами, говорящими на русском литературном языке, и распространяются на широкой территории.

Эти принципиально важные формы межъязыкового взаимодействия требуют тщательного изучения современного русского языка в условиях русско-украинского и русско-белорусского двуязычия.

**В21.** Существенно морфологическое взаимодействие и с другими славянскими языками. В начале нашего века в русской гимнастической терминологии появилось большое количество заимствований и калек из так называемой «сокольской» чешской терминологии: *вышмыг* (чешск. *vutýk*), *кач* (чешск. *hur*), *предкач* (чешск. *přehur*), *присед* (чешск. *dřep*), *вис* (чешск. *vis*), *выдерж* (чешск. *výdeř*), *уник* (чешск. *únik*) и т. д. Часть этих терминов удержалась в русском языке, часть впоследствии (в 1938 г.) была заменена другими (Е. И. Мельников, 1961). Но основной морфологический тип гимнастических терминов был закреплен прочно, и новые термины создавались по этой же модели: *хват, выкрут, сед, мах, перемах, перехват, кувырок* и т. д.

Изучение морфологических влияний славянских языков на русский язык исключительно важно для понимания взаимодействия внутренних и внешних языковых закономерностей.

Так же важны факты усвоения литературным языком морфологических образований из диалектов, городского просторечия, профессиональной речи. Это усвоение единиц определенного морфологического типа обычно поддерживает внутренние закономерности языка и поддержано ими; оно возможно в широких размерах лишь в том случае, когда санкционировано морфологическими тенденциями, внутренне присущими языку. Следует обратить внимание на то, что во многих случаях (даже в большинстве их) трудно решить вопрос, заимствовано ли данное слово или образовано в литературном языке и

лишь совпало со словом в другой языковой системе. Если бы не было известно, что слово *сед* — заимствование из чешского, сознательно введенное в русскую гимнастическую терминологию, то его можно было бы считать образованным «внутри» русского языка по собственной морфологической модели.

Незаконна самая контраверза: заимствовано слово или морфологически образовано? Обе эти возможности могут совпадать, и именно такие случаи теоретически наиболее интересны.

**Г22.** Диахроническая продуктивность обусловлена не только продуктивностью синхронной. Она, как сказано, может быть активизирована потребностями названия, актуальностью для общества определенных грамматических категорий. Но в полной мере значение синхронной продуктивности для диахронического развития моделей проявляется при борьбе синонимических образований. Напряженными и драматичными оказываются отношения между моделями, тождественными или очень близкими по значениям и по сфере употребления. Их смешение, неупорядоченное использование одной вместо другой; сведение их форм в одну парадигму (т. е. в пределы одной лексемы), если существуют какие-либо лакуны в формообразовании у одной из соперничающих моделей; закрепление у моделей разных стилистических и семантических оттенков — следовательно, их размежевание; в других случаях, напротив, вытеснение одной из моделей — все это типично для равнозначных, синонимических моделей.

В современном русском языке широко распространено образование книжно-отвлеченных слов на *-анность*, *-енность*: *дисциплинированность*, *демобилизованность*, *неразработанность*, *сплоченность*. В газетно-публицистической речи эти слова часто смешиваются с отглагольными словами на *-нве* (В. В. Виноградов, 1947). В технических терминологических системах образования на *-льный* вполне синонимичны образованиям на *-тельный* при той же основе; ср. *промывальный* — *промывательный*, *обжигальный* — *обжигательный*.

**Г23.** При наличии таких совпадающих моделей особенно острыми бывают затруднения при образовании новых терминов (*цементировать* или *цементовать*; *бергамотный* или *бергамотовый* и т. д.).

Именно в терминологических системах особенно сильно и резко дает себя знать стремление к размежеванию моделей; те слабые тенденции их отталкивания, которые намечаются в повседневной, бытовой речи, оказываются усиленными и сознательно подчеркнутыми в продуктивных терминологических системах. Например, контрастные отношения между моделями *смазывание* — *смазка* — *смаз*, *разбрасывание* — *разброска* — *разброс* в производственно-технической терминологии могут быть сознательно подчеркнуты и

усилены; в бытовой же речи эти размежевания существуют скорее как возможность и неявная потенция (Г. О. Винокур, 1939).

Образования с *-тельн(ый)* и *-льн(ый)*, как уже говорилось, синонимичны, но в технической терминологии на последнем лежит более явственный отпечаток активного значения (В. В. Виноградов, 1947). Модели прилагательных с суффиксом *-н(ый)* и *-ов(ый)* синонимичны, но в профессиональных диалектах образования с суффиксом *-ов(ый)* закрепляют за собой значение ‘сделанный из’: ср. *баббитный завод* и *баббитовый подшипник* (В. В. Виноградов, 1947).

Терминологические системы влияют на отталкивание синонимических и паронимических словообразовательных моделей как мощные усилители; они воздействуют и на бытовую, нетерминологическую речь, способствуя усилению в ней разграниченности моделей.

**Г24.** В других случаях отталкивание синонимических моделей приводит не к специализации их, а к постепенному вытеснению одной из них. В современном языке продолжается процесс взаимоотталкивания синонимических слов с уменьшительными суффиксами; некоторые из них постепенно вытесняются, а вместе с вытеснением определенных слов ослабевают и некоторые морфологические модели; ср. *пакетец — пакетик*, *сахарец — сахарок*, *супец — супчик* и т. д. В результате этих процессов действует общая тенденция к сокращению числа оценочных суффиксов, может быть, только в нейтральном стиле (Л. А. Булаховский, 1953).

**Г25.** В 20-е годы, при значительной расшатанности и некатегоричности норм литературного языка, столкновение синонимических моделей, вытеснение одной модели другой или их функциональное размежевание было ослабленным и затрудненным. Позднее, вместе с укреплением литературной нормы, с возрастанием роли нейтрального стиля в языке, эти процессы приобрели более напряженный и последовательный характер.

**Г26.** Если у двух моделей такие значения: у первой —  $a_1, a_2$ ; у второй —  $a_2, a_3$ , то у одной из моделей значение  $a_2$  окажется постепенно вытесненным. Этот процесс охватывал многие морфологические образования в XIX веке. Активизация причастий, характерная для русского языка прошлого века (И. С. Ильинская, 1953), привела к ослаблению процессуальных значений у отглагольных прилагательных. В целом у прилагательных активизировались словообразовательные типы, выражающие оценочные качественные значения; постепенно угасал ряд словообразовательных моделей, выражающих не качественные значения, а недифференцированное отношение к чему-нибудь и т. д. Это было обусловлено синонимичностью многих относительных при-

лагательных типов с предложными и беспредложными конструкциями существительных (Е. А. Земская, 1962).

Такие взаимодействия между морфологическими моделями были типичны и для XX века. Модели отглагольных существительных в высокой степени синонимичны; ср. *смык* — *смычка* — *смыкание*; *прицел* — *прицелка* — *прицеливание*; *обжим* — *обжимка* — *обжимание*; *подкорм* — *подкормка* — *подкармливание*; *прочёс* — *прочёска* — *прочёсывание*; *перенос* — *переноска* — *перенесение*... Между этими образованиями постепенно все более углубляется противопоставление. Существительные с нулевым словообразовательным суффиксом чаще выражают определенное действие, его вещественный результат. Две другие модели обычно обозначают действие или состояние; между ними существует стилистическое отталкивание.

Суффиксы *-чик(-щик)* и *-(н)ик* используются для обозначения лиц по действию; при этом *-чик(-щик)* более продуктивен в современном языке. Причина в том, что суффикс *-(н)ик* многозначен; значение лица у него не единственное. Напротив, суффикс *-чик(-щик)* специализирован именно для этого значения (Н. А. Янко-Триницкая, 1959).

**Г27.** Если образованиям по какой-то модели свойственны одновременно разные оттенки значения, то усиление одного обычно означает ослабление другого.

Например, в разговорной речи с глагольным суффиксом *-ну-* связаны экспрессивные оттенки энергичности, резкости действия. Обострение этих оттенков, характерное для современной речи (особенно в разговорном стиле), ослабляет значение краткости у образований с этим суффиксом. Поэтому данная модель широко распространяется на основы, не означающие краткого действия: *критикнуть*, *агитнуть* и т. д.

Процесс распространения данной словообразовательной модели на основы нового типа — весьма характерная особенность современного русского языка; часто это связано с изменением в значении продуктивного аффикса.

**Д28.** В словообразовании, как и в других ярусах языка, надо различать нейтральный стиль и противопоставленные ему стили разговорный и строгий. Строгий стиль в свою очередь членится на ряд подстилей. Стилистическая разговорность тоже может иметь разную интенсивность.

Стилистические взаимодействия в словообразовательной системе в русском языке XX в. были интенсивны.

Нейтральный стиль испытывал на протяжении последнего полувека сильное влияние, с одной стороны, разговорного стиля, с другой (в меньшей степени) — строгого, книжного.



**Д29.** Для разговорного стиля характерно стремление максимально усилить регулярность большого числа моделей. Многие образования, отвергаемые нейтральным стилем, приемлемы в разговорном.

Едва ли не от всех префиксальных глаголов на *-ить*, например, в разговорной речи сейчас возможны образования существительных на *-к(а)*; следовательно, в разговорном стиле речи они входят в парадигму глаголов этого типа (или стоят у порога этой парадигмы).

Большое количество окказиональных новообразований, частое использование словообразования «по образцу» — все это свидетельствует о том, что в разговорном стиле многие модели продуктивнее, чем в других стилях. Морфологическая членимость ряда образований четче, чем в тех стилях, где окказиональное образование не столь часто<sup>19</sup>.

Этот стиль оказывается проницаемым для просторечных моделей; ср. *коровёшка, лампёшка, пристанёшка, работёшка; потребиловка, заграбиловка, уравниловка, обираловка...*

Многие экспрессивно-выразительные образования используются в разговорном стиле именно из-за их образности; как только образность тускнеет, они перестают употребляться и заменяются другими. Следовательно, эти слова существуют в разговорном стиле до тех пор, пока они сохраняют свою внутреннюю форму, т. е. пока они соотносены с производящей основой, пока они четко члениятся морфологически.

Все это свидетельствует о том, что разговорный стиль агглютинативнее нейтрального.

Диапазон разговорности у разных морфологических образований широк; дифференциация разных моделей по силе проявления разговорности велика. Например, если есть параллельные образования с суффиксами *-н(ый)* и *-ов(ый)*, то образования с *-н(ый)* часто имеют оттенок разговорности, но очень слабо выраженный (В. В. Виноградов, 1947). Напротив, приведенные выше примеры разговорных лексем очень резко стилистически окрашены.

В современном русском языке амплитуда разговорности возрастает, в том числе и у словообразовательных моделей, отчасти за счет создания стилистических разговорных пластов, очень тонко отграниченных от нейтрального стиля.

<sup>19</sup> Ср. замечание одного из литературных критиков о неудачности «новообразования» *обалдеть* в стихах Северянина: слово *обалдеть* в окружении северянинских неологизмов само показалось новообразованием, обновило, восстановило свои связи со словом *балда*; поэтому четко определилась его морфологическая членимость. Подобное прояснение морфологических границ в разговорном стиле речи часто происходит у традиционных образований под влиянием окказиональных.

**Д30.** Строгий стиль дифференцируется на ряд достаточно отграниченных подстилей: книжный, поэтический и т. д. Морфологические тенденции в каждом подстиле специфичны. Для книжного подстиля характерны образования с четкой морфологической членимостью. Например, в XX веке в этом подстиле большую продуктивность приобретает суффикс *-щин(а)*: *патриархальщина, обломовщина, кружковщина*; в советское время становится продуктивным суффикс *-честв(о)* в соответствии с существительными на *-енец* и прилагательными на *-чesk(ий)*: *оборончество, пораженчество, приспособленчество, иждивенчество* и т. д. Однако все это слабоокрашенные стилистические приметы книжной речи.

Малочисленны стабилизированные морфологические типы, область употребления которых ограничивалась бы поэтической речью (ср. *водь, ржавь, ясь* и т. д.)<sup>20</sup>.

В целом же стилистические тона строгого стиля передаются не морфологическими новообразованиями, а, напротив, традиционными (иногда архаически окрашенными) лексемами. Строгому стилю присуща большая фузионность, чем другим стилям (самые насыщенные показатели строгого стиля — в его риторическо-ораторской подсистеме — подчеркнуто фузионны; ср. *изждитель, разверстый* (раскрытый), *простирать* (протягивать), *низвергнуть* и т. д.)<sup>21</sup>. Влияние этих фузионных элементов строгого стиля на нейтральный стиль полностью отсутствует.

**Д31.** Грамматическое, стилистическое, экспрессивно-оценочное значение в морфологических моделях находится в сложных взаимоотношениях. Усиление стилистического и экспрессивно-оценочного значения часто ведет к подавлению грамматической характеристики модели. Во многих лексемах суффиксы уменьшительности перерождаются в показатели стилистической принадлежности слова. Так, в словах *брошка, дочка, книжка, речка, свечка, сковородка, стенка, тетрадка, кадушка, краюшка, ракушка, четвертушка* и т. д. суффикс указывает не на уменьшительность, а только на разговорную

---

<sup>20</sup> Ясная морфологическая членимость какого-либо слова — следствие того, что отношение производной основы этого слова к производящей поддержано тождественным соотношением во многих других образованиях. С этой точки зрения слово *ржавь* и пр. четко членимы: в них ясно выделяется корень, нулевой суффикс (подчеркнутый меной согласных в конце корня) и нулевая флексия.

<sup>21</sup> У поэтов (В. В. Маяковский, И. Северянин, В. В. Каменский, В. Г. Шершеневич), для которых характерна установка на разговорную речь, обычны остроагглютинативные неологизмы. Напротив, поэты-«архаисты» даже неологизмы создают с элементами фузионности. Ср. у В. В. Хлебникова установку на неологизмы с невычленимыми суффиксоидами.

окрашенность слова. Формирование суффиксов стилистической окраски, их отпочкование от «грамматических» суффиксов — характерная черта в развитии современного языка. Она связана с тем, что стилистическая расчлененность нашей языковой системы все возрастает и становится более напряженной.

**Е32.** Кроме морфологической системы, присущей литературному языку в целом (его нейтральному, разговорному и строгому стилям), существуют специализированные морфологические подсистемы; ими обладают, например, терминология и ономастика.

В речи научные и технические термины встречаются в окружении нетерминологических слов, в общеупотребительных синтаксических конструкциях. Если какая-то система терминов используется, как правило, в литературном контексте, входит в грамматические сочетания, литературно регламентированные, то такую совокупность терминов надо считать подсистемой литературного языка.

В терминологических единицах литературного языка осуществляется принцип взаимно-однозначного соответствия между грамматическим значением и его выражением. Образец полного воплощения этого принципа — химическая терминология (примеры общеизвестны).

Для передачи системы понятий: одно родовое, два непосредственно связанных с ним видовых и четыре подвидовых — в терминологии необходимо построить такую систему морфологических отношений:

А	1) изо	терм	а	2) изо	бар	а
	раз	бор	ка	рас	шив	ка
Б	1) поли	терм	а	2) поли	бар	а
	с	бор	ка	с	шив	ка

Здесь каждое понятие находит свой, и притом только один, морфологический показатель (Д. С. Лотте, 1948): идеально соблюден принцип взаимно-однозначного соответствия значения и его выражения.

Процесс терминологического строительства нельзя рассматривать как создание некоего искусственного и механистично-мертвого «эсперанто» из русских<sup>22</sup> морфем. В области терминологии действуют те же морфологические законы, что и в общелитературной системе. В терминологии вакуумной техники существует такой ряд: *дегидратация*, *десульфация*, *обезгаживание* (значение последнего: ‘процесс удаления газов из тел, находящихся в вакууме’). Термин *дегазация* был отвергнут, так как он используется в других системах со значением ‘мероприятие по удалению вредных газов’ (Д. С. Лотте, 1944). Стремление к преодолению омонимичности столкнулось с потребо-

<sup>22</sup> В том числе заимствованных.

стью построить морфологически однородный ряд слов; победила боязнь омонимов. Подобные столкновения вполне естественны в морфологии; терминология подвержена им не менее, чем общая морфологическая система.

**Е33.** Терминология может воздействовать на общую морфологическую систему языка; можно предположить, что в нашу эпоху это влияние очень значительно и притом постоянно усиливается. Пути влияния различны.

В терминологических системах часто используются общеупотребительные слова, но они переосмысляются, значение их преобразуется по требованиям системных отношений в данной терминологии. Например, используется слово *разбег*, но оно оказывается противоположным слову *выбег* и этим противопоставлением уточнено его значение: *разбег* — ‘стадия движения машины, в течение которой машина переходит от состояния покоя к состоянию установившегося движения’; *выбег* — обратный процесс. В результате такой терминологической унификации возникают ряды слов со строго стабилизированными значениями аффиксов. Но эти слова заимствованы из обиходной речи; тем легче путь обратного влияния их на бытовую речь; результатом его может быть стандартизация аффиксальных значений.

Терминологизация обычно сопровождается сужением (специализацией) значения и дифференциацией моделей (Д. С. Лотте, 1940, 1948). Иногда из нескольких значений, возможных у данной модели, терминологическая система закрепляет одно — и тем самым она поддерживает его, помогает ему вытеснить другие, т. е. делает модель более регулярной.

От термина-существительного часто бывает необходимо образовать прилагательное для той же терминологической системы. Такое отношение прилагательных и существительных тоже должно быть однотипным, стандартизованным. Поэтому в терминологии предпочтение отдается моделям, которые обеспечивают такую регулярность. С этой стороны образования *подвеска*, *разброска*, *отмывка*, *прополка* предпочтительнее, чем *подвешивание*, *разбрасывание*, *отмывание* и т. д. От существительных на *-к(а)* стандартно образуются прилагательные с суффиксом *-н(ый)*: *подвесочный*, *разбросочный*, *отмывочный*, *прополочный* (Д. С. Лотте, 1944). Создаются серии соотнесенных единиц, находящихся в строго стандартизованных семантических отношениях. Это увеличивает регулярность целых рядов морфологических единиц.

Лишь в исключительных случаях влияние терминологии стимулирует нерегулярность моделей. Например, у прилагательных с суффиксом *-тельн(ый)* все сильнее развиваются качественные оттенки значений; они постепенно вытесняют оттенки отношения к действию, обозначенному основой. Но многие прилагательные этой группы терминологизованы; терминологизация же прилагательных сопровождается укреплением их относительного значения

(В. В. Виноградов, 1952). Терминологизация, покровительствуя относительному значению этой модели, препятствует развитию качественных значений, наиболее продуктивных для общелитературной речи. Поэтому усиление регулярности этой модели ослаблено терминологическими воздействиями.

**Ж34.** Итак, основные тенденции развития словообразовательной системы русского языка нашей эпохи таковы:

- взаимодействуют различные значения в пределах одной грамматической категории;
- усиливается регулярность и продуктивность некоторых моделей;
- в результате синонимического отталкивания моделей отмирают некоторые значения, общие у данной модели с другой моделью; одни модели вытесняют другие или семантически дифференцируются с ними;
- возрастает стилистическая выразительность ряда словообразовательных средств;
- усиливается воздействие терминологической подсистемы в словообразовании на общую словообразовательную систему.

**Ж35.** Большое разнообразие морфологических смещений, переинтеграций в современном русском языке обнаруживает внутри себя значительную общность. Морфологическая система развивается в сторону большей агглютинативности. Под агглютинативностью здесь подразумевается взаимно-однозначное соответствие между значением, простым или комплексным, и выражением.

Если есть значения  $a_1 — a_2 — a_3 — a_4$  и звуковые комплексы  $A—B—C$ , притом значения  $a_1 — a_2$  всегда передаются комплексом  $A$ , и во всех морфологических образованиях (во всех словоформах)  $A$  связано с передачей и  $a_1$  и  $a_2$  (избираемыми позиционно, в зависимости от контекста); значение  $a_3$  всегда передается  $B$  и только этим показателем; значение  $a_4$  передается только звуковым показателем  $C$ , то налицо полная агглютинативность данной системы. Агглютинативности не мешает омонимия: если показатели  $B$  и  $C$  оказались бы фонемно тождественны, все же не было бы частичного перекрещивания и наложения значений.

Напротив, совершенно не агглютинативны были бы такие отношения: показатель  $A$  в одних морфологических образованиях передает значение  $a_1$ , в других же — значение  $a_2$ ; значение  $a_3$  передается в одних образованиях отрезком  $B$ , в других (т. е. при других основах того же типа) — отрезком  $C$ , но  $C$ , кроме того, передает и значение  $a_4$  (при некоторых основах того же типа).

**Ж36.** Предположим, какой-то показатель (или их совокупность), присоединяясь к основам определенного типа, передает и значение  $a_1$  и значение  $a_2$ . Притом размещение значений не позиционно; оно не диктуется грамматически

типизированными условиями контекста, а жестко избрано каждой конкретной основой, соединенной с данным показателем. В результате взаимодействия этих двух значений одно из них (например,  $a_2$ ) постепенно оттесняется, и в совокупности образований с данным показателем все более становится распространенным значение  $a_1$ . Ясно, что это — движение к агглютинативности; такое движение есть в современном русском языке (§ В18).

**Ж37.** Пусть какой-то класс лексем изменяется таким образом, что каждая лексема превращается в словоформу другой лексемы. Такое изменение всегда связано со стандартизацией значений в образованиях данного типа. Если значения  $a_1$  и  $a_2$ , ранее привязанные в каждом случае к той или другой конкретной основе, становятся возможными при любой основе данного типа с данным показателем (т. е. в каждом случае вызываются позиционно), то модель стала регулярной; агглютинативность ее возросла. Аффикс при этом из словообразовательного стал формообразовательным (словоизменительным); данная морфологическая единица втягивается как словоформа в ряд других словоформ с той же основой. Отглагольные образования с суффиксом  $-к(a)$  станут словоформой в глагольной парадигме, если два значения ее: обозначение процесса и обозначение предмета, непосредственно связанного с этим процессом, окажутся в любом случае контекстуально заданными. В современном русском языке это для многих из образований на  $-к(a)$  и осуществляется: сочетание «существительное с этим суффиксом + существительное в творительном падеже» (*окраска белилами*) позиционно вызывает значение процесса; сочетание «существительное с этим суффиксом + предлог *из* + род. пад. (*окраска из смеси белил и охры*) вызывает значение предметности (Н. Н. Прокопович, 1955).

Точно тот же результат будет и в том случае, если единицы этого типа будут иметь только процессуальное значение; отступления окажутся свойственными изолированным единицам, выпавшим (ввиду единичности) из данной модели. К этому же ведет распространение данного аффикса (в одном из его значений) на все основы определенного типа, т. е. превращение его в регулярный.

Увеличение регулярности моделей — важный процесс в современном русском языке, обостряющий агглютинативность ряда образований.

**Ж38.** Если какой-то показатель имеет несколько значений и усиливается его продуктивность только с одним из значений, то снова надо говорить о движении в сторону агглютинации.

**Ж39.** Конкуренция нескольких синонимических аффиксов может привести к вытеснению отдельных моделей, к уменьшению продуктивности не-

которых из них, к их специализации, размежеванию по грамматическому значению и по стилистической окраске.

В современном русском языке чрезвычайно остро выступает тенденция к распространению немногих обобщенных словообразовательных типов (В. В. Виноградов, 1951). Например, образование отвлеченных существительных сосредоточивается в немногих продуктивных типах, и за каждым из этих типов закрепляется строго типовое значение. Также и в образовании слов со значением места действия, места производства (*умывалка, курилка, точильня* и пр.) проявляется важная тенденция к концентрации, к обобщению основных, продуктивных словообразовательных типов, к ограничению их количества (В. В. Виноградов, 1952). Сокращение синонимичности моделей, разумеется, способствует агглютинативности.

**Ж40.** В языке нашей эпохи особенно сильным было влияние разговорного стиля на нейтральный; но разговорному стилю присуще широкое использование регулярных моделей; под влиянием разговорного стиля повышалась регулярность их и в нейтральном стиле.

Частые заимствования из профессионально-диалектной речи, вошедшие в литературный язык, также повышали регулярность моделей. Когда литературный язык постоянно пополняется словами, например, типа *пробивка, отброска, прокатка* и т. д. (с процессуальным значением), то, с одной стороны, это факт лексического оснащения литературного языка, с другой стороны, сеть возможных образований с суффиксом *-к(а)* путем таких заимствований энергично заполняется. Вместе с тем возрастает и вероятность образования подобных существительных по аналогии от всех глагольных основ того же типа. Это, следовательно, уже морфологическое преобразование одной из языковых моделей.

**Ж41.** Словообразование непрерывно взаимодействует с лексикой. Часто лексические изменения мешают осуществиться тенденциям словообразовательной системы.

**Ж42.** В революционную эпоху лексика живет напряженной жизнью; интенсивно изменяются значения слов; многие слова ветшают; новообразования часто оказываются недолговечными. Это отражается и на судьбе отдельных словообразовательных моделей.

В русском языке советской эпохи стала продуктивной модель отглагольное существительное + суффикс *-ец*: *просвещенец, обновленец, отопленец, выдвигенец, окруженец, примиренец* и т. д. У ряда слов этой группы сложились стандартные, единообразные отношения между производящей и производной основой:

просветить	}	просвещение — просвещенец
просвещать		
отопить	}	отопление — отопленец
отоплять		
выдвигать	}	выдвижение — выдвиженец
(выдвинуть)		
обновить	}	обновление — обновленец
обновлять		

и т. д. Существительное на *-ец* здесь всегда обозначает ‘лицо, занимающееся тем, что указано основой’. Но слова, образованные по этой модели, имели очень различные судьбы: *отопленец*, как обозначение важного занятия (и должности) исчезло вместе с ликвидацией топливного кризиса; *просвещенец* было вытеснено словами *учитель*, *преподаватель* (в эпоху, когда стали возвращаться в язык многие раньше табуированные названия, потерявшие свою связь со сферой официальной речи дореволюционной России); *обновленец*, *выдвиженец* и пр. стали историзмами. Оставшиеся же слова (*ополченец*, *примиренец*, *окруженец*, *беженец*, *перерожденец*, *приспособленец*...) не связаны стандартными отношениями с другими (соотносительными) лексемами:

(ополчиться)	}	ополчение — ополченец
(ополчаться)		

— утеряна связь с глаголом, до предела потускнел процессуальный оттенок значения в личном существительном;

окружить	}	окружение — окруженец
окружать		

— налицо все связи, но существительное *окружение* имеет специфическое, фразеологизованное значение, и его отношение к глаголам нестандартно;

примириться	}	(примирение) — примиренец
примиряться		

— нет связи с отглагольным существительным<sup>23</sup>;

<sup>23</sup> Связь между «производной» и «производящей» основой налицо, если «производное» слово можно истолковать через производящее (Г. О. Винокур, 1946). Легко доказать, что это критерий вовсе не логический, а строго языковой и морфологический.



развестись      >  
                   > развод — разведенец  
 разводиться

— связь с отглагольным существительным есть, но данное существительное нестандартного для данной модели типа.

Группа слов с суффиксом *-енец*, имеющая однотипные отношения с «производящими» основами (и словами, содержащими эти основы), распалась; понятно, что модель слов с этим суффиксом уже успела стать в последнее время непродуктивной или малопродуктивной (В. В. Виноградов, 1947). Исчезла синхронная продуктивность модели, а без нее невозможна и продуктивность диахроническая.

Процесс этот для нашей эпохи надо считать типичным именно ввиду стремительных и массовых изменений в лексике.

**Ж43.** Лексика еще и другим путем противодействует устремлению к агглютинации в словообразовательных моделях. Лексемы изменяются метафорически и метонимически. Одна из обычных метонимий, например, перенесение названия с действующего лица на орудие труда (ср. *жулик* — вид штепселя, *дворник* — очиститель стекла в автомашине). Этот процесс характерен, разумеется, и для непроемных (корневых), и для производных слов; если он поодиночке охватывает много единиц с тождественным морфологическим строением, то это значение станет осознаваться как оттенок аффиксального. Модель получит еще один семантический оттенок, свойственный только некоторым из ее образований; взаимооднозначность значения и выражения окажется для данной модели более трудно достижимой, чем раньше. Пример: суффикс *-чик* приобретает в современном русском языке значение предметности под влиянием ряда таких метонимических переосмыслений (в начале века со значением предмета использовались только немногие слова с этим суффиксом: *метчик*, *бомбардировщик*).

**Ж44.** Ряд образований по данной модели может иметь семантически однотипную производящую основу. Например, среди образований с суффиксом *-иц(а)*, имеющих предметное значение (в самом широком смысле слова), выделяется группа образований, у которых производящая основа означает 'дурное состояние (чего-либо) или недостаток': *бессмыслица*, *нелепица*, *нескладница*, *разноголосица*, *путаница*... Такая постоянная черта в ряду данных основ осознается как оттенок значения аффикса: указание на нечто отрицательное. Этот процесс полностью подобен процессу морфонемного переразложения: если, например, суффикс *-ик* у большой группы слов присоединяется к основам на *-ч-*, в результате морфонемного переразложения формируется новый суффикс *-чик*.

Процессы семантического переразложения между основной и образующим суффиксом крайне актуальны для современного русского языка. Они могут оказывать влияние на продуктивность отдельных моделей, снижая ее. Например, суффикс *-овк(а)* со значением лица гораздо менее продуктивен, чем *-овец*. И это, возможно, потому, что суффиксу *-овк(а)* приходится преодолевать свою традиционную связанность с основами определенного типа; в дореволюционном языке выделялась группа слов *воровка, мотовка, чертовка, хрычовка, плутовка* и т. д. (В. В. Виноградов, 1948). Здесь суффикс *-овк(а)* впитал в себя оттенок значения и эмоциональную окрашенность, свойственную некоторой части основ, с которыми он сочетается, и этим лишил себя словообразовательной свободы.

Таким образом, лексическая специфика основ и их лексическое развитие часто мешают проявляться в полной мере агглютинативным тенденциям в грамматике, но не в силах полностью «отменить» их.

**Ж45.** Бурное лексическое развитие языка иногда оказывало сопротивление грамматическим словообразовательным тенденциям. Но, с другой стороны, лексика иногда и содействовала грамматическому развитию. Например, массовое появление аббревиатур, слов по преимуществу «склеенных», было на руку агглютинативности. Первоначально они не были фактом языка; их существование определялось такими неязыковыми факторами, как телеграфный тариф, требование быстроты информации в военное время и т. д. Сами сокращения имели кодовый, в морфологическом отношении бессодержательный характер (ср. *копоко, комикоп, труурвосо, главэкоб, вакоп...*). История постепенного оязыковления аббревиатурных слов — это история их постепенной агглютинации или, наоборот, полной идиоматизации (*Вхутемас* и пр.).

**Ж46.** Значительный рост агглютинативности одних моделей неизбежно связан с ростом фузионности у других; это две стороны одного движения. Усиление регулярности и продуктивности одних моделей ведет к оттеснению других, к их полной непродуктивности и — в результате этого — к лексикализации их. Словообразовательные аффиксы у этих единиц теряют свою семантическую функцию; они превращаются в интерфиксы<sup>24</sup>, в прокладочный материал между флексией и корнем. Но в языке ослабление одного элемента всегда идет на пользу другому; ослабление одних элементов часто вызывается необходимостью подчеркнуть и усилить другие (Н. С. Трубецкой, 1939).

Интерфиксы усиливают, подчеркивают (в русском языке) стоящие после них аффиксы; они становятся дополнительным признаком этих аффиксов. «Флексия распространяется и живет силою форманта» (В. В. Виноградов,

---

<sup>24</sup> Термин А. М. Сухотина.

1947). Некоторые из этих омертвелых аффиксов становятся продуктивными уже в новой своей роли — как интерфиксы. Сейчас некоторые из постфиксов наиболее продуктивны только в сопровождении интерфиксов. Например, суффикс *-н-* реже используется в новообразованиях от глаголов, чем его вариации, осложненные интерфиксами: *-тельн-*, *-льн-* (ср. *сбросный*, *сбрасывальный*, *сбрасывательный* и под.). Один и тот же аффикс появляется в большом количестве вариаций; это усиливает фузионность таких моделей.

**Ж47.** Агглютинативность, т. е. взаимооднозначное соответствие значения и выражения, всегда ведет к четкой отделимости морфем<sup>25</sup>. Покровительство интерфиксации — другой, фузионный способ подчеркнуть раздельность, разграниченность в морфологическом ряду.

**Ж48.** Соотношение агглютинации и фузионности неодинаково у разных частей речи. У глаголов резко агглютинативны префиксы и резко фузионны постфиксы (за небольшим исключением) (В. В. Виноградов, 1947). Характерно, что у глагольных образований некоторые постфиксальные модели продуктивны только при префиксальных основах; в этих случаях постфикс санкционирован, поддержан (в своей конкретной грамматической роли) наличием префикса. Например, продуктивная имперфективация глаголов с помощью суффиксов *-ива-*, *-ва-* возможна лишь при префиксальных основах. У отыменных глаголов усиливается тенденция сочетать суффиксальное словообразование с префиксальным; ср. *углубить*, *разбазаривать*, *приземляться*, *обобществить*, *уплотнить*, *раскулачить*... (В. В. Виноградов, 1947). Точно так же и модель отглагольных существительных с суффиксом *-к(а)*, *-к(и)* (*pluralia tantum*) продуктивна только для префиксальных основ; ср. *выжимки*, *высевки*, *отжимки*...

Глагол и его образования, агглютинируя свои грамматические соотношения, идут впереди других частей речи. Напротив, у существительных префиксы очень часто фузионны и преобразованы в аффиксоиды; постфиксы же частью увеличивают свою агглютинативность (во всех продуктивных моделях), частью же высокофузионны.

Прилагательные близки в этом отношении к глаголам. Префиксация — весьма продуктивный способ образования новых прилагательных: *внешней*, *довыборный*, *доколхозный*, *звучковой*, *заатмосферный*, *наднациональный*,

<sup>25</sup> Фонетическая отделимость при этом не так важна; она — возможное, но не обязательное следствие чисто морфологической разграниченности функциональных кусков слова в агглютинативной модели. Следовательно, в слове *отсядет* грамматически несомненная отдельность кусков *от-* и *-сядет* вызывает, как следствие, фонетическую несливаемость [т] и [с]; аффрикаты [ц] не образуется.

*непрофильный, неповторный, пообъектный, подпахотный, подтаежный, полунавесной, предпусковой, сверхзвуковой, сверхсекретный, сверхглубокий* и т. д. В конце XIX века, а особенно в более позднюю эпоху, число суффиксов, которые используются у прилагательных с приставками (из предлогов), резко возрастает. Это, очевидно, объясняется тем, что приставки предложного происхождения получают способность непосредственно присоединяться к бесприставочным прилагательным, уже существующим в языке (Е. А. Земская, 1962). Таким образом, при данной прилагательной основе закрепляется определенный прилагательный постфикс; нет выработки таких продуктивных моделей, когда прибавление определенного префикса требует, при образовании прилагательного, строго определенной постфиксации, стабильной для всех новообразований с данным префиксом. Постфикс прилагательного, не варьируясь при данной основе, срастается с нею намертво и превращается в прокладку (интерфикс) между флексией и самой основой.

**Ж49.** Итак, наиболее общая тенденция в развитии русской словообразовательной системы нашего времени — это усиление взаимооднозначных соотношений между грамматическими значениями и их обозначающими<sup>26</sup>; это движение вызывает, в качестве своей обратной стороны, усиление фузионности отдельных моделей и словообразовательных элементов.

При всей видимой случайности для языковой системы, внешние влияния на язык оказываются результативными тогда, когда они способствуют развитию этой системы. Например, с языковой точки зрения совершенно случаен факт, что в Чехии была создана новая система гимнастических упражнений, которая потом была усвоена и в России. Но не случайно, что усвоение некоторых чешских слов (этот факт сам по себе лексический) привело к упрочению определенного типа отглагольных образований в гимнастической терминологии. Эффективность этого заимствования определялась внутриязыковыми причинами. Строение чешского слова в целом агглютинативнее, чем строение русского слова; это обусловлено особенностями исторического развития чешского языка (А. В. Исаченко, 1956). И чешская спортивная терминология, построенная очень агглютинативно, «пришлась ко двору» в русском языке.

Обострение в XX веке влияния разговорной речи на нейтральный стиль означало, что и в нейтральном стиле стали более весомы агглютинативные модели, крайне характерные для разговорной речи (§ Д 28). Пополнение литературного языка диалектной и профессиональной лексикой также привело к усилению агглютинативности в словообразовании (§ Б 12).

---

<sup>26</sup> Такая тенденция вовсе не обязательна для всех языков или для данного языка на всех этапах его развития. Есть доказательства, что некоторые из индоевропейских языков движутся в ином направлении.

Наконец, стало более активным влияние терминологических, предельно агглютинативных (в идеале) словообразовательных систем на общеупотребительную языковую систему.

Все эти взаимодействия в языке, характерные для советской эпохи, усиливали устремление к агглютинативности в русской словообразовательной системе.

### Словоизменение

*Содержание раздела. — А (§ 1—15). Распространение аналитических форм в современном русском языке. Превращение частей сложных слов в отдельные слова — аналитические прилагательные и т. д. Выпадение отдельных именных образований из парадигм и превращение их в аналитические формы. Стимулирование аналитизма некоторыми общественными факторами. — Б (§ 16). Усиление деривационной функции некоторых словоизменяющих аффиксов; прямое влияние на этот процесс новой социальной действительности. — В (§ 17—18). Взаимодействие между словоизменяющими грамматическими значениями. Распространение в языке некоторых видов этого взаимодействия при социальной актуализации определенных семантических типов слов. Позиционное варьирование грамматических значений; связь его со стилистическими противопоставлениями. — Г (§ 19—24). Стилистические влияния в словоизменении. Борьба двух тенденций, определяющих эти влияния: внутриязыковой и «внешней», обусловленной социальными факторами. — Д (§ 25—26). Продуктивность словоизменяющих моделей. Вытеснение одних моделей другими. Ограничение этого процесса, обусловленное социально. — Е (§ 27). Взаимодействие суперсегментных и сегментных словоизменяющих показателей. — Ж (§ 28). Общие линии развития словоизменения в русском языке советской эпохи; стимулирование их общественными условиями существования языка.*

**0.** В предыдущем разделе была сделана попытка осветить тенденции развития словообразовательной системы русского языка в XX веке, показать взаимообусловленные изменения в моделях с аффиксами типа N, в том числе превращение их в аффиксы типа M (словоизменяющие).

Раздел «Словоизменение» должен быть посвящен основным тенденциям, направляющим развитие моделей с аффиксами типа M (в том числе их превращение в аффиксы типа N, словообразовательные, и их превращение в неаффиксы).

**A1.** Один из наиболее важных вопросов морфологии современного русского языка — это вопрос о распространении аналитизма в области словоизменения. Усиление аналитического принципа в грамматике может выражаться в том, что аффиксальные показатели постепенно уступают место другим: служебным словам, примыканию и т. д.

В современном русском языке во многих частных случаях проявляется тенденция заменять падежную изменяемость определенных слов их (полной или частичной) неизменяемостью.

Сквозь все запреты пробивается стремление не склонять некоторые ряды имен собственных. Это относится к таким случаям:

а) подошел к *Михаилу Перегорст*; надо узнать у *Александра Стокрой*;

б) жили около *Кузьмино*; недалеко от *Дно*; около *Москва-Товарная*. Распространение таких конструкций было поддержано влиянием стиля военных приказов, донесений, информационных сообщений;

в) у *Москва-реки*, на *Москва-реке*;

г) вопреки указаниям руководств по русскому языку, не склоняются в наше время фамилии типа *Макаренко*, *Ильченко* и т. д. Традиционно они склонялись по типу слов *вода*, *травя*;

д) многие аббревиатуры (названия учреждений, организаций и т. д.) лишены форм словоизменения.

Как ни частны и ни мелки эти факты, однако они показательны на фоне всей совокупности морфологических изменений в современном русском языке.

Распространению такого типа падежной неизменяемости способствовали многие особенности общественного бытования русского языка в советскую эпоху. Резко возросла роль политической, общественной информации (в первую очередь через газеты), и в связи с этим усилился наплыв в повседневную речь иностранных собственных имен и топонимических названий. Такие имена и названия часто в текстах даются как несклоняемые; это оправдано тем, что изменяемость их в текстах провоцировала бы читателя на усвоение их в косвенной падежной форме, принятой за начальную; ср. *он возразил Флоше* или *суда направились к Польни*. Во время Великой Отечественной войны большое влияние на обывденную речь оказали военные донесения, приказы, сводки и т. д., а им традиционно свойственно стремление (опять-таки во избежание «падежных иллюзий») топонимические названия не изменять по падежам.

**A2.** В некоторых случаях стремление к неизменяемости слова затрагивает не все падежи, а лишь наиболее аналогически уязвимые.

Например, возникают гибридные типы склонения: все падежи образуются по образцу слов *слава*, *смена*, но винительный имеет ту же безударную флексию, что и именительный. Так склоняются слова *домишко*, *топоришко* и под. Здесь неразличение падежных форм, незаконное с точки зрения традиционных правил, коснулось лишь им. — вин. падежей. (Ср. также распространение в современном языке оборотов типа *вижу две коровы*, *подстрелили два зайца* и т. д.)<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Этот пример относится и к следующему параграфу (A3).

**А3.** Очень характерна несклоняемость, частичная или полная, для некоторых типов числительных, притом именно сущест в и т е л ь н ы х числительных.

а) Числительное *пол-* в косвенных падежах имеет форму *полу-*, но в современном языке все чаще это слово не склоняется: словосочетания *больше полу-часа, в полуверсте, около полуроты, до полуминуты* постоянно заменяются выражениями *больше полчаса, в полверсте, около полроты, до полминуты* и т. д.

б) В оборотах *по шести рублей, по двадцати штук на человека* и т. д. формы дательного падежа все шире вытесняются формами прямого (именительного) падежа: *по шесть рублей, по двадцать штук* и т. д. Именительный падеж выступает здесь как «непадежная» форма, как застывший представитель слова в его лексической сущности.

в) При склонении сложных числительных становятся законными такие формы: *с пятьсот восемьдесят пятью рублями; более две тысячи пятьсот пятьдесят двух человек...* Числительные количественные тем самым приближаются, с одной стороны, к качественным, с другой стороны, усваивают все большую неизменяемость, окостенелость своих форм (в позиции не последнего члена в составе сложного числительного).

Подобные формы количественных числительных в разговорной речи уже господствуют; они энергично проникают и в нейтральный стиль<sup>28</sup>.

**А4.** Наконец, очень интенсивно формируется в современном языке группа аналитических прилагательных. Свою прилагательность они выражают примыканием; одни из них непосредственно постпозитивны (*платье беж, цвет хаки, состав-bis; дом номер пять*), другие — непосредственно препозитивны (*радиофельетон, аэрофотосъемка, фотохудожник, коми-писатель, горе-исследователь, чудо-машина, нефтезавод, лесозаготовки, сухофрукты, партбилет, профсобрание, главуправление*). Они не могут примыкать к связке, т. е. выступать предикативно, их место только рядом с существительным или с другим прилагательным, относящимся к тому же существительному, что и они: *фото- и писчебумажные товары, лесо- и хлебозаготовки*.

Отрезки *фото-, теле-, радио-, авиа-, мото-* и т. д.; *глав-, сов-, парт-, проф-* и т. д.; *хлебо-, лесо-* и т. д. надо признать особыми словами в составе

<sup>28</sup> «Подчиняясь влиянию математического мышления, числительные унифицируют свои формы... Древние математические формы числовых существительных и прилагательных подверглись в категории числительных разрушительному натиску отвлеченного математического мышления. Старая техника языка вступила в противоречие с новыми принципами понимания и выражения отвлеченных понятий числа и количества» (В. В. Виноградов, 1947). Вопрос о воздействии научного мышления на язык — один из сложнейших; он должен быть в поле зрения при исследовании путей развития языка в советскую эпоху.

словосочетаний *фототовары, телеоператор, радиодельтон, авиапочта, мотогонки* и т. д.; *главуправление, совслужащий, партбилет, профсобрание* и т. д.; *хлебозаготовки, лесопроческа...* Они обладают основным признаком слова — входят в свободные сочетания с другими словами, причем ряды этих свободных комбинаций безграничны.

Важнейший признак слова заключается в том, что оно не является свободным сочетанием меньших единиц, вместе с тем само входит в свободные сочетания (Ф. Ф. Фортунатов, 1908). Следует четко определить, какой смысл в этой формулировке придается словам «свободные сочетания».

**A5. I.** Пусть дана какая-то звуковая единица  $M$ ; в сочетаниях с единицами одного и того же типа  $a, b, c...$  она, образуя двучлены  $a + M, b + M$  и т. д., постоянно сохраняет свое значение (или же изменения этого значения имеют строго регулярный характер и зависят от определенных изменений в типе сочетающихся единиц; в таком случае эти изменения значения  $M$  позиционны, и их в каждом случае можно предвидеть). (Примеры см. выше, в разделе «Словообразование», § Б7.)

**II.** Пусть дана какая-то звуковая единица  $N$ ; в сочетаниях с единицами одного и того же типа  $a, b, c...$  образуются единства  $a + N, b + N, c + N...$ , при этом значение варьируется независимо от типизированного значения  $a$ , или  $b$ , или  $c...$ ; следовательно, варьирование это непозиционно. (Примеры см. выше, в разделе «Словообразование», § Б7.)

**III.** Пусть дано какое-то значение <sup>a</sup>; оно выражается двумя разными звуковыми единицами  $L^1$  и  $L^2$  (которые, следовательно, являются синонимичными). При этом в сочетании с единицами  $a, b, c$  (и любой другой этого же типа) возможно и  $L^1$  и  $L^2$  ( $a + L^1, a + L^2; b + L^1, b + L^2$  и т. д.). Пример:  $L^1 = \text{стачка}, L^2 = \text{забастовка}; a = \text{началась}; b = \text{закончилась}; c = \text{идет}$ )<sup>29</sup>.

Или же в сочетании с одним строго определенным типом единиц используется только  $L^1$ , а в сочетании с другим типом единиц — только  $L^2$ .

Первый пример:  $L^1 = \text{св}, L^2 = \text{ся}; a = \text{строила-}, b = \text{раскрашивала-}, c = \text{отвертывала-}; d = \text{строил-}; e = \text{раскрашивал-}; f = \text{отвертывал-}$ .

Второй пример:  $L^1 = \text{карие}; L^2 = \text{коричневые}; a, b, c = \text{глаза, очи, глазница...}, d, e, f = \text{бусы, ягоды, стекла...}$  Единицы с таким значением будем обозначать  $L^a$  (т. е.  $M^a$  или  $N^a$ ).

**IV.** Пусть дано какое-то значение <sup>b</sup>; оно выражается двумя разными звуковыми единицами (синонимами):  $L^1$  и  $L^2$ ; при этом в соединении с другими единицами  $a, b, c$  может быть или  $L^1$  или  $L^2$ ; выбор не определяется типизированным характером этих единиц. Пример:  $a, b, c, d, e = \text{красн-, желт-, синь-, фиолетов-}; L^{1-4} = \text{-ота, -изна, -ева, -ость}$ .

<sup>29</sup> В разделе «Словообразование» указаны 2 типа аффиксов:  $M$  и  $N$  (§ Б7). Здесь вводится обозначение  $L$ , указывающее, что имеются в виду оба эти типа.



Единицы такого типа будем обозначать  $L^b$  (т. е.  $M^b$  или  $N^b$ ).

Итак, существует 4 типа единиц, которые способны вступать в синтагматическое единство с другими единицами:  $N^a$ ,  $N^b$ ,  $M^a$ ,  $M^b$ . Единица  $N^a$ : значение не варьируется или варьируется позиционно (т. е. если указан грамматически типизированный контекст, то известно, какой из оттенков значения присущ этой единице); звуковой облик не варьируется (т. е. синонимов нет) или варьируется позиционно (т. е. если указан грамматически типизированный контекст, то известно, какой из синонимов избирается в данном случае).

Единица  $N^b$ : значение не варьируется или варьируется позиционно; есть синонимическая единица, и в сочетании с другими единицами возможна всегда или данная единица, или ее синоним; распределение их позиционно определить нельзя.

Единица  $M^a$ : значение варьируется непозиционно; синонимов нет, или же они замещают данную единицу в позиционно обусловленных случаях.

Единица  $M^b$ : значение варьируется непозиционно; у данной единицы есть синонимы, и распределение их позиционно определить нельзя.

Единица типа  $N^a$  — это слово; единица  $N^b$  — это флексия (словоизменяемый аффикс); единица  $M^a$  или  $M^b$  — это части основы.

Итак, только сочетания типа  $N^a + N^a$  являются сочетаниями слов<sup>30</sup>. Этот тип единиц противопоставлен всем остальным, которые характеризуют отношения между частями слова. Сочетаниями слов тогда надо считать: *мой отец, я иду, быстро движется, придет завтра, полминуты, радиопередача, профбилет, хлебозаготовки, стало темно, более быстрый, будем писать, спросил ли, спросил бы, кто же, приготовьте, бросьте, в лесу, на столе, у меня...* Напротив, целостными словами (словоформами) являются такие единицы: *записать, увидеть, разыграли, перебирались, друзья, столы, остановка, скорость, писательница, (были) в гостях*<sup>31</sup>, *до упаду, в открытую*.

**А6.** Вопрос о том, является ли какое-то данное сочетание значимых единиц словом или словосочетанием — до известной степени вопрос количественных, статистических соотношений. Пример покажет это. Существует ряд форм: *в городах, в рощах, в лесах, в комнатах, в книгах, в газетах, в листовках, в журналах, в ящиках, в чашках, в столах, в шкафах...* *в гостях*. Последнее сочетание (*он не любит бывать*) *в гостях* резко отличается по значению

<sup>30</sup> Более подробное изложение и мотивировка принципов выделения слова в речевом потоке см. в статье: М. В. Панов. О слове, как единице языка // Ученые записки МГПИ им. В. П. Потемкина. Т. LI. 1956.

<sup>31</sup> Ср.: *Он не очень разбирался в гостях, кто хорош и кто плох: все ему казались хороши*; здесь сочетание *в гостях* нефразеологично и принадлежит свободному незамкнутому ряду. Это сочетание слов (служебного и полнозначного).

от всех предыдущих. Оно выпадает из бесконечного ряда форм с аффиксами *-ax*, имеющих падежное значение (точнее: комплекс значений предложного падежа, причем разное варьирование этих значений вызывается позиционно); выпадает именно потому, что оно единично, изолировано по отношению к этому ряду. Оно выводится за пределы продуктивного ряда *в...-ax*, не поддерживается им и должно рассматриваться как грамматический омоним, не связанный с этим рядом. Поскольку оно выпадает из ряда, то оно не делает аффиксальную единицу *в...-ax* многозначной, единицей типа  $N^a$ , в ряду остаются только падежно-значащие образования. Таким образом, образования с другим значением изгнаны из данного ряда и ввиду малочисленности признаны изолированными фразеологизмами.

Выбрав из какого-то текста 1000 образований с элементом *в...-ax*, мы обнаружим, что, например, 990 из них представляют собой сочетания типа *в городах, в рощах*; лишь 10 — разнокачественные «исключения» типа *в гостях*. (При продолжении подсчета мы могли бы обнаружить, кроме того, и замкнутость этого ущербного ряда образований: он представлен только единицами *в гостях, в сердцах*. Собственно, «ряды» здесь состоят из единичных слов-уникумов.)

Иное свойство обнаруживает, например, такой ряд: *усилитель, истребитель, выключатель, исследователь, просветитель...* Здесь *-тель* имеет два оттенка значения: в одних случаях он обозначает орудие действия, в других — лицо<sup>32</sup>. Но ни тот, ни другой тип образования не являются замкнутыми; еще важнее то, что оба они представляют собой определенное численное равновесие. Анализируя тексты разного типа, мы могли бы иметь в них такие соотношения *-тель* с одним и с другим значением: 600 и 400; 200 и 800; 250 и 750 ... Каждый оттенок значения поддержан своим рядом образований. Этого достаточно, чтобы признать *-тель* единицей типа  $M^b$ <sup>33</sup>. Но пусть у нас слова на *-тель* со значением орудия действия встречались бы в 995 случаях из тысячи, а на *-тель* со значением лица всего в 5 (притом круг этих единиц оказался бы замкнутым, лексически ограниченным), тогда, очевидно, названия орудий с *-тель* должны были бы рассматриваться как словосочетания<sup>34</sup>, а

<sup>32</sup> Поскольку во многих случаях в русском языке значения такого типа передаются аффиксами одного и того же морфонемного строя, постольку оба значения осознаются как варианты единого инварианта.

<sup>33</sup> Так как возможно *писатель, просветитель* и отвергается *писальщик, просветильщик* (образования с синонимическими аффиксами).

<sup>34</sup> При этом *-тель* превратилось бы в деривационное слово-частицу, разряд которых в современном русском языке отсутствует (ср. в английском частицы *-she, -he; bear-she, bear-he...* Чтобы *-тель* стало таким служебным словом, нужно, правда, и еще одно условие: основа, к которой присоединяется *-тель*, должна отвечать требованиям  $N^a$ . На самом деле этого нет.

-тель с редким значением лица превратился бы в особую единицу, в редкий аффикс, омонимичный с распространенной частицей *-тель*.

**А7.** Итак, решение вопроса о том, чем же является данное сочетание значимых единиц: словосочетанием или словом, зависит от соотношения данного сочетания с другими, в которых: 1) выражены те же значения; 2) встречаются те же звуковые показатели. При этом важны числовые соотношения: абсолютный перевес образований одного типа над другим позволяет говорить о неограниченном использовании образований преобладающего типа, т. е. о том, что это образование типа  $N^a + N^a$ . Пока в русском языке существовали только слова *радиофикация*, *радиоприемник* (при этом слово *приемник* отдельно не употреблялось в значении ‘аппарат для приема радиоинформации’), *радиопередача* — не было еще аналитического прилагательного *радио-* (хотя существительное *радио* уже существовало). Но появление массы новообразований: *радиомузыка*, *радиопьеса*, *радиосообщение*, *радиохалтура* и т. д. — придало способность единице *радио-* вступать в сочетание с любым существительным. Значение ‘радио’ — во всех этих сочетаниях оставалось неизменным. Соединяясь с разными существительными, оно не вызывало нестандартных (индивидуальных в каждом отдельном случае) семасиологических изменений у существительных, примыкающих к *радио-*. Если вначале и возникали образования с этим элементом (*радио-*), где существительное (точнее, вторая часть основы) фразеологически смещало свое значение (ср. *радиовещание*), то они вскоре потонули в массе сочетаний, не знающих таких смещений, т. е. таких, где оба компонента: «*радио* + существительное», обладали строго стандартизованной семантикой. Фонемный облик элемента *радио* — невариативен; присоединение его к существительному не вызывало никаких фонемных варьирований у существительных. Это означает, что, получив абсолютную продуктивность, образования типа «*радио* + существительное» из сложных слов превратились в словосочетания.

Точно так же превращение единицы *лесозаготовки* из слова в словосочетание — процесс постепенного накопления таких единиц, как *лесоразработки*, *лесокоптора*, *лесозаготовители*, *лесосырьё*, *центральные лесоорганизации*, *лесоохрана*, *лесоразведение*, *лесополоса* и т. д. Накопление таких единиц, со строго неизменным отношением значения частей к значению целого, обусловило в конце концов безграничную возможность присоединять аналитическое прилагательное *лесо-* к любому существительному.

Самая эта возможность свободного сочетания *лесо-* с любыми существительными и является основным признаком превращения *лесо-* из части слова в отдельное слово.

**А8.** Превращение многих единиц типа  $M^a + M^a$  в сочетания  $N^a + N^a$  связано с резким ростом названий для новых объектов действительности, с бурным процессом наименования, который всегда характеризует эпохи стремительного общественного развития.

Именно под воздействием потребностей в массовой номинации новых объектов действительности энергично формируется с 20-х годов нашего века класс аналитических прилагательных.

**А9.** Единицы, отвечающие основному определению слова, в массе своей обладают и рядом других фонетических, морфологических, синтаксических признаков; они типичны для слова, но не обязательны для него. Вот наиболее характерные из них.

**Фонетические:** наличие отдельного для данной единицы ударения; характерные диеремные явления на границах этой единицы.

**Морфологические:** наличие определенных аффиксов в конце или в начале единицы — морфем типа  $N^b$  (т. е. флексий),  $M^a$ ,  $M^b$  (словообразовательных аффиксов). Кроме того, в составе единицы возможны интерфиксы разного типа. Все это вместе создает морфологическую цельноформленность слова (А. И. Смирницкий, 1952).

**Синтаксические:** способность соединяться посредством слов *и, но, или* и т. д., а также с помощью определенных интонаций с другими единицами, обладающими свойствами слова; непосредственная сочетаемость с частями и т. д. (А. Б. Шапиро, 1938).

То или иное значимое образование, преодолев порог «словности» (т. е. став свободно сочетающейся единицей, в соответствии с определением в § А5), постепенно приобретает и другие, типичные черты слова, упрочивает, укрепляет свою словную характеристику. Сам процесс обрастания единиц того или другого типа признаками слова заслуживает тщательного изучения.

Многие из аналитических прилагательных (такие, как *глав-, проф-, сов-, парт-, радио-, авиа-, кино-, фото-, мото-, хлебо-, лесо-, горе-, чудо-* и др.) имеют уже все признаки слова.

**Фонетические:** они несут особое ударение, на границе с другими словами у них возникают диеремные явления (А. А. Реформатский, 1955).

**Морфологические:** одни из них имеют аффикс *-о*, характерный для аналитических прилагательных: *лесо-, хлебо-, горе-* (т. е. <гор'о-)). Синонимичен этому *-о* аффиксальный нуль, характеризующий большинство аналитических прилагательных и типичный для них как для аналитических образований.

**Синтаксические:** они вступают в сочетания, характерные для слов: *сель-то совет, проф ли это билет, лесо- и нефтяные заводы* и пр.

У других образований такого типа только еще формируются второстепенные, но типичные для слова признаки; третьи не перешли еще того порога, который делает их свободно сочетающимися единицами, т. е. словами. Изучение всех передвижений, внешне незаметных, но выстраивающих систему аналитических единиц в языке, имеет большое значение для уяснения новых тенденций развития языка.

**A10.** Рост аналитических форм в языке связан с распадом некоторых парадигм, с изгнанием из парадигм определенных словоформ. Исключение словоформ из системы склонения означает ее лексикализацию; она становится отдельным словом и подводится под категорию наречия; ср. адвербиализацию творительного времени, творительного образа (сравнения) и т. д.<sup>35</sup>

В современном русском языке, «еще не достигшем аналитизма таких языков, как французский, падежная система переобременена значениями». Семантическая широта некоторых падежей, например творительного, облегчает процесс адвербиализации отдельных словоформ (В. В. Виноградов, 1947).

**A11.** Действие факторов адвербиализации в русском языке нашей эпохи последовательно и постоянно; в результате этого сейчас в русском языке, например, указание на время действия, выраженное в особом слове или словосочетании («обстоятельстве времени»), всегда в той или иной степени адвербиализовано: нет систематически применяемых падежных возможностей указать на время. Ср. *пришел зимой, летом, весной, осенью, утром, вечером, днем, ночью* (но не: *пятницей, январем, сумерками, восходом*); *в пятницу, в среду, в праздник, в день именин, в обед, в сумерки* (но не: *в ужин, в восход, в лето*); *на восходе, на заре, на закате; в прошлом году, в октябре, в XX веке* и т. д. Стандартизованного падежного способа выражения нет, и степень адвербиализации в каждой из этих частичных и ограниченных моделей различна. Большинство из этих полунаречий-полусуществительных способно соединяться с прилагательными, и это поддерживает их «членство» в падежной парадигме: их флексии вызывают стандартизованные отклики во флексиях прилагательных; в этом отношении значение их флексий равноценно функции (значению) всех остальных флексий подобного типа. Но выбор прилагательных большей частью крайне ограничен: *вернулся в самый обед, на ранней заре, в прошлую... эту... следующую пятницу*.

Однако наиболее существенно, что у этих адвербиализованных падежных и падежно-предложных временных конструкций утеряна стандартная

---

<sup>35</sup> Глагольные словоформы в современном русском литературном языке почти совсем не подвержены лексикализации.

соотносительность со всеми остальными образованиями в данной парадигме (с другими падежами в пределах данной лексемы), и со всеми образованиями того же падежа. Новое значение очень часто не типизировано, не встречается в ряду форм с подобными аффиксами; тем самым эти аффиксы, обладая лишь остаточной выделительностью, преобразованы в аффиксоиды. В других случаях адвербиализация охватывает несколько образований с определенными флексиями и придает им однотипные наречные значения; тогда словоизменительные аффиксы преобразуются в словообразовательные: возникают омонимические, но функционально разграниченные модели: одна — с аффиксом М, другая — с аффиксом N. Например, в современном русском языке несомненно стремление к концентрации значений винительного падежа; все обособляющиеся значения этого падежа сближаются с наречиями (В. В. Виноградов, 1947).

Точно так же специализируется и значение предложного падежа. В парадигме сохраняются лишь те образования, которые «соответствуют живой цепи грамматических отношений, выраженных падежами и предлогами». «Так как категория творительного падежа представляет замкнутую систему грамматических значений и отношений, то замутнение в какой-нибудь конкретной форме творительного падежа ее основных функций, закрепление за этой формой только одного из присущих ей значений равносильно отпадению ее от системы склонения данного существительного» (В. В. Виноградов, 1947).

Преобразование нескольких предложно-падежных форм в наречное образование иногда ведет к превращению наречной модели в продуктивную; ср., например, образования *всвал*, *вразвал*, *встык*, *вприжим*, *враскид*, *вразлет*. Все эти изменения в целом содействуют активизации категории наречий (аналитических, неизменяемых форм, умеющих только примыкать) за счет существительных.

Как показывают примеры, этот процесс особенно активен в технических арго, в производственной терминологии; характерен он и для разговорной речи. Из этих языковых областей он распространяется и в нейтральный стиль литературного языка (или, может быть, только поддерживает тенденции, спонтанно развивающиеся в литературном языке).

**A12.** В разделе «Словообразование» говорилось о том, что агглютинация в русском языке растет; очень характерно для литературного языка нашей эпохи усиление регулярности моделей, которое ведет к включению в парадигмы новых образований (по крайней мере, к подведению их к порогу парадигмы). Не противоречит ли этой тенденции стремление к аналитизму, к выпадению из парадигм, многообразно проявляющееся в словоизменении? Вероятно, нет, так как усиление аналитизма затрагивает именно постфиксы —

т. е. именно такие, которые и в области словообразования тяготеют к фuzioniности, к превращению в аффиксоиды (т. е. к исчезновению в качестве самостоятельных грамматических показателей).

Очевидно, в словообразовании и в словоизменении действуют единопавленные тенденции: ослабить некоторые постфиксальные показатели у имен. В словоизменении эта тенденция стимулирует появление неизменяемых существительных и превращение некоторых именных флексий в аффиксоиды наречий.

Напротив, элементы, предшествующие корневой части слова (или второму, основному корню в сложных словах), усиливая свою регулярность, превращаются в абсолютно агглютинативные элементы; предельная агглютинативность делает их особыми словами. Так возникают аналитические прилагательные. Так же и некоторые приставки превращаются в особые препозиционные частицы у прилагательных (*архи-*, *сверх-* и т. д.); возможно, впрочем, что они еще не преодолели порога «словности», и в образованиях *нелепый* — *архинелепый*, *умелый* — *сверхумелый* надо видеть словоизменительные парадигмы (сравнительно недавно возникшие в русском литературном языке)<sup>36</sup>.

**A13.** От глагольных парадигм во многих случаях отделяются причастные формы и функционируют как прилагательные. В некоторых случаях такой переход причастий в прилагательные, может быть, происходит без распада парадигмы. Это возможно тогда, когда переход в прилагательные обусловлен позиционно; напр., всякое полное бесприставочное причастие с суффиксами *-нн-*, *-т-* приобретает свойства прилагательного, если употребляется без пояснительных слов.

Любопытно отражение этого в орфографии: по современным правилам, без пояснительных слов всегда требуется писать *жареный*, *вареный* и т. д., т. е. подчеркивать их прилагательность; с пояснительными словами — всегда *жаренный*, *варенный* (глагольные синтаксические связи не позволяют причастиям потерять свой глагольный характер).

Значит, в одних и тех же условиях контекста не могут быть приемлемы и *жаренный* и *жареный*, всегда уместна только одна из форм. Конечно, орфография грубо и приблизительно классифицирует позиционные условия, в которых причастные формы теряют свою причастность или сохраняют ее. Но позиционный характер самого явления (для некоторых морфологических типов) несомненен. В соответствии со сказанным раньше (см. § A5), здесь при-

<sup>36</sup> Возможно также, что эти единицы (*архи-*, *сверх-*), препозиционно связанные с прилагательными, являются уже отдельными словами в строгом стиле (в публицистических речевых жанрах), но остаются словоизменительными приставками в других стилях.

лагательное, существуя как позиционное изменение причастия, входит в глагольную лексему. Вероятно, справедливо замечание, что здесь «намечается новый тип гибридной лексемы, не вполне обычный в языке с преобладающим синтетическим строем» (В. В. Виноградов, 1947).

**A14.** Аналитические и синтетические формы степеней сравнения прилагательных образуют синонимические ряды. Самое широкое распространение аналитических форм сравнительной и превосходной степени прилагательных связано с универсальностью этих форм: они обслуживают и те разряды прилагательных, которые не образуют синтетических форм; они позволяют избежать многих исключений и капризов, свойственных синтетическим образованиям. Поэтому по частотности употребления, по сферам использования аналитические формы очень медленно, но настойчиво оттесняют формы синтетические.

Стремление избавиться от идиоматических исключений в грамматике особенно сильно в эпохи, когда меняется социальный состав носителей языка. Это стремление было значительным в 20—30-е годы нашей эпохи. Оно способствовало распространению аналитических форм степеней сравнения, строго и последовательно стандартных.

**A15.** Следовательно, аналитические формы возникают следующими путями: а) некоторые имена обнаруживают склонность не склоняться; б) энергично пополняется группа аналитических прилагательных (и, в меньшей степени, — аналитических существительных); в) выбиваются из именных парадигм отдельные словоформы и превращаются в наречия — единицы аналитические; г) соревнование аналитических и синтетических синонимов в словоизменительной системе русского языка приводит в большинстве случаев к ослаблению роли синтетических именных образований<sup>37</sup>.

Очевидно, что все эти завоевания аналитизма связаны с именами; глагол остается подчеркнуто синтетичным. Такие аналитические формы, как *пусть пишет, пусть придет; достаньте, идите; я писал, мы писали; буду писать, будешь писать*<sup>38</sup>, не конкурируют с другими, синонимическими формами.

<sup>37</sup> Под аналитическими образованиями здесь подразумеваются: а) образования, которые включают неизменяемое служебное слово; б) образования, которые свою грамматическую природу обнаруживают только примыканием. Оба случая объединяет «антиаффиксальность»: и те и другие образования выражают определенные грамматические значения без использования аффиксов.

<sup>38</sup> Впрочем, эта глагольная форма (будущее сов. вида) не подходит под данное выше определение; она стоит отдельно от остальных аналитизмов в русском языке — и это еще раз подчеркивает контраст глагола и имени.



Положение их в системе форм стабильно и неподвижно; за их счет не увеличивается с ходом времени аналитичность глагола.

Контраст между аналитическими именными формами и синтетическими глагольными типичен для ряда славянских языков и вообще для языков с аналитико-синтетическим строем (П. С. Кузнецов, 1950).

Возрастание безаффиксности у одних образований предполагает полноценную значимость аффиксов у других образований, у тех, с которыми связаны и по отношению к которым определяются в предложении аналитические формы.

**Б16.** Полноценность глагольных аффиксов у глагольных словоформ не только не поколеблена, но в некоторых случаях возросла: они стали более значимы, чем раньше. В настоящее время широко распространились сочетания такого типа: *врач пришла; председатель объявила; инструктор посоветовала; бригадир сказала* (при отнесении в каждом случае существительных к лицам женского пола). Распространение таких конструкций падает на послереволюционную эпоху; еще в 20-х годах оно считалось не вполне нормативным, хотя и живым явлением (А. М. Пешковский, 1928). Под влиянием новой социальной действительности эти формы стали быстро распространяться в литературном языке и в настоящее время вошли в круг нормативных образований.

Следовательно, со многими существительными типа *инженер, доктор, председатель, инспектор, секретарь, директор* и т. п. сочетаются глагольные формы и мужского и женского рода. Флексии перестали быть только средством связи подлежащего и сказуемого; эта связь достаточно обеспечена и тогда, когда при существительном в им. падеже стоит глагольная форма со свободно избранными глагольными аффиксами *-л-а* или *-л-*. В сочетаниях типа *врач пришла* флексия дополнительно обозначает ситуативный род существительного.

В результате упрочения в языке моделей сочетаний типа *врач пришла* появился новый класс существительных общего рода (*инженер, доктор, председатель, инспектор* и т. д.) — не слова-характеристики, как существовавший ранее тип: *обжора, плакса* и пр., а слова-регистраторы. С существительными же общего рода глаголы сочетаются ситуативно: в зависимости от речевой ситуации, от реального обозначаемого объекта, они избирают флексии или женского, или мужского рода.

Таким образом, в данном случае глагольная флексия, получила дополнительную нагрузку, стала указывать в таких сочетаниях не только реляционные, но и деривационные значения (оставаясь, разумеется, формообразующей).

Следовательно, стремление к нивелировке флексий, свойственное имени и проявляющееся у существительного и прилагательного многообразными

способами, совершенно не свойственно глаголу. Глагол усложняет, семантически «догружает» систему своих флексий.

Однако оба эти процесса, казалось бы противоположные, имеют и одну общую черту: они выражают единую тенденцию ослабить роль аффиксов как грамматических соединителей слов в предложении. Эта тенденция действует на отдельные точки системы; проявления ее кажутся разрозненными, факультативными, но этих отдельных проявлений уже множество, они по-разному охватывают и имя, и глагол.

**В17**<sup>39</sup>. Как уже сказано (§ А5), словоизменительные аффиксы (флексии) имеют строго стандартизованное значение, одинаковое во всем ряду форм с данной флексией. Изменение значения у некоторых из этих форм означает их выпадение из данного словоизменительного ряда, выход за пределы данной лексемы, т. е. превращение в самостоятельную лексему; следовательно, превращение флексий в словообразовательные элементы. Таким образом, флексии могут существовать только как строго стандартизованные по значению элементы.

Поэтому взаимодействие грамматических значений у словоизменительных аффиксов весьма затруднено; оно возможно только в исключительных случаях.

Форма множественного числа у существительных — это маркированный член, она указывает, что объекты, обозначенные основой, взяты в некотором количестве, представляют собой множество (В. Н. Сидоров, 1947). Напротив, форма единственного числа — немаркированный член грамматического противопоставления; как всякий немаркированный член, она может в различных текстовых окружениях передавать и множественность, и единичность, и безотносительность к числу; примеры общеизвестны.

Это строго стандартизованное соотношение нарушено у существительных некоторых семантических типов. В оборотах *ел ягоды* и под. существительное *ягоды* выступает в качестве немаркированного члена. Ср. *съел ягоду*, где существительное указывает на единичный предмет: форма единственного числа оказывается маркированной (И. П. Мучник, 1962).

Такое соотношение значения единственного — множественного числа очень характерно для слов типа *белогвардеец — белогвардейцы*, *кулак — кулаки*, *безбожник — безбожники*, *ударник — ударники* и т. д., т. е. для слов, характеризующих лица по их классовой позиции, по их убеждениям, общественной, политической деятельности и т. д. Примеры: *он был убит в 18-м году белогвардейцами* (не указано, что убийц было несколько человек); *в нашей деревне тоже шла борьба с кулаками* (возможно, что в деревне был всего

---

<sup>39</sup> В данном параграфе использованы некоторые примеры сотрудника ИРЯз АН СССР С. М. Кузьминой.

один кулак); *я видел, что этот плакат наши безбожники повесили* (нет утверждения, что вешало плакат несколько человек) и т. д.

Показателен грамматический контраст таких сочетаний: *его белогвардейцы убили — его белогвардеец убил; плакат безбожники повесили — плакат безбожник повесил*. Здесь слова *белогвардейцы*, *безбожники* означают или определенную множественность лиц (было несколько определенных лиц) или неопределенную множественность — единичность (не важно, был ли один человек или несколько их и кто именно).

В соотносительных предложениях слова *белогвардеец*, *безбожник* означают или единичность (действовал один человек) или резко подчеркнутую собирательность. Ср.: *с деревьев на землю лист уже падает*, где нет собирательности в значении формы *лист*. Противопоставление *лист — листья* дает обычное для большинства существительных распределение значений: *листья* — указана множественность объектов (пА); *лист* — не указано, представляет объект множество или нет (п̄А). В таких противопоставлениях форма единственного числа, естественно, не наделена грамматически подчеркнутой собирательностью. Напротив, она резко выдвинута в случаях такого типа: *его белогвардеец где-то в приволжских степях погубил* и под.

Собирательность (т. е. нерасчлененная совокупность, множество в одном), естественно, должна рассматриваться как частный случай единичности. В таком случае в противопоставлениях *белогвардеец — белогвардейцы*, *безбожник — безбожники* формы единственного числа обозначают единичность (маркированный член), а формы множественного — и множественность, и единичность (немаркированный член).

На появление такого распределения значений, возможно, повлияли формы числа у глагола. В неопределенно-личном значении формы множественного числа у глаголов указывают безразлично единичность — множественность действующих лиц: *Тебе звонили по телефону. — А кто? — Какой-то незнакомый голос*; или: *Тебе принесли вот эту открытку* и т. д. Словоизменительные формы разных частей речи взаимодействуют и оказывают давление друг на друга; такое взаимодействие возникло и здесь.

Актуализация в русской речи существительных указанной семантической группы (*безбожник*, *ударник* и т. д.), очевидно, способствовала активному распространению в советскую эпоху форм маркированного множественного числа. Было бы важно точно установить, каким типам существительных оно свойственно, насколько стабильно у них, в каких функциональных разновидностях речи распространяется и т. д.

**В18.** Грамматические значения позиционно варьируются. Ср. сочетания: *съел ягоду — ел ягоду; кулак тогда хлеб в землю спрятал — кулак тогда хлеб*

в землю прятал. Глагол совершенного вида вызывает у форм *ягоду*, *кулак* значение несобирательной единичности: предложение *кулак тогда в землю хлеб спрятал* говорит об одном лице, названном словом *кулак*.

Варьирование грамматических значений, позиционно обусловленное, может быть очень широким и различным в разных стилях. Напр., фраза *кулак тогда в землю хлеб спрятал*, возможно, только в нейтральном и строгом стиле должна оцениваться как фраза о конкретном лице; напротив, в разговорном стиле она может означать и описание действий собирательного лица-типа — кулака вообще.

Русский язык советской эпохи характеризуется напряженными и широкими стилистическими взаимовлияниями; вероятно, это взаимовлияние отражается и на варьировании словоизменительных значений.

**Г17.** Существует небольшое количество словоизменительных стилистических дублетов; например: *этой медленной походкой* — *этой медленной походкой*; первое свойственно строгому стилю, второе — нейтральному и разговорному. Но даже для книжной речи вероятно промежуточное, стилистически менее насыщенное образование: *этой медленной походкой* или *этой медленной походкою*...

Отвлеченные существительные третьего склонения могут иметь две формы творительного падежа единственного числа: *радостью* — *радостью*, *прелестью* — *прелестью*. (Ср. у Есенина: *И радостью звонкой лугов не оглашать*.) Двусложные флексии этого типа присущи строгому стилю.

В обоих указанных здесь случаях формы строгого стиля становятся в речи все более редкими. Но редкость показателей какого-либо стиля далеко не всегда говорит о стирании особенностей этого стиля, о его слиянии с нейтральным стилистическим фоном.

Возможно, что данный показатель строгого стиля становится более редким, а область его использования остается прежней (так обстоит дело с аффиксом *-ою*); тогда стилистическая окраска его бледнеет, и он постепенно становится полным синонимом флексии нейтрального стиля и поэтому вытесняется из языка.

Но возможен и другой случай. Показатель становится более редким, и сфера его использования сужается: он используется в более ограниченном кругу речевых жанров (так обстоит дело с аффиксом *-ию* в твор. пад.); тогда стилистическая окраска становится ярче, контрастнее по отношению к нейтральному стилю. Наиболее яркие выявления строгого стиля создаются именно редкостными языковыми элементами, резко приуроченными только к этому стилю, к его отдельным жанрам (ср. лексические славянизмы, морфологические образования с фузионными, т. е. с редкостными, исключительными аффиксами и т. д.)

Формы *радостью, прелестью* сейчас оттеснены в область поэтического формоупотребления и несут резкую стилистическую окраску.

**Г20.** В современном русском языке стилистически соотносительны конструкции: *много винограда — винограду, лука — луку, чая — чаю, сыра — сыру, шума — шуму, страха — страху, крика — крику, смеха — смеху...*

Есть между этими образованиями на *-а* и на *-у* также и грамматический контраст; недаром предлагалось считать их разными падежами (В. А. Богородицкий, 1912; Р. О. Якобсон, 1937). Один падеж имеет количественное значение (*принеси сахару, нам нужно табаку, стакан чаю, мало песку, много шуму, страху нет*), другой — определительное или значение принадлежности в широком смысле слова (*вкус сахара, продажа табака, любитель чая, зерна песка, глушитель шума, гнет страха*).

Наконец, эти флексии способны выражать и третий контраст — между отвлеченными и вещественными существительными. Соотношение этих трех контрастов в современном литературном языке может быть представлено такой таблицей:

Конструкции	Существительные	Разговорный стиль	Нейтральный стиль	Строгий (книжный) стиль
С количественным значением	Вещественные	1) у	2) у	3) а
	Отвлеченные	4) у	5) а	6) а
С определительным значением	Вещественные и отвлеченные	7) а	8) а	9) а

Таблица характеризует современное состояние литературного языка (Т. Г. Терехова, 1962). Еще в конце XIX — начале XX века вещественные существительные с количественным значением даже в строгом стиле (клетка 3) имели окончание *-у*; вероятно, такое же окончание было типично и для отвлеченных существительных с количественным значением в нейтральном стиле (клетка 5).

Следовательно, относительно четко осуществлялся контраст между флексиями *-у* и *-а* как контраст падежно-грамматический. Однако он уже и в ту пору перебивался контрастом стилистическим.

Все три контраста были выражены неявно, один перебивал другой; развитие шло в пользу усиления стилистических противопоставлений. Оно осуществлялось и осуществляется в виде влияния строгого стиля на нейтральный: под воздействием *-а* в 6-й клетке распространяется *-а* в формах, обозначенных 3-й клеткой таблицы; затем преобразуются формы 5-й клетки и (в незначительной степени) 2-й.

В результате этого в большинстве случаев перестают различаться два родительных падежа — они оказываются контрастными только лишь в раз-

говорном стиле. Напротив, стилистические противопоставления (разговорный стиль — неразговорные стили) приобретают резкость и последовательность.

Стилистика в этом случае использует грамматические средства, все более убывая в них грамматическое и освобождая их для чисто стилевых контрастов. Процесс этот продолжается и в настоящее время и протекает крайне противоречиво, капризно и сложно.

**Г21.** В некоторых случаях стилистическим содержанием наполняется параллелизм *инспекторы — инспектора, токари — токаря, отпуска — отпуски* и пр. Формы с *-а* ярко разговорны (и проникают в литературную речь частью из профессиональных говоров, частью из городского просторечия).

Несомненно стилистически разграничены формы сравнительной степени:

*скорей — скорее — более скоро;*

*умней — умнее — более умно;*

*веселей — веселее — более весело.*

Только в этой серии форм представлены все члены стилистической парадигмы: разговорная форма, нейтральная и форма книжного (строгого) стиля. Стилистически различаются и образования превосходной степени: *строжайший — самый строгий, умнейший — самый умный* и т. д.

В современном русском языке, в связи с распространением аналитических форм, с возрастанием их частотности, с проникновением их в разные речевые жанры, эти стилистические контрасты постепенно тускнеют, а аналитические формы сравнения медленно сдвигаются в область нейтрального стиля.

**Г22.** Стилистически окрашенными иногда бывают значения определенных словоформ. Например, использование единственного числа существительных в значении множественности характеризует разговорный стиль: *Гвоздь у нас только короткий, длинных в продаже нет; Дыня у нас уродилась в этом году хорошая* и т. д. В нейтральном стиле здесь следовало бы ожидать употребления форм множественного числа. Мнение, что использование форм единственного числа в собирательном значении постепенно становится более редким, надо признать неточным: они постепенно приобретает все более ясную разговорную окраску и поэтому реже проникают в тексты, лишённые этой окраски. Употребление этой формы как собирательной в разговорных жанрах поддерживается профессиональной речью.

**Г23.** В целом стилистические функции словоизменительных аффиксов в русском языке нашей эпохи становятся более яркими и специализированными, к этому ведет:

- усиление грамматической синонимии некоторых аффиксов, которая дает возможность использовать однозначные дублеты для чисто стилистических противопоставлений;
- сужение сферы использования некоторых книжных вариантов флексий (а это при известных условиях усиливает окрашенность показателей книжного стиля);
- специализация некоторых форм в определенных значениях как показателей окрашенных стилей.

Однако система стилистических показателей в области словоизменения остается резко асимметричной: стилистически выразительными оказываются флексии только имен, а глагольные показатели последовательно нейтральны<sup>40</sup>. Значит, и здесь глагол обнаруживает свою контрастность по отношению к имени.

Асимметричность стилистической системы в словоизменительных формах проявляется и в том, что сравнительно многочисленны показатели разговорного стиля и очень невелико число ярких показателей строгого стиля и его подстилей (книжного, ораторского, поэтического).

**Г24.** Для русского литературного языка нашего времени характерно усиленное воздействие разговорного стиля на нейтральный; менее ярко и напряженно, но все же существенно воздействие строгих подстилей на нейтральный стиль. Такие стилистические взаимодействия свойственны лексике, словообразованию, фонетике.

В словоизменении эти процессы также протекают, но в очень ослабленной форме (см. § Г19—Г22).

Причина такой ослабленности стилевых взаимодействий в словоизменительной системе, может быть, кроется именно в асимметричности и неполноте флексийных стилевых показателей. Влияние окрашенных стилей на нейтральный означало бы превращение окрашенных показателей в стилистически неокрашенные, т. е. привело бы к уменьшению и без того незначительного числа сигналов разговорности или книжности в словоизменении.

Во всех ярусах языка идет усиление стилистических противопоставлений; при наличии устойчивой и расчлененной системы показателей разговорности — книжности этому процессу размежевания не вредит противоположная тенденция: к обострению взаимовлияния стилей. Показатели окрашенности текста, ушедшие в нейтральный стиль, замещаются при этом новыми показателями.

---

<sup>40</sup> Противопоставления *состареются — состарятся, выздоровеют — выздоровят, опротивеют — опротивят* (где образования с интерфиксом *-эj-* более книжны) очень слабы и маловыразительны.

Иное дело в словоизменении: резервы новых стилистических показателей здесь крайне ограничены (ввиду строгой замкнутости словоизменительной системы). Потеря некоторых стилистических показателей в результате их перехода в нейтральный стиль привела бы к тому, что словоизменение, резко контрастируя с другими ярусами языка, оказалось бы стилистически обескровленным, лишенным стилистических красок.

Итак, столкнулись две тенденции. Одна, вызванная социальными условиями существования русского языка, усиливала влияние разговорного (и книжного) стиля на нейтральный. Другая, внутриязыковая, вела словоизменение, подобно другим ярусам языка, к углублению стилистических размежеваний. Господствующей оказалась внутриязыковая тенденция.

**Д25.** В словоизменительной системе русского языка ряд процессов связан с продуктивностью и непродуктивностью моделей.

Понятие синхронной продуктивности в приложении к словоизменению имеет свои важные особенности. Для продуктивности в словообразовании, как уже говорилось, важна однотипность в соотношениях производной и производящей единицы<sup>41</sup>. Например, образования *разбрасыватель*, *излучатель*, *копнитель* продуктивны, так как у всех этих образований: а) есть соотношение с однотипными образованиями менее сложного морфологического строения — *разбрасыва-ть*, *излуча-ть*, *копни-ть*, (где *-ть* — флексия, способная заменяться рядом других глагольных флексий); б) семантическое отличие между производящей единицей и производной одинаково (указание на действие — указание на предмет, определяемый по характерному для него действию); в) фонетический облик присоединяемого элемента: *-тель* + нулевая флексия (в им. пад.) — всюду однотипен.

В словоизменительной парадигме, как правило, нет производящих и производных единиц. Определив данные образования как принадлежащие одной лексеме, мы отмечаем, что они отличаются только аффиксами типа N<sup>b</sup>, т. е. указываем на их стандартные, однотипные для всех образований данного типа семантические отношения. Следовательно, вопрос о продуктивности того или иного словообразовательного типа — это вопрос о том, насколько стандартен и насколько распространен фонетический показатель данного типа для выражения высокостандартизованных (однотипных для всей серии форм) грамматических значений. Соотношения *махать* — *машут*, *пахать* — *пашут*, *вязать* — *вяжут* и т. д. встречаются у небольшой группы слов; соотношения *играть* — *играют*, *страдать* — *страдают*, *купать* — *купают* свойственны огромному количеству слов; эти количественные соотношения и

---

<sup>41</sup> Производящая единица — менее сложна по составу, производная — более сложна. См. выше (раздел «Словообразование», § В13).



имеют решающее значение для определения продуктивности словоизменительных типов (причем синхронная продуктивность здесь гораздо непосредственнее определяет диахроническую, чем в словообразовательных моделях)<sup>42</sup>.

Анализ других случаев борьбы синонимических словоизменительных моделей подтверждает, что их судьба зависела от их синхронической продуктивности.

**Д26.** В 20-е годы, в начале 30-х многие малопродуктивные словоизменительные модели стали преобразовываться по типу продуктивных; ср. распространение в разговорной речи (в том числе и в письменном ее отражении) форм *сколько время, горит без пламя* и т. д.; *махает, пахает* и т. д.

Большинство этих «новообразований» не упрочилось в языке; в 30—50-е годы, когда усилилась борьба за строгую нормативность речи, они были изгнаны из литературного употребления.

Здесь столкнулись две тенденции языкового развития. Одна направлена на изгнание из языка всяких исключений, малочисленных групп словоформ, противостоящих массовым типам словоизменения. Действие этой тенденции было облегчено социальными условиями бытования русского литературного языка.

Расширение социальной базы, демократизация русской литературной речи, передача литературных речевых навыков не по узкосемейным традициям, а более широкими путями — все это способствовало отказу от многих словоизменительных идиом, отказу иногда сознательному, но чаще — неосознанному.

Но существует и другая тенденция, свойственная развитию именно литературного языка: стремление к стабилизации, упрочению традиционных норм. И чем дальше идет развитие литературного языка, тем больше в нем накапливается культурных ценностей, тем сильнее стремление сохранить неизменными нормы языка. Эта тенденция объективно оправдана особыми функциями литературного языка — быть связующим средством между поколениями, быть формой национальной культуры.

Неслучайно, что вместе с ростом общей культуры того коллектива, который активно усваивал литературные языковые нормы (отказываясь от диалектных и просторечных), росло стремление овладеть этими нормами во всей их полноте, в том их воплощении, которое представлено трудами крупнейших деятелей русской демократической культуры.

<sup>42</sup> Если говорить точнее, имеет значение не только число отдельных образований такого-то типа, словарно засвидетельствованных; существенна и частотность каждой единицы. Достаточно четкое представление о продуктивности данного словоизменительного типа дает подсчет в тексте частотности его по сравнению с частотностью соотносительного типа словоизменения.

Неслучайно и то, что словоизменение — строго замкнутая система, испытывает большее влияние этой второй тенденции (оберегающей историческую стабильность литературного языка), чем словообразование — система, гораздо менее замкнутая.

**Е27.** Словоформы в пределах парадигм отличаются не только аффиксами, но и а) размещением ударения; б) чередованием фонем в корне.

Сопоставление славянских языков позволяет, кажется, сделать такой вывод: в тех языках, где ударение не может быть использовано как грамматическое средство, сильно развито чередование фонем в грамматической роли — как средство подчеркнуть флексии и выделить их; и наоборот: широкое использование в морфологии ударения ограничивает использование чередования фонем (И. А. Бодуэн де Куртенэ, 1912). Это наблюдение важно и для изучения в русском языке соотношения ударения и чередования фонем внутри отдельных частей речи.

И ударение, и чередование фонем (морфологические диэремы) — суперсегментные грамматические показатели; в русском языке они обычно выступают в роли дополнительного (несамостоятельного) грамматического средства. Очевидно, между этими родственными показателями вполне возможно соперничество, отношения взаимоограничения и взаимовытеснения.

У существительных в современном русском языке морфологические чередования встречаются сравнительно редко (*друг — друзья; сон — сна; замок — замка...*). Разноместное ударение у существительных оказывается диахронически продуктивным: различия по ударению все более становятся дополнительным средством противопоставления форм единственного и множественного числа (Н. С. Поспелов, 1952). Точно так же у кратких прилагательных продуктивны формы множественного числа, противопоставленные по ударению формам единственного числа мужского и женского рода. Следовательно, и существительное, и прилагательное подчиняются общим тенденциям развития суперсегментных морфологических показателей (А. Б. Шапино, 1948).

У глаголов чередование фонем присуще огромному числу лексических единиц. Вероятно, с этим связана тенденция упрочить систему неподвижного ударения на основе этих образований, выключить ударение из числа продуктивных глагольных грамматических различий.

**Ж28.** Как видно из сказанного, наиболее существенным для словоизменения было развитие разнообразных форм аналитизма. Остальные процессы (стилистическое взаимодействие, распространение одних грамматических значений под влиянием других и т. д.) имели ограниченный характер и затрагивали немногие единицы.

Развитие аналитизма тоже затрагивало отдельные частные участки системы, но этих частностей было сравнительно много, они были вовлечены в единое русло, отвечали общей тенденции: усилению аналитических форм в языке. Это движение затрагивало только имена. В качестве противодвижения возникало семантическое усложнение флексий глагола, усиление их деривационной функции.

Усиление аналитизма, пока еще незначительное, может в дальнейшем привести к значительной перестройке в грамматической системе, затронув даже такие существенные ее стороны, как соотношение частей речи, наиболее общих морфологических классов слов<sup>43</sup>.

### Синтаксис

*Содержание раздела. — А (§ 1—7). Второстепенные члены предложения. Грамматические процессы, связанные с объединением единиц в синтаксические классы (члены предложения). Различное протекание этих процессов в разных стилях. — Б (§ 8—10). Изменения в сильном и «слабом» управлении; зависимость этих преобразований от бурных изменений, характерных для лексики послереволюционной эпохи. — В (§ 11—23). Стилистические различия в области синтаксиса. Влияние синтаксически окрашенных стилей на нейтральный стиль.*

**A1.** Синтаксическое развитие простого предложения в русском языке XX века коснулось некоторых второстепенных членов, в первую очередь обстоятельств.

**A2.** Каждый член предложения имеет свое особое морфологизованное выражение; например, для определения — это прилагательное и причастие; для дополнения — это существительное и т. д. Однако члены предложения не тождественны частям речи; в сочетаниях *решил смело и без колебаний, два костюма — в клетку и темно-синий* и т. д. слова, имеющие одинаковую синтаксическую функцию, выражены разными морфологическими образованиями. Согласуемое слово *темно-синий* — морфологизованное выражение определения; *в клетку* присоединяется к нему с помощью союза *и*, следовательно, синтаксически равноценно, т. е. выполняет функцию определения. Разумеется, это верно и для зависимого слова в сочетании *ситец в клетку*: существенно не реальное соседство с сочетанием *и темно-синий*, а возможность такого соседства.

В сочетаниях *пишет быстро, пишет без помарок, пишет не ошибаясь* определяющие слова принадлежат к одному и тому же синтаксическому

<sup>43</sup> См. об этом подробнее: *Панов М. В.* О частях речи в русском языке // Филол. науки. 1960. № 4. С. 3—14.

классу, так как возможны сочетания *пишет быстро и без помарок, пишет быстро и не ошибаясь*. Союзы *и, но, да, или* — грамматические показатели причастности слов разного морфологического оформления к одному члену предложения (Р. И. Аванесов, 1936)<sup>44</sup>.

**А3.** Описание реальных группировок членов предложения в русском языке еще не сделано. Например, инфинитив в разных функциях обычно подравнивается то к подлежащему, то к дополнению, то к обстоятельству, хотя не сочетается сочинительной связью с морфологизованными выражениями этих членов. Следовательно, синтаксически он стоит изолированно и не входит в классы подлежащих, дополнений, обстоятельств (Д. Н. Шмелев, 1961).

Классификация членов предложения должна исходить из того, какие единицы в каждой синтаксической позиции могут объединяться сочинительными союзами и какие находятся за пределами данного объединения, образуя свой особый класс (особый член предложения). Когда такие классы будут намечены для каждой позиции — приглагольной, присубстантивной и т. д., то окажется возможным сопоставление классов в разных позициях и их сведение в общезыковую систему. Нет сомнения, что эти языковые синтаксические классы во многих случаях совпадут с традиционными членами предложения, но вряд ли во всех.

Традиционное разграничение членов предложения, однако, в известной степени отражает объективное строение синтаксических единиц: именно его и приходится принять в качестве исходного.

Определение — это зависимый синтаксический член, выраженный прилагательным<sup>45</sup> или такими словоформами, которые в данной синтаксической единице (предложении) могут соединяться сочинительными союзами с прилагательным.

Обстоятельство — это зависимый синтаксический член, не являющийся определением<sup>46</sup>, который выражен наречиями или словоформами, способными сочетаться (в данной синтагме) с наречиями при помощи сочинительных союзов.

---

<sup>44</sup> Сочинительные конструкции необходимо отличать от конструкций присоединительных; ср. *уезжаю на каникулы, и к родным, и в деревню!* Такие присоединительные конструкции (где союз *и* синонимичен союзу *и притом*) сопровождаются особой, очень определенной интонацией.

<sup>45</sup> В том числе числительными прилагательными (*второй, сотый*) и местоименными прилагательными (*мой, тот*), а также причастиями («глагольными прилагательными»).

<sup>46</sup> Это замечание важно при анализе таких сочетаний, как *яйца вкрутую, связь впритык* и т. д.

Дополнение — это член предложения, не являющийся определением и обстоятельством, который выражается косвенным падежом существительного.

Во всех сочетаниях инфинитив является особым членом предложения; отождествление его с определением, обстоятельством и дополнением носит неграмматический характер.

Следовательно, в сочетаниях *возражения брата, ответ без тени самодовольства, яйца вкрутую* зависимые члены являются определениями, так как возможны такие сочетания: *это возражения мои, а не брата; ответ уверенный, но без тени самодовольства; яйца сырые и вкрутую*.

**A4.** Какие морфологические образования могут объединяться в пределах одного члена предложения — это вопрос о том, какие морфологические образования могут объединяться в предложении сочинительными союзами.

Способность к такому объединению исторически изменчива. Изменчиво и соотношение в речевом потоке сочетаний, в которых сочинительной связью объединены однотипные, морфологизованные члены предложения (*большой и сильный, быстро и умело, для брата и товарища*), и сочетаний, где объединены морфологически разнотипные образования (*сильный и крутого нрава, быстро и без ошибок*).

Все более частотными оказываются неморфологизованные определения и обстоятельства; учащаются случаи, когда в пределах сочинительной синтаксической единицы объединяются морфологически разнородные словоформы.

Объединение союзами *и, но, или...* морфологически однородных членов — случай предельно-полного выражения паратаксиса. Сочетания же типа *сильный и крутого нрава, быстро и без ошибок* уже имеют синтаксическую перспективу, не находясь совершенно в одной плоскости: синтаксическое преобразование существительных в слова, однородные с прилагательными, не смогло преодолеть полностью предметность этих слов — оттенки «дополнительности» остаются.

Распространение описанных выше сочетаний, однородных синтаксически и неоднородных морфологически, — это частный случай возобладания конструкций, имеющих синтаксическую перспективу, над абсолютно паратактическими.

**A5.** Синтаксические классы, называемые членами предложения, сами исторически подвижны и активны.

В значительной степени справедливо, что члены предложения — это классы не только синтаксические, но и лексико-синтаксические (А. Б. Шапири, 1957). С синтаксической стороны, казалось бы, между сочетаниями *быстро ехал, вчера ехал, далеко ехал* нет разницы, так же как синтаксически то-

ждественны зависимые слова в сочетаниях *быстрая езда, вчерашняя езда и дальняя езда* (А. Б. Шапиро, 1958). Но сочинительные объединения типа *ехал вчера и быстро* не реальны; мешает лексическая разница в значениях наречий.

Определения же могут объединяться в сочинительные сочетания независимо от разного лексического значения отдельных прилагательных. Ср.: а) *ездили вчера и в прошлом году; вчерашняя и прошлогодняя поездки*. Здесь семантически однородные обстоятельства так же допускают объединение сочинительной связью, как и соотносительные с ними определения; б) (*ездили вчера и за границу*) — *вчерашняя и заграничная поездки...*; (*ездили по служебным делам и на Дальний Восток...*) — *служебная и дальневосточная поездки...* Здесь возможными оказались сочинительные сочетания определений, но не обстоятельств, хотя обстоятельства семантически соотносительны с определениями.

Имеет значение, очевидно, возможность избрать форму множественного числа существительных: она покажет, что имеются в виду качества разных сопоставимых и однородных объектов. Характерно, что сочетания типа *вчерашняя и быстрая езда* невозможны, так как слово *езда* лишено форм мн. числа<sup>47</sup>.

Напротив, глагольные формы мн. числа показывают не раздельность (множественность) действий, а множественность действующих лиц; поэтому словосочетание *ездили вчера и за границу* описывает одно действие, но с разных, не связанных друг с другом точек зрения — отсюда непривычность союза *и* между такими обстоятельствами. Есть и другие причины, объясняющие, почему возможно сочинительное объединение любых двух прилагательных, но не любых двух наречий.

**А6.** В результате этого класс определений синтаксически един и целостен. «Наиболее глубоко и всесторонне развиваются процессы обобщения в системе определительных или атрибутивных конструкций. Поэтому подведение всего многообразия связей этого типа под категорию „определения“ меньше всего вызывает затруднений и даже возражений» (В. В. Виноградов, 1954).

Класс же обстоятельств, разобщенный невозможностью соединить сочинительной связью семантически различные лексемы, остается синтаксически недостаточно обобщенным, недостаточно грамматически единым.

Но в современном русском языке сильны тенденции к преодолению этой раздвоенности. Путь к этому один: усиление грамматически-отвлеченного в обстоятельственных членах предложения за счет лексически-разнородного.

---

<sup>47</sup> Однако возможны сочетания типа *вчерашняя и заграничная поездка — обе мне одинаково понравились*, так как у существительных, имеющих формы и ед. и мн. числа, ед. число (немаркированный член) способно обозначать множественность.

Все наречия делятся на две группы: обстоятельственные и качественные. К последним относятся наречия меры и образа действия. Различие между этими двумя группами идет по многим линиям; синтаксически существенно, что качественные наречия способны вступать в сочинительные связи с различными обстоятельственными наречиями, усиливая их качественные оттенки; ср.: *поездка вовсе не была нам в тягость: ехали домой и налегке*; или: *работали дружно, а ведь в этих местах работать зимой и без устали — не всякому под силу*, и т. д. (напротив, разнородные обстоятельственные наречия друг с другом не сочетаются сочинительной связью). Поскольку морфологизованное обстоятельство — наречие — допускает сочетания типа *домой и налегке, зимой и без устали*, постольку и соотносительные неморфологизованные обстоятельства их допускают, ср.: *было весело — ехали на дачу и с подругами; в горы отправились сразу после грозы и без провожатого* и т. д.<sup>48</sup>

Распространение таких конструкций может способствовать сплочению, слиянию в синтаксически единое целое класса обстоятельств. Насколько интенсивны эти процессы в современном русском языке, могли бы показать статистические подсчеты сочинительных единств разного типа: «обстоятельство времени + обстоятельство времени» contra, «обстоятельство времени + обстоятельство образа действия» и под.

**А7.** Распространение сочетаний, в которых сочинительно объединяются разные морфологические образования или семантически неоднородные конструкции (например, временные и качественные обстоятельственные слова), неодинаково в различных стилях.

Такие сочетания особенно характерны для книжного стиля. В разговорном стиле слишком сильны устремления к автоматизации речи, к повторности языкового материала, к его синтагматическому выравниванию. Важно и то, что в разговорном стиле существует множество регулярных словообразовательных моделей, позволяющих свободно строить морфологически однородные сочинительные сочетания. Ср. *вал работает без перегрузки и без накали* (разг.) — ... *без перегрузки и не накаливаясь* (книжн., нейтр.); *все придумано по-деловому и по-современному* (разг.) — ... *по-деловому и в духе современности* (книжн.).

С другой стороны, качественные оттенки у наречий, как более отвлеченные, часто бывают усилены именно в книжной речи; они осложняют даже и некачественные наречия, делая их способными соединяться с наречиями ме-

<sup>48</sup> В некоторых случаях эти сочинительные конструкции возникают в результате замещения присоединительной интонации сочинительной; такая переинтеграция подобных сочетаний характерна для разговорной речи.

ры и образа действия. Такие соединения, в свою очередь, подчеркивают и поддерживают эти качественные значения<sup>49</sup>.

**Б8.** Глагольное управление<sup>50</sup> может охватывать такие случаи:

а) Глаголы расчленены на семантические классы; все лексемы, принадлежащие к данному семантическому классу, требуют дополнения в одном и том же падеже; в другом классе дополнение стоит в другом падеже, и он тоже обязателен для всех глаголов этого класса. В этом случае выбор падежа мотивирован семантикой глагола (или: принадлежностью глагола к определенному семантическому классу).

б) Существует ряд глаголов одного и того же семантического класса, но каждый из них требует дополнения в своем особом падеже. Если классифицировать глаголы по тому, какого падежа они требуют, то внутри каждого такого класса не окажется семантического единства. В этом случае падежная форма не мотивирована семантикой глагола, она фразеологизована, лишена своего особого значения. В таких случаях, как *заслужить что, заслуживать чего; препятствовать чему, тормозить что; поражаться чем, удивляться чему; презирать кого, пренебрегать кем* и т. д., выбор падежной формы фразеологизован; грамматическое значение дополнения везде одно и то же — объект, наличие которого делает возможным данное действие. Сопоставление с другими языками легко обнаруживает условность выбора падежа в таких случаях.

в) Возможен случай, когда определенная падежная форма в своем стабильном значении присоединяется ко всем глаголам, но эта связь уже выходит за пределы управления (см. выше его определение) и является примыканием.

Случаи «а» и «б» обычно называют сильным управлением; случай «в» условно назван слабым управлением.

В современном русском языке значение объекта, наличие которого делает возможным данное действие, выражено по типу «а» и «б», т. е. его выражение в той или иной степени фразеологично или позиционно обусловлено (причем тем более фразеологично, чем менее позиционно обусловлено). Грамматическое значение этого зависимого члена (объект, без которого реализация действия невозможна) обуславливает его неизбежность в контексте.

---

<sup>49</sup> Таким образом, качественные оттенки усиливаются в современном русском языке и у наречий, и у прилагательных, но у прилагательных — морфологическим путем (см. выше раздел «Словоизменение», § 25), а у наречий — лексико-синтаксическим.

<sup>50</sup> Согласование основано на том, что мена флексий у главного слова вызывает мену флексий у зависимого (а меняется ли основа главного слова — не существенно). Управление основано на том, что мена основы у главного слова вызывает мену флексий у зависимого (а меняется ли флексия у главного слова — не существенно). Разумеется, мена основ у главного слова означает замещение одной лексемы другой.



Таким образом, в русском языке сильно управляемый член, т. е. член с фразеологизированным значением падежной формы, — всегда неизбежный спутник глагола, вызывающего эту фразеологизацию. Почти все другие падежные значения передаются слабым управлением (т. е. осуществляются отношения типа «в», иногда осложненные отношениями типа «а»).

**Б9.** Типы слабого управления в современном русском языке непрерывно обогащаются и в речевом потоке становятся все более частыми. Таким образом, число различных морфологических единиц, возможных при глаголах любого семантико-грамматического типа, возрастает.

В области сильного управления заметны тенденции усилить отношения типа «а» за счет отношений типа «б», т. е. уменьшить фразеологичность связей, усилив их позиционную мотивированность. Ср., например, распространение выражений: *потребность чего* (под влиянием *жажда чего*), *удостоить чем* (под влиянием *наградить чем*), *смириться с чем* (под влиянием *примириться с чем*) и т. д. Следовательно, слова одного семантического класса стремятся объединиться одним типом связи с подчиненным (управляемым) словом. При этом обнаруживается влияние одних грамматических конструкций на другие; например, глагольных на именные; это особенно характерно для книжных (деловых, газетно-публицистических) стилей. Возникают сложные взаимодействия и противодействия разных принципов унификации связей управления: действуют силы выравнивания в группах семантически однородных слов, в грамматических классах, в словообразовательно связанных лексемах. Однако всякие новации в управлении обычно встречают сильное сопротивление традиции. Все же они достаточно широко распространяются в разговорной речи, а некоторые из них проникают и в частные разновидности строгого стиля (например, в газетно-публицистическую речь).

**Б10.** Развитие слабого управления связано с ростом предложно-падежных конструкций, передающих обстоятельственные и определительные значения. Идет обостренное синонимическое соперничество этих конструкций, их смысловое и стилистическое размежевание. Продуктивность одних предложно-падежных образований усиливается (т. е. перестает сдерживаться конкурирующими конструкциями), продуктивность других падает. Например, в причинном значении используются конструкции с предлогом *от* — они наиболее продуктивны; менее продуктивны конструкции с предлогами *с*, *из-за*; непродуктивны сочетания с предлогом *из* в этом значении (В. П. Сухотин, 1960).

Процессы эти частично связаны с бурным развитием лексики в нашу эпоху: развитие новых значений у слов стимулирует появление новых предложно-падежных сочетаний, распространение данной предложно-падежной модели на целую группу слов, претерпевающих однотипные семантические изменения.

**В11.** Стилистические разграничения в синтаксисе резки и глубоки; они особенно обострились и усилились в нашу эпоху. Некоторые из них уже были упомянуты при описании изменений в синтаксических классах слов, в типах управления. Необходим более подробный перечень особенностей синтаксических стилей и их взаимодействий.

Разговорный стиль<sup>51</sup> все более обособляется от нейтрального (и тем более — от строгого). Конечно, любое высказывание, оформленное по синтаксическим моделям разговорного стиля, может быть пересказано и в нейтральном стиле, но вряд ли верно считать, что разговорные синтаксические модели — это сокращение или упрощение моделей нейтрального стиля. Во многих случаях синтаксические единицы имеют свои принципы построения, свою особую модель. В некоторых случаях они обособливаются от системы нейтрального стиля, и ряд синтаксических значений, передаваемых разговорными синтаксическими моделями, оказывается синтаксически непередаваемым в других стилях; это касается, например, ряда модальных, субъективных и объективных, оттенков (Н. Ю. Шведова, 1960).

Характерно, что подобное соотношение налицо и между нейтральной синтаксической системой литературного языка и синтаксисом говоров: «Непротивопоставленные различия являются особенностью синтаксического строя русских говоров, отличающей его от строя фонетического и морфологического. При помощи конструкций, образующих непротивопоставленные различия, в говорах иногда могут быть выражены такие оттенки значения, которые не передаются никакими другими конструкциями в других говорах или в литературном языке» (И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, 1962).

Очевидно, в самой сущности синтаксической системы заложена возможность более далекого расхождения между моделями разных говоров или разных стилей.

**В12.** Для русского языка нашей эпохи характерно, с одной стороны, резко возросшее обособление синтаксиса разговорной речи от синтаксиса речи стилистически нейтральной и строгой, с другой стороны — особо энергичное

---

<sup>51</sup> Когда говорят о разговорном синтаксисе, то обычно имеют в виду противопоставление: устная речь — письменная речь; разговорное отождествляют с устным. Это разграничение в действительности является вторичным и производным от основного: стиль разговорный — стили нейтральный и книжный. Но разговорный стиль чаще всего воплощается в устной речи (хотя и не только в ней), а книжный — в письменной речи (однако не всегда именно в ней). Поэтому противопоставление устная — письменная речь можно использовать, с известными поправками, для характеристики стилевых контрастов.

влияние разговорного синтаксиса на нейтральный и книжный. Эти две противоречивые тенденции, однако, не уравнивают друг друга.

В 20-е годы, когда значение литературной нормы было ослаблено, должно было бы усилиться влияние разговорного синтаксиса на книжный. В массовых масштабах этого, однако, не случилось; причины неясны, и их следует изучить. Тем не менее влияние разговорного стиля на нейтральный в синтаксическом ярусе все же было очень значительным.

В 30—40-е годы, когда значение нормы было восстановлено (и отчасти гипертрофировано), путь разговорным синтаксическим нормам в нейтральную речь оказался закрытым. Поэтому, несмотря на общее усиление взаимодействия синтаксических стилей, несмотря на влияние разговорной речи на нейтральный стиль, разрыв между разговорным и разговорным синтаксисом в последние полвека увеличивался.

Отчасти это, может быть, обусловлено внутренними законами развития языка. Но значительную роль сыграли и общественные условия развития литературного языка нашей эпохи. Разговорная речь получила особое значение в связи с демократизацией русского языка; усилилось влияние диалектов на литературный язык. Это создавало особо благоприятные условия для использования многих синтаксических явлений, ранее существовавших в диалектах, в пограничной области между литературной речью и просторечием, для стилистических целей.

Ниже перечисляются некоторые особенности разговорного синтаксиса, которые так или иначе оказывали влияние на синтаксис нейтрального и книжного стиля, иногда не без содействия диалектной речи.

**В13.** Так называемое актуальное членение предложения осуществляется с помощью порядка слов и интонационных средств. Его активная, контрастная, преобразующая роль по отношению к грамматическому членению предложений особенно очевидна в разговорном стиле; это было неоднократно указано в синтаксических работах, в частности, и по отношению к русскому языку (А. М. Пешковский, 1912; И. П. Распопов, 1961). Напротив, в «наиболее объективной сфере языка», например, в научных, книжных стилях, обычным является соответствие между тем, что сейчас называют актуальным членением предложения, и его грамматической расчлененностью (А. М. Пешковский, 1922).

Влияние разговорной речи на книжные ее разновидности, возможно, сделало это строгое соответствие в нашу эпоху менее обязательным, менее обычным и для книжных стилей.

В разговорной же речи актуальная расчлененность предложения достигла особенной резкости, она уже не только накладывается на грамматическую

структуру предложения, используя неграмматические показатели, — в разговорной речи актуальное членение предложения часто преобразует его грамматические связи. Тема и рема предложения в разговорной речи стремятся и грамматически обособиться и выделиться в два синтаксических сегмента (объединенных и разграниченных интонационными средствами).

Распространены так называемые предложения с существительного-местоименной конструкцией. Это предложения, в которых имя существительное, стоящее в начале предложения, затем повторяется в качестве местоимения; на существительном (выступающем как тема предложения) интонация значительно повышается; пауза отделяет его от ремы. «Говорящий сначала называет предмет, которому намерен приписать то или иное действие или признак..., как бы только показывает предмет слушателю, а уже затем высказывает полностью свою мысль, заменяя название предмета местоимением» (А. Б. Шапиро, 1953).

В эту конструкцию, в качестве темы (основы предложения) втягиваются не только формы им. падежа, но и формы косвенных падежей: *В других местах — там такой ягоды не увидишь...* и пр.

Типы таких существительного-местоименных конструкций многообразны; они широко распространены в разговорных стилях литературного языка. Отчасти это, вероятно, связано с говорами, в которых такие построения очень употребительны; они распространены едва ли не на всей русской диалектной территории.

Расчленение на тему и рему как на отдельные синтаксические сегменты может и не сопровождаться повторением местоимения: — *Никитские ворота, это — следующая!* или: — *«Английская новелла» — у вас уже прошло?* (обращение к продавцу книжного магазина) и т. д.

Изучение типов таких предложений, их распространенности, их функциональных особенностей, влияния таких конструкций на публицистическую речь, преобразования их в риторических и книжных стилях — все это, несомненно, позволит определить важные закономерности в развитии русского синтаксиса нашей эпохи.

**В14.** В разговорной речи более значительна общая расчлененность предложения, чем в других функциональных разновидностях русского языка. Это касается не только усиления границы между темой и ремой, но и членения внутри каждой из этих групп. Разговорный синтаксис часто преобразует связь подчинения в связь присоединения; углубляются паузы между членами подчинительного словосочетания, усиливаются второстепенные ударения и т. д. Отдельные отрезки темы или ремы получают большую законченность; они становятся как бы отдельными предложениями — это, естественно, сни-

жает значение «большого» предложения как грамматического единства (А. Б. Шапиро, 1953). Конструкции, которые в нормах нейтрального стиля должны были бы оцениваться как предложения с однородными членами, в разговорном стиле часто имеют глубокие, удлиненные паузы, и это превращает такие конструкции в ряд неполных однородных предложений (А. Б. Шапиро, 1953). Все эти явления хорошо известны в говорах; можно думать, что и здесь диалектное влияние способствовало их распространению в разговорной речи.

**В15.** Интонационная расчлененность предложения, характерная для разговорного стиля литературного языка и для диалектной речи, иногда позволяет простое предложение рассматривать как эквивалент сложноподчиненного предложения нейтрального стиля.

«Есть существенная разница между внутренними взаимоотношениями словесных групп, если сказать: *К нашему берегу не привалит хорошее дерево* без паузы внутри предложения и с одним фразовым ударением и если сказать: *К нашему берегу / не привалит хорошее дерево* с паузой на месте вертикальной черты и с двумя фразовыми ударениями (на словах *нашему* и *привалит*). Во втором случае получается примерно следующее: „*Если говорить о нашем берегу (или что касается нашего берега...), то к нему не привалит хорошее дерево*“. В предложении *Ты / никогда этого не поймешь* пауза после *ты* и два фразовых ударения (на словах *ты* и *никогда*) создают примерно такое взаимоотношение: „*Если говорить о тебе (или что касается тебя), то ты никогда этого не поймешь*“» (А. Б. Шапиро, 1953). Таким образом, необходимость в сложноподчиненных предложениях разговорная речь испытывает в значительно меньшей степени, чем иные стили. Отсюда, очевидно, и меньшая расчлененность, дифференцированность придаточных предложений в разговорной речи по сравнению с книжной (А. Б. Шапиро, 1953).

Напротив, различные виды присоединительной связи, как уже говорилось, развиты в разговорной речи очень значительно; они оказывают сильное влияние и на другие стили литературного языка.

**В16.** Разговорная речь часто строится как цепь реплик; при этом последующая реплика зависит от предыдущей, «порождена» ею в некоторых существенных особенностях своего строения. В такой диалогической форме особенно резко проявляются законы разговорного синтаксиса. Например, характерно повторение части предыдущей реплики: — *А на выставке уже побывал?* — *На выставке? Нет, не успел*, или: — *Петров к вам заходил?* — *Петров? Нет, не видел его*. Такой «повтор — общенародное явление русской диалогической речи, и нужно сказать, что непринужденный разговор почти

всегда включает в себя повторы как конструктивный элемент диалога» (Н. Ю. Шведова, 1960). Здесь проявляется (в особой форме) резкое членение сообщения на тему и рему: обычно тема отражена в виде повтора-вопроса, а за ним следует рема. Такое членение — характерная черта разговорной речи; об этом уже говорилось. Еще более резко здесь выступает другая особенность разговорной речи: стремление к стабилизации построений, к использованию в реплике готового речевого материала, к шаблонизации речи, отсюда — склонность разговорной речи к лексическому и морфологическому параллелизму в двух связанных между собой репликах, в сложносочиненных предложениях и т. д. Этот принцип построения единиц сообщения характеризует и литературный разговорный синтаксис, и синтаксис говоров (А. Б. Шапиро, 1953). Вероятно, распространение этих конструкций в литературном разговорном стиле было поддержано и усилено диалектным влиянием.

**В17.** В разговорном синтаксисе грамматически выражаются такие значения, которые в других стилях могут быть выражены только лексически. Средствами их выявления служат многочисленные частицы, модальные слова и т. д.

Система таких значений достаточно интенсивно развивается и дифференцируется. Разговорной речи свойственно широкое использование «связанных» грамматических значений, т. е. таких, которые появляются только в соседстве, в синтагматической связи с другими определенными значениями. Так, формы будущего времени глаголов совершенного вида могут использоваться в значении прошедшего времени только в соседстве с глагольными формами прошедшего времени. Такие «связанные» грамматические значения обусловлены контекстуально, «позиционно» (Д. Н. Шмелев, 1961). Они особенно характерны для разговорной речи и интенсивно в ней распространяются.

**В18.** Предложение одного и того же «материального состава» может оцениваться в книжном (и нейтральном) стиле как неполное, и как полное — в разговорном стиле. Это объясняется тем, что в одном случае оно будет проектироваться на соотносительный и более частотный тип предложения с развернутым составом и оцениваться по сравнению с этим типом как его редукция; в другом случае оно само оказывается наиболее частотным и явится фоном, основой для синтаксической оценки. Например, предложение *Отец дома* в разговорном стиле оценивается как полное; в книжных стилях оно окажется неполным на фоне более обычной конструкции *Отец находится дома* (И. А. Попова, 1957).

Распространение неполных конструкций в нейтральном и книжном (строгом) стилях и превращение таких конструкций в полные — в результате вытеснения других, более расчлененных конструкций — очень часто означа-

ет замену связей согласования, аффиксального соединения связями простого соположения слов (см. приведенный выше пример).

**В19.** Разговорная речь строится на использовании большого количества ритмико-мелодических приемов, образующих многостепенную и сложную систему противопоставлений. Давно известно, что служебные слова и интонация, выполняя однородные синтаксические функции, находятся, как синонимы, в отношениях конкуренции: усиление одного грамматического средства вызывает редукцию другого; ср. взаимоотношение вопросительных частиц и вопросительной интонации (А. М. Пешковский, 1928).

Поэтому вполне понятно стремление разговорного синтаксиса к бессоюзным связям там, где неразговорная речь (т. е. нейтральный и строгий стили) предпочитает использование союзов. Эта особенность опять-таки роднит разговорный синтаксис с диалектным (А. Б. Шапиро, 1953).

Порядок слов, суперсегментный синтаксический показатель, естественно, взаимодействует с другими суперсегментными показателями, в частности — с интонацией. Формы этого взаимодействия и их развитие в наше время подлежат исследованию.

**В20.** Строгим, книжным стилям синтаксиса свойственны такие черты: развитие и дифференциация форм подчинительной связи, все более широкое использование обособленных оборотов, модальных слов и т. д., возрастающая частотность сложных членов предложения и сложных предложений, втягивание в синтаксически-однородные конструкции все более разнообразных морфологических единиц.

**В21.** В русском литературном языке XIX века главными тенденциями развития сложноподчиненного предложения было, во-первых, стремление к наиболее тесному объединению частей и, во-вторых, тенденция к дифференциации структурных моделей (Н. С. Пospelов, 1961). Тенденции эти, особенно сильные в строгом, книжном стиле речи и характерные для него, очевидно, имели свое продолжение и в XX веке.

Одно из важнейших проявлений этих тенденций — развитие сложноподчиненных предложений. В XIX веке развивались так называемые двучленные типы сложных предложений, они все более четко отделялись от одночленных; это было характерно, например, для сложноподчиненных предложений с придаточным определительным (Н. С. Пospelов, 1961). Двусоставные сложноподчиненные предложения соотносительны со сложными предложениями, которые организованы сочинительной или присоединительной связью: *Сергея Николаевича, который готов был уже покинуть наше общество, в дверях оста-*

*новили и уговорили вернуться = Сергей Николаевич готов был уже покинуть наше общество, но в дверях его...; Отряд поехал к берегу реки, которая медленно и холодно несла свои воды = Отряд подъехал к берегу реки; она...* (ср. одночленное предложение: *Отряд подъехал к берегу реки, которая была указана в его маршрутной карте*). Распространение двучленных сложноподчиненных предложений, как особый исторический процесс в грамматике, может быть связан только с ограничением употребления предложений сочинительных и присоединительных<sup>52</sup>. Это характерно для развития строгих, книжных типов литературного языка: связи сочинения и примыкания преобразуются в связи подчинения. В разговорном стиле, напротив, связи подчинения преобразуются в связи сочинительные и присоединительные (см. выше, § В14—В15).

**В22.** Различия в развитии строгого и разговорного стилей, кажется, можно выразить формулой: строгому стилю свойственны устремления к слиянию и синтезу синтагматических единиц, а разговорному — к разделению и расчлененности их. И то и другое движение приводит к синтагматическому усложнению единиц. Вместе с тем возрастает и количество единиц, противопоставленных в одной и той же позиции (например, число приглагольных слабоуправляемых предложно-падежных конструкций различных типов).

**В23.** Нейтральный стиль в XX веке испытывал значительное влияние разговорного стиля, известное влияние оказывал на него и строгий стиль. Возможно, что разговорный стиль влиял на одни элементы синтаксической структуры в нейтральном стиле, а строгий — на другие.

Например, синтаксические связи между сказуемым и подлежащим, между сказуемым и обстоятельством все более превращаются в это время в соположение; морфологическое наполнение обстоятельственного члена предложения становится все более разнообразным и свободно варьирующимся. Вероятно, в обострении этого процесса, характерного для нейтрального стиля, повинно влияние разговорного стиля. Дифференциация, синтаксическое усложнение определений вызвано (или усилено) в нейтральном стиле влиянием книжных стилей.

---

<sup>52</sup> Было бы неверно думать, что распространение двучленных предложений происходит за счет вытеснения одночленных предложений того же типа (напр., определительного). Одночленные предложения невозможно переоплотить, «переоформить» в двучленные. Невозможность же трансформации говорит о том, что возрастание частотности употребления у одной конструкции (по сравнению с другой) обусловлено неграмматическими и нестилистическими причинами (например, большей общественной актуальностью тех значений, которые выражают только один из данных типов). В данном случае нет основания предполагать действие таких причин.



Этими предположениями, очень общими и недостаточно обоснованными материалом, и приходится закончить раздел проспекта о синтаксисе.

### Фонетика

*Содержание раздела.* — А (§ 1—17). Основные преобразования в системе гласных и согласных. — Б (§ 18—26). Стилистические взаимовлияния в области фонетики. Роль сценической орфоэпии в распространении произносительных норм. — В (§ 27—28). Влияние на орфоэпические нормы путей усвоения литературного языка. — Г (§ 29—31). Стирание локальных и социальных различий в литературном произношении.

**А1.** В фонетической системе русского языка (и многих других славянских языков) длительно и непрерывно действует тенденция к упрощению системы гласных и к усложнению консонантной системы (И. А. Бодуэн де Куртенэ, 1922). Эта тенденция ярко проявлялась и в русском литературном языке XX века<sup>53</sup>.

**А2.** Система гласных различителей в XX веке во многих позициях упрощалась в результате действия редукции. С конца XIX века стало быстро распространяться йканье и сделалось господствующей нормой в литературном языке. Таким образом, в первом предударном слоге после мягких оказались противопоставленными не 3, а 2 гласных различителя.

В заударной позиции совпали в звуке [ъ] ранее различавшиеся единицы [ь] (= ⟨а, о⟩) и [ы] (= ⟨и⟩). Особенно сильно ущербность безударных гласных различителей заметна в разговорном стиле речи. Здесь в заударных слогах между мягкими согласными (или [j]) возможна редукция [у] до степени [ь]; ср. *челюсти, зреющий*<sup>54</sup>, *синюю* и т. д. Явление это, очевидно, сравнительно новое. Раньше фонетисты отмечали, что данная редукция доходит только до степени [ü] (Л. В. Щерба, 1912; Р. Кошутич, 1919).

В разговорном стиле безударные гласные редуцируются до нуля; оглушаются в соседстве с глухими согласными (в заударных только слогах; А. М. Сухотин, 1934); передают свою слоговую функцию соседним сонорным согласным и т. д. Предстоит уточнить, в каких позициях это обычно происходит и какова степень факультативности каждой из этих замен.

<sup>53</sup> Подробнее о действии этой тенденции в XVIII—XIX веках см.: *Панов М. В.* О некоторых тенденциях в развитии фонетической системы русского литературного языка // Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени. М., 1960. С. 25—31.

<sup>54</sup> Описанная редукция в суффиксе причастий, возможно, поддерживается с грамматической аналогией; ср. *строящий, стоящий* (от *стоит*).

**A3.** В некоторых случаях позиционные изменения гласных шли в противоположном направлении: противопоставленность фонетических элементов для данной позиции увеличивалась, а не уменьшалась. Например, стало господствующим произношение *и[a]гать*, *ж[a]ра* и т. д. Следовательно, в первом предударном слоге после [ш, ж] оказались возможными не 3 гласных различителя [ы, ы<sup>3</sup>, у], а 4 [а, ы, ы<sup>3</sup>, у]. Здесь действует тенденция к выравниванию системы: после [ш, ж] устанавливается та же система реализации фонем, что и после [ц]; эта система близка и к той, которая представлена после всех остальных твердых гласных.

**A4.** Итак, на гласные воздействуют две фонетические тенденции: а) постепенное усиление позиционных воздействий приводит к более значительной сигнификативной нивелировке гласных в безударных позициях; б) в отдельных случаях возобладала тенденция к выравниванию системы, к подведению отдельных исключений под общий тип фонетических соотношений. Это может способствовать сигнификативному усилению отдельных позиций.

Наиболее существенной является первая тенденция, нивелирующая гласные отличия в безударном положении.

**A5.** Система согласных, напротив, стремится к усложнению, к усилению своей функции фонемных разграничителей. Это выражается в изменении некоторых позиционных реализаций согласных фонем.

**A6.** В русском литературном языке начала нашего века могли быть: перед мягкими губными — только мягкие губные; перед мягкими губными — только мягкие зубные<sup>55</sup>; перед мягкими заднеязычными — только мягкие губные; перед мягкими зубными — только мягкие зубные; перед [j] — только мягкие согласные. Все эти позиции являлись слабыми для указанных разрядов фонем. В дальнейшем стойкость некоторых из этих регрессивных ассимиляционных замен оказалась поколебленной. Сейчас установилось твердое произношение согласных перед мягкими согласными в указанных сочетаниях (Р. И. Аванесов, 1950); процесс этот еще не завершен. У большого числа носителей литературного языка представлены следующие типы сочетаний: 1) мягкий зубной + мягкий губной: *разве, сидмя сидит* и т. д.; 2) твердый зубной + мягкий губной: *развит, надменный*. Произношение каждого из сочетаний связано с определенной лексикой и стабильно для широкого круга литературно говорящих людей. В позиции, перед мягкими губными оказались возможными и твердые и мягкие согласные; позиция для зубных из слабой по твердости — мягкости стала сильной.

<sup>55</sup> Это касается только парных по мягкости фонем.

Такие же тенденции заметны и в ряде других сочетаний, указанных выше (положение перед [j], положение зубных перед зубными). Они проявляются в разной степени у говорящих, в зависимости от принадлежности их к определенным возрастным, социальным, локальным группам. С другой стороны, степень разрушения старой ассимилятивной зависимости определяется лексическими, грамматическими, стилистическими характеристиками тех единиц, где представлены данные сочетания. Возможно, что движение идет к полной замене мягких согласных твердыми перед следующими за ними мягкими (в указанных сочетаниях). Это движение ужехватило слова книжные, мало-частотные (*развит, надменный*), но не коснулось еще разговорных и частотных (*сидмя сидит, разве*). Если так, то движение лишено фонологического содержания и оставляет данные позиции по-прежнему слабыми по твердости — мягкости (Р. И. Аванесов, 1950). Но возможно и другое предположение: а) налицо стремление к устранению мягких губных фонем из языка; оно находит поддержку и в ряде других явлений современного русского языка, очень частных и мелких, но в целом определенных именно этой общей тенденцией; б) для сочетаний с первым зубным налицо стремление к превращению слабых позиций в сильные. Именно это предположение наиболее вероятно (ср. историю согласных в украинском, польском, чешском языках).

Но частотность зубных значительно выше, чем частотность губных (в частности, сочетания зубной + зубной, зубной + губной значительно частотнее, чем сочетания губной + губной, губной + заднеязычный); следовательно, в общем перевес окажется на стороне усиления различимости согласных фонем в речевом потоке.

**A7.** В фонемосочетаниях: ⟨здн⟩, ⟨стл⟩, ⟨нтск⟩, ⟨нтк⟩, ⟨стк⟩... — по традиционным литературным нормам фонемы ⟨д, т⟩ редуцировались до нуля (Ф. Е. Корш, 1902; И. Люндель, 1911; Р. Кошутич, 1919; Д. Н. Ушаков, 1928). Новые произносительные нормы не допускают такой редукции. Эти новые нормы стали господствовать в нейтральном и книжном стиле, а для некоторых лексем утвердились и в разговорном (Р. И. Аванесов, 1950).

Это были слабые позиции для редуцированного согласного (и перцептивно, и сигнификативно), поскольку звуковой нуль мог в данных сочетаниях представлять несколько фонем. При отсутствии редукции фонем ⟨д, т⟩ до нуля слабость этих позиций уменьшилась.

**A8.** Ассимиляция по месту образования шумных зубных перед шумными переднеязычными в современном русском литературном языке является живой, как и в начале века. Ср. *расширить, разжалобить, возженный, отчалить, младший, тщательно, Нищие*... Эта ассимиляция распространялась и

на сочетание ⟨з | ч⟩ (с морфологической границей между фонемами): слова *расчислить*, *исчерпать*, *исчислить*, *из частей*, *без чинов* произносились со звуком [ш'ч]. Здесь налицо: а) регрессивная ассимиляция по месту и мягкости и б) прогрессивная ассимиляция по способу артикуляции. Эта норма вытеснялась иной: на стыке корня и приставки или предлога и следующего за ним слова стало произноситься сочетание [ш'ч], т. е. была заторможена прогрессивная ассимиляция (Р. И. Аванесов, 1950).

В прежнем произношении были нейтрализованы фонемные сочетания: ⟨сч⟩<sup>56</sup>, ⟨зч⟩, ⟨шч⟩, ⟨жч⟩, ⟨ш'ч⟩, ⟨стч⟩, ⟨здч⟩, ⟨счч⟩... ⟨ш'⟩, ⟨зш'⟩, ⟨сш'⟩, ⟨шш'⟩, ⟨ш'ш'⟩... При новом типе произношения отпадают последние 5 членов в этом ряду. Таким образом, позиция становится более весомой в сигнификативном отношении. Степень распространенности этого произношения еще подлежит установлению.

**А9.** Дассимиляция [хк] = ⟨кк⟩, ⟨гк⟩; [γг] = ⟨кг⟩, ⟨гг⟩; [хч] = ⟨кч⟩, ⟨гч⟩ сейчас является мертвой, но еще в начале века она была живой. Она охватывала все фонемные сочетания данного типа: *тягчайший*, *мягко*, *легко*, *легкая*, *мягче*; *к кому*, *к городу*... Сейчас такое произношение для многих лексем стало архаичным (Р. И. Аванесов, 1950). Следовательно, увеличилась сигнификативная полновесность данной позиции. При старых нормах произношения перед ⟨к, г⟩ нейтрализовались ⟨х, к, г⟩; сейчас — только ⟨к, г⟩. (Фонемный строй слов *мягко* и *легко* сейчас таков: ⟨м'ахко, л'охко⟩.)

**А10.** Перед ⟨э⟩ в русском языке встречаются, как правило, мягкие парные согласные. Считается, что мена твердых на соответствующие мягкие перед ⟨э⟩ и в наши дни остается позиционной, фонетической, неморфологизованной. Но высказываются и сомнения в справедливости такой точки зрения (Дж. Л. Трейджер, 1934). Если эти сомнения справедливы, то, следовательно, положение перед ⟨э⟩ для современного русского литературного языка окажется сильным по твердости — мягкости. Многочисленные же мены согласных перед ⟨э⟩ надо в этом случае признать морфологизованными (ср. *стол* — *о столе*; *стена* — *о стене*; *умный* — *умнее*; *узда* — *узdeckка*; *слепой* — *слепец*; *просмотр* — *просмотреть*).

Действительно, отдельные факты говорят о том, что приведенное мнение может оказаться справедливым. Ср. *Фрунзе* (с [з] твердым) и *фрунзенский* (с [з'] мягким): суффикс *-енск* (а не фонема ⟨э⟩ сама по себе!) требует перед собой морфологической мены парных твердых на мягкие. Важно учесть возможность таких новообразований в разговорной речи: *А ты по-прежнему все эх да ох! Отэхал свое — и проваливай!* (ср. *разэдакий*).

<sup>56</sup> Также и ⟨с'ч⟩. Мягкие соответствия везде опускаем.

Актуальность этого изменения в позиционной характеристике согласных перед ⟨э⟩ возрастает с распространением и массовым усвоением терминологической, книжной лексики (различного типа заимствований, аббревиатур): *нэл, нэлман, нэлманек, ателье, темпы* и т. д. — без перемены сочетаний типа *te* в *t'e*.

**A11.** В некоторых случаях изменения согласных обусловлены тенденцией к выравниванию системы. Например, различные замены звуков [ш̄', ж̄'], проникающие в литературный язык, оказались возможными потому, что фонемы ⟨ш̄', ж̄'⟩ (долгие мягкие) изолированы в системе согласных. Произношение [ш̄'ч̄', ж̄'] вместо [ш̄', ж̄'] устраняет из языка фонемы ⟨ш̄', ж̄'⟩; морфологические соотношения позволяют новые замены рассматривать как ⟨сч, зч; жж, жж⟩. Морфологические чередования во многих случаях поддерживают такое осознание звуковых отрезков [ш̄'ч̄'] и [ж̄'] (Л. В. Щерба, 1937). Впрочем, эти произносительные новшества далеко еще не завоевали литературный язык.

**A12.** Итак, применительно к согласным действуют такие тенденции: а) уменьшение в ряде случаев их позиционной нивелировки; б) стремление к выравниванию системы. Эта вторая тенденция, как видно из изложенного, одинаково охватывает и гласные и согласные.

Первая же тенденция у согласных противоположна той, которая характеризует гласную систему. Противонаправленность этих тенденций объясняется следующим образом.

В звуковой системе русского языка информация, которую несут согласные, значительно больше, чем та, которую несут гласные. Усиление позиционных воздействий на гласные и уменьшение позиционной нивелировки согласных — это дальнейшее развитие сложившегося в языке функционального противопоставления класса гласных классу согласных; гласные начинают фонематически дублировать согласные, страхуя ту информацию, которую несут согласные. Они теряют свои собственные отличия (действие редукции) и приобретают значение добавочных сигнализаторов согласных (действие аккомодации).

**A13.** В лексике современного литературного языка есть особые слои, более или менее резко противопоставленные основному лексическому составу языка (бытовой, повседневной лексике). Это — терминология, топонимика, эмоциональная лексика (междометия, ласкательные и бранные прозвища). Слова этих групп имеют свои произносительные особенности; можно говорить о том, что в них представлены особые фонетические подсистемы русского языка (Г. Кучера, 1958).

Для фонетики терминологической подсистемы характерны такие черты: 1) наличие фонем, отсутствующих в общей системе: ⟨h, ö, ü⟩ и др. Вероятно, в

этой системе долгие согласные надо считать в ряде случаев особыми фонемами; ⟨ $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{l}$ ⟩... В общей фонетической системе [ $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{l}$ ] естественно рассматривать как реализацию ⟨мм, нн, лл⟩, но те основания, которые заставляют предпочесть это толкование для основной фонетической системы, отсутствуют или значительно ослаблены в фонетической подсистеме терминологической лексики. 2) Фонетической подсистеме, осуществляемой в терминологической лексике, свойственно особое позиционное распределение. Здесь, например, возможно противопоставление ⟨о—а⟩ в безударных слогах, явно отсутствует аккомодация согласных перед ⟨э⟩ и т. д.

Вместе с энергичным ростом терминологической лексики в современном русском языке непрерывно растет группа слов с сочетанием: твердый согласный + [э]. Некоторые из таких слов постепенно переходят из лексики специальной в общую лексику, не теряя при этом твердости согласных перед [э]: *ателье, стенд, детективный, модель, шоссе, беже...* В отдельных случаях слова такого типа, уже усвоившие мягкое произношение согласных перед [э], переживают сейчас реставрацию твердости (ср. *тенденция, энергия* и др.). Напротив, группа слов с [о] безударным, несмотря на усиливающееся влияние терминологической (и книжной вообще) речи на речь бытовую, стремительно убывает, и вряд ли в современном русском языке есть слова, у которых произношение этого безударного [о] было бы обязательным.

Развитие вторичных фонетических систем более непосредственно, чем в основной фонетической системе, связано с развитием лексики, с пополнением русской терминологии или топонимики, но все же оно не определяется только этим развитием. В некоторых случаях побочные системы удерживают особенности, которые преодолены общей фонетической системой, а в других — узаконили то, что еще медленно проникает в общую фонетическую систему. Таким образом, и здесь действуют внутренние фонетические законы. Влияние побочных фонетических систем на центральную (общую) вызывает в ней замедление одних фонетических процессов и ускорение других.

**A14.** Среди суперсегментных фонетических единиц требуют особого внимания диэремы. Они заметно усиливают свою функцию разграничения морфем. Это выражено в следующих частных процессах:

а) произношение ⟨зч⟩, ⟨сч⟩ на стыке приставки и корня стало реализовываться в звукосочетании [ш' ч'] (см. об этом выше);

б) в некоторых звукосочетаниях ассимилятивная мягкость стабильна, если оба согласных принадлежат одной морфеме, и отсутствует, когда они разделены морфемной диеремой. В начале века ассимиляция охватывала и эти последние случаи;

в) увеличилось число случаев, когда в заударной части слова [ъ] следует после мягких согласных (что возможно только при наличии диэремы в фонемной модели слова).

**A15.** Усиление роли морфемных диэрем связано с изменениями в системе морфонологических чередований. С одной стороны, в русском языке на протяжении долгого времени действовали устремления к нивелировке морфонологических чередований согласных. Эти тенденции дают себя знать и в современном русском языке, но проявления их очень разбросанны и единичны: а) появились формы *ткѣшь, ткѣт, ткѣм, ткѣте*; еще недавно существовали формы с чередованием: *тчѣшь* и т. д.<sup>57</sup> Показательно появление в индивидуальной речи образований типа *берегя*; б) во многих прилагательных с суффиксом *-ск(ий)* утрачивается чередование согласных перед этим суффиксом: *казахский, лакский* и пр.; в) формы *умертвлять, умертвленный* вытесняют старые формы *умерицвлять, умерицвленный* (даже в текстах высокой стилистической окраски).

Эти тенденции к отказу от нефонетических чередований на границе морфем, вероятно, затухают; их перебивают новые тенденции — к подчеркиванию границ между морфемами путем непозиционных мен согласных. Если мену твердых согласных на мягкие перед ⟨э⟩ считать в современном языке утратившей позиционный характер, то во множестве словоформ окажутся возникшими новые морфонологические (непозиционные) мены согласных, указывающие, что далее следует постфикс определенного типа.

Многие морфологические модели, особенно продуктивные в современном русском языке, требуют мены согласных в образующей основе. Ср. наиболее продуктивный тип глагольного отыменного образования: *командир — командирить, луна — прилуниться*. Следовательно, подчеркивание морфемных разделов фонетическим способом (с помощью диэрем) прогрессирует параллельно с усилением морфологических способов указания на границу морфем.

**A16.** Ударение и полуударение — две иерархически соотнесенные суперсегментные единицы, которые, возможно, также испытали некоторые изменения в русском языке нашего времени. Усилилась функциональная роль полуударения. Вряд ли это связано с диалектными и просторечными влияниями на литературный язык; скорее имело значение массовое образование аббревиатур, сложных слов различного типа, распространение аналитических прилагательных (они очень часто односложны или двусложны и в этих случаях выделяются полуударением) и т. д.

<sup>57</sup> Еще в 20-х годах нашего века некоторые лингвисты (Г. Геровский) формы *ткѣшь* и пр. считали диалектными.

**А17.** Общий вывод: в современном русском языке гласные-различители функционально ослабляются, согласные, напротив, усиливаются; суперсегментные различители тоже, по-видимому, становятся функционально более активными.

**Б18.** Эти тенденции по-разному проявляют себя в строгом, нейтральном и разговорном стиле речи.

Как уже говорилось, в разговорном стиле нивелировка гласных может быть доведена в отдельных случаях до предела. Если ⟨у⟩ между мягкими согласными в заударном слоге (*челюсти, зреющий, синюю*) превращается в [ь], то в этой позиции оказывается возможным только один гласный различитель, и [ь] представляет фонемы ⟨а, о, э, у, и⟩.

Часто в этом стиле речи гласные превращены в позиционно обусловленные нули; ср.: слова *есть* и *десять* могут быть в быстрой речи омонимичны (Е. Д. Поливанов, 1934).

Усилена в этом стиле аккомодация гласных и согласных; например, *свидетель, свидетельство* произносится сви[д'и']тель, сви[д'и']тельство.

Часты случаи редукции до нуля; например, *ходит, видит* произносятся без [д'] (Е. Д. Поливанов, 1934); так же *пятьдесят* и под. (Р. И. Аванесов, 1950).

Ассимилятивное смягчение в этом стиле удерживается в сочетаниях зубной + зубной, зубной + губной; мягкость губных в ряде позиций оказывается ослабленной или даже полностью снятой.

**Б19.** Гласные реализации в этом стиле усиленно влияют на нейтральный произносительный стиль. Именно разговорная речь формирует большинство вокалических новшеств в нейтральном стиле.

Напротив, согласные реализации в разговорном стиле сами испытывают влияние нейтрального стиля. Например, произношение [студ'энка], [м'ьдал'йска] под влиянием нейтрального и строгого стилей перестало быть приемлемо и в разговорном стиле, т. е. вообще было отвергнуто литературным языком (Р. И. Аванесов, 1950).

**Б20.** Строгий стиль в основном сохраняет ту же систему реализации гласных фонем, которая характеризовала язык XIX века. Для этого стиля, например, характерно эканье (различение ⟨и — э⟩ в некоторых безударных позициях), отсутствие редукции гласных до нуля даже рядом с сонорными в заударной позиции; ср. *провода, жаворонок, наволочка* (для разговорного — а теперь, вероятно, и для нейтрального — стиля характерно произношение с полной редукцией гласного, стоящего рядом с [л, р]).

В системе согласных строгий стиль совершенно не допускает тех упрощений в группах согласных, к которым склонны (в частотных лексемах) дру-



гие стили. Строгий стиль сильнее, чем другие, преодолевает ассимилятивное смягчение.

**Б21.** Расширение значения публицистической речи, растущее влияние научного языка на другие речевые жанры обусловили сдвиг некоторых произносительных особенностей, ранее присущих книжному стилю речи<sup>58</sup>, в стиль нейтральный. Например, отсутствие ассимиляции по мягкости в ряде сочетаний (дв' тв' зв' св' зм' и некоторых других) было характерно для книжного стиля речи, и можно ожидать именно таких сочетаний в словах *подвиг, о битве, извет, возвеличить, светило, чрезмерно* и т. д. Но сейчас это произношение распространяется и в нейтральном стиле; произносится *двигать, твердый, свежий, звенеть, злее* и т. д. не только с мягкими зубными (перед губными), но и с твердыми; такое произношение распространилось достаточно широко.

**Б22.** Нейтральный стиль в течение последнего полувека изменялся как под влиянием разговорного, так и под влиянием строгого стиля произношения. На протяжении всей истории русского литературного языка особенности разговорного стиля постепенно проникают в нейтральный (теряя при этом характер разговорности). В последнее время этот процесс приобрел особую интенсивность; можно видеть в этом демократизацию литературного произношения, так как из всех стилей литературного языка до революции массам доступнее всего был именно разговорный стиль.

Именно из разговорного стиля постепенно проникло в нейтральный стиль йканье, произношение [ъ] в соответствии с ⟨и⟩ после твердых в закрытых заударных слогах и т. д.

Таким образом, в нейтральный стиль произношения проникали некоторые особенности консонантизма, ранее характерные только для книжного стиля речи, и некоторые особенности вокализма, присущие прежде всего разговорному стилю. Если учесть, что строгий стиль ослабляет позиционные взаимодействия в звуковых рядах, а разговорный усиливает их, то эти закономерности во взаимодействии нейтрального произносительного стиля с «окрашенными» стилями вполне определяются внутренними тенденциями в развитии русского фонетического строя (см. § 11).

**Б23.** Влияние нейтрального произносительного стиля на другие стили не было в последнее пятидесятилетие сколько-нибудь заметным.

**Б24.** Строгий произносительный стиль все более дифференцируется, все более дробится на подстили. Такие функциональные разновидности строгого

<sup>58</sup> Книжный стиль рассматривается как разновидность строгого стиля.

стиля, как сценическая речь, ораторская, кафедральная и т. д., приобретают большую определенность и четче разграничиваются друг с другом.

**Б25.** Сценическое произношение консервативно; в подчеркнутой, демонстративной традиционности и заключается его общественная ценность. «Дом Щепкина» или «Дом Станиславского и Немировича-Данченко», храня художественные традиции, естественно, стремятся сберечь и сценическое воплощение этих традиций, вплоть до сценической речи, до произносительной ее стороны. Однако сценическое произношение не может и оторваться от живой, разговорной, «быстротекущей» речи; отсюда — сложные, зачастую мучительно трудные пути обновления произносительных традиций на сцене. Резкий отпечаток на эволюцию сценического произношения накладывает также и смена театральных стилей и школ.

Как показали исследования советских языковедов (Г. О. Винокур, 1948; И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров, 1955; А. А. Реформатский, 1955), изучение этой эволюции очень важно для истории общелитературного произношения. Играя роли наших современников, артисты не могут сейчас последовательно выдерживать все щепкинские, традиционные для театра орфоэпические нормы; они неминуемо должны отказаться от некоторых из них. Проникновение новых орфоэпических норм на сцену, следовательно, — одно из свидетельств их полного господства в разговорной речи<sup>59</sup>.

**Б26.** В распространении орфоэпических норм значительна роль современной песни. Давно отмечено, что песня, как правило, повторяется певцами с соблюдением тех произносительных особенностей, которые характеризовали ее первоисточник (А. А. Потебня, 1887; В. И. Чернышев, 1912; Н. Н. Дурново, 1914; В. Н. Сидоров, 1947; Р. И. Аванесов, 1948). Даже в деревнях с окающим или якающим произношением городскую песню поют, сохраняя литературное *й*канье или *э*канье. Это наблюдалось и в послеоктябрьскую эпоху (А. И. Селищев, 1924).

Песня, соединяя эстетическое впечатление с впечатлением от определенного типа произношения, убеждает и певца и его слушателей в том, что, например, *э*канье «красиво»; тем самым песня не только сама удерживает литературное произношение, но и пропагандирует его. Поскольку пение имеет свою орфоэпию, отличную от орфоэпии говорения, постольку вместе с песней в отдельных случаях могут распространяться именно те варианты литературного произношения, которые поддержаны песней; например, *э*канье, а не *й*канье.

---

<sup>59</sup> Здесь, конечно, имеется в виду не игровое использование речевых характеристик на сцене, а произносительный «фон».

Эканье устойчиво и неизменно характеризует русское пение во всех его разновидностях (Л. В. Щерба, 1938; А. А. Реформатский, 1955); оно же характерно для строгого произносительного стиля (С. И. Бернштейн, 1937; Р. И. Аванесов, 1950). Очевидно, та и другая произносительная система — певческая и «говорная» в строгом стиле — взаимно поддерживают друг друга и друг на друга влияют.

**В27.** Различные пути распространения литературного языка влияли на судьбу отдельных орфоэпических норм.

Когда навыки литературного произношения передавались по семейной традиции и усваивались еще в детстве, тогда были достаточно прочными многие орфоэпические фразеологизмы<sup>60</sup> (Е. Д. Поливанов, 1931). После революции семейные традиции перестали быть основным средством передачи навыков литературного говорения; это способствовало устранению многих произносительных фразеологизмов.

Устранение фразеологизмов в произношении, выравнивание системы определяется внутренними законами языка и протекает постоянно. Но в особых условиях развития литературного произношения в 20-е и 30-е годы эти тенденции стали проявляться более настойчиво и ускоренно. Именно в эти десятилетия энергично вытеснялось из речи произношение [шы<sup>3</sup>, жы<sup>3</sup>] в соответствии с ⟨ша, жа⟩ в первом предупредительном слоге, произношение [р'] перед губными и заднеязычными (после ⟨э⟩) в ограниченной группе слов: *серп, первый, верба, верх* (Л. В. Щерба, 1937; А. С. Никулин, 1941) и ряд других орфоэпических фразеологизмов.

В первые послереволюционные годы основным учителем литературного произношения стала печать. Понятно, что произносительные нормы испытывали сильное влияние орфографии. Это влияние, затронув главным образом произношение отдельных слов или грамматических форм, в некоторых случаях оказалось важным и для фонетической системы языка (в связи с изменением частотностей определенных звуко сочетаний)<sup>61</sup>.

**В28.** В 30-е, 40-е годы и позднее большое значение для упрочения литературных норм имело развитие среднего образования, распространение радиовещания, дальнейший рост роли печати в жизни страны.

Радио, проникая в самые отдаленные уголки страны, становится одним из главных наставников для всех, кто овладевает литературным произноше-

<sup>60</sup> Под произносительными фразеологизмами понимаем такие особенности отдельных «закоулков» в фонетической системе языка, которые не поддержаны синхронно другими (соотносительными) элементами системы.

<sup>61</sup> См.: Вопросы языкознания. 1960. № 3. С. 10—12.

нием. Именно на радиоречь и на речь, пропагандируемую звуковым кино, начинает ориентироваться молодое поколение в деревнях и в городах, постепенно отказываясь от диалектного и просторечного произношения.

В связи с широким развитием радио-, теле- и кино вещания постепенно намечается падение «буквалистских» тенденций в произношении; орфоэпические нормы распространяются и на такие произносительные особенности, которые не подсказаны письмом.

Русская графика и орфография имеют фонемный характер, они обозначают лишь фонемы, не указывая их позиционной реализации. Поэтому система литературного иканья так же мало указана письмом, как, например, система диссимилятивного яканья; и диссимилятивное яканье находится в таком же отношении к современному письменному изображению русской речи, как и литературное *й*канье.

Письмо также не может указать на нормативное произношение отдельных звуковых единиц; например, буква «г» сама по себе не указывает на взрывное произношение обозначаемой ею фонемы.

Усиливающееся влияние радиоречи захватывает и эти произносительные особенности, приводит их к единству и нормализует.

С распространением радио значительно усиливается и влияние сценической речи (выступления артистов, передача спектаклей и т. д.).

Все это делает необходимым тщательное изучение современной радиоречи и ее влияния на общелитературное произношение.

**Г29.** Для развития литературного произношения нашего времени характерно стирание таких фонетических различий, которые не имеют функциональной нагрузки; некоторые из них исчезают, другие переосмысляются и функционально разграничиваются.

**Г30.** В начале века существовали различные локальные разновидности литературного произношения. Описаны (с разной степенью достоверности) особенности петербургского произношения (В. И. Чернышев, 1909; С. Г. Боянус, 1934; Л. В. Щерба, 1937; С. П. Обнорский, 1937 и 1946). Есть указания на отличия казанского (В. А. Богородицкий, 1908; А. И. Томсон, 1909) и прибалтийского русского литературного произношения (Е. Д. Поливанов, 1929), засвидетельствованы особенности южнорусской (Е. Д. Мальцев, 1947; Н. М. Каринский, 1928) литературной речи.

Эти локальные различия в литературном языке не были значительными даже и в XIX веке. Они характеризовали речь только некоторой части населения. Например, то, что описано как особенности петербургского произношения, было свойственно в первую очередь представителям чиновных

слоев Петербурга, в известной степени — полумещанской среде. Значительные же круги интеллигенции владели стандартной «московской» литературной речью.

В последние десятилетия такие локальные различия стали значительно стусшевываться. В демографическом отношении дореволюционная Россия была гораздо более расчлененной территориально, чем сейчас; это было обусловлено экономической замкнутостью отдельных районов страны, отсутствием значительных передвижений населения, недостаточным развитием широких транспортных связей между отдельными областями и т. д.

В последние полвека ряд исторических событий обусловил очень широкие перемещения населения. Это непосредственно способствовало постепенному исчезновению фонетических локальных различий в литературном языке. В какой степени они сохранились в настоящее время — еще предстоит изучить.

Направление, в котором шло выравнивание локальных отличий в произношении, определялось не только значением отдельных культурных центров в стране, но и внутренними тенденциями в языке. Например, петербургскому (столичному) произношению было свойственно эканье; московскому — йканье (Д. Н. Ушаков и Н. Н. Дурново, 1912; Р. Кошутич, 1919). В первые годы после революции петербургское (ленинградское) эканье, вероятно, даже усилилось: это было результатом усиленного влияния говоров на литературную речь в 20-е годы<sup>62</sup>.

И все же господствующим в современном литературном произношении и для Москвы, и для Ленинграда стало йканье, так как оно позволяет полнее реализовать указанные выше (§ A12) тенденции в развитии русского вокализма.

**Г31.** До революции в литературной речи существовали социально обусловленные подтипы (ср., например, иронические замечания Ф. Е. Корша о произношении семинаристов, 1902). Многие из этих различий были устойчивыми и стандартизованными. Произношение, например, [blöf] *блеф* и под. свидетельствовало о принадлежности к определенной социальной среде и для представителей этой среды играло роль «рекомендательной характеристики» (Е. Д. Поливанов, 1931).

Иногда различия в произношении определялись обучением в том или ином закрытом учебном заведении (например, есть данные о ряде произноси-

<sup>62</sup> Только этим можно объяснить следующий факт. В 1912 году Л. В. Щерба писал, что его поколение уже нейтрализовало ⟨е — и⟩ в первом предупредном слоге, хотя предшествующее поколение их еще различало. В 1934 году Л. В. Щерба, напротив, настаивает на том, что в ленинградской речи (в отличие от московской) ⟨е⟩ в указанной позиции противопоставлено ⟨и⟩; он настойчиво протестует против их смешения. Тонкий наблюдатель, Л. В. Щерба был прав, вероятно, и в том и в другом случае.

тельных особенностей в речи воспитанников Петербургского училища правоведения).

Хотя эти произносительные отличия и касались только отдельных слов или отдельных лексических групп, все же они расчленили литературное произношение на ряд подтипов. После Октябрьской революции многие из старых социальных перегородок исчезли, и вместе с ними — многие различия в произношении. Этот процесс коснулся в первую очередь произношения ряда заимствованных слов. Их фонетическое сближение со словами языка-источника стало оцениваться как претенциозное и противоречащее литературному стандарту. Ср. [portfö]l, [blöf], [klerk] и т. д.

Некоторые из этих фонетических особенностей изменили овою стилистическую квалификацию; раньше они были характерны для нейтрального стиля, а теперь — для книжного, высокого; например, [по́эт], [оа́з'ис] и под.

Другая группа произносительных вариантов стала рассматриваться как признак мещанской речи и на этом основании была табуирована; из явлений этого типа некоторые оказываются терпимыми только в подчеркнуто-разговорном стиле, но и из него постепенно вытесняются (медали[ск]а, ко[с'л']авый).

Новые социальные оценки произносительных факторов не всегда оказываются исторически достоверными. Не все, что оценивалось (в 20-е, 30-е, 40-е годы) как примета «аристократически-претенциозного» произношения или «мещански-жеманного», «мещански-вульгарного», действительно характеризовало речь только этих социальных групп. Например, произношение [бока́л], [кос'т'ум] и под., которое сейчас обычно квалифицируется как «аристократическое», в действительности было распространено в самых широких кругах интеллигенции (в том числе и демократической).

Социальная характеристика того или иного произносительного факта часто была лишь средством, с помощью которого прокладывали путь внутренние фонетические закономерности (например, стремление снизить информационный уровень гласных и поднять уровень согласных; см. приведенные выше примеры «мещанизмов» и «аристократизмов»). Отрицательную социальную оценку получали явления, стоящие на пути этих внутренних фонетических тенденций.

## Письмо (графика и орфография)

*Содержание раздела. Основные принципы русской графики и орфографии. Усиление фонематического принципа.*

1. Освещение истории русской графики и орфографии в последние полвека возможно только на основе четкого определения, каков основной прин-

цип нашего письма. Современная русская орфография использует три принципа: 1) фонемный: знаки письма передают фонемы; 2) фонетический: знаки письма передают звуки языка; 3) традиционный: выбор письменных обозначений для передачи фонемы не обусловлен современной системой языка, живым строением данного слова. Традиционный принцип может дополнять фонемный или противоречить ему (И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров, 1953).

Высказывалось мнение, что современное русское письмо является в основном фонетическим (М. Н. Петерсон, 1955). Например, в слове *дом* все буквы точно соответствуют звукам; в слове *домами* 5 букв точно соответствуют звукам и лишь одна (*о*) противоречит фонетическому принципу письма. Из этого делается вывод, что в нашем письме господствует фонетический принцип.

Мнение это неубедительно; поясним это простым примером. По тени на стене надо решить, какое геометрическое тело ее отбрасывает. Тень имеет форму треугольника. Предполагаем, что это конус. Тело поворачиваем вокруг своей оси на 90°; тень — треугольник. Предположение остается прежним. Еще поворачиваем на 90° — опять треугольная тень. Мнение подтверждается. Поворачиваем основанием к стене; тень — квадрат. Делаем вывод: в основном у нас конус; 3 свидетельства в пользу этого вывода и лишь одно — против. Но ясно, что на самом деле у нас была пирамида, а не конус. Так обстоит дело и в приведенном случае. В слове *домами* 5 букв отвечают фонетическому принципу и 1 не отвечает ему. Но все 6 букв отвечают фонематическому принципу.

Если сравнить, сколько букв в потоке письменной речи пишется а) фонемно, б) фонетически; в<sup>1</sup>) традиционно, притом вопреки фонемному принципу, и в<sup>2</sup>) традиционно, в дополнение к фонематическому принципу, то окажется, что фонемных написаний преобладающее большинство (И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров, 1953). Отсюда вывод, что письмо наше в основном фонемно.

2. Было ли оно фонемным до реформы 1918 года? Проанализируем небольшой отрывок текста:

«Сторонники и оберегатели буквы Ъ рѣтиво *отстаивали ее; она помогаетъ-де вѣрно судить, кто писалъ: невѣжды или лица образованныя. Есть у насъ, говорили они, древнія письменныя традиции. Онѣ священны, и мѣнять ихъ нельзя. Тѣ, кто не видятъ великаго достоинства нашей письменности и не цѣнятъ ея, не имѣютъ права пользоваться ея благами. Разумѣется, все это были пустыя слова, и только. Иногда у этихъ словъ былъ свой социальный подтекстъ».*

Курсивом отмечены традиционные написания (двух указанных выше типов: в<sup>1</sup> и в<sup>2</sup>). К ним отнесены следующие случаи: 1) Языковые соотношения

позволяют в слабой позиции определить только гиперфонеми; следовательно, фонемному принципу отвечало бы несколько букв; традиционно избирается одна (пример: *собака*). 2) Языковые условия позволяют определить фонему, но она передается двумя различными буквами (буквенными «синонимами»), и выбор одной из них традиционен, т. е. не определяется фактами живого языка. Пример: *лѣто, крестъ* — в обоих случаях традиционен выбор букв ѣ или е; *миръ, миръ, такіе, китъ* — традиционен выбор и или і; *Филиппъ, Федоръ* — не мотивирован живым языком (т. е. традиционен) выбор буквы Ѡ или Ф...

Твердость согласных отмечается то знаком ъ (*разумеетъ, подѣтъ*), то отсутствием ъ — ѣ (*разумеется, подтекстъ*). Употребление того и другого способа было регламентировано простым правилом; но самое правило никакого основания в живой речи не имело; живой речи не противоречили прямо противоположные написания: *разумеетъся, подѣтекстъ* — *разумеет, под*. Поэтому написание ъ в конце слов и отсутствие его после твердого согласного перед другим согласным — это традиционные написания, и они отмечены в тексте (*сторонники, буквы, отстаивали* и т. д.). 3) Буква пишется вопреки фонемному принципу; выбор ее традиционен: *сегодня, сильнаго, ея* и пр. Всего в отрывке 148 традиционных написаний.

Вывод несомненен: до реформы 1918 года наше письмо было и фонемным и традиционным: его фонемная основа была сильно отягощена традиционными написаниями.

3. Реформа 1918 года, подготовленная трудами русских лингвистов (Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, 1904—1912), оказалась подлинной революцией письма. Она преобразовала русскую графику, графические же изменения всегда отражаются и в орфографии; некоторые положения реформы касались и непосредственно орфографических вопросов. Перелом был резким: письмо стало не фонемно-традиционным, а фонемным. Из 148 традиционных написаний, отмеченных в приведенном выше отрывке, в новой орфографии традиционными<sup>63</sup> осталось всего 46; из них только 3 — антифонемны (*великого, разумеется, социальный*).

В процессе подготовки реформы исследователи выяснили, всесторонне и глубоко, особенности и недостатки фонетической орфографии (Ф. Е. Корш, 1902; Р. Ф. Брандт, 1902; Л. В. Щерба, 1914), традиционной (А. И. Томсон, 1903); т. н. «морфологической» (Д. Н. Ушаков, 1911); эта теоретическая основа была очень важна для дальнейшего совершенствования русского письма.

К сожалению, собственно фонологическая точка зрения на письмо прямо высказана не была, хотя косвенные указания на этот принцип письма были

<sup>63</sup> В тексте на с. 172 они отмечены полужирным курсивом.



сделаны (И. А. Бодуэн де Куртенэ, 1912; Р. Ф. Брандт, 1902). Однако все предложения Орфографической подкомиссии, подготовившей реформу, были по своей сущности строго фонемны (за исключением правила о правописании приставок, оканчивающихся фонемой ⟨з⟩).

4. Превращение фонемно-традиционного письма в фонемное шло двумя путями. О первом уже сказано: реформой были изгнаны из письма многие традиционализмы. Дальнейшее усовершенствование русского письма привело к уничтожению некоторых других традиционных написаний (см. сл. параграф).

С другой стороны, произносительные нормы отдельных слов и грамматических форм изменялись под влиянием орфографии. Для начала века написания *стремлюсь, стремились; видяť, терпяť; строгий, ломкий, тихий; старьй, смирный; протягивать, вскакивать, отмахиваться* и под. были традиционными, так как стандартное литературное произношение свидетельствовало о таком фонемном составе этих форм, которое нужно было бы передавать другими буквосочетаниями (*стремлюсь, стремились; видють, терпють; строгой, ломкой, тихой; старой, смирной; протяговать, вскаковать, отмаховаться*). Под влиянием письма произношение (и фонемный состав) этих форм изменились. Сейчас уже написания в этих случаях надо считать фонемными, а не традиционными: они мотивированы фонемным строем данных форм.

5. В послереволюционные годы влияние письма на произношение усилилось. Кроме причин, уже указанных выше, была еще одна. Реформа приблизила письмо к живой речи (т. е. отменила целый ряд традиционных, а не фонемных написаний). Но приближение орфографии к живой речи обычно вызывает и движение в другом направлении: произношение начинает испытывать сильное влияние орфографии. Такой процесс и отмечен в 20—30-е годы (Е. Ф. Карский, 1924; Л. В. Щерба, 1936; Р. И. Аванесов, 1937).

Если орфографическая система включает ряд элементов, наличие которых современным строем языка совершенно не мотивировано, то граница между письмом и живой речью тем самым оказывается подчеркнутой: по аналогии с *ея, онъ, однѣхъ, злаго* и пр. могли осознаваться условными, контрастными относительно языка и многие другие элементы письма: *стремлюсь, тихий, протягивать, булочная, конечно, что* и т. д. Написания типа *злаго, однѣхъ* и пр. создавали установку на восприятие условности, традиционности орфографии. Чем меньше остается орфографических «идиом», тем слабее эта установка.

Когда же большинство против фонемных написаний изъято из письма, то возникает понятное стремление преодолеть и те несовпадения с произноше-

нием (отражающим фонемный строй словоформ), которые еще остались в письме. Это обуславливает массовое появление «буквализмов» в произношении.

Натиск буквенного произношения в нашу эпоху привел к ликвидации многих традиционализмов нашего письма. Однако орфографическое влияние никак не затронуло (и не могло затронуть) тех случаев произношения, которые обусловлены звуковой системой русского языка.

6. В советскую эпоху успешно развивалась теория русской орфографии. Была проделана большая работа по выяснению принципов русского письма и на основе фонологической теории установлено, что наиболее существенным принципом нашего письма является фонемный (Н. Ф. Яковлев, 1928; Н. Н. Дурново, 1930; Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров, 1930; И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров, 1953). С точки зрения этого принципа оценивались отдельные стороны нашего письма; обсуждались возможные улучшения этого письма на фонемной основе (Н. Н. Дурново, 1930; Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров, 1930; А. А. Реформатский, 1937; А. Б. Шапиро, 1951).

Четко были определены внутренние противоречия и непоследовательность современной русской орфографии (Е. Д. Поливанов, 1927; С. П. Обнорский, 1936, и др.). В результате этого оказалось возможным провести работу по упорядочению нашего письма (1956) и наметить пути дальнейшего его улучшения.

7. После реформы 1918 года в нашей орфографии осталось значительное число написаний, противоречащих фонемному принципу. Это отчасти объясняется тем, что предложения Орфографической подкомиссии, встреченные враждебно официальными кругами, были сужены и сокращены. Кроме того, решения Орфографической подкомиссии не касались множества частных орфографических вопросов. После 1918 года эти нефонемные написания в некоторых случаях заменялись фонемными. Процесс часто был мучительно трудным; фонемные написания становились орфографической нормой большей частью стихийно, а не в результате сознательного теоретического отбора. Например, утвердилось правописание *выгарки, изгарь*. По существующим правилам, этот корень в безударном положении всегда пишется *гор-*. Фонемный его состав ⟨гар-⟩; написания *загореть, горелый* и т. д. нефонемны. Вопреки правилу, в неологизмах, следовательно, укрепилось фонемное написание.

Традиционным было написание *пловучий*; фонемный состав корня ⟨плав-⟩. В аббревиатурах *плавсредства, плавсостав, плавдок* и т. д. под влиянием «языкового чутья» говорящих прояснилась под ударением фонема *а*; но *плав* лишь вариант прилагательного *пловучий*; поэтому, естественно, пришлось изменить правописание прилагательного: *плавучий*. (Подспудно-фонемный

характер этого нового написания для самих его узаконителей остался, кажется, неясным.) Таких примеров стихийного вторжения в орфографию фонемных написаний можно было бы привести еще немало. В целом же орфографическая теория в последние десятилетия все более полно и глубоко определяет орфографическую практику.

8. Общее развитие русского письма определяется так: уменьшение традиционных написаний, противоречащих фонемному принципу; укрепление фонемной природы русского письма.

### Стилистика

*Содержание раздела. Стилистическая система русского языка; изменения, характерные для нее в советскую эпоху; социальная обусловленность изменений. Речевые жанры. Реализация стилистических противопоставлений в художественной литературе (в лирической поэзии).*

1. При изучении лексики, словообразования, словоизменения, синтаксиса, фонетики нельзя не учитывать стилистических разграничений; о них и говорилось в каждом из предшествующих разделов проспекта. Однако стилистические закономерности в разных ярусах языка обнаруживают много общего; необходимо изучить это общее в особом разделе стилистики.

2. В языке существуют средства, которые показывают, как говорящий оценивает свою речь. Он может подчеркнуть с помощью этих средств или торжественный, или непритязательный, повседневно-бытовой ее характер.

В этих оценках речи отражается отношение к тем ситуациям, в которых протекает речевое общение. Если речевая ситуация признается социально особенно значительной, то используются возможности «высокого» (или строгого) стиля. Если ситуация признается повседневной, обычной, в социальном отношении не выделенной, то используется разговорный стиль. Наконец, отсутствие оценки речевой ситуации вызывает использование нейтрального стиля.

Таким образом, нейтральный стиль — это немаркированный член противопоставления ( $\bar{n}A$ ); строгий (торжественный) указывает на социальную выделенность речевой ситуации ( $nA$ ), разговорный стиль подчеркивает невыделенность, обычность речевой ситуации ( $n\bar{A}$ ). Это разграничение дано, например, в таких стилистических парадигмах: *очи — глаза — гляделки, ибо — так как* и т. д.

Строгий и разговорный стили членятся на ряд подстилей; каждый из них имеет свою напряженность стилистической окраски. Книжный подстиль вхо-

дит в пределы строгого стиля и отличается сдержанной стилистической окраской; ср. *внезапно, отправить, осуществить* (в нейтральном стиле соответственно: *неожиданно, послать, сделать*). Более напряженно окрашены «торжественные слова»: *нерушимый (прочный), утрата (потеря), чаяния (надежды), незыблемый (твердый)* и т. д. Еще более насыщенную, пастозную окраску несут «риторические слова»: *всепобедный, разверстый, простирать* и т. д.; в нейтральном стиле им соответствуют: *торжествующий, раскрытый, протягивать* (А. Н. Гвоздев, 1952).

3. Стили языка исторически изменчивы. В стилистике русского языка нашей эпохи продолжают многие процессы, характерные для русского языка XIX века.

В пределах строгого стиля дифференцируются и специализируются подстили; увеличивается градуированность стилистической шкалы (А. М. Сухотин, 1939). Амплитуда стилистической окрашенности становится более широкой. Это обусловлено тем, что многие показатели строгого стиля делаются все более редкостными, круг их применения сужается — а это и означает появление более насыщенной окраски торжественности. Например, слова *брег, очи, узрит* сейчас резче противопоставляются стилистически нейтральным словам *берег, глаза, увидит*, чем в языке XIX века, когда славянизмы использовались более широко (применялись в более широком кругу поэтических жанров, в ораторской речи и т. д.). Став более редкими, они получили более резкую стилистическую окраску и раздвинули дальше пределы торжественного, строгого стиля, добавили еще одну стилистическую краску — более напряженную, чем любая из возможных раньше.

Эти процессы, характерные для стилистической системы в целом, особенно интенсивно протекали и протекают в области лексики.

4. Раздвигаются пределы и разговорной стилистической окрашенности. Это связано с включением в пределы разговорного литературного стиля единиц «просторечных», стоявших на границе литературного языка. Они сначала проникают в речь как инкрустации, как функционально оправданные вставки, но постепенно становятся в литературной речи законными средствами показать ее подчеркнутую разговорность.

5. Особенно характерно для советского времени напряженное взаимодействие стилей, влияние одного на другой: в первую очередь — разговорного стиля на нейтральный, во вторую — книжного на нейтральный. Эти взаимодействия имеют важное значение для преобразований в разных ярусах языка, особенно в грамматике и фонетике. О них достаточно говорилось в преды-

дущих разделах проспекта (см. разделы «Словообразование», § 27—30; «Словоизменение», § 19—24; «Синтаксис», § 11—23; «Фонетика», § 18—24).

6. Нейтральный стиль обладает семантической самодостаточностью: все значения (лексические или грамматические), которые выражаются единицами окрашенных стилей, находят выражение и в нейтральном стиле<sup>64</sup>. Единицы нейтрального стиля образуют в семантическом плане сплошное поле. Напротив, окрашенные стили не самодостаточны, поскольку далеко не все значения, выраженные единицами нейтрального стиля, имеют синонимы в строгом или в разговорном стиле. Таким образом, единицы окрашенных стилей не составляют семантически целостного поля: в нем есть лакуны. В резкой форме это характерно для строгого стиля, единицы которого особенно немногочисленны; они составляют скорее не поле, а разьединенные острова. Поэтому единицы строгого стиля (и в меньшей степени — разговорного) не ограничивают и не определяют друг друга с такой точностью, как единицы нейтрального стиля. Ср., например, расплывчатость и вариантность значений в современных текстах у слов *чело*, *утлый*, *зеницы*, *стогны* и пр.

Однако в некоторых ярусах языка происходит бурное пополнение стилистически окрашенной системы за счет диалектов и просторечия. Так обстоит дело, например, в современном разговорном синтаксисе. Единицы его образуют достаточно частую и полную сеть; единицы нейтрального стиля, восполняя недостающие звенья этой сети, сами в ней претерпевают семантические изменения. Таким образом, разговорный синтаксис готов в нашу эпоху перерасти в самодостаточную систему и занять равноправное место с нейтральной синтаксической системой.

7. Поскольку окрашенные стили несамодостаточны, то возможны два рода текстов:

а) тексты, состоящие только из единиц нейтрального стиля (например, некоторые произведения М. М. Пришвина; вообще же это достаточно редкий случай);

б) тексты, состоящие из нейтральных единиц и единиц окрашенного стиля — одного или нескольких. Эти окрашенные единицы и создают стилистическую характерность текста. Нейтральные же единицы, встречаясь в любом тексте, не могут быть носителями стилистической характерности; и лишь в текстах типа «а» они дают речи особую характеристику (стилистически нега-

<sup>64</sup> Исключением могут быть только некоторые слова, очень слабо окрашенные книжностью или разговорностью; они, стоя на грани нейтрального стиля, иногда не имеют в нем синонимов.

тивную). Следовательно, основой стилистических противопоставлений является нейтральный стиль, поэтому сам он, как начало всех отсчетов по стилистическим координатам, имеет нулевую характеристику.

**8.** Из сказанного выше следует, что все тексты в речи представляют собой синтез, сочетание единиц разных стилей (тексты типа «а» следует рассматривать как сочетание нейтральных единиц с нулевой «примесью»). При этом оказываются различными и сами приемы ввода окрашенных слов, грамматических моделей, произносительных примет в нейтральный фон; и соотносительная численность единиц разного стиля в границах одного текста; и пределы стилистической напряженности контрастных единиц, сочетающихся друг с другом; и частота стилистических контрастов в тексте и т. д.

Но как ни различны эти характеристики, все же они типизированы у ряда текстов. Ряд текстов может принадлежать к одному речевому жанру, т. е. может объединяться одинаковыми принципами использования стилистических средств языка. В этих речевых жанрах и воплощены законы стилистики речи.

Речевые жанры исторически очень изменчивы и подвижны. Они характеризуются определенным использованием стилистических средств языка, а в стилистике языка запечатлены оценки определенных социальных ситуаций говорения (см. § 2). Эпоха больших общественных сдвигов, естественно, вызвала перестройку многих стилистических контрастов в языке, переинтеграцию членов многих стилистических парадигм. С другой стороны, типические приемы сочетания стилистических единиц тоже значительно изменились, так как социальные функции и цели речевых сообщений оказались по-новому сформированы и определены новой социальной действительностью. Следовательно, в речевых жанрах дважды отразились социальные сдвиги нашего века: ее влияние испытали и языковые парадигмы стиля, и типизированные речевые стилистические синтагмы.

**9.** Для изучения «внешних» и внутренних закономерностей в развитии русского языка нашей эпохи особенно важно историческое описание таких речевых жанров:

- I) передовая статья в газете;  
официальная речь на внешнеполитическую тему;  
выступление на митинге;  
прокламация;  
судебная речь;  
газетный фельетон;
- II) статья в научно-популярном журнале;  
вводная лекция по определенной дисциплине;

- начальные разделы учебника по общеобразовательной дисциплине;  
 коллоквиум ученых разных специальностей;  
 газетный отчет о научном совещании;
- III) законодательный акт;  
 воинский устав;  
 деловое соглашение;
- IV) лирическое стихотворение;
- V) бытовой диалог;  
 дружеское письмо.

Как видно, речевые жанры объединяются в определенные группы, так называемые «функциональные разновидности речи» («публицистическая речь»; «научная речь»; «деловая речь»; «художественная речь»; «разговорная речь»). Эти группы определены и реальны лишь постольку, поскольку они обобщают речевые жанры, а в основе речевых жанров, лежит типическое сопряжение языковых стилистических противопоставлений<sup>65</sup>.

Намеченные выше речевые жанры пока нельзя определить более точно; важно лишь с самого начала брать для исследования очевидно однофункциональные и поэтому сопоставимые тексты; например: передовые статьи газеты «Беднота» и передовицы «Сельской жизни»; прокламации на юге России эпохи Гражданской войны и прокламации эпохи Великой Отечественной войны и т. д.

**10.** Жанр газетной передовицы — один из наиболее устойчивых речевых жанров, но и он испытал значительные изменения в течение последних десятилетий. Передовые статьи в газете «Беднота» (20-е годы) значительно отличаются от передовиц «Правды» или «Известий» того же времени. Язык их индивидуален и своеобразен. Вот достаточно типичный образец:

---

<sup>65</sup> Иногда предлагают начать исследование новаций в современном русском языке, вызванных социальными причинами, с изучения именно «функциональных разновидностей речи». Это предложение совершенно неприемлемо. Объективное определение числа и характера этих функциональных разновидностей речи окажется в полной мере возможным только после того, как будут изучены речевые жанры, а их изучение в свою очередь должно опереться на систему языковых стилистических противопоставлений. Иначе говоря: обобщению речевых явлений должно предшествовать как основополагающее изучение языковой системы, ее исторического развития.

Выдвинуть на первый план изучения функциональные типы речи — значит вернуться к атомизму, к изучению отдельностей в языке. Очевидно, что по отношению друг к другу функциональные типы речи не образуют системы; системно то, что их строит, т. е. лежащие в основе речевых жанров стилистические языковые контрасты.

«Приближается переселенческая кампания 1926 года. Надо теперь же обмозговать один существенный вопрос, связанный с судьбой одиночек-переселенцев.

Переселиться — значит сломать свое хозяйство на старом месте и начать устраиваться на новом месте, в новых, большей частью неизвестных и часто тяжелых условиях. Риска в переселении много.

Одни выигрывают от переселения, другие — проигрывают. Советская власть стремится поставить переселение так, чтоб риска не было никакого, а всякий переселяющийся мог найти на новом месте всякого рода помощь и совет и, следовательно, хорошо устроиться. Но пока еще дело так не поставлено — не хватает средств. При таком положении переселенцам нужно самим позаботиться о себе и крепко задуматься над тем, как бы обставить переселение таким образом, чтобы из него наверное вышел толк и переселенцам не пришлось вновь возвращаться на старое место к разбитому корыту.

Одним из таких средств надо считать кооперацию. Для этого Наркомзем разработал особый устав переселенческого кооперативного товарищества и еще в прошлом году разослал их в земельные управления. При этом Наркомзем преследовал такую цель, чтобы переселяющиеся, еще не трогаясь с места, объединялись в кооперативное товарищество и тронулись в новые места не врассыпную, а объединенно. Успех переселения больше чем наполовину зависит от того, как составилось товарищество, какие люди вошли в него и как товарищество подготовилось к переселению.

⟨...⟩ Как на пример того, какие преимущества дает объединение в кооперативы, можно указать на Брянскую артель, поселившуюся в Новоузенском уезде, Саратовской губ.

Артель образовалась еще на месте в Брянской губернии. Особенность этой артели состоит в том, что в нее вошли не только крестьяне-землеробы, но и рабочие с Брянского завода. Сам председатель этой артели, тов. Комаров, тоже рабочий. Плохо это или хорошо? Оказалось, очень хорошо.

Благодаря тому, что в артели оказались мастеровые, артель сумела сразу же, в первые месяцы после своего прибытия, организовать мастерские по починке инвентаря. ⟨...⟩ Уже и теперь, едва только прибыв на место, артель оказывает много услуг окружающему населению, а пройдет год, и она делается совершенно необходимой для целого округа» («Беднота», 3 января 1926 года).

Лексика передовых статей «Бедноты» — это почти исключительно слова нейтрального стиля; они тактично и умело сочетаются со словами книжными и бытовыми. Книжные слова используются как вставки, они истолковываются, даны в синонимическом ряду. Введение их продиктовано необходимостью: это слова-термины, несущие политические и общественные понятия; их нейтральные синонимы нетерминологичны. Контекст, в который вводятся эти слова, как правило, отличается особой прозрачностью и четкостью.



Напротив, разговорные лексические единицы (в том числе разнообразные фразеологизмы) естественно вливаются в текст, придавая ему общий тон непринужденности: передовая статья задумана как беседа автора — представителя газеты — с читателем. Найдены тонкие приемы слияния друг с другом нейтральных и разговорных речевых единиц: использованы слова, слабо окрашенные разговорностью, почти сливающиеся с нейтральным стилем, или нейтральные лексические единицы в разговорных окказиональных оттенках и т. д.

Умело вводятся слова, в основе своей диалектные, но ясные по морфологическому строению и понятные любому читателю (ср. в приведенном тексте: *землероб*). Авторы передовых статей в выборе лексики постоянно исходят из языковых навыков читателя, тактично изменяя эти навыки в сторону большей книжности.

В передовицах «Бедноты» глагол играет очень важную, семантически активную роль; его предельная смысловая наполненность необычна для газетной публицистики. Словообразовательные модели разнообразны, многие из них более регулярны, чем можно было бы ожидать от письменной, книжной речи (например, слова с суффиксом *-к(а)*: *починка, разброска*) и т. д.

Синтаксис строится в основном на использовании нейтральных моделей, но есть и струя разговорности. Редки синтаксически многочисленные книжные конструкции. В сложных предложениях составные их части (простые предложения) разговорно-лаконичны и просты по строению. Слова входят, как правило, в живые синтаксические сочетания, не стандартизованные, не связанные с шаблонным лексическим наполнением.

Передовые статьи «Сельской жизни» сильно отличаются от передовиц «Бедноты»; и в лексике, и в синтаксисе очень значительна струя книжности, хотя она, вероятно, не так сильна, как в передовых статьях иных газет. Разговорные элементы очень редки и не характерны для стиля передовых «Сельской жизни».

Глагол нередко является семантически ослабленной частью фразеологизмов; зато очень разнообразны и гибки именные конструкции. Фразеологизмы имеют книжный характер; значительная часть лексики входит в устойчивые шаблонные сочетания. Вместе с тем возросла точность словоупотребления; шире используется терминологическая лексика.

Передовицы «Сельской жизни» в стилистическом отношении значительно меньше отличаются от статей того же жанра в других газетах, чем статьи «Бедноты» от статей, например, в «Правде» или «Известиях» 20-х годов. Стиль их неиндивидуален, крайне обобщен; это не беседа определенного лица, представляющего газету, а голос редакции в целом.

Причины этих изменений в одной из разновидностей речевых жанров многообразны: распространение среднего образования в деревне; преодоле-

ние многих различий в жизни города и села; возросшая роль публицистической речи, в частности газетной, в общественной речи; с другой стороны — сложные условия для развития некоторых жанров публицистики в период культа личности, ее унификация, ее ориентировка на очень ограниченное число образцов. Условия эти ушли в прошлое, но стилистическая инерция дает еще себя знать.

Даже схематическое и упрощенное описание показывает, насколько важны выводы, которые позволяет сделать изучение исторических изменений в речевых жанрах.

11. Особое место среди функциональных типов речи занимает речь художественная. Она чутко и многосторонне отражает изменения в современной речевой стихии, в речевом быте; данные ее — ценные свидетельства об исторических изменениях в языке.

Но она не только свидетель. Язык художественной литературы по своим законам преобразует бытовую, публицистическую, научную речь; преобразуя, он выявляет потенции общего языкового развития.

Лирика символистов начала XX века (Ф. Сологуб, В. Брюсов, З. Гиппиус, И. Коневской, В. Бестужев, К. Бальмонт) строилась на метафорическом переосмыслении слова; на выдвижении в нем абстрагированно-качественных значений; назывная функция слова, его непосредственная направленность на предмет, ступень вывалилась и отодвигалась на второй план. Иногда стихотворение целиком представляет поток метафорических переосмыслений: все лишено предметной соотнесенности и превращено в эмоционально-напряженные знаки абстракций:

Во мгле почиет день туманный,  
Воздвигся мир вокруг стеной,  
И нет пути передо мной  
К стране вотще обетованной.

И только звук, неясный звук  
Порой доносится оттуда,  
Но в долгом ожиданьи чуда  
Забуть ли горечь долгих мук!

*Ф. Сологуб*

Другой пример, еще более типичный (стихотворение В. Бестужева «Смерть — человеку»):

Бытие ночей пустынных  
Безобразных дней и длинных —  
Утомительную нить  
В час бесстрадный к прялке жадной

Притяну рукой нещадной, —  
И опять ты будешь жить...

В этой строфе, пожалуй, только слово *бытие* не подверглось метафорическому переосмыслению.

Символистами в слове ценится не просто метафоричность, а возможность метафорического многоосмысления; ценится беспредельная, не стиснутая логическими рамками иносказательность. Слово у символистов начала века не столько положительный носитель абстрактно-метафорических значений, сколько величина с отрицательной характеристикой: в нем важно угасание непосредственно назывной функции слова; оно работает как «неноситель» этой функции. Отсюда — плывущий, неопределенно-многозначный смысл слова.

Такое использование слова влечет за собой установку на архаическую и экзотическую лексику: именно она, как сказано выше (§ 6), не составляя целостного семантического поля (или целостных полей), стимулирует вариантность, текучее непостоянство слова.

Существительные у старших символистов превращены в качественные прилагательные: в них убито предметное и стимулировано качественное значение. Прилагательные (как часть речи) вообще доминируют в символистском стихе. Все, что не способно переосмыслиться в нечто качественное, превращено в нейтральный фон, в семантические связи.

Значение контекста предельно ослаблено — чтобы освободить слово для бесконечного перетекания смыслов в нем. Отсюда — геометризм синтаксиса. Синтаксические конструкции в стихе Брюсова или Бальмонта однотипны, они создают почву для стиховых повторов и строгой строфичности. Единобразие синтаксиса формирует однотипные рамки для слов, не позволяет им, варьируясь в разных конструкциях, выявить в различных семантико-синтаксических пересечениях свое точное номинативное значение.

Слово у поэтов этой школы включено в бесконечный «парадигматический ряд»: оно имеет безграничное число синонимов, так как значение его в стихе допускает неопределенное количество переосмыслений. Его синтагматические связи ослаблены, оно существует при нейтрализованном контексте.

Фоническая организация стиха также служит текучести смыслов слова. Она насквозь пронизана звуковыми повторами; наиболее характерны слоговые повторы (в частности внутренняя рифма), которые создают особенно насыщенную звуковую ткань стиха. Означаемое и означающее в слове до известной степени антагонистичны: если внимание говорящих привлечено к означающему, к звуковой ткани стиха, то оно улавливает в означаемом, в потоке смыслов, только общий эмоциональный тип лексики и повторяющиеся, нагнетаемые из стиха в стих, из строфы в строфу оттенки смыслов. Так, поч-

ти полностью выпадает из поля зрения конкретно-смысловой строй такого стихотворения:

Моря вязкий шум,  
Вторя пляске дум,  
Злится, — где-то там...  
Мнится, это — к нам  
Давний, дальний год  
В ставни спальни бьет.

Перенасыщенность звуковыми повторами была оправдана общим заданием стиха ранних символистов.

12. У «младших символистов» (А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов, В. Ходасевич) стих перестраивается по-иному. Семантическая вариантность словесных единиц становится ограниченной. В ткань стиха вводятся конкретные слова быта; они пронизываются общим семантическим тоном стиха, общей семантической «дематериализацией», т. е. приглушением номинативной функции речи. С другой стороны, они контрастируют с общим метафорично-символическим фоном стиха. Возникают синтагматические контрасты и напряжения: сталкиваются слова быта (в которых есть отзвуки метафоричности и символики) и слова отвлечений и эмоциональных абстракций (на которые наслаиваются конкретно-бытовые оттенки значений). Эти контрасты усложняют поэтическое слово; в нем теперь сочетаются и метафорические переосмысления, и конкретно-назывное значение: одно мерцает сквозь другое.

Тонко и многосторонне разрабатываются в синтаксисе конструкции, воплощающие оттенки обобщенных и неопределенно-личных значений:

Днем за нашей стеной молчали, —  
Кто-то злой измерял свою совесть.  
И к вечеру мы услышали,  
Как раскрылась странная повесть.

Вчера еще были объятия,  
Еще там улыбалось и пело.  
По крику, по шороху платья  
Мы узнали свершенное дело.

Там в книге открылась страница,  
И ее пропустить не смели...  
А утром узнала столица  
То, о чем говорили неделю...

*А. Блок*

Синтаксический геометризм сменяется синтаксической подвижностью и контрастностью.

Семантический строй слова и типичные грамматические связи в стихе «младших символистов» могут быть характеризованы (по сравнению со стихом «старших символистов») следующим образом: ограничиваются синонимические ряды, связанные со словом, преобразенным в стихе; усиливается синтагматическая конструктивность в лексико-семантическом и синтаксическом плане.

13. Акмеисты (А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузмин, Н. Гумилев, С. Городецкий) продолжают движение по этому же пути:

Звенела музыка в саду  
 Таким невыразимым горем.  
 Свежо и остро пахли морем  
 На блюде устрицы во льду.

*А. Ахматова*

«Сравнительность, метафоричность ушла в глубь стиха. Музыка сопоставлена с запахом устриц, а устрицы возвращают море» (В. Б. Шкловский, 1940).

В слове оказались полноправными и конкретно-назывная его функция и функция метафорически-понятийная. Метафоричность символистов была ориентирована на традицию, на использование стабилизированных в книжной речи смысловых возможностей слова. Так, *Александр Македонский* конденсировал в себе *могущество, власть, «неустанное стремление от судьбы к иной судьбе»* (В. Брюсов); *нить Парки* — *судьбу, предначертание будущего, человеческую жизнь* и т. д. Метафоричность акмеистов задана конкретным текстом и выявляется в его синтагматических связях:

Высоко в небе облачко серело,  
 Как беличья расстеленная шкурка  
 ⟨...⟩  
 В пушистой муфте руки холодели,  
 Мне стало страшно, стало как-то смутно.  
 О, как вернуть вас, быстрые недели  
 Его любви, воздушной и минутной!

*А. Ахматова*

«Любовь, воздушная и минутная, связана с тающим облаком. Облако конкретное, маленькая беличья шкурка, стали знаменем акмеизма» (В. Б. Шкловский, 1940).

Вещные, объемные, осязаемые слова выстраиваются в синтагматические ряды, образуя свое, стихом заданное, семантическое поле. Они не повторяют друг друга в своей качественной абстрагированности, а определяют и ограничивают друг друга. У А. Ахматовой «слова не сливаются, а только соприкасаются — как частицы мозаичной картины. Именно поэтому они обнару-

живают перед нами оттенки своих значений» (Б. М. Эйхенбаум, 1923). Одно слово перестраивает значение другого слова; слова испытывают давление других, «ключевых» слов — и связываются стихом в семантические ряды:

Я по лесенке приставной  
Лез на включенный сеновал, —  
Я дышал звезд млечных трухой,  
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить  
Удлиненных звучаний рой,  
В этой вечной склоке ловить  
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше медведицы семь.  
Добрых чувств на земле пять.  
Набухает, звенит темь,  
И растет и звенит опять.

⟨...⟩

Не своей чешуей шуршим,  
Против шерсти мира поем.  
Лиру строим, словно спешим  
Обрасти косматым руном...

*О. Мандельштам*

У акмеистов слова, связанные в семантическое поле отдельного стихотворения, — обычно существительные. В их поэтическом языке существительное вообще главенствует; глубоко на задний план отодвинуто прилагательное. Оно используется часто только затем, чтобы помочь существительным войти в семантическое сцепление, образовать в стихе взаимосвязанный ряд (ср.: *облачко серело... — ...его любви, воздушной и минутной*).

Таким образом, у акмеистов оказались усиленными синтагматические связи слов и вместе с тем ограничен ассоциативный ряд, который вызывается каждым словом.

Звуковая организация стиха строится сразу по двум линиям: создается мелодическое движение в строке; используется говорной стих. «Приравненные друг другу единой, хорошо знакомой мелодией, слова окрашиваются одной эмоцией, и их странный порядок, их иерархия становятся обязательными. Каждая перестройка мелодии у Мандельштама — это прежде всего мена смыслового строя» (Ю. Н. Тынянов, 1924).

Говорной стих, паузник, свободный стих очень характерны для акмеистов; эти стиховые системы помогают отделить слова друг от друга, фонетически и семантически обособить их, придать каждому полнозвучность и самостоятельность.

В звуковой инструментовке начинает господствовать артикуляционный принцип. Например, в стихах А. Ахматовой обычен контраст губных — негубных гласных, т. е. контраст артикуляторно наиболее выразительный и осязаемый (Б. М. Эйхенбаум, 1923). Все это создает пластически-определенное, моторно-напряженное движение в стиховой строке и строфе.

14. «Левые акмеисты» (В. Нарбут, М. Зенкевич, С. Нельдихен, Б. Лившиц) развивали те же тенденции, выявляя их более резко и контрастно. Они вплотную смыкаются с поэтами «Гилеи» и «Центрифуги».

15. В стихотворениях В. Хлебникова, Е. Гуро, В. Маяковского, В. Каменского, Н. Асеева (и других поэтов того же направления) слово осознано как член синтагматического целого; у них это основной принцип построения поэтической речи. Слово превращено в материал, способный резко и индивидуально менять свое значение под влиянием контекста. У поэтов предшествующих школ «ассоциативная связь по сходству уже объявлялась отмычкой, открывающей двери искусства. Маяковский и Пастернак повели стих по ассоциации по смежности» (В. Б. Шкловский, 1940). В «парадигматическом ряду» оказывается важным только одно соотношение: слово в данном, резко индивидуальном осмыслении и то же слово в обычном («прозаическом») значении. Функционально значимым в поэтическом тексте оказывается контраст между этими двумя семантическими полюсами (узуальным иokkaзиональным):

Полк узеньких улиц.  
Я исхлестан камнями!  
Бульжные плети  
Исхлестали глаза!  
Пощады небо не даст!  
Пулей пытливых взглядов  
Тысячи раз я пророгожен.  
Высекли плечи  
Бульжные плети!  
Лишь башня из синих камней на мосту  
Смотрела Богоматерью.  
Серые стены стегали  
Вечерний рынок.  
Воронья яйца!  
«Один — один шай» — «Один — один шай».  
Лёви, лови!

*В. Хлебников*

Ориентация на синтагматический план соотношения единиц вызывает стремление к словотворчеству: поэтические неологизмы особенно отзывчивы

к влиянию контекста, т. е. единственного окружения, в котором они встречаются: только этим контекстом и конкретизируется значение, намеченное их морфемным составом. Контрастно-парадигматические отношения в данном случае возникают между внутренней формой обычного обозначения данного объекта и внутренней формой неологизма (ср. *лентяи* — *лежюги*, *месяц* — *небич*, и т. д.).

Установка на синтагматическое взаимодействие также стимулирует напряженное использование неологизмов: неологизм представляет собой ясно членимую единицу; соотношение ее частей отстранено.

Русский футуризм был подчеркнуто филологичен: материалом искусства стало слово как таковое. У поэтов предшествующих школ соотношение слов всегда несло соотношение разных объектов (*белчьего шкурка* — *облако* — *любовь*; *сон* — *сеновал* — *век*...). У Хлебникова семантический сдвиг в словах *исхлестан*, *исхлестали* (не сводимый к простому сравнению) связан с соотношением обычного и необычного значения слова; необычное возникает из обычного как его преобразование. Прозаическое, бытовое значение важно как показатель смелости и резкости сдвига, как фон, на котором выясняется новое значение.

Это контрастное взаимодействие разыгрывается между значениями слова (одно из которых вытесняется и устраняется другим); героями конфликта являются именно значения слов — отсюда обостренный филологизм Хлебникова и его соратников. В своем предельном выражении он ведет к попыткам создать поэтический текст опираясь только на фонетику слова (В. Хлебников, В. Каменский, И. Зданевич, А. Крученых).

Уже у «левых акмеистов» лексика специализирована, она ориентируется или на научную терминологию (М. Зенкевич), или на словарь быта со всеми его интимными и запретными названиями (В. Нарбут) и т. д. Эта индивидуализация усилена футуристами-гилейцами: у них отдельные куски стихотворных произведений ориентированы на замкнутые арготические системы. Этим создается синтагматическое движение в стихе, ряд напряжений и разрядов. В качестве одного из контрастных элементов в поэтические синтагмы входит подчеркнуто-разговорная речь, постепенно оттесняя остальные системы.

**16.** В творчестве В. Маяковского, Н. Асеева, С. Третьякова, П. Незнамова эта поэтическая система прошла длительный и насыщенный путь развития. Все более сильной и последовательной становилась ориентация на разговорную речь. Разговорная речь по природе своей синтагматически пестра, подвижна; она дает большой материал для построения поэтических контрастов. В стихотворениях В. Маяковского двадцатых годов дана тончайшая разработка этих контрастов; стихи его представляют собой поэтический монолог, созданный средствами бытовой диалогической речи.



17. В 20-х годах законы поэтической синтагматики становятся ведущими в практике поэтов.

Ответвляется от этого движения, пожалуй, только творчество некоторых поэтов пролеткульта (М. Герасимов, В. Кириллов). Они разрабатывают символистское наследие; многое в их стихе построено по моделям стиха ранних символистов. Но есть существенное различие: они разрабатывают не символику слова, используют не возможности многозначно-неопределенного варьирования значения слова в ослабленном синтагматическом единстве, а эмблематику слова. Это меняет всю систему стихотворной речи.

18. В 20-х годах возникают поэтические системы, построенные на многолинейном сочетании словесных цепей; синтагматические единства становятся сложными и перебивают друг друга (Б. Пастернак, М. Цветаева). Слово, преобразованное в синтагме, перекликается с другим словом, преобразованным в другой синтагме, — и так создается цепная соотносительность синтагм. Это очевидно в стихотворении М. Цветаевой «Рельсы»<sup>66</sup>. Лексическое единство *железнодорожные полотна*, с одной стороны, притягивает к себе тему разлуки, тему самоубийства — такое метафорическое осмысление традиционно уже заключено в исходном сочетании (ср. «На железной дороге» А. Блока). Развертывается семантическое поле, связанное с этой тематикой. Этот ряд все время перебивается и деформируется другим рядом, основанным на бытовом осмыслении слова *полотна*: *рельсовая режущая синь — плачет, как последняя швея — железнодорожные полотна ножницами режущий гудок* и т. д. Этот ряд не просто метафоричен, не дан как внешнее иносказание по отношению к основному ряду: постоянно перебивая этот основной ряд, он вносит в него новые семантические осмысления. Последняя строфа снова соединяет оба ряда: семантическое поле разлука — ‘самоубийство’ и поле бытовых осмыслений, вызванных словом *полотно*:

Растекись напрасною зарею,  
Красное, напрасное пятно!  
... Молодые женщины порою  
Льстятся на такое полотно.

Точно так же и у Б. Пастернака часто дается несколько семантических словесных рядов, внутренне связанных; стих строится как цепь синтагматических сочетаний единиц того и другого ряда; идет постоянное смысловое переключение из одного ряда в другой. Это создает возможности драматизации лирики: каждое семантическое поле прорывается, прорезывается другим семантическим полем; смысловые связи напряженно преодолевают ограниченность и замкнутость каждого поля.

<sup>66</sup> См.: Цветаева М. Избранное. М., 1961. С. 159—160.

Такому семантическому строю отвечает и ритмика стихотворений М. Цветаевой и Б. Пастернака. Дана строгая метрическая сеть, но она преодолевается резкими enjambements:

Пушкинское: сколько их, куда их  
Гонит! (Миновало: не поют!)  
Это уезжают-покидают,  
Это остывают-отстают.

Это — остаются. Боль, как нота  
Высящаяся... Поверх любви  
Высящаяся... Женою Лота  
Насыпью застывшие столбы...

Ср. у Б. Пастернака:

В посаде, куда ни одна нога  
Не ступала, лишь ворожей да вьюги  
Ступала нога, в бесноватой округе,  
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна  
Нога не ступала, лишь ворожей  
Да вьюги ступала нога, до окна  
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Строгий метрический каркас все время перехлестывается синтационно-синтаксическими единствами; они вырываются из геометризма метрики; метр нужен именно для того, чтобы на его неподвижной сетке ясно была видна напряженная динамика синтаксиса. Эту функцию классический метр выполняет и в стихах П. Антокольского, поздних произведениях В. Маяковского и других поэтов.

Принцип словесного построения стиха у многих поэтов 20-х годов можно описать, следовательно, таким образом: каждая синтагма (с семантически преобразованными словами) воспринимается на фоне других, данных в том же тексте. Семантически преобразованные слова сочетаются в цепи; возникают сложные взаимодействия между этими цепями. Один ряд служит для другого фоном, контрастным или поддерживающим. Строение поэтического текста по таким моделям глубоко разрабатывалось в произведениях Н. Тихонова, Э. Багрицкого и других поэтов.

19. «Возрождение стиха» в XX веке<sup>67</sup> было связано со стремительным развитием поэтического языка, его выразительных возможностей.

---

<sup>67</sup> Выражение М. Горького.

Это развитие было спаяно с постоянными воздействиями других речевых жанров, актуальных для той общественной сферы, которую идейно выражало данное поэтическое направление.

Например, поэтическая речь символистов была аналогом речи философской, она эстетически преображала речевые приемы философии, и притом именно философии идеалистической. Труды, например, В. Соловьева давали значительные возможности для такого преобразования.

Произведения некоторых поэтов, группировавшихся вокруг сборника «Знание», были построены по тем же моделям поэтического языка, что и произведения символистов. Близки к той же системе и многие стихотворения пролеткультовцев. Однако весьма существенно, что в этих произведениях оказался эстетически преображенным иной функциональный тип речи, иные речевые жанры — в первую очередь жанр прокламации и выступления на митинге.

**20.** На этом можно оборвать план изучения одного из жанров художественной речи — лирического стихотворения. Очевидно, что этот план-проспект, крайне схематичный и неполный, позволяет все же сделать следующие выводы:

а) Поэтическая речь все более полно включает элементы разговорности. Стих старших символистов насыщенно книжен; разговорные элементы проникают в произведения акмеистов; они становятся господствующими у поэтов 20-х годов. Активизация разговорной речевой стихии — процесс, общий для всех ярусов русского языка нашей эпохи и, очевидно, для всех функциональных типов современной русской речи. Этот процесс, эстетически преображенный, нашел свое воплощение и в языке русской лирики XX века.

б) Поэтические тексты приобретают большую способность все более синтагматически дробно, все на меньших участках изменять свою стилистическую окраску, включать контрастные стилистические элементы.

Эта способность развивается и в других речевых жанрах. Вероятно, справедливо предположение, что тенденция усилить стилистическую дробность текстов, сочетать разные стилевые единицы на меньших синтагматических участках характерна для всей современной русской речи, не только художественной (А. М. Сухотин, 1939).

в) В поэтической речи, как видно из краткого сопоставления различных стиховых систем, протекают два взаимосвязанных процесса: уменьшается парадигматическая сложность единиц; увеличивается их синтагматическая сложность. В нехудожественной речи (в научных, деловых, бытовых ее жанрах) движение идет, весьма вероятно, в ином направлении: синтагматические связи ослабевают, парадигматическая соотносительность становится все бо-

лее полной и широкой. Такое предположение подтверждается ростом агглютинативности в словообразовании; усилением аналитизма; превращением словообразовательных аффиксов в аффиксы, близкие к словоизменительным (это влечет за собой включение в парадигму новых членов) и т. д.

Значит, оправдывается гипотеза, что поэтической речи присущи устремления, противоположные устремлениям «прозаической» речи, т. е. не имеющей художественной функции (Л. П. Якубинский, 1919). Эти два противотечения (развитие художественной речи — развитие «прозаической» речи) не могут, однако, привести к речевым напряжениям и конфликтам, потому что осуществляются в разных планах, охватывают разные стороны языковой системы, подчиняют себе разные языковые единицы<sup>68</sup>.

**21.** Изучение эволюции различных речевых жанров позволяет более глубоко и многосторонне понять законы языкового развития в их диалектической сложности. Такое изучение необходимо и для того, чтобы оценить многообразные влияния социальных условий существования языка на его внутреннюю историю.

---

<sup>68</sup> Все сказанное вовсе не противоречит тому, что форма поэтического произведения всегда связана с его содержанием. Развитие поэтического языка имеет свои законы; каждый поэт по-своему, с определенными идейными целями использует то, что предоставляет ему развитие поэтического языка определенной эпохи. Впрочем, выражение «предоставляет ему» не точно: поэт не пользуется каким-то мертвым арсеналом средств, а сам его создает в процессе творчества; важно подчеркнуть, что, создавая эти средства, он зависит от предшественников и может преобразовать их наследие по определенным объективным законам. Эти законы развития поэтического языка обладают известной самостоятельностью и автономностью.



**Часть V**

**МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ**



**Фрагменты из монографии**  
**«Русский язык и советское общество.**  
**Словообразование современного литературного языка»\***

**Аббревиация**

**44.** Создание нового словообразовательного способа — явление в истории любого языка исключительно редкое. Но именно это редчайшее нововведение связано с развитием русского литературного языка революционных лет. Аббревиация из технического приема, скромно и безвестно существовавшего на окраинах литературной речи, превратилась в активнейший словообразовательный способ. Путь немалый: от малоупотребительного средства укоротить текст, чтобы меньше платить за телеграмму, до мощного способа образовывать слова нового революционного мира. Необычно также и бурное протекание этого процесса.

**60.** Борьба вокруг аббревиации имела серьезные «глубинные» причины, далеко не всегда ясные самим носителям языка.

Сложносокращенные слова несли в себе глубокое противоречие. Массовое их создание — едва ли не единственный случай, когда в русском языке революционной эпохи приобретает широкий размах процесс увеличения языкового кода; естественно, этот процесс, как обычно, связан с сокращением текста ⟨...⟩. Действительно, аббревиация удваивала и даже утраивала инвентарь корней и основ, инвентарь названий. Наряду с *советский* получило права синонимическое *сов-*, наряду с *Совет народных комиссаров* было узаконено *Совнарком* и *СНК* (эсэнкá). Уже говорилось, что решение антиномии «код — текст» в пользу кода не характерно для эпох демократизации языка. Таким эпохам, напротив, свойственно стимулировать сокращение кода при увеличении размеров текста.

---

\* Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование. Словообразование современного русского литературного языка / Под ред. М. В. Панаева. М.: Наука, 1968. С. 66, 89—91, 95—97, 98—99, 214—217, 225—226.



Приходится предположить, что аббревиатуры были вызваны к жизни (при «попустительстве», а затем и поддержке внутриязыковых законов) изменениями в объектах называемой, отражаемой в языке действительности, а отнюдь не влиянием демократизации языка, не тем, что изменился состав говорящих. Эти два ряда социальных причин — изменение объекта языка (отраженной в языке действительности) и субъекта языка (расширение круга носителей литературных норм) не всегда совпадают в своих воздействиях на языковое развитие.

В данном же случае они выступают даже антагонистично. Огромное количество новых реалий потребовало новых названий; были использованы для обозначения этих реалий сложные наименования и, как их удобный заместитель, аббревиатуры<sup>1</sup>. Но, при массовом производстве сокращений, они затрудняли понимание речи; их необычные грамматические и фонетические свойства мешали новым носителям литературного языка правильно их использовать.

Поэтому и оказался таким напряженным вопрос об этих нововведениях: широкое их распространение было порождено революцией и в то же время требовалось строгое ограничение их использования в речи, чтобы они не стали серьезной помехой в культурном строительстве революционной эпохи. Это диалектическое противоречие снималось только мастерством, языковым вкусом каждого пишущего и говорящего (блестящий пример — язык В. И. Ленина).

Дискуссия вокруг аббревиатур отражала описанное противоречие и до известной степени помогала его преодолеть.

Тогдашние рекомендации, если они имели ограничительный, а не уничтожительный характер<sup>2</sup>, при всей их вынужденной поспешности, а иногда и поверхностности, способствовали усовершенствованию вкуса, мастерства пишущих, критического отношения к аббревиатурам, сознательности в отборе аббревиатурных вариантов и т. п.

<sup>1</sup> В данном случае проявилась внутренняя антиномия между структурой и употреблением (...).

<sup>2</sup> Уничтожительные рекомендации были, однако, нередки. «В те годы еще господствовала, преимущественно у старой интеллигенции, точка зрения пуризма: новое в словоупотреблении и литературном словотворчестве охотно признавалось загрязняющим, искажающим литературный язык» (*Ожегов С. И.* Очередные вопросы культуры речи // Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955. С. 12). Вот примеры таких оценок: «Сокращения остаются в языке инородными телами, — и, равнодушный к их бытию, он извергает их по мере возможности» (*А. Г. Горифельд.* Указ. соч. С. 17). Или: «Мазоновский словарь сокращений к нашим дням уже наполовину полон мертвыми душами; Дложевский предсказывает даже их окончательное вымирание» (*Л. Успенский.* Русский язык после революции // *Slavia.* Роѣ. X. Seš. 1. 1931. S. 265).

66. В чем же причина такого торжества инициальных сокращений? Ведь неудобство их в речи очевидно: они не имеют внутренней формы (вернее, имеют мнимую внутреннюю форму) — по составу инициальной аббревиатуры нельзя узнать, что она обозначает. Сторонники инициальных сокращений рекомендуют любую необщественную аббревиатуру при первом упоминании в тексте для ясности расшифровывать; но это уже само по себе достаточно обременительное условие их употребления. Надежда, что постепенно нужда в таких расшифровках отпадет, так как люди привыкнут к данному сокращению, вряд ли оправдается: из нескольких тысяч инициальных аббревиатур лишь очень немногие настолько часто употребляются, что их можно запомнить. Большинство таких сокращений всегда будет нуждаться в пояснениях, следовательно, они, как правило, неудобны в обращении. Более того: обладая скрытой, затрудненной внутренней формой, они неизбежно будут вызывать ложные осмысления и неверные расшифровки<sup>3</sup>.

В общественной оценке инициальных аббревиатур значительную роль играет и эстетический критерий. Семантически невыразительные, они и в звуковом отношении нередко уродливы, — конечно, не все, но многие. Вокалически они крайне однообразны (назойливо повторяется [э]: *у-ээ-тэ-эм, гэ-бэ-эл, гэ-пэ-тэ-у*); по размещению согласных они зачастую уродливо-хаотичны: консонантные сочетания в них слишком часто бывают нетипичны для русского языка<sup>4</sup>.

Поэтому понятны общественные протесты против злоупотребления инициальными сокращениями в речи. Протесты повторяются с конца 30-х годов до наших дней: «Прямым издевательством над читателями являются бессмысленные сокращения, которыми все еще пестрят многие газеты. Вот заголовки из газеты „Батумский рабочий“ — „Практика студентов на *БНЗ* прошла неудовлетворительно“. Какой *БНЗ*? Что это значит? Только в одном номере газеты „Кусдинский льновод“ (Свердловская область) мы обнаружили следующие сокращения: *РКШ*, пожархана, лесозаг, *СПО*. Люди пишут об интересных, важных, волнующих событиях, о героизме труда. И вот живые яркие факты нашей жизни незадачливые газетчики обволакивают унылыми

<sup>3</sup> Вот характерный пример: Приятель, газетный художник, сказал при встрече: — Меняю место работы. Ухожу из редакции в *СХКБ*... — За многие годы все мы накопили известный навык в разгадывании труднопроизносимых буквосочетаний подобного рода, и потому я почти не смутился: — *СХКБ*? Что-то *сельскохозяйственное*? И что же ты собираешься там делать? — А вот и не угадал, — с торжеством сказал художник. — *СХКБ* — это значит: *специальное художественное конструкторское бюро*. Приходи в гости!.. (Лит. газ., 18 июня 1966).

<sup>4</sup> Однако сочетания, прямо противоречащие фонетическим законам, не допускаются. Ср.: *ФЗУ* = *фэ-зэ-у*, а не *эф-зэ-у*.

непонятными словами вроде *УКС, КПЦ, ДПД, ЛПТ*, замдир (это означает заместитель директора)» (Обзор печати в «Правде» от 2 февр. 1938).

Эстетический критерий с ростом общей языковой культуры становится весьма значимым для судьбы языковых новаций<sup>5</sup>. В 30-е и тем более последующие годы вряд ли возможно считать его второстепенным.

**67.** Несмотря на свои объективные недостатки, несмотря на многочисленные протесты в печати, инициальные аббревиатуры оказываются очень продуктивными; более того: по мере приближения к 60-м годам их продуктивность возрастает<sup>6</sup>.

Объясняется это несколькими причинами.

Многие из этих обозначений — результат канцелярского словотворчества. А канцелярит в последние два-три десятилетия оказывает заметное влияние на речь; сопротивляться этому влиянию особенно трудно, когда слова, созданные в духе канцелярита, являются самоназваниями учреждений, контор, отделов и т. д. Употребление их становится обязательным, если надо упомянуть эти, обобщенно говоря, «инстанции»: на инициальных сокращениях лежит в этом случае печать официально утвержденного названия.

С другой стороны, многие инициальные сокращения в письменных текстах являются не реальными языковыми единицами, а условно-графическими иероглифами, которые в живой речи совершенно не употребительны. Даже при чтении, например, газеты вслух (какому-либо кругу слушателей) такие иероглифы обычно заменяются полными названиями. В газете могут быть заглавия: «Выставка достижений *ПНР*», «Спортивные соревнования в *КНДР*». Но очень маловероятны такие реплики в живой речи: «Ты был на выставке достижений *пэ-эн-эр?*» — «Читал о спорте в *ка-эн-дэ-эр?*» Говорится: «в Корейской Демократической Республике», «достижения Польши или Польской Республики». Поэтому наплыв сокращений типа *ПНР, КНДР* говорит в значительной мере о росте условности нашего письма, а не о фактах языка.

Наконец, те инициальные аббревиатуры, которые действительно созданы как слова и приняты в язык, возможно, свидетельствуют о том, что имена собственные остаются верны своей давней и устойчивой особенности: немо-

---

<sup>5</sup> Конечно, и слоговые аббревиатуры, и частичносокращенные слова могут быть эстетически неприемлемы (ср. *шкраб, замдир*), но это не общее их качество.

<sup>6</sup> Некоторые инициальные сокращения по праву вошли в литературный язык. Они — максимально экономное средство обозначения для государств, учреждений и т. д., имеющих словесно-расчлененное название; поэтому для особенно частотных наименований такой экономный способ оправдывает себя — именно они-то и укрепляются в литературном языке как полноправные его члены (*СССР, РСФСР, ЦК, КПСС* и некот. др.).

тивированности. Действительно, большинство собственных имен не имеет внутренней формы. Это относится и к именам людей, и к названиям улиц, городов и т. д. В первые годы революции людям при рождении часто давали и мотивированные собственные имена (Витамин, Мир, Свобода и т. д.). Это оказалось неудобным, и последовал возврат к именам без живой внутренней формы. Наричательные названия не-лиц, конечно, в большей степени могут мириться с мотивированностью, но и здесь начинает действовать та же старая языковая тенденция.

С помощью инициальных аббревиатур, как говорилось, большей частью создаются имена собственные. Следовательно, реализуется стремление называть отдельный единичный объект условным именем — ведь инициальные сокращения имеют скрытую, неявную внутреннюю форму. Это переходная ступень к полностью немотивированному названию единичных объектов. Переход в некоторых случаях уже совершился; ср. названия магазинов: «Светлана», «Березка», «Изумруд» (60-е годы).

**69.** Наконец, надо указать еще один процесс: сближение аббревиатурных моделей с моделями словосложения. На стыке аббревиации и словосложения возникли конструкции, в которых первая, усеченная часть соединяется со второй с помощью соединительных гласных, например: *бензоколонка, вибробур, гермокабина, сейсмостойкость, эвакуогоспиталь, энергосистема* и т. п.

Сближение со словосложением сопровождается борьбой против информационной недостаточности усечений, за максимальное сохранение «матчасти» усекаемой основы, ср. неологизмы *керамзавод, эмальцех, якорцель*, а также *Саратовгэсстрой* (ср. более раннее — *Сардизель*), *Смоленскоблгаз* (ср. *Смолтэц*), *Главленинградстрой* (ср. *Ленметрострой*) и т. д. Сказывается стремление избежать омонимии отсечений-различителей в собственных названиях. Такая предусмотрительность при бурном росте новых промышленных центров и при стандартизации именовании для однотипных организаций представляется отнюдь не лишней.

В результате взаимодействия аббревиации и словосложения возникла и получила в послевоенное время продуктивность новая конструкция сложных имен собственных, в которых семантически представлена формула  $A + S$  (атрибут + субстантив), а структурное оформление основано на формуле  $S + S$ , например: *Воркутауголь, Бугульманефть, Бухаранефтегаз, Грузияфильм, Минусазолото, Востокруда, Фрунзеуголь* и проч. (ср. предшествовавшие им *Азнефть, Мосфильм, Симсукно* — Симбирское, *Яргубторг* — Ярославский и др.).

Следует отметить, что тенденция к минимальному сокращению основ прилагательных при сложении проявляется преимущественно в именах собственных — условных названиях трестов, главков, комбинатов, управлений,

контор и других организаций: употребляясь без расшифровки (в большинстве случаев ее нет и не было), условное название должно быть само по себе достаточно насыщенным информацией, ср.: *Куйбышевнефть*, *Чувашилес*, *Артемсоль* и проч. Эти названия конструируются, в отличие от аналогичных наименований 20-х годов, не на основе полного описательного имени, а без него, по аналогии с другими распространенными образованиями. Здесь независимость от синтаксической базы максимальная, в том числе и в названиях с сокращенным первым компонентом (*Дальрыба*, *Баинефть*). Это говорит об укреплении в языке соответствующих рядов слов, а кроме того, о прочной закреплённости вещественных значений за морфемами *Баи-*, *Даль-*, *Мос-*, *Лен-* и под.

**70.** Жизнь аббревиатур за полвека была напряженной и полной перемен. Вот основные события этой жизни:

20-е годы: господство слоговой аббревиации; массовая вариативность сложносокращенных слов; борьба за их упорядочение.

30-е и 40-е годы: стабилизация аббревиатурного словообразования; прекращение активного производства индивидуальных слоговых сокращений; становление и укрепление морфонологических норм; усиление инициального образования.

Послевоенные годы: усиленная регламентация и «грамматикализация» аббревиатур всех разновидностей.

Социальные факторы превратили аббревиацию из малоупотребительного технического средства сокращенной номинации в общеупотребительное языковое средство<sup>7</sup>. Высказывавшееся не раз мнение, что революция создала новый способ словообразования в литературном общеупотребительном языке, можно упрекнуть в некоторой неточности (предпосылки этого способа существовали и раньше) — но не в принципиальной неправильности. При этом надо подчеркнуть, что распространение сложносокращенных новообразований, в большинстве своем крайне агглютинативных, резко расчлененных на значимые части, было санкционировано и внутриязыковыми тенденциями. Более того: в ходе своего развития в литературном языке аббревиация становилась все агглютинативнее — об этом говорит устранение образований индивидуального строения, редких сокращенных элементов, употреблявшихся в единичных аббревиатурах, и т. д.

---

<sup>7</sup> Факты свидетельствуют о самобытных путях развития русской послереволюционной аббревиации. Любопытно, что даже в наше время слоговые сокращения с относительно регулярными компонентами (типа *педфак*, *рабфак*) не получили заметного развития в европейских языках и считаются эстетически неприемлемыми. См., например: *Schmidt W.* Deutsche Sprachkunde. Berlin, 1964. § 91. S. 137.

Развитие инициальной аббревиации, напротив, усиливает фузионное начало в языке, т. е. идет наперекор общей словообразовательной тенденции. Некоторые из инициальных аббревиатур войдут (или уже вошли) в литературный язык, но опасность злоупотребления ими будет уменьшаться по мере наступления на канцелярит, которое ведет сейчас советская общественность.

### Ступени членимости слова на морфемы

**148.** Степень вычленимости морфемы из слова может быть различной. Границы между морфемами в одних случаях более глубоки и резки, в других — менее глубоки. Можно наметить такие ступени членимости слова:

1) Дано слово *Аб* (здесь *А* — корень или основа; *б* — аффикс или сочетание аффиксов). И *А* и *б* встречаются в других словах. Пример: *летчик*, ср. *летать* и *разведчик*.

То есть: в языке существует и ряд *Аб*, *Ав*... (с общим для всех слов корневым значением)<sup>8</sup> и ряд *Аб*, *Бб*... (с общим для всех слов деривационным, словообразовательным значением). В этих случаях слово хорошо членится на морфемы *А* и *б*, морфемная граница предельно ясна.

2) Дано слово *Аб*, есть ряд *Аб*, *Ав* (с общим вещественным значением; при этом *Ав* должно хорошо члениться, т. е. соотноситься с *Бв*), но нет ряда *Аб*, *Бб* (который был бы объединен общим деривационным значением). Иначе говоря: элемент *б*, которому можно было бы приписать деривационное значение, встречается только в сопровождении *А*.

При данных условиях может осуществиться такая возможность: деривационное значение, которое можно приписать *б*, выражается аффиксом *г*, т. е. существуют хорошо членимые слова *Дг*, *Ег* и т. д.; *г* и *б* синонимичны. Пример: *пастух*; ср. *пасу*; но часть *-тух* не встречается в других словах (*титух* 'кто много пьет' сейчас стало неупотребительно). Однако значение лица, которое можно было бы приписать этой части слова, выражается аффиксами *-тель*, *-щик*.

Слова такого типа членятся на *А* и *б* менее резко, чем описанные в первом случае.

3) Дано слово *Аб*; для него осуществлены те условия, которые описаны в случае втором, но не осуществляется указанная там возможность: нет хорошо вычленимых аффиксов, которые можно было бы считать синонимичными для *б*. Пример: *стеклярус*. Членимость на *стекл-* и *-арус* слабее, чем во втором случае.

<sup>8</sup> Или значением производящей основы.

4) Дано слово *Аб*; есть ряд *Аб, Бб...*, но *А* встречается только в сопровождении *б* (т. е.: нет ряда *Аб, Ав*). Слово *Бб* хорошо членится, так как существует ряд *Бб, Бв...* Пример: *буженина*; часть *бужен'* - в других словах не встречается, но *-ина* со значением 'сорт мяса' встречается и в хорошо членимых словах: *кони́на, осетри́на* и под.

Слова, описанные здесь, членятся на морфемы менее резко, чем описанные в третьем случае.

5) Дано слово *Аб*; есть ряд *Аб, Бб*, объединенный общим деривационным значением, но *А* встречается только в сопровождении *б*. Однако в отличие от случая четвертого слово *Бб* (и *Вб, Гб*, если они есть) не членится так хорошо, как слова типа *буженина*: все корни *А, Б, В, Г...* встречаются только в сопровождении *б*. Пример: *малина*, ср. *кали́на, ряби́на, крушина*<sup>9</sup>.

Членимость таких слов на единицы *А* и *б* еще меньшая, чем в случае четвертом.

6) Дано слово *Аб*, причем есть сочетание *Ав*, но нет ни *Бб*, ни *Бв*. Пример: *коче-гар* и *коче-рга*. Нечленимость таких сочетаний очевидна. Между тем, у нас были основания предположить, что слова *кочегар* и *кочерга* — однокоренные: *кочегар* — 'тот, кто работает кочергой' (ср. *топорник* — 'пожарный, работающий топором'), *кочерга* — 'орудие кочегара'. Однако предположение не оправдывается, так как ни *-гар* (в значении суффикса деятеля, подобного суффиксу *-ник*), ни *-рга* (в значении суффикса орудия, ср. *-ло* в *точило*) не встречаются в соединении с иными, явными морфемами.

Описанную шкалу членимости можно представить в виде таблицы (см. табл. 15): членение слова *Аб* зависит от наличия слов *Ав, Бб, Бв* и *Дг* (последнее слово важно только для случаев 2 и 3 при условии, что *г* — синоним *б* и *Дг* — членимо, т. е. есть еще *Дв*).

Чем меньше «да» стоит в строке у каждого типа, тем менее членим этот тип (но и при одинаковом числе «да» членимость может быть разной, ср. строки 2, 3 и 4).

Таблица 16 повторяет 15, но клетки заполнены примерами.

Номера типов — это шкала членимости: чем выше номер, тем членимость меньше. Общее устремление к агглютинативности должно выражаться в том, что некоторые слова второго типа превращаются в тип первый, некоторые слова третьего типа — во второй или первый и т. д.; и таких слов

<sup>9</sup> *Рябина* и *рябой*, конечно, в современном языке не однокоренные слова. Есть четкий критерий (установленный Г. О. Винокуром), позволяющий определять, соотносятся ли производящее и производное слово как однокоренные: если одно слово (производное) можно объяснить через другое (производящее), то они — однокоренные. *Рябина* — не 'рябая ягода', поэтому *рябина* не того же корня, что *рябой*.

больше, чем слов, претерпевающих опрощение (переходящих с верхних на нижние ступени нашей таблицы).

Это усиление разграниченности морфем в составе слова — важнейший процесс, характеризующий существенные сдвиги в словообразовательной системе. Он не оставляет никаких «видимых», эмпирически наблюдаемых следов, поэтому обычно выпадает из поля зрения исследователей истории русского языка нашего времени.

Таблица 15

Дано слово <i>Аб</i>	Есть ли <i>Ав</i>	Есть ли <i>Бб</i>	Есть ли <i>Бв</i>	Есть ли <i>Дг</i>	Есть ли <i>Дв</i> *
Тип 1	Да	Да	Да	Безразлично	
Тип 2	Да	Нет	Да	Да	
Тип 3	Да	Нет	Да	Нет	
Тип 4	Нет	Да	Да	Безразлично	
Тип 5	Нет	Да	Нет	Безразлично	
Тип 6	Да	Нет	Нет	Безразлично	

\* Единица *Дв* вводится, чтобы показать членимость *Дг*.

Таблица 16

Дано слово <i>Аб</i>	Есть ли <i>Ав</i>	Есть ли <i>Бб</i>	Есть ли <i>Бв</i>	Есть ли <i>Дг</i>	Есть ли <i>Дв</i>
1. <i>Лет   чик</i>	<i>Лет   ать</i>	<i>Развед   чик</i>	<i>Развед   ать</i>	( <i>Пис   атель</i> )	<i>Пис   ать</i> )
2. <i>Пас   тух</i>	<i>Пас   у</i>	—	<i>Нес   у</i>	<i>Лет   чик</i>	<i>Лет   аю</i>
3. <i>Стекл   ярус</i>	<i>Стекл   янка</i>	—	<i>Дерев   яшка</i>	—	—
4. <i>Бужен   ина</i>	—	<i>Осепр   ина</i>	<i>Осепр   овый</i>		
5. <i>Мал   ина</i>	—	<i>Круш   ина</i>	—	( <i>Кост   яника</i> )	<i>Кост   яной</i> )
6. <i>Коче   гар</i>	<i>Коче   рга</i>	—	—	( <i>Топор   ник</i> )	<i>Топор</i> )

**155.** Итак, в современном русском языке идет интенсивный процесс словообразовательного освоения иноязычных слов. Он отражается прежде всего в появлении членимости у все большего числа слов, ранее нечленимых. Наблюдаются разные ступени этого процесса: от выделимости в ряду одного из элементов (при остаточности выделимости второго) до полного разложения слова на морфемы, когда части иноязычного слова идентифицируются как определенные морфемы в двух соотносительных рядах слов.

Расширяется свобода соединения русских и иноязычных элементов; происходит их функциональное выравнивание в системе русского словообразования. В результате этого не только пополняется инвентарь активных словообразовательных морфем, но и возникают новые словообразовательные структуры. Среди этих структур наибольшей новизной обладают существительные с иноязычными (обычно интернациональными) суффиксами, присоединяемыми к основе (русской или иноязычной) посредством интерфикса



-о-/-е-. Ср.: *ракет-о-дром*, *вод-о-дром*, *игр-о-тека*, *ткан-е-тека*, *круг-о-рама*, *цирк-о-рама*, *газ-о-фикация*, *тепл-о-фикация* и под. Считать подобные слова сложными нет оснований, так как отрезок, следующий за элементом -о-/-е-, в русском языке играет роль суффикса, а не корневой морфемы.

Сложными же, на наш взгляд, являются лишь слова, включающие не менее двух корневых морфем.

Косвенным свидетельством того, что в подобных словах в качестве суффикса выступают элементы *-дром*, *-тека*, *-рама*, *-лог*, *-бус* и под. (а не «*-одром*», «*-отека*»...), служит то обстоятельство, что при лексикализации таких морфем (употреблении в качестве самостоятельных слов, примеры см. выше, ср. также «*измы*»), они употребляются именно в таком виде, без интерфиксального -о-/-е-<sup>10</sup>. Таким образом, интерфикс -о-/-е- перестает быть исключительным показателем сложных слов, тем более что встречное течение — образование сложных слов без соединительного гласного — явление, активно развивающееся в современном языке.

**156.** Неверно было бы думать, что пополнение словаря новыми заимствованными словами, в основном терминологическими, всегда усиливает членимость слов. В большинстве случаев действительно увеличивается морфемная расчлененность слов; однако есть и другие факты, тоже в известной степени типичные. Рационалистически сознательный подход к построению слова, который обнаруживается именно в терминологии, может обеспечивать в некоторых случаях строгое сохранение определенной степени невычлененности аффикса во всех образованиях с этим аффиксом. Например, какой-нибудь суффикс, занимающий пятую ступень в шкале членимости (...), всегда используется в новых словах так, чтобы сохранить пятую ступень членимости.

---

<sup>10</sup> Это наблюдение было высказано Д. Н. Шмелевым в одном из устных выступлений.

## О членимости слов на морфемы\*

В 1947 г. акад. В. В. Виноградов, говоря о соотношении звуковой и семантической стороны языка, заметил: «В этом отношении даже эксперименты футуристов не лишены принципиального значения. Ведь В. Хлебников искал „способы изучать замену значения слов, вытекающую из замены одного звука другим“»<sup>1</sup>.

Неологизмы В. В. Хлебникова помогают проверить некоторые теоретические предположения, а именно предположения о законах членимости слова на морфемы. Эта статья посвящена морфемному строению слов, созданных В. В. Хлебниковым.

Степень вычленяемости морфемы из слова может быть различной. Границы между морфемами в одних случаях более глубоки и резки, в других — менее глубоки<sup>2</sup>.

Можно наметить 6 степеней членимости слова. Они представлены в таблице.

Тип	Сочетание				
	<i>Аб</i>	<i>Ав</i>	<i>Бб</i>	<i>Бв</i>	<i>Дз (и Дв)</i>
1	+	+	+	+	0
2	+	+	–	+	+
3	+	+	–	+	–
4	+	–	+	+	0
5	+	–	+	–	0
6	+	+	–	–	0

Большие буквы обозначают корень (или «радиксоид»), маленькие — аффикс (постфикс или префикс, в таблице они условно всегда обозначены после корня). Предполагается, что *з* и *б* синонимичны, притом в сочетании *Дз* аф-

\* Памяти акад. Виктора Владимировича Виноградова: Сб. ст. М., 1971. С. 170—179.

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947. С. 12 (цитируются слова В. Хлебникова; см.: Хлебников В. В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 329).

<sup>2</sup> Русский язык и советское общество: Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968. С. 214—217.

фикс *г* хорошо вычленяется, то есть существует сочетание *Дв* (наличие / отсутствие *Дг* важно только для типов 2 и 3).

Плюс — наличие данной единицы в языке, минус — ее отсутствие, ноль — наличие или отсутствие, безразлично.

Тип 1 дает максимально ясную членимость, тип 6 — это нечленимая единица, *А* и *б* срослись в целостный корень.

Примеры.

Тип 1: лет-чик (лет-ать, развед-чик, развед-ать).

Тип 2: пас-тух (пас-у, нес-у, пиль-щик, пил'-ить).

Тип 3: стекл'-арус (стекл-о, сен-о).

Тип 4: бужен'-ина (осетр'-ина, осетр-ы).

Тип 5: малина (крушина).

Тип 6: кочегар (кочерга), это слово нечленимо; *кочегар* ничем не отличается от *кенгуру*.

Морфема характеризуется: 1) значением, 2) морфонемным составом, 3) связью с определенным классом других морфем. Например, *-щик*, *-тель* связываются с глагольными (процессуальными) корнями. В нашей схеме учтена первая характеристика — значение: сопоставляются единицы, равные по семантике, как одинаковые по морфонемному составу, так и различные (синонимика аффиксов учтена разграничением 2-го и 3-го типов: введено отношение к единице *Дг*). Учтена и вторая, морфонологическая характеристика: сопоставляются единицы одинакового морфонемного строя. Третья же не учитывается. Можно исправить этот недостаток, каждый тип расщепить на двое. Первый подтип: в сочетании *Аб* есть морфема *б*, которая в словах *Бб*, *Вб*... присоединяется к корням типа *Н*; *А* — того же типа. Второй подтип: *А* — не типа *Н*, то есть в сочетании *Аб* морфема *б* не совсем та, что в сочетаниях *Бб*, *Вб*. Значит, наше расщепление типов произведено правильно, ведь все основано на том, есть ли та же морфема в других словах: морфема *-щик* присоединяется к глагольным основам (*пилить* — *пильщик*, *заготовлять* — *заготовщик*); в неологизме *топорщик* суффикс *-щик* присоединен к именной основе (нет глагола *топорить*), это не совсем тот же суффикс, что в словах *пильщик*, *заготовщик*, у него не тот третий признак. Принцип, положенный в основу классификации, остается, но третий признак, как менее явный, отодвинут на задний план: им различаются не типы, а подтипы.

Первую славу В. В. Хлебникову принесло стихотворение «Заклятие смехом»: «О, засмейтесь, смехачи...» (для большинства Хлебников остается, увы, автором только одной этой вещи). Все неологизмы «Заклятия смехом» прозрачны по своему строению, они на первой ступени членимости. Например: *смеєво* — *Аб*, *смейся* — *Ав*, *курево* — *Бб*, *курить* — *Бв*. Это, пожалуй, наименее прозрачный неологизм в «Заклятии», причина — в редкости и непродук-

тивности суффикса *-ево* (хотя *курево*, *печево*, *варево*, *жарево*, *крошево*, *топливо*, *месиво*)<sup>3</sup>.

Такой тип неологизмов част в ранних вещах поэта. На них целиком построена драма «Снежимочка» (1906) и «Любхо» (1909?).

Это вообще наиболее распространенный тип поэтических неологизмов. Почти все неологизмы И. Северянина, В. Маяковского, В. Каменского членятся по 1-му типу. Почему? Они созданы по образцу таких слов, которые сами относятся к первому типу, то есть членятся хорошо (*смеяньствуют* — *пьяньствуют*, *смеево* — *курево* и т. д.).

Хлебников подчеркивает их членимость, показывая в произведении парадигму таких неологизмов, заставляя читателя воспринимать и оценивать одно новообразование на фоне другого:

Воздушный воздухан.  
Воздухее воздухеи,  
Воздухее воздухини.  
Кольшистый колыхан,  
Кольхее колыхини,  
Кольхее колыхеи (V, 84)<sup>4</sup>.

В такой парадигме, однако, может быть движение: один неологизм не совсем подобен другому.

Я — отсвет, мученик будизны...  
Я — отцвет цветизны...  
Я — отволос прядущей смерти.  
Я — отголос кружащей смерти.  
Я — отколос грядущей зыби (II, 268).

*Отсвет*, *отцвет* — отглагольные существительные (ср. *отсвечивать*, *отцветать*), но второе — неологизм. Далее — слова, отодвинувшиеся от образа: они тоже с приставкой *от-* и корнем, равным существительному (ср. *свет*, *цвет* — и *волос*, *голос*, *колос*). Но это не отглагольные слова! И парадоксально, что в них процессуальность сильнее, чем в двух первых: *отсвет* — результат действия *отсвечивать*, *отцвет* — результат действия *отцветать* и притом это предметный, вещественный результат; процессуальность почти поглощена предметностью. Но *отволос* — прядь нитей Парки,

<sup>3</sup> Орфографическое различие *ево* — *иво* языкового значения не имеет. Состав аффикса: {иво}-{иво} (ср. *жниво*). Суффикс объединяет два оттенка значения: 1) *крошево*, *варево*, *печево*, *жарево* — 'то, что крошено, варено, печено, жарено' 2) *курево* — 'то, что курят', *топливо* — 'то, чем топят', *жниво* — 'то, что жнут'.

<sup>4</sup> Далее в тексте приняты обозначения: цифры I, II, III, IV, V — тома собрания сочинений В. В. Хлебникова (Л., 1929—1933).

отделенная от других, уже кому-то предназначенная; *отколос* — один колос на волнующейся (людской) ниве, отъединенный от других; *отголос* — отражение голоса смерти, ее эхо (может быть, ее отдельное восклицание). Здесь не предметность накладывается на глагольность и поглощает ее, а наоборот: глагольность накладывается на предметность, преобразуя ее в процессуальность.

Среди неологизмов, построенных по образцу слов 1-го типа, обнаруживается движение (внутри этого типа) от первого подтипа ко второму.

В неологизмах этого типа Хлебников стремится соединять морфемы, которые в использованном образце не соединяются.

Я землин, но небич, — свиристел голосок,  
Я деннич, но нощич ведьмин (II, 263).

Я милош к тебе бегу,  
Я мильню тела алчу (II, 265).

Кому сказатеньки,  
Как важно жила барынька (II, 39).

Овчарковатый и понурый  
С пушистым облаком усов... (V, 50.)

Мы друг в друга любуны.  
Погубовники! Полюбовники! (VI, 99.)

И, взяв за руку, повел в гордешницу.  
Здесь висели ясные лики предков (IV, 15).

В последнем двустии слово *гордешница* ‘портретная’; с аффиксальной частью *-эшиница* предметные существительные не образуются от прилагательных или глаголов (ср. *столешиница*, *городошиница*).

Неологизмы этого ручного (прирученного) типа не очень типичны для стихов Хлебникова. Они исходная точка его словотворчества, подошва той горы, на которую он начинает восход (и эта подошва, как уже сказано, хорошо заселена).

Первый горный перевал — это неологизмы, образованные по образцу слов, имеющих уникальные аффиксы — аффиксы, свойственные одному слову. Это типы 2-й и 3-й.

И, читая резьмо лешего... (IV, 15.)

Резьмодей же побег за берестой содеять новое тисьмо (IV, 15).

(Ср. *письмо*.)

Умнядь вспорхнула в глазовом озере (II, 105).

О, чистая лучшадь, ты здесь,  
Ты здесь в этом вихре проклятий? (II, 187).

(Ср. *чернядь*.)

- Владавец множества рабов... (II, 65.)  
(Ср. *красавец*.)
- Речь моя плясавица  
По чужим утесам (II, 83).  
(Ср. *красавица*.)
- Дорогами облачных сдвигов  
Летели как синий Темнигов (III, 73).  
(Ср. *Чернигов*.)
- Белейшина — облако (IV, 13).  
(Ср. *старейшина*.)
- Я любовы темный ясень (II, 19).  
(Ср. *дубровы*.)
- О лебедиво,  
О озари! (II, 37).  
(Ср. *огниво*.)
- Сюда, училицы молодые (II, 75).  
(Ср. *кормилицы*.)
- Белун стоял, кусая ус... (II, 63).  
(Ср. *горбун*)<sup>5</sup>.

Такие неологизмы, как сказано, образованы на основе слов 2-й и 3-й ступеней членимости. Если бы неологизмы Хлебникова были словами обычной, бытовой, а не поэтической речи, они подняли бы те слова, по образцу которых они созданы, до 1-й ступени. В самом деле, есть слово *письмо*, суффикс (с окончанием) *-мо* только у него. Это 2-я ступень членимости<sup>6</sup>. Появились слова *резьмо* и *тисьмо*, т. е. послания, вырезанные на доске и тисненые на бересте, и *-мо* стал суффиксом, встречающимся в нескольких словах.

Но еще более любимы Хлебниковым неологизмы, построенные следующим образом: берется незначимая часть слова (не морфема) и прибавляется в качестве аффикса к избранному корню (это второй горный перевал):

- И каждого мнестр и мнестр,  
Как в море русское, струился в навину (II, 190).  
(Ср. *Днепр* и *Днестр*.)
- Кругом заросло красивняком и мыслокой (IV, 9).  
(Ср. *осокой*.)

<sup>5</sup> Отмеченные в толковом словаре под ред. Д. Н. Ушакова *слепун*, *толстун*, *кривун* вряд ли надо принимать во внимание (не употребительны).

<sup>6</sup> Ср. синонимический суффикс *-к(а)* с тем же значением (*замазка*, *окраска*).

- (Ср. *коростель*.) Лось проходила сохатая... Свирела свиристель (IV, 9).  
Я любистель! Я негистель! (I, 19).
- (Ср. *державу*.) Свинец согласно ненавидим —  
Сию железную летаву... (II, 187).
- (Ср. *проемы*.) Синемы взоров...
- (Ср. *витязь*.) Веязь сил молодых (II, 18).  
Нав жиязя манит... (II, 192).
- (Ср. *балагурит*.) Это парус рекача  
Бурегурит рокоча (III, 202).
- (Ср. *Ярославль*.) Они голубой Тихославль...  
Они в никогда улетабль...  
Они улетят в Никогдавь (III, 73).
- (Ср. *орел*.) Гордо тяжкий пролетал мирёл, пустовея орлино согнутым  
кловом (IV, 10).
- (Ср. *колесо*.) ... Шумное крыл махесо...  
... Звездное лиц сисесо... (III, 73).
- (Ср. *серебро*.) И гасло милых милебро (II, 190).

Слово-модель может быть дано тут же в тексте:

В тумане грезобы  
Восстали грезогы,  
В туманных тревогах  
Восстали чертогы (II, 16).

Неологизмы этого типа объединяют значения слова, от которого отрезан морфемный конец, и значение корня. Неологизмы *мнепр* и *мнестр* заставляют каждого человека, каждую личность (*мне-*) представить рекой (*Днепр*, *Днестр*); они «струятся в нави́ну», в смерть (от *нав* ‘мертвый’; «Война — смерть», 1913). Будь эти неологизмы обычными словами языка, они заставили бы члени́ться нечленимые основы. *Витязь* — слово с нечле-

нимой основой; появление слова *везь* делает его членимым на 4 ступени (à la *буженина*). Неологизмы, достроенные «по образцу» нечленимых слов (лучше сказать — из их материала, из их обрезков), превращают эти слова в членимые.

Превращают? Превратили бы, будь они общеупотребительны.

Неологизмы типа *резьмо* и типа *мнепр* наиболее типичны для поэзии Хлебникова. К ним он ушел от *смехачей* и *гордешищ*. В одном тексте свободно сочетаются оба эти типа (*резьмо* и *мнепр*):

Верхарня серых гор.  
Бегава вод в долину,  
И бьюга водопада об утесы  
Седыми бивнями волны.  
И сивни облаков,  
Нетоты туч  
Над хивнями травы.  
И бихорь седого потока  
Великой седыни воды (III, 342).

(*Верхарня* — соединение корня *верх-* и конца слова *Верхарн*, плюс еще суффикс с окончанием *-ня*; ср. *солеварня*, *пекарня*.)

Еще пример, когда текст строится на сочетании неологизмов типа *резьмо* и типа *мнепр*:

Многомогейные, могистые моги,  
Это вы рассыпались волосы могиканами  
Могеичи — моговичи, можественным могом, могоенятами...  
Иди, могатырь!  
Шагай, могатырь! можарь, можар!  
Могун, я могею!..  
Могунный, можественный лик, полный могебнов!  
Могровые очи, могатые мысли, могебные брови!  
Лицо могды (III, 337).

(Ср. *боги*, *божественные*, *богатырь*, *молебны*, *багровый*, *богатый*.) В последнем примере в неологизмы попало слово *могикане*. Ранее — *Верхарн* было переосмыслено в неологизм ‘гора’ (с корнем *верх-*); ‘горная цепь’ — *верхарня*. Неологизм *могды* (им. п. — *могда*) показывает, что в слове *Будда* корень тоже понимается глагольно (ср. *могу*, *буду*).

Обычные, ходовые слова осмысливаются как неологизмы. Это и должно было случиться: новообразования так активны в стихах Хлебникова, что не они врастают в текст, а, напротив, обычные слова «обновляются» под влиянием неологизмов. Этому и служит известная поэтическая семантизация звуков у Хлебникова.



Где рой зеленых ха для двух  
 И эль одежд во время бега,  
 Го облаков над играми людей,  
 Вэ толп кругом незримого огня  
 И ла труда, и пэ игры и пенья.  
 Че юноши — рубашка голубая,  
 Зо голубой рубашки — зарево и сверк.  
 Вэ кудрей мимо лиц,  
 Бэ веток вдоль ствола сосен... (III, 330—331).

Звук слова (начальный) — знаменателен; он может быть выделен, обособлен (как в этом отрывке) в виде слова. Поэтически изобретательны попытки Хлебникова найти и сформулировать это значение: «Вэ значит вращение одной точки около другой (круговое движение)... Гэ — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда высота... Че — полный объем, пустота которого заполнена чужим телом» (III, 332—333).

Тогда всякий начальный согласный превращается в морфему (поскольку это часть слова со своим отдельным значением).

Это шествуют творяне,  
 Заменявши Д на Т,  
 Ладомира соборяне  
 С Трудомиром на шесте (I, 184).

Упало Гэ Германии.  
 И русских Эр упало.  
 И вижу Эль в тумане я  
 Пожара в ночь Купала (I, 188).

Согласные годятся не только как особые корни, но и как приставки: «Го-ум — высокий, как эти безделушки неба, звезды, не видимые днем...

Вэум — ум ученичества и верного подданства.

Чеум — подымающий чашу к неведомому будущему. Его зори — чезори. Его луч — челуч. Его пламя — чепламя. Его воля — чевоя. Его горе — чегоре. Его неги — ченеги» (III, 336).

Все неологизмы, о которых говорилось, принадлежат к 1-му типу: у них и корень, и суффикс встречаются в ряде слов. Это верно и для слов *смехач*, *смеєво*, *воздухия*, *гордешиница*, и для слов *резьмо*, *умнядь*, *плясавица*, *люброва*, и даже для слов *мнепр*, *мыслока*, *свиристель*, *летава*, *веязь*, *злбняк*, *белостыня*, *бурегурит*... Конечно, в известных из обычной речи словах *чернядь*, *красавица*, *письмо*, *дуброва* аффиксы *-адь*, *-авица*, *-мо*, *-рова* уникальны, но в неологизмах, повторяющих эти аффиксы, они уже не уникамы, неологизмы-то и создают ряд: *чернядь* — *лучишадь*, *красавица* — *плясавица* и т. д. Более

того, иногда неологизм подновляет, оживляет членимость слова-образца: без неологизма оно плохо членится (ср. *Чернигов* — *Темнигов*)<sup>7</sup>.

Даже *мнепр* — неологизм 1-го типа — явно повторяет корень слов *мне*, *мно* и часть слова, которая заключена в слове *Днепр*. Ряд есть и для *мне-*, и для *-пр*<sup>8</sup>.

Очень редки у Хлебникова неологизмы, принадлежащие ко 2 и 3-му типам.

Железавут играет в бубен,  
Надел на пальцы шумы пушек (II, 191).  
Звон о грезежи, о не!

Но ведь для Хлебникова (в более поздних стихах) все слова на «эль» включают одно и то же значение (см. выше), т. е. слова членятся так: *л-ыжи*, *л-аты* и т. д. Начальное *л* (или *ль*) — носитель особого смысла, особая морфема, а «концы» *-ыж(и)*, *-ат(ы)*, *-д(ы)* — это отрезки наподобие *-арус* в слове *стеклярус*, т. е. обычные слова Хлебников переосмысливает, превращая в неологизмы 3-го типа.

Неологизмов 4 и 5-го типов у Хлебникова нет.

По образцу каких морфемных типов создает свои неологизмы Хлебников?

*Смехач*, *смеево*, *воздухня*, *гордешица* и т. д. созданы по образцу слов *силач*, *трепач*, *брюхач*; *крошево*, *мелево*, *курево*; *богиня*, *герцогиня*; *столешица*, *городошица* — т. е. образцом послужили слова 1-го типа.

*Умнядь* (ср. *чернядь*), *плясавица* (ср. *красавица*), *резьмо* (ср. *письмо*), *люброва* (ср. *дуброва*) созданы по образцу слов 2 и 3-го типов, с уникальными суффиксами.

*Мнепр*, *мыслока*, *свиристель*, *летава*, *везь*, *злбняк*, *белостыня* *бурегурит* созданы по образцу слов с нечленимыми основами, т. е. 6-го типа.

Почему нет неологизмов, созданных на основе слов 4 и 5-го типов? Может быть, потому что и в общеупотребительном, бытовом (не поэтическом) языке эти типы сравнительно редки? Но ведь Хлебников не избегал редкого. Вопрос остается пока без ответа. Общая черта неологизмов Хлебникова —

<sup>7</sup> Не касаемся здесь сложной проблемы членимости на морфемы имен собственных.

<sup>8</sup> В нашей таблице неологизмы типа *Мнепр*, *бурегурит* и под. должны быть представлены таким рядом:

<i>Аб</i>	<i>Ав</i>	<i>Бб</i>	<i>Бв</i>
+	+	+	—

(есть *бурегурит*, *бурелом*, *балагурит*, нет *бала* + какое-либо другое завершение слова на *-гур*). В нашей таблице нет этого типа; неологическое творчество поэта помогло его найти.

Его надо бы поместить где-то около 2-го типа (до или после него?).

фузионность. Морфемы не свинчены, а сплавлены. Такое строение нетипично для неологизмов (кроме хлебниковских стихов новообразования этого типа характерны только для стихов В. Гнедова). Напротив, нечеткая морфемная разграниченность очень типична для архаизмов. У Хлебникова неологизмы выступают в облике архаизмов; недаром о нем сказано, что его футуристичность осложнена плюсквамперфектностью (аналогия язычества, славянской древности, первобытного мифотворчества). Смысловая неожиданность, контрастность сопоставляемых значений (корневого и аффиксального) обострены слитностью, нераздельностью их морфемного выражения.

Неологизмы в стихах Хлебникова имеют свою внутреннюю обусловленную историю. Началось все со *смехачей*, т. е. с неологизмов, очень ясно членимых, с прозрачным значением морфем (по таблице — 1-й тип). Но возможны сдвиги из первого подтипа во второй подтип; корень в данную словообразовательную модель подставлен не той группы, не того класса, как в образцах (например, не именной, а глагольный). Тогда неологизм по этой своей особенности уникален среди подобных образований. Еще шаг в сторону уникальности: неологизмы создаются по образцу слов, имеющих аффиксы, только им свойственные, уникальные, неповторимые в других словах (*резьмо* и под.). Такие аффиксы не так просто и ясно отделяются от корня, как в 1-м типе, граница между ними и корнем затуманена. Это ведь 2 и 3-я ступень членимости. Следующий шаг: в качестве образцов берутся слова с нечленимой основой. Этот отрезок, лишенный отдаленного значения, и в неологизме его не проясняет полностью (хотя отчленимость его в неологизме несомненна); граница еще менее четка, сплавленность значений корня и аффикса еще сильнее: *резьмо*. Отсюда один шаг до «Слова о Эль»: выделяется и доосмысливается не квазиаффиксальный конец слова, а квазирадикальное, вродекорневое начало. Тип тот же: нечленимое (6-я ступень) превращено в членимое на 3-й ступени (см. табл. на с. 207). Из *мнепра* просто вытекает как дальнейший шаг «Слово о Эль» и другие стихотворения этого цикла<sup>9</sup>.

Легко заметить, что в 3-м томе собрания сочинений Хлебникова (лирика 1917—1922 гг.) значительно больше образований типа *мнепр*, чем во 2-м то-

<sup>9</sup> Возможен и такой удивительный гибрид: корень создан на основе семантизации начальных согласных, аффикс создан путем отсечения неаффиксального конца.

Лелепр синееч ночей (III, 343).

*Леле* — имеет значение звезды ('луч, посылаемый на землю', см. «Слово о Эль»); *-пр* — значение реки (образ Млечного пути?). Ср.:

Лилица синих птиц (III, 139).

Леляною ночи, леляною грусти

Ее вечеровый озор (III, 73).

ме (лирика 1906—1916 гг.). Конечно, *мнепр* фузионнее, чем *резьмо*. Усиливая фузионность неологизмов, Хлебников спускался с одной ступени на другую: начало — *смехачи* (I ступень), затем — *резьмо* (II и III ступени), потом — *мнепр* (VI ступень; имеются в виду образцы, на которые ориентированы неологизмы; их расчлененность или нерасчлененность отражается и в самом неологизме).

Этот вывод существенен. Он позволяет думать, что таблица, приведенная в начале статьи, в какой-то степени верно отражает последовательность морфемных типов по мере нарастания их фузионности.

Создавая свои неологизмы, В. В. Хлебников решал эстетические задачи. Но поэтическая речь, речь в ее эстетической функции, позволяет многое понять в строении и закономерностях языка, представленного в практической, информативной речи.

## О степенях членимости слов\*

Есть слова хорошо, ясно членившиеся на морфемы, например *летчик*. Есть слова, совсем не членившиеся на морфемы, например *кенгуру*. И есть промежуточные случаи.

Были уже сделаны попытки классифицировать эти промежуточные случаи и расположить их в виде шкалы — с одним пределом в виде слова *летчик* и ему подобных — и с другим, противоположным пределом в виде слов *кенгуру* и ему подобных.

Попытаемся более полно определить все ступени этой шкалы.

Дано слово *Аб* (здесь *А* — корень; большими буквами будем обозначать корни; *б* — аффикс, и всегда аффиксы у нас будут передаваться строчными буквами). Встречается ли корень *А* в других словах, т. е. в сопровождении других аффиксов?<sup>1</sup> То есть: есть ли единица *Ав*? Это первый вопрос.

Уникален ли аффикс *б* или попадаетея в других лексемах? То есть: есть ли единицы *Бб*? Это второй вопрос.

Но единицы *Ав* и *Бб* могут сами плохо члениться (если нет слов, где *в* выступает в сопровождении *не-А*, или: если нет слов, где *Б* выступает в сопровождении *не-б*). Следовательно, третий и четвертый вопросы: есть ли единицы *Ав* (любой корень, кроме *А*, в сопровождении *в*) и *Бб* (любой аффикс, кроме *б*, сопровождающий *Б*).

---

\* Развитие современного русского языка. 1972: Словообразование, членимость слова. М.: Наука, 1975. С. 234—238.

<sup>1</sup> В том числе и в сопровождении аффиксального нуля, т. е. при отсутствии аффикса. Н. А. Янко-Триницкая, вероятно, права, предлагая этот случай (когда корень данного слова может быть отдельной, чистой основой) выделить и учесть особо. Но здесь очень осложняет дело омонимия аффиксального нуля и нулевого аффикса. Считать ли в словах *сбор*, *сторож*, *даль* основу равной корню (без нулевого аффикса, т. е. с аффиксальным нулем)? Или она с нулевым деривационным аффиксом? Последние научные изыскания нас так смутили и запутали, что мы решили обойти этот вопрос — и по-прежнему объединяем случаи, когда корень сопровождается аффиксом, в том числе нулевым, и случаи, когда он ничем не сопровождается. (Разъяснение: аффиксальный нуль — аффиксальное ничто, незначимое отсутствие аффиксальной единицы.)

Очень удобно, если найдена единица  $B\bar{v}$ : она сразу и  $\bar{A}v$  и  $B\bar{b}$ . Эта единица идеально завершает определение членимости данного слова: и  $A$ , и  $B$ , и  $\bar{b}$ , и  $v$  оказываются неуникальными морфемами, встречаются в нескольких словах — значит, они настоящие морфемы<sup>2</sup>.

Если же для демонстрации членимости  $\bar{A}v$  и  $B\bar{b}$  приходится брать слова с ранее не использованными морфемами, то исследование не вполне закончено: снова неясно, не являются ли эти морфемы (в положении  $\bar{A}$  и  $\bar{b}$ ) унификсами. Цепочку сопоставляемых форм тогда надо продолжить: поискать слова, удостоверяющие хорошую выделяемость, неуникальность  $\bar{A}$  и  $\bar{b}$ . Интересно, насколько длинной может быть такая цепочка? Мы же всегда останавливаемся, если найдены  $\bar{A}$  и  $\bar{b}$ <sup>3</sup>.

Итак, у нас пять граф: дана единица  $A\bar{b}$ ; ее членимость зависит от наличия / отсутствия единиц  $Av$ ,  $B\bar{b}$ ,  $\bar{A}v$ ,  $B\bar{b}$ .

Перечислим все возможности (плюс обозначает, что данная единица присутствует в языке, минус — что не присутствует):

	$A\bar{b}$	$Av$	$B\bar{b}$	$\bar{A}v$	$B\bar{b}$	Есть ли в языке такие единицы?
1	+	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	—	+
3	+	+	+	—	+	+?
4	+	+	—	+	+	—
5	+	—	+	+	+	—
6	+	+	+	—	—	+?
7	+	+	—	—	+	—
8	+	—	—	+	+	—
9	+	+	—	+	—	+
10	+	—	+	—	+	+
11	+	—	—	—	+	—
12	+	—	—	+	—	—
13	+	—	+	—	—	+
14	+	+	—	—	—	+
15	+	—	—	—	—	+

<sup>2</sup> Как устанавливается, что в двух единицах морфема одна и та же? Два отрезка считаем одной морфемой, если они имеют тот же морфонологический состав и их значение либо тождественно, либо позиционно варьируется («имеют тот же морфонологический состав» значит: состоят из тех же самых фонем, либо их фонемный состав варьируется в зависимости от грамматических позиций).

<sup>3</sup> Естественно, при поисках единиц  $\bar{A}v$  и  $B\bar{b}$  таблица значительно должна увеличиться.

Разберем каждый случай<sup>4</sup>.

1.  $Аб = \text{лет-чик}$ ;  $Ав = \text{лет-ать}$ ,  $Бб = \text{развед-чик}$ ,  $\bar{А}в = \text{развед-ать}$ ,  $\bar{Б}\bar{б} — \text{развед-ать}$  (т. е. здесь:  $\text{развед-ать} = \bar{А}в = \bar{Б}\bar{б} = Бв$ ).

2. Слово, отвечающее такому строению, найдено у В. В. Хлебникова: *буре-гурить* ( $Аб$ ). При этом:  $Ав = \text{буре-лом}$ ,  $Бб = \text{бала-гурить}$ ,  $\bar{А}в = \text{ледо-лом}$ ,  $\bar{Б}\bar{б}$  отсутствует.

3. Такое строение слова возможно. Схема показывает, что  $А$  встречается в данном слове ( $Аб$ ) и в другом, плохо членимом. Реально такие единицы в русском словаре пока не найдены.

4. Такой тип слов невозможен: отсутствие единицы  $Бб$  влечет за собой и отсутствие единицы  $\bar{Б}\bar{б}$ <sup>5</sup>.

5. Такой тип слов невозможен: отсутствие единицы  $Ав$  влечет за собой и отсутствие единицы  $\bar{А}в$ <sup>6</sup>.

6. Слова, членившиеся по такому образцу, возможны. Схема показывает, что  $А$  и  $б$  встречаются только в данном слове и в плохо членимых  $Ав$  и  $Бб$  (они плохо членились, потому что нет  $\bar{А}в$  и  $\bar{Б}\bar{б}$ ). Пример привести трудно.

7. Такой тип невозможен, подобно типу 4.

8. Такой тип невозможен, подобно типу 5.

9.  $Аб = \text{пас-тух}$ ;  $Ав = \text{пас-у}$ ;  $Бб$  нет;  $\bar{А}в = \text{нес-у}$ ;  $\bar{Б}\bar{б}$  нет.

Другой пример:  $Аб = \text{стекл'-арус}$ ;  $Ав = \text{стекл'-ашка}$ ;  $Бб$  нет;  $\bar{А}в = \text{дере-в'-ашка}$ ;  $\bar{Б}\bar{б}$  нет.

10.  $Аб = \text{бужен'-ина}$ ;  $Ав$  нет;  $Бб = \text{осетр'-ина}$ ;  $\bar{А}в$  нет;  $\bar{Б}\bar{б} = \text{осетр-овый}$ .

11. Такой тип невозможен, подобно типу 4 и 7.

12. Такой тип невозможен, подобно типу 5 и 8.

13.  $Аб = \text{мал'-ина}$ ;  $Ав$  нет;  $Бб = \text{круш-ина}$ ;  $\bar{А}в$  и  $\bar{Б}\bar{б}$  нет.

14.  $Аб = \text{коче-гар}$ ;  $Ав = \text{коче-рга}$ ;  $Бб$ ,  $\bar{А}в$ ,  $\bar{Б}\bar{б}$  нет. Этот тип дает уже нечленимую основу.

15.  $Аб = \text{кенгу-ру}$  (или: *к-енгуру*, или *кен-гуру*, или *кенгур-у*), явно нечленимая основа.

Слова *пас-тух* и *стекл'-арус* попали у нас на одну ступень членимости, девятую. Но членимость этих слов явно неодинакова.

<sup>4</sup> Примеры повторены из кн.: Русский язык и советское общество: Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968.

<sup>5</sup>  $Бб$  и  $\bar{Б}\bar{б}$  — однокоренные единицы, и единица  $\bar{Б}\bar{б}$  введена только для проверки членимости  $Бб$ . При отсутствии  $Бб$  нет и проверочной единицы  $\bar{Б}\bar{б}$ .

<sup>6</sup> Ср. разъяснение в предыдущей сноске (здесь его надо повторить применительно к единицам  $Ав$  и  $\bar{А}в$ ).

У унификса *-тух*<sup>7</sup> значение то же, что у распространенных аффиксов *-тель*, *-щик(-чик)*, *-арь*. Унисуффикс *-тух* обозначает лицо по профессии, по роду занятий. Значение его легко определяется по аналогии с другими словами: данное значение явно находит выражение в русской словообразовательной системе; ручательство в этом — слова *изобретатель*, *летчик*, *писарь* и под.

Напротив, значение унификса *-арус* совершенно непонятно. Может быть, этот унисуффикс означает ‘нечто маленькое, сделанное из материала, который назван корнем слова’; или ‘нечто круглое с дырочкой, сделанное...’ и т. д.; или ‘украшения из материала, который...’ и т. д. Любое из этих значений не выражается другими аффиксами. Единица *-арус* уникальна не только морфонологически, но и семантически; поэтому-то ее значение и неопределенно (всякая единица, возможная только в одном контексте, неопределенна по значению: ср. *сбить с панталыку*, *точить ляды* и пр.).

Надо разграничить эти два типа. В таблице должны быть введены еще две единицы: *Вг*,  $\bar{В}г$ . Знаком *г* обозначаем аффикс, семантически равный  $\bar{б}$ , но морфонологически иной. Если *-тух* =  $\bar{б}$ , то *-тель* = *г*. Единица  $\bar{В}г$  нужна затем, чтобы проверить, хорошо ли членится *Вг*.

Попробуем представить более полно членимость слов *пастух* и *стеклярус*:

	<i>Аб</i>	<i>Ав</i>	<i>Бб</i>	$\bar{А}в$	$\bar{Б}\bar{б}$	<i>Вг</i>	$\bar{В}г$
Пастух	+	+	—	+	—	+	+
Стеклярус	+	+	—	+	—	—	—

(Для *пас-тух*: *Вг* = *лет-чик*,  $\bar{В}г$  = *перепис-чик*.)

Очевидно, для всех унификсов и унирадиксов надо удвоить количество ступеней: учитывать, есть ли синонимические аффиксы или корни (радиксы).

Мы в таблице учитывали только одну количественную разницу (главнейшую): является ли морфема уникальной, встречающейся в одном слове, или она встречается хотя бы еще в одном слове. Но небезразлично: в двух или в ста словах встречается аффикс, в ста или в незамкнутом множестве. Чем больше сочетаний, включающих одну и ту же единицу, тем яснее она вычленяется, тем самостоятельнее она в контексте. Эти различия также не отражены нашей схемой. Очевидно, можно развернуть нашу схему в подлинную «периодическую систему» морфемного состава русского слова. Тогда будет ясно, как надо расположить эти ступени, чтобы получилась шкала все нарастающей нечленимости (или, если проделать ступени в другом направлении, — шкала все более ясной членимости).

<sup>7</sup> *Петух* и *питух* во внимание не принимаем: в современном русском литературном языке неупотребительно слово *питух*; а слово *петух* уже несопоставимо с *петь* (и, значит, основа его нечленима).



Уже сейчас очевидно, что чем больше минусов в схеме, тем членимость хуже. Намечаются такие «периоды» в таблице: слова, не имеющие минусов в схеме (*летчик*); слова, имеющие по схеме один минус; слова, имеющие два минуса; слова, имеющие три минуса; слова сплошь минусовые. Но как располагаются ступени внутри каждого периода (внутри каждого марша нашей ступенчатой лестницы)? Вероятно, униаффиксальность меньше обостряет нечленимость, чем унирадикальность. То есть: *пастух* и *стеклярус* более «членимые» слова, чем *буженина*. Будет ли так во всех маршах (во всех периодах) нашей ступенчатой таблицы? Это стало бы яснее, если бы удалось найти примеры для ступеней 3 и 6.

Наша таблица дает такую последовательность:

1. *летчик*.
2. (*бурегурить*; только у В. Хлебникова)
9. *пастух, стеклярус*
10. *буженина*
13. *малина*
14. *кочегар*
15. *кенгуру*

Интуитивно кажется, что ступени расположены в порядке нарастающей нечленимости<sup>8</sup>.

---

<sup>9</sup> Этот порядок, может быть, нарушает слово *бурегурить*. Но оно единственное в данном ряду индивидуальное образование, и будь оно общеупотребительным и привычным (с устойчивой семантикой), оно, возможно, по праву заняло бы вторую ступень.

**О переводах на русский язык  
баллады «Джаббервокке» Л. Кэрролла\***

365

— 1  
364

*Л. Кэрролл*

Алиса в Зазеркалье слышит такое стихотворение (называется «Jabberwocky»):

’Twas brillig, and the slithy toves  
Did gyre and gimble in the wabe;  
All mimsy were the borogoves,  
And the mome raths outgrabe.

«Beware the Jabberwock, my son!  
The jaws that bite, the claws that catch!  
Beware the Jubjub bird, and shun  
The frumious Bandersnatch!»

He took his vorpal sword in hand:  
Long time the manxome foe he sought —  
So rested he by the Tumtum tree,  
And stood awhile in thought.

And as in uffish thought he stood,  
The Jabberwock, with eyes of flame,  
Came whiffling through the tulgey wood,  
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through  
The vorpal blade went snicker-snack!  
He left it dead, and with its head  
He went galumphing back.

«And hast thou slain the Jabberwock?  
Come to my arms, my beamish boy!

---

\* Развитие современного русского языка. 1972: Словообразование, членимость слова. М.: Наука, 1975. С. 239—248.

O frabjous day! Callooh! Callay!»  
He chortled in his joy.

'Twas brillig, and the slithy toves  
Did gyre and gimble in the wabe;  
All mimsy were the borogoves,  
And the mome raths outgrabe.

*Carroll L. Alice's adventures...* London, 1958. P. 154—156.

Герои повести подробно объясняют это стихотворение:

— That's enough to begin with, — Humpty Dumpty interrupted, — there are plenty of hard words there. *Brillig* means four o'clock in the afternoon — the time when you begin *broiling* things for dinner.

— That'll do very well, — said Alice, — and *slithy*?

— Well, *slithy* means *lithe* and *slimy*. *Lithe* is the same as *active*. You see, it's like a portmanteau — there are two meanings packed up into one word.

— I see it now, — Alice remarked thoughtfully, — and what are *toves*?

— Well, *toves* are something like badgers — they're something like lizards — and they're something like corkscrews.

— They must be very curious creatures.

— They are that, — said Humpty Dumpty, — also they make their nests under sundials — also they live on cheese.

— And what's to *gyre* and to *gimble*?

— To *gyre* is to go round and round like a gyroscope. To *gimble* is to make holes like a gimlet.

— And *the wabe* is the grass plot round a sun-dial, I suppose? — said Alice, surprised at her own ingenuity.

— Of course it is. It's called *wabe*, you know, because it goes a long way before it, and a long way behind it —...

— And a long way beyond it on each side, — Alice added.

— Exactly so. Well then, *mimsy* is *flimsy* and *miserable* (there's another portmanteau for you). And a *borogove* is a thin shabby-looking bird with its feathers sticking out all round — something like a live mop.

— And then *mome raths*? — said Alice. — If I'm not giving you too much trouble.

— Well, a *rath* is a sort of green pig; but *mome* I'm not certain about. I think it's short for *from home* meaning that they'd lost their way, you know.

— And what does *outgrabe* mean?

— Well, *outgribing* is something between bellowing and whistling, with a kind of sneeze in the middle: however, you'll hear it done, maybe — down in the wood yonder — and when you've once heard it you'll be *quite* content (*Carroll L. Alice's adventures...* P. 222—224).

Кэрролл забавляется, открывая странные соотношения звука и смысла в словах.

1. Brillig. Внимание читателя привлекается к фразеологичности слова: смысл целого не обеспечен смыслом составных частей; broil — жарить, brillig, оказывается, означает 'четыре часа пополудни' (когда начинают готовить обед).

2. Slithy. Слово составлено из кусков двух других слов:

slimy 'скользкий' [slaimi]  
lithe 'гибкий' [laið] / [slaiði]

Членение очень затруднено; одна из последних ступеней членимости.

Оказывается, части, вырезанные из слова и прихотливо соединенные, все же показывают признаки жизни. В них, в частях, мерцают смыслы. Значением обладают не только целостные единицы (например, слова), но и их звуковые обрезки.

3. Toves. Неологизм, значение которого никак не связано с его звучанием. Для слова это самая обычная, конечно, вещь; но создать неологизм по такому признаку (т. е. полностью не мотивированный) — большая смелость. При этом-то обнаруживается удивительность того простого и привычного факта, что звуковые кортежи могут что-то значить.

Далее значение слова уточняется: оказывается, эти звери (toves), похожие сразу на барсуков, ящериц и на штопоры, вьют гнезда в тени солнечных часов. Солнечные часы — предметы, которые заведомо не могут бросать развесистой тени; их тень должна быть острием. Кроме того, эта тень движется. Построить гнездо в тени солнечных часов никому не под силу — но слово, оказывается, обозначает зверей именно с такими привычками. И Кэрролл прав: слова часто имеют значения, с логической точки зрения абсурдные; *товвы* мало чем отличаются — по нелогичности — от какого-нибудь *громоотвода*; а фамилии Держи-Хвост, Хватай-Муха, Лети-Глаз еще более логически причудливы и странны)<sup>1</sup>.

4. To gyre. Этот глагол существует в английском языке, но в бытовой речи не употребляется. В стихах он уместен; значение, действительно, 'вращаться'. Простое по строению слово объясняется через более сложное, *to gyre* через *gyroscope*. Формальная непроезженность оказывается в противоречии со смысловой производностью; после Кэрролла такие отношения открыл И. А. Мельчук.

5. To gimble. Очень плохо членимое слово, из обрубков. Вроде *кочерги* или *кочегара*; во всяком случае — на последних ступенях членимости.

6. Wabe. Слово образовано наложением друг на друга выражений: a long way before it, a long way behind it, a long way beyond it — общая часть ... [wei + b]... использована для создания неологизма [weib]. Совершенно необычный способ создания слов — до XIX в. Кэрролл предугадал плохо членимые аббревиатуры типа *главк*.

---

<sup>1</sup> Можно, конечно, возразить, что Кэрролл дает не филологическое толкование смысла слова *toves* (мн. ч.) с алогической внутренней формой, а энциклопедическое описание самих реалий, самих зверей. Но это спорно.

Но у Кэрролла при этом демонстрируется смысловая фразеологичность слова: *the wabe* — полянка вокруг солнечных часов, и перед ними, и за ними. «Смысловый центр» (полянка) в слове не отражен. Самое забавное, что Алиса все-таки догадалась о значении этого слова. Так комически, через невероятность подчеркнута фразеологичность этого слова.

Притом куски, вошедшие в слово, находятся на синтаксической границе, охватывая то, что принадлежит разным непосредственным составляющим: *a long way / before it...*

Прервем наши комментарии (хотя и далее Кэрролл неистощим в игре со словом — такой игре, которая раскрывает его, слова, удивительную природу). Предмет наших наблюдений — не английский текст, а его русские переводы. Сделанных наблюдений вполне достаточно для вывода. Вот он: как ни разнообразны у Кэрролла затеи со словом, у них у всех общая основа: сопоставляется обозначаемое и означающее, и обозначаемое всегда оказывается более расчлененным, чем означающее. Может быть, это свойство слова вообще, но у Кэрролла «свернутость» означающего показана как неожиданность, как нечто парадоксальное и странное.

Н. М. Демурова (автор последнего русского перевода кэрролловских сказок) пишет: «Часто приходится выбирать между тем, что говорится, и тем, как это говорится, т. е. делать выбор между содержанием высказывания и юмористическим приемом. В большинстве случаев, учитывая специфику Кэрролла, я отдавала предпочтение приему»<sup>2</sup>. Что надо переводить в балладе «*Jabberwocky*»? Очевидно, в первую очередь неясную, затуманенную, смазанную членимость неологизмов (или их полную нечленимость). Ведь без этого нельзя передать ту философию слова (звука — смысла), которую, играя, раскрывает Кэрролл.

Т. Л. Щепкина-Куперник перевела это стихотворение так (она назвала его «Верлиока»)<sup>3</sup>:

Было супно. Кругтелся, винтятся по земле,  
Склипких козей царапистый рой.  
Тихо мисиков стайка грустела во мгле,  
Зеленавки хрющали порой.

— «Милый сын, Верлиоки беги, как огня,  
Бойся хватких когтей и зубов!  
Бойся птицы Юб-Юб и послушай меня:  
Неукротно свиреп Драколов».

<sup>2</sup> Демурова Н. Голос и скрипка // Мастерство перевода, 7. М., 1970. С. 174.

<sup>3</sup> Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье / Пер. В. Азова. Стихи Т. Л. Щепкиной-Куперник. М.; Пг., 1924. С. 16—17.

Вынул меч он бурлатный тогда из ножен,  
Но дожидаться врага все не мог:  
И в глубейшую думу свою погружен,  
Под ветвями Тум-Тума прилег.

И пока предавался он думам своим,  
Верлиока вдруг из лесу — шась!  
Из смотрил его — жар, из дышил его — дым,  
И пыхтя, раздыряется пасть.

Раз и два! Раз и два!... Окровилась трава...  
Он пронзил Верлиоку мечом.  
Тот лежит не живой... А с его головой  
Скоропясь, полетел он скачком!

«— Сын, ты зло погубил, Верлиоку убил!  
Обними меня — подвиг свершен.  
Мой Блестяничек, хвала!... Урла-лап! Курла-ла!...»  
Затурлакал от радости он.

Было супно... Кругтелся, винтясь по земле,  
Склипких козей царапистый рой.  
Тихо мисиков стайка грустела во мгле,  
Зеленавки хрющали порой.

Комментарий такой:

— Довольно для начала, — сказал Ванька-Встанька. — Тут много трудных слов. «Супно» — это когда варят суп. Перед самым обедом, значит.

— Ах, вот как! — сказала Алиса. — Ну, а «Кози»?

— «Кози» — это такие звери. Они иногда похожи на барсуков, а иногда на ящериц. Впрочем, они больше похожи на пробочники. Ну, «мисики» — это ясно. Это — мышики — такие птички. Они живут под полом. «Зеленавки» — это свиньи. Зеленые свиньи.

— А «хрющать»?

— «Хрющать» — это два слова в одном. Это очень удобно. Вместо того, чтобы сказать: пищать и хрюкать — ты сразу говоришь — хрющать. И время выгадываешь, и место, если пишешь.

— А еще там вначале: «Кругтелся»?

— Ну, как же ты не понимаешь? Кажется ясно: кругом вертелся — кругтелся<sup>4</sup>.

Т. Л. Щепкина-Куперник создает неологизмы, прозрачные по строению. Они смешны, придуманы со вкусом, но, в отличие от кэрролловских, имеют очень ясное морфемное строение: *супно*, *царапистый*, *грустеть*, *зеленавки*, *Драколов*, *глубейший*, *смотрило*, *дышило*, *раздыряться*, *окровиться*, *скачком*, *Блестяничек*.

<sup>4</sup> Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. С. 73 (пер. В. Азова).

Слова хорошо членятся, иногда даже лучше, чем их синонимы в обычной речи; ср. *разверзается* — *раздыряется*, *окровавиться* — *окровиться*, *глубочайший* — *глубейший*.

Переводчица передает «чемоданные», «саквояжные» слова Кэрролла: *крутелся* (кругом + вертелся), *склипких* (склизких + липких), *хрюцать* (хрюкать + пищать), *скоропясь* (скоро + торопясь). Но и эти слова поэтесса стремится сделать проще, морфологически пояснее; поэтому включаются части, морфемно целостные, — обычно корень или основа одного плюс обрзки другого; *крутелся*, *склипких*, *скоропясь*... Наконец, немногие слова образованы путем прозрачных фонемных замен и вставок (*мисики* из *мышики*, *кози*, *бурлатный*: может быть, *бурный* и *булатный*?).

Т. Л. Щепкину-Куперник не увлекла философская игра, которую затеял Кэрролл. Она переводила так, чтобы получались смешные слова, — и это у нее вышло удачно.

Перевод В. и Л. Успенских совсем другой (название: «Баллада о Джаббервокке»):

Сварнело. Провко ящуки  
 Паробуртелись по вселянке;  
 Хворчастны были швабраки,  
 Зелиньи чхрыли в издомлянке.  
 «Сын! Джаббервокка берегись:  
 Ужасны клюв его и лапа.  
 И птицы Джубдзуб стерегись  
 И опаужься Бендерцапа!»  
 Взяв свой чумеч, он шел на шум,  
 Искал врага кровавологи  
 И подле дерева Тумтум  
 Остановился на дороге.  
 Стоит грозумчив и гневок, —  
 Вдруг, огнеглазый и рычащий,  
 Дымясь восторгом, Джаббервокк  
 Летит к нему глумучей чашей.  
 Но вкривь и вкость чумеч кривой  
 Чикчикает над Джаббервокком,  
 И вот с отрубленной главой  
 Герой несется торжескоком.  
 «Как? Он убил его? Смотри!  
 Хитральчик мой, сынок лучавый!  
 О, харара! О, харара!  
 Какой денек героеславый».  
 Сварнело. Провко ящуки  
 Паробуртелись по вселянке;

Хворчастны были швабраки,  
Зелиньи чхрыли в издомлянке

«Костер». 1940, № 7—8. С. 82.

Комментарий:

— Здесь масса трудных слов. *Сварнело* значит «Наступило четыре часа дня» — время, когда принимаются варить мясо к обеду.

— Это очень подходит, — сказала Алиса. — А что такое *провкие*?

— Ну «проворные» и «ловкие»... Видите, это — как чемодан: в одном слове упаковано два значения.

— Теперь понимаю, — глубокомысленно заметила Алиса. — А что такое *ящуки*?

— *Ящуки* — это звери немножко вроде барсуков, и немножко вроде ящериц, и немножко вроде пробочников.

— Наверное, они очень странные?

— Очень, — сказал Шалтай-Болтай. — И они вьют свои гнезда под солнечными часами и питаются сыром.

— А что такое *паробуртелись*?

— *Паробуртеться* значит «вертеться, как паровоз», и притом «делать дыры бур-равчиком».

— А *вселянка* — это, верно, полянка вокруг солнечных часов? — спросила Алиса, дивясь собственной догадливости.

— Конечно. Она называется *вселянкой* потому, что тянется во все стороны перед часами и во все стороны за ними...

— И во все стороны вообще? — прибавила Алиса.

— Совершенно верно. Ну, а *хворчастны* значит «хворы и несчастны» (вот вам другое слово-чемодан). А *швабраки* — это такие тощие, жалкие птицы, кулики с торчащими перьями — вроде живой швабры.

— А *зелиньи*? А в *издомлянке*? — спросила Алиса. — Боюсь, что причиняю вам много беспокойства.

— Ну, вот еще! *Зелинья* — это зеленая свинья, а насчет *издомлянки* я не уверен. Думаю, что это сокращенное «убеганье из дому на полянки»; подразумевается, что они заблудились.

— А что значит *чхрыли*?

— Ах, *чхрыли* — это нечто среднее между ревом и свистом, с чиханьем в промежутке («Костер». 1940, № 7—8. С. 80—81; пер. Ю. Ременниковой).

Слова стали странными. Если образуются по продуктивным или хотя бы просто частотным моделям, то всегда с их серьезным вывихом, с большой переделкой. *Сварнело* — по образцу *синело*; но — глагол образован с помощью суффикса *-е-* от другого глагола (*сварить* → *сварнело*) и со вставкой интерфикса *-н-*. В языке есть соотносительные пары на *-ить/-еть*: *белить* — *белеть*, *синить* — *синеть*, *ослабить* — *ослабеть*, *отрезвить* — *отрезветь*, *кривить* — *криветь*, *омертвить* — *омертветь*, *охладить* — *охладеть*, *обезводить* — *обезведеть*, *холодить* — *холодеть*, *молодить* — *молодеть*, *веселить* — *веселеть*, *злить* — *злеть*, *рыхлить* — *рыхлеть*, *мрачить* — *мрачнеть*, *ледянить* —



*ледянеть, пьянить — пьянеть, пестрить — пестреть, обеспамятить — обеспамятеть.* Все эти глаголы, как видно, отыменные. *Сварнеть* — исключение. Итак, в этом глаголе строение не стандартно; и не та производящая основа, и не то морфемное строение (присутствует интерфикс), что положены по модели. Семантически это слово сверхфразеологично: его составные части (морфемы) лишь очень косвенно намекают на значение целого.

Большинство слов в этом переводе — с затуманенной членимостью: *сварнело, паробуртелись, ящюки, хворчастны, издомлянка, чхрыли, зелины, Бендерцап, чумеч, опаужься, грозумчив, глумучий, хитральчик, лучавый.* Прозрачны по строению немногие слова: *швабраки, кровавологи, гневок, чикчи-кает, торжескок.*

Переводчики верно поняли свою задачу. Но слова получились страшные. В них нет кэрролловского юмора. В английском тексте слова странны, чудачковаты, удивительны, парадоксальны, но они все-таки явно симпатичны. А здесь получились слова-осьминоги. Пугают читателя. Правда, некоторые из них выразительны: *швабраки, чхрыли, грозумчив;* но и они — страшны.

Д. Г. Орловская это же стихотворение (она его назвала «Бармаглот») перевела так<sup>5</sup>:

Варкалось. Хливкие шорьки  
 Пырялись по наве,  
 И хрюкотали зелюки,  
 Как мюмзики в мове.

О, бойся Бармаглота, сын!  
 Он так свирлеп и дик,  
 А в глуще рымит исполин —  
 Злопастный Брандашмыг!

Но взял он меч, и взял он щит,  
 Высоких полон дум.  
 В глущобу путь его лежит  
 Под дерево Тумтум.

Он стал под дерево и ждет,  
 И вдруг граахнул гром —  
 Летит ужасный Бармаглот  
 И пылкает огнем!

Раз-два, раз-два! Горит трава,  
 Взы-взы — стрижает меч.  
 Ува! Ува! И голова  
 Барабардает с плеч!

<sup>5</sup> Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Сквозь зеркало / Пер. Н. М. Демуровой; Стихи в пер. Д. Г. Орловской. София, 1967. С. 135—136.

О светозарный мальчик мой!  
 Ты победил в бою!  
 О храброславленный герой,  
 Хвалу тебе пою!  
 Варкалось. Хливкие шорьки  
 Пырялись по наве,  
 И хрюкотали зелюки,  
 Как мюмзики в мове.

Стихи разъясняются так:

— Что ж, хватит для начала! — остановил ее Шалтай. — Здесь трудных слов достаточно! Значит, так: «варкалось» — это восемь часов вечера, когда пора уже варить ужин!

— Понятно, — сказала Алиса, — а «хливкие»?

— Гм... «Хливкие» — это хлипкие и ловкие. Это слово как бумажник. Раскроешь, а там два отделения! Так и тут — это слово раскладывается на два!

— А-а! — сказала Алиса. — А «шорьки» кто такие?

— Это помесь хорька, барсука и штопора!

— Хотелось бы мне на них посмотреть! Забавные, должно быть, зверьки!

— Да, с ними не соскучишься! — согласился Шалтай. — А гнезда они выют в тени солнечных часов. Едят они сыр — это от них в сыре дырки!

— А что такое «пырялись»?

— Прыгали, ныряли, вертелись!

— А «нава», — сказала Алиса, удивляясь собственной сообразительности, — это трава под солнечными часами, верно?

— Ну да, конечно! Она называется «нава», потому что простирается немножко направо... немножко налево...

— И немножко назад! — радостно закончила Алиса.

— Совершенно верно! Ну, а «хрюкотали» это хрюкали и хохотали... или, может, летали, не знаю. А «зелюки» это зеленые индюки! Вот тебе еще один бумажник!

— А «мюмзики» — это тоже такие зверьки?

— Нет, это птицы! Бедные! Перья у них растрепаны и торчат во все стороны, будто веник... Ну, а насчет «мовы» я и сам сомневаюсь. По-моему, это значит «далеко от дома». Смысл тот, что они потерялись. Надеюсь, ты теперь довольна? (Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Сквозь зеркало. С. 179—180; пер. Н. М. Демуровой).

*Пыряться* (ср. *пырнуть*), *злопастный*, *пылкать*, *стрижать*, *светозарный*, *храброславленный* — слова ясного членения.

Но перевес за словами со стертыми границами между морфемами: *Варкалось*, *хливкие*, *шорьки*, *нава*, *хрюкотали*, *зелюки*, *мюмзики*, *мова*, *Бармаглот*, *свирлеп*, *глуца*, *рымить*, *Брандашмыг*, *глуцоба*, *граахнуть*, *барабардать*. Но слова эти не такие, как в переводе Успенских. У Орловской — слова-рыбы! Ладные, ловкие, провкие, гибкие, веселые<sup>6</sup>. Д. Г. Орловской удалось объеди-

<sup>6</sup> Как известно, именно эти качества характерны для рыб.

нить достоинства, разъединенные у предыдущих переводчиков. Как это получилось? Почему ее слова не напоминают чудовищ?

Одна из главных причин — фонетическая выразительность этих слов. *Мюмзики* — конечно, существа забавные и чудные. Корень *мюмзь-* достаточно выразителен фонетически. *Бармаглот* и *Брандашмыг* — имена, достойные сказочно-страшных героев (*Бармалей*, бесспорно, помогает *Бармаглоту*, и потому, что сам *Бармалей* фонетически выразителен). *Барабардает* — прекрасный глагол, звуком живописующий действие («покатиться, упав»).

Можно полагать, что слова *мюмзик*, *фютлик*, *хавзик* лучше членятся, чем слова *ронзик*, *сажлик*, *шорсик*: «корни» *мюмзь-*, *фютль-*, *хавзь-* фонетически выразительны, они могут быть использованы, например, для прозвищ-дразнилок (*мюмзя*, *фютля*, *хавзя*), они обладают эмоциональным тоном; а «корни» *ронзь-*, *сажль-*, *шорсь-* такой выразительности не имеют и вряд ли способны сами по себе (без дополнительной мотивировки) стать прозвищами для дразнения<sup>6</sup>.

У Д. Г. Орловской слова имеют смутную членимость и могли бы стать монстрами, если бы не их фонетическая выразительность. Фонетика помогает осмыслить то, что морфемно слишком загадочно.

Вероятно, можно составить в виде таблицы периодическую систему членимости слова. В ней должны быть учтены и такие качества выделяемых отрезков, как их звуковая выразительность. Эта черта, вероятно, особенно важна в художественной речи.

Характерно, что русская поэзия дает факты, похожие на кэрролловские (стихотворения Велемира Хлебникова, Василиска Гнедова, Василия Каменского; игровая литература для детей)<sup>7</sup>.

О многих клетках «периодической таблицы членимости слова» мы бы не догадались, если бы не Кэрролл...

«Лучшее у Льюиса Кэрролла написано ученым для ученых, а не взрослым для детей<sup>8</sup>. Он не только учил детей стоять на голове — он учил ученых стоять на голове» (Г. К. Честертон). Это полезное умение. Надо уметь видеть все факты, в том числе странные, и видеть именно их необычность. Даже такую простую вещь, как таблицу членимости, нельзя построить, не научившись видеть все факты.

Кэрролл учит.

<sup>6</sup> Обратим внимание, что в «выразительных» корнях преобладают звуки низкой тональности (опорачивающие!), а в «невывразительных» — звуки высокой тональности.

<sup>7</sup> Например: *крокотух* (*крокодил* + *петух*) (Пионер. 1936), *репуста* (*репа* + *капуста*) (Е. Тараховская и др.).

<sup>8</sup> Попытку отнять Кэрролла у детей, нам кажется, нельзя одобрить. Не лучше ли сказать, что он принадлежит и детям и взрослым, всяким взрослым — в том числе ученым?

## О наложении морфем\*

Как членятся на морфемы слова типа *малина, смородина, крушина*?<sup>1</sup> Выделяется ли как суффикс *-ин(а)*? Если выделяется, то остаются отрезки: *маль-, смородь-, круш-*; имеют ли они значение (то есть корни ли они)?

Ведь всякая часть слова может считаться морфемой лишь в том случае, если ей свойственно значение. Значение же можно определить (и отнести к некоторому звуковому отрезку) только путем сравнения нескольких единиц, включающих часть, испытываемую на значение.

Действительно, в выражении *не видно ни зги* часть *ни зги* лишена всякого значения: почему? Сочетания в языке могут быть фразеологическими, в этом случае целое (т. е. это сочетание) семантически не равно составляющим. Значение целого уже, более конкретизовано, чем то значение, которое обусловлено составляющими. Например, *железная дорога* — не ‘дорога из железа’, а только ‘рельсовый путь для тяжелого транспорта (паровозов, электровозов)’. Садовая аллея, выложенная чугунными пластинами, — не *железная дорога*. Если значение составляющих = А и Б, то значение целого = А + Б + n; n — конкретизирующий довесок. Значение целого — сочетания *не видно ни зги* — известно; понятно и значение *не видно* (А), но значение Б: *ни зги* — определить нельзя; вычтя из *не видно ни зги* (А + Б + n) значение *не видно* (А), получим в остатке Б + n; значение Б остается неизвестным.

Допустим, что у нас есть два выражения: *не видно ни зги, не слышно ни зги*. Тогда значение этой таинственной *зги* проясняется: ‘ровным счетом ничего’ (то есть экспрессивно усиленная форма местоимения *ничего*).

Другое предположение. В языке есть два выражения: *не видно ни зги* и *згоркий* ([згазóрк’ий], ср. *дальнозоркий*) со значением: ‘близорукий’. Тогда *зга* = ‘то, что близко, близкое’.

Итак: даны два сочетания с единицей Б и известно их, сочетаний, общее значение (А + Б + n — значение первого и А<sub>1</sub> + Б + m — значение второго сочетания); вычитаем значение А и А<sub>1</sub>, они известны (*не видно, не слышно*,

---

\* Вопросы филологии: Сб. ст. К 70-летию И. А. Василенко. М., 1969. С. 274—282.

<sup>1</sup> См. обсуждение этого вопроса в работах Г. О. Винокура, А. И. Смирницкого и других языковедов.

-зоркий). Остаются куски, к которым можно отнести значения: Б + n и Б + m<sup>2</sup>. Эти куски имеют один облик: *зги*, *зго-*, корневая часть *зг-*. Сопоставляя эти *зг-* в двух сочетаниях, приписываем им ту часть значения, которая является общей для них (то есть Б); остальное — фразеологические довески.

Если бы были три единицы, у которых после вычета явно значимых (встречаемых во многих сочетаниях) частей остаются значения Б + n, Б + m, Б + η, то единице Б и здесь было бы приписано то общее, что есть во всех трех остатках.

Когда звуковой отрезок встречается в одном сочетании, сопоставление невозможно; нельзя выяснить, что в «остаточном» значении принадлежит единице Б и что — фразеологический довесок. Значение *зги* неустановимо.

Слова — единицы фразеологические<sup>3</sup>. Все сказанное относится и к ним. Поэтому морфема, как значимая часть слова, должна быть выделяема из слова на основании приведенных выше соображений.

Определенный фонемный отрезок в слове может быть выделен как особая морфема лишь в том случае, если он встречается (с учетом морфонологических чередований) в нескольких, минимум — в двух словах, и притом встречается с тем же значением<sup>4</sup>. Это необходимое и достаточное условие для выделения морфемы<sup>5</sup>.

Для слов *малина*, *смородина*, *крушина* положение складывается как будто очень неблагоприятно: есть отрезок *-ин-*, который, в соответствии с выставленным условием, выделяется вполне хорошо; но оставшиеся отрезки *маль-*, *смородь-*, *круш-* не встречаются без *-ин-*. Как возможная лишь в одном сочетании (только с *-ин-*), каждая из этих частей не выделяется в качестве морфемы.

Разве это не противоречие: отрезок *-ин-* признается морфологически отдельным от *маль-*, а *маль-* признается морфологически неотделимым от *-ин-*? Догматическая, ложно ориентированная мысль не может принять этот (вполне естественный) вывод. Ведь еще в школе учат черточками отделять суффикс от корня, как же здесь поставить черточки? А если черточки поставить нельзя, то какое же это членение?

Думаю, можно обойтись и без черточек. А членение на морфемы показывать так:

□  
малин(а)

<sup>2</sup> Можно это + n и + m отнести не к Б, а ко всему сочетанию; для нас сейчас это не существенно.

<sup>3</sup> См. об этом: *Панов М. В.* О слове как единице языка // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. 1956. Т. 51. Вып. 5. С. 129—165.

<sup>4</sup> Синонимический вариант: так, что к нему можно отнести одно и то же значение, входящее в состав значения этих слов.

<sup>5</sup> См. дальше оговорку об унификасах.

то есть: суффикс *-ин-*; корень *малин-*. Морфемы могут накладываться друг на друга. Это — неизбежный вывод, если признать верным высказанное выше условие (необходимое и достаточное) для выделения морфем.

Надо подчеркнуть: все, что сказано, относится к единицам, фразеологически связанным, не встречающимся в свободных сочетаниях. В свободных сочетаниях целое полностью определяется составляющими единицами; значение целого выводится из составляющих. Определив значение единиц В и Г, а также законы позиционного варьирования<sup>6</sup> этого значения, полностью выясняем и значение свободного сочетания В + Г.

Семантически свободными являются: а) сочетания слов; б) сочетания флексии с основой.

Говорилось, что в сочетании *не видно ни зги* часть *ни зги*, не встречающаяся в других окружениях, лишена смысла; не следует ли в таком случае считать, что она неотрывна от *не видно*? То есть членить сочетание так:

[ не видно ни зги ]

То же на другом примере:

[ попадь(а) ]

то есть: корень *поп-*, суффикс: *попадь(а)*. Ведь это полностью параллельно предложенному членению слова *малина*: *-ин-* встречается не только рядом с *маль-*, и выделяется; *маль-* встречается всегда рядом с *-ин-*, и неотчленимо от *-ин-*'а. И здесь: *не видно*, *поп-* встречаются отдельно от *ни зги*, от *-адьа* (в других окружениях); они — особые единицы; *ни зги*, *-адьа* всегда рядом с *не видно*, *поп-*; следовательно, это неотделимые единицы (*невиднонизги*; *попадьа*).

Это рассуждение неверно, т. к. *не видно*, *поп-* входят в свободные сочетания: *отсюда озеро не видно*; *не видно дороги*, и т. д.; *поп* и *дьякон*; *попа*; *попу*. Число свободных сочетаний, в которые вступает единица *не видно* (или *поп*) бесконечно, и вся эта бесконечность свидетельствует о значении единиц *не видно* (и *поп*). В свободных сочетаниях нет фразеологического довеска в семантике целого, поэтому-то значение составляющих прозрачно. Семантически единицы *не видно*, *поп-* совершенно определены. Они в сочетаниях неизбежно оцениваются как отдельность и самовитая целостность.

Не то в случаях типа *малина*. Не только *маль-* закрепощено; *-ин-* тоже встречается в ограниченном числе сочетаний: рядом с *маль-*, *смородь-*, *круш-*.

<sup>6</sup> Позиционное варьирование значения — то, которое неизбежно проявляется в определенной позиции (в сочетании единицы В с единицами данного класса). Неизбежно, конечно, для данного языка данной эпохи. См. об этом: *Панов М. В.* Указ. статья.

Бесконечного свободного ряда нет. Значение *-ин-*'а вычитается из фразеологических сочетаний, выбирается из них как общий остаток:

$$(A + B + n) - A = B + n \dots$$

$$B + n; B + m; B + \eta \dots \text{общее} = B.$$

Значение такого Б никогда не доходит до ясности свободных единиц типа А (*не видно, поп-*). Что значит *-ин-*: ягода? Ряд *малина, смородина, крушина* подсказывает это. Но есть: *осина*. Это — другое *-ин-*? Или то же? Тогда его значение: растение. Значение единиц типа Б колеблется между да и нет, между значимостью и незначимостью<sup>7</sup>.

Есть, таким образом, такие семантические разряды единиц: 1) А — входит в свободные сочетания, ряд их бесконечен; значимость их не вызывает сомнения (т. е.: значение их определено); 2) Б — входит во фразеологические сочетания, их ряд ограничен, значение есть, но в той или иной степени неопределенно, мерцает; 3) отрезки типа *маль-* входят в одно лишь сочетание (*малина*). Они суперфразеологичны, своего значения у них нет; следовательно, это псевдоединицы.

Единицы третьего типа нельзя выделять как «особности».

Единицы первого типа, наоборот, нельзя сливать с соседями — их полная семантическая определенность мешает этому. Следовательно, теоретически приемлемо членение

малин(а)

но неприемлемо

попад(ь)и(а)

(с суффиксом *попад(ь)-*).

Отрезки типа *-ад(ь)и(а)* противоречивы: они лишены смысла, и их бы считать простыми наростами в структуре слова (а деривационное значение — ‘жена’ — считать сосредоточенным во флексии; ср. *супруг* — *супруга*, *кум* — *кума*). Но этому мешает то, что в большинстве слов такой же семантической структуры (*профессорша, кузнечиха, баронесса*) есть особая часть слова для значения ‘жена’. Как в математике есть мнимые числа, так и здесь придется отрезки типа *-ад(ь)и(а)* считать мнимыми морфемами<sup>8</sup>.

Как ведут себя приставки? Они принадлежат к единицам типа Б, но они значительно свободнее, менее фразеологичны, чем послеставки. Как единицы

<sup>7</sup> Конечно, в *осетрина, конина, телятина*, в *доми́на, возина, роялина*, в *грузина, осетина, армянина* (род. пад.), в *горошина, соломина, ягодина* — другие *-ин-ы*.

<sup>8</sup> См. статью Е. А. Земской об унификсах в этом сборнике. Есть резон выделять в особую группу эти противоречивые отрезки.

типа Б, они входят в наложения. Например: пересекать (улицу; ср. *перебежать, перелететь, переплыть*; однако -сек- здесь то же, что *маль-* в *малина*: бессмысленный кусок)<sup>9</sup>. Еще примеры: выделять, свергнуть, разуть (ср. *раздеть*), обуть (ср. *одеть*)<sup>10</sup>, добиться (ср. *допроситься, докричаться*); засучивать и пр.

Однако, как единицы менее фразеологические, чем постфиксы, все префиксы не способны свое наложение реализовать фонетически. Объяснимся. Всем известна гаплогия: *знаменосец, морфонология* и т. д. Считают, что это фонетическое явление. Думаем, что по сути своей это явление морфологическое; гаплогия возможна лишь на стыке морфем; их фонетически раздельное выражение заменяется наложением: знаменосец, морфонология. «Заменяется» — не всегда исторически; могут быть образования сразу по действующей гаплогической модели; ср. ту же *морфонологию*<sup>11</sup>.

Здесь морфемное наложение находит свое фонетическое выражение. Такие случаи в непрефиксальной части слова довольно обычны. Еще пример. Вместо форм: *бабушкина (сада), бабушкину (саду), отцову (совету)* распространяются в современном русском языке формы: *бабушкиного, бабушкиному, отцовому*. Но *отцова* на *отцового* не меняется: в существующей форме уже есть флексия {ово}:

отцова

Итак, вместо форм *бабушкина, бабушкину, отцова, отцову* распространяются формы *бабушкиного, бабушкиному, отцова, отцовому*.

Вот такого наложения у префиксов с корнем никогда не бывает<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Кстати: в *пересечь* два наложения: *пере* + *пересеч* + *чь* (инфинитивный аффикс налагается на согласный исход корня).

<sup>10</sup> При выделении «наложенных» префиксов надо учитывать обычные морфологические законы: приставка {о} перед гласным (здесь — перед гласным продолжением корня: так!) реализуется в варианте /об/: *обуть*.

<sup>11</sup> Конечно, и фонетические мены при наложении происходят по общим позиционным законам. Ср. индивидуальное образование: *колчаносец* (Илья Садофьев) — ‘колчаносец’. Фонетически: [кълчи<sup>3</sup>нос’иц], с [и<sup>3</sup>] в предупредном слоге, вместо ударного [á]. Отсюда и написание с *e*.

<sup>12</sup> Кто-то из морфологов предполагал, что в глаголе *встал* есть приставка *вс-* и корень *-ста*, но они налагаются друг на друга. Если даже здесь видеть приставку *вз-* (это не обязательно: и приставка *в-* имеет значение действия, направленного вверх; ср. *влезть на гору*, а не *взлезть*), то все же нет возможности видеть наложение. Состав слова — при установлении приставки *вз-* / *вс-* — такой: (взстал). Но сочетание ⟨зст⟩ реализуется в [ст] (долгие согласные невозможны рядом с согласными; [С], соседя с [т], позиционно упрощается в [с]). Наложение морфем — не позиционно-фонетическое явление. Поэтому оно должно рассматриваться не на уровне звуков, а



Легко молвить, прочитав эти заметки: все это теоретическое баловство; но отвечают ли такие отвлеченные построения языковой реальности, то есть тому, что сформировано речевой практикой и, в виде законов речеповедения, сидит в головах говорящих?

Надо бы поставить эксперимент. Что должен проверить такой эксперимент? Как в головах говорящих членятся, из каких морфологических частей состоят слова (речь, собственно, идет об основах) типа *малина*, *смородина*, *крушина*. Возможны три предположения:

- 1) Малин-а; основа нечленима (мнение Г. О. Винокура);
- 2) Маль-ин-а; основа членима, корень — бессмысленный кусок *маль-* (мнение А. И. Смирницкого)<sup>13</sup>;
- 3) Малина; основа членима на корень *малин-* и суффикс *-ин-*.

Обсуждению подвергаются 1 и 3 предположения; второе, как противоречащее основному требованию к морфеме: иметь значение, отвергается<sup>14</sup>.

Опишем эксперимент. А. А. Потебня, кажется, первый заметил, что кроме обязательных согласований в русском языке есть и одно факультативное: обычно (не всегда, но часто!) уменьшительно-ласкательный суффикс у существительного вызывает суффикс того же значения у прилагательного. Если *платок*, то скорее всего *белый*, если *платочек* — скорее всего *беленький*.

Возьмем такие слова: *маргаритка*, *одуванчик*; *кролик*, *суслик*, *тушканчик*; Это все та же *малина*; это все слова с таким же типом членимости (нечленимости?) основы. Как при этих словах ведут себя прилагательные: *беленький кролик* или *белый*?

Надо принять во внимание ряд условий, объективно ухудшающих доказательность этого опыта. Во-первых, некоторые существительные имеют своих верных прилагательных спутников: *ёж* (или *ёжик*) почти всегда будет

на уровне фонем. Фонемный же строй глагола *встал* (при сделанном допущении о приставке) такой: <взстал>. Наложения нет.

Как видно, знание фонетики скорее помогает при решении грамматических вопросов, чем мешает.

<sup>13</sup> А. И. Смирницкий предполагал, что такой *маль-* осмыслен: указывает все, чем эта ягода (малина) отличается от других. В таком случае этот *маль-* знает больше, чем все говорящие по-русски. Все отличия еще неизвестны и специалистам-ягодоведам. Знак же должен иметь обозначаемое, имеющее определенное понятийное содержание.

<sup>14</sup> Мнение А. И. Смирницкого имеет одно преимущество сравнительно с Винокуровым: оно объясняет механизм обратного словообразования. Но и то объяснение, которое предполагается в этой статье, тоже дает возможность его объяснить.

*колючий*. О суслике все информанты (во время описываемого опыта) высказались единодушно: *вредный* и *противный*. Прилагательные *вреденький* и *противенький*, по-видимому, невозможны (в неэмфатической речи), мало вероятно и *колюченький*. Поэтому и *ёжик* (явно членимый), и *суслик* (сомнительный в отношении членимости) оказались одинаково лишены прилагательных с ласкательно-уменьшительным суффиксом. Наш опыт такие слова «не берет».

Во-вторых, существует языковая эмоциональная шкала предметов, обозначенных существительными. По этой шкале и *мышь*, и тем более *мышка* выше, значительно выше *тушканчика* (тем более — *суслика*); языку безразлично, что все они — вредители. Эта система ценностей накладывается на систему «членимо (с ласкательно-уменьшительным суффиксом) — нечленимо (без такого суффикса)» и может спутать карты.

Опыт проводился в двух вариантах. Первый: даны слова *кролик*, *зайчик*, *крот*, *мышь*, *тушканчик*, *ёжик*. Участники опыта (у нас это были студенты МГПИ) должны придумать предложение, где эти слова были бы использованы с прилагательными. Было дано такое напутствие: «Представьте, что вы пишете сказку для детей» (этот совет, действительно, повышал число *-еньк-*прилагательных в составленных предложениях). Было получено 280 ответов. Не подлежали учету:

а) прилагательные притяжательные; прилагательные с суффиксом *-ск-*, — с ними не соотносятся уменьшительные прилагательные. Не следовало ли исключить все относительные прилагательные? Это было бы трудно: часто предложения составлялись в очень непринужденном стиле, который допускает окачествование прилагательных самого широкого круга; пределы его было бы трудно объективно установить;

б) не учитывались прилагательные: *маленький*, *крохотный*, *крошечный*, *большой*. Они часто употреблялись в ответах; но *маленький*, наверно, сам по себе относится к типу *малина*, и сочетание с ним ничего не проясняет. Остальные не имеют *-еньк-*соответствий. Вот результаты.

Ясно видно, что членимость *кролика* ближе всего к несомненно членимому слову *зайчик*; данные этих слов резко отличаются от данных для всех других слов. Непоказательность результатов этого опыта для слова *тушканчик* объяснена выше (такие же данные получены и для слов *суслик*, *ёжик*; истолкование их уже было дано)<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Существует зоотехнический термин *окрол*, соотносительный со словом *кролик*. Выборочный опрос информантов показал, что им это слово незнакомо, хотя его значение они, конечно, легко понимали (ср. *окот*). Т. о., для информантов *кролик* был, действительно, *малиной*.

Существительное	К существительным отнесено прилагательное		
	без ласкательно-уменьшительного суффикса	с ласкательно-уменьшительным суффиксом	
Кролик	196	66	25%
Мышь	217	23	9,5%
Зайчик	170	78	31%
Крот	263	5	2%
Тушканчик	179	24	12%

Вторая разновидность того же опыта: участники его не придумывали предложений — контекст был дан нейтральный по стилю. В него надо подставить прилагательные<sup>16</sup>. Все остальные особенности проведения и учета опыта те же, что в первом случае. Набор существительных был иной:

Существительное	К существительному отнесено прилагательное		
	без ласкательно-уменьшительного суффикса	с ласкательно-уменьшительным суффиксом	
павлин	86	0	0%
мышка	10	76	88%
тушканчик	70	16	19%
лисонька	17	69	80%
кролик	66	20	22,5%
зайчик	15	71	82,5%
белка	80	6	7%
лиса	86	0	0%
белочка	34	52	60%

Такой же опыт был проведен в Белгородском пединституте<sup>17</sup>. Данные согласуются с полученными ранее. В текст были включены слова: *одуванчик*,

<sup>16</sup> Текст такой: «В клетке мы увидели... павлина. Около кочки снова показалась... мышка. ...тушканчик проскакал по полю. Из леса выбежала... лисонька. В углу комнаты сидел... кролик. Вот через поляну быстро пробежал... зайчик. ...белка прыгнула на нижнюю ветку. ...лиса снова обманула охотника. На нижней ветке сидела ... белочка».

Студенты должны были вставлять прилагательные, обозначающие цвет. Поэтому тушканчик уже не определялся как *вредный* и *противный*, и это помогало ему по членности сравняться с *кроликом*. (Перенасыщенность текста уменьшительно-ласкательными существительными, может быть, ограничила число *-еньк*-прилагательных: зажатый между *лисонькой* и *зайчиком* *кролик* давал возможность отдохнуть от приторности ласкательных определений.)

<sup>17</sup> Оба опыта проводились одновременно (март 1958 г.). В Белгороде работа была выполнена Т. Г. Тереховой. В Москве большую помощь при проведении опыта и обсуждении его результатов оказали И. А. Василенко и члены его кафедры. В это же

*маргаритка*, *лютик*; *пеночка*, а также слова, использованные в предыдущих опытах. Сочетаемость с прилагательными у слов *одуванчик*, *маргаритка*, *пеночка* очень отлична от сочетаемости явно нечленимых слов. У *лютика* же она почти та же, что у нечленимых. (Понимаю, что этот факт может быть истолкован в пользу взглядов А. И. Смирницкого.)

Каковы же итоги?

1) Опыты подтвердили, что существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом (*зайчик*) чаще вызывают такой же по значению суффикс в своем прилагательном (*беленький*), чем существительные не ласкательно-уменьшительные.

2) По данным опытов, прилагательные перед словом *кролик* ведут себя так же, как перед существительными с членимой основой. Следовательно, в этих словах одинаково выделяется суффикс.

Но возможность выделения бессмысленных морфем отвергается: нет корней *кроль-* (или *маль-*). Поэтому: у слов *кролик* и под. корень *кролик-* и, как показывают опыты, суффикс *-ик-*. То, что доказано на слове *кролик*, конечно, относится ко всем словам с данным типом основы; в том числе и к словам *суслик*, *тушканчик*, хотя именно они и оказались неподатливы для проверки в нашем опыте. Раз причины данной неподатливости ясны (и имеют лексический характер), то нет основания исключать их из группы *малина*.

Итак:

кролик, тушканчик, суслик, малина, смородина, крушина.

---

примерно время вопросы, затронутые в этой статье, несколько раз обсуждались мною вместе с Н. А. Янко-Триницкой (в частности, вопрос о том, членится ли слово *спец* на корень *спец-* и суффикс *-эц*; в слове *специалист*, разумеется, такого суффикса нет). Позднее эти же вопросы обсуждались с Е. А. Земской (после выхода ее статьи «Об одной особенности соединения словообразовательных морфем в русском языке»). Все эти обсуждения были очень полезны для уяснения сути дела. Рад сейчас поблагодарить всех моих помощников и собеседников-консультантов.

## Предсказуемость алломорфа\*

1. Написано: ...*рокодил*. Начала нет. Первая буква была, несомненно, *к*. Мы догадались об этом, зная слово *крокодил* и пребывая в уверенности, что других слов с таким букворядом в русском языке нет.

Ничуть не отличается от этого случая и такой: *к ним подошел рабочий-забастов...* — а конец недописан. Легко предсказать, что далее должны быть буквы *-щик*. Если же недописано: *к ним подошел рабочий-стачеч...* — то надо прибавить буквы *-ник*. Мы и здесь исходим из знания единичных слов: *забастовщик, стачечник*.

В дальнейшем у нас речь пойдет о другой возможности: предугадать алломорф, исходя не из конкретного слова, а из морфологических закономерностей русского языка.

2. *Ходить* — *хожу*, *стыдить* — *стыжусь*, *судить* — *сужу*, *гладить* — *глажу*, *водить* — *вожусь*, *цедить* — *цежусь*... Алломорф с исходом ⟨...д'⟩ не сочетается с алломорфом ⟨-у⟩, флексией 1 л. ед. ч. Сочетается алломорф ⟨...ж-⟩.

Этот закон не знает исключений. Он годится для предсказания, какой алломорф (из двух возможных) избран в грамматической форме 1 л. ед. ч. Возьмем искусственный глагол *фурудить*. Какая у него форма 1 л. ед. ч.? Никто никогда ее не слышал: глагол искусственный. Но выбор один: *фуружусь*. Действует не знание данной формы, а знание закона, по которому она образована.

Итак, зная законы соседства (синтагматические) можем предсказать, какой алломорф годится для данного сочетания морфем.

3. Впрочем, наша уверенность, пожалуй, чрезмерна.

В языке надо отличать сочетания единиц, невозможные в текстах по законам данного языка, и сочетания, случайно не представленные в данном тексте или даже во всех наличных текстах.

Приведем параллель из фонетики. Сочетания твердых глухих: [хф — хп — хс — хт — хц — хш — хк — хх] — все возможны (по законам русского языка) в пределах одного слова. Но реально представлены в словах только: [хс —

---

\* Русистика сегодня: Функционирование языка: лексика и грамматика. М.: Наука, 1993. С. 30—35.

хт — хц — хш — хк] (*выдохся, вахта, карабахцы, засохший, мягкость*). Все остальные фонетически законны, но не представлены в русских словах и, следовательно, в текстах.

Верно ли, что сочетание ⟨д' + у⟩ (в указанной алломорфной позиции) запрещено? Может быть, просто не представлено в наличных лексемах? То, что сочетание ⟨ж + у⟩ многочисленно в русских глагольных лексемах (в той же позиции), а ⟨д' + у⟩ не встречается, еще не доказательство незаконности ⟨д' + у⟩. Точно так же в фонетике: сочетание [хш] многочисленно, встречается во многих лексемах: *засохшие, набухшие, пропахшие, притихшие, зачихшие, передохшие, заглохшие, распухшие, протухшие* и т. д. А, например, [хф] совсем нет. Но из обилия сочетаний [хш] и отсутствия сочетаний [хф] вовсе не вытекает, что последнее сочетание отвергнуто законами языка. Может быть, такое же положение у сочетания ⟨д' + у⟩, на морфологическом уровне?

Закон в языке относится к классу явлений. Этим он и утверждает себя как закон.

Запрещены сочетания:

⟨...т'-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

⟨...д'-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

⟨...с'-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

⟨...з'-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

Весь этот класс алломорфов перед ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.) запрещен.

Это именно класс. Исходные фонемы в алломорфах ведут себя позиционно тождественно; они — класс, следовательно, и алломорфы, которым они принадлежат, — тоже класс.

Разрешены такие сочетания:

⟨...ч-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

⟨...ш-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

⟨...ж-⟩ + ⟨-у⟩ (1 л. ед. ч.)

Это тоже класс. Следовательно, налицо языковая закономерность. Зная ее, мы можем предсказать, какой алломорф годится для соседства с ⟨-у⟩, а какой не годится. При этом мы опираемся не на статистическую вероятность, а на систему разрешений — запретов.

4. Существуют, как было показано, морфологические закономерности соседства. Чтобы их установить, необходимо обратиться к классу явлений, а это значит: в одной позиции (например, перед ⟨-у⟩) сопоставить разные единицы. Такие закономерности соседства (синтагматические) позволяют предсказывать, предугадывать, какой алломорф избран в заданной грамматической форме.

5. Возьмем другой пример. *Крутить* — *кручу*, *катить* — *качу*, *плакать* — *плачу*, *мутить* — *мучу*, *светить* — *свечу*, *ответить* — *отвечу*, *озаботиться* — *озабочусь*... (Заметим: *-ть* после гласного).

Закономерность как будто ясна: с аффиксом *-ить* соседствует алломорф на ⟨...т'⟩, с аффиксом *-у* сочетается алломорф на ⟨...ч-⟩. Предсказуем ли, однако, этот алломорф?

Нет. Есть такие глаголы: *обогащать* — *обогащу*, *посетить* — *посещу*, *восхитить* — *восхищу*, *защитить* — *защичу*... У одного и того же корня может быть перед ⟨-у⟩ двойкий выбор (в разных словах): *просветить* (рентгеном) — *просвечу*, *просветить* (неученого) — *просвещу*, *проглотить* — *проглочу*, *поглотить* — *погложу*...<sup>1</sup>

Итак, из закона соседства предсказание не вытекает. Возьмем иные данные: *проглотить* — *проглоченный* — *проглочу*, но: *поглотить* — *поглощенный* — *погложу*.

Оказывается, если дана иная грамматическая форма (причастие стр., прошедш.), то по ее строению можно предсказать и форму 1 л. ед. ч. Здесь предсказание приходит «со стороны»: не от соседа, а от жильца другого этажа, другой грамматической формы.

Пожалуй, можно возразить, что *проглочу*, *погложу* — формы более «основные», чем причастие, и не форму 1 л. ед. ч. естественно узнавать по частию, а причастие по спрягаемой форме. Считаем это возражение несущественным для того сцепления мыслей, которое представлено в данной статье.

Когда мы изучали законы соседства, синтагматические, то оказалось важным рассмотреть, как ведут себя разные единицы в одной позиции. При изучении «столбцов», парадигм, важно понять, как ведет себя одна и та же единица в разных позициях: перед *-ить*, перед *-онный*, перед *-у*. Именно ряд единиц, позиционно замещающих друг друга, и является парадигмой<sup>2</sup>.

6. Каждая единица может изучаться и как член парадигматического, и как член синтагматического ряда. В одних случаях лучшую предсказуемость дает синтагматическая закономерность, в других — парадигматическая. В по-

<sup>1</sup> Не сказать ли: в старославянских по происхождению словах — такой выбор, в исконно русских — иной? Речь идет о законах современного русского языка, а в современном русском языке слова *посетить*, *восхитить* и пр. ничем не выдают своего старославянского происхождения, нет в них признака, который мог бы подсказать тот, а не другой выбор алломорфа.

<sup>2</sup> В учено-обывательском языке слово *парадигма* обычно употребляется в значении: все, что накопилось в памяти, куча более или менее однородных единиц. В таком значении это слово попало даже в газеты. Для науки, по нашему мнению, такое значение бесполезно.

следнем примере (*проглотить* — *проглоченный* — *проглочу*, *поглотил* — *поглощенный* — *поглощу*) более информативны парадигматические связи.

7. Морфема и ее алломорфы — единицы двусторонние. Есть сторона фонемная и есть сторона значения, семантическая. Мы считали ⟨ход⟩ и ⟨хож⟩ двумя фонемными алломорфами морфемы {ход} (она представлена всего четырьмя алломорфами: *ходить*, *хожу*, *хождение*, *ход*). Так же два значения, например, окончания существительных *-ом*, орудийное и агентивное: *рудокопом* и *молотком*, будем считать двумя семантическими алломорфами флексии тв. пад. ед. ч. муж. / ср. рода. Так как далее речь пойдет только о семантических алломорфах, определение их («семантические») будем опускать.

Наше внимание привлекут только парадигматические отношения алломорфов.

8. Флексия *-ом*, однако, имеет не два алломорфа, а больше. Они все предсказуемы.

а. Флексия *-ом* со значением орудия. Такое значение неизменно появляется, если, во-первых, основа существительного, имеющего данную флексию, обозначает предмет; во-вторых, глагол, управляющий существительным, обозначает физическое действие: *Осаждающие бревном протаранили ворота крепости*; *Огромным бревном, скатившимся с горы, разнесло все штабеля дров*.

Если непредметное существительное метафорически переосмысливается как нечто предметное, то возникает то же значение: *Он своим грозным замыслом хотел победить сразу всех врагов*.

Сочетания *мечтал бревном*, *ликовал бревном*, *вспотел бревном*, *ехидничал бревном*, надо полагать, грамматически ущербны: значение существительного оправдывает орудийное значение *-ом*, а значение глагола, не имеющего физически-моторной семантики, не допускает такого осмысления. Даже в фантастических, сказочных текстах такие сочетания вряд ли применимы.

б. Флексия *-ом* с агентивным значением. Такое значение можно предвидеть, если основа существительного, имеющего данную флексию, обозначает лицо, а глагол, управляющий существительным, передает страдательное значение: *Этот дом построен Бревном*; *Ларек ограблен «бревном» — шайкой мелких воришек*. Желая использовать то же существительное *бревно* для примера, мы вынуждены были переосмыслить его: оно стало относиться к лицу или группе лиц.

в. Флексия *-ом* со значением места или времени.

Чтобы явилось значение времени, годится любой полнозначный глагол; но основа управляемого существительного обязана иметь временное значение: *Этим утром он уже не приедет*; *Ранним летом здесь хорошо*.



Значение места возникает лишь при глаголах перемещения в пространстве (*плыть, идти, перемещаться, двигаться...*), а управляемое существительное должно иметь основу со значением места: *Мы возвращались домой лесом*. Или: *Овраг у нас в деревне называют балкой, а Костя, когда к нам приехал, всё путал и говорил: «Пойдем бревном к реке», вместо: «Пойдем балкой»...*<sup>3</sup>

г. Флексия *-ом* со значением образа действия. Такое значение появляется при наличии общих семантических множителей между управляющим глаголом и управляемым существительным; орудийно-предметного значения у существительного либо нет, либо оно снято контекстом: *Он поет басом; Выпиши слова столбцом (столбец — определенное расположение строк); Он приедет завтрашним поездом*. В последнем примере слово *поезд* теряет значение «сочетание ведущего локомотива с вагонами», что и указывает прилагательное *завтрашним*; *приедет поездом* здесь такое же указание способа движения, как *прибудет воздухом, придет пешком*.

Трудно найти контекст, где слово *бревно* было бы обеспредмечено; поэтому, видимо, это слово не имеет алломорфа *-ом* с таким значением.

д. Флексия *-ом* со значением сравнения. Свойственно существительным, у которых один качественный семантический множитель закреплен в метафорическом осмыслении: *заяц — трусливый, медведь — неуклюжий, орел — гордый, столб — неподвижный* и т. д. Такие слова едва ли не даны списком в современном русском языке. Примеры: *несется зайцем, ломит медведем, глядит орлом, стал столбом. Он бревном провалился в болото*.

е. Флексия *-ом* со значением необходимого объекта, без которого действие невозможно. Существительное (его основа) может иметь любое значение. Оно связано с глаголом сильным управлением, то есть глагол не употребляется без существительного в данном падеже<sup>4</sup>.

Отсутствие такого дополнения влияет на значение глагола; действие в таких случаях представлено как обычное, постоянно свойственное субъекту: *Он был мастер восхищаться, восторгаться, умиляться до слез*. В таком случае следовало бы говорить о нулевом дополнении.

**Примеры:** *увлекаться театром, пользоваться пылесосом... Он отполировал бревно и написал на нем мелкими буквами весь текст «Анны Карениной»; и уж как он гордился своим бревном!*

<sup>3</sup> Параллель с фонетикой: звонкие согласные уподобляются следующему глухому согласному; но звуковая закономерность в русском языке регрессивна, а семантическая — прогрессивна: флексия по значению уподобляется предшествующей части слова — основе.

<sup>4</sup> Сравнить: дифтонги в фонетике; притом неслоговая часть дифтонга может быть специфична, обусловлена положением при слоговой части.

ж. Флексия *-ом* со значением временного, непостоянного проявления. Появляется у любого существительного, когда оно непосредственно относится к глагольной связке: *Был министром. Когда я служил в леспромхозе, мы устроили тематический костюмированный бал: кто нарядился елочкой, кто кленом, а Семен Семенович был просто-напросто толстым бревном.*

Опускаем другие значения. Они тоже определяются позиционно, то есть предсказуемы.

Возможно, что некоторые позиционные условия, здесь намеченные, потребуют уточнения. Позиционный характер выбора алломорфа флексии виден и при данных характеристиках.

**9.** Позиционно ведет себя не только флексия *-ом*: это характерно вообще для словоизменительных формообразовательных аффиксов. Их семантические алломорфы избираются позиционно. Выбор можно предугадать по контексту. Контекст включает: 1) основу существительного, которое имеет данный аффикс, 2) слова, грамматически связанные с этим существительным.

Значение алломорфов, составляющих словоизменительную морфему, может быть очень различно. Эти значения объединяет именно то, что они чередуются позиционно<sup>5</sup>.

**10.** Бывает так, что значение слова, которое встретилось впервые, с известным корнем и известным словообразовательным аффиксом, приходится узнавать в словаре. Вот ряд слов с корнем *бел-*: 1. Белёк. 2. Беловник. 3. Бельцы. 4. Беляк. 5. Беляна. 6. Бель. 7. Бельня. 8. Бельки. 9. Белик. Эти слова имеют такие значения: 1. Тюлений детеныш, у него белый мех. 2. Растение белоцвет или иванов-цвет. 3. Снеговые горы. 4. Кудри на волне. 5. Плоскостное судно из некрашеного теса. 6. Серебряная монета. 7. Заведение для беления тканей или бумаги. 8. Пена в море после сильного волнения. 9. Пласт медвежьего сала. (См. словарь В. И. Даля; некоторые слова здесь диалектные, но их строение вполне отвечает литературным нормам.) Корень известен, аффиксы общеупотребительны, но морфемный состав слова недостаточен для понимания слова.

Это потому, что словообразовательный аффикс имеет изменчивое значение, которое не определяется контекстом, оно непредсказуемо. Наоборот, не-реален случай, когда читатель, встретив в книге известное ему слово (с понятной основой) оказался бы не в силах понять данную его форму, — то есть значение флексии, словоизменительного аффикса, в других словах, безусловно, ему известного. Неправдоподобно, чтобы кто-то, зная слово, например, *наперсник*, оказался не в силах понять форму *наперсником*, вполне законо-

---

<sup>5</sup> Сравнить с фонетикой: в одну фонему объединяются разные аллофоны, и причина их объединения — то, что они позиционно чередуются.

мерно (по нормам языка) употребленную в тексте. Этот простой факт означает, что выбор семантического алломорфа словоизменительной морфемы позиционно предопределен.

Могут быть случаи двузначности алломорфа, когда позиционные условия недостаточно определены для выбора одного алломорфа. Это вполне отвечает сути позиционных чередований.

**11.** Словообразовательные морфемы варьируются непозиционно; их алломорфы многообразны и непредсказуемы. Есть, например, алломорф с таким значением: растение определенного вида с цветами той окраски, которая указана корнем; это значение находим у слова *беловник* — и больше ни у одного слова с тем же суффиксом (*садовник, ужомник, слоновник, шишковник, терновник, клоповник, зимовник...*). Суф. *-овник-* имеет широкое предметноличное значение, которое в каждом новом контексте (в сочетании с другим корнем) неожиданно, непозиционно меняется.

Вопрос о непредсказуемости значения словообразовательных алломорфов много раз обсуждался лингвистами, поэтому здесь много слов не нужно. Попытки отказать словообразовательным аффиксам в непредсказуемой вариативности значения, на наш взгляд, лишены убеждающей силы. Здесь не место их анализировать.

**12.** Высказывалось мнение, что непредсказуемый смысловой довесок принадлежит не словообразовательным аффиксам, а всей основе в целом. Это не так. В словах типа: *дом, утро, синий, злой, иду, пишу* — где нет словообразовательных аффиксов — нет и семантического довеска. Следовательно, он — принадлежность этих аффиксов.

**13.** Обозначим: **А** — корень, **б** — словообразовательный аффикс, **в** — словоизменительный аффикс (флексия). **А + б** = основа; **б** — элемент семантически переменчивый и непредсказуемый. Может ли и другой элемент основы быть переменчивым? Можно ли решить уравнение с двумя неизвестными? Нет, для этого нужна система из двух уравнений. Но и эта система неразрешима, если в ней *икс* и *игрек* переменчивы, разные в разных уравнениях. Это сопоставление наводит на мысль, что **А**, корень, должен иметь постоянное, устойчивое значение во всех словах, где встречается этот именно корень.

Так оно и есть. Если бы было переменчивым и **А**, и **б**, то нельзя было бы определить значение частей основы и, следовательно, их выделить.

**14.** Корень **А** встречается в словах такого строения: **А, А + в, А + б + в**. Если слово состоит из одного корня, то нет компонентов, которые могли бы изменить значение **А**. Если слово состоит из корня и словоизменительного аффикса, то влияние на корень соседа тоже исключено: морфема **в** сама позиционно зависит от **А**, см. § 8—9; алломорфы выбираются по требованию **А**.

Эти две позиции определяют значение **А**; оно не подвержено варьированию, оно стабильно.

В сочетании **А + б + в** корню **А** нетрудно сохранить свое реноме: все семантические смещения будут, естественно, отнесены на счет **б**, семантически изменчивого компонента основы.

Так позиционно гарантируется смысловая стабильность корня.

**15.** Итак: корень — семантически постоянная часть слова; словоизменяемый аффикс — позиционно переменчивая, словообразовательный аффикс — непозиционно переменчивая часть слова.

**16.** Сказанное здесь свидетельствует о возможности построить строго позиционную морфологию русского языка.

## О позиционных чередованиях в фонологии и морфонологии\*

1. Художники группы «Мир искусства» называются «мирискусники». Каков фонемный состав этого слова? Может быть, такой: ⟨м'ирискус'н'ик⟩<sup>1</sup>, тогда *-тво* усекается и к усеченной основе прикрепляется аффикс *-ник*<sup>2</sup>. Но такое решение не единственно возможное. Состав может быть и другим: ⟨мирискуствн'ик⟩. Докажем это. Сочетание ⟨твн⟩ в русских словах, в заударной их части, является произносимым. В реальных лексемах оно не встречается. Было проверено произношение таких искусственных слов: *кóтвни*, *лétвню*, *мíтвня*, *фúтвни*<sup>3</sup>. Либо произносят *кóт-внi*, с двумя ударениями, либо — без [в]: [кóтн'и], либо вставляют перед [в] краткий гласный: [кóт<sup>б</sup>вн'и].

Это дает основание считать, что в современном русском языке сочетание ⟨твн'⟩ реализуется с «непроизносимым» ⟨в⟩: [т'н']<sup>4</sup>.

Итак: ⟨ствн'⟩ → [с'т'н']. Но сочетание [с'т'н'], как известно, в современном русском языке упрощено в [с'н'] (*вестник*, *областничество*). Следова-

---

\* Вопросы русского языкознания. Вып. 3. Проблемы теории и истории русского языка / Под ред. К. В. Горшковой. М.: МГУ, 1980. С. 68—79. (В соавторстве с С. М. Кузьминой.)

<sup>1</sup> Звездочкой отмечены гиперфонемы в тех случаях, когда их обозначение возвращено не дается.

<sup>2</sup> Об усечении основ см.: *Земская Е. А.* Современный русский язык: Словообразование. М., 1963. С. 137—149.

<sup>3</sup> О технике проведения такого опыта см.: *Терехова Т. Г.* Произношение сочетаний трех согласных в современном русском литературном языке // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1966. С. 72—75.

<sup>4</sup> См. доказательства того, что сочетание в своем полном виде произносимо, в указанной статье Т. Г. Тереховой (с. 74). По данным Т. Г. Тереховой, сочетание ⟨твн⟩ (по ее индексации оно = ABC, 212) надо считать произносимым. Но факты нашего опыта противоречат этому.

Т. Г. Терехова отдельно изучала условия «непроизносимости», связанные с местом артикуляции, и отдельно — связанные с ее способом. Очевидно, есть случаи, когда запрет обусловлен не той и другой закономерностями, взятыми в отдельности, а их наложением. Рассматриваемый случай именно такой.

тельно, сочетание [с'н'] может реализовать последовательность фонем ⟨ствн'⟩. Суммируя сказанное, слово *мирискусник* надо фонетически представить так: ⟨м'ириску́с(тв/0)н'ик⟩. Сложно, но что поделаешь?

Но отсюда вытекает следующее. Сочетание [с'н'] в таких, например, словах, как *снизиться, сниться, погаснет, опаснее, мясник, яснеть*, представляют фонемы ⟨сн'⟩. Это можно установить с помощью морфемных сопоставлений: *слететь* и *низ* — значит ⟨сн'⟩изиться; *сон* — значит ⟨сн'⟩иться; *погас* и *крикнет* — значит *пога*⟨сн'⟩ет; *опасен* — значит *опа*⟨сн'⟩еет и т. д.

Но слова *снег, снедь, снимок* надо фонематически представить так: ⟨с(тв/0)н'эг⟩. Непроизносимыми могут быть не ⟨тв⟩, две фонемы, но и просто ⟨т⟩; значит: ⟨с(т/тв/0)н'эг⟩. Предоставляем читателю транскрибировать все другие слова.

Есть необходимость в такой трактовке фонемного строя этих слов? Почему до сих пор так не делалось? Стоит ли теперь так их трактовать?

Можно с уверенностью сказать, что такое решение читателю придется не по вкусу. Бессознательно «чувствуется», наверное, так: есть множество случаев, когда сочетание [с'н'] можно уверенно, ориентируясь на морфемные сопоставления, трактовать как ⟨сн'⟩ или ⟨с'н'⟩. Лишь в одном случае (*мирискусник*) то же сочетание допускает толкование как ⟨ствн'⟩, да и то такое толкование альтернативно, одно из двух допустимых. Значит, в огромном количестве случаев, когда есть проверка фонемного состава, чаша весов склоняется к ⟨сн'⟩ и очень редко — к иному фонемному сочетанию. Поэтому и в случаях, когда сочетание непроверяемо, можно полагать на 99% и даже более — на 99,99%, что сочетание [с'н'] эквивалентно ⟨сн'⟩.

2. После [ш, ж] в первом предударном слоге фонема ⟨а⟩ реализуется звуком [а]: *шагать, жара* и т. д. Но есть несколько случаев, когда в соответствии с ударным [á] в том же первом предударном слоге произносится [ы<sup>3</sup>]: *жалеть, лошадей*... Здесь надо видеть чередование фонем: в форме *жалеть* не может быть (в корне) фонема ⟨а⟩ (хотя: *жаль*); фонема ⟨а⟩ была бы реализована звуком [а]. Здесь — гиперфонема ⟨о/э⟩. Таким образом в корнях *жаль* — *жалеть*, *лошадка* — *лошадей* налицо чередование фонемы и гиперфонемы: ⟨а⟩ || ⟨о/э⟩.

Чередование это необычно в том отношении, что, встречаясь не раз после [ш, ж], хотя и в небольшом кругу слов, оно настойчиво сопровождается мейной ударной и безударной позиций, т. е. позиций не морфонологических, а фонетических!

Итак, есть случаи, когда относительно систематически фонема под ударением находится в соответствии с совсем иной фонемой в позиции безударной. (Другие примеры того же типа: *летят* — *вылетют*, *включат* — *выключут*; факт для современного произношения устаревающий или, может быть,

даже устаревший, но факт, и теоретически он должен быть осмыслен. Еще пример: *седой, молодой — старый, юный.*)

Обобщим эти случаи, сравнительно немногочисленные, но вовсе не уникальные: фонема ⟨а⟩, представленная в сильной позиции, находится в более или менее частом чередовании с фонемой ⟨β⟩ в слабой (безударной) позиции. В случаях *жаль — ж[ы<sup>3</sup>]леть, летят — вылет[’у]т* это очевидно, потому что чередуются фонемы, не тождественные в своих реализациях (одна реализуется звуком [а], другая — [у], ясно, что фонемы здесь разные: нет в русском языке фонемы, представленной рядом [á] || [у]).

Это значит, что проверка слабой позиции по сильной не абсолютно надежна. Она надежна на 99,9%, но не на 100. Другими словами: в случаях *лошадка — лошадей, жаль — жалеть* и др.; *летят — вылетют, молодой — юный* мена сильная позиция || слабая позиция сопровождается меной не аллофонов одной фонемы, а самих фонем.

Но мы вправе предположить, что есть такие же случаи не только с меной фонем ⟨а⟩ || ⟨у⟩ (*летят — вылетют*), ⟨о⟩ || ⟨и⟩ (*молодой — юный*), ⟨а⟩ || ⟨о/э⟩ (*лошадка — лошадей*), но, вероятно, и с меной фонем ⟨а⟩ || ⟨и⟩ (в предударном слоге после мягких), ⟨а⟩ || ⟨э⟩, ⟨а⟩ || ⟨о⟩, ⟨о⟩ || ⟨и⟩ и ⟨о⟩ || ⟨э⟩ (последнее особенно легко предположить, потому что даже в сильной позиции ⟨о⟩ — ⟨э⟩ — частые взаимозаменители: *жёны — женский, чёрт — черти* и т. д.).

Конечно, такое чередование не будет фонетически выявляться: реализация фонем ⟨а⟩ и ⟨и⟩, ⟨а⟩ и ⟨э⟩, ⟨а⟩ и ⟨о⟩, ⟨о⟩ и ⟨и⟩, ⟨о⟩ и ⟨э⟩ в безударных слогах после мягких согласных одинакова. Однако, если мы хотим подняться от эмпирии к сути языковых явлений<sup>5</sup>, нельзя игнорировать тот факт, что иногда смена сильной позиции на слабую сопровождается меной фонем. Возьмем, например, соотношение *площадка — площадей*. Может быть, здесь тоже чередование фонем ⟨а⟩ || ⟨о⟩, но только оно не отразилось на звучании слов, поскольку ⟨а⟩ и ⟨о⟩ в безударной позиции реализуются одинаково? У нас нет уверенности, что это чередование исключено. Мы вправе предполагать, с долей вероятности 99,9%<sup>6</sup>, что его нет, но полной уверенности у нас быть не может.

Значит, даже бесспорные случаи не бесспорны. Нельзя полностью доверять проверкам.

<sup>5</sup> Эмпирически, чисто фонетически совпадают окончания в формах, например, существительных *эти звери — об этом звере*. Но фонематически мы их разграничиваем: ⟨и⟩ — ⟨э⟩. Так и в других случаях фонетическое тождество не должно мешать рассуждению: в какой степени вероятно фонемное тождество?

<sup>6</sup> Не первый раз мы повторяем — 99,9%. Читателю, наверное, ясно, что это число символично: оно не вычислено нами с усердием и терпением, а есть знак, что налицо не 100%.

3. Есть случаи, когда безударному гласному соответствуют две и даже три проверки: *лебедь* — *лебяжий*, *лебедка*; *протереть* — *протер*, *протирка*, *терка*; *сидеть* — *сел*, *сяду*, *сидя* и т. д.

Тогда истинной считают ту проверку, которую дает наиболее близкая морфологическая форма: *про*(т'ор)*еть*, так как *про*(т'ор). Естественно думать, что внутри парадигмы одного глагола состав корня более стабилен, чем в совершенно разных словах — глаголе и существительном.

Так же можно рассуждать, рассматривая слово *лебедь*. Отыменное прилагательное обычно сохраняет состав производящей основы, а название самки животного или птицы часто отличается от названия самца (*кот* — *кошка*, *павлин* — *пав*а и т. д. вплоть до полного супплетивизма). В таком случае связь *лебедь* — *лебяжий*, вероятно, надежнее, чем *лебедь* — *лебедка*, а поэтому: <л'эб'ад'>.

Приходится употреблять такие слова, как «надежнее», «вероятно», «может быть»... Действительно, предположение о близости-неблизости двух грамматических форм носит предположительный характер. Форма *протереть*, вероятно, более похожа на форму *протер*, чем *протирка* (ср. случаи типа *сесть* — *сяду*, где внутри одной и той же глагольной парадигмы есть мена фонем). И эти случаи заставляют говорить не о твердо установленном фонемном составе морфем, а о том, что такой-то состав весьма вероятен.

4. Существует много слов, в которых [á] ударный чередуется с безударным [и] (после мягких согласных: *мясо* — *мясной*, *прямо* — *прямой*, *пляска* — *плясать*, *пять* — *без пяти*, *часто* — *частотный*, *тянет* — *тянуть*, *тяжесть* — *тяжелый* и т. д.). И есть одно слово, которое нарушает эту закономерность: *спекулятивный*, с [л'а] в предударном слоге, при *спекуляция*<sup>7</sup>.

Как интерпретировать фонемный состав слова *спекулятивный*! Очевидно, только одним способом: *спеку*(л'а)*тивный*. Гиперфонему <э/о> (или какую-нибудь другую) здесь предположить нельзя, <э/о> (и любая другая гиперфонема) не реализуется в этой позиции звуком [а].

Если следовать по пути, которым мы шли, интерпретируя форму *лошадей*, то справедливо такое рассуждение: фонема <а> реализуется в первом предударном слоге после мягких звуком [а] (*спекулятивный* — единственный пример такой реализации). Во всех остальных случаях — *мясо* — *мясной* и пр., сотни слов — представлена гиперфонема <о/э/и>, то есть: <м'асо> —

<sup>7</sup> Есть еще такое же слово: *ассимилятивный*, тоже с [а] после мягкого согласного в предударном слоге (ср. *ассимиляция*). Но это слово строго терминологично и, может быть, относится к особой фонетической подсистеме. Напротив, *спекулятивный* — слово, употребительное в бытовой речи: *продает по спекулятивным ценам; занялся спекулятивными махинациями*.



⟨м'(о/э/и)сно́й⟩). Печально, но только такое решение последовательно и верно, если исходить из предположения, что фонетическое чередование (чередование внутри фонемы) имеет стопроцентный, тотально-фатальный характер.

При этом, как видим, чередование фонем — гиперфонем в пределах одной и той же морфемы принимает эпидемически-повальный характер. Нельзя избавиться от признания того неудобного факта, что оно происходит в условиях фонетической позиции: после мягких согласных, в безударных слогах. Более того, ясному ощущению разумности написаний *мясной, прямой, плясать, без пяти* и мн. др., их фонемной справедливости на смену должно прийти утверждение их неразумности, так как они-де не отражают истинного строя этих слов (с гиперфонемой ⟨о/э/и⟩).

Выйти из тупика можно следующим образом: признать, что, хотя чередование [á] || [и] (в безударных слогах, после мягких согласных) не стопроцентно, все же оно позиционно. Для этого достаточно 99,9%.

5. Однако не всегда единичный случай можно считать как бы несуществующим. Слово *июньский* позволяет говорить, что во всех примерах (а их огромное количество) типа: *Казань — казанский, конь — конный, прекрасен — прекрасна, ясен — ясно, чудесен — чудесно, приятен — приятно, жаден — жадный, грозен — грозный, гонец — гонца, испанец — испанца, украинец — украинца, созидать — создать* и пр. и пр. не гиперфонема ⟨н/н'⟩, ⟨т/т'⟩ и пр., а твердая фонема ⟨н⟩, ⟨т⟩, и здесь морфонологически обусловленные мены фонем. Это, вероятно, более простое описание фактов языка.

6. В современном русском языке существует такое распределение согласных [к—г—х] и [к'—г'—х']: перед гласными переднего ряда — только [к'—г'—х'], во всех остальных позициях — только [к—г—х]. Эту закономерность нарушают словоформы *ткешь, ткет, ткем, ткете, киоскер, маникюр*. Можно ли сказать, что эта закономерность теперь относится лишь к согласной [к'], но не [г'—х']?<sup>8</sup> Но фонетическая закономерность относится к классу звуков, а не к их случайному конгломерату. Являются ли сочетания [г'а, г'о, г'у] и [х'а, х'о, х'у] закономерными в литературном языке, но не представленными лексически? Вполне возможно.

Но, вероятно, допустимо считать «старую» фонетическую закономерность еще реальной для современного языка (мягкие заднеязычные — только перед [э], [и]), хотя и не стопроцентной. Исключения (*ткет* и пр.) мы умышленно не замечаем<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Действительно, формы *берега, бережет, жгем* нелитературные; *жерехёнок* — вообще искусственное образование, вряд ли употребительное в речи.

<sup>9</sup> Такая точка зрения принята в работах А. А. Реформатского, Н. А. Еськовой и др.

7. Читатель, возможно, обратил внимание на то, что все доводы, которые приводятся в пользу вероятностного понимания фонетического чередования, имеют в виду удобство описания, а не сущностные черты фонемной системы.

Какие есть теоретические основания для такого пренебрежения к 0,01%? Ведь позиционные чередования определяются строго: те, которые осуществляются без исключения. И важность такого определения понятна. Незначимо то, что не выбирается. Если на конце такта глухость шумного согласного (в русском литературном языке) не выбирается, а предписывается языком, то она и не существенна для передачи значений. Пусть хотя бы в некоторых, немногих случаях в конце слова (точнее, такта) выступал звонкий согласный. Тогда оказалось бы, что язык выбирает в одних словах конечный глухой согласный, в других (немногих) — звонкий. Пусть существуют сотни чередований: *kozy* — *ко[с]*, *розы* — *ро[с]*, *занозы* — *зано[с]*, *газы* — *га[с]*, *карнизы* — *карни[с]*, *отрезы* — *отре[с]*, *паровозы* — *парово[с]*, *борзый* — *бор[с]*, *чумазый* — *чума[с]*, *сизый* — *си[с]*, *лизнуть* — *ли[с]*<sup>10</sup>, *погрязнуть* — *погряз[с]*, *привезу* — *приве[с]* и т. д., но если есть *Лиза* — *Ли[з]*! (звательная форма), то нельзя считать, что здесь чередование позиционно: одни слова (огромное большинство!) выбирают на конце согласный [с], а другие, меньшинство, — [з]. Есть возможность выбора, поэтому чередование *морозы* — *моро[с]* значимо, передает значение (например, грамматическое).

Понятно, почему так категорично требование: позиционные чередования не должны знать исключений<sup>11</sup>.

8. По теории информации, если в опыте возможен только один исход, то информация, которую несет выполнение этого опыта, равна нулю:

$$H_n = -1 \log_2 1 = 0.$$

Однако, вступив на этот путь, привлекая теорию информации, надо сделать по нему и еще один шаг. Оказывается, даже если есть два исхода, информация может оказаться близкой к нулю (как угодно близкой), именно в тех случаях, когда один исход значительно более вероятен, чем другой. Если

<sup>10</sup> *Он меня лиз!* — и в конуру.

<sup>11</sup> Иногда позиционные чередования пытаются определить так: это такие чередования, которые определяются, обуславливаются позицией. Просто, но... бессодержательно. Как установить, определяется позицией данное чередование или нет? Сама позиция не кричит: я определяю то-то и то-то. Нужен критерий, позволяющий установить, когда можно считать, что позиция обуславливает (вызывает) чередования. Очевидно, нельзя было бы сказать, что позиция конца слова (такта) вызвала мену звонкого на глухой (*морозы* — *мороз*), если бы существовала форма *Ли[з]*! Позиция — не капризная дама, которая в одном случае может потребовать оглушения, а в другом — нет. Видимо, тотальность чередования — существеннейший критерий его позиционности.

в сосуде 10 000 горошин и лишь одна — черная, то извлечение одной горошины в среднем приносит такую информацию:

$$H_m = 10000 (-0,0001 \log 0,0001) \approx 0.$$

Информация еще ближе к нулю, если черная горошина — одна из 1 000 000 (остальные, скажем, зеленые).

Итак, этот случай может как угодно мало отличаться от того, когда выбора исходов нет.

Представим, что сосуд с горохом — это язык. В нем тысячи тысяч таких горошин: сочетаний [к] с гласными непереднего ряда. И единичные черные горошины: *ткет, ткем... киоскер... маникюр...* Всегда ли надо принимать их во внимание и подчеркивать, что перед [о] возможны согласные и [к] и [к']? Ведь отличие от случая, когда выбор невозможен, здесь минимальное; отличие от случая, когда есть два равноправных или почти равноправных, более или менее равноправных выбора (например, [т] и [т'] перед гласными непереднего ряда), напротив, разительно.

9. Надо принять во внимание и такие соображения. В языке есть периоды сравнительной стабильности, периоды выровненности, устойчивости системы. И есть периоды смуты, брожения — это переходные времена между двумя стабильностями. (Может быть, наоборот, стабильность считать переходной, а нормой — брожение? Шаблоны мысли зовут к этому. Мы привыкли устойчивость всегда рассматривать как обманчивый, искусственно вырезанный кусок движения. В языке, очевидно, это не так: язык, чтобы служить хорошим, надежным средством общения, должен быть стабилен; следовательно, периоды устойчивости — главные, сущностно-содержательные для языка.)

Например, начало XX в. для русской орфоэпии было временем устойчивости. Многочисленные наблюдатели, не сговариваясь, свидетельствуют одно и то же, например, о поведении мягких-твердых согласных. Нет сомнения, что в речи были колебания (их не может не быть), но они не выходили за пределы частых или редких оговорок. Запись произношения Д. Н. Ушакова показывает, что его речь не является (в фонетическом отношении) машинно-стандартной, она включает вариантность, но в основных чертах верна тому описанию, которое находим в фонетических трудах Ф. Е. Корша, Р. Кошутича, А. А. Шахматова, О. Брока, И. Лунделля, Н. Н. Дурново, Р. Ф. Брандта, В. И. Чернышева и самого Д. Н. Ушакова. Зубные, например, постоянно бывают мягкими (или полумягкими) перед мягкими зубными и губными.

Наше время — время орфоэпического брожения в отношении твердости-мягкости согласных. Произносится *pa[z'v']e*, но *pa[zv']ut*; а слова, например, *известия, язвительно* — то с [з'], то с [з].

Как описать эту новую систему, промежуточную, послеушаковскую и еще чью-то? Во-первых, можно так скрупулезно, по словечку и описать: дать

наблюдения относительно каждого слова. Констатировать, какое произношение преобладает в том, другом, третьем случае. Но это описание бесполезно для орфоэпических рекомендаций. Неужели артистам, студентам, дикторам, преподавателям так и заучивать по словечку, какое как произносится? Но даже и такие, пословные советы невозможны: колебание вариантов выражается в пестрой сумятице процентных данных. Предположим, в 70% речевых случаев произносится *и[з]ьять*; в 30% — *и[з']ьять*, так и рекомендовать: в 70% всех случаев произносите твердо?<sup>12</sup>

Одно из двух: рекомендовать либо устойчивую норму, которая была, либо которая будет (предположительно тоже устойчивую). Естественно, выбор должен пасть на норму, которая была (что будет — неизвестно).

В таком случае, описывая русское произношение согласных в сочетании с мягкими согласными, мы выравниваем, стилизуем современное произношение. Мы говорим: перед мягкими губными не различаются мягкие-твердые зубные, пренебрегая такими «черными горошинами», как *разве* — *развит*. То, что вероятно на 70% (или на сколько-то), возводится нами в 100%. Снова мы не вполне обязательное представляем как обязательное, на этот раз не для простого описания, а для того, чтобы сделать действенными, эффективными наши орфоэпические рекомендации.

**10.** При новом подходе расширяется репертуар позиционных чередований. Мена: [т'][д] || [с'] (*ведут* — *вести*, *бреду* — *брести*, *кладу* — *класть*, *плету* — *плести*, *мету* — *мести*, *прочту* — *прочсть* и под.) — непозиционное: *иду* — *идти* = [ит':й], а не [ис'т'й] (хотя Н. С. Трубецкой считал это чередование позиционным). Но порог в 99,9% (или 90) позволяет и это чередование ввести в ранг позиционных. Описание русской морфонологии (следовательно, морфологии) этим упрощается.

**11.** Когда же становится невозможным считать новшества просто досадными помехами и вопреки им продолжать чтить закономерность в качестве позиционной? Наверно, до тех пор, пока не появятся минимальные пары, опровергающие позиционность чередования. Есть *ткёт*, и есть слово *кот*. Если появятся два разных слова: *ткёт* — *ткот* или *кот* — *кёт*, то уже нельзя будет игнорировать то, что [к'] встречается перед [о]: позиция стала явно различительной.

Пока среди слов с сочетанием «зубной + мягкий губной» наиболее «подобной» является пара *разве* — *развит*, можно в некоторых описаниях не оговаривать различие в сочетаниях [з'в] — [зв'] (т. е. описывать поведение зубных перед мягкими губными в ушаковской традиции). Но положение может измениться.

<sup>12</sup> Цифры взяты условно.

На обсуждении вопросов русской орфоэпии в 1967 г. выступала заслуженная артистка РСФСР М. И. Ерусановская. Она отметила, что, по ее мнению, в слове *Света* (имя собственное) надо произносить [с'] мягкий, а в слове *света* (род. пад. от *свет*) — твердый начальный согласный. Если такое отношение станет реальным фактом языка, то образуется минимальная пара, различающаяся только согласными [с — с']. И тогда позиционную закономерность: перед мягким губным — только мягкий зубной — нельзя будет считать верной ни в каком описании.

12. Приняв в качестве возможного такое описание, где позиционными считаются не только стопроцентно «чистые» чередования, мы все же остаемся перед задачей: как описывать, как фонематически транскрибировать те случаи, на которые мы решили не обращать внимания (т. е. не учитываем их «особливости»)? Ответ может быть следующим: с помощью диэремы. В фонетической литературе уже были намеки на возможность именно такого решения. Следовательно: спеку⟨л'а⟩тивный, ⟨раз#в'ит⟩ и т. д. Возможны, вероятно, и другие решения.

13. Вероятностное понимание позиционных чередований особенно важно для морфологии. В этой области есть чередования, обусловленные не фонетической, а грамматической позицией. Но в чистом, безысключительном виде они выступают очень редко. Возьмем такой случай:

прибавить	— прибавление
подавить	— подавление
ржавить	— ржавление
плавить(ся)	— плавление
прославить	— прославление
поздравить	— поздравление
направить	— направление
выправить	— выправление
травить	— травление
наставить	— наставление
преставиться	— преставление
оставить	— оставление
противопоставить	— противопоставление
составить	— составление
удешевить	— удешевление
одушевить	— одушевление...

и мн. др. (около 100 слов в словаре Д. Н. Ушакова, фактически таких образований, несомненно, больше). И: *благословить* — *благословение*. Одно словечко — и все пошло прахом! Чередование: [в'] перед *-ить* (инфинитив) || [вл'] перед *-ение* — оказалось морфонологически непоозиционным. Обидно.

Понимание позиционности на вероятностной основе вернет этому чередованию статус позиционного.

**14.** И таких случаев немало. Построить морфонологию на позиционной основе можно только при таком «нетотальном» понимании позиционности.

**15.** В данной статье мы не пытаемся дезавуировать понимание позиционных чередований в качестве безысключительных действующих. Утверждается совсем иное.

Наряду с описанием языка, где позиционными признаются только безысключительные чередования (такое описание полноценно и теоретически наиболее «чисто»), возможны и такие описания, где понятие позиционности распространено и на чередования с минимальным числом исключений. Практически такие описания целесообразны; они находят для себя и теоретическое оправдание.

## О «скрытых» грамматических значениях\*

Принципы анализа грамматических значений, сформулированные Ф. Ф. Фортунатовым, актуальны и сейчас. Во-первых, грамматические значения должны исследоваться в их чистоте, т. е. в отвлечении от лексических значений. (Противоположный взгляд выдвинут Л. В. Щербой, он формулируется так: грамматические значения нельзя отрывать от лексических, они должны быть взяты в единстве и т. д.; это означает, что специфика тех и других не будет выявлена.) Во-вторых, по Фортунатову: каждое грамматическое значение следует изучать в сопоставлении с другим грамматическим значением, которому оно противопоставлено. Сам Ф. Ф. Фортунатов использовал термин «изменяться по...», например, существительные изменяются по падежам; это и значит: одна падежная форма соотнесена с другой. (Противоположная точка зрения: значение каждой грамматической формы может изучаться изолированно, например, правомерно изучение винительного падежа без обращения к родительному падежу.) В-третьих, для каждого грамматического значения надо найти средства его выражения и то, что не выражено, грамматически не существует. (Противоположная точка зрения: значение языковой единицы может быть выявлено по общему контексту и по всему поведению говорящих, без использования специфических средств его реализации.)

Термин «изменяется по...» верен по смыслу, но неудачен по своей внутренней форме. В нем есть оттенок процессуальности, а это искажает суть дела; она заключается в том, что единица с определенным грамматическим значением определена, обусловлена, ограничена другой единицей и они обе существуют только в таком взаимоотношении.

Кроме того, этот термин не может быть применим, когда сопоставлены серии грамматических форм. Можно сказать: глагол изменяется по лицам, но вряд ли можно: глагол изменяется по наклонениям, так как нет единичного субъекта изменения. Следует говорить о сосуществовании противопоставленных форм.

---

\* Семантика языковых единиц: Материалы 3-й межвуз. науч.-исслед. конф. Ч. 2: Фразеологическая семантика. Словообразовательная семантика. Морфологическая семантика. М.: Альфа, 1993. С. 159—164.

Наконец, этот термин трудно использовать, когда противопоставленные формы различаются не одной морфемой, а их цепочкой (и, следовательно, несколькими значениями сразу): *лик-ова-л-а* — *лик-уй-ут*.

Так сам термин мешает охватить одним взглядом различные случаи, которые по существу требуют такого охвата. Поэтому следует говорить (и думать) не об изменении одной формы в другую (при синхронном анализе), но об их взаимоотталкивании, об их противопоставленности, как этого и требует самая суть учения Ф. Ф. Фортунатова.

Показатели, передающие грамматические значения, бывают многозначны. И легко ускользает от внимания грамматистов наиболее общее значение, объединяющее несколько форм. Широко распространено мнение: в формах *читала*, *читал* значение времени передано аффиксом *-л-*, а в формах *читает*, *читаем* не передается никак. Но если значение времени не выражено, то этого значения нет, см. 3-й принцип грамматики Фортунатова. На самом деле время (настоящее — будущее) обозначено флексией *-ут*. Она многозначна и показывает: лицо (т. к. есть форма *пишете*), число (т. к. есть *пишет*), время (*писал*), наклонение (есть *пиши*, *писал бы*). Почему легко признают, что флексия *-ут* несет значение и лица, и числа, но останавливаются перед признанием, что она имеет также и значение времени? Мешает формула «изменяется по...». Неловко сказать, что формы (*пишут* — *писали*) изменяются по временам; речь ведь должна идти о совокупности форм, формы одного времени противопоставлены формам другого времени.

Итак, «увидеть» грамматическое значение в его конкретном выражении не всегда легко. Поэтому вполне возможно, что некоторые из таких значений ускользнули от внимания исследователей. Ускользнуло, на наш взгляд, важнейшее значение, свойственное глаголу и определяющее его значение как части речи.

Чтобы обнаружить его, используем такой прием. Частица *не* (и ее коррелят — *нет*) может отрицать в глаголе любую часть его значения — и, отрицая, тем самым ее выявлять: *Они рисовали... Нет, не рисовали: один я рисовал* (отрицается число); *Он ходит на занятия... Нет, ходил; теперь болеет* (отрицается время) и т. д. Таким образом, с помощью *не*, сопоставляя положительную и негативную глагольную конструкцию, можно расщепить на составные части весь комплекс значений, присущий каждому аффиксу.

*Город сильно изменился: не дымили трубы фабрик, не слышалось грохота их машин.* В предложении *не дымили* может быть понято двояко: 1) отрицается лексическое значение глагола: не было действия *дымили*; заводы не действовали, т. к. поставлены дымоуловители на трубы; 2) не было самих труб — заводы во время войны разбомбили. Следовательно, предикативные формы глагола указывают бытие / небытие субъекта предложения.



Может быть, следовало бы говорить о том, что налицо значение бытия / небытия всей целостной ситуации, обозначенной в предложении: *Ручей больше не вертит колеса крохотной мельницы*. Это может означать: 1) отрицается действие: и ручей, и мельница существуют, но мельница теперь паровая; 2) ручья нет: высох, иссяк; 3) нет мельницы. Наоборот, предложение в утвердительной форме говорит о действительности всей ситуации целиком. Это значение грамматично: оно сопровождает лексическое значение глаголов, притом не в каких-то замкнутых обособленных группах, а сплошь во всех глаголах.

Итак, противопоставление конструкций *Заводы дымят / Заводы не дымят*; *Слон разгуливает / не разгуливает по нашему зоопарку*; *В этом году дожди погубили / не погубили нашу рожь* и т. д. обнаруживает, что спрягаемые глагольные формы имеют, кроме значения лица, числа, времени, наклонения (в пр. вр. рода в ед. числе), еще и значение бытия / небытия субъекта предложения. Это бытие может быть и реальным, и ментальным: *Не буди меня, мне снится интересный сон...*

Обладает ли бытийным значением инфинитив? Есть такие конструкции: *Я его — уговаривать, а он на меня — орать! Как только скворчиха улетит, скворчата — пищать*. Не то же ли это самое, что *Заводы дымят*? Не указывает ли инфинитив на бытие субъекта? Видимо, нет. Конструкции такого типа не допускают частицу *не*; *Он не орать* — бессмысленное сочетание. Но если нет противопоставления значений, то нет и самих значений.

Примем во внимание еще и следующее. В таких конструкциях возможны только глаголы несов. вида. *Он не закричать* — бессмыслица. Это наводит на мысль, что конструкции с инфинитивом — эллиптически и представляют собой сокращенные трансформы оборотов: *Он (начал, стал) орать* — с фазовыми глаголами начала действия. При фазовом глаголе возможен только инфинитив несов. вида. Однако весь оборот (с эллиптическим устраненным глаголом типа *Он — орать*) приобретает значение сов. вида: *А что они сделали в ответ? — Они — кричать*. Вопрос: что делали? — не подходит. Такого вопроса требует глагол сов. вида: *начали, принялись, стали*, и вся конструкция имеет состав: (*начали*) + *кричать*.

С глаголами однонаправленного движения: *ползти, лететь, идти, нестись, плыть, ехать* и пр. не сочетаются фазовые глаголы со значением начала или конца движения. Невозможно: *Он принялся идти, он начал ехать, он стал лететь*. Поэтому и невозможны конструкции: *Он — идти, Он — лететь* и т. д. Исключение составляет глагол *бежать*: *Я ему: стой! — а он бежать!* Причина в том, что для этого глагола есть специализированный фазовый начинательный глагол: *пустился (припустился) бежать*. Ср. еще: *Он давай бежать*, при невозможности: *Он давай лететь; Он давай плыть*.

Значит, обороты типа *Он — кричать*, где инфинитив кажется непосредственно связанным с подлежащим (как в обороте *Он кричал*, где, по общему правилу, спрягаемая форма глагола имеет значение бытия субъекта предложения), на самом деле обманчивы: в них представлен в функции спрягаемого фазовый глагол — ему-то и принадлежит роль передатчика бытийного значения. О наличии такого нулевого глагола свидетельствуют грамматические приметы, о которых сказано выше.

Итак, бытийное значение прошло стороной мимо инфинитива. А так как это «частеречное» значение, то, следовательно, еще раз подтверждается правота Ф. Ф. Фортунатова, который выводил инфинитив за пределы глагола.

Не слишком ли круто мы поступаем с глаголом? Лишили его глагольной прописки? Есть две различные грамматические проблемы. Первая: на основе каких грамматических значений формируются части речи (т. е. грамматические классы форм)? Каждая часть речи объединяет грамматические формы по наличию в них (по выраженности в них) определенных значений. Значения, как известно, существуют в определенных противопоставлениях. Русский глагол сформирован в языке в качестве класса, который обозначает бытие / небытие подлежащего, а также значение наклонения. Сочетание этих двух значений создает категорию (значение) процессуальности: бытие признака рассматривается как протекающее в условиях реальности — возможности и в рамках времени. Другие части речи объединяют свои грамматические формы сквозными, общими для всех форм значениями.

Каковы пределы лексемы? — другая и совершенно особая проблема. В одну лексему объединяются грамматические формы, которые находятся друг с другом в регулярных (т. е. семантически нефразеологических) отношениях. Например, одно глагольное слово составляют такие грамматические формы, принадлежащие к разным частям речи: 1) формы всех наклонений: *говорю... говорят... говорила... говорили... говорил бы... говори...* У них общие грамматические значения бытия / небытия и значения наклонений; 2) формы причастий — регулярных отглагольных прилагательных: *говоривший... говоривших...*; 3) *говоря* — деепричастие, т. е. регулярное отглагольное наречие; 4) *говорить* — инфинитив, особая часть речи. Жива и, как мы видели, обоснованна фортунатовская традиция выводить инфинитив за пределы глагола.

Есть, однако, одна особенность у инфинитива, которая семантически роднит его с глаголами. Примеры с конструкцией *Он — кричать* имеют подлежащим одушевленное существительное (или заменяющее его местоимение). Инфинитив требует этого и, следовательно, сообщает об этом грамматическом признаке подлежащего. Не отвечают языковой норме примеры: *Когда приближается осень, березы — желтеть, листья — осыпаться*; или:

*Наступают холода, реки — покрываться льдом...* Могут быть такие предложения: *Ручей — бурлить, клокотать, биться в берегах*; или: *Облако — расти, чернеть, мглиться*. Ясно, что оба предложения анималистичны. Следовательно, инфинитив дает грамматическую информацию о подлежащем, в данном случае сближаясь со спрягаемыми формами.

В русском языке есть и еще некоторые скрытые грамматические значения. Открыть их можно только ключом фортуатовской грамматической теории.

## О значении вида у глагола\*

**Вопрос.** Есть таблицы, показывающие, как образуются глаголы совершенного и несовершенного вида. Например, красным цветом выделены аффиксы, которые создают глаголы совершенного вида (скажем, приставки), а синим — глаголы несовершенного вида, в частности суффиксы *-ива-* / *-ыва-* и т. д. Можно ли использовать какие-нибудь наглядные пособия для объяснения учащимся значения совершенного и несовершенного вида, чтобы школьники могли осознать эти формы и правильно употреблять их в речи? (М. Н. Сорокина, Кудымкар, Коми-Пермяцкий нац. окр.)

**Ответ.** Вы правы, большей частью на уроках используются наглядные пособия, которые показывают способы образования глаголов совершенного и несовершенного вида. Надо только внести уточнение в высказывание нашего читателя: суффиксы *-ива-* / *-ыва-* действительно надежный признак глагола несовершенного вида, если у него не больше одной приставки: *выталкивать*, *пересаживать*. Если же есть две или три приставки, с суффиксами *-ива-* / *-ыва-* образуются глаголы совершенного вида: *Всех драчунов навыталкивали / (понавыталкивали) в коридор. Сегодня мы попересажили все цветы.* Правда, такие глаголы редки, но учитель о них должен помнить — вдруг они упадутся в тексте.

Итак, есть ли способ наглядно представить смысловые различия глаголов совершенного и несовершенного вида? Здесь, пожалуй, нужны не таблицы, а реальные действия.

Языковые категории, в том числе грамматические, связаны с реальностью, поэтому можно их пояснить, обращаясь к самой реальности и рассматривая ее как наглядное пособие.

Одно из самых убедительных (и, может быть, самое убедительное) определений глаголов совершенного вида дал В. В. Виноградов: глагол совершенного вида показывает, что действие доведено до качественного предела, т. е. его нельзя продолжать.

Если сказано: *разрезал лист бумаги*, значит, дальнейшее разрезание, продолжение этого действия невозможно. А если еще раз взять этот лист и

---

\* Русский язык в национальной школе. 1984. № 34. С. 93—94.

разрезать? Это будет другое действие, а не продолжение первого. Если сказано: *разре́зал лист бумаги* — то, следовательно, действие, названное глаголом, можно продолжать. Глагол *разре́зать* не утверждает, что действие исчерпано. Это различие, лежащее в основе видовых противопоставлений, можно показать наглядно. Девочка медленно переливает воду из графина в тазик. Учитель приговаривает: «Наливай, наливай воду... Наливай, наливай... Что же ты не наливаешь?» Ученица: «Все. Нечего наливать!» Учитель объясняет: «Пока действие можно было продолжать, ты *наливала* воду. Теперь его нельзя продолжать, — значит, ты *налила* воду. Действие доведено до предела — нужен глагол совершенного вида».

Таких опытов должно быть несколько: *Упаковывайте эту книгу в бумагу! Связывайте эту стопку книг! Передавайте эту книгу из рук в руки Николаю! Проводите на доске слева направо волнистую линию!*.. Когда каждое из этих действий нельзя продолжать, то его надо называть глаголом совершенного вида: не *упаковывать*, *связывать*, *передавать*, *проводить (линию)*, а *упаковать*, *связать*, *передать*, *провести (линию)*... Пусть ученики сами придумывают такие опыты и их демонстрируют. Жалко времени? Нет, не жалко: наглядная демонстрация различий по смыслу между двумя видами глагола поможет сократить путь к пониманию сути этого грамматического противопоставления.

В каком случае действие может быть исчерпано? Если нет физической возможности его продолжить: *Он перелил всю воду из графина в таз. Он переколол все дрова на дворе. Он дочитал книгу до конца.* Или в том случае, когда выполнено намерение, когда нет смысла или желания продолжать действие (ввиду достижения задуманной цели): *Он налил немного воды в таз, чтобы умыться. Он наколот дров для печки. Он дочитал главу в книге и стал готовить уроки.*

Второй случай, когда внешних препятствий для продолжения действия нет, но есть внутренний тормоз: ученику не ясны мотивы выбора глагола совершенного вида. Ему нужно помочь наглядным разъяснением: на столе несколько небольших предметов (десять картофелин, спичечных коробок, цветных карандашей или книг). Учитель дает задание: «Передвинь картофелины к краю стола». Ученик все их перемещает к самому краю. «А теперь, — предлагает учитель, — отодвинь от края столько, сколько тебе надо для завтрака». Ученик отодвигает все десять. Товарищи его смеются: у мальчика неправдоподобно большой аппетит! Ученик исправляет свою ошибку, отодвигает от края 3—4 картофелины. Физически можно продолжать это действие (*отодвинуть*): есть, к чему его приложить, но незачем; внутренний предел достигнут — сделано то, что задумано.

Такие же упражнения возможны и с другими предметами.

**Учитель:**

— Разложи эти книги на столе. Ученик раскладывает.

— Какие книги тебе сейчас нужны для занятий?

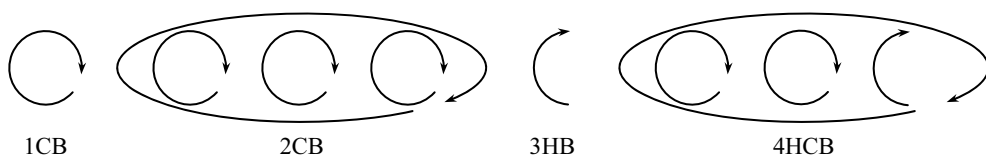
— По русскому языку.

— Остальные сложи стопкой на краю стола...

Учитель напоминает, что действие, доведенное до внутреннего предела, обозначается глаголом совершенного вида.

А дальше можно предложить детям придумать два предложения с одним и тем же глаголом, одно из них — с внешним пределом действия, другое — с внутренним. Придумывают такие, например, предложения: *Я вымыл все окна в комнате. Мне поручили вымыть вот эту половинку окна, и я вымыл ее.*

Надо обратить внимание учеников еще на одно различие. Действие может быть завершено (т. е. невозможно его продолжение), если действие полностью охватило один предмет: *Он прочел книги. Он запер дверь.* Если действие охватило ряд предметов, важна завершенность именно всего ряда: *Он прочел эти книги. Он запер все двери в коридоре.* Незавершенность действия может состоять в том, что оно не доведено до предела по отношению к одному предмету: *Он запирает дверь,* и по отношению к ряду предметов: *Он запирает двери в коридоре.* Последний случай психологически самый трудный для ученика, у которого в родном языке нет категории вида. Трудность в том, что многие двери заперты, по отношению к ним действие запираения продолжить нельзя и все-таки требуется глагол несовершенного вида! Надо объяснить, что здесь принимается во внимание незавершенность всего ряда действий. Здесь помогут такие таблицы:



Учитель дает примеры: *Он перечитал все книги в классной библиотеке... Он снял пальто с вешалки... Конь-призер обгонял одного соперника за другим... Нина раскрашивала рисунок.* Ученики показывают 1, 2, 3-й или 4-й случай на схеме. Потом сами придумывают подобные предложения, а их товарищи определяют, какой это случай.

Общее значение совершенного вида может быть дано в разных своих частных проявлениях: 1. Глагол называет действие, которое было один раз: *В наши места он приехал уже давно.* 2. Глагол называет результирующее действие, т. е. такое, результат которого налично: *Как ты хорошо на юге загорел!* Обозначим эти «подзначения» совершенного вида так: 1°; 2\*.

Значение глаголов несовершенного вида может иметь такие оттенки:

1. Глагол называет действие, которое совершалось, совершается или будет совершаться многократно, обычно или всегда: *Снег тает при нулевой температуре.*
2. Глагол называет действие, которое протекает, длится в прошедшем, настоящем или будущем времени: *Мальчик учится в V классе.* Обозначения: 1 — — —; 2 — — —.

Ученикам дается текст, в котором они должны обозначить видовые оттенки у глаголов только спрягаемых форм. Пример такого текста: *В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской роуци. Прошло еще около десяти минут; роуци все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала устывать...* (А. С. Пушкин).

Надо предупредить детей, что иногда возможно двоякое обозначение глагольного действия (в пределах одного вида).

В некоторых случаях различие между видами можно нарисовать. Учитель дает, например, видовую пару *писать* — *написать* и предлагает ученикам показать рисунками разницу между этими действиями. Один из учеников нарисовал: сидит мальчик спиной к столу и играет на гармонии, на столе лежит заклеенный конверт с письмом. Это — «Ваня написал письмо». На другом рисунке видна только рука, которая выводит *Дорогая ма...* Название рисунка: «Ваня писал письмо». Такое «рисованное» противопоставление удастся, если один из глаголов (именно совершенного вида) может осмысливаться как глагол с результативным значением.

Все эти наглядные средства помогут ученикам понять, в чем смысловое различие видов, как они связаны с реальностью. Наглядная демонстрация при обучении языку — это экзамен для теории видов. Такой возможностью обладает та теория, которая верно схватывает сущность видовых разграничений в русском языке. Теория видов, разработанная В. В. Виноградовым, несомненно, обладает возможностью быть представленной наглядно.

## Об изучении русского словообразования\*

Н. М. Шанский определяет объект словообразовательного анализа так: это «слово со стороны его структуры, характерной для него как единицы языка на данном этапе его развития»<sup>1</sup>. Сказано ясно: морфемная структура слова будет рассматриваться синхронно, как факт современного русского языка. Автора книги печалит (да и как не печалить?), что и сейчас возникают «рецидивы смешения словообразовательного анализа с этимологической рефлексией на слово, то есть того, что со времени появления в 1946 г. «„Заметок по русскому словообразованию“ Г. О. Винокура казалось в теории словообразования давно пройденным этапом» (23).

Читателя вполне удовлетворяет такая установка книги Н. М. Шанского: проанализировать современный язык (именно — его словообразовательные закономерности), не примешивая к данной эпохе в развитии языка ничего, что ей не свойственно.

К сожалению, требование строгой синхронности остается декларативным: при решении конкретных вопросов синхронного словообразования автор книги постоянно смешивает историческое развитие с современными языковыми отношениями.

Напомнив, что в словоформах типа *стол, ткань, сушь, добр, сер* есть нулевое окончание, Н. М. Шанский рассуждает так: «Право говорить о нулевом окончании в подобных словесных образованиях дает не только соотносительность соответствующих форм в пределах одной парадигмы другим (*sic*), имеющим фонетическое окончание, но также и история слов типа *сушь, добр* и др., первоначально представлявших (в той же системе) составное единство из основы и окончания *ь* или *ь*» (84—85). Автор книги, значит, считает недостаточным для полного изучения современных фактов языка установление их современных функций. Надо, по Шанскому, учесть и такие свойства единиц (при определении их современного функционирования!), которые когда-то

---

\* Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1970. Т. 29. Вып. 3. Май-июнь. С. 258—264.

<sup>1</sup> Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. С. 5. Далее страницы указаны в тексте.



существовали, а сейчас полностью исчезли<sup>2</sup>. Это и есть грубое смещение синхронии и диахронии, и такие промахи в книге Шанского постоянны. Характеризуя, например, морфемный состав слова в русском языке, автор не раз подчеркивает, что надо различать происхождение единиц и их функционирование, но постоянно определяет типы морфем по их происхождению (см. всю главу на эту тему: с. 87 и далее). И тут же снова декларирует: важно (для синхронии) «не что от чего произошло, а что с чем соотносится» (64). Это-то верно.

Шанский не признает интерфиксы в русском языке, точка зрения вполне законная, но как он ее обосновывает? Посмотрим: «Понятие интерфиксации... было бы оправданным, если бы в русском языке существовало словопроизводство с помощью таких значимых частей слова, которые вставлялись бы в акте деривации между морфемами образующей основы» (114, 115). Все, кто пишут об интерфиксах, подчеркивают, что интерфиксы — не морфемы, они не значимы; ведь и Г. О. Винокур это подчеркнул, говоря о «чисто механических» (не смысловых, не значимых) средствах (это-то и дало основание Шанскому заключить, что высказывание Винокура — будто бы исток учения об интерфиксах)<sup>3</sup>. Поэтому образование слов (диахроническое явление) способом «интерфиксации», т. е. путем вставки незначимых единиц, невозможно. Другое дело — синхронические отношения: сопоставление основ (на общих принципах, принятых при сопоставлении основ) показывает, что некоторые их части находятся между значимыми морфемами, а им самим значение не присуще. Это и есть интерфиксы, обнаруживаемые при синхронном изучении строения слова. (Повторяем, что это — одна из нескольких возможных точек зрения.) Для Н. М. Шанского отсутствие диахронического факта («интерфиксов»), которые используются как средство создания новых слов) есть и невозможность синхронического факта. А это неверно<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Ср. далее: «Думается, что проблема нулевых морфем в синхронном плане (если не приписывать языку того, что на деле в нем не существует) может правильно решаться только тогда, когда парадигматика статистики проверяется фактами диахронии» (132). Т. е., чтобы не приписывать языку того, что в нем не существует, надо приписывать ему то, что в нем явно не существует: отношения, бывшие в совсем иную эпоху.

<sup>3</sup> Прочитав слова Г. О. Винокура (из работы 1943 г.) о частях слова, которые «служат чисто механическими средствами соединения морфем», Н. М. Шанский замечает: «Несомненно, что именно здесь „берут свое начало“ интерфиксы Е. А. Земской» (19). Несомненно, не здесь. Исток этого важного для словообразовательной теории понятия — знаменитая работа Н. С. Трубецкого «Das morphologische System der russischen Sprache» (1934); см. разделы о соединительных (*verbindung*) морфемах. Сам же термин *интерфикс* идет от А. М. Сухотина.

<sup>4</sup> Вопрос о «чисто технических» средствах в словообразовании запутан в книге Н. М. Шанского. «... Никакого оформления компонентов сложения как основы не может быть, — пишет Н. М. Шанский, споря с К. А. Левковской, — так как послед-

Шанский требует строго различать синхронию и диахронию на с. 5, 9, 10, 15, 24, 26, 28, 54, 55, 57, 64, 65, 129, 133. Но на с. 6, 17, 36, 40, 54, 56, 62, 63, 65, 82, 84, 85, 91, 112, 114—119, 124, 131, 132 он сам явно и открыто смешивает синхронию и диахронию<sup>5</sup>. Счет явно не в пользу различения.

Подменять языковые отношения одной эпохи отношениями другой эпохи — это исследовательский произвол. Смещение синхронии и диахронии ведет неизбежно к субъективизму в оценке фактов. Г. О. Винокур требовал, чтобы факты словообразовательной системы (определенной эпохи) устанавливались не на основе языкового чутья, прихотливого и индивидуально изменчивого, а путем анализа объективных языковых фактов. Сам Г. О. Винокур в своих исследованиях показал, что такой анализ в словообразовании возможен и плодотворен. Н. М. Шанский не раз подчеркивает свою солидарность с Винокуром в этом вопросе. За субъективизм и психологизм он строго критикует В. А. Богородицкого (12). «Осознаваемость или, напротив, неосознаваемость той или иной значимой части носителем языка — не основание для их выделения или, наоборот, невыделения» — читаем мы в рецензируемой книге (45). Какой-то отрезок может чувствоваться суффиксом — это еще не резон считать его действительно суффиксом (55, 57, 61). Свое непримиримое отношение к субъективизму в словообразовательном анализе, когда морфемная структура слова устанавливается на основании того, что так «чувствуется», Н. М. Шанский декларирует на протяжении книги много раз: см. с. 12, 15, 17, 55, 57, 61, 64, 185, 186 и др. Однако не один раз, как только дело дойдет до конкретного анализа фактов, все декларации забываются и действует единственный критерий: так чувствуется... так воспринимается... (см. с. 7, 38, 39, 89, 90, 93, 94, 107, 142, 243 и мн. др.). Необходимо, пишет он, учитывать связи производного слова «с самым близким его родственником», на базе которого «оно нам представляется в настоящее время образованным» (37). Словообразовательный анализ, оказывается, вскрывает в производном слове, «как и на базе чего оно осознается образованным и чему является родственным» (5). «... Производящая основа может быть как осно-

---

ня (основа. — М. П.) тем и отличается от имеющего формы словоизменения слова, что является неоформленной частью лексической единицы» (104). (Заметим мимоходом, что Шанский здесь совсем напрасно приписывает К. А. Левковской мысль, будто у соединительных морфем — та же функция, что у флексий, которые придают слову грамматическую оформленность.) На с. 117 читаем, что «в слове *кофейник* *й* является суффиксом (!), выполняющим оформительские функции». Итак, структурные части слова, находящиеся между морфемами, не могут иметь оформляющей функции, они могут иметь только оформительскую.

<sup>5</sup> Прозреты с этой целью только первые 150 страниц книги. Учитывались лишь случаи, когда смешение было достаточно четко формулировано.

вой..., от которой та или иная производная действительно (исторически — *М. П.*) образована, так и основой, от которой данная лишь осознается (подчеркнуто мною. — *М. П.*) образованной» (38—39). В последнем цитированном отрывке очень показательно это противопоставление: образовано действительно, т. е. исторически, — а осознается по-другому; эти «недействительные», кажущиеся явления и должны быть определены — вот задача синхронного изучения. Такое противопоставление не оговорка; систематически факты диахронии характеризуются, в отличие от синхронических, как действительные (7, 8, 25, 63, 65, 74, 81, 84, 250)<sup>6</sup>. Исторический факт — вот подлинная языковая действительность для Шанского, и именно как языковая действительность диахрония противостоит синхронии. Что же тогда синхрония? Ответ возможен один: для Шанского это отражение языковой действительности (диахронии), верное или неверное, в сознании говорящих. Приведя несколько слов, автор так определяет задачу их исследования: надо «нарисовать картину словообразовательного процесса, как он представляется с точки зрения современного языкового сознания (в данном случае он полностью совпадает с тем, который действительно был)...» (7).

Взгляд Г. О. Винокура и его единомышленников предельно ясен и логически строг: факты истории языка, в частности — изменения морфемного строения слова, — действительно объективные факты языка; но не менее объективны и синхронные отношения между единицами языка в данную эпоху. Н. М. Шанский иногда верно повторяет мысль Г. О. Винокура (64), но по-настоящему он ее, видимо, не понял, ему кажется, что и диахроническое и синхроническое языкознание изучают процессы: история — в их реальности, синхрония — в отраженном виде, т. е. в сознании говорящих.

Морфему автор книги определяет как «минимальную значимую часть слова». Очень важно оставаться всегда верным этому определению; стоит его забыть, и словообразовательный анализ окажется полностью бессодержательным. Значение работ Г. О. Винокура, начавших новую эпоху в теории русского словообразования, определяется тем, что рубка на бессмысленные части была заменена строго продуманным членением на минимальные значимые части. Хорошо, что Н. М. Шанский исходит из этого доказавшего свою плодотворность определения морфемы. Хуже получается, когда он пытается «улучшить» и «углубить» взгляды Г. О. Винокура. «... Было бы неверным, что именно и делалось в свое время Г. О. Винокуром..., определять каждое слово с производной основой как слово, которое дает нам известное,

<sup>6</sup> Ср. еще: «... данные, полученные в результате морфемного анализа, можно использовать для познания фактов реальных процессов деривации — словообразовательный анализ в нашем понимании этого термина» (26). Везде диахрония, в отличие от синхронии, трактуется как действительное и реальное.

пусть до некоторой степени условное, указание на то, почему данный предмет действительности обозначается им, а не каким-либо другим словом. Есть такие слова, в производном характере основы которых в современном языке сомневаться не приходится, но этой мотивированности в названии все же нет» (50). Пример: *ножик*, основа производна, корень означает то же, что корень слова *нож*.

Но значение слов *нож* и *ножик* одинаково, слово *ножик* указывает не обязательно на маленький нож. Ср. еще *дождик* — *дождь*, *стенка* — *стена*. Значит (по мнению Н. М. Шанского) *ножик*, слово с производной основой, является немотивированным названием предмета, поскольку оно по значению равно слову *нож*.

Отсюда должен быть сделан неизбежный вывод (Н. М. Шанский, однако, не замечает этого), что суффикс *-ик* в слове *ножик* не имеет значения. Но это явно противоречит определению морфемы.

Как проанализировать слово типа *ножик*, не отказываясь от понимания морфемы как значимой части слова? Возможны разные пути. Например, признать, что все основы *ножик-*, *дождик-*, *стен(о)к-* — корни, их особая стилистическая вариация. В русском языке стилистическая дублетность (вариантность) корней известна; *ворот(а)* — *врат(а)*, *берег* — *брег*, *голос* — *глас* и под. На чем основана уверенность Н. М. Шанского, что в производном характере основ типа *ножик* «сомневаться не приходится»? На языковом чутье? Он сам его многократно отверг. Другое решение: признать, что *-ик*, *-(о)к* в словах *ножик*, *дождик*, *стенка* имеет стилистическое значение: указывает разговорность данных наименований. Слово *ножик* тогда состоит из корня *нож-* (его значение обусловлено значением корня в непроизводном слове *нож*) и суффикса *-ик*, который несет значения, присущие единицам разговорного стиля (это значение теоретики определяют по-разному; нам нет нужды сейчас до их споров). В этом случае слово *ножик* имеет производную основу, суффикс *-ик* осмыслен, а все название в целом состоит из сочетания двух значимых частей, т. е. мотивировано<sup>7</sup>. Вероятно, есть и другие решения; ясно одно: признавать морфему значимой единицей и одновременно считать некоторые производные основы (состоящие из нескольких морфем, из нескольких смысловых единиц) немотивированными, семантически элементарными — невозможно.

Автор приводит в качестве примеров производных, но немотивированных основ также и связанные основы: *пиан-ист*, ср. *пиан-ино*; *зр-яч(ий)* и пр. Они тоже мотивированы. Если слово *пианист* имеет производную основу, то

---

<sup>7</sup> Потом эти примеры с бессмысленными морфемами используются, чтобы направлять «промахи» Бодуэна де Куртенэ (см. с. 190).

*пиан-* — особая морфема; если морфема, то имеет значение; если *пиан-* значимо, то *пианист* состоит из двух значимых единиц (не считая флексии), — т. е. эта основа описательна (на морфемном уровне), а значит, мотивирована. Мотивированность слова выявляется в том, что одно объясняется через другое: *лесник* — тот, кто охраняет *лес*; *подводный* — находящийся *под водой* и т. д. Особенность слов со связанной основой та, что они мотивируются только друг через друга; *пианист* — тот, кто играет на *пианино*; *пианино* — инструмент, предназначенный для *пианиста*: *привыкнуть* — действие, противоположное действию *отвыкнуть* и т. д. Признав корень в связанных основах значимым, нельзя считать такие основы немотивированными.

Обесмысливание морфемы — не случайная ошибка у Н. М. Шанского. Она систематична и постоянна<sup>8</sup>. Желая показать, что могут быть аффиксы, свойственные одному слову (не повторяющиеся в других словах), он приводит пример: *закоулок*, где будто бы есть «рядом с продуктивной приставкой *за-* (ср. *заулок*) — уникальная сейчас приставка *ко-*» (53). Каково же значение этой приставки? Ясно, что в современном русском слове *закоулок* этот кусок *-ко-* совершенно лишен смысла и поэтому не может считаться морфемой. Чувствуя, очевидно, этот маленький дефект «морфемы», ее морфемную недостаточность, Н. М. Шанский ищет опоры в истории языка: «В таком случае (при выделении единичных, уникальных аффиксов. — М. П.) проведенное морфемное членение должно быть всегда сопоставлено с фактами языкового прошлого или языка-источника». Это неожиданно: ведь автор десятки раз, прямо-таки с назойливостью повторял, что нельзя смешивать синхронию и диахронию.

Автор пишет: «Анализируя структуру слова, можно (а иногда и нужно) выходить за пределы данной языковой системы в ее прошлое, но... нельзя переносить в словообразовательную систему современного языка те связи и отношения, которые существовали в нем ранее» (65). «Нельзя» — понятно; непонятно «можно (а иногда и нужно)». Зачем нужно? Случай с *закоулком* это объясняет. Когда недостаточная ясность теоретических взглядов, их сбивчивость и эклектичность заводят в тупик, годится и обращение к прошлому. Но ведь это самообман! Верно, что нельзя переносить те языковые отношения в эту (другую) языковую систему. Положим, когда-то отношения были таковы, что *-ко* являлось морфемой. Но эти отношения исчезли; как же можно с их помощью сейчас характеризовать этот кусок слова? Не спасает обращение к прошлому.

В русском языке, несомненно, существуют стилистические морфемы. Автор книги правильно делает, используя это понятие. Но здесь надо быть

<sup>8</sup> См. выделение аффиксов повелительного наклонения (!) в словах *держидерево*, *перекатиполе* и под.; аффиксов род. пад. (!) в словах *двухспальный*, *трехтонный* и мн. др.

особенно осторожным: не разработана процедура определения и выделения стилистических аффиксов (подобная той, которая разработана Г. О. Винокуром для деривационных, «вещественных» аффиксов). Ведь каждое слово обладает какой-нибудь стилистической окраской, и легко всякий бессмысленный кусок объявить стилистическим аффиксом. (Например, *ши-* в *шиворот*, *-ко-* в *закоулоч*.) Злоупотребляет понятием стилистического аффикса и Н. М. Шанский, возводя в этот ранг совершенно бессмысленные, омертвевшие куски слова.

Заслуживают оценки и полемические приемы Н. М. Шанского. Споря, он обычно не доказывает, а только на разные лады повторяет свою мысль. Он, например, не согласен со взглядами А. И. Смирницкого на вычленяемость морфем. А. И. Смирницкий считал, что во всех случаях, когда есть ряд слов с общим звуковым отрезком и есть общность в значении этих слов, следует говорить о членимости основы: выделяется этот общий звуковой кусок, к нему относится общее значение, свойственное всему ряду слов. Другая морфема (не этот кусок) выделяется остаточно. А. И. Смирницкий приводил такой пример: в словах *крушина*, *малина*, *калина*, *рябина* есть общий звуковой отрезок *-ин-* и есть общее значение ‘ягода’. Значит, выделяется аффикс *-ин-* со значением ‘ягода, ягодное растение’. Оставшиеся отрезки: *круш-*, *маль-* и т. д. — корни. Они имеют значение: указывают признаки, которыми одна ягода отличается от другой. Как видно, анализ ведется в строго синхронном плане. А. И. Смирницкому для того, чтобы установить морфемную членимость слов, не нужны справки из истории слов, знание их этимологии.

Критиковать точку зрения создателя этой теории — значит, показать ее логическую непоследовательность или привести факты, не допускающие предложенного истолкования. Н. М. Шанский избирает иной путь. «К чему конкретно приводит декларированный А. И. Смирницким принцип..., можно видеть из квалификации им отдельных словесных структур в „Лексикологии английского языка“». Далее Н. М. Шанский приводит примеры, данные самим А. И. Смирницким. Они ничем принципиально не отличаются от тех, на которых и была сформулирована и разъяснена данная теория (*малина*, *крушина* и под.). Из этих примеров нельзя понять, «к чему приводит» принцип А. И. Смирницкого: с примеров такого типа эта теория и начинается, на них доказывается. Простая цитация словесно оформляется так, будто это критическое рассмотрение теории. «Критика» заканчивается замечанием: «Как далеко это от наличной языковой действительности, много говорить не приходится: языковое прошлое здесь смешивается с его настоящим совершенно недопустимо» (59—60). Нет, не смешивается. А. И. Смирницкий разработал, на основании своих общелингвистических взглядов, процедуру членимости слова на морфемы; она не требует никаких сведений об истории слова, о его

прошлом<sup>9</sup>. Членение всех слов, которые упоминает Н. М. Шанский, производится путем применения этой строго синхронической процедуры. А. И. Смирницкий не утверждает, что были слова *маль*, *круш* (или *крух*), *каль*, а потом образовались в какую-то эпоху *малина*, *крушина*, *калина*. История этих слов (при изучении их современного морфемного состава) его, естественно, не интересует; это относится и к английским словам, которые анализирует А. И. Смирницкий. Как видно, упрек Н. М. Шанского вовсе несерьезный<sup>10</sup>.

Мнение А. И. Смирницкого, действительно, имеет уязвимые стороны. Доказательства уже приводились в печати, и Н. М. Шанский прав, когда вскользь говорит, что А. И. Смирницкий «игнорирует и фразеологичность семантики подавляющего большинства слов» (61). Именно с этой точки зрения уязвима теория Смирницкого; но Шанскому такой взгляд противопоказан (зря он его и упоминал): эта же фразеологичность слова не позволяет «остаточно» выделять и уникальные аффиксы, что автор книги постоянно делает. «Есть слова, служебные морфемы которых... существуют только в их составе... В таком случае проведенное морфемное членение слова должно быть всегда сопоставлено с фактами языкового прошлого или языка-источника» (55).

Другой пример. Речь идет о соотношениях типа *такси* — *таксомотор*, *кенгуру* — *кенгуровый*. У основ типа *такси*, *кенгуру* при словообразовании «конечный гласный звук нередко отбрасывается как обычное окончание». «В такого рода словах конечный гласный, не представляя собой настоящего окончания..., вместе с тем не является также неотъемлемой принадлежностью основы и осознается в ряде случаев как нечто подобное окончанию» (83). Характеристика, как видно, очень неопределенна. Дальнейшее разъяснение не улучшает ее: «Слова этого структурного типа... являясь словами с чистой основой при склонении... однако распадаются на основу и окончание при образовании слов...» (84). Обычно такое понимание: окончание (флексия) у существительных выявляется при сопоставлении форм одной и той же лексемы. По Шанскому, наоборот, при сопоставлении форм лексемы окончание не выделяется. Разные (но однокоренные) лексемы отличаются друг от друга либо вариантами основ, либо основами, т. е. имеют разные аффиксы — таково общее мнение; по Шанскому — не так: флексия, не выявляясь в склонении, обнаруживает себя при противопоставлении лексем (*пальто* — *пальтиши-*

<sup>9</sup> Напротив, Н. М. Шанский сейчас же пытается свою точку зрения на синхронные факты «подкрепить» диахронически: выделять *-ин-* как морфему в *малина* никак невозможно, потому что даже и происхождение этого слова неизвестно! (56). Упрек А. И. Смирницкому: им не берется во внимание «реальная история слова» (*малина* и др.); тут же выясняется, что она и неизвестна (56).

<sup>10</sup> Ссылка на критические замечания Г. Глисона (58) не помогает: Глисон критикует мнение, не вполне тождественное мнению А. И. Смирницкого.

ко). Такой не очень убедительный взгляд, кажется, обязывает автора к некоторой снисходительности по отношению к другим взглядам. Нет, Шанский категоричен: «Некоторыми учеными это явление неверно толкуется как усечение и ставится в один ряд с невключением в образуемое слово суффиксов производящей основы (типа *патриархальщина*, *попутка*, *разнообразить* и пр.)...», хотя в данных словах никакого усечения нет...». Нет усечения — и все. Доказательство в словах: «неверно толкуется». Других доказательств не нашлось.

В этих случаях «происходит аналогическое „переразложение“ на стыке конечного гласного и предшествующего согласного конца слова» (83). Эта путаная формулировка показывает, что автор книги, объясняя современное положение вещей, опять подменяет его диахроническим объяснением («переразложение» — процесс; это понятие диахроническое. В синхроническом плане оно бессодержательно).

Нередко Н. М. Шанским излагается мнение одного лингвиста; затем — его собственное мнение; предыдущее мнение «является тем самым (!) неверным» (69). Не соглашаться с мнением Н. М. Шанского — значит быть неправым.

В инфинитиве *есть* «окончание -т, а не -ст, как думает П. С. Кузнецов» (111). Все обсуждение этого вопроса закрыто без всяких доказательств. Так же бездоказательно критикуются А. И. Бодуэн де Куртенэ, А. М. Пешковский, В. М. Жирмунский, Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий, А. А. Реформатский, Н. Д. Арутюнова и десятки других авторов.

В ряде случаев Н. М. Шанский спорит по вопросам, действительно представляющим научный интерес. Он, например, возражает А. И. Смирницкому, и это понятно: автор хочет следовать концепции Г. О. Винокура, а взгляды Смирницкого противоречат ей (здесь мы говорим о поводе для спора, а не о его доказательности). Но иногда, и притом нередко, спор в книге ведется ни о чем. Вот пример. Есть синонимические сложные слова, которые отличаются друг от друга порядком основ: *блюдолиз* — *лизоблюд*, *зубоскал* — *скалозуб* и пр. «Встречающееся мнение о том, что в такого рода образованиях морфемы могут передвигаться внутри словесного целого, является ошибочным» (119). Ссылка на библиографию в конце книги разъясняет, что на этот раз критикуемым является В. В. Виноградов. У него собственно говорится о неспособности морфем перемещаться в составе слова; как исключения — мимоходом — указаны слова типа *блюдолиз* — *лизоблюд* (см.: Русский язык. М., 1947. С. 10). Какой смысл можно приписать здесь словам о перемещении морфем? Переберем все возможные<sup>11</sup> предположения. Первое: имеется в виду, что одна морфема перемещается примерно так же, как два поезда, идущие

---

<sup>11</sup> Пусть читатель не посетует, что обсуждаются и крайне сомнительные предположения. Здесь важно быть уверенным, что учтены все толкования.



навстречу друг другу, но разными путями: товарный был виден левее пассажирского, потом поравнялся с ним, потом стал виден правее. Так и *-лиз-* смещается по отношению к *-блюд-*, едет мимо него. Это понимание исключительно, так как основы не являются пространственными единицами и не могут перемещаться в пространстве. Второе предположение: слово «перемещаться» здесь имеет временное значение. До какого-то времени в слове *блюдолиз* основа *блюд-* занимала начальное положение, а с известного момента стала второй в слове. И одновременно изменился порядок основ в синонимическом слове *лизоблюд*<sup>12</sup>. Такое изменение нельзя было бы никакими способами обнаружить, и, значит, речь идет явно не о нем. Третье предположение: глагол «перемещаться» здесь имеет чисто метафорическое значение. Ведь можно, сравнивая два узора, сказать: они похожи, только у этого волнистые линии вверху, а у этого они переместились (перемещены) вниз. Именно в этом значении надо понимать слова о том, что морфемы в словах *лизоблюд* и *блюдолиз* перемещаются, и другого понимания нет. Как же полемизирует Н. М. Шанский с этим утверждением? Итак, это мнение «... является ошибочным. На самом деле перед нами параллельные синонимы, разные слова, состоящие из одних и тех же корневых морфем (а иногда и абсолютно из одних и тех же морфем), но с обратным порядком их следования». Непонятно, с чем спорит Шанский? Далее автор книги прибавляет замечание, что и происхождение таких дублетов (*блюдолиз* — *лизоблюд*) бывает различным — замечание совершенно излишнее, в духе обычного у автора смещения двух исследовательских планов (см. выше / ниже). У В. В. Виноградова обсуждаются свойства морфемы и слова, они противопоставляются по степени свободы размещения в большей единице: тема обсуждения, бесспорно, строго синхронная.

Последний пример. Ю. С. Маслов в одной из статей написал, что «морфема может выступать не только как часть слова, но и как отдельное слово». Мысль ясна: некоторые морфемы в то же время являются и словами: *да, где, ах, но, кенгуру*, ... Кажется, и Н. М. Шанскому здесь нечего протестовать: он же сам говорит о словах, которые «представляют собой чистую основу» (99), а если эта основа непроеводна, то, очевидно, слово представляет собою чистый корень. У Маслова: морфема выступает как слово. У Шанского: слово представляет собой корень, т. е. морфему. Есть ли повод для столкновения мнений? Оказывается, есть: «Признание одноморфемных слов, „слов-морфем“ вовсе не означает механически, что тем самым морфема перестает быть ча-

---

<sup>12</sup> Да, одновременно; если изменится композиция только одного слова, то оба синонима сольются. Тогда бы историки языка отметили, что один из синонимов на какое-то время пропал. Но таких фактов не засвидетельствовано.

стью слова. Думающие так не учитывают или сознательно игнорируют разницу между словом и морфемой как элементами языка...» и т. д. — целый длинный абзац, почти полстраницы (78—79). Но Ю. С. Маслов не принадлежит к «думающим так»! Зачем искать несуществующие поводы для спора? Разница между двумя формулировками несодержательна: по Маслову, одна единица выступает как другая (качественная разница между ними не смазывается, а подчеркивается Масловым), по Шанскому, — одна единица представляет собой другую. Спора по существу никакого нет, зачем создавать видимость спора?

В книге кратко раскрывается история теории русского словообразования. Упоминаются имена И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. А. Богородицкого, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского, Г. О. Винокура и других достойных ученых. Перечисляется, кто о чем писал, какие у кого заслуги. Все это не плохо. Но напрасно, мне кажется, Н. М. Шанский перечисляет, что каждый из исследователей не сделал. «Целый ряд вопросов им (Г. О. Винокуром) был решен не совсем верно или не поднимался совершенно. К таким относятся вопросы изменения в морфологической структуре слова, недостаточно глубокое и всестороннее описание характерных признаков производной и непроизводной основ и служебных морфем, полное невнимание к переходным и синкретическим морфемам в слове, смешение звукового и морфемного (?) в трактовке некоторых фактов, касающихся вариантов основ, неправомерное расширение понятия связанных непроизводных основ... и т. п.» (19; см. там же оценки других языковедов). Зачем нужны эти реестры недоимок? Ведь чтобы указать на «нехватки» таких-то и таких-то теоретических решений, нужно знать их «полный набор», «норму». Как ее можно установить в непрерывно развивающейся теоретической области? Из книги Шанского мы узнаем, что все это не решенное, не понятое, не доделанное Бодуэном, Фортунатовым, Богородицким, Винокуром — решено, понято и доделано Шанским.

«Обращая внимание на случаи оживления морфологической членимости слова..., И. А. Бодуэн де Куртенэ, однако, не определил ни наиболее важную причину его появления, ни преимущественную сферу обнаружения, ни значение» (225). Мало сделал Бодуэн. Кто же выправил положение? Читатель к 225-й странице приобрел некоторый опыт и уже догадывается, куда клонится дело. Итак: в чем же важная причина «оживления» членимости слова? На это указал Н. М. Шанский: усложнение морфемного строя данного слова чаще всего возникает «... в силу появления в процессе заимствования рядом с тем или иным иноязычным словом ему родственного» (228), например сначала заимствовано слово *розан*, а потом *роза*: *-ан-* выделилось как особая морфема. Действительно, такие случаи сравнительно более часты, чем случаи, когда усложнение появилось по другим причинам. Далее: какова же преимущественная сфера обнаружения этого усложнения? Бодуэн не указал. Указал

Н. М. Шанский: «Чаще всего усложнение наблюдается не в исконно русских словах, а в иноязычных» (230). Это уже второе открытие, которое легло на плечи Шанского. Теперь: каково же значение этого процесса? Он обогащает русский язык «за счет иноязычного аффиксального материала» (231). И это пришлось устанавливать Шанскому. Таковы-то недоделки Бодуэна.

Строгость в оценке Шанским работ предшественников чрезмерна. Автор книги пишет (безусловно, правильно), что всякое слово с точки зрения его морфемной структуры должно рассматриваться как бином. «Довольно четко и определено разбираемый принцип в нашей лингвистике был сформулирован Г. О. Винокуром...» (37). Снисходительная оценка: «довольно четко» — говорит о том, что Шанский сам использует более четкую формулировку. Но увы, он ее не сообщил читателям!

Хотелось бы обратить особое внимание читателей на главу «Изменения в морфологической структуре слова» (174—251). Она посвящена вопросу, очень мало разработанному в нашей науке; она содержит полезные (а нередко новые) сведения; это лучшая часть книги. Некоторые процессы впервые выделены и названы Н. М. Шанским (например, замещение, редеривация). Примеры, которые используются в этой главе, большей частью убедительны. Правда, и эта глава тоже страдает отсутствием последовательно применяемой, лежащей в основе всей работы теоретической базы, но здесь такой недостаток простителен: общая теоретическая база для диахронического словообразования не выработана в нашей науке. И исследования Шанского в этой части книги вполне отвечают современному состоянию языкознания. К сожалению, и здесь полемика ведется в духе всей книги.

Наконец, последнее — язык книги. Формулировки ее часто небрежны. Приводя ряд примеров (нам сейчас не важно, каких), автор заключает: «... степень морфемной информативности ... значительно ниже, нежели степень словесной информативности... Однако это вовсе не означает, что тем самым информативность морфемы является меньшей, чем информативные свойства слова: следует лишь помнить, что эти языковые единицы отражают в себе... разные „кусочки“ системы содержания» (146). Итак, информативность морфемы ниже, но не меньше информативности слова. Почему? Языковые единицы отражают разные «кусочки» содержания... Нет, это не диалектика. Для «определения значения» приставок, пишет автор, надо сопоставлять однокоренные единицы, а для «уяснения значения» этого мало (31). Нет нужды умножать примеры...

В чем достоинства книги Н. М. Шанского?

Интересен и полезен для вузовского преподавателя ряд примеров, показывающих различную морфемную членимость внешне сходных слов (34—35, 40—41 и др.).

Методически удачно разъясняются некоторые понятия словообразовательного анализа (например, очень уместно при объяснении того, что слово — это двухчлен, использовано сравнение с матрешкой).

Интересен материал в главе, посвященной диахронии словообразования; существенны здесь и теоретические новации Н. М. Шанского (понятие процесса замещения и редеривации).

Плодотворно само по себе внимание к стилистическим аффиксам. Наконец, плодотворны теоретические положения, декларируемые автором, его исследовательские намерения.

Таковы достоинства. А недостатки?

1. Автор постоянно смешивает синхронический и диахронический аспект исследования.

2. Автор не пользуется объективным критерием, позволяющим определять синхронную соотносительность производной и производящей основы (этот критерий был установлен Г. О. Винокуром). Поэтому членение слова на морфемы определяется на субъективных основаниях (так «чувствуется», так «сознается» и пр.).

Отсутствие синхронического критерия повлекло за собой субъективизм в оценке фактов.

3. Морфемы выделяются механически; морфемами нередко называются незначимые куски слова. Это предопределено субъективизмом, о котором уже сказано.

4. Критика других взглядов ведется агрессивно, задиристо, но ей большей частью не хватает доказательности. А нередко и сам предмет спора фактически отсутствует.

У читателя все же может возникнуть вопрос: стоило ли так подробно говорить об этой книге? Думаю, что стоило. Работы Шанского по словообразованию и этимологии получили широкое распространение. В журнале «Русский язык в школе» в шести номерах за 1968 г. содержится 40 ссылок на труды Шанского (на втором месте — акад. В. В. Виноградов: около 20 ссылок на его работы)<sup>13</sup>. Тиражи его книг значительны. Тон автора императивен и нетерпим к инакомыслящим.

Поэтому необходимо сказать, что мнения Н. М. Шанского не всегда убедительны и значения последнего слова науки они не имеют.

---

<sup>13</sup> Редактор этого журнала — Н. М. Шанский.

## Отношение частей речи к слову\*

Ушла от нас Вера Арсеньевна Белошапкова. Замечательный ученый и прекрасный человек. Всегда окружена единомышленниками, учениками, друзьями; всеми, кому нужен был ее мудрый совет, помощь в работе, моральная поддержка в жизни. Я не раз чувствовал ее твердую руку, не раз в трудные минуты советовался с нею — и верил, и следовал ее мудрому и твердому слову.

У Веры Арсеньевны была замечательная черта: когда она знакомилась с новой лингвистической работой, когда участвовала в обсуждении ее, то, даже не разделяя высказанную концепцию, она помогала улучшить ее.

Представленная ниже точка зрения на отношение частей речи к слову тоже обсуждалась с Верой Арсеньевной и испытала ее плодотворное критическое воздействие.

Мысль нашего рассуждения такая: в пределы одного слова могут входить словоформы, принадлежащие к разным частям речи.

Слово — совокупность словоформ, которые отличаются друг от друга только грамматическими значениями; лексическое значение у них одинаково.

Часть речи — грамматический класс, в котором единицы имеют определенные, единые для этого класса грамматические значения. Например, существительное склоняется (изменяется по падежам), принадлежит к роду, имеет единственное и множественное число.

Как видно, объединение словоформ в одно слово и объединение слов в одну часть речи построены на совершенно разных основаниях. Поэтому возможно несовпадение этих двух категорий: слово способно включать в себя разные части речи.

Один пример известен всем: глагольная парадигма включает причастия. У причастия — согласуемые падеж, число, род, то есть грамматические значения прилагательного. Причастия и есть регулярные отглагольные прилагательные.

---

\* Традиционное и новое в русской грамматике: Сб. ст. памяти Веры Арсеньевны Белошапковой. М., 2001. С. 53—56.

тельные. Регулярные — это значит: образуемые по определенным законам от каждого глагола<sup>1</sup>. Таким образом, глагольная парадигма включает: формы, изменяющиеся по лицам (они относятся к подлежащим, выраженным личными местоимениями или существительными в им. п.), родовые формы (с такой же связью), причастия (они относятся непосредственно, без связки, к существительному).

Эти формы, как видно, позиционно распределены, но позиционно распределенные сущности составляют единство. Поэтому закономерно, что эти грамматические формы, позиционно чередующиеся, объединяются в одно слово: в глагол. Вспомним, что, например, позиционно чередующиеся звуки составляют одно целое — фонему, которая может объединить единицы разных артикуляторно-акустических классов.

Глагольное слово содержит также регулярное отглагольное наречие: деепричастие. У него своеобразная позиционная зависимость: оно относится к глаголу-сказуемому и одновременно — к подлежащему. Предложения типа *Подъезжая к сей станции, у меня слетела шляпа* потому и неверны, что разрушена связь с подлежащим. Правильное предложение *Подъезжая к станции, я потерял шляпу*. Это соотносится с сочетаниями *я подъезжал, я потерял...* При такой двойной зависимости — от глагола и подлежащего — существует в предложении деепричастие, это его позиция.

Итак, глагольная парадигма (= глагол) включает собственно глагольные формы, а также прилагательные и наречия. Притом все они являют собой глагол: позиционные чередования не создают особых единиц, они являются превращением одной и той же единицы.

Безусловно, прав Н. Н. Дурново, когда форму на *-о* при глаголах (*Он говорит интересно; Сильно дует ветер*) считал качественным прилагательным. В позиции при глаголе прилагательное утрачивает свои коренные грамматические свойства, оно перестает изменяться по падежам, числам, родам. Основа остается та же, которая существует у прилагательного, а грамматические свойства продиктованы позицией при глаголе: это неизменяемая форма, наречие. Снова надо напомнить: позиционные изменения не создают новой единицы; как бы ни влияла позиция, единица сохраняет тождество при всех позиционных превращениях. В предложении *Он рассказывал смешно* слово *смешно* — наречие, но в то же время форма прилагательного *смешной, смешная, смешное*.

Обычно употребляются слова: «в роли наречия». Они не проясняют дела; слова «в роли» грамматически бессодержательны. Не в роли, а действительно являются наречием, такие формы полностью отвечают определению наречия:

---

<sup>1</sup> Если есть исключения, они должны быть грамматически мотивированы.

не изменяются по падежам, родам, числам, обслуживают глагол и прилагательное (*исследует глубоко, глубоко интересный*).

Это наречие. В составе парадигмы прилагательного.

Парадигма прилагательного включает существительные. Форма мужского рода единственного числа, когда употребляется в позиции без существительного, сама приобретает значение существительного: *Молодой тут справится, а старый нет; Сильный не всегда прав; Умный тебя поймет, а у глупого ты вызовешь только раздражение...* В этих позиционных условиях форма прилагательного (непреренно качественного) не изменяется по родам, а принадлежит к роду. Это важное грамматическое свойство существительного. Даже если речь идет о женщине, употребляется мужской род такого слова: *Она всегда у малыша пряники отнимает, ведь сильный рад обидеть слабого.* По грамматическим свойствам это настоящее существительное. В позиции «без опеки существительного» у прилагательного, позиционно обращенного в существительное, неминуем мужской род; если было бы сказано *Сильная всегда готова обидеть слабого* — то это было бы неполное предложение: с опущенным существительным при слове *сильная*. *Глухой глухого звал к суду судьи глухого* (А. С. Пушкин)... Последнее слово *глухого* — прилагательное при существительном *судьи*. Два первых слова *глухой глухого* — существительное в парадигме прилагательного. У них — все признаки существительного. Они не «в роли» существительного, они настоящее существительное.

В парадигме прилагательного есть еще одно существительное: *Доброе не всегда торжествует над злом; Синее здесь не подходит, дайте более радостный тон; Злое в конце концов всегда проигрывает, но только в конце концов*. Как видно, форма качественного прилагательного среднего рода единственного числа выступает как существительное в позиции «при отсутствии подчиняющего существительного». *Злое, доброе, синее* стоят в одном ряду со словами *зло, доброта, синева* и т. д. Они имеют признаки, общие с отвлеченным существительным: изменяются по падежам, принадлежат к роду (среднему), не имеют множественного числа, как многие отвлеченные существительные.

Итак, парадигма качественного прилагательного включает: формы полных прилагательных, изменяются по родам и числам; наречие на *-о* при глаголе, неизменяемое; существительное, совпадающее по форме со словоформой муж. рода ед. числа, — имеет значение человека, лица, при отсутствии в строе предложения подчиняющего существительного; существительное, совпадающее по форме со словоформой среднего рода, имеет отвлеченное значение, в той же позиции. И все эти грамматические формы принадлежат одному слову.

Разные части речи могут нейтрализоваться, то есть совмещать свои грамматические свойства в одном слове. При этом противопоставление их

исчезает. Так, глагольная парадигма *воспитать, воспитаю, воспитанный, воспитана, воспитан*; *Она воспитана в лучшем колледже нашего города* (причастие, глагольная парадигма); *Она умна и воспитанна* (прилагательное). Эти прилагательные и глагол неразличимы в краткой форме мужского рода: *Он хорошо воспитан*.

В парадигму качественного прилагательного входят разные грамматические формы, и их тоже объединяет то, что они друг от друга отличаются только грамматическими значениями. Обычная позиция этих прилагательных — «при существительном». Но в составе той же прилагательной парадигмы есть словоформы, которые обладают качествами существительного; их позиция: «без подчинения существительному». Такие формы и есть настоящие существительные в парадигме прилагательного. Они обладают всеми грамматическими признаками, обязательными для существительных.

Получается так: в составе форм одной части речи... другая часть речи.

Хорошо ли это?

Если на единицы языка смотреть как на нечто вещественное, как на какие-то куски, разбросанные в пространстве языка, то, наверное, это плохо. Как будто одно место занимают две вещи. Но если язык рассматривать как совокупность отношений, то, может быть, такая точка зрения имеет право на существование.

\* \* \*

Во время обсуждения этой точки зрения — о возможности в составе одного слова видеть позиционно обусловленные части речи и о нейтрализации частей речи — Вера Арсеньевна сказала: обычно нейтрализацию мы видим там, где скрещиваются две линии, позиционные ряды двух единиц. Например, звуковой ряд, представляющий фонему ⟨а⟩ и звуковой ряд, представляющий фонему ⟨о⟩. В точке их скрещивания, например, в безударном [а], — нейтрализация. Но в приведенных примерах нередко получается, что нейтрализация возникает без скрещивающихся линий. Возможно ли это? И действительно ли это нейтрализация?

Замечание очень дельное. Ответ на него, наверное, даст дальнейшее исследование позиционных процессов в грамматике.

И во многих случаях замечания Веры Арсеньевны, ее мнения о научных предположениях были меткими, конструктивными, открывали дорогу для дальнейших теоретических поисков.

Я обращался к Вере Арсеньевне за советом и не только в области науки — советовался с ней в трудных случаях жизни: как поступить? что делать? Советы ее помогали, спасибо ей!



## **К проблемам грамматики современного русского литературного языка\***

Выход новой академической грамматики современного русского литературного языка<sup>1</sup> дает значительный материал для обсуждения многих принципиальных вопросов фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса. Ниже мы коснемся некоторых из этих вопросов.

Грамматика открывается сведениями по фонологии. В основу их положена книга Р. И. Аванесова «Фонетика современного русского литературного языка» (1956). Выбор удачен: фонематическая теория Р. И. Аванесова раскрывает связь между фонетикой и грамматикой и, таким образом, может быть средством, способствующим единству книги.

Следовало бы изложить прежде всего те идеи, которые относятся к морфо-фонематическому уровню фонологии, поскольку именно эти сведения по фонологии и необходимы для всех последующих разделов книги. Остальной материал следовало бы привлечь лишь для того, чтобы стали понятны идеи морфофонологии.

В изложении же С. Н. Дмитренко, автора фонетического раздела, есть и перечень всех позиций, которые учитываются при установлении позиционной мены, и изложение фактов, относящихся к определению типов этой мены, и рассказ о сильных и слабых фонемах, и перечень всех реализаций фонем, и формулы фонемных рядов. Но нет главного — не показано, зачем обо всем этом говорится в данной книге. Идеи Р. И. Аванесова исчезли в неточном пересказе отдельных страниц его книги. Текст составлен так, что можно подумать, что и фонемы, сильные и слабые, фонемные ряды — это единицы одного уровня фонологической системы.

Хотя исходной теорией С. Н. Дмитренко выбрала теорию Московской фонологической школы, она постоянно смешивает фонемы и звуки речи как их модификации. Так, Р. И. Аванесов в своей книге пишет о том, что конститутивными признаками гласных фонем является степень подъема и наличие

---

\* Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1972. Т. 31. Вып. 4 (июль-август). С. 328—339. (В соавторстве К. В. Горшковой, А. С. Поповым.)

<sup>1</sup> Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970.

или отсутствие лабиализации, а ряд гласного зависит от позиции и поэтому, характеризуя конкретную разновидность фонемы, он не входит в характеристику фонемы. А затем Р. И. Аванесов переходит к классификации гласных как модификации фонем, и поэтому дает среди признаков и ряд гласного. С. Н. Дмитренко излагает этот материал близко к тексту Р. И. Аванесова, но несколько изменяет его и получается так: «Характеристика гласных фонем (sic! — *К. Г.*) включает в себя различия по степени подъема (в зависимости от движения языка по вертикали), по ряду (в зависимости от движения языка по горизонтали), по наличию или отсутствию лабиализации (огубления)». Включая ряд гласного в характеристику гласных фонем, С. Н. Дмитренко должна признать звуки [ы], [á], [ý] отдельными фонемами. Но она не замечает своей ошибки в изложении материала и поэтому не делает всех логических выводов, которые вытекают из этой ошибки.

Особенно разительно неразличение единиц разных уровней на с. 27, где дается представление о фонетической транскрипции.

В описании конститутивных признаков согласных тоже не все в порядке. Сонорные, пишет автор, в некоторых позициях оглушаются (с. 16). Но звонкость у них является конститутивным признаком, т. е. всегда присущим, независимо от позиции (с. 12, 13). Зубные [с] и [з] перед [ш], [ж] выступают в своих аллофонах [ш], [ж], однако зубной характер артикуляции у [с] и [з] рассматривается как конститутивный признак (с. 12 и 16). Таких неувязок в фонологическом разделе немало.

При включении в описание понятия признака фонемы автор не различает артикуляторных и акустических признаков реальных звуков как материальных единиц и признаков фонем как единиц идеальных.

Сведения по фонологии введены в Грамматику, очевидно, для того, чтобы создать фонологическую основу при решении конкретных вопросов, связанных с определением формы морфем в основных разделах Грамматики. Но произошло удивительное. Ни авторы Введения в морфемистику, ни автор морфонологии, ни авторы словообразования и морфологии совершенно не учитывают этих сведений. Так, авторы Введения в морфемистику не считаются с тем, как представляет С. Н. Дмитренко вопрос о тождестве — нетождестве словоформ и морфем. Они не выражают к ее решениям никакого отношения, словно эти решения и не предлагаются на первых 27 страницах этой же книги. Отождествление морфем на протяжении всей книги (до синтаксиса) дается на основе тех общих фонологических представлений, которые известны из книги Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Очерк грамматики современного русского литературного языка» (1945). Не проще ли было бы в «Слове от авторов» сказать об этом и не включать «Сведений по фонологии», которых другие авторы не учитывают?

\* \* \*

Разделы «Введение в морфемику» и «Словообразование» — большая удача для новой академической грамматики и для русистики в целом<sup>2</sup>. Авторы этой части (В. В. Лопатин и И. С. Улукханов) впервые создали последовательно-синхронное систематическое описание русской словообразовательной системы. После знаменитой работы Г. О. Винокура (1946 г.) стало возможным такое описание; однако от возможности до реализации прошла четверть века. Как всегда, при систематическом применении теории ко всей совокупности фактов пришлось «досоздавать» и самую теорию.

Теория точно, без зазоров, притачена к фактической части описания. Например, формулируются правила, определяющие, какое из двух однокоренных слов признается мотивирующим<sup>3</sup> (с. 38). Можно спорить, насколько глубоко проникают в суть русской словообразовательной системы предложенные правила (на наш взгляд, они достаточно глубоки и содержательны). Но бесспорно, что вся фактическая часть описания строго и последовательно ориентируется на эти правила — и при этом не обнаруживается ни логических, ни фактических противоречий в описании.

Описание русского словообразования отличается большой полнотой. Дан полный портрет каждого аффикса, каждой словообразовательной модели. Всегда указывается: значение аффикса, грамматический характер мотивирующих слов, их морфемная структура, «сохранность» или усеченность или вообще измененность мотивирующей основы, типичны эти изменения для данной модели или нет, какие есть у слов с данным аффиксом подтипы значений, их экспрессивная окраска; определяется сфера, где образование продуктивно: в технической терминологии, в спортивной, или в разговорной речи, в художественной литературе; определяется акцентологический тип образования. Авторы не ленятся указывать исключения, причем без слов «и т. д.»: исключения перечисляются исчерпывающе.

Морфема состоит из фонем. Авторы СА (отдела словообразования в академической грамматике) строго ориентируются на звуковой язык, и при этом последовательно оперируют именно фонемами, а не звуками и не буквами — это тоже новшество для словообразовательного описания. Приведем пример: «Перед морфем -чин(а) чередуются [ц] — [ч] (орфографически *т*): *казацкий* — *казатчина*, *турецкий* — *туретчина*» (с. 94; ср. с. 101, 196 и др.). Бесспорно

<sup>2</sup> Следовало бы эту часть академической грамматики издать отдельной книгой: она имеет самостоятельную научную ценность.

<sup>3</sup> Авторы удачно применяют термины «мотивирующее» и «мотивированное» слово, вместо обычных «производное» и «производящее». Эти обычные термины неизбежно порождают (при синхронном исследовании) диахронические иллюзии.

так, но до сих пор описания этих чередований в словообразовательных работах были, как правило, далеки от истины. В некоторых случаях преодоление орфографических иллюзий потребовало от исследователей настоящей смелости (к пользе дела); об интерфиксе ⟨o⟩, который обычен в нашем языке (*ледоход, сине-зеленый*), сказано: «Тот же интерфикс передается орфографически как -а-, -я- в словах ...*авианосец, мегатонна, времяпрепровождение, семядоля... тонна-километр*» (с. 172). Это последовательно и верно, но ранее такой последовательности в словообразовательных работах мы не видели. Фонематический, а не звуковой и не буквенный подход к составу морфемы — важное достоинство СА.

На всем протяжении 270-страничной СА можно найти только редкие отступления от этого принципа: ориентироваться на фонемный состав аффиксов и основ<sup>4</sup>.

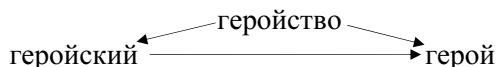
Строгая ориентация на синхронию дает в СА богатые плоды. В научной литературе указывались случаи, когда мотивированное слово имеет два разных мотивирующих. Но случаи эти приводились спорадически, редко, как диковинка. Мешало подавленное, но все же не полностью преодоленное (при синхронном анализе) убеждение, что производное слово произведено от другого, а нельзя же, чтобы одно дитя рождалось у двух матерей. Авторы СА показывают, что такое двойное соотношение — обычная вещь в русском языке: «Специфика образований, мотивированных относительными прилагательными, состоит в том, что такие образования, как правило, мотивируются не только прилагательным, но и тем существительным или глаголом, которым в свою очередь мотивировано это прилагательное, например, *крановщик* („крановый рабочий“ и „рабочий на кране“), *пораженчество* („пораженческое направление“ и „направление, свойственное пораженцам“). Образования, мотивированные качественными прилагательными, такой параллельной мотивацией не обладают» (с. 77). Обобщение относится уже не к отдельному слову, а к целой грамматической категории, и при этом сделан интересный вывод: между качественными и относительными прилагательными найдено еще одно существенное различие.

Из этих положений следует еще один важный теоретический вывод (и авторы СА делают его): если одно и то же образование может относиться к двум разным производящим словам, которые имеют разное морфемное строение, то и данное образование имеет двоякое морфемное строение: слова с суффиксом *-ник* типа *кипятильник* соотносятся с глаголом (*кипятить*) и с

<sup>4</sup> См. среди случаев с чередованием корневого вокализма: *считать* — *счетчик*, *подбирать* — *подборщик* (с. 48), *обирать* — *оборыш* (с. 61). На самом деле здесь нет оснований говорить о чередовании гласных фонем.

прилагательным (*кипятильный*). «Подобные образования могут рассматриваться и как принадлежащие к типу существительных с суффиксом *-ик* (с. 50)<sup>5</sup>. Т. е. у этих существительных наличествует суффикс *-ник* (морф *-ильник*) и суффикс *-ик*. С точки зрения диахронической, это абсурд: с помощью какого же суффикса было образовано слово *кипятильник*? Или прибавили сразу два суффикса? Но это невозможно! С точки зрения синхронической, это вполне естественно: слово *кипятильник* (и другие подобные) соотносится сразу с двумя словами, более простыми по строению, и эти соотношения одновременно определяют его морфемную структуру. Слова типа *пересев* (вторичный сев), *перерасчет* и подобные соотносятся с мотивирующими словами *сев* и *пересевать*, *расчет* и *перерассчитывать* (с. 141)); а это значит, что они, с одной стороны, образованы (синхронно) способом префиксации, с другой стороны — способом нулевой суффиксации. Они одновременно принадлежат двум способам словообразования.

Авторы СА идут далее и различают двойную мотивировку — семантическую и структурную: «Семантически существительные этого типа мотивируются... одновременно существительными со значением лица, которыми в свою очередь мотивированы прилагательные» (с. 93). Иначе говоря



(стрелка направлена в сторону мотивирующего слова). «Многие из подобных образований могут и со структурной точки зрения одновременно рассматриваться как мотивированные существительным (*лакейство*, *директорство*, *печоринство* и т. п.). Однако последовательное использование в структуре подобных существительных тех же морфонологических средств, что и в соответствующих относительных прилагательных, мотивированных существительными, говорит о том, что в качестве структурно мотивирующих в них используются именно прилагательные (например, *мать* — *материнский* — *материнство*, *беженец* — *беженский* — *беженство*, *налетчик* — *налетнический* — *налетничество*, *студент* — *студенческий* — *студенчество*)» (с. 94). Этот вывод поддерживается и анализом ударения. Разграничение семантической и структурной мотивированности теоретически перспективно.

В этом разделе нам кажется неубедительной трактовка слов типа *полиграфия*, *полифония*, *полихрония* как слов сложных со связанными компонентами. Для сложных слов пока найдено одно (винокуровское) действенное определение: это слова, соотношенные со словосочетанием, так что корни сложного слова повторены в компонентах словосочетания. Приведенные выше

<sup>5</sup> Ср. еще с. 52—53, 107 (о суффиксе *-атор*).

слова, очевидно, таких соотношений не имеют и потому не могут считаться сложными. Не относится к сложениям и большинство слов, рассматриваемых в главе «Сложения со связанными опорными компонентами» (с. 164—166). Почему, действительно, *балетоман, меломан, графоман, библиофил, славянофил* — сложения (с. 164—165), а *балетмейстер, хормейстер, полисмен, конгрессмен* (с. 117) — слова с суффиксами *-мейстер, -мен*? Было бы последовательнее все их считать суффиксальными (так же, как и слова типа *лермонтовед, чеховед*, см. с. 170: и они не соотносительны со словосочетаниями, компоненты которых имеют те же корни, что и анализируемые слова: *чеховед* ≠ тот, кто ведаёт Чехова).

В СА сделана попытка представить семантическую систему аффиксов, найти их оппозиции. В целом попытка удачная. Принципиальное возражение может вызвать такое положение: «В системе суффиксальных существительных, мотивированных существительными, слова с общим значением „носитель предметного признака“ (признака, выражающегося в отношении к предмету, месту, явлению) противопоставлены словам с модификационными значениями» (с. 99). Модификационные значения такие: женскости (*учительница, повариха*), невзрослости (*поваренок*), собирательности, уменьшительности и некоторые другие. Из примеров видно, что эти модификационные аффиксы добавляются к основе, уже имеющей значение «носитель предметного признака». Т. е. аффиксы со значением «носитель предметного признака» и модификационные аффиксы не составляют системы, потому что не встречаются в одной и той же позиции, не образуют оппозиции.

В словообразовательной части академической грамматики впервые последовательно проанализированы существительные с нулевым суффиксом, префиксальные существительные, префиксально-суффиксальные существительные, суффиксально-сложные существительные. Достаточное внимание авторы уделяют и явлениям морфемного наложения (с. 74, 171, 172, 192). Все эти новации даются в соответствии с требованиями этого строгого жанра — академической грамматики. Они основаны на теоретических положениях, апробированных в нашей науке и завоевавших признание.

\* \* \*

В морфологии сейчас трудно свести разные, притом бесспорно плодотворные взгляды в целостное «академическое» описание. Это и сказалось в морфологическом разделе грамматики (сокращенно АМ; авторы — В. А. Плотникова и Н. С. Авилова).

Система частей речи в АМ представлена как ряд грамматических противопоставлений: «1) Глаголы по значению противопоставляются именам и на-

речиям как слова, называющие признак как процесс (динамический признак); 2) имена существительные, называющие признак как процесс (динамический признак); 3) имена существительные, называющие предмет, противопоставляются прилагательным и наречиям, называющим признаки (нединамические, статальные); 4) имена прилагательные, называющие признак, отнесенный к предмету, противопоставляются наречиям, как словам, называющим признак без указания на его отнесенность» (с. 310). Это удачная и ясная характеристика. Очень тактично (но без подчеркивания, что и естественно в книге, адресованной широкому читателю) показано, что грамматические значения частей речи отражают, как представлены объекты названия, как они преобразованы языковой системой, что эти значения — компонент внутренней формы слова. Глаголы, например, представляют признак как процесс (хотя этот признак реально может и не быть процессуальным) ср.: *Эту местность населяют скотоводческие племена, Дорога теряется в густых кустах.* Тогда следовало бы и о существительных сказать: они называют нечто как предмет (и в этом смысле равны *чемодан* и *ясность, лев* и *кривизна*). Удачно определение наречий в системе частей речи как немаркированного члена противопоставления; это объясняет, в частности, употребление наречий при существительных (не только при глаголах): *Москва сегодня и завтра; решение наобум* и т. д.

К определенной части речи АМ (академическая морфология) относит лексему, т. е. совокупность словоформ, имеющих тождественное лексическое значение. При этом в одну лексему могут объединяться слова с разными грамматическими значениями (например, *видела — вижу*). Однако они должны обладать все одним наиболее общим грамматическим значением — значением части речи, как оно сформулировано в уже цитированном отрывке. Таким образом, часть речи — это лексико-грамматическая группировка единиц. Она проведена в книге достаточно последовательно. Хорошо сказано, что местоименные слова — не часть речи, а особые группы слов внутри каждой части речи, и т. д.

Вместе с тем дается и другая классификация: по грамматическим разрядам. Намечены такие разряды: слова без форм словоизменения, слова с формами словоизменения, а среди них слова склоняемые и слова спрягаемые. В грамматические разряды объединяются «не только слова (лексемы), но и словоформы на основании общности их грамматических значений» (с. 314).

Сам замысел — представить две параллельные классификации слов и словоформ, одну лексико-грамматическую, а другую чисто грамматическую, кажется плодотворным. В науке существует и та, и другая классификация. Они не противоречат друг другу, а по-разному характеризуют факты языка. Обе имеют право на место в академической грамматике. Шаг, сделанный в

АМ, тем более важен, что вторая из этих классификаций долгое время была в забвении и считалась «отреченной». Восстановление ее в правах — смелое и нужное дело. Но, предприняв этот шаг, введя классификацию по грамматическим разрядам, автор АМ не до конца последователен. К разряду прилагательных относятся словоформы со словоизменительными значениями падежа, рода и числа. Тогда краткие формы *умен, умна, умно, умны* нельзя отнести к грамматическому разряду прилагательного. Куда же их отнести? О глаголах сказано, что они относятся к спрягаемым словам. Но спряжение, по АМ, — это изменение по лицам, но это и изменение по родам. Хорошей классификации не получается. Не лучше ли, как уже когда-то предлагалось, выделить особо слова, изменяющиеся по родам и числам (но не по падежам)? Сюда бы и вошли краткие формы прилагательных (*умел, умела, умелы*), и формы глаголов прошедшего времени (*умел, умела, умели*). В свое время эта классификация испугала, потому что предлагалась вместо распределения слов по частям речи; но теперь, когда она дается как особая, иная классификация, не направленная против другой, более привычной, может быть, стоило бы привести ее «чисто», без необоснованных отступлений.

При классификации по частям речи надо подбирать кортежи словоформ, не отличающихся друг от друга лексическим значением: *вижу — видеть — видел — видевший — видя...* Определяется несколько типов таких кортежей, эти типы можно назвать: глагол, существительное — они примерно совпадут с тем, что традиционно называется такими словами. При классификации по грамматическим разрядам надо в одно место складывать формы, в которых выражены грамматические значения согласуемого (изменяемого) рода, числа и падежа — один тип, в другое место — формы с выражением несогласуемого рода, числа и падежа — другой тип, и т. д. В АМ очень тонко сказано, что в отличие от частей речи, где единицей классификации можно считать лексему, здесь, в грамматических разрядах, единица-словоформа. Эти две классификации обращены к разным единицам и могут сосуществовать в одном описании. И это отвечает интересам науки: нередко два разных взгляда на объект изучения считаются, по застаревшему недоразумению, несовместимыми друг с другом, а они спокойно соседствуют и характеризуют разные стороны объекта. Но, разумеется, «вселенская смесь» недопустима: не все теории могут объединяться; и АМ удачно избегает гибридизации несовместимых взглядов.

Для этих двух классификаций, конечно, нужны разные слова. То, что в АМ для обеих употребляются термины существительное, глагол и т. д., с разным значением, только сбивает читателя с толка.

Морфология в Академической грамматике оказалась почти в два раза меньше по объему, чем словообразование — нарушение традиций! Отчасти это обусловлено тем, что словообразование впервые выступает как система-



тическое и полное описание этой стороны языка; отчасти тем, что в АМ найдены компактные приемы описания «внешней» стороны словоизменения, его морфемных показателей, склонений и спряжений. Но есть и третья причина: характеристика грамматических значений словоформ в АМ дается очень сжато и скупо. В морфологии русского языка преобладают привативные противопоставления, когда один из его членов — немаркированный. Употребление немаркированных единиц (форм единственного числа у существительных, глаголов несовершенного вида, форм настоящего времени и т. д.) обычно бывает сложным и требует многоступенчатого описания. АМ в этих случаях чрезмерно лаконична. Даже в определении грамматических значений утрачено разграничение маркированности и немаркированности (см., например, характеристику числа и рода у существительных, с. 319, 322). А ведь уже были блестящие опыты такого разграничения, притом без всякого усложнения терминологии, без применения даже слов «маркированность — немаркированность»!

В АМ много метких и детальных наблюдений, которые впервые появляются в Академической грамматике. В целом этот раздел заслужит, нам кажется, доброе отношение читателя, несмотря на то, что авторы раздела не все свои начинания проводят последовательно и бескомпромиссно (мы имеем в виду классификацию словоформ по грамматическим разрядам).

\* \* \*

Синтаксису отводится в «Грамматике современного русского литературного языка» примерно третья часть книги (будем обозначать этот раздел АС, что означает «академический синтаксис»). Основные разделы АС: «Подчинительные связи слов и словосочетания» (автор Н. Ю. Шведова), «Простое предложение» (автор Н. Ю. Шведова, кроме раздела «Порядок слов в простом предложении», который написан И. И. Ковтуновой) и «Сложное предложение» (автор В. А. Белошাপкова). В АС мы находим много новых разработок. Так, при изложении сведений о простом предложении в центре внимания оказываются структурные схемы и парадигмы простого предложения, что почти отсутствовало в традиционных описаниях синтаксиса или излагалось весьма несистематично. Некоторые частные вопросы получают в АС новое толкование (к примеру, значение прямого объекта усматривается не только у компонентов предложения, представленных существительными в винительном падеже без предлога, но и в некоторых случаях у существительных в дательном и творительном падежах (с. 491, 492). Новые трактовки, казалось бы должны тщательно обосновываться, читатель должен хорошо понимать ту базу, на которой вырастают эти трактовки. Но в АС эти объяснения

часто отсутствуют, приходится путем сложных сопоставлений искать эту мотивировку (см. вопрос о выделении структурных схем простого предложения, вопрос о разграничении смысловых отношений при подчинительной связи, вопрос о разграничении слабого управления и именного примыкания и т. д.).

Текстовый материал, на котором строится АС, почерпнут не только из письменной, но и из разговорной формы литературного языка. В своем большинстве приводимые иллюстрации показательны и типичны для русской речи. Но некоторые построения в разделе, посвященном парадигматике, производят впечатление специально придуманных (например: *В доме всегда будь тепло, а сам не хочешь даже дров принести!* — с. 590; *Пусть прибывает народу!* — с. 591; *Будь бы с кем поговорить!* — с. 591). Тщательный подбор примеров тем более важен, что АС носит нормативно-стилистический характер.

При описании синтаксического строя русского языка авторы АС проводят несколько основных принципов.

Во-первых, это принцип системности. Синтаксис, обычно излагавшийся в синтагматическом плане, рассматривается и в аспекте парадигматики. Авторы АС стремятся показать взаимосвязь отдельных явлений по разным признакам.

Во-вторых, это принцип вариативности. В АС большое внимание уделяется функционированию одной модели или ее части в разных видах, разных вариантах, которые в определенном отношении оказываются эквивалентными.

В-третьих, это принцип валентности. Одна из принципиальных установок АС заключается в систематическом учете сочетательных способностей синтаксических единиц.

Богатство фактического материала, стремление обнажить системную организацию синтаксического уровня современного русского литературного языка, желание оценить многие явления по-новому, в свете новых исследований — все это положительные стороны АС.

Однако не все теоретические трактовки, избранные в АС, эффективны, не все они позволяют экономно описать синтаксический строй, не всегда они согласованы друг с другом и осуществлены последовательно и непротиворечиво. Остановимся на отдельных недостатках АС.

Понятие словосочетания в АС находится в зависимости от понятия подчинительной связи слов, вырастает на его основе. «Словосочетание, — говорится в АС, — это синтаксическая единица, образующаяся соединением двух или более знаменательных слов (слова и словоформы) на основе подчинительной грамматической связи — согласования, управления или примыкания — и тех отношений, которые порождаются этой связью» (с. 536). В этом определении нет указания, как это было в подготовительных материалах к

АС и в предыдущей Академической грамматике, на то, что словосочетание — это некоммуникативная синтаксическая структура, что основной функцией словосочетания является функция номинативная. Подобная трактовка, устаревшая из основного определения, проскальзывает в некоторых формулировках: говорится о том, что словосочетание предназначено «не для сообщения, а для называния» (с. 541), что словосочетание «выполняет ту же функцию, что и его компоненты — слова или словоформы» (с. 652). Отсутствие в определении словосочетания указания на его функцию ставит под сомнение существование особого уровня словосочетаний в синтаксической системе.

Подчинительная связь трактуется в АС не на основе формы зависимого компонента, а на основе категориальных свойств господствующего, подчиняющего. Центральным элементом словосочетания при таком толковании становится не зависимый, а господствующий, причем в плане его сочетательных способностей, валентности, интенции. Связи, внешне похожие на подчинительные, но не опирающиеся на категориальные свойства главного слова и возникающие в предложении, не считаются подчинительными. В результате возникает необходимость разграничивать такие неопределенные периферийные явления, как слабое управление, именное примыкание, соположение, необходимость выделять наряду с согласованием, управлением и примыканием их аналоги, т. е. своего рода двойники на уровне предложения, и не только аналоги, а еще и связи, только похожие на согласование, как в случае подлежащего и сказуемого. Наконец, вне рассмотрения остаются связи в случае обособления словоформы или сочетания словоформ. Получается очень сложная, громоздкая система связей, близость многих из которых, вероятно, сильнее, чем различие. Категориальные свойства главного слова часто не сопряжены с отчетливыми показателями, и трудно бывает решить, воздействует ли оно на зависимое слово. Сами сочетательные свойства главного слова могут быть поняты двояко: как общие возможности связи и как степень обязательности (сила) связи. Вряд ли можно говорить о «требованиях» применительно к обоим этим случаям.

Думается, что избрание в качестве основы подчинения категориальных свойств главного компонента словосочетания не является удачным. Форма зависимого компонента имеет яркую внешнюю определенность и может служить более верным ориентиром, чем категориальные свойства главного слова.

Наконец, следует отметить неодинаковую трактовку подчинения при описании простого и сложного предложения: если в простом предложении сфера подчинения заметно суживается, то в сложном предложении подчинение рассматривается более свободно, здесь подчинительная связь между компонентами сложного предложения характеризуется как аналогичная всем видам несочинительной связи в простом предложении (с. 655).

Трактовка подчинения оказывается неопределенной еще и потому, что АС не предлагает никаких рекомендаций для выделения господствующего и зависимого компонента, что ярко проявилось в определении связи двух существительных типа *женщина-космонавт, цех-лаборатория* и т. п. как согласования; здесь нет формальных указаний на то, какое из двух сочетающихся слов господствующее и какое зависимое (§ 1139, с. 483).

В целом раздел «Подчинительные связи слов и словосочетания» представляется нам интересной проверкой ряда теоретических посылок. Однако согласиться с плодотворностью этого описания вряд ли возможно.

В разделе «Простое предложение» наряду с понятием предложения вводится понятие высказывания. Последнее рассматривается как более широкое, чем первое. Высказывания — это предложения, а также сообщения, не оформленные по образцу предложений (с. 574, 543, 541). Собственно высказывания (не-предложения) не получили в АС основательной характеристики. Думается, что таковыми являются подлинно безглагольные образования, а предложения всегда глагольны (об этом см. дальше).

Модальность и время как признаки предложения отграничиваются от морфологических категорий глагола и устанавливаются с учетом контекста. Но ведь общепринятым является положение, что глагольные категории наклонения и времени синтаксичны по своему существу. Расширительная синтаксическая трактовка модальности и времени в АС грозит превращением их из грамматических категорий в понятийные категории, что проявилось особенно наглядно в разделе «Сложное предложение», где они трактуются как комплексные значения, создающиеся совместно грамматическими и лексическими факторами (с. 654). Позиции грамматики при таком подходе явно расшатываются.

Структурная схема предложения в АС определяется как «тот отвлеченный образец, по которому может быть построено минимальное самостоятельное и независимое сообщение» (с. 546).

Определение структурной схемы на основе самостоятельности и независимости сообщения неудачно. Если быть логически последовательным и выделять в предложении независимый костяк, способный сам по себе быть предложением, то следовало бы включать в объем структурной схемы не только подлежащее и сказуемое (ср.: *Семья Кончаловских состояла из образованных, высококультурных людей...; фильм подобен скульптуре, высеченной из цельного куска гранита*). Надо полагать, что структурная схема может быть определена на основе предикативной связи, понятие которой отсутствует в АС.

Без достаточной ясности в АС решается вопрос об отношениях между подлежащим и сказуемым. Здесь целый ряд непоследовательностей и проти-

воречий. Будучи составляющими предложения, подлежащее и сказуемое, согласно АС, не связываются подчинительной связью, которая порождает словосочетание. Но какова же природа их связи? С одной стороны, признается, что главные члены находятся друг с другом «в отношениях определяемого и определяющего» (с. 547, 548). Такая формулировка наводит на мысль о подчинении. Но подчинение здесь отрицается. АС устанавливает, что связь подлежащего и сказуемого может быть двух видов: во-первых, это формальное уподобление (координация) и, во-вторых, отсутствие взаимного уподобления (соположение). Координация трактуется как связь, внешне сходная с согласованием, говорится о «формально соподчиненной форме имени» в сказуемом (с. 548, 551, 566). В то же время при формальном уподоблении ни одна из уподобленных форм слов «не является ни главенствующей, ни зависимой» (с. 548).

Получается, что своеобразие связи подлежащего и сказуемого, отмечаемое многими исследователями, отличающими эту связь от сочинения и подчинения, в АС не устанавливается (единства трактовки этой связи нет, выделяется координация и соположение). С другой стороны, координация, или взаимное уподобление, получает очень туманную характеристику, которая не соответствует фактам языка (ср. *ясный день* — согласование, *день ясный* — координация).

В АС нет развернутого определения подлежащего и сказуемого. Указываются лишь типичные выразители этих членов в случае уподобления, а также при его отсутствии. Отмечаются типичные значения главных членов — значения признака и его носителя, которые, по всей вероятности, и должны быть ориентирами при определении подлежащего и сказуемого. Но эти характеристики не помогают нам находить подлежащее и сказуемое в предложениях типа *Отец учитель, Кататься весело* (с. 551, 557). Выделение главных членов по смыслу или на основании порядка слов представляет собой отступление от принципов грамматики. Обязателен учет формы главных членов и соотношения неморфологизованных компонентов с морфологизованными (существительное в именительном падеже — инфинитив и т. п.).

Весьма спорным является в АС толкование глагола *быть* в порядке конструкций как связки, как служебного, вспомогательного. Известно, что глагол *быть* может быть знаменательным и служебным. Знаменательный глагол *быть* обладает определенным характером сочетаемости с другими компонентами предложения, в отличие от глагола-связки, и может быть заменен другими, явными знаменательными глаголами. Глагол-связка *быть* вступает в особые отношения с присвязочной частью, которая, имея атрибутивное значение, тяготеет к связке и в то же время соотносится с подлежащим; присвязочный компонент в принципе может быть заменен именем прилагательным

как наиболее ярким выразителем атрибутивности. Такова традиционная точка зрения.

В АС глагол *быть* квалифицируется как служебный не только в таких случаях, как *Ночь была темна*, но и в предложениях типа *Вечером будь дома!* (с. 577), *Народу было!* (с. 593), *Не было денег* (с. 591). Вспомогательным считается глагол *быть* и в предложениях типа *Была, будет ночь* (с. 560), а сами эти предложения относятся к односоставным<sup>6</sup>. При этом выдвигается чисто семантическое соображение, будто глагол *быть* в отмеченных предложениях не имеет лексического значения, а является показателем предикативности. Особенности же связи глагола *быть* с другими компонентами предложения не учитываются. Достаточно сравнить предложение *Была ночь* с такими, как *Стояла ночь* (ср. *Она была красавица*), чтобы стало ясно, что глагол *быть* в первом предложении не обладает формальными приметам связи и представляет собой самостоятельное сказуемое.

Предложения со служебным глаголом *быть* (в трактовке АС) лишены внутреннего единства; сочетания, образуемые этим глаголом, разнородны.

В АС выделяются безглагольные схемы предложения и утверждается, что категория синтаксического времени может выражаться самой структурной схемой предложения (с. 543). Вместе с тем парадигматический подход к структуре предложения, когда в пределах парадигмы большинство форм предложения, наделенных глаголом, осуществляет своеобразное давление системы, должен был бы дать новое толкование подобным безглагольным схемам. В самом АС говорится, что в предложениях *Ночь темна*, *Тишина* синтаксическое настоящее время выражается «самой структурной схемой предложения — при значимом отсутствии глагольного слова» (с. 543). Значимое отсутствие глагольного слова — это то же самое, что нулевой компонент. Но этого понятия, к сожалению, нет в АС. Как видим, сама логика парадигматического подхода к синтаксису побуждает принять его или нечто подобное. Безглагольные предложения как таковые вряд ли возможны.

В АС выделяется 40 структурных схем простого предложения (без фразеологизированных схем). Структурная схема существует в разных формах, которые различаются предикативными значениями, т. е. схема способна изменяться по синтаксическим наклонениям и временам, оставаясь тождественной. Совокупность таких форм называется парадигмой предложения. Одна из форм схемы выделяется в качестве основной и называется исходной формой предложения. Существуют особые проявления схемы — регулярные

---

<sup>6</sup> В то же время глагол *есть* в предложениях типа *Есть деньги* определяется как самостоятельное сказуемое, противопоставленное подлежащему (с. 567). Вероятно, и в предложении *Были деньги* глагол *были* — полнозначное сказуемое.

реализации (к их числу относятся, например, неполные предложения). В парадигмы объединяются исходные формы и регулярные реализации схем. Всего в АС представлено 14 парадигм.

Однако в АС не описываются процедуры выделения структурных схем, и поэтому не всегда ясно, почему то или иное построение образует самостоятельную схему, не всегда отмечены связи разных схем. Так, к разным схемам относятся предложения *Яблок — завались* (с. 561) и *Грибов!* (с. 562) и не отмечена их связь. Не указано, что предложения особой схемы типа *Ничего лишнего, Ни души* (с. 562) связаны с предложениями, имеющими отрицание *не*.

Предложение, таким образом, рассматривается в АС как синтаксическая структура, имеющая систему форм, как сложное единство вариантов. При таком подходе одни формы предложения получают дополнительные характеристики на фоне других форм, под давлением других форм. В этом направлении в АС реализованы, по нашему мнению, не все возможности. Сложное предложение в АС рассматривается как полипредикативная структура, состоящая из нескольких синтаксических модально-временных комплексов. Такие комплексы, являющиеся компонентами сложного предложения, называются предикативными единицами. Сложное предложение строится по определенной структурной схеме, включающей четыре класса характеристик: 1) потенциальный количественный состав сложного предложения (или открытость — закрытость его структуры); 2) синтаксическая связь между компонентами и средства ее выражения; 3) порядок компонентов; 4) особенности семантического наполнения, строения и лексического состава компонентов (с. 653).

Сложное предложение рассматривается как единица иного уровня, чем простое предложение, хотя и те, и другие функционируют как целостные единицы сообщения. Сложное предложение не имеет предикативной организации такого же типа, как простое предложение. Каждый компонент сложного предложения имеет свой модально-временной план. Здесь модальность и время толкуются еще более расширительно, чем в простом предложении: учитывается взаимодействие грамматических и лексических факторов, особая роль в создании такого плана принадлежит союзам.

Связь между компонентами сложного предложения может быть сочинительной и подчинительной. Эти понятия трактуются в основном традиционно. Интересным представляется наблюдение, что сочинительной является связь частей в бессоюзных сложных предложениях открытой (незамкнутой) структуры. В прочих бессоюзных сложных предложениях противопоставление сочинения и подчинения снято.

В АС дано детальное и глубокое описание сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, последовательно разграничиваются признаки собственно структурные, структурно-семантические и собственно-семантиче-

ские. Соответственно выделяются структурные типы, структурно-семантические разряды и семантические разновидности сложных предложений. В заключение раздела сжато излагаются сведения о бессоюзных сложных предложениях, за исключением тех, которые отнесены к сложносочиненным.

АС, таким образом, построен на широком фактическом материале современного русского литературного языка. Интересны многие теоретические установки этой книги. Интересно стремление проверить на практике некоторые идеи, высказанные отечественными и зарубежными филологами. Вместе с тем многие положения АС недостаточно обоснованы, не проведены с нужной последовательностью. Но сами авторы во вступлении к Грамматике предупреждали, что в этой книге отразились поиски решений, эксперимент. Однако и при этом условии целого ряда противоречий и недомолвок можно было бы избежать.

Как видно из сказанного, в новой Академической грамматике отсутствует цельность, согласованность отдельных частей. В ней есть и отмеченные недостатки, и бесспорные удачи, имеющие принципиальный характер, и поиски на путях к удаче. За все это надо поблагодарить авторов, не слишком укоряя их за недостатки, которые в известной части были неизбежны.





**Часть VI**

**ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА**



## Лингвистика и методика преподавания русского языка\*

В нашей отечественной культурной традиции лингвистика и методика преподавания языка всегда были союзники. Нет ни одного крупного языковеда-русиста, который не заботился бы о нуждах учителя и ученика. С другой стороны, все авторитетные деятели педагогики, преподаватели русского языка, видели в лингвистике свою надежную и желанную опору. В наше время заметны черты более глубокого сотрудничества этих наук. Они сейчас проявляются робко, изредка; но эти новые, более тесные формы взаимодействия двух наук заслуживают поддержки; они, вероятно, будут постепенно усиливаться. О них у нас и пойдет речь.

Материалом статьи является опыт преподавания русского языка в национальной (нерусской) школе. Именно здесь новые черты проявляются, пожалуй, наиболее ярко.

Меняется время — меняются возможности и цели обучения. В 20-е, в 30-е годы, когда для национальной школы не хватало квалифицированных учителей, не было учебников, а методика обучения русскому языку детей разных народов делала первые шаги, — в эту эпоху задачи школы были поневоле скромными.

В 50-е, в 60-е годы и особенно в наше время положение изменилось. Решено и записано в авторитетных документах, что ученики, кончая среднюю школу, должны свободно владеть русским языком (см. [1]). Изменились педагогические задачи — необходимо пересмотреть лингвистические основы обучения.

Школьная практика 20-х годов опиралась на определенную лингвистическую теорию. В области произношения это была фонология, представленная в трудах Л. В. Щербы и его последователей. Л. В. Щерба писал: «... коверкание произношения не только комично, но иногда ведет к непониманию или по крайней мере к замедленному пониманию речи. ... Если какой-нибудь иностранец будет выговаривать *шяр, шяпка, Шюра, Машия*, то это будет только смешно; если же он скажет *стол* вместо *столь* (как это нормально для

---

\* Вопросы языкознания. 1989. № 1. С. 31—43.

всякого англичанина)..., то это будет уже нарушение смысла». И далее: «Я предлагаю называть ошибки первого типа... фонетическими, а вторые — звукосмысловыми, или фонологическими» [2]. Фонологические ошибки нетерпимы в речи; с фонетическими можно мириться — вот вывод Щербы. Иначе говоря: важны только различительные признаки звуковых единиц.

Эти рекомендации пришлось ко времени и поэтому оказали большое влияние на школьную практику. При этом даже они показались слишком строгими, и методисты их еще и «разносили», сделали более вольными. Так, видный методист А. А. Горцевский, следуя за Щербой (несколько, впрочем, поодаль), считал, что в национальной школе важно научить только различительным элементам русского произношения. В эвенкийском языке нет противопоставления согласных [т'] — [ч'], поэтому эвенки смешивают слова, которые отличаются этими звуками. Следовательно, надо особенно тщательно учить детей правильно произносить слова *вечер* — *ветер*, *вылечит* — *вылетит*; *чаюшка* — *тяжко*, *чем* — *тем* и т. д. Если же ошибка не ведет к совпадению двух слов, то она терпима, рассуждал А. А. Горцевский [3]. Здесь методист идет дальше, чем позволяла теория Щербы.

Но в какой-то степени такое расширенное толкование подсказывалось взглядами Л. В. Щербы. Если важно одно: различать слова, то любое их коверканье терпимо, лишь бы все-таки можно было понять, что произносится.

На таком уровне фонология враждебна орфоэпии: *шяр* и *Шюра* получают «проходной балл». Первую попытку снять эту конфронтацию культуры речи и фонологии сделал С. И. Бернштейн. Он на нескольких примерах показал, что есть случаи, когда неразличительные особенности звуков непременно должны воспроизводиться в речи [4].

Решительный отход от этой конфронтации совершен в трудах А. А. Реформатского. Он писал: «Для того, чтобы точнее регулировать изучение произношения чужого языка и систематически планировать обучение произношению, фонологический аспект должен в методике занять ведущее положение. Фонология может дать правильный ориентир при разработке методов и приемов обучения произношению, при выборе последовательности распределения учебного материала, при отборе упражнений и примеров» [5]. Как видим, в задачи фонологии не входит разделение звуковых признаков на достойные усвоения, различительные, и недостойные, неразличительные. Более того, А. А. Реформатский настаивает на том, чтобы и те признаки звуков, которые вызваны позицией, следовательно — неразличительные, непременно были предметом обучения: «Несоблюдение редукции безударных гласных или отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова или перед глухими согласными — резкое нарушение русских произносительных норм, сто-

ящее наряду с... неразличением [л] твердого и [л'] мягкого» [6]. Позиционно обусловленные черты звука поставлены в ряд с теми, которые всегда позиционно независимы (мягкость и твердость боковых), всегда, следовательно, различительны в русском языке.

Это высказывание А. А. Реформатского полемично по отношению к установкам Л. В. Щербы. Л. В. Щерба для случая, когда необходимо различение звуков и их признаков, взял пример (см. цитату выше) с боковыми [л] и [л'] — очень удачный, так как эти парные согласные, и только они, всегда имеют различительную твердость и мягкость, и этому примеру резко противопоставил случай с неразличительными признаками звуков. А. А. Реформатский берет те же [л] и [л'] и в ряд с ними ставит — не в контраст, а в подобие — позиционно вызванные различия, явно неразличительные.

Но если это так, то в самой фонологической теории надо сделать какие-то коррективы. Методика зовет к пересмотру тех положений фонологии, которые мешают заниматься орфоэпией.

В самой теории фонем обнаружили внутренние напряжения. Принято считать, что признак приобретает высокий статус дифференциального (различительного), если он для определенного звука в определенной позиции является единственным отличием от другого звука в той же позиции. Так, у [т] в сильной позиции есть различительные признаки: глухой (ср. *том* — *дом*), твердость (ср. *том* — *тёмный*), взрывной характер артикуляции (ср. *том* — *сом*), зубной характер артикуляции (ср. *том* — *ком*).

Но есть случаи, когда, применяя обычную методику, приходится все признаки звука считать неразличительными, что, конечно, абсурдно. Так, у [ч']: 1) Мягкость — неразличительный признак: в одной позиции не различаются [ч'] и [ч]. Твердый согласный [ч] — в русском языке только перед [ш] (*лучше*), но здесь невозможен [ч']. 2) Способ артикуляции — неразличительный признак: «ближайший» согласный [ш:] отличается двумя признаками — не только способом артикуляции, но и длительностью. 3) Место артикуляции — неразличительный признак: у [ц] не одно, а два отличия от [ч']. Другие звуки — еще дальше от [ч']. 4) Глухость неразличительна... Итак, согласный [ч'] существует без различительных признаков. Обычная процедура определения дифференциальных признаков ведет в тупик.

Очевидно, неправилен сам путь: отсекают как несущественные некоторые орфоэпически узаконенные признаки, т. е.: выделять различительный костяк звука — и все помимо костяка считать безразличным наполнителем. Не испытать ли другой путь? Вместо того, чтобы вычитать из звука признаки, будто бы несущественные, не суммировать ли и не соединять ли в блоки, в различительные комплексы? Например, так. Сравним [ч'] и [ц]: отличие — в месте артикуляции и твердости — мягкости. Считаем у [ч'] различительным

комплексный признак «передненебность + мягкость». Сравним [ч'] и [ш]; находим другой комплексный признак у [ч'] — «глухость + аффрикативность + недлительность». Итак, [ч'] состоит из двух функциональных признаков: (передненебный мягкий) + (глухой аффрикативный недлительный). Операция собирания признаков в функциональные комплексы нуждается в разработке, но общее направление поисков как будто выяснилось.

Этот шаг в разработке фонологической теории стимулирован и подсказан потребностями методики обучения русскому языку. Вспомним, что исходные высказывания и С. И. Бернштейна, и А. А. Реформатского были сделаны именно в их методических статьях и цель этих высказываний — поиски рациональных основ преподавания. Сама необходимость снять напряженные отношения между фонологией и орфоэпией обнаружилась прежде всего в методике.

Однако нужно здесь же подчеркнуть, что методика лишь тогда стимулирует развитие языковедческой мысли, когда в самой лингвистике есть основания для ее самодвижения, внутреннего обогащения. Выше было показано, что фонология остановилась в недоумении перед некоторыми фактами — и возникла необходимость их истолковать. Действовали, следовательно, две силы: само развитие лингвистической теории и требования методики, с ее практическими и теоретическими нуждами.

Это еще более, пожалуй, заметно на развитии теории интонации. В 40-х годах в фонетических лабораториях появились приборы, способные поймать интонацию, нарисовать ее изменчивый облик. Фонетисты упивались возможностью уловить тончайшие изгибы интонационных кривых, каждое их колечко подвергнуть многократному анализу. Стали появляться работы, посвященные интонации отдельных грамматических конструкций. Чуть ли не у каждого типа придаточных предложений была обнаружена особая интонационная природа. Вся мелодическая система русской речи получила неправдоподобно сложный и недоступный для усвоения характер.

Наслаждаясь своей властью над интонацией, исследователи фиксировали все: необходимые признаки наряду с факультативными, индивидуальные рядом с типическими, различительные вместе с неразличительными.

И от теории русского языка, и от практики его преподавания нерусским учащимся шел призыв: найти возможность по-другому, более компактно и просто, охарактеризовать русскую интонацию, — исходя из ее коммуникативной функции. И если лингвистическая теория могла не торопиться, то ежедневная преподавательская практика требовала быстрее решения мучительных затруднений, возникающих в работе.

Решение было найдено в теории Е. А. Брызгуновой [7—9]. Эта теория ориентирована не на максимум, а на минимум различий. Был определен набор интонационных типов, достаточных для коммуникативно ясной и орфо-

эпически полноценной речи. Такая установка направляла внимание на различительные признаки, но не в отрыве от орфоэпических требований, а в союзе с ними. Например, монотония — распространенный орфоэпический недостаток речи. Е. А. Брызгунова в своих работах уделяет этому внимание. Сказано о том, что интонационные конструкции (ИК) — ИК-3 и ИК-4 в ряде случаев синонимичны, и их надо использовать для того, чтобы разбить речевую монотонию. И это принцип: фонологию не ссорить с орфоэпией.

С работ Е. А. Брызгуновой начался фонологический этап в развитии интонационной теории. С другой стороны, эти работы были прямым ответом на требования методики преподавания. Оттого-то эта теория сразу пошла в практику: широко используется в вузах, а в настоящее время завоевывает нашу национальную школу<sup>1</sup>.

В XIX веке и в первой трети нашего века трудно, вероятно, даже невозможно найти исследования, которые были бы созданы «по заказу» одновременно и лингвистики, и педагогики — на перекрестке этих двух наук. Лингвисты были внимательны к педагогической практике, приспособляли свои теории к нуждам учения, но по требованию педагогики своих теорий не создавали.

Иногда методика преподавания выступает в качестве арбитра, помогающего решить вопрос о подлинной ценности лингвистической теории. С помощью методики происходит как бы госприемка того или иного построения лингвистов. Это особенно важно, когда теория является дискуссионной.

Р. О. Якобсон высказал предположение, что падежные значения в русском языке дискретны. Падежные значения можно свести к трем парам противоположных грамматических признаков: направленность — ненаправленность, объемность — необъемность, окраинность — неокраинность [10, с. 179—180].

Падежи винительный, родительный, дательный, изъяснительный включают в свое значение признак направленности. Они называют объект, на который направлено действие. Остальные падежи включают признак ненаправленности.

Падежи родительный и оба предложных включают признак объемности. Они называют объект, который в полной степени охвачен действием. Остальные падежи включают признак необъемности, они не указывают, что действие вполне охватило объект. (Вспомним пример из школьных учебников: *налил воду* — *налил воды*.)

Падежи именительный, родительный, винительный включают в свое значение признак неокраинности (непериферийности). Они называют такой предмет — лицо, которое не может быть устранено из сообщения; предложе-

---

<sup>1</sup> Например, в современных учебниках по русскому языку для башкирской школы (4—5 классы) дается представление о четырех важнейших интонационных конструкциях: ИК-1 — ИК-4.



ние без этих падежных форм обесмысливается. (Примеры: *колокольчик зазвонил, отсыпал овса, дал кусок сахара / сахару.*) Остальные падежи окраинны.

Представим это в виде таблицы:

	1	2	3
И	–	–	–
Р	+	+	–
Д	+	–	+
В	+	–	–
Т	–	–	+
П <sup>1</sup>	+	+	+
П <sup>2</sup>	–	+	+

Здесь первый столбец (1) указывает признаки направленности (+) или ненаправленности (–); второй (2) — признаки объемности (+) или необъемности (–); третий (3) — признаки окраинности (+) или неокраинности (–).

Как видно из таблицы, предложный падеж разделен на два отдельных падежа: предложный первый (изъяснительный): *о ветре, о мёле, о снеге, о мосте, о стробе* и предложный второй (местный): *на ветру́, в мелу́, в снегу́, на мосту́, в стробу́*. Предложный первый обозначает предмет речи или мысли, т. е. указывает, на что они направлены; предложный второй называет место действия. Предложный первый имеет значение направленности, предложный второй — не имеет.

Чтобы изъяснительную и местную падежные формы отнести к разным падежам, надо найти их в одной позиции, в одном окружении. Р. О. Якобсон показал, что они встречаются в одной позиции: *Вороны чего-то искали в снегу; Художники чего-то ищут в снеге, но живописности в снеге нет*. Контексты *ищут в снегу — ищут в снеге* показывают, что различие в падежных формах не обусловлено позицией [10].

Напротив, различие форм *нет сахара / нет сахару, насыпал сахара / насыпал сахару* — чисто стилистическое различие, и мы не будем (в отличие от Р. О. Якобсона) считать их разными падежами.

Теория Р. О. Якобсона до сих пор вызывает противоположные оценки. Одни ее приемлют, другие считают искусственным построением. Что об этом думает методика? Было стремление использовать эту теорию в практических целях. Ученик не знает, какую падежную форму он в данном контексте, в соответствии со своим речевым замыслом, должен выбрать. Тогда он анализирует контекст, устанавливает, каких минимальных значений он требует; далее — зная наборы различительных признаков у разных падежей, учитывая, к какому склонению относится выбранное существительное, точно выбирает нужную падежную форму. Эксперимент, проведенный с диссертационными целями, подтвердил, что замысел хорош [11].

Нет сомнения, что в текущей преподавательской практике этот путь не приведет к цели. Хотя бы потому, что нет надежных процедур для оценки речевого контекста: каких именно падежных признаков он требует<sup>2</sup>. Очевидно, такой помощи от теории Р. О. Якобсона методика ждать не может.

Тот, кто обучается русскому языку, очень часто вместо одного падежа употребляет другой. Но не все замены имеют одинаковую частоту. Теория Якобсона помогает предсказать, какие смешения будут особенно частыми: именно те, где различия в значениях между падежами незначительны. На продвинутом этапе обучения, когда ученик уже имеет определенное представление о русской падежной системе и получил некоторые навыки владения ею, чаще всего он будет путать падежи, отличающиеся одним признаком.

Например, обычно смешение дательного и творительного падежей. Примеров можно приводить бесконечно много, мы ограничимся единичными предложениями из тетрадей учеников 7—8 классов разных национальных школ: *Площадь была освещена огням* (чеченская школа); *После каникул я был рад своими товарищами* (калмыцкая школа); *Я довольный своему коню, люблю и чищу ему* (адыгейская школа); *Косить это поле косилкам трудно, надо косами, вручную* (карельская школа); *Если кем из учеников надо помочь, то мы всегда готовы помочь* (татарская школа); *Я радовалась цветами* (удмуртская школа); *В отряде каждый подчиняется командиром и слушается его* (осетинская школа); *Я горжусь своему деду, который всю войну воевал* (башкирская школа).

Примеров приведено немного, но в речи учеников они постоянны. В разных национальных школах дательный и творительный падежи постоянно подвергаются взаимозамене. Очевидно, причина не в грамматике родного языка (или не только в ней), но в значительной степени и в самой смысловой природе русских падежей.

Чаше других смешиваются падежи: дательный — творительный, дательный — винительный, винительный — родительный, изъяснительный (предложный первый) — местный (предложный второй), т. е. те, которые имеют наименьшее семантическое различие: в один признак.

Местный часто заменяется изъяснительным: *стоял на носе лодки, испачкался в мэле*; в устной речи: *испекли в печи, вывалялся в грязи*. Направление замен всегда в одну сторону: изъяснительный оттесняет местный. Эти два падежа вообще имеют у большинства существительных омонимичные формы. Но омонимия, конечно, не объясняет однонаправленность смешения. Очевидно, в определенных отношениях форма изъяснительного падежа сильнее своей конкурентки. Подробно здесь на этом останавливаться не будем.

---

<sup>2</sup> Критику указанной работы см. в статье Т. В. Рябовой [12].

Именительный часто заменяет все остальные падежи. Одно из двух: либо ученик не умеет склонять данное слово, либо влияет родной язык; в некоторых языках, например, в калмыцком, во многих тюркских, исходный падеж является немаркированным и может заменять косвенные.

Итак, спорная теория помогает методике. Она правильно ориентирует преподавателя русского языка: советует обратить внимание на такие падежные формы, которые особенно часто вызывают ошибку у школьников, определяет наиболее вероятные подмены падежей — и ведет к правильному методическому решению: подсказывает, что именно эти, совпадающие падежи надо изучать совместно, один на фоне другого, одновременно тренируя навыки употребления парных падежей, так что они раскрывают во взаимном сопоставлении свои сходства и различия.

Здесь методика выступает как справедливый оценщик теории; она в определенных аспектах поддерживает учение о русских падежах Р. О. Якобсона.

Педагогам известно, с каким трудом иноязычные учащиеся усваивают употребление русских глаголов совершенного и несовершенного вида. Главная трудность в том, чтобы четко объяснить суть видовых значений, смысловой стержень этого противопоставления. Из множества определений, что значат категории совершенного и несовершенного вида, надо выбрать наиболее «работающее» с точки зрения преподавания. Выбор у разных педагогов, при работе с разной аудиторией, может, конечно, варьироваться. Путей здесь несколько. Практически хорошие результаты дают определения, принятые В. В. Виноградовым: «... в понятии совершенного вида основным признаком является признак предела действия, достижения цели, признак ограничения или устранения представления о длительности действия» [13, с. 497]; «... несовершенный вид ... является основой, нейтральной базой видового соотношения» [13, с. 498]. Таким образом, несовершенный вид рассматривается как немаркированная, беспризнаковая категория.

Определение В. В. Виноградова рассчитано на филологов. Чтобы передать его школьникам, нужна перефразировка. Методически целесообразной оказалась такая редакция: глагол совершенного вида нужен тогда, когда действие нельзя продолжить.

Такое определение хорошо тем, что оно допускает наглядную демонстрацию. В одном из учебников для национальных педучилищ дано такое разъяснение: ученик поймет, что такое значение несовершенного вида, если ему ясно показать, чему соответствует это значение в его жизненном опыте. Можно дать такое задание ученику: у него в руках графин, он выливает из него воду в таз. Учитель приговаривает: Выливай... Выливай... Настанет момент, когда ученик скажет: Нечего выливать! Вода вся! Значит, он вылил (а не только выливал) воду.

Другое задание: Разрежай этот лист пополам, разрежай! Ученик: Всё! Вот две половины листа... Значит, ученик разрезал лист, а не только разрезал.

Придумайте другие упражнения, когда ученик выполняет какое-либо действие по заданию учителя так, что в известный момент оно оказывается исчерпанным, доведенным до конца, так, что его нельзя продолжать. Отметьте, что оно в таком случае обозначается глаголом совершенного вида.

Учебник, как уже сказано, для педучилищ; задания даются будущему педагогу, чтобы он потом перенес их в класс.

Как видно, определение В. В. Виноградова дает возможность наглядной демонстрации значения совершенного вида. И в этом его большое достоинство. Однако вполне возможны сбои.

Вот как описывает эти трудности ученый-методист, разработавший и с успехом применявший данную методику. «Учительница попросила назвать глаголы совершенного вида. „Открыть“, — сказала Саяна. „Неправильно“, — возразил Кара-оол. Мальчик подошел к двери, приоткрыл ее и сказал: „Я открыл дверь, но действие можно продолжать. Значит, открыл — глагол несовершенного вида“». Дальше дается разъяснение: «Достижение предела может означать физическую невозможность продолжать действие (*вылил всю воду*) или дальнейшую нецелесообразность продолжать действие (*выпил полстакана воды*). В последнем случае действие не достигло физического предела: вода в стакане еще есть, можно продолжать пить. Но я не хочу больше пить, дальнейшее действие бессмысленно, достигнут его внутренний предел, и оно прекращено. Именно эти знания о внутреннем пределе действия помогли бы учителю понять ошибку Кара-оола» [14].

Таким образом, для уяснения, что значит категория совершенного вида, надо ввести понятия внешнего и внутреннего предела.

Необходимо и другое разъяснение. Мы уже говорили, что определение В. В. Виноградова, взятое в качестве основы всей работы, допускает наглядную демонстрацию. Но, оказывается, это не всегда так. Один и тот же рисунок — например, изображение человека, который плотно закрыл шторы, — может соответствовать и глаголу *закрыл* (сов. вида) и глаголу *закрывать* (несов. вида). Это зависит от намерения действующего лица: если задумано задвинуть шторы на всех окнах в комнате, то, когда действие еще не охватило все объекты, годится глагол несов. вида (хотя бы по отношению к отдельным объектам дело и было завершено): *закрывал окна*. Только после охвата всех объектов можно использовать глагол сов. вида: *закрыл окна*. (Все-таки и в этом случае возможна наглядная интерпретация; надо только изобразить ряд окон.)

Итак, надо соотносить действие с намерением действовать. Тогда проясняется вид глагола.

Особого внимания требуют глаголы, которые исключают намерение. Может показаться, что они даже противоречат определению В. В. Виноградова. Это глаголы, связанные с природными явлениями: *Туча надвинулась на город; Дождь усилился; Огонь приблизился к складу*. Во всех таких случаях вряд ли можно сказать, что действие исчерпало свои возможности и не имеет сил продолжаться. Огонь, весьма вероятно, подойдет вплотную к складу и охватит его.

Здесь нельзя обойтись без объяснения активной роли языка в изображении мира; надо сказать ученикам, что язык есть определенный взгляд на мир, особая интерпретация явлений жизни. Во всех указанных случаях действие изображено как исчерпанное. *Дождь усилился* — прибавил в силе; явление природы изображено как ступенчатое, и новая ступень преодолена. Разумеется, не с таких случаев надо начинать изучение видов; а когда суть этой грамматической категории усвоена на более центральных примерах, то и данные случаи *Дождь усилился* не вызовут сомнений.

Путь был такой: мы избрали методически наиболее выигрышную точку зрения на вид, она подсказала нам пути наглядной демонстрации этого грамматического понятия, наметила этапы его изучения, последовательность ввода материала. Лингвистика помогла методике преподавания русского языка. Но и сама методика оказала помощь языкознанию: проблема внутреннего и внешнего предела, разграничение действий однообъектных и многообъектных, проблемы соотношения действия с намерением действующего лица, а также вопросы грамматически-активного изображения и преобразования мира долгое время были на окраине теоретических построений аспектологов, большей частью вообще вне поля их зрения. Методика советует обратить внимание на эти стороны видовой корреляции.

Педагогическая практика, серьезно используя помощь лингвистики, сама уточняет проблему и выдвигает новые ее аспекты.

Если окинуть взором более далекие времена, то мы не найдем случаев, когда методика преподавания русского языка взяла бы лингвистическую теорию, детализировала бы ее, разбила на отдельные случаи, на ее качественно различные применения, и таким путем позволила бы обогатить лингвистическую теорию.

Есть случаи, когда методика более решительно строит свои взаимоотношения с лингвистикой: требует отказа от случайно укоренившейся узости взгляда, призывает снять шоры, ограничивающие кругозор.

Надо научить человека, желающего примкнуть к русскому речевому миру, строить предложения. Этому могла бы помочь теория трансформации предложений. Ведь недостаточно обучить новичка в русском языке создавать предложения «по образцу». В реальном разговоре только в редких случаях на

реплику надо отвечать репликой такого же строения. Обычно ее нужно переделывать, иногда значительно, а то и вовсе заменить совсем иной репликой, другого синтаксического строения и лексического состава. В этих случаях могла бы помочь теория трансформации, но, к сожалению, редко помогает. Преподаватели и хотели бы ее применить, но что-то мешает. Возможно, эта теория не доведена до такого уровня, когда она могла бы стать полезной педагогике.

Одна синтаксическая конструкция считается трансформацией другой, если: во-первых, в состав обеих конструкций входят те же лексические единицы; во-вторых, лексемы, грамматически связанные в одном трансформе, связаны в другом; в-третьих, оба трансформы относятся к одной и той же внереферентивной ситуации.

Это третье условие очень сужает область применения трансформационных правил. В соответствии с этим условием мы, трансформируя одно предложение в другое, должны оставаться в пределах той же ситуации, не развивая ее понимание, не следуя за ее преобразованием. Мы многократно обозначаем одно и то же. Но если мы хотим формировать естественную речь, мы должны учить тому, как изменять предложение, чтобы оно следовало за меняющейся ситуацией разговора.

Избавиться от узости в понимании трансформационных законов языка, видимо, нелегко. (Пока можно указать лишь на работы В. С. Храковского, преодолевающие эту узость [15].) Правда, эти узкие границы фактически (ненаароком, исподволь) постоянно нарушаются — например, отрицательная конструкция постоянно рассматривается как трансформ положительной, хотя очевидно, что ситуации, отраженные в предложениях *Николай приехал* и *Николай не приехал*, совершенно различны. Нужна теория, которая давала бы возможность по определенным законам (усвоение которых может идти и сознательным, и интуитивным путем) выстраивать ряды синтаксических преобразований, настолько динамичных, что они могли бы поспевать за переменчивым смыслом разговора.

Сейчас положение в теории синтаксической трансформации напоминает состояние фонологии до создания московской теории фонем. В один трансформационный ряд звуков (в одну фонему) объединялись только такие единицы, которые имеют физическое сходство, составляют один акустико-артикуляционный тип. Казалось недостаточным, что звуки находятся в определенных языковых отношениях: позиционных чередованиях; они должны были еще достать справку, что и помимо этих отношений являются близкими родственниками. Так и сейчас в теории трансформации: кажется недостаточным, что синтаксические единицы вступают в определенные языковые отношения (связаны законами преобразования); пусть они еще докажут, что отно-

ся к одной реальной ситуации. (Кстати: самой системы таких доказательств как раз и не существует, все делается «на глазок».) Искусственность этого ограничения мешает использованию трансформационных закономерностей в преподавании. Методика дает заказ лингвистам: взглянуть на дело с необходимой широтой.

Это необходимо — пожалуй, прежде всего — самой лингвистике. Отход от конкретной данности, от речевой наглядности к определенным ступеням обобщения, более или менее высоким, всегда труден. Методика преподавания подталкивает: смелей!

Если снять все ограничения, искусственно сужающие применение трансформационных законов языка, то различия между трансформами могут состоять: в преобразовании грамматических форм отдельных слов, в прибавке слов в определенных грамматических формах, в изъятии слов, в словообразовательном преобразовании лексем, в замене лексем по определенным семантическим связям.

Если осуществить трансформации во всем их внутренне обусловленном диапазоне, то, например, такие две реплики надо признать принадлежащими к одному трансформационному ряду: — *Какие вы купили хорошие апельсины! — Да это грейпфрут, а не апельсины!*

На вопросительную реплику определенного строения возможен ответ-поправка — другая реплика, которая по строению является преобразованием первой. Ситуация, отраженная в первой и второй репликах, может быть различна (купить одно или купить нечто другое — не одна ситуация). Единство реплик, составляющих трансформационный ряд, определяется не единством ситуации, а тем, что реплику одного строения всегда можно преобразовать в реплику другого строения. «Всегда» — т. е. существуют правила преобразования, общие для всех исходных реплик такого типа.

Больное место в методике преподавания русского языка нерусским — обучение живому диалогу, той беглой речи, когда каждая реплика вызывает непосредственный, мгновенный отклик у других участников разговора. Нет хороших методов, которые учили бы такому диалогу. Волю учащихся на занятиях сковывает отсутствие естественной потребности говорить, сознание бесцельности обмена репликами, незаинтересованность в развитии разговора, в его саморазвертывании. Пожалуй, здесь может быть полезным перенос в педагогику некоторых приемов и способов мышления, разработанных лингвистикой. В первую очередь, поможет позиционное мышление, освоенное современным языкознанием.

Начнем с примера, который подведет нас к сути дела. В национальном педвузе на практических занятиях по русскому языку идет отработка слоگو-

вой модели слова. Студенты, один за другим, вступая в «полилог», восклицают: — *Рьдагáс!* — *Сутурáм!* — *Мьгабúт!* — и т. д. Как видно, они обмениваются звуковыми сочетаниями, построенными по законам русского слова. Если средняя национальная школа сейчас мирится с произношением [галавá], [садавóт], [нахажú] и под., когда безударные гласные произносятся с одинаковой силой — вместо [гьлавá], [сьдавóт], [нххажú], то несомненно, что студенты, будущие учителя русского языка, должны преодолеть такое нежелательное отклонение от орфоэпии. Этому и посвящено занятие: идет отработка произношения слов «по формуле Потемни». Почему слова искусственные? Потому что надо довести до механического навыка произношение любых сочетаний в тактах данного типа.

Одна реплика следует за другой, длительных заминок нет; студенты разнообразят речь, придавая репликам-«словам» разные интонации. Создается впечатление настоящего разговора.

Итак, перед нами чучело (робот, модель, подобие) разговора. Посмотрим, по каким правилам этот робот создается.

1. Все реплики-«слова» построены по одному плану: они — трехсложные, с ударением на последнем слоге; каждый слог состоит из сочетания твердого согласного с гласным. Последний слог — закрытый.

2. Набор гласных в каждом слоге зависит от позиции: ударной, предударной и предпредударной. Строить слова надо и по законам синтагматики — сочетать только «разрешенные» звуки», и по законам парадигматики, например, в предударном слоге гласный [а] заменяется на [ъ].

3. Каждая реплика начинается с того же согласного, который замыкал предшествующую реплику. Последнее условие вводится затем, чтобы реплики не заготавливались заранее, «про запас», а каждая возникала как непосредственный отклик на предыдущую.

Занятие с этими «словами» обычно проходит живо, оно нравится студентам — видно, потому, что включает элементы игры. Выигрывает тот, кто делает правильный выбор, т. е. тот, кто преодолевает акцент (произношение [галавá]), кто соразмеряет степень редукции с нормой.

Нельзя ли на тех же основаниях построить настоящий диалог или полилог? Чтобы реплика свободно и просто вызвала другую реплику и течение разговора шло так же естественно, как идет самодвижение игры? Познакомим читателя с опытом некоторых учителей-филологов, выпускников филфака Московского университета. Опыт этот нельзя рассматривать как законченную, апробированную рекомендацию; он, скорее, намекает на некоторые возможности преподавания.

Представим упрощенную запись урока по развитию речи. Урок шел не всегда гладко: ученики неверно выбирали слово, их поправляли, были запин-



ки в речи, были неудачные ответы. (Они устранены из записи.) Это неизбежно и обычно. Важен принцип построения непрерывно обновляющейся речи в условиях отсутствия внешнего стимула для нее: она имеет внутренний игровой стимул, как всякая игра. Вот отрывок из записи урока:

Учитель: — Петя, тебе какое животное больше всего нравится?

Петя: — Кенгуру.

— А что это за животное?

— Это животное пестрое, черно-белое. С рогами. Говорит: Муу! Молоко дает — пей — не хочу. Хвост длинный, с кисточкой на конце. Кенгуру им машет, мух, слепней отгоняет. Шмяк — и нет мухи. Вот какое животное. И высоко скачет.

— Разве это кенгуру?

— Конечно! Вот и Валя Петухов подтвердит!

Валя: — Это корова, а не кенгуру. Но только Петя ошибся: корова не скачет. Настоящий кенгуру скачет, а корова пасется.

Учитель: — А ты, Валя, какое животное считаешь хорошим?

— Мышку.

— Мышку? Что же это за зверь?

— Замечательный зверь! Ростом, если на задние ноги встанет, то как бы не был выше человека. Шерсть бурая, густая. Зубы — аршин. Ревет так, что испугаешься. Мед любит, из-за меда постоянно с зубами мается. И сильный, даже волки эту мышку боятся. А зимой заберется в берлогу, спит — лапу сосет. Тогда ее и не увидишь!

— Разве это мышка?

— А как же! Нина, подтверди!

— Ты немного заврался. Не мышка, а мишка. Медведь. А зубы в аршин... Нет, у медведя зубы большие, но не в аршин.

— Я? Обезьяну. Толстая, неповоротливая. Все время в воде мокнет. А глаза — бинокли, чтобы, лежа в воде, можно было их выставить и смотреть. Морковку любит, брюкву, всякую зелень. Проголодается — сейчас же пальцем зовет зрителя: где еда? И ей несут.

— Ну и ну! Какая обезьяна странная! Уж обезьяна ли?

— Это твердо. Настя, ведь обезьяна?

Настя: — Это попросту бегемот, а научно говоря — гиппопотам. И говорить он не умеет...

Чем этот урок похож на ранее описанные занятия с гласными? Там по определенным законам из звуков составлялись «слова», здесь — по своим законам из слов — определенные характеристики. Там в «словах» была пред-

ставлена определенная последовательность, синтагматическая закономерность. Здесь тоже есть своя синтагматика, но организованы другие элементы, не звуки: слова, элементы характеристики. Каждый ученик: 1) «отгадывает» предыдущего зверя; 2) исправляет неверные детали в его описании; 3) называет обманно своего зверя; 4) перечисляет его признаки — часть их дает в искажении; 5) в ответ на реплику учителя подтверждает название зверя.

Там звук (гласный) был парадигматически преобразован в зависимости от позиции. Здесь своя парадигматика, свои замещения. Ответ первого и второго ученика можно уподобить двусложному слову (так же, как ответ второго и третьего и т. д.). Первый слог — слабая позиция. Начало ее обозначено словами учителя: «Ты какого зверя любишь?» Характеристика зверя в ней частично преобразована; эта позиция — слабая, требует деформации материала. Второй «слог» открывается словами, призывающими следующего ученика: «Вот Нина подтвердит»; начало сильной позиции. Характеристика в ней приводится к основному виду, независимому, свободному от искажений, внесенных предыдущей позицией.

Это игровая парадигматика. Ее соотношение со строго нормативной синтагматикой и создает возможность непрерывного живого диалога, развертывающегося «из самого себя», без внешнего подталкивания. Сама необходимость исправить характеристику, привести ее к сильной позиции, восстановить ее соответствие независимой норме является двигателем диалога. Так могут отрабатываться навыки словесной характеристики, описания, повествования и любые иные коммуникативно важные цели.

Высказывалась мысль, что искаженные детали могут дезориентировать детей. Нет: дети с азартом их обнаруживают и исправляют.

Методика, здесь описанная, имеет, на наш взгляд, принципиальное значение, хотя бы она и была во многих отношениях несовершенной. В отличие от всех ранее рассмотренных случаев взаимодействия языкознания и методики преподавания языка, здесь педагогика берет из лингвистики не те или иные конкретные знания, не тот или иной частный подход к фактам языка, а важный принцип мышления: позиционное рассмотрение фактов; парадигматические позиционные преобразования используются в специфически преподавательских целях. Это — максимально плодотворное сближение наук. Недаром учительница, автор описанного урока, — квалифицированный лингвист и профессиональный (хотя и начинающий) педагог.

Преподавание русского языка нерусским часто более чутко отзывается на лингвистическую современность, чем русская школьная методика. Например, лингвистические работы, посвященные синтаксическому целому, прошли мимо практики русскоязычной школы. Национальная школа активно отклик-

нулась на них. Однообразный рассказ, где в каждом предложении единый, неподвижный, омертвелый порядок слов, не часто иссушает речь учеников, чей родной язык русский: повседневное пребывание в области живой речи ограждает детей от такого недостатка. А в национальной нерусской школе этот недостаток обычен. Поэтому методика русского языка в национальной школе уже имеет опыт использования теории синтаксических целых как единиц языка и речи в педагогических целях [16].

Другой пример: фонологическая теория. Методические основы ее применения в преподавании наиболее активно разрабатываются именно для национальной (нерусской) школы [17].

Методика для русскоязычной школы гораздо более консервативна.

Видимо, в наше время взаимоотношения лингвистики и методики преподавания языка изменяются, становятся более тесными и динамическими.

Фактов, говорящих об изменениях, пока мало (как видно из статьи; вряд ли приведенный ряд можно значительно увеличить). О новых тенденциях свидетельствуют не столько реальные успехи, сколько необходимость в них. И все же есть надежда, что мы вступили в новый период.

Это время, когда методика преподавания выявляет неполноту определенной теории и требует ее восполнения.

Когда педагогическая наука участвует в лингвистической дискуссии, голосуя за определенные теории и поддерживая их.

Когда требования школы выделяют наиболее плодотворные лингвистические идеи и помогают их дальнейшей разработке.

Когда методика нетерпеливо ждет преодоления суженности лингвистических поисков и отказа от научных шор.

Когда новые открытия возникают на перекрестке двух наук, представляя одновременный вклад в каждую из них.

Когда принципы лингвистического мышления используются в самых практических делах педагогики.

Впрочем, может быть, эти черты сближения двух наук пока еще только намечаются и составляют скорее желаемое, чем реальность; полное проявление этого союза принадлежит будущему.

## Литература

1. О реформе общеобразовательной и профессиональной школы: Сб. документов и материалов. М., 1984. С. 45.
2. Щерба Л. В. Фонетика французского языка. М., 1963. С. 13.
3. Горцевский А. А. Фонетические трудности при обучении эвенков (тунгусов) русскому языку. Л., 1939. С. 52.

4. *Бернштейн С. И.* Вопросы обучения произношению // Вопросы фонетики и обучения произношению. М., 1975. С. 19—20.
5. *Реформатский А. А.* Фонология на службе обучения произношению неродного языка // РЯНШ. 1961. № 6. С. 88.
6. *Реформатский А. А.* О некоторых трудностях обучения произношению // Русский язык для студентов-иностранцев / Под ред. А. А. Реформатского. М., 1961. С. 8.
7. *Брызгунова Е. А.* Звуки и интонация русской речи. М., 1969.
8. *Брызгунова Е. А.* Основные типы интонационных конструкций и их употребление в русском языке // Русский язык за рубежом. 1973. № 1, 2.
9. *Брызгунова Е. А.* Фонологический метод в интонации // Интонация. Киев, 1968.
10. *Якобсон Р. О.* Морфологические наблюдения над славянским склонением // *Якобсон Р. О.* Избр. работы. М., 1985.
11. *Гольдин З. Д., Гальперин П. Я.* Усвоение склонений русского языка иностранцами // Актуальные проблемы психологии обучения языку. М., 1970.
12. *Рябова Т. В.* О применении концепции управления усвоением в обучении русскому языку иностранцев // Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. М., 1977.
13. *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1947.
14. *Селиверстова Г. М.* Система работы и упражнения по теме «Виды глагола» в 4—5 классах тувинской школы. Кызыл, 1984.
15. *Храковский В. С.* Очерки по общему и арабскому синтаксису. М., 1973. С. 13.
16. *Сабаткоев Р. Б.* Методика развития связной речи в осетинской школе. Орджоникидзе, 1979.
17. *Васильев А. И.* Лингвистические основы обучения русскому произношению в киргизской школе. Ч. I, II. Фрунзе, 1974, 1978.

## Усложнить, чтобы упростить\*

Сейчас в некоторых учебниках введены темы, которых раньше не было. Учителя недовольны: зачем? И без того есть отстающие ученики, а тут еще новые усложнения! Понять их можно. Но, оказывается, другие учителя согласны с этими усложнениями, принимают их и вводят в свою педагогическую практику. И их тоже надо понять. Я попытаюсь рассказать, почему некоторые усложнения в преподавании русского языка могут вызвать сочувствие учителей.

I. Новой темой в преподавании русского языка является фонология, учение о фонеме. И принята эта тема пока немногими учителями. В основе своей фонология проста. Звуки служат для различения слов. Это назначение звуки полноценно могут выполнять тогда, когда они встречаются в одной позиции. Сравнение слов *дам* — *дом* показывает, что О и А различают слова. А если два звука всегда встречаются только в разных позициях? Если позиция требует, чтобы звук приспособился, применился именно к ней, а в другой позиции он заменяется другим, приспособленным к этой другой позиции? Тогда эти разные звуки в языке надо признать одной и той же единицей; как различители они составляют тождество, одну фонему. Вот вкратце суть фонологии.

В разных позициях фонема, словоразличитель, может сильно изменяться, быть представлена разными звуками. В некоторых позициях несколько фонем, словоразличителей, могут совпадать, нейтрализоваться (*пруды* — *пруд* и *пруты*, *прутья* — *прут*).

Итак, две фонемы, два различителя, предстают в разных связях с другими единицами, и это обуславливает их роль, их работу в языке.

Есть мир отношений в языке, с которым надо познакомить учеников. Это увлекательный мир. Не только дети, но и многие взрослые мыслят только вещно, отношения между вещами у них сползли далеко на обочину мысли.

Меня учили: крыша — это крыша.  
Груб табурет. Убит подошвой пол.

---

\* Лингвистика и школа: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. Л. Б. Парубченко. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. С. 5—10.

Ты должен видеть, понимать и слышать,  
На мир облокотившись, как на стол.

В этом стихотворении Э. Г. Багрицкий говорит о детстве: ему был открыт только мир вещей — в его скудости, замкнутости, неполноте... Багрицкий изображает свой уход из этого мира, узкого и неполноценного. Надо открыть ученику иной мир мысли — мир отношений.

Мальчика ведет по улице его мать. Вдруг мальчик приснул со смеху и хохочет-хохочет: «Смотри, мама, этот толстый глупый мальчуган называет мамой совсем другую тетю!». Пройдет время, и мальчик поймет, что слово *мама* называет не одну только женщину, ту, которая ведет его по улице, оно называет отношение. Но многие другие, более сложные отношения могут остаться недоступными ему, если в школе не научат его мыслить отношениями. Он будет любить, ненавидеть, поощрять, преследовать различных людей, потому что они сходны (несходны) с какими-то застывшими в его мозгу примитивными картинками.

Разумеется, чтобы фонология хорошо уложилась в голове ученика, нужна изобретательность учителя. Сразу это трудно укладывается в голове: в одном слове А, в другом И — ан, оказывается, это одно и то же — фонема ⟨А⟩! Пример: *пять* — *пяти*, *тянет* — *тянуть*, *часть* — *частей*... Одна и та же фонема ⟨А⟩ в разных позициях! Тем-то и хороша фонология, что она учит за вещно различными данными (разные звуки) видеть тождество, единство, на основании отношений между этими данностями — видеть одну и ту же фонему!

Здесь, снова скажу, велика роль учителя. Некоторые учителя используют такой рассказ-сказку в помощь ученикам. В одном селении жил зловоредный волшебник. Как соберутся сельчане на праздник, волшебник тут как тут. И начинает исподтишка пакостить: одному посадит нарыв на щеку, другому ноги сведет, третьему нос удлинит... Бросятся его выводить, а его и нет нигде. Но был один заметливый мальчик. Он заметил: когда волшебник безобразничает, нет веника за печкой; а как он исчезает — незаметно появляется за печкой веник. Мальчик понял: волшебник и веник — это одно и то же, это одно бытие. Бросил веник в печку, сгорел веник. Перестал являться волшебник.

Мальчик мыслил фонологически: в одном промежутке времени — волшебник, в другом промежутке времени (в другой позиции) — веник. Они позиционно распределены. Притом — всегда; в одной позиции и веник, и волшебник не могут быть, не встречаются. Значит, это тождество. Учитель расскажет сказку, дети ее обсудят, в чем сходство с чередованием в словах *час* — *часы*... А затем учитель, может быть, попросит детей придумать свои

сказки «про чередование». И дети легко откликнутся на его призыв. Если учитель сумел толково все объяснить.

У редкого учителя уроки правописания вызывают восторг учеников. Ведь правила правописания — это такая куча! Правописание безударных гласных, непроизносимых согласных, окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжений, правописание О и Е после шипящих, правописание падежных окончаний, согласных в конце слова, правописание Ъ между согласными, правописание разделительных Ъ и Ь, правописание приставок... и еще, и еще, и еще... Куча! Все эти орфограммы разные и неинтересные. Тоска — эта орфография.

И вдруг фонология открывает, что в нашей орфографии есть единый принцип, и принцип мудрый... Да, у нее масса недостатков, и все-таки она хорошая! Она в основных своих правилах построена на фонемном принципе: обозначает фонемы и не обозначает их позиционных изменений. Возведение фонемы к сильной позиции — вот общий принцип, пронизывающий всю нашу орфографию. Ребенку это знать важно.

Рассудите сами: что делать интереснее — учить кипу случайно сбежавшихся правил, плод крючкотворства чиновников, или учить разумно построенную систему письма? Какой подход может вызвать энтузиазм школьника — первый или второй?

Вот рассказ очевидца. После школы ученики едут в трамвае. Одна девочка говорит: — Почему же в слове *мама* последняя фонема в слабой позиции? Слабая позиция та, где фонемы не различаются, поэтому может быть ошибка. Но ведь *мамо* никто не напишет! Мальчик разъясняет: — А все равно она укороченная и не такая ясная!

Какие молодцы! Одна обратила внимание на сигнификативную функцию фонемы, а другой — на перцептивную. А. А. Реформатский, считавший необходимым различать эти две функции, был бы рад.

Что же дает школе изучение фонетики как позиционной системы, то есть как фонологически организованного целого?

Во-первых, ученик получает полное представление о красоте русской звуковой системы. Эта красота не только в том, что звучание нашего языка гармонично, что язык наш музыкален и богат звуками и сочетаниями звуков. Красота его и в том, что он являет закономерную стройность, кристальную ясность системы. Целые классы звуков вступают в строгие, разумно-последовательные отношения. У хорошего учителя эта разумная стройность раскрывается как особая красота языка.

Во-вторых, ученику дается огромный материал для размышления, для оттачивания своей мысли. Он вступает в мир интеллектуальной деятельности, в мир мысли — и материал для размышления (звуки речи), — легко воспро-

изводимый, хорошо наблюдаемый, доступный для многократной проверки. Ученик изучает не мир вещей, а мир отношений.

В-третьих, уроки по этой парадоксальной и удивительной фонологии, если они проводятся серьезным преподавателем, дают радость ученикам. Дети любят наблюдать, замечать, из наблюдений делать выводы, любят искать и находить закономерности. Отсюда — любовь, часто азартная, к занятиям по фонетике и фонологии.

В-четвертых, занятия фонологией делают орфографические умения сознательными, разумно усвоенными, убеждают ученика в ценности русской системы письма; они обычно обеспечивают высокую грамотность.

В-пятых — выигрыш для учителя: видя, что его работа дает хороший результат, он ходит довольный, уверенный в ценности своей работы.

Итак, фонология в школе, конечно, требует особых усилий учителя, но она себя оправдывает и, в конце концов, облегчает учителю его работу.

**II.** Вопросы орфоэпии то ли входят в область преподавания русского языка, то ли не входят. Как-то для серьезных занятий правильным произношением всегда не хватает времени. Когда я был учителем в средней школе, на один аспект орфоэпии у меня времени хватило. На произношение мягких согласных перед мягкими. Часто именно эта тема и проходит мимо внимания учителя, а между тем она очень важна. Подтачивается временем чудесная гармония русского произношения, когда мягкость одного согласного разливается на предшествующий, создавая единое музыкальное целое. Даже закон, недавно еще незыблемый: перед мягким зубным зубной может быть только мягким — даже он теряет свою силу и обязательность... Это — порча музыкальной основы русского языка.

Обычно учитель в области орфоэпии ограничивается скромным набором: он исправляет неправильные ударения (*звóнит*), буквенное произношение (*конечно*), искаженный звуковой состав слов (*куринария* вместо *кулинария*). Все это, конечно, важные и нужные заботы. Но еще важнее те орфоэпические занятия, которые связаны с общими законами русского произношения и имеют давнюю традицию, идущую от Пушкина, Лермонтова, от всей классической поэзии.

Я поступал так. На каждом уроке в 8-м, 9-м, 10-м классе я оставлял несколько минут для орфоэпического тренажа. На доске записано какое-нибудь из сочетаний мягкого зубного с мягким зубным, например:

[з'] + [н'].

Ниже записаны на доске слова: *сквозняк, разница, возня, разнес, разнесла, в розницу, Вознесенск, разнять...* Ученики с этими словами придумывают предложения. Вслух их читают. С мягкими [з'н']!



На следующем уроке — другое звуко сочетание:

[н'] + [з'].

И записаны такие слова: *вензель, гортензия, претензия, пронзить, пронзят, пронзенный, трензель* (это слово учитель объясняет), *пронзительно* и т. д. Здесь возможны всякие культурно-исторические замечания, например, что в имени *Ганзель* из немецкой сказки братьев Гримм произносится [нз] — твердое сочетание согласных. Всего таких сочетаний, с мягкими зубными, получится около десяти (сочетание [с'т'] давать не стоит: ассимилятивная мягкость здесь прочна — *кость, трость, гости, пустить, стих* — и не нуждается в орфоэпической защите). Затем учитель один урок посвящает зубным согласным: рассказывает об их артикуляции, учит наблюдать мускульным чувством, как язык прикасается к верхним зубам... И раздаётся радостный крик детей: они догадались, что это не множество сочетаний, что это одно сочетание:

мягкий зубной + мягкий зубной!

И заучивать их не надо: они же научились узнавать, какой согласный зубной.

Далее таким же путем изучается и усваивается сочетание мягкий зубной + мягкий губной, с ассимилятивной мягкостью: *разве, зверь, в избе* и т. д.

Знание на первый взгляд лишнее, усложняющее орфоэпический тренаж — изучение артикуляции зубных и губных, но на самом деле это усложнение упрощает дело.

**III.** Когда группа авторов работала над учебником для 7-го класса, возник спор: вводить ли тему «Ступени видового словообразования у глаголов»? Одни говорили: в национальной школе, не русской, она нужна: учит детей по строению глагола определять вид его. В русской школе эта тема не нужна, потому что дети приходят в школу уже умея определять вид глагола.

Ступени видового словообразования у глаголов, напомним, — это вот что. Огромное большинство непроемных глаголов принадлежит к несовершенному виду, от этих глаголов образуются с помощью приставок глаголы совершенного вида, а от этих глаголов с помощью суффиксов образуются глаголы несовершенного вида; наконец, от некоторых из таких образуются, с помощью другой приставки, глаголы совершенного вида. Получаются ступени: нулевая — непроемные глаголы и три последовательные производные. На каждой ступени меняется вид. Дети, конечно, знают эти глаголы и умеют ими пользоваться в речи. Но мимо их внимания проходит слаженность языкового механизма, его безусловно регулярная ра-

бота, безотказность его действия; сотни сотен глаголов подчиняются таким закономерностям:

*лепить — вылепить — вылепливать — навывлепливали тут этих снежных баб!;*

*пилить — распилить — распиливать — пораспиливали все бревна;*

*коптить — закоптить — закапчивать — позакапчивали все окорока...*

Везде эта строгая закономерность: несовершенный вид — поворот на полкруга, и он сменяется совершенным (действует приставка) — поворот на полкруга, и он сменяется несовершенным (действует суффикс) — поворот еще на полкруга, и он снова сменяется совершенным (действует другая приставка).

Если глаголы нулевой и первой ступени образуют видовую пару (*писать — написать*), то дальнейший ход по ступеням видового словообразования пресекается, и эта закономерность разумна, и язык снова предстает в глазах школьников мудрецом. Действительно, два полукруга составляют круг, и значение глагола на второй ступени возвратится к нулевой. Так и происходит в случаях, когда круг в виде исключения замыкается: *читать — прочитатать — прочитывать*; *Он читал (= прочитывал) по две книги в день*. Язык не любит лишней грамматической синонимии.

Но подлинными спасителями оказываются эти ступени, когда внимание привлечено к глаголам направленного и ненаправленного движения. У всех этих глаголов: *лететь — летать, идти — ходить, ползти — ползать, плыть — плавать* и т. д. — в связи с образованием видов и их использованием рождаются такие трудности, что не только ученику, но и учителю от них приходится солоно. Я, говоря прямо, от этих глаголов направленного и ненаправленного движения много вытерпел. Они могут и опытного учителя поставить в тупик. Чтобы разобраться, здесь необходимы ступени видового словообразования.

Что творится, например, с глаголом *пролетать*? В предложении *Каждое утро над нашим городом пролетает самолет* глагол *пролетать* несовершенного вида. *С таким небольшим запасом бензина наш самолет пролетает недолго*. Здесь глагол *пролетать* совершенного вида! Что за хамелеон? Ведь это не двувидовой глагол. Да; это два разных глагола, омонимы. Одна лесенка: *лететь — пролететь — пролетать*. Последний глагол занимает вторую ступеньку, он, как и должно быть, несовершенного вида; начало цепочки — *лететь*; все глаголы в этой цепочке-лесенке обозначают направленное движение. Другая цепь: *летать — пролетать*. Приставочный глагол занимает первую ступеньку, вид у него по общему закону совершенный; начало цепочки — *летать*; все глаголы в этой цепочке обозначают ненаправленное движение.

Нет, не разберешься во всем этом, если не посвятишь урок теме «Ступени видового словообразования глаголов».

Все это говорит — и нам с вами, и ученику, — что наш язык устроен разумно. И он достоин уважения. Так-то! Ученика убедить в этом — хорошее дело.

Бывает, значит, так: усложнишь дело — и в результате оно станет более простым.

## Два анализа? Об изучении состава слова в школе\*

Сейчас многие специалисты по теории словообразования (и вслед за ними методисты) различают словообразовательный анализ и анализ по составу слова, морфемный. Этому различию хотят придать принципиальное значение.

Словообразовательный анализ — поиск такой цепочки слов, в которой каждое последующее слово выводится из предыдущего.

Но, оказывается, есть и другой анализ: просто разбивка слова на части, морфемы. Например, дано слово *переподготовка*. Мы черточками отделим приставку, корень и т. д.: *пере-под-готов-к-а*.

Методисты, которые подхватили эту идею, говорят: ученик должен владеть и тем и другим анализом.

Но само мнение о двух видах анализа слова совершенно ошибочно. Понятно, на каких основаниях проводится словообразовательный анализ. Это — требование строгой осмысленности работы, последовательная синхроничность анализа, выделение морфем как значимых (да!) частей слова, и проводится эта работа путем сопоставления слов: более сложного по составу (производного) с менее сложным (производящим).

При этом необходимо проверить, действительно ли слова, «похожие» друг на друга, словообразовательно соотносятся. Если соотносятся, то производное можно объяснить через производящее («критерий Винокура»).

Каковы же основания морфемного анализа? Какова методика? Она неизвестна. Надо ставить черточки, но ведь их можно ставить по-разному.

Может быть, достаточно такое основание: в слове *переподготовка* выделяем приставку *пере-*, потому что она есть и в других словах; приставку *-под-* на тех же основаниях и по той же причине корень *-готов-* и суффикс *-к-*. Иначе говоря: критерий выделения — повторность морфем в других словах.

Плохой критерий. Пользуясь им, можно слово *поясница* разделить так: *по-ясн-иц-а* (ср. приставку *по-*, корень *-ясн-*, суффикс *-иц-* в других словах). Получается бессмысленное дробление слова на куски, которое ничему нау-

---

\* Русский и родные языки в школах народов РСФСР. Вып. 5. Л.: Просвещение, 1976. С. 105—112.

чить школьника не может. *Перевод, переводить, переводчик, перемежаться, перемычка, перепел, перепелица, перечень*. Везде есть начальная часть *пере-*. Хочется отделить ее при разборе черточкой. Помешать этому может только сопоставление слов. *Переводить* не сопоставимо с *водить, перемычка* — не может сравниваться с *мычка* (нет *мычки*). Следовательно, прежде чем поставить черточки, надо данное слово сопоставить с другими. То есть — сделать словообразовательный разбор слова. Например, такой:

	выделяется:
<i>переподготовк(а)</i>	-а
<i>переподготовк(и)</i>	-к-
<i>переподготови(ть)(ся)</i>	пере-
<i>подготови(ть)(ся)</i>	-под-
<i>готови(ть)(ся)</i>	-и-
<i>готов(ый)</i>	-готов-

Последним выделяем корень *-готов-*. После проведенной работы можно результат представить в таком виде: *пере-под-готов-к-а* (черточками все разделили).

Значит, результат словообразовательного анализа может быть оформлен по-разному, но работа, стоящая за этим результатом, одна: сопоставление слов производных и производящих.

Конечно, есть очень прозрачные по строению слова — та же *переподготовка*, такие ясные, что ученик, уже достаточно владеющий русским языком, может сразу разбить слово на части, — но при этом он должен мыслить сопоставлениями, вспоминать сопоставительные слова. А без сопоставлений он не имеет права заниматься выделением морфем.

У тех, кто требует различения двух анализов, у самих нет ясного представления, как же эти анализы соотносятся один с другим, чем отличаются. Например, читаем такое разъяснение (в одной из книг по словообразованию): «Членение слова на морфемы (то есть морфемный анализ) является первой ступенью словообразовательного анализа, устанавливающего не только значимые части слова как определенной лингвистической единицы, но и внутреннюю расстановку в нем „морфемных сил“».

Итак, разделить слово черточками (или дужками сверху) на морфемы — первая часть дела, начало анализа. От него надо идти ко второй части — словообразовательному анализу, то есть к сопоставлению слов, связывающих в словообразовательный ряд «цепочку» или «лестницу».

А как же быть, если словообразовательный анализ не подтвердит морфемный анализ — ведь мы его произвели до сопоставления слов, неизвестно на чем основываясь?

Впрочем, неясность в разграничении двух анализов царит такая, что здесь же рядом можно прочесть (цитируем эту же работу): «При морфемном анализе правило обязательного учета связей и соотношений производной и производящей основ проявляется в отказе от методики разбора слова по составу, начиная с корня. Слово членится „с конца“, снимается один слой за другим, в порядке, обратном синхронно представленному в языке словообразовательному процессу».

Но это именно то, что надо делать при словообразовательном анализе! Учитывать связь производной и производящей основ, т. е. строить словообразовательную цепь — и, конечно, «в порядке, обратном... словообразовательному процессу»<sup>1</sup>.

Итак, разграничения двух анализов не получается, получается путаница<sup>2</sup>.

Слово о том, что морфемный анализ предшествует словообразовательному, — не случайная и единичная обмолвка. Это — многократно повторяемое кредо морфемного анализа: «Морфемный анализ имеет своей целью установление морфемного состава слова. Это первая ступень анализа словообразовательного, задачами которого уже является определение структуры слова...» И еще раз в другом месте: «... Морфемный анализ слова выступает перед нами как необходимая, но лишь начальная стадия анализа словообразовательного... его первая „ступень“».

Как же выполнить эту первую часть работы — разбить слово на морфемы, не учитывая связей между словами (а именно, словообразовательных связей)? Ведь «правильное членение слова на морфемы практически представляет собой последовательный ряд операций по установлению непосредственно составляющих, последняя из которых приводит к выделению далее нечленимой основы...». Значит, чтобы правильно расчленить слово на морфемы («первая» часть работы), надо сначала провести последовательный ряд операций по установлению непосредственных составляющих, т. е. операций, заключающихся в сопоставлении слов («вторая» часть работы!).

Если сторонники морфемного анализа не смогли сказать, как его производить без обращения к словообразовательному, то есть без построения цепочки слов, то, может быть, попытаться самим найти решение? Попытаемся.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду вот что: в истории языка словообразовательные процессы шли от слова *готовить(ся)* к слову *переподготовка*: вначале был глагол *готовить(ся)*, от него был произведен глагол *подготовить(ся)*, от него — *переподготовить(ся)*, от него — существительное *переподготовка*. Мы же разбираем (при синхронном анализе) «вспять»: от *переподготовки* идем к *готовить(ся)*, *готовый*.

<sup>2</sup> Нет необходимости приводить библиографические ссылки: статей на эту тему много, но ясности в них нет.

Как делить слова на морфемы, не соотнося, не сравнивая слов? Как будто, возможен такой путь (и он — только один): перед нами какое-то слово, например, *законченный*. Примериваем: не подходит ли здесь корень *закон-*? Сравниваем значения слова (словоформы) *законченный* и корня *закон-*<sup>3</sup>: не совпадают ли частично эти значения, нет ли у них чего-нибудь общего, не входит ли значение корня *закон-* в значение взятой словоформы? Ничего общего нет. Значит, здесь нет корня *закон-*.

Производим следующую примерку, нет ли в словоформе *законченный* приставки *за-* и корня *-кон-(-конь-)*, того же, что в словах *конь*, *конный*? Оставим пока приставку в покое, проверим корень. (При такой работе приходится в первую очередь брать за корень, так как его значение хоть в какой-то степени определено, а смысл аффиксов, например, приставок, совсем текуч и многолик.) Проверяем опять: входит ли в значение слова *законченный* то значение, которое связано с корнем в слове *конь*? Нет, не входит.

Берем другой корень: *-кон-* (*игра в два коня*) и т. д. Просмотр значений приведет к выводу, что не годится и этот *кон-*.

Так, перебирая все возможности, набредем и на правильное членение: найдем корень *-конч-* (его варианты *конец*, *конц-*).

Читатель, вероятно, спросит: зачем перебирать все значения, когда сразу напрашивается сопоставление со словом *конец*? Да, напрашивается. И именно со словом. Потому, что мы привыкли сопоставлять слова, в памяти — сознательно или подсознательно — легко выстраивается цепочка *законченный — кончить — конец* (или какой-нибудь ее сокращенный вариант). А нам то нужно не сопоставлять слова. Мы ищем принципы морфемного анализа, который предшествует словообразовательному, то есть сопоставлению слов.

Нужно провести мысленный эксперимент: как бы мы членили слово на морфемы, не выстраивая цепь словесных сопоставлений. Это представить трудно; здесь нужно, по системе Станиславского, перенестись в «предлагаемые обстоятельства», отказаться от привычек и навыков, полностью поставить себя в новые условия.

Условия даны такие: к данному слову, не используя сравнения слов, примерить разные морфемы. Слово для нас сложено из каких-то кусков, которые мы должны опознать, перебирая в памяти набор этих кусков. Решение задачи придет в результате многих проб и ошибок, если, как мы условились, отвлечься от словообразовательного анализа, от сопоставления слов — производных и производящих.

---

<sup>3</sup> Предполагается, что у нас есть (на бумаге или в уме) какой-то словарь корней и вообще морфем, с указанием их значений; как, каким путем составился такой словарь — не будем разбирать.

Ну, хоть и в результате долгих поисков, а все-таки эту работу можно выполнить...

Нет! Даже в результате долгих поисков. Морфемный состав слова не выражает прямо и строго его понятийно-логическое значение. *Незабудка, низкопоклонство, громоотвод* — только наиболее ясные случаи, показывающие, что морфемный состав в известной степени формирует осмысление слова (а не только его послушно выражает)<sup>4</sup>.

Мы сейчас работу строили так: сопоставляли значение морфем со значением слова в целом... А как это целостное значение слова определили? На основании его логически-прямолинейного истолкования? Но это неправильно: слово — не мертвое отражение объекта называния, слово — точка зрения на него, и точка зрения, намеченная именно морфемным составом слова! Мы подбирали морфемы, подходящие к данному словесному значению, а кто нам его дал? Оно должно было проясниться из морфемного состава (а морфемный состав — из сопоставления слов).

Покажем это на примере.

Вот слово *известняк*. Можно ли разбить его на морфемы так: *из-вест-н'-ак*? Мы знаем, что *известняк* — слово, сопоставимое со словом *известь*, и поэтому ответим: нет, нельзя его так членить на морфемы. Но предположим, что мы полностью абстрагировались от такого сопоставления, не помним о нем, не знаем его, не принимаем во внимание (мы производим не словообразовательный, а морфемный разбор!).

Так при этих условиях — годится ли членение *из-вест-н'-ак*? Сопоставим значение морфем *из-*, *-вест-*... с общим значением слова. Видим, что значение этих морфем не входит в общее значение... Стоп! Мы снова сели на своего конька, а, может быть, конька-то и нет? Какое общее значение слова мы имеем в виду? «Известняк — распространенная осадочная горная порода, состоящая из минерала кальцита  $\text{CaCO}_3$ , с примесью глины, песка и др.; широко применяется в металлургии, в строительной, цементной, химической промышленности, в сельском хозяйстве для известкования кислых почв и т. п.» Такое значение слова *известняк*? Это — терминологическое значение. Язык же может иметь на значение этого слова (повседневного, обычного) свой взгляд.

Называя именно этот объект ( $\text{CaCO}_3$ , с примесью... см. выше), язык может выделить в нем черту, признак, качество, каких строго научное описание объекта не включает. Он мог быть назван известняком потому, что всем известен (см. в энциклопедическом определении: распространенный... широко применяется...).

---

<sup>4</sup> Подробнее см. в статье: *Панов М. В.* О слове // Учен. зап. МГПИ. Каф. рус. яз. 1954. Вып. 4.



Тогда это языковое значение отразилось бы в сознании говорящих и они бы истолковывали это слово так: известняк — самая обычная, всем известная порода<sup>5</sup>. (При этом в языке, вероятно, существовали бы и такие названия предметов: *редкостник* — для чего-нибудь редкого; *секретник* — для вещи, которую держат в секрете, не показывают; *повседневник*, *обыденник* и пр.)

Тогда выстраивался бы такой ряд производных и производящих слов: *известняк* — *известный*<sup>6</sup> — *извещать*, ср. *оповещать* — *весть*. В основе слова *известняк* выделились бы морфемы: *из-вест-н'-ак*.

Следовательно, наше предположение, что общее значение слова *известняк* не может обеспечить такого членения, не оправдалось. При определенной словообразовательной цепочке — может; и только потому, что эта цепочка не реализуется в русском языке (реализуется другая), мы не склонны так членить слово *известняк*.

Не зная цепочки (и тем самым внутренней формы слова, его в точном смысле слова значения), мы не можем сказать: «подходит» ли для этого слова приставка *из-*, корень *-вест-* и т. д.

Итак: оба членения: *извест-н'-ак* и *из-вест-н'-ак* — с точки зрения морфемного анализа окажутся равновозможны. Одно будет опираться на цепь: *известняк... весть*; другое — на цепь: *известняк... известь*.

Пока мы не выбрали (по подсказке самого языка), какая цепь истинна (конечно, в современном русском языке только вторая), мы не можем решить, какой морфемный анализ верен. Значит, морфемный анализ — сам по себе нереальность, он возможен только как результат словообразовательного; он, по-просту говоря, и есть результат словообразовательного, его «последняя строка».

Если мы произвели сопоставление слов, нашли словообразовательную цепочку, то можем убрать леса, и вместо длинного ряда:

*перекрашиватель* —  
*перекрашива-(ть)*  
*перекраси-(ть)*  
*краси-(ть), краш-(у)* —

написать то же короче:

([⟨*пере*{*краш*}⟩*ива*]те*ль*)

Или еще проще (если не важна иерархия членений): *пере-краш-ива-тель*.

То, что называют морфемным анализом, — это сокращенная регистрация словообразовательного анализа. Она нужна, она часто удобна для занятий на уроках, но это не особая процедура, не особый метод анализа слова.

<sup>5</sup> Ср. *обыденка* — от слова *обыденный*: *делать всякую обыденку* (разг.).

<sup>6</sup> Ср. *товарняк* (товарный состав) — *товарный*.

Можно цепочку производных и производящих держать в уме и сразу на-бело писать: *пере-краш-ива-тель*, но в уме-то ее надо держать. Без этого ничего не получится.

Почему же придумали две работы вместо одной: и тот анализ, и этот?

Причины были разные. У таких исследователей, как Н. Д. Арутюнова, Е. А. Земская, Н. А. Янко-Триницкая, стимулом были теоретические поиски<sup>7</sup>. Эти поиски, содержательные и смелые, только еще начались; когда они дадут свои результаты, надо будет посмотреть, что в них полезно для школы.

Но очень многие приветствовали «два анализа» совсем по другим причинам.

Каждая новая, непривычная идея в языкознании (и методике) переживает несколько периодов. Вначале ее принимают или отвергают, но практически не используют. Работать продолжают по-старому, хотя бы на словах и приветствовали новое.

Но постепенно новое доказывает свою «рентабельность». Наступает время признания. Но и от старых привычек и взглядов отказаться трудно. Появляется та двойственность, которая отражена в замечательной фразе одной девочки (об этом рассказал К. И. Чуковский): «Бог есть, но я в него не верю». Новая мысль признается, но вместе с нею живет и старая мысль, несовместимая с новой. Чисто формально их стараются примирить, но господствующей остается все-таки старина.

Состав слова определяется отношением между словами (как реальными, материально данными единицами), — вот новая идея в словообразовании. Она прямо вытекает из взгляда на язык как на систему, в которой каждая единица определяется отношениями к другим единицам. Идея новая, неожиданная, обжигающая своей непривычностью. Хотя в общих чертах эта идея (в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ) была высказана еще в конце прошлого века, к словообразованию ее применил Г. О. Винокур в 40-х годах. Она воплощена в словообразовательном анализе.

Морфемный анализ в том виде, который обычно популяризируют, это атавизм, это остатки прошлого. Он предполагает членение слова без обращения к смысловым отношениям производящей и производной основ, т. е. старинную рубку слова на десемантизированные куски. Ведь это — «первая ступень анализа», говорят его сторонники, это анализ до сопоставления слов. Выделять удобно в первую очередь корень... (см. выше). Как раз против такого анализа протестовали и И. А. Бодуэн де Куртенэ, и Ф. Ф. Фортунатов.

---

<sup>7</sup> Они связаны со стремлением найти те парадигматические («словообразовательный анализ») и синтагматические («морфемный анализ») закономерности в области словообразования, которые характерны и существенны для всех ярусов и уровней языка.

Как раз такой анализ и отменяется подлинно научным словообразовательным анализом, с применением критерия Винокура.

Поэтому и школу надо освободить от ненужного мудрствования (в котором нет мудрости) — от разграничения двух, разных-де, анализов слова по его составу.

Анализ один. Как его назвать — словообразовательный, морфемный — безразлично.

Путаница во взглядах на словообразовательный разбор особенно вредно сказывается на национальной школе. Поиск цепочки слов, связанных как производные и производящие, помогает понять значение слова, помогает уяснить смысл русских приставок и суффиксов и, следовательно, помогает понимать новые, еще не известные ученику слова. Бессмысленное выделение аффиксов до сопоставления слов способно порождать искаженные представления о значении слов. Морфемный анализ толкает к таким членениям слов, как *пред-сед-а-тель* (тот, кто сидит перед собранием?), *плот-ник* и пр. Для ученика русской школы такой анализ безопасен: он по своей речевой практике знает, что слова *сидеть*, *сесть* и *председатель*, *плотник* и *плот* и т. д. семантически ничего общего не имеют. У ученика национальной школы, только еще овладевающего русской лексикой, такое членение может порождать семантические иллюзии, миражи. Оно мешает ученику.

## О способе определения однокоренных слов\*

**Вопрос.** Ясно, что слова *слива* и *сливать* не одного корня. У них нет смысловой общности, и членятся на морфемы они не одинаково. Но немало таких случаев, когда учитель остается в нерешительности: один и тот же корень у слов или разные? *Объяснение* и *ясный*, *задача* и *дать*, *просвещение* и *свет*, *подвергаться* и *извергнуть*, *плот* и *плотник*, *наказ* и *наказание*, *воспитание* и *питание*, *расчет* и *просчет*... Какие слова в этих парах однокоренные, какие — нет? Есть ли надежный способ определить однокоренные слова?

**Ответ.** Такой способ есть.

Корень — морфема; морфема имеет определенный звуковой состав и определенное значение. Сравнительно легко установить, есть ли звуковая перекличка двух слов. Но только сравнительно. Ученика национальной школы может затруднить отождествление корней в таких словах: *доски* — *досок* — *дощатый* — *досочки* — *дощечка* — т. е. в сложных случаях чередований гласных и согласных. Это трудность для ученика, но не для учителя. Другое дело — смысловая близость. Здесь нередко и учитель может стать в тупик.

Корень — наименьшая общая часть родственных слов; родственные слова — это слова, которые имеют звуковую общность и объясняются одно с помощью другого или оба — с помощью третьего.

Иногда между словами есть некоторая смысловая близость, но она не всегда достаточна, чтобы считать слова однокоренными.

В таком случае:

1. Если одно слово можно объяснить через другое, они однокоренные (конечно, при их звуковом сходстве). Например: *объяснение* — действие по глаголу *объяснить* (или по-другому: *объяснение* — то же действие, которое обозначено глаголом *объяснить*). *Объяснить* — ‘растолковать, сделать *ясным*’. Значит, слова *объяснение* — *объяснить* — *ясный* — однокоренные, у них общий корень *ясн-*.

Как видно из примера, истолкование может включать слова в переносном значении (*ясный*).

---

\* Русский язык в национальной школе. 1986. № 3. С. 62—64.

Такой способ возможен не всегда, он неприменим, если оба слова одинаковой морфемной сложности.

2. Если оба слова можно объяснить через третье, более простое (при наличии звукового сходства у всех трех), то все они однокоренные.

Например, слова: *сухощавый* и *пересушить*. Однокоренные они или нет? Одно через другое объяснить нельзя, но оба можно истолковать с помощью слова *сухой*. Одно из значений этого прилагательного — ‘худой’: *Руки были тонки и сухи...* (Ф. М. Достоевский); *Как мощи сух, как палка прям, высокий и седой...* (Н. А. Некрасов). Поэтому правильно такое истолкование: *сухощавый* — ‘худощавый, или худой, или (в переносном смысле) сухой’. *Пересушить* — ‘сделать чересчур сухим’. Слова однокоренные.

Истолкования должны быть правильными, не искажающими смысл слова в угоду натянутой, искусственной близости.

Иногда установить, однокоренные ли слова, можно только после словообразовательного анализа. Например, существительное *заседание* как будто можно определить так: ‘собрание, на котором что-то, *сидя*, обсуждают’. В толкование входит слово *сидя*, следовательно, есть связь слова *заседание* со словами *сесть*, *сидеть*. Корень в слове *заседание* *-сед-*. Но насколько необходимо это уточняющее слово *сидя* в истолковании? Не внесено ли оно искусственно, не обременяет ли оно напрасно истолкование? Предположим, руководство партизанского отряда проводит заседание на лесной лужайке. Люди могут сидеть, могут и прилечь, могут стоять... Нет необходимости всем им сидеть. Но не может быть заседания, если все люди стоят. Например, те же партизаны, на поляне, обсуждая будущую боевую операцию. Если все стоят, то это будет называться собрание, сбор, совещание, митинг, но никак не заседание. Следовательно, слово *сидя* в толковании вовсе не лишнее, оно необходимо для понимания слова. Слова *заседание* и *сесть*, *сидеть* однокоренные.

Если ни первый, ни второй путь истолкования невозможен, слова не однокоренные.

Очевидно, чтобы установить однокоренные слова, необходимо заняться вопросами употребления слова, научиться верно использовать его в речи. Польза от такой работы несомненная.

Какие могут быть типы толкований? Покажем это на примерах. *Мыло* — ‘то, чем можно *мыть*’. *Мыльный* — ‘свойственный *мылу*’. *Мыльце* — ласкательное к *мыло*. *Мыльница* — ‘коробочка для *мыла*’. *Мыловарня* — ‘мастерская или завод, где варят *мыло*’. (Слово *мыловарня* — сложное, так как в него входит два корня; сложные слова соотнесены со словосочетанием, с помощью которого они и объясняются: *мыловарня* — *варить мыло*). *Вымыть* — сов. вид. к *мыть*. *Мытьё* — ‘действие по глаголу *мыть*’ (или: *мытьё* — существительное, обозначающее действие *мыть*.)

Как видно, толкования могут быть многообразны; многие из них включают грамматические характеристики: «ласкательное», «сов. вид» и т. д.

Истолкования не обязательно должны иметь такую точность и детальность, как в словаре. Толковый словарь объясняет: *мыло* — ‘твердое или полужидкое вещество из жиров и щелочей, легко растворяющееся в воде и употребляемое для мытья (для того, чтобы *мыть*)’. Для наших целей это истолкование слишком громоздко, нам нужна только его заключительная часть.

Однако в затруднительных случаях бывает полезно обращение к словарю. Г. О. Винокур пишет: «Производная или непроизводная основа в слове *земляника*? Это зависит от того, входит ли в самое значение слова *земляника* отношение к земле. Узнать это, очевидно, можно только путем соответствующего ознакомления с опытом тех, кто данным словом пользуется. С этой точки зрения показательно, что в словарях современного русского языка значение слова *земляника* определено без упоминания слова *земля*, тогда как в толковании значения слова *черника* содержится упоминание черного цвета ягоды»<sup>1</sup>.

Как быть со словами типа *белье*, *чернила*, *кашевар*? Было бы неверно истолковать слово так: *чернила* — ‘черная жидкость, которой пишут’. Чернила бывают разных цветов. Значит, слова *чернила* и *черный* — не однокоренные? Ясность вносят такие слова: «Трудный для анализа и вместе с тем нередкий случай представлен в таких парах слов, как *белый* — *белье*, *каша* — *кашевар*. Дадим словам, более сложным по форме, такие толкования: *белье* — ‘нижняя одежда белого цвета’, *кашевар* — ‘тот, кто варит кашу’. Эти толкования не вполне адекватно передают семантику анализируемых слов: ведь мы знаем, что *белье* бывает и цветное, а *кашевар* варит не только кашу. Вместе с тем между приведенными парами слов есть явная смысловая связь. Попробуем изменить толкования так, чтобы отразить ее: *белье* — ‘нижняя одежда, которая нередко имеет белый цвет’; *кашевар* — ‘тот, кто готовит пищу, в том числе кашу’. Определения такого рода вскрывают связь между словами и правильно отражают их семантику»<sup>2</sup>. Такие истолкования называются периферийными, «потому что семантика производных слов не включает семантику производящих целиком, как в парах типа *домик* — *дом*, *тигренок* — *тигр*, но связана с семантикой производящего лишь „краешком“ своего значения»<sup>3</sup>.

В истолкование может входить сравнение. Например: *попугайничать* — ‘повторять чужие слова, подобно *попугаю*’. Или: *просвещение* — ‘действие

<sup>1</sup> Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1954. С. 422.

<sup>2</sup> См.: Земская Е. А. Словообразование // Современный русский язык. М., 1981. С. 137.

<sup>3</sup> Там же.

по глаголу *просветить, просвещать*; *просветить* — ‘одарить знаниями, как бы озарить светом знаний’. Следовательно, слова *просвещение* — *просветить* — *свет* — однокоренные. Таким образом, из слов, предложенных выше для анализа (см. Вопрос), однокоренными являются *объяснение* — *ясный* и *просвещение* — *свет*. В остальных парах одно слово нельзя истолковать через другое, в том числе и с помощью метафорических и периферийных объяснений; следовательно, они не одного корня. Действует «презумпция неродственности» слов.

Надо помнить, что речь идет о современном русском языке, а не об историческом прошлом этих слов, не об их этимологии.

В последние годы выпущено несколько словарей, в которых обозначено членение слов на морфемы и указаны связи однокоренных слов. Эти словари полезны для учителя. Однако если сравнить их, то нетрудно обнаружить, что их указания часто не совпадают. Это не должно огорчать: наряду со словами, где выделение морфем ясно и однозначно, в русском языке существует немало слов с вариативным, колеблющимся членением на смысловые части. В словарях, в частности, нередко не принимается во внимание возможность истолкования слов с периферийной и метафорической мотивированностью. А учителю национальной школы эти возможности очень важны. Он заинтересован в том, чтобы объединять слова смысловыми связями, прояснять их живое строение, помочь ученикам понять их и запомнить. Метафорическая и периферийная мотивации этому помогают.

Вдумчивый учитель пользуется помощью этих словарей, не превращаясь в их раба.

Мотивировки, связывающие однокоренные слова в русском языке, иногда имеют параллели в родном языке учеников. Вот пример. В русском языке слова *следователь* и *след* — однокоренные. Доказательство: их можно соединить с помощью такого (метафорического) истолкования: *следователь* — ‘тот, кто расследует преступления, кто как бы идет (*следует*) по следам преступника’. В других языках могут быть такие же отношения между словами. В осетинском: *фæд* — «след», *фæдгур* — «следователь», корень *фæд-*; в тувинском: *ис* — «след», *истекчи* — «следователь», корень *ис-*, *тек-чи* — аффиксы; в бурятском: *мүр* — «след», *мүрдэгше* — «следователь», корень *мүр-*, *дэг-ше* — аффиксы.

Такие переключки между разными словами нередко встречаются в языках. (Они возникают или в результате калькирования русского слова, или путем самостоятельного семантического развития слов.) Указать ученикам на такие параллели в русском и родном языках очень полезно: русское слово запомнится прочнее и станет понятнее ученику. Если в русской школе ученик скажет, что *плот* и *плотник* — однокоренные слова, то это не такая большая

---

беда: ошибка не окажет влияния на его речь. Другое дело в национальной школе: если для ученика *плот* и *плотник* — однокоренные слова, то очень возможно, что он и значения этих слов воспринимает искаженно. По аналогии *печь* — *печник*, *лес* — *лесник* он решит, что *плотник* — мастер по плотам. Установить, что у двух слов один корень, — значит нечто сообщить об их современном значении, о живом употреблении. Ложные сближения могут принести ощутимый вред. Учитель, работая над составом слова, определяя однокоренные слова, оберегает учеников от неверного понимания и ошибочного употребления слов.



## Об изучении русских падежей в национальной школе\*

... Я был у бабушки. Я пришел к бабушке... Как определить падеж? В школе, где родной язык учеников русский, падеж определяют способом подстановки и способом вопросов<sup>1</sup>.

Верно задавать вопросы или делать подстановку ученик способен тогда, когда он усвоил сложные законы управления в русском языке, когда понял, что такое падеж.

В национальной школе надо научить детей правильно выбирать падежные формы. (Проверка: *пришел к сестре* — не годится, потому что ученику не ясно: *к сестре* или *к сестры*.) Учебники для национальной школы большей частью этого не учитывают, повторяя в разделе о падежах методику русской школы.

По-русски говорят: *прибыл (приехал, прилетел, пришел) из Дагестана, из Италии, с Украины, из Грузии, с Кавказа, с острова, из Ленинграда, из Рима, из Махачкалы, из Саранска, с Луны, с Волги, с Енисея, с полюса...* Как научить правильному выбору падежной (или предложно-падежной) формы?

Можно избрать путь естественного обучения — тот путь, каким усваивается грамматика родного языка. Это метод проб и ошибок. Ребенок слышит живую речь, пытается ей подражать, делает сотни и тысячи ошибок, его сотни и тысячи раз поправляют — и вот он осваивает, медленно и постепенно, употребление падежных форм.

Это долгий путь. Школа обязана найти способ его сократить. Нельзя сказать, что здесь уже все сделано.

I. Надо выделить в русском языке наиболее существенные типы словосочетаний с глагольным управлением (глагол + существительное в определенном падеже с предлогом или без него).

---

\* Русский и родные языки в школе народов РСФСР. Вып. 4. Л.: Просвещение, 1974. С. 32—48.

<sup>1</sup> Способ подстановки: *был у сестры*; окончание *-и, -ы* — знак родительного падежа (устанавливать название падежа здесь даже излишне — подстановка полностью помогает решить орфографическую задачу). Способ вопросов: *был у кого? у чего?* род. пад.; надо помнить, что слова на *-а* (бабушка) в род. пад. имеют окончание *-и, -ы*.

Как отбирать «существенные словосочетания»? Должны быть учтены, по крайней мере, три критерия:

- а) частотность (словосочетания должны часто встречаться в текстах);
- б) продуктивность (словосочетания должны постоянно возникать в живом речевом общении, легко вбираться в себя новую лексику);
- в) способность преобразовываться в другие словосочетания по стабильным законам. Например:

Строгое соответствие: если *из...* — то *в...*; если *с...* — то *на...*

<i>Приехал из Грузии, из Италии,</i>	<i>Приехал в Грузию, в Италию,</i>
<i>из Ленинграда, из Казани;</i>	<i>в Ленинград, в Казань;</i>
<i>Приехал с Урала, с Украины,</i>	<i>Приехал на Урал, на Украину,</i>
<i>с полюса, с Оки, с Енисея...</i>	<i>на полюс, на Оку, на Енисей...</i>

«Существенные словосочетания» — те, которые допускают такую систематическую трансформацию. Ученик, усвоив сочетание «приехал с N», сразу же усваивает сочетание «приехал на N» (с тем же N, то есть с тем же набором существительных).

Таких существенных, важнейших словосочетаний окажется, вероятно, не очень много. Из словарей было выбрано 1 400 глаголов, с этими глаголами образованы различные словосочетания с управляемыми существительными (всего около 25 000 сочетаний). Сколько типов словосочетаний представляет эта огромная масса? Около 200—250<sup>2</sup>. И не все они нужны для ученика средней школы, изучающего русский язык.

Гнаться за большим числом словосочетаний нет надобности. Язык обладает свойствами «самонастраивающегося механизма»: если освоено некоторое количество словосочетаний, то другие, незнакомые (которые встречаются рядом со знакомыми и этим соседством проясняются), тоже будут постепенно усваиваться.

Эта часть работы должна быть проделана лингвистами-русистами. Им же принадлежит и следующая часть работы.

**II.** Далее надо установить соотношение русской конструкции данного типа с ее соответствиями на родном языке. Вот, например, русско-алтайские соответствия (справа — управляемое существительное в исходном падеже, вторая строка — на алтайском языке).

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. <i>Прибыл из Дагестана —</i>        | <i>Дагестан</i> |
| <i>Дагестаннанг<sup>3</sup> келген</i> | <i>Дагестан</i> |

<sup>2</sup> Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967. С. 76, 118—127.

<sup>3</sup> Буквосочетание *нг* передает заднеязычный носовой согласный, обычно передаваемый лигатурой из букв *н* и *г*.

2. Прибыл из Италии —	Италия
Италияданг келген	Италия
3. Прибыл с Украины —	Украина
Украинаданг келген	Украина
4. Прибыл из Грузии —	Грузия
Грузияданг келген	Грузия
5. Прибыл с Кавказа —	Кавказ
Кавказтанг келген	Кавказ
6. Прибыл с острова —	остров
Ортолыктанг келген	ортолык
7. Прибыл из Рима —	Рим
Римненг келген	Рим
8. Прибыл из Ленинграда —	Ленинград
Ленинградтанг келген	Ленинград
9. Прибыл из Махачкалы —	Махачкала
Махачкаладанг келген	Махачкала
10. Прибыл из Саранска —	Саранск
Сарансктанг келген	Саранск
11. Прибыл с Луны —	Луна
Айданг келген	Ай
12. Прибыл с Волги —	Волга
Волгаданг келген	Волга
13. Прибыл с Енисея —	Енисей
Енисейденг келген	Енисей
14. Прибыл с полюса —	полюс
Полюстанг келген	полюс

Алтайский ряд словосочетаний со значением «приехал откуда-то» строго единообразен, грамматический показатель один и тот же (послелог *данг*<sup>4</sup>). В ряду же русских словосочетаний грамматический показатель (предлог + падежное окончание), наоборот, варьируется.

Такое же соотношение и во многих других языках Российской Федерации (например, во всех тюркских — татарском, башкирском, карачаевском, хакасском).

В других языках та же строгая стандартность словосочетаний, но грамматический показатель, соединяющий глагол с именем, заключается в глаголе (один и тот же, независимо от того, какое существительное подчинено глаголу). Например, в абазинском языке:

<sup>4</sup> Его варианты: *танг, нанг, денг, тенг, ненг* — фонетически (позиционно) обусловлены; фонемный строй послелого один и тот же, значит, это одна и та же грамматическая единица.

1. Дагестан	ДгIатыцIын	
2. Италия	»	
3. Украина	»	
4. Грузия	»	
5. Кавказ	»	
6. АдзыгIвбжъа <sup>5</sup>	»	(дзыгIвбжъа — остров)
7. Ленинград	»	
8. Рим	»	
9. Махачкала	»	
10. Саранск	»	
11. Амыз	»	(амыз — луна)
12. Волга	»	
13. Енисей	»	
14. Аполюс	»	(полюс — полюс)

В рассмотренных языках показатель с «исходным» грамматическим значением (безразлично: глагольный или именной) несомненно один и тот же во всех словосочетаниях. Более сложный случай, когда грамматический показатель обнаруживает варьирование своего фонемного состава. Так обстоит дело в осетинском языке:

1. эрбахэццэ	Дагъистанэй <sup>6</sup>	
2. »	Италийэ	(Итали)
3. »	Украинайэ	(Украина)
4. »	Гуырдыстонэй	(Гуырдыстон)
5. »	Кавказэй	
6. »	сакъадахэй	(сакъадах — остров)
7. »	Ленинградэй	
8. »	Римэй	
9. »	Махачкалайэ	
10. »	Саранскэй	
11. »	мэйэ	(мэй — луна)
12. »	Волгэйэ	(Волгэ — Волга)
13. »	Енисейэ	
14. »	полюсэй	(полюс — полюс)

<sup>5</sup> Префиксальное *a* не связано с передачей падежных значений.

<sup>6</sup> Знак *э* обозначает гласный, обычно передаваемый в осетинском письме лигатурой *а* и *е*.

Законы морфонологического варьирования понятны: послелог (или флексия «исходного» падежа)<sup>7</sup> имеет состав: *-эй* после согласных; *-йэ* — после гласных; *-э* — после *й*. Позиционно-фонетическим это чередование считать невозможно: варьирование *эй-йэ-э* не так повсеместно, как чисто позиционное варьирование, и поэтому поведение грамматического показателя надо рассматривать как переходный случай от предыдущего (где показатель был фонемно тождествен во всех случаях) к следующему.

Однако у этих двух типов выражения «исходного» значения больше сходства, чем различия (если судить с принятой нами точки зрения — методической). В обоих случаях действует закон выбора варианта показателя — закон, ясный для говорящего и автоматически им применяемый. В одном случае этот закон касается выбора звуков, относящихся к одной фонеме, как в алтайском языке. В другом случае этот закон касается выбора фонем, относящихся к одной морфеме, как, например, в осетинском языке. Но автоматичность действия закона остается.

Общее и в том, что закономерности варьирования в родном языке не могут повлиять на изучение русского языка: они вызваны строением (фонемным и морфемным) единиц родного языка, и их нельзя перенести на русский язык, где строение аффиксов и основ иное.

В школе, где русский язык для учеников не родной, надо дать серию упражнений, из которых будут вытекать определенные правила. Детям дают задание: менять слово (или слова) в образце. Например:

1. Образец: *Приехал (прилетел, прибыл, пришел) + из + Ленинграда*. Ученики знают название города: *Ленинград*. Надо заменить слово *Ленинград* названием другого города: *Саранск, Киев, Париж...*

2. Образец: *Приехал + с + Днепра*. Надо заменить слово *Днепр* названием другой реки: *Енисей, Днестр, Урал...*

3. Образец: *Приехал + из + Афганистана*. Надо заменить слово *Афганистан* названием другой страны или края: *Иран, Египет, Тибет, Алтай...* (Но: *с Кавказа, с Урала, с Украины!* Здесь действие образца не «тотально», есть исключения, и их следует показать детям. Потом, введя эти особые сочетания во многие примеры, надо дать возможность детям запомнить исключения).

4. Образец: *Прибыл (приехал, прилетел) + с + севера*. Надо заменить слово *север* названием другой страны света: *юг, запад, восток*.

5. Образец: *Прилетел (приехал, прибыл) + с + Памира*. Надо заменить слово *Памир* названием других гор: *Карпаты, Копет-Даг, Тянь-Шань...*

6. Образец: *Прилетел + с + Луны*. Надо заменить слово *Луна* названием другого небесного тела: *Венера, Солнце, Марс...*

<sup>7</sup> Т. е. падежа со значением исходного пункта движения.

Ученикам средней школы, вероятно, достаточно знать образцы 1—4.

При замене существительных следует постепенно усложнять «заменители»: *Приехал из Саранска, прибыл из Нижнего Тагила, пришел из соседнего города, мчится из одного города в другой* и т. д.

Родной язык будет подсказывать ученику одинаковую грамматическую форму для всех словосочетаний с указанным значением. Узнав сочетания: *приехал из Грузии, из Дагестана*, он образует (ошибочно) такие сочетания: *прибыл (приехал, прилетел) из острова, из Украины, из Луны*. Упражнения должны предупредить такие ошибки.

Разобранные случаи можно пояснить такой схемой:

Русск.				
Алтайск. <sup>8</sup>				

В русском языке есть разные группы существительных: для одних нужен предлог *с*, для других — *из* (в указанном сочетании) — это показано верхней линейкой. В алтайском всем этим группам соответствует одинаковое грамматическое выражение. То же и в осетинском, но объединение вариантов показателя в единство происходит не на уровне фонем, а на уровне морфонем.

Соотношение русского и иноязычного образца может быть и более сложным. Например, русским словосочетаниям (тем же, которые взяты выше) соответствуют такие удмуртские:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. <i>Дагестанысь</i>   | <i>вуиз</i>       |
| 2. <i>Италиось</i>      | »                 |
| 3. <i>Украинаось</i>    | »                 |
| 4. <i>Грузиось</i>      | »                 |
| 5. <i>Кавказысь</i>     | »                 |
| 6. <i>островысь</i>     | »                 |
| 7. <i>Ленинградось</i>  | »                 |
| 8. <i>Римось</i>        | »                 |
| 9. <i>Махачкалаось</i>  | »                 |
| 10. <i>Саранскось</i>   | »                 |
| 11. <i>толэзьось</i>    | » (толэзь — луна) |
| 12. <i>Енисейдорысь</i> | »                 |
| 13. <i>Волгадорысь</i>  | »                 |
| 14. <i>полюсь</i>       | »                 |

<sup>8</sup> Так же и во многих других языках.

В удмуртском языке сочетания *прибыл с Волги, с Енисея...* (можно подставить названия и других рек) требуют иного грамматического показателя (иного послелога), чем остальные словосочетания<sup>9</sup>.

Ученик, для которого родной язык удмуртский, легко усвоит «непоследовательность» русской модели, так как она тождественна «непоследовательности» удмуртской модели. Сама эта непоследовательность не будет восприниматься, поскольку она мотивирована родным языком.

Схематически это можно показать так:

Русск.				
Удмуртск.				

Но сходство может толкнуть ученика к полному отождествлению строения русского и удмуртского словосочетания. Он проведет параллель:

там, где в удмуртском *-дорысь*, в русском *с...* (чего),

там, где в удмуртском *-ысь*, в русском *из...* (чего).

Значит, надо особенно тщательно подобрать упражнения, разрушающие эту ложную параллель.

Если дать упражнения только с сочетаниями: *приехал с Енисея, с Днепра, из Тибета, из Ирана, из Киева, из Парижа* — то такой неверный параллелизм наверняка возникнет и надо ожидать устойчивых ошибок типа: *из севера, из Дальнего Востока, из Кавказа*. Непременно надо дать в упражнениях случаи, когда *с* употребляется в соответствии с удмуртским послелогом *ысь*, и, где возможно, формулировать правило его употребления (см. выше).

Могут быть еще более сложные отношения между словосочетаниями в двух языках. Схематически их можно изобразить так:

Русск.				
Лакск. <sup>10</sup>				

То есть в том и другом языке используется несколько грамматических показателей для указания определенного грамматического значения (например, «исходного», того, которое передается предлогом *из* и некоторыми другими). Границы их использования не совпадают. Надо знать отдельно для русского языка, с какими существительными необходим такой, с какими — другой показатель, и отдельно знать распределение показателей в языке, родном для учеников.

<sup>9</sup> Можно использовать тот же послелог, что и в остальных случаях, но он придаст словосочетанию иное значение: *изнутри реки, из ее глубины*. Ср. те же отношения в русском языке: *с Волги — из Волги (выплеснулась рыба)*.

<sup>10</sup> Примеры приведены ниже.

В лакском языке для указанного значения не один указатель, а, по крайней мере, два (оба со значением «исходности»): *-нава* и *-лия* (с морфологическими вариантами). Их распределение по словам не обусловлено строением основ существительных. Нет общих правил для выбора того или иного показателя; этот выбор закреплен пословно. Иначе говоря, грамматический показатель в лакском языке имеет существенное сходство с русским: употребление каждого из вариантов нельзя предсказать, исходя из строения управляемого существительного или его основы. Вот примеры (русские параллели — те же, что выше):

1. <i>Дагъусттанная</i>	<i>увкӀунни</i>	<i>Дагъусттан</i> — Дагестан
2. <i>Италиянава</i>	»	<i>Италия</i>
3. <i>Украинная</i>	»	<i>Украина</i>
4. <i>Гуржинава</i>	»	<i>Гуржи</i> — Грузия
5. <i>Ккапкказнава</i>	»	<i>Ккапкказ</i> — Кавказ
6. <i>Жазиралия</i>	»	<i>жазира</i> — остров
7. <i>Ленинградрая</i>	»	<i>Ленинград</i>
8. <i>Румуллая</i>	»	<i>Рум</i> — Рим
9. <i>МахӀачкӀалалия</i>	»	<i>МахӀачкӀала</i> — Махачкала
10. <i>Саранная</i>	»	<i>Саран</i> — Саранск
11. <i>зуруяту</i>	»	<i>барз</i> — луна
12. <i>Волгалия</i>	»	<i>Волга</i>
13. <i>Ениселия</i>	»	<i>Енисей</i>

Такое же соотношение, видимо, русских сочетаний разбираемого типа с кабардинскими; используется два показателя — нулевой и ненулевой (последний — с фонетическими вариантами):

1. <i>ДагъыстӀнӀым</i>	<i>къикӀаиш</i>	<i>ДагъыстӀн</i> — Дагестан
2. <i>Италией</i>	»	<i>Италие</i> — Италия
3. <i>УкраинӀм</i>	»	<i>УкраинӀ</i> — Украина
4. <i>Грузием</i>	»	<i>Грузие</i> — Грузия
5. <i>Кавказым</i>	»	<i>Кавказ</i>
6. <i>Островым</i>	»	<i>остров</i>
7. <i>Ленинград</i>	»	<i>Ленинград</i>
8. <i>Рим</i>	»	<i>Рим</i>
9. <i>Махачкала</i>	»	<i>Махачкала</i>
10. <i>Саранск</i>	»	<i>Саранск</i>
11. <i>МазӀм</i>	»	<i>мазӀ</i> — луна
12. <i>Волга</i>	»	<i>Волга</i>
13. <i>Енисей</i>	»	<i>Енисей</i>
14. <i>Полюсым</i>	»	<i>полюс</i> — полюс



Мы наметили три типа соотношений. Первый: в родном языке нет грамматических различий, но они есть в русском языке. Второй случай: в обоих языках есть различия, то есть используются несколько показателей данного грамматического значения; некоторые правила их употребления совпадают. В третьем же случае правила их употребления не совпадают.

Третий случай самый трудный. Упражнения надо подобрать так, чтобы они выполняли сразу два назначения: а) показывали, что в русском языке нет тех разграничений, которые существуют в родном:

*Гуржинава* — из Грузии,

*Махлачкьалалия* — из Махачкалы;

б) показывали, какие именно разграничения существуют в русском:

*Ккапкказнава* — с Кавказа,

*Гуржинава* — из Грузии.

Иначе говоря, в упражнениях должны быть примеры, показывающие существование / несуществование любой из границ на приведенной выше схеме.

Ученики не должны все время сопоставлять русские примеры с родными, переводить их на родной язык. Соотнести русскую конструкцию и конструкцию на родном языке нужно только при «запуске» нового грамматического типа словосочетания. Далее идет работа над русским образцом: даются разные задачи на подстановку слов, на изменение лексического наполнения образца и т. д.

Но учителю (тем более методисту, составителю учебника) надо все время помнить о родном языке учащихся. Пределы регулярности и продуктивности словосочетания в двух языках могут быть различны.

**III.** Говоря о второй части работы, мы уже не раз касались и третьей — составления упражнений. Действительно, второй и третий этапы связаны теснейшим образом.

Третий этап характеризовать можно так: подбирается система упражнений, позволяющая образовать навык свободного составления словосочетаний данного типа. Эта система должна учитывать соотношение падежного управления в русском языке и соответственно способов выражения того же грамматического значения в родном.

Такую работу должны проделать в первую очередь специалисты по методике.

**IV.** Идти надо от словосочетания. Именно в словосочетании (глагол определенной семантики и грамматических свойств + падежная или предложно-падежная форма) определено, какой следует избрать предлог, какую падежную форму.

Начинать надо с подстановки существительных одного склонения (лучше всего мужского рода на согласную). Упражнение: в словосочетании *Приле-*

тел из Ленинграда заменить слово Ленинград словами Киев, Саратов, Таллин... Затем берутся для подстановки слова другого склонения и т. д.

Для ученика на этом этапе обучения словосочетания: *Прибыл из Киева* и *Прибыл из Казани* — два разных образца:

глаголы движения + *из* + .....*а*

глаголы движения + *из* + .....*и*

Татарский образец ... *дан*<sup>11</sup> *килде* соответствует трем русским:

*прибыл* (*приехал* и т. д.) *из ...а* (*из города, из Рима, из Орла*);  
 »                   »           *из ...и, ы* (*из деревни, из Москвы, из Казани*);  
 »                   »           *из ...ого* (*из Бологого, из Спасского*).

Надо научить эти разновидности сводить воедино, надо показать ученику, что эти три образца являются в действительности одним. Они синтаксически эквивалентны, функционально равны, грамматически однозначны.

Это необходимо для активного владения речью. Услышали сочетание: *Порицает ученика за ошибку*... — надо учить составить по этому образцу другое: *Упрекает ученицу за невнимательность*. Правильно составить новую фразу можно в том случае, если ученик усвоил взаимозаменяемость форм: *ученика* — *ученицу*, *ошибку* — *невнимательность*. Такая эквивалентность форм и есть падеж.

Ученик говорит: «Я спросил учителя...». В чем причина ошибки? Вероятно, ученик еще не поверил во взаимозаменяемость форм: *брата* — *учительницу* — *учителя*..., не овладел механизмом замены.

Как доказать ученику, что различные показатели (например, *из ...а, из ...и, из ...ого*, — см. выше) едины? Что все они заслуживают названия родительного падежа?

Объединить формы, например: *на углу, в мыслях, о столе, во ржи*, как формы одного падежа можно только выявив их общее грамматическое значение. Но как его выявить?<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Варьирование этого показателя происходит, как уже сказано, на доморфемном уровне (на уровне фонем или морфем).

<sup>12</sup> А. М. Пешковский пишет: «Т. к. родительный падеж есть не что иное, как синтаксическое равенство нескольких, совершенно различных по звукам форм („лисы — ослы — лошади — лисы — ослы — лошадей“), то, очевидно, эта шестерка, найденная исподволь раньше ... должна быть в конце концов охвачена целиком и закреплена памятью» (Пешковский А. М. Вопрос о вопросах // Сборник статей. Л.; М., 1925. С. 56). Все это, несомненно, так. Но учитель в национальной школе приступает к делу не «в конце концов», а с начала начал. Ему необходимо знать, как же исподволь раньше найти единство этой шестерки? И как сделать так, чтобы ученики ее охватили целиком не только памятью, механически, но и поняли, что это единство?

Единственный путь — показать, что слова: *вода, земля, голова, струя*, когда они отвечают на вопрос *чем?*, всегда и все в окончании имеют *-ой (-ей)*, когда отвечают на вопрос *что?* — в окончании *-а (-я)*. Слова же *стол, конь, луч* тоже отвечают на такие вопросы, и притом на вопрос *чем?* отвечают тогда, когда у них в окончании звуки *-ом*. Вопросы *кто? что? кого? чего?* и пр. — это кратчайшее обозначение того общего значения, которое объединяет все флексии родительного падежа в одно целое — в одну грамматическую категорию.

Такое объяснение (с помощью вопросов) падежных значений вполне доступно детям, — доступно в первую очередь потому, что дается не описательно, а наглядно. Ведь наглядность в обучении это не только таблицы на стенах класса. Это в первую очередь умение соединить объяснение с демонстрацией явления. Такое единство и достигается «вопросами». Они объясняемый факт, они и объяснение факта.

Способ вопросов при определении падежей приходится защищать. Очень многое было сказано против этого приема, и все-таки в школьной практике он продолжает господствовать. «Осужденные в теории вопросы проявляют удивительную живучесть на практике», — писал в 1928 г. М. В. Ушаков. Прошли годы, появилось еще несколько статей противников этого метода, а живучесть его не стала меньше. В чем причина: в косности школьного преподавания или в достоинствах метода вопросов, которые не учитывают его критики? Надо разобраться в этом.

Систематическую войну против «вопросов» начал А. М. Пешковский. Чтобы погубить их, он приложил изумительно много настойчивости и таланта. Вот его доводы.

«Слова „кто“ и „что“ исключительны по своим падежным окончаниям. Других существительных с такими окончаниями в русском языке нет», — пишет А. М. Пешковский, порицая «вопросы». Но это их достоинство, а не порок. Предположим, что падежные окончания этих слов совпали бы с окончаниями одного из склонений существительных. Тогда это склонение представилось бы ученику как «правильное», «главное», «настоящее», а все остальные — как отклонения от «естественного» склонения слов. Грамматическое значение падежа не абстрагировалось бы от грамматического средства (от звукового облика флексии), а, напротив, отождествлялось бы с ним.

Тем-то и хороши наши «вопросы», что они выражают те же грамматические значения, которые находим в падежных формах местоименных существительных, но выражают иными средствами, и этим подчеркивается различие грамматического значения и грамматического средства. Понять же их неотжественность при изучении падежей очень важно для ученика: ведь он должен представлять, что два слова с разными окончаниями могут оказаться

формами одного и того же падежа. «Вопросы» помогают, таким образом, отвлекаться при изучении грамматического (падежного) значения от грамматического средства и тем самым осознать и значение, и средство.

Что было бы, если бы окончания «вопросов» совпали с окончаниями одного из склонений? Для национальной школы они бы перестали быть помощниками, толкали бы учеников к подстановке у существительных тех окончаний, которые есть у вопроса. Если бы «вопросы» изменялись по первому склонению, то ученики пытались бы все существительные склонять по этому образцу — по первому склонению. И хорошо, что такого совпадения нет, что «вопросы» стоят над всеми склонениями существительных.

Так называемые «падежные вопросы» представляют собою грамматический метаязык для описания падежной системы. Чтобы описывать какой-либо язык, нужно особое средство, не совпадающее с этим языком, нужен метаязык. Падежные вопросы — идеальное средство такого метаязыка. Это решающее, что можно сказать в их защиту.

Попробуем показать, почему «вопросы» хороши при определении падежей как средство (единицы, термины) грамматического метаязыка.

Для определения грамматической категории падежа при методе вопросов используются определенные слова. Как всякие слова, они имеют лексическое значение. Но ведь грамматику отличает крайняя абстрактность значений; своей абстрактностью она напоминает геометрию. Лексическое значение обычно конкретнее значений грамматических (особенно падежных, реляционных). Как же в таком случае «грубыми» лексемами анализировать «тонкую» грамматику? Вопросы-местоимения «кого — чего, кому — чему», и т. д. тем-то и хороши, что значение их крайне абстрактно; они стоят на грани лексики и грамматики и могут в иной своей функции, как относительные местоимения, «превращаться» в грамматический элемент, играть роль союза. Абстрактность этих слов, близкая к грамматической абстракции, позволяет выявить грамматическое значение падежа<sup>13</sup>.

При определении падежа нужно отвлекаться не только от лексического значения, но и от других грамматических значений. *Лошадей, домов, гостя, воды* — все это формы родительного падежа, хотя род и число у них различны. Чтобы понять, что эти формы в известном (грамматическом) смысле

---

<sup>13</sup> Наоборот, если (как предлагают противники «вопросов») воспользоваться для подстановки формулами: «У меня нет... я иду к... я вижу... я интересуюсь... я говорю о...» — то лексическая конкретность этих штампов не позволит выявить грамматическое значение падежа. Оно окажется растворенным в общем значении штампа предложения (не говорим уже о полной бессмысленности сочетаний большинства существительных с этими фразами-обрубками).

представляют собой тождество, надо «забыть» их различия в роде и числе. Отвлечься от этих категорий помогают «вопросы». «У них нет всего множественного числа», — пишет А. М. Пешковский в укор «вопросам»<sup>14</sup>. Вернее, у них вообще нет категории числа. Ср.: «И я при всех, кто были в кабинете, прочел пародию» (С. Т. Аксаков)<sup>15</sup>. У них нет категории рода — это опять-таки важное достоинство.

Какое же значение имеют местоименные существительные «кто — что»? Во-первых, значение предметности, свойственное всем существительным. Это значение крайне отвлеченное и абстрактное; оно всегда связано со значением падежа<sup>16</sup>.

Во-вторых, значение падежа (и поэтому, как сказано, более абстрактное значение предметности).

В-третьих, значение одушевленности (*кто*) или неодушевленности (*что*)<sup>17</sup>.

В-четвертых, значение вопросительное.

В целом эти местоимения представляют совокупность грамматических значений, лексическое их значение переплавлено в грамматическое. Более того, это не просто грамматический кристалл, это кристаллизация в отдельном слове именно падежной грамматической категории (не числовой, не родовой).

Как уже говорилось, у этих местоимений нет ни категории рода, ни категории числа. Поэтому и к форме *лошадей*, и к формам *домов*, *гостя*, *воды* — один и тот же вопрос: *кого? чего?* Эти вопросы представляют собою почти в абсолютной чистоте, почти в полной обособленности значение падежа<sup>18</sup>. Они позволяют увидеть, что такое падеж; они сами — «наглядное пособие».

<sup>14</sup> Пешковский А. М. Указ. соч. С. 47.

<sup>15</sup> Пример из книги: Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947. С. 332.

<sup>16</sup> Ср. у В. В. Виноградова: существительные — «слова, выражающие предметность и представляющие ее в формах... падежа» (см.: Виноградов В. В. Указ. соч. С. 48).

<sup>17</sup> Впрочем, это не совсем точное определение указанных значений (отличающих местоимение «кто» от местоимения «что»). Ср.: к существительным собирательным, т. е. неодушевленным, иногда ставится вопрос «кто?». С другой стороны — «в этой местности много комаров» (существительное одушевленное) — конечно, «чего?», а не «кого?».

<sup>18</sup> Об общности значения, свойственного каждому падежу, С. О. Карцевский писал: «Если это общее есть, то оно так неопределенно, что м. б. покрыто (и то очень приблизительно) только формулой вроде *кого? — чего?*» (Карцевский С. О. Еще об учебниках А. М. Пешковского // Родной язык и литература в трудовой школе. 1928. № 2. С. 38). На вопрос: что такое падежное значение, что значит падеж? — можно ответить: это значение слов «кто — что», «кого — чего» и т. д. — и таким образом продемонстрировать это значение в чистом виде с достаточной точностью.

Значение вопросов не мешает, а помогает использовать эти слова как морфологический эталон для определения падежа. Ведь на местоименный вопрос можно ответить только словом, грамматически однородным с вопросительным словом. На вопрос: *какого цвета?* — отвечаем: *белого*, а не *белизны*; на вопрос: *это что?* — отвечаем: *бег*, а не *бежать* и т. д.

Если задаем вопрос дательного падежа (*кому?* или *чему?*), то знаем, что и в ответе будет тот же дательный падеж. Не случайно, следовательно, были выбраны именно вопросительные местоимения.

А. М. Пешковский называет этот метод «варварским» по отношению к развитию речи<sup>19</sup>. Вопросы-близнецы, пишет профессор А. И. Зарецкий, «совершенно неестественны. Никто в живой речи, желая что-нибудь узнать, так не спрашивает. Такими упражнениями речь учащихся только портится»<sup>20</sup>. Как, в каком отношении портится? Слышал ли кто-нибудь, чтобы ученик, освоив разбор «по вопросам», стал говорить: «мама, о ком — о чем ты говоришь? кому — чему ты радуешься?». Думаю, что нет. Опасения, будто вопросы испортят речь ученика, — напрасные опасения.

Особенно беспочвенны они для национальной школы, где учат задавать вопросы, учат строить вопросительные предложения и, конечно, среди образцов никогда не дают таких: *о ком — о чем ты говоришь?*

Ученики легко понимают, что эти вопросы — прием анализа; они принадлежат (если пользоваться ученым термином) метаязыку грамматики. Характерно, что противники вопросов, сказав, что они портят речь, тут же добавляют (тоже в укор вопросам): они, вопросы-двойняшки, не используются в обычной речи. Это верно. Ученик должен пользоваться ими только на уроке, так же как только на уроке ему нужны многие другие подобные приемы, чтобы научиться. А когда научится, он имеет право их и вовсе забыть.

Есть, однако, у вопросов и недостатки. Это, во-первых, наличие категории «одушевленности и неодушевленности» и, во-вторых, омонимичность некоторых падежных форм («что» — и именительный, и винительный падеж; «кого» — и родительный, и винительный падеж). Следовательно, при использовании этих вопросов для определения падежа необходимо отвлечься от категории одушевленности — неодушевленности, которую они дополнительно навязывают. Как это сделать? Использовать вопросную пару. Не «кого?» (выражены категории падежа и одушевленности), а «кого — чего?» (категории одушевленности — неодушевленности взаимно нейтрализованы). Используя вопросную пару, мы подчеркиваем, что нам важна категория, совпа-

<sup>19</sup> Пешковский А. М. Указ. соч. С. 47.

<sup>20</sup> Зарецкий А. И. Как при разборе определять падежи существительных // Рус. яз. в шк. 1948. № 5. С. 12. Таково же мнение М. Н. Петерсона.

дающая у обоих слов, т. е. падеж. Вот выход, давно найденный практикой, который устраняет один из указанных недостатков «вопросов». Но он же устраняет и второй: пары ведь уже не омонимичны ни в одном падеже. Итак, оба недостатка устранены одновременно.

Глаголы должны усваиваться учеником с указанием на их управление: *любить кого* — *что*, *бояться кого* — *чего* и т. д. Но не все глаголы допускают постановку двух вопросов. *Пью* — только *что*, а не *кого*; *думаю* — только *что*, а не *кого* и т. д. Об этом писал А. М. Пешковский<sup>21</sup>.

В таких случаях надо вопрос ставить не к спрягаемой форме, а к инфинитиву, при котором именительный падеж невозможен. *Пишу письмо... Писать что?* — *письмо*. Следовательно, глагол связан с существительным в винительном падеже. Работа эта вдвойне полезна: с одной стороны, ученик учится находить инфинитив по спрягаемой форме — упражнение, никогда не лишнее, с другой стороны, усваивает законы употребления падежей.

Но, может быть, это методическое требование и излишне. Поскольку вопросы-двойняшки принадлежат особому метаязыку грамматики, нет беды, когда спросят: *думаю кого* — *что* и т. д. Неупотребительность сочетания: *думаю кого* — в бытовой речи не должна смущать<sup>22</sup>.

Перед учеником национальной школы падежные вопросы проходят трижды:

а) Запоминая глагол, он должен запомнить и его управление: *бояться кого* — *чего*, *думать что о ком* — *о чем* и т. д.

б) Изучая словосочетания, он должен понять, что и при одном глаголе могут меняться законы управления, в зависимости от существительного. При глаголах *прибыть*, *приехать* и т. д., если дается название острова, то — *с чего?* (*с острова*, *с Сицилии*, *с Колгуева* и пр.), если название страны, то — *из чего?* (*из Армении*, *из Англии*)<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Пешковский А. М. Указ. соч. С. 47—49. Он преувеличивал такую избирательность глаголов. По Пешковскому можно спросить *кого щекочу?* *кого хлю?* *кого люблю?* *кого дою?*, но нельзя спросить *что щекочу?* *что хлю?* и т. д. Почему же нельзя? *Что хлю?* *Гриву коня, молодую березку. Что щекочу?* *Нервы (или пятки)*. Вопрос *что?* всегда возможен, если возможен вопрос *кто?* (в им. падеже) или *кого?* (в вин. падеже). Ведь действие, которое обычно относится ко всему живому существу, можно отнести и к его части («хлю ногти»), а это позволяет грамматически связать глагол с существительным неодушевленным.

<sup>22</sup> Не надо думать, что все методисты — противники вопросов. Несмотря на авторитет А. М. Пешковского и А. И. Зарецкого, многие высказывались в защиту вопросов. В первую очередь надо отметить работы вдумчивых методистов М. В. Ушакова, И. Р. Палея, психолога В. Е. Гмурмана (О грамматических вопросах // Рус. яз. в шк. 1946. № 4—5).

<sup>23</sup> Такая же работа нужна с именными сочетаниями, но они более стандартны, чем глагольные.

в) Склоняя существительные, ученик непременно должен склонять вопрос:

*кто?           рыбак*  
*кого?           рыбака и т. д.*

или

*кто?           рыбачка*  
*кого?           рыбачки и т. д.*

Вопрос будет мостом, соединяющим формы *рыбака* и *рыбачки* и т. д., т. е. показателем их заменимости в словосочетании. С другой стороны, вопрос выступит и в роли «крючка — петли». Глагол запомнился вопросом: *боюсь кого?* — у глагола крючок, у существительного петля: *кого? рыбака, рыбачки* — значит, легко соединить крючок и петлю: *боюсь рыбачки*, т. е. создавать в речи правильные словосочетания с падежными формами.

Для национальной школы есть еще одна трудность. Сами падежные вопросы в разных языках по-разному группируются, по-разному распределяются между падежными формами.

В русском языке 6 падежей<sup>24</sup>, в других языках — 4... 8... падежей.

Если падежные значения пронумеровать, то они так могут распределяться по падежам в двух языках:

	русский	родной
1	a <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>
2	a <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>
3	a <sub>3</sub>	B <sub>3</sub>
4	a <sub>4</sub>	B <sub>4</sub>
5	a <sub>5</sub>	B <sub>5</sub>
6	a <sub>6</sub>	B <sub>6</sub>
7	a <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>
8	a <sub>8</sub>	B <sub>8</sub>
9	a <sub>9</sub>	B <sub>9</sub>
10	a <sub>10</sub>	B <sub>10</sub>
	6 падежей	4 падежа

В осетинском языке отложительный падеж объединяет значения: 1) исходное место действия; русск.: *из чего?* — *из Грузии, из Ленинграда*; 2) орудийное; русск.: *чем?* — *топором, саблей*; 3) причинное; русск.: *почему? отчего?* — *по болезни, по невнимательности*; 4) сравнительное; русск.: *как*

<sup>24</sup> Строго говоря — 7; название предложный падеж на самом деле объясняет два падежа: местный — *в лесу, на печи*; изъяснительный — *о лесе, о печи, о пыли*.



*что?* — как *орел*. Все эти значения в осетинском объединяются одной падежной формой (и одним вопросом).

В русском языке эти значения распределяются по разным падежам (родительный, творительный, именительный) и связаны с разными вопросами.

Поэтому-то изучение падежей надо начинать со словосочетаний, как сказано было выше, это и позволит правильно группировать падежные вопросы.

Итак, четвертый этап — разработка методики использования падежных вопросов — это общее дело лингвистов и методистов.

V. Когда ясны все элементы обучения русской падежной системе, наступает черед разбивки всего материала по классам. Определяется последовательность введения этих элементов обучения.

Введение их должно быть связано с изучением темы «Имя существительное». Но не только во время изучения этой темы ученики должны учиться правильно строить русские сочетания с существительными в разных падежах. Материал упражнений должен быть распределен по всему курсу средней школы.

Последовательность в изучении материала здесь будет определяться, во-первых, самой системой русского языка (нельзя, например, предложно-падежные сочетания проходить раньше, чем сочетания беспредложные с тем же падежом, и т. д.), во-вторых, дидактикой и психологией обучения.

Этот этап — тоже совместная работа лингвистов и методистов.

## Числительное в новом учебнике\*<sup>1</sup>

Учить детей, говорящих по-русски, русскому языку — это значит: помочь им овладеть нормами языка во всей их строгости и гибкости (важно и то, и другое: и строгость, и гибкость);

научить понимать, как устроен язык, а он устроен «премудро», — и таким путем сделать более острой и активной их мысль;

наконец (last, but not least) сделать их любовь к родному языку более глубокой и сознательной.

Числительные особенно нуждаются в таком изучении: нормы их употребления в речи постоянно нарушаются; ученики большей частью и не догадываются, что эта часть речи устроена «премудро», и уж вряд ли кто из детей признается, что любит числительное.

Здесь представлена часть учебника русского языка (для VII класса), где сделана попытка решить эти три задачи. Пусть читатели судят: нужен ли современной школе учебник такого типа; очень ценными были бы их замечания, как улучшить текст, какие изменения и дополнения нужны.

Автор упражнений 5, 24, 25, 26 — Л. Н. Булатова.

### Числительное

Числительные бывают двух видов: либо они количественные, либо они порядковые.

Сначала разговор у нас будет о количественных числительных.

#### 1. Зачем они нужны?

*Один, два, три, четыре... двенадцать, тринадцать... сорок пять, сорок шесть... двести восемьдесят семь...* — это все количественные числи-

---

\* Русская словесность. 1995. № 2. С. 49—55.

<sup>1</sup> Учебник готовится в соответствии с «Проектом программы по русскому языку для средней школы», разработанным сотрудниками Института русского языка РАН (первая часть: Русский язык. 5 класс / Под ред. М. В. Панова — издана в 1994 г.; она включает разделы «Лексика», «Фонетика», «Орфография», «Учение о морфеме»).

тельные. Они показывают число предметов, их количество. Отвечают на вопрос *сколько?* *По дорожке прыгало пять лягушек.* Сколько прыгало лягушек? *Пять.*

## 2. Они очень похожи на существительные

Существительные изменяются по падежам (склоняются). Но и числительные тоже склоняются! И в некоторых случаях склонения очень похожи:

И. <i>степь</i>	<i>пять</i>
Р. <i>степи</i>	<i>пяти</i>
Д. <i>степи</i>	<i>пяти</i>
В <i>степь</i>	<i>пять</i>
Т. <i>степью</i>	<i>пятью</i>
П. <i>о степи</i>	<i>о пяти</i>

Некоторые ученые так и считают: количественные числительные — это особый вид существительных. Все же, видимо, они не правы.

## 3. Чем же они не похожи друг на друга?

Вы помните, что такое части речи? Это большие грамматические классы слов. Если количественные числительные — особая часть речи, у них должно быть грамматическое отличие от существительных. И оно есть.

Существительные изменяются по падежам, изменяются по числам, каждое принадлежит к определенному роду.

А количественные числительные не изменяются по числам!

От слова *степь* можно образовать множ. число (*степи*), а от слова *пять* — нельзя! И это верно для всех количественных числительных. А если у них нет множественного числа, то нет и единственного. Так устроен язык: чтобы было грамматическое значение, например — значение числа, нужно противопоставление. Множественное число должно противостоять единственному.

У количественных числительных нет форм множественного числа, значит — нет и форм единственного. То есть вообще нет грамматического значения числа.

И это понятно: они выражают числовые значения своим корнем (или основой), поэтому для них было бы совершенно излишним еще и грамматическое значение числа. Двум разным значениям числа — корневому лексическому и другому, грамматическому, было бы трудно ужиться в одном слове.

Значит, не случайно числительные — те слова, которые обозначают числовые отношения, — не имеют значения грамматического числа<sup>2</sup>.

**Упражнение 1.** Представьте себе язык (фантастический; придуманный), в котором каждое существительное с помощью особых частичек, морфем, показывает, какой оно называет предмет: большой или маленький. Потом, с ходом истории, представьте, те слова, которые употреблялись для маленьких предметов, исчезли. В истории языка так бывает: некоторые формы и слова исчезают. Были — и нет. Вот и в нашем языке исчезли слова для «малоразмерных» предметов.

Подумайте: могли бы при этом оставшиеся существительные сохранить прежнее значение и называть только большие предметы?

**Упражнение 2.** Внимательно, медленно прочтите отрывок из научной работы «Русский язык» (1947) В. В. Виноградова — блестящего исследователя, знатока русского языка.

«... В современном русском языке имена числительные ⟨...⟩, в общем, лишены оттенка предметности. Поэтому они (от *трех* до *тысячи*) не имеют грамматического рода (ср.: *три, четыре, десять, пятьдесят, сто* и т. п.). Нельзя сказать *круглый пять* или *круглая пять*. Разговорное выражение *круглое пять* обозначает не число, а школьную отметку, „балл 5“ как оценку знаний (по какому-нибудь предмету или по всем предметам). ⟨...⟩ Отсутствие родовых различий, неспособность сочетаться с прилагательным решительно отличают имена числительные от количественных существительных. Поэтому приходится признать в корне ошибочным мнение А. А. Шахматова, что существительные *пара, пяток, десяток, половина, сотня* и т. п. следует относить к числительным „совокупительным“, „как только они вызывают количественное представление не само по себе, а в сочетании с существительным: *пара лошадей, пара сапог, сотня яиц, дюжина ложек, осьмушка табаку* и т. п.“. Ведь существительные *пара, десяток* и т. п. в этом сочетании свободно соединяются с согласуемым именем прилагательным: *разрозненная дюжина ложек, парадная пара сапог, вторая сотня яиц* и т. п.»

Прочтите этот отрывок еще раз. Перескажите его (можно, для облегчения, заглядывать в текст В. В. Виноградова).

<sup>2</sup> В методическом вкладыше, может быть, стоило бы разобрать такие случаи:

— *Я на доске написал 5 и 5; Это пять и это пять, вместе — десять...* (здесь «это» не обозначает, что *пять* — в ед. числе, а относится к слову *число* (эллипс);

— *Эти 5 и эти — вместе 10...* (здесь «эти» относятся к сочетанию *пять единиц*, тоже эллипс. Сама возможность в таких оборотах употреблять и *это*, и *эти* говорит об их эллиптичности).

Подумайте: какие грамматические признаки числительных упоминает в этом отрывке В. В. Виноградов? А какой признак, который вы знаете, в этом отрывке не упомянут?

Почему перед словами «как только они...» стоят кавычки? Где они закрываются?

В. В. Виноградов спорит с мнением А. А. Шахматова. Какие доводы он приводит в доказательство своей мысли? Согласны ли вы с этими доводами? (Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить признаки числительных.)

**Упражнение 3.** Какие слова, перечисленные ниже, не являются числительными? Какие признаки не позволяют считать их числительными?

*Семь, восемнадцать, десяток, десятка, десять, двести, медведь, дюжина, трехразовый, килограмм, сто, сотняга.*

**Упражнение 4.** Докажите, что слова *сотня, тысяча, миллион, миллиард* — не числительные, хотя и употребляются при счете.

**Упражнение 5.** Помните ли вы шутливое стихотворение, придуманное медвежонком Винни-Пухом?

— Вопрос мой прост и краток, —  
Промолвил носорог, —  
Что лучше: сорок пяток  
Или пяток сорок?..  
Увы, никто на это  
Ответа  
Дать не мог.

(русский текст Б. Заходера)

Сколько в этом стихотворении числительных?

**Упражнение 6.** Вова Бутузов говорит: — Я знаю легкий способ понять, какое слово числительное. Если его можно передать цифрой, — вот оно и числительное. Например: *два*. Пожалуйста:

2

Конечно, числительное... Огурец! Цифрой не передается. Не числительное!

— Почему же? — возразила Настя Кувшинчикова. — Огурец очень хорошо передается нулем:

0

Пожалуйста! Ноль, а какой хороший огурчик!

Настя шутила. А если всерьез: хорош ли способ Вовы находить числительные?

**Упражнение 7.** Числительное не имеет грамматического значения числа. Слово *миллион* имеет формы числа: *миллион* — *миллионы*. Но, попадая в состав составного числительного, оно теряет способность изменяться по числам: *с пятью миллионами двадцатью пятью тысячами... без двух миллионов*

*семисот пятидесяти...* Здесь могут быть только формы *миллионами*, *миллионов*, а формы *миллионом*, *миллиона* (ед. числа) невозможны в случаях, когда это слово входит в состав составных числительных.

Значит, оно в этом окружении теряет способность изменяться по числам, то есть не имеет формы числа. Окончания *-ами*, *-ов* вроде бы множественного числа, но по сути они уже не передают грамматического значения числа. Значит, приняв слово *миллион* в свой круг, числительные уподобили его себе: оно утратило способность изменяться по числам. А это значит: утратило грамматическое значение числа. И в этом окружении стало само числительным...

Согласны ли вы с этим рассуждением? Какие у вас возражения?

#### 4. Удобство числительных

Плохо нам было бы без числительных! Количество предметов надо было бы обозначать жестами (например, показывать на пальцах) или с помощью рисунков. Или для счета использовать конкретные слова, и они бы постепенно превратились в числительные.

Значительное развитие математики было бы вообще невозможно. Н. И. Лобачевский, знаменитый математик, один из создателей неевклидовой геометрии, писал, что колоссальные успехи математики были бы недостижимы без постоянного совершенствования языка. (Он имел в виду и общеупотребительный язык, и специальный язык математики.)

**Упражнение 8.** Писатель Текки Одулок, юкагир по национальности, написал талантливую повесть «Жизнь Имтеургина старшего»; она посвящена жизни чукчей до революции. Эта повесть очень нравилась Максиму Горькому, особенно он ценил язык этой повести: в языке воссоздан сам строй мышления героев-чукчей, и в то же время это прекрасный, чистый, выразительный русский язык. Трагическая гибель (1938) оборвала творчество писателя, когда ему было всего 32 года. Вот отрывок из этой повести:

... Кругом снег лежит. По снегу Имтеургин ходит в штанах из оленьих камусов, в оленьей рубахе, в оленьей шапке. Сторожит оленью стаду. Черные, пегие олени копают снег копытами, щиплют мох. Большие рога над снегом качаются.

Имтеургин захотел сосчитать своих оленей. Он снял рукавицы и стал загибать пальцы. На одного оленя указал и загнул большой палец. Потом на второго указал и загнул другой палец. Все пальцы загнул. Но оленей в стаде было больше, чем пальцев у него на руках.

Имтеургин сел на снег, притянул к себе ногу в мохнатой обуви и пересчитал пальцы ног. Когда сосчитал пальцы на обеих ногах, он провел по снегу палкой и сказал: «Один человек». Но оленей в стаде было больше, чем пальцев на руках и на ногах у одного человека. Имтеургин опять

сосчитал по пальцам рук и ног, опять провел палкой по снегу и сказал: «Два человека». Но и теперь еще не все олени были сосчитаны. Имтеургин провел палкой полосу, потом еще полосу и сказал: «Три человека, еще полчеловека, да еще лоб, два глаза и нос. Вот сколько у меня оленей!»

*Камусы* — полоса шкуры с оленьей ноги.

*Пегие* — с пятнами (говорится о масти животных).

Трое прочли этот текст и спорят:

— Имтеургин, видно, не умел считать...

— Как не умел? Он же счел оленей. Но ему было трудно: у него нет особых счетных слов.

— Как нет? Он превратил в числительные такие слова, как *человек*, *глаза*, *нос*... И пользуется ими совсем так же, как мы словами *двадцать*, *два*, *один*...

Кто, по-вашему, прав?

**Упражнение 9.** А. А. Потебня, лингвист и философ, писал: «Математика, оперирующая отвлеченным числом, отвлеченною величиной, возможна лишь тогда, когда язык перестает ежеминутно навязывать мысль о вещественности числа». В противном случае, говорил Потебня, даже «величайший математик, например Пифагор, должен был бы остаться только на пороге настоящей математики».

Перескажите мысль Потебни своими словами. Как вы ее понимаете?

### 5. Почему *сметана* — не числительное?

Если грамматическая особенность числительного состоит только в том, что у него нет изменения по числам, то какое-нибудь слово *сметана* попадает ... в числительные! Да! Именно так!

Нехорошо получилось. Действительно, есть существительные, которые не изменяются по числам. Например: *сметана*, *нефть*, *опилки*, *будни*, *сани*, *часы*... (см. главу о существительном). Одни имеют только формы единственного числа, другие — только формы множественного... Нет у них противопоставления форм единственного — множественного числа. Значит, грамматическая единичность и множественность у них прямо не выражены!

Верно, что прямо не выражены. Но косвенно числовые отношения могут выражаться и у этих существительных. Например:

— Я не люблю те будни, которые перед праздниками: суета, хлопоты, волнения... Я люблю будни после праздников.

— А я ни те, ни эти будни не люблю. Я праздники люблю!

«Те и эти будни!» Вот и выражена множественность будней. Пусть косвенно, синтаксически. Другой пример:

— Что ты выбираешь? Дрожжи и есть дрожжи. Нечего выбирать...

— Нет, дрожжи бывают разных сортов. Даже по цене видно: дрожжи на той витрине и на этой не одинаковы.

А у числительных никак, даже косвенно, не может быть выражено противопоставление единственного и множественного числа.

**Упражнение 10.** Придумайте предложение (или короткий диалог), где бы слова типа *очки, легкие, опилки, молоко, смелость, синела, крутизна* употреблялись бы в значении множества предметов — и контекст бы указывал на это. Примеры:

— Мясные консервы я люблю, а рыбные — нет.

Или:

— Нет, никакие из этих брюк мне не нравятся.

## 6. Язык не допускает путаницы

Посмотрим, какие знания о числительных мы накопили, подведем некоторые итоги.

Количественные числительные — особая часть речи. Ее грамматический признак — есть изменение по падежам, но нет изменения по числам, значит — нет грамматического значения числа.

Большинство изменяющихся слов имеет значение числа:

*сад* — *сады* (существит.),

*большой* — *большие* (прилагат.),

*идет* — *идут* (глагол.).

Какие же изменяющиеся слова не имеют значения грамматического числа? Кто они такие — слова, у которых падежные окончания совсем не хотят знаться со значением числа? Оказывается, это такие слова, у которых сам корень (или основа) выражает числовые значения.

И это понятно: если бы у этих слов было и лексическое (корневое), и грамматическое значение числа, то не миновать бы неразберихи и путаницы. Например, как бы надо было это понять, если бы слово со значением «5» имело грамматическое значение единственного числа? Что оно обозначало бы: множество или единичность? Непонятно!

Значит, сказать: «это слово изменяется по падежам, но никакого отношения к изменению по числам не имеет» и сказать: «это слово своим корнем (или основой) обозначает число» — значит сказать одно и то же: обозначить числительное.

Слова, которые грамматически не приемлют значения числа, все имеют лексическую особенность: они (своим корнем или основой) обозначают числовые отношения. Поэтому и зовутся числительными.



У числительных устранена «предметность», «вещественность», которую имеют существительные. Поэтому числительные способны быть орудием счета, инструментом математики. Числительные позволяют устранить конкретность в значении слова и поэтому хорошо служат абстрактной мысли.

**Упражнение 11.** Нина Конькова говорит Васе Воздушному:

— Отгадай загадку. Не отгадаешь — тогда лезь на эту шведскую стенку, до самого верху, а то ишь ты какой толстый.

— Я не толстый, — сказал Вася. — А твою загадку непременно отгадаю.

— Стоят две коровы у реки. Одна напилась, говорит другой: «Пей до отвала, вода хороша!», а другая ей: «Раз ты напилась, то мне уж и не надо!»

— Что ж, коровы эти что ли соединены?

— Отгадай!

Не смог Вася отгадать. Тогда Нина сама сказала:

— Это числительное! Корень всласть упился числом, так окончанию уж и не хочется.

Полез Вася, пыхтя, на шведскую стенку.

... Придумайте свою загадку про числительное количественное.

(А нет ли у загадки Нины других отгадок, фонетических или грамматических?)

## 7. Внимание! Они — не числительные!

**Упражнение 12.** Пронесся слух, что числительным дают конфеты, притом каждое числительное может взять столько конфет, сколько оно значит. Например, числительное Семь может взять семь конфет.

Тут врывается Миллион и требует себе миллион конфет!

— Нет, — твердо сказала числительное Сто, — вы не числительное. И конфеты получайте где-нибудь в другом месте.

— Тогда и ты не получишь, — кричит Миллион, — Сотня — тоже не числительное!

— Я — не Сотня, я — Сто, — рассудительно сказала числительное и получило свои сто конфет. Поделилось с числительными Один, Два, Три, Четыре, Пять, Шесть...

Правильно ли, что Миллион, Сотня — не числительные? Каким грамматическим признакам числительного они не отвечают?

Какие вы можете вспомнить другие слова, обозначающие числа, но не числительные? К какой части речи они относятся?

**Упражнение 13.** Какое самое большое количественное числительное, выраженное одним словом (т. е. не составное), вы знаете? «Самое большое» — т. е. выражающее наибольшее число.

**Историческая справка.** В древнерусском языке слово *сто* изменялось по числам. Остаток этого старинного изменения остался в выражении *несколько сот*.

Как видно, слова, у которых корень имеет количественное значение, могут быть разных частей речи:

*три, десять, семнадцать, сто* — числительные;  
*тройка, десяток, сотня, тысяча* — существительные;  
*двойной, десятикратный, сотый* — прилагательные;  
*удвоить, удесятерить* — глаголы;  
*вдвое, натрое* — наречия.

К какой части речи относится каждое такое слово, узнаем по его грамматическим свойствам.

## 8. Слово *один*

Слово *один* изменяется по падежам (*один — одного — одному*), по родам (*один — одна — одно*) и по числам (*один — одни*). По числам? Значит, оно — не числительное? Не будем торопиться с выводами.

Форма *одни* согласуется с существительным, которое не имеет формы единственного числа: *одни ворота, одни джинсы*. Форма множественного числа в этом случае не означает множества предметов, она не имеет грамматического значения множественности. Эта форма нужна только для согласования. Поэтому такая форма может быть числительным: *На улице вели многие входы и выходы, а в переулок выходили всего только одни ворота*.

В других случаях форма *одни* может играть роль частицы: *Вдоль дороги росли одни дубы*. В этом случае форма *одни* равна по смыслу частице *только*.

Слово *один* может употребляться в значении местоимения — «некий, какой-то»: *Мне рассказывал один знакомый...* В этом же смысле употребляется и форма *одни*: *Я вам расскажу об одних своих знакомых...* В этих двух случаях слово *один, одни* теряет свою принадлежность к числительным и переходит в группу частиц или местоимений.

Как видим, в одних случаях это слово в форме множественного числа является числительным (в форме *одни*, которая не имеет грамматического значения множественности), в других случаях перебегает к другим частям речи.

Общий вывод: Когда *один, одни* — числительное, то различия по числам у него нет.

Если составное числительное оканчивается словом *один*, то все слова ставятся в формах единственного числа: *С теплохода на берег сошел сто двадцать один пассажир*.

**Упражнение 14.** Форма *одни* может употребляться в сочетании с существительными, не имеющими форм единственного числа (*Он купил одни ножницы*), а также с существительными, обозначающими парные предметы: *В одни руки большие двух селедок не давать!* Или: *Я не могу сразу шить и писать: у меня только одни руки.*

Придумайте свои примеры на эти два случая.

**Упражнение 15.** Допишите слова (а если не нужно, то, конечно, не дописывайте).

В школьном крольчатнике жив... 81 кролик... .

На выставке представлен... 231 экспонат... .

Лесники говорят, что, судя по берлогам, в лесу жив... 21 медведь.

У нас проголосовал... уже 2641 депутат... .

На празднике буд... 121 ученик..., и им приготовлен... 121 подар... .

**Упражнение 16.** В нашем кружке — 32 мальчика и девочки... Предложение ясное, понятное. А если 31? Поставьте в предложение, согласуйте с этим числительным другие слова. И получилось непонятно! Переделайте, чтобы вышло хорошо, чтобы смысл был понятен.

В нашем городе 95 тенистых улиц и площадей. Подставьте вместо 95 числительное 91. Переделайте зависимые слова так, чтобы было правильно. Предложение получилось плохое: понимаете почему? Переделайте так, чтобы смысл предложения был ясен: 91 — число и площадей и улиц вместе.

**Упражнение 17.** Нина Конькова привязала веревочку между стульями и говорит Васе Воздушному:

— А вот не сможешь перепрыгнуть!

— Не мешай, — говорит Вася. — Я рассказ пишу. Про волшебный кристалл. Уже первую фразу придумал: «Жил-был Волшебный кристалл, и у него пересекалась друг с другом 21 грань»!

— «Грань пересекалась друг с другом»! Разве так можно сказать? Это все равно, что: Вася повстречало друг с другом!

— Так по грамматике выходит! Раз сказано: *двадцать одна*, то сказуемое в единственном числе.

— Плохо вышло. Переделай.

— Ну, хорошо: «У кристалла была 21 грань, и они пересекались друг с другом...»

— Подходит. А почему не сказать: «У кристалла была 21 грань» — и все? Без *пересекались*? Раз грани — ясно, что пересекались.

— Ах так! — вскричал Вася. — Мой рассказ переделывать! А вот я его и не буду писать!

Но все-таки Нина права. Неудобно было бы сказать: «Тридцать один драчун поколотил друг друга», «31 фонарь постепенно погас».

Как же надо сказать? Например, последнее предложение можно изменить так: *30 фонарей постепенно погасли один за другим; наконец погас и последний — 31-й.*

### 9. Слова два, оба

Числительные *два, оба* изменяются по родам: *два дуба, два облака* (муж. и ср. род), но *две тучи* (жен. род); *оба глаза, оба уха* (муж. и ср. род), *обе ко-сы* (жен. род). И в других падежах это различие сохраняется<sup>3</sup>.

**Упражнение 18.** Два школьника, любителя птиц, Куницын и Лисицын, возвращались с птичьего рынка. Один купил чижей, другой — синиц. Птиц не видно: клетки закрыты материей.

Спрашивают друг друга:

— Лиса, у тебя их сколько?

— Две. А у тебя, Куница, сколько?

— Два.

Каких птиц купил Куницын? Каких птиц купил Лисицын? Почему вы так решили? А если бы они купили по три птицы, можно ли было бы по таким же репликам узнать, у кого какие птицы?

**Упражнение 19.** Наш Виктор — выдумщик, но не обманщик. Он выдумывает небылицы, чтобы потешить нас, посмешить. Вот он как придумывает:

— Я очень сильный. Иду по лесу. Вижу — медведь и медведица мне навстречу. Я — раз! — обеих связал, думаю: в зоопарк отправлю. А тут медвежонок прибежал, плачет; жалко мне стало медведей. Развязал... Иду дальше. Два барсука играют, с горки катаются. А я наловчился — и в мешок их. Вот, думаю, шапки будут. А они горюют, на волю просятся. Ну, развязал я мешок, обеих на волю выпустил, А тут, глядь, две зайчихи, капусткой лакомятся...

— Как это ты узнал, что они зайчихи, а не зайцы?

— Сами сказали. Я с ними еще прошлым летом познакомился. Едят себе капустку, а капуста-то наша! Я ногами как затопчу... Обоих перепугал. Они отбежали, остановились и говорят:

— Как тебе не стыдно! Разве со знакомыми так поступают? Мы вот оба теперь верить тебе не будем...

Действительно, Витя поступил с зайчихами очень нелюбезно. А в чем еще можно его упрекнуть? Судя по рассказу, он заслуживает упрека!

---

<sup>3</sup> Далее в учебнике будут даны парадигмы этих числительных. Так же и в других параграфах печатаются парадигмы соответствующих типов числительных. Или лучше все их собрать в конце главы «Числительные», отделив таким образом «рассказывательную» часть от справочной? А может быть, и вообще все парадигмы, по всем частям речи, собрать в конце книги, в особом «Грамматическом справочнике»?

**Историческая справка.** Раньше, в древнерусском языке, по родам изменялись не только числительные *два* — *две*, *оба* — *обе* (и полтора — *полторы*), но и другие, например, *три*, *четыре*. Говорили *трие дома* (муж. род), но *три избы* (жен. род).

Числительное *два* склонялось в двойственном числе или во множественном. Остатки такого склонения видим в некоторых сложных словах. Например, от числительного *два* в род. пад. двойственного числа были формы *двою* и *дву*, в том же падеже мн. числа — *двух*. Эти формы сохранились (утратив, конечно, падежное значение) в словах *двоюродный брат*, *двоюродная сестра*, *двуглавый собор*, *двугорбый верблюд* (от старых форм двойственного числа), *двухаршинный*, *двухэтажный* (от старых форм мн. числа).

## 10. Собираемые числительные

Числительные *оба* (муж. род и сред. род), *обе* (жен. род), *двое*, *трое*, *четверо*, *пятеро*, *шестеро*, *семеро*, *восьмеро*, *девятеро*, *десятеро* — собираемые.

Собираемые числительные обозначают количество предметов в их совокупности.

Собираемые числительные сочетаются с существительными мужского рода, обозначающими лиц: *трое юношей*, *пятеро рыбаков*. Только форма *обе* сочетается со словами женского рода: *обе приятельницы*.

*Я в прошлом году дружил с тремя мальчиками.* Это предложение не свидетельствует о том, что три мальчика составляли одну компанию. Может быть, они и не были знакомы друг с другом (например, один друг — одноклассник, другой — товарищ по спортивной команде, третий — родственник).

*Моиими друзьями были трое мальчиков.* Здесь слово *трое* показывает, что мальчики все вместе были его друзьями.

Кроме того, собираемые числительные употребляются с существительными, которые не имеют формы единственного числа, но обозначают отдельные вещи: *В ящике лежат двое ножниц*. *У нашего двора двое ворот*.

**Упражнение 20.** Прочтите:

Я собираю марки и переписываюсь с другими филателистами. Особенно часто мне присылают марки двое: моя бабушка Мария Семеновна из Ярославля и подруга младшей сестры, первоклассница Маша из Алма-Аты.

Употребив слово *двое*, автор этого текста сразу допустил две ошибки. Какие?

**Упражнение 21.** Прочитайте текст:

Протянул я продавцу чек и говорю:

— Дайте две ножницы. Одну покороче вот такую, а другую подлиннее...

— Как это: две ножницы? А где ты видишь одну ножницу? У меня нет такого товара!

— Мальчик, — сказала одна из покупательниц, — тебе нужно двое ножниц? Две пары ножниц?

— Конечно! Каким еще языком говорить! — сказал я.

— Хорошим русским языком, — ответил продавец и протянул мне двое ножниц.

Составьте свой рассказ такого же типа.

**Упражнение 22.** Присоедините к существительным собирательные числительные. Объясните, почему некоторые из этих существительных нельзя сочетать с собирательными числительными.

Машинисты, машинистки, очки, врачи, санитарки, путешественники, бобры, утки, бульдозеры, изобретатели, растворители, знаменатели, заместители, писатели.

**Упражнение 23.** Ниже приведены предложения, в которых числительные собирательные употреблены неверно. Объясните, в чем неправильность.

Двое мальчиков шли по мосту навстречу друг другу.

Пятеро очень красивых артисток вышли на сцену и дружно, в лад запели песню.

Шестеро зайцев весело скакали по лужайке.

К радости детишек во дворе соорудили пятеро снежных горок.

Пришла весна, и в четырех берлогах проснулись четверо отошавших за зиму и очень сердитых медведиц.

**Упражнение 24.** Прочитайте текст.

Особенно удачно выступили Петренко, Седых и Акопян. Все трое включены в состав сборной республики.

Ответьте, о какой команде идет речь — о мужской или о женской?

**Упражнение 25.** Объясните разницу в значении словосочетаний *пять часов* и *пятеро часов*. Составьте предложения с этими словосочетаниями.

**Упражнение 26.** Вставьте вместо цифровых обозначений нужные формы числительных.

Снег идет (2) суток. — Больной не приходил в сознание в течение (2) суток. — В нашем распоряжении (3) метлы и (5) граблей. — На (3) часах одновременно пробило (6) часов.

**Упражнение 27.** Вы уже знаете, когда можно употреблять собирательные числительные. Но были перечислены только главные, а не все случаи. Прочтите примеры; в них даны дополнительные сведения об употреблении собирательных числительных:

1) двое забияк, трое лакомок, пятеро старост;

2) семеро ребят, трое детей, двое медвежат, шестеро котят;

3) нас было семеро; мы, все семеро, запели; их было шестеро; а нас — всего двое; вы, семеро, не победите нас двоих...

Для этих трех случаев сформулируйте три правила.

Эти дополнительные случаи не отменяют требования, данные выше: *нас было двое* можно сказать только о мальчиках, о мужчинах.

А можно ли в сказке, в фантастическом рассказе написать: *Два камня лежали у дороги... Один пожаловался другому: «Вот мы двое лежим здесь уже триста лет, и никто нас не похвалит»...* Что вам подсказывает ваше языковое чутье: годится ли такое выражение, или оно вызывает у вас протест? «задевает» вас?

## Типология лексических ошибок, вызванных взаимодействием языковых систем\*

В современной методике (как и во всей современной науке) идут два процесса, которые могут показаться «противонаправленными», даже несовместимыми друг с другом. На самом деле они дополняют и обогащают друг друга. Первый процесс — это «наведение мостов» между отдельными науками и разными ответвлениями одной науки. Другой процесс — углубление специфики каждого ответвления науки, поиски своих особых путей исследования.

В методике преподавания русского языка отстающей является первая тенденция: «наведение мостов». Каждая частная методическая проблема решается изолированно, отъединенно от других методических проблем.

В статье сделана попытка классифицировать лексические ошибки учеников национальной школы параллельно с классификацией ошибок в произношении. Последние изучены достаточно хорошо и могут пролить свет на отдельные особенности лексических ошибок. Сама задача — показать типологическое сходство в двух очень различных областях методики, найти параллелизм в причинах, порождающих лексические и произносительные ошибки, — позволит более уверенно искать пути преодоления этих ошибок.

Как всякий первый опыт, данная попытка, несомненно, уязвима с разных сторон. Но именно обсуждение уязвимых сторон и может быть полезно для дальнейших успехов преподавания русского языка в национальной школе.

1. Два к одному или один к двум? Понятия, которые в русском языке переданы рядом слов, в родном языке ученика могут быть обобщены одним словом; расчлененность понятий отсутствует. Схематически изобразим это так:



Это — один из наиболее частых и хорошо изученных случаев. Приведем примеры. В лезгинском языке глагол *фин* обозначает ‘идти, а также ехать, ле-

---

\* Лексические ошибки в русской речи учащихся национальных школ РСФСР: Сб. науч. тр. М.: Просвещение, 1984. С. 81—93. Статья печатается в сокращении.



теть, плыть и т. д. В русском языке этому глаголу соответствует ряд дифференцированных по смыслу слов. Отсюда — ошибки учеников-лезгин в русской речи: «Он к нам *идет* на лодке. Мы *шли* на самолете» и т. д.<sup>1</sup>

«Значения русских существительных *берег, опушка, край, окраина, обочина, сторона* передаются на родном (лезгинском) языке словом *кърёх*. Это порождает ошибки в русской речи: „*берег леса*“ (вм. *опушка*), „*берег стога*“ (вм. *край*), „*берег села*“ (вм. *окраина*), „*берег дороги*“ (вм. *обочина*), „*берег улицы*“ (вм. *сторона*)»<sup>2</sup>.

В фонетике тоже известны такие отношения. Например, в русском языке различаются гласные *о* и *у*: *сок* — *сук*, *жёл* — [жок] — *жук*, *зоб* — *зуб* и т. д. Для учеников лезгинской школы это различие — одно из самых трудных: в лезгинском языке нет противопоставления ⟨о⟩ — ⟨у⟩, всякий лабиализованный гласный заднего ряда — для них ⟨у⟩ (подобно тому, как для лезгинского же ученика слово со значением ‘передвигаться, перемещаться’ — это всегда *фин*, идти).

Для преодоления и произносительной, и (однотипной) лексической ошибки нужно в первую очередь сделать реальностью для ученика те дифференциальные признаки, которые он не привык принимать во внимание.

В лезгинском языке есть гласный [э]; идти надо от него: гласный [о] — сдвинутый назад и огубленный [э]. Учитель, исходя из родных артикуляций ученика, ставит произношение [о].

«Переработка» артикуляций начинается с их изоляции, с их выделения в качестве особого объекта наблюдения и освоения. (Иной путь при усвоении произношения, который хорош в детском саду и в начальной школе.) Так же и при освоении семантических дифференциальных единиц: нужны упражнения, выделяющие различительные признаки, делающие их предметом отдельного пристального внимания.

Учитель начинает ряд словосочетаний: *еду на телеге, еду на санях, еду поездом, еду на метро*... Кто продолжит? *Иду по дороге, иду по улице, иду по лесу, иду по лугу, иду по берегу*... Кто продолжит? *Плыву по реке на пароходе, плыву по озеру на лодке, плыву по морю на ледоколе, плыву по пруду на плоту*... Кто продолжит? Даны словосочетания, которые выделяют дифференциальный признак — подобно тому, как произносительные упражнения выделяют тоже дифференциальный, но фонетический признак.

Это — начальный, самый трудный и важный исходный момент работы; затем навыки пользоваться в речевой практике новыми разграничениями доводятся до автоматизма.

<sup>1</sup> См.: Магомед-Касумов Г. М. Лексическая интерференция и пути ее преодоления: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1978.

<sup>2</sup> Там же, с. 10.

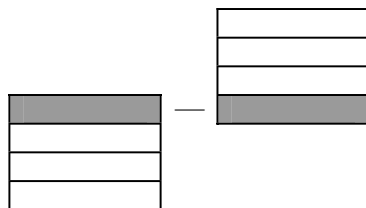
Такая работа полезна, если в родном языке одна единица, а в русском две. Но могут быть и обратные отношения: в родном языке — два слова, в русском — одно. Например, в хантыйском языке олени разных пород, разных возрастов называются словами, подчеркивающими различие называемых объектов, а в русском всему этому ряду соответствует одно слово.

Здесь, казалось бы, трудностей быть не может. Фонетическая параллель: в удмуртском языке есть аффрикаты — [ч] (твердый согласный) и [ч'] (мягкий согласный). В русском языке — только мягкий согласный [ч']<sup>3</sup>. Возникают ли трудности при усвоении удмуртскими школьниками этого участка русской произносительной системы? Нет, ведь усвоение русского [ч'] означает, что они в своей русской речи не будут пользоваться твердым звуком [ч], только и всего. Так же будет обстоять дело и с описанным лексическим случаем: ученики-хантыйцы будут употреблять вместо разных слов своего языка одно русское: *олень*.

Различия, представленные хантыйским языком в целом ряде слов, останутся неиспользованными. Это не приведет к речевым ошибкам и, как правило, не породит непонимания при общении.

Но все-таки дело будет обстоять не всегда так просто. Поскольку в русском языке нет готовых лексических средств, позволяющих передавать те различия, которые выражены в родном языке учеников рядом слов, постольку встретятся случаи, когда нужно использовать описательное словосочетание, т. е. сказать не просто *олень*, а *олень-одногодок*, или *молодой олень*, или *необъезженный олень* — без этого речь будет неполной, непонятной. Учитель, знающий родной язык учеников, всегда сможет распознать такие случаи и исправить ошибку.

**2. Несовпадающая многозначность.** Многие слова представляют собой набор значений. У русского слова и у соответствующего слова из родного языка учеников этот набор может совпадать только частично. Это широко распространенный случай, редкостью скорее является полное совпадение значений у двух слов из разных языков. Схематически это можно представить так:



<sup>3</sup> Русский [ч'] и удмуртский [ч'] имеют различия в артикуляции; мы отвлекаемся от этого различия.

Схема показывает, что у двух слов совпадают некоторые значения (они заштрихованы), а некоторые не совпадают, т. е. они передаются в одном из языков какими-то другими словами.

Пример. В русском языке слово *лицо* имеет значения: 1. Передняя часть головы человека. *Она поцеловала его в лицо.* 2. Индивидуальный облик, отличительные черты кого-, чего-либо. *Этот журнал имеет свое лицо.* 3. Человек как член общества. *Он — лицо ответственное.*

По-лезгииски 1-е значение передается словом *чин*, 2-е — словом *къамат*, 3-е — словом *кас*.

С другой стороны, *чин* по-лезгински значит также ‘наружная, верхняя сторона’: *столдин чин* — поверхность стола, *ктабдин чин* — страница книги.

Поэтому в русской речи учеников-лезгин встречаются ошибки: *лицо книги* (т. е. *страница*), *лицо стола* и т. д.

Фонетическую параллель провести нетрудно. В рутульском языке есть гласный [oI] — фарингализованный, среднего подъема, заднего ряда, лабиализованный.

Гласный [o] в русском языке, в более точной транскрипции [ʲo], — нефарингализованный, среднего подъема, заднего ряда, лабиализованный, дифтонгоидный. (Дифтонгоидность — устойчивый, нормативный признак русского [o].)

В признаках гласных есть общая часть: три средних признака. И имеются части не общие, выходящие за пределы сердцевины. Параллель с отношением многозначных слов (см. выше) достаточно полная.

В фонетике такой случай — один из самых трудных. Приходится использовать длительный, но надежный путь обучения чужому звуку: поэтапное преодоление различий. Ставится ряд упражнений для обучения нефарингализованному [o]; при этом на другие несоответствия русскому звуковому эталону не обращается (временно) внимания. Потом отрабатывается другой элемент эталонной артикуляции, например, дифтонгоидность.

Обратимся к лексическому примеру со словом *лицо*. И здесь встречаются большие трудности, преодоление которых следует провести поэтапно. Необходим ряд упражнений, утверждающий ученика в понимании, что сочетания *лицо стога*, *лицо книги* — неверны (отсекаем от слова *лицо* те виды значения, которые не соответствуют русскому лексико-семантическому эталону). И нужен, как особый этап обучения, ряд других упражнений, показывающий, что русскому слову *лицо* свойственны значения, которых нет у слова *чин*.

**3. Продуктивная многозначность.** Позиционные чередования — важнейшая особенность фонетической системы каждого языка. Существует закон, по которому определенный звук заменяется другим определенным звуком по требованию позиции. Сравним: *дом* — *дома*, *водный* —

*вода, ходит — хожу, холодный — холоден, просто — упростить, восемь — восьмой...* Ударный гласный [о] во всех словах заменяется гласным [а], когда попадает в первый предударный слог, после твердых согласных. В *ся-ко-е* [ó] — то есть в любой морфеме, в любом слове — подчиняется этому закону.

Только недавно было обращено внимание, что в лексике есть отношения, принципиально сходные с позиционными фонетическими чередованиями. Речь идет о продуктивной многозначности слова.

Многозначность является продуктивной, если любое слово, имеющее значение А, имеет и значение Б. Например, всякое слово со значением ‘сосуд’ означает также ‘количество вещества, способное уместиться в таком сосуде’. Примеры: *У входа стояла бочка с водой. Чтобы полить этот огород, нужна чуть ли не бочка воды. Вот тебе стакан для молока. На завтрак мне нужен всего только стакан молока.* Даже предметы, «окказионально» использованные как сосуд, сейчас же обнаруживают и способность иметь значение меры вещества: *Воду из реки черпали шапками. Я вытил целую шапку воды.*

Здесь, следовательно, также налицо мена — но не звуков, а значений слова. В одном контексте слово *ведро* выступает в своем основном значении ‘сосуд’, в другом контексте оно приобретает производное значение — название определенного количества вещества (жидкости или сыпучих тел). Мы имеем право одно из значений называть главным: взятые в «одиночестве» (с нулевым контекстом) слова *ведро, бочка* и т. д. обозначают всегда и непременно ‘сосуд’. Значение меры вещества появляется под влиянием контекста, т. е. оно зависимо от контекста (а значение ‘сосуд’ у этих слов — независимо). Это прямая параллель к явлениям фонетики: гласный [о] — основная разновидность фонемы ⟨о⟩, а все другие звуки, в том числе и предударный [а], — зависимая, обусловленная контекстом (позицией). Существенное отличие в том, что фонетический контекст, требующий определенного звука, всегда может быть точно описан, а контекст, вызывающий зависимые значения, часто не поддается вполне четкой характеристике. И это, конечно, затрудняет практическую работу при обучении языку.

Позиционные мены значений — обычное явление в языке. Например, в русском языке существуют такие типы продуктивной многозначности<sup>4</sup>:

1) Глагол — название действия || глагол со значением «вызывать это действие»: *Нож хорошо режет.* || *Николай режет хлеб ножом. Шпоры звенят.* || *Он звенит шпорами. Кольцо брякнуло.* || *Он брякнул кольцом. Глаза удивленно моргают.* || *Он моргает глазами...*

<sup>4</sup> См.: Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М.: Наука, 1974.

2) Организация || занимаемое ею помещение: *Он работает в прокуратуре.* || *Прокуратура помещается на такой-то улице. Дети должны учиться в школе.* || *Школа у нас светлая, с широкими окнами.*

3) Цифра || предмет с таким числом составных частей: *Он написал на доске тройку.* || *Из-за поворота вылетела лихая тройка.* || *Тройка, распевая песни и размахивая руками, завернула за угол.*

4) Столица государства || его правительство: *Вена — красивый город.* || *На предложения других государств Вена ответила отказом.*

5) Фамилия писателя || его произведение: *Дельвиг был другом Пушкина.* || *Я все время читаю Пушкина...* и т. д.

Многие типы продуктивной многозначности (позиционной мены значений) являются межъязыковыми, возможно — лингвистическими универсалиями. Эти случаи не доставят затруднений при обучении русскому языку. Но ясно, что далеко не всякая продуктивная многозначность свойственна всем языкам. Приведем пример. В русском языке широко употребительны прилагательные и причастия без поясняемого существительного: а. *Сытый голодного не разумеет. Для умелого здесь на пять минут работы;* б. *Зеленое к этому платью не подходит. Перечеркнутое не печатайте...*

Здесь осуществляется позиционная многозначность, тем более очевидная, что она охватывает целиком грамматический класс единиц (причастий и прилагательных). Закон чередования таков: а. Прилагательное или причастие мужского рода при существительном обозначает признак этого существительного. Такое же прилагательное или причастие без существительного (в полном предложении) обозначает обобщенное лицо, обладающее таким признаком; б. Прилагательное или причастие среднего рода при существительном обозначает признак этого существительного. Такое же прилагательное или причастие без существительного (в полном предложении) обозначает обобщенный неодушевленный предмет, обладающий таким признаком.

Из прилагательных только качественные участвуют в данном преобразовании. Не говорят по-русски: *Железнодорожное лучше автомобильного. Сюда подойдет никелевое, а не медное. Лисье хитрее волчьего.*

Такие субстантивированные прилагательные и причастия непременно должны называть обобщенный предмет: нельзя, например, во время работы сказать: *Поддай мне крепкое*, имея в виду определенную вещь, или: *Здесь вставили круглое* (в смысле что-нибудь круглое, конкретный предмет).

В других языках подобное чередование может не иметь указанных ограничений. Оно распространяется на все слова со значением признака и притом может использоваться для наименования конкретных предметов.

Девочка на уроке (марийская школа) рассказывает о посещении дворца культуры: — *Мы шли по красивому, мы смотрели красивое. Учительница*

подхватывает: — *Да, вы шли по красивому полу, он называется — паркет, вы смотрели на красивые картины.* Вероятно, учительница восприняла эти фразы как недосказанные, она помогла ученице досказать их. Но могло быть и другое. Ученица не овладела русскими законами мены значений у прилагательного. Она их распространила (под влиянием родного языка?) и на случай, когда называнию подлежит конкретный предмет. И дело, следовательно, не в том, что предложения недосказаны, а в неполном овладении системой позиционных значений, свойственных словам со значением признака. (Говоря об интерференции между русским языком и родным языком учеников, иногда бывает необходимо использовать именно такое обозначение: «слово со значением признака»: во многих языках нет противопоставления существительных и прилагательных как грамматических классов.)

Это объясняет, например, такую фразу из речи ученика (ненецкая школа): — *Он взял железо* (вместо *железный прут*). Поскольку нет разграничения имя существительное — имя прилагательное, то высказанное равно: — *Он взял железное*; но и при таком толковании нарушены законы, когда по-русски можно «признаковое» слово (прилагательное) использовать для обозначения предмета<sup>5</sup>.

Можно сказать: а. *Медвежья шкура, бобровая лапа, заячий хвост, лисья мордочка, бычьи рога* — прилагательное обозначает «принадлежащий медведю, бобру и т. д.»; б. *Волчья стая, заячья семья, оленья упряжка, медвежья цирковая труппа* — прилагательное обозначает «состоящий из волков, зайцев и т. д.»; в. *Медвежья шуба, бобровая шапка, оленья доха, лисий воротник, енотовые сапожки* — прилагательное обозначает «сделанный из шкуры медведя, бобра и т. д.»; это относится только к предметам, которые надевают (шуба) или которыми одеваются (одеяло, полог на санях). Не говорят: *оленья сумка* (из оленьей шкуры? для кормежки оленей?), *медвежья занавеска, моржовый чемодан* и т. д. Поэтому, когда ученик говорит: *оленья веревка* (вм. *веревка из оленьей шкуры*) — ненецкая школа, *медвежий пол* (*пол с постеленной шкурой медведя*) — нганасанская школа, то он нарушает закон продуктивной многозначности русского языка.

Сходство явлений фонетики и лексики и здесь заставляет нас думать о возможной общности приемов преодоления таких ошибок.

Методика изучения позиционных чередований в национальной школе разработана плохо. Методика изучения продуктивной многозначности до сих пор оставалась совсем вне поля зрения. Все-таки можно провести такую па-

---

<sup>5</sup> Девочка, ученица ненецкой школы, так объяснила значение фразеологизма *стоять на своем*: «Это значит — стоять за своей партией»; то есть — стоять на своем месте. (Благодарю за этот пример Л. А. Варковицкую.)

раллель. Если законы позиционных чередований звуков в русском языке не усвоены в детстве, путем естественного овладения языком, то необходимо, во-первых, объяснить эти законы. Без теоретических объяснений не обойтись: на конце слова вместо звонких согласных употребляются глухие; или: без ударения [о] не произносится, вместо него произносятся такие-то звуки (в качестве хорошего примера можно сослаться на действующие учебники для IV—V классов татарской школы). Затем необходимы упражнения на замену звуков. Наконец, должен быть постоянный контроль учителя над произношением учеников.

Те же три этапа существенны и при освоении продуктивной многозначности. Первый этап: теоретические объяснения — может быть до предела свернут. — По-русски не говорят: *Взять в руки железное; Идти по красиво-му*. Говорите: *Взять в руки железный прут; Идти по красивому полу*.

Упражнения состоят в подборе верных примеров. И, наконец, самая важная часть работы — контроль за речью учащихся. Важно, чтобы учитель проводил его, сознавая сущность ошибок, не думая, что ученик просто «недоговорил» предложения, понимая, что он неверно использует законы преобразования значений.

**4. Сочетаемость лексических единиц.** Всем известный пример: говорят *карие глаза* и *каштановые волосы*; нельзя сказать *каштановые глаза* и *карие волосы* (хотя чисто фактически, если учитывать качество цвета, эти сочетания могли бы претендовать на существование). Оказывается, в языке существуют не только грамматические, но и лексические законы сочетания слов.

Грамматические законы относятся к большим классам слов, и этим облегчено их усвоение. Надо знать, что при всяком существительном муж. рода в тв. пад. ед. числа употребляются прилагательные с окончанием *-ым, -им*: *тяжелым камнем, синим небом*. Законы лексической сочетаемости сложнее. Говорят: *вспыхнуло восстание, занялась заря, возник вопрос, завязалась беседа, сложилась ситуация, поднялся ветер, поднялся крик*. Во всех сочетаниях глагол имеет одно значение 'началось'. Но каждое из сочетаний требует своей реализации этого значения. Нельзя сказать *вспыхнул вопрос, или началась заря, или завязался крик, или занялась беседа* и т. д.

Слово (словоформа) *беседа* грамматически безусловно сочетается со словом (словоформой) *занялась*, но лексически такое сочетание неправомерно.

Еще пример: *грубая ошибка, упорное сопротивление, горячий прием* (гостей), *глубокое уважение, суровое осуждение, коренное изменение, тяжелая болезнь, острая зависть, богатый опыт, яростный гнев*. Во всех этих сочетаниях прилагательное обозначает высокую степень проявления того, что

обозначено существительным<sup>6</sup>. Значение одно, но оно выражено разными словами, и каждое сочетание «закреплено»: слово *ошибка* не соединяется со словом *острая, зависть* — со словом *горячая* и т. д.

Но в речи учеников вовсе не редкость нарушения закономерностей лексической сочетаемости. Они большей частью заключаются в том, что одно и то же «ключевое» слово используется в любом сочетании, независимо от требований лексической сочетаемости. Например, глагол *начаться* не употребляется в сочетаниях *началась роса* (вм. *упала, пала роса*), *начались песни птиц, началась заря, начался ранний ветерок* (из устных рассказов учеников на тему «Летнее утро», лакская школа).

Итак, существуют закономерности лексической сочетаемости, и если ученик не овладел ими, он непременно будет допускать ошибки.

Проведем параллель. Фонетика тоже знает свои законы сочетаемости. Например, твердый согласный [к] не сочетается с последующими гласными [и], [э]. Он сочетается с гласными [а], [о], [у] (перед двумя последними получает лабиализацию: [к<sup>о</sup>], [к<sup>у</sup>], «согласуется» с ними).

Было бы бессмысленно советовать ученику: помни, что никогда после [к] нельзя произносить [и]... Такие советы неспособны претворяться в живой речевой опыт. Надо учить произносить целостные сочетания: [ка], [к<sup>о</sup>], [к<sup>у</sup>], [к'и], [к'э]... Если они встречаются в речи часто и учитель исправляет всякое неправильное произношение, то законы звуковой сочетаемости будут усвоены сами собой. Повторяем: здесь целесообразно обойтись без теоретических разъяснений.

Так же надо поступить и в целях обучения правильной лексической сочетаемости. Если учитель замечает, что в каких-то случаях «испорчена» правильная лексическая сочетаемость, он должен часто вводить в свою речь образцы правильной сочетаемости, найти для нее место в упражнениях — прежде всего устных. Когда ученик в своей устной речи усвоит, что *песни птиц зазвучали* (или *раздались*), а не *начались*, он и в письменной форме будет употреблять правильное сочетание слов.

**5. Семантические границы.** Начнем с фонетического примера. В бурятском языке, как и в русском, есть звуки [о] и [а]. Но ученики бурятской школы нередко вместо [о] произносят [а].

«В бурят-монгольском языке [о] — гласный заднего ряда, среднего подъема, менее лабиализованный, чем русский [о]...»

При слабом участии губ [о] по характеру артикуляции близок к [а]. Поэтому в произношении некоторых бурят русские слова с ударным [о] значительно изменяются (окн[о<sup>а</sup>]). Так, учащиеся бурятских школ часто вместо [о]

<sup>6</sup> Апресян Ю. Д. Указ. соч.



в русских словах употребляют [а], что является заменой русского [о] бурят-монгольским [о<sup>а</sup>].

Специфическое произношение учащимися-бурятами русского [о] приводит часто к искажениям падежных окончаний (например, *окно* произносится похоже на форму род пад. — *окна́*)»<sup>7</sup>.

Также и бурятский гласный [у] близок к русскому [о]: подъем языка ниже, чем у русского [у], губы вытягиваются меньше. Произносят звук, средний между [о] и [у]: на[у<sup>о</sup>]ка<sup>8</sup>.

Дело, следовательно, обстоит так. Каждый звук в языке представлен рядом вариаций. (Для простоты мы здесь учитываем только сильную позицию.) Во-первых, разные лица произносят определенный гласный не совсем одинаково, у них этот звук представлен вариациями  $x_1 \dots x_5 \dots x_{10} \dots$

Во-вторых, каждый человек в зависимости от разных причин варьирует звук в своих произнесениях даже одного и того же слова. У одного в произношении представлен не звук  $x_1$ , а ряд вариаций  $x_1—x_4$ , у другого — ряд  $x_5—x_9$  и т. д.

Получается сплошной ряд вариаций  $x_1—x_n$ .

Другой звук имеет вариации  $x_{n+1}—x_m$ .

Граница между звуками проходит между вариациями  $x_n$  и  $x_{n+1}$ :

$$x_1 \dots x_n \mid x_{n+1} \dots x_m.$$

Эта граница — своя в каждом языке. В другом языке могут быть звуки  $x_1$  и  $x_m$ , но граница между ними — другая:

$$x_1 \dots x_n \dots x_{n+1} \mid x_{n+2} \dots x_m.$$

Так, не совпадают границы между гласными [у] и [о], [о] и [а] в русском и бурятском языках:

бурятск.	русск.
у	у
о	о
а	а

Поэтому есть участки, которые носители одного языка оценивают как у (относят ее к ряду  $x_1 \dots x_{n+1}$ ), а носители другого языка — как о (относят ее к ряду  $x_{n+1} \dots x_m$ ).

<sup>7</sup> Малакишинов И. П. Обучение русскому языку в бурятской школе. Улан-Удэ, 1952. С. 16.

<sup>8</sup> Там же. С. 18.

Такие же отклонения возможны в лексическом ряду. Есть два прилагательных, обозначающих цвет: синий и лиловый. Если мы человеку, говорящему по-русски, дадим образчики оттенков синего и лилового цвета и попросим его назвать эти цвета, то он одни оттенки отнесет к лиловому, другие — к синему цвету. Получается тоже шкала: оттенок от  $x_1$  до  $x_n$  для него — реализации синего цвета, оттенки от  $x_{n+1}$  до  $x_m$  — реализации лилового цвета. Но представители другой речевой среды могут эту границу провести в другом месте. Башкирское слово *кУк* значит ‘синий’, а *зэнгэр кУк* — ‘лиловый’, но смысловая граница между цветами, которые обозначают эти слова, возможно, проходит не там, где ее устанавливают русские слова.

Ученики V и VI классов башкирской школы получили открытки с разноцветной раскраской. Было предложено найти синие и лиловые цвета и отметить их башкирскими словами. Названием *зэнгэр-кУк* было отмечено большей частью то, что по-русски следовало бы назвать словом «лиловый». Но словом *кУк* отмечено и то, что по-русски «синий», и то, что по-русски уже относится к лиловому оттенку цвета.

Схематически это можно было бы представить так:

	башкирский	русский	
$x_1$	кУк	синий	$x_1$
$x_n$			$x_n$
$x_{n+1}$		лиловый	$x_{n+1}$
$x_{n+2}$			$x_{n+2}$

Соотношения те же, что были нами отмечены в области произношения.

Теперь сравним методы, которыми предотвращают (или исправляют) в данном случае интерференцию языков.

В произношении известны такие пути. Ученикам объясняют разницу в произношении [o] бурятского и [o] русского. Говорят: при произношении [o] губы должны быть более округлены, примерно так, как они округлены при произношении [ø].

То есть: трудность в том, что ученики [o] произносят с недостаточной лабиализацией: они вариацию  $x_{n+1}$  причисляют к ряду  $x_1$ , т. е. то, что уже выходит в русском языке за пределы данной единицы (и уже принадлежит к ряду [a]), относят, под влиянием родного языка, к данной единице. Значит, надо ученикам четко показать настоящую границу. Это и делают опытные учителя: находят звук в родном языке, который позволяет не выходить за пределы  $x_n$ , — это звук [ø]. Его лабиализация имеет ту степень, которая достаточна для русского [o] (у последнего гласного в бурятском языке она, как мы видели, с точки зрения русской фонетической системы, недостаточна).



**Часть VII**

**ПОЭТИКА**



## Ритм и метр в русской поэзии\*

1. В русском стихе наиболее распространены два типа организации: стопные метры<sup>1</sup> и тактовик.

Буря мглою небо кроет...  
*А. Пушкин*

Этот хорейский стих создан повторением стопы — сочетания ударного и безударного слогов. Мельчайшая метрическая единица здесь — слог, ударный или безударный; слоги сочетаются в стопу: ' ∪ повтор стопы создает стих — метрическую «строку». Так строится стопный размер.

Иной принцип у тактового стиха:

Огромный синий воздух  
гудел под ударами солнца,  
а под ногами шуршала трава,  
а между землею  
и небом — я  
и кружка моя молока,  
да еще березовый стол  
стоит для моих стихов.  
*К. Некрасова*

В каждом стихе — три такта. Тактом будем называть группу слогов, объединенных одним ударением («фонетическое слово»). В тактовике другие единицы: мельчайшая — такт; в каждом стихе их одинаковое количество, например, три; трехтактовое единство повторяется из стиха в стих.

Будем различать: мельчайшие единицы метра; их сочетание, подлежащее повтору; пределы, в которых осуществляется повтор. В стопном размере эти три единицы такие: слог — стопа — стих. В тактовике — такие: такт — стих — строфа, сочетание стихов.

---

\* Проблемы структурной лингвистики. 1985—1987 / Отв. ред. В. П. Григорьев. М.: Наука, 1989. С. 340—371.

<sup>1</sup> Обычное название — силлабо-тоника является дезориентирующим и поэтому здесь не употребляется.

2. Возможен моностих (стихотворение в одну строку), созданный стопным метром:

Покойся, милый прах, до радостного утра.

*Н. Карамзин*

И никого, и ничего в ответ.

*В. Брюсов*

А тактовый моностих? Возможен ли? Как будто, есть:

Лучше недо-, чем пере-.

*И. Сельвинский*

Остроумно, но это столько же стих, сколько проза. Различие между ними нейтрализовано. Потому что тактовик по своей сути должен разыгрываться на протяжении нескольких стихов; тактовик — это повторение сочетания тактов из строки в строку. У Сельвинского в данном случае — лукавая игра с метрической сутью стиха. Сельвинский свое *недо-* (которое «лучше») демонстрирует с помощью недотактовика. Он неожиданно транспонирует содержание афоризма в его метрику, при этом сама метрика становится иронически-значимой.

3. Итак, стопный моностих возможен. Тактовый, по-видимому, нет. И это потому, что у них, у двух организаций поэтической речи, различные единицы. Один стих — достаточная арена для повторяющейся стопы, но не для повторяющегося сочетания тактов.

Если их организация столь различна, то почему всегда о каждом стихотворении ставится вопрос: оно написано ямбом (хореем, анапестом и т. д.) или тактовиком? «Или», пожалуй, неуместно. Поскольку стихообразующие единицы не совпадают, постольку эти два принципа, может быть, совместимы? Слоги организованы по законам стопного метра, а такты в том же тексте — по законам тактовика, почему бы и не так? Разве не может быть стихотворение, которое одновременно и анапест, и тактовик? Не только может быть, но непременно так и бывает («непременно» — для русского языка):

Украшают тебя добродетели.  
До которых другим далеко,  
И — беру небеса во свидетели —  
Уважаю тебя глубоко...  
Не обидишь ты даром и гадины.  
Ты помочь и злодею готов...

И червонцы твои не украдены  
У сирот беззащитных и вдов...  
Не гнушаешься темной породю:

«Братья нам по Христу мужички!»  
И родню свою длиннородую  
Не гоняешь с порога в толчки.

*Н. Некрасов*

Это — анапест, но в то же время и трехударный тактовик. И любое стихотворение Некрасова, Фета, написанное стихом с трехсложной стопой (анапест, дактиль, амфибрахий), является тактовиком.

Причина как будто лежит на поверхности: длина русского фонетического слова равна примерно трем слога́м; поэтому стопа этих размеров оказывается соразмерной с тактом. Число тактов в стихе равно числу стоп. Это постоянное совпадение двух различных стихий стиха создает большой ритмический напор, он заставляет читать: *братья́ на́м* — в один такт, с ударением на местоимении (в прозаической речи логическое ударение было бы на слове *братья́*), прилагательное *длиннородую́* — с двумя ударениями, в два такта).

Однако не мешает вспомнить, что веление языка в поэзии не абсолютно, что стих создается волей поэта и выбор метрики, дающей равновесие того и другого принципа, тоже определен поэтом. Он может пожелать избавиться от слишком последовательного тактового равенства — избрать, например, дактиль, где нередко первое ударение заменяется безударностью:

В синих венгерках на заячьих лапках,  
В *остроконечных*, неслыханных шапках...  
А за долиной, слегка беловатой,  
Лес, освещенный зарей полосатой.  
Но *равнодушно* встречают псари  
Яркую ленту огнистой зари...  
*Однопомётников* лай музыкальный  
Душу уносит в тот мир идеальный,  
Где ни уплат в Опекунский совет,  
*Ни беспокойных* исправников нет!

*Н. Некрасов*

Анапест — и вместе с тем четырех-, трехударный тактовик. В N-ударном тактовике колебания  $N \pm 1$  не разрушают метра, они только вносят динамику в бег стихов.

4. Итак, есть два принципа, которые строят русский стих: стопный и тактовый. Они могут совмещаться, сотрудничать, создавая звуковую ткань стихотворения. Теперь нам нужно сделать еще шаг: понять, что они всегда совмещаются в русском стихе.

5. Четырехстопный хорей часто бывает трехударным тактовиком:

Плещут волны Флегетона,  
Своды Тартара дрожат:



Кони бледного Плутона  
 Быстро к нимфам Пелиона  
 Из Аида бога мчат.  
 Вдоль пустынного залива  
 Прозерпина вслед за ним,  
 Равнодушна и ревнива,  
 Потекла путем одним.

*А. Пушкин*

Еще чаще четырехстопный хорей бывает двухударным тактовиком. В каждом стихе ударение непременно (или большей частью) падает на третий и седьмой слоги, такое постоянство размещения усиливает два стабильных по ударности слога:

На девичник собираясь,  
 Вот царица, наряжаясь  
 Перед зеркальцем своим,  
 Перемолвилася с ним:  
 «Я ль, скажи мне, всех милее  
 Всех румяней и белее?»  
 Что же зеркальце в ответ?  
 «Ты прекрасна, спору нет,  
 Но царевна всех милее,  
 Всех румяней и белее».  
 Как царица отпрыгнет,  
 Да как ручку замахнет,  
 Да по зеркальцу как хлопнет,  
 Каблучком-то как притопнет!..  
 «Ах ты, мерзкое стекло,  
 Это врешь ты мне назло...»

*А. Пушкин*

Стихи *Я ль, скажи мне, всех милее* и *Это врешь ты мне назло*, вероятно, требуют трехтактового чтения, остальные — двухтактны. Двухтактовость четырехстопного хорей придает ему плясовой, хороводный характер.

**6.** Четырехстопный ямб обычно трехтактен. Это трехударный тактовик с колебаниями в один такт в ту и другую сторону. Так, в стихотворении «Не мысля гордый свет забавить» (посвящение «Евгения Онегина» П. А. Плетневу) двухтактовых стихов — 2, трехтактовых — 11, четырехтактовых — 4. Такое отношение вообще характерно для четырехстопного ямба: трехтактовость преобладает.

Это и понятно: строка четырехстопного ямба равна восьми или девяти слогам; размер русского слова, как сказано, в среднем равен трем слогам; следовательно, одна строка содержит, как правило, три фонетических слова; то есть на четыре стопы приходится три ударения.

7. Поэтому в строке четырехстопного ямба по крайней мере одна ямбическая стопа:  $\cup'$  — заменяется пиррихием:  $\cup\cup$ . Казалось бы, чисто механическая черта, вызванная языковыми причинами. А. Белый показал, что дело не только в диктате языковой данности.

Андрей Белый увидел, что разные поэты по-разному помещают пиррихии в стихе, у каждого свои пристрастия и свои закономерности в их использовании.

Представление о том, что пиррихий — вынужденное отступление от ямбического метра, слепо диктуемое языком, оказалось неверным. Это творческое отступление. Пиррихии нельзя считать негативной силой, мешающей в полной чистоте реализовать ямб; нет, это позитивная сила, которая позволяет строить трехударный тактовик в пределах ямба. И, как всякое творческое начало, предполагает выбор и предпочтение — вот почему законы размещения пиррихий у Пушкина не такие, как у Державина, и иные, чем у Баратынского.

8. Владислав Ходасевич вспоминает: Как-то Андрей Белый позвонил ему и сказал:

— Я сегодня сделал открытие, вроде Ньютона.

Речь шла об открытии метра и ритма как двух основ стиха, двух сил, строящих поэтический текст.

Андрей Белый увидел, что в каждом стихе есть доминирующий принцип, он реализован с большой полнотой, со значительной последовательностью и определенностью. Он очевиден. Это одна стихообразующая сила — метр. Но есть и другая сила, направленная наперекор метру: она лишает метр абсолютного господства, не дает ему достичь строгой геометричности, безысключительной устойчивости — и тем вносит в стих динамическую изменчивость. Это — другая стихообразующая сила, ритм. Он противоположен метру. Он действует подспудно, «потаённо», он — подчиненная сила, но именно ритм создает движение стиха.

Стих есть отношение этих двух сил, их борьба, их связь.

9. Иногда обе силы находятся в равновесии, и трудно определить, какая из них господствует (метр), какая действует неявно и подспудно. Вот пример:

Семь временнообязанных  
 Подтянутой губернии,  
 Уезда Терпигорева,  
 Пустопорожней волости,  
 Из смежных деревень:  
 Заплатова, Дыряева,  
 Разутова, Знобишина,  
 Горелова, Неелова,  
 Неурожайка тож —  
 Сошлись — и заспорили:

Кому живется весело,  
Вольготно на Руси?  
*Н. Некрасов*

Это трехстопный ямб с дактилическим окончанием — и столь же несомненно двухударный тактовик.

**10.** Посмотрим теперь на тактовик. На те стихотворения, где тактовая организация является метром. Есть ли в таких стихах ритм? Нет сомнения, что есть. Такая единица, как слог, героиня стопных размеров, принимается во внимание и в тактовике.

Например, значительное скопление безударных слогов признается эквивалентным такту. «В акцентном стихосложении иногда ритмическая группа заменяется более или менее длительным периодом неударных слогов», например:

А бледные люди на Генте,  
Отирая холодные руки,  
Посылали на горы плотин  
Беленький пироксилин  
'○○○○○'  
*Сергей Бобров*

(Б. В. Томашевский, 1925)<sup>2</sup>.

**11.** Кажется, что для тактовика существенно только число тактов в каждом стихе; но так ли это? Было взято предложение из газетной прозы. Количество слогов между соседними ударениями дает такой ряд: 4—1—3—3—5—1—3—2—2—2—6—3—4—2—2—1—7... Это — хаос.

В ямбе промежутки между ударениями равны или 1 слогу, или 3, или — в редких случаях — 5: *И кланялся непринужденно...*

Можно считать, что такая упорядоченность междударных промежутков и создает стопный размер. А как в тактовике?

Когда мне говорят: «Александрія»,  
я вижу белые стены дома,  
небольшой сад с грядкой левкоев,  
блédное солнце осéнного вéчера  
и слышу звуки далéких флéйт.  
*М. Кузмин*

Четырехударный тактовик. Между ударениями такое количество безударных слогов: 0—2—3; 1—2—1; 0—0—2; 2—2—2; 1—2—1. Не учитываются анакрузы и каталектики, то есть начальные и конечные безударные сло-

<sup>2</sup> Имена филологов в скобках с указанием года — это не библиографическая справка. Это свидетельство о приоритете.

ги в каждом стихе. Хаоса нет. Преобладают промежутки в два безударных слога. Одна строка целиком дактилическая.

И это типично для тактовика. Оказывается, есть тактовики двух типов: первый тип, когда преобладают промежутки в один безударный слог (ритмически назойливо просвечивает двусложная стопа); второй тип, когда большинство промежутков — в два безударных слога; здесь ритмически скрытно действует трехсложная стопа (М. Л. Гаспаров, 1968).

Когда тактовая организация стиха является метром, то в роли ритма выступает стопная организация. В тактовике живет динамически преобразованная, изменчивая, пластически текучая стопа — либо двусложная, либо трехсложная.

**12.** Именно поэтому может быть стихотворение, которое в своем течении склоняется то к берегу тактовика, то к берегу стопной организации:

В серой треуголке, юркий и маленький,  
В синей шинели с продранными локтями, —  
Он надевал зимой теплые валенки  
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,  
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах,  
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки пели романсы,  
И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,  
На грязных окнах подымались зеленые шторы,  
В темных залах смолкали нежные дуэты,  
И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

*Э. Багрицкий*

Это — тактовик, но в начале второй строфы сильно изогнутый в сторону стопного стиха.

**13.** Пора подвести первые итоги. Есть два принципа организации русского стиха: стопный и тактовый. Они взаимосвязаны. Если в стихотворении господствует стопный принцип (он — метр), то его обратная сторона (ритм) — тактовый принцип. Если в качестве метра выступает тактовое построение стиха, то ритмом является стопная организация.

**14.** Прежде чем сделать следующий шаг, надо поспешить с одним разъяснением.

Стих — это то, что звучит. Буквенная передача — лишь косвенное и несовершенное свидетельство о стихе. Даже в том случае, когда мы читаем поэтическое произведение «про себя», не вслух, мы переживаем именно его звучащее воплощение.

И читатель умеет сквозь буквенную преграду прорваться к подлинному звуку стиха. Например, читатель обычно понимает, в каком темпе должен произноситься стих, хотя сама буква об этом молчит.

Сравним попарно такие строфы:

- 1) Играй, Адель,  
Не знай печали.  
Хариты, Лель  
Тебя венчали.

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына  
*А. Пушкин, Н. Гнедич*

- 2) Я пришел к тебе с приветом <...>

Рассказать, что лес проснулся,  
Весь проснулся, веткой каждой,  
Каждой птицей встрепенулся  
И весенней полон жаждой...

Волга, Волга! Весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля...

*А. Фет, Н. Некрасов*

- 3) Не он, не он, не шепот гор,  
Не он, не топ подков,  
Но только то, но только то,  
Что — стянута платком.

Разум изрублен. И  
Скомканы вечностью вежды... Ты  
Не ответишь, возлюбленный,  
прежняя моя надеждо.

*Б. Пастернак, Н. Асеев*

На этих контрастных примерах вы убедились, что темп стиха не произволен; он определен автором — и автор умеет передать свою волю читателю.

Анализируя стих, мы должны обратиться к его живому произношению — тому, которое предопределено автором.

**15.** Сейчас речь пойдет о стиховых компенсациях.

Мы видели, что строгость метра допускает определенные исключения — в пользу ритма. Эти отступления нельзя рассматривать как «недовыполнение» метра, как несовершенство его реализации. Эти отступления эстетически активны.

Ритмические отклонения от метра обычно сигнализированы в стихе; стих особыми произносительными приметами указывает на них, подчеркивает их, привлекает к ним внимание читателя. Ущерб, нанесенный метру, компенсирован. Он обозначен. Так, опасности можно избежать, если получено изве-

щение о ней. Дорожное происшествие предотвращено, когда на дороге есть предупредительный знак.

**16.** И средства компенсации придают стиху новые выразительные свойства. Они обогащают звуковую сторону поэтического произведения. Приведем примеры.

Метр ямба — такой:  $\cup' \cup' \cup' \cup'$  ( $\cup$ ) Четыре стопы, четыре ударения. Но возможен пиррихий на третьей стопе:  $\cup' \cup' \cup \cup'$  ( $\cup$ ). Сочетание «безударный слог + ударный» заменяется двумя безударными. Такое отклонение от метра сигнализировано: стих с пиррихием на третьей стопе читается убыстренно (Андрей Белый, 1912):

В томленьях грусти безнадежной,  
В тревогах шумной суеты  
Звучал мне долго голос нежный  
И снились милые черты.

*А. Пушкин*

Напротив, пиррихий на второй стопе замедляет течение стиха (Андрей Белый, 1912).

**17.** Пиррихии, падая на разные стопы, придают ямбу текучесть, динамику, живость. В других случаях, «поражая» ямб в одной и той же стопе, они придают стихам трагическую неподвижность, мертвенную застылость, превращают живую речь в строгий слепок, в маску отчаяния (возможны и другие истолкования этого ритмического движения):

Кладбищенский убогий сад  
И зеленеющие кочки.  
Над памятниками дрожат,  
Потрескивают огонечки.

⟨...⟩

Серебряные тополя  
Колеблются из-за ограды,  
Разметывая на поля  
Бушующие листопады.

В колеблющемся серебре  
Бесшумное возникновенье  
Взлетающих нетопырей, —  
Их жалобное шелестенье,

О сердце тихое мое,  
Сожженное в полдневном зное, —  
Ты погружаешься в родное,  
В холодное небытие.

*А. Белый*

Почти во всех стихах ударны только стопы 1 и 4; это редкий ритмический рисунок. Его повторение нельзя не заметить; нельзя не заметить двухударность стихов. Здесь метр — ямб, но ритмический рисунок резок и ясен, последователен и упорен; он приближается к тому, чтобы стать господствующей силой стихотворения.

Ритм здесь сильно подтачивает метр, но ямб все же сохраняет свое главенство: отступления от ямба компенсированы, обозначены, подчеркнуты; ударный слог первой стопы произносится замедленно, а ряд из пяти безударных слогов — убыстренно. Это, кстати, и придает такую картинность пушкинскому стиху:

И кланялся непринужденно...

Само звучание стиха передает почтительность и непринужденность поклона.

**18.** А то есть еще спондеи. Вот они:

Идут, как мрачные дубравы, —  
И вторят степи гул глухой;  
Идут... там хан, здесь чада славы, —  
И закипел кровавый бой!..

Швед, русский — колет, рубит, режет,  
Бой барабанный, крики, скрежет.  
Гром пушек, топот, ржанье, стон.  
И смерть, и ад со всех сторон.

*К. Рылеев, А. Пушкин*

Ударные односложные слова приходится на нечетные слоги. Нарушение ямбического метра? Да, но есть сигнал этого нарушения: эти слова окружены паузами; ударность их выше, чем у других слов.

**19.** В хорее может быть неметрическое ударение, связанное с двусложным словом. Это — «инверсированный ритм» (А. Квятковский 1940):

Свечерело. Дрожь в конях,  
Стужа злее на ночь;  
Заворочался в санях  
Михайло Иваныч...

*Н. Некрасов*

Кукует кукушка  
Раз, другой и третий.  
Считает старушка,  
Скоро ль умереть ей.

*М. Светлов*<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Перевод из Янки Купалы. Так часто воспроизводят по-русски «шевченковский стих».

Жеребец подымет ногу,  
Опустит другую,  
Будто пробует дорогу,  
Дорогу степную.

*Э. Багрицкий*

Шла я нынче заимкой,  
На снега глядела:  
Сколько за ночь заинька  
Вывертов наделал.

У плетня у каждого,  
С умыслом ли, нет ли,  
Елочки обхаживал,  
Затягивал петли.

*А. Яшин*

Ожидались бы в соответствии с метром строки: '⊖'⊖'⊖ или хотя бы: ⊖⊖'⊖'⊖. Вместо ожидаемого является такой стих: ⊖'⊖⊖'⊖.

Тогда на первом слове возникает растяжение:

āпúстит другую...  
дāрòгу степную...  
кūкúет кукушка...  
зāтýгивал петли...

Затяжка первого слога — сигнал переноса ударения, то есть знак компенсации отступления от метра.

Могут быть и другие средства спасти метр, не отменяя, однако, его ритмического преобразования:

Налетели и столкнулись,  
Сдвинулись конями,  
Сабли враз перехлестнулись  
Кривыми ручьями...  
У комбрига боевая  
Душа занялася,  
Он с налета разрубает  
Саблю Опанаса.

*Э. Багрицкий*

Стихи полны яростной энергии. Динамика их неистова. Петь: *дúша занялася...* — здесь вряд ли уместно. Скорее подходит другая компенсация: *душā!.. занялася...*, с резко усиленным ударением.

**20.** Еще компенсация:



Солдату  
 упал  
           огонь на глаза,  
 на клок  
           волос  
           лег.  
 Я узнал,  
           удивился,  
           сказал:  
 «Здравствуйте,  
           Александр Блок».

*В. Маяковский*

Это трехсложный стопный метр с меняющейся анакрузой: (UU)'UU' UU'; наиболее метрично он представлен строкой *Я узнал, удивился, сказал*. В других строках — пропуски слогов, но они компенсированы резкими паузами:

Солдату упал ∨ огонь на глаза,  
 на клок ∨ волос ∨∨ лег...

В то же время это трехударный тактовик. Метрически четкий, без компенсаций. Он выявлен последовательно, поэтому является здесь метрической основной размера.

**21.** Вывод: законы метра часто в стихе реализованы не полностью; однако отступления от метра не скрыты, а подчеркнуты строением стиха, системой компенсаций. Значит, эти отступления — не грех, не порок, а какое-то достоинство — какое? Они свидетельство работы ритма, то есть иного (противоположного) принципа стиховой организации.

Вспомним факты. Инверсированный хорей в три-четыре стопы? Инверсия нарушает стопный метр, он принужден уступить; выиграл тактовый ритм: оказалось, что стихотворение написано строками в два такта; стало очевидным, что не место ударения важно (на нечетном слоге), а само это ударение, как признак такта.

Четырехстопный ямб с пиррихием? Стопный метр в этом случае реализован не в абсолютной степени, есть отступления от него. Но так создается в строках трехтактовость, охватывающая многие строки или даже большинство их. Трехтактовая организация — это «обратная сторона» ямба в четыре стопы, его ритм.

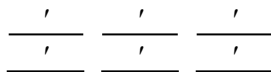
**22.** В чем же суть этих двух противоположных принципов организации стиха — стопного размера и тактового? Какова сердцевина, какой общий смысл этих противопоставленных сил?

Стопный размер — это повтор контраста. Ударный слог и безударный (или безударные) образуют контраст: U' (ямб), 'U (хорей), UU' (анapest) и т. д. Мультиплицирование контраста создает стопную организацию стиха.

Ямб без пиррихий максимально использует возможности создать контраст. В строке из 8 (9) слогов не может быть большего количества перепадов от безударности к ударности. Допустив в стих пиррихий, мы заменяем контраст слогов  $\cup'$  тождеством:  $\cup\cup$ , используем не все возможности слогового противопоставления, отступаем в сторону тождества единиц.

Всякое ритмическое отступление от стопного контрастного метра — это отказ от контраста в пользу тождества.

Тактовый размер — это повтор тождества. В каждом стихе N тактов; они рассматриваются как равные друг другу<sup>4</sup>. Из стиха в стих повторяется это тождество — сочетание равных тактов:



А если дозволен ритмический отход, отступление от тактового метра — *Беленький тироксилин?* Ударность заменяется длительной безударностью. Вместо тождества — три ударных единства — допущена контрастность: в один ряд поставлены такты, сплочения слогов вокруг ударения, и связка безударностей.

Всякое ритмическое отступление от тактового метра, основанного на тождестве, — это отказ от тождества в пользу контраста.

**23.** Были попытки (при обсуждении данного подхода к строению художественного произведения) связать эти два типа организации поэтического текста с нервно-физиологической основой: с процессом рефлекторного возбуждения и торможения. На этот счет были сделаны разные предположения (на основе теории И. П. Павлова), но доказательной силы они, на наш взгляд, не имеют.

Поэтическое произведение следует своим специфическим законам строения и функционирования.

**24.** Все, о чем мы до сих пор говорили, относится к внутренней организации произведения. Одна часть повторяется в другой части, они воспроизводят контраст и тождество.

Произведение искусства, в том числе поэзия, имеет и внешнюю организацию. Одна часть произведения воспроизводит такое же отношение к материалу, близкое или далекое, как другая часть. Проявляется либо тенденция сблизиться с материалом, даже слиться с ним, подчеркнуть тождество поэтической данности с внешней, внеэстетической данностью, с реальностью, либо

<sup>4</sup> Может быть, последний такт в каждом стихе, когда стих равен интонационно законченному отрезку, то есть фразе, имеет несколько более сильное ударение, чем остальные такты, но поскольку он усилен «по положению», позиционно, то в стихе это усиление не учитывается. Функционально все такты в стихе демонстрируют равенство.

тенденция поэтический текст противопоставить живой повседневности, наблюдаемой действительности.

**25.** Сравним ямб без пиррихий:  $\cup' \cup' \cup' \cup'$  и амфибрахий:  $\cup' \cup \cup' \cup \cup' \cup \cup' \cup$ . Они отличаются внутренней организацией — у них разный «узор» ударностей — безударностей.

И они же отличаются внешней организацией. В русской обыденной речи ударение падает в среднем на один слог из трех. Такова норма. Таково свойство того материала, с которым соотнесен поэтический текст. По отношению к нему ямб — контраст, он противостоит норме обыденной речи: одно ударение приходится — по метрическому заданию — на два слога. Амфибрахий повторяет норму, он ей не противник. Ямб с пиррихиями, обычный у А. Пушкина, Е. Баратынского, Н. Языкова, Д. Веневитинова, имеет такие вариации:

$$\begin{array}{c} \cup \cup \cup' \cup' \cup' \\ \cup' \cup \cup \cup' \cup' \\ \cup' \cup' \cup \cup \cup' \end{array}$$

Как видно, одно ударение приходится здесь именно на три слога. Контраста с материалом, с обыденной речью, нет. Во внешней организации такой ямб и амфибрахий подобны друг другу. Отличие только во внутренней организации, в распределении единиц, образующих ритмическую цепь.

Наконец, ямб беспиррихийный:

$$\cup' \cup' \cup' \cup'$$

и пиррихийный:

$$\cup' \cup' \cup \cup \cup'$$

имеют одну и ту же внутреннюю организацию (у них одна и та же мера — стопа  $\cup'$ ), но разную внешнюю, одна разновидность контрастна с материалом, другая — нет.

**26.** Положим, стихотворение или хотя бы какая-то часть его написано четырехстопным ямбом без отступлений от метра, без пиррихий. Такой ход размера требует волевого преобразования материала поэзии — обыденной речи; материал сопротивляется метрическому заданию ямба и требует одного ударения на три слога.

Чтобы преодолеть сопротивление материала, необходимо искать и особые синтаксические конструкции, и не совсем обычные способы номинации — весь речевой строй стихотворения окажется противопоставленным обыденной речи. Стихотворение запечатлеет волю поэта, преобразующего внеречевую данность.

Следующий шаг: разрешим четырехстопному ямбу обладать пиррихией. Внешняя организация стиха резко изменилась: отношение к материалу пере-

стало быть напряженно-контрастным. Некоторые строки сблизились с нормой обыденной речи. Но осталось метрическое задание — стопа  $\cup'$ . Многие строки в стихотворении будут следовать велению метра, то есть противостоять материалу — повседневной речи.

Дактиль, анапест, амфибрахии полностью снимут это противопоставление материалу: у них одно ударение на три слога. Но остается верность стопной организации. Промежутки меж ударениями всегда равны двум слогам; такая равномерность в распределении ударностей / безударностей — вызов обыденной речи. Он отменяется в паузниках. В стопных размерах являются пропуск метрических слогов, их наращення, инверсии:

О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим и суеверней...  
Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней!  
*Ф. Тютчев*

Пока эти ритмические изменения отмечены темпом, паузами (то есть компенсированы), стопный стих остается стопным. Контраст с материалом велик. Но вот компенсации исчезли, их нет — перед нами не видоизмененный стопный размер, а тактовик. Метром, основным принципом организации, стало равное количество тактов в соседних строках. Совсем близко к обычной речи.

Однако сама эта соразмерность тактовых совокупностей показывает, что граница поэтического произведения и непоэтического обыденного говорения по-прежнему существует, и следовательно, они — разные качественные образования.

Наконец, еще шаг: возникает свободный стих, верлибр. Есть такая разновидность верлибра, где в каждой строке выдержан стопный размер, она — или ямба, или хорей, или анапест и т. д., но он меняется от стиха к стиху. Другой тип свободного стиха — нет стопных волн даже и внутри каждой строки, не только в их какой-то совокупности (О. Овчаренко, 1984). И количество тактов все время меняется, непостоянно, подвержено сильным колебаниям.

### 27. Значит, нет различий с проз-речью?

Было: резкий контраст с речевой обыденностью, повторяясь из строфы в строфу, из стиха в стих, объединял произведение и являлся принципом его внешней организации.

Потом: этот контраст изменил свою напряженность. Изменился его «наклон» к непоэтическому фону.

Наконец... что же? Контраст сменился полным тождеством стиха с нестихом? И здесь как раз уместно вспомнить слова, которые были некогда сказа-

ны об искусстве: искусство не требует, чтобы его принимали за действительность. Слияние стиха с повседневным говорением означало бы отказ от стиха.

И свободный стих неожиданно оказывается — как явление диалектического скачка, как качественное преобразование — так же далек от прозаической речевой повседневности... как ямба без пиррихий! Длительно подчеркнутые, не прозаические паузы между стихами, ритмически значимая иерархия ударений, постоянное выдвигание отдельных слов — на ритмико-метрической основе, напряженность артикуляций, внутриверсальная мотивировка изменений количества тактов в соседних стихах — все это говорит, что свободный стих представляет собой коренной контраст с обыденно-повседневной прозаической речью.

Становится ясно, что сближение стиха с будничной прозой — не отказ от особой эстетической функции поэтической речи, а развитие ее возможностей, пробег через ряд диалектических изменений, внутренне обусловленных.

Обратимся к истории русского стиха.

**28.** В поэзии М. Ломоносова господствует ямба. Первый период творчества: ясно видна увлеченность поэта строго метрическим ямбом. Нет отступлений от заданной меры, пиррихий отсутствуют:

Лице свое скрывает день;  
Поля покрыла мрачна ночь;  
Взошла на горы черна тень;  
Лучи от нас склонились прочь;  
Открылась бездна звезд полна;  
Звездам числа нет, бездне дна.

⟨...⟩

Но где ж, натура, твой закон?  
С полночных стран встает заря!  
Не солнце ль ставит там свой трон?  
Не льдисты ль мещут огнь моря?  
Се хладный пламень нас покрыл!  
Се в ночь на землю день вступил!

Это — «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния».

Несколько своих молодых од Ломоносов написал таким беспиррихийным ямбом. Но и в этих стихотворениях, где несомненно стремление поэта дать ямбу полновесно-ударный ход, встречаются изредка пиррихий; например, в том же «Вечернем размышлении»:

Что зыблет ясной ночью луч?  
Что тонкий пламень в твердь разит?  
Как молния без грозных туч  
Стремится от земли в зенит?

Здесь пиррихий возникает как исключение, как нежеланная уступка...  
чему?

**29.** Языку. Уже было сказано: строго выдержанный ямбический метр — это сопротивление языку, это попытка победить его прозаические нормы. Из стиха в стих реализовать ряд  $\cup' \cup' \cup' \cup'$  — значит идти наперекор обыденному говорению (где ударение приходится в среднем на три слога). Иногда сопротивление языка побеждает — в стих врывается пиррихий. Он — неожиданный гость.

«Теоретически говоря», такой ямб должен быть удручающе однообразен. Некий пародист передразнивает равнодушные ремесленные стихи такой равнодушной пародией:

Народ — велик, могуч, суров,  
Всегда, везде идет вперед!  
Для всех времен, для всех веков  
Добро и мир куёт народ.  
И наш девиз: идти вперед,  
Туда, куда зовет народ,  
Где он кует,  
        могуч, умен,  
Добро и мир  
        для всех времен.

Та-та́, та-та́, та-та́, та-та́. Настолько однообразно, что даже не смешно. Нет, у Ломоносова стих не похож на эту солончаковую пустыню.

**30.** Его стих требует резких силовых (логических) ударений, вздымающихся над общим ходом речи:

Да движутся светила стройно  
В предписанных себе кругах,  
И реки да текут спокойно  
В тебе послушных берегах;  
Вражда и злость да истребится,  
И огонь и меч да удалится  
От стран твоих и всякий вред;  
Весна да рассмеется нежно  
И земледелец безмятежно  
Сторичный плод да соберет.

⟨...⟩

Тогда во все пределы Света,  
Как молния, достигнул слух,  
Что царствует Елисавета,  
Петров в себе имея дух.  
Тогда нестройные соседы  
Отчаялись своей победы

И в мысли отступили в спять.  
 Монархия! Кто Россов знает  
 И ревность их к Тебе внимают,  
 Помыслит ли противу статью?

Чем обеспечиваются эти логические усиления, протуберанцы ударности, взлетающие над общим уровнем звучащего стиха? Словесными антитезами; резкой смысловой инверсией; отрывом друг от друга синтаксически связанных слов; использованием призывных, повелительных и указующих лексических и грамматических средств. Вот так:

С к р ы в а е т л у ч с в о й в в о л н ы д е н ь  
 О с т а в и в б о й н о ч н ы м п о ж а р а м ;  
 М у р з а у п а л н а д о л г у т е н ь ;  
 В з я т к у п н о с в е т и д у х Т а т а р а м  
 И з л ы в г у с т ы х в ы х о д и т в о л к  
 Н а б л е д н ы й т р у п в Т у р е ц к и й п о л к ;  
 И н о й , в п о с л е д н и в и д я з о р ю ,  
 З а к р о й , к р и ч и т , б а г р я н ы й в и д  
 И к у п н о с н и м М а г м е т о в с т ы д ;  
 С п у с т и с ь п о с п е ш н о с с о л н ц е м к м о р ю .

(Пиррихийев нет!)

Такая метрико-ритмическая напряженность требует напряженности словесного яруса, бурного потока эмблем — эпитетов — сравнений, лексических эмоциональных переключек и схваток.

31. Схема ломоносовского ямба не такая:



Рис. 1

а вот какая:

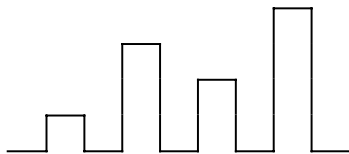


Рис. 2

или:

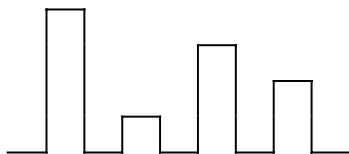


Рис. 3

Противопоставлены друг другу не только безударный — ударный слоги в каждой стопе, но также и во всем стихе — ударения разной силы, но и соседние стихи, по-разному вздымающие свои ударные пики.

Ломоносов осуждал фонетическое однообразие, оно ему казалось невыносимым. Надо стремиться, чтобы звуковые ряды «не наскучили бы одинаким течением», которое несомненно, как на одной струне почти ни в чем не отличающийся звон<sup>5</sup>.

Ода Ломоносова — декламационно-ораторский жанр (Ю. Н. Тынянов, 1922); и это обусловлено ее ритмической основой — напряженностью контрастов, противопоставленностью единиц в стопе, в строке, в строфе. Во внутреннем строении стиха.

**32.** И — во внешнем строении стиха. Он находится в раздоре с бытовой повседневной речью. Он демонстративно разрушает связь с практическим языком (Г. Гуковский, 1928).

Все это создает необычайную мощь, динамику, напряженность звуковой стихии стиха.

Укрошенной стихии: закон метра соблюдается строго, неизбежно явление ' (ударного слога) после ∪ (безударного слога).

Укрошенной — и неукротимой мощи! Потому что протуберанцы ударный взлетают высоко и яростно.

**33.** Это отражается во всем строении произведения: поэзия Ломоносова — это мир рационалистической рассчитанности, мир, выверенный по схемам риторики. Поэзия Ломоносова — это неистовство, восторг, яростный энтузиазм, борьба мощных и грозных сил:

Там кони бурными ногами  
Взвивают к небу прах густой,  
Там смерть меж Готфскими полками  
Бежит, ярься, из строя в строй,  
И алчну челюсть отверзает,  
И хладны руки простирает,  
Их гордый исторгая дух,  
Там тысячи валятся вдруг...

Вскочил, как яр из ложа лев,  
Колелет стран пределы рев.  
[О Стокгольме, о Швеции].

Я духом зрю минувше время;  
Там грозный злится исполин  
Рассыпать земнородных племя

<sup>5</sup> Сказано Ломоносовым о частях периода; но здесь обнаруживаются и общие языковые вкусы Ломоносова.



И разрушить природы чин!  
 Он ревом бездну возмущает,  
 Лесисты с мест бугры хватает  
 И в твердь сквозь облака разит.  
 Как Этна в ярости дымится,  
 Так мгла из челюстей курится  
 И помрачает солнца вид.

Не всегда это неистовство тематически оправдано; часто оно остается в области эстетической самооценности:

Твои щедроты ободряют  
 Наш дух и к бегу устремляют,  
 Как в Понт пловца способный ветер  
 Чрез яры волны порывает;  
 Он брег с весельем оставляет;  
 Летит корма меж водных недр.

**34.** Таков ямб Ломоносова. Все в нем контраст. Но поэт познал и сладость пиррихия. Они становятся даже частыми в его более поздних произведениях.

Причины, вероятно, две. Во-первых, отход от общепринятой бытовой речи, который представлен ямбом без пиррихия, непомерно велик, метрическое задание чрезмерно тяжело. И в произведениях большого размера (ода — продолжительный восторг и ликование) такой разрыв с речевой обыденностью приводит к запредельной, уже неэстетической перенапряженности поэтического текста. Прекрасно «Вечернее размышление о Божиим величестве», но — если стихотворение в несколько сотен строк? Такой текст, непрестанно рождающий напряжение, может стать невыносимым. Поэтому возникает понятное стремление — снять эту сверхсильную напряженность. Вначале, видимо, под натиском языковой необходимости Ломоносов вводит в стихи пиррихий.

Но действует и другая причина. И постепенно становится главной: Ломоносов почувствовал и оценил выразительность пиррихия.

Великолепными верьхами  
 Восходят храмы к небесам;  
 Из них пресветлыми очами  
 Елисавет сияет нам...  
 .....  
 О вы, недремлющие очи,  
 Стрегущие небесный град!

Иногда по движению стиха поздний Ломоносов близок к Державину:

Там мир в полях и над водами;  
 Там вихрей нет, ни шумных бурь,

Меж бисерными облаками  
Сияет золото и лазурь.

Кристаллы горы окружают,  
Струи прохладны обтекают  
Усыпанный цветами луг.  
Плоды кармином испещренны  
И ветви медом орошенны  
Весну являют с летом вдруг.  
Восторг все чувства восхищает!  
Какая сладость льется в кровь?  
В приятном жаре сердце тает!  
Не там ли царствует любовь?

**35.** Мы поняли, что в поэзии Ломоносова представлена — блистательно и торжествующе — такая система организации стиха, когда полностью господствует контраст. Он — всесильный метр этого стиха. Его оборотная сторона, ритм, должен бы состоять в том, что из стиха в стих повторяется одно и то же количество тактов; и этот повтор тогда был бы эстетически явен и значим, если бы такты оказались сопоставимы друг с другом, одинаковы по силе, тождественны как единицы, участвующие в строительстве стихового размера. Но, как мы видели, они резко различны. В этом случае их тождество подавлено, замаскировано торжествующей контрастностью, тем, что ударения разительно не одинаковы.

Повтор тождества у Ломоносова неявен, отодвинут на далекую окраину среди стихообразующих средств. Но он все же существует. Хотя бы потому, что в каждом стихе не может быть больше 4-х тактов. Хотя бы в этом стихи повторяют друг друга, тождественные между собой.

**36.** Как может идти развитие, внутреннее преобразование этой системы? Контрастность усилена быть не может. Она предельна. Уже в творчестве Ломоносова начался отход «от края»; это было показано выше.

Очевидно, ритм постепенно должен развертывать свою работу, делая более умеренным неистовое властолюбие метра. Пути могли быть разными: усилить роль повтора тождеств во внутренней организации стиха; усилить ее во внешней организации; сразу использовать оба пути.

В русской поэзии после Ломоносова ясно видны две линии. Одна — преобразуется «внешнее» строение стиха, при этом заметно стремление не отходить от ломоносовской основы во внутреннем строении. Эта линия представлена именами Г. Державина, В. Майкова, И. Крылова (басенное творчество Крылова принадлежит XIX веку, но типологически оно относится к XVIII-му; Н. П. Сидоров, 1938), Н. Гнедича, К. Батюшкова.

Другая линия: преобразуется «внутреннее» строение стиха, при этом заметно стремление не отходить далеко от ломоносовской основы во внешнем строении стиха. Эту линию создавали А. Сумароков, М. Херасков, А. Ржевский, М. Муравьев, Н. Карамзин, А. Радищев, К. Батюшков. В творчестве Батюшкова объединяются обе линии.

**37.** У Державина пиррихий не только допущен в стих — у него появляются любимые отклонения от ямбического метра. Известно его пристрастие к пиррихию на второй стопе в четырехстопном ямбе. Приведем подсчеты (Г. П. Шенгели, 1928). Сравниваются стихи четырех поэтов — Г. Державина, В. Жуковского, А. Пушкина, Е. Баратынского; в % указаны стихи четырехстопного ямба: 0 — без пиррихий (все стопы ударны); 2 — с пиррихией на 2-й стопе; 3 — с пиррихией на 3-й стопе; 4 — с пиррихией на 4-й стопе.

	0	2	3	4
Державин	34	21	34	0
Жуковский	22	14	48	0
Пушкин	24	4	50	0
Баратынский		2	50	0

Сравнению подлежат не горизонтальные, а вертикальные ряды. Предположим, какая-то вариация стиха решительно господствует у всех поэтов. Это значит, что выбор ее стимулирован языком, его закономерностями, стихобразующими возможностями русской речи. Язык подталкивает к этой вариации, а не воля поэта. Такой выбор эстетически не актуализирован.

Напротив, если у разных поэтов значительно колеблется склонность к определенной ритмической вариации, это может свидетельствовать об эстетическом предпочтении.

У Державина наибольшее (среди четырех поэтов) предпочтение пиррихию на второй стопе, наименьшее — к пиррихию на третьей. Чем это обусловлено?

**38.** Пиррихий на третьей стопе ведет к усилению ударения на второй стопе (4-й слог) и на последний (8-й слог). Возникают два сильных ударных центра стиха; два симметричных ударения членят стих на две равные части (4 + 4 слога или 4 + 5 слогов). Почти неизбежно и третье ударение (поскольку стихи типа *кланялся непринужденно* — большая редкость, они заблокированы языком: пробел в 5 безударных слогов не может быть особенно частотным). Итак, стих с пиррихией на третьей стопе сильно преобразует четырехстопный ямб, вносит резкие изменения в метр. Это стих, который устремлен к двухтактовому ритму (2 сильных ударения):

\*Когда в задумчивом совете

\*С самим собой, из-за угла

Гляжу на свет, и, видя в свете  
 \*Свободу глупости и зла,  
 \*Добра и разума прижимку,  
 Насильем сверженный закон,  
 Я слабым сердцем возмущен, —  
 \*Проворно шапку-невидимку  
 На шар земной набросит он,  
 \*Или, в мгновение зеницы,  
 \*Чудесный коврик-самолет  
 \*Он подо мною развернет,  
 И коврик тот в сады жар-птицы,  
 В чертоги дивной царь-девицы  
 \*Меня по воздуху несет.

*Е. Баратынский*

Преобладает пиррихий на третьей стопе... Преобладают стихи с двумя сильными ударениями... (они отмечены звездочками). То есть: метр здесь — четырехстопный ямб, но он уже сильно преобразован ритмом, устремлен к двухударному тактовику. Такие стихи характерны для многих лирических произведений Баратынского.

По-иному звучит такое стихотворение, тоже с частыми пиррихиями на третьей стопе:

Она мила — скажу меж нами, —  
 \*Придворных витязей гроза,  
 \*И можно с южными звездами  
 \*Сравнить, особенно стихами,  
 \*Ее черкесские глаза.  
 \*Она владеет ими смело,  
 Они горят огня живей;  
 Но, сам признайся, то ли дело  
 \*Глаза Олениной моей!  
 \*Какой задумчивый в них гений,  
 \*И сколько детской простоты,  
 \*И сколько томных выражений,  
 \*И сколько неги и мечты!..  
 Потупит их с улыбкой Леля —  
 \*В ней скромных граций торжество;  
 \*Поднимет — ангел Рафаэля  
 \*Так созерцает божество.

*А. Пушкин*

Здесь главенствуют трехударные стихи. Это излюбленный ритмический ход у А. Пушкина.

**39.** Как видно, в четырехстопном ямбе, когда 6-й слог безударен, возникает два сильных симметрических ударения (симметрических и поэтому

сильных). Кроме того, обычно есть еще третья, хотя бы и менее сильное. Поэтому такой стих сильно склоняется к двух- или трехударному тактовому, то есть отклоняется от полновластия метра, от ямбической торжествующей четырехударности.

Державин, с его тягой к пиррихию на второй стопе, стремился остаться в границах, позволяющих главенствовать ямбическому метру: его метрический идеал требовал укротить тактовые тенденции в стихе.

То есть: было намерение остаться в пределах внутренней организации стиха, данной Ломоносовым, когда ямб есть только ямб, не тактовик. Поэту Державину и понадобился стих:

У'УУУ'У'(У)

с несимметрическими ударениями, при большом количестве полноударных строк (см. выше таблицу).

40. Есть еще одно свидетельство приверженности Державина именно к такому стиховому идеалу. В строке с пиррихией на второй стопе наиболее часты такие словоразделы:

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| а) У'У УУ' У' | Милее, по следам Парни   |
| б) У'УУ У' У' | Красавицы, для вас одних |
| в) У'У УУ'У ' | Качает обнаженный лес    |

Первая вариация а) многочисленна у всех поэтов. Очевидно, ее постоянное преобладание подсказано языком, а не предмет эстетического предпочтения. Формы б) и в) дают значительные колебания (в процентах от всех стихов четырехстопного ямба с пиррихией на второй стопе; данные Г. П. Шенгели):

	б)	в)
Державин	25%	15,5%
Пушкин	15%	27,5%

Итак, Державин предпочитает форму б): У'У У|У'У' (указан только первый словораздел). Почему?

В работах фонетистов установлено, что второй заударный слог сильнее первого. Он несет слабое «четверть-ударение». Слабое, но ударение!

Почему Державин отдавал предпочтение этой вариации? Если он любил пиррихий на второй стопе, чтобы держать стих вблизи четырехударного, метрически строгого ямба, то и вариацию б) любил по этой же причине.

Строка: У'У У|У'У' — и допускает отступление от метра (отличие от стиховых пристрастий молодого Ломоносова), и не допускает его (сходство со стихом Ломоносова). Четверть-ударение, хотя оно и слабое, выделяет четвертый слог — сравнительно с полностью безударным предшествующим слогом.

**41. У поэта был выбор:**

1) Сохранить, как в стихе молодого Ломоносова, все четыре ударения. Но его произведения тогда стали бы в резкий раздор с обыденной речью. Ведь у нас на слово приходится три слога, а в полноударном ямбе — всего два. Но поэтическое стремление Державина было сблизить стих с обыденной речью. Полноударных стихов у него много, больше, чем у последующих поэтов (см. таблицу), но кроме них должны были получить признание и другие.

2) Допустить пиррихий на третьей стопе. Тогда на 8—9 слогов было бы три ударения; для державинского стиха хорошо: он стремится к согласию с обыденной речью. Но стих стал бы не только четырехстопным ямбом, но и трех- или двухтактовиком. Такое торжество ритма было не в духе державинской поэтики, склонной к метру.

3) Допустить пиррихий на второй стопе. Опасность двух-, трехтактовости устраняется: ударения несимметричны, поэтому не усилены, власть их не так велика, чтобы дать простор тактовику. И притом остается возможность не удаляться от полноударного ямба — если используется вариация б).

**42.** Приведем примеры, где значительную роль в строении текста играет именно эта вариация.

Изобрази мне мир сей новый  
В лице младого летня дня;  
Как рощи, холмы, башни, кровы  
*От горнего* златясь огня,  
Из мрака восстают, блистают  
*И смотрятся* в зеркало вод;  
Все новы чувства получают,  
*И движется* всех смертных род.

.....

*Кровавая* луна блистала  
Чрез покровенный ночью лес,  
На море мрачном простирала  
Столбом багровый свет с небес,  
*По огненным* зыбям мелькая.  
Я видел, в лодке некто плыл;  
Тут ветер, страшно завывая,  
Ударил в лес — и лес завыл;  
Из бездн восстали пенны горы,  
Брега пустили томный стон:  
*Сквозь бурные* стихиев споры  
Зияла тьма со всех сторон.

Ко берегу лодка приплывала.  
*Приблизилась* она ко мне;  
*Тень белая* на ней мелькала,

Как образ мраморный во тьме...

.....

... Желает хвал, благодаренья  
*Лишь низкая* себе душа,  
*Живущая* из награжденья —  
 По смерти слава хороша:  
 Заслуги в гробе созревают,  
 Герои в вечности сияют.

Но если дел и не имею,  
 За что б кумир мне посвятить, —  
 В *достоинство* вменить я смею,  
 Что знал достоинства я чтить...

43. Андрей Белый, открывший эволюцию ямба от державинских форм к пушкинским, тонко и верно заметил: стих  $\cup' \cup \cup \cup' \cup'$  произносится замедленно (а с пиррихием на третьей стопе — ускоренно). Закономерность — не общезыковая: слова с исходом  $\dots' \cup \cup$  проговариваются в обыденной речи не медленнее других. Значит, такое произношение вызвано особенностями самого стиха.

Ямб Державина настраивает на полноударность; в стихе  $\cup' \cup \cup | \cup' \cup'$  это настроение заставляет искать возможности усилить четверть-ударение на четвертом слоге (вторая стопа). И это достигается при замедленном произношении: оно позволяет подчеркнуть (длительностью) последний слог в слове, поскольку ударность это сила звука плюс длительность.

Чтобы немного удлинить заударный конечный слог, надо ощутимо удлинить ударный. Сама протяжность произношения ударного слога — компенсация «недоударности» второй стопы.

Замедление совершенно очевидно в таких державинских стихах:

На темно-голубом эфире  
 Златая плавала луна;  
 В *серебряной* своей порфире  
*Блистаючи* с высот, она  
 Сквозь окна дом мой освещала  
*И палевым* своим лучом  
 Златые стекла рисовала  
 На *лаковом* полу моем...

.....

О маскараде:

Бывало, под чужим нарядом  
 С красоткой чернобровой рядом,  
*Иль с беленькой*, сидя со мной,  
 Ты в шашки, то в картеж играешь;

*Прекрасною твоей рукой  
Туза червонного вскрываешь...*

**44.** Склонность Державина к определенным ритмическим вариациям можно показать с помощью статистики (см. выше). Но значительность их статистика полностью раскрыть не способна.

Тех приметных строк, о которых у нас все время шла речь, у Державина больше, чем у других поэтов, но все же их немного. А в ходе стихотворения они очень заметны и составляют цвет произведения. Потому что с этими строками обычно связаны стилистически самые значимые, самые державинские слова-образы (цветные эпитеты, глаголы мерного и плавного движения и т. д.). Замедленные слова, несущие пиррихий, часто подчеркнуты инверсией (*В серебряной своей порфире...*).

Так или иначе, эти строки выделены как строки особого внимания поэта. И, следовательно, их роль в стихотворении подсчитать нельзя. Она выясняется при эстетической оценке всего произведения.

**45.** Полноударные ямбические стихи у Державина определяют характер всего произведения не только потому, что их много (больше, чем у поэтов следующих поколений, см. таблицу), но и потому, что они определяют метрический фон — на нем выступают остальные стихи:

Восстал всевышний бог, да судит  
Земных богов во сонме их;  
Доколе, рек, доколь вам будет  
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.

Тон задает первая строфа.

**46.** У Ломоносова был выбор из двух: либо ударный слог, либо безударный. Ударный слог мог быть необыкновенно усилен, подняться над всеми остальными ударными, но при этом всегда представлял ту же метрическую единицу: контраст с безударностью.

У Державина выбор более широк: кроме этих двух единиц, есть еще и четверть-ударность. Это — следование метру: есть задание выделить слог — и вот он выделен. Это и отступление от метра: нужен-то, чтобы удовлетворить метр, полноударный слог, а представлено не то. Это скользящая, обтекаемая единица. И стих Державина обретает пластичность. Он текуч, гибок, изменчив. Не горный пик вознесся к небесам, а водопад льется, ручей бежит, волны колеблют поверхность озера. Такие образы любит Державин, и они как будто непосредственно рождены ритмикой его стиха.



**47.** И во всех других отношениях шкала выбора у Державина имеет больше ступеней, чем у поэтов предыдущей эпохи. Именно это придает его стиху пластичность — качество, которого не знал ломоносовский стих с его метрическими резкостями. (Они были совершенно уместны в ломоносовской поэзии.)

А поэзии Державина нужна пластичность. И поэтому ораторский стих у него постоянно превращается в говорной — и снова возвращается к ораторскому громкоголосию<sup>6</sup>. Говорной стих сглаживает выкрики, умеряет речевое неистовство, он не требует восстания ударений. Он ориентирован на спокойный, хотя и взволнованный, разговор.

**48.** Так Державин смягчает свое противостояние стиха обыденной речи. Начало как будто незаметное: полюбил пиррихии (но только те, которые позволяли во внутреннем строении стиха оставаться верным метрической строгости). Перестал увлекаться ораторскими взревами — хотя логические ударения нередко всхолмляют его строку. Отсюда — близость к ходу обычной речи: одно ударение на 3 слога; это — признание красоты и достоинства обычной бытовой разговорной стихии. Это — умеренность в ораторских отступлениях от повседневной речевой нормы. Во внешней организации стиха изменения: контраст с речевым фоном смягчен. Во внутренней организации стиха пристрастия не изменялись: полнометрический ямб.

**49.** У каждого (или почти каждого) поэта есть в строении стиха прорывы в будущее. Такие прорывы показывают далекую цель, отвергаемую в большинстве произведений поэта.

Стихотворение Державина «На смерть Катерины Яковлевны» — тактовик. В некоторых строках длинный пробег безударностей оказывается равен такту (принцип — «Беленький пироксилин»)..

Это стихотворение раскрывает возможности развития русской метроритмики. Это — полет в неблизкое будущее.

**50.** Перейдем к рассказу о другой, карамзинской линии развития русского стиха.

И здесь движение состоит в том, что набирает силу ритм — повтор тождеств, но не во внешней, а во внутренней организации стиха. Эта поэзия от-

<sup>6</sup> Ораторские стихи у Державина обычно отмечены спондеем:

Я царь — я раб — я червь — я бог!..  
 Чей одр — земля, кров — воздух синь...  
 Рев ветров, скрип дерев дебелих...  
 Здесь персть твоя, а духа нет.  
 Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем...  
 Краснеет понт, ревет гром ярый...  
 Дрожит земля, дождь искр течет...

мечена духом экспериментаторства: ход стихотворного размера ориентирован на изменение стихотворной же традиции.

**51.** Ямб и хорей здесь разными способами, с разной эмоционально-образной мотивировкой, преобразуются. Уже Сумароков коллекционирует в своих стихотворениях резкие видоизменения стопных размеров.

Так, в шестистопном ямбе первая, предцезуровая часть нередко представлена у него одним шестисложным словом, да еще иногда с ударением на втором слоге!

И представляешься смятенному уму,  
К неизреченному мученью моему...  
.....  
Не вспоминайся мне; довольно знаю муки  
От нестерпимого мне времени разлуки.  
.....  
Обрадовавшись, любовник вопрошает,  
Какой его случай внезапно утешает.  
.....  
И опуская зрак: луч сердца моего,  
Задумывался, не знаю отчего.  
.....  
Волнующаяся стремленьем быстротечным...  
.....  
Умеренностью препровождает век...  
.....

Не было другого русского поэта, который бы так любил насыщать безударностью первую половину александрийского стиха (шестистопного ямба).

**52.** Другое пристрастие Сумарокова — сочетание в одной строфе хорей и ямба, ямба и анапеста и т. д. У таких стихотворений была ритмическая мотивировка: это все подражания русским народным песням. И здесь оказалась нужна ориентация на поэтическую данность, ее воспроизведение и преобразование.

А        Успокой смятенный дух  
Б        И, крушась, не сгорай!  
А        Не тревожь меня пастух.  
Б        И в свирель не играй!  
А/В    Я и так тебя люблю, / люблю, мой свет;  
А/Б    Ничего тебя милей, / ничего лучше нет.

Обозначим: А = '⊔'⊔'⊔'⊔', Б = ⊔⊔'⊔⊔', В = ⊔'⊔'. Тогда вся строфа должна быть изображена так: А || Б || А || Б || А | В || А | Б.

53. Песня Сумарокова «Благополучны дни» состоит из строф такого строения:

$$\begin{array}{l} ' \cup \cup ' \cup ' \\ ' \cup \cup ' \cup ' \cup \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} ' \cup \cup ' \cup ' \\ ' \cup \cup ' \cup ' \cup \end{array}} \right\} 2$$

$$\begin{array}{l} ' \cup \cup ' \cup ' \cup \\ ' \cup \cup ' \cup ' \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} ' \cup \cup ' \cup ' \cup \\ ' \cup \cup ' \cup ' \end{array}} \right\} 2$$

Каждый стих можно представить как сочетание:

$$' \cup + \cup ' \cup '( \cup ).$$

То есть это ямб с инверсированной (хореической) первой стопой.

Вообще: изменение внутренней организации стиха без изменения внешней всегда, вероятно, должно рассматриваться как необычное сочетание уже известных единиц. Здесь — сочетание хорей и ямба, которое дает два безударных слога подряд, не чередование ударностей и безударностей, а повтор, тождество двух безударных слогов. После  $' \cup$  идет не сильная, а слабая часть стопы, две слабости оказываются рядом — из стиха в стих идет признание эстетического достоинства двух метрически узаконенных тождественных слогов-соседей.

Таких песен, сочетающих разные размеры и дающих простор для стоп типа  $' \cup \cup$ , у Сумарокова много.

54. Поэзии Сумарокова, Карамзина и других поэтов данного направления свойственна строфичность. Одна строка контрастно выступает на фоне других строк той же строфы. Последующая является преобразованием предыдущих.

Итак, суть тех новшеств, которые внесли в строение стиха эти поэты, в преобразовании внутренней организации стиха, а от материала, от повседневной речи отстояние сохраняется: оно очень велико.

55. Мы уже приводили примеры (когда говорили о Ломоносове и Державине) таких поэтических тем и образов, которые как будто непосредственно вырастают из особенностей стиха, из его метрико-ритмической основы. Для Сумарокова и, пожалуй, для других поэтов той же стиховой ориентации показательна такая образная метафора их метро-ритмики: бег по кругу. Постоянный поворот. Перемена ориентации.

Лечу из мысли в мысль, бегу из страсти в страсть,  
 Природа над умом приемлет полную власть —  
 Но тщетен весь мой гнев. Кого я ненавижу?  
 Она невинна в том, что я ее не вижу...

.....

А я в обмане сем мучение терплю,  
 Сержусь, но гневом тем лишь пуще я люблю...

Лишенный всех забав, ничем не улаждаюсь,  
 Стараюсь волен быть и больше побеждаюсь...  
 Брожу по берегам и прехожу леса,  
 Нечувственна земля, не видны небеса...  
 .....  
 Бегу без памяти, везде ее ищу,  
 Бегу во все страны, во всех странах грущу...  
 Часы, которые в утехах пролетали,  
 Вы сделали мне скорбь и вечной мукой стали!  
 Мой дух воспламенен, и вся пылает кровь:  
 Несчастлив человек, кто чувствует любовь.

Кругами сходятся, повторяясь и варьируясь, стиховые конструкции, кругами идет, повторяясь, тема стихотворения.

**56.** Поэты данного направления любили русские аналогии античных размеров. У Сумарокова они малоудачны, но, например, у Радищева художественно полноценны. Вот его «Сафические строфы»:

Ночь была прохладная, светло в небе  
 Звезды блещут; тихо источник льётся,  
 Ветры нежно веют, шумят листьями  
 Тополи белые.  
 Ты клялась верною быть вовеки,  
 Мне богиню нощи дала порукой;  
 Север холодный дунул один раз крепче  
 Клятва исчезла.

Схема:

'У'У'У'У'У'У'У'У'У'  
 'У'У'У'У'У'У'У'У'У'  
 'У'У'У'У'У'У'У'У'У'  
 'У'У'У'У'У'У'У'У'У'

Это хорей с дактилической стопой в середине стиха; удлинение слогов — знак компенсации отступления от метра.

**57.** И здесь: далеко расстояние до обыденной речи; оно никак не меньше, чем у четырехударного ямба Ломоносова. Но внутри стиха — значительная перестройка: сдвоенные безударные слоги торжественно заявляют, что тождество единиц в стихе желанно и художественно выразительно.

И у Державина могли рядом стоять безударные слоги. В случае пиррихия. Но они не были одобрены метром, они его нарушали. А в сапфической строфе два безударных слога не допускаются, а требуются, они не отступление от задания, а его выполнение. Они — упроченный, утвердившийся повтор тождества.

58. Смелость изящества — вот характеристика стиховых опытов Карамзина. Смелость, смиремая изяществом.

59. Карамзин преобразует метры, усвоенные русским стихом. Его хорей — не столько хорей, сколько преобразованный ямб. Настоящий русский хорей — плясун. У него — полуударения (или безударности) на первой и третьей стопе, если он четырехстопный; остаются два сильных ударения два колена:

◌◌◌◌"◌◌◌◌"(◌)

Проплясать можно все хорейные сказки Пушкина, всего «Конька-горбунка». Вот так:

Три девйцы под окнѡм  
Пряли пѡздно вечеркѡм.  
«Кабы я была царйца, —  
Говорйт одна девйца, —  
То на вѣсь крещеный мйр  
Приготѡвила б я пйр».

.....

Туча пѡ небу идѣт!  
Бочка пѡ морю плывѣт!

Не такой хорей у Карамзина:

«Дайте мне коня и сбрую,  
С коей Карлу я служил;  
Дайте мне копье булатно,  
Коим я врагов разил.

Цель тотчас сшибу на землю,  
Сколь она ни высока.  
Если ж я сказал неправду,  
Жизнь моя у вас в руках».

Скоро, скоро спешает  
Страж темничный к королю;  
Приближается к инфанту  
И приносит весть ему:

«Знай: Гваринос-христианин,  
Что в тюрьме семь лет сидит,  
Хочет цель сшибить на землю,  
Если дашь ему коня».

.....

Так, как буря разъяренна,  
К цели мчится сей герой;

Мечет он копье булатно —  
На земле вдруг цель лежит.

Все арабы взволновались,  
Мечут копья все в него;  
Но Гваринос, воин смелый,  
Храбро их мечем сечет...

Размещение ударений показывает, что создавая эти хорей, Карамзин мыслил ямбически. Ударения на первой и третьей стопе у него обычно не слабее, чем на других. Они не поглощаются ритмической инерцией пляса. Стих падает тяжело (ямбово!) на все четыре мощные стопы — не пляшет. На четыре или на три, но не на две!

Отвлечение, отсечение слога у ямба, создание хорезизированного ямба — та же по типу операция, что удвоение безударного слога в сапфической строфе; в обоих случаях преобразуется метр.

**60.** А можно его преобразовать и так:

Вы бы вместе с ним увидели —  
беспримерную красавицу...  
как ее густые волосы  
светло-русые, волнистые,  
осеяли белизну лица...  
как ее рука лилейная,  
где все жилки васильковые  
были с нежностью означены,  
ее голову покоила.

Вот это настоящий хорей! С двумя главными ударениями в каждом стихе. Но и здесь в метр внесены изменения: даны дактилические окончания. И они придали хорей особый ход.

Суть — та же, что и в других опытах поэтов этого круга: удвоена безударность, да еще на самом видном месте — в конце строки!

Разумеется: если удалась операция удаления первого слога в стихе, то не может не удалась и другая: наращение последнего слога.

**61.** Мы говорили о строфичности поэтического мышления у Сумарокова и его стиховых сослуживцев. Строфа дает не только цикличность, повторное круговращение в смене стиха, но и неожиданную изменчивость строк. Строфа — там, где есть отличие одного стиха от другого, так что каждый образует особый поворот в пределах круга — строфы.

Однако постоянная переменчивость стиха на фоне другого стиха может быть художественной нормой и вне строфы. Остается переменчивость без цикличности, то есть чистая переменчивость.

У Карамзина стих становится индивидуален. Каждый стих, конечно, повторяет в чем-то другие стихи, но от него всегда ожидается и неожиданное своеобразие, «отодвинутость» от массы предшествующих. Он — особа, он сам по себе. Он ценится как изменение ранее данного. (Здесь, пожалуй, два смысла: изменение ранее данного традицией и ранее данного этим именно текстом.)

Строфичность, хотя бы и с очень причудливым узором строк, здесь недостаточна. Нужен динамический синтаксис, связывающий стихи и в своем беге по-разному их организующий:

Едва был создан мир огромный, велелепный,  
Явился человек, прекраснейшая тварь,  
Предмет любви творца, любовию рожденный;  
Явился — весь сей мир приветствует его,  
В восторге и любви, единою улыбкой.  
Узрев собор красот и *чувствуя себя* [Выделено поэтом.],  
Сей гордый мира царь почувствовал и бога,

Причину бытия — толь живо ощутил  
Величие творца, его премудрость, благость,  
Что сердце у него в гимн нежный излилось,  
Стремясь лететь к отцу... Поэзия святая!  
Се ты в устах его, в источнике своем!..

Стих гнется, каждый в отдельности, интонационно и ритмически связанный с другими стихами; и так создается фонетическое движение, пронизывающее все произведение.

Индивидуальность каждого стиха, его отстояние от предыдущего обеспечивает общую динамику текста.

**62.** У Карамзина метр настолько уже преобразован ритмом, так причудливо им изъеден, что возникла возможность индивидуального ритмического построения. Явилась конструкция (стих или сочетание стихов), предназначенная только для этого контекста.

Никто из предшественников Карамзина не мог решиться на такую рифменную дерзость:

В ком дух и совесть без пятна,  
Тот с тихим чувствием встречает  
Златую Фебову стрелу,  
И ангел мира освещает  
Пред ним густую смерти мглу.  
Там, там, за синим океаном,  
Вдали, в мерцании багрянном,  
Он зрит... но мы еще не зрим.

Оборвано. Рифма утаена. Это мотивировано содержанием? Да, если правильно понимать слова «мотивировано содержанием». Развитие стиха дошло до черты, за которой начинались поиски неповторимости стихотворного построения, а неповторимость требовала (не забудьте: стих — это повтор!) поддержки извне, иначе ее следовало бы считать просто ошибкой. Извне — со стороны других ярусов. Со стороны образной системы.

Строка, неожиданно повисшая над обрывом, без рифменного пологого ската, была желанна как объект эстетического переживания. Она потребовала от образного яруса мотивировки. Образный ярус повиновался.

**63.** Сделаем пробег по сказанному. Поэт экспериментирует над стопными размерами, ямбом и хореем. Он то вводит в середину стиха неожиданный слог (сапфическая строфа : другие строфы, пересоздающие античные размеры), то срезает слог в начале — из ямба получается хорей, но без хорейных плясовых привычек; то добавляет слог в конце — рождается стих с дактилическим исходом.

Это — работа над внутренним строением стиха. В ходе этой работы появляется узаконенное тождество двух, стоящих рядом, безударных слогов.

Читатель Ломоносова ждет осуществления всех возможных контрастов. Его радует эта безотказность: велено — и есть.

Для читателя Карамзина (и поэтов — его ближайших соседей по стиху) любезно и чаятельно уловить неожиданность — вместо контраста является тождество, но это не беззаконие: постепенно становится ясно, что таков закон, таково внутреннее строение текста.

**64.** Державин снизил уровень контраста во внешней организации стиха.

Карамзин и его соседи по стиху — во внутренней. Они экспериментировали с ямбическим и хорейческим метром, усложняя законы их регулярности; они индивидуализировали каждый стих, усиливая межстиховое движение. А это связано с вниманием к их общности—различию, это воспитывает тактовое мышление: тактовый ритм как раз и требует сопоставления стихов, умения видеть их общность (тактовик «разыгрывается» в строфе, в сочетании стихов).

Так в стихах Карамзина и других постепенно строилось новое стиховое мышление: внимание к закономерностям, объединяющим стихи, к тактовым повторам.

**65.** Державин дал текучую, пластическую строку. Но пластика не перешла на другие строки, не объединила их одним движением. Ведь стиховой идеал у Державина — один: полноударный ямб. Все стихи смотрят на него, им дан один образец. Индивидуальность каждого стиха, их разница, создающая движение в ряду стихов, — все это не нужно поэзии Державина.

Карамзин ценил в стихах их несходство (в пределах метра) — и создал движение между стихами. Но пластики внутри строки не было: выбор шел



между двумя четко разделенными единицами — ударностью и безударностью. Надо было насладиться динамикой смены стихов, ничем ее не осложняя.

**66.** Итак, две линии в развитии русского стиха. Они слились (по-разному) в творчестве Батюшкова и Пушкина. Пластичность каждого стиха и изменчивое, динамическое движение, объединяющее ряд стихов, образовали единство. Новую эстетическую целостность.

Об этом хотелось бы рассказать, но бумага, отведенная для этой статьи, кончилась. В другой раз.

## Ритм и метр в русской поэзии. Статья вторая: Словесный ярус\*

1. В предыдущей статье<sup>1</sup> мы исходили из простейшего принципа: звуковой ярус поэтического произведения строится на повторе отношения. Может ли это огрубленное (пожалуй, даже примитивное) положение служить исходным средством для анализа поэзии? Именно исходным оно и может быть: в основу должна быть положена некая определенность. Если это на самом деле живой принцип, он в ходе анализа может быть как угодно истончен и отточен. Е. Д. Поливанов, выдвинувший этот принцип, показал, что с ним можно успешно работать над текстами.

2. Повторим главные выводы первой статьи.

а) Единицы поэтического текста, создавая и определяя его поэтическую сущность, входят в повторы двух типов: повторы контрастов и повторы тождеств.

б) Повтор контрастов и повтор тождеств работают в одном и том же (в каждом поэтическом) тексте. Один из них, т. е. либо повтор контрастов, либо повтор тождеств, является метром — господствующим принципом организации; другой, противоположный, — ритмом, т. е. подчиненным принципом организации. Он работает в рамках, данных метром. Термины «метр» и «ритм» используются в том значении, которое придал этим терминам Белый — создатель учения о метре и ритме.

Пример. В 4-стопном ямбе Пушкина господствующий принцип — повтор контраста (стопа ямба есть контраст безударности—ударности), подчиненный — принцип тождества (в каждом стихе — 3 ( $\pm 1$ ) такта; постоянное число тактов в каждом стихе — это принцип тактового стиха, который реализует себя в 4-стопном ямбе постольку, поскольку позволяют условия ямба).

Ритм преобразует метр, унимает категоричность его требований, дополняя одну тенденцию (в строении поэтического текста) другой, противоположной.

---

\* Поэтика и стилистика: 1988—1990. М.: Наука, 1991. С. 3—23.

<sup>1</sup> См.: Панов М. В. Ритм и метр в русской поэзии [Статья первая: Звуковой ярус] // Проблемы структурной лингвистики 1985—1987. М., 1989. С. 340—371.

Сочетание метра и ритма, созидающее поэтический текст, будем называть «кнотром». Термин «кнотр» может использоваться также и для названия каждого из них (метра или ритма) в тех случаях, когда имеется в виду их соотношенность.

в) Кнотр контраста имеет, во-первых, внутреннюю организацию: закономерно следуют одна за другой единицы, образующие контраст (например, ударный слог за безударным); во-вторых, внешнюю организацию: на протяжении поэтического текста сохраняется одно и то же отношение к материалу — контраст с бытовой речью (бытовая речь не имеет ямбической организации).

Также и кнотр тождества имеет, во-первых, внутреннюю организацию: закономерно повторяются единицы, которые приравниваются друг к другу, отождествляются друг с другом (например, такты в каждой стиховой строке); во-вторых, внешнюю организацию: на протяжении текста сохраняется близость с характерными признаками бытовой речи, с ее звуковой организацией (бытовая речь стремится, у хороших говорунов, к равновесию фразовых единств, к относительному единообразию их тактовой наполненности).

г) Развитие внутреннего строения кнотра и его внешнего строения взаимно связаны.

3. Чтобы проверить это, выдернем из истории русского стиха одну нитку: ямб и его превращения.

4. Возьмем самое начало русского ямба в XVIII в., представленное, например, стихотворением М. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве». Пиррихии подвергаются остракизму; стих обычно имеет вид  $\cup' \cup' \cup' \cup' (\cup)$ . Внутри каждого стиха максимальное число контрастов: 2 на 8 (9) слогов. Итак, внутренний кнотр являет собою предельное напряжение контрастов.

Во внешнем кнотре — максимальный контраст с бытовой речью. Во-первых, поэтическая речь (тот же 4-стопный ямб) членится на соизмеримые стабильные фонетические отрезки (стихи). В бытовой речи такого стабильного членения нет.

Во-вторых, в ямбе ударение падает на четные слоги; проз-речь не стремится к такой закономерности.

В-третьих, в ямбе без пиррихий, характерном для «детства» русского стиха, одно ударение приходится на 2 слога, в бытовой речи — одно на 3 слога, это создает напряжение при построении ямбического беспиррихийного стиха и резко отграничивает его от прозаически-бытовой речи.

В-четвертых, в бытовой речи выражены самые различные, самые причудливые, хаотически-неожиданные последовательности безударных и ударных слогов. В поэзии середины XVIII в., при полном господстве ямба, модель

одна. Своим единством она — монолит — противостоит бытовому неупорядоченному разнообразию.

Итак, во внешнем кнотре — сильный контраст с материалом стиха, с бытовой речью.

5. Следующий шаг в развитии русского ямба: появился пиррихий; Державин, Батюшков его полюбили. У поэтов-романтиков пиррихии придали ямбу (в первую очередь 4-стопному) необыкновенную динамику, выразительность и художественную остроту.

Пиррихий в чести; это значит: ударение падает не на все четные слоги, не все возможности слогового контраста находят реализацию в стихе; значит, появились сочетания из нескольких безударных слогов в строке. Во внутреннем кнотре, как видно, контраст представлен уже не в своей крайней, категорической форме.

Изменился и внешний кнотр: если есть пиррихий в строке 4-стопного ямба (из 8—9 слогов), то одно ударение падает на три слога, так же, как и в прозаической речи; поэтическая речь получила возможность широкого варьирования. Сама возможность варьировать количество безударных слогов между ударными (то один, то три и изредка — пять) сближает ямб с обычной речью.

6. В поэзии Тютчева, А. Григорьева, Некрасова, Огарева, Фета появляются такие стопные формы стиха (в том числе и ямба), где метрически ожидаемые слоги наращиваются и пропадают:

О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим и суеверней...  
*Тютчев*

За песней куда-то сердце летело,  
И вздох прорывался не раз.  
*Огарев*

Это изменение во внутренней организации: категоричность требований стопного метра смягчилась; но и во внешней: возможности сочетаний безударных слогов между ударениями стали более вариативны, сблизившись с широкой вариативностью их в проз-речи. Контраст стих — бытовая проза стал во всех отношениях менее резок.

В эту же эпоху ямб теряет свою монополию в поэзии. Появляются и находят широкое признание соперники — размеры с трехсложной стопой, широко используется хорей. Типы следования друг за другом ударных — безударных слогов, «фигуры» их сочетаний почти так же многообразны, как в бытовой речи. Все это сближает стих с почти таким же неограниченным движением ударностей — безударностей в непэтической речи.

7. У символистов и их современников наращенные и «срезы» слогов, вопреки метрическому ожиданию, становятся обычны. Нередко стопная структура стиха уже еле просвечивает сквозь вольности слогобега. То есть: тактовик стал метром. Он главная, явная, господствующая основа стиха (при широком использовании в поэзии и других стиховых организациях: монополии ямба или другого размера нет). Выделяется, как показали исследователи, два типа тактового стиха. Первый тип: между ударениями промежутки обычно в один-два слога, иногда — промежутки в ноль слогов (два ударения подряд). В среднем — на два слога одно ударение. Этот тактовик ориентирован на промежутки между ударениями размером в среднем в один слог. Следовательно, здесь метр — тактовик, но подспудно присутствует и стопник ямбохореического типа (это — ритм). Существует другой тип тактовика: между ударениями в среднем находится два слога; здесь за спиной тактовика (который метр) стоит стопный размер с трехсложной стопой, это — ритм.

И здесь сразу меняется и внутренний, и внешний строй стиха: господствует уже не стопа (атом контраста), а сочетание тактов в стихе (атом тождества); единица организации текста — такт, фонетическое слово, как и в прозе-речи.

8. Из тактовика возникает свободный стих, верлибр (А. Фет, А. Блок, М. Кузмин, В. Хлебников, Е. Гуро). В нем как будто утрачены все отталкивания от обычной бытовой речи.

Но при этом обнаруживается крутой поворот диалектической спирали: развитие стиха поворачивается к усилению контраста с речью непоэзии. Возрастает роль межстиховых пауз, они подчеркнуты, выделены, перестают ориентироваться на естественность, незаметность и деловую мотивировку, характерные для бытовой речи. Без такой выделенности пауз стих превращается в прозаическую невнятицу. Усиливается отталкивание от внепоэтической данности.

Так взаимодействуют друг с другом метр и ритм в истории русского стиха. Отношение «метр — стопная организация, ритм — тактовая», характерное для начала движения (XVIII в.), постепенно, через ряд ступеней превращается в другое отношение: «метр — тактовик, ритм — стопная организация».

Как обстоит дело в словесном ярусе?

9. В словесном строе художественного произведения различают, с одной стороны, «особые слова», вводимые в текст и его преобразующие: архаизмы, варваризмы, неологизмы и т. д. С другой стороны, художественному произведению свойственны «поэтические фигуры»: метафоры, сравнения, метонимии, эпитеты и пр. Будем и мы придерживаться этой традиционной классификации. Вначале речь пойдет об особых словах, о «переименованиях».

**10.** Переименование — там, где поэтическое слово противопоставлено обыденному, бытовому слову и его заменяет. Арготизмы, диалектные слова, лексическая архаика, детские «колотки и копатки», приезжие слова-экзотизмы, слова ласки, вульгаризмы, выдуманные слова, лексические чудачества... все это для поэзии — превращенные слова. В диалекте диалектизмы ни с чем не контрастируют, они — не «иные» слова, они не выбираются (вместо чего-то другого), они единственное средство бытовой речи. В поэзии они — замена. Искусство дорожит возможностью выбора. Эстетическая оценка текста обусловлена тем, что введены слова, свидетельствующие о свободе выбора — именно все эти контрастные, особые слова, «гости».

Глаза названы *очами* — это переименование. И когда вместо *Л. Н. Толстой* сказано *гениальный автор «Анны Карениной»* — это тоже переименование. Но художественного здесь чуть. Да не чуть, а совсем нет! Средство переименования тогда эстетически активно, когда читателю ясен контраст между явленным словом и утаенным, его двойником, привычным в обыденной речи. Этот контраст создает эмоционально значимый текст. *Гениальный автор «Анны Карениной»* не годится для создания контраста, и поэтому такая замена художественно мертва.

Итак, кнотр контраста в словесном ярусе создается переименованиями. Переименование имеет две стороны: заменяющее слово контрастно с заменяемым, нейтральным; заменяющее, «окрашенное» слово контрастно с контекстом, состоящим из нейтральных слов.

**11.** В поэтическом произведении могут быть слова, которые вне поэзии не употребляются:

Под хладом старости угрюмо угасал  
Единый из седых орлов Екатерины.  
В крылах отяжелев, он небо забывал  
И Пинда острые вершины.

*Пушкин*

Но могут быть введены слова, возможные в речи непоэтической. Создавая контраст, они переосмысляются функционально, т. е. меняют свою функцию. Диалектное слово в стихах Некрасова — не то, что в диалекте. Экзотическое слово в стихах — не то, что в научной книге, досконально описывающей эту экзотику. Бранное слово в стихах — не то, что в шайке хулиганов.

**12.** Меняя свою функцию в поэтическом тексте, слово может быть сдвинуто и по значению — сравнительно со своим синонимом в прозе: «Чело — это не часть черепа, а „вместилище мысли“, очи — не орган зрения, а „зеркало души“, уста — это не орган приема пищи, ... а „источник речей премудрых“» (А. А. Реформатский).

13. Синонимичность, соотнесенность окрашенного слова с нейтральным в поэзии надо понимать шире, чем в прозаически-обиходной речи. И здесь тоже важна функциональная точка зрения.

И ты вступила в крепость Агры,  
Светла, как древняя Лилит,  
Твои веселые онагры  
Звенели золотом копыт.

Гумилев

Здесь *онагры* — название экзотических (и, по-видимому, добрых) животных. Точная зоологическая их идентификация, скорее всего, не нужна. Синоним этого слова в нейтральной лексике — название обычного животного, причем точное, словарное его определение невозможно и не нужно. Синоним *к онаграм* — некое обобщенно мыслимое название обыденного животного.

Контрасты, которые создает «иная» лексика, безгранично разнообразны. Наш перечень (см. выше) не исчерпывает их, и их нельзя исчерпать.

И в пределах одной «области», откуда взяты слова-контрасты, каждый поэт находит свои пути преобразования этих слов, свои способы их введения в текст, свои соотношения «иных» слов с лексическим фоном. Например, слова античной культуры совершенно различно входят в тексты таких поэтов, как А. Пушкин («Прозерпина»), К. Батюшков («Где слава, где краса, источник зол твоих?»), Н. Гнедич («Сиракузянки»), П. Катенин («Сафо»), А. Майков («Эхо и молчание»), Н. Щербина («Гермес-привратник»), А. Фет («Диана»), В. Брюсов («Орфей и аргонавты»), Вяч. Иванов («Нарцисс»), Н. Гумилев («Возвращение Одиссея»). Это — горсть из россыпей стихотворений, в которых «слова издалека», из античных преданий, заговорили на разные голоса, в каждом произведении по-своему.

14. Нельзя в один и тот же текст в качестве контрастных слов вводить то диалектизм, то славянизм, то детский лепет, то Прозерпину с Плутоном. Какофония получится. Следовательно, соотношение выделенных слов с фоном должно быть единым; это — повтор отношения, это — кнотр.

Однако есть и такие строки:

Думалось:  
в хорах архангелова хорала  
бог, ограбленный, идет карать!  
  
А улица присела и заорала:  
«Идемте жрать!»

Маяковский

Здесь: *архангелов хорал, идет карать* — и рядом *идемте жрать*... Такое возможно только при смене точки зрения: то голос поэта — то голос ули-

цы. Есть сигнал (именно эта смена), что создание контрастов идет уже по новой мерке.

15. Заметно, что степень контрастности может сильно варьироваться. Славянизмы на фоне обычной речи — резко контрастны. *Вежды, единый из...* (= один из...), *крылá* (= крылья)... — все это невозможно в обыденной бытовой речи. Менее контрастны со своим фоном слова «издалека», из иных культурных миров. Они не исключены полностью из непоэтической речи. Еще меньше контрастность у слов из диалектов, из просторечия, разговорно-непритязательных. Они могут в иных случаях сливаться с текстом.

Очевидно, контрастность — основа, суть слов-переименований. В славянизмах представлено метрическое торжество этой основы. В остальных типах — ослабление метрической категоричности.

Если вспомнить, что славянизмы были доминантой классицизма, заимствования из экзотических культурных миров — доминантой романтизма, а диалектизмы, просторечные слова составили главный выбор «натуральной школы», то видно, что эти слова («переименования») постепенно отступают от своей метрической категоричности, предстают все более покладистыми... Они становятся постепенно не перпендикулярны к словесному фону, а наклонны к нему, и наклон, в смене художественных школ, усиливается. В этих словах просыпается противоположное начало (это — усиление ритма): в диалектных, в просторечных словах ценится метафоричность, близость к сравнению. Сквозь кнотр контраста пробивается кнотр тождества: *«Не уежно, да улежно»*, — *Дедушка решил* (Некрасов).

Слова «издалека», заимствованные слова, экзотизмы, тем более славянизмы не обнаруживают тяги к метафоре. А в диалектных словах, в словах просторечия, введенных в художественную речь, она нередко используется: диалектизм в то же время выступает как метафора.

Редкие, т. е. контрастные, слова взаимодействуют с нередкими, нейтральными словами. Стихотворение — контур, в котором все время колеблется напряжение между двумя уровнями. Читатель обладает способностью оценивать эти колебания: то напряжение, то разряд. Он замечает, что это закономерность. Она вызывает эмоцию. Читатель понимает, что перед ним не хаос. Поэзия!

16. Называя глаза *очами*, мы сравниваем. Эти глаза — не глаза, а *очи*: они прекраснее, духовнее (или — роднее...), чем обычный орган зрения, среднестатистический. В центре внимания находится не сходство *очей* — глаз, а различие: это — не то. Разумеется, этот контраст «играет» лишь на основе совпадающих признаков, но переименование совершено, чтобы выделить несовпадающий признак, качественную оценку. Общие признаки — лишь условие для выделения контраста.



Сказано: *Ясны очи соколиные* (Кольцов) — не для того, чтобы свидетельствовать: органы зрения наличествуют; а для того, чтобы отличить их от всего обыденного как особенное и чудесное.

Все это говорит о том, что переименование — средство контраста.

17. Настоящее сравнение (то, которое включает *как* или его эквиваленты) не противопоставляет, а приравнивает, и чем глубже схвачено это сходство, тем ценнее сравнение:

Закованный в бронзу с боков,  
Он плыл в темноте колеи,  
Мигая в лесах тростников  
Копейками чешуи.

*Багрицкий*

Чешуя (одна чешуина) = копейка, вот равенство. Оно выделяет в предмете его отдельные признаки: мелочь, круглая, тонко-плоская, бронзово-металлическая, мерцает.

Сравнение может тончайше градуировать признаки, находя такую степень их сходства, которую трудно было бы описать «дифференциально», подыскивая точные определения:

Орешник тебя отрешает от дня,  
И мшистые солнца ложатся с опушки  
То решкой на плотное тленье пня,  
То мутно-зеленым орлом на лягушку.

*Пастернак*

Необыкновенно верно схвачен (назван, нарисован) цвет. Как назван? Путем наложения, отождествления двух предметов: солнечное пятно на мшистом пне — древняя медная монета. Солнечное пятно может быть и таким и этаким; старинные монеты имеют то одно, то другое сочетание золотисто-медного и зеленого. Именно так: совпадают оттенки. Читатель их видит, потому что поэт нашел способ выделить их и тем самым назвать — обрисовать солнечно-пятнистый лес — с помощью сравнения.

Так сравнение рисует мир вплотную, в абсолютной его воплощенности. Так передает ликующе-напряженную любовь к нему.

18. Обозначим таким знаком: ' — признак, сходный у двух объектов; при этом выраженный словесно (любым образом: в виде существительных, включающих эти признаки, в форме словесного описания, или путем какой-то чреды наименований, образующих семантическую цепь); ∪ — признак, свойственный только одному из сравниваемых объектов. Тогда сравнение Багрицкого («Закованный в бронзу с боков») надо изобразить так: '''∪∪'''∪∪ или '''∪∪ // '''∪∪, т. е. несколько признаков совпадает, несколько — нет.

Поэтическое сравнение не то, что обычное, бытовое, хозяйственно-прозаическое. В стихах не годятся такие сравнения: белая смородина похожа на крыжовник; старые калоши похожи на новые калоши. Нельзя сопоставлять два вида одного рода, т. е. предметы, отличающиеся одним признаком. Поэтическое сравнение — не связь двух рядом лежащих объектов, не сходство двух соседних рубрик в какой-нибудь классификации. Надо сравнивать по крайней мере через ступень, чтобы отличие было многопризнаковым.

Чем больше в двух сопоставляемых предметах этих  $\cup\cup\cup\dots$ , тем сравнение неожиданнее и острее. Чем больше в двух сопоставляемых предметах  $'''\dots$ , тем оно убедительнее, живописнее, достовернее. Но  $\cup\cup\cup\dots$  только тогда придают остроту сравнению, когда есть значительный ряд необщих признаков.

Выше даны сравнения, в полной мере обладающие живописностью и достоверностью. А вот сравнения, в которых на первый план выступает неожиданность: *За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали инырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики* (Пастернак); *Равнодушная смерть... подходила к нему осторожно, не шумя, в шлепанцах* (Солженицын); *У нее был хороший, сочный, сильный голос, и пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню* (Чехов).

В таких сравнениях эстетически активно не только сходство, тождество двух объектов, но также их несходство, контрастность, принадлежность к двум далеким друг от друга рядам. Иначе говоря, будучи явлением кнотра тождества, такие сравнения сближаются с кнотром контраста.

**19.** Вспомним, что мы заметили в строении звукового яруса (см. статью первую). В поэтических текстах сочетается кнотр контраста (он явлен стопной организацией стиха) и кнотр тождества (он дан тактовой организацией).

В 4-стопном ямбе господствует повтор контраста «безударность-ударность»; он представлен строго: ударны только четные слоги<sup>2</sup>; он — метр. Но и такты здесь не представляют собою хаоса: в строке 4-стопного ямба обычно  $3 (\pm 1)$  тактовых единицы. Следовательно, это вольный тактовик. Именно потому что тактовая организация здесь покладиста, колеблется в пределах от—до, готова на уступки, она здесь — ритм.

В стопных размерах, с трехсложной стопой (дактиль и пр.), уравновешены стопность и тактовость: трехстопный дактиль всегда в то же время и трехударный тактовик.

В разных типах тактовика торжествующий принцип — равенство количества тактов в соседних стихах. Метром является именно тактовый принцип,

<sup>2</sup> В односложных словах нейтрализованы ударность и безударность.

кнотр тождества. Но слог не впал в полное ничтожество, заметно внимание к нему: в одних стихотворениях, как установили стиховеды, число безударных слогов между ударениями колеблется от 0 до 2, в среднем — один слог (как в ямбе и хорее), в других стихотворениях оно колеблется от 1 до 3, в среднем — два слога, как в дактиле, анапесте, амфибрахии (см. об этом выше). Стопный принцип, следовательно, ушел в подполье, но не исчез. Он представлен в роли ритма.

Итак, чаши весов колеблются. То в виде метра главенствует контраст (стопный размер), в виде ритма подчиняется тождество (тактовик). То, напротив, верховодит тождество, метр — тактовик, а контраст в подчинении: ритм — стопная организация стиха.

**20.** А как в словесном ярусе? Мы видели, что есть различного типа сравнения: в одних мощно господствует тождество, но требования контраста не утрачены полностью: нельзя сравнивать то, что лежит рядом, что слишком сходно.

Но есть и другого типа сравнения: в них большое значение имеют  $\cup\cup\cup$ , признаки, не совпадающие в двух объектах, контрастные. Примеры были только что даны. В таких сравнениях кнотр тождества, воплощаемый в сравнениях, оказался сближенным с кнотром контраста. Контраст и здесь — ритм, подчиненная сила, но во втором типе сравнений он значителен, он на пути к тому, чтобы сравняться с силой торжествующего тождества.

И еще шаг в том же направлении:

Шины, круглые, как дураки.

*Маяковский*

*Круглые шины, круглые дураки;* эта переключка слов — основание для сравнения. Это любимое Маяковским омонимическое сравнение. Сходство между предметами здесь уже полностью выветрилось, но они сравниваются (отождествляются) на основании совпадения относящихся к ним слов.

Железною дорогою Москва — Владивосток

Гордился на пруту молоденький листок.

*Хлебников*

Железнодорожная ветка и ветка-прут. Значит, то что на ветке — лист. Так сравниваются и отождествляются станция и лист. Конечно, эта близость только омонимическая.

Сравнения — вид кнотра тождества. Метрически это всегда так. Но среди сравнений находим разные типы: в них то сильнее, то слабее просвечивает кнотр контраста, ритм этих сравнений. Есть и такие, где голос контраста громок — это сравнения, основанные на омонимии. Сравнение, кнотр тождества,

может быть сильно сдвинуто в сторону антипода, в сторону кнотра контраста — ритмически преобразовано.

Переименование, как мы видели, может возвышать (глаза — *очи*) и опорочивать, унижать, дискредитировать (глаза — *гляделки*). Сравнение занимается тем же. Оно или хвалит, либо высказывает недовольство объектом сравнения. Посмотрим на примерах:

Облезлый клен  
Своей верхушкой черной  
Гнусавит хрипло  
В небо о былом.  
Какой он клен?  
Он просто столб позорный —  
На нем бы вешать  
Иль отдать на слом.

*Есенин*

*Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка (Грин).*

Эмоциональную оценку содержит и переименование, и сравнение. Разница в том, что переименование преобразует предмет, отраженный в слове (*уста — не орган приема пищи, а источник речей премудрых*), а сравнение оставляет его в пределах общеупотребительного понимания.

**21.** Речь шла о сравнении. Но есть и другие тропы: метафора, метонимия, эпитет... Все они могут рассматриваться как превращенное сравнение. Выше говорилось о метре и ритме. Сравнение — это выявление словесного кнотра тождества в его наиболее ясной, господствующей, абсолютной форме; это метрическая форма кнотра тождества в словесном ярусе (хотя, как говорилось, разные виды сравнения то ближе к этому метрическому полюсу, то дальше от него; сравнительно же с другими тропами все они к нему близки).

Метафора — сравнение с одной опущенной частью: ('''○○)//'''○○. Остается *как*. Банальный пример: *глаза как звезды* — сравнение, если глаза назвать *звездами* — метафора.

Член сравнения опущен в тексте, но осуществлен за текстом. Так бывает и в звуковом ярусе: единица кнотра опускается, но она метрически «засчитывается».

Где / земля / и где / закон, / чтобы землю / выдать к лету?  
Нету!

*Маяковский*

Звуковой кнотр дает параллель к словесному: в метафоре также опущена, сорвана одна ветвь, но чижик-пыжик, усевшись на другой ветви, рассказывает о сорванной все, что знает.

Метафора — ритмически преобразованное сравнение. (Ритмически — т. е. сравнение, отодвинутое от полноты тождества, смещенное в сторону кнотра контраста.)

Во-первых, это выражается в том, что метафора — «сравнение, сокращенное до одного слова» (А. Н. Веселовский). Им утрачена внешне выраженная двухчастность. Назвать глаза *звездами* — почти то же, что назвать их *очами*. Сама однословность метафоры сближает ее с переименованием, а переименование, как уже сказано, — явление кнотра контраста. Метафора требует сплочения двух частей сравнения А и Б, так что А может стоять за Б.

Во-вторых, сравнение, в своих основных разновидностях, скрадывает контрастность сопоставляемых объектов, тушит их противоречивость — а метафора дает ей свободу. «Если метафора кажется рискованной, надо превратить ее в сравнение. Это будет безопаснее. Сравнение — это расширенная метафора. Если прибавить слово *как*, получается сравнение и оборот становится менее смелым; без этого слова он будет метафорой и будет рискованным» (Деметрий). Почему так? Сравнение скрадывает то, что кнотру тождества несвойственно — контрастность единиц, а метафора во всяком случае терпима к ней. Может быть, и больше: не только терпима, но и покровительствует контрастности, хотя основа всякой метафоры, как и всякого сравнения, все-таки сходство объектов.

В-третьих, метафора всегда требует контраста со своим окружением, контекстом. Метафора — «это слово, занявшее, как бы по праву, чужое место» (Цицерон).

Мужик идет по лесу, зеркало за поясом.  
(загадка о топоре)

Только потому мы не приняли *зеркало* всерьез и взаправду, что окружающий контекст не может с таким взаправдашним зеркалом примириться. Будь такая загадка: *в избе тила висит, а рядом зеркало* — никто бы не догадался, что здесь загадано про топор. Контекст не контрастен. Он допускает прямое понимание. А *то*: зеркало — и вдруг в лесу! и за поясом! и у мужика! В таком окружении зеркало — вещь невозможная, в прямом значении этого слова. (В жизни — возможная, в жизни всякое бывает, но в искусстве, раз не мотивирован отскок, отход от обычного, то и невозможное.)

Сравнение, наоборот, не контрастно с окружением. Оно введено в контекст словами *как*, *словно*, *похожий на*, характерными грамматическими формами.

Наконец, четвертый контраст, свойственный метафоре. Надо вспомнить, что в сравнении есть черты, объединяющие два предмета, и черты, их различающие. Если сказано *топор был как зеркало*, то идет переключка признаков: гладкость, блеск, сверкание, плоскость. Остальные признаки зеркала не пригодились. Контраст между «нужными» и «ненужными» признаками не подчеркнут. (Эстетически все они, конечно, нужны.) В метафоре этот контраст резок. Читателю надо самому отделить, что в зеркале — на пользу сопоставлению и что маскирующие («ненужные») признаки. Читатель призван отчленивать, противопоставить то и другое волевым актом.

Как и сравнения, метафоры бывают или светлые, или взятые «из тьмы». *Если желаешь представить что-нибудь в хорошем свете, следует заимствовать метафору от предмета лучшего в этом роде вещей; если хочешь выставить что-нибудь в дурном свете, то следует заимствовать от худших вещей* (Аристотель).

22. Читатель, вероятно, помнит, что в звуковых повторах различались метр и ритм. Так, ямбическая строка  $\cup' \cup' \cup' \cup'$  представляет метрически-строгую форму ямба (*О, как на склоне наших лет ...*), а строка  $\cup' \cup' \cup \cup \cup' \cup$  — его сильное ритмическое преобразование (*Нежней мы любим и суеверней*). Ритмические преобразования рассматривались как вторжение в данный кнотр (например, контраста) противоположного кнотра (например, тождества).

Так же взаимодействуют метр и ритм в словесном ярусе. Сравнение — метрическая форма кнотра тождества, его господство над ритмом. В сравнении полно и неограниченно может проявиться тождественность двух объектов, А и Б. (Правда, и среди сравнений есть такие формы, которые уже отодвигаются от метрического полюса, от полного торжества эстетического равенства.)

23. Метафора — такой вид словесного кнотра тождества, который уже далек от метрического «самодовольства». Здесь кнотр тождества раздирается противоречиями, сомнениями, колебаниями: метафора включает в себя контрастность. Контрастность ворвалась в сравнение и ритмически преобразовала его, превратив в метафору.

Метафора — редуцированное сравнение. Эпитет тоже можно понять как редуцированное сравнение. От члена, который реализует *как*, остался один признак. Он выделен и освещен. (А целиком предмет-«сравнитель» не состоялся.) Пример: *синее небо* =  $'//' \cup \cup$ . Синий цвет — типичный цвет неба, он присутствует уже в объекте *небо*. Но выделен особо, вынесен в виде отдельного слова и в этом слове, в эпитете, повторен.

Б. В. Томашевский сказал об эпитете главные слова: «От логического определения существенно отличается поэтическое, которое не имеет функции выделения явления из группы ему подобных и не вводит признака, не заклю-

чающегося в слове определяемом. Поэтическое определение повторяет признак, заключающийся в самом определяемом слове, и... выражает эмоциональное отношение говорящего к предмету. Так, когда мы говорим *широкая степь, синее море*, то этим самым не отделяем широкой степи от какой-нибудь другой (т. е. не мыслим узкой степи) и не противопоставляем синего моря — морю другого цвета, а лишь выделяем эти признаки. Поэтическое определение называется эпитетом». Прекрасно показано, что сущность эпитета заключается в том, что это повтор.

В таких случаях, как *синее море, широкая степь* признак, выраженный эпитетом, повторяет признак, заключенный в определяемом слове. Их соотношение можно представить в виде параллельных линий: у них одно и то же направление.

Могут быть эпитеты-оксюмороны, они перпендикулярны тому признаку, который выражен определяемым словом: *Верхний град. Кубически громоздятся тучи. / Их обмотала колючая проволока солнца* (Н. Курганов).

Но часто эпитет только наклонен к тому признаку, который выражен главным словом. То есть: он реализует кнотр тождества, признак «тот» (это — метрическая сторона эпитета), но вместе с тем он проявляет склонность и к контрасту (это ритмическая сторона эпитета): *Колокольчик / И хочет и визжит...* (П. Вяземский). С точки зрения здравого смысла и житейского опыта, колокольчик под дугой не очень-то завизжит. Не таковский. Но в поэзии Вяземского, которая колет, скребет, горчит, все повернуто к этой горькости; и вместо звона появился у колокольчика визг. В мире, который создает поэзия Вяземского, колокольчик визжит.

Приходилось слышать такое толкование: у Вяземского нарисована зимняя дорога, а на морозе, если он сильный, звон колокольчика превращается в визг. Может быть. Скорее всего, сам объяснитель не слышал, как все это бывает на морозе (редко сейчас услышишь колокольчик), но ему хочется, чтобы искусство было прямым свидетельством о жизни. Но действительность Вяземского построена по вяземским законам, и они допускают не только строго «параллельные» эпитеты.

Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне...  
Есенин

— намучились с этими строками любители точной, достоверной поэзии. Доконал их Есенин розовым конем! Наконец, нашли себе успокоенье: оказывается, если встать раненько утром, да выйти в поле, да встать спиной к солнцу, да посмотреть на коня — ну, чисто розовый! Оправдали Есенина. Не нуждается Есенин в таком оправдании... Не нужен ему буднично-усредненный мир.

У каждого поэта — свой угол наклона эпитетов к определяемому слову. Это отношение повторяется от одного объекта изображения к другому — в этом видно авторское воззрение на мир (воззрение, отраженное в слове). Отношение повторяется — иначе говоря, это кнотр.

24. Итак, эпитет вдвойне служит кнотру: он — повторение признака, заключенного в слове, он — повторение угла зрения, выраженного разными сочетаниями эпитета и определяемого слова.

Как роза, кропимая  
В час утра Авророю,  
С главой, отягченную  
Бесценными каплями,  
Румяней становится, —  
Так ты, о прекрасная!  
С главою поникшею  
Сквозь слезы стыдливости,  
Краснея, промолвила  
«Люблю!» тихим шепотом.  
Все мне улыбнулося;  
Тоска и мучения  
И страхи и горести  
Исчезли — как не было!  
Киприда, влекомая  
По воздуху синему  
Меж бисерных облаков  
Цитерскими птицами  
К Кифере иль Пафосу,  
Цветами осыпала  
Меня и красавицу.  
Все мне улыбнулося! —  
И солнце весеннее,  
И рощи кудрявые,  
И воды прозрачные,  
И холмы Парнасские!

Батюшков

*Синий воздух, бисерные облака* были бы неуместны в другом стиле, но для гобелена, сотканного Батюшковым, они — лучше всего. В общую вереницу эпитетов они входят как свои. Вот эта вереница: *слезы стыдливости; бисерные облака; роза, кропимая в час утра Авророю; роза румяней становится; тихий шепот; рощи кудрявые; воды прозрачные*. Сочетание *весеннее солнце* в другом тексте могло бы оказаться чисто деловым указанием. Здесь это эпитет. В мире, здесь нарисованном Батюшковым, было только весеннее солнце. У кого из русских поэтов сочетания *синий воздух, бисерные*



облака, слезы стыдливости были бы уместны и необходимы? Наверное, только у Батюшкова.

Эпитет указывает на поэта. *Волна безумная, хладное сиянье солнца, седая мгла, беззвучны небеса, прах летучий, последнее вихревозвращенье; буйственно несет ураган, тощая земля, нагой меч, ночь безмолвная, возмущенный мрак, таинственный элей, суров и бледен человек, Эол бурнопогодный; язвительный, неотразимый стыд, скорбь животворная, мятежные голоса бытия, утоленное разумье...* Какой это поэт? Конечно, Баратынский.

Итак, та или иная степень оксюморонности, т. е. тот или иной угол наклона между поэтическим определением и определяемым словом — характерная черта эпитета. Следовательно, эпитет, явление кнотра тождества, может сближаться с кнотром контраста (это — ритмическое начало в эпитете).

Но, бесспорно, *широкая степь* тоже существует (чисто метрическая разновидность эпитета, с нулевым проявлением ритма). Тогда в том же поэтическом тексте можно ожидать *синего моря*.

**25.** Как видно, сравнение — полное проявление кнотра тождества в словесном ярусе. Метафора, эпитет, а также метонимия, параллелизм (словесный), эмблема, символ, оксюморон — «превращенные» сравнения, разные виды взаимодействия кнотра тождества (он во всех поэтических фигурах — метр) с кнотром контраста (он — ритм).

Мы говорили о внутренней организации этих фигур, о соотношении их с текстом. Но они имеют и внешнюю организацию, соотношение с материалом, из которого они построены, с языком.

Дремлет Москва, словно самка спящего страуса,  
Грязные крылья по темной почве раскинуты,  
Кругло-тяжелые веки безжизненно сдвинуты,  
Тянется шея — беззвучная, черная Яуза.

*Брюсов*

— неожиданность сравнения создана его внутренним строем: совпадающих признаков немного (и они условны), разных же — большинство. Но важно и внешнее строение, соотношение с материалом: при ориентации на московскую тематику (Москва, Яуза) слова *самка страуса, тонкая шея* (страуса) несут в себе неожиданность, экзотику, контрастны с ожидаемым использованием материала языка.

И это во всех случаях: внутренний и внешний кнотр взаимодействуют, то помогая друг другу, то — взаимно противоборствуя.

**26.** Представляет ли развернутая здесь совокупность понятий некое живое единство, или она остается в пределах схоластического изобретательства?

Это можно проверить простым путем: посмотреть, оправдывает ли она себя при анализе истории русской поэзии.

Русский классицизм — это господство контраста.

В поэзии Ломоносова и его современников мощный контраст создан с помощью славянизмов. Славянская (т. е. церковно-славянская) стихия и русская стихия были в эпоху Ломоносова разными языками, отстояние их друг от друга было велико, поэтому сочетание в одном тексте славянизмов и русизмов понималось как сочетание слов разных языков — контраст был разделен.

В поэзии господствовал принцип: если есть общеизвестное славянское слово, то в оде или трагедии должно быть употреблено именно оно, а не его русский двойник. Использовать русское слово, когда имелась его славянская замена, считалось ошибкой. Отсюда категоричность указаний:

Не голос чтется там [в стихах], но сладостнейший глас,  
Читают око все, хоть говорят все глаз;  
Не лоб там, но чело, не щеки, но ланиты;  
Не губы и не рот — уста там багряниты.

Сумароков

В. К. Третьяковский наставлял Сумарокова: «Помнит ли почтенный автор, что он оду сочинял, то есть самый высокий род стихотворения? Но положим, что он в твердой был памяти; то для чего же не старался в выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. Посему чего б ради ему не положить *воззри* вместо *взгляни*? *Твоей* державы, вместо *твоя*, неправо и досадно слуху» (речь идет о стихе «Взгляни в концы твоей державы»).

Это прямое соответствие звуковой организации в начальный период новой русской поэзии. Ломоносов начинал с ямба без пиррихий. Если есть метрическое требование ударения, то ударение должно быть реализовано. Контраст ударности — безударности не может быть отменен. Так и здесь, в словесном ярусе: реализация контраста внутри текста обязательна, если язык дает возможность его учинить.

Итак, если есть возможность создать словесный контраст, то необходимо его создать. Это — требование внутренней организации кнотра. Но есть и другое требование: не только непременно использовать славянские слова-заменители, но и вообще всю лексику отделить от бытовой речи. Многие слова, независимо от того, есть ли у них прямой двойник в высоком стиле, оказываются за пределами поэтической речи. В поэтическое произведение не допускаются «нестихотворные слова». Господствует представление, что есть определенный (четко очерченный) корпус слов, достойных явиться в стихо-

творении, и поэзией терпимы только они. Т. е. весь текст стихотворения, слово за словом, сплошь, должен быть противопоставлен неограниченно-свободному лексическому составу бытовой речи.

Показательны замечания А. Ф. Мерзлякова (который прекрасно чувствовал поэтику поэтов-классицистов) на стихотворения Ломоносова. О строках *Сия Тебе единой слава, Монархиня, принадлежит* он замечает: «*Принадлежит* — не стихотворно. Хороши, — говорит Мерзляков, — стихи Ломоносова „Науки юношей питают...“, кроме некоторых слов: *случай, берегут, утеха* и *помеха*. Это низкие слова для оды».

Тогда божественны науки  
 Через горы, реки и моря  
 В Россию простирали руки,  
 К сему Монарху говоря:  
 «Мы с крайним тщанием готовы  
 Подать в Российском роде новы  
 Чистейшего ума плоды»...

Мерзляков замечает: «Здесь слушатели сами изволят заметить нестихотворные слова: *говоря, с крайним тщанием...*». Критика в значительной степени сводится к указанию слов, не подходящих поэзии. Контраст выдерживался строго.

27. Как видно, кнотр контраста у Ломоносова имеет две стороны. Во-первых, славянизмы контрастно противопоставлены русизмам и создают лексические напряжения в тексте. Это — внутренняя организация кнотра контраста. Во-вторых, весь текст стихотворения противопоставлен бытовой речи: есть бытовой словарь и не совпадающий с ним, более узкий, более условный словарь стихотворческой речи. Это — внешняя организация кнотра контраста.

28. Теперь о кнотре тождества. В поэзии Ломоносова и его современников господствует эмблема. Эмблема — это метафора, в которой сопоставлены абстрактное понятие и конкретный предмет. Причем не тот, где это понятие (признак) прямо и явно воплощено, а тот, который условно считается вместилищем данного понятия (доблесть — *орел*, мужество — *лев*). Следовательно, тождество (не забудем, что эмблема — это метафора, т. е. вид сравнения) здесь крайне сближено с контрастом: приравниваются друг к другу полярные сущности — духовное (понятие) и вещное; само их приравнивание — условно, и это еще обостряет их несовместность. В поэзии XVIII в., как сказано, господствует контраст: он — метр. Отношения тождества, представленные эмблемой, являют собой ритм, и такой ритм, который готов беззаветно служить метру, поступаясь своими собственными интересами. Эмблема сближается с переименованием. Сумароков писал о свойствах стиха:

Сей стих есть полн претворств, в нем добродетель смело  
 Преходит в божество, приемлет дух и тело.  
 Минерва — мудрость в нем, Диана — чистота,  
 Любовь — то Купидон, Венера — красота.

Эмблема опирается не на реальную, а на воображаемую действительность; она — откол от наблюдаемой данности. Источники эмблемных образов: античные предания, геральдика, общественные торжества и празднества (имеющие свою давнюю традицию), исторические легенды, крылатые слова, многократно переиздаваемые сборники эмблем... Живые наблюдения, вкрапленные в этот ряд, сами приобретают художественное «инобытие»: оцениваются как условность.

Ода Ломоносова строится так (1748):

Европа, утомленна в брани,  
 Из пламени подняв главу,  
 К Тебе свои простерла длани  
 Сквозь дым, курение и мглу.  
 Твоя кротчайшая природа  
 (Чем для блаженства смертных рода  
 Всевышний наш украсил век)  
 Склонилась для ее защиты;  
 И меч Твой, лаврами обвитый,  
 Не обнажен, войну пресек.

Здесь эмблемны такие выражения: *Европа* (олицетворение: *утомленна, подняв главу, простерла длани*), *из пламени, склонилась для ее защиты; меч, лаврами обвитый, не обнажен* (= без объявления войны...).

Оды Ломоносова — это череда эмблем: *Твое прехвально имя пишет Не-ложна слава в вечном льде; С оливой пальмы насаждены Елисаветиной рукой; Орлы на тое не взирают, Что львовы челюсти зияют; Уже народ наш оскорбленный В печальнейшей нощи сидел; Рифейских гор верьхи неплодны, Одейтесь в нежный цвет лилей; Тобой сугубо осиянный Восток и льдистый Океан Свои колена преклоняют; Но, холмы и древа, скачите, Ликуйте, множество озер...* (здесь особая форма эмблемы — олицетворение, понятия представлены в виде людей). И так — строка за строкой: череда эмблем. Немирная череда: эмблемы вступают в спор, семантически контрастны. Ломоносов любил «витиеватые речи», где слова «сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом». Скорее не мирное шествие, а драка эмблем. Эмблематика Ломоносова полна неудержимой динамики, яростной энергии:

Мягутся смежны нам брега,  
 Стокгольм, подобным пьянством шумен,

Уязвлен злобой, стал безумен,  
Отмкнуть велит войны врата...  
Вскочил, как яр из ложа лев,  
Колелет стран пределы рев...

.....

Бежит в свой путь с весельем многим  
По холмам грозный исполин,  
Ступает по вершинам строгим,  
Презрев глубоко дно долин,  
Вьет воздух вихрем за собою;  
Под сильною его пятою  
Кремнистые бугры трещат,  
И следом дерева лежат,  
Что множество веков стояли  
И бурей ярость презирали...

Конкретная сторона эмблемы у Ломоносова ярка, дана в яростном движении, в борьбе, в сиянии, в пламени. Она эмоционально перенапряжена. Но все это обращено к абстракции (к другой стороне эмблемы), а ее лед растопить трудно. Лед и пламень — это и есть характеристика эмблемы Ломоносова.

**29.** Итак, начало новой русской поэзии: кнотр контраста полностью господствует, он — метр. Это верно и для звукового, и для словесного яруса. Кнотр тождества в полном подчинении, он — ритм. Дальнейшее движение возможно в одном направлении: метр постепенно уступает, теряет свою абсолютность. Ритм борется за свои права, отвергая всевластие метра.

Эмблема — фигура неравновесная. На одной чаше весов лежит понятие, единый абсолютизированный признак, на другой — предмет, совокупность многих признаков в их естественной связи. Эту контрастность (в пределах кнотра тождества) возможно уменьшить, стремясь уравновесить чаши. К этой цели ведут два пути.

Первый: саму конкретность сделать однопризнаковой, т. е. использовать в эмблеме олицетворение (оно — один из видов эмблемы). Т. е. любовь представить как *Любовь*, справедливость — как *Справедливость*, отвагу — как *Отвагу*, науку — как *Науку*, Сибирь — как *деву Сибирь* и т. д., в виде человеческих фигур, каждая из которых вся целиком — воплощение одного признака и только его. Это путь Сумарокова.

Другой путь: напротив, предметную чашу сделать центром творческого внимания. Живописать жизненную конкретность, упиваться ее бытийной полнотой, усилить ее эстетическую самоценность. Тогда каждая из двух чаш будет по-своему главной: отвлеченность — потому что она задана образным ярусом произведения — отвечает общему его заданию. Конкретность — по-

тому что вышла за рамки той необходимости, которая диктуется понятийной стороной, — заявила о своей самооценности. Это — путь Державина.

**30.** Мерзляков был прав: поэтика Ломоносова не приемлет многих слов («нестихотворческих»): слишком домашних, деловитых и т. д. Если Ломоносов их использует, то это в ущерб его собственной эстетике, которая требует, чтобы вся лексика была поднята на поэтическую высоту. У Державина этот подиум гораздо ниже. Слова *утехи*, *успехи*, действительно, неуместные в произведении Ломоносова (Мерзляков прав), вполне отвечают духу поэзии Державина: *Иль, сидя дома, я прокажу...*

Таким образом, внешняя организация словесного яруса теряет свою контрастность по отношению к непоэтической речи.

**31.** Изменился и внутренний кнотр. У Ломоносова были два непримиримо-контрастных уровня: слово нейтральное — и круто вознесенный над ним славянизм. У Державина этих уровней несколько: торжественный славянизм не поколеблен в своих правах, но есть и уровень бытовой лексики — праздничной, домашней, любезной сердцу поэта. Есть пласт шутливой лексики — доброжелательной или ироничной. У Ломоносова — горные пики над провалами в глубокие долины; он шагает *по вершинам строгим* (т. е. острым). У Державина — горы переходят в холмистые живописные равнины. Вот, например, существительные из оды «На смерть графини Румянцевой»: *дождь — класы (колосья) — облака — море — лед — воды — бури — лист — солнце — бездна — утро — ковры — слезы — кипарис (древо жизни) — брег — струи — тень — ум — порода — красота — душа — слава — жена (своего мужа) — трофеи — золото — невестка — внучата — сад — лира — музы — Ареопаг — очки — щелчки — Аристид — лев...*

Словесный мир у Державина приобретает пластичность. Вспомним, что также и звуковой ярус у Державина обнаружил живую и переменчивую пластичность, которой у поэтов-предшественников не было.

**32.** Это все — о кнотре контраста. Теперь о кнотре тождества.

Образ, входящий в эмблему (ее «как»), у Ломоносова опирается на мощную мировую культурную традицию. В произведениях Ломоносова, в словесном ярусе, создается своя особая действительность, это мифологизированный мир из эмблем, отделенный от реальности.

У Державина эмблемный образ чаще всего — собственное создание поэта, или пересоздание традиции, или он взят из неканонического источника.

Действительность эмблем не отделена от реальности; она вдвинута в быт: *И смерть глядит через забор...* Поэт создает эмблему, наслаждаясь своей изобретательностью и умением живописать. Вот обращение к Музе:

Веселонравная, младая,  
Нелицемерная, простая,

Подруга Флаккова и дочь  
 Природой данного мне смысла!  
 Приди ко мне, приди теперь,  
 О Муза! славить Решемысла.

Приди, иль в облаке спустися,  
 Или хоть в санках прикатися,  
 На легких, резвых, шестерней,  
 Оленях белых, златорогих,  
 Как ездят барыни зимой  
 В странах сибирских, хладом строгих...

Эмблемный образ перерастает те рамки, в которых он нужен понятию; он становится самоценным. Это описание, изобилующее деталями.

Так в недрах эмблемы вызревает другое доминантное средство изображения мира — эпитет, которое станет главным у предромантиков и романтиков.

Итак: метром, господином положения, у Державина по-прежнему является контраст, но он уже не так строг и категоричен: подточен ритмом. Ритм — тождество: он все еще в жестоком подчинении у метра — контраста, хотя и проявляет некоторое своеволие. Дальнейшее саморазвитие этой линии идет от Державина через Крылова и Гнедича к Батюшкову<sup>3</sup>.

Другая линия развития — от Сумарокова к Хераскову — Ржевскому — Карамзину и, наконец, к Батюшкову; в творчестве Батюшкова обе линии объединяются. (Как мы помним, развитие звукового яруса шло тем же путем.)

33. У Н. Карамзина осуществлена «перевернутая» эмблема. Обычный ход в построении эмблемы таков: от понятия (оно задано образным строем произведения) — к его вещному представителю, например, речь идет о вдохновении — и нарисована Муза, Геликон, ручей Ипокрены... У Карамзина по-другому: нарисован ручей, древесная сень, хижина около ручья — и это все — *приют вдохновения*.

Стихотворение «К Мелодору»:

Умолкни, милый друг!.. Кто будет наслаждаться  
 Гармонией твоей? Кто ею восхищаться?..  
 Но нет! играй и пой, любезнейший Орфей:  
 Поет и в страшный гром на миртах соловей!

К этому стихотворению Карамзин дает объяснение: «Сии стихи писаны во время грома — и в самую ту минуту пел соловей». Увидел поэт статую Купидона — и всю ее исписал стихами: стихи истолковывали эмблемные

<sup>3</sup> Басни И. Крылова и поэтические произведения Н. Гнедича (включая перевод Илиады) написаны в XIX в., но типологически они принадлежат непосредственно последержавинской эпохе.

значения повязки на глазах, крыльев и других частей скульптуры. Все это — характерный для Карамзина ход: он создает эмблему-перевертень<sup>4</sup>.

Поскольку исходной частью поэтического построения служит предмет (хотя бы и очищенный от тех подробностей, которые не нужны «перевернутой» эмблеме, т. е. не могут быть подверстаны под всеобщее понятие), постольку сняты запреты с тех категорий слов, которые были «нестихотворными» для предшественников Карамзина. Лексический состав поэтической речи, сравнительно, скажем, с М. Херасковым, обновлен и расширен.

Когда используются обычные эмблемы, то их, одну за другой, «подает» образный ярус, их шествие обусловлено рядом понятий, который нужен произведению. В «перевернутой» эмблеме последовательность эмблем определена рядом конкретных объектов. Они должны проходить перед читателем. Надо организовать их конвейер. Так возникает тяга к определенным жанрам (описанию, путешествию):

Где снежные громады  
Луч солнца погашают,  
Где мрачный, острый Шрекгорн  
Гром, бури отражает  
И страшные лавины  
В долины низвергает, —  
Там в ужасе я славил  
Величие природы.  
В странах, где Эльба, Рейн  
И Сона быстро мчатся  
Между берегов цветущих,  
Я пел Природы щедрость...

Как видно, и этот путь вел к эпитету. От *природы щедрость* до *щедрой природы* — рукой подать. Поэтому-то оба пути и могли слиться в творчестве предромантиков (Батюшков) и романтиков. Об этом можно было бы рассказать подробнее, но бумага снова кончилась.

---

<sup>4</sup> Перевертень часто является формой развития кнотра. Так, в 30-е гг. XIX в. был краткий период, когда внимание поэтов привлек хорей (перевертень эмба): сказки Пушкина, Ершова, Жуковского, лирика Баратынского и Пушкина, лирика Кольцова. 4-стопный хорей, как правило, — двухударный тактовик (*Три девицы под окном Пряли поздно вечерком...*): в каждом стихе только 2 сильных ударения. Другие формы хорей тоже обнаруживают симпатию к тактовому равенству. Таким образом, это была ступень в развитии кнотра, выдвигающая сильнее, чем предшествующая, ямбическая, тактовый принцип организации стиха. Следующая ступень — господство размеров с 3-сложной стопой; здесь тактовик одерживал еще новые победы.



## Из рассказов о русском стихе. Тактовик\*

В русской поэзии есть два больших стиховых царства: стопные размеры и тактовик. Стопные размеры — это ямб, хорей, анапест, дактиль, амфибрахий. Эти размеры обычно называют силлабо-тоническими. Название крайне неудачное: силлабика требует, чтобы во всех строках было одно и то же количество слогов. Но ямб, хорей и их собратья допускают в одном произведении строки самой различной длины. Некоторые поэтические жанры даже обычно пишутся неравносложными строками. Любимый размер басни — вольный, т. е. неравностопный (следовательно, неравносложный) ямб. Длина строк на протяжении басни все время меняется.

Стопные размеры нельзя назвать и тоническими, т. е. построенными на одинаковом числе ударений («тонов») в строках. В четырехстопном ямбе, например, строки содержат 2, 3, 4 ударения. Поэтому всего естественное назвать эти размеры стопными. Членение строк на стопы — их неперемнная особенность<sup>1</sup>.

То, что русскому языку стопные размеры приходится «как раз», в пору, впервые понял В. К. Третьяковский, выдающийся филолог XVIII в. Он доказал это и теоретически, и своим творчеством:

Вонми, о небо! — и реку,  
Земля да слышит уст глаголы:  
Как дождь, я словом потеку;  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на долы.

(Это «преложение псалма»; переложения псалмов из Библии — распространенный жанр в поэзии XVIII в.)

А. Х. Востоков открыл другую область русского стиха, тоже глубоко отвечающую русской речи: тактовик. Востоков же и создал теорию тактовика, и талантливо показал этот размер в своем творчестве.

---

\* Русская словесность. 2000. № 3. С. 72—76; № 4. С. 74—79.

<sup>1</sup> Отрицал, что единица ямба, хорей и т. д. — стопа, Л. И. Тимофеев. «Доказательства» бесстопности ямба у него так же неосновательны, как его идеологические погромы формалистов.

Такт — это группа слогов, объединенных одним ударением<sup>2</sup>. Вот отрывок прозаического текста: Он | ни перед кем | не стал | унижаться, | а смело | бросил вызов | врагам | и победил их | в честном | поединке. Этот текст состоит из 10 тактов, они здесь отделены вертикальными линиями. Деление на такты допускает варианты, в нашем случае могут быть произнесены в один такт такие сочетания слов: *он-ни-перед-кем*, *в-честном-поединке*, тогда выйдет всего 8 тактов. Каждый такт объединяет слоги, от одного и более.

Это позволяет сказать, что стопные размеры, ориентированные на фиксированное ударение в слове, в словоформе, находят опору в языке, а тактовик, который опирается на такт, изменчивый в разных произнесениях разных контекстов, ищет опору в речи (фиксированную, однако, ритмикой стиха).

Примеры стихотворений, написанных ямбом и другими стопниками, известны каждому, но тактовик необходимо показать в некоторых его совершенных проявлениях — показать, чтобы читатель оценил красоту самого ритмического рисунка.

Востоков открыл тактовик, сделал его видимым для поэтов и читателей, но стихи этого размера были и до Востокова. Этот размер господствует в традиционном русском фольклоре (былины, песни). Поэтому стихотворения русских поэтов, написанные в фольклорном ключе, часто бывают тактовиками. Вот одно стихотворение А. С. Пушкина из цикла «Песни о Стеньке Разине» — это двухударный тактовик:

Ходил Стенька Разин  
В Астрахань город  
Торговать товаром.  
Стал воевода  
Требовать подарков.  
Поднес Стенька Разин  
Камки хрущатые,  
Камки хрущатые —  
Парчи золотые.  
Стал воевода  
Требовать шубы.  
Шуба дорогая:  
Полы-то новы,  
Одна боброва,  
Другая соболья.  
Ему Стенька Разин  
Не отдает шубы.

---

<sup>2</sup> Термин *такт* известен и в лингвистике, и в стиховедении, он общепризнан. Поэтому название *тактовик* предпочитаем синониму *дольник*.

«Отдай, Стенька Разин,  
 Отдай с плеча шубу!  
 Отдашь, так спасибо;  
 Не отдашь — повешу  
 Что во чистом поле,  
 На зеленом дубе,  
 На зеленом дубе,  
 Да в собачьей шубе».  
 Стал Стенька Разин  
 Думати думу:  
 «Добро, воевода,  
 Возьми себе шубу.  
 Возьми себе шубу,  
 Да не было б шуму».

Все строки — двухударные<sup>3</sup>. Вообще тактовик допускает вольность: строки имеют  $N \pm 1$  такт. Например, трехударный тактовик принимает как должное, если некоторые строки имеют два или четыре такта. Это вносит динамику в тактовик, гибкость, подвижность. Пушкин не воспользовался этой вольностью: его стих и без нее предельно изменчив, энергично выразителен.

В стопных размерах место ударения закреплено; например, в ямбе ударение в многосложных словах должно падать на четные слоги каждой строки. Тактовик такого ограничения не имеет, в нем ударным в строке может быть любой слог. И Пушкин, используя эту свободу тактовика, многообразно варьирует, меняет место ударений относительно безударных слогов. У него ударным в тактовике может быть любой из пяти первых слогов в стихе (легко проверить). Стихотворный размер приобретает удивительную жизненную силу. Но окончания строк всегда в этом стихотворении одинаковы: ударный слог + безударный (женские окончания). Таким образом, полное динамической изменчивости внутреннее строение строки сочетается со строгим постоянством исходной части.

Также фольклорно используется конечное созвучие: *шубу* — *шуму*, с неполным совпадением звуков, с их динамической переменной.

Замечательны тактовики А. Х. Востокова. Вот его стихотворение «Братья Якшичи», перевод сербского народного сказания:

... Как делили отчину братья,  
 Якшичи-братья, Дмитрий с Богданом.  
 Отчину дружно они поделили,  
 Все городá и зéмли без спóру,  
 Пополáм разделили Бёлград.

<sup>3</sup> *Стенька-Разин* — один такт.

Спóр у них вíшел только за мáлость:  
Кóнь вороной и sóкол чьи бóдут?  
Себе, как старшему, требует Дмитрий  
Сокола и коня вороного;  
Не дает ему, не уступает  
Богдан ни того, ни другого.  
Наутро, чуть свет, — взял Дмитрий  
Сокола и коня вороного,  
Едет в горы на лов. Выезжая ж,  
Призвал любу свою, Ангелию:  
«Моя верная жена, Ангелия!  
Отрави мне брата Богдана;  
Если ты его не отравишь,  
Не жди меня к белу двору обратно». —  
То услышав, люба Ангелия  
Садилась невесела, кручинна;  
Размышляет так сама с собою:  
«Чего хочет та зловещая кокушка!  
Чтоб я деверя моего отравила:  
Перед Богом мне будет грех великий,  
Пред людьми укор и бесчестье. <...>  
А ежели его не отравлю я,  
Не смею во двор ждать мужа!» <...>  
Идет она в глубокие подвалы,  
Берет молитвенную чашу,  
Скованну из чистого злата,  
Которая от отца ей досталась.  
Вином ее червленим наливает  
И приносит к деверю с поклоном,  
Полу платья и руку целует:  
«Прими от меня, милый деверь,  
Тебе кланяюсь вином и чашей:  
Подари коня и сокола мне!»  
Жáлко стáло еé Богдану,  
Подарíл коня и sóкола ей.

Дмитрий ёздил целый дёнь за охóтой <...>  
Пустил серого сокола Дмитрий,  
Чтоб утицу поймал златокрылу;  
Но она не только не далась —  
Сама серого сокола схватила  
И правое крыло ему сломила.  
Как увидел то Якшич Димитрий,  
Сбросил с плеч он цвётное платье,  
Вплавь по озеру тихому пустился  
И на сушу сокола вынес.

Потом серого сокола спросил он:  
 «Каково тебе без крыла, серый сокол?»  
 Ему сокол писком отвечает:  
 «Без крыла моего таково мне,  
 Как брату одному без другого».  
 Тогда Дмитрий с раскаяньем вспомнил,  
 Что он отравить велел брата.  
 Сел скорее на коня вороного  
 И погнал что есть мочи к Белграду (...)  
 Пришед, прямо к жене обратился:  
 «Ангелия, моя верная любя!  
 Ты брата мне не отравила?»  
 Ангелия ему отвечает:  
 «Я брата тебе не отравила,  
 А еще тебя с братом помирила!»

Используя ритмические возможности трехударного тактовика, Востоков добился большой драматической выразительности в этом стихотворении. Тактовик активизирует волю читателя; он может выбирать, как произносить отдельные строки: *Тогда Дмитрий с раскаяньем вспомнил... Что он отравить велел брата...* — в четыре такта. Формула  $N \pm 1$  дает на это право. Но может эти же строчки прочесть в три такта, выдерживая общий ритм стихотворения, объединяя ударением: *Тогда-Дмитрий... велел-брата... сел-скорее...* Иногда разное членение на такты вносит различные оттенки в значение текста:

Чтоб я | дёверя моего | отравила... — с негодованием, с резким неприятием, или:

Чтоб я дёверя | моего | отравила... — с глубоким размышлением, со спокойным волевым напряжением.

Можно реализовать разные понимания текста. Повторим: стопный размер связан со словом, а о слове все знает словарь. Тактовик формируется в тексте, его единицы не отмечены никакими словарями: *Тогда | Дмитрий* или *Тогда-Дмитрий...* — словарь об этом молчит. Снова уместно вспомнить, что тактовике важнее речевая свобода, чем стабильная строгость законов, присущая языку.

Остр, стремительно переменчив тактовик в лермонтовской «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Этот трехударный тактовик со свободной, «плавающей» цезурой. Слова Ивана Грозного:

«Хорошо тебе, детинушка,  
 Удалой боёц, сын купеческий,

Что отвѣт держал ты по совести.  
 Молодую жену и сирот твоих  
 Из казни моей я пожалую,  
 Твоим братьям велю от сего же дня  
 По всему царству русскому широкому  
 Торговать безданно, беспошлинно.  
 А ты сам ступай, детинушка,  
 На высокое место лобное,  
 Сложи свою буйную головушку.  
 Я топор велю наточить-наострить,  
 Палача велю одеть-нарядить,  
 В большой колокол прикажу звонить,  
 Чтобы знали все люди московские,  
 Что и ты не оставлен моей милостью...»

Свободная, разноместная цезура очень способствует ритмической напряженности стиха. Трехтактовый стих может переходить в четырехударный:

Вот нахмурил царь | брови черные  
 И навел на него | очи зоркие,  
 словно ястреб взглянул | с высоты небес  
 На младого голубя | сизокрылого, —  
 Да не поднял глаз | молодой боец.  
 Вот об землю царь | стукнул палкою,  
 И дубовый пол | на полчетверти  
 Он железным пробил | оконечником —  
 Да не вздрогнул и тут | молодой боец...

Это тактовик, созданный для трагической поэмы, и поэтому он сам трагически напряжен.

Примеры наши показывают, что сначала тактовик воспринимался как средство создания произведений в духе народной поэзии; он был без рифм, без строф, образная система часто фольклорная. Но уже очень рано появился и рифменный тактовик. Едва ли не первое такое произведение — стихотворение Г. Р. Державина «На смерть Катерины Яковлевны» (жены поэта). Это одно из вершинных произведений русской лирики. Первая строфа — двухударный тактовик с цезурой; далее он превращается в трехударный тактовик, а заканчивается четырехударными строками (отмечена цезура):

Уж не ласточка | сладкогласная,  
 Домовитая | со застрехи —  
 Ах! моя милая, | прекрасная  
 Прочь отлетела, | — с ней утехи.

Не сияние | луны бледное  
 Светит из облака | в страшной тьме,

Ах! лежит ее | тело мертвое,  
Как ангел светлый | во крепком сне.

Роют псы землю, вокруг завывают,  
Воет и ветер, воет и дом;  
Мою милую не пробуждают;  
Сердце мое сокрушает гром!

О ты, ласточка сизокрылая!  
Ты возвратишься в дом мой весной;  
Но ты, моя супруга милая,  
Не увидишься век уж со мной.

Уж нет моего друга верного,  
Уж нет моей доброй жены,  
Уже нет товарища бесценного,  
Ах, все они с ней погребены.

Всё опустело! Как жизнь мне снести?  
Зельная меня съела тоска.  
Сёрдца, души половина, прости,  
Скрыла тебя гробовá доскá.

Мощный подъем переживает тактовик в творчестве символистов и других поэтических школ XX в. У них возрастает смелость тактовика, т. е. его вариативность, изменчивость на протяжении стихотворения, и более резок отход от стопных размеров: они не просвечивают сквозь тактовое строение. Вот строфы из стихотворения А. А. Блока «Последний день»:

Утро копошилось. Безнадёжно догорели свечи,  
Опльви́вший ога́рок маячил в опльви́вших глазах.  
За холо́дным окном дрожа́ли женские плечи,  
Мужчина перед зеркалом расчесывал пробор в волосах.

Но серое утро уже не обмануло:  
Сегодня была она, как смерть, бледна.  
Еще вечером у фонаря ее лицо блеснуло,  
В этой самой комнате была влюблена.

Сегодня безобразно повисли складки рубашки,  
На всем был серый постылый налет.  
Углами торчала мебель, валялись окурки, бумажки.  
Всех ужасней в комнате был красный комод.

Бывает, что сквозь тактовик просвечивает стопный размер; здесь этого нет. Количество тактов меняется от четырех («Сего́дня была́ она, как сме́рть, бледна́») до шести («Угла́ми торча́ла ме́бель, валя́лись оку́рки, бума́жки...»).

Все в ритмике стиха, как и во всем строе его, создает тон трагической безнадежности. (Тем поразительное конец стихотворения.)

Любимцем был тактовик у футуристов:

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!  
Италия! Германия! Австрия!»  
И на площадь, мрачно очерченную чернью,  
багровой крови пролилась струя! —

так В. В. Маяковский рисовал начало мировой войны. Каждый такт отчеканен, отделен интонационно, паузами; и почти каждому такту для весомости выдано по звуку [р].

Выше о стихотворении Блока сказано, что стопный размер не просвечивает сквозь тактовик. А может просвечивать? Да. Приведем несколько строф из «Заблудившегося трамвая» Н. С. Гумилева:

И, промелькнув у оконной рамы,  
Бросил нам вслед пылливый взгляд  
Нищий старик, — конечно, тот самый,  
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:  
«Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет?»

Вывеска... кровью налитые буквы  
Гласят: «Зеленная», — знаю, тут  
Вместо капусты и вместо брюквы  
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,  
Голову срезал палач и мне,  
Она лежала вместе с другими  
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый<sup>4</sup>,  
Остановите сейчас вагон.

Машенька, ты здесь жила и пела,  
Мне, жениху, ковер ткала,  
Где же теперь твой голос и тело,  
Может ли быть, что ты умерла!

---

<sup>4</sup> Вагоновожатый — с двумя ударениями.



Это трех- или четырехударный тактовик, сквозь который просвечивают дактиль и амфибрахий<sup>5</sup>.

Остановимся вообще на отношениях между стопными размерами и тактовиком. Принято считать, что стихотворение написано или ямбом-хореем-дактилем-амфибрахийем-анapestом (стопными размерами), или тактовиком. Отношения именно такие: или — или. Но остается незамеченным, что тактовик и стопные размеры организуются с помощью разных единиц.

В стопных размерах наименьшая единица — слог. Слоги объединяются в стопу. Стопа — это как раз та единица, которая своим повторением создает размер. Минимальная единица, которая позволяет опознать размер, — это строка (стих). Строка дает достаточный простор, чтобы определился, стал ясным стихотворный размер. Могут быть случаи, которые допускают двоякую ритмическую интерпретацию. Например: *Выбежавшая лисица...* В одном ритмическом контексте эта строка — хорей:

Быстро скрылась в чаще леса  
Выбежавшая лисица.

В другом контексте это дактиль:

Быстро неслась по поляне  
Выбежавшая лисица.

Редкий случай. И произносится такая строка в разных ритмических контекстах по-разному.

Как правило, одной строки достаточно, чтобы оценить стопную ритмичность. В русской поэзии осталось одностишие Н. М. Карамзина, эпитафия ребенку:

Покойся, милый прах, до радостного утра...

Среди нескольких одностиший В. Я. Брюсова есть полноценные произведения поэзии:

И никого, и ничего в ответ...

Здесь мощно выражено трагическое одиночество поэта<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Размеры со стопой в три слога (дактиль, анапест, амфибрахий) легко уживаются друг с другом:

Русалка плыла по реке голубой,  
Озаряема полной луной...

*Лермонтов*

<sup>6</sup> В наше время этот жанр сильно дискредитирован, потому что подвергся неистовому набегу бездарностей, без единой удачи! Трудный жанр!

Строка — достаточный текст, чтобы выявил себя стопный размер.

У тактовика совсем иные единицы, и они совсем по-другому объединяются. Наименьшая из них — такт. В частном случае он может быть в то же время и слогом (есть такты в один слог), но обычно не равен слогу. Такты объединяются в стих (в строку). Ритмическая закономерность тактовика, которая состоит в том, что соседние строки имеют одинаковое число тактов, в одной строке проявиться не может. Только несколько строк могут заявить, что они являют тактовик. И. Л. Сельвинский написал стихотворение-тактовик в одну строку:

Лучше недо-, чем пере-.

Это шутка. В книге стихотворений, написанных тактовиком, читатель поймет, что его призывают принять эту строку как тактовый однострочный законченный опус. Но если не считать таких шуточных стихотворений, то тактовик в одну строку реализован быть не может.

Итак, у тактовика и у стопных размеров разный состав единиц:

Единицы	Стопные размеры	Тактовик
1	слог	такт
2	стопа	стих
3	стих	сочетание стихов

Примечание. 1 — наименьшая, элементарная единица; 2 — сочетание элементарных единиц, которое своим повтором создает ритм; 3 — минимальная единица, в которой обнаруживается ритм.

Одна ритмоорганизация не мешает существовать другой. Так и есть: стопные размеры и тактовик не исключают друг друга, они не *или — или*. Они могут быть *и — и*. Один и тот же поэтический текст часто обнаруживает и стопную, и тактовую организацию, это обычное явление:

Меж высóких хлебо́в зате́рялося  
 Небога́тое на́ше село́.  
 Горе-го́рькое по́ свету шля́лося  
 И на нас невзначáй набрело́...  
*Некрасов*

Это трехстопный анапест и вместе с тем трехтактовый стих.

Были и ле́то и о́сень дождли́вы,  
 Были потóплены па́жити, нiвы;  
 Хле́б на поля́х не созре́л и пропа́л;  
 Сде́лался го́лод; наро́д умира́л.  
*Жуковский*

Это четырехстопный дактиль и вместе с тем четырехударный тактовик.

Обычно N-стопный дактиль, амфибрахий, анапест бывают одновременно и N-тактовым стихом. Русское фонетическое слово (слово звучащее) имеет в среднем длину в три слога, т. е. равно размеру стопы у этих размеров. Ритмическая инерция выравнивает строки, усиливает их подобие.

Выдь на Волгу: чей стон раздается  
Над великую русской рекой?  
Этот стон у нас песней зовется —  
То бурлаки идут бечевой!

*Некрасов*

Страшная ритмическая сила некрасовского стиха заставляет читать в один такт сочетания; *выдь-на-Волгу, чей-стон, этот-стон, у-нас-песней, то-бурлаки*. Каждое из этих сочетаний объединено одним ударением. В обычной речи слово *выдь* (*выйди*) у нас, возможно, и было бы ударным, но напор ритма, сила стиховой инерции спаивают слоги в единства, и они образуют один такт. Две чаши ритмических весов — стопная и тактовая — стоят вровень. Здесь, в размерах с трехсложной стопой, достигнуто равенство этих двух стиховых организаций. Ведь они создаются разными единицами, поэтому и не мешают друг другу строить стих.

Но чаши весов не всегда стоят вровень, они могут склоняться то в сторону стопника (в одних произведениях), то в сторону тактовика (в других).

Вспомним, например, стихотворение Пушкина «Не мысля гордый свет забавить...» (вступление к роману «Евгений Онегин»). В нем:

строка в 4 такта, без пиррихий («Не мысля гордый свет забавить...») — четыре;

строка в три такта («Вниманье дружбы возлюбя...», «Но так и быть: рукой пристрастной...») — одиннадцать;

строка в два такта («Полусмешных, полупечальных, / Простонародных, идеальных...») — две.

Это отвечает пристрастиям тактовика: его закон, как уже сказано, — в каждой строке  $N \pm 1$  тактов. Четырехстопный ямб этому закону верен: он и ямб, он одновременно и трехударный тактовик. Тактовик, пользующийся положенными ему льготами: он может то прибавлять в строке один такт, то уменьшать число тактов на один. Чаши весов не вровень: ямбическая организация текста сильнее, очевиднее тактовой, но две чаши есть. Эта двойная организация ямба придает ему исключительную живость, динамику, выразительность; он попевает за мгновенными изменениями чувства, впечатления, переживания.

Четырехстопный хорей представляет собой часто и даже обычно двухударный тактовик. В строке могут быть и четыре, и три, и два ударения, но

только два из них усилены, являются тактообразующими; это помогает четырехстопному хорею быть «плясовым» размером:

Ветер по морю гуляет  
И кораблик подгоняет;  
Он бежит себе в волнах  
На раздутых парусах.  
Корабельщики дивятся,  
На кораблике толпятся.  
На знакомом острове  
Чудо видят наяву:  
Город новый златоглавый,  
Пристань с новою заставой —  
Пушки с пристани палят,  
Кораблю пристать велят.

Два сильных ударения в каждой строке. Они подчиняют себе другие ударения, лишают их самостоятельной тактообразующей силы. Этот хореический пляс подчиняет себе логические ударения:

В синем небе звезды блещут,  
В синем море волны хлещут;  
Туча по небу идет,  
Бочка по морю плывёт. {...}  
И растёт ребёнок там  
Не по дням, а по часам.

В обычной, прозаической речи логические ударения ложились бы так: «В синем небе звёзды блещут, / В синем море волны хлещут», «И растёт ребёнок там / Не по дням, а по часам». Но стих — особая держава, в ней свои законы. Законы ритма.

Такая двухтактовая организация обычна для четырехстопного хорея.

Обычна, но не обязательна. Максим Горький, вспоминая начало XX в., пишет, что пользовались известностью стихи Д. С. Мережковского:

Все наскучило давно  
Трем богиням, вечным пряхам:  
Было прахом — будет прахом!..

М. Горький сетовал, что серьезному стихотворению придан плясовой размер. Три богини — это три парки, богини судьбы, они ткут миру судьбы. Трагическая мысль, а ритм плясовой! Предполагается, видимо, такое чтение: *Трем богиням, вечным пряхам, / Было прахом — будет прахом!..* Действительно, захватывающий, подмывающий ритм, зовущий к пляске. Получается «Туча по небу идет»...

Но возможна и другая интерпретация ритма: *Трём богиням, вѣчным пряхам, / Бѣло прахом — бѣдет прахом!*.. Не двухтактовый стих. По четыре равных ударения в каждом стихе. Или же во второй строке могут быть выделены первое и третье слова: *Бѣло прахом — бѣдет прахом!*.. Первый и пятый слог, не третий и седьмой; нет плясовой инерции. На такое произношение и рассчитано стихотворение Мережковского. Вспомним стихотворение Пушкина «Утопленник» («Прибежали в избу дети...»), оно тоже рассчитано на такое именно произношение — не двухтактовое, не плясовое.

Оказывается, есть хорей и хорей; один сочетается с двухтактовой организацией каждого стиха, а другой имеет разное количество тактов в каждом стихе, поэтому и звучание этих двух хореев различно.

Чем же обусловлена эта способность четырехстопного хорей — «пускаться в пляску» на два такта? Первый слог у хорей, по метрическому заданию, может быть ударным. Но ударность — качество относительное: она оценивается по отношению к фону, к окружению — безударному. В начале стиха, у первого слога (после паузы) еще нет фона, строка его еще не готовила. Поэтому ударность первого слога в стихе функционально слаба, может и не признаваться ударностью. Тогда особое значение приобретает ударность третьего слога — и седьмого, рифмонесущего! Вот и получается: два сильных ударения. Каждое из них собирает вокруг себя свой такт. Выходит, что четырехстопный хорей одновременно и двухударный тактовик. Но требование не категоричное: строчка может быть и трехтактовой («*Кораблю пристать велѣтъ*»: на *пристать* — логическое ударение).

Таким образом, стопные размеры идут навстречу тактовику, если захотят. Но и тактовик делает шаг навстречу стопным размерам. Помните: и еще есть разные случаи, когда тактовик равнодушен к стопной организации стиха.

Слог — единица стопных размеров. Тактовику она ни к чему. Но еще Б. В. Томашевский заметил, что длинная цепочка безударных слогов (между двумя ударениями) может быть равнозначна такту. Он приводил пример — стихи С. П. Боброва о Первой мировой войне:

А бледные люди на Генте,  
Отирая холодные руки,  
Посылали на горы плотин  
Беленький пироксилин.

Это трехударный тактовик; в последней строке пробег в пять безударных слогов заменяет такт. Безударные слоги, когда их много, могут замещать такт.

«Песни о Стеньке Разине» А. С. Пушкина: поэт рисует жестокую ссору воеводы с Разиным. Кульминация — в строке:

Не отдаёт шубы...

Обычно в тактовике ударение окружает себя безударными слогами; здесь ударения столкнулись: в яростной схватке Разин не уступает воеводе. Слоговой строй помогает тактовику: становится выразительным средством. Вспомним сказание о Якшичах-братьях, строку:

Не даёт ему, не уступает...

Ритмически выразительная строка: во-первых, цепочка в пять безударных слогов оказывается равновеликой такту: в трехударном тактовике положено три ударения, а здесь одно заменяется пробегом через пять безударных. Во-вторых, здесь ударения отбежали к краям строчки, этим образовали контраст с соседними стихами.

Тактовик предполагает высокую активность читателя, его сотворчество с автором: читая стихотворение, нужно находить верные ритмические решения, делать произносительный (и эстетический) выбор. Покажем это на стихотворении Э. Г. Багрицкого «Суворов»:

В серой треуголке, юркий и маленький,  
В синей шинели с продранными локтями, —  
Он надевал зимой теплые валенки  
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,  
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах;  
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки пели романсы,  
И в низких залах струился мятный запах,

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,  
На грязных окнах подымались зеленые шторы,  
В темных залах смолкали нежные дуэты,  
И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки,  
Растворялись ворота услужливыми казачками,  
Краснолицые путники почтительно прятали трубки,  
Обжигая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,  
На котором стояли саксонские часы и уродцы из фарфора,  
Читал французский роман, открыв его с середины, —  
«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей знатного сеньера».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней  
И толстая служанка стучит по коридору башмаками,  
Он собирался в свои холодные деревни,  
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;  
 Старчески кряхтя, он сходил во двор, держась за перила;  
 Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку —  
 И мчались гостиница, роща, так что в глазах рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана  
 Маленькие домики и церковь с облупленной крышей,  
 Он дергал высокого кучера за полу кафтана  
 И кричал ему старческим голосом: «Поезжай потише!»

Но иногда по первому выпавшему снегу,  
 Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,  
 К нему в деревню приезжал фельдъегерь  
 И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр Васильич!  
 Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой тревожить,  
 Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою удалились,  
 Чтоб мудрым трудом и науками свои владения множить...»

Он долго смотрел на надушенную бумагу —  
 Казалось, слова на тонкую нитку нижеет;  
 Затем подходил к шкапу, вынимал ордена и шпагу —  
 И становился Суворовым учебников и книжек.

Это четырехударный тактовик (разумеется, имеющий право меняться по формуле  $N \pm 1$ ):

Но иногда | по первому | выпавшему | снегу,  
 Стоя в пролетке | и держась | за плечо | возницы,  
 К нему | в деревню | приезжал | фельдъегерь  
 И привозил | письмо | от матушки- | императрицы.

Показано разделение на такты. Оно в произношении может выражаться паузой (сравнительно редко), изменением интонации, а чаще всего — просто наличием разных соседних ударений, как обычно разделяют слова в речи<sup>7</sup>.

В некоторых случаях читатель должен решить, что ему избрать в произношении:  $N$  тактов, или  $N + 1$ , или  $N - 1$ . То есть отдельные строки допускают произносительное варьирование: два слова произносятся в два такта, с двумя ударениями или, более разговорно, сливаются в один такт, с одним ударением, как обычно в беглой бытовой речи. Например:

Он | собира́лся | в-сво́й | хо́лодные | дере́вни...  
 В-те́ | вре́мена́ | по-дору́гам | скрипе́ли-еще | дилижа́нсы...

<sup>7</sup> Это довольно сложный процесс, но, поскольку он имеет общеречевой характер и не является специфически стиховым, мы здесь на нем останавливаться не будем.

— с риторически значительным выделением местоимений, торжественно, раздельно и веско; или тоном обыденной речи:

Он-собира́лся | в-свои-холо́дные | дере́вни...  
В-те-времена́ | по-доро́гам | скрипéли-еще | дилижа́нсы...

Так же, в двух стилистических регистрах:

... Утром, | когда-пасту́шы | рожки | поют | напевней...

или:

Утром, | когда-пасту́шы | рожки | поют-напевней...  
... Когда | вдалеке | звучал-рожок | почтовой | кареты...

или:

Когда-вдалеке | звучал-рожок | почтовой-каре́ты...  
... На-котором-стояли | саксонские-часы | и-уродцы | из-фарфора...

или:

На-котором-стояли | саксонские-часы | и-уродцы-из-фарфора...

«Суворов» Багрицкого — это по жанру ода, но написана она не в XVIII, а в XX в. и поэтому не чуждается прозаических деталей, обыденности, прозаизмов. Они не дискредитируют героя, а приближают его к нам, делают понятнее и яснее. Эта обыденность — пьедестал, на котором величественно возвышается Суворов последних строф, Суворов «учебников и книжек». И само исполнение стихотворения склоняется то к прозаичности, обыденности, то к торжественной державности...

Тактовик в этом стихотворении цезурованный; цезура следует после второго такта. Она свободная: не прикреплена к определенному слогу. Вот она:

В се́рой треуго́лке, || ю́ркий и ма́ленький,  
В си́ней шинéли || с прóдранными локтя́ми, —  
Он надева́л зимой || те́плые ва́ленки  
И-уку́тывал го́рло || ша́рфами и-платка́ми...  
... Когда́-же | перед-ни́м || выплыва́ли-из-тума́на  
Маленькие-до́мики и-це́рковь || с-облу́пленной кры́шей,  
Он-де́ргал высоко́го-ку́чера || за-по́лу кафта́на  
И-крича́л-ему старческим-го́лосом: || «Поезжа́й поти́ше!»

Но есть строки, в которых цезура резко сдвинута влево:

Но-иногда́ || по-пе́рвому вы́павшему сне́гу,  
Стоя-в-проле́тке || и-держáсь за-плечо́ возни́цы...

Может быть, с такой же сдвинутой цезурой надо читать и две следующие строки:



К-немú || в-дерéвню приезжа́л фельдье́герь  
И-привозíл || письмó от-ма́тушки-императри́цы...

Легко заметить, что эти строки (или даже вся строфа) составляют центр стихотворения, его смысловое ядро. Поэтому надо выполнить волю автора и выделить эти строки в произношении сдвигом цезуры.

Русское слово в среднем имеет длину в три слога. Поэтому расстояние между соседними ударениями в среднем два слога. В этом стихотворении во многих случаях на вторую (рифменную) часть строки падают безударные цепочки в три, четыре и даже пять слогов. Вот строки с пробегами между ударениями в четыре-пять слогов:

В синей шинели с прóбранными локтя́ми... (4)<sup>8</sup>.  
И укутывал горло ша́рфами и платка́ми... (4).  
В те времена по дорогам скрипéли еще дилижа́нсы... (5).  
Растворялись ворота услúжливými казачка́ми... (5).  
Обжигая руки горя́чими уголька́ми... (4).  
По вечерам он сидел у пога́снвшего ка́мина... (4).  
Натягивая сапоги со сбíтыми каблукáми... (4).  
И мчались гостиница, рóща, так что в глаза́х рябило... (4).  
И привозил письмо от ма́тушки-императри́цы... (5).  
«Вы, как древний Цинциннат, в дере́вню свою удали́лись...» (5).  
Он долго смотрел на надúшенную бумáгу... (4).

В послецезурной части, во второй половине строки, перед рифмой, у Багрицкого — цепочки безударных слогов (в 3, 4, 5 слогов). В левой части строки, перед цезурой, нет такого скопления безударностей. Очевидно, это контраст к рифме, всегда включающей ударный слог. Безударный разбег нужен, чтобы сделать рифменный прыжок. Рифма контрастно выделена. Поэтому прав будет тот читатель, который усилит голос на рифме — умеренно, не назойливо; в какой мере — это зависит от такта читателя<sup>9</sup>.

Рифма у Багрицкого как будто занимает скромное место — у него нет таких блистательных рифменных изобретений, как у Хлебникова и Маяковского, но она играет тем не менее важную роль. Без нее длинные четырехтактовые строки оказались бы вяло-бесформенными, утомительно-однообразными.

<sup>8</sup> В скобках — количество безударных слогов между ударениями.

<sup>9</sup> Слышу читательский голос: «А я вообще привык читать стихи про себя, не вслух». Это не имеет значения. Если стих читается как стих, не жутется как проза, то и при чтении про себя, молчаливом (язык и губы не шевелятся) — все равно воспринимается, оценивается звуковая сторона стиха. Как сказал один молодой ценитель поэзии: «Читаю букву, а думаю звук». Именно так!

Поэтому она заслуживает поддержки. И поддержка есть: длинные безударные цепочки во второй части строк — это разбег, чтобы взять высоту рифмы, чтобы она по контрасту (на фоне длительной безударности) сыграла свою роль; ярко завершила строку.

Еще раз следует сказать: слог — это слуга силлаботоники. Но мы видим, что слог иногда спешит на помощь тактовику. Между этими двумя мирами русского стиха — взаимное согласие, содружество, помощь. Стопники и тактовики живут в неразрывной дружбе.

## Рассказы о русском стихе. Пиррихий\*

Вот вам строчка ямба:

Мой дядя самых честных правил...

В ямбе ударными бывают четные слоги. Можно сказать и по-другому: стопа ямба — сочетание безударного слога со следующим ударным; стих ямба — повторение таких стоп:

Мой дя́/дя са́/мых че́/стных пра́/вил...

Разумеется, границы стоп могут не совпадать с границами слов, ритм не требует такого совпадения.

Односложное ударное слово может занимать и нечетный слог:

Швѣд, русский колет, рубит, режет.  
Бой барабанный, клики, скрежет...

Такое «нечетное» односложное ударное слово стоит обычно в начале стиха (строчки ямба), как в этих примерах. М. Л. Гаспаров верно объяснил, почему это так: ударность слога оценивается на фоне других слогов, безударных; когда слог первый в строке, фона для него еще нет, и поэтому ударность не противоречит ритмическому чувству.

В строке *Мой дядя самых честных правил...* первый слог (*мой*) безударный. В сочетаниях местоимения с существительным местоимение обычно бывает безударным; только в определенном контексте оно может получить ударение: *Это сказал не твой, а мой дядя* — при противопоставлении. Если слово напечатано отдельно — это не значит, что оно несет свое особое ударение. Рассуждая о ритмике, будем всегда помнить, что речь идет о произносимых словах, о звучании, а не о буквах, не о пробелах между ними.

В русском языке произносимое слово имеет длину приблизительно в три слога. Например: *На-пути́ железнодо́рожного соста́ва из-тридцати́ ваго́нов вдруг загорѣлся кра́сный свѣт*. 32 слога, 10 слов, в среднем по 3 слога на сло-

---

\* Русская словесность. 1995. № 1. С. 48—52.

во. Конечно, наш пример не доказывает это, он — просто наглядное пособие. Но статистические подсчеты говорят: в обыденной, повседневной речи (не в научных трудах, где может быть много длинных слов, не в командах на военных учениях, а в бытовой речи) одно ударение приходится в среднем на 3 слога.

Значит, в четырехстопном ямбе, где строка равна 9 («Мой дядя самых честных правил») или 8 слогам («Когда не в шутку занемог»), положено как будто 3 слова на стих, и значит, 3 ударения. А по метрической сетке в четырех стопах ямба должно быть 4 ударения. Поэтому в строках четырехстопного ямба очень часто одно ударение (реже — два ударения) заменяется безударным слогом:

Когда не в шутку занемог...  
Он уважать себя заставил...

Стопа  $\cup'$  заменяется стопой  $\cup\cup$  (в примерах стопы с такой заменой подчеркнуты). Такая стопа —  $\cup\cup$  —, заменяющая в ямбе (и в хорее) стопу с ударением, называется пиррихий. Слово взято из античной (древнегреческой) поэтики.

Поэтому-то в ямбических стихотворениях очень много строк с пиррихией. Вспомните стихотворение Пушкина «Плетневу» — посвящение ему «Евгения Онегина» («Не мысля гордый свет забавить...»). В этом стихотворении 17 строк четырехстопного ямба. Из них: 4 строки имеют 4 ударения, т. е. все стопы ямбичны; 2 строки имеют по 2 пиррихия («Полусмешных, полупечальных, / Простонародных, идеальных»); у 11 строк — по одной пиррихийной стопе. Это типично: пиррихий — частый гость в русском ямбе, а также и в хорее.

Приглашая пиррихий в свои стихи, поэты идут навстречу языку, его нормам, свои ямбические амбиции смиряют перед закономерностью русского языка: одно ударение на 3 слога.

Но была и другая причина, почему поэты приветствовали пиррихий. Без пиррихия ямб невыносимо однообразен, тягостен, лишен выразительности. В 20-е годы XX в. в каком-то журнале было помещено такое юбилейно-праздничное творение:

Народ всегда идет вперед!  
Во дни побед, во дни невзгод  
Он гордо, твердо вдаль идет,  
Победы знамя он несет  
И всем врагам отпор дает —  
Идет, идет, идет, идет!

Это невыносимо не только из-за убогого содержания, но и от ритмики, мучительно-застойной, однообразной, неподвижной. Убожество звучания срод-

ни смысловому убожеству, оба они — бесчеловечны. Нужно движение ритма. И пиррихий вносит такое движение. И поэты полюбили его.

Итак, две причины того, что поэты благосклонны к пиррихию: во-первых, не хотят ссориться с языком, во-вторых, открыли, что пиррихий может быть выразителен и красив. Какая причина важнее? Думаю, вторая.

Художественное произведение вообще не отражение повседневных данных опыта (в том числе языкового опыта), но отношение к нему — и отношение может быть вызывающим, возникает противостояние бытовой речевой стихии и поэтического языка. Молодой М. В. Ломоносов писал прекрасные стихи без пиррихий; они далеки от бытовой речи, но это не мешает им быть произведениями искусства. Вспомним его «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»:

Лице свое скрывает день,  
Поля покрыла мрачна ночь,  
Взошла на горы чорна тень,  
Луна от нас склонилась прочь;  
Открылась бездна, звезд полна;  
Звездам числа нет, бездне дна.  
... Но где ж, Натура, твой закон?  
С полных стран встает заря!  
Не солнце ль ставит там свой трон?  
Не льдисты ль мещут огонь моря?  
Се хладный пламень нас покрыл!  
Се в ночь на землю день вступил!

На все это длинное стихотворение (48 строк) — всего 6 пиррихий. Замечательные стихи; не заметно, чтобы поэт гнул язык в бараний рог — живо и сильно звучит ямб, торжественный и мерный, полный выразительности. Почему же нет однообразия? Это — ораторский стих; слова — с их ударениями — подчиняются многоступенчатой иерархии; одни ударения могучи, другие менее сильны, третьи, не теряя ударности, находятся в тени у первых двух. Причины выдвинуты многообразны. Это эмоциональные восклицания, логические противопоставления, многозначительное замедленно-торжественное произношение «ключевых» слов — все создает жизненное движение в стихах.

Все же язык со своими требованиями оказывал сопротивление; написать большую оду, так чтобы на каждый четный слог приходилось ударение знаменательного слова, было не всегда возможно. И у Ломоносова появляются такие стихи: четные слоги всегда заняты либо ударным слогом в многосложном слове, либо односложным словом — безразлично, ударным (полнозначным) или служебным, безударным. Почему такая странная закономерность?

На четный слог таким образом не могла прийти безударная часть многосложного слова. Объяснить можно одним путем: не допускалось искажение слов, когда их безударные слоги по требованию стиха оказывались бы вдруг ударными (действительно, такое произношение совершенно уродливо), но односложные слова, включая союзы, предлоги, частицы, можно было произносить, искусственно подымая их до степени ударности или полуударности. Слово нельзя было изуродовать, переместив в нем ударение, но можно было использовать искусственное чтение текста, «подкрашивая» ударением служебные слова.

Вот так:

Подóбно бѣ́стрый как соко́л  
С руки ловцо́вой ввѣ́рх и в до́л  
Бодро́ взира́ет ско́рым о́ком,  
На вся́кий ча́с взлетѣ́ть гото́в,  
Похѣ́титъ, гдѣ увидит, ло́в  
В возду́шном ца́рстве своѣ́ широ́ком, —  
Враго́в так смóтрит на́ш солда́т,  
Враго́в, что вѣ́чный ми́р попра́ли,  
Враго́в, что на́ш поко́й смуща́ли,  
Враго́в, что на́с пожра́ть хотя́т.

Классицизм не искал совпадения с бытом, с его нормами, с обычной речью. Такое искусственное произношение не могло оттолкнуть поэтов-классицистов. Все же такое исполнение стиха (поэтом и чтецом) имеет переходный характер: сохраняется требование все четные слоги в ямбе выделять, но круг словосочетаний, втянутых в стиховую строку, «принятых» в ямб, расширился, а служебные слова, видимо, несли ослабленное ударение.

Следующий шаг — полное узаконение пиррихия в стихе:

Сие рекла Елисавета,  
Геройский свой имея вид.  
Небесного очами света  
На сродное им небо зрит...

Так Ломоносов писал об императрице Елисавете Петровне. П. А. Вяземский, видимо, был прав, говоря, что в стихах Ломоносова видна влюбленность поэта в Елисавету Петровну. Такими стихами вполне достойно высказывалось это тайное чувство, и пиррихий, начало гибкости — выразительности — естественности в ямбе, этому вовсе не мешал.

Поэты конца XVIII века перестали видеть в пиррихии помеху для ямба, нарушителя его чистоты и строгости; они открыли, что пиррихий обогащает ямб, — и полюбили его. Верно ли, что полюбили? Откуда мы это знаем? Лю-

бовь избирательна. У разных поэтов обнаруживается склонность к разному использованию пиррихия. Можно сказать — у Державина один пиррихий, у Пушкина — другой.

Эти отличия открыл в творчестве поэтов Андрей Белый — сам замечательный поэт, прозаик, замечательный критик и стиховед. В своих исследованиях русского стиха он показал, что Державин любил пиррихий на второй стопе четырехстопного ямба; стихов такого строения у него больше, чем у других поэтов. Такие стихи отвечают поэтической системе Державина. А. Белый заметил, что стихи такого строения читаются замедленно. Примеры (они выделены курсивом):

*Кровавая луна блистала  
 Чрез покровенный ночью лес,  
 На море мрачном простира  
 Столбом багровый свет с небес.  
 По огненным зыбям мелькая,  
 Я видел, в лодке некто плыл;  
 Тут ветер, страшно завывая,  
 Ударил в лес — и лес завыл;  
 Из бездн восстали пенны горы,  
 Брега пустили томный стон,  
 Сквозь бурные стихиев споры  
 Зияла тьма со всех сторон.*

*Ко берегу лодка приплывала,  
 Приблизжилась она ко мне;  
 Тень белая на ней мелькала,  
 Как образ мраморный во тьме.*

Такая замедленная строка звучит торжественно, величаво; она передает раздумье, или выражает покой созерцания, или рисует загадочное и таинственное действие, требующее сосредоточенного внимания.

Поэты-романтики начала XIX века любили пиррихий на третьей стопе четырехстопного ямба. Строки с таким пиррихием звучат ускоренно, динамично. Они бегут, чередуясь с ямбическими строками, устроенными по-другому (совсем без пиррихией или с пиррихиями, расположенными иначе), и создают ритмическое впечатление стремительной изменчивости переживания, его живости, его эмоциональной напряженности. Такой ямб у Пушкина, например в стихотворении «Ответ» (посвященном Е. Н. Ушаковой):

*Я вас узнал, о мой оракул,  
 Не по узорной пестроте  
 Сих недописанных каракул,  
 Но по веселой остроте,  
 Но по приветствиям лукавым,*

Но по насмешливости злой  
 И по упрекам... столь неправым,  
 И этой прелести живой.  
 С тоской невольной, с восхищеньем  
 Я перечитываю вас  
 И восклицаю с нетерпеньем:  
 Пора! В Москву, в Москву сейчас!

Здесь все строки, кроме последней, — с пиррихием на третьей стопе. (В первой строке сочетание «о мой оракул» — одно произносительное слово, с одним ударением.)

Открыл, что разные пиррихии имеют разную выразительную силу и что Пушкин и Державин (и другие поэты) имели разные ритмические пристрастия, все тот же замечательный Андрей Белый.

У каждого поэта свой ритмический мир. Иногда различие внешне небольшое, но оно ведет к огромным несходствам в эмоциональной стороне ритма. И у Пушкина, и у Баратынского господствует пиррихий на третьей стопе (в четырехстопном ямбе), но у Пушкина он встречается часто, а у Баратынского — очень часто. Отсюда — металлический отзвук в ямбе Баратынского, отсюда — постоянная напряженно сдержанная энергия стиха.

Это определяется строением стиха. Если пиррихий почти всегда на третьей стопе (на шестом слоге), то предыдущая стопа (четвертый слог) почти наверняка ударная; ведь стихи типа «И кланялся непринужденно» встречаются редко. Следовательно, в стихе создаются две постоянные ударности: четвертый и восьмой слог, рифменный. Получается симметричная конструкция. У Баратынского эта конструкция безусловно господствует; она реализует неизбежность ритмического движения. Но однообразия нет: в стихах Баратынского есть резко выделенные слова на первой, на второй, на четвертой стопах. Такие слова преодолевают инерционную неизбежность схемы. Они выделены как вершина эмоции, как выражение бунтующего чувства, которое рвется преодолеть неизбежность, предопределенность ритмической заданности.

Вот драматургия стиха Баратынского: решетка ударений на четвертом и восьмом слоге и сотрясающие ее, все время меняющие место (в пределах четных слогов) «бунтующие» усиленные ударения. Сам стих выражает драматичность, конфликтность поэзии Баратынского.

Когда исчезнет омраченье  
 Души болёзненной моей?  
 Когда увижу разрешенье  
 Меня опутавших сетей?  
 Когда сей дёмон, наводящий  
 На ум мой сѣн, его мертвящий,



От́дет, чадный, от меня,  
И я увижу л́уч блестящий  
Всеозаря́ющего дня?

... Вотщё́ ль мольбы? Напрáсны ль пени?  
Увижу ль снóва ваши сени,  
Сады по́эзии снятой?  
Уви́жу ль вас, ее светила?  
Вотщё́! я чувствую: моги́ла  
Меня живóго приняла,  
И, легкий дáр мой удушáя,  
На грудь мне д́ума роковая  
Гробóвой насыпью легла.

Такой ямб (именно как стих, как звуковой размер) увлек Андрея Белого. Свою книгу «Урна» он посвящает Баратынскому и использует ритмические ходы Баратынского. Подражание? Нет, близость ритмики оказывается и далью. В качестве ритмической доминанты, господствующей конструкции он избирает определенную последовательность ямбических и пиррихийных стоп, повторяет ее из стиха в стих — и взрывает монотонию... но иным путем, чем Баратынский.

В стихотворении «Ночью на кладбище» господствует такая конструкция:  $\cup' \cup \cup \cup \cup \cup' (\cup)$ , четырехстопный ямб с пиррихией на второй и третьей стопе, очень редкий в русской поэзии ритмический ход. Причудливость конструкции усиливается ее повторением во всех строках; эта монотония причудливости требует разрядки... Как ее достигает А. Белый? Вот это стихотворение:

Кладби́щенский убогий сад  
И зеленеющие кочки.  
Над памятниками дрожат,  
Потрескивают огонечки.

... Серебряные тополя  
Колеблются из-за ограды,  
Разметывая на поля  
Бушующие листопады.

В колеблющемся серебре  
Бесшумное возникновенье  
Взлетающих нетопырей, —  
Их жалобное шелестенье.

О сердце тихое мое,  
Сожженное в полдневном зное, —  
Ты погружаешься в родное,  
В холодное небытие.

Последняя строфа — неожиданное и резкое преодоление доминанты, идут строки совсем иного строения... а последний стих примирительно возвращает нас к доминанте — пиррихии на второй и на третьей стопе. (Иногда говорят, что сам рисунок ямба в этом стихотворении: два срединных пиррихии и ударения по краям каждой строки — рисует взлет и парение в воздухе нетопырей — летучих мышей; но такое «рисуночное», иллюстративное представление о ритме, мне кажется, необязательно.)

Итак, в ритмике Баратынского и А. Белого (в стихотворениях из книги «Урна») есть общее: в качестве доминанты избирается определенная конструкция, и она проходит через весь текст. У А. Белого эта конструкция демонстративно редкостна, причудлива, ее неуклонное возвращение снова и снова особенно заметно. Преодоление единообразия ритма у этих поэтов разное: у Баратынского сильные ударения рвутся из заданной сетки; у Белого по-другому: последнее четверостишие даст резкий перелом в течении ритма, пресечение его единообразия.

Очевидно, это верно: у каждого большого поэта свой ямб, свой хорей.

Если забежать в последующую поэзию, то увидим, что пиррихию привольно жилось в стихотворениях Б. Пастернака:

Все утро с девяти до двух  
Из сада шел томящий дух  
Озона, змей и розмарина,  
И олеандры разморило...

Своей напряженной, творческой жизнью жил пиррихий и в хорее.

И дело, оказывается, не только в том, на какую стопу — вторую, третью — приходится пиррихий в ямбе и хорее, но и в словоразделе. Вот что пишет В. Брюсов о словоразделах: «Возьмем два стиха:

Тиха украинская ночь...  
Богат и славен Кочубей...

В исследованиях Андрея Белого такие стихи считаются ритмически тождественными. Но, вероятно, [даже] наименее изощренное ухо различит все громадное ритмическое различие этих двух стихов. Ритм первого нежен и гибок, второго — тверд и суров». Брюсов справедливо связывает это различие с разным расположением словоразделов: *Тиха украинская ночь* —  $\cup' \cup' \cup \cup \cup |'$ , *Богат и славен Кочубей* —  $\cup' | \cup' \cup | \cup \cup'$ .

Так работает пиррихий в стихах.

## Рассказы о русском стихе. Цезура\*

Вот стихотворение М. Ю. Лермонтова, которое можно перечитывать бес-  
счетное число раз, и оно снова и снова приносит радость и счастье.

Выхожу • один я на дорогу;  
Сквозь туман • кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. • Пустыня внемлет Богу,  
И звезда • с звездой говорит.

В небесах • торжественно и чудно!  
Спит земля • в сиянье голубом...  
Что же мне • так больно и так трудно?  
Жду ль чего? • жалею ли о чем?

Уж не жду • от жизни ничего я,  
И не жаль • мне прошлого ничуть;  
Я ищу • свободы и покоя!  
Я б хотел • забыться и заснуть!

Но не тем • холодным сном могилы...  
Я б желал • навеки так заснуть,  
Чтоб в груди • дремали жизни силы,  
Чтоб, дыша, • вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, • весь день, мой слух лелея,  
Про любовь • мне сладкий голос пел,  
Надо мной • чтоб, вечно зеленея,  
Темный дуб • склонялся и шумел<sup>1</sup>.

В каждом стихе после третьего слога следует цезура: третьим слогом оканчивается слово, и все эти три слога — интонационная целостность. После цезуры — вторая часть строки — тоже является интонационной целостностью, единством.

---

\* Русская словесность. 1996. № 3. С. 37—42.

<sup>1</sup> Точка вверху строки — знак цезуры. Другой знак с тем же смыслом |.

Итак, цезура — особое средство организации стиха: постоянное разделение, разрыв внутри стиха (стихотворной строчки).

Как реализуется цезура? Обычно — перепадом интонаций. До цезуры — одна интонационная волна, после цезуры — другая. Отрезок текста, объединенный одной интонацией, называется фразой; следовательно, можно сказать, что цезура бывает выражена фразоразделом.

Нередко цезура выражается паузой — менее весомой, более краткой, чем в конце строки. Иногда слегка усиливается ударение в слове, предшествующем цезуре: оно громче, чем соседние ударения. В сонете И. Анненского «Черный силуэт» (пятистопный ямб с цезурой после четвертого слога) во всех стихах цезуре предшествует ударный слог; очевидно, поэт видел в такой постоянной ударности («стиховой категоричности») нужную ему ритмическую краску. Это наводит на мысль, что здесь перед цезурой можно слегка усилить ударность слога:

Пока в тоске • растущего испуга  
Томиться нам, • живя, еще дано,  
И уж сердцам • обманывать друг друга  
И лгать себе, • хладея, суждено;

Пока прильнув • сквозь мерзлое окно,  
Нас сторожит • ночами тень недуга,  
И лишь концы • мучительного круга  
Не сведены • в последнее звено, —

Хочу ль понять, • тоскою пожираем,  
Тот мир, тот миг • с его миражным раем...  
Уж мига нет — • лишь мертвый брезжит свет...

А сад заглох... • И дверь туда забита...  
И снег идет... • И черный силуэт  
Заолодел • на зеркале гранита.

В некоторых стихах нужно замедленное произношение ударного слога в слове перед паузой; такое замедление нам кажется уместным в стихотворении Е. Баратынского «Она»:

Есть что-то в ней, • что красоты прекрасней,  
Что говорит • не с чувствами — с душой;  
Есть что-то в ней • над сердцем самовластной  
Земной любви • и прелести земной.

Как сладкое • душе воспоминанье,  
Как милый свет • родной звезды твоей,  
Какое-то • влечет очарованье  
К ее ногам • и под защиту к ней.

Когда ты с ней, • мечты твоей неясной  
 Неясною • владычицей она:  
 Не мыслишь ты — • и только лишь прекрасной  
 Присутствием • душа твоя полна.

Бредешь ли ты • дорогою возвратной,  
 С ней разлучась, — • в пустынный угол твой,  
 Ты полон весь • мечтою необъятной,  
 Ты полон весь • таинственной тоской.

Скорее всего, здесь невозможно усиление ударений перед цезурой, здесь было бы неуместно и углублять паузу перед нею. Стих гармонически льется. Рвать его паузами или «стучать» ударениями нельзя. Замедленность предцезурного ударного слова естественно входит в строй такого стиха.

И «Черный силуэт» Анненского, и «Она» Баратынского — пятистопный ямб с цезурой на второй стопе. Но различие ритмического движения в этих двух стихотворениях значительно. Оно в первую очередь создается цезурами.

«Черный силуэт» построен так: во всех строфах чередуются мужские (=У', завершающий слог ударный) и женские (= 'У, конечный слог безударный) рифмы. Такому движению окончаний противопоставлена неподвижность, константа в строении предцезурных частей всех строк: они все кончаются ударным слогом. Устойчивость противопоставлена подвижности.

У Баратынского строение цезуры меняется в каждой строфе. Создается образ ритмического течения. Первая строфа: предцезурные полустишия — всегда с ударным исходом. Рифмы движутся, меняются, женские и мужские. (Похоже на строфы в стихотворении Анненского.) Вторая строфа построена по другому принципу: если окончание первого полустишия безударное ('УУ), значит, безударный исход и у всей строки: *сла́дкое... воспоми́нье; како́-то... очарова́нье*. Ударное окончание первого полустишия влечет за собой ударный исход всей строки: *све́т... твоёй... нога́м... к не́й*. Исход первого полустишия подхватывается, повторяется концом всей строки. Первые две соседние строфы построены по-разному; эти перемены создают текучесть ритмики.

Третья строфа. Предцезурная часть создает контраст с окончанием стиха: *с не́й — не́ясной, ты́ — прекра́сной; не́ясною она́, прису́тствием — полна́*. Предцезурная часть ударная — жди конец строки женский, и наоборот: смягченная, «округлая» предцезурная часть — жди твердого, ударного, мужского окончания строки.

Четвертая строфа по ритмическому строению повторяет первую: кольцевая конструкция; движение исчерпано.

Судьба цезуры в русском стихе была переменчива. В XVIII в. и в начале XIX в. цезура считалась обязательной в пятистопном ямбе (на второй стопе,

т. е. после 4-го слога) и в шестистопном ямбе (на третьей стопе, т. е. после 6-го слога). Пушкин стал писать пятистопные ямбические стихи без цезуры, и об этом сам во всеуслышание заявил:

Признаться вам, я в пятистопной строчке  
Люблю цезуру на второй стопе.  
Иначе стих то в яме, то на кочке,  
И хоть лежу теперь на канаве,  
Все кажется мне, будто в тряском беге  
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.

Что за беда? не все ж гулять пешком  
По невскому граниту иль на бале  
Лощить паркет или скакать верхом  
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,  
Со станции на станцию шажком...

Итак, в пушкинское время и позже цезура перестала быть обязательной в пятистопном ямбе. Было оставлено на волю поэта писать стихи с цезурой или без нее. Значит, роль ее в русском стихе постепенно умалается? Нет, скорее наоборот: она стала предметом выбора, творческого предпочтения,

В начале XX в. появилось стремление цезуру ритмически усилить. У символистов она нередко была поддержана внутренней рифмой:

Близ медлительного Нила, | возле озера Мерида, | в царстве пламенного Ра  
Ты одна меня любила, | как Озириса Изиды, | друг, царица и сестра...

В этих стихах В. Брюсова цезура становится двуликой, ее роль колеблется на грани: межстиховая граница — граница внутри стиха. Сколько стихов в этих двух строках: два? или шесть? Само произношение может колебаться, то увеличивая внутренние паузы, то уменьшая их, тем самым то сближая со строчными разделами, то сохраняя двенадцатистопную строку. Цезура оказывается двузначной, колеблющейся. И это отвечает общей поэтике символизма.

Цезура может быть усилена и другим путем. Стихотворение И. Северянина «Спустя пять лет»:

Тебе, Евгения, | мне счастье давшая,  
Несу горячее | свое раскаянье...  
Прими, любившая, | прими, страдавшая,  
Пойми тоску мою, | пойми отчаянье.

Вся жизнь изломана, | вся жизнь истерзана.  
В ошибке юности | — проклятье вечное...  
Мечта иссушена; | крыло подрезано,  
Я не сберег тебя, | и жизнь — увечная...

Прости скорбящего, | прости зовущего,  
 Быть может — слабого, | быть может — гения.  
 Не надо прошлого: | в нем нет грядущего, —  
 В грядущем — прошлое... | Прости, Евгения!

Это как будто обычный шестистопный ямб с обычной цезурой после третьей стопы. Но цезурные клаузулы, во-первых, во всех строках устроены одинаково — они дактиличны (' ∪ ∪). Во-вторых, они тождественны с клаузулами в конце каждой строки, тоже дактилическими. Возникает ритмическое единство до- и послецезурной части, это две волны, объединенные в один стих. Постоянный напор этих двух волн, их неизменное явление в каждой строке, их подобие друг другу усиливают цезуру-раздел. Каждая строка, идущая двумя волновыми накатами, оказывается напевной. Рифма, однако, не дает стиху разъединиться, превратиться в две самостоятельные части.

На стихотворение И. Северянина ритмически похоже, тоже напевное, стихотворение А. Вертинского «Девочка с капризами» (он его пел на эстраде), но цезура обозначена еще глубже:

Мы никем не поняты | и разочарованы.  
 Нас считают маленькой | и теснят во всем.  
 И хотя мы мамою | не очень избалованы,  
 Все же мы умеем | поставить на своем.

Платьица короткие | вызывают страстные  
 Споры до истерики | с бонной и мамá.  
 Эти бонны кроткие — | сволочи ужасные,  
 Нет от них спасения. | Хуже, чем чума!

Вечно неприятности. | Не дают возможности,  
 Заставляют волосы | распускать, как хвост.  
 Что это, от глупости? | Иль от осторожности?  
 А кузен Сереженька | все острит, прохвост!

Он и бонна рыжая | целый день сопутствуют.  
 Ходишь, как по ниточке, — | воробей в плену!..  
 Девочка с капризами... | Я вам так сочувствую.  
 Вашу жизнь тяжелую | я один пойму!

Тоже шестистопный стих (но хорей, а не ямб). Тоже предцезурная часть строится единообразно — с дактилическим окончанием перед цезурой. Но цезура еще глубже: перед нею появляется метрически «сверхсметный» слог, усиливая расчлененность строки:

Вашу жизнь тяжелую я один пойму!

' ∪ ' ∪ ' ∪ ∪ | ' ∪ ' ∪ '

Снова создаются две почти тождественные ритмические волны в каждой строке — является напевность.

Значит, цезура вместе с другими особенностями стиха способна создавать его напевный характер. Еще одна способность цезуры, еще одно ее умение.

Цезура выделяет стабильный, константный отрезок стиха, определенный количеством слогов. Этот отрезок предшествует цезуре. А у М. Цветаевой в стихотворении «Кабы нас с тобой...» эта выделенная часть (в пять слогов) то до цезуры, то после нее, но в каждом стихе она есть, эта «плавающая» константа стиха (она выделена курсивом):

*Кабы нас с тобой — | да судьба свела —  
Ох, веселье пошли бы | по земле дела!  
Не один бы нам | поклонился град,  
Ох, мой родный, мой природный, | мой безродный брат!*

*Как последний счас | на мосту фонарь —  
Я кабацкая царица, | ты кабацкий царь.  
Присягай, народ, | моему царю!  
Присягай его царице, — | всех собой дарю!*

*Кабы нас с тобой — | да судьба свела,  
Поработали бы царские | на нас колокола,  
Поднялся бы звон | по Москве-реке  
О прекрасной самозванке | и ее дружке.*

*Нагулявшись, наплясавшись | на земном пиру,  
Покачались бы мы, братец, | на ночном ветру,  
И пылила бы дороженька— | бела, бела, —  
Кабы нас с тобой — | да судьба свела!*

Постоянная длительность (в пять слогов) возникает в каждой строке: два исключения, видимо, мнимые; *белá, белá*, — необходима глубокая пауза, равновеликая слогу, *на нас колокола* — при возможном чтении *колкола*. Но эта константа то начинает, то замыкает стих. Другая часть — непостоянна, меняет число слогов (иногда может иметь их тоже пять). Так мы подошли к понятию подвижной, непостоянной цезуры. Ее любили младшие символисты и их наследники. Здесь отсчет места цезуры идет уже не по слогам, а по тактам; тактом называется фонетическое слово, т. е. ударный слог вместе с зависимыми от него безударными. Каждый стих в стихотворении А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...» разделяется надвое подвижной цезурой:

*Девушка пела • в церковном хоре  
О всех усталых • в чужом краю,  
О всех кораблях, • ушедших в море,  
О всех, забывших • радость свою.*



Так пел ее голос, • летящий в купол,  
И луч сиял • на белом плече,  
И каждый из мрака • смотрел и слушал,  
Как белое платье • пело в луче.

И всем казалось, • что радость будет,  
Что в тихой заводи • все корабли,  
Что на чужбине • усталые люди  
Светлую жизнь • себе обрели.

И голос был сладок, • и луч был тонок,  
И только высоко, • у царских врат,  
Причастный тайнам, • — плакал ребенок  
О том, что никто • не придет назад.

Каждый стих разделен цезурой на 2 + 2 такта.

Свободная цезура поддерживает выразительность и достоинство тактового стиха.

Так функционально разнообразны и выразительно-богаты возможности цезуры. Уже три столетия (считая время силлабики) плодотворно работает она в русском стихе.

Вся метрика стихотворений, и цезура в частности, бывает многими своими сторонами связана со всем словесно-образным строем произведения. Стихотворение А. Фета «Диана» написано шестистопным ямбом с цезурой после третьей стопы:

Богини девственной | округлые черты,  
Во всем величии | блестящей наготы,  
Я видел меж дерев | над ясными водами.  
С продолговатыми, | бесцветными очами  
Высоко поднялось | открытое чело, —  
Его неподвижностью | вниманье облегло,  
И дев молению | в тяжелых муках чрева  
Внимала чуткая | и каменная дева.  
Но ветер на заре | между листов проник, —  
Качнулся на воде | богини ясный лик;  
Я ждал, — она пойдет | с колчаном и стрелами,  
Молочной белизной | мелькая меж древами,  
Взирать на сонный Рим, | на вечный славы град,  
На желтоводный Тибр, | на группы колоннад,  
На стогны длинные... | Но мрамор недвижимый  
Белел передо мной | красой непостижимой.

Первая часть стихотворения — покой и созерцание. У большинства строк перед цезурой два безударных слога, ударный перед ними допускает замед-

ленное чтение: *дѣвственной... величии*. (Допускает, — значит, такое чтение отвечает общему движению ритмики.)

Вторая часть стихотворения рисует движение или иллюзию движения, и такую иллюзию движения создает ритмика: перед цезурой преобладают ударные слоги с их динамичностью и энергией.

Конечно, дело не в том, чтобы движение стиха было ритмической иллюстрацией, «картинкой», дублирующей образную сторону стихотворения. Существенно, что ритмика соответствует другим сторонам стихотворения, особенности звуковой и образной сторон корреспондируют друг с другом.

Взаимодействие звуковой и образной сторон произведения, в котором оно обретает поэтическую неповторимость, может быть сложным. Иногда цезура (вместе со всей ритмометрикой) дает осуществиться образной системе стихотворения, непосредственно воплощает эмоциональный строй произведения. В стихотворении А. Ахматовой «А! Это снова ты...», полном напряженно-трагической сдержанности и силы, цезура вносит эмоциональную неожиданность, выделяет эмоциональные восклицания:

А! Это снова ты. | Не отроком влюбленным,  
 Но мужем дерзостным, | суровым, непреклонным  
 Ты в этот дом вошел | и на меня глядишь.  
 Страшна моей душе | предгрозовая тишь.  
 Ты спрашиваешь, что | я сделала с тобою,  
 Врученным мне навек | любовью и судьбою.  
 Я предала тебя. | И это повторять —  
 О, если бы ты мог | когда-нибудь устать!  
 Так мертвый говорит, | убийцы сон тревожа,  
 Так Ангел смерти ждет | у рокового ложа.  
 Прости меня теперь. | Учил прощать Господь.  
 В недуге горестном | моя томится плоть,  
 А вольный дух уже | почует безмятежно.  
 Я помню только сад, | сквозной, осенний, нежный,  
 И крики журавлей, | и черные поля...  
 О, как была с тобой | мне сладостна земля!

Читатель имеет право сказать мне: зачем же вы испортили какими-то значками одно из самых прекрасных стихотворений в русской поэзии? И другие стихотворения у вас все испорчены!

Да, это верно. Но без значков я не мог бы рассказать то, о чем рассказываю. Утешением является сознание, что в книгах поэтов эти стихотворения остались неиспорченными, и там они по-прежнему приносят читателю радость и счастье. А знания о строении стиха, как оно было задумано поэтом, может быть, для некоторых читателей делают эту радость более полной.

Б. М. Эйхенбаум в 1923 г. писал: «Основная манера Ахматовой ... выражается в сочетании разговорной или повествовательной интонации с патети-

чекскими вскрикиваниями. Эти вскрикивания ... настолько выделяются своей интонационной силой, что служат композиционным центром, влияя на все окружающее». Такие восклицания начинают стих: *А! Это снова ты... О, если бы ты мог... О, как была с тобой...*

В других стихах восклицание опирается на цезуру. Она отсекает часть единой синтаксической конструкции:

Ты спрашиваешь, что́ | я сделала с тобою...  
 ... О, если бы ты мо́г | когда-нибудь устать!  
 ... А вольный дух уже́ | почиет безмятежно.

Цезура от органического целого отчленяет часть — и мотивировать отдельность можно только тем, что это восклицание. Последующая цезура создает обособленность слова и требует интонационного истолкования этой обособленности.

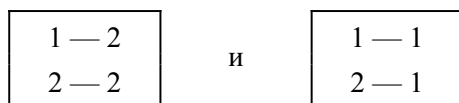
Цезура может участвовать в композиционном строении стихотворения. Вспомним произведение И. Анненского «Статуя мира»:

Меж золоченых бань • и обелисков славы  
 Есть дева белая, • а вокруг густые травы.  
 Не тешит тирс ее, • она не бьет в тимпан,  
 И беломраморный, • ее не любит Пан.  
 Одни туманы к ней • холодные ласкались,  
 И раны черные • от влажных губ остались...  
 Но дева красотой • по-прежнему горда,  
 И трав вокруг нее • не косят никогда.  
 Не знаю почему — • богини изваянье  
 Над сердцем сладкое • имеет обаянье...  
 Люблю обиду в ней, • ее ужасный нос,  
 И ноги сжатые, • и грубый узел кос,  
 Особенно, когда • холодный дождик сеет  
 И нагота ее • беспомощно белеет...  
 О, дайте вечность мне — • и вечность я отдам  
 За равнодушие • к обидам и годам.

Часть строки перед цезурой может оканчиваться ударным слогом ('): *бань... к ней... почему...* — или безударным (◡): *белая... сжатые... равнодушие...* И рифменный конец строки тоже может иметь исход или ударный: *тимпан — Пан*, или безударный: *славы — травы*. Ударные исходы обозначим цифрой 1, безударные — цифрой 2. (При этом: *Одні туманы к ній...* местоимение в роли дополнения и, следовательно,

ударно; *И наготá ее...* — местоимение в роли притяжательного определения и поэтому безударно.)

Тогда окончания во всех двустушиях размещаются по двум типам:



То есть либо три окончания с безударным последним слогом, а одно — ударное, либо наоборот: три окончания ударных и одно — без ударения. И размещаются они углом. Это единство построения создает гармоническое внутреннее движение стиха. Но кульминация всего стихотворения — четвертое двустушие — резко выделяется: у него все окончания ударны. Это создаст ритмический перелом в течении стихотворения. Так с помощью цезуры строится композиция поэтического произведения.

Цезура может знаменовать то, что лежит в основе творчества поэта. Одна из ранних книг Б. Пастернака называлась «Поверх барьеров». Название раскрывает одну из важнейших особенностей творчества поэта (в определенный период). Поэта окружают барьеры, запреты, потерявшие свое оправдание; ограничения, привычки... Он утрачивает непосредственное родство с миром. В раннем творчестве Б. Пастернака есть преодоление этих преград. И это отражено в его ритмике: многие его стихотворения построены как ритмическое преодоление; стиховая волна хлещет через преграды. Например, в знаменитой, зацитированной главе «Лейтенанта Шмидта»:

Скáмьи, шапки, выпушка охраны,  
Обмороки, крики, схватки спазм.  
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на  
Головокруженье, несмотря  
На пары нашатыря и пряный,  
Пьяный запах слез и валерьяны,  
Чтение без пенья тропаря...<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Такие переносы (enjambement'ы) бывают иногда препятствием для принятия Пастернака при первых встречах с его поэзией. В. Я. Виленкин вспоминает: В. И. Немировича-Данченко в стихотворении «О, знал бы я, что так бывает...» задело слово *который* в рифме:

Но старость — это Рим, который  
Взамен турусов и колес  
Не читки требует с актера,  
А полной гибели всерьез.

«„Вот это — великолепно, только «который»-то зачем“? — как-то даже растерянно воскликнул он, когда я кончил, и так и не поверил, по-моему, что мне это действительно нравится» (Виленкин В. Я. Воспоминания с комментариями. М., 1991. С. 31).

Безостановочная, взмахнув, поверх барьеров, устремленность стиха. Разделения стихов пытаются остановить это движение, но безуспешно.

Цезуры играют в эту же игру: они увеличивают число преград, но вместе с тем велика ритмико-синтаксическая энергия их преодоления:

О стыд, ты в тягость мне! | О совесть, в этом раннем  
 Разрыве столько грез, | настойчивых еще!  
 Когда бы, человек, — | я был пустым собранием  
 Висков, и губ, и глаз, | ладоней, плеч и щек!  
 Тогда б по свисту строф, | по крику их, по знаку,  
 По крепости тоски, | по юности ее  
 Я б уступил им всем, | я б их повел в атаку,  
 Я б штурмовал тебя, | позорище мое!

*(Из цикла «Разрыв»)*

Здесь цезура, оставаясь элементом стиха («препятствием», барьером), преодолевается живым движением, связывающим и строки, и части строк, отмеченных цезурой. Цезура вместе со всей ритмикой превращается в метафору, в звуковое подобие самых глубоких основ поэзии Б. Пастернака.

Читателю может показаться, что цезура рационалистична, рассудочна, искусственна: поэт пишет стихотворение, по пальцам считая слоги и справляясь с книгами по стиховедению. На самом деле цезура так же интуитивна и так же «рассудительна», как и все в искусстве. В. Маяковский, обладая абсолютным чувством языка и стиха, в то же время бравировал своей неискренности в вопросах поэтики (см. его статью «Как делать стихи»). Ясно, что на пальцах он не отсчитывал место цезуры. И тем не менее в его последних стихах является... цезура! Это и понятно: его стих, изменчивый в каждом своем атоме, органически требовал введения постоянства, константы, устойчивости.

Стихотворение В. Маяковского «Кемп „Нит гедайге“». Хорей с цезурой после 6-го слога. Стихотворение всем известно; в школе хорошо изучали Маяковского: газеты сейчас полны цитат из него. Большею частью с хихиканьем — изменилась политическая ситуация. Но иногда, например в «Комсомольской правде», цитируют серьезно, может быть, помня слова поэта: «Мой стих дойдет... через головы поэтов и правительств...» Поэтому даем только предцезурные отрезки:

запретить совсем бы...  
 выпускать из пасти...  
 Я лежу, — палатка...  
 Не по мне все это...

будто бы решают...  
 Лучше бы не выли...  
 надо просыпаться...  
 Прямо перед мордой...  
 бесконечночасый...  
 Были б все одеты...  
 если б время ткало...  
 Впрямь бы это время...  
 спустят с холостого...  
 а чтоб время честно...  
 Ну, американец...  
 Втер очки Нью-Йорком...  
 Сотня этажишек...  
 Этажи и крыши...  
 Нами через пропасть...  
 Кверху нос задрали...  
 в мире социальном...  
 три доллара за день...  
 А у Форда сколько...  
 Ну, скажите, Кулидж, ...  
 Много ль человеку...  
 Форд — в миллионах фордов...  
 Монумент и то бы...  
 Кланялись бы детки...  
 Мистер Форд — отдайте...  
 Ну, и сон приснит вам...  
 Только сон ли это?..  
 Это комсомольцы...  
 песней заставляют...

Всего в стихотворении «Кемп „Нит гедайге“» 46 рифмованных строк. Из них 33 имеют цезуру после шестого слога; 11 — после пятого («Взвоят и замрут...», «Перекинут мост...»), две — после седьмого («Что ж, с мостища с этого...», «Мистер Форд — для вашего...»). Таким образом, все стихотворение цезуровано: господствует цезура после шестого слога, и ее вариант — после пятого.

Часто у Маяковского цезура пронизывает не все стихотворение, а его часть, отступает в ряде строк и снова возвращается. Это можно проследить, например, в поэме «Во весь голос» (цезура после четвертого слога).

В. Маяковский призвал в некоторые свои стихотворения цезуру, потому что поэтической интуицией почувствовал ее необходимость для этих стихотворений. Цезура для него была живым строевым материалом поэтического произведения.

Закончим статью ответом на одно возможное возражение. Читатель может сказать: это все говорится о цезуре, т. е. о звуковой стороне стиха, но я привык читать стихи про себя. Не вслух.

Читая стихи про себя, мы все равно оцениваем его звуковое строение. Мы чувствуем ритм, его изменения, его динамику и выразительность, различие между рифмованным и белым стихом, отличаем ритмы Пушкина от ритмов Некрасова, воспринимаем ритмическую дерзость и виртуозность созвучий у Маяковского и т. д. Поэтому, даже читая поэтическое произведение про себя, полноценное впечатление мы получаем только тогда, когда сохраняем «чувство цезуры» — так же как чувство строфы, восприятие рифмы и т. д.

## Рассказы о русском стихе. Логаэдический стих\*

Логаэдическими стихами (или логаэдами) называются такие, в которых ударения падают в каждой строке на одни и те же места, но строки не делятся на одинаковые стопы. Вот, например, схема логаэдического стиха:

'У'У'УУ'У'У'  
'У'У'УУ'У'У'  
'У'У'УУ'У'У'  
'УУ'У

Эта схема представляет строфу: три стиха имеют ударения на слогах 1, 3, 5-м... Как будто это хорей, и мы бы ожидали ударения на 7-м слоге; но нет: оно далее падает на 8-й и 10-й слоги. Стоп, повторяющих одинаковые сочетания ударностей и безударностей, нет: повторяются сочетания то 'У, то 'УУ.

Это — сапфическая строфа, она создана древнегреческой поэтессой Сафó (или Сапфó); VI век до нашей эры.

Античная метрика была основана на закономерном чередовании долгих и коротких слогов. Русские поэты, стремясь обогатить ритмику русской поэзии, приняли этот строй стиха (и многих других строф, идущих от античной поэтической традиции), но при этом долгие слоги интерпретировали как ударные. Получились русские ритмически гибкие стихи, например, такие. Стихотворение Александра Востокова «Сафо»; монолог от лица Сафо, обращенный к юноше:

⟨...⟩ Взором ты своим приманил Амуров,  
На уста к тебе прилетели Смехи,  
Окружив, Хариты тебя приятно  
Пóцеловáли<sup>1</sup>.

Красоту тогда ты приял в награду:  
«Мальчик милый, — молвила Афродита, —  
Умощен амврозией, будь отныне  
Всех пригожей!»

---

\* Русская словесность. 1998. № 4. С 86—90.

<sup>1</sup> = п[â]целовáли... (с полуударением на 1-м слоге).



Античные традиции были использованы и преобразованы на русской почве, чтобы обогатить возможности русской ритмики. Внутри этой традиции образовалось два потока. Первый поток — переводы из античных поэтов «размером подлинника». Начинателями здесь были в XVIII в. два неутомимых экспериментатора стиха — В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков. Первые удачи связаны с творчеством А. Востокова и А. Мерзлякова. Эти поэты, предромантики, использовали логаядический стих, чтобы создать произведения, полные нервной, напряженной, драматической энергии.

В стихотворении Алексея Мерзлякова «К счастливой любовнице» (перевод произведения, которое приписывается Сафо) героиня видит, что ее любимый внимателен к другой женщине... Метр (цезура после 5-го слога):

'○○'○ '○○'○  
 '○○'○ | '○○'○  
 '○○'○ | '○○'○  
 | '○○'○

⟨...⟩ Взором ловящий | страсти улыбки!..

Видела это — | оцепенела;

Сжалось сердце; | в устах неподвижных

Голос прервался! —

Замер язык мой... | Быстрый по телу

Нежному пламень | льется рекою;

Света не вижу; | взоры померкли;

В слухе стон шумный! —

В поте холодном | трепет; ланиты

Былий, иссохших | зноем, бледнее;

Кажется, смертью, | таю, объята;

Я бездыханна!..

Напряженный синтаксис; цезура, неожиданно рассекающая строки; динамическая ритмика — все это служит эмоциональной выразительности стихотворения<sup>2</sup>.

Поэты-предромантики использовали переводной логаядический стих, чтобы создать лирику эмоционального напряжения и большой искренности. Сложная ритмически строфика этому не помешала.

<sup>2</sup> Обратим внимание на третью строку: она отступает от метра, ее рисунок — '○○'○ | ○'○○'○. Лишний слог после цезуры. Но сильная цезура «вправляет» этот ритмический вывих. Данная строка — важное свидетельство, что поэты создавали логаядические стихи, не считая слоги по пальцам, не «скандируя» их (как это иногда предполагают стиховеды-буквалисты); поэта вело живое чувство ритма — и при этом, конечно, возможны сбои, не режущие слух.

А далее, в XIX и XX в. в эпоху символистов и их современников, — новая волна талантливейших переводов, в том числе — логаэдов, у Вячеслава Иванова (из Сафо и Алкея), М. Семенова-Тян-Шанского (из Горация), Адриана Пиотровского (из Катулла), Сергея Шервинского (из Катулла, Овидия). Их переводы стали драгоценной частью русской лирики.

Второй поток — это оригинальные произведения, подхватывающие античную ритмическую традицию, превращая ее в особую ветвь русской лирики. Первый шедевр здесь — стихотворение Александра Радищева «Сафические строфы»:

Ночь была прохладная, светло в небе  
Звезды блещут, тихо источник льется,  
Ветры нежно веют, шумят листьями  
Тополи бѣлы.

Ты клялася верною быть вовеки,  
Мне богиню нощи дала порукой;  
Север хладный дунул один раз крепче —  
Клятва исчезла.

... Жизнь прерви, о рок! рок суровый, лютый,  
Иль вдохни ей верной быть в клятве данной.  
Будь блаженна, если ты можешь только  
Быть без любви.

Как же произносить, как читать такие стихи? Если их жевать, как прозу, то получится плохо. Нет радости стиха. Очевидно, надо найти стиль произношения, органически присущий такой ритмике. Так как это русские стихи, то, очевидно, надо обратиться к помощи русского стиха.

Русский хорей и ямб имеют между ударениями безударный промежуток в один слог (*Его примѣр другим наука*), или три слога, в случае пиррихия (*Когда не в шутку занемог*), или в пять слогов (*И кланялся непринужденно*). Однако есть ямбические стихи, причем удивительной красоты, которые нарушают это обычное строение строки. Пример — знаменитое стихотворение Тютчева «Последняя любовь»:

О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим и суеверней... ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡<sup>3</sup>  
Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней! ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡  
Полнеба обхватила тень,  
Лишь там, на западе, бродит сиянье, — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡

<sup>3</sup> , удлинение ударного слога.



Логаэдический стих оказался дорог многим поэтам. Он сочетает в себе противоположности, объединяя их в эстетически выразительную целостность. Эмоциональная напевность слоговых удлинений — и рационалистическая строгость в рисунке строфы. Сильное синтаксическое движение, неожиданное с грамматической точки зрения членение на строки — и мерное строфическое постоянство ритма. Строгая закованность речи в метрический каркас — и свобода лирической взволнованности. Этим создано сочетание динамики и покоя. Требовательная неподвижность стихового строя выступает вместе с эмоциональной взволнованностью. Так, как, например, в стихотворении Вячеслава Иванова:

Мнится мне: как боги, блажен и волен,  
Кто с тобой сидит, говорит с тобою,  
Милой в очи смотрит, и слышит близко  
Лепет умильный —

Нежных уст!.. Улыбчивых уст дыханье  
Ловит он... А я, — чуть вдали увижу  
Образ твой, — я сердца не чую в персях,  
Уст не раскрыть мне!

Бедный нем язык, а по жилам тонкий  
Знойным холодком пробегает пламень;  
Гул в ушах; темнеют, потухли очи;  
Ноги не держат...

Вся дрожу, мертвею; увлажнен потом  
Бледный лед чела; словно смерть подходит...  
Шаг один — и я, бездыханным телом  
Сникну на землю.

Стихи строфически и ритмически связаны с античностью. Сама длительность гласных в определенных ритмических условиях напоминает ее же. Напряженно-физическое, чувственное переживание любви в последнем стихотворении ведет в ту же историческую культуру<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Заслуживают внимания поэтические опыты, реально воспроизводящие долготу гласных в античном стихе; стихотворение «Конь» И. Сельвинского (вариация гекзаметра):

Конь быстролетный, отлитый из черной и звончатой бронзы,  
Ты — мой славный товарищ, тебе моя грубая песнь.  
Весь ты прекрасен и мощен, как стих звонкопennyй Марона.  
Все твои слажены члены, что кованных латы доспехов.  
Острые у-уши хо-одят, зорко звук уловляя,  
Челка нежно вьется, будто женские пряди,

Были представлены логаяды, которые оправдывают свое строение слоговыми длительностями в строке. Другой способ реализовать логаядические построения — цезура. По объяснению Востокова, цезура — это после определенного слога «пресечение, с которым непременно должно оканчиваться слово». Как реализуется цезура? Большею частью краткой паузой, или удлинением гласного предцезурного слога, или усилением (более энергичным произношением) этого слога.

(А может быть, никак? Просто сознание читателя отмечает единообразие разделений внутри строк? Думается, какой-то коррелят цезуры в конкретном течении стиха должен быть. Если стих читается «про себя», то и в этом случае есть такие корреляты, произносимые тоже «про себя», не вслух.)

Вот стихотворение «Акму нежно обняв...» (перевод Сергея Шервинского из Катулла), цезура после 6-го слога:

Акму нежно обняв, | свою подругу,  
 «Акма, радость моя! | — сказал Септимий. —  
 Если я не люблю | тебя безумно  
 И любить не готов | за годом годы,  
 Как на свете никто | любить не в силах,  
 Пусть в Ливийских песках | или на Инде  
 Повстречаюсь со львом | я белоглазым!»  
 И Амур, до тех пор | чихавший влево,  
 Тут же вправо чихнул | в знак одобренья.  
 Акма, к другу слегка | склонив головку  
 И пурпуровым ртом | касаясь сладко  
 Томных юноши глаз, | от страсти пьяных,  
 «Жизнь моя, — говорит, | — Септимий милый!  
 Пусть нам будет Амур | один владыкой!  
 Верь, сильнее твоего, | сильнее и жарче  
 В каждой жилке моей | пылает пламя!»  
 Вновь услышал Амур | и не налево,  
 А направо чихнул | в знак одобренья.  
 Так, дорогу начав | с благой приметы,  
 Оба любят они, | любимы оба.  
 Акма другу одна | милей на свете,  
 Всех сирийских богатств | и всех британских.

Черное влажное око блещет багровым отливом.  
 Точно такие же очи, лишь похитрей, полукавей,  
 Есть у сабинянки юной, что часто в мой лагерь приходит...  
 Помнишь, как с виргою этой неслись мы равниной Родана  
 Ухо в ухо с ве-етром? Я мускулистой десницей  
 Сжал ее ста-ан, глота-ая рта гранатные соты.  
 Помнишь ли ты это, конь мой, из чистой бронзы отлитый?

И Септимий один | у верной Акмы,  
 В нем блаженство ее | и все желанья.  
 Кто счастливей бывал, | какой влюбленный?  
 Кто Венеру знавал | благоприятней?

Каждый стих имеет такое строение: ' ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡. Цезура позволяет и той и другой части сохранять свою ритмическую самостоятельность и дает относительную свободу в ритмическом построении.

До сих пор речь шла о логаэдических стихотворениях, так или иначе связанных с интерпретацией античных традиций. Но показав свою силу в русской поэзии, логаэды эмансипировались от связи с античностью. Приведем примеры логаэдов, дающих неожиданную и не обусловленную традицией последовательность ударностей — безударностей и стихе. Суть логаэдической организации остается той же: ударение в разных строках занимает одинаковые места, а единого соизмерителя строки, повторяющихся тождественных стоп, нет.

Стихотворение Бориса Пастернака «Конец», книга «Сестра моя — жизнь». Оно построено новеллистически: герой хочет встретиться с любимой и проходит через ряд препятствий, готовых помешать встрече: ненастье, ночная темнота, неожиданное появление нежеланных незнакомцев, готовых помешать; тревога, неистовый лай собак, которые обнаружили чужака...

Строение строфы такое:

' ◡ ◡ ◡ ◡ | ' ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡  
 ' ◡ ◡ ◡ | ' ' '  
 ' ◡ ◡ ◡

Как видно из схемы, часть второй строки, после цезуры, скандируется: три ударных слога подряд.

Наяву ли все? | Время ли разгуливать?  
 Лучше вечно спать, | спать, спать, спать  
 И не видеть снов.

Снова — улица. | Снова — полог тюлевый.  
 Снова, что ни ночь, | — степь, стог, стон  
 И теперь и впредь.

Листьям в августе, | с астмой в каждом атоме,  
 Снится тишь и темь. | Вдруг бег пса  
 Пробуждает сад.

Ждет — улягутся. | Вдруг — гигант из затеми,  
 И другой. Шаги. | «Тут есть болт».  
 Свист и зов: Тубо!

⟨...⟩

О, не вовремя | ночь кадит манёврами  
Паровозов; в дождь | ка́ждый ли́ст<sup>7</sup>  
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне | делают. Бесцельно ведь!  
Рвется с петель дверь, | це́ловáв<sup>8</sup>  
Лед ее локтей...

Ряд экспрессивно разорванных образов, рисующих препятствия на пути, и последовательность преодоления этого постороннего (а весь ход стихотворения рисует путь) находит соответствие в ритмике: экспрессивное построение строфы и последовательное единство строфического пути.

Впрочем, единство ритмики и образной системы создается интуитивно и может иметь иное истолкование.

Представляет собой логаяд стихотворение Марины Цветаевой «Кабы нас с тобой...»:

Кабы нас с тобой — | да судьба свела —  
Ох, веселые пошли бы | по земле дела!  
Не один бы нам | поклонился град,  
Ох, мой рódный, мой природный, | мой безродный брат!

Как последний сгас | на мосту фонарь —  
Я кабацкая царица, | ты кабацкий царь.  
Присягай, народ, | моему царю!  
Присягай его царице — | всех собой дарю!

Кабы нас с тобой — | да судьба свела,  
Поработали бы царские | на нас колокола,  
Поднялся бы звон | по Москве-реке  
О прекрасной самозванке | и ее дружке.

Нагулявшись, наплясавшись | на земном пиру,  
Покачались бы мы, братец, | на ночном ветру...  
И пылила бы дороженька — | бела, бела, —  
Кабы нас с тобой — | да судьба свела!

Вихревое движение — образное и ритмическое — создано здесь набегающими волнами логаядической звуковой стихии. Действуют две ритмические конструкции:

А U U — U U' | U U — U U'  
Б U U — U U U — U | U U — U U'

<sup>7</sup> = кажд-дый лист...

<sup>8</sup> = це-л[а]-вав (фонетика посложного произношения).

(Здесь:  $\cup$  безударный слог, ' ударный слог,  $\text{—}$  ударный удлинённый слог.)  
Строки следуют так: АБАБ в первых трех строфах, БББА — в четвертой.  
Строки 10 и 15 ритмически усложнены.

Стихотворения Пастернака и Цветаевой, о которых шла речь, очень различны, но сходство в том, что ударения строго упорядочены, однако это не ямб, не хорей, не анапест, не дактиль, не амфибрахий. Это — логаэд.

«Я по лесенке приставной» Осипа Мандельштама можно, казалось бы, спокойно читать как рубленую прозу:

Я. По лесенке. Приставной.  
Лез. На включенный сеновал.  
Я. Дышал. Звезд. Млечных. Трухой.  
Колтуном. Пространства. Дышал...

Но возникает уверенность, что это не настоящее воплощение стиха. При таком произношении ритмика уродлива, она не создает особую ритмическую радость.

Ритмика этого стихотворения вот такая:

$\cup\cup\text{—}\cup\cup\cup\cup\text{—}$  ( $\cup$ ).

3-й и 8-й слоги читаются напевно, они долгие; промежуточные слоги — ускоренно; ослабленное ударение падает на 5-й или 6-й слог (но может отсутствовать). И в первом случае (ударение на 5-м слоге:  $\cup\cup\text{—}\cup\cup\cup\cup\text{—}$ ) и во втором (ударение на 6-м слоге:  $\cup\cup\text{—}\cup\cup\cup\cup\text{—}$ ) строка не членится на стопы, на одинаковые сочетания ударных и безударных слогов. Ни хорей, ни анапеста не получается. Получается логаэдический стих, требующий особого произношения.

Вот это стихотворение:

Я по лесенке приставной  
Лез на включенный сеновал, —  
Я дышал звезд млечных трухой,  
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить  
Удлинённых звучаний рой,  
В этой вечной склоке ловить  
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь.  
Добрых чувств на земле пять.  
Набухает, звенит темь  
И растёт, и звенит опять.

Распряженный огромный воз  
Поперек вселенной торчит.



Сеновала древний хаос  
Защекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим,  
Против шерсти мира поем.  
Лиру строим, словно спешим  
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов  
Косари приносят назад, —  
Из горящих вырвусь рядов  
И вернусь в родной звукоряд,

Чтобы розовой крови связь  
И травы сухорукий звон  
Распростились: одна скрепясь,  
А другая — в заумный сон.

Стихотворение философское: противопоставлены мировой хаос и мировая гармония, сказано об их несовместимости и о возможности (желании, жажде) победы гармонии. Хаос нарисован рядом образов, как неупорядоченное множество, не знающее меры. *Всклоченный сеновал*. Млечный Путь; он изображен как *млечная труха*, как *колтун пространства* (колтун — болезнь кожи на голове, когда волосы спутываются в ком). *Вечная склока*. Комариная стая (*Набухает, звенит темь...*). *Сеновала древний хаос*. *Чешуя, шерсть...* *Травы сухорукий звон*. Все это несет подспудно тему пожара.

С другой стороны — *удлиненных звучаний рой*; *эолийский чудесный строй* (на эолийском наречии писала свои стихи Сафо). Хаосу Млечную Пути противопоставлена Большая Медведица; в народной речи ее называют Воз или Большой Воз (см. диалектные словари): *огромный воз поперек вселенной торчит...* *Лиру строим...* *Вернусь в родной звукоряд...*

Так двумя рядами напряженно-трагических образов показано противостояние хаоса и гармонии. Стихотворение требует, чтобы читатель нашел гармонию в ритмике стиха, преодолел желание бормотать его как комковатую прозу. Обрел «удлиненных звучаний рой».

Логаэд — также и стихотворение Осипа Мандельштама «С розовой пеной усталости у мягких губ...». Оно посвящено древнему мифу о похищении Зевсом, принявшим облик быка, принцессы Европы, дочери финикийского царя. Эллинский мир и финикийский мир, или — мир Европы. Всегдашняя мысль Мандельштама о сопряжении культур, о желательности и трагичности таких встреч-столкновений.

Размер включает цезуру:

'○○' ○○' ○(○) |(○)(○)'○○'.

С розовой пеной усталости | у мя́гких гу́б  
 Яростно волны зеленые | ро́ет бы́к.  
 Фыркает, гребли не любит — | же́нолю́б (= же-на-лю́б)  
 Ноша хребту непривычна, | и тру́д велик.

Изредка выскочит дельфина | ко́лесó  
 Да повстречается морской | колю́чий ё́ж.  
 Нежные руки Европы, — | берите всё!  
 Где ты для выи желанней | я́рмо найдёшь?

Горько внимает Европа | могу́чий плёск,  
 Тучное море кругом | закипаёт в клю́ч,  
 Видно, страшит ее вод | масляни́стый блёск  
 И соскользнуть бы хотелось | с шерша́вых кру́ч.

О сколько раз ей милее | уклóчин скрíp,  
 Лоном широкая палуба, | гурт овец  
 И за высокой кормою | мелька́нье ры́б —  
 С нею безвесельный дальше | плывёт гребёц!

Мандельштам писал о поэзии К. Батюшкова: «Ни у кого — этих звуков изгибы, И никогда — этот грохот валов...». Грохот морских валов слышен и у Мандельштама в этом стихотворении. Волна бежит по строке, набирает силу, перехлестывает цезуру, после цезуры — кульминация, сильное ударение и вслед за ним — другое — мощное падение волны.

Так в течение двух веков живет в русской поэзии логаэдический стих. Возник в результате желания обогатить русскую ритмику путем использования античной традиции. Вначале — путем переводов, но многие из них становились значительными явлениями русской поэзии. Затем логаэдический русский стих почувствовал самостоятельную силу и перестал оглядываться на античность. Своей особой жизнью он зажил у Пастернака, Цветаевой, Мандельштама.

В заключение статьи приведу прекрасное стихотворение Любви Якушевой (1947—1984), сапфические строфы «Вслед за Сафо»:

Роза, дерево, солнце и дождь обильный  
 в сердце властно утром вступили. Слушай!  
 Ночь ушла, и час наступил запеть мне  
 голосом легким:

«Роза вянет, древо от ветра гибнет,  
 солнце гаснет, к мертвой земле прижавшись,  
 дождь разрушил воздух», — а я, заплакав,  
 стих написала.

Таков логаэдический строй стиха — живущий творческой, многообразной, насыщенной жизнью. У талантливых поэтов.

## Сочетание несочетаемого\*

Символисты увидели мир через особую «поэтическую фигуру» — символ. У сравнения, как у весов, две чаши: то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается. Если «то, с чем» дано, а «то, что» оставлено на догадку читателю, то это метафора. Наконец: символ — это метафора с безграничным числом истолкований. Понимание того, что сравнивается, отдано на волю читателю, и поэт ее ничем не стесняет.

У символистов «поэтическая фигура» оказалась не украшением, а способом видеть мир, строить его в поэзии. Это она в учебниках — «поэтическая фигура», а в поэзии она — глаз.

Стихотворения первых символистов — например, Сологуба, Бальмонта — опираются на лунный столб истолкований; истолкования семантически близки, они — рядом друг с другом... Напомню стихотворение «Ангел благого молчания» Ф. Сологуба, одно из вершинных творений русских символистов:

Ангел благого молчанья,  
Тихий смиритель страстей,  
Нет ни венца, ни сиянья  
Над головою твоей.

Кротко потуплены очи,  
Стан твой окутала мгла,  
Тонкою влагою ночи  
Веют два легких крыла...

... В тяжкие дни утомленья,  
В ночи бессильных тревог  
Ты отклонил помышленья  
От недоступных дорог.

Если согласиться, что истолкование этого стихотворения может быть выражено в словах (вероятно, это так), то ряд этих истолкований окажется нескончаемым: «Ангел благого молчания» символизирует творческую волю,

---

\* Мир Велимира Хлебникова: Статьи и исследования 1911—1998 / Сост. В. В. Иванов, З. С. Паперный, А. Е. Парнис. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 303—332.

отказ от мира суеты, внутреннюю сосредоточенность веры, преодоление одиночества, поэзию, преданность дружбы, достижение душевного мира, творческую целеустремленность, нравственный поиск...

Младшие символисты — в первую очередь, Блок и Белый — увидели мир, который допускает резкие различия в истолковании. Незнакомка у Блока — и воплощение философских прозрений Владимира Соловьева, и та, кого любил Блок, и его вера в человека, и трагизм человеческого одиночества... Бродяга в «Пепле» Андрея Белого — это именно люмпен, бродяга, но он же — память о Христе.

Сын Человеческий и — статистически определенная подробность России:

Я забыл. Я бежал. Я на воле.  
Бледным ливнем туманится даль.  
Одинокое, бедное поле,  
Сиротливо простертое вдаль.  
... Восхожу в непогоде недоброй  
Я лицом, просиявшим как день.  
Пусть дробят приовражные ребра  
Мою черную, легкую тень!  
Пусть в колночих, бичующих прутьях  
Изодрались одежды мои.  
Почивают на жалких лоскутках  
Поцелуи холодной зари...

Итак, у младших символистов цепи истолкований стали меняться. В них обнаруживаются резкие переходы от одного толкования к другому.

То ли потому, что река стала бурной, то ли облака по небу понесли в вихре — но лунные столбы истолкований стали перекрещиваться и совпадать. И многие разные «то, с чем» (образы, данные текстом) стали опираться на один и тот же ряд истолкований, на один лунный столб.

И рост хулиганства в России, и необыкновенно сияющие и долгие закаты над Васильевским островом, и прорицания мистиков, и рост стачечного движения, и неистовства сектантов, и распутищина, и буйство наводнений и гроз, и пожары в поместьях, и смутные предсказания древних пророков — все это принималось поэтами как знаки, что мир, Россия подведены к какому-то краю.

Какой это край? Истолкование образа у младших символистов, как уже сказано, было контрастно-многозначным, лунный столб дробился и колебался. Так и трагические их прозрения включали разное понимание: тревожные явления мира были знаками приближающегося конца мира, или революции, или второго пришествия Христа, или гибели гуманизма, или возрождения России, или нового нашествия гуннов, или наступления Царства Божия.

Стали знаком одного и того же ряда осмыслений: вспышки хулиганства — и закаты над Петербургом, стачки — и прорицания древности... Они все опираются на один и тот же столб истолкований, смутный и подвижный, как всякий лунный столб... Поэтому и сами эти, такие несоединимые образы оказались сведенными в один ряд, неожиданно и причудливо объединились в поэтических видениях символистов.

В стихотворении Блока:

Сегодня безобразно повисли складки рубашки...  
 Всех ужасней в комнате был красный комод.  
 <.....>  
 ... в разверстой лазури  
 Тонкая рука распластала тонкий крест... —

и чудо креста, и красный комод — свидетельства невозможности прежней жизни, свидетельства края.

Такое же сведение реально-ужасного и вселенски-чудесного — у Андрея Белого (например, в поэме «Христос воскрес»). В один ряд становятся несоместимо-различные предметы — как знаки одних и тех же многосмысловых сущностей.

Итак, два изменения в строении символа: становится более неоднородным, внутренне конфликтным ряд истолкований; самые разные образы опираются на одни и те же осмысления, и это позволяет их свести вместе, поставить рядом. Неоднородность ряда истолкований переносится в ряд текстуально сочетающихся образов.

Как видно, социальная реальность оценивалась поэтами этого круга (часто — глубоко и пронизательно, например, в творчестве Блока и А. Белого) по законам поэтики символизма.

В результате изменений поэтическая система символизма была подведена непосредственно к тому рубежу, за которым начинается поэтический мир футуризма.

Не только в образной системе символизм продолжается футуризмом; феника А. Белого в его книге «Пепел» — уже футуристична. Об этом убедительно писали В. В. Тренин и Н. И. Харджиев. И не менее убедительно сказал В. В. Маяковский: «Прочел все новейшее, Андрея Белого. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо». Да, чуждо: поэтическая система была подведена к рубежу: его надо было переступить.

Глаз символизма — символ, метафора с безграничным числом истолкований. А глаз футуризма? Ключевым стихотворением для нас будет «Ничего не понимают» Маяковского:

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:  
 «Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,  
 лицо вытянулось, как у груши.  
 «Сумасшедший!»  
 «Рыжий!» —  
 Запрыгали слова.  
 Ругань металась от писка до писка,  
 И до-о-о-о-лго  
 хихикала чья-то голова,  
 выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

Это было открытием. Простые слова, необходимые, — и такой отклик! Оказывается, выходят из себя. Неистовствуют. Оказывается, здесь есть сила. Надо ее приручить.

Назовем такую конструкцию «сдвиг». Сдвиг — соединение несоединяемого. Например, слов: «причешите мне уши». Сдвиг возможен в словесном строе произведения, в его ритмике, в рифме, в образной системе.

В учебных перечнях такой поэтической фигуры нет. Ее можно было бы поместить где-нибудь недалеко от оксюморона. Оксюморон сочетает противоположности: «Люблю я пышное природы увяданье» (А. С. Пушкин); «Смотри, ей весело грустить, / Такой нарядно обнаженной» (А. А. Ахматова). Но в оксюмороне контекст, ситуация примиряют несовместимые смыслы. Их враждебность друг другу мучит одно мгновение, и сразу же приходит успокоение: да нет же на самом деле никакого столкновения!

Сдвиг — непримиримый, бунтующий оксюморон. Он не сулит успокоения.

Сдвиг существует как сдвиг, если он не мотивирован. Пусть ситуация, раскрытая в стихотворении Маяковского «Ничего не понимают», найдет такое объяснение: «Сказал, причешите мне уши, потому что был выпивши», или: «оговорился», или: «пошутил». Напряженность сдвига исчезает, исчезает сам сдвиг.

Настоящий сдвиг оправдан только «изнутри», строением произведения. Это оно своей поэтикой требует сдвига. «Извне» оправдания нет.

Каждый поэт берет любые средства, если они нужны для поэтического произведения: но среди их множества есть доминанта; она определяет стилистику произведения, то есть взгляд на мир. Хлебников, Маяковский, Каменский, Крученых, Асеев, Пастернак, Петровский смотрели на мир через сдвиг. Это был их глаз.

Эмоциональная сила сдвига вне сомнения; напомним: «И до-о-о-о-ол-го хихикала чья-то голова...» Но можно ли с помощью сдвига полноценно отразить реальный мир? Сомнения могут быть хотя бы частично рассеяны таким сравнением. Если подходить к делу абстрактно, не обращаясь к реальности искусства, то возникнет, того гляди, недоумение: как же может скрипичный

концерт, как могут звуки скрипки адекватно передать многообразие жизни? Практика искусства устраняет это сомнение. Очевидно, искусство, поэзия в том числе, специфически, по-своему выражает мир; если символ смог стать у поэтов знаком великих социальных волнений, то, вероятно, и сдвиг способен выразить богатство жизни. Настоящая статья — попытка показать это.

Сдвиг внутренне напряжен. С одной стороны, — он сочетание, целостность. С другой, — в его составе такие части, которые рвутся из этого единства, стремятся врозь. Противоречивая природа сдвига у разных поэтов реализуется по-разному. Кратко сравним Хлебникова с Маяковским, самым близким его соседом в мире поэзии.

У Хлебникова сдвиг пластичен: части переливаются одна в другую (сохраняя свое взаимоотталкивание), упор сделан на то, что очень разное необходимо для данного единства; сильны силы разъединения, но центростремительные силы господствуют над ними.

У Маяковского сдвиг представлен поэтической системой, где резки и определены разрывы, сломы, отстояния. Единство в пределах сдвига сохраняется, но не благодаря всеохватывающей гибкой пластичности, а именно вследствие отстояния: если заявлен разрыв, то ясно, что он между тем и этим — между сущностями, которые и создали разрыв. Разрыв сам и есть гарант единства.

Приведем сравнение. Слово — вот естественный пример сочетания несочетаемого. Его основа обращена к реальности, к миру: она называет все, что есть в реальности и в сознании человека. Основа — средоточие лексического значения слова. Она смотрит вовне в то, что не язык, но языком отражено. Окончание слова обращено к самой речи: оно показывает связь слов, оно нужно для строительства предложения. И эти столь разные соседи могут быть сопряжены по-разному.

В агглютинативных языках одно от другого отделено резко и категорично. Полная определенность границы, четкая раздельность всех частей слова.

В фузионных языках дана та же глубокая спецификация основы окончания, но граница между ними пластически смягчена, она размыта; одна часть слова перетекает в другую — при том же принципиальном их различии.

Поэтика Маяковского агглютинативна, поэтика Хлебникова — фузионна. Это ведет к ряду содержательных различий, которые у нас будут постепенно выясняться по ходу статьи.

\* \* \*

Вот такая ритмика у В. Хлебникова (отрывок из поэмы «Ви́ла и Леший»):

«Ах, юность, юность! ты что дым!  
Беда быть тучным и седым!»  
Уж леший капли пота льет  
С счастливой круглой головы.  
Она рассеянно плетет  
Венки синеющей травы.  
«Тысячелетние громады  
Морщиной частою измучены.  
Ты вынул меня из прохлады,  
И крылышки сетью закручены.  
Леший, добрый, слышишь, что там?  
Натиск чей к чужим высотам?  
Там, на речке, за болотом?» —  
Кругом теснилась мелюзга,  
Горя мерцанием двух крыл,  
И ветер вечером закрыл  
Долину, зори и луга.  
«Хоть сколько-нибудь нравится  
Тебе моя коса?» —  
«Конечно, ты красавица,  
То помнят небеса.  
Ты приютила голубков,  
Косою черная с боков!»  
А над головой ее летал,  
Кружился, реял, трепетал  
Поток синеющих стрекоз.

Начало — четырехстопный ямб с мужской рифмой. Затем появляется женское окончание (...громады... измучены...), и это — сигнал читателю: приготовиться к смене метра: следующие строки («Ты вынул меня из прохлады...») — амфибрахий в три стопы. Резкость перехода смягчена рифмой: ямбы и амфибрахии перекликаются созвучиями. Но амфибрахий удерживается только в двух строках; начинается хорей. Это — жесткий перелом, но он не разрушителен; ритмическое течение не прервано. И это потому, что сохраняется тактовое единство. Все строки здесь — в 3—4 такта, в них три или четыре ударения, а это — тоже принцип организации стиха. Тактовый метр основан на постоянном количестве тактов (кусков текста, несущих ударение) в нескольких соседних строках. При этом различие в один такт между соседними строками не нарушает метрику тактовика, так же как пиррихий не сбивает течение ямба. Итак, стих течет от одного стопного размера к другому, но тактовая стабильность сохраняется.

Три хореических стиха сменяются другими: четырехстопным ямбом, женская рифма сменяется мужской. Но тактовое единство — все строки в 3—4 такта — позволяет и этот перебой сделать плавно-пластичным. Далее:



«Хоть сколько-нибудь нравится  
Тебе моя коса?» —  
«Конечно, ты красавица,  
То помнят небеса».

Это по-прежнему ямб, хотя уже трехстопный и с дактилической рифмой, но все же ямб. Однако вступила в свои права двухтактная организация каждого стиха — это внесло неожиданное новшество в ритмику. Ямбическая константа этот скачок сделала нерезким. Отрывок завершается четырехстопным ямбом, который уже участвовал в ритмической игре и воспринимается как желанный гость.

Итак, постоянная изменчивость; неизменная подвижность... притом переходы от одной метрики к другой пластически смягчены, разрыв в одном принципе строения стиха сопровождается целостностью в другом.

Каждый, даже самый начинающий стихотворец знает: поставить в стихотворении ямбическую строчку рядом со строкой-амфибрахийем, хорей рядом с ямбом — самая разнузданная безграмотность. Несовместимы эти строки! У Хлебникова — совместимы.

Стих Маяковского не менее подвижен, чем стих Хлебникова. Но разница велика. Внутрискрипная пауза, разлом строки у Хлебникова не играет ритмообразующей роли. Строка строится как единый изгиб, как целостное скольжение. У Маяковского, напротив, стих создан резкими паузами и внутри строки, и между строками:

Дыры  
        сверля  
                в доме,  
взрыв  
        Мясницкую  
                пашней,  
рвя  
        кабель,  
                номер  
пулей  
        летел  
                барышне.

Ритмика подтверждает, что поэтика Маяковского агглютинативна, это поэтика сильных границ, а поэтика Хлебникова фузионна; границы текучи и неявны.

Эта система развивалась. Смена метра становилась все более частой, так что каждая (или почти каждая) строка несла с собой коренную новизну, была построена на свою статью. Постоянным оказался сам закон смены; этим посто-

яньством и формируется стих. Вместе с тем неожиданность проникает и внутрь каждой единицы: в ямбической или дактилической строке может явиться слоговой сбив, в сочетании строк, построенном на постоянном числе тактов, — неожиданная строка, резко выбивающаяся из этого единства.

Возьмем отрывок из «Ночного обыска»:

— А это что? Господская игра,  
Для белой барышни потеха?  
Сидит по вечерам  
И думает о муже,  
Брянчит рукою тихо.  
И черная дощечка  
За белою звучит  
И следует, как ночь  
За днем, упорно.  
Кто играет из братвы?  
— А это можем...  
Как бахнем ложем...  
Аль прикладом...  
Глянь, братва,  
Топаи сюда.  
И рокот будет, и гром, и пение...  
И жалоба,  
Как будто тихо  
Скулит под забором щенки.  
Щенок, забытый всеми.  
И пушек грохот грозный вдруг подымет,  
И чей-то хохот, чей-то смех подводный и русалочий.  
Столпились. Струнный говор,  
Струнный хохот, тихий смех.  
— Прикладом бах!  
Бах прикладом! — Смейся, море!  
Море, смейся! Большой кулак бури,  
Сегодня ходи по ладам...  
В окопы неприятеля снарядам... раз!  
...Ишь, зазвенели струны!  
Умирать полетели.  
Долго будет звенеть  
Струнная медь.  
— Вдарь еще разок,  
Годок!  
Гудит, как пчелы,  
Когда пчеляк отымет мед.  
Бах! Бах!

Каждая строка говорит другой: «Я иная!» Если бы восприятие ритма можно было рассматривать как рассудочную деятельность, то следовало бы сказать, что каждый стих заставляет читателя менять свою оценку: это пяти-стопный ямб. Нет, четырехстопный. Вернее — трехстопный... Очевидно, число стоп не важно. И не ямб это, а хорей; и стоп снова четыре. Но хорей легко превращается в двустопный ямб... Видно, не в том дело, ямб это или хорей. Здесь тактовый строй: в каждой строке два такта (плюс-минус один, как это обычно в тактовике)... Вероятно, это доминанта. Вовсе не доминанта: «И рокот будет, и гром, и пение...» Четырехтактовый стих, наперекор предыдущим; модифицированный ямб. Все-таки ямбических строк много; нельзя ли считать, что ямб — основа стихотворения, неямбические строки — частные отступления от доминанты? Нет, они идут «враздроб», не создавая ритмической инерции, не подчиняя себе другие стихи... Ямб, хорей, стихи с трехсложной стопой; притом количество тактов колеблется от одного до шести.

Неподвижной мерки нет. Строки сочетаются по принципу несовпадения. Каждая ритмическая организация строится на постоянстве каких-то данных. У Хлебникова константой является сменность стиха; постоянно его ритмическое обновление. Строки сочетаются потому, что они разноритмичны.

Это путь к свободному стиху, верлибру? Да, но у Хлебникова верлибр особый. Он легко включает рифмованные стихи (обычный верлибр сторонится рифмы: она его может превратить в раёшник), куски строгого классического стиха, частушку — и все это не в виде механических вставок, а в естественном движении стиха: от одного к другому, максимально иному.

Такое построение стиха уже затаило в себе принцип диалогичности и драматичности. Строки готовы стать репликами разных лиц. Драматичны поэмы Хлебникова; и даже многие его лирические стихи предполагают разные голоса, перебрасывание реплик от одного лица к другому (или изменение самого лирического героя).

Изменение ритмического плана речи на ходу, в процессе самой речи — вот на чем строится ритмика поэта. Этот принцип подхвачен синтаксисом: Хлебников любит анаколуф. Задумано было одно построение предложения, но в момент его осуществления план изменился:

Люди, когда они любят,  
 Делающие длинные взгляды  
 И выпускающие длинные вздохи.

Красотинеющие зори  
 Застали встанственного утра.

Победы, коварны оне,  
 Над прежним любимцем шала.

В тебе, любимый город,  
 Старушки что-то есть.  
 Уселась на свой короб  
 И думает поесть.

Синтаксис показывает, что поэт свернул с дороги, на которую он было вступил; так построение предложения помогает ритмике стиха создать образ движения.

Непрерывность изменений. Льющиеся изменения. Одно поддерживает другое. Одно с другим говорит. И об одном: что все они — поток. Каждый метрический сдвиг, каждый синтаксический сбой мотивирован общим принципом построения текста...

\* \* \*

Рифма, казалось бы, по самой своей сути — это совпадение. Слова в рифме — близнецы... Однако не все совпадающие звуки равноправны. Ассононс (разновидность рифмы) допускает варьирование согласных и безударных гласных; но ударные гласные должны быть тождественны. (Не акустически, а фонологически; поэтому, например, допустима переключка *и* — *ы*: *дым* — *летим*). То есть в точной, традиционной рифме «особенно совпадают» ударные гласные.

Наперекор этой общепризнанной сути рифмы идет хлебниковский консонанс:

Это было, когда золотые  
 Три звезды зажигались на лодках  
 И когда одинокая туя  
 Над могилой раскинула ветку.

... Это было, когда рыбаки  
 Запевали слова Одиссея  
 И на вале морском вдалеке  
 Крыло подымалось косое.

Консонанс: все звуки совпадают (рифма!), кроме тех, которые непременно должны совпадать (не рифма!). В одном слове столкнулись рифма с нерифмой. Это можно понять и так: один звукоряд превращается в другой, обнаруживается движение между стихами.

У разных поэтов, любивших консонанс, он имеет различные функции. Такое кружевное подобнозвучие может придать стиху лоск и элегантность — это, возможно, привлекало в консонансе Шершеневича. Северянин ценил в консонансе, вероятно, то же, что в своих неологизмах. Они придавали его

стихам вид загадочной игрушки — с легкой отгадкой. У Маяковского консонанс нередко накладывается на обычную рифму; это гиперболически увеличивает звуковую мощь стиха, а с другой стороны, дает сочетание традиции и отказа от традиции: мотив, всегда сильный в поэтике Маяковского:

Акционеры  
                                 сидят увлечены,  
 делят миллиарды,  
   жадны и озабочены.  
 Прибыль  
                                 треста —  
   изготовление ветчины  
 из лучшей  
                                 дохлой  
   чикагской собачины.

Или:

Как раньше,  
                                 свой  
   раскачивай горб  
 впереди  
                                 поэтовых арб —  
 неси,  
                                 один,  
   и радость,  
   и скорбь,  
 и прочий  
                                 людской скарб.

Антокольский в своих юношеских стихах любил «гласные провалы» как знак недостижения полноты жизни, как знак трагического неисполнения и невоплощения.

Что нужно в консонансе Хлебникову? Непрестанное движение, когда тождество и нетождество даны одновременно, движение, при котором, как известно, предмет и находится в данной точке, и не находится в ней. Соединено в общее целое то, что оторопелому обывательскому взгляду кажется несоединимым.

Консонанс — это переход на другую ступеньку. Это движение. Поэтому, вероятно, у Хлебникова и тематически стихи с консонансами полны динамики и — покоя:

В этот день голубых медведей,  
 Пробежавших по тихим ресницам,  
 Я провижу за синей водой  
 В чаше глаз приказанье проснуться.

В поэтике Хлебникова многое построено на обмане ожидания. Обманывает консонанс. И все течение хлебниковского стиха.

Прочитав первую строку стихотворения, написанную, предположим, дактилем, читатель вправе ожидать, что и следующий стих тоже будет дактилическим. Этому его научила поэтическая традиция. Такое ожидание у Хлебникова часто бывает обманутым. Метрическое сходство строк — случай в его поэзии, а не закон. В самой сути его поэтической системы заложено метрическое неподобие строк.

Однако каждая строка у Хлебникова, не равняясь на соседнюю строку, метрически от нее отодвигаясь, тем не менее имеет с ней нечто общее: они обе принадлежат поэтической речи, обе организованы внутренним стиховым движением. Следовательно, неподобие строк выдвигает на первый план их более обобщенный признак — принадлежность к определенной области словесной культуры — к поэзии.

Отзвуки этой особенности мы найдем в других ярусах поэтической системы Хлебникова — словесной и образной.

\* \* \*

Сравнение строится на сходстве двух объектов:

Закованный в бронзу с боков,  
Он плыл в темноте колеи,  
Мигая в лесах тростников  
Копейками чешуи.

Э. Багрицкий

Сравнение *копейка — чешуя* (чешуина, «одна штука чешуи») построено на переключке многих признаков: плоская круглизна, малость, металлический блеск и мерцание...

Когда А. Крученых о небе говорит *сапог синевы*, то два объекта связываются воедино потому, что в них нет общих признаков. Сдвиг — анти-сравнение. (Контраст — не сдвиг. Контрастны *длинный* и *короткий*, *горячее* и *холодное* и т. д. При контрасте взята одна и та же шкала и сопоставляются ее крайние показатели. Сдвиг объединяет то, что нельзя свести в одну шкалу.)

Зачем сдвиг? Какое в нем художественное зерно? Сравнение обычно обобщает признаки предметов, сближает их. Копейка блестит не совсем по-чешуиному, но сравнение заставляет радоваться именно сходству, различие — не центр, а окраина сравнения. Поэтому в сравнении свое, особое у каждого предмета сглажено. Сравнение — тональная живопись.

Антисравнение, сдвиг, дает живопись с локальным цветом. Если небо — сапог синевы, то его синева особенно ярка и чиста; это очень круглое небо.

Каждый признак взят в его абсолютности и гиперболизирован. Сдвигом он отделен от предметов, которые могут смутить его «самовитость».

Это основное дело сдвига: дать объекты в их специфической резкости. Но у каждого поэта такая основная функция сдвига проявляется своеобразно.

У А. Крученых мир предстает как трагически-безысходный хаос; он рождает и циническое отчаяние, и шутовскую удаль:

Зулусы пускают сухожилья стекол  
шелковые колымаги  
царствуют окорока земель  
спят величавые сторожа  
с окосевших небес  
выпало колесо  
всех растрясло  
собаки в санях сутулятся  
и тысяча беспроволочных чертей.

А. Крученых прекрасно показал, какой тяжестью ложится на плечи человека мир бесконечного разброда<sup>1</sup>.

У Маяковского сдвиг служит изображению социальной разъятости мира, он говорит о необходимости преодолеть эту разъятость — и въявь показывает напряженность борьбы за преодоление.

У Хлебникова сдвиг служит изображению целостности и текучести мира. Невероятная разномасштабность и качественная несовместимость отдельных частей мира охватывается и объединяется целостным движением. Движение не может быть изображено перебором тождественных или похожих объектов. Переход от того же к тому же не есть еще движение. Обнять мир можно только объединением принципиального разного, переходом от этого к совсем иному. Так работает сдвиг у Хлебникова.

Все это говорится о сдвиге как о доминанте всего творчества того или другого поэта. Но особенно определено эти индивидуальные черты сдвига проявляются в словесном ярусе, воплощены в сдвиге — поэтической фигуре. Именно о ней у нас сейчас пойдет речь. Зачерпнем несколько сдвигов у Хлебникова:

Полк узеньких улиц,  
Я исхлестан камнями!

<sup>1</sup> Прекрасно характеризовал творчество А. Крученых Николай Асеев: «И вьелось в Крученыха / злобное лихо / непомнящих роду / пьянчуг, / замарах... / Прочтите / лубочную „Дуньку-рубиху“ / и „Случай с контрагентом / в номерах“. / Вы скажете — / это не литература! / Без суперобложек / и суперидей. / Вглядитесь — / там прошлая века натура / ползучих, / приплюснутых, плоских людей. / Там страшная / простонародная сказка...» (поэма «Маяковский начинается»).

Бульжные плети  
 Исхлестали глаза!  
 Пощады небо не даст!  
 Пулей пытливых взглядов  
 Тысячи раз я пророгожен.  
 Высекли плечи  
 Бульжные плети!  
 Лишь башня их синих камней на мосту  
 Смотрела Богоматерью.  
 Серые стены стегали.  
 Вечерний рынок...

... Мы писатели ножом.  
 Тай-тай, тара-рай!  
 Мы писатели ножом.  
 Священники хохота.  
 Тай-тай, тара-рай,  
 Священники хохота.  
 Святые зеленой корки,  
 Тай-тай, тара-рай,  
 Святые зеленой корки.

У Хлебникова как в звуковом ярусе, так и здесь, сдвиг смягчен, между частями сдвига перекинут мост, один или два признака. Получается сдвиг-сравнение:

Срубленный тополь, тополь из выстрелов,  
 Грохнулся наземь свинцовой листвою  
 На толпы, на площади!  
 Срубленный тополь, падая, грохнулся  
 Вдруг на толпу, падал плашмя,  
 Ветками смерти закрыв лица у многих.  
 Лязга железного крики полночные  
 И карканье звезд над мертвецою крыш.

У тополя изнанка листьев — свинцового цвета. Имеет значение, видимо, и то, что и листья, и пули картечи «распределены» в воздухе, занимают значительный объем<sup>2</sup>.

Еще пример такого сравнения:

---

<sup>2</sup> Может быть, подспудно принимается во внимание, что и дерево, и шрапнель *падают*. Но все-таки не совсем в одном смысле: падает (о шрапнели) — достигает сверху; падает (о дереве) — всё сильнее наклоняется, не устояв против произвола бури или топора. Таким образом, этот признак у обоих предметов тождественен по слову *падает*, но не по своей сути. См. о таких случаях дальше.



На почерке звука жили пустынные.  
... Жилою была горная запись.

Очертания горного хребта и кимограмма звука похожи (Хлебников был знаком с работами Щербы), и только на этом сходстве построено несколько сравнений поэта, вот еще:

И снежной вязью вьются горы,  
Столетних звуков твердые извивы.

Другие сравнения того же типа:

Пора  
Царей прочь оторвать,  
Как пуговицу от штанов, что стара  
И не нужна, и их не держит.  
Город... оглоблю бога  
Сейчас сломал о поворот...  
В тяжелых сапогах  
Рабочие завода песни,  
Тех зданий, где ремень проходит мысли,  
Несите грузы слов,  
Тяжелые посылки,  
Где брачные венцы,  
А может, мертвецы,  
Укрытые в опилки...

Такие сравнения только прикидываются сравнениями, а на самом деле они — сдвиг. Одного признака (или даже двух, потаенных и неочевидных) мало для того, чтобы два предмета признать ровней, когда все остальные признаки воинственно не совпадают. Возникает не чувство равенства, а чувство сдвига — художественно ценное, поскольку оно оправдано всем строем произведения.

В произведениях Хлебникова разные ярусы — звуковой, словесный, образный — построены на общих принципах; видимо, это характерно вообще для всякого полноценного художественного произведения. Обнаруживают сходство построения сдвиговое сравнение и консонанс (*медведей — водой*).

Обозначим: \* — звук *д*, твердый или мягкий, безразлично; • — звук *й*. Гласные: Δ — *о*, — *е*. Тогда перекликающиеся слоги в словах *медведей — водой* можно изобразить так: \* • (дей) — \*Δ• (дой).

Теперь обозначим так: \* — признак «свинцово-серое», • — признак «множество». И при этом: Δ — «дерево с его листьями», — «снаряд с его пулями». Тогда ряды: \*Δ• — \* • передадут сравнение: *тополь-шрапнель*.

Общность обозначения (конечно, схематически упрощенная) говорит о скрытой общности этих внешне несходных явлений: консонанса и сравнения-сдвига.

У Хлебникова есть явное стремление и те одиночные признаки, которые совпадают, сделать мнимыми, то есть сравнение-сдвиг превратить в полный сдвиг — хотя внешность сравнения остается. Такое намерение легко увидеть и у других футуристов, например, у Маяковского: он пишет: *хобот тоски*. *Тоска* сопоставляется с *хоботом*. И тому, и этому подходят эпитеты: и то, и другое — *серое, длинное (или долгое), тяжелое, способное удушить*. Все эти признаки реальны для *хобота* и метафоричны для *тоски*. То есть сравнение остается чистым сдвигом: реально-общего у этих двух объектов нет.

Дороги такие сравнения и Хлебникову:

Железною дорогою Москва — Владивосток  
Гордился на пруту молоденький листок.

Железнодорожную линию, отходящую от основной магистрали, называют *веткой*. Следовательно, *станция* и *лист* имеют общий признак: они на *ветке*. Конечно, это не реальная, а только омонимическая близость.

Пришел и сел. Рукой задвинул  
Лица пылающую книгу.  
И месяц плачущему сыну  
Дает вечерних звезд ковригу.

И *лицо* и *книгу* читают («Я прочел отчаяние у него на лице...»). Поэтому *лицо* — *книга*.

Хлебников почему-то любит называть фонарь или лампу хлевом:

А паровозы в лоск разбили  
Своих зрачков набатных хлевы,  
Своих полночных зарев зенки...

И еще:

... Ручная молния вонзила  
В покои свой прозрачный хлев...  
Свершилась прадедов мечта:  
Судьба людская покорила  
Породу новую скота.

Последний отрывок почти проясняет дело, полный свет на него бросает стихотворение:

Как стадо овец мирно дремлет,  
Так мирно дремлют в коробке  
Боги белые огня — спички, божественным горды огнем.  
Капля сухая желтой головки на ветке,  
Это же праотцев ужас —  
Дикий пламени бог, скорбный очами,

В буре красных волос.  
 Молния пала на хату отцов с соломенной крышей,  
 Дуб раскололся, дымится,  
 Жены и дети, и старцы, невесты черноволосые,  
 Их развевались волосы,  
 Все убегают в леса, крича, оборачиваясь,  
         рукой подымая до неба...  
 Дико пещера пылает...  
 Соседи бросились грабить село из пещер.  
 Копья и нож, крики войны!  
 Клич «с нами бог!»  
 И каждый ворует у бога  
 Дубину и длинные красные волосы.  
 «Бог не с нами!» — плачут в лесу  
 Деревни пылавшей жильцы.  
 <.....>  
 А сыны «Мы с нами!»  
 Запели, воинственные,  
 И сделали спички,  
 Как будто и глупые —  
 И будто божественные,  
 Молнию так покорив,  
 Заперев в узком пространстве...  
 Сделали спички —  
 Стадо ручное богов,  
 Огня божество победив.  
 <.....>  
 Небо грозное, полное туч, —  
 Первая коробка для спичек,  
 Грозных для мира.  
 Овцы огня в руне золотом  
 Мирно лежат в коробке.  
 А раньше пещерным львом  
 Рвали и грызли людей,  
 Гривой трясли золотой.

Коровы и овцы, прирученные звери, в знак своей покорности пребывают в хлеву. Небесный огонь, грозный зверь, тоже покорился: он смиренно покоится в своем хлеву — в коробке спичек. Электричество, смилившееся перед человеком, заключено в лампу, это — хлев для электричества. Так становятся ясными и убедительными «набатные хлевы паровозов».

Хлебников считал, что он открыл законы судьбы: математическую формулу, позволяющую предсказывать события. (Для поэтического мира Хлебникова эта формула — несомненная реальность.) Формула, считал поэт, де-

лает человека властелином судьбы. Поэтому стихотворение, оборванное нами на полуслове, кончается так:

А я же, алчный к победам,  
 Буду делать сурово  
 Спички судьбы.  
 Безопасные спички судьбы!  
 Буду судьбу зажигать,  
 Разум в судьбу обмакнув.  
 .....  
 Буду судьбу зажигать,  
 Сколько мне надо  
 Для жизни и смерти.  
 Первая коробка  
 Спичек судьбы —  
 Вот она! Вот она!

Какое прекрасное торжество сдвига! Спички судьбы, овцы огня, стадо ручное богов, дубина у бога, небо — коробок для спичек...

Ясно стало и то, что «прозрачный хлев» — это омонимическое сравнение — сдвиг. Скот содержится в хлеву; электричество содержится в электрической сети... в ином смысле содержится...

Резкость сдвига в словесном ярусе смягчена уже тем, что он часто дается Хлебниковым в виде сравнения. И сравнения Хлебников любит без швов, без слов *как*, без обозначения границ. Оно вплавлено в текст.

Текущее сравнения видна еще в одном его признаке: Хлебников часто представляет его в качестве метаморфозы; не А как Б, а по-другому: А превращается в Б. Примеры общеизвестны. Вообще Хлебников часто разрушает статичность сравнения, вводя в него действие:

Вдруг смерклось темное ущелье. Река темнела рядом,  
 По тысяче камней катила голубое кружево.  
 И стало вдруг темно, и сетью редких капель,  
 Чехлом холодных капель  
 Покрылись сразу мы. То грозное ущелье  
 Вдруг встало каменной книгой читателя другого,  
 Открытое для глаз другого мира.  
 Аул рассыпан был, казались сакли  
 Буквами нам непонятной речи.  
 Там камень красный подымался в небо  
 На полверсты прямою высотой, кем-то читаемой донныне книгой,  
 Но я чтеца на небе не заметил,  
 Хотя, казалось, был он где-то около.  
 Быть может, он чалмой дождя завернут был.  
 Служебным долгом внизу река шумела,

И оттеняли высоту дерева-одиночки.  
 А каменные ведомости последней тьмы тем лет  
 Красны, не скомканы стояли...

Все пронизано движением.

Сравнение часто лежит в основе неологизмов Хлебникова. Когда он говорит: «Верхарня серых гор», то воедино сведены значения: *верх*, *Верхарн* и указание на место, ср. *пекарня*, *слесарня*. Горный пик и Верхарн сопоставляются, потому что они оба — вершины. Неологизм возрос на омонимическом сравнении-сдвиге, о котором у нас только что была речь.

И каждого мнепр и мнестр,  
 Как в море русское, струился в навину.

Местоименный корень, вводящий понятие личности («я»), соединен с отрезками из названия рек Днепр и Днестр. Личность рассматривается как могучая река (характерная для Хлебникова точка зрения).

Футуристы любили неологизмы. Они встречаются и у символистов: *лазурность*, *бестревожность*, *просверканье*, *перезвонный*, *грузнотяжкий*, *отпечалиться*... Таких слов нет в лексиконах, но они не кажутся новыми: они созданы по продуктивным, привычным, ходовым образцам. Функционально они не являются новыми словами.

Футуристам понадобились слова, отвечающие их поэтике. Такие, в которых соединялось бы несоединяемое. То есть понадобились слова, составленные из частей, не склонных к соединению. Неологизмы, в которых есть бунт против привычных моделей слова, но такой бунт, который отвечает затаенным желанием самого слова, не насилие над ним, а наращение его возможностей. Хлебников пишет:

Кому сказатеньки,  
 Как важно жила барынька...

Ребенку говорят: *Пора спатеньки*... Но, пожалуй, только в этом глаголе и употребляют (все-таки скорее как индивидуальную речевую привычку) ласкательный суффикс: глаголы туги на ласку. Хлебников расширил права этого суффикса, получился явный, не скрытый неологизм.

Есть слова: *чернильница*, *вафельница*, *пепельница*, *песочница*, *перечница*, *сокровищница*, *кадильница*, *звонница*, *мельница*. Они своей внутренней формой отвечают на вопрос: для чего? И ответ — либо именной, либо глагольной: *чернильница* — для чего? для чернил; *мельница* — для чего? чтобы молоть. Ответы прямые и простодушные. Хлебников пишет:

И, взяв за руку, повел в гордешницу.  
 Здесь висели ясные лики предков.

Портретная названа *горделиницей*. Место, чтобы гордиться фамильной славой. Здесь внутренняя форма (то есть отношение смысла данного слова к тому, который выражен исходным, производящим словом *гордый*) вовсе не простодушна. Она насмешлива. В этом — отклонение от модели. Среди слов на *-ница*, со значением вместилища, нет лукавых слов. Нет шутовых. Нешутовый суффикс Хлебников ввел в шутовый контекст. Слово говорит больше, чем можно было бы ожидать от слова с таким суффиксом.

Иногда отклонение от образца показано в самом тексте:

Мы друг в друга любуны.  
 Полюбовники?  
 Погубовники!

Всем известное (просторечное) слово *полюбовники* имеет глагольную исходную основу: *полюбить*. Новообразование *погубовники* отворачивается от глагола, это слово опирается на именную основу: *губы*. В модель: *по...* + корень + *овники* входит чужак: корень иного типа. Ничего, живет: как раз и нужен был, по всему стилю поэта, нарушитель спокойствия.

И это — любимый ход в поэзии Хлебникова: строится ряд, в котором нарастает отклонение от исходной данности. Слова, близкие по своему строению, постепенно оттекают от первоначальной модели:

Я — ответ, мученик будизн...  
 Я — отцвет цветизны...  
 Я — отволос прядущей смерти.  
 Я — отголос кружащей верти.  
 Я — отколос грядущей зыби.

*Отволос* — прядь, которую отделили Парки, чтобы отстричь (видоизменение древнего мифа). *Отколос* — один колос на волнующейся людской ниве, отъединенный от других. *Отголос* — эхо голоса смерти.

Начало — в слове *ответ*, которое сохраняет связь с глаголами *отсвечивать*, *светить*... Слово общеупотребительное. От него идет отсчет. Далее — цепь неологизмов: *отцвет* еще держится неподалеку от исходного *ответ*, связано с глаголом *отцветать*. Но уже *отволос* неглагольное слово; вернее — глагольное по приставке, неглагольное по корню. В приставке появляется значение: «нечто отдельное», которое в начальных словах *ответ*, *отцвет* отсутствовало. Далее идут слова: *отголос* и *отколос*, явно именные, они не связаны смыслом с глаголами *отголосить*, *отколоситься*. И если *отголос* — это эхо, отголосок, звук, отделенный от источника (для истолкования подходит причастие, глагольная форма), то *отколос* — отдельный колос, в объяснении нет причастия, глагольность устранена. Так в этом ряду угасает

глагольность и идет движение в сторону от исходного образца. Последние слова не только наклонены к нему, они поставлены перпендикулярно.

Мы говорили, что творчество Хлебникова, все в целом, можно сравнить с фузионным языком. Теперь, рассматривая неологизмы, мы подошли к области, где легко проверить правомерность нашего сравнения. Ведь если все творчество Хлебникова фузионно, то несомненно фузионны должны быть и слова, им создаваемые. Так оно и есть.

Неологизмы у Хлебникова построены таким образом, что основа и производящая основа и суффикс слиты, спаяны, граница между ними скрыта. Но сильное смысловое отталкивание морфем остается.

Например, Хлебников очень любит унификсы. Унификсы — такие части слова, которые в языке встречаются «одноразово», в одной лексеме (или в немногих, не объединенных смыслом). Поэтому их отдельность, естественно, остается вне поля зрения говорящих. Отдельность морфемы для носителей языка существует только в продуктивных моделях, все время, ежедневно рождающих новые слова. У Хлебникова унификсы, по значению резко вклиниваясь в основу, в то же время остаются и неотделимы от нее, их трудно признать отдельностью:

Читая резьмолешего...  
Резьмодей же побег за берестой  
Содеять новое тисьмо<sup>3</sup>.

Ср.: *письмо*.

... умнядь вспорхнула в глазовом озере.  
... О чистая лучшадь, ты здесь,  
Ты здесь, в этом вихре проклятий?

Ср.: *чернядь*.

Владавец множества рабов...

Ср.: *красавец*.

Речь моя — плясавица  
По чужим устам...

Ср.: *красавица*.

Белейшина — облако...

Ср.: *старейшина*.

---

<sup>3</sup> Какое предвиденье современных археологических открытий! Хлебников пишет о берестяных грамотах.

Я любовы темной ясень.  
Я глазами в бровях ясен.

Ср.: *дуброва*

О, лебедиво! О, озари!

Ср.: *огниво*.

Сюда училицы младые.

Ср.: *кормилицы*.

Я, милош, к тебе бегу,  
Я мильню тела алчу.

Ср.: *гордыня*.

Дорогами облачных сдвигов  
Мы летели как синий темнигов.

Ср.: *Чернигов*.

Огромное число неологизмов у Хлебникова, когда присоединяется не морфема, значимая часть, а отрезок, обрывок слова. Он сам по себе не знаем, он только напоминает о значении слова, откуда он взят, и не претендует на особливость, на отграниченность. Вот так:

И гасло милых милебро...

Ср.: *серебро*. Выше уже упоминались неологизмы *мнепр* и *мнестр*.

Хлебников работает обычно со словообразовательными суффиксами, редко — с префиксами. Понятно: приставки агглютинативны, поэтому они и не нужны для фузионных неологизмов Хлебникова.

А Маяковский особенно ценил префиксальные неологизмы. Понятно: его неологизмы агглютинативны. Границы между морфемами резки. Используются наиболее продуктивные словообразовательные модели. При этом сохраняются самые распространенные значения прибавляемых аффиксов.

Некоторые стихотворения Хлебникова представляют собою поток неологизмов. Иногда — однокоренных («Заклятие смехом», «Иди, могатырь!» и др.). Корень протекает через ступени, пороги моделей. Возникает впечатление языка, который создается на глазах у читателя. Обнаруживается, что поэзия Хлебникова обладает свойствами текучести и сиюминутности: читатель вправе подумать, что он застал процесс созидания языка — поэзии — мысли поэта.

Мы уже говорили о том, что текучесть стиховой организации произведений Хлебникова приводит к тому, что строка представляет не тот или иной размер, а поэтическую речь вообще. Ямб, хорей, анапест, наплывая друг на друга, отрицают друг друга, не позволяют принять текст за ямб, хорей, анапест.



Так и с неологизмами. Один следует за другим, модели сменяют друг друга — явно, что они демонстрируют художественную речь как целое, а не расцвечивают данное место ее. Характерно, что стихотворение Хлебникова может состоять из ряда неологизмов, поставленных один за другим:

Трепетва.  
Зарошь.  
Умнязь.  
Дышва.  
Дебошь.  
Пенязь.  
Будязь...  
Лепетва...

Похоже на список действующих лиц ненаписанной пьесы. Пьесы, существующей как творческая возможность. И вся лексика Хлебникова дана как свидетельство творческих возможностей языка — так же, как его ритмика знаменует ритмическую подвижность русской речи.

\* \* \*

Произведения Хлебникова объединены образом лирического героя. Этот образ — главное художественное открытие поэта. Образ изменчивый, вбирающий в себя разные облики, пластически сливающий их. Лирический герой Хлебникова — это пророк, ребенок, ученый, колдун, конструктор-изобретатель, неменяемый, воин, бомж — как сказали бы сегодня, инопланетянин. И все ипостаси поэта перетекают одна в другую, совмещаются, пластически наслаиваются одна на другую. «Все — в одном!» (Мы вспомнили слова Сатина.)

Необычность этой личности поражает читателя, но он не должен забывать, что она — создание искусства. Образ, живущий в поэзии Хлебникова, и его реальная личность имеют разное «устройство», об этом говорят письма поэта. Они показывают, что блага «здорового смысла» были вполне доступны Хлебникову и привычны для него. И в письмах, конечно, виден гений Хлебникова, но в поэзии он иной: создан в пределах искусства. Искренний, истинный, но другой. Обратимся к этому образу, к поэзии Хлебникова.

Хлебников не подражает детской речи, ее не передразнивает. Но стихи его часто передают детскую ясность взгляда:

Вблизи цветка качалась чашка;  
С червем во рту сидела пташка.  
Жужжал угрозой синий шмель,  
Летя за взяткой в дикий хмель.  
Осока наклонила ось,

Стоял за ней горбатый лось.  
Кричал мураш внутри росянки,  
И несся свист золотой овсянки.  
Ручей про море звонко пел,  
А Леший снова захрапел.

В огорчении этот леший ведет себя совсем как ребенок:

И просит, грустящий, глазами скользя;  
Но Вила промолвила тихо: «Нельзя!»  
И машет строго головой.  
Тот, вновь простерт, стал чуть живой.  
Рога в сырой мох погрузил  
И, плача, звуком мир пронзил.

Стихи эти — совсем не для детей; детский образ, один из многих, возник и исчез, сменившись иными обликами лирического героя. В поэме «Невольничий берег», посвященной войне, трагические видения сменяются детским созерцанием мира:

Те, кому на самокатах  
Кататься дадено  
В стеклянных шатрах...  
Через стекло самоката  
В уши богатым седокам самоката,  
Недотрогам войны,  
Несется в окно вой  
Из горбатой мохнатой хаты...  
Струганок войны стругает...

(Хлебников нашел «чуковское» слово *струганок* задолго до самого Чуковского.)

С той же темой войны связан у Хлебникова и образ преодоления детства, наивности, неведения:

В крови утопая, мы тянем сетьми  
Слепое человечество.  
Мы были, мы были детьми,  
Теперь мы — крылатое жречество.

Образ ребенка сменяется образом жреца. Образ ребенка нужен Хлебникову, чтобы передать такие важные для него (и для всех) достоинства, как смелость, прямота, доверчивость:

Хочешь, мы будем брат и сестра,  
Мы ведь в свободной земле свободные люди,  
Сами законы творим, законов бояться не надо,

И лепим глину поступков.  
Знаю, прекрасны вы, цветок голубого.  
И мне хорошо и внезапно,  
Когда говорите про Сочи  
И нежные ширятся очи.  
Я, сомневавшийся долго во многом,  
Вдруг я поверил навеки:  
Что предназначено там,  
Тщетно рубить дровосеку...  
И страшных имен мы не будем бояться.

Это стихотворение, как видим, запечатлело другую смену: мудрец превращается в ребенка.

Перед всеми пророками, которые время от времени появляются в русской поэзии, Хлебников имеет то преимущество, что его пророчество сбылось: в 1912 году он точно предсказал революционный взрыв 1917 года. Можно считать это случайностью.

Более чудесно, что он предсказал архитектуру XX века, в ее наиболее значительных достижениях (стихотворения «Москва будущего», «И позвоночные хребты...»). Прозорливо и смело он нарисовал дома будущей эпохи. «Бревно стекла», сказал Хлебников о многоэтажном доме — задолго до того, как Франк Ллойд Райт построил такое уходящее в небо стеклянное бревно. Одно из предсказаний Хлебникова осуществляется, видимо, только сейчас — дом, который поворачивается вслед за ходом солнца по небу: «И если люди — соль, не должна ли солонка идти посолонь?». Ряд созидателей современной архитектуры должен начинаться так: Хлебников, Ф. Л. Райт, Ле Корбюзье, братья Веснины, Леонидов, Ладовский, Мис ван дер Роэ, Нимейер...

Очевидно, в самом стиле Хлебникова, в строе его произведений было нечто, делающее возможным пророчество.

Его лирический герой — ученый. Нужна была особая наука, такая, которая могла бы войти в поэзию. Хлебников ее создает: свою филологию, свою философию истории... В науках Хлебникова достигнуто сочетание несочетаемого: плодотворная научная идея и ее фантастическое применение. Так, в теории «звездного языка» впервые высказана мысль о том, что в слове можно выделить его смысловые слагаемые (семантические множители), и фантастическое предположение, что главный смысловой компонент связан с первой согласной в слове.

В своих стихах Хлебников явно инопланетянин. Он не знает того, что вошло в кости всякого жителя Земли. Не ведает, что животное не равня человеку. Не информирован о том, что люди не братья друг другу. Не догадывается, что время необратимо. Не осведомлен, что каждому должно впечататься в какую-нибудь матрицу. Ему чужды всеобщие идиомы быта, обычаев, речи.

Последнее особенно заметно в его произведениях. Каждому, кто пишет, ясно: надо идти проторенными путями слова. А он, инопланетянин, не знает, какой проторенный. И потому у него выходит вот так чудесно:

Хребтом прекрасная, сидит,  
Огнем воздушных глаз трепещет,  
Поет, смеется и шалит,  
Зарницей глаз прекрасных блещет...

Ни один редактор такое не пропустит. Инопланетянин не знает, что писать надо для редактора. (Хлебников, видимо, избежал редактора, но все же он пишет, не думая о блюстителях стиля: у них, там, так принято...)

Иногда Хлебников притворяется сумасшедшим. При этом обнаруживается, что он — гигантский сумасшедший:

Я ⟨...⟩  
Род людской сломал, как коробку спичек...  
Был шар земной  
Прекрасно схвачен лапой сумасшедшего:  
— За мной!  
Бояться нечего!

Н. Асеев как-то сказал: не только поэт делает стихи, но и стихи делают поэта. Лирический герой Хлебникова создан по законам его поэтики. В нем слиты разные, несовместимые типы. Трудно предположить, чтобы такой герой был Семен Семеныч. То есть отдельный человек с личным почтовым адресом. Вместе с тем он и не абстракция. Он изображен Хлебниковым, как человек, являющий собою определенную культуру.

Вспомним: каждая строка в стихотворении Хлебникова — не вестник данного размера, она являет собою поэтическую речь в целом. Лирический герой «изоморфен», типологически подобен стиховому строю хлебниковской поэзии. Он многообразен, потому что многообразна культура, представляемая им.

Речь шла о лирическом герое Хлебникова. Поскольку эпос поэта лирически активен, этот герой является и в поэмах Хлебникова. Но есть и собственно эпические образы. Они особенно ясно показывают единство поэтики поэта.

Герои поэм Хлебникова — представители разных культур, и так именно они и выступают. Поэт наслаждается различием и несовместимостью этих культур, питая надежду, что между ними возможны союз и дружба... Утопическое желание? Оно было дорого поэту.

Язычество и христианство — тема поэмы «Поэт». Русалка жалуется, что ее мир, мир языческой культуры, обречен на смерть:

«... На белую муку  
Размолот старый мир  
Работою рассудка,  
И старый мир — он умер на скаку!  
И над покойником синеет незабудка...»

Поэт примиряет языческий и христианский миры; он

... рукою вдохновенной  
На Богоматерь указал.  
«Вы сестры. В этом нет сомнений.  
Идите вместе, — он сказал: —  
Обеим вам на нашем свете  
Среди людей не знаю места  
(Невеста вод и звезд невеста).  
Но, взявшись за руки, идите  
Речной волной бежать сквозь сети,  
Или нести созвездий нити...»

Примирению и союзу античной и шаманской культуры посвящает Хлебников поэму «Шаман и Венера». Тема единства культур окрашивает все творчество поэта.

Культура — это весь духовный мир, весь жизненный уклад целой эпохи или целого народа. Приятие разных культур — это приятие человечества как целого. Это умение подняться над представлением, что есть культуры, годные только для гибели. Поэтому Хлебникову дорого свидетельство их мирного сосуществования как свидетельство целостности мира. Он видит языческие знаки на скале, и рядом — икона, прибитая к березе. Это радует его, в этом он видит знак возможности мирной дружбы разнородных культур — возможности сочетания несочетаемого:

Пришел охотник и раздел  
Себя от ветхого покрова  
И руки на небо воздел  
Молитвой зверолова.  
Поклон глубокий три раза,  
Обряд кочевника таков.  
«Пойми, то предков образа,  
Соседи белых облаков».  
На вышине, где бор шумел  
И где звенели сосен струны,  
Художник вырезать умел  
Отцов загадочные руны.  
Твои глаза, старинный боже,  
Глядят в расщелинах стены.  
Пасут олени и треножат

Пустыни древние сыны.  
И за суровым клинопадом  
Бегут олени диким стадом.  
Застыли сказочными птицами  
Отцов письма в поднебесьи.  
Внизу седое красное сье  
Поет вечерними синицами.  
В своем величии убогом  
На темя гор восходит лось  
Увидеть договора с богом  
Покрытый знаками утес.  
Он гладит камень своих рог  
О черный каменный порог.  
Он ветку рвет, жует листы  
И смотрит тупо и устало  
На грубо-древние черты  
Того, что миновало.

Но выше пояса писмен,  
Каким-то отроком спасен,  
Убогий образ на березе  
Красою ветхою сиял.  
Он наклонился детским ликом  
К широкой бездне перед ним,  
Гвоздем над пропастью клоним,  
Грозою дикою шадим,  
Доской закрыв березы тыл,  
Он, очарованный, застыл.  
Лишь черный ворон с мрачным криком  
Летел по небу, нелюдим.

Человечество пережило много трагедий, связанных с тем, что одна культура убивала другую. Чего же хотел Хлебников? Их слияния? Нет, слияние — утрата главных, наиболее ценных отличий; утрата неповторимости. Хлебников хотел мирного многообразия культур. Об этом и его поэмы, и его лирика.

«Ладомир» — великое ликование оттого, что мечта сбывается. Но одновременно в творчестве Хлебникова усиливаются и трагические мотивы, с особенным напряжением раскрытые в поэмах «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск». Подступы к этой трагической напряженности были и раньше; например, в поэме «Гибель Атлантиды» нарисована борьба культуры жрецов и рабов — борьба, которая оканчивается гибелью Атлантиды. Особенность взгляда Хлебникова в том, что у него обе стороны, столкнувшиеся в борьбе, сохраняют свое достоинство и верность своей жизненной высоте. Это, в первую очередь, относится к поэме «Ночной обыск».

Образная система Хлебникова драматизируется, так же, как драматизируется, становится более напряженно-изменчивым звуковой ярус. Причины — две: рост напряженности в социальной жизни России и — внутреннее направление развития русской поэзии; уже у символистов она вступила в область усиления контрастов, противопоставлений, напряжений, несовпадений в стихе, в слове, в образах; после символистов это движение становится особенно сильным.

Когда-то, в полемике с Опыазом, было высказано убеждение, что говорить о внутренних законах движения поэзии, искусства, значит противоречить марксизму. Казалось, что отрицать в области духа способность к саморазвитию, все сводить к обусловленности извне — этого требует подлинно научная методика. Не сама поэзия проходит круг развития, это ее в толчки гонит социальная действительность! «Вы считаете сущностью то, что не является сущностью», — упрекнул опыазовцев один из их оппонентов, высококультурный и влиятельный в то время (20-е годы) деятель: Н. И. Бухарин.

Каждый значительный шаг в художественном развитии человечества определяется и требованиями действительности, и возможностями, которые дает данный этап в развитии искусства, в том числе — поэзии. Хлебников-поэт был необыкновенно дальнозорок. Он умел видеть в жизни то, что не видели другие. У него в поэзии был свой особый глаз, и он называется: сдвиг. С помощью этого глаза Хлебников увидел единство мира и возможность единства людей:

Иной открыт пред нами выдел.  
 И, пьяный тем, что я увидел,  
 Я госпуду ночей готов сказать:  
 «Братишка!»  
 И Млечный Путь  
 Погладить по головке.  
 Былое — как прочитанная книжка.  
 И в море мне шумит братва,  
 Шумит морскими голосами,  
 И в небесах блестит братва  
 Детей лукавыми глазами.  
 Скажи, ужели святотатство  
 Сомкнуть, что есть, в земное братство?  
 И, открывая умные объятья,  
 Воскликнуть: звезды — братья! горы — братья! боги — братья!

## Даниил Хармс\*

Аня Сизова иногда говорила: — А я еще одну хармсу написала! И читала новую, талантливую и веселую хармсу. Где и неожиданность, и неизбежность...

*Посвящаю статью памяти Ани Сизовой*

1. В русской поэзии XVIII—XIX веков видна преемственность звеньев: каждый поэтический мир преобразует наследие предыдущего мира, но так, что видна их естественная связь. Державно-гедонистический строй поэзии бардов классицизма, в первую очередь — самого Державина, органически превращается в строй лирики Батюшкова, с ее ценностями личностной гармонии, с ее верностью живым историческим идеалам. Поэзия Батюшкова — прямой и ясный путь к Пушкину. Поздняя лирика Пушкина, философски бесконечная, соединяющая трагизм жизни и приятие жизни, преобразованно продолжается в гениальной трагедийной лирике Баратынского — в его «Сумерках», в стихотворениях 30-х, начала 40-х годов. После Пушкина и Баратынского был неизбежен Лермонтов. Новый и неожиданный мир, но он, как антагонистическая возможность, был предсказан предшествующей русской поэзией. Далее — новые ступени ее самодвижения: Аполлон Григорьев и за ним — Некрасов.

Каждый мир — самоценное совершенство и вместе с тем — возможность продолжения в новом, ином поэтическом мире.

Конечно, из нашего пробега по именам русских поэтов не вышла и не могла выйти история русской поэзии. Чтобы быть вполне убедительным, надо показать, как из одной ритмической системы вырастает новая, как преобразуется вся словесная ткань, порождая новый стилистический строй на основе старого... Все это здесь было бы неуместно. Поэтому ограничимся сказанным.

---

\* Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыты описания идиостилей. М.: Наследие, 1995. С. 481—505.



2. Мы шли к одному выводу: движение русской поэзии в прошлом — движение от одной системы к другой. Эта дорога ведет к символизму. Но далее, в XX веке, самовитое развитие поэзии приобретает иной характер. Оно идет несколькими потоками. Потоки движутся отдельно — постоянно взаимодействуя, перекликаясь, но не сливаясь и не исчезая друг в друге.

Таких потоков по крайней мере три (на самом деле больше; кроме того, есть звезды, которые не входят ни в какие созвездия).

Давно уже замечено, что существует динамическая связь между поэтами, создающими акмеистические ценности. И другое движение — поиски футуристов. Верно было сказано А. Лежневым, что движение по этим двум путям сохранилось и было глубоко плодотворным не только в 20-е, но и в 30-е годы. Третий поток — С. Клычков, С. Есенин, П. Васильев, Б. Корнилов, Я. Смеляков, А. Твардовский... Каждое направление исходит из своих эстетических принципов, раскрывает их новые и новые возможности, в ходе развития пересоздает и преобразует эти принципы.

Надо подчеркнуть: речь идет о поэтических системах. Не о политическом единомыслии поэтов в каждой линии (его нет), не о публицистическом запале, не о личных симпатиях и связях, а только о своеобразии в строении поэтических миров. Об их эстетической самодостаточности и преемственности.

3. Поэты издавна строили свои стихи, избирая, в качестве ключа к миру, ассоциацию по сходству: сравнения, метафоры, символы требуют объектов, которые обнаруживают ту или иную степень подобия. Футуристы нашли иной поэтический ключ к реальности: «Маяковский и Пастернак повели стих по ассоциации по смежности» (Шкловский, 1940).

Сама эта смежность допускает разные понимания; открываются новые и новые дали поэтических миров. У Хлебникова становятся смежными во времени и пространстве и сливаются друг с другом объекты бесконечного разнообразия. И средство их объединения — метаморфоза. Всё может превращаться во всё. Город становится журавлем, юноши — конями, дворяне оказываются творянами, каменная степная баба, на мертвые глаза которой сели бабочки, прозревает; вещи оборачиваются людьми, а люди — вещами, одни персонажи оказываются инобытием других, одни события по противоположности равны другим, далекие эпохи перетекают друг в друга. Превращение отождествляет несовместимое. Метаморфоза позволяет это единство, это объединение несовместимого представить как процесс, в его пластичности и естественной целостности. Метаморфоза — доминанта художественного мира Хлебникова.

4. Доминантное средство создания поэтического мира у каждого поэта возникает из развития поэзии как искусства, из его самодвижения; возникнув, оно реализует заложенные в нем выразительные возможности. Ассоциация

по смежности, представленная как метаморфоза, выдвинула основную идею Хлебникова: родство, братство всего в мире: всё может превратиться во всё.

На метаморфозе построена и ритмика Хлебникова: один размер то и дело превращается, перетекает в другой...

Мир Маяковского — раздельно-монтажный; эпохи сломаны и сдвинуты впритык; энергия, которую излучают эти сломы-сдвиги, колоссальна. Потому-то Маяковскому и стали близки темы борьбы миров, что они отвечали его поэтике, выросли из всего строя его стихов и поэм.

Как же построена ассоциация по смежности у ОБЭРИУТОВ, у Хармса? ОБЭРИУТЫ ясно представляли, что они продолжают движение в линии Хлебников — Маяковский — Каменский — Гуро — Крученых — Асеев — Пастернак... Продолжают, т. е. открывают его новые возможности. Понять эту острую новизну легче всего с помощью анализа образа пространства.

5. В поэтическом произведении есть образы людей (особенно значителен образ лирического героя — того лица, которому дано слово), образы событий, переживаний, впечатлений... И есть один образ, который не всегда легко заметить, — образ пространства. Поэт свой мир видит в своем поэтическом пространстве.

Движение диалектической спирали искусства обнаруживается и в том, что последовательно, у поэтов разных поколений, изменяется и образ пространства. Бегло просмотрим, как этот образ жил в русской поэзии на протяжении последних десятилетий.

Твардовский и поэты его круга (был ли этот круг? Яшин, Рыленков, Исаковский? Это ли: «круг Твардовского»?) создали в поэзии образ пространства как замкнутости; оно сосредоточенно, насыщенно; оно обладает самостоятельностью. Место действия — вокруг какого-нибудь центра, который дает счастье, или покой, или чувство уверенности герою: домашний очаг, изба, деревня, малая родина. Моргунок несчастлив, утратив эту малую родину — и обретает счастье, снова найдя малую родину. В военных стихотворениях Твардовский блестяще раскрыл тему солдатской близости, боевого родства.

В поэме «За далью — даль» поэта постигла неудача: нарисован путь «от Москвы до самых до окраин»; и этот путь разбит на патриархальные замкнутости. Образы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока заменены риторическими фигурами. От лица Волги сказано:

— И званье матушки носила  
В пути своем не век, не два  
Лишь я да матушка Россия,  
Да с нами матушка Москва.

Об Урале:

Весь фронт огромный повторял  
 Со вздохом нежности сыновней  
 Два слова: батюшка Урал...

Наконец,

Владивосток! Наверх, на выход.  
 И — берег! Шляпу с головы  
 У океана. — Здравствуй, Тихий!  
 Поклон от матушки Москвы;  
 От Волги-матушки — немало  
 И по твоим статьям реки;  
 Поклон от батюшки Урала —  
 Первейшей мастера руки... —

и т. д. до тошноты. Образы движения через пространство подменяются батюшками да матушками, да патриархальными поклонами. (Но все-таки какое поэтическое чутье: Твардовский почувствовал, что нужен образ другого пространства, такого, через которое движутся.) И поэму можно было бы считать полной неудачей, если бы не глава «Друг детства». Она снова о том, как возвращаются к жизни — к родному очагу... к родному пепелищу. Обнаруживаются новые черты в творчестве Твардовского: глубина психологического анализа, пристальное внимание к трагичности переживания, умение найти детали, раскрывающие напряженность боли. Раньше герои Твардовского были из сказки (и Теркин в том числе), таким героям хорошо в круглом, замкнутом пространстве. Теперь открывались дали движущегося переживания... Вот где была настоящая «за далью — даль». Путь этот не был продолжен Твардовским.

Поэты-«шестидесятники» (они очень разные, и здесь речь идет только о некоторых из них) нашли иное пространство поэзии, иной его образ: движение по лучу, около луча, вокруг луча... В. Соснора, А. Вознесенский, Ю. Мориц, С. Евсеева, Е. Евтушенко, Б. Окуджава... Это диалектическое преодоление предшествующего поэтического мышления: не замкнутость, а разомкнутость, не возвращение к своему, а движение в свободном пространстве, не односторонность к единому центру притяжения, а возможность отлета в сторону от луча. Существенно, что луч имеет в своем начале неподвижную точку. И поэтов-шестидесятников упрекали: одни — за то, что движение идет вдале от этой исходной точки, другие (впрочем, те же самые, но в другое время) — за то, что они начали путь от фиксированной точки. Не смогли-де превратить поэтическое произведение в чистое движение, не посмели отказаться от заранее предусмотренного начала. Но реальность этого стиля в том, что он — движение от этой фиксированности. Оправдание такого видения мира в том, что были созданы полноценные произведения.

Далее — переход к построению поэтического пространства у поэтов иного поколения: И. Бродский, Е. Шварц, И. Жданов, В. Кривулин, Г. Айги... Пространство у них трудное: радостно-трудное, трагически-трудное... Модель: лабиринт, который надо преодолеть; лес, из которого нет прямой дороги; огромное скопление облаков, сквозь которые проносится самолет... Такое пространство способно быть не только трагичным; оно может быть осмысленно и как радость преодоления и победы.

6. На этом мы закончим наш беглый просмотр разных пространств у разных поэтов. Как построено поэтическое пространство у обэриутов? Как — у Хармса? Они сами ясно осознавали свою связь с футуризмом; они — продолжение линии футуристов. Не раз об этом говорил и Хармс. Но близость не означает подражания или несамостоятельности поисков. У Хлебникова пространство льется, преодолевая себя — так же, как льется у него время. У Маяковского — каменоломня пространства и времени. Каждое переживание, событие, столкновение — особый обломок в этой каменоломне. У Хармса в одном пространстве существует другое.

И это характерно для обэриутов: у них постоянно взаимодействуют два пространственных мира. Так, Заболоцкому нужен зазор, несовпадение двух существующих данностей. У Хармса один мир резко и дерзко вторгается в другой — они сосуществуют в одном пространстве. Модель — полтергейст.

Это слово недавно замелькало на газетных страницах. Нам безразлично, стоит ли за явлениями полтергейста какая-то действительная «наличность» (вряд ли уместно здесь сказать — «реальность») или это всегда результат розыгрыша, обмана, ошибки органов чувств; существенно, что люди, подвергшиеся полтергейсту, верят в его реальность. Только это и нужно, чтобы явления полтергейста послужили в качестве модели для наших сопоставлений.

Вдруг в комнатах начинают, притом в течение многих дней, загораться предметы, которые никто не поджигает. «Или ночью, когда все спят, вдруг оказываются открытыми водопроводные краны, и вода хлещет из них. И так продолжается не одну ночь. Или: сидят люди в семейном кругу и чувствуют, что кто-то дает им крепкие подзатыльники, но никого не видно. Более того: кто-то невидимый начинает время от времени колотить — или всех членов семьи, или избирательно. Притом это не духи, не привидения, а реально вторгающиеся в наш мир представители какого-то другого реального мира. Причина их вторжения не поддается разгадке. Причина эта явно есть (это видно по избирательности действия), но она осталась в том, другом мире.

7. В одном пространстве сосуществуют два мира, перебивающих друг друга. Таково как раз пространство в произведениях Хармса<sup>1</sup>. Оно появилось у него не сразу. Например, талантливая пьеса Хармса «Елизавета Бам» остается в пределах поэтики его предшественников: резкий монтаж частей, которые хвастают своей разнонаправленностью и резкостью своих стыков. Правда, чувствуется и противоположное устремление: к целостному и пластически меняющемуся миру. В. Каверин писал: «Драматическая поэма „Елизавета Бам“ написана в хлебниковском духе. Герои лишены биографий... Они как будто льются, меняются на глазах»<sup>2</sup>. Эти две тенденции — Маяковского (резкая монтажность) и Хлебникова (пластическая монтажность) — не были еще в «Елизавете Бам» связаны в единство. Для их связи нужен особый поэтический принцип, новый закон построения поэтического произведения. Напомним слова И. Канта: «... Произведение гения (по тому, что в произведении следует приписать гению, а не возможной выучке или школе) — это пример не для подражания (иначе в нем было бы утеряно то, что в нем есть гений и что составляет дух произведения), а для преемства со стороны другого гения, в котором оно пробуждает чувство собственной оригинальности и стремление быть в искусстве свободным от принудительных правил таким образом, чтобы само искусство благодаря этому получило новое правило...»<sup>3</sup>.

8. Какой же новый закон у Хармса? Два пространства, два мира сосуществуют вместе — и независимо друг от друга. Лишь иногда происходит прорыв: один мир вторгается в другой, занимающий тот же объем. Знак вторжения — разрыв причинных связей. Вот стихотворение «Ужин»:

К о л д у н:	Дайте хлеба мне и нож. Я простужен — в теле дрожь. Я контужен, стар и сед. Познакомьтесь: мой сосед.
С о с е д:	Здравствуй, Кика, старикан. Здравствуй, Надя. Дай стакан.

<sup>1</sup> Прозрение за реальным миром других сущностей было у символистов:

Восхожу в непогоде недоброй  
Я лицом, просиявшим как день.  
Пусть дробят приовражные ребра  
Мою черную, легкую тень!

*А. Белый*

Образы бродяги и бесприютного страдальца-Христа накладываются один на другой; принцип объединения — ассоциация по сходству. Мир обэриутов — иной.

<sup>2</sup> Каверин В. В старом доме // Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М., 1982. С. 472.

<sup>3</sup> Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 335.

Здравствуй, чайник. Здравствуй, дом.  
Здравствуй, лампа. Здравствуй, гном.

Г н о м: Видел я во сне горох.  
Утром встал и вдруг подох.  
Я подумал: ну и сон!  
Входит Кока. Вот и он.

К о к а: Ветер дул. Текла вода.  
Пели птицы. Шли года.  
Стукнул кокер,  
Прыгнул фокер.  
И пришел я к вам тогда.

В с е х о р о м: Начнем же ужинать!

Изображен мир, отодвинутый от привычной, повседневной реальности; но мир понятный и причинно связанный. Имена у персонажей непривычные; естественно, и ведут они себя не по привычным правилам (с чайником и лампой здороваются!), — однако их непосредственность под стать именам... И у них так удобно устроено: стоит назвать кого-нибудь, как он сейчас же и — является! И вот в этот ладный и по-своему понятный мир вбрасываются слова:

Видел я во сне горох.  
Утром встал и вдруг подох.

Это — разрыв причинных связей. Это — вторжение другого, не идиллического, а тревожного мира. Это полтергейст. Сочетается пластичность — и резкость ее прорыва<sup>4</sup>.

9. В стихотворении «Падение вод» читаем:

Стукнул в печке молоток,  
рухнул об пол потолок,  
надо мной открылся ход  
в бесконечный небосвод.  
Погляди: небесных вод  
льются реки в землю. Вот  
Я подумал: подожди,  
это рухнули дожди.  
Тухнет свечка. Спят дрова.  
Мокнут сосны и трава.

<sup>4</sup> Характерная деталь: М. В. Юдина, в своих воспоминаниях о Хармсе, по памяти приводит строки из этого стихотворения: Видел я во сне горох. Утром встал и вдруг оглох. Наиболее полтергейстная строчка усмирена! Это понятно: поэтика полтергейства связана с напряжением: может возникнуть желание избавиться от него. (Сб.: Мария Вениаминовна Юдина: Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1978. С. 269.)

На траве стоит петух.  
Он глядит в небесных мух.  
Мухи, снов живые точки,  
лают песни на цветочки.

Опять: мир необычный, но последовательно-целостный. Заканчивается вереница строк переводом смыслов в иной, беспричинный регистр:

Мухи, снов живые точки,  
лают песни на цветочки.

(Обратим внимание: самоназвание группы поэтов — *обэриуты* — построено по тому же принципу: часть слова *об-эр-и-* соотносится с полным названием: Объединение реального искусства, а *-ут* добавлено «со стороны», вторглось беспричинно: полтергейст!)

Мир пластической целостности и мир, врывающийся в него, существенно различны, но они не могут быть полностью разнородны. Первый мир должен подготовить читателя к возможности невероятного; поэтому в нем чудеса:

Стукнул в печке молоток,  
рухнул об пол потолок...

Но такая необычность — в пределах мира Хармса, не разрушает последовательности этого мира. Стукнул в печке молоток — потому что он живой, как и все вещи в мире Хармса. Потолок рухнул — предчувствуя желание поэта, чтобы открылся небосвод. Эти события и отделяют мир стихотворения от повседневности, и готовят вторжение иного мира, который все же остается инородным: внепричинным.

**10.** Иногда беспричинности идут потоком; и все же они — неожиданность и вторжение: они друг для друга составляют несоединимость (пан-полтергейст). Например (стихотворение «Жил-был в доме тридцать три единицы»):

И так, слова какого-то не досказав,  
умер он, пальцем в окно показав.  
Все присутствующие тут и наоборот  
стояли в недоумении, забыв закрыть рот.  
Доктор с веснушками возле губы  
катал по столу хлебный шарик при помощи медицинской трубы.  
Сосед, занимающий комнату возле уборной,  
стоял в дверях, абсолютно судьбе покорный.  
Тот, кому принадлежала квартира,  
гулял по коридору от прихожей до сортира.  
Племянник покойника, желая развеселить собравшихся гостей кучку,  
заводил граммофон, вертя ручку.

Дворник, раздумывая о превратности человеческого положения,  
заворачивал тело покойника в таблицу умножения. <...>  
Вынесли покойника, завернутого в бумагу,  
положили покойника на гробовую колымагу.  
Подъехал к дому гробовой шарабан.  
Забил в сердцах тревогу гробовой барабан.

В стихотворении нет ответа на ряд «почему»: почему происходят такие события и почему о них рассказано? Хармс не сторонник чеховского высказывания о ружье. Он любит ружья заряженные, но не стреляющие. Почему покойника заворачивают в таблицу умножения? Вопрос неизбежно возникает, но остается без ответа. Почему читателю надо знать, что доктор катал по столу хлебный шарик с помощью медицинской трубы? Причины, очевидно, есть, но они в том, смежном мире, а мы догадываемся об этом лишь по тому, что эти беспричинности идут косяком: в самом их нагнетании есть последовательность, есть упрямство. Поэт на них настаивает. Значит, в них есть смысл, есть своя логика. Мы знаем о следствиях, а их причины... они в нашем же пространстве, но ином мире, «заселенном» иными сущностями.

В. А. Каверин рассказывает. Как-то к нему зашел Хармс и спросил:

— Если у вас на дверце шкафа вырастет нос, что вы станете делать?

Каверин ответил:

— Буду вешать на него шляпу.

Хармс одобрил.

Каверин вошел в мир Хармса: удивляться не следует, потому что явление носа вполне естественно, причина есть, но она — в ином измерении.

**11.** Из того мира (вполне реального) в наш мир (вполне реальный) могут вторгаться люди, события, вещи. И есть движение в обратном направлении: люди и вещи уходят, передвигаясь в сопредельный мир. Уход их трагичен. Они безвозвратно проваливаются в сосуществующее, но недоступное пространство. Стихотворение «На смерть Казимира Малевича» (оно было прочитано Хармсом на гражданской панихиде по Малевичу) по эмоциональному тону близко к «Водопаду» Державина: ужас перед смертью, мужественная стойкость; сознание бренности человека — и не менее глубокое чувство его достоинства и величия. Граница двух совместных миров у Хармса овеществлена, и смерть показана как перемещение вещей за пределы мира, в мир иной реальности. (Образ: смерть как отделение и отдаление вещей близок к образам гениального рассказа Ю. К. Олеши «Лиомпа»; но для героя Олеши мир един, и сам уход предметов — знак его единственности.)

Вещи, освещенные во время ухода, бросают огромные тени — эти тени выражены словами-тенями. Они — полтергейстовский знак:



Памяти разорвав струю,  
 Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.  
 Имя тебе — Казимир.  
 Ты глядишь, как меркнет солнце спасения твоего.  
 ... Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!  
 Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо?  
 Только муха — жизнь твоя, и желание твое — жирная снедь.  
 Не блестит солнце спасения твоего.  
 Гром положит к ногам шлем главы твоей.  
 ПЕ — чернильница слов твоих.  
 ТРР — желание твое.  
 АГАЛТОН — тощая память твоя.  
 Ей, Казимир! Где твой стол?  
 Якобы нет его, и желание твое — ТРР.  
 Ей, Казимир! Где подруга твоя?  
 И той нет, и чернильница памяти твоей — ПЕ.  
 ... Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым.  
 Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего.  
 Исчезает память твоя и желание твое ТРР.

Для религиозного сознания смерть — это единство Ухода и Не-Ухода. Поэтическая система Хармса оказалась в силах передать трагизм этого единства.

**12.** Тот мир, который испытывает вторжение, не может быть (в художественном изображении) обычным, сорным, серо-суетливым, мелочно-обыденным миром. Он отодвинут от этого сорного мира; он создан из наивности, улыбочивой простоты и доверчивости; в нем господствует круглизна и текучесть. Такой мир допускает неожиданное соприкосновение с иным реальным миром, но может обойтись и без него. Тогда возникают такие стихи («Пробуждение элементов»):

Бог проснулся. Отпер глаз,  
 взял песчинку, бросил в нас.  
 Мы проснулись. Вышел сон.  
 Чуем утро. Слышим стон.  
 Это сонный зверь зевнул.  
 Это скрипнул тихо стул.  
 Это сонный, разомлев,  
 тянет голову — сам лев!  
 Спит двурога коза.  
 Дремлет гибкая лоза.  
 Вот ночную гонит лень —  
 Из мха встает олень.  
 Тело стройное несет,  
 шкуру темную трясет.  
 Вот проснулся в поле пень:

значит, утро, значит, день.  
 Над землей цветок не спит.  
 Птица-пигалица летит<sup>5</sup>,  
 смотрит: мы стоим в горах,  
 в длинных брюках, в колпаках,  
 колпаками ловим тень,  
 славословим новый день.  
 всё.

Такие стихотворения были мост в поэзию для детей.

**13.** Хармс, как говорится, не чуждается сравнений:

Слова сложились, как дрова.  
 В них смыслы бродят, как огонь.

Это сравнение по своему строю очень близко к сравнениям Хлебникова. Но обычно у Хармса иные сравнения:

Сон — это птица с рукавами.  
 А время — суп, высокий, длинный и широкий.  
 А жизнь — это времени нога. ...  
 Да, время — суп кручины,  
 а жизнь — дерево лучины,  
 а сон — пустыня и ничто.

Жизнь — идет, проходит. Она сгорает. Время все излечивает, все соединяет, это — вечное варево... Такие «ключи» помогают понять логику сравнений, но важно не настаивать на том, что это ключи: в уподоблениях Хармса существенен «нерастворимый остаток»: часть, не поддающаяся объяснению. И с другой (или той же самой?) стороны, мир объектов, достойных быть включенными в каждое сравнение, необыкновенно расширяется. Для сравнения достаточно узкого семантического моста, объединяющего два объекта. Общее спрятано во многом ином, что разобщает предметы. И многие предметы, внешне хаотически поставленные рядом, создают мир, целостный, единый, связанный крепкими соответствиями. Покажем это на одном примере.

**14.** Есть стихотворения, о которых можно сказать: если бы их не было, русская поэзия стала бы заметно беднее. Это можно сказать о стихотворении Хармса «Я знаю, почему дороги...» Текст этого стихотворения:

Я знаю, почему дороги,  
 отрываясь от земли,

---

<sup>5</sup> Произносят, очевидно, *пигальца*. Ср. разговорное произношение: *путаньца*, *труженьца*; ср. частое неразличение в речи слов такого типа: *эта сладелица* — *эти владельцы*; ср. обычное разговорное: *вышел на ульцу*.

играют с птицами,  
 ветхие веточки ветра  
 качают корзиночки, сшитые дятлами.  
 Дятлы бегут по стволам,  
 держат в руках карандашики.  
 Вон из дупла вылетает бутылка  
 и направляет свой полет к озеру,  
 чтобы наполниться водой, —  
 то-то обрадуется дуб,  
 когда в его середину  
 вставят водяное сердце.  
 Я проходил мимо двух голубей.  
 Голуби стучали крыльями,  
 стараясь напугать лисицу,  
 которая острыми лапками  
 ела голубиных птенчиков.  
 Я поднял тетрадь, открыл ее  
 и прочитал семнадцать слов,  
 сочиненных мною накануне, —  
 моментально голуби улетели,  
 лисица сделалась маленьким спичечным коробком.  
 А мне было чрезвычайно весело.

Читатель вступает в мир гармонии, хотя в нем нет логической достоверности. Потому что осуществлено образное слияние. Одни смыслы пластично перетекают в другие, хотя повседневно-бытового обоснования их единства нет.

«Я знаю, почему дороги, отрываясь от земли, играют с птицами...» Дороги — это нити, выются по земле — но стоит дать им чуть больше свободы — и взлетят, и начнут играть с птицами. Раз они свободно выются, то могут свободно взвиться. Сравнение подчеркивает (усиливая, гиперболизируя) свободу движения дорог. Они, получив кусок свободы, сближаются с людьми. Это люди-дороги умеют играть.

Поэтому и гнезда сшиты дятлами: умеют шить. Тоже сдвиг в сторону человеческого.

«Дятлы бегут по стволам, держа в руках карандашики»... Потому что карандашиком можно стучать, некоторые даже любят так делать. Второстепенный признак (подспудно мыслимый как возможность) выдвинут вперед. Снова с пользой для человечности дятлов. Они держат карандашики в руках. Но все равно, карандашики дятлов — это то же, что их носы. Носы дятлов трансформированы в карандашики. Мир Хармса — мир трансформации.

«Вон из гнезда вылетает бутылка и направляет свой полет к озеру, чтоб наполниться водой,— то-то обрадуется дуб, когда в его середину вставят водяное сердце»... Д. И. Хармс для нас открыл, что бутылка имеет летучую,

обтекаемую форму, и ее легко представить среди птиц и авиааппаратов. Она тоже превращена в человека: сознает свои цели, полна дружелюбия. А почему из дупла и снова в дупло? Дупло предназначено вмещать. И, по законам поэтики Хармса, должно быть заполнено жизнью. Как же дерево будет пить эту воду? В поэзии нужно уметь остановиться и не задавать лишних вопросов. Важно, что вода и дерево, научно говоря, корреспондируют друг другу.

Далее — строфа про голубиных птенчиков; она вносит драматическое напряжение, которое преодолевается с помощью полтергейста, в этом случае — благого, а не злобного. В этот мир входит поэт и снимает напряжение. Это поэт, имеющий право изменять мир: он владеет семнадцатью волшебными словами, которые имеют заклинательную силу.

«Лисица сделалась маленьким спичечным коробком...» Почему — коробком? Господство случайности? Скорее господство поэтической неизбежности. Попробуем вместо слов *спичечный коробок* подставить другие слова: *лисица сделалась пепельницей..., ящерицей..., гребешком для расчески..., лопатой..., пистолетом..., незабудкой...* Все эти замены создают какофонию..., а спичечный коробок в тексте Хармса создает гармонию. Видно, что случайная метаморфоза в стихах поэта — вовсе не случайная.

Чем обусловлено, что переключка «лиса — коробок спичек» является полноценной художественной реальностью? Семантические переключки, затаявшиеся в этих словах, неявные, безразличные для бытовой речи, Хармсом вызваны на первый план. (Наши самовольные подстановки потому и не удались, что в них не было этих переключек.) В спичечном коробке спрятаны смыслы: хищный огонь, угроза и опасность, жадный враг; зрительно: рыжие хвосты пламени... И все эти зубастые опасности укрощены в спичечном коробке.

И отсюда еще иной поток смыслов, в противоположную сторону: спичечный коробок — негатив лисы. В лисе есть пластичность, подвижность, хитрость, изворотливость, красота быстроты и находчивости. Во всех этих отношениях спички и их вместилища — антипод лисы. Коробок — плоско-неподвижный, угловато-статичный, не способный на каверзу, на выдумку. Коробок спичек годится для роли антилисы, но при этом его негативность не выдвигается на первый план, о ней поди-ка догадайся. Да и не нужно догадываться: все это должно остаться на долю интуиции читателя, возможной, но не обязательной.

15. В русской поэзии XX века широкое признание получили сравнения, у которых качественные сходства сопровождаются мощным шлейфом несоответствующих признаков. Эстетически значимо и подобие, и резкое различие. Именно поэтому Маяковский любил сравнения, добытые из расчлененного фразеологизма: *Шины, круглые, как дураки*. Именно поэтому Пастернаку дорого сравнение летнего леса с механизмом «под микроскопом у часовщика»,

зимней дороги — со стерлядью. Между тем, что сравнивается, и тем, что служит для сравнения, пролегает часто неблизкая дорога. Читатель должен оценить это напряжение между двумя объектами и поверить поэту, что в его мире они близки.

Типологически такие же и сравнения у Хармса. Соответствия, которые читатель находит в стихотворении «Я знаю, почему дороги...», по существу — сравнения, в которых далекое оценивается как близкое. И сопоставления даны так, что один предмет встроен в другой: птица вмещена в бутылку, лиса — в спичечный коробок, дороги в то же время — нити. Мир Хармса, где одна сущность поселена в пространстве другой сущности, потребовал именно такой структуры словесно-образного мира.

**16.** Какой же общий образ, какой образ мира, вырастает из этого стихотворения, из его свободной ритмики, из его безупречной рифменной белизны, из его образной системы, где далекое — вблизи, из ладных и естественных переключений одних сущностей в другие? Взгляд на мир как на благо («А мне было чрезвычайно весело»). Вместо стандартных признаков выдвинуты другие. И причина — одна: все в мире приближено к человеку. Подчеркнуто активно сознательное в мире. Но в нем есть и зло, и нужно вмешательство бога, чтобы его одолеть.

**17.** Вторжение одного мира в другой происходит с разными целями — добрыми и злыми. И в том и в другом случае оно вносит разрыв причинности. Чтобы он был эстетически действен, надо усилить противоположное начало — раскрытие слитности, дружного единства мира, который терпит вторжение. И поэзия Хармса — это постоянная игра причинности и беспричинности, их связь, их взаимопроникновение. Здесь — выход поэзии Хармса в область философии, в раздумья о природе причинности и о хаосе беспричинности.

**18.** Если вспомнить рифменное пиршество в стихотворении Хлебникова, Маяковского, Асеева, Каменского, Пастернака, Кирсанова, Шершеневича, Сельвинского, то станет очевидным равнодушие Хармса к рифме. Он может рифмовать: *стою — коню, я — моя, жила — звала, бесконечно — беспечно* («Гвидон»)... Почему рифма не вышла вперед в стихах Хармса? Ведь кажется, что она сродни его поэтическим принципам.

Рифма есть вторжение в строку. Шла-шла себе, голубушка, потихоньку, и вдруг — звуковой гром, вторжение из соседней строки. Чем не полтергейст? Тем, что регулярен. Полтергейст, который является по звонку будильника, теряет свое полтергейство.

Но конец строки может быть преобразован по-хармсовски: дело венчает слово, которого нет. В русском языке. Оно, очевидно, существует там, за его пределами:

— Там за поворотом  
 Барышня Катя ступает по травам  
 голыми пятками ⟨...⟩  
 и фятками.  
 — Чем?  
 — Это я сказала по-водяному.

Здесь заумное слово мотивировано — оно из особого языка. А чаще — еще больше по-хармсовски, — без всякого объяснения, чтобы был полный полтергейст:

Ветер дул. Текла вода.  
 Пели птицы. Шли года.  
 Стукнул кокер.  
 Прыгнул фокер.  
 И пришел я к вам тогда...

Такая немотивированная рифменная заумь обычна у Хармса и очень украшает его стихи:

Сосны скрипят,  
 липы скрипят,  
 воздух — гардон,  
 ветер — картон...  
 .....  
 Ты, старуха, не вилай,  
 коку-моку не верти,  
 покажу тебе — гуляй! —  
 будешь киснуть взаперти.  
 Где контыль? и где монтыль?  
 Где двудлинная мерла?...  
 Ой-де, люди, не бундыль,  
 я со страху померла.

#### 19. Наконец, можно так по-хармсовски отпраздновать конец строки:

...Где профессор Татарелин?  
 здыгр аппр устр устр  
 где приемные часы?  
 если эти побрякушки  
 с двумя гирями до полу  
 эти часики-старушки  
 пролетели параболу  
 здыгр аппр устр устр  
 ход часов нарушен мною  
 им в замену карабистр  
 на подставке здыгр аппр  
 с бесконечною рукою

приспособленной как стрелы  
от минуты за другую  
в путь несется погорелый  
а над белым циферблатом  
блин мотает устр устр  
и закутанный халатом  
восседает карабистр...  
где профессор Тартарелин,  
где Андрей Семеныч здыгр  
однорукий здыгр аппр  
лечит здыгр аппр устр  
приспосабливает руку...

Какой фонетический полтергейст! В русский мир звуков врезается фоника иного мира; мы чувствуем, что она закономерна, представляет явно единую организацию — но она чужда нашим произносительным навыкам, привычным для нас звуковым последовательностям.

А то ведь и так может Хармс разъединять-соединять строки:

Ляг и спи и види сон,  
будто в поле ходит слон,  
нет! не сон, а доктор Булль,  
он несет на палке нуль,  
только это уж не по-  
уж не поле и не ле-  
уж не лес и не балко-  
не балкон и не чепе-  
не чепец и не свинья, —  
только ты да только я.

Так бесконечно разнообразна стиховая изобретательность Хармса. Если рифма — способ строки заявить и о своей самостоятельности, и о связи с другими строками, то все эти способы стихозавершений — особые рифмы. Их своеобразие в том, что нет пары, нет подготовки к каждому окончанию. Они живут, не опираясь на звуковую помощь, на тождезвучие соседних строк. Но это и есть искусство Хармса: вторжение без предупреждения.

**20.** Ритмика у Хармса разнообразна, но особенно часто она выступает как стоячая волна. И ее константность, ее самой-себе-равность разрывается вторжением иной ритмической структуры. Нередко это просто-напросто слово:

*всё!*<sup>6</sup>

<sup>6</sup> С этим «всё!» происходили забавные вещи. Из произведений для детей два имеют такую концовку: «Иван Иваныч Самовар» и «Миллион». Публикаторы детских произведений Хармса, собирая его стихи в книгу, решили, что такая тавтология

знак выхода из ритмического поля, знак фонического инобытия. (Хороший пример — стихотворение: «Бог проснулся», см. выше.)

Так взаимно связаны все стороны в произведениях Хармса, все они — знак единства поэтической системы.

**21.** Существует композиция творческого пути, различная у разных писателей. Это значит, что движение от предыдущего произведения к последующему определяется не только психологией писателя, текущими обстоятельствами жизни, общественными влияниями, но и внутренними законами динамической поэтики — данное произведение требует ответа (в определенном эстетическом ключе) от следующего произведения.

В XX веке отношения между разными периодами в творчестве писателя часто бывают особенно напряженными. Изменения происходили резко. Иногда они определялись извне — политическим нажимом, моральной нестойкостью творца и т. д.— тогда это были срывы, сломы, предательство своего творчества. Существенны для искусства, для поэзии только такие перемены в творческом движении, которые вызваны изнутри, самой поэтикой.

В наш век такие изменения нередки — видимо, потому что жизнь поэзии в наш век глубоко значительна, тревожна, напряженна и требует интенсивного движения. При этом обнаруживается, что связь отдельных этапов движения более существенна для каждого произведения, чем в XIX веке. Если бы никому не известный мальчишечка принес на выставку живописи «Черный квадрат», картина, скорее всего, не привлекла бы особого внимания. Но ее написал Казимир Малевич — после своей мощной крестьянской серии, после трагических декораций для театра; движение художника к супрематизму хотя и явилось неожиданностью, но такой, которая подготовлена предыдущим творчеством,— и «Черный квадрат» был понят как шаг, продолжающий движение художника. Связь с прежними картинами оправдывает новый шаг.

Так и у обэриутов, у Хармса, Заболоцкого и Введенского, один этап творчества должен быть понят на фоне другого, предыдущего. Во «Второй книге» (1932), тем более в книге «Стихотворения» (1946), у Заболоцкого все реже встречаются «заболотчизмы», т. е. словесные сочетания, обороты, характерные для раннего Заболоцкого. Отказ от прежней поэтики? «Пожар способствовал ей много к украшенью»? Отказ от себя? Нет; встречаясь реже, эти «за-

---

недопустима. И лишили «Ивана Ивановича» права кончаться словом «всё!» (см. все издания 50—60-х годов). Но ведь в «Самоваре» это слово играет две роли: оно — знак конца стихотворения, выхода из ритмического ряда и, вместе с тем, — сюжетно необходимо. *Кипяточку не дает — ВСЁ! Сереже досталось только кап, кап, кап...* Без этого стихотворение теряет Хармсов характер и кончается вялым губошлепством... Несправедливо поступали со стихами поэта. К счастью, в последних изданиях слово «всё» вернулось на свое место в «Самоваре».



болотчизмы» более остро напоминают о том, что поэт верен своей поэтике; контрастируя с окружением, они создают разные формы взаимодействия с текстом.

Читатели хорошо поняли, что новые произведения Заболоцкого (50-х годов) — это верность себе. Одним это было дорого, других возмущало. Н. А. Заболоцкий принес в «Новый мир» стихотворение со строками:

Высокая лебедь плывет.  
Плывет белоснежное диво,  
Животное, полное грез...

Твардовский решил, что момент самый подходящий — высмеять неканонического поэта: «Ведь не молоденький уже, а все шутите!». Редакция хихиканьем поддержала шефа. Заболоцкий тяжело пережил этот день своей жизни. Но он мог бы и гордиться: его верность своей прекрасной поэтике была авторитетно подтверждена традиционалистами.

**22.** Итак, ввести в поток знаков, создающих стиль, некие отдельности, контрастирующие с текстом. Не таким ли виделся дальнейший путь и Хармсу? В 1935 году он опубликовал стихотворение «Новый город»; приводим отрывок из него:

Машины пилят, рубят, роют.  
Одни поют, другие воют,  
Трамбуют, режут, пашут, сеют,  
Стоят, ползут, летают, реют.  
И там, где раньше в лес дремучий  
Вела звериная тропа,  
Бросая в небо дыма тучи,  
Стоит высокая труба.  
А рядом дом,  
За ним другой,  
Железный мост,  
Вися дугой  
Через овраг,—  
Огнями блещет.  
А там,  
В овраге,  
Бурно плещет  
И зло бурлит  
Поток подземный,  
Ревет  
И пеной воду мутит,  
И точно вихрь  
Турбину крутит!

Скажи, товарищ,  
Неужели  
Здесь был когда-то лес дремучий,  
И поле, с ветрами играя,  
Травой некошеной шуршало?  
И среди поля холм зеленый  
Стоял, как поля страж зеленый,  
Скучал, томился и не ведал  
Великой участи своей?<sup>7</sup>

Если кому-нибудь это стихотворение покажется «недостаточно хармсовым», то ведь с этим можно и не согласиться. Видно сильное движение в область обновления поэтики, но это хармсово обновление; см., например, начало цитируемых строк, об этом говорит и ритмическая сила, и мощная пластика стиха. Исчезла предельная насыщенность произведения знаками «мира Хармса», но они по-прежнему высоко значимы. Осталась сдвинутость всех объектов изображения в сторону человека.

Может быть, «Новый город» — поиски органического движения стиля в том же направлении, которым ознаменована «Вторая книга» Н. А. Заболоцкого? Но как развивалось бы далее творчество Хармса, можно только гадать. Трагическая смерть оборвала великий поиск<sup>8</sup>.

**23.** Мир Хармса возник из самодвижения поэзии, в ее самовитом порождении новых и новых творческих возможностей, в порождении самой себя. Но не было ли у того образного мира, который нарисовал Хармс, и социальных истоков? Внутренняя последовательность развития искусства не означает, что социальные воздействия малозначимы — нет, самодвижение поэзии как раз открывает для нее возможности участия в социальной жизни.

У поэзии Хармса, с ее необычным образом пространства, есть и социальные корни. Мир, в котором жил Хармс и его современники, был трагически пронизан. Каждого человека ждали постоянные вторжения, беспричинные с точки зрения этого человека результаты которых для него нередко оказывались трагичны. Поскольку речь идет о связи поэзии с реальностью, приведем реальные, жизненные примеры.

И. Э. Грабарь во время оттепели неосторожно сказал (в газете «Советская культура») о том, что нельзя в середине XX века по-прежнему «не призна-

<sup>7</sup> Еж. Л., 1935. № 5. С. 21.

<sup>8</sup> Прошу хармсоведов не пропустить последнюю прижизненную публикацию Д. И. Хармса: *Неруда Я.* Стихи и повести. М., 1944. См. с. 59: «Перевод стихов в тексте Д. Хармса»; см. также следующие страницы. В Москве еще не было получено известие, что Хармс — «враг народа» (и уже погиб). Поэтому публикация состоялась. Таким образом, это его последняя прижизненная публикация и первая посмертная. Хармсова ситуация!

вать» импрессионизм, которым восхищается весь мир. Вскоре в газете появилась установочная статья Иогансона, где разъяснялось: импрессионизм не соответствует марксистской эстетике, с ним нужно бороться; на кафедрах художественных институтов началась борьба; не было и речи, чтобы И. Э. Грабарю была дана возможность отстоять свое мнение. Грабаря поправили. (Между прочим: Иогансон — ученик Константина Коровина.)

Аспирант сказал другому аспиранту, что слово *изба*, вероятно, заимствовано из немецкого языка. (И этимологические словари это подтверждают.) На закрытом партсобрании этот другой аспирант объявил, великодушно скрыв фамилию виновного: «Есть среди нас такие молодые ученые, которые считают, что русский народ настолько глуп, что и до избы сам додуматься не мог!». Потом виновнику крамолы передавали: «Мы поняли, что он говорит о тебе — он же твой дружок, и мы тебя сильно не одобрили! Подумай, куда идешь!».

Преподавательницу вуза, крупнейшего специалиста в области древнерусской литературы, кто-то видел в церкви. (Так и осталось неясным, кто видел.) Актив это привело в смятение: «А мы ей доверили студентов!». На закрытых совещаниях в институте этот вопрос прорабатывается. А в конце учебного года, по решению дирекции, штат кафедры был сокращен на одного человека. Увы, пришлось сократить эту преподавательницу.

Бела-вела девчужка дневник, с некоторыми безобидными вопросами: все ли хорошо в ее студенческой группе? Дневник выкрали, устроили общественную разборку. Из вуза не выгнали, но настрадалась она сильно...

Студент беспечно сказал друзьям, что из современных поэтов ему особенно дорог Б. Пастернак. Друзья оказались благородны: никому ничего не сообщили, но при встречах неизменно, день за днем воспитывали друга, убеждали не любить Б. Пастернака: «Ты сам не понимаешь, к чему это тебя приведет!» (Эти друзья писали стихотворения для стенгазет в духе Джамбула, 1940 год<sup>9</sup>.)

Преподаватель в школе (1948 год) устроил два скромных вечера, посвященных Баратынскому и Батюшкову. Ученики читали стихи, в том числе — патриотическую лирику 1812 года Батюшкова. Райком месяц занимался этим вопросом: учеников, которые и советских поэтов не всех знают, заставляют знакомиться с неактуальными поэтами: «О них даже в вузовских учебниках напечатано мелким шрифтом, а это значит — не стоит читать». Финал: «Мы тут решили: несмотря на ваши ошибки, вы можете продолжать работать в школе. Но сделайте выводы».

---

<sup>9</sup> Эти настроения отразились в печати. В дневнике С. Гудзенко говорится о первых днях Отечественной войны; сам Гудзенко в ополчении: «Где теперь любители Пастернака?» (см. дневники С. Гудзенко). Ответ простой: воюют, как и весь народ. Но Гудзенко, видимо, считал, что они то ли дезертиры, то ли пристроились в тылу.

Примеры можно умножить... Тысячекратно? Нет, миллионкратно. Проницаемость жизни, каждого человека, ее незащитность перед неожиданным разгромом, подверженность любого и каждого ломке извне, с точки зрения человеческой — бессмысленной и необоснованной, — вот уровень социального существования Хармса и его современников. И это отразилось в его поэзии, разумеется, в формах поэзии, по ее законам.

Он нарисовал мир неожиданного и необоснованного вторжения, полтергейства, большей частью — напряженно-драматического.

«Социальный заквас» очевиднее в прозе Хармса, чем в его стихах. Напомню рассказ «Вещь» (отрывки): «Когда папа собирался что-то спеть, стукнуло окно. Мама вскочила с испуга и закричала, что она ясно видит, как с улицы в окно кто-то заглянул. Другие уверяли маму, что это невозможно, так как их квартира на третьем этаже, и никто с улицы в окно посмотреть не может, — для этого нужно быть великаном или Голиафом.

Но маме взбрела в голову крепкая мысль. Ничто на свете не могло ее убедить, что в окно никто не смотрел. <...>

— Не могу быть в хорошем настроении, когда на нас смотрят с улицы через окно, — кричала мама.

Папа был в отчаянии, не зная, как успокоить маму. Он сбегал даже на двор, пытаясь заглянуть оттуда хотя бы в окно второго этажа. Конечно, он не смог дотянуться. Но маму это нисколько не убедило. <...>

Папа даже руками развел.

— Вот, — сказал он маме и, подойдя к окну, растворил настежь обе рамы.

В окно попытался влезть какой-то человек в грязном воротничке и с ножом в руках. Увидя его, папа захлопнул рамы и сказал:

— Никого нет там.

Однако человек в грязном воротничке стоял за окном и смотрел в комнату и даже открыл окно и вошел.

Мама была страшно взволнована. Она грохнулась в истерику, но выпив немного предложенного ей папой и закусив грибочком, успокоилась. <...>

Папа подтянул свои штаны и начал тост.

Но тут открылся в полу люк, и оттуда вылез монах.

... Монах, который вылез из-под пола, прицелился кулаком в папино ухо, да как треснет!

Папа так и шлепнулся на стул, не окончив тоста.

Тогда монах подошел к маме и ударил ее как-то снизу, — не то рукой, не то ногой.

Мама принялась кричать и звать на помощь.

А монах схватил за шиворот обеих горничных и, помотав ими по воздуху, отпустил.

Потом, никем не замеченный, монах скрылся опять под пол и закрыл за собою люк.

Очень долго ни мама, ни папа, ни горничная Наташа не могли прийти в себя».

Мучительный мир.

Социально опасный мир.

**24.** Стихотворения Д. И. Хармса для детей — естественная часть его творчества. Без них его произведения как целое не получают эстетической законченности и «круглизны».

В этой статье была представлена модель, помогающая представить пространство, созданное поэтом в его произведениях: полтергейст. Здесь, говоря о детских стихах Хармса, используя другую модель, тоже рисуящую жизнь одного пространства в другом, так что одно независимо от другого: пещера капитана Немо. В романе Жюль Верна «Таинственный остров» рассказано, как существовали два пространства — пленников этого острова, моряков, потерпевших крушение (горизонтальный мир), и капитана Немо (вертикальный мир). Вторжение, таинственное и непонятное для пленников-путешественников, вертикального мира в горизонтальный не губительно, а благодатно. Так и Хармс рисует для детей игровое сопряжение миров, раскрывая возможности этой игры.

Летят на «дачном», легком самолете авиатор и двое мальчиков («Рассказ о том, как Панкин Колька летал в Бразилию, а Ершов Петька ничему не верил»). Все, что они встречают, для Кольки Панкина — Бразилия, для Петьки Ершова — место около Ленинграда, Брусилово. Взрослый читатель хитер: он понимает, что на самом деле никакой Бразилии нет. Это фантазия. Не то в понимании детей: спросите у читателей-дошкольников, и вы убедитесь, что многие из них поняли рассказ так: Колька и Петька были и около Ленинграда и, вместе с тем, в Бразилии. Хармсу оказалось близко это детское переживание: жить в реальном мире и одновременно в мире сказки, как будто он реален.

Два мира людей, живущих вместе — и врозь, в совершенно отдельных мирах, — вот тема нескольких рассказов Хармса для детей. Но отдельность этих миров не враждебна, не воинственна, а дружелюбна и приветлива. Рассказ «О том, как старушка чернила покупала»: старушка и ее собеседники — из разных миров существования, но не используют свои «полярности» для того, чтобы мучить друг друга. Рассказ, напротив, о готовности помочь.

Замечателен рассказ обэриутов Дойвбера Левина и Даниила Хармса «Друг за другом» (Еж. 1930. № 9, в дальнейшем не переиздавался). Он рисует целую вереницу миров, в которые невозможно проникнуть, но которые настойчиво хотят проникнуть в наш мир. Описываются многие изобретения, явно созданные фантазией авторов, причудливые и простодушно-диковинные; создатели их живут в своих мирах, малопроницаемых для общего мира. Но авторы, описывая необыкновенные фантазии изобретателей (которых они

же сами выдумали), вовсе не злобны и не обличительны. «Какие чудачки! Спасибо, что так интересно и забавно напридумывали!» — на такую оценку читателей рассчитан рассказ Д. Левина и Д. Хармса.

**25.** Посмотрим, как построено ритмическое пространство в детских стихах Хармса. Стихотворение «Иван Иванович Самовар»:

Утром рано подошел,  
к самовару подошел,  
дядя Петя подошел.  
Дядя Петя говорит:  
«Дай-ка выпью, — говорит, —  
выпью чаю», — говорит.

Каждая строка — кадр, она повторяет предыдущую строку и отличается от нее в деталях. Это мультипликация: изображено движение путем расчленения его на отдельности. Но как этот ряд констатации, неподвижностей превращен в действие? Каждая строка — загадка, она ждет ответа — движения в следующую строку: Утром рано подошел... (загадочно: к чему подошел?) К самовару подошел (кто подошел?) Дядя Петя подошел... И так в каждой строфе: создано микродвижение, пространство слитного, последовательного перемещения, его перетекания из кадра в кадр. Мультипликационное пространство. Путь от строфы к строфе — иное пространство: идет смена самих движений, их персонажей — мир резких моторных перемещений. Итак, два мира-пространства: мир слитного мультипликационного движения и мир движения-монтажа, полной смены образа, создающего движение.

Это характерно для детских стихов Хармса. В стихотворении «Врун»:

— А вы знаете, что У?  
А вы знаете, что ПА?  
А вы знаете, что ПЫ?  
Что у папы моего  
Было сорок сыновей?  
Было сорок здоровенных —  
И не двадцать,  
И не тридцать, —  
Ровно сорок сыновей!  
— Ну! Ну! Ну! Ну!  
  
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!  
Еще двадцать,  
Еще тридцать,  
Ну еще туда-сюда,  
А уж сорок,  
Ровно сорок, —  
Это просто ерунда!

Такое же сочетание у двух моторно-пространственных миров: от строки к строке — ритмическое тождество, каждая строка — загадка, требующая перетекания речи в следующую строку, ждущая отгадки от этого перетекания. Это похоже на «стоячую волну»<sup>10</sup>: волна — потому что есть движение, стоячая — каждая ритмически повторяет предыдущую. Движение от строфы к строфе скачкообразно, монтажно. Значит, и здесь сосуществуют два ритмических движения, два моторных мира.

Иногда движение в смежных кадрах полностью останавливается. Само движение стало серийно-повторяемым. Так — в стихотворении «Почему»:

ПОЧЕМУ

повар и три поваренка  
повар и три поваренка  
повар и три поваренка  
выскочили во двор?

ПОЧЕМУ

свинья и три поросенка  
свинья и три поросенка  
свинья и три поросенка  
спрятались под забор?

ПОЧЕМУ

режет повар свинью,  
поваренок — поросенка,  
поваренок — поросенка,  
поваренок — поросенка?  
Почему да почему?  
Чтобы сделать ветчину!

В стихотворении «Га-ра-ра!» (так оно называлось в журнальной публикации: потом стало — «Игра»; изменение заглавия, скорее всего, результат активности редакторов) каждая строфа, сложно построенная, построено повторяется, варьируясь, в следующей строфе. И все стихотворение круто замыкается строфой иного строения. Повтор строк — значит, статика? Нет, в каждой строфе повтор со сдвигом, с неожиданностью, в каждой строфе — внутреннее движение, и оно сочетается с монтажом строф, резко замкнутым концовкой. Все это создает необычный динамизм и энергию текста.

**26.** Ритмика детских стихов Хармса дает ключ к его «взрослой» ритмике; она построена сложнее, но и в ней есть контрастно организованные два дви-

<sup>10</sup> Прообраз такой ритмической «стоячей волны» (Утром рано подошел / К самовару подошел...) дан в сказках А. Пушкина: Ветер весело шумит, / Судно весело бежит... Туча по небу идет, / Бочка по морю плывет!..

жения: монтажно-сдвиговое между частями текста, внутри которых — «стоячая волна» ритмического самовоспроизведения с микрорварьированием.

**27.** Стихи для детей поэты писали и в XIX веке. Но стихи, построенные по принципу детской игры, стали достоянием XX века. В поисках новых путей поэзия XX века открыла, что один из мощнейших источников поэзии — игра.

Ф. Шиллер в своей работе «Письма об эстетическом воспитании человека» (основанной на плодотворных идеях эстетики И. Канта) писал: «Красота, как завершение существа человека, ... есть объект побуждения к игре... Тотчас по появлении побуждения к игре, находящего наслаждение в видимости, разовьется и побуждение к воспроизведению, которое рассматривает видимость как нечто самостоятельное... Более позднее или раннее развитие эстетического побуждения к искусству в человеке зависит от степени любви, с которой он способен сосредоточиваться на одной видимости... Человек должен только играть красотой, и только красотой одною он должен играть. И, чтобы это, наконец, высказать раз навсегда, — человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает человеком лишь тогда, когда играет»<sup>11</sup>. Родство игры и искусства, поэзии было глубочайше понято классиками «детской» поэзии К. Чуковским, С. Маршаком, Д. Хармсом. Вместе с тем, игры Хармса, его детские стихотворения драгоценны не только для детей, но и для взрослых. В них так же полно, как во взрослых стихах, раскрылся его гений.

... Система художественных ценностей выстраивается не по вертикали, а по горизонтали. Скажем, Даниил Хармс гениален, и нет никого ни выше, ни ниже, ни над, ни под. Всякие же вертикальные иерархии — перенесение тоталитаризма в эстетику.

*Вл. И. Новиков*<sup>12</sup>

**28.** Русская поэзия XX века невероятно, сказочно богата. Если пользоваться терминами В. Г. Белинского «гений» и «гениальный талант» (Белинский хотел провести границу между этими двумя понятиями, но для нас это различие не может иметь большого значения), то надо признать, что уже первая треть нашего века подарила несколько десятков поэтов этой «высочайшей высоты». На наших глазах то и дело возникают попытки убить это богатство, и притом простейшим путем: оскорбить поэтов иерархией, разделить их на кланы по признакам внеэстетическим. И тем самым утратить подлинность и абсолютность их творчества (не забудем, что мы говорим о гениях и гениальных талантах).

<sup>11</sup> Шиллер Ф. Собр. соч. В 7 т. Т. 6. Статьи по эстетике. М., 1957. С. 300, 302, 345.

<sup>12</sup> См.: Новиков Вл. И. Неуместное // Синтаксис (Париж). 1990. 28. С. 11.



Хармс при построении таких иерархий сильно проигрывает: из его произведений нельзя извлечь «ведущую идею эпохи», «определяющую, центральную мысль», «генеральное направление интеллектуальных поисков». Нет у него идеологической, социальной, религиозной или любой другой одержимости. Но поэзии они не нужны.

Что умел Хармс? Играть стихами с детьми (да так играть, что и взрослые заигрывались). Скорбно размышлять о жизни и смерти, об уходе близкого человека. Умел видеть агрессивную беспощадность жизни — и стихами преодолевал ее. Не красуясь глубокомысленной философичностью, Хармс создал философски содержательный поэтический мир. И смог сделать этот мир, сравнительно со своим материалом, с реальностью, более человечным.

Велик эмоциональный поэтический поиск Хармса. Отвергая ряд эмоций как чуждых ему, таких, как умиление, азарт, удасть, пафос, поэт писал: «Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех»<sup>13</sup>. Из этого эмоционального моря черпал Хармс, создавая свои произведения. Свое море.

Счастливы мы, что у нас есть Хармс.

---

<sup>1</sup> Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1991. С. 553.

## Сценическая речь и театральные системы\*

В сценической речи скрещиваются законы языка (мы сейчас берем только фонетические законы, речь идет именно о них) и законы искусства.

Разные театры воплощают разные тенденции, направления в развитии искусства. Поэтому языковые возможности ими используются по-разному. Наиболее существенной оказывается то одна, то другая языковая функция.

Исследователи говорят о таких функциях языка: 1) характерологическая — речь человека, хочет он того или нет, является его характеристикой, она говорит о самом говорящем; 2) волевая — речь человека воздействует на его слушателя или слушателей; говорят всегда с определенной целью, чтобы был какой-то отзыв у воспринимающих речь; 3) информационная — всякая речь есть речь о чем-то, о предмете высказывания (Трубецкой 1960, с. 22).

Эти три функции, как хорошо сказал Р. О. Jakobson, выдвигают: либо первое лицо, т. е. лицо говорящее (характерологическая функция), либо второе лицо (волевая функция), либо третье лицо, то, о ком — о чем говорят (информационная функция) (Jakobson 1975, с. 198).

Кроме этих трех функций, надо принять во внимание: 4) функцию установки на текст; 5) функцию установки на код.

Текстовая функция заключается в том, что данное сообщение (текст) направлено «само на себя». Например, ямбическая строчка сообщает, что она — ямб. Такая функция характерна для всех сообщений, имеющих эстетический характер. Она не исключает других функций (это хорошо показал Р. О. Jakobson), но специфична именно в тех случаях, когда налицо произведение искусства.

Поскольку в нашем поле зрения сценическая речь, постольку эта функция налицо, независимо от того, касается ли анализ Малого театра, МХАТа, театра Вахтангова или Мейерхольда. Не эта функция позволит провести между ними разделяющие качественные границы.

Наконец, кодовая функция: она направлена на установление, формирование, определение языковых единиц, она позволяет договориться о том, что

---

\* Русское сценическое произношение / Отв. ред. канд. филол. н. С. М. Кузьмина. М.: Наука, 1986. С. 20—33.

значат единицы, как выражены значения в языке. Можно эту функцию называть метаязыковой.

Четыре функции (исключена, как сказано, текстовая) по-разному играют в разных театрах.

Пожалуй, чтобы во всем разобраться, надо первую функцию, характерологическую, разделить на две. Речь может характеризовать самого говорящего и притом: либо подчеркивает его социально-групповые черты (следы диалектной южной речи; особое произношение выпускников Петербургской правовой школы), либо обнаруживает черты индивидуального характера (сангвинического, холерического, резкого, обходительного и т. д.). Поэтому можно говорить о социально-характерологической функции или об индивидуально-характерологической. Можно именно потому, что та и другая функции выражены разными языковыми средствами.

Малый театр имеет давние традиции, но он и сейчас — живой театр. Он был и остается в первую очередь речевым театром. Известно, что А. Н. Островский любил слушать игру артистов Малого театра из-за кулис: достаточно было речи, чтобы оценить игру и насладиться ею. Многие роли О. О. Садовская играла сидя. Движение, жест отодвигались на задний план (это, конечно, не значит, что они были невыразительны или безразличны). Ведущим художественным средством общения со зрителем была у нее речь.

Сценическое действие артистами Малого театра понимается преимущественно как речевое действие. Показательны слова Е. Д. Турчаниновой: «Сваху [в пьесах А. Н. Островского] может играть жизненно и правдиво лишь тот, кто будет исходить из речевого богатства роли. Сваха — это не то, как она действует, а как она говорит. Ее образ — это ее язык; ее действия — это ее речи» (Турчанинова 1959, с. 49—50)<sup>1</sup>.

Естественно, что театр, с таким вниманием относящийся к речи, стал для всего народа учителем литературной орфоэпии. Слушая речь артистов Малого театра, «со всеми ее особенностями и ее ритмом, до конца понимаешь всю красоту, ширь и величие русского языка... Известно, что московский говор из века в век считался самым верным для русского языка, был признаваем образцом на сцене, а Малый театр, как хранитель этой традиции, всегда являлся школой правильного русского языка» (Турчанинова 1959, с. 53—54).

Однако для того, чтобы стать эталоном русского литературного произношения, вероятно, мало простого внимания (хотя бы и творческого, хотя бы и проникновенного) к речи; в самой театральной системе Малого театра было что-то, что давало ему возможность стать школой орфоэпических норм.

---

<sup>1</sup> Ср. еще: Пьесы А. Н. Островского «могут идти без костюмов и без грима, если правильно построены на богатстве его речи» (Турчанинова 1959, с. 54).

Малый театр — театр представления. Впервые разграничение: театр представления — театр переживания дано в произведениях К. С. Станиславского. Он говорит, что обе эти театральные системы принадлежат искусству (и противоположны ремеслу), но вся его любовь, все его пристрастие — на стороне театра переживания. Конечно: ведь создать такой театр и было делом его жизни. Однако история театра свидетельствует о том, что театр представления оказался не менее жизнеспособным, чем театр переживания; он — не театр «низшего ранга». Поэтому сейчас можно сказать, что Малый театр — классическое воплощение театра представления, и это нимало не умаляет его достоинства.

О том, что величайшие артисты нашего времени — В. Н. Рыжова, Е. Д. Турчанинова, А. А. Яблочкина, А. А. Остужев — были воспитаны в традициях театра представления и остались ему верны, говорят они сами.

«Я в молодости играла классический репертуар, — вспоминает А. А. Яблочкина, — изучала костюм по книгам, рисункам и статуям. Если мне нравилась какая-нибудь поза, я изучала ее перед зеркалом, стараясь запомнить, и, когда нужно было, воспроизводила на сцене» (Яблочкина 1960, с. 16). Это характерно для театра представления: отработать роль перед зеркалом, запомнить позу, мимику, речь — перенести на сцену.

А. А. Яблочкина вспоминает, как она готовила роль Беатриче (в «Много шума из ничего» Шекспира). Ей помогал А. П. Ленский:

— Не могу я с двух-трех репетиций сделать такую ответственную роль, — говорю я Александру Павловичу. — Да и как буду играть после Гликерии Николаевны [Федотовой], когда ни разу не видела ее в этом спектакле!

Ленский постарался меня успокоить и уговорил не отказываться от роли.

— Откажетесь, а потом уж никогда не дадут, — сказал он, — работайте, а я вам помогу.

И действительно помог. Помог всячески: и морально поддержал и роль сделал прекрасно.

Никогда мне не забыть этих репетиций. (...) Они были вдохновенны благодаря Ленскому.

И что самое примечательное: Ленский, считавший исполнение Федотовой глубоко верным, добился того, что я овладела трактовкой Гликерии Николаевны и правильно передала ее, хотя я, как уже говорила, ни разу не видела Федотову в роли Беатриче.

Помню, я очень обижалась на Черневского [режиссера], который после спектакля упорно твердил: «Пусть Санечка не рассказывает, что не видела Гликерии Николаевны в „Много шума“, не верю: нельзя, не видев, так сыграть».

Любопытно, что и в рецензиях отмечалось сходство моей игры с игрой Федотовой, указывалось на преемственность традиции учительницы учени-

цей, даже сочинили каламбур: яблочко недалеко упало от яблони... Но если бы они знали, какой замечательный учитель и художник помог мне так быстро овладеть ролью! (Яблочкина 1960, с. 141).

Высоким образцом трагического актера был для А. А. Яблочкиной Сальвини — артист театра представления. А. А. Яблочкина играла вместе с ним в трагедии «Отелло».

На спектакле, когда Сальвини кинулся ко мне, я ужаснулась: я всем своим существом ощутила, что наступил для меня конец, так потрясающе страшен был Сальвини. Если я, до смерти испуганная, не вышла из образа и не нарушила установленной сцены, то только благодаря тщательной ее репетированности. Тут Сальвини поразил меня другим. «Задушив» Дездемону, он закрыл занавес алькова, а сам, оставшись на мгновение невидимым публике, внимательно оглядел меня, уложил покрывало, придав ему живописный и правдивый (!) вид, быстрым движением поправил мою прическу и складки платья, перебрался со мной какими-то замечаниями. Все это было им проделано с полным спокойствием, которое, казалось бы, не соответствовало только что проявленному им грандиозному темпераменту. Еще раз оглядев меня, он тут же изменился в лице; теперь оно было полно беспредельного ужаса, и когда он вышел из алькова, зрительный зал замер (Яблочкина 1960, с. 106).

А. А. Яблочкина замечает: на спектакле «... Сальвини... не изменил ни на йоту то, что делал на репетиции. Точность его действий говорила о полном самообладании актера. Это замечательно!». Здесь для нас важнее всего восхищение А. А. Яблочкиной.

Стремление к передаче устойчивого, рельефно-выразительного, найденного раз навсегда, обусловило особое отношение к традиции. Особой эстетической задачей являлось искусство подхватить, продолжить исполнение роли, найденное великими предшественниками. Е. Д. Турчанинова пишет: О. О. Садовская, А. Н. Никулина «получали свои роли непосредственно от Александра Николаевича, творили их, пользуясь указаниями самого автора. От них ко мне перешло в наследство много ролей. Вначале мне было очень трудно отделаться от интонаций этих удивительных артисток. Я так много слушала их, и, кроме того, их интонации были так совершенны, что постоянно звенели у меня в ушах. Но, много работая над собой и ролями, я стала на самостоятельную дорогу» (Турчанинова 1959, с. 60).

В. Н. Рыжова вспоминает, как она, маленькой девочкой, сидя под столом, слушала А. Н. Островского, читавшего свои пьесы. В этом чтении — истоки ее интерпретации ролей в пьесах Островского.

А. А. Яблочкина слушала чтение И. А. Гончарова, А. Н. Островского. «Позже, читая со сцены произведения этих художников, я вспоминала их манеру чтения, искала и в ней ключ к замыслу автора...» (Яблочкина 1960, с. 106).

Е. Д. Турчанинова говорит:

Малый театр тем и был особенно силен, что в его стенах долгие годы выращивалось, оберегалось, наливалось новой силой все то здоровое и лучшее, что рождалось на его сцене. Недаром в годы моей юности таким всеобщим уважением пользовалась Н. М. Медведева — непосредственная ученица М. С. Щепкина. Она была как бы носительницей его заветов. Поэтому ее мнением особенно дорожили, с ее замечаниями особенно считались. И скромная ее похвала: «Вы умеете разговаривать на сцене» — запомнилась мне на всю жизнь (Турчанинова 1959).

Такое внимание к традиции характерно именно для театра представления. Это он создает рисунок роли, рисунок речевого действия не в данных (сегодняшних) сценических условиях, а отчеканивает, выгранивает их как неизблемую ценность. И добывается успеха, если он — Сальвини, Рыжова, Турчанинова, Остужев...

Такое отношение к звучащему слову благоприятствует тому, чтобы театр стал хранителем литературной нормы, достоинство которой — в ее постоянстве.

Действительно, Малый театр хранит все живые нормы русской орфоэпии, своим влиянием распространяет и упрочивает их (теперь — не только непосредственно со сцены, но и при помощи радио и пластинок). В речи, например, В. Н. Рыжовой последовательно выдержаны эканье в первом предударном слоге, традиционные типы ассимилятивного смягчения согласных (Ильинская, Сидоров 1955).

Но это — внеэстетическая функция (очень важная!) речи Малого театра. Эстетически важно, что одной из ведущих функций, характеризующих речь артистов Малого театра, является социально-характерологическая. Пренебрежения индивидуально-характерным нет; но художественно используются только те индивидуальные черты, которые «идут на пользу» социальной характеристике, делают ее полнее и убедительнее.

Пример — сценическая речь В. Н. Рыжовой. Как уже сказано, орфоэпическая норма у нее выдержана строго; и на фоне этого строгого единства отдельные варианты произношения выразительны и художественно значимы. Роль таких выразительных элементов, имеющих социально-характерологическую функцию, играют гласные. Они пластичны; они меняются под влиянием: логического ударения; положения в определенном месте определенной интонационной конструкции; положения на границе фраз, экспрессивного растяжения, удлинения; эмоционального выделения. С помощью такого варьирования создается общественно значимая орфоэпическая характеристика персонажа. При этом важна эмоциональная сторона речи: социальное ярче проявляется в местах особо сильной эмоциональной окрашенности речи.

Вот примеры.

Речь Фелицаты («Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского):

— Ты думаешь, своим [тъ] умом до этого скоро дойдешь? Нет ма-тушк[а]: на все это своя премудрость есть. Вот позвонил кто-[та<sup>б</sup>]. Ты поди к себе, посиди пока, да погоди сокрушаться-[та]! Бог не без милости, казак не без счастье[иъ].

— Не к одной я к ней жалостлив[я], и к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлив[я]. Вспомни молодость-[та], так сама внучку-[та] по-жалеешь.

Заударный гласный после твердых согласных произносится, как видно, по-разному, разбег вариантов значителен, но все они — в пределах нормы; только гласный [а] (ослабленный, конечно, по сравнению с ударным, не столь энергичный артикуляционно, но все-таки [а]) несколько выходит за пределы нормы — но такой вариант встречается редко, а в общем норма выражена последовательно.

Роль Кукушкиной («Доходное место»):

— Нет, уж ты лучше скажи, что у тебя в характере глупости много, ба-ловства. А ты знаешь ли, что ваше [бъль<sup>о</sup>]вство портит мужчин? У тебя все нежности на уме, все бы вешалась к нему на шею. Обрадовалась, что замуж вышла, дождалась. А нет, чтобы об жизни подумать! Б[’э]стыдница! И в кого это ты такая уродилась! У нас в роду все р[’э]шительно холодны к мужьям: больше все думают о нарядах, как одеться пр[’и]личнее, бл[’э]с-нуть п[’э]р[’и]д другими. Отчего и не приласкать мужа, да надобно, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юлинька, когда муж прив[’и]зет ей что-нибудь из города, т[ъ]к и кинется ему на шею, так и замрет, насилиу стащ[у]т. Оттого он чуть н[’и] каждый день ей и возит подарки. А не при-в[’и]зет, так она и губы надует и не говорит с ним два дня. Висни, пожалуй, к ним на шею-то, они рады, им только это и нужно. Стыдись!

— А вот погоди, мы на него насяд[’ь]м обе, так авось подастся. Глав-ное — не [ба]-[ла]-[ват’] и не слушать его глупостей; он свое, а ты свое; спорь до обмороку, а не уступай. Уступи им, так они готовы на нас хоть во-ду возить. Да г[о]рд[а]сть-т[ъ], горд[ъ]сть-т[а] ему сшибить надо. Это, вот видишь ли, есть такая дурацкая фил[о]софия.

Здесь в первом предупредном слоге заметна большая пластичность глас-ных — в зависимости от соотношения данного слова с интонационной кри-вой, экспрессивных и эмоциональных моментов речи. Все фонетические средства создают, рельефно и убедительно, социальный тип: приживалки (Фелицата), мелкой чиновницы (Кукушкина), мещанки (Мигачева в комедии А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын»), служанки в поме-щищем доме (Улита в комедии «Лес»). Средствами эмоциональной речи соз-даются индивидуально-выразительные характеры, притом такие, где индиви-дуальное целиком поставлено на службу обрисовке социального типа.

К тому же типу принадлежит сценическая речь Е. Д. Турчаниновой — глубоко своеобразная, творчески неповторимая, но того же сценического стиля. У Е. Д. Турчаниновой шире разбег вариантов: гласные то эмоционально растянуты, то оглушаются (в заударных слогах перед паузой), то напряжены, то свободно и мягко «обезличены...» — Эканье перебивается иканьем (пример — роль Феклы Ивановны в «Женитьбе» Н. В. Гоголя)<sup>2</sup>. Но при всех этих различиях и в речи Е. Д. Турчаниновой остается и твердая нормативная основа (ведь и эканье и иканье — в пределах нормы), и пластическая вариативность, подвижность гласных, передающая социальную характерность персонажа.

Глубокое внимание к социально-устойчивому лежит и в основах художественной системы Малого театра, и в основах его сценической речи.

Речь шла об исполнении бытовых ролей в современном репертуаре. Но у Малого театра была и другая линия — линия героическая и трагедийная, линия Шекспира, Шиллера, линия отечественной трагедийной драматургии. Здесь установка на рельефность социальных, «сословных» приурочиваний, конечно, отсутствовала. Было бы ни на что не похоже в роли Отелло подчеркивать его сословную характеристику. Но здесь выступает на первый план изображение героического в характере. Когда не играетя сословное в реальном смысле слова, играетя принадлежность персонажа к «сословию» героев. При этом индивидуальное не игнорировалось, но снова, и в этом случае, было на службе общего его детализацией, его подчеркиванием.

Эта линия в творчестве актеров Малого театра была более условной, чем бытовая. Она встречала неприятие со стороны зрителей, чуждых художественной системе Малого театра. А. Кугель писал: «Я был воспитан и вскормлен петербургскими взглядами... и потому впечатление от дебюта Юрьева у меня осталось кисловатое... Аффектированность поз и жеста, медоточивый, слишком сладкий, певучий голос вроде трели театрального соловья, слишком подчеркнутая московская дикция, слишком искусственная и условная московская декламация, отзывающаяся, как у Г. Н. Федотовой, какой-то сумарковщиной»<sup>3</sup> (Кугель 1967, с. 206).

На самом деле еще в 30-х годах это был живой стиль. Он был блистательно представлен А. А. Остужевым<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Все упоминаемые роли существуют в записях на пластинке.

<sup>3</sup> Конечно, этот стиль менялся. Он, например, становился уже в начале XX в. архаичным в бытовых пьесах — например, у Г. Н. Федотовой, о которой пишет Кугель. Благоговей перед великолепным искусством этой актрисы, Е. Д. Турчанинова тем не менее пишет: «В ней было много от старинного театра: излишняя певучесть в декламации, условность — так мне казалось по крайней мере» (Турчанинова 1959, с. 75).

<sup>4</sup> Позволю себе воспоминание. В 1935 г. А. А. Остужев выступил в роли Отелло в Малом театре. Я, поклонник театра Мейерхольда, пошел на спектакль с предубеждением, уверенный, что все будет «не так». Но Остужев с первых же сцен вызвал вос-



Если обратимся к его сценической речи, то увидим и строгую норму в основе — и вариативность гласных; все это вместе передает и общий героический тон речи, и его индивидуальную отделку. Вот отрывки из речи Барона (в трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь»).

Кáк м[а]л[а]дой повеса ждет свидань[ъ]...  
 Сокровища растут. Читал я где-[ть<sup>а</sup>]...  
 Могу взирать на все, что мне подвластн[ъ<sup>а</sup>]...  
 И вольный гений мне поработитс[ъ]...  
 Я свистну, и ко мне послушно, робк[а̄]...  
 Вползет окровавленное злодейств[ъ]...  
 Ее прогнать, но что-то мне шептал[а<sup>в</sup>]...  
 Пролитые за все, что здесь хранитс[а̄<sup>в</sup>]...  
 Какое-то неведомое чувств[ъ]...  
 Они, вонзая в жертву нож: приятн[а̄]...  
 Вот мое блаженств[ъ̄<sup>а</sup>]!...  
 Служа страстям и нуждам человек[а]...  
 Заимодавец грубый, эта в[’э̄]дьм[а<sup>в</sup>]...  
 Нет, выстрадай сперва себе богатств[ъ]...

Итак: глубокое внимание к социально-типовому в человеке, к общественно-устойчивым его отличиям, интерес к индивидуальному, как к подчеркивающему (или оттеняющему) это родовое, устойчивость речевых традиций, орфоэпическая стабильность — все эти черты в речи артистов Малого театра определены, выдвинуты его сценической системой: это блестящий театр представления.

В искусстве время от времени происходят изменения, связанные с тем, что преобразуется разрешающая сила художественного зрения. У А. П. Чехова появилось такое внимание к детали, к мгновенному оттенку в переживании, в настроении, в чувстве, какого не было у его предшественников. Разрешающая сила художественного зрения увеличилась. Такое же изменение произошло в живописи (импрессионисты), в музыке (Скрябин).

И в театре. К. С. Станиславский создал театр переживания. Мгновенные, летучие эмоции были «пойманы» и представлены на сцене. Их нельзя заранее подстроить, найти перед зеркалом, запомнить, воспроизвести в твердом, четком и резком рисунке. Надо было на сцене создать условия, когда артист полностью сольется с персонажем, который им сценически воплощен, тогда появятся эти интуитивно-непосредственные «приспособления» к данному моменту в развитии действия, к данным условиям общения с другим персонажем — артистом.

---

хищение и полное признание. Помогла этому, я полагаю, и вся прекрасная постановка С. Э. Радлова.

Появление театра переживания было плодотворно и для театра представления. В стиле этого театра стали было появляться черты окостенения, мертвой неподвижности. Эти черты встретили острую критику К. С. Станиславского<sup>5</sup>. Театр представления в борьбе за свое существование обрел «второе дыхание» (неудачно сказано, а как иначе?); в творчестве В. Н. Рыжовой, Е. Д. Турчаниновой нашел стимул к живому продолжению традиций.

О принципах театра переживания больше всего говорит режиссерская практика К. С. Станиславского.

Р. Н. Молчанова — в роли Луизы Жерар, слепой, оставшейся без помощи в незнакомом городе (в пьесе Денери и Кернона «Сестры Жерар»). Роль ей (на репетиции) вначале не давалась.

Константин Сергеевич на минуту задумался, посмотрел на нашу выгородку, на всю обстановку в фойе и отдал совсем неожиданное распоряжение: — Опустите, пожалуйста, все занавесы на окнах и закройте двери, — сказал он. — Потушите свет. Кажется, довольно темно?

[Н. М. Горчаков.] Да, пока глаза не привыкли к темноте...

Константин Сергеевич встал и отошел в дальний угол зала, его голос донесся к нам откуда-то из-за ширм.

[К. С.] Раиса Николаевна, я попрошу вас подойти ко мне...

[Р. Н. Молчанова.] Пожалуйста, Константин Сергеевич ...

В зале возникло было веселое настроение, но К. С. резко прервал его.

[К. С.] Я попрошу всех соблюдать тишину, абсолютную тишину, такую, которая окружала слепую Луизу, когда она осталась одна на площади.

От этих слов, сказанных повелительным голосом, с интонацией, неожиданно передавшей всю трагичность положения слепой, беспомощной девушки в чужом ей городе, в зале воцарилась действительно мертвая тишина.

Р. Н. Молчанова пробиравалась в темноте через нагроможденные предметы, сразу ставшие для нее реальным «препятствием», к тому месту, где она думала найти Константина Сергеевича.

— Простите, — говорила она каким-то странным тихим голосом, — здесь кто-то сидит, кажется... я вас задела. — Но ей никто не отвечал, и от этого делалось как-то необычайно жутко.

— Здесь никого нет, — продолжала она, достигнув конца залы. — Константин Сергеевич, вы ушли в другое место? — И опять ей ответило молчание.

Даже мы, присутствовавшие, были поражены: следя за поисками Молчановой-Луизы, мы не заметили, когда и как покинул свое местопребывание Константин Сергеевич и где он теперь...

А Молчанова все бродила в темноте, в хаосе вещей и предметов, но самые простые слова и восклицания актрисы стали звучать драматически-напряженно и выразительно!

---

<sup>5</sup> На наш взгляд, черты, особенно чуждые театру переживания, как живому продолжению театра представления, наиболее полно были воплощены в творчестве П. М. Садовского («Прова Второго»).

А затем произошло самое неожиданное.

Молчанова вдруг разрыдалась где-то в углу зала, за станками и ширмами, все в той же напряженной тишине, и позвала — робко, неуверенно, жалобно: «Генриэтта, Генриэтта, где ты?».

Мы все вздрогнули: талант актрисы подсказал ей обращение к сестре — к сюжету пьесы... И она произнесла его с предельной правдой, искренностью, верой в те обстоятельства, в которых она очутилась.

Это заставило и нас поверить в сценическое положение. В ту же секунду из кресла, стоявшего рядом со мной, раздался довольный голос Константина Сергеевича (когда и как он в него сел, никто не заметил).

— Ну, вот, и прекрасно. Теперь вы понимаете, что значит молчание Парижа и площади, на которой вы остались одна, что значит темнота?

— Понимаю, — еще дрожащим голосом ответила откуда-то из другого конца зала Молчанова.

— Зажгите свет! — приказал Константин Сергеевич. — Идите сюда, Раиса Николаевна. Теперь вы знаете, что такое слепота. Вам было страшно, потому что все молчали. Так молчит вокруг вас, Луизы, Париж. Луиза знает цену этого молчания. Как правило, люди зрячие инстинктивно не любят слепых. Они видят, что идет слепой, и обходят его. Это жестокость эгоиста, который боится, что слепой попросит услуги, в которой ему нельзя отказать. Пустынность не в пейзаже, не в декорации. Эгоизм людей в большом городе — вот что страшно и что нужно донести. Это передаст трагическое положение Луизы...».

Анализируя этюд, К. С. Станиславский говорил, обращаясь к Р. Н. Молчановой: «Вы не знали пути — вы натыкались, вы извинялись, глаза ваши были открыты. Вы шли, а не выступали. Вы реально искали меня, а не изображали слепую.

Вы стеснялись позвать — ваш голос подстроился на странный звук, полукрик, обрывистое восклицание» (Горчаков 1951, с. 411—413).

До сих пор покоряет естественность и глубина исполнения О. Л. Книппер-Чеховой роли Раневской («Вишневый сад» А. П. Чехова). Представить ее роль в виде фонетической транскрипции... Можно, конечно, но оставляет впечатление бессилия: то, что является сутью ее игры, утекает, как вода меж пальцами. Нужны особые регистры, особые знаки, чтобы хотя бы приблизительно схватить ее игру: особые — для изменения силы голоса, для его тембровых изменений, для колебания напряженности — ненапряженности артикуляции, для изменения интенсивности интонационных движений, для темповых модуляций, для пауз различной длительности.

Первое место в речи О. Л. Книппер-Чеховой принадлежит суперсегментным факторам речи. И у артистов Малого театра их роль велика, но притом они отражаются в самих звуковых, сегментных единицах, в их тембре — уже говорилось о пластичности гласных в зависимости от влияния интонации,

пауз и т. д. У мхатовцев такое воплощение суперсегментных показателей в сегментной «плоти» речи часто отсутствует. Значит, сегментные единицы, например гласные, более постоянны? Да, у О. Л. Книппер-Чеховой, у В. И. Качалова и у многих других мхатовцев это так.

И все же МХАТ не был никогда и не мог быть непогрешимой школой орфоэпической речи. Это обусловлено самой системой театра переживаний.

В театре представления роль отчеканена, закончена до спектакля. Отзывчивость артиста, конечно, вносит в эту законченность те или иные изменения в зависимости от общения на сцене с артистами-партнерами. И все же все основные краски найдены и передаются из спектакля в спектакль неизменно. Часть внимания освободилась для контроля за орфоэпической стороной речи — своей и партнеров. Можно следить за «орфоэпическим ансамблем», можно неуклонно его поддерживать.

Театр переживания требует, чтобы роль, по найденным методам ее построения, каждый раз заново создавалась на сцене. Актер не играет такое-то лицо, а переживает то, что по предлагаемым (сюжетным) обстоятельствам должно переживать реальное лицо. Внимание не может раздвоиться: это я делаю как Отелло, а это я делаю как Сальвини — например, наблюдаю за дикцией. Или — за орфоэпией.

Дело укрепления литературной речи, распространение нормативного произношения МХАТ, конечно, делал — просто потому, что артисты этого театра, высококультурные люди, безукоризненно владели литературной нормой, даже и в тех случаях, когда сознательно на нее внимание не обращено<sup>6</sup>.

Однако орфоэпического ансамбля, единого поведения по отношению к норме у артистов МХАТ не было — и если бы было, если бы это отвлекало их от полного слияния с персонажем, то, наверное, помешало бы им полностью стать артистами театра переживания.

На первое место у мхатовцев выдвинута функция индивидуально-характерологическая. Социальное не забыто, но предстает в форме индивидуально-своеобразной, дано в тех преломлениях, которые связаны с самими

---

<sup>6</sup> То, что артист точно передает авторский текст (не стихотворный), принадлежит к числу фикций. Даже играя Гоголя, Тургенева, Толстого, даже прекрасные артисты нередко переставляют слова, вольно обращаются с частицами, междометиями, вводными словами. Но степень этой свободы неодинакова в театре представления и в театре переживания: в последнем вольность обращения с текстом значительно больше. И почему это так, понятно: театр переживания требует полной сосредоточенности внимания, оно целиком — в области переживания того персонажа, в которого «воплотился» артист. Конечно, это воплощение — только до известной степени; но простор для размежевания разных областей внимания отсутствует.

глубинными, лично-неповторимыми переживаниями каждого (отдельно!) человека.

Информационная функция существенна для всякой сценической речи. Но здесь она временами отодвигается на задний план. Не случайно Художественный театр заявил себя в качестве нового слова в искусстве в первую очередь в пьесах А. П. Чехова:

— А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарница — страшное дело!..

Принцип построения диалога у Чехова часто таков, что прямая информационная сторона текста отодвигается на задний план.

Художественный театр создал величайшие эстетические ценности. Он начал новую эпоху в развитии театра. Но время показало, что и сценическая система Художественного театра (как и всякая другая) не обладает универсальностью. «Метод Художественного театра противен Пушкину, Мольеру, Корнелью, Расину, Софоклу», — верно говорил Л. М. Леонидов (1960, с. 435).

«Пушкина можно читать, петь, даже танцевать, но не играть. Для него нужна другая система, голым переживанием тут не возьмешь, — писал он. — Нельзя „переживать“ Пушкина. Имеется, к примеру, фраза Пимена „Пронснулся, брат?“ — на что Григорий отвечает: „Благослови меня...“ — это один стих, который нельзя рвать. Если Григорий начнет „переживать“, сделает большую паузу, он этим разрушит и стих, и самый смысл, да и пауза окажется мертвой, незаполненной. Пушкинский стих не позволяет рвать себя и жестоко мстит за подобные эксперименты» (Леонидов 1960, с. 175—176, 426—427).

Стих вообще, очевидно, вне пределов театра переживания<sup>7</sup>.

Е. Б. Вахтангов создал театральную систему, объединяющую театр переживания с театром представления. Артист должен на сцене жить подлинными чувствами своего героя и при этом помнить, что он — артист, что идет игра.

Отсюда — большое значение сценических импровизаций как средство воспитания такого артиста. Импровизация требует действовать «взаправду», реально, она целиком — создание воли импровизатора (как в реальной жизни поступок человека определен не текстом пьесы, не волей режиссера, а волей и сутью самого человека). И в то же время, импровизация — игра. Если человек просто сидит за столом и по своей воле с аппетитом ест борщ, то это трудно назвать импровизацией — не хватает игрового момента.

<sup>7</sup> В. Я. Виленкин пишет о В. И. Качалове: «Он не умел и не желал разлагать стихотворение ... на „ритмические единицы“, не старался выделять или подчеркивать стиховые паузы или рифмы» (Виленкин 1954, с. 191). Увы, это так. Об уровне стиховой культуры МХАТа см.: Станиславский 1954); ср. мнение Д. И. Тальникова (Тальников 1936, с. 197); ср. также высказывания В. И. Немировича-Данченко о стиховой речи на сцене (Немирович-Данченко 1984, с. 154—155).

Во время репетиций «Принцессы Турандот» Е. Б. Вахтангов говорил:

— Для мгновенной импровизации (а нам нужна именно такая!) необходима не выдумка, а действие: умное, глупое, наивное, простое, сложное — все равно какое, но действие. Уметь действовать на любую тему нелегко.

Вот передо мной сидят Тарталья и Панталоне. Я им даю задачу на действие. Тарталья читает книгу, а Панталоне должен его раздеть, снять с него все, что можно, но так, чтобы тот не заметил. Ну, разумеется, «не заметил» — это условие, которое Тарталья обязан выполнять для нас, зрителей. Предполагается, что он очень увлечен книгой.

Конечно, Панталоне — это не вор и не бандит. Это его друг, но он помешан на том, что, если человека освободить от всей лишней одежды, на земле наступит рай! Панталоне, увлеченный своей мыслью, достиг некоторого совершенства в умении освобождать своих друзей и близких от всего лишнего в одежде. Таковы предполагаемые условия для действия. Попрошу его совершить на наших глазах. Сами понимаете, что при этом говорить друг с другом вы можете о чем угодно... Приспособление: вы предельно утонченно вежливы друг с другом.

И снова на наших глазах разыгралась веселая сцена.

— Мой благороднейший друг Тартальончик, — сладчайшим голосом обратился Кудрявцев к Щукину, — вы снова заняты чтением, сидите на солнышке. Неужели вам не жарко?

С некоторым изумлением мы констатировали, что Кудрявцев сразу применил найденный им в предыдущих упражнениях диалект, он опять нарочно коверкал слова или придавал им оттенок нежности. Мы даже полагали, что Вахтангов остановит, запретит ему искажать речь, так как требовал от всех занятых в «Турандот» актеров абсолютной чистоты речи. Но Вахтангов не остановил Кудрявцева.

— Мне ни-ни-ни-когда, — вдруг начал заикаться Тарталья-Щукин, — не бы-бы-бы-вает «жарко», — перехватил он словечко Кудрявцева, — ко-ко-ко-гда я читаю.

— Это, наверно́е, — сделал нелепое ударение в слове Кудрявцев, потому четео (он образовал слово из предлога) у вас такой роскошный галстучек.

И, как бы любуясь им, Кудрявцев вытянул довольно-таки потертый галстук своего партнера и перевернул его на спину последнего...

... Ботинки были сняты с Тартальи, пиджак тоже ...

— Довольно! — прозвучал голос Вахтангова. — Хорошо работали. Итак, точность исполнения простого действия, как видите, обязательна, но приспособления могут быть самые неожиданные. И Кудрявцев молодец, хорошо их находил. Теперь следующее. Вы действовали «от себя», но интуитивно спрятались за манеру речи. Ведь нигде не сказано, что ученый секретарь Альтоума — Панталоне — коверкает слова, вульгаризирует речь, иногда употребляет слащавую умильность. Нигде не сказано, что и великий канцлер Тарталья заикается. Это почти контрастные их обязанности приспособления. Именно за это я вам оставляю эти «диалекты», прошу их раз-

рабатывать и совершенствовать, но пользоваться ими в строгой мере художественного вкуса и с предельным изяществом (Горчаков 1957, с. 135—136).

В чеховской «Свадьбе» И. М. Толчанов исполнял роль Нюнина (постановка Е. Б. Вахтангова).

Вахтангов мог дать всего одну репетицию. Я чувствовал, что мой так хорошо нафантазированный Нюнин не живет: текст получается невыразительный, движения связаны. Евгений Багратионович посмотрел нашу работу. Было ясно, что он не удовлетворен.

Просидев молча с полминуты, он, вдруг хитро улыбнувшись, сказал:

— А ну, попробуй испортить дикцию.

Репетиции начались вновь. Я вылетел как ошпаренный на сцену и высоким голосом, преодолевая скованность языка, крикнул: «Постойте, господа, не ешьте! ... Сейчас придет генерал...» Нюнин безумно торопился — следом шел генерал, надо было успеть предупредить, а времени нет ... Прибавилась действенная задача — успеть сказать во что бы то ни стало. И с первых же слов я понял, что попал на правильный путь — получается ... Вахтангов сказал: «Вот так и играйте».

Бывают на сцене минуты, продолжает И. М. Толчанов, полной отдачи себя действию под влиянием чувства безусловной необходимости этого действия, чувства, растущего из глубины неких внутренних потрясений... Вот в такие минуты во мне возникает та безмерно любимая мной неразрывная двойственность, на одном конце которой живет и волнуется Нюнин, а на другом — радуется или сердится актер Толчанов, вооруженный до предела обостренным вниманием:

— Постойте, господа, не ешьте ... Сейчас придет генерал, — вылетает Нюнин.

— Куда ты торопишься? — задерживает Толчанов, — К кому обращаешься, ты же никого не увидел? И почему «постой» вместо «постойте»?

— У меня нет времени, — злится Нюнин. — Я же тороплюсь.

— Торопись внятно... И, кроме того, тебя не видно ... Ну вот, а теперь и видно, и слышно, и внятно, и понятно, и Толчанову радостно, и Нюнину удобно и ловко... Слышишь, как чудесно замер зрительный зал? Ни одного кашля! (Толчанов 1961, с. 29—31).

Сценическая система Вахтангова показана наглядно и ясно. Допущена импровизация актера — она охватывает и произносительный рисунок роли. Импровизация — игра; но принимается только такая игра, которая определенным образом воздействует на зрителя, позволяя и зрителю, и — конечно, в первую очередь — артисту чувствовать себя включенными в действие, войти в мир персонажей.

«„Изысканность“ и „ученость“ Панталоне[-Кудрявцева] выглядели особенно забавно, когда исполнитель этой роли произносил свои мудреные фразы бытовым рязанским говорком», — пишет Р. Н. Симонов (Симонов 1976, с. 121).

Позволяет ли «рязанский говорок» дать более глубоко социальную или индивидуальную суть Панталоне? Очевидно, нет. «Рязанский говорок» (именно у Панталоне!) нужен для воздействия на слушателя-зрителя, чтобы зритель почувствовал себя в мире смеха (в других случаях, в других спектаклях — в мире трагического).

В сценической системе Вахтангова выдвигается на первый план языковая функция воздействия на слушателя. Остается значительной и функция индивидуально-характерологическая; происходит взаимная поддержка и обогащение этих функций. Социальное, как и в мхатовской школе, рисуется через индивидуальное.

В Малом театре функция воздействия на слушателя (зрителя) непосредственно не выдвигалась в число ведущих: роль отчеканивалась на репетициях (конечно, в расчете на зрителя), и на спектакле она воспроизводилась в своей классически выверенной форме. Художественный театр, театр переживания, возвел четвертую (воображаемую) стену, которая замыкала сценическую площадку и отделяла ее от зрителей.

Илье Ильфу казалось очень смешным объявление в зрительном зале МХАТа: «Просят зрителей не аплодировать во время действия, чтобы не разрушать целостность зрительного впечатления». Однако требование не аплодировать во время действия было глубоко органично для МХАТа: это требование не разрушать четвертую стену, не выдвигать на первый план функцию непосредственного общения со зрителем.

Е. Б. Вахтангов выдвинул в своей театральной системе волевою функцию языка на первый план; вместе с ней, как сказано, была активной и функция индивидуально-характерологическая. Р. И. Симонов вспоминает об исполнении Б. В. Щукиным роли кюре в «Чуде св. Антония» Метерлинка:

При всей своей полноте он стремился быть изящным. Так часто бывает у тучных людей — полнота соединяется с изяществом и грациозностью. Грациозность была кокетливой, почти женственной. Внешний облик священника свидетельствовал о том, с какой графической точностью лепил эту фигуру совсем еще молодой тогда талантливый артист.

Но в работе над ролью «создать фигуру» — только половина актерского дела. Необходимо снабдить внешний образ речью, органически сливающейся с графическим внешним рисунком роли. И Щукин нашел тут великолепный прием — говорить высоким, тонким теноровым голосом, нараспев. Начиная речь мелодичным и медоточивым голосом, Щукин постепенно усиливал звук, незаметно переходил на речитатив церковной службы, а затем и на пение. Это нарастание происходило постепенно, незаметно, и мы неожиданно в конце фразы вдруг замечали, что, оказывается, щукинский кюре не говорит на сцене, а поет. Прием этот — смелый, яркий и необычный — выполнялся Щукиным с исключительной артистичностью (Симонов 1976, с. 76).



О своей работе над ролью Булычева Щукин говорил: «Язык Булычева — как стихи. Фраза закончена, кругла, ритмически четка ... Она — как пословица. То, что мой Булычев говорит на о, объясняется не только тем, что дело происходит в Костроме, а и тем, что особенность речи еще больше подчеркивает афористичность, особый игровой и звуковой ритм горьковского текста» (Новицкий 1948, с. 120). Не принадлежность к социальной страте определяет оканье щукинского Булычева — в первую очередь важно, что оно передает зрителю стиль (пословичный, круглый, крутой) булычевского мышления, и передает зрителю непосредственно, самой звуковой материей этой речи. Видно, вахтанговская система пригодна не только для комедии, но и для драмы, и для трагедии.

Отношением к кодовой функции определяется сценическая речь в театральных системах В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова (это отношение различно у каждого из них). Эта тема требует особого анализа.

### Литература

- Виленкин 1954 — *Виленкин В. Я.* Драматургия и лирика Пушкина в репертуаре В. И. Качалова // В. И. Качалов. М., 1954.
- Горчаков 1951 — *Горчаков П. М.* Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1951.
- Ильинская, Сидоров 1955 — *Ильинская И. С., Сидоров В. Н.* О сценическом произношении в московских театрах // Вопросы культуры речи. Вып. I. М., 1955.
- Кугель 1967 — *Кугель А.* Театральные портреты. Л., 1967.
- Леонидов 1960 — *Леонидов Л. М.* Из записных книжек // Л. М. Леонидов. М., 1960.
- Немирович-Данченко 1984 — *Немирович-Данченко В. И.* Незавершенные режиссерские работы: Борис Годунов. Гамлет. М., 1984.
- Новицкий 1948 — *Новицкий П. Б. В.* Щукин. М., 1948.
- Симонов 1976 — *Симонов Р. Н.* Современники. М., 1976.
- Станиславский 1954 — *Станиславский К. С.* Моя жизнь в искусстве // Собр. соч. Т. I. М., 1954.
- Тальников 1936 — *Тальников Д. И.* Театр актера // Литературный современник. 1936. № 2.
- Толчанов 1961 — *Толчанов И. М.* Мои роли. М., 1961.
- Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
- Турчанинова 1959 — *Турчанинова Е. Д.* Воспоминания. М., 1959.
- Яблочкина 1960 — *Яблочкина А. А.* 75 лет в театре. М., 1960.
- Якобсон 1975 — *Якобсон Р. О.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.

## Фонетика поэзии\*

1. В поэзии — особая фонетика. Она может отменить (лишить функций) любые звуковые отличия, хотя бы в бытовой речи их работа и была совершенно необходима. И, наоборот, в поэзии могут получить функциональную нагрузку такие произносительные особенности, которые в бытовой речи незначимы.

2. У Некрасова обычны такие рифмы: *ещё — горячо, леща — с плеча, плечо — горячо, безобразно тоща — влача...*

Русской классической рифме необходим определенный минимум созвучности. Не составляют рифм: *тебя — меня, она — трецца, хобот слона — грива льва*. Рифменная переключка должна включать не менее двух звуков (ударный гласный + хотя бы один согласный рядом с ним)<sup>1</sup>: *вода — всегда, трава — голова*, хотя и скромные, но рифмы. Значит, обычная у Некрасова рифмовка типа *леща — с плеча* свидетельствует: он произносил *е[ш'ч']ё, ле[ш'ч']а* и т. д. Нет сомнения, что это было его обычное произношение (характерное для Петербурга).

Приверженность в бытовой речи к определенной произносительной норме — конечно, не творческий акт, но, войдя в стих, выбор становится эстетически существенным. Стих своим строением требует избрать именно это, а не другое произношение.

Мы исходим из принципа стиховой достаточности. Он часто указывает, как надо произносить стихотворение. На протяжении этой статьи еще не раз встретимся с этим принципом.

3. Общепринятое произношение: *бог* = [бох]. В городской речи существует произношение [бок], не одобряемое нормой. Но оно может понадобиться стиху. У Маяковского:

Бывало,  
сезон,

---

\* Проблемы фонетики. I: Сб. ст. / Отв. ред. Т. М. Николаева. М.: Прометей, 1993. С. 135—151.

<sup>1</sup> Звоние играет роль универсального согласного: *Пуо — кого* = [каво́], *Кюи — ничьи, боа —ума, струй — грози* — нормальные рифмы.

наш бог Ван-Гог,  
 Другой сезон —  
                                 Сезан.  
 Теперь  
                                 ушли от искусства  
   вбок —  
 не краску любят,  
                                 а сан.

Строчные рифмы традиционны по строению: *Ван-Гог* — *вбок*, *Сезан* — *сан*. Но вразрез с этой обыденщиной идут внутренние созвучия: *наш бог* — *Ван-Гог* (тождество гласных — частичное нетождество согласных), *сезон* — *Сезан* (тождество согласных — частичное нетождество гласных). Каждое из этих сочетаний разрезано паузой, и этим внутренняя переключка звуков выделена и подчеркнута.

Произносить в этом стихе надо: [бок] — [вангók]. Может быть, сойдет и переключка *-ох* — *-ок*? Нет, это недостаточное созвучие. Требования стиховой достаточности отвергают возможность такой звуковой интерпретации. Повторим: строфа построена на контрасте сдержанной внешней рифмовки и богатой внутренней, звуковых огрызков *ох* — *ок* для этого недостаточно<sup>2</sup>.

Итак, стих требует произношения [бок]. Оно не избрано нормой, но избрано поэтом. И стало в этом стихотворении обязательным для читателя-произносителя.

Нет основания считать, что так обычно произносил Маяковский. Поэзия — не отражение реальности, а отношение к ней.

Стих выбирает, и читатель обязан принять этот выбор, если он хочет остаться читателем стиха. Выбор возможен или из двух равноправных литературных норм, или из произношения «законного» и «не вполне законного»... более того: поэт может отдать свое предпочтение нелитературному произношению, например, диалектному. В бытовой речи такой отход от нормы мог

<sup>2</sup> В поэзии любое правило, требование, обычай могут быть отменены. Этому подчиняется и рифменный минимум:

Есть на Черном жуткий остров Березань.  
 Оковала его моря бирюза.  
 Око вала поглядело и назад  
 Оглянувшись, хотело добежать.

*Д. Петровский*

Богатство внутренних звукоповторов, сильная рифма *Березань* — *бирюза* вызвали, в качестве контраста, полурифму-тень *назад* — *добежать*. Д. Петровский любил такой контраст рифм.

бы вызвать (в каких-то случаях) осуждение, но поэтический текст, по замыслу поэта, его принимает.

4. Одно из произведений А. Яшина начинается так:

С новой запевкой на Новый год  
Девка на лавке верёвку вьёт...

К стихотворению сделано примечание: «Звук *ф* в стихотворении нет — особенность произношения в некоторых районах Севера»<sup>3</sup>. То есть имеется произношение с губно-губным [w] или с [ў] неслоговым.

И. Сельвинский так передает речь одного из своих персонажей:

Вскочил холмогорец: «Глядите? Наши?  
Да мы? Пятилетку? В цагыре года?»

В некоторых говорах повествовательное предложение произносится с интонационным подъемом в конечных слогах (в «постцентре»). И поэт счел нужным воспроизвести эту интонацию. Сельвинский любил играть с речевой нормой: это отвечало его стилистике.

5. Поэт, в поисках нужного ему строя стиха, может протянуть руку и подалее — к иноязычным фонетическим мирам. Так, например, С. Шевырев, в переводе «Освобожденного Иерусалима» Тассо, предлагает читателю два гласных, соединенных зиянием, произносить в один слог:

Таков был франков бег: их свежий след  
Срацины и демоны не покидали...  
Медлительные, важные, кругом  
Годфред обводит очи с недоуменьем...  
Потом кружит отселе и оттоле,  
И вновь кружит оттоле и отселе, —  
И всякий раз, вскипая более и боле,  
Разит врага тяжеле и тяжеле...

Мотивировка простая: надо передать просодическое богатство итальянского стиха... Более существенная причина, которая волновала многих поэтов-современников Шевырева: стремление обновить звучание русского ямба, вывести его из зоны штиля — из области ритмических штампов.

6. Чем определяются все эти поиски поэтов, их отход от привычных норм речи? Желанием обогатить читателя этнографическими сведениями? Показать, как обстоят фонетические дела в различных этнических социумах? Нет, причина в самой поэтической речи. Она — не зеркало, не отражение, не воспроизведение реальной данности, в том числе — стандартной речевой данно-

<sup>3</sup> Яшин А. Земляки. М., 1946. С. 45. В других сборниках не перепечатывалось.

сти. Она — отношение к материалу. Это может быть отношение сходства, подобия, параллельности, даже, может быть, тождества; но возможно и отношение контраста, «отлета» от обыденно-бытового строя речи, отношение игрового преобразования, сатирической перемонтировки, эмоционального сдвига всех отношений в тексте; из материала, данного массовой речью, строится новый языковой мир. Материал «со стороны» (диалектный, иноязычный) помогает таким творческим поискам.

7. Говорилось о том, что поэт выбирает орфоэпическую норму для своего произведения, для своих персонажей. Выбор, по крайней мере, по видимости, мотивирован извне: язык предлагает на выбор то или иное. Но, может быть, более интересны случаи, когда фонетическое преобразование создается внутри стиха, по его требованию. Остановимся на таком глубоком пересоздании речи в поэтическом произведении, когда нерелевантные, незначимые признаки превращаются в значимые.

8. Русский гекзаметр — это шестистопный дактиль. В переводе «Илиды» Н. Гнедича допускается пропуск слога (как и положено в нашем родном гекзаметре). «Выброска» слога отзывается в соседних ударных слогах: или один из них удлиняется, или он «угромчивается» (усиливается его ударность), или на месте выброшенного слога появляется пауза. Вот так:

Сладостью речи твоей убеждай ты • каждого мужа...  
 Многих уже он градов сокрушил | • высокие главы...  
 Девять прошло круговратных годов | • великого Зевса...  
 Нам не разрушить | • Трѳи, с широкими стогнами града...  
 В камень его превращает сын • хитроумного Крона...  
 Сшиблись щиты со щитами; | • грѳм поднялся | • ужасный...  
 Рек — и понесся вперед, • | и муж с ним, • богу подобный...  
 Мѳ, • безмолвные стоя, дивились тому, что творилось...<sup>4</sup>

Всѳ это примеры безупречного гекзаметра.

У Гнедича в «Илиаде» стих нередко начинается таким сочетанием слогов: ◡◡'. Если «смотреть на вещи просто», то вместо шестистопного дактиля выступает пятистопный анапест. Исчез первый, ударный слог гекзаметра. Вообще размеры с трехсложной стопой легко сочетаются друг с другом: *Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной...* Но гекзаметру такая замена чужда, чуждо и сокращение количества стоп — с шести до пяти. Нужно разгадать секрет этих стихов, понять их «ошибочность» как нужную для стиха закономерность.

Посмотрим примеры:

<sup>4</sup> \* Обозначения: • место в строке, где опущен слог; — удлинение гласного; " усиление ударности; | пауза.

Но Кронид громовержец мне лишь беды посылает...  
 И ахеян суда по морям предводил к Илиону...  
 Но сокрытую злобу, доколе ее не исполнит...  
 И, богиня старейшая, дочь хитроумного Крона...  
 И в Афины ввела, и в блестящий свой храм водворила...  
 И девятая мать, недавно родившая пташек...  
 Но мужей, населяющих град велелепный Афины...  
 И двенадцать за ним принеслось кораблей красноносых...  
 Но живущих в Микене, прекрасно устроенном граде...  
 И других, населяющих Крита стоградого земли...  
 Но не мужествен был он и малую вывел дружину...  
 Но народы сии о гремящей не мыслили брани...  
 Но бездействовал он при своих кораблях мореходных...  
 И супругой любезной тебя наречет победитель...  
 И помолимся Зевсу, да ныне помилует нас он!..  
 Чтоб за ним в кораблях, обратно к отчизне любезной...

... Гектор, всегда ты меня порицаешь, когда на советах  
 Я говорю справедливое: ибо никто и не должен,  
 Быв гражданин, говорить против истины, как на советах,  
 Так и в брани, одно умножая твое властелинство...

Таких «анapestических» зачинов в Гнедичевой «Илиаде» несколько десятков. И все они имеют одну и ту же особенность: первый слог занят отдельным (односложным) служебным словом. Понятно, почему служебным: речь идет о безударном слоге. Но что означает его обязательная отдельность, односложность? Истолковать можно только так: начало равно не  $\cup\cup'$ , а  $\bar{\cup}\cdot\cup'$ , то есть начальная стопа дактилична, что, конечно, закономерно для гекзаметра. Следовательно, первый слог, занятый служебным словом, на самом деле ритмически ударный, и надо его ударность демонстрировать. Очевидно — удлинением, в редких случаях — паузой (*Но — не мужествен был он и малую вывел дружину...*)<sup>5</sup>.

Не соблазнительно ли такое мнение: да никак не выделен этот слог, а просто читатель-произноситель знает, что это слово — отдельность и тем уже оно имеет «нравственное» достоинство ударного. Мнение притягательное, но все же думаю, что оно неверно. Противоречит требованию стиховой достаточности. Ритмика стиха — это не то, что знают, а то, что реализуют в реальном звучании.

<sup>5</sup> Удлинение гласного является сигналом (как будет показано дальше) либо пропуска, либо наращенного слога в ритмо-метрической сетке. Поэтому в гекзаметре удлинение первого безударного слога (перед следующим, опущенным), во-первых, является заменителем ударности этого слога, во-вторых, сигнализирует пропуск слога в стопе. Функция двойная.

Мы встретились с ритмическим сбоем, со стиховой аномалией. Других аномалий, нарушающих строй русского гекзаметра, в Гнедичевом переводе «Илиады» нет. Следовательно, надо найти такое понимание ритмических фактов, которое поможет понять, что аномалия — мнимая, что первая стопа — не анапест, что уменьшения количества стоп нет. Ключом служит наблюдение над первым словом в таких стихах: оно всегда односложно. Оно приготовлено для отдельного произносительного выделения. Оно может быть выделено либо мощным ударением, либо паузой, либо длительностью. Но слово это — всегда служебное (речь ведь идет о безударном начале стиха); следовательно, мощное ударение и пауза — за редким исключением — отпадают. Остается предположить единственно возможное: этот начальный слог произносится удлинено. Длительность выступает как заместитель ударности. Стих, например, *И помолимся Зевсу, да ныне помилует нас он!* имеет такой ритмический строй:

⊖ • ⊘' ⊘ ⊘' ⊘ ⊘' ⊘ ⊘' ⊘ ⊘' ⊘ ⊘' ⊘

В разобранном случае бытовая речь не подсказывает норму произношения в поэтическом произведении. Длительность гласных не используется в ней для каких-нибудь ритмических целей: прозаической бытовой речи чужда забота о ритмическом выделении слога. Норма произношения здесь создается в самом произведении, а не берется напрокат из какого-либо иного языкового образования.

А как же читатель-произноситель узнаёт, что необходимо именно такое произношение, такая норма? Так же, как только что узнали мы: на основании верной оценки ритмической сути произведения, только у читателя-произносителя эта оценка обычно возникает интуитивно, как бессознательное вхождение в мир поэта, а у нас был рационалистический анализ — с обоснованиями, но без той глубины, которая присуща интуиции.

9. А если кто-нибудь прочтёт строки из перевода Гнедича, о которых идёт речь, анапестически? Никак не выделяя первый слог? От этого стих не разрушится.

Мы уже говорили, что рифмы Некрасова типа *ещё — горячо*, если их произносить «по-московски» (*e[š' ]ě — горячо*), оказываются разрушенными: такое звуковое совпадение недостаточно для рифмы. Получается не рифма, а неряшливое, случайное звуковое совпадение; так — по нормам классического стиха. В этом случае нами было использовано понятие стиховой достаточности — недостаточности.

Если определенные строки гекзаметра читать с анапестическим зачином, то стих остается стихом. (О стиховой недостаточности говорить не приходится.) Однако при этом не будет понят ритмический замысел поэта. Реальное

звучание не воплотит возможности, заложенные в его строении. Стих остается стихом, он не разрушен, но звуковой замысел поэта не получает адекватного воплощения.

Планка может быть установлена на двух уровнях: надо получить то, что в данную эпоху культурная традиция признаёт стихом (принцип стиховой достаточности); поднимем планку выше: надо получить такой стих, который воплощает возможности, заложенные в поэтическом тексте. И то, и другое дано не выделением прозаической бытовой речи, а создается вне ее и является определенным отношением к прозаической речи.

10. Вот еще случай, когда норма произношения создается в самом произведении. И снова героями выступают односложные служебные слова — Протеи поэтической речи, легко меняющие свою звуковую суть.

М. Ломоносов в своих стихотворениях ранних лет (до начала 40-х годов) стремился к беспирихийному ямбу. Например, в оде «Первые трофеи Иоанна III» (1741) 230 стихов, из них только три содержат безусловный пиррихий<sup>6</sup>. (Слово «безусловный» получит разъяснение в дальнейшем.)

Заметно, что в тех случаях, когда четный слог готов «впасть в пиррихий», он представлен односложным словом; притом — служебным (мы рассматриваем случаи, где можно предполагать безударность). Эта тенденция почти не знает исключения. Примеры: *Вы, ножки<sup>7</sup>, что лобзать желают Давно уста высоких лиц, Подданства знаки Вам являют Языки многи, павиши ниц, В Петров и Аннин след вступите, Противных дерзость всех стопчите; Прямой покажет правда путь; Вас храбрость над луной поставит И в тех землях меня прославит, О коих ныне нигде нечуть... Господствуй, радость, ты едина Над властью толь широких стран. Но, мышлю, придет лишь година, Познаешь как, что враг погран Твоих удачами славных дедов, Что страшны те у всех соседов; Заплачешь как Филиппов сын... Кровавы очи лишь сомкнул, Внезапно тих к себе почул Приход Венеры и Дианы* (из од 1741 года). Выделены служебные слова на четных слогах (все они — односложные).

Любой четный слог в ранних ямбических одах Ломоносова (в тех, которые не подверглись позднейшей переделке) либо ударный, либо безударный в отдельном, односложном слове. То есть используются такие безударные слова, которые могут быть пожалованы ударностью без их искажения. Иными словами, только в служебных односложных словах замена

<sup>6</sup> В трех из них — пиррихий поневоле. Оды выполняли информационную роль; они были реляции. Надо было сообщить о взятии города Вильманстранда, а в нем три слога! Из 6 стихов с пиррихийем 3 случая спровоцированы названием этого города. (До самых Вильманстрандских рвов...)

<sup>7</sup> Ножки новорожденного императора Иоанна Антоновича.



безударности на ударность не связана со смещением ударения и не ведет к уродливости слова.

Это означает, что такие слова, как *и, а, но* (союзы), *для, пред, без* (предлоги), *лишь, столь* (частицы) и т. п., попадая в четные слоги ямба, произносились ударно. Это означает, что стихи типа *Вас храбрость над луной поставит* не были пиррихийны: *над* несло ударение, и всего их в стихе было 4.

Ломоносовский ямб, напомним, — ораторский стих. Взлетают всплески логических ударений. Сочетание антонимов в одном стихе или в соседних стихах, инверсии, риторические повторы слов — всё это стимулирует ораторскую взвинченность. Такие логические ударения передают эмоциональное напряжение, они сильнее обычных ударений; их расположение — лирический беспорядок, они падают на разные части стиха... Контраст им — обычные ямбические ударения: они умеренно-ударны, выравнены, их назначение — неизменно быть на месте, то есть на каждом четном слоге. Итак, ямб Ломоносова — двухъярусная постройка:

Подобно бѣстрый как сокол  
С руки ловцовой в вѣрх и в дол  
Бодрѣ взирает скорым оком,  
На всякий час взлетѣть готов,  
Похитить, где увидит лов  
В воздушном царстве свой широким, —  
Врагов так смотрит наш солдат,  
Врагов, что вечный мир попрали,  
Врагов, что наш покой смущали,  
Врагов, что нас пожрать хотят.

Вероятно, полностью реставрировать то произношение, на которое рассчитан ломоносовский ямб, сейчас уже нельзя. (Высокое оканье, обязательное для оды XVIII века, явно невозстановимо: оно перестало быть знаком высокости.) Но известное приближение к двухъярусности этого стиха возможно и, на наш взгляд, желательно.

11. Русские стихотворения сапфическими строфами писали А. Сумароков, А. Радищев, А. Мерзляков, А. Востоков, А. Семенов-Тянь-Шанский (переводы из Горация), В. Брюсов, Вяч. И. Иванов (переводы из Саффо и Алкея), С. М. Соловьев, А. Пиотровский (переводы из Катуллы)... Упоминаю только мастеров. Этого достаточно, чтобы русскую сапфическую строфу, навеянную античной лирикой, считать полноправным действующим лицом в нашей поэзии. Сапфическая строфа без цезуры имеет такое строение:

' u ' u — u u ' u — u (3)  
— u u — u

Ночь была прохладная, светло в небе  
Звезды блещут, тихо источник льется,

Ветры нежно вѣют, шумят листами  
 Тополи бѣлы.  
 Ты клялася вѣрною быть вовѣки,  
 Мне богиню нѣщи дала порукой;  
 Север хладный дѣнул один раз крѣпче —  
 Клятва исчѣзла.

*А. Радищев*

Выделенные слоги произносятся удлинено — этого достаточно, чтобы стих был стихом. Без этого возникнет какофония, которая зачеркнет стих, зачеркнет поэзию. При таком условном (то есть антипрозаическом) чтении возникает стих удивительной, причудливой красоты.

**12.** Еще более причудлива и своеобразна сапфическая строфа с цезурой (после 5 слога):

Вдруг из мрѣка бѣл | мне явился прїзрак,  
 Весь в тумѣне: бн | приближался тихо,  
 Не был страшен мнѣ, | я узнал в нем мїлый  
 Образ Филѣона (...)  
 Он устѣ отвѣрз, — | как с журчащим тѣком  
 Шепчет в дѣбрях гѣл, | или арфу бѣрда  
 Тронет вѣтер, — тѣк | мне влился в ѣхо  
 Гѣлос эфирный.  
 Он гласїл: Мой дрѣг, | веселились, не сѣтуй.  
 Все возмѣжно! Зрїшь | ли миры блестящи  
 Тамо; зѣмлю здѣсь? | Что она пред нїми,  
 То и жїзнь твоѣ | пред другими жїзнями  
 В вѣчной Прирѣде.

*А. Востоков*

Здесь отмечена цезура удлинением гласного перед ней, а также паузой. Но, видимо, достаточно одного удлинения.

Такой стих со всей очевидностью построен не «параллельно» бытовой речи, а «перпендикулярно». Задача ритмо-метрического строя здесь в том, чтобы добиться контрастного отношения к бытовой речи. Этому служит твѣрдый причудливый рисунок ударностей-безударностей, неожиданные разрезы синтаксических целостностей с помощью цезур и границ между стихами, стиховое (не обусловленное обычной речью) удлинение слогов.

Стих есть отношение к бытовой речи. Здесь это отношение является демонстративным отстоянием.

**13.** «Распевность» сапфических строф не является угождением античной метрике. Она отвечает природе русского стиха. Вот пример (давно излюбленный стиховедами):

О как на склоне наших лет  
 Нежней мы любим и суеверней...  
 Сияй, сияй, прощальный свет  
 Любви последней, зари вечерней!  
 Ф. Тютчев

Это ямб. Но второй и четвертый стих — с дополнительными слогами (вспомним сапфический стих). Божидар писал: «Начертательно заключаем о неправильности размера: ...ямб, промеженный анапестами; однако, читая эти стихотворения вслух, перебая размеров не примечаешь, но только... стих слышится чрезвычайно распевным...» Именно так: замедление одних слогов и убыстрение других создают распев.

**14.** Наконец, напомним «шевченковский» стих» (в русской поэзии). О нем уже немало написано.

Все эти случаи объединяются тем, что длительности слогов вовлекаются в стих не затем, чтобы воспроизвести какие-то особенности внестиховой речи (например, передать широкую, разлившую песню), а внутри стиха, и нужны для создания дистанции между бытовой и поэтической речью.

**15.** Градация ударений-полуударений тоже обусловлена во многих случаях изнутри стиха.

У А. Кольцова во многих стихотворениях дактилическое окончание стиха подравнивается к составному, дактило-ямбическому:

Сяду я за стол  
 Да подумаю,  
 Как на свете жить  
 Одиному...  
 Нет у молодца  
 Молодой жены,  
 Нет у молодца  
 Друга верного...

При этом (действует принцип стиховой достаточности) третий с конца слог всегда сильнее последнего. Если последний слог ударный, то дактилический слог — сверхударный: *Сяду я за стол...* Если последний слог не несет собственного ударения, то он полуударный, а сила дактилического слога может колебаться в пределах «ударность — сверхударность».

**16.** Такая же игра ударности — полуударности обычно сопутствует составной рифме:

Милкой мне в подарок бурка  
 и носки подарены.  
 Мчит Юденич с Петербурга  
 как наскипидаренный.  
 В. Маяковский

Слово *наскитидáренный* здесь произносится с побочным («половинным») ударением; но хотя в бытовой речи обходится без него. При этом гласный первого слога может произноситься либо как [а], либо как [ъ].

17. Полуударность может создаваться стихом, об этом говорят наши примеры. Сверхударность тоже бывает порождена строением стиха. И для этого не обязательно звать на помощь логическое ударение, как это было в одах Ломоносова.

Солдату  
                   упал |  
                           огóнь на глаза,  
 на клóк |  
                   волóс |  
                           лéг.  
 Я узнал,  
                   удивился,  
                           сказал:  
 «Здрáвствуйте, |  
                           Алекса́ндр Бло́к».  
   В. Маяковский

Здесь ритмическая доминанта — строка *Я узнал, удивился, сказал*; анапест. Остальные строки — на фоне этой, создающей меру для всей чреды строк. Пропуск слога, «положенного» по доминанте, сигнализируется усилением ударного слога, иногда — очень резким, а также глубокими разрывами пауз. (В тексте они отмечены.)

18. Пожалуй, такое же (или менее резкое) усиление ударений нужно и для стихотворения М. Лермонтова (или достаточно строгих пауз?):

Когда ма́вр • пришёл в наш роды́мый • дол,  
 Оскверняячи церкви порог,  
 Он без да́льных • слов выгнал всех чернецов;  
 Одного только выгнать не смог...  
 ... Рождался ли сын, он рыдал в тишине,  
 Когда ж прекратился сей род,  
 Он по звучным полáм • при бледной луне  
 Броды́л • взад и вперёд.

М. Лермонтов

Нет, видно, наше предположение, что можно довольствоваться только паузами («вымолчками», как говорил Божидар), неверно. В стихе окажутся две системы пауз: одна — сигналы опущенных слогов, другая — реализация цезур (внутри нечетных строк). Получится слишком громоздко: *Когда ма́вр | пришёл \ в наши роды́мый | дол...* Очевидно, нужно выделение слов *мавр* и *ро-*

димый усиленной ударностью, а «вымолчка» — только одна, в середине строки.

19. Ещё пример стихотворения, где нужно поднять ударность некоторых тактов:

С розовой пеной усталости у мя́гких губ  
Яростно волны зеленые ро́ет бы́к,  
Фыркает, гребли не любит, — же́нолю́б,  
Ноша хребту непривычна, и тру́д вели́к.

Изредка выскочит дельфина ко́лесó  
Да повстречается морской колю́чий ё́ж.  
Нежные руки Европы, — берите всё!  
Где ж ты для выи желанней я́рмо найдёшь?

Горько внимает Европа мо́гучий плёск,  
Тучное море кругом закипа́ет в ключ,  
Видно, страшит её вод масляни́стый блёск  
И соскользнуть бы хотелось с шерша́вых кру́ч...

О. Мандельштам

Доминанта представлена первой строкой: *С розовой пеной усталости* | у мя́гких губ... то есть: '○○'○○'○○ | ○'○'. Послецезурная часть имеет варианты: ○'○' и '○' (два раза — ○○○'○': ...закипа́ет в ключ... масляни́стый блеск...). Предцезурная часть тоже варьируется: '○○'○○' и '○○'○○'○○ (два раза — с наращением срединного слога: *Изредка выскочит дельфина... Да повстречается морской...*). Во всех случаях сохраняется контраст: до цезуры — два слога между ударениями, после — один слог. Но, как мы видели, «выброска» слогов способствует усилению ударности. Именно так и в стихотворении Мандельштама. Два последних ударения в каждом стихе — первый и третий слог с конца — усилены. В эту ритмическую волну попадает и *же́нолю́б* — с двумя ударениями на двух корнях, и даже *к[á]лесó*. Не нужно ли еще и выделение длительностью? Полагаем, что нет: установка на энергию и силу произношения. (Может быть, только в слове *колесо* первый слог выделен удлинением.) Предцезурная часть — убыстрена.

20. Значит: уменьшение числа междударных слогов — усиление ударных. Это вовсе не общее требование, а только возможность в некоторых стихотворениях. Такая возможность может быть использована с живописной целью, для наглядного изображения действия:

Стал воевода  
Требовать шубы...  
Ему Стенька Разин  
Не отдаёт шубы...

А. Пушкин

Сталкиваются ударения: *Не отдаёт шубы...* Изображена сила схватки. Двое рвут шубу из рук в руки. Два рывка — рядом. Сильны, резки.

**21.** До сих пор речь шла о разных количественных превращениях звуков в поэтической речи. Но могут быть и качественные преобразования.

Фонема — ряд позиционно чередующихся звуков. Она предлагает на выбор то или это — позиция выбирает. Поэтическая речь может потребовать нарушения этого мирного соглашения. Позиция склонна выбрать такой-то звук, а поэтический текст дает другой.

А. Вознесенский одно из своих стихотворений назвал: «Длинноного». Заглавие — часть произведения; замысел поэта понятен (ср. украинск. *дівча* средн. рода). Сохранить этот замысел можно одним путем: произношением [o] в заударной части слова. А позиция хотела бы, чтобы явились [a] или [ъ]. Звук вырвался из-под власти позиции.

**22.** Еще пример такого же своеволия:

Разум изрублен. Ё  
Скомканы вечностью вежды. Ты  
Не ответишь, возлюбленный,  
Прежняя моя надеждо.

*Н. Асеев*

Чтобы не потерять звательную форму, нужно заударное [o]. Но оно ценно для поэта и само по себе: как переключка с первой строкой, где тоже усилен последний гласный — поставленное особняком, «на юру», оторванное от остального текста *И*.

**23.** В шутивном стихотворении В. Соловьева<sup>8</sup>:

Сладко извергом быть  
И приятно забыть  
Бога.  
Но за это ждет до-  
Вольно скверная до-  
Рога.

Безударные слоги попали в мужскую рифму, т. е. под ударение. Читать с гласным [o]? Невозможно: оканье приобрело (уже и во время В. С. Соловьева) славу семинаристского произношения. И дело даже не в том, что автор стихотворения был далек от семинарии, от ее культуры, а в том, что стиль этого шуточного раздумья не требует семинаристских ассоциаций. Видимо, надо произносить: *Но за это ждет [дá] | Вольно скверная [дá] | Рога...*

<sup>8</sup> Стихотворение приписывается В. С. Соловьеву, см. *П. П. Гнедич. Книга жизни*. Л., 1929. С. 214. В собрание стихотворений В. С. Соловьева не включается.

И здесь звук не соответствует рангу, который ему готова предоставить позиция. Но если в *надеждо* этот ранг повышен (позиция слабая, а звук как бы из сильной), то здесь понижен: позиция сильная — рифма мужская, последний гласный под ударением, а звук «из низов», от слабой позиции.

**24.** Скажем снова: поэзия — не отражение реальности, а определённое (в каждом произведении — свое) соотношение с нею. Поэтому поэтическая речь то послушно ориентируется на обычную бытовую норму, то идет ей наперекор. То принимает ее, то отвергает.

А как поэтическая речь может заявить о своем особом статусе, не отдаляясь от повседневного говорения, не преобразуя норму? Вот как:

Умолкнут все звуки былого,  
Промчатся все призраки мимо,  
Лишь вечно горящее слово  
Вовеки неиспелимо.

*Н. Асеев*

Преобладают низкие согласные. Они задают тон в этой строфе. Им — предпочтение. Эстетическое предпочтение создает поэзию.

**25.** В бытовой речи, в бытовом общении не используется отдельное качество звука — как желанная, избранная ценность. А поэтическая речь способна, не отступая от общих норм, высказать свое пристрастие к определенному звуковому признаку, к артикуляционному оттенку, к типу фонетических сочетаний.

Например, есть стихи, инструментованные на... зияние гласных!

Где безбрежный океан,  
Где одни лишь плещут волны,  
Где не ходят челны,  
Там есть фея Кисиман.

На волнах она лежит,  
Нежась и качаясь,  
Плещет, блещет, говорит —  
С нею фея Аtimaис.

Аtimaис, Кисиман —  
Две лазоревые феи.  
Их ласкает океан.  
Эти феи — ворожеи...

К берегам несет волну,  
Колыхаясь, забавляясь,  
Ворожащая луну  
Злая фея Аtimaис.

*Ф. Сологуб*

Конечно, предполагается самое обычное произношение (которое было обычным и во время Ф. Сологуба): *фегя* = [ф'зä], *качаясь* = [кач'ääс'], *ворожащая* — с гласными [иä].

**26.** Стихи могут быть инструментованы на диссимиляцию звуков. У Некрасова обычна точная рифма, а когда встречается неточная, то она принадлежит вот к такому типу: *брата* — *награда*, *заметно* — *бедно*, *за деньгами* — *деревеньками*, *во всей красе* — *в картузе*, *слажены* — *раскрашены*, *рожками* — *хорошими*, *наизнанку* — *рангу*, *глядя* — *зятя*, *Ольги* — *польки*, *ухвата* — *надо*, *медвежью* — *плешью*... Если в одном рифменном слове звонкий согласный, то в другом — глухой. Расподобление рифмующихся слов идет по определенному закону; тем самым звонкость — глухость стали предметом поэтического построения. Стих призывает принять и оценить родственность этих звуков.

**27.** У Маяковского (и близких ему поэтов) излюбленная мена — между сонорными: *нынче* — *вымчим*, *степям* — *Степан*, *огарком* — *окаркан*, *бросил* — *осень*, *холостым* — *монастырь*, *петли* — *Ай-Петри*, *бурун* — *шурум-бурум*, *погудел* — *людей*, *возьми* — *возни*, *ящеры* — *настоящие*, *рабочий* — *пророчил*, *затыркал* — *затылком*, *обухом* — *опухоль*, *вексель* — *флексий*, *рельса* — *грейся*... Здесь сонорность выступает как объединитель звуков и тем самым выдвигается на первый план в строе стиха.

**28.** Есть говоры, которые склонны диссимилировать два одинаковых плавных в составе слова. Говорят: *секлетарь*, *дилектор*, *пирюли*, *леворверт*, *колидор*... Мена не обязательная; рядом с *дилектором* может быть *секретарь* (или он бывает переменчив: то *секретарь*, то *секлетарь*). У Маяковского тоже *секлетарь*, тоже мена и расподобление, тоже своеобразная диссимиляция, тоже не обязательная. Но — в поэтической речи, но — не в слове, а между словами, но — при более широком репертуаре звуков.

Редкого типа *секлетарь* присущ поэзии П. Антокольского. В центре внимания оказывается способ артикуляции согласных. Рифменно чередуются звуки, которые отличаются только способом артикуляции: *мокрой* — *охрой*, *оборванца* — *Санчо Панса*, *горечь* — *сборищ*, *канет* — *корсиканец*, *пасху* — *подпаску*, *ребенок* — *согбенных*, *свеч* — *вещь*, *женщин* — *обвенчан*, *тучам* — *гнетущим*, *туристов* — *приступ*, *гранитом* — *границам*, *немецкий* — *стамеской*, *слух* — *слуг*, *влачатся* — *часа*, *сокровищ* — *Немирович*, *рельсы* — *погорельцы*, *назубок* — *бог* = [бох].

Героем таких рифм у Антокольского является способ артикуляции. Контрастно сопоставляя звуки, которые отличаются только способом артикуляции, Антокольский этот признак делает художественно значимым. Редкий случай; только у Антокольского.



**29.** В. Хлебников вне пространства, вне протяжения, одними звуками, рисует портрет: *Бобэ́оби пелись губы...* Губы написаны губными гласными и согласными... Звуки стали красками.

**30.** В обыденной, бытовой речи звуковая цепь обслуживает ряд смысловых последовательностей. Было бы опрометчиво предполагать, что в бытовой речи смыслы (и их представители — слова) избираются затем, чтобы продемонстрировать звуковые последовательности. Поэзия признаёт равноценность двух рядов: и звукового, и смыслового. Так — во всякой поэзии? И у Спиридона Дрожжина — тоже? И у него: и в ряду смыслов, и в ряду звуков нужна определенная, общая степень обыденности / причудливости, простоты / сложности, эмоциональности / сдержанности, напряженности / ненапряженности, остроты / сглаженности и т. д. — они охватывают стих целиком, и его смыслы, и его звуки. Их равноотстояние от бытовой речи и есть содержание поэтического произведения.

**31.** Существенно то, что есть произведения, где фонетика ведет за собой смыслы («не присиливая их, впрочем»)⁹. Мотивировкой для такого торжества мира звуков может служить звукоподражание. И на нем бывают построены целые стихотворения. В русской поэзии первой, вероятно, была звукопись И. Анненского «Колокольчики» — длинное стихотворение, все построенное на воспроизведении звона колокольцев; и сквозь этот звон видна картина свадьбы.

Цель таких звукописных стихотворений открывает «Соловей» В. Каменского (печатается в сильном сокращении):

Трель растрелится игральной,  
 Если строен гибкий лес —  
     Цивь-цинь-вью —  
     Цивь-цинь-вью —  
     Чок-й-чок.  
 Звонче лей, соловей,  
 В наковальне своей  
 Рассыпай искры истому лету.  
     Цивь-цинь-ций —  
     Цивь-цинь-ций —  
     Чтрррь-юй, Ю.  
 В шелестинных грустинах  
 Зовы песни звончей.  
 В перепевных тростинах  
 Чурлюжурлит журчей.

<sup>9</sup> Используем выражение В. К. Тредиаковского.

Чурлю-журль.  
 Чурлю-журль.  
 И растрельная трель:  
 Ций-вью-й-чок.  
 Чтрррь-йю, Ю.

Ясно, что поэт здесь наслаждается не столько птичьей, сколько человеческой фонетикой. (Вспомним «Голоса птиц» В. Хлебникова.) Звукоподражание в поэзии всегда больше, чем подражание: это сотворение неожиданных и желанных в своей неожиданности звуковых рядов.

**32.** Отсюда — рукой подать до зауми. Заумь — такое же построение, но без попытки найти защиту у птиц. Мир звуков, взятых просто как человеческие речевые звуки, полон глубокого смысла.

Не сомневаемся, что читатель любит стихотворение А. Крученых «Глухонемой»; однако напомним его:

Муломнг,  
                   улва  
 глулов кул...  
 амул ягул валгул  
 за-ла-е  
 у-гул  
 волгала гыр  
 марча...

Заметна вязкость, напряженность артикуляций. Ряд звуков дискретен. Используются дискретные единицы — звуки. Но артикуляционно они связаны в такие тугие, вязкие, напряженные единства, нужны такие трудные произносительные работы при переходе от одних звуков к другим, что создается впечатление континуума, нечленности этих звуковых пластически-громоздких единств.

Стихотворение названо «Глухонемой». Глубокая мысль: мир предстает нам дискретным, расчлененным и упорядоченным под влиянием языка. Конечно, это взгляд со стороны (так представлять себе дело могут неглухонемые), но образ, нарисованный в стихотворении, выразителен и содержателен.

**33.** Именно потому, что поэтическая фонетика охватывает все звуковые особенности произведения, для нее нет безразличных сторон в стихотворении. Общий темп произношения? Он художественно значим: в одном темпе произносится гекзаметр (Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...), в другом — пушкинское «Играй, Адель, Не знай печали, Хариты, Лель Тебя венчали»... Общая громкость? И она небезразлична: «Стихи Маяковского, даже при чтении „про себя“, требуют отчетливо-громкого произнесения строк. Это стихи, побеждающие пространство большого зала... Читая про се-

бя, мы можем не выкрикивать их громко, но необходимо внутренне представить их себе громко произнесенными. (Ведь интонации вопроса, интонации гнева, задушевности и ласки мы тоже можем воспроизвести внутренне, не переводя их на собственный голос.)»<sup>10</sup>.

Как видно, звучания в стихе — средство соотнести художественный мир произведения с внехудожественным миром. Это могут быть отношения параллелизма, контраста, переконструирования и т. д. Перечислить все возможные типы невозможно.

В этой статье нет попытки перечислить все возможности звука в стихе, представить их в виде реестра, матрицы, каталога. Это недостижимо. Ряд этих возможностей бесконечен.

---

<sup>10</sup> Чичерин А. В. Литература как искусство слова. М., 1926. С. 106—107.

**Часть VIII**

**ИСТОРИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ**



## О «Российской грамматике» А. А. Барсова\*

На дверях его кабинета написано крупными буквами: Человек всего более отличается от других животных словом или языком: следственно, наука языка есть истинно человеческая и важнейшая.

*Н. М. Карамзин об А. А. Барсове*

В русской филологии XVIII в. три вершины: В. К. Третьяковский, М. В. Ломоносов, А. А. Барсов.

Антон Алексеевич Барсов (1730—1791) — автор знаменитой, но до сих пор не изданной «Российской грамматике»<sup>1</sup>. К сожалению, на него часто смотрят только как на продолжателя, чуть ли не эпигона Ломоносова. Между тем труды Барсова — особый этап в развитии нашего языковедения.

И в большом и (очень часто) в малом грамматика Барсова — переход, «мост» от идей XVIII в. к идеям более позднего времени. В некоторых отношениях Барсов ближе XX веку, чем XVIII.

Несомненно, иногда он только передатчик и хранитель того ценного, что создано его предшественниками. Но уже и это большая заслуга.

Приведем пример. В. К. Третьяковский открыл, что язык можно наблюдать. Великий сдвиг! Не умозрительно натягивать на колодку древнегреческого или латинского языка, а наблюдать. По-разному: прислушиваться к произношению; составлять стихи, исходя из разных фонетических принципов; сравнивать русский язык с иными языками; наблюдать артикуляции... Среди приемов был и такой: использовать зеркало, чтобы определить степень

---

\* Вопросы русского языкознания. Вып. 1 / Под ред. К. В. Горшковой. М.: МГУ, 1976. С. 113—131.

<sup>1</sup> Рукопись хранится в библиотеке Московского университета. Два тома представляют два варианта «Российской грамматике»: 1 т. (шифр 9. Ен. II) — детальный («пространный»), но неполный вариант; 2 т. (шифр 9. Ен. II') — полный, без пропусков, вариант текста, но сокращенный сравнительно с первым. Далее том и стр. указаны в тексте. Первый (большой) том обозначается буквой «Б», второй — «М» (малый том).

открытости гласного. «Не угодноль справіться съ серкаломъ? Оно все сіе вам покажетъ. Серкало не однѣмъ красотамъ надобно... Серкало надобно фізікамъ і математикамъ — і нашей братье орфографшикамъ»<sup>2</sup>.

Барсов, читатель и собиратель всего, что было ценного у его предшественников, не забыл напомнить о зеркальце: он тоже пишет о том, что разные гласные имеют разную степень открытости: «Каждый можетъ дѣйствительнымъ произнесеніемъ всѣхъ гласныхъ по порядку, хотя предъ зеркаломъ... увѣриться в томъ» (Б., 21).

И. А. Бодуэн де Куртенэ для наблюдения голосовых связей рекомендовал (в 1881 г.) использовать ларингоскоп. Ларингоскоп — тоже зеркальце, только посложнее устроенное. Совет Бодуэна использовать приборы при изучении языка имел глубокие следствия: его ученик В. А. Богородицкий применял уже серьезную аппаратуру; началась экспериментальная фонетика.

Конечно, путь от зеркальца Тредиаковского до зеркальца, танцующего в современном осциллографе, — не близкий путь. Но важно, что путь был начат Тредиаковским; важно, что Барсов «подхватил» начин Тредиаковского.

Но еще чаще Барсов был наблюдательным детализатором и углубителем того, что получал от предшественников. М. В. Ломоносов писал: «Вопросительное *кто* всегда въ мужескомъ родѣ разумѣется, какой бы родъ въ отвѣтствіи ни воспослѣдоваль: кто основаль Римъ? Ромуль; кто остановиль Тиръ? Дидона; кто кричалъ? дитя.

... Местоименіе *что* разумѣть должно о бездушныхъ вещахъ всѣхъ родовъ: что ослабило члены? трудъ; что изнурило твое сердце? любовь»<sup>3</sup>.

А. А. Барсов делает новые, свои, наблюдения. Он согласен с Ломоносовым: местоимение *что* согласует с собой сказуемое в мужском роде: «Кто написанъ на сей картинѣ? Отець, мать, ангель, Минерва, сестры мой». Но далее добавляет: «Развѣ глаголь напредъ въ иномъ родѣ или во множественномъ числѣ выговоренный повторится, на пр. писала... Кто писала? Сестра моя. Готовы... Кто готовы? Братьи мои...

Онѣй же вопросъ *кто* принимает къ себѣ иногда мѣстоименія указательныя *такой* и *таковъ* въ мужескомъ и женскомъ родѣ въ обоихъ числахъ. На пр. Кто такая пріѣхала? Кто такіе пріѣхали? Съ кѣмъ такимъ ты говорилъ? Однако жъ съ кѣмъ *такими* и проч. не лзя уже сказать.

<sup>2</sup> Слова *фонетист*, *языковед* еще не существовали (см. Тредиаковский В. К. Разговор об орфографии... Сочинения. СПб., 1849. С. 251).

<sup>3</sup> Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1755. § 478—479. Соответственно см.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1952. § 543, 544 (в дальнейшем параграфы указаны в тексте: первая цифра обозначает § по изданию 1755 г., вторая — соответственно по изданию 1952 г.)

Но что принимает толко такое, на пр. Что такое вы несете? Чѣмъ такимъ вы лечитесь?» (Б., 337).

Короткое замечание Ломоносова обросло деталями, и все они — плод умелого и острого наблюдения. Эти заметки Барсова и сейчас интересно читать. Они более детальны, чем такие же наблюдения в известной книге А. А. Зализняка «Русское именное словоизменение»<sup>4</sup>.

Современники запомнили А. А. Барсова как борца против буквы ъ (далеко не главная его идея, но современники часто сложное и разветвленное учение заслоняют одной какой-нибудь второстепенной частностью). Барсов писал: «... нынѣ изъ пятнадцати печатныхъ листовъ почти цѣлой листъ одни [ѣры] составляютъ» (Б., 40). Доказательства ненужности конечных ъ-ов такие: во-первых, иноязычное слово, например греческое *ἀρετήης*, по-русски буква в букву будет аретис, читается так же, как аретись. Добавка ъ в конце не нужна; это доказывают греческие образцы: там не было никакого соответствия нашему ъ. Во-вторых, мы говорим: тѣворца, согласно, восьхъвалимъ, но ъ здесь не ставится (Б., 38—39). Здесь А. А. Барсов наследник уже Тредиаковского, а не Ломоносова. Он повторяет доводы первого русского теоретика письма против буквы ъ и добавляет свои.

Таких высказываний, развивающих мысли предшественников, много в «Грамматике» Барсова. Но не в этом ее главная ценность. Современников она поразила новизной. Вероятно, справедливо мнение, что «Грамматика» Барсова не была утверждена Ученой комиссией в качестве учебной книги для гимназий потому, что оттолкнула своей новизной, слишком явным отклонением от общепризнанного образца — «Грамматики» Ломоносова<sup>5</sup>.

В чем же заключалась пугающая новизна «Российской грамматики» А. А. Барсова?

Граматику А. А. Барсов определяет так: «Россійская Грамматика есть наука или знаніе исправно читать, говорить и писать на Россійскомъ языкѣ по лучшему и рассудительному его употребленію» (Б., 1). Это определение полностью повторяет ломоносовское, но добавлено одно слово: наука. Несомненно, и Ломоносов относил граматику к числу словесных наук. Барсов только подчеркнул в самом определении грамматики ее научность. И этот, внешне малоприметный сдвиг очень существен.

«Российская грамматика» Ломоносова философична и прагматична, «инструментальна». Автор заботился о том, чтобы органически соединить эти две стороны своей лингвистической концепции.

<sup>4</sup> См.: Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М, 1967. С. 61 и 82 (сравниваю с книгой А. А. Зализняка, потому что считаю ее наиболее ярким выражением сегодняшнего уровня морфологической мысли)

<sup>5</sup> См.: Сухомлинов М. Н. История Академии Российской. Т. 4. СПб., 1878.



«Взирая на видимый сей свѣтъ, двоякаго рода бытія въ немъ находимъ. Перваго рода суть чувствительныя въ немъ вещи; втораго рода суть оныхъ вещей разныя дѣянія... Изображенія словесныя вещей называются *имена*... изображения дѣяній, *глаголы*...» (§ 39—40). Это характерный для Ломоносова взгляд: грамматическое выводится прямо и непосредственно из действительности.

Перечислив некоторые признаки имен (два числа, шесть падежей), он заключает: «... всѣ сіи... свойства именъ суть общи всѣмъ языкамъ, за тѣмъ что въ самой натурѣ свое основаніе имѣють» (§ 59). Далее: «Животныхъ натура на два пола раздѣлила — на Мужескій и на Женскій. Оттуда и имена ихъ во многихъ языкахъ суть двухъ родовъ» (§ 57; 60) и т. д.

С другой стороны: «... порядокъ реченій и ихъ полность хотя съ чиномъ натуры сходятствуютъ, однако вольность человѣческихъ мыслей превращаетъ порядокъ оныхъ, и выключаетъ изъ рѣчи то, чему бы по натурѣ быть должно было» (§ 81; 84).

Итак, две стороны, определяющие каждый язык: одно в нем (и главнейшее) прямо определяется свойствами «натуры», самой действительности, другое — обращением «мыслей человѣческихъ, для которыхъ взаимнаго общенія служить слово» (§ 43). Первая сторона ведет к философскому осмыслению языка (у Ломоносова, несомненно, материалистическому, но недостаточно еще диалектически-гибкому); вторая — заставляет погрузиться в самую технику составления речей. Здесь-то и обнаруживается инструментализм, операциональность (в узком смысле) у Ломоносова.

Он, например, так характеризует образование падежных форм: «Имена Средняго рода кончащіяся на О, въ родительномъ единственномъ перемѣняютъ О на А, въ дательномъ на У, въ творительномъ прибавляется МЪ...» (§ 148; 153). У Ломоносова нет заботы показать, каково строение, присущее слову, он не рассуждал о том, какими средствами передается падежное значение, каким именно отрезком слова. Ему достаточно, проинструктировать читателя: такими-то действиями можно получить форму *селомъ*. Для этого, действительно, к форме именительного падежа надо приписать *мъ*.

О глаголах Ломоносов пишет: «Которые на БУ, ВУ, ГУ, ДУ, ЗУ, КУ, СУ, ТУ кончатся, перемѣняютъ У на АЛЪ, напр, *скребу, скребаль; плыву, пльвалъ; берегу, берегалъ; пряду, прядаль*...» (§ 318; 323). Снова тот же инструменталистский, операциональный подход. Такие примеры у Ломоносова можно брать пригоршнями.

Грамматика Барсова, напротив, нефилософична и неинструментальна. Жалеть ли о ее нефилософичности? Судя по всему, Барсов не противопоставлял своих лингвофилософских взглядов ломоносовским. Он, очевидно, их разделял. Но именно после трудов Ломоносова возникла проблема, новая для

русской лингвистики: обратить внимание, как в языке своеобразно, в соответствии с его природой, с особенностями обращения мыслей человеческих, разграничиваются и выражаются смыслы.

А. А. Барсов впервые в русской лингвистической традиции занимается определением словообразования и формообразования. Слова, по Барсову, разделяются на первообразные и на производные (по-современному: производящие и производные, мотивирующие и мотивированные, базовые и выводимые). Сделано такое разъяснение: «Но произведение словъ вообще есть двоякое по сликѹ.

а) Иныя изъ нихъ перемѣняютъ свойство или и самое знаменованіе первообразнаго, и составляютъ совѣмъ особое реченіе, которое и называется собственно производнымъ, ... на пр. свѣтлый отъ свѣта...

б) а другія не что иное суть, какъ отмѣны одного и того жъ слова по разнымъ случаямъ и обстоятельствамъ, в томъ же всегда и одномъ точно знаменованіи. И сіи отмѣны называются измѣненіями, а слова самыя изменѣнными, на пр. свѣта, свѣту, свѣтомъ; страны, странѣ... милому, милымъ; пишешь, пишемъ, писала, писали, пишуци, и проч., которыя сами собою и не почитаются собственно производными реченіями, но только измѣненіями словъ: свѣтъ... милый, пишу.

в) Къ измѣненіямъ также относить должно, когда на пр. изъ милый, дѣлается миль, изъ пространнй — пространенъ и прочія тому подобныя» (Б., 63—64).

Работой Барсова начались попытки разграничить словообразование и словоизменение в синхронном смысле слова. В 1902 г. Ф. Ф. Фортунатов так определяет то же различие: «Различаются формы слов: 1) как отдельных знаков предметов мысли, 2) формы слов в предложении. Последние обозначают различия в отношениях тех предметов мысли, которые обозначаются данными словами, к другим предметам мысли в предложении, а первые обозначают различия в самих предметах мысли, обозначаемых словами»<sup>6</sup>. Здесь есть важные уточнения и углубления мысли Барсова: «... отмѣны по разнымъ случаямъ и обстоятельствамъ» определяются как «различия в отношениях... к другим предметам мысли в предложении»; введен строго грамматический критерий. Вся формулировка психологизирована: речь идет не о предметах объективного мира, а о предметах мысли. Все это важные шаги к пониманию одного из основных в русском языке разграничений: словообразование — словоизменение. Но мысль Барсова — Фортунатова движется в едином русле<sup>7</sup>.

Ф. Ф. Фортунатов неоднократно подчеркивал, что вопрос о грамматической форме, в том числе вопрос о членности слова, заключается в соотно-

<sup>6</sup> Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. 1. М.: Учпедгиз, 1956. С. 155.

<sup>7</sup> А. А. Барсов впервые в нашей науке говорит об аналогии в словообразовании (и употребляет этот термин), т. е. о «сходстве словопроизведения» (Б., 149).

шениях, в связях слов. Впервые эту мысль глубоко и настойчиво развивал А. А. Барсов. Речения (слова), по его взглядам, разделяются: «а) на простыя, къ которымъ ничего не прибавлено, на пр. свѣтъ, гнѣвъ, страна;

б) на сложныя, съ которыми въ одно слово спереди совокуплено еще одно реченіе или болѣе, на пр.

Простыя:

гнѣвлю

емлю

благословенная

милостивый

Сложныя:

прогнѣвлю

отъемлю

проблагословенная

премногомилостивый...

в) На первообразныя, отъ которыхъ есть происходящія другія различенія, и

г) на производныя, которыя от первообразныхъ происходятъ чрезъ приложеніе къ нимъ на концѣ одного или двухъ слоговъ, впрочемъ незнаменательных, на пр.

Первообразныя:

страна

гнѣвъ

милъ

милость

Производныя:

странный

гнѣвный и гнѣвливый

милость

милостивый...

Изъ сего видно, что одно и то же реченіе, въ сравненіи съ двумя другими, нѣкоторыя общія съ ними буквы имѣющими, можетъ назваться и производнымъ и первообразнымъ, на пр. свѣтлый въ разсужденіи слова свѣтъ есть производное, но въ разсужденіи свѣтлость — первообразное...

Впрочемъ, всякое сложное слово можетъ купно почитаться и производнымъ, въ разсужденіи особливо послѣдней своей части, на пр. безпорочный есть слово сложное, но также и производное: ибо порочный происходитъ отъ порока и проч.» (Б., 60—63).

Это рассужденіе удивительно для XVIII и даже для XIX в. Оно прямо обращено к лингвистической современности. В недавно вышедшей академической грамматике особый параграфъ посвященъ префиксально-суффиксальнымъ прилагательнымъ (*безбилетный*, *бескрайний*, *беспланный* и пр.)<sup>8</sup>. И авторы пишутъ: «Со структурной точки зрѣнія многіе изъ префиксально-суффиксальныхъ прилагательныхъ... могутъ рассматриваться одновременно какъ чисто пре-

<sup>8</sup> А. А. Барсовъ префиксальные образования относитъ къ сложнымъ словамъ: приставки (въ большинствѣ своемъ) соотносительны съ предлогами, а предлоги — слова (такая же точка зрѣнія у Фортунатова). Такимъ образомъ: (*безъ порока*) + *н* = *безпорочный* — производное слово, суффиксальное (по-современному — суффиксально-префиксальное); *безъ* + *порочный* — сложное слово, префиксальное.

фиксальные образования»<sup>9</sup>. Если членимость и производность слова определяются отношениями, то отношения с разными единицами могут заставить нас признать данное слово по образованию суффиксальным (при учете одних связей) или префиксальным (при учете других связей)<sup>10</sup>.

В словообразовании А. А. Барсов впервые стал рассматривать единицы в их соотношениях; он понял, что соотносительность и определяет их системные свойства.

Тот же взгляд внесен Барсовым и в фонетику. Сама по себе классификация звуков, взятая чисто физиологически (губные, зубные согласные и пр.), его не интересует. Он просто повторил классификацию Ломоносова, чуть-чуть (вряд ли к лучшему) ее изменив (а ломоносовская классификация согласных по месту артикуляции — ухудшенная классификация Третьяковского). На безупречности классификации сам Барсов *не настаивает*: «Въ подробностяхъ сего раздѣленія какъ российскіе такъ и другіе Грамматики между собою не согласны: по чему отъ самага употребленнаго здѣсь старанія о соглашеніи разныхъ сторонъ должно было произойти нѣкоторому съ ними же несогласію, какъ равномѣрно и другіе испытатели таковыхъ тонкостей съ учиненнымъ здѣсь положеніемъ могутъ не согласны быть» (Б., 29).

Классификация учинена здесь, пишет Барсов, с тем чтобы быть основанием в последующих рассуждениях. А рассуждения состоят в том, чтобы определять звуки через их отношения. Первое отношение: звуки соотносятся как «единоорганные прямые»:

мягкие:	б	в	г <sup>11</sup>	Q <sup>12</sup>	д	ж	з	ч
твердые:	п	ф	х	г	т	ш	с	ц (Б., 30—31).

Соотносятся, как видно, звонкие и глухие (в последней паре отношения сбиты: следствие неточности исходной классификации: и *ц*, и *ч* у Барсова — «язычные», одного места образования, как, например *б* и *т*<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Грамматика современного русского литературного языка. М.: Изд-во АН СССР, 1970. С. 219.

<sup>10</sup> Ср. в «Грамматике современного русского литературного языка»: существительные *пересев*, *перерасчет*, *перепуск* и подобные одновременно по образованию суффиксальные (*пересевать*, *перерассчитывать* и т. д.) и префиксальные (*сев*, *расчет* и т. д.), но не префиксально-суффиксальные (с. 149).

<sup>11</sup> У Барсова, как и у Третьяковского, г — [γ] (или [ŋ]).

<sup>12</sup> Рисунок знака у Барсова иной (близок в предложенном Адодуровым и Третьяковским)

<sup>13</sup> В дальнейшем из соотносительных рядов мы будем удалять такие «сбои» классификации: нам важны не частные ошибки Барсова в артикуляционной классификации звуков, а его лингвистическая методика.

Другое отношение: «единоорганные боковые»:

мягкие:	б	п	к	т
твердые:	в	ф	х	ц (Б., 31).

Смысл отношения очевиден: звуки различаются способом образования, но не местом; учитываются только шумные.

Третье соотношение: «разноорганные прямые»:

мягкие:	л	м	с
твердые:	р	н	ц... (М., 20).

Показаны еще такие отношения: «единоорганные косвенные», «единоорганные оборотные», «разноорганные косвенные» (М., 19—20). Из-за нечеткости исходной классификации не всегда легко понять идею отношения. Это — материал для раздумий историка науки; нет сомнения, что в основе каждого отношения у Барсова лежал вполне определенный замысел.

Приведем еще одно соотношение, данное Барсовым:

мягкие:	в	л	м	с	т	ч
твердые:	г	р	н	ц	ч	ш (Б., 31).

Классификация неясная (называется просто: «разноорганные»). Но замечательно ее истолкование. «Изъ сего видно, что одна и та жь самая согласная въ сравненіи съ разными двумя можетъ назваться и мягкойю, и твердою», например: *ч* — твердая в сравнении с *т*, но мягкая сравнительно с *ш*, «и тако о многихъ другихъ» (Б., 31—32).

И в словообразовании, и в фонетике Барсов хочет увидеть, как разные отношения пробуждают в единицах разные качества. Это подлинно системный подход к языку. Каждая единица в своей характеристике оказывается зависимой от других единиц. Пример приведен не очень удачный (вернее, неясный), но не это важно: существенно само понимание языковых единиц — оно близко нашему времени, а не XVIII или XIX в.

Обратим внимание и на то, что во всех отношениях выделяются две противопоставленные группы: мягкие и твердые. Сквозь метафорическую расплывчатость этой терминологии проступает четкое стремление в каждом противопоставлении найти стабильные типы отношений (ср. в XX в.: в самых различных противопоставлениях открываются, например, отношения маркированности-немаркированности).

А. А. Барсов понял, что различия единиц в языке — не количественные: «... Какъ реченіе можетъ состоять изъ одного слога, и слогъ изъ одной буквы, то и реченіе такъ же состоять можетъ изъ одной буквы, то ес[ть] гласной» (Б., 60). Знаменитый пример «— Ео гus! — I!» Барсову в голову не пришел.

А. А. Барсов различает речевую «кажимость» и языковую «сущность». Исходя из фактов речи, он хочет добраться до того, что есть «в самой вещи».

«Нѣкоторыя существительныя кончащіяся на икъ и екъ почитаются первообразными, а въ самой вещи суть умалительныя: щелчокъ — щелчокикъ, щепокъ — щепочикъ» (М., 163)<sup>14</sup>. Оставим в стороне неразграниченность синхронии-диахронии в этом высказывании. Обратим внимание на слова «въ самой вещи». Барсов стремится проникнуть «внутри» языка, понять его закономерности, нередко скрытые обманчивой речевой данностью. Инструментализм, операциональность Ломоносова не воодушевляли его на такие поиски. Но у В. К. Тредиаковского они уже были; даже выражение «въ самой вѣщи» (в значении «в своей истинной, скрытой сущности») принадлежит Тредиаковскому.

У Барсова такие попытки уже не единичны: «... хотя многія російскія слова въ просторечіи и въ скоромъ выговорѣ кажутся сходны, но въ самой вещи удобно различены быть могутъ» (М., 88) и т. д.

Искать закономерности, скрытые «въ самой вещи», — вот, по Барсову, задача науки. О нем сохранился такой выразительный рассказ.

«Мой друг! — сказал он. — Нам дают правила; но всякое из них раждает исключение. Я могу вытвердить их наизусть и беспрестанно ошибаться: следственно правила неосновательны... Не будем клеветать на язык: он имеет верные законы... но мы только еще не открыли их. Изъясним великое малым и скажем, что Натура во всех творениях и разрушениях следует вечным, единообразным законам, которые однакож по большей части укрываются от натуралистов»<sup>15</sup>.

А. А. Барсов продолжал поиски В. К. Тредиаковского. Вероятно, самое большое открытие Тредиаковского — безысключительный характер ряда звуковых законов в русском языке (например, невозможность сочетания двух шумных согласных, из которых первый — звонкий, а второй — шумный, и мн. др.). Тредиаковский, как видно из его «Разговора об орфографии», сам понимал значительность этого открытия.

Но есть и существенное различие между поисками Тредиаковского и Барсова. В. К. Тредиаковский превозносит употребление. От лица Употребления он говорит: «Мнѣ, Употребленію, да будетъ всегда повиненіе... Меня надлежитъ предпочитать всеконечно всѣмъ правіламъ, отъ грамматистовъ положеннымъ, которыя уже не согласны со мною Употребленіемъ: ибо не отъ правилъ употребленіе, но отъ меня правила въ живущихъ языкахъ»<sup>16</sup>.

Мнение глубокое; оно направлено против схоластики, которая пыталась предписывать искусственные правила языку. Но это же мнение имеет и обо-

<sup>14</sup> Смысл высказывания проясняют следующие строки о существительных женского рода: «Находятся и въ семь родѣ умалительныя, почитаемыя первообразными, какъ отъ лавы, лавка, лавочка; булава, булавка, булабочка» (М., 163).

<sup>15</sup> Карамзин Н. М. Соч. Т. 3. СПб., 1848. «Великий муж русской грамматики», с. 319.

<sup>16</sup> Разговор об орфографии. М., 1849. С. 217—219.

ротную сторону: она возводит в абсолют речевую стихию, ставит языковеда в полную зависимость от колебаний, прихоти, произвола ограниченного круга информантов. В XVIII в., когда нормы нового (не церковнославянского) литературного языка не устоялись, такая зависимость была особенно тяжелой.

И сам же Третьяковский указывает выход из этой зависимости. Персонафицированное Употребление говорит о себе: я являюсь не настолько всеобщим «і съ собой согласнымъ, чтобъ во мнѣ самыхъ малыхъ, і почитай нечувствительныхъ языку нѣ — было разностей. Въ такомъ случае то я правымъ почитаю, что съ разумомъ согласно...»<sup>17</sup>.

Эти слова могли быть и тропой назад и дорогой вперед. Назад — к философской, «рациональной» грамматике, отождествляющей язык и логику, искусственно предписывающей всякому языку «разумные» правила, оценивающей предложение по законам суждения, слово — по законам понятия. Но был и путь вперед: правила языка искать не вне его, не в абстракциях логики, а в самом языке.

Такой путь избрал Барсов. Интересен рассказ Барсова, переданный нам Карамзиным, о том, как ученый решал сложные грамматические вопросы (например, о склонении числительных и связанных с ними существительных или о спряжении глаголов). Возникла неясность — он бросился к информантам. Но информанты дали противоречивые ответы. «Я не мог употреблением языка решить спора», — говорит А. А. Барсов. «Надлежало искать правила...»<sup>18</sup>. Он его и находит, сопоставляя факты языка.

Естественно, что Барсова не ослепляет тождество суждения и предложения. Напротив, он видит их различия. «... Грамматическое подлежащее и сказуемое иногда въ одномъ и томъ же самомъ предложении, не сходствуетъ съ логическимъ, на пр. въ слѣдующемъ предложении *Мнози суть звани* логическое подлежащее *суть звани*, а грамматическое *мнози*, такъ что въ Грамматикѣ, для подлежащаго сочинения словъ и для разобранія онаго, довольно, чтобъ мы какимъ-нибудь образомъ и в какомъ бы то ни было мѣстѣ различить могли, съ одной стороны, то, о чемъ говорится, а съ другой стороны, что о немъ сказывается, какъ и въ предложенномъ примѣрѣ, по грамматически можно сказать, что рѣчь идет о многихъ, т. е. людяхъ или гостяхъ, а сказывается объ нихъ, что они звани» (Б., 234—235).

Слова — удивительные по проницательности. Они совершенно не характерны для XVIII в.; и в первой половине XIX в. они были бы новостью; и даже в конце XIX в. не все грамматисты поняли бы и приняли бы их. Подлежащее и сказуемое Барсов хочет определить не логически, а «по-грамматически». Нечто мы признаем подлежащим, если мы, «въ какомъ бы то ни было

<sup>17</sup> Там же. С. 219.

<sup>18</sup> Карамзин Н. М. Соч. Т. 3. С. 322.

мѣстѣ, различить могли... о чемъ говорится», — речь идет о различителях, о языковых показателях подлежащего. Они могут быть любые — находиться в любом месте предложения (очевидно, не только окончание существительного, но и чисто синтаксические показатели?).

Во всяком сказуемом Барсов находит часть, показывающую «его съ подлежащимъ связаніе» (Б., 229)<sup>19</sup>.

Во всех высказываниях уже предвидится понятие грамматической формы. Оно возникло в другое время и было впервые четко сформулировано Ф. Ф. Фортунатовым. Грамматическая форма — связь, единство грамматического значения и грамматического способа выражения. Только то является грамматическим значением, что грамматически выражено (из этого плодотворного положения и выросла «формальная школа» в грамматике).

А. А. Барсов, как мы видели, хочет изучать язык «по-грамматически», следит, как выражено в языке то или иное грамматическое содержание. Он пишет: «Разделеніе частей речи. Оныя суть измѣняемая или неизмѣняемая.

а. Измѣняемая части рѣчи суть такія слова, которыя въ соединеніи съ другими реченіями подвержены бывають разнымъ перемѣнамъ.

б. Измѣняемая части рѣчи суть тѣ, которыя въ соединеніи съ другими реченіями остаются всегда безъ отмѣны» (Б., 164—165)<sup>20</sup>.

В изменяемых частях речи, по Барсову, наблюдаются общие принадлежности (например, род, падеж и т. д.) и «разными означаются окончаніями» (Б., 167).

Классифицируются слова в грамматике Барсова по их грамматическим значениям — в связи с грамматическим способом. «Невзирая на то, что отъ слова *душа* всѣ вещи одушевленныя названіе свое имѣють, само слово склоняется сходно съ неодушевленными, чего ради здѣсь и поставлено между ними примѣрами» (Б., 215), т. е. хотя от слова *душа* образовано название «одушевленные (существительные)», само слово *душа* к ним не относится, так как склоняется подобно неодушевленному: вин. мн. *души* (= им. мн.). Это взгляд сторонника «формальной грамматики», т. е. грамматики, исходящей из понятия грамматической формы.

По мнению Барсова, слова «сто, тысяча и проч. ... в самомъ дѣлѣ (= «в самой вещи»? — *М. П.*) существительныя имена, а не числительныя (Б., 274—

<sup>19</sup> Многие высказывания Барсова двулики. Что здесь имеется в виду? Наличие связи? Тогда предложение еще рассматривается как суждение. Или особый грамматический показатель: окончание, вспомогательный глагол? Думается, последнее. Тогда мнение Барсова строго грамматично.

<sup>20</sup> У Ломоносова все части речи разделялись на склоняемые и не склоняемые. Их перечень и разделение те же, что и у Барсова. Новшество в том, что Барсов выяснил, что такое грамматическая изменяемость слова (см. только что приведенную цитату).



275). «Числительныя порядковыя первый, второй или другой, третій и проч. какъ совершенный видъ именъ прилагательныхъ имѣють, такъ и сочиненіемъ соглашаются съ своими существительными в родѣ, числѣ и падежѣ» (Б., 277—278). В другом месте Барсов все числительные причисляет к прилагательным (Б., 187)<sup>21</sup>.

Местоимения у него (как и у Ломоносова) выделены в особую часть речи; он различает среди них «мѣстоименія прилагательныя» (Б., 266, 258; М., 199) и «существительныя мѣстоименія» (Б., 235, 258; М., 199).

А. А. Барсов помнит и о грамматическом значении, и о грамматическом способе (так ведь и следует делать, исходя из понятия о грамматической форме): *самъ* имеет «двойное знаменованіе»: прилагательного и существительного (М., 198); *кто, что, онъ* — «знаменованіе имѣють существительное, а склоненіе болѣе сходственное съ прилагательнымъ» (М., 199).

Понятия грамматической формы нет у Барсова, но оно уже брезжит, предвидится, яснее в разных наблюдениях и выводах его грамматики.

В синтаксисе А. А. Барсова впервые в русской грамматической традиции даются многие определения (см., например, определения согласования и управления (Б., 247), много приводится интересных наблюдений. И здесь Барсов тоже показывает, что грамматика не равна логике: так, порядок слов может соответствовать логической последовательности понятий, а может и не соответствовать (например, в сочетании прилагательное + существительное) (Б., 250—251).

Очень точны характеристики синтаксических трансформаций. «Связанныя... частицами два предложенія могутъ иногда приведены быть въ одно съ помощію неокончательнаго наклоненія (= инфинитива. — М. П.) и винительнаго или дательнаго при немъ падежей; и сіе-то называется приведеніемъ рѣчи окончательной въ неокончательную. Причемъ... хотя такое приведеніе чрезъ винительный падежъ вообще не сродно російскому языку, но какъ нѣкоторые из новѣйшихъ писателей, въ противность свойству онаго и только съ примѣру другихъ языковъ, иногда употребляютъ, то нужно объ ономъ упомянуть здѣсь, для разумѣнія такихъ рѣчей, и показать, какъ она дѣлаются, а именно, во-первыхъ, частица *что* или *чтобъ* выпускается, а потомъ именительный глагола управляемого переименяется въ винительный; глаголь же самый въ неокончательное свое наклоненіе, на пр. Мнять, что онъ въ церковь идетъ — Мнять его въ церковь итти; Не хошу васъ не вѣдѣти — т. е. Не хочу, чтобъ не знали...» (Б., 370). «При вопросѣ *что далъ* и проч. вещь полагается или разумѣется въ винительномъ падежѣ съ предлогомъ *за*, то есть и въ

<sup>21</sup> Исключительно интересна у Барсова лексическая классификация числительных (Б., 170 и далее).

отвѣтъ: что дано за дворъ? дано пять тысяч рублей, двѣ тысячи рублей, сто воловъ. Но предлогъ сей часто пропускается, и такъ вещь остается просто въ винительномъ падежѣ безъ предлога, на пр. что дали шубу? шубу дали два рубля, сто рублевъ, тысячу рублевъ. При страдательномъ глаголѣ прошедшаго совершеннаго времени сей винительный простой превращается еще въ именительный, съ которымъ оный глаголъ и соглашается въ числѣ и въ родѣ, а число денег остается такъ, какъ при дѣйствительномъ глаголѣ, на пр. Что дана шуба? Шуба дана два рубли, пять рублевъ, три тысячи рублевъ, тысячу рублевъ, но вмѣсто сего послѣдняго говорится также тысяча» (Б., 381).

А. А. Барсов — внимательный исследователь языка. У него множество тонких наблюдений над грамматическими значениями: «Разность между *двое* и *оба* есть та, что первое говорится вообще о неизвѣстныхъ двухъ лицахъ или вещахъ общесуществительныхъ, а послѣднее объ извѣстныхъ и преждеобъявленныхъ: несли оба брата» (М., 170—171)<sup>22</sup>.

Особенно много наблюдений над бытовым, разговорным стилем языка. Их значительно больше, чем наблюдений над строгим, торжественным или канцелярским. В этом сказался несомненный демократизм вкусов и склонностей А. А. Барсова<sup>23</sup>.

У Ломоносова грамматика была философской и инструменталистской. Философски истолковывались грамматические значения; инструменталистски разъяснялось, как создать нужные грамматические способы для выражения этих значений. И хотя философствование было часто глубоким, описанию значений не хватало грамматической определенности и характерности. Грамматика растворялась в философствовании и логицировании. С другой стороны, инструкции о способах выражения обычно у Ломоносова практически полезны, но все же иногда он слово режет «по живому» (выделяя аффиксы), часто безразличен к внутриязыковой специфике этих способов.

А. А. Барсов попытался сдвинуть, соединить эти широко расставленные у Ломоносова стороны языка. Грамматические значения и грамматические способы впервые стали изучаться как две стороны одной языковой сущности. Забрезжило, хотя еще и туманно, вдали, понятие грамматической формы.

Так в XVIII в. наметилось то, что стало подлинным достижением лингвистики, четко и ясно продуманным у Фортунатова.

Много связей у Барсова с нашей лингвистической современностью. Не парадоксально ли это? И возможно ли?

---

<sup>22</sup> Заметим, что Барсов первый описал (конечно, очень кратко) интонацию, соответствующую разным знакам препинания (Б., 95).

<sup>23</sup> Ср. у Н. М. Карамзина: «Но сей огненный любовник правил не может терпеть излишно строгих». Соч. Т. 3. С. 325.

Работы А. А. Барсова — высшее достижение нашего языкознания XVIII в., языкознания в принципе синхронного<sup>24</sup>. Далее диалектическая спираль языковедения повернула в сторону исторического, диахронического изучения языка (А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев и др.). Лишь в конце XIX в. в результате развития историзма в науке наметился новый поворот к синхронической лингвистике — на новом уровне диалектической спирали. Ф. Ф. Фортунатов оказался «вблизи» от А. А. Барсова не по времени, а по научному пониманию языковых фактов.

Знал ли Фортунатов грамматику Барсова? Она в течение века пользовалась вниманием лингвистов: о ней писали Ф. И. Буслаев, М. Н. Сухомлинов и др. Неизданная, рукописная, она оказывала влияние на лингвистическую мысль. Об этом говорит хотя бы то, что многие терминологические новации Барсова получили распространение и признание: «В грамматической терминологии Барсов иногда уклоняется от Ломоносова и принимает названия, удержавшиеся в грамматиках до настоящего времени. По терминологии Барсова, слог (*Sylbe*) — склад, как и у Ломоносова, и слог; сравнительная степень — рассудительная или уравнительная степень: у Ломоносова — рассудительный степень; предложение (*Satz*) — речь и предложение: у Светова — член..., у Ломоносова — речь...; части речи — части речи; у Ломоносова — части слова, у Светова — и части слова, и части речи ... и т. д.»<sup>25</sup>.

Профессор Московского университета Ф. Ф. Фортунатов, зная, что в библиотеке университета хранится рукопись Барсова, вряд ли пренебрег знакомством с ней. Грамматика Барсова могла быть одним из источников, питающих исследовательскую мысль Фортунатова. Этим не умаляется научный подвиг основателя Московской лингвистической школы. Мощь его мысли, бесспорно, в любом случае велика, но и таким ученым, как Фортунатов, нужна помощь предшественников-единомышленников.

Конечно, наше предположение о знакомстве Фортунатова с трудом Барсова остается предположением.

Приближается двухсотлетие со дня создания «Российской грамматики» А. А. Барсова. Долг языковедов-русистов — подготовить издание этого выдающегося научного исследования.

---

<sup>24</sup> Отступления от синхронии у него были ввиду неразработанности диахронического языкознания.

<sup>25</sup> Сухомлинов М. Н. История Академии Российской. Т. 4. С. 271.

## **О преподавании «Истории отечественного языкознания»\***

Задачи курса «История языкознания» достаточно сложны. Он должен показать непрерывность лингвистической традиции; объяснить взаимодействие и связь собственно лингвистических убеждений и мировоззрения; нарисовать историю взаимодействия языкознания с другими науками; изучить борьбу школ и течений, постепенную разработку новых приемов лингвистического исследования; исследовать процесс создания, причины возникновения и смены научных концепций; оценить значительность каждого вклада в науку, сравнивая его не только с современностью, но и с «предшественностью»; проследить общие закономерности в изменении лингвистических идей. Надо, иначе говоря, установить закономерности развития лингвистической науки. В зависимости от особых педагогических задач этот курс может приближаться к другим курсам, взаимодействовать с ними. В университете он близок по задачам к курсу «Общее языкознание», на инфаках педвузов связан с курсом «История грамматических учений», на литфаках тех же педвузов он стоит в одном ряду с курсами «История критики», «История педагогики» и т. д. Но, взаимодействуя и кооперируясь с этими дисциплинами, курс «История языкознания» всегда сохраняет свою самостоятельность, свои особые внутренние задачи.

В дальнейшем я остановлюсь на тех вопросах, которые возникли при чтении лекций по курсу «История отечественного языкознания» на факультете русского языка и литературы педагогического института<sup>1</sup>.

\* \* \*

Очень часто мы в любой лингвистической дискуссии стараемся найти борьбу материализма с идеализмом. Иногда это удается сделать только путем целого ряда натяжек. Нет никакого сомнения, что борьба материалистиче-

---

\* Вопросы языкознания. 1957. № 3. С. 84—93.

<sup>1</sup> Лекции читаются в качестве спецкурса.

ской и идеалистической мысли в языкознании — важная сторона истории этой науки, но к ней не сводится вся история языкознания. Философское истолкование фактов языка важно и необходимо; но для языкознания это только одна сторона дела — есть и собственно языковедческое их истолкование; языкознание связано с философией языка, но не растворяется в ней.

Все мы считаем — думается, с основанием — материалистическими взгляды М. В. Ломоносова, высказанные им в «Первом наставлении» его «Российской грамматики». Но эти материалистические взгляды не встретили в языкознании противодействующей критики; критика труда Ломоносова в последующей традиции пошла по иной линии; спорили о его видо-временной схеме глагольных форм, о правильности грамматических норм, указанных Ломоносовым, и т. д. С другой стороны, идеалистическая философская концепция А. А. Потебни, построенная на основе языковедческих исследований, в языковедении тоже не породила никаких дискуссий. Философский вывод, что имманентно развивающийся язык направляет развитие национальной мысли, порождает индивидуальные явления науки и искусства каждого народа, — этот вывод оказался бесплодным для языкознания и был оставлен в тени. Языковеды спорили с А. А. Потебней по вопросам, не связанным с борьбой двух философских течений. Таким был, например, вопрос о фонетических законах; такими были вопросы: являются ли смены грамматических конструкций, которые устанавливал А. А. Потебня, подлинными сменами или это образования синхронные; действительно ли взаимосвязаны и взаимообусловлены два движения в синтаксисе: усиление «синтаксической перспективы», т. е. дифференциации членов предложения, и увеличение «слитности», синтаксического единства предложения? А это все проблемы, не связанные с основным вопросом философии о первичности духа или материи.

С. Д. Никифоров писал: «Идеалистическое толкование категории наклонения находим у М. Н. Петерсона: «Форма наклонения выражает отношение говорящего к мыслимости явлений, о которых говорящий сообщает. Явления эти могут мыслиться как действительно происходящие... как требуемые, желаемые...». Само собою разумеется, что в языке как важнейшем средстве человеческого общения категория наклонения выражает не «отношения говорящего к мыслимости явлений», а «отношение обозначенного глаголом действия к реальной действительности»<sup>2</sup>. Каково же может быть отношение каждого данного действия к действительности? Очевидно, что это действие само есть «частица, клеточка» действительности. Никакого идеализма в определении М. Н. Петерсона (может быть, и не во всех отношениях удачном)

---

<sup>2</sup> Никифоров С. Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М., 1952. С. 12.

обнаружить нельзя. Так же неудачны и попытки объявить субъективно-идеалистическими некоторые определения временных глагольных значений. Это было кратко и очень убедительно показано А. И. Смирницким<sup>3</sup>.

Не будучи главной и единственно существенной стороной развития языковедения, борьба материализма с идеализмом все же очень важна в истории нашей науки. В результате энергичных поисков идеализма в лингвистических трудах, написанных до 1950 г., языкознание оказалось единственной наукой, не имеющей никакого материалистического прошлого. Знаменитые слова В. И. Ленина о солидной материалистической традиции в России мы относили ко всем наукам — к социологическим, философским (Белинский, Герцен, Чернышевский), к биологическим (эволюционисты от Каверзнева до Сеченова и Павлова), к точным, но не к языкознанию. Получалось, что материалистическую традицию в русской лингвистике представляли лишь М. В. Ломоносов (потому что его естественнонаучные труды материалистичны) и Н. Г. Чернышевский (он ведь автор философских, эстетических, публицистических работ, написанных в духе материализма).

Между тем материалистическая линия в русском языкознании гораздо более заметна. Материализм и идеализм очень часто борются в трудах одного и того же ученого. Например, в исследованиях Ф. И. Буслаева можно найти столкновение той и другой философской традиции<sup>4</sup>. То же самое у И. А. Бодуэна де Куртенэ: с одной стороны, это «наивный материалист», как верно определил основную линию его философских взглядов Л. В. Щерба; с другой стороны, он иногда склонен был делать серьезные уступки идеалистам (за что ухватились многие «проработчики», раздувая, необъективно преувеличивая эту сторону его взглядов).

При исследовании философских тенденций в творчестве того или иного ученого необходимо отличать случайные оговорки от внутренне оправданных и подготовленных заключений. У А. А. Шахматова читаем: «Род. пад. имени означает, что представление, соответствующее имени, находится в пределах действия, выраженного глаголом, затрагиваясь им лишь отчасти... Твор. пад. имени означает, что действие совершается при помощи представления об этом имени, что это представление — орудие действия»<sup>5</sup>. Здесь легко заметить неточность: не представление — орудие действия.

<sup>3</sup> См.: Иностр. яз. в шк. 1953. № 2. С. 109.

<sup>4</sup> Ср. критику материалистических сторон языковой концепции Ф. И. Буслаева в рецензии А. [А.] Майкова на «Историческую грамматику» Ф. И. Буслаева (Библиотека для чтения. 1859. Ноябрь. С. 13—18).

<sup>5</sup> Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941. С. 122.

При желании можно сделать вывод: А. А. Шахматов по-махистски рассматривает действительность как представление; но ведь ясно, что это просто оговорка (может быть, сделанная под влиянием ходячей философской фразеологии); никаких последствий для дальнейшего изложения материала в книге она не имеет.

\* \* \*

Положение лингвистики среди других наук очень своеобразно. Языкознание принадлежит к общественным наукам. Оно связано с философией, психологией, историей, социологией. Но от других общественных наук его отличает то, что оно исследует такое общественное явление, которое нельзя считать классовым, надстроечным или базисным. Отсюда — и сложность вопроса, в какой мере этапы развития языкознания можно делить на феодальный (дворянский), буржуазный, социалистический?

Классовая борьба находит отражение в языкознании. Не бескорыстной в социальном отношении была языковедческая деятельность, например, А. Шишкова, Н. Греча. Но справедливость требует сказать, что все классики нашего языкознания — А. Х. Востоков, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов — в своих собственно языковедческих трудах не были защитниками той или иной узкой социальной группировки. Может быть, этих языковедов следует считать буржуазными учеными, поскольку их языковедческим взглядам присуща историческая ограниченность, связанная с буржуазным этапом развития общества? В этом случае необходимо определить, в чем заключается такая ограниченность и почему ее надо считать буржуазной. Каждый исследователь «ограничен» знаниями своей эпохи (некоторые из которых он сам помог добыть). Ф. Ф. Фортунатов, разумеется, не знал того, что стало известно советским исследователям. Дает ли это нам право говорить о том, что он представитель буржуазного языкознания?

Если напоминание о кадетских политических взглядах А. А. Шахматова помогает нам уяснить эволюцию его взглядов на происхождение русского аканья, на систему русских говоров, на типы синтаксического строения предложений, тогда такое упоминание должно быть сделано в курсе «История языкознания», а сам А. А. Шахматов должен рассматриваться как буржуазный языковед. В противном случае «кадетство» Шахматова останется фактом его личной, а не научной биографии. Серьезно и строго подходу к вопросу, мы в одних случаях, при анализе одних работ можем и должны говорить о буржуазном языкознании, в других — лучше обойтись без ярлыка.

\* \* \*

В курсе «История языкознания» необходимо показать, как разрабатывались новые научные концепции, как создавались методы лингвистического исследования. Надо дать глубокий анализ борьбы мнений, теорий, школ, направлений в языкознании. Чем обусловлена эта борьба? Отчасти — наличием двух философских линий, отражающихся и в лингвистических исследованиях. Сами эти философские линии имеют, как известно, свои социальные и гносеологические корни. Но борьба материализма и идеализма только в некоторых случаях объясняет историческую смену мнений и теорий в языкознании.

Борьба мнений в языкознании иногда обусловлена самим развитием объекта изучения — языка. А. Х. Востоков в своей работе «Русская грамматика» впервые указал на важный грамматический признак предложения: необходимость спрягаемого глагола. Это определение было важным шагом в развитии теории предложения: до А. Х. Востокова (и долгое время после него) предложение просто приравнивали к суждению. Многие языковеды последующих лет определяли предложение по-востоковски («спрягаемый глагол и слова, с ним грамматически связанные»). В начале XIX в. назывные предложения только еще искали пути в литературный язык, не могли считаться нормой для него<sup>6</sup>. Для того времени определение Востокова было справедливым. Но развитие категории назывных предложений в языке показало ограниченность этого определения: оно оказалось верным лишь для известной эпохи, и последующие школы, в той или иной степени развивая и дополняя теорию предложения, должны были отказаться от односторонности определения, данного Востоковым. Борьба, возникшая вокруг этого определения, до известной степени была обусловлена изменчивостью, развитием самого языка.

Объем наших знаний о языке может увеличиваться и по другим причинам. Открытие новых фактов — одним они кажутся существенно меняющими дело, другие видят в них случайную аномалию — ведет к борьбе мнений, к созданию новых теорий. Известно, например, какое значение для языкознания имело изучение санскрита. Но есть еще причина, вызывающая борьбу мнений, и она — одна из важнейших: существуют определенные внутренние законы, по которым «развертываются» гипотезы или теории.

Энгельс так рисует этапы развития теоретической мысли: «Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой

---

<sup>6</sup> См. статью: *Перльмуттер Л. В.* Назывные предложения и их стилистическая роль // Рус. яз. в шк. 1938. № 2.



ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. [Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний план, мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи]»<sup>7</sup>. Это «первое, наивное воззрение обыкновенно правильное, чем позднейшее, метафизическое»<sup>8</sup>.

«Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частных, из которых она складывается, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Чтобы познавать отдельные стороны (частности), мы вынуждены вырывать их из их естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям и т. д.»<sup>9</sup>. Выходом из второго периода, периода познания «отдельностей», является третий (ступень отрицания отрицания), когда накопленный материал обобщается и осмысливается в его единстве, в его различиях и связях.

Многие взгляды в языкознании развивались по этому пути. Возьмем историю изучения вида и времени у глагола. М. В. Ломоносов считает временными формами одного глагола такие морфологические единицы: *бросаю — бросал — бросил — брасывал — буду бросать — брошу*; или: *пишу — писал — буду писать — напишу*. Для Ломоносова все это — временные категории, видоизменения одной величины. Видовые значения уже были очень тонко уловлены исследователем; об этом говорят такие характеристики: «Прошедшее неопределенное время заключает в себе некоторое деяния продолжение или учащение и значит иногда дело совершенное: *Гомер писал о гневе Ахиллесове*; иногда несовершенное: *он тогда ко мне пришел, как я писал...*»<sup>10</sup>.

«Будущее неопределенное, — пишет далее Ломоносов, — значит будущее деяние, которого совершение неизвестно; ... прошедшее и будущее совершенное значат полное совершение деяния»<sup>11</sup>. Таким образом, М. В. Ломоносовым уже было точно определено значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Но ряд временных видоизменений не был ограничен от ряда видовых изменений — они представлялись одним целым; видоизменения одной лексемы объединялись с видоизменениями другой лексемы (*пле-*

<sup>7</sup> *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1951. С. 20.

<sup>8</sup> *Его же.* Диалектика природы. Госполитиздат, 1950. С. 224.

<sup>9</sup> *Его же.* Анти-Дюринг. С. 20—21.

<sup>10</sup> *Ломоносов М. В.* Полное собр. соч. Т. 7. М.; Л., 1952. С. 480. Иначе говоря, «глаголы несовершенного вида выражают процесс без указания на его законченность» (*Аванесов Р. И., Сидоров В. Н.* Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. М., 1945. С. 166).

<sup>11</sup> *Ломоносов М. В.* Указ. соч. С. 481.

скал — плеснул); не разграничивались синтетические и аналитические формы (плеснул — бывало плескал).

Все это было задачей следующего периода в развитии теории видов. Работы А. В. Болдырева, А. Х. Востокова, А. А. Потебни намечали все более и более определенно разграничение категорий вида и времени. Стремление оттолкнуться от ломоносовского учения и выделить, подчеркнуть категорию вида привело к изобретательным и интересным крайностям взглядов К. С. Аксакова и Н. П. Некрасова.

Последующая традиция, как будто, снова поворачивает к Ломоносову. И сейчас многие теоретики согласятся, что формы *бросал — бросаю — буду бросать — бросил — брошу — брасывал* принадлежат одной лексеме. Разница только в одном: в названиях этих форм. *Бросал* — не «прошедшее неопределенное», а «прошедшее несовершенного вида». Но это только — весьма значительно: новое название вобрало в себя долгий опыт языковедческих исследований и сопоставлений. А те лингвисты, которые не считают морфологические образования *бросил — бросал — брасывал* принадлежащими одной лексеме, указывают на сложные лексико-грамматические взаимоотношения между различающимися по виду глаголами, изучают видовые и временные категории в их многосторонних взаимосвязях как единую систему (но не внутри одной лексемы). И здесь вся совокупность глагольных форм изучается, как и в эпоху Ломоносова, в ее единстве. Но это не возврат к старому, скорее — «подъем по спирали».

Многие другие лингвистические теории развиваются, проходя подобные же этапы. Закономерность в развитии теоретической мысли, указанная Ф. Энгельсом, несомненно, не является единственной. Исследование таких закономерностей необходимо.

Часто возникают опасения: не делаем ли мы опасной уступки идеализму, если говорим об определенных закономерностях в развитии мысли, которые не прямо связаны с изменением объекта мысли, а обусловлены самим поступательным ходом исследования? Думается, эти опасения неосновательны.

Существуют законы логики — «синхронные» законы мышления; они, действуя одновременно и вместе, направляют мысль. Эти законы — не автономное порождение мысли как мысли, а своеобразное отражение законов действительности. Положение это достаточно четко развернуто советскими логиками<sup>12</sup>. Следовательно, действительность отражается в понятиях, суждениях, умозаключениях — и в самих законах, по которым эти суждения и умозаключения строятся.

<sup>12</sup> См.: Асмус В. Ф. Логика. Госполитиздат, 1947. С. 12 и сл.

Так же и «диахронные» законы<sup>13</sup>, законы смены одних «синхронных» теоретических построений другими, отражают определенные диалектические закономерности действительности. Реальность этих законов — несомненный факт.

\* \* \*

Практическая деятельность — важнейший стимул развития науки. Но взаимоотношения науки и практики тоже исторически изменчивы. Языкознание, как и другие науки, в истоках своих было чисто прикладной дисциплиной. Этот характер лингвистика сохраняла в России до середины XVIII в. «Российская грамматика» Ломоносова — учебник; цель его — научить правильно пользоваться литературным языком. «Разговор об орфографии» Тредиаковского — по задачам своим — инструкция (весьма объемистая) к составлению алфавита и свода орфографических правил. Неприкладных трудов по языкознанию в те времена еще не существует. Наука выполняет «разовые», для каждого случая узко ограниченные задания практики. Она является собранием рецептов, хотя бы и составленных обдуманно, тщательно, с толком. Таково «прикладное направление, характеризующее младенчество науки» (К. А. Тимирязев).

В дальнейшем связи языкознания и практики перестают быть столь непосредственными и простыми. Заметный перелом наступает в начале XIX в. У П. Соколова, И. Давыдова языкознание все еще представлено жанром учебника или наставления учащемуся. А. Х. Востоков свою «Русскую грамматику» выпускает уже в двух редакциях: сокращенная — учебник; «пространно изложенная» — теоретический труд, не ставящий узкоприкладных целей.

Поскольку практика настойчиво и непрерывно напоминает, что научные исследования имеют или будут иметь не сегодня, так завтра деловую, конкретную ценность, постольку научное развитие получает известный кредит: возникают чисто теоретические построения, которые лишь в будущем при каких-то условиях могут оказаться практически полезными. Этот кредит нужен и научному исследованию, и еще более практике: ей уже недостаточно рецептов, нужны всесторонне обоснованные и надежные рекомендации, и ради надежности их необходима разработка многих отвлеченных теорий, которые сами по себе кажутся оторванными от практики.

---

<sup>13</sup> Разумеется, слова «синхронные», «диахронные» здесь употребляются до известной степени метафорически (по отношению к соответствующим терминам языкознания).

В 70-х годах XIX в. были разработаны основы фонологии (в трудах Бодуэна де Куртенэ). Это было чисто теоретическое построение, абстракция высокой степени. Практические плоды эта теория принесла через 60 лет; лишь с 30-х годов XX в. она помогает решать вопросы создания новых алфавитов, упорядочения орфографии и т. д. Связь науки с практикой не оборвалась, но стала сложнее. Сложные, многообразные, не прямые, исторически изменяющиеся формы взаимодействия теории с практикой должны быть освещены в курсе «История языкознания». При этом необходимо подчеркивать право науки на «задел», на «абстрактное теоретизирование» — именно оно и даст в конце концов наиболее надежный практический результат.

\* \* \*

Языкознание взаимодействует с другими науками. Исторически изменчиво и это взаимодействие. В эпоху господства рационалистической, «философской» грамматики лингвистическая наука порабощена логикой. Это — тяжелая зависимость: законы одной науки выкраиваются по мерке другой. Сама эта бесправная зависимость от «ментора» — свидетельство младенчества языкознания. Борьба с логицизмом занимает большой период истории лингвистики.

Во второй половине XIX в. языкознание стало данником психологии; но здесь уже иные взаимоотношения. Вспомним, например, «психологизм» А. А. Потебни. Действительно, А. А. Потебня отдал щедрую дань психологизму. Но пафос<sup>14</sup> его деятельности был определен именно лингвистическими целями; они не были принесены в жертву психологии.

В чем же заключается пафос его деятельности? Потебня показал в своих трудах непрерывную текучесть, бесконечную изменчивость, «постоянное непостоянство» языка. Все время меняется значение слова, каждое новое применение слова — это по существу новое слово; более того: повторение слова в разных контекстах — это уже его существеннейшее изменение; и еще более того: даже единожды произнесенное слово для произносителя и для слушателя — разные единицы. Ярко творчески и своеобразно претворил Потебня в своих трудах положение В. Гумбольдта: язык — не вещь, а деятельность. Язык Потебня изучал в его мгновенных речевых преломлениях, в его непрерывном течении. Исторически изменчивы и слово, и предложение; многообразные следы этой изменчивости обнаруживаются при сопоставлении родственных языков.

---

<sup>14</sup> Слово *пафос* здесь разумеем в том смысле, какой был придан ему В. Г. Белинским в статьях о Пушкине (см.: *Белинский В. Г.* Полное собр. соч. Т. 7. М., 1955. С. 311—315).

Историческое языкознание до Потебни было в значительной степени механистично. Действовали формулы: явление А вытеснено явлением Б; место А заняло Б; А выпадает, освобождая место для Б. Вопрос о том, откуда это «заменяющее» Б и почему оно заменяет, оставался нерешенным или решенным лишь формально (заимствовано из говора, из иного типа склонения и т. д.). У Потебни А «превращается», «изменяется», «перетекает» в Б. Проследить диалектически противоречивое, непрерывно-изменчивое развитие языка — вот та большая задача, которая вдохновляла Потебню-лингвиста. И при выполнении этой задачи естественно было опереться на психологию: во-первых, потому, что психология в ту эпоху овладевала диалектикой последовательнее, активнее, чем языкознание; во-вторых, потому, что непрерывный поток человеческой мысли действительно объясняет многое и существенное в процессе непрерывной изменчивости языка. Для Потебни психологизм был удобной формой, которая позволяла выявить лингвистическое содержание его теории.

Иным был психологизм И. А. Бодуэна де Куртенэ. Идея, объединяющая едва ли не все его работы, — это идея различения синхронности и диахронности в языке («статической» и «динамической» лингвистики, по терминологии самого Бодуэна). Эта идея была продолжением и последовательным развитием исторического языкознания; она означала: одну эпоху развития языка нельзя мерить аршином другой эпохи; необходимо полностью избавиться от представления, что в вечно изменяющейся системе языка остаются отдельные «острова», отдельные неизменные элементы. Такой взгляд был ранее распространен: язык определенной эпохи рассматривали как конгломерат новых, древних и древнейших явлений. Уже Потебня замечал, что в языке от присутствия нового изменяется и сущность стоящего возле древнего, это древнее обновляется и само становится иным. Дальнейшее развитие этих идей и выдвинуло концепцию Бодуэна.

Где же критерий, позволяющий отделить подлинное живое в языке данной эпохи от мертвого, принадлежащего прошлому? Бодуэн нашел этот критерий в сознании говорящих. То, что доступно и ясно чутью говорящих, принадлежит языку их эпохи. Отсюда — склонность к психологизму, с течением времени все разраставшаяся у Бодуэна. И у него психологизм был формой выявления и защиты лингвистического содержания его теории.

В работах по истории языкознания, к сожалению, обычно обращают внимание только на эту психологическую оболочку, на форму, в которой идет защита лингвистической концепции, а самое существо этой концепции нередко ускользает от внимания. Если в программах по истории языкознания уделена всего одна строчка Бодуэну, то, конечно, сказано только одно: что он психологист. Это считается самым важным. Получается, что подчинение

лингвистики логике заменилось таким же подчинением психологической науке. На самом деле это не так: языкознание уже не следует послушно за выводами другой науки, а использует их в своих целях. Но, с другой стороны, психологическая «поддержка» нужна была языкознанию отчасти и потому, что не хватало собственно языковедческого, последовательно-языковедческого обоснования теории. Некоторые ее участки, «пролеты», не держивали собственной тяжести, провисали — и вот к ним были подставлены психологические «быки», подпорки. В дальнейшем синхроническое изучение языка было разработано на чисто лингвистической основе.

У Ф. Ф. Фортунатова исследование языка выступает уже без всяких нелингвистических одеяний и оболочек; тем самым открывается путь к свободному и равноправному «кооперированию» наук. Обычное мнение, что и Фортунатов был психологист, — совершенно ложно, оно возникло благодаря тому, что Фортунатова «подравняли» к младограмматикам и приписали ему все младограмматические достоинства и промахи. Ф. Ф. Фортунатов к данным психологии прибегает очень редко, и его теории всегда достаточно обоснованы лингвистически; психологические экскурсы служат или способом популярного разъяснения этих теорий, или косвенным подтверждением их, или раскрытием, истолкованием с психологической стороны специфически языковых закономерностей. Например, определяя предложение, Фортунатов подчеркивает его функциональные отличия: оно не называет, а сообщает; это все разъясняется в популярной «психологической» форме.

В курсе «История языкознания» необходимо отметить разные типы взаимодействия наук и — самое главное — надо за внешними формами «психологизма», «биологизма», «этнографизма» видеть внутреннее существо лингвистических теорий.

\* \* \*

Наша наука издавна развивается, творчески воспринимая и перерабатывая лучшее, что создано на Западе. В рассматриваемом курсе поэтому не обойтись без сжатого анализа деятельности ряда крупнейших зарубежных ученых. Освещая деятельность А. А. Потебни, нельзя не рассказать о трудах В. Гумбольдта. Необходимо подчеркнуть схождения и расхождения с младограмматиками у Ф. Ф. Фортунатова и И. А. Бодуэна де Куртенэ. В своих теориях Бодуэн продолжал не только традиции русского языкознания (А. А. Потебни; М. А. Тулова и П. К. Услара; И. И. Срезневского), но и польского (Ю. Мрозиньского и др.). Это также должно быть отмечено.

Сопоставления работ отечественных и западных ученых должны быть строго объективны. Слишком много у нас читалось лекций, где все сопостав-

ления своего и «чужого» преследуют одну цель: показать товар лицом. Студентам оставалось на выбор: или признать, что наука развивалась только у нас, или глубокомысленно заключить, что какое ни возьми «наше» исследование — на Западе можно подобрать гораздо хуже.

Строго объективное исследование покажет, что у нас есть чем гордиться, но это же исследование подчеркнет, что творчество русских ученых никогда не было изолировано от западного научного опыта. Оригинальность путей, которыми шли отечественные ученые, в значительной степени обусловлена критическим усвоением опыта западнославянской, германской, французской филологии. Традиции русских и западноевропейских ученых — не две враждующие и взаимоисключающие стихии; они, напротив, взаимодействуют и дополняют друг друга.

А. Х. Востоков, например, подошел к сравнительно-историческому исследованию языков иным путем, чем Ф. Бопп и Р. К. Раск. Бопп, как известно, первоначально ставил себе целью найти в глагольных флексиях индоевропейских языков видоизмененную, преобразованную связку «быть». Это дало бы возможность научно подтвердить тождество суждения (субъект — связка — предикат) и предложения. Глагол-сказуемое оказался бы объединителем логических единиц: связки и предиката. Таким образом, в истоке всех поисков Боппа лежит мысль о соотношениях языка и мышления, суждения и предложения. Решая эту задачу, Бопп далеко отошел от своих первоначальных целей. Раск в первую очередь стремился установить родственные связи ряда германских языков. Все эти цели были чужды Востокову. Он рано сумел преодолеть схемы рационалистической грамматики, сумел отказаться от приравнивания предложения к суждению. Об этом говорит его «Русская грамматика». Определяющим признаком предложения, по Востокову, оказывается наличие спрягаемого глагола — примета вполне языковая, не логицистская. Доказывать родство славянских языков Востоков также не считал необходимым: родство это достаточно очевидно. Цель его была иной — сравнивая языки, определить признаки, особенности некоторых мертвых языков, в частности старославянского. Справедливы слова И. И. Срезневского, что А. Х. Востоков, «никем не предупрежденный, сам собою попавший на прямую дорогу, в то время, когда на западе Европы еще не чуялось свежее дыхание нового исторического направления филологии и языкознания»<sup>15</sup>, высказал и обосновал взгляды, исключительно новые для своего времени.

Сразу используя сравнительно-исторический метод по его прямому значению, Востоков в своих исследованиях стремился к установлению пре-

---

<sup>15</sup> Срезневский И. Обзорение научных трудов А. Х. Востокова // *Востоков А. Х. Филологические наблюдения*. СПб., 1865. С. LV.

дельно точных, не знающих исключений фонетических соответствий между родственными языками. Этого требовала сама цель его исследования — установление звуковых особенностей старославянского языка. Встречая исключения, Востоков верно нащупывал некоторые пути к их объяснению. Например, сопоставляя формы род. падежа ед. числа *доуша, вола* (старослав.) — *duşy, woli* (польск.), Востоков предполагает, что польский язык в этих формах «издревле не имел» носового произношения (т. е. предполагает диалектные расхождения в самом общеславянском языке) или «потерял оно». (Как видим, ученому еще чужда была мысль об аналогических изменениях в языке.) Убеждение Востокова в невозможности необусловленных, в одном только слове (или в одном форманте) обнаруженных случайных уклонений от фонетических законов оказало большое влияние на последующее развитие отечественной науки. Эту идею поддержал И. И. Срезневский; его ученик И. А. Бодуэн де Куртенэ превратил ее в строгий принцип исследования (раньше, чем это сделали младограмматики на Западе).

У Боппа и многих других первооткрывателей-компаративистов не было такой строгости в их фонетических сопоставлениях: сама цель исследования не требовала этого; у Боппа она даже мешала такой строгости. Открытие логической связки в глагольных флексиях требовало некоторых вольностей в обращении с фактами. Самое развитие сравнительно-исторического метода у Боппа было постепенным преодолением первоначальных целей исследования.

По словам Томсена, «... хотя Бопп и говорит о характерных для различных языков звуковых переходах как о „физических“ законах, но сам все же не признает их таковыми, так как позволяет себе постоянно устанавливать всевозможные исключения из них; в общем он рассматривает эту сторону предмета, подобно Раску, с большой для себя свободой, и она играет у него довольно подчиненную роль»<sup>16</sup>.

Большой выигрыш Востокова был, однако, связан и с определенным проигрышем. Точность исследования была завоевана за счет его широты. Востоков ограничился только сопоставлением славянских языков, оставив в стороне все другие индоевропейские, в том числе и языки балтийской ветви. Это, разумеется, во многом обеднило фактические результаты исследования. Недостатки работы, как это часто бывает, оказались прямым продолжением ее достоинств. Было бы неверным, анализируя в курсе лекций деятельность русских языковедов, останавливаться только на преимуществах их работ, оставляя в тени те недостатки, те ограничения, которые внутренне связаны с этими достоинствами и прямо продолжают их.

<sup>16</sup> Томсен В. История языковедения до конца XIX века. М., 1938. С. 61—62.



\* \* \*

Задачи курса «История отечественного языкознания» велики и тем более трудны, что у нас очень мало полноценных трудов о разных исследовательских школах, о трудах наших языковедов. Нерешенных вопросов накопилось множество — и все требуют серьезного обсуждения. В этих заметках были упомянуты только некоторые — очень немногие — из самых «наболевших» вопросов.

## Московская лингвистическая школа. 100 лет\*

Конец XIX — начало XX и весь XX век — время становления в лингвистике новых взглядов на язык. Он был понят как система: каждая единица определяется всеми другими единицами той же системы. Этот же принцип можно сформулировать другими словами (концептуально несколько иная, но близкая формула): созидающим началом в системе являются отношения между ее единицами.

Это теоретическое начало появилось в трудах Ф. де Соссюра, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова, изменило лингвистику, создало семиотику — науку о знаках, вышло на просторы изучения человеческой культуры. Главное направление в современной лингвистике — структурализм (или, вернее, структурализмы) — изучает язык как знаковую систему; при этом языковеды в своих работах естественно выходят за пределы языка, в области других семиотических систем.

...В некоторых восточных странах престолонаследником был не старший сын, а младший. (Это не лишено здравого расчета: смена правителя — напряженный промежуток, и понятно желание отодвинуть его на возможно более дальний срок.)

...В сказках про трех братьев победителем бывает обычно самый неказистый («Средний был и так и сяк, Младший вовсе был дурак». П. П. Ершов.)

...Пешка, слабейшая фигура, дойдя до последней линии на шахматной доске, становится ферзем или другой сильной фигурой.

...А возьмите такое документальное произведение, как анкета недавних времен: если на вопрос: «Кем вы были до 17 года?» отвечаете: «Камергер Его Императорского Величества», то ваше дело плохо. Отвечайте: «Ассенизатор в рабочем поселке» — и вы легко пройдете на значительный пост. Так был устроен этот жанр — анкета.

...В некоторых типах диссимилятивного яканья в предупредных слогах встречаем [и]: *за силóм, слипóй, рибóй*... В этих позициях гласный представ-

---

\* Русистика сегодня / Отд-ние лит. и яз. РАН. Ин-т русского языка РАН. № 3/95. С. 5—37.

лен самым невыгодным для себя образом: гласные — «ртомаскрыватели», а здесь они дошли до степени [и], гласного весьма закрытого. Но в других позициях (с ударным [о] другого качества) «пешки» становятся «ферзями», получают максимальную степень раскрытости — представлены звуком [а]: *сяло́, сляпо́ва, рябо́ва...*

В таких рядах отдельные факты могут быть обусловлены разными социальными, психологическими причинами, но все они семиотически однородны: единице, которой придано значение ‘минимальная’, после преобразований присваивается значение ‘максимальная’.

Здесь представлена модель («чучело») возможного семиотического сопоставления; оно имеет компилятивный характер, автор ее никто. Но этот пример доказывает, как легко такое семиотическое исследование минует границы языка, перелетая в другие семиотические миры. Поиск ведется на безграничном пространстве знаковых систем; задача — величественная: найти общие семиотические законы человеческой культуры. Даже когда структуралистское исследование самоограничивается рамками одного языка, все равно в центре внимания остаются такие закономерности, которые могут преодолевать границы частной знаковой системы. Именно поэтому структуралистам так удаются типологические исследования.

Это направление исследовательской мысли, очевидно, должно иметь определенный противовес. Язык, конечно, семиотическая система. Но язык особая система, принципиально отличная ото всех других. Хотя бы тем, что все семиотические системы можно перевести в язык и ни одна другая не обладает такой универсальностью. (Возражают: но ведь музыку нельзя перевести в слово. Это свойство любого искусства; картину тоже нельзя пересказать так, чтобы слово воплотило ее живописную силу. Видно, искусство — не только знаковая система.)

Закономерности, свойственные языку, во многих случаях (как правило? обычно?) имеют чисто языковую специфику и не находят параллелей в других семиотических системах. Это:

чередования, определяемые многими внутрисистемными позиционными условиями;

нейтрализация (в определенных позициях) двух — семи и более единиц;

ступенчатые преобразования, когда единица А дает основу для создания единицы Б, та — для единицы В и т. д.: *бить* — *забить* — *забивать* — *назавивать*; *лить* — *перелить* — *переливать* — *попереливать*; на каждой ступени меняется вид;

ветвистые, многовариантные пути перестройки единиц;

синонимические и омонимические схождения-расхождения на уровне разных языковых единиц (морфем, слов, словосочетаний, предложений);

синхроническая продуктивность единиц, т. е. «заготовление» в системе языка всегда готовых средств для ее пополнения;

закрепленные в языке пути метафорических обновлений его номинативных возможностей...

Все это либо невозможно вне человеческого языка, в других семиотических системах, либо очень там ограничено.

Язык как особая система знаков, неповторимая вне человеческого общения, — вот тема, проникающая все научное творчество Ф. Ф. Фортунатова.

Основа основ у него — понимание языка как отношения. Оно раскрывается в его трактовке вопросов грамматики. Он пишет: «Всякая форма слов, образуемая аффиксом, предполагает существование другой формы, в которой те же основы являются без данного аффикса» (I—147)<sup>1</sup>.

Он говорит о производных глаголах с основами определенного типа (в литовском языке): «... глаголы с такими основами являются обозначенными в качестве глаголов состояния, но такое значение принадлежит этим глагольным основам не в соотношении их с основами непроизводных глаголов вообще, а в соотношении с основами таких производных глаголов», которые имеют определенный суффикс (III—27). И добавляет: «Форма основ может существовать, понятно, лишь в соотношении данных основ с другими основами, представляющими другое образование...» (III—45). Следовательно, предполагается: чтобы было у грамматической единицы определенное значение, нужно определенное отношение к другой грамматической единице.

Это мышление, требующее в определении языковых реальностей исходить из соотношения единиц, особенно ярко сказывалось в рассуждениях Фортунатова о связях друг с другом глаголов движения. Ф. Ф. Фортунатов пишет: «Что же касается недлительно-процессуальных результативных основ, то в них не допускаются кратные глагольные основы, сохраняющие кратное значение, и в таких случаях, как *сбежать куда*, *слетать куда*, является связь по значению уже не с кратными глаголами *бежать*, *летать*, но с ответственными не кратными *бежать*, *лететь*, ... вследствие чего, напр., в *слететь куда* основа является ... производно-сложною, т. е. получающею в сочетании с приставкою видоизменение простой глагольной основы, данной в *лететь*» (III—119).

Здесь Ф. Ф. Фортунатов касается сложного вопроса русской морфологии: видовые отношения у глаголов направленного / ненаправленного движения. (Клубок сомнений вокруг этого вопроса был распутан только в 40-х годах,

---

<sup>1</sup> Условные обозначения: I — Ф. Ф. Фортунатов. Избранные труды. Т. I. М., 1956; II — То же. Т. II. М., 1957; III — Ф. Ф. Фортунатов. Критический разбор сочинения... Г. К. Ульянова «Значение глагольных основ в литовско-славянском языке». СПб., 1987.

сначала в лекциях Н. А. Янко-Триницкой, а потом в ее печатных работах.) Для решения этой проблемы понадобились два подступа: теория ступеней видового словообразования у глаголов и точное определение грамматического значения у глаголов направленного / ненаправленного движения. Это было невозможно, пока сам состав таких глаголов был неясен; например, в число таких глаголов включали соотносительную пару *садить* — *сажать*. Всего таких глаголов, как оказалось, 14 пар: *лететь* — *летать*, *бежать* — *бегать*, *нести* — *носить*, *идти* — *ходить* и т. д. Глагол направленного движения (*лететь*, *бежать*, *нести*, *идти* и т. д.) показывает движение, направленное в одну сторону. Глагол ненаправленного движения (*летать*, *бегать*, *носить*, *ходить* и т. д.) показывает движение туда — обратно или в разные стороны: *бежал по дорожке* (т. е. взад и вперед), *бежал по лужайке* (в разных направлениях).

Ступени видового словообразования глаголов легко показать на таком примере: нулевая ступень — *писать*, первая — *написать*, вторая — *написывать*, третья — *понаписывать*. Другой пример: *точить* — *заточить* — *затачивать* — *назатачивать*. Нулевая ступень — непроизводная, первая — приставочная, вторая — с меной суффикса, третья — снова приставочная, со второй приставкой. Нулевая ступень — глагол несовершенного вида, первая — совершенного, вторая — несовершенного, третья — совершенного. Поднимаясь со ступени на ступень, последовательно меняем один вид на другой.

Этот тип отношений охватывает сотни и тысячи глаголов. Подчиняются и глаголы направленного / ненаправленного движения, но у них этот контраст во многих случаях очень затемнен. Во-первых, он стерт во многих контекстах: *Ты ей отнес книги?* (*отнес* — глагол направленного движения); *Ты ей относил книги?* (*относил* — туда — обратно, глагол ненаправленного движения). Контраст бледен; вместе с тем слаб и контраст сов. — несов. вида. Во-вторых, может сбивать с толку и омонимия: глагол ненаправленного движения = (0) *летать*, = (1) *слетать* (*слетал в Петербурге*); 2-й и 3-й ступени нет. Глагол направленного движения = (0) *лететь*, (1) *слететь*, (2) *слетать* (*ремень постоянно слетает со шкива*); (3) *послетать* (*все ремни послетали со шкивов*). Итак: *слетать* = сов., ненаправл.; *слететь* = несов., направл. Такая омонимия есть у нескольких глагольных пар в этой группе глаголов. В-третьих, затрудняет дело и супплетивизм. Если у преподавателя возникнет необходимость «провалить» студента — лучший способ: пусть найдет видовые ступени глаголов *ходить* — *идти*. Формы *ходить*, *пошел*, *пойти*, *походил* (*взад-вперед*) будут так мельтешить перед ним, что вряд ли он сможет найти их закономерные отношения (которые, однако, существуют). Да еще омонимия: *сходил* (*на почту*, туда и обратно, ненаправл. движение, сов. вид от *ходить*) и *сходил* (*здесь он сходил с поезда и шел домой*, направл. движе-

ние, несов. вид от *идти*). Во время Фортунатова разобраться в этом было невыносимо трудно: нет теории ступеней видового словообразования, сама группа глаголов еще полностью не определена. Тем интереснее его решение.

Он осветил только фрагмент данных отношений. И при этом выявились характерные черты фортунатовского лингвистического мышления (и мы недаром так долго занимаемся этим фрагментом).

Ф. Ф. Фортунатов утверждает, что грамматические отношения связывают *сбежать* и *слетать* с исходными *бежать* и *лететь*. Он развел *сбежать* и *бежать*, *слетать* и *летать*; он свел *сбежать* (сов. вид) и *бежать*, *слетать* и *летать*. И это бесспорно правильно. Сейчас — бесспорно, но в 1897 году только четкость научной мысли Фортунатова и его интуиция помогли это установить.

Выстраиваются такие ряды:

<u>Глаголы направленного движения</u>	<u>Глаголы ненаправленного движения</u>
0. бежать	0. бегать
1. сбежать	1. сбегать
2. сбегать	

А также:

0. лететь	0. летать
1. слететь	1. слетать (сов. вид)
2. слетать (несов. вид)	

Как видим, действительно, надо объединить материально неподобные основы: *бежать* и *сбежать*, *лететь* и *слетать*, и разъединить то, что кажется тождественным. Отношения между глаголами требуют именно такой трактовки.

У тех, кто изучает язык как систему, нередко возникают сомнения-сознания: чему следовать, закономерностям соотношений единиц или наглядности, материальным (от «материал») их подобиям и сходствам. И выбор нередко делается в пользу «очевидности», т. е. в пользу внесистемных объединений единиц. Специфически-языковым связям предпочитают внеязыковые: в фонетике — физическое подобие звуков («фонология» Л. В. Щербы), в грамматике — описательно-понятийные сближения значений. Ф. Ф. Фортунатов дал исследованиям иное направление: решающее значение имеет система соотношений между единицами. Когда возникает конфронтация между материальной данностью и функциональными сближениями, фортунатовцы выбирают функцию.

Итак: путевой нитью в построении языковых единств, в определении тождеств и разграничений являются не материальные (от «материал») сходства

и различия, а система отношений между языковыми единицами. Место в функциональной системе определяет трактовку той или иной материально данной единицы. Вот в кратчайшем виде учение о языке Ф. Ф. Фортунатова.

МЛШ, фортунатовцы, ищут закономерности, характерные для языка как для особой, специфической системы знаков; они ищут то, что определено типами связей в данном языке и специфично для него. Ищут — минуя случайные (хотя бы и «наглядные») сходства единиц. Этот принцип, впервые последовательно проведенный в работах Ф. Ф. Фортунатова, очень пригодился в 30-х годах создателям московской фонологической теории.

Ф. Ф. Фортунатов открывает разные типы соотношений языковых единиц. Он замечает (систематически, т. е. при исследовании разных грамматических систем) нулевые показатели. Термина не вводит — это обычай большинства «московских» лингвистов: остерегаться нагромождения научных слов (плюс или минус? — решить нелегко). Он пишет: «... Относительно образования форм слов при посредстве аффиксов надо иметь в виду, что не только присутствие известного аффикса в сочетании с основами служит для образования известной формы, но вследствие этого и отсутствие всякого аффикса при тех же основах в других словах образует также форму слов по отношению этих слов к словам, заключающим в себе те же основы в сочетании с аффиксами. Например, в русском языке в таких словах, как *город*, *стол*, форма именительного падежа ед. числа образуется ... отсутствием всякого аффикса при тех же основах, которые сочетаются с различными аффиксами в других формах, соотносительных по значению с этой формой» (I — 146—147). По отношению... соотносительных ... Нулевые единицы, конечно, можно установить только в соотношении единиц. А это и есть основная тема исследований Фортунатова.

Принято считать, что понятие маркированности / немаркированности впервые было выдвинуто пражской лингвистической школой. Однако это важное теоретическое разграничение широко использовалось Фортунатовым и фортунатовцами (например, В. К. Поржезинским) еще в начале XX века. И — снова без введения особого термина, но со строгими толкованиями и объяснениями; увы, этот замечательный шаг в лингвистике остался незамеченным. Мысль обогащена; но надо было назвать!

Восстанавливая грамматические факты общеиндоевропейского языка, Ф. Ф. Фортунатов говорит: «... В глаголах общеиндоевропейского языка различались, во-первых, форма вида перфективного и форма вида имперфективного; первая обозначала данный признак в полноте его проявления во времени, а вторая не имела этого значения, т. е. обозначала тот же признак без отношения к полноте его проявления во времени» (I—161). Как немаркированные

рассматриваются форма действительного залога — по отношению к среднему залогу (I—160—161, II—264), изъявительное наклонение — по отношению к косвенным наклонениям (II—445), несовершенный вид — по отношению к совершенному (II—265), форма недлительного вида в общиндоевропейском языке по отношению к форме длительного вида (I—161).

Иногда немаркированность единиц, установленная Фортунатовым, может быть весьма сложной, выражающей разные скрецающиеся значения. Так, в сложных глагольных основах балтийских и славянских языков Фортунатов различает «два глагольных значения: такое образование основ обозначает, во-первых, время законченности признака как время результата в проявлении признака, и, во-вторых, в таком образовании основ обозначается законченность данной длительности признака. Простые глагольные основы как основы несовершенного вида в их отношении к сложным основам совершенного вида представляют исключительно отрицательное значение, т. е. в случаях первого рода они обозначают признак без отношения ко времени законченности, а в случаях второго рода данный признак обозначается в них без отношения к законченности длительности признака» (III—90—91).

В толковании понятий маркированности / немаркированности сейчас образовались партия остроконечников и партия тупоконечников. Одни говорят: немаркированность — отсутствие в значении слова или грамматической формы того признака, который выражен в соответствующем маркированном члене противопоставления. Другие возражают: нет, немаркированность — это присутствие признака, который сигнализирует о снятии определенного противопоставления. Ф. Ф. Фортунатов решал этот вопрос так: «В формах наклонения глаголов в общиндоевропейском языке различались формы косвенного наклонения и формы прямого, или изъявительного, наклонения. Формами косвенного наклонения сочетание данного признака с известным субъектом по отношению к данному времени обозначалось как ожидаемое в большей или меньшей степени (между прочим, и как желаемое, и как требуемое) в мысли говорящего. ... Формой изъявительного наклонения сочетание данного признака с известным субъектом по отношению к данному времени не обозначалось как ожидаемое лишь в мысли и потому могло обозначаться и как являющееся в действительности» (I—159). Это блестящее определение сущности немаркированности: один член противопоставления имеет ограничения в употреблении, а другой не подвержен таким ограничениям. *Читал:* время до момента речи. *Читаю:* не только до. *Месяц тому назад читаю приказ...*

Таким образом, сущность дела разъясняется не путем ссылки на логические категории (немаркированный член передает понятие более широкого объема, чем маркированный), а в чисто языковом плане: по употреблению



единиц. Употребление одной единицы сопоставляется с употреблением другой, соотносительной.

Как две единицы, имеющие известную самостоятельность, соединяются в целостность, в единицу более высокого ранга? Чем *не правда* отличается от *неправда*? (ср.: *Это не правда, а художественный вымысел; Не говори мне явную неправду*). Фортунатов видит здесь различие в отношениях. *Не правда*: значение составляющих не изменяется в сочетании; *не* и *правда* сохраняют свои значения, наличные вне сочетания.

Но определенная часть языковой единицы, пишет Фортунатов, может выступать «как изменяющая известным образом значения тех знаков, с которыми соединяется, т. е. как образующая данные знаки из других знаков ... с известным видоизменением их значения». Так, в словах «*несчастье, неправда* и т. п. звуковой комплекс *не* может созвучиваться нами как изменяющий известным образом значения слов *счастье, правда* и т. п. (именно как обращающий данное значение в противоположное) и, следовательно, как образующий данные слова из слов *счастье, правда* и т. п. с известным видоизменением их значений» (I—123; см. также о слове *неприятель*, I—173). Важно и такое пояснение: «звуковой комплекс *неправда* (ложь) представляет одно слово, хотя это слово по составу не простое, так как, будучи разложен на отдельные слова *не* и *правда*, теряет данное значение» (I—132).

Затем Фортунатов делает смелый, но вполне обоснованный шаг: переходит к общему определению аффикса и, следовательно, грамматики: «Аффикс в слове — это та часть, которая видоизменяет значение другой части в слове, называемой по отношению к аффиксу основой; основа в слове, следовательно, та часть в слове, значение которой видоизменяется другою частью слова, называемой аффиксом» (I — 72—73; см. также 124).

Это определение грамматического показателя Фортунатов распространяет и на другие грамматические средства: «Присутствие в слове делимости на основу и аффикс дает слову то, что мы называем его формою, хотя... формы слов образуются и другими способами» (I—73). Например с помощью удвоения слова. «Удвоенное слово образуется таким повторением слова, которое сознается говорящими как изменяющее известным образом значение данного слова, например, в русском языке *большой-большой* (т. е. очень большой), *красный-красный, едва-едва*. Не всякое повторение слов образует удвоенное слово как известного рода одно цельное слово, но лишь такое повторение, которое, как я сказал, изменяет известным образом значение данного слова. Например, в восклицании *пожар, пожар* повторение слова не образует удвоенного слова (как отдельного цельного слова), так как не изменяет значения слова *пожар*» (I—174).

Итак, одна единица изменяет другую единицу, именно ее значение. В мир грамматики внесен динамизм (словообразование Фортунатов объединял с грамматикой).

Есть слово *приятель*. По значению приблизительно то же, что *друг*. Прибавим *не-*, получилось *неприятель*, о друге уже речи нет, наоборот: *неприятель* — это враг. Замечаем, что прибавление *не-* во многих случаях превращает значение слова в противоположность. Дано: *писать*; заменим аффикс: *пишу*. Было: значение действия, абстрагированного от деятеля, стало: значение действия самого говорящего. Аффикс постоянно изменяет значение основы, к которой он присоединяется. Но подходит ли здесь слово *изменение*? Как будто настоящего изменения нет, такого, когда одно становится другим, перетекает в другое, переставая быть прежним: почка становится листом, медвежонок — медведем, весна изменяется в лето. Самого процесса превращения нет. Что же есть реально? Замена одного значения другим в других условиях. Чередование значений в условиях мены аффиксов (считая меной и прибавление их).

В известных условиях меняющиеся сущности оцениваются как одно и то же, как единая сущность, которая претерпевает превращения. (Например, *о* в разных позициях оценивается как то же самое *о*, испытывающее влияние позиций.) Для этого нужно, чтобы мена была закономерной, т. е. охватывающей целый класс единиц, например, когда *не* присоединяется к классу имен. Это бывает в условиях регулярности смены сущностей.

Итак, в учении Фортунатова захвачен огромный пласт явлений, который называется **чередования** — одна из основных тем МЛШ.

В центре грамматической теории Ф. Ф. Фортунатова находится понятие грамматической формы. Читаем: «... Для того, чтобы слово при тождестве звуковой стороны могло представлять собою названия различных соотносительных между собою предметов мысли, т. е. могло иметь соотносительные значения..., необходимо, чтобы в языке существовало уже в других случаях обозначение этого различия в различных названиях или в известном различии названия, вследствие чего значение такого слова могло бы ассоциироваться с существующим уже в языке обозначением известного различия в других, однородных предметах мысли» (III—86). Поясним примером. Падежная форма (*нет*) *радости* (род. пад.) и падежная форма (*к нашей*) *радости* (дат. пад.) — разные грамматические формы, так как есть *воды* (род. пад.) и *воде* (дат. пад.) Значение только тогда значение в языке, когда для него есть особое средство выражения. И — шире: в языковой системе есть только такие значения, которые установлены языком.

В каком смысле особое: отдельный отрезок слова, несущий это значение? Нет, это годилось бы только для агглютинативных языков. Отдельное значит:

есть окончание для род. падежа и другое — для дат. падежа и т. д. И вместе с тем есть окончания для ед. числа, а другие — для мн. числа.

Иметь особое средство выражения — то есть входить в ряд противопоставлений, где данное значение имеет свое выражение. Ряды могут скрещиваться, т. е. один показатель обозначает, например, и падеж, и число. Итак, иметь свое выражение — быть в соотношении с другими показателями данного ряда.

Учение о грамматической форме создало основу для учения о частях речи, о системе залогов в русском языке.

В идее грамматической формы скрыто (или открыто) признание уникальности каждой языковой системы. Если грамматическая форма языка формируется его внутренними отношениями, она не может быть при анализе перенесена из другого языка. И не может быть перенесена из логики или психологии.

Языку в его данном состоянии не могут быть навязаны закономерности его предшествующего состояния. Фортунатов объясняет учителям: «Важно то, чтобы учащиеся не смешивали фактов, существующих в данное время в языке, с теми, которые открываются при изучении истории языка...» (II—445). Например, ученики должны понимать, что слова *отец*, *удовольствие*, *потомство* в современном языке имеют нечленимую основу. Он упрекает одного лингвиста: «... Для автора более древнее значение известной формы и образовавшееся более новое представляются одновременно существующими. Так как мы можем думать, что когда-то индоевропейский праязык не имел падежей и что та форма, которая впоследствии стала именительной, прежде (т. е. до появления косвенных падежей) не имела такого значения, то автор находит совершенно естественным, что то же употребление этой формы должно сохраняться и впоследствии... Это хаотическое смешение более древних значений с более поздними в значительной степени обуславливается тем, что автор не дает себе, по-видимому, ясного отчета в том, что он называет падежом вообще» (Ф. Ф. Фортунатов. Разбор сочинения А. В. Попова «Синтаксические исследования» / Записки императорской Академии наук. Т. 49. СПб., 1884. С. 114—115).

Единицы формируются отношениями; включение в их совокупность чужой единицы (из другого состояния языка) исказит отношения. Поэтому Ф. Ф. Фортунатов — сторонник строгой синхронии при исследовании языка определенной эпохи.

Итак, пафос научных исследований Фортунатова — поиски тех отношений между единицами языка, которые определяют функционирование единиц. И определяются ими. Они уникальны для каждой языковой системы и поэтому должны изучаться внутри системы.

У Фортунатова было много учеников. Наиболее глубоко восприняли его взгляды и дали им дальнейшее развитие Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, М. Н. Петерсон, В. К. Поржезинский, первое поколение фортунатовцев.

Остается требованием строгое различение синхронии и диахронии: «Смешивая факты разных эпох, школьная грамматика... не дает понимания ни фактов языка, ни его истории» (Д. Н. Ушаков. Краткое введение в науку о языке. М., 1928. С. 73. Далее: V—1).

Важнейшей частью их работы было исследование грамматической формы, углубление этого важнейшего понятия. Д. Н. Ушаков писал: грамматическая «форма может существовать в слове лишь соотносительно с другими словами; ... формы слов в языке могут существовать лишь постольку, поскольку те или иные слова соотносительны между собой... Следовательно, не может, быть в языке такой формы, которая была бы представлена только одним словом» (V—1, с. 69). Мысль — Фортунатова, разница как будто только в стиле. Фортунатов нередко излагал свою мысль тяжеловерсно; он сообщал новые, непривычные взгляды и боялся, что они будут поняты превратно. Он разжевывает свою мысль, снабжая ее десятками оговорок — пояснений, оберегая ее от недопонимания. Д. Н. Ушаков писал в то время, когда взгляды Фортунатова среди филологов уже получили признание и понимание; боязнь, что не так поймут, прошла. Поэтому для Ушакова возникла возможность «прекрасной ясности».

Но были и принципиальные новшества. Н. Н. Дурново определяет глаголы так: «Глаголами называются те слова, ... изменения которых показывают отношение говорящего к тому, о чем он говорит, или время того, о чем говорится. Эти изменения, вместе с изменениями по лицам, называются спряжением» (Н. Н. Дурново. Повторительный курс грамматики русского языка. Вып. 1. М., 1931 (2-е изд.). С. 27). Здесь — полная верность традиции. Но в той же книге читаем: «Неспрягаемые глаголы. Такими являются только безличные глаголы *нет*, *нету* и *не* с отрицательным значением; последний [глагол] только в соединении с местоимениями-существительными: *кого*, *кому*, *кем*, *ком*, *чего*, *чему*, *чем*, *чём*, и неграмматическими наречиями: *где*, *когда*, *куда*, *откуда*, с которыми пишется в одно слово, если не отделен от них предлогами. Эти глаголы не имеют формы времени и склонения... Примеры: *У меня нет ни отца, ни матери. Вашему пахарю моченьки нет. Мне некого послать. Здесь даже поговорить не с кем. Некогда отдохнуть. Незачем тебе туда ходить»* (Там же. С. 105—106. См. также: Д. Н. Ушаков. Русский язык. М.; Л., 1926. С. 90). Смелость мысли, вполне достойная ученика Фортунатова. И вместе с тем это отход от фортунатовского понимания грамматической формы. Во-первых, глагол *нет* не отвечает определению, которое дается глаголу, см. выше. Во-вторых, нет членимости слова на две части, из ко-

торых одна (грамматическая) изменяет значение другой (лексической). Здесь иное понимание грамматической формы. Место данной грамматической формы в ряду форм, в системе их определяет грамматическую форму единицы. *Не было дождя — Нет дождя — Не будет дождя...* Целостный ряд функционально соотносительных грамматических единиц; отношения говорят о том, что *нет* — глагол.

Таким образом, понятие грамматической формы было расширено. Но ведь дух его сохранен! Членимость слова на две части, грамматическую и неграмматическую, нужна Фортунатову только для того, чтобы ввести его в сеть отношений с другими формами слов и со словами. Только в этом смысл разделения слова, которое Ф. Ф. Фортунатов называл грамматической формой. Но этот смысл сохранен и в новом понимании термина.

Это новшество ведет к серьезным изменениям в самой грамматической теории. Фортунатов делил единицы на грамматические (имеющие грамматическую форму) и неграмматические. Например, *кенгуру, куда, скользя, подписав, читать* были выведены за пределы грамматики. Это единицы вне склонения и вне спряжения, т. е. вне ряда грамматически соотнесенных форм. По новой трактовке грамматической формы многие единицы выбывают из группы неграмматических. Н. Н. Дурново, рецензируя книги М. Н. Петерсона (с традиционным истолкованием фортунаатовской теории), пишет: «... Наречия на *-о* и *-ски* можно... присоединить к прилагательным, рассматривая их как форму, показывающую отношение прилагательного не к существительному..., а к глаголу...» (Slavia. С. 536). Так, с расширением понятия «грамматическая форма», без предательства сути этого ключевого понятия в грамматике, постепенно таяла группа фортунаатовских неграмматических единиц, а следующее поколение фортунаатовцев совсем от нее отказалось. Грамматические показатели были определены во всем их множестве и разнообразии<sup>2</sup>.

Таким образом, отход последователей Фортунатова от его грамматического учения заключается в том, что они распространили это учение на фак-

---

<sup>2</sup> Здесь было бы уместно вспомнить о мнении В. Д. Аракина (в его устных высказываниях). Он считал, что слова типа *кенгуру, домино* надо считать склоняющимися. Существует закономерность: если основа существительного оканчивается на гласный, оно имеет омонимические нулевые окончания во всех падежах. Доказательство, видимо, может быть таким: в сочетаниях *прыгучий кенгуру, прыгучему кенгуру, прыгучими кенгуру...* прилагательное склоняется. Одно из двух: либо оно склоняется независимо от существительного, либо в зависимости от него. Если независимо, то оно само является существительным: несогласуемые падежные формы — признак существительного. Если зависимо, то с чем оно согласовано; очевидно, с разными (хотя и омонимическими) окончаниями существительного. Это, кажется, единственное обоснованное решение. Неграмматический *кенгуру*, вероятно, на самом деле грамматичен.

ты, которые учитель считал неграмматическими. Постепенно выяснилось, что выделение неграмматических единиц не нужно: каждая языковая единица так или иначе, разными способами, включена в грамматическую систему и выполняет в ней определенную роль, иначе выраженную определенными обозначающими, грамматическими способами. Поэтому в трудах следующего поколения фортунатовцев (В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский) термин «неграмматические единицы» исчез. Для такого шага понадобилось по-иному осмыслить все многообразие грамматических показателей и их, часто сложные, отношения.

Но одновременно с внутренним совершенствованием фортунатовской грамматики шло ее официальное отвержение. В начале 30-х годов были введены школьные стабильные учебники. Для каждого класса средней школы был дан — по всей территории Советского Союза — один непререкаемый учебник. Пресекалось цветение педагогической мысли 20-х годов. Этот единственный «утвержденный» учебник, конечно, следовал вековой рутинной традиции. Новые поиски в грамматике, таким образом, были отвергнуты и оказались нежелательными. В. А. Робинсон лишь в 1970 году, в первом издании академической грамматики, смогла напомнить о плодотворности фортунатовской теории частей речи. Во втором издании той же грамматики об этой теории уже не было слышно.

Ф. Ф. Фортунатов, рассуждая о грамматической форме, говорил о двух частях слова: одна — изменяется под влиянием другой; другая — та, которая обуславливает изменение. Само изменение есть смена каких-то сущностей под влиянием окружения, т. е. изменяющей части. Это — полная модель позиционных чередований. Фортунатов показал их на грамматическом материале; Д. Н. Ушаков и Н. Н. Дурново — на фонетическом. Простор для их исследований дали русские говоры. Диалекты оказались раем для МЛШ. Это трудный рай. Огромных и часто — героических усилий потребовали от лингвистов-«москвичей» диалектные экспедиции. Почему «московские» диалектологи так самоотверженно, напряженно и упорно посвящали себя исследованию диалектов? Первый и самый простой ответ — потому что диалекты представляют драгоценность русского языка, культуры, истории. Это так, но была и другая причина: изучение диалектов отвечало строю мысли МЛШ<sup>3</sup>. Ее главное поле изучения — язык в его самообусловленности. Грамматические и фонетические системы дают богатейший материал для такого иссле-

---

<sup>3</sup> О соотношении МЛШ и московской школы лингвистической географии см. в статье: Булатова Л. Н. О связи московской диалектологической школы с московской фонологической школой // Язык: система и подсистемы. М., 1990.

дования. Позиционные закономерности, которые управляют звуками в диалектах, представляют сложные, многозвенные зависимости, которые дают представление о сущности языка, о его способностях преобразовать единицы. В говорах постоянно разные материальные сущности могут вступать в такие отношения, что признаются изменяющимся тождеством, и, с другой стороны, одинаковые конкретные единицы могут вступать в такие отношения, что признаются системно различными. Для МЛШ, которая «сделала ставку» на изучение языковых отношений, это желанная область изучения.

«Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. С приложением Очерка русской диалектологии» (1915) трех авторов: Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколова, Д. Н. Ушакова дает большой материал для выяснения таких корреляционных отношений. В этих отношениях говоров друг с другом авторы находят и динамический момент, смену систем: «... Направление в изменении аканья (яканья) в нынешних южновеликорусских говорах можно определить как стремление к переходу от диссимилятивного яканья к недиссимилятивному и от более сильного к менее сильному» (с. 30).

Каждая языковая единица может рассматриваться и как континуум, нечленимое целое, и как дискретность, сочетание отдельных признаков-свойств. Ф. Ф. Фортунатов стремится соединить эти два аспекта изучения. Когда он пишет о немаркированных членах оппозиций, то рассмотрение основано на выделении признака, на вычитании его. Это — взгляд на единицу как на дискретное целое. Когда он говорит, что аффикс меняет значение основы (при *не-* оно превращается, например, в свою противоположность), то речь идет о превращении целостности, континуума. Берется во внимание и то, и другое. Но главенствует внимание к континууму: именно оно положено в основу теории «грамматической формы».

Стремление слить эти два аспекта характерно и для ушаковского поколения «москвичей». Ярко это сказалось в словарной работе. Значение слова может быть представлено (в соответствии с самой природой слова) как набор признаков отношений. Это хорошо, например, удается при толковании терминов родства. С другой стороны, то трепещущее жизнью, переливающееся красками слово, которое перетекает из одного речевого действия в другое (но является, тем не менее, фактом языка), — это континуум. Какое значение у слова *бутылка*, простецкого, бытового? С одной стороны, можно найти его дифференциальные признаки, показав дискретность этого значения. С другой стороны, легко обнаружить в этом значении поток разных сливающихся друг с другом осмыслений — семантический континуум. Например, такой:

БУТЫЛКА. Емкость, вместилище, в нее можно налить, из нее — вылить; мелкое — насыпать и высыпать. Б. — удобное средство, чтобы перенести

что-н. льющееся-сыпучее (заводская огромная емкость не в подъем — уже не бутылка, а бутыль). Она имеет особую форму: нужно, чтобы был обозначен верх, горлышком или хотя бы каким-то сужением, закруглением, стенки вверху сходятся. Из Б. можно пить: не только через соломинку, но и просто запрокидывая ее. Она вертикально стоячая; конечно, она может и лежать, но это на отдыхе, а на работе, когда в нее налито, она любит стоять. Она круглая; необязательно, но это ее любимая форма. Б. — посуда, т. е. то, что может стоять рядом с тарелкой, миской, стаканом и т. д. Среди этих предметов — не очень маленькая (а то получится пузырек) и не очень большая (а то перейдет в бутыль). Обычно стеклянная, деревянной уж наверняка быть не может. У нее есть пробка, и с пробкой обычно связаны разные хлопоты (и хлопанье). Б. существо, требующее осторожности и внимания, а то может разбиться. (Оборвано...)

Значения слова здесь поставлены на поток, и этот поток на кубики-дифференциалы не разрезать. Это континуум, целостно противопоставленный другим континуумам, значениям других слов.

Д. Н. Ушаков в «Толковом словаре русского языка» захотел объединить ту и другую сторону лексического значения. В статьях этого словаря мы видим тщательное разделение лексических значений у многозначных слов. Это разделение гораздо более детально, чем в предыдущих словарях, даже по сравнению со словарями Я. К. Грота и А. А. Шахматова. Располагаются эти толкования значений так, что значения соприкасаются, сделан наглядным естественный переход от одного к другому. В значениях выделены оттенки их; таким образом в значениях обнаружено движение навстречу другому, соседнему значению. Все это связывает семантическое множество в единое «поле». Этот сплошной характер толкований углубляется еще динамикой примеров-иллюстраций: они, даже если сопровождают одно значение слова, не тождественны, в них тоже есть движение, — движение навстречу другому оттенку значения. Получается целостность осмыслений слова, которая явно тяготеет к континууму. Такая семантическая слитность далеко не всегда достигается, но стремление к ней — существенная черта этого словаря.

Итак, внимание к дискретности единиц — и, вместе с тем, пристрастие к континууму. Вернемся к мнению Н. Н. Дурново, что в случаях *глядит строго* и *по-осеннему* при глаголах — прилагательные. Читатель, видимо, оценил смелость этого решения. И чисто «московский» стиль мышления.

Объединяются, признаются грамматическим тождеством, с одной стороны, *строгий* (*взгляд*) — прилагательное при существительном, изменяется по падежам, родам, числам. С другой стороны, (*глядит*) *строго* — здесь зависимое слово при глаголе, не изменяется ни по падежам, ни по родам, ни по числам. Грамматическая характеристика целостно, вся, целиком, полностью из-



менилась. Это обусловленная мена; ее причина — в различии позиций: «при существительном» и «при глаголе». Поэтому две ступени этого чередования, два континуума объединяются в единство «прилагательное». Здесь уже есть тот строй мышления, который на следующей ступени приведет к московской теории фонем.

Во второй половине XIX века младограмматики, при установлении родства языков, стали следовать принципу: корреспонденции между родственными языками не имеют исключений. Если в каком-то слове находят непоследовательность межъязыковых звуковых соответствий, то это либо заимствования (неисконности) слова, либо результат действия другой закономерности — грамматической аналогии<sup>4</sup>.

Этот закон, обращенный на межъязыковые отношения, И. А. Бодуэн де Куртенэ и Ф. Ф. Фортунатов направили внутрь языка: они обратили внимание на то, что некоторые закономерности в соотношении единиц данного языка не имеют исключений, строго закономерны, последовательно обусловлены другими единицами.

Но то, что по отношению к языку есть закономерность, к самим говорящим обращено как долженствование, то есть норма, то есть обязанность следовать определенному порядку. Понятно, что лингвисты-фортунатовцы так много уделяли внимания нормативной стороне языка.

Самую главную работу сделал Фортунатов. Он, вместе с группой единомышленников, в составе Орфографической подкомиссии императорской Академии наук, создал новое письмо. Это было великим событием в жизни России. Фортунатов следовал своему принципу: нельзя языку (в том числе письменному) навязывать его прошлое: письмо должно отвечать своему синхронно данному статусу. Принцип оказался работающим безотказно.

Все работы Д. Н. Ушакова были или целиком нормативными (его книга «Русское правописание», знаменитая статья «Орфоэпия и ее задачи»), но с сильной теоретической основой, либо теоретическими, но со значительными нормативными аспектами. Внимание к разработке и пропаганде норм было характерно и для других фортунатовцев.

Изучение нормы позволило обогатить и теорию. Д. Н. Ушаков широко использует термин *употребление*. Он, например, пишет: «Употребление времен глаголов. Настоящее время, кроме действия или состояния, одновремен-

---

<sup>4</sup> Истолкование фактов языка с помощью грамматической аналогии неоднократно использовал в своих работах Ф. Ф. Фортунатов. См. I—221; Ф. Ф. Фортунатов. Об ударении и долготе в балтийских языках // Рус. филол. вестник. (Варшава). 1895. Т. 33. № 132/ С. 266, 290 и др.

ного речи, может обозначать также такое действие или состояние, которое происходит постоянно: *Птицы летают, а рыбы плавают*. Настоящее время для живости рассказа может употребляться вместо прошедшего: *Иду я вчера по улице и вижу...* Будущее время может употребляться вместо настоящего для описания действия или состояния, которое обычно совершается: *Как молотят? Положат снопы на землю и бьют цепами...* Будущее время вместо прошедшего может употребляться для живости рассказа, особенно при слове *бывало*: *Дедушка, бывало, выйдет из избы, сядет на завалинку...*» (Д. Н. Ушаков. Русский язык. М.; Л., 1926. С. 76—77, см. там же об употреблении наклонений).

Термин *употребление* рисует норму как возможность выбора, то есть как возможность мены грамматических значений в определенных условиях. Этот подход глубоко коренится в грамматической теории МЛШ<sup>5</sup>.

Итак, первое поколение фортунатовцев:

продолжало разработку теории «грамматические формы» и изменяло ее; изучало координированные языковые системы (русские диалекты), выясняя отношения между ними как различными позиционными системами;

сочетало, по-фортунатовски, континуумный и дискретный аспект в изучении языка (в грамматике и лексике);

подошло вплотную к проблеме функционального единства-тождества единиц, находящихся в закономерном чередовании;

занималось проблемами языковой нормы, с теоретической и практической точки зрения;

углубляло понимание языка как такого единства сущностей, которые своими отношениями взаимно определяют друг друга;

рассматривало язык не как «гуляй-поле», где главенствуют социальные, экономические, психологические, природные закономерности, но как глубо-

---

<sup>5</sup> В конце 30-х годов Д. Н. Ушаков приезжал на заседания кафедры русского языка Московского городского педагогического института. Эта кафедра, созданная Р. И. Аванесовым, была в то время «столицей» МЛШ; на ней работали «москвичи» (в большей части ученики Ушакова) и близкие МЛШ люди: сам Аванесов, А. М. Сухотин, В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский, И. С. Ильинская, П. С. Кузнецов; А. Б. Шапиро, С. Б. Бернштейн, В. Г. Орлова, И. А. Василенко. На одном из заседаний кафедры шел спор о немаркированных (говорили: неотмеченных) грамматических единицах. Д. Н. Ушаков считал (вопреки мнению большинства кафедры), что этот термин сужает проблему: речь следует вести об употреблении: не об отмене или замене признака, а о возможности полного превращения одного грамматического значения в другое, то есть о грамматическом значении как о континууме (хотя это слово не употреблялось). Спор шел, следовательно, о разных возможностях интерпретации грамматических явлений; взгляд Д. Н. Ушакова был более широк.

ко специфическую область человеческой духовной (именно — знаковой) деятельности.

Второе поколение МЛШ: Р. И. Аванесов, А. М. Сухотин, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, И. С. Ильинская, Г. О. Винокур, П. С. Кузнецов<sup>6</sup>. Главные события, связанные с их деятельностью: создание московской теории фонем (Аванесов, Сидоров, Реформатский, Кузнецов); изучение диалектов и создание теории диалектного языка (Аванесов, Кузнецов), формирование теории словообразования на фортуналовских основах (Винокур), изучение функциональных связей, создающих стилистические градации (Сухотин), продолжение ушаковских лексикографических традиций (Винокур, Сидоров, Ильинская, А. Д. Григорьева), изучение с функциональной точки зрения истории русского языка (Аванесов, Сидоров, Винокур, Ильинская), фрагменты позиционной теории синтаксиса (Аванесов).

Среди многих фонологических теорий «московская» стоит особняком. Во всех фонологиях так или иначе учитываются отношения между звуковыми единицами: без этого нет фонологии. И в то же время эти теории включают, в тех или иных своих частях, противоположный принцип: функциональная соотносительность единиц отодвигается в сторону, и торжествует приоритет физического подобия звуков.

В пражской фонологии этого нет: в одну фонему включаются различительные признаки, сочетания одних и тех же различительных признаков признаются одной и той же фонемой (или архифонемой). Это чисто функциональный подход; это последовательная фонология; но отношения, на которых она строится, не дают возможности функции заявить о своей самостоятельности, первичности: в одну и ту же фонему, функциональную единицу, могут по-пражски объединяться всегда (во всех ее реальных представителях в тексте) лишь физически подобные единицы. Отношения не имеют случая оторваться от материальной данности. В остальных фонологических теориях, приложимых к русскому языку, всегда есть какие-то операции, которые руководствуются не функциональными отношениями, а физическим подобием единиц. А московская фонология строится только на строго функциональных отношениях звуковых единиц.

И. А. Бодуэн де Куртэнэ в некоторых своих работах 80—90-х годов сделал замечательный опыт построения фонологии на чисто функциональных основаниях. «Дивергенты следует обобщать в фонемы», — заявил он, а ди-

---

<sup>6</sup> В этом перечне порядок следования имен является случайным (так же, как и во всех других перечнях имен в этой статье).

вергентны у него — позиционно чередующиеся звуки. При этом физическое сходство или несходство не имеет значения; эту идею — главенство отношений между единицами над их физическим подобием — он последовательно отстаивал в своих ранних работах (80-е годы XIX века). Впоследствии он оставил эту теоретическую вершину. Но именно из этих теоретических взглядов исходили Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров; впервые их фонологическая теория была опубликована в статье «Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка» (1930). Оба автора развивали эту теорию в своих последующих работах.

Звук А (в позиции Т) замещается в другой позиции — Т<sup>1</sup> — звуком Б. Если эта замена безысключительна, то чередование является позиционным. Позиционно чередующиеся звуки составляют функциональное тождество — фонему. Похожи или непохожи друг на друга эти чередующиеся звуки — несущественно, позиционное чередование — единственное основание для их фонемного отождествления.

Внутри фонемы звуковые единицы отождествляются; разные фонемы друг другу противопоставляются.

Есть ли основания, чтобы отождествлять позиционно чередующиеся звуки как функционально идентичные? Если два звука позиционно чередуются, то они друг для друга не могут быть различителями; невозможность выступать в различительной функции делает их функциональным тождеством, фонемой. Например, в корне *дом* чередуются звуки [ó] || [á]: *дом* — *домá*. И эти чередующиеся звуки составляют фонему ⟨о⟩. С другой стороны, в словах *дал* — *давáл* чередуются звуки [á] || [а], и они представляют другую фонему ⟨а⟩. Разумеется, простому трудящемуся трудно это перенести<sup>7</sup>: тождественным признается то, что наглядным образом различается, а явным образом тождественное объявляется различным (предударные гласные совпадают друг с другом, но представляют разные фонемы). Но эти фонологические идеи подготавливались всем ходом развития МЛШ. Мы видели, что Форту-

<sup>7</sup> Мы позволили себе это шутливое выражение, вспомнив о том, как в течение многих лет московская фонологическая теория подвергалась официозному натиску. После выхода в свет одного из выдающихся фонологических трудов МЛШ в академическом журнале появилась рецензия, где примитивный хранитель «правильного учения» обвиняет автора в идеализме и агностицизме. Шантажист, встречая несколько раз фонолога-«москвича», обещает: «А я напечатаю рецензию, что вы идеалист... что вы антимарксист»... Партбюро учреждения обсуждает вопрос, дать ли визу, чтобы послать рукопись статьи в зарубежный журнал. Решает: не давать, так как московская фонология партбюро не устраивает, и т. д., и т. д.

На самом деле «московская» фонология — не материализм и не идеализм. Так же, как таблица умножения или бином Ньютона.

натов строит свою грамматическую теорию на том, что одна часть слова преобразует значение другой части слова: значение основы меняется в зависимости от аффикса. Зависимое чередование значений, хотя бы и очень различных, составляет единство. Дурново формы *строго* (при глаголе) и *строгий* (при существительном), *по-летнему* и *летний* считал формами одного слова — прилагательного, так как их грамматическое различие позиционно обусловлено.

Н. Н. Дурново совсем близко подходил к фонологии. Во втором издании своей книги «Повторительный курс русского языка. Выпуск I. Фонетика и морфология» (М.; Л., 1931) он писал: «Нетрудно заметить разницу между э перед твердыми согласными и перед мягкими. Подобные различия есть и в произношении других гласных... Однако эти различия мы не только не обозначаем на письме, но и не замечаем, потому что они зависят только от соседства с другими звуками и с различием в значении слов не связаны. Если бы они не зависели от соседних звуков и могли отражаться на различии в значении слов, то говорящие, конечно, их замечали бы и они должны были бы рассматриваться в данном языке не как различия в произношении одного и того же звука, но как разные звуки» (с. 7). Книга не вышла в свет, сохранился только один ее экземпляр — корректура с правкой Н. Н. Дурново. Данные слова (начиная с «Однако эти различия...») отсутствуют в первом издании книги.

Это уже начало фонологии<sup>8</sup>.

Итак, верховодит система отношений, и ее главенство неукоснительно проводится сквозь все факты, так что совпадения-несовпадения единиц оцениваются так, как указывает эта система отношений. Фортунатовцам естественно считать различное тождественным, если различие вызвано условиями, в которых являются меняющиеся единицы.

Так вполне последовательно построена московская фонемная теория.

...Физиков долго беспокоило, что свет ведет себя в одних опытах как поток корпускул, дискретных единиц, в других — как волна, континуум. Так же и фонологам не давало покоя, что есть два сильных учения, по-разному рассматривающих факты: московская теория фонем и пражская. Пражские аналитические действия состоят в следующем: 1. Находят звуки в одной позиции. 2. Сравнивая их, выделяют дифференциальные признаки, то есть такие,

---

<sup>8</sup> Есть три заметки Н. Н. Дурново на фонологические темы. См. N. S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague; Paris: Mouton, 1975. P. 480—485. Они написаны в 1930—1931 гг. Фонология здесь у Дурново целиком пражская. Для понимания «московского» менталитета Дурново гораздо больше дают его рассуждения о глаголе *нет* и о прилагательном *по-дружески*.

которые необходимы и достаточны для различения фонем. Вслед за прагцами, все фонемные теории членят звуки на признаки<sup>9</sup>.

На какой основе, с помощью какой методики членятся фонологические единицы в московской теории? Фонема — ряд чередующихся единиц; как ряд, он, естественно, дискретен. А каждое звено этого ряда, каждый чередующийся звук? Они нечленимы, каждый из них — слитное единство; континуум. Нет операции, которая оправдывала бы и обеспечивала членимость данной ступени чередования. Они — отождествители, у них нет функциональной необходимости подчеркивать свою контрастность с каждой из других единиц. Снова московский взгляд на язык обнаруживает его континуумный характер в качестве фундаментальной черты<sup>10</sup>.

Звуковая сторона каждого языка может быть описана с двух столь разных точек зрения. Р. И. Аванесов создал теорию, объединяющую обе фонологии. Его книга «Фонетика современного русского литературного языка» (1956) вводит новую терминологию и новую систему понятий. То, что ранее называлось фонемой (позиционно обусловленные замены звуков), теперь названо фонемным рядом; каждый из звуков, входящих в фонемный ряд, именуется фонемой. В каждой позиции сопоставляются наличные фонемы (т. е. звуки; ранее они назывались представителями, вариантами фонемы), и из них извлекаются различительные признаки. Таким образом, «фонемный ряд» — дань московской теории, а набор фонем в каждой позиции, соотнесенных друг с другом и расчлененных на признаки, — дань пражской теории. Но дань для Москвы плохая. В московской теории было всего важнее признание

---

<sup>9</sup> В 1956 г. имена «прагцев» — Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона — без бранных эпитетов упоминаться в советской печати не могли. Поэтому Аванесов сделал вид, что он ищет единства с «ленинградской» фонологией. В 1968 г. было публично сказано: книга Аванесова 1956 г. — путь не в Ленинград, а в Прагу. Р. И. Аванесов признал, что это верно (см. его книгу «Русская литературная и диалектная фонетика» (1974), с. 7). Тем не менее бессмысленные утверждения, что Аванесов решил сблизиться с «наследниками» Л. В. Щербы, нередко продолжают повторяться.

<sup>10</sup> В 1964 году В. Н. Сидоров беседовал с молодыми лингвистами. Л. Л. Касаткин задал вопрос: каким путем московская фонематическая теория выделяет дифференциальные признаки? В. Н. ответил: никаким. Нет функциональной необходимости в пределах этой теории расчленять звуковые единства на признаки. На каждой ступени чередования дана целостность, не требующая членения.

Запись этой беседы была опубликована (см.: Развитие фонетики русского языка, 1966), но этого высказывания в публикации нет. Видимо, мысль показалась слишком необычной, и ее сняли. Это характерно для МЛШ: многие ее важные положения существуют только в устной традиции. Причина? Трудности публикации того, что «не одобрено». Чувство изолированности, когда считается достаточным поделиться своими мыслями в узком кругу тех, кто может понять.

функциональной тождественности чередующихся единиц; термин «фонемный ряд» отказывается от этой тождественности. Вместе с тем разрушается подход к каждой единице, входящей в этот ряд, как к нечленимому континууму, разрушается равновесие «дискретность — слитность», важное для московской теории. Поэтому некоторые работники МЛШ не приняли новшество Р. И. Аванесова. Другие, наоборот, признали его значительным вкладом во взгляды МЛШ.

Вместе с тем появились другие попытки синтезировать две фонологии (К. В. Горшкова, О. С. Широков, М. В. Панов). Старшие «москвичи» этих попыток не приняли, так же как не приняли они и новую теорию Р. И. Аванесова. История рассудит.

Работа над диалектами дала «москвичам» огромный опыт изучения координированных систем, таких, что возможен пересчет одной системы в другую: зная, как выражено какое-нибудь звено в одном диалекте, можно предугадать, как оно представлено в другом диалекте. Например: в ёкающем говоре в предупредном слоге после мягких гласных дано [о] (*вёсна*); что соответствует этому в говоре с умеренным яканьем? Перед твердым согласным — [а], перед мягким согласным — [и] (*вясна, висне*). Такие переключки связывают говоры. Сам говор был понят как позиция.

Поэтому Р. И. Аванесов выдвигает важнейшую идею о диалектном языке. Говоры — не *disiecta membra*, они составляют целое. Как литературный язык охватывает всю Россию, так и диалекты образуют общерусское единство, но не на основе материального тождества речи, а с помощью закономерных связей, с помощью систематических перекодировок. Такой вывод естественен для МЛШ: если отношения рассматриваются как основное начало при изучении грамматических и фонетических систем одного языка или говора, то отношения должны быть в центре внимания и при изучении ряда закономерно различных говоров.

Одно из замечательных достижений МЛШ — исследования В. Н. Сидорова, показывающие связи диалектных систем. Он открыл, что один говор может заимствовать у другого позиционную систему, но заполнять ее своим звуковым материалом: «Под влиянием акающих говоров, в которых нет безударного *’о*, в касимовских говорах стали произносить на месте всякого предупдарного *о*, т. е. и *о* после твердых согласных (*водá, возы́*) и *о* после мягких согласных перед твердыми из старых *е* и *ѣ* (*н’осú, р’окá*), гласную *а*. В результате образовался говор, представляющий собой по существу акающий слепок, отлитый по окающей модели» (*Сидоров В. Н. Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах // Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 105*). И шаг за шагом, переходя от одного к другому,

В. Н. Сидоров показывает, как возникали среднерусские говоры: модели севернорусских говоров, их позиционные системы, заполнялись южнорусским акающим материалом: «Яканья тороповского и соколовского типа, представляющие собой разновидности умеренного яканья, хранят яркие следы своего происхождения на основе севернорусского вокализма... Севернорусская основа их настолько прозрачно проступает, что стоит только, так сказать, „снять“ с вокализма этих говоров налет аканья, заменив предударное *'a* из *e* и *ь* гласной *'o*, а предударное *и* (не из *и*) — гласной *e*, чтобы перед нами предстал типичный севернорусский говор» (с. 115).

Как видно, именно диалекты убеждают в том, что система отношений в языковых единствах — конституирующее начало, при переходе от окающего к акающему материалу система отношений формирует, преобразует этот материал.

Язык надо изучать в нем самом — неустанно требовал Ф. Ф. Фортунатов. Синтаксис особенно засорен понятиями вневингвистическими, в первую очередь логическими и психологическими. Фортунатовцы деятельно принялись за чистку.

Описание русского синтаксиса фортунатовцы дали в двух авторитетнейших своих работах: *Петерсон М. Н.* Очерк синтаксиса русского языка. М.; Пг., 1923; *Дурново Н. Н.* Повторительный курс грамматики русского языка. Вып. 2. Синтаксис. М., 1929. Мнения авторов в ряде вопросов различаются, но это и понятно: принадлежность к одному направлению в науке не означает унификации взглядов.

Острый спор возник о том, каков предмет синтаксиса. Господствовало два мнения: первое — синтаксис должен изучать предложение как средство выражения мысли; второе — синтаксис изучает связи слов в словосочетании. Понятно, что Фортунатов и его сторонники выбрали второе понимание. Первое влекло за собой вопросы: что такое мысль? Какие есть возможности выразить ее в предложении? Как понятие «мысль» соотносится с понятием «суждение»? — и т. д. Все это далеко от сосредоточенности на самом языке.

Итак, по Фортунатову, синтаксис изучает грамматические связи слов в словосочетании, т. е. грамматическую форму словосочетаний: какими средствами выражается объединение слов и какие значения вносят в словосочетание эти средства. Предложение при этом не исключается из поля зрения. Пусть в тексте есть цепь грамматически связанных форм: А — Б — В...; далее связь обрывается: нет знаков связи, и начинается другая цепь: Г — Д — Е... Если разрыв в цепи обозначен грамматической формой, иначе говоря — есть средство, показывающее, что обрыв не случаен, а имеет грамматическое значение, то налицо два предложения: А — Б — В и другое — Г — Д — Е.



Возникает спорный вопрос: какие значения надо считать синтаксически, то есть обеспечивающими единство словосочетания. Относятся ли к ним значения сказуемости, т. е. время и наклонение? Они необходимы в предложении, они и создают предложение, но ведь они сосредоточены в глаголе — играют ли они роль в создании грамматической целостности словосочетания (в данном случае — предложения)? Мнения разделились. М. Н. Петерсон убедительно дал отрицательный ответ (и значения сказуемости, т. е. времени и наклонения, «не пустил» в свой синтаксис). Н. Н. Дурново учтиво их принял в область синтаксиса. Он писал: «Понимая синтаксис... как учение о формах словосочетания, я нахожу, что эти формы меняются в зависимости от присутствия или отсутствия тех или других форм сказуемости; если сочетания: *он смел, он удал* (наст. вр.) и *он посмел, он дал* образованы с помощью одних и тех же синтаксических форм, то уже самая возможность чередования первых из них с сочетаниями *он был смел, будь смел*, а вторых с сочетаниями *он посмеет, посмей, он даст, дай* указывает на то, что они неоднородны и в формах целых словосочетаний...» (Дурново Н. Н. Что такое синтаксис? // Родной язык в школе. Кн. 4. М., 1923. С. 69). Следует обратить внимание на слова: «эти формы меняются в зависимости от...», «возможность чередования...», «они неоднородны [= т. е. неодинаковы] и в формах целых словосочетаний»... Фортунатовское мышление! Мысль ясна: в зависимости от разных форм сказуемости меняются связи членов словосочетания, то есть меняется его грамматическая форма. Поэтому формы сказуемости имеют свое место в синтаксисе.

Главным было у фортунатовцев в области синтаксиса — освобождение его от неграмматических наслоений. Освободились от категории второстепенных членов предложения. *Поездка в деревню* (куда? — обстоятельство). *Прибытие в срок* (какое? — определение). *Введение в должность* (во что? — дополнение). Грамматическая форма одинакова: сочетание предлога *в* с существительным в вин. пад. — при отглагольном существительном; во всех случаях грамматическое значение одно: пояснение существительного. А вопрос в самом сочетании не содержится, это как раз тот логицизм, от которого надо избавиться. Вопрос зависит от лексического значения управляющего слова: *деревня* — обозначает место, поэтому вопрос «куда»? Это неграмматический аспект. Он — вне синтаксиса.

Это был важный этап в познании природы синтаксических отношений.

Но решение это не было окончательным (как вообще в науке не бывает окончательных решений). Другое решение предложил фортунатовец иного поколения — Р. И. Аванесов, притом тоже в строгом духе МЛШ. Некоторые грамматические формы имеют закрепленную за ними синтаксическую функцию: прилагательные — это определения, наречия — обстоятельства, суще-

ствительные — это дополнения. *Поездка в деревню, но ненадолго. Ненадолго* — несомненное обстоятельство; *в деревню* — объединено сочинительным союзом с несомненным обстоятельством; сочинительный союз — грамматическая форма, выражающая их однофункциональность. Следовательно, здесь *в деревню* — обстоятельство. *Прибытие деловое и точно в срок...* Здесь *в срок* уравнено с помощью сочинительного союза с прилагательным — «штатным» определением, следовательно — само оно определение. Дополнение — это невозможность предложно-падежной конструкции сочинительно сочетаться с наречием или прилагательным. *Посвящение в должность* — сочетание с дополнением.

Так Р. И. Аванесов влил жизнь в теорию второстепенных членов предложения. В фонологии различают сильные и слабые позиции. У слова *домой* в первом слоге — позиция неразличения фонем ⟨а — о⟩. Надо в языке, в его готовом материале — в словах — найти сильную позицию, позицию различения, вот она: слово *дом*. Значит, *домой*. В синтаксисе нет склада заранее подготовленных синтаксических словосочетаний, значит, сильную позицию надо построить. И Р. И. Аванесов ее строит: с помощью определенных синтаксических средств (союзов) создает возможность различения синтаксических классов — дополнений, обстоятельств, определений. При этом он остается верен идее грамматической формы: эти классы определяются специфическими грамматическими средствами<sup>11</sup>.

Есть свои трудности в применении этого критерия: сочинительную связь не всегда легко отличить от присоединительной (ср. пример А. М. Пешковского: *Еду к бабушке, и на каникулы, и в деревню!* — с союзами *и* присоединительными).

Продолжение и развитие этих идей — в исследовании бессоюзных сложных предложений Е. Н. Ширяева: строится синтаксическая конструкция, с помощью которой выясняется, связаны эти предложения сочинительной или подчинительной связью. (См.: *Ширяев Е. Н.* Бессоюзное предложение в современном русском языке. М., 1986.)

Ф. Ф. Фортунатов, отстаивая строгое отличие синхронического изучения языка от диахронического, протестовал против подмены словообразовательного членения слова этимолого-историческим. Нельзя в словах *потом-*

---

<sup>11</sup> Родство синтаксических идей первого и второго поколения фортунатовцев можно показать *ad hominem*: Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров написали «Очерк грамматики русского литературного языка», первая часть была посвящена фонетике и морфологии (М., 1945). Вторую часть — синтаксис — по общему уговору должен был писать Н. Н. Дурново. (Замысел, как известно, не осуществился.)

ство, удовольствие выделять суффиксы: в этих словах современного языка «основы не включают в себе никакого суффикса». «В настоящее время основа *потомств* — в *потомство* не разлагается уже для говорящих на другую основу и суффикс» (II—444).

Итак, строение слова, его морфемный состав устанавливается не путем резки основы на метровые куски, а с помощью определения отношения двух слов: производящего, более простого по строению, и производного. Г. О. Винокур это фортунаатовское положение развернул в целостную теорию словообразования. Как установить, что два слова в языке данной эпохи связаны словообразовательными отношениями? Г. О. Винокур в своих «Заметках по русскому словообразованию» (1946) и других статьях предлагает способ, как установить, что отношение «производное слово — производящее слово» является живым: производное слово можно объяснить через производящее. Винокур обосновывает надежность, безысключительность такого критерия.

Это — путеводная нить, которая привела Г. О. Винокура к решению ряда сложных вопросов теории словообразования. В основе этой теории лежит представление о смысловой соотносительности слов — производящего и производного. Как и ряд других идей МЛШ, и эта оказалась для многих трудной. Придумали: «морфемный анализ» — как будто в дополнение к словообразовательному, а на самом деле для того, чтобы вернуться к бессмысленной рубке слова на куски. Сейчас едва ли не в каждом школьном учебнике дается «параллельно» словообразовательный анализ и — для поощрения бессмыслицы в обучении русскому языку — морфемный. Но и в отношении словообразовательного анализа — не все в порядке. Не принимается во внимание способ, прием, методика сопоставления слов — центр учения Винокура. И многие преподаватели не остановятся перед тем, чтобы сказать: *потомство* — производное слово, производящее — *потом*. Это — влияние бессмысленного морфемного анализа, приучающего к бессмыслице<sup>12</sup>.

В чем общность теорий Аванесова (синтаксическая) и Винокура (словообразовательная)? Для того, чтобы установить место данной единицы в системе, строится вспомогательная конструкция. У Аванесова — словосочетание с сочинительной связью, у Винокура — словосочетание, включающее производное слово. Когда устанавливают позицию различения в фонологии, ищут материал в готовых единицах языка — в словах. Когда устанавливают положение различения в словообразовании и синтаксисе — строят вспомогатель-

---

<sup>12</sup> Поэтому автор этих строк счел необходимым ввести термин «критерий Винокура» = проверка словообразовательной связи одного (более простого) слова с другим (более сложным) с помощью истолкования одного слова через другое. См. *Панов М. В.* Изучение состава слова в национальной школе. Махачкала, 1979. С. 35—38.

ную конструкцию, позволяющую определенным образом квалифицировать языковой материал.

Это — новая страница в развитии теории МЛШ.

Главные события, связанные с этой ступенью в развитии МЛШ: формулировка Г. О. Винокуром основных положений теории словообразования, создание «московской» фонологии, историко-диалектологические открытия В. Н. Сидорова, грамматические построения А. А. Реформатского и П. С. Кузнецова, синтаксические идеи Р. И. Аванесова, стилистические штудии А. М. Сухотина, Г. О. Винокура и А. А. Реформатского, продолжение и углубление диалектологических исследований и выдвигание понятия диалектного языка, продолжение лексикографических традиций Ушакова<sup>13</sup>.

Как видно, второе поколение фортунатовцев работало хорошо, развивало и изменяло учение МЛШ, оставаясь верным ему.

Третье поколение фортунатовцев (послевоенное): К. В. Горшкова, К. Ф. Захарова, С. В. Бромлей, В. А. Робинсон, Р. И. Лихтман, Л. Н. Булатова, Т. Ю. Строганова, В. Д. Левин, М. В. Панов.

Четвертое поколение: Е. А. Земская, С. М. Кузьмина, Н. Е. Ильина, Р. Ф. Касаткина, Л. Л. Касаткин, Г. А. Баринова<sup>14</sup>. Сейчас основная работа МЛШ лежит на плечах этого поколения. И следующего: сейчас в МЛШ немало молодежи.

Одним из значительнейших лингвистических событий, связанных с жизнью МЛШ в последние десятилетия, было открытие русского разговорного языка. Это именно особый язык, хотя открыватели неудачно назвали объект своего исследования разговорной речью, оговорив, однако, что название условно, речь идет о языке. Открытие оказалось трудным, потому что он вовсе и не пытался скрыться. Но чтобы его открыть, нужны были формы внимания и наблюдения непривычные для лингвистов. Разговорный русский язык (отличный от кодифицированного литературного языка — КЛЯ) — это негатив диалекта. Диалект прикреплен к определенной местности — разговорный язык (РЯ) повсеместен. Диалект в представлении обывателя имеет снижен-

<sup>13</sup> Речь идет о «Словаре языка Пушкина». Инициатором создания этого словаря и автором его проспекта был Г. О. Винокур. Среди участников: В. Н. Сидоров, И. С. Ильинская, А. Д. Григорьева, В. А. Робинсон, В. Д. Левин. Главным редактором был В. В. Виноградов, участник создания словаря Ушакова, но глава другой мощной лингвистической школы. В. Н. Сидоров вспоминал, что работа вместе с В. В. Виноградовым много дала «московским» участникам, не имевшим лексикографического опыта.

<sup>14</sup> Перечень имен неполный. Напоминаем, что порядок упоминания имен в перечнях — случайный.

ный социальный статус — РЯ избежал социальной дискредитации. (Ввиду своей невидимости!) Диалект не требует неперменного знания литературных норм — РЯ сосуществует в каждой голове вместе с кодифицированным языком. Диалекты постепенно вытесняются напором КЛЯ — РЯ не терпит от КЛЯ никакого ущерба, он существует для того, чтобы быть «отдушиной», языковым потоком, отдельным от КЛЯ. И в диалекте, и в КЛЯ нормы имеют обычно точечный характер: так — можно, а по-другому — нельзя. В РЯ строение норм иное: не точка, а поле, отвечающее норме. Протекающе-плывущая множественность, торжество континуума.

Е. А. Земская и ее коллектив, первооткрыватели РЯ, работали в кругу идей московской школы. Постепенно число исследователей расширилось, и теперь исследователи РЯ принадлежат к разным направлениям в языкознании. Отметим, что старшее поколение «москвичей» идею РЯ не признало, считая, что это стилевая разновидность КЛЯ. Однако для обучения иностранцев приходится составлять особые учебники «по РЯ»<sup>15</sup>. Очевидно, все же это особый язык.

Московские лингвисты неслучайно так углубленно занимались диалектами: им надо было на широком поле наблюдений проследить разные типы позиционных взаимодействий и найти корреспонденции, закономерные переключки между разными диалектами. РЯ, как негатив диалекта, привлекает тем же: РЯ находится в позиции КЛЯ, он есть преобразование КЛЯ — позиционное (различия имеют регулярный характер) и непозиционное (различия определенного типа охватывают капризно-изолированные участки системы). Все эти отношения делают РЯ особо значительной областью исследования в МЛШ.

В фонетике (и в первую очередь — в диалектной фонетике) пришло время изучения композиции звукового признака. Звуковой признак многослоен. Например, во всех славянских языках и диалектах у шумных согласных есть противопоставление звонкости и глухости: в произношении звонких участвует тон, у глухих тон не обладает звукообразующей функцией. Но это различие связано с другим: артикуляционная напряженность звонких меньше, чем глухих. (Такая связь не является естественной, природной, и за пределами славянских языков есть иные комбинации звонкости — глухости и напряженности — ненапряженности.) Артикуляционные различия в напряженности имеет свои корреляты в акустической стороне звука. Наконец, длительность звонкой фазы в общей длительности согласного может значительно колебаться. Р. Ф. Пауфошима (Касаткина) установила такие связи фактов. В

---

<sup>15</sup> Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблема обучения. М., 1979.

русском языке в сочетании «звонкая + шумная» в разных говорах могут быть колебания. Первая шумная согласная может сохранять свою звонкость, может частично или полностью ее утрачивать. При этом фаза звонкости в общей длительности первой согласной тоже может колебаться. Если она охватывает менее 20% общей длины согласной артикуляции, то оценивается как глухая, если более 30% — то как звонкая. Длительность фазы озвончения входит как компонент в понятие «звонкая согласная». Композиция признака «звонкий» (и, след., «глухой») оказалась сложной. Признак звука есть отношение нескольких показателей<sup>16</sup>.

Это исследование имело свое продолжение. В говорах в противопоставлениях [б — п, т — д] и пр. ведущим может быть то признак звонкость — глухость, то признак ненапряженность — напряженность, в разных говорах по-разному. На этой основе можно группировать говоры. Есть предположение, что в древнерусском языке ведущим было отношение «напряженность — ненапряженность», лишь с течением веков в значительной части говоров стало главенствовать отношение «глухость — звонкость» (Р. Ф. Пауфшима-Касаткина и Л. Л. Касаткин). Так, в составе одного признака разные его составляющие по-разному komponуются, вступают в разные отношения, обнаруживая при этом историческую динамику.

Изучать микростроение звукового признака, конечно, в возможностях каждого квалифицированного фонетиста. Но в «московской» интерпретации языка этот аспект приобретает особое значение: изучение языка как отношения с необходимостью ведет внутрь звука, в строение его признака. Оказывается, глухой согласный не всегда можно определить: согласный без тона; нет, это может быть определенное отношение тоновой части к бестоновой; так же и звонкий согласный определяется двумя группами отношений: в межзвуковой оппозиции (звонкий — глухой согласный) и во внутренней связи тоновой и бестоновой частей.

В области фонетики — фонологии много нового принесло изучение суперсегментных единиц — интонации, слогаделения, ударения и т. д. Теория интонации Е. А. Брызгуновой прошла большую практическую проверку; тем важнее понять ее теоретическую основу. В интонационных конструкциях есть центральная часть — она играет различительную роль. Интонационное движение на центре позволяет различать разные типы ИК. Постударная часть предопределена центром; поэтому ее естественно рассматривать как позици-

---

<sup>16</sup> См.: Пауфшима Р. Ф. Некоторые вопросы, связанные с категорией глухости — звонкости согласных в говорах русского языка // Экспериментально-фонетическое изучение русских говоров. М., 1969. С. 158.

онно зависимую. На этих основах Е. А. Брызгунова строит свою теорию русской интонации, охватывающую все ее основные типы<sup>17</sup>. Значительным минусом всей «добрызгуновской» интонологии было пренебрежение к системным отношениям в этой области языка. У исследователей господствовало стремление найти у каждой интонационной конструкции как можно больше ее особенностей, часто несопоставимых с особенностями других конструкций, различительных и неразличительных, существенных и обусловленных ограниченностью материала. Учение о русской интонации приобретало все более громоздкий, бесформенный характер. Путь Брызгуновой был прямо противоположный: найти минимальное количество различительных показателей, выяснить иерархию их внутри конструкции: какие из них являются зависимыми, какие обуславливают зависимость. Это — важный этап в познании русской интонации.

По-другому (но тоже «по-московски») проблему позиций в интонационных конструкциях решает Г. Н. Иванова-Лукьянова.

Теория словообразования Г. О. Винокура была всеми признана, но не всеми понята. Работники МЛШ немало сделали для разъяснения этой теории; еще более важно, что с большой полнотой была развернута система понятий, необходимая для этой теории. Вот эти понятия, вот области развития словообразовательной теории: соотношение морфа и морфемы, членимость основ со связанными корнями, интерфиксы, унификсы, соотношение производности и членимости слов, чередования материальных показателей с нулевыми при словообразовании, окказиональное словообразование, потенциальное и реальное слово, синхроническая и диахроническая продуктивность в словообразовании... (Е. А. Земская, О. П. Ермакова и др.).

Остановимся на последней из упомянутых тем: продуктивность. Уже давно стали раздаваться голоса недовольства: отцы-основатели слишком резко разделили синхронию и диахронию, ведь есть продуктивные модели — они посланцы диахронии в синхроническом мире. Ответить можно так: есть две разные продуктивности: одна — синхроническая, другая — диахроническая. Понятие диахронической продуктивности просто: сравниваем словари, разделенные пятидесятилетием. Обнаруживаем, что в более позднем слов с таким-то аффиксом стало больше; значит, аффикс продуктивен. Может быть продуктивность аффикса только с одним определенным значением: так, в последние десятилетия был продуктивен суффикс *-тель* со значением прибора,

---

<sup>17</sup> Первая публикация теории Брызгуновой: *Брызгунова Е. А.* Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963. В последующих работах Брызгуновой эта теория уточнялась и совершенствовалась.

механизма: *прерыватель (тока), пробиватель (отверстий), удлинитель (провода)* и т. д. Для названия человека был продуктивен другой суффикс: *-чик* и *-щик*: *наладчик, сверлильщик*. Количество слов этих двух типов: *-тель* для механизмов и *-чик/-щик* для людей значительно возросло за последние 30—40 лет.

Но мы можем постоянно в своей речи производить такие слова: — Заметка длинная, дадим Саше сократить, он у нас главный сократитель... — Все обещаешь? Эх ты, обещатель... — Ты куритель сигарет или истребитель махорки? — Здесь я экономист, а дома — переплетатель; любимое занятие! Как видно, от любого переходного глагола можно создать слово с суффиксом *-тель*, и именно со значением лица (такое значение непродуктивно диахронически); это — слова одноразового употребления. Итак, есть синхроническая продуктивность — способность данной модели производить окказиональные, сиюминутные слова. И есть продуктивность совсем иная — чрезвычайная, которая обнаруживает себя только на протяжении исторической жизни языка. И это никак не говорит о том, что можно путать два аспекта изучения: синхронию и диахронию. Эта мысль высказывалась в ряде трудов МЛШ.

Морфонология всегда была Золушкой в «московских» исследованиях. Ведь она изучает непозиционные чередования! Неходовой товар для МЛШ.

Да, фонетические непозиционные, но нельзя ли взглянуть на эти чередования с точки зрения грамматической позиционной обусловленности? При этом, конечно, придется переосмыслить само понятие позиции применительно к особой, морфонологической области функционирования единиц. Этот важный шаг в «московской» теории сделала Н. Е. Ильина. В своей книге «Морфонология глагола в современном русском языке» (М., 1980) она показала пластичность самого понятия «позиция» и плодотворность его использования «на пороге» грамматики. Были и другие морфонологические работы, близкие МЛШ.

Новая и неожиданная область позиционного рассмотрения — художественный стиль — была открыта в работах В. Д. Левина. За ним пустились в дорогу пока немногочисленные последователи.

Много внимания уделяет МЛШ школе — и не только высшей, но и средней. Первенствующее положение здесь у Д. Н. Ушакова. Младшие «москвичи» тоже усердно работают для детей (С. М. Кузьмина, Н. Е. Ильина, Е. В. Красильникова и др.). Особо обратим внимание на «московские» методические работы для национальной школы (А. И. Васильев).

Итоги подводить не следует, так как время этого молодого поколения не истекло. Главное у него впереди.

Завороженные языком; это — о лингвистах «московского» притяжения. Они хотят открыть в языке закономерности, которые сообщают ему уникаль-



ность, отдельность, «особливость» среди других явлений духовного человеческого мира. Не растворяя закономерности языка в закономерностях логики, психологии, социологии, в особенностях других, неязыковых семиотических систем<sup>18</sup>.

Понятия, центральные для МЛШ: позиционная зависимость, позиционные и непозиционные чередования, функциональное отождествление позиционно чередующихся единиц, «протекание» единой языковой сущности через сеть позиций, нейтрализация единиц, закрепленные в языке возможности реорганизации единиц, соединение на разных уровнях языка дискретности и нечленности знаковых образований, связь между частями единств, вызванная преобразованием одной части под влиянием другой — вот область изучения МЛШ. Все это — явления, относящиеся к внутреннему состоянию языка, к отношениям в самом языке.

Отсюда и взгляд МЛШ: язык — это отношение. Единицы, взятые вне отношений — не языковые единицы, они теряют себя. Материальное несовпадение, неединообразие, нетождественность единиц не может быть препятствием для их отождествления; не может быть препятствием для их функционального отождествления, если такого отождествления требуют отношения в системе. И, в то же время, материальные совпадения единиц не свидетельствуют об их функциональном тождестве. Таким образом, отношения в языковых моделях рассматриваются как конституирующий момент языка.

Язык в МЛШ, рассматривается как индивидуальность, его личные качества не растворяются в толпе других семиотических систем; каждый язык каждого народа и эпохи признается неповторимостью; из каждого соотношения единиц извлекается то, что делает его особым звеном в языке. Установка на специфичность ведет к тому, что также ценится и специфичность средств выражения, которые воплощают каждое отношение в языке. Отсюда — особая тщательность полевых диалектных записей, работы в экспериментальной фонетике, скрупулезные фиксации городской речи, наблюдения над семантической жизнью слова в речи. Это — любовь к языку в его самодостаточной полноте. Характерная черта МЛШ.

---

<sup>4</sup> Принадлежность к определенной лингвистической школе не означает никакой исключительности или ограниченности. Так Е. А. Земская, ученица В. В. Виноградова, глубоко усвоившая его творческое кредо, в то же время автор ряда значительных работ МЛШ. М. Я. Гловинская — на 95% структуралист; оставшиеся 5% приходятся на ее работы в духе московской фонологии. Е. Н. Ширяев — соавтор Н. Д. Арутюновой и ее единомышленник, но вместе с тем разрабатывает идеи московского синтаксиса, идущие от Р. И. Аванесова.

## Из истории изучения русской фонетики\*

1. Научное исследование русского произношения начал В. К. Третьяковский<sup>1</sup>. В 1748 году он издал объемистый «Разговор российского человека с чужестранным об орфографии» — издал на свой кошт. Академия отказалась печатать эту книгу.

Третьяковский хочет, чтобы работа его была доступна «понятию простых людей», для пользы которых он «наибольше трудился». Самая форма работы Третьяковского была рассчитана не на специалиста, а именно на «простых людей». Это — разговор между русским и иностранцем. Речь собеседников, зачастую очень живая, пересыпана поговорками, шутивными сравнениями, она эмоциональна и непринужденна. «Надлежало нам, — пишет Третьяковский, — часто отступать от дела и вносить постороннее, дабы несколько развеселить угрюмость содержания». В России еще не было широкой аудитории, способной воспринимать серьезное научное исследование. Эту аудиторию и пытался создать Третьяковский, обращаясь к демократическому читателю.

Была и другая причина избрать форму разговора. В отличие от прежних, схоластических грамматик у Третьяковского основные теоретические поло-

---

\* Русская фонетика. М.: Просвещение, 1967. С. 350—414.

<sup>1</sup> Третьяковский Василий Кириллович (1703—1769). Учился в школе капуцинов в Астрахани, потом в духовной академии; в поисках знания бежал во Францию, был слушателем Сорбонны.

Как и Ломоносов, он был плебей. Как и Ломоносов, был глубоко предан науке. Но он был незадачливый поэт (хотя среди его стихов есть и сильные вещи; см., например, «Парафразис вторья песни Моисеевы»). Своими неуклюжими одами он не смог заслужить признания двора и знати; вельможную злобу вызвало и его «неверие», т. е. религиозное свободомыслие. «Третьяковский... был революционером вообще и революционером в области стиха», — писал В. Б. Шкловский; этот вывод в значительной степени верен.

Судьба Третьяковского была тяжела. Лишенный поддержки «влиятельных особ», он испытал ужасающую травлю в императорской академии наук, не вынес постоянных издевательств, унижительных и грубых, принужден был бросить службу. В делах академии остались страшные документы — мольбы Третьяковского о помощи, призывы защитить его, униженные просьбы о пособии. Умер он в полной нищете.

жения доказываются. Диалог между двумя спорщиками — удобная форма для выявления всех pro и contra, для развернутого доказательства мысли. План всей книги таков: «Положу я вам наперед такие основания, которые не могут быть не приняты от вас... На сих основаниях утвержду все мое рассуждение, которое также принято от вас быть имеет, для того что не можно вам будет противиться самим основаниям»; при этом каждый довод должен быть «сам доказан через другие доводы» или же принят за аксиому.

Итак, в учение о русском языке впервые вошла доказательность. Сам русский литературный язык был отграничен от церковнославянского; научно прояснен был объект изучения. Все это заставляет считать Третьяковского первым ученым, исследовавшим русский язык.

Вся работа, как у подлинного зачинателя, воинственно направлена против филологической схоластики. Постоянны его нападки на старину, на рутинные взгляды. «Затверделое мнение сильнее в людях, нежели сущая правда», — с горечью пишет Третьяковский. И через несколько страниц снова: «Достойная вещь жалости, затверделое в человеках мнение... Почитай, всегда то за лучшее и праведное почитается, что или самое худое, или ложное...». И опять: «Не все то справедливо, что старое, а я иному старинному... удивляюсь... но предпочитаю новое».

«Разговор» посвящен русской фонетике и орфографии. Фонетические наблюдения Третьяковского блестящи по точности и проницательности. Ученый устанавливает научную классификацию звуков. Особенно удалась ему классификация согласных. Он делит их на три группы:

Мягкие	Твердые	Средние
б	п	л р
в	ф	м н
г	х	ц ч
д	т	
ж	ш	
з	с	
г	к	

Буква *г* у Третьяковского означает [γ], а для [г] он вводит особую букву *г* и называет ее «голь» (аз, буки, веде, глагол, голь...). Чужестранец: «Нет, лучше б ее назвать *газом*. Имя *голь* бедности есть прознаменование». Россиянин: «Но кто из нашей братьи и богат?»

О мягких (т. е. звонких) согласных автор пишет: «Мяжкими называются для того, что орган, которым они произносятся, не столько употребляет сил на выговор их, сколько на выговор твердых... Так, например, сильнее губа к губе прижимаются, произнося [па], нежели [ба]. Сим образом и прочие со-

гласные в рассуждении своих инструментов». Наблюдение верно: напряженность артикуляции у звонких меньше, чем у глухих. Самое деление на глухие и звонкие (по терминологии Третьяковского — на твердые и мягкие) проведено последовательно и безошибочно. А ведь даже в позднейших работах (например, у Ломоносова) встречаются ошибки. Замечательно выделена и группа средних: это те согласные, которые, мы бы сказали, имеют фонематически неразличительную звонкость или глухость.

Некоторые из согласных, по словам Третьяковского, «сим органом произносятся, а другие другим: так, некоторые согласные больше губы движут, а на произношение других инструментом больше есть язык, или зубы, или нёбо, или гортань. Посему сходствуют они между собою единоорганством, так сказать». И Третьяковский предлагает классификацию согласных по месту артикуляции.

О гласных он пишет: «Нашего российского произношения природа есть такая, что оно каждый звон свойственным точно ему отверстием произносит»: *a, e, и, o, y*. При этом *a* «самое большое отверстие уст имеет»; *e* — «степению целою оно отверстие умалывает» и т. д., наконец, *y* «меньше всех отверстия имеет... не угодно ль справиться с зеркалом? Оно все сие вам покажет».

Здесь всего интереснее совет справиться с зеркалом. Это означает, что в основе классификации звуков лежат наблюдения, а не домыслы. Впервые получены достоверные данные в результате очень несложных, но достоверных, т. е. проверяемых, наблюдений. Шаг как будто незаметный, но внутренне исключительно важный.

Классификация звуков у Третьяковского, конечно, не во всем безупречна и не полна. Это была работа не для одного человека и не для одного десятилетия.

Классификации звуков, хотя совершенно фантастические, были и у предшественников Третьяковского. Но совершенной новостью в «Разговоре об орфографии» было указание на фонетические взаимозависимости. Одной постановки вопроса о закономерностях такого рода было бы достаточно, чтобы высоко оценить работу Третьяковского. Но он не только ставит вопрос, он верно описывает некоторые из этих зависимостей. «В московском выговоре все [о] неударяемые за [а] произносятся... Сие наблюдение есть без изъятия». «Слова, кончающиеся на мягкие согласные... российский выговор все оканчивает на твердые буквы». Выговор российский «соединяет мягкие... с мягкими, а твердые с твердыми...». Средние соединяются и с теми, и с другими.

Третьяковский во многих случаях уже указывает, в каких позиционных условиях происходят те или иные мены, хотя делает это непоследовательно.

Важнейшим завоеванием Третьяковского было осознание строгой регулярности законов языка (именно фонетических законов). Всеобщий их харак-

тер ТрEDIAKовский не раз и с воодушевлением подчеркивает: эти правила «не имеют никакого изъятия, толь они генеральны!». Рассказав о мене [ó || a], он замечает: «и поистине, сие коль ни коротенькое правило, однако всему языку равное: надобно токмо знать, которые *оны* ударяемые, а которые неударяемые». Описав законы позиционных мен «мягких и твердых» (т. е. звонких и глухих) согласных в конце слова и перед другим согласным, ТрEDIAKовский пишет: «Два сии, толь небольшие правила объемлют весь наш чистый нынешний выговор...». Наконец, общее заключение: «Всему нашему чистому выговору без всякия трудности можно правила положить».

ТрEDIAKовский первый настойчиво разграничивает букву и звук («звон»). Он упрекает старую грамматику в том, что она «наблюдает токмо буквы, а не звоны, наблюдает она токмо тень, а до вещи ей дела нет!». И ТрEDIAKовский настойчиво несколько раз повторяет, что нельзя путать букву и звук; он и сам на практике большей частью умело разграничивал то и другое. Ошибки у него не часты. Насколько трудно это дело было в то время, говорит хотя бы то, что и в конце XIX века И. А. Бодуэн де Куртенэ опять начал с того же: с настойчивого требования отличать букву от звука. Школьные грамматики (а частью и научные) даже в бодуэновскую эпоху в большинстве своем не поднялись до уровня, на котором стоял ТрEDIAKовский в середине XVIII века (а частью не поднялись и теперь).

Изучение «сегментной фонетики» всегда опережало у нас изучение суперсегментных фонетических явлений. Это объясняется, вероятно, тем, что суперсегментные явления большей частью не обозначаются на письме, поэтому они долгое время ускользали от внимания фонетистов, которые еще в XIX веке (а иногда и сейчас) оставались под гипнозом буквы. В. К. ТрEDIAKовский, стремившийся, и притом успешно, освободиться от буквенного гипноза, был зачинателем и в этой области, в изучении суперсегментных единиц. Он открыл некоторые правила слогаделения в русском языке. Для его предшественников самая тема этого изучения была недоступна. Чтобы заняться этой проблемой, надо верить в то, что языку присущи скрытые от поверхностного взгляда, но незыблемые объективные закономерности, что законы слогаделения не предписываются (подобно правилам переноса) тем или иным грамматистом, а существуют независимо от этих предписаний: «Всяк с первого взгляду скажет, что разделение складов само собою тотчас дознается: но в самой вещи хитровато оно». Закономерность такова: «При разделении складов надлежит почитать за главнейшее основание сие, что ежели которые согласные начинают самый первый склад в слове, то те и в середине начинают же новый склад...». Пример: *по-сле*, «для того что есть слово *след*». Правило это действительно основательно, оно и сейчас используется в описании русского слогаделения; исследователь XVIII века вправе им гордиться.

Далее в книге указываются типы слогов, дается связный текст, разбитый на слоги с указанием возможных вариантов. Наблюдения эти крайне интересны и, видимо, увлекали самого Третьяковского. Все они даются от лица Россиянина. Заскучавший Чуженин пытается протестовать против скучной материи, но Россиянин решительно заявляет: «Что будет, то будет, а мне, не разделяв складов, не перестать».

Интересовал Третьяковского вопрос о границах такта; в своих поэтических произведениях он иногда употреблял дефис, чтобы показать, какие слова составляют один такт:

День светозарный померк, тьма стелется по-Океану!  
Но при-сверкании молний мы увидели там же,  
В обуревании том, другие суда, и-познали  
Вскоре, что-были то корабли Энеевы точно.  
Страшны не-меньше казались нам те камней глубинных!

Поистине, высоки достоинства фонетического учения Третьяковского. Оно было вызвано к жизни практическими нуждами и потребностями общественной жизни, в частности потребностями в создании твердой произносительной нормы литературного языка. Недаром Третьяковский прославляет эту норму в своей книге: «Что может быть важнее и нужнее чистого выговора в языке! Что сладостнее и приятнее слуху?».

Потребности совершенствования русской орфографии тоже требовали изучения законов русской звучащей речи. В. К. Третьяковский был сторонником фонетического письма; его книга посвящена доказательствам наибольшей целесообразности именно орфографии «по звонам». Защита была серьезной; достаточно сказать, что последующие сторонники фонетического письма (включая наиболее активного и изобретательного из них, Р. Ф. Брандта) смогли лишь немного добавить к доводам Третьяковского.

Таково содержание в самых общих чертах замечательного исследования Третьяковского. Все оно проникнуто тревожным и тягостным предчувствием издевательств, насмешек и глумления. «Засмеют вас впрах», — сулит Россиянину Чужестранец. «Может потшатся и не просто смеяться над вами, — продолжает Чужеземец, — но чтоб смехом своим и чувствительный вам сделать вред». И Россиянин сам этого же ожидает: «Я буду им отвечать только молчанием».

В своем сочинении Третьяковский ополчался на правописание, издавна принятое в церковных книгах и освященное церковным авторитетом. Поэтому он заранее оправдывается, отводя упреки в еретичестве: «... новость или перемена в орфографии не церковная татьяба: за нее не осуждают на смерть. Также новость она и не еретичество: проклятию за сию не могу быть предан... Спор о свецких науках отчасу больше приводит разум в просвещение».

Это не спасло его от подозрений в неверии. А. П. Сумароков позднее писал: «Третьяковский в молодости своей старался наше правописание испортить простонародным наречием, по которому он и свое правописание располагал, а в старости... глубочайшею славенщиною. Так переменяется молодых людей неверие в суеверие» (!). Ставятся в прямую связь орфографические новации Третьяковского и его неверие (а это было страшное обвинение, недаром его с такой тревогой предвидел Третьяковский).

Сбылось и другое его предчувствие. Он знал, что его труд «иной и подлинником... не возвеличит, да почтит только копиею». Филологи впоследствии с азартом искали, что и откуда заимствовал Третьяковский. Итог этих пространных поисков благоприятен для первого нашего лингвиста: он не пересказывал, а создавал.

Третьяковский был первым русским фонетистом; он лишь намечал, впервые обнаруживал — и сам удивлялся тому, что обнаруживал. Работу первого у нас ученого-филолога можно назвать научным подвигом. «Трудно начало, но есть своя честь и начатию» (В. К. Третьяковский).

2. Изучение русской фонетики, начатое Третьяковским, продолжил М. В. Ломоносов<sup>2</sup>. К языку он подошел как естествоиспытатель. Это особенно ясно показывают подготовительные материалы к его «Российской Грамматике». Ломоносов обобщил огромное количество фактов; он настойчиво наблюдает язык, записывает свои наблюдения и экспериментирует с языковыми явлениями. Например, записывает так и этак произношение русских

---

<sup>2</sup> Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765). Не только великий естествоиспытатель и поэт, но и замечательный филолог. Главный его языковедческий труд — «Российская грамматика» (1755). Издание книги встретило недоброжелательство и препятствия академии. Еще большее недовольство встретил немецкий перевод грамматики, выполненный под «смотрением» самого Ломоносова: печатание его затянулось на семь лет! Причину проволочки раскрыл сам Ломоносов: «Первый прием на Ломоносова был, чтобы пресечь издание Ломоносова Грамматики на немецком языке». Тауберт «дал все способы Шлёцеру, чтобы он, обучаясь российскому языку по его Грамматике, переворотил ее иным порядком и в свет издал, и для того всячески старался остановить печатание оной, а Шлёцеру ускорял печатать в новой Типографии скрытно... Тауберт оное производил для помешательства или, по малой мере, для огорчения Ломоносова» (Собрание сочинений М. В. Ломоносова. Т. 7. М.; Л., 1952. С. 855).

Корыстная недобросовестность и враждебность группы Шумахера, Миллера, Тауберта в течение многих лет мешала работе Ломоносова, отвлекала от научного творчества. Увлеченный в последние годы изучением естественных наук, Ломоносов писал: «Хотя меня другие мои дела воспыщают от словесных наук... однако начну, то будет другим после меня легче делать... Убавить у других трудов и показать возможность, и чтоб то не потерялось, что я собрал, и о чем думал».

слов и их сочетаний — записывает русским письмом и латиницей, примеряет то одну, то другую, то третью письменную передачу — какая лучше обнаружит фонетическую природу слова. Непривычные написания, не скованные традицией, написания, которые надо было открыть, помогали освободиться от гипноза буквы и обнаружить звуковую сторону речи.

Вот несколько записей из подготовительных материалов к грамматике:

«Тщаніе. Тшчаніе.  
 Мы тьо жолка жожь.  
 Отгыскать. Отискать. Отыскать.  
 Изъ журнала isëgjuŋnala.  
 Ижжурнала.  
 Къ концу, хъ концу.  
 Сообщаеъ. Собщаеъ.  
 Б как *n* перед *л*: рубль — rupl, храбр — chrapr.  
 Визг — wisk. Отъѣздъ — otjest.  
 Бог — boh.

*E* произносится как *jo* в нераздельный голос (или) французское *eu* с предыдущим согласным, например в речении *peur*».

За каждой такой записью стоят наблюдения, поиск, нелегкий вывод. Подготовительные материалы напоминают лабораторный журнал с записью опытов и их результатов.

Продолжая наблюдения Тредиаковского, Ломоносов детализирует классификацию согласных, вводит характеристику их по способу образования (например, *p* образуется «трясением», *д* — «ударением» и т. д.).

Очень интересны попытки Ломоносова уточнить характеристики русских звуков, сравнивая их с похожими звуками других языков. Так, он сопоставляет [x'] с немецким *Ich-Laut*, [x] — с *Ach-Laut* и делает ряд других интереснейших наблюдений. Классификация звуков, их характеристики были установлены Ломоносовым (и до него Тредиаковским) в процессе живого наблюдения, они не были «переписаны», заимствованы из каких-либо иных источников. Сопоставление выводов Ломоносова (как и Тредиаковского) с современными им западными грамматиками показывает самостоятельность поисков первых русистов. Строгим упреком звучат слова Ломоносова: «Погрешают многие, деля грамматики, понуждая на другие языки».

Ломоносов впервые формулирует «морфологический» принцип орфографии: письмо нужно такое, «чтобы не закрылись совсем следы произвождения и сложения речей». «Друк не пишут ради косвенных падежей», — замечает Ломоносов.

Авторитет «Российской грамматики» был велик: почти век после ее выхода в свет русисты повторяют в своих работах фонетические наблюдения



Ломоносова, иногда только отваживаясь почтительно добавить ту или иную деталь.

3. Новый подъем фонетического исследования связан с именами А. Х. Востокова, Я. К. Грота, С. П. Барана, А. А. Потемни.

А. Х. Востоков был в России первым настоящим историком языка; его классические работы по сравнительно-историческому языкознанию заслонили другие, тоже блестящие исследования Востокова, в частности исследования русского произношения.

В 1812 году выходит его «Опыт о русском стихосложении». Как поэт Востоков смело искал новых путей в искусстве, новых возможностей поэтического языка. Ритмика его стихов очень своеобразна, неканонична. В «Опыте» он продолжает эти поиски, теоретически намечает пути в будущее; но значение работы очень широко: это не только стиховедческий трактат. Он считал, что наиболее отвечает русскому языку ритмика русских народных песен. Каждый стих имеет постоянное число главных ударений — вот в чем Востоков видит основу русского стихосложения. «... Целое предложение или период, когда изображает одну нераздельную купу мыслей, приемлется как бы за одно большое сложное слово, коего составные части должны, по законам единства прозодического, подчиняться одной главнейшей, а сие не иначе произойти может, как с отнятием у них ударений, — признака их отдельности и независимости». Глубоко интересна здесь мысль о том, что ударение — сигнал отдельности данной фонетической единицы. Это первое упоминание о фонетических разграничителях в русском тексте.

Переводя сербские народные песни из сборника Вука Караджича, Востоков творчески подтвердил свою теорию. Вот отрывок из перевода былины о братьях Якшичах:

Месяц журил | звезду |-денницу:  
 — Где ты была, | звезда |-денница?  
 Где ты была, | где губила | время  
 Три белых дня? | — В ответ | денница:  
 — Пробыла я, | провела я | время  
 Над бело- | -каменным | Белградом,  
 Глядя | на великое | чудо,  
 Как делили | отчину | братья,  
 Якшичи-братья, | Дмитрий | с Богданом.

Как видно, теория не засушила, не схематизировала творческие поиски Востоковым ритмической выразительности. В качестве одноударных отрезков (тактов) выступают очень разные единицы, отсюда энергичное, резкое движение стиха. Теория была настолько живой, гибкой, что не сковала волю поэта (недаром высокую оценку востоковской теории дал А. С. Пушкин).

Трактат А. Х. Востокова был не только стиховедческим исследованием, но и первым описанием особой фонетической единицы — такта («прозодического единства»), демонстрацией законов членения текста на эти единства. Это была монография о такте. Уже говорилось, что изучение суперсегментных единиц особенно трудно для фонетистов; Востоков, изучая прозодические периоды, сделал очень большой шаг именно в этой труднейшей области.

О том, каким утонченным фонетистом был Востоков, говорят такие факты. Кто-то (безусловно, фонетически очень наблюдательный человек) подал в Российскую академию проект, в котором советует ввести особые буквы в русский алфавит: вместо *я* — *ä*, вместо *ѣ* — *ě*, вместо *іо* — *ö*, вместо *ю* — *ÿ*; употреблять их следует после согласных. Таким образом, неизвестный полагает особо обозначить звуки [á, é, ò, ú], для них он избирает особые буквы: *ä, ě, ö, ÿ*. Это — «нежные» гласные, а после твердых согласных — «грубые». Неизвестный полагает, что и в сочетаниях [иá, иэ, ио, иу] тоже за [и] следуют «нежные» гласные. Востоков, которому академия поручила ответить автору проекта, разбирает его предложение и, между прочим, замечает: «Не могу также согласиться с мнением неизвестного, что дwoегласные... *я, ѣ, іо, ю* составлены не из *йа, йэ, йо, йу*, как другие полагают, т. е. не из соединения *й* с чистыми (или грубыми, как он называет) гласными, а из нежных: *ä, ě, ö, ÿ*, соединенных с *й*». Востоков, следовательно, считает, что в положении после [и] гласный не того же качества, что после мягких согласных. Это очень тонкое разграничение; и среди современных фонетистов существуют разные взгляды: одни считают, что [j] так же воздействует на соседние гласные, как мягкие согласные, другие, напротив, полагают, что в сочетаниях *июнь* и *июни*, *яма* и *саням*, *ѣж* и *несѣшь* попарно не одинаковые звуки: после [j] они менее сдвинуты кпереди<sup>3</sup>. Вероятно, это различие и услышал Востоков. Он не отвергает мнение неизвестного, что после мягких произносятся «нежные» гласные, он слышит эту разницу; только после [j], по мнению Востокова, произносятся скорее «грубые», чем «нежные». Это обмен мнениями между двумя тонкими наблюдателями языка; жаль, что имя одного из них осталось неизвестным.

Интересны фонетические замечания в «Русской грамматике» Востокова. Например: буква *ц* «выражает *тс*, но по сходству звуков может также выражать *дс*; *ч* выражает таким же образом *ти* и *ди*, *щ* — *шти*, *сти*, *жти*». Здесь сквозь несовершенную форму выражения уже брезжит намек на фонематическое понимание фактов: [ц], действительно, может быть равно ⟨тс⟩ и ⟨дс⟩, [ш'] фонемно тождественно ⟨шч⟩, и ⟨сч⟩, и ⟨жч⟩ (ведь у Востокова *ти* = *ч*).

<sup>3</sup> В русском языке, пишет А. И. Томсон, есть очень открытое *e* «из *a* при известных условиях в положении после мягких согласных, например, в *обязан, наряженный*, но не в *явный, объявленный*» (Томсон А. И. К теории правописания... Одесса, 1903. С. 97).

А. Х. Востоков начинает новый период в изучении русской фонетики. В чем же новшество? Востоков был первым историком русского языка (и других славянских языков). Историк, изучая памятники языка, неизбежно должен открывать в письменных знаках отраженную ими звуковую сущность. Если в одних памятниках написано *вълкѣ*, а в других, более поздних — *волкъ*, то ясно, что это изменение не является фактом, показывающим автономную эволюцию письма: знаку *ѣ* не было причин самому по себе измениться в другое начертание, в *о*. Ясно, что изменились языковые факты, и лишь поэтому — их письменное выражение. Сам материал изучения требует, чтобы историк языка различал звук и буквенные его выражения. Первые историки не всегда умели последовательно это делать, но стремление к такому различению было общим у всех историков.

Фонетисты XVIII в. уже обратили свое внимание на расхождение между звуком и буквой, но фиксировались такие расхождения, которые сами могут быть орфографически, алфавитно выражены. Например, В. К. Третьяковский описывал ассимилятивное оглушение и озвончение согласных; оно почти всегда может быть отражено средствами нашего письма: *здедафшии*, *козьба*, *волискии* и т. д.

Историческое изучение русского языка обострило и углубило понимание отличия звукового строя языка от письменной его передачи. Стали изучаться такие стороны звуковых единиц, которые не могут быть прямо переданы написанием, с помощью обычных средств русской графики. Таковы наблюдения А. Х. Востокова над членением речи на такты, над оттенками гласных в соседстве с мягкими согласными и т. д.

4. Я. К. Грот в 1847 году открыл различие между двумя оттенками э: более открытым и более закрытым. Насколько неожиданной и важной для русистов была констатация этого факта, можно судить по многочисленным откликам на открытие Грота, полным удивления и недоверия. Это было трудное открытие. Когда позднее О. Н. Бетлинг заметил, что и другие гласные имеют открытые и закрытые оттенки, Грот сам возражал ему; различить [э] и [э̣] ему помогли факты французского языка (ср. *j'étais — été*), а без этой помощи отграничить [у] и [ү̣], [а] и [ạ̈] оказалось трудным. Каждое новое наблюдение приходилось фонетистам завоевывать, преодолевая свой орфографизм.

5. Замечательный языковед А. А. Потебня установил, что слоговая модель является общей для всех слов литературного языка; он изобразил ее так: 11231... (иные модели существуют, как показал Потебня, в русских говорах).

6. В это же время Н. И. Надеждин впервые предложил таблицу гласных, позволяющую верно их классифицировать. Он учитывал и «продольное», и «поперечное» различие между гласными, т. е. и по подъему, и по ряду. Вот его таблица:



Очевидно, что это привычная для нас таблица (хотя и непривычно повернутая).

Создание классификации гласных сильно запоздало по сравнению с выяснением классификации согласных. Причина понятна: отношения между согласными прозрачнее; во многих случаях отношения согласных раскрывает уже их орфографическая передача, например *б* — *бь*, *м* — *мь* и т. д. Изображение *бь* показывает, что звук [б'] имеет отношение к [б] = б, как его противоположность. Орфографические написания *испачкать* — *издырывать* указывают на соотносительность звонких и глухих и т. д. Классификация гласных ни в малой мере не может опираться на орфографические представления, она должна строиться вопреки им, поэтому она и была намечена позднее классификации согласных.

В 1844 году появилась книга «Стихии человеческой речи» С. П. Барана — первая систематическая фонетика русского языка, полная верных и глубоких наблюдений.

7. Особняком среди русистов XIX века стоит К. С. Аксаков. Он пытался философски осмыслить грамматические и фонетические особенности русского языка. Осмысление это было идеалистическим: К. С. Аксаков строит гегельянскую систему саморазвития звука. Он заставляет звук пройти все те мытарства, на которые Гегель в своей философской системе осудил абсолютный дух. В неорганической природе звук внешне определяет звучащий предмет: «Звук, чисто внешний, показывает внешнее только значение неорганического предмета, показывает предел его при соприкосновении с другим предметом. Граница звучит». Этот звук обозначается термином *стук*. Слово терминологизовано: *стук* включает такие разновидности, как *шорох*, *гром*, *треск*, *шелест* и пр. *Стук* можно рассматривать как одно из определений неорганического царства.

В органическом царстве, в царстве животных, «звук перестает быть внешним; он исторгается уже произвольно из груди живого существа; здесь

он — внутренний, здесь он — голос, в котором выражается звучно вся жизнь, вся душа целого существа». Голос — одно из определений органического мира.

Стук и голос, как теза и антитеза, объединяются в синтезе, образуя человеческую речь: «Ни внешний, ни внутренний, ни неорганический, ни органический звуки не были достаточны в своей отдельности для выражения полноты бытия, для сознания, ибо в бытии является соприкосновение внутреннего и внешнего. Итак, звук в том виде, как доселе явился он в природе (то есть порознь, как внешний и как внутренний), должен быть отвергнут и прекратиться. Природа должна была умолкнуть на рубеже сознания. Это молчание природы должно было выразиться в беззвучии, равно отвергающем оба звука, следовательно, признающем отрицательно их существование и соединяющем их в этом общем отрицании. Итак, здесь является первое соединение и того и другого звука, но здесь оба они соединенно отвергаются».

К. С. Аксаков нашел воплощение этой ступени диалектического саморазвития звука: когда звук — не звук, а его отрицание, притом отрицание и гласного («голос»), и согласного («стук») совместно. Это... ъ, ер, твердый знак. «Первая буква: ъ — уже дает нам понимать, хотя в отрицательном виде, значение буквы вообще. Буква есть соединение или слияние, сочетание органического и неорганического звука, внутреннего и внешнего элемента. И вот — первая буква, в которой еще отрицательно является это соединение: ъ, буква беззвучная, выражающая как бы молчание природы, которая умолкла, дошедши до предела своего звукового поприща, предела, за которым уже начинается речь человека». К. С. Аксаков отводит весьма возможное возражение: «Нам могут сказать, что ъ существует только в русской азбуке, а мысль наша об образовании слова относится не к одному русскому языку. На это отвечаем мы, что ъ существует во всех языках, везде, где есть слово; но русский язык, богатый своим фонетическим развитием, обозначил ъ явственнее, дал ему начертание и сберег оный». Ответ вполне естественный для славянофила.

Далее рассматриваются звуки русского языка (которые Аксаков часто не отличает от букв), и они тоже выстраиваются в диалектический ряд; в них сочетаются шум («стук») и голос «при переменном весе того или другого элемента». Разные соотношения двух противоположных элементов положены в основу диалектического развития, идущего от одного звука к другому (или другим).

Можно ли считать работу Аксакова серьезным вкладом в изучение русского произношения? Ведь он говорил о диалектическом развитии звука вообще, не звуков русского языка. Звук и буква у него сливались, часто были неразграничены. Наконец, он описывал (притом чисто умозрительно) звуковое

развитие, а не состояние языка. Можно ли такое описание считать вкладом в изучение фонетической синхронии русского языка?

Последнее возражение надо снять. Развитие К. С. Аксаков понимал не эволюционно, а только как последовательность диалектических отношений в единовременно данной совокупности объектов: «Некоторые, может быть, подумают, что мы, говоря о последовательном явлении букв, утверждаем, что сперва явилась такая буква, потом другая, и так далее. Нисколько. Мы думаем напротив, хронологический порядок здесь совсем не у места... Мы рассматриваем здесь буквы — как и вообще весь предмет — в их внутренней логической последовательности». Вот в чем заслуга К. С. Аксакова: он первый рассып звукowych единиц (для него еще недостаточно отличимых от букв) понял как внутренне связанную целостность, как диалектически взаимозависимое единство. Это большая заслуга.

Он говорил о человеческой звуковой стихии вообще, *не* обязательно русской, но мысль его в действительности была прикована к фактам русского языка. Это оправдывалось славянофильским взглядом на славянские языки (и особенно на русский) как на наиболее полно выявляющие диалектическую стройность, внутренне заданную во всяком языке. Прав был А. С. Хомяков, так отзываясь об «Опыте русской грамматики» Аксакова: «Он соединяет в себе немецкого педагога, который, выхаживая ребенка, возводит порядок его поступков к философской идее развития, а вместе преданность русской няни». Славянофильское желание поставить русский язык впереди других языков, приподнять его за счет умаления других, представить его как меру и образец для всякого языка — очень неприятная краска в лингвистических взглядах Аксакова. Но эта черта теории Аксакова заставляет видеть в его построениях теорию именно русского языка, а не любого и каждого (как хотелось бы самому Аксакову).

Конечно, Аксаков только поставил проблему и был очень далек от ее решения. Проблема важнейшая: понять язык (в частности, его звуковую сторону) как единое целое, в котором части диалектически взаимосвязаны, философски осмыслить языковые закономерности. Впоследствии И. А. Бодуэн де Куртенэ и другие фонологи много сделают, чтобы решить эту проблему (притом плодотворно будет развиваться именно материалистическое ее решение). Но и поставить эту проблему — заслуга не малая.

Все же следует сказать, что и в ту эпоху, в середине XIX века, проблема могла быть высветлена ярче, если бы Аксаков не изолировал себя от достижений фонетики его времени. «Он не избег одиночества между современниками и ближайшими сверстниками; замкнутость одиночества оставила свой отпечаток на его любимом деле, на его грамматике», — писал один из друзей Аксакова. Отъединенность Аксакова от фонетических исканий его

времени ограничила воздействие его работы на искания фонетистов последующей эпохи.

**8.** XIX век — это век торжества исторического языкознания. Впервые язык увидели в движении сквозь время, в его непрестанной изменчивости, и все силы языковедов были отданы историческим исследованиям. Синхронные исследования, наблюдения над современным состоянием русского языка, над внутренними закономерностями этого состояния оказались отодвинутыми на задний план. Поэтому так немного ценных работ по фонетике живого русского языка было создано в начале и середине XIX века.

И. А. Бодуэну де Куртенэ принадлежат крупнейшие открытия в истории славянских языков. Методика исторического изучения у него (и у некоторых его современников) достигла большой остроты и тонкости. Именно высокий уровень исторической методики обнаружил важный недостаток, свойственный историческому языкознанию в начале и середине XIX века. Каждое историческое изменение изучалось только как изменение, как превращение одной единицы в другую единицу. Системная взаимосвязь, взаимоопределение единиц ускользали от внимания ученых; а ведь часто, не зная этой взаимосвязи, нельзя понять и причины исторических перемен. Бодуэн де Куртенэ, осуждая ограниченность исторического метода его эпохи, говорил, что фонетические исследования являются только «сборниками... языковых частных, может быть и не синхронических, т. е. друг другу не современных». Без установления синхронных связей самое историческое исследование оставалось неполным и ущербным. Отсюда вывод, сделанный Бодуэном де Куртенэ: одну эпоху нельзя мерить аршином другой эпохи, необходимо найти меру каждой языковой эпохи внутри ее самой.

Законы фонетических изменений возникают и умирают; надо, изучая язык каждой эпохи, строго определять живые звуковые законы, которым он подчиняется в эту эпоху, от умерших, свойственных предыдущей эпохе. Это требование было порождением последовательной историчности в языкознании. И оно означало резкий поворот к изучению «статических», синхронных соотношений в языке.

И. А. Бодуэн де Куртенэ первый это понял. В конце 70-х годов он издал программы своих лекций, которые читал в Казанском университете. Эти программы пронизаны идеей разграничения диахронического и статического исследования языка. И в первую очередь факты русского языка переосмысливаются и разграничиваются с новой точки зрения, со стороны их синхронных связей.

Синхронное (или статическое) изучение языка, родившись в результате развития исторического языкознания, унаследовало от него ряд идей и методических приемов. Историки языка различали строго фонетическую эволю-

цию и отличное от нее действие грамматической аналогии. Звуки изменяются фонетически закономерно, во всех словах единообразно (при единообразном окружении), но в некоторых грамматических формах это изменение может быть отменено воздействием других грамматических форм. Например, во всех словах [о] без ударения после мягких изменился в [и], но во флексиях существительных — в [ь] под влиянием грамматической аналогии. Такое разграничение действия фонетических законов и грамматической аналогии было присуще и работам Бодуэна де Куртенэ, более того, он был одним из первых открывателей грамматической аналогии.

Естественно, что Бодуэн де Куртенэ, впервые определяя и классифицируя синхронные звуковые чередования, выделяет среди них грамматические типа *ходит — расхаживает* (чередуются [о || а], [д' || ж]). Они характеризуются тем, что свойственны только определенным грамматическим формам и продуктивны для этих форм.

Напротив, живые фонетические чередования, определяемые позиционно, никаких грамматических функций не имеют. Противопоставление живых фонетических чередований чередованиям грамматическим было простейшим преобразованием в терминах синхронной лингвистики уже давно известного диахронического противопоставления грамматической аналогии и строго фонетической эволюции.

Однако наряду с этими двумя типами чередований Бодуэн де Куртенэ принужден был выделить еще третий, промежуточный: чередования непозиционные, т. е. не обусловленные живыми фонетическими моделями, и в то же время неграмматические, например *муха — мошка*. В центре внимания в 70-е годы у Бодуэна де Куртенэ были именно грамматические чередования и акцентировалась граница, отделяющая эти чередования от двух остальных групп, не имеющих грамматического значения. Эти две последние группы объединялись Бодуэном де Куртенэ под общим названием «статически-физиологических соответствий».

Именно при изучении грамматических чередований Бодуэн де Куртенэ делает вывод о несовпадении физической природы звуков с их значением «в механизме языка, для чутья народа». «Физиологически тождественные звуки разных языков имеют различное значение, сообразно со всею звуковою системой, — пишет Бодуэн де Куртенэ, — сообразно с отношениями к другим звукам». Например, в польском языке звук [ж], «физиологически твердый», играет в механизме языка роль мягкого, это — следствие соотносительности форм типа *doktor — o doktorze* [dóktor || odoktóże], *kora — o korze* и т. д. По мнению исследователя, «фонетика или, точнее говоря, грамматическая часть фонетики исследует... эквиваленты звуков... насколько они играют роль, например, мягких или твердых, простых или сложных, согласных или гласных,



хотя с строго физиологической точки зрения фонетические эквиваленты мягких могут быть твердыми, и наоборот». Но постепенно наблюдения над несовпадением физиологической характеристики звука с его местом в механизме данного языка переносятся и в область позиционных чередований. Например, говорится, что в русском (и польском) языке звонкий заменяется в конце слова глухим, но для говорящих в механизме языка он продолжает оставаться звонким. Наблюдения здесь, как и в группе грамматических чередований, ведутся путем сопоставления морфем. И это легко объяснить. К синхронным исследованиям Бодуэн де Куртенэ шел от исторических, диахронных исследований, от занятий сравнительно-исторической фонетикой (многие исторические открытия были сделаны путем сравнения родственных языков). Для студентов Бодуэн де Куртенэ разработал особый вид упражнений — фонетический перевод: «Читается какой-нибудь текст на одном из славянских наречий, переводится на русский, и затем отдельные слова этого текста объясняются с фонетической и морфологической точки зрения. Главным подспорьем для этого служил фонетический перевод слов одного славянского наречия в формы других наречий, сообразно с звуковыми законами и соответствиями». При этом «русские и вообще славянские звуки, отличающиеся друг от друга только вследствие статически-физиологических звуковых законов, считаются одною и тою же величиной, то есть считаются тождественными. Другими словами: парные звуки считаются одним звуком». «Для сравнения с соответственными звуками родственных языков берется звук основной, т. е. тот, который является вне сферы действий этих статических звуковых законов». Когда предшественники Бодуэна де Куртенэ сопоставляли *голова* с южнославянским *глава*, они не сомневались в том, что здесь налицо соответствие *оло* — *ла*. Бодуэн де Куртенэ, противник смешения звуков и букв, разумеется, видел, что в современном русском слове *голова* никакого [оло] нет; его еще надо добыть, устранив позиционные взаимодействия звуков. Таким образом, все многообразие позиционно чередующихся звуков приводилось к единству — к звуку, находящемуся в наиболее независимом положении, вне действия позиционных законов. Добытое таким путем *оло* (ср.: *го́ловы, голо́в*) уже переводилось, т. е. заменялось южнославянским *ла*.

В основе лингвистических взглядов Бодуэна де Куртенэ лежало противопоставление синхронии и диахронии, но синхроническое изучение исторически выросло непосредственно из диахронического и было с ним связано. В частности, изучение позиционных разветвлений звуков (в синхронном плане) понадобилось при сравнительно-исторических сопоставлениях для фонетического перевода. (Ведь сопоставление фонетических единиц в родственных языках служило для диахронических целей, для восстановления прошлого состояния этих языков.)

А сравнительно-исторические сопоставления всегда велись и ведутся путем сравнения отождествляемых морфем, и иначе вестись не могут. Поэтому Бодуэн де Куртенэ, абстрагируя звуковой состав слова от наложенных на него позиционных взаимодействий, в 70—80-е годы всегда исходит из сопоставления морфем.

Фонетику русского (в первую очередь), старославянского, польского, литовского, латинского языков, санскрита Бодуэн де Куртенэ стремится строить на строгом разграничении статических и динамических отношений. Первые представляют собой систему чередований, вторые же — процессуальны, т. е. имеют совершенно иную природу.

Проблема разграничения синхронических и диахронических закономерностей оказалась трудной. Трудность была прежде всего в новизне выдвинутых идей: надо было преодолеть привычные формы научного мышления, отказать от давних и поэтому авторитетных упрощений мысли. Историю науки часто сводят к борьбе ученых-искателей против всяких вненаучных препятствий. Но существуют конфликты и препятствия, внутренне присущие самому научному процессу. Идет борьба в сознании самого исследователя, который, выдвигая новые идеи, преодолевает косность своего мышления, своих привычек научного обобщения. Это напряженный и сложный процесс.

Работы Бодуэна де Куртенэ 70—80-х годов сохранили яркие следы такой борьбы. Выдвинув идею синхронического изучения, он нередко отступает и синхронию пытается истолковать традиционно-диахронически. Например, в 1878 году он пишет: «Несовпадение физической природы звуков с их значением в механизме языка, для чутья народа, психический механизм звуков данного языка есть результат физиологических условий и истории, происхождения звуков». Так, звук [ж] (в словах *o doktorze, o korze*) потому воспринимается и оценивается говорящими как мягкий, что произошел он из мягкого согласного.

Во многих работах исследователь говорит о чутье говорящими происхождения звуков. Много таких предположений Бодуэн де Куртенэ делает в работе «Фонетика бохинско-посавского говора»<sup>4</sup>. Это отчет о поездке в южнославянские земли в 1873 году. Книга была издана тремя годами позже. В предисловии к ней автор писал: «В настоящее время я вовсе не разделяю моих тогдашних взглядов. Тем не менее я оставил первоначальную редакцию, так как переделка ... придала бы моему отчету другой, неподлинный вид». Свое новое отношение к взглядам, высказанным три года назад, Бодуэн де Куртенэ выразил во многих примечаниях к тексту, удивительно суровых и резких.

---

<sup>4</sup> Здесь, как и почти во всех работах этого периода, каким бы языкам они ни были посвящены, есть и материалы по русской фонетике.

К одному из рассуждений о чутье происхождения звуков дано такое примечание: «Это предположение не имеет ни малейшего смысла».

Ссылки на чутье происхождения тех или иных звуков исчезают в работах Бодуэна де Куртенэ к началу 80-х годов. Позднее он писал: «Историческое происхождение языковых форм... не входит в расчет при живом общении и не должно быть здесь (т. е. при изучении статике языка. — М. П.) вовсе упоминаемо». Однако в области морфологии неразграниченность синхронического и диахронического взгляда и позднее не была преодолена гениальным Бодуэном. И это в виде «обратной связи» отразилось в дальнейшем на его фонетических взглядах.

9. Вокруг Бодуэна де Куртенэ собрались лингвисты, вдохновленные его научными поисками, разделявшие многие идеи учителя: Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий, В. В. Радлов, А. И. Анастасиев, Н. С. Кукуранов, А. И. Александров. Это была казанская лингвистическая школа. Почти все они (исключая только тюрколога В. В. Радлова) много внимания уделяли русской фонетике. Часто работы бодуэновцев излагали мысли учителя, часто дополняли их, удачно или неудачно.

В 1881 году вышла работа Н. В. Крушевского «К вопросу о гуне», в которой автор излагал идеи Бодуэна де Куртенэ, по-своему их изменив. Сохранив тройственную классификацию чередований, созданную Бодуэном де Куртенэ, Крушевский попытался точно определить признаки каждой категории чередований и ввел некоторые новые термины. Позиционно чередующиеся звуки получили название дивергентов. Их особенности, по Крушевскому, такие: чередование дивергентов вызывается, как неизбежное следствие, чередованием позиций; эти чередования не связаны с каким-то определенным кругом грамматических форм, и поэтому они должны изучаться независимо от грамматических единиц; наконец, дивергенты акустически и артикуляционно похожи друг на друга. Статья Крушевского вызвала множество откликов: трижды к ней возвращался сам Бодуэн де Куртенэ (меняя свое отношение); полемизировал с Крушевским В. А. Богородицкий, писал об этой статье В. В. Радлов. Напряженная дискуссия выяснила, что взгляды Крушевского во многом чужды, едва ли не враждебны взглядам Бодуэна де Куртенэ.

Крушевский, признав языкознание наукой естественной и в связи с этим придав фонетическим закономерностям панхронический, всевременной характер, остался совершенно чужд идеям синхронного изучения языка, которые были так дороги Бодуэну де Куртенэ. Термин *фонема* в статье Крушевского лишен синхронного и системного содержания: фонемой для Крушевского являются единицы, выделяемые при сравнительно-исторических сопоставлениях. В слове *земля* особой фонемой является сочетание [мл'], по-

сколькo оно корреспондирует с [м'] в польском *ziemia*; в слове *вращать* фонемой является [ра] и т. д. Никакого фонологического зерна в этих сопоставлениях нет.

Дивергенты, которые Крушевский попытался определить, вообще были далеко не в центре его внимания. В статье не шло речи о законах их обобщения в какую-то единицу (а Бодуэн де Куртенэ уже не раз говорил об этом, и не только при объяснении правил фонетического перевода).

10. Вывод Крушевского, что живые, позиционные чередования определяются «без всякого отношения к морфологическим категориям», вызвал очень содержательные возражения В. А. Богородицкого. Он писал: сравним слова: [káпыт'] и [п'ытка]. «Выбирая эти слова, я, следуя Крушевскому, не обращал никакого внимания на то, к каким морфологическим категориям они принадлежат». Пример отвечает всем требованиям, которые Крушевский предъявляет дивергентам: слабый звук, похожий на [ы], возможен лишь в безударном слого (*капать*), [ы] полного образования — в ударном, следовательно, чередование звуков здесь связано с чередованием позиций. Звуки эти антропофонически (по артикуляции и акустически) сходны. Тем не менее такое чередование не является, строго говоря, позиционным. Если бы, говорит Богородицкий, я взял другое сопоставление: *ступать* — *капать*, то чередование [á || ы] было бы чисто позиционным, но открыть такое чередование можно, лишь сопоставляя родственные морфемы.

11. В том же, 1881 году Бодуэн де Куртенэ ответил Крушевскому статьей «Некоторые отделы сравнительной грамматики славянских языков». Внешне она похожа на статью Крушевского, но переставлены некоторые акценты, и это изменило весь смысл работы.

Основным в этой статье является учение о дивергентах. «Дивергенты — видоизменения одного и того же звука, обусловленные теперь действующими звуковыми законами». Так Бодуэн де Куртенэ снова во главу угла поставил последовательный синхронизм.

При анализе фонетической стороны языка «следует дивергенты обобщать в фонемы». Для этого, определяя звуки, «мы должны очистить их совершенно от случайностей дивергенции и вместо различных видоизменений одного и того же звука... представить общее выражение звука. Подобное же общее понятие не может быть понятием антропофонического звука, а только известного фонетического обобщения». Это обобщение и есть, по Бодуэну де Куртенэ, фонема.

В отличие от Крушевского Бодуэн де Куртенэ выделяет дивергенты, т. е. позиционные чередования, противопоставляя им сразу все остальные типы чередований и объединяя эти остальные две группы названием коррелятов. Такое изменение в классификации и говорит о рождении фонологии: выделе-

но то чередование, которое лежит в основе всякой фонологии независимо от школ. Наконец, в отличие от Крушевского Бодуэн де Куртенэ в своей работе 1881 года остался верен морфологическому критерию в фонологии: «морфологические сопоставления составляют исходную точку для сопоставлений фонетических».

С работы Бодуэна де Куртенэ 1881 года начинается подлинная теория фонемы, начинается теоретически полноценная фонология. Безмерно глубоко содержание этой работы. В ней освещены проблемы маркированных и немаркированных членов чередования, способы определения основной позиции фонем, вопросы выражения фонемы звуковым нулем и фонемного нуля звуком, проблема архифонем и т. д. (терминология для большинства этих проблем была создана позднее).

12. В 1881 году Бодуэн де Куртенэ не подчеркивал своих расхождений с Крушевским, он дал высокую оценку работе Крушевского. Но дальнейшие размышления над вопросами фонологии привели Бодуэна де Куртенэ к выводу о коренных различиях между двумя концепциями. В статье Бодуэна де Куртенэ «Mikołaj Kruszewski, ego życie i prace» полемика становится резкой и напряженной. Не приемля выводы Крушевского о естественном, во всех языках единообразном характере звукового развития, Бодуэн де Куртенэ с сарказмом пишет об ученых, которые «с упорством маньяков без устали твердят, что языкознание принадлежит к естественным наукам».

По словам Бодуэна де Куртенэ, у Крушевского «каждый звук живет отдельной, независимой жизнью, во всех сочетаниях всегда одинаков и зависит лишь сам от себя». И этот вывод справедлив: фонетическая сторона языка для Крушевского не была системой. Вопрос о позиционном распределении для него не был основным и наиболее существенным, а это и означает, что фонологические проблемы чужды Крушевскому.

Бодуэн де Куртенэ отвергает предположение Крушевского о необходимой акустико-артикуляционной близости дивергентов. «Разглядеть эту особенность дивергентов, — по словам Бодуэна де Куртенэ, — можно только при помощи отчаянных натяжек и усилий». «Если бы Крушевский имел возможность исследовать большее количество фактов, он бы полностью изменил свои выводы. Но Крушевский смотрел на факты так же, как на своих предшественников в науке: он пренебрегал ими».

Уже в работе 1881 года «Некоторые отделы...» все построение фонологической теории демонстрируется на фактах живого русского литературного языка. Но в том же году Бодуэн де Куртенэ публикует другую работу, «Отрывки из лекций», — это замечательное описание фонетической парадигматики русского языка. Система позиций для гласных и (несколько менее полная) для согласных, направление фонетического влияния в этих позициях,

ряды чередующихся звуков (дивергентов), особенно подробно описанных для гласных, парные и непарные фонемы, нейтрализация фонем, чередование с нулем, особенно в аллегровой, убыстренной речи, — вот далеко не полный перечень вопросов, освещенных в этой работе.

Бодуэн де Куртенэ был создателем фонологии чередований. Фонологическая парадигматика неизбежно должна исходить из сопоставлений морфем; варианты парадигмо-фонем не должны быть непременно похожи друг на друга; именно в парадигматике один из вариантов может быть нулевым.

Таков был итог. Теория была успешно применена при конкретном исследовании языка. Была создана и проверена парадигматическая фонология. Тем неожиданнее резкий поворот в научных поисках Бодуэна де Куртенэ: он в 90-х годах и в последующие годы по существу отказывается от этой фонологической теории и строит новую. Чем объяснить этот перелом?

Идеей идей всех поисков Бодуэна де Куртенэ было определение строго синхронных законов (и лишь затем на этой основе — строго диахронных)<sup>5</sup>. С другой стороны, построенная им фонологическая теория требовала сопоставления морфем для изучения синхронных отношений в звуковом строе языка. Но морфемные соотношения во время Бодуэна де Куртенэ не были затронуты синхронным анализом. Сам Бодуэн и в 70-х и в 80-х годах, и позднее рассматривал соответствия морфем только как исторические, только этимологически оправданные. Освободиться от привычного взгляда, что соотношения между словами являются связями только происхождения, оказалось трудно. Сложные и многоярусные соотношения морфемных единиц стали изучаться гораздо позднее (даже в наше время нет еще строго синхронного описания словообразовательной системы русского языка). Нет ничего удивительного в том, что новые взгляды распространяются медленно, по частям охватывая один объект изучения за другим.

Но отсутствие синхронной теории в морфологии и словообразовании оказывало влияние и на фонетику, тормозя ее развитие. Так, в одной своей работе Бодуэн де Куртенэ писал: «Фонетическое соответствие, то есть соответствие фонем... в области одного и того же языка... определяется этимологически, то есть оно имеет место в морфемах». Противоречие было глубоким: при определении строго синхронных фонетических соответствий используются морфемные, т. е. несинхронные, соотношения. (Сейчас можно удивляться непоследовательности Бодуэна: задача кажется простой, когда она решена. Но этот простой ответ приходилось добывать в напряженных поисках.)

---

<sup>5</sup> «Языковым механизмом в известное время обуславливается дальнейшее развитие языка» (Бодуэн де Куртенэ И. А. Некоторые общие замечания о языковедении и языке // Журнал министерства народного просвещения. 1871. № 2).

Из этого противоречия было два выхода: или отказаться от морфологического критерия в фонологии, или перестроить на синхронных основаниях описание морфемного строя языка. Бодуэн де Куртенэ пошел сразу и тем, и другим путем.

В работах 90—900-х годов он уже утверждает, что дивергенты непременно должны быть похожи друг на друга, что они определяются без обращения к морфемному анализу: достаточно знать, что два акустически близких звука не встречаются в одной позиции; в это же время он решительно вводит в свои работы термин *акусма* — признак фонемы — и именно акусму считает мельчайшей фонетической единицей. Иначе говоря, Бодуэн де Куртенэ в этот период своей деятельности разрабатывает основы фонетической синтагматики. Отказавшись от морфемных сопоставлений, он стал строить фонологическую теорию, которая действительно не требует этих сопоставлений.

Становятся понятными сложные, противоречивые высказывания Бодуэна де Куртенэ о теории Крушевского. Крушевский, приписывая фонетике чередований (а он говорил именно и только о чередованиях) требование изучать дивергенты, не прибегая к морфемному анализу, и при этом всегда искать акустического подобия дивергентов, был неправ. И Бодуэн де Куртенэ, и Богородицкий это прекрасно показали. Но ошибки Крушевского были замечательны: в них заключалось зерно новой, синтагматической фонетики. Бодуэн де Куртенэ уже в 1881 году, отвечая Крушевскому, заметил эту возможность двух (взаимосвязанных) фонетик: парадигматической, которую он тогда блестяще разрабатывал, и синтагматической. Он писал: «Понятие фонема разлагается на два существенно различные: 1) просто обобщение антропофонических акустико-артикуляционных свойств, 2) подвижной компонент морфемы... При дальнейшем развитии этих мыслей необходимо будет строго различать названные две стороны понятия фонем и, вместе с тем, установить для них термины».

Бодуэн де Куртенэ и видел неправильность взглядов Крушевского, и прозревал их плодотворность (если на их основе построить другую, не парадигматическую фонологию). Отсюда метания, резкие сдвиги в оценке деятельности Крушевского, отсюда жестокая борьба со взглядами Крушевского, кончившаяся тем, что Бодуэн де Куртенэ принял в качестве исходных отвергнутые им положения Крушевского и стал на их основе строить фонетику сочетаний. Раньше повсеместное, обязательное чередование ударного [ó] и безударного [а] в пределах одних и тех же морфем (*водный* — *вода*) было достаточным основанием для объединения этих звуков в одну фонему. Теперь, когда сопоставление морфем отвергается при установлении дивергентов, нужно найти другой критерий, позволяющий объединить звуки в одну фонему. Бодуэн де Куртенэ таким критерием считал чутье говорящих. В 70-х го-

дах в его работах часто говорится о связях звуков «в механизме языка, для чутья народа». Объективный критерий — механизм языка — является главным. В классической работе 1881 года совсем исчезает обращение к чутью говорящих. Но в позднейших его исследованиях все построено на чутье, на несовпадении замысла с исполнением в произношении и т. д. (Это, в свою очередь, дает толчок интересам Бодуэна де Куртенэ к проблемам языка и речи; интерес этот углубляется как раз во вторую половину его деятельности.) В 80-х годах Бодуэн де Куртенэ дает такую фонематическую транскрипцию:  $vod_m$  —  $vo_mda$  —  $vodi_m$ . Здесь  $m$  означает *mutabile*, т. е. «изменяемое сообразно с законами дивергенций», реализованное в звуках различного качества<sup>6</sup>. В 900-х годах принцип фонематического транскрибирования иной:  $vadi_m$ , *votka* (ср. с современными транскрипциями: ⟨водá⟩, ⟨водí⟩, ⟨вод⟩, /вади/, /вот<sup>3</sup>ка/).

Обращение к языковому чутью говорящих у Бодуэна, рыцаря синхронии, не случайно: изучение реального сознания говорящих гарантирует, что исследователь имеет дело с живыми, «сиюминутными» фактами речи и языка.

Эти новые идеи Бодуэна де Куртенэ с наибольшей полнотой отразились в его замечательной работе «*Próba teorji alternacyj fonetycznych*» (1894). В предисловии автор снова вспоминает работу Крушевского, но критика ее уже смягчена, и отвергаются не те взгляды, которые вызвали взрыв (в статье «*Mikołaj Kruszewski*»), эти ранее отвергнутые взгляды оказались положенными в основу новой теории.

Заслуга Н. В. Крушевского не только в том, что он толкнул Бодуэна де Куртенэ к созданию синтагматической теории фонем, в его работах немало можно найти интересных мыслей по общей фонетике, обращенных в первую очередь к славянским языкам, в особенности к польскому и русскому. Суд Бодуэна де Куртенэ: «Крушевский не наметил ни одного нового направления в науке, не установил новых истин, а только умел старые истины излагать в привлекательной и доступной форме» — крайне несправедлив.

**13.** Новые фонетические идеи Бодуэна де Куртенэ легли в основу воззрений петербургской (ленинградской) лингвистической школы. Ее деятели — сам И. А. Бодуэн де Куртенэ, его ученики и ученики его учеников: Л. В. Щерба, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, С. И. Бернштейн и другие.

Л. В. Щерба унаследовал от своего учителя фонологическую теорию, но сделал в ней некоторые переакцентовки, в целом не меняющие основы этой теории.

Л. В. Щерба подчеркивал, что основное назначение фонем — разграничительное; они разграничивают, различают слова. Это, действительно, ос-

---

<sup>6</sup> Знак  $m$  Бодуэн де Куртенэ здесь ставит у фонем, измененных позицией, поэтому следует устранить опечатку: в статье 1881 года ошибочно напечатано  $vo_m d$ .



новное назначение фонем в синтагматической фонетике. Об этом писал и Бодуэн де Куртенэ, но не подчеркивал, не повторял своей мысли. Между тем она стоит подчеркивания.

Если два слова отличаются только одним каким-то звуком (*том* — *дом*, *том* — *там*, *том* — *тон*), то сопоставляемые звуки принадлежат разным фонемам. Это положение прямо вытекает из предыдущего и действительно помогает разграничить фонемы (хотя не для всех разграничений оно достаточно).

Каждый фонолог, строя теорию, должен ответить на два вопроса: как определить набор фонем в анализируемом языке? как определить пределы каждой фонемы, т. е. какие звуки следует включить в одну фонему? На эти два вопроса может быть (в некоторых фонологических теориях) дан один общий ответ, но ответ на эти вопросы необходим.

В соответствии с теорией Л. В. Щербы набор фонем определяется по числу звуков в сильной, независимой позиции. Дано чисто фонологическое решение вопроса: учитывается позиционное размещение звуков. Это единственно возможный ответ на первый вопрос, и здесь существенных расхождений у фонологов разных школ не существует. Следуя этому решению, находим, например, что после твердых согласных под ударением может быть пять гласных звуков, ни в одной позиции нет большего их числа. Следовательно, в русском языке пять гласных фонем.

Но как разложить всю массу гласных звуков по этим пяти ящикам? На этот, второй вопрос Щерба дает такой ответ: надо объединять звуки по сходству. Нам свойственно обобщать все «мало-мальски сходное» в одно целое. Конечно, это недостаточный критерий, хотя бы потому, что все на все похоже: нужно знать, какая степень сходства достаточна для отождествления. Поэтому неизбежно обращение к сознанию говорящих. В пределы одной фонемы входит все, что не разграничивают говорящие. Например, они не различают [э] и [э̃], значит, это одна фонема; напротив, [э] и [ä] они разграничивают (хотя акустико-артикуляционная «дистанция» между звуками этой пары не больше, чем у звуков предыдущей), значит [э] и [ä] не похожи, это разные фонемы. Изучая восточнолужицкий язык, Щерба определил, что твердый согласный сочетается со следующим [æ], а мягкий — со следующим [ɛ]. «Что [ɛ] не смешивается с [æ], видно хотя бы из такой пары слов, как [strovɛ] — ‘здоровье’ и [strovæ] — ‘здоровые’. А что здесь дело не в твердости или мягкости *v*, а в гласном, этому меня выучил один пьяница, который, будучи в подпитии, очень старался исправить мое произношение (чем трезвые никогда особенно не занимались) и так вразумительно выделял различие двух *e* как раз в этой паре слов, протягивая каждый из этих звуков, что я до сих пор (через 7 лет) ясно помню звук его голоса и тембр этих *e*. Даль-

нейшие мои наблюдения лишь укрепили это понимание вещей». В переводе на фонемы русского языка то же положение вещей можно описать так. Закрытый [э] сочетается только с мягким согласным, открытый [э] — с твердым. Что чем определяется: надо ли считать, что есть фонемы /э — э́/, а мягкость согласных вызвана этим гласным различием или, напротив, различие в согласных определяет разницу между гласными? Щерба ищет ответа на подобные вопросы в сознании говорящих.

Уже Бодуэн де Куртенэ, как говорилось, считал нужным изучать фонетику через сознание говорящих. Л. В. Щерба более резко стал подчеркивать необходимость этого изучения. «Мы еще не умеем отличать факторы, действовавшие в прошлом, от факторов, действующих в настоящем, так как обыкновенно наблюдаем лишь зафиксированные результаты действия этих факторов», — писал Щерба. Задача та же, что и у Бодуэна де Куртенэ.

При этом в самой современности Щерба, как и его учитель Бодуэн де Куртенэ, хочет разграничить живые законы и мертвые, современность, синхрония оказывается сама динамической: «Я старался схватить язык в его движении; выдвинуть на первый план твердые нормы, находящиеся в светлой точке языкового сознания, а затем показать, с одной стороны, умирающие, а с другой стороны, нарождающиеся нормы, находящиеся в бессознательном состоянии и лишь воспроизводимые или творимые в отдельных случаях». Обращение к сознанию говорящих было у Щербы способом разграничить живое и мертвое в языке.

В течение многих лет «субъективный метод» Щербы вызывал ожесточенные нападки. В нем видели проявление идеализма. Верно ли это? Сознание говорящих отражает языковую и речевую действительность, хотя не всегда верно и всегда неполно (под сознанием подразумевается здесь, конечно, его «светлое поле», то, что информант может изъяснить в беседе с фонологом). Поэтому использование сознания говорящих как главного критерия в фонологических построениях оказывается ненадежным; наглядный пример — квалификация [ь]: одни щербианцы фонематически объединяют его с [а], другие — с [ы]. Если первое решение вопроса и оказывается более распространенным, то только потому, что оно поддержано самим Щербой, т. е. свойственно весьма авторитетному «языковому сознанию».

Ненадежность «субъективного метода» несомненна, но идеализм в этом методе искали безосновательно. Зоолог может описать какого-то зверька по рассказам многих охотников, это будет «субъективный метод» в зоологии; он ненадежен, но идеализма в нем, очевидно, нет. Обличители Щербы большей частью плохо понимали его теорию, сбивал их с толку и термин «субъективный метод». Термин неудачен: ведь Щерба не требовал, чтобы фонологические вопросы решались по субъективному усмотрению исследователя, он

требовал обращения к субъекту, к носителю языка, к говорящим, к их языковому сознанию, и только.

При всей своей ненадежности «субъективный метод», когда он был выдвинут, оказался нужен науке. Самой грозной опасностью для языкознания была тогда опасность схематизма, окостенения науки в обобщенно-негибких формулах и абстракциях. Даже Бодуэн де Куртенэ не избежал ее: все больше его работы нагружались схемами и формулами, все более классификаторский характер они принимали. Налет схематизма уже очевиден в его «Próbie», только живая диалектичность мышления Бодуэна мешала победить этому схематизму. У других же исследователей (в первую очередь у историков языка) язык оказался закованным в латы схем и оторванным от реальных носителей языка.

Работы Щербы, полные тонких наблюдений над живой речью, над формами языкового общения, над стилистико-социальными разграничениями в речи, были деятельным протестом против такого схематизма. Вернув языкознанию реальных, живых носителей языка, Щерба вернул и ряд важнейших научных проблем, забытых во время поисков отвлеченных законов фонетического развития: проблему фонетической стилистики, проблему фонетики художественной речи, социологию произношения.

Так же как в истории искусства, в истории науки постоянно происходят смены установки на конструкцию и установки на материал. (Для искусства эти постоянно сменяющиеся стадии были открыты В. Б. Шкловским.) В одну эпоху исследователей интересует «кристалличность» языка, его стройная целостность, его самодостаточная определенность. Беда, которая стережет строителей такого языкознания, — схематизм. В другую эпоху лингвисты увлечены животрепещущей сложностью, многообразной подвижностью, текучим непостоянством самого материала исследования — они наслаждаются непослушанием этого материала, преодолевающего любые схемы и жесткие констатации. Исследователям этого направления грозит другая беда — эмпиризм. Для развития науки необходима постоянная смена этих двух установок, постоянная поправка одной установки на другую.

В эпоху Щербы было важно схематизму противопоставить установку на текучий материал, подчеркнуть его неподатливость на схемы. Это полностью оправдывало введение «субъективного метода» в фонетику.

Нападки на мнимый идеализм «субъективного метода» привели к тому, что Щерба перестал ссылаться в своих работах на сознание говорящих. Но иного критерия, который помог бы определить, что на что похоже, позволил бы с уверенностью объединять звуки в фонемы, найдено не было.

Ненадежный критерий был оставлен, но не создано никакого надежного. Поэтому при практическом использовании щербианских методов в фоноло-

гии неизбежно снова и снова возникает обращение к сознанию говорящих. Например, когда говорят, что щербианцы теперь объединяют звуки в фонемы на основании чисто акустического сходства, ученики Щербы отвечают: звуки, например, [ъ] и [а] объединяются в одну фонему вовсе не по их физическому сходству. «Простейший эксперимент показывает, что слово *голова*, медленно произнесенное как [gālāvá], воспринимается носителями языка как совершенно тождественное быстрому произношению [гълавá], тогда как [гулавá] или [гылавá] воспринимаются как бессмысленные сочетания...» А по мнению других щербианцев же, именно [гылавá] воспринимается как равноправное с [гълавá]. Очевидно, и те, и другие в равной степени правы: и те, и другие совместно свидетельствуют, что без обращения к сознанию говорящих включить [ъ] в какую-либо фонему, следуя методам Л. В. Щербы, невозможно.

Поэтому отказ от «субъективного критерия» был чисто внешним и не затрагивал основ теории Щербы.

Что остается от фонологической теории Щербы, если отнять у нее «субъективный метод», т. е. обращение к сознанию говорящих? Только утверждение, что звуки надо объединять по сходству. Но этим занимались все фонетисты во все времена. Освобожденная от «субъективного метода» теория Щербы оказалась свободной от фонологизма; звуковые типы стали называться фонемами, но от этого они не перестали быть просто звуковыми типами, т. е. единицами, установленными только эмпирически и функционально нехарактерными. Фонологическая теория превратилась в традиционную фонетику, не отказываясь от некоторых фонологических терминов, в сущности от двух: фонема и вариант, к тому же плохо разграниченных. Они были недостаточно разграничены у самого Щербы, тем более у тех его последователей, которых соблазнила «простота» его теории (с вычетом «субъективного метода»), ее чистая фонетичность.

В таком виде теория Щербы позволяла фонетистам ничего не менять в своих традиционных, патриархально-фонетических взглядах, но при этом использовать несколько новейших фонологических терминов и числиться фонологами. Именно этим объясняется стремительное распространение взглядов Щербы (с вычетом «субъективного метода») среди фонетистов в 20—30-х годах. Все, кто были антифонологами, пока фонемная теория содержательно излагалась Бодуэном де Куртенэ и самим Щербой, стали сторонниками неощербианства, приветствуя отказ от «субъективных домыслов» и радуясь ему, как реабилитации старой фонетики.

Сложность позиции Щербы заключалась в том, что он, протестант против схематизма, сам создал схему (вернее, поддержал схему, намеченную Бодуэном де Куртенэ), притом схему, внутренне противоречивую. Набор фонем

определялся, как сказано, на основаниях фонологических, учитывалось позиционное размещение звуков, выделялась сильная (независимая) позиция. Ответ же на второй вопрос был нефонологичен: объединяйте все мало-мальски сходное, т. е. объединяйте звуки в фонемы, не обращая внимания на различные позиционные условия, в которых появляются эти звуки: в слове [пруды] налицо фонема /д/, в слове [пруты] — фонема /т/; в слове [прут] — фонема *m*, потому что звук подобен тому, что встретили в слове [пруты]. Но в слове [прут] последний согласный не имеет функционального самостоятельного признака глухости; если учитывать позиционное влияние, то эти два *m* необъединимы в одной фонеме. Объединить их можно только в одном случае: если отказаться от изучения языка как системы, если не видеть, что в слове [прут] согласный [т] не противопоставлен [д] и тем самым в системе языка он не глухой согласный.

Один вопрос (сколько фонем?) решался фонологически, другой (какие варианты в составе каждой фонемы?) — явно нефонологически. В этом глубое противоречие щербианской фонемной схемы.

Глубина и значительность фонологических взглядов Щербы определяются тем, что он постоянно нарушал эту схему. Столкновение установки на материал и установки на конструкцию происходит не только в истории языкознания, в разных трудах разных ученых, но и в сознании одного исследователя, и тогда это столкновение может быть особенно напряженным. Щерба отстаивал свою схему фонологического анализа (не видя при этом ее противоречивости). Вначале эта противоречивость, т. е. нефонологичность приемов объединения звуков в одной фонеме, смягчалась введением «субъективного метода», т. е. установки на сознание говорящих. Поскольку это сознание отражает действительные фонемные соотношения, постольку нефонематичность и противоречивость учения Щербы были смягчены.

С ослаблением установки на сознание говорящих это противоречие стало особенно резким. Но именно в эту пору, в 20—30-е годы, Щерба резко и иногда демонстративно сам нарушал предписания своей же общей теории, возвращая ей подлинный фонологизм. Например, он так писал о французском [œ]: «Во французском приходится различать две фонемы „œ“: одна, которая никогда не выпадает и которую мы будем обозначать через „œ“, и другая, которая в потоке речи может выпадать при известных условиях и которую, хотя она чисто фонетически и совпадает с первой, мы будем обозначать через „э“. Возьмем два глагола: [pœple] = *peupler* и [dœmã:de] = *demande*; в начальных слогах у них произносятся совершенно одинаковые гласные, но стоит прибавить впереди предлог *à*, чтобы картина изменилась: в первом случае получится [apœple], а во втором — [admã:de], которое мы будем изображать „ad(э)mã:de“. Таким образом, фонемой „э“ называется такое [œ], которое в

известных условиях чередуется с нулем звука». Этот анализ, конечно, ошибочен: чередование [œ] || нуль нельзя рассматривать как позиционное, оно подобно нашему чередованию *лоб* — *на лбу* (но *нос* — *на носу*); из этого никак нельзя сделать вывод, что в русском языке две фонемы *о*.

Но этот ошибочный анализ изумителен: он показывает, насколько раскован был в своих фонологических исканиях Щерба. Он всегда требовал, чтобы внутри фонемы варианты были акустически подобны, и вдруг объединяет [œ] и звуковой нуль, т. е. то, что ни в чем не подобно по своей чисто звуковой природе. Он писал, что если в одной какой-либо позиции два звука различаются, то «ни в каких условиях» один звук не будет восприниматься как другой, т. е., иначе говоря, нейтрализация отвергается. Здесь же оказывается, что две фонемы «œ» и «ə» в одной позиции реализуются одинаково — звуком [œ], т. е. нейтрализуются; оказывается, что в известных условиях звук [œ], хотя есть фонема «œ», будет восприниматься как фонема «ə».

Самое установление фонемы «ə» в отличие от «œ» требует сопоставления морфем и иначе обнаружено быть не может; а ведь Щерба совершенно отвергал использование морфологического критерия в фонологии. Это понятно: если фонема понимается просто как звуковой тип, то сопоставление морфем и не нужно. Но здесь-то совсем иной взгляд на фонему!

Как сказано, вывод Щербы о различии фонем «œ» и «ə» оказался ошибочным; это с особой тщательностью подчеркнули в комментариях к трудам Щербы его ученики, пекущиеся о чистоте и простоте взглядов своего учителя. Но сила Щербы как раз в таких смелых и резких нарушениях бесплодной схемы. Недаром именно это неверное его заключение помогло открыть важные факты в других языках. Фонетик-иранист В. С. Соколова обнаружила, что в таджикском языке есть две фонемы *и*; обе под ударением реализованы звуком [u] (используем латинскую транскрипцию): [xub] ‘хороший’, [šud] ‘он стал’. Но без ударения одна фонема оказывается вариативной по долготе; ее длительность колеблется, доходя до нуля; другая фонема стабильна: [xubi] ‘благо’, но [š<sup>u</sup>di] ‘ты стал’. Чередование это позиционно: всякое колеблющееся *и* превращается под ударением в нормальное по длительности и совпадает с другой фонемой *и*. Это именно те отношения, которые описал Щерба; они были неверны для французского языка; однако сконструированная Щербой фонематическая модель оказалась исключительно интересной теоретически и оправдала себя на другом материале<sup>7</sup>.

Неверными были суждения Щербы о фонеме «ы». Он писал, что хотя [и — ы] позиционно чередуются, все же [ы] — особая фонема, так как этих

---

<sup>7</sup> В этой книге та же фонематическая модель использована для описания долгих — кратких согласных фонем в подсистеме редких слов.

чередований нет в корнях слов. И это заключение незаконно с точки зрения схемы фонемного анализа, которую выдвигал Щерба: незаконно обращение к морфемным ограничениям. (Фонологи щербианского круга, более последовательные, чем их учитель, не позволяют себе прибегать к морфологическим понятиям; это всегда сказывается на результатах исследования — не в лучшую сторону: из поля зрения полностью исчезают все законы фонемной парадигматики.) Неверно и то, что в корнях таких чередований нет. Верно одно: что в известных условиях для определенного класса морфем следует устанавливать свою особую фонемную систему. Эту мысль позже более детально развил Дж. Л. Трейджер. Плодотворное свое применение она нашла при изучении фонетики русских флексий: они действительно, как показали исследования фонологов пражской и московской школ, имеют свой особый фонемный состав.

Л. В. Щерба одновременно отстаивал определенную фонологическую схему и сам постоянно против нее бунтовал. Это преодоление схемы и было плодотворно. Отстаивая схему, Щерба обратился к наиболее благоприятному материалу — к фонетической системе французского языка. Трудности для теории Щербы возникают в первую очередь при нейтрализации фонем. Именно в этих случаях бывает трудно вариант в позиции нейтрализации причислить к той или иной фонеме. Во французском языке нейтрализации фонем — редкость, поэтому французская фонемная система — идеальный материал для применения щербианской фонологии. Ее ограниченность при этом не обнаруживается (вернее, обнаруживается при описании таких частных языков, которыми можно на первых порах пренебречь).

Напротив, русская фонематическая система, насыщенная нейтрализациями, оказалась неблагоприятным материалом для щербианской фонологии. Это с особенной ясностью обнаружилось в академической «Грамматике русского языка», в ее фонетическом разделе. Но мысль Щербы постоянно возвращалась к русскому языку, и когда ему не нужно было в соответствии с жанром работы стремиться к систематичности и схематичности, он высказывал исключительно глубокие и перспективные теоретические суждения.

Одни ученики Щербы унаследовали его схему, доведя до предела верность ей. Другие унаследовали диалектическую силу его мысли, подвижность и нескованность анализа, его бунт против схематических шор. Самому Щербе был свойствен и «классицизм», и «импрессионизм». Ученики разделили между собой эти два стиля работы Щербы.

**14.** Наиболее глубоко усвоил диалектический характер мысли учителя Е. Д. Поливанов, гениальный языковед, замечательный полиглот и филолог-энциклопедист. У него мало работ, специально посвященных русскому языку. Но во многих его статьях и книгах, посвященных японскому, каракалпак-

скому, латинскому, китайскому и многим другим языкам, встречаются — и притом часто — высказывания о фонетическом строе русского языка, удивительно глубокие мысли. Поливанов-русист еще ждет своего открывателя: кто-нибудь соберет все его высказывания о русском языке, и тогда только станет ясно, как огромен его вклад в изучение русского языка. Но предчувствовать значительность его работы нетрудно и сейчас.

Сама форма его высказываний о русской фонетике — отдельные замечания там и здесь, мимоходом, попутно — не давала возможности строить некую последовательную теорию фонетического строя русского языка. Раскованность исследовательских поисков Поливанова предельна, но у этой свободы есть и своя теневая сторона: каждый раз в связи с какой-то темой выхватываются отдельные участки языковой системы, связи не учитываются в их целостности, отсюда субъективность и случайность ряда высказываний Поливанова. Импрессионистические его высказывания о русском языке постепенно переформировывались в целостную теорию. Гибель Поливанова (1938 г.) оборвала этот большой поиск.

**15.** Распространение фонологических идей вызвало остро критическую реакцию на них. Не все признаки звуков речи являются различительными, не все они существенны при общении, утверждали фонологи. Крупнейший эксперименталист, один из пионеров инструментального метода в фонетике А. И. Томсон ответил: нет, все качества звуков существенны. Прекрасно зная все интимные различия между звуками, он в своих статьях множил примеры, которые должны были доказать тщетность и ненужность всех фонологических обобщений. Едва ли не каждая крупная работа Щербы вызывала содержательный ответ-разбор со стороны Томсона. При этом Томсон сохранял высокую степень объективности и порядочности даже в самых своих бескомпромиссных и резких статьях. (Осуждая фонологические поиски Щербы, Томсон тем не менее высказался за присуждение ему высокой академической награды.)

Томсон свое опровержение фонологии строил с замечательной последовательностью; он строго доказательно обосновывал взгляд, что позиционно зависимые качества звука имеют различительную функцию. В словах, например, *ел* и *ель*, *вес* и *весь* для разграничения слов необходимо и различие согласных по твердости — мягкости, и различие в открытом — закрытом оттенке предшествующего э.

Последовательно критикуя и отвергая фонологию, которая отказывалась считать существенными позиционно зависимые признаки звуков, Томсон создал другую фонологию, где учитываются как потенциально существенные все признаки звука (точнее, он создал предпосылки для такой фонологии).

У Томсона был пафос фонетиста-экспериментатора, протестующего против фонологического «раздевания» звука против отказа от того, что с таким



упорством добывали при инструментальном изучении произношения первые фонетисты-экспериментаторы.

**16.** Взгляды Томсона были развиты С. И. Бернштейном. Ученик Щербы, С. И. Бернштейн в первые годы своей научной работы был увлечен исследованием примет художественной речи, он изучал фонетическое строение стиха, особенности его реализации в чтении поэтов и артистов. Художественная речь (...) строится на использовании всей совокупности отличительных особенностей звуковых единиц языка, и, может быть, в первую очередь на «нерелевантных», «нефункциональных» ее особенностях. Художественная речь обнаруживает, что эти особенности не безразличны для говорящих; если бы сознание не отмечало их в обычной речи, они не могли бы быть материалом для построения художественных текстов. Поэтому С. И. Бернштейн с иной стороны и на иных основаниях подошел к той же мысли, что и Томсон.

С. И. Бернштейн, подобно Поливанову и Якубинскому, принадлежал к тем последователям академика Щербы, которые ценили диалектическую глубину его мысли, его бунтарство против схем. В своей деятельности в дальнейшем Бернштейн внес серьезный вклад в фонологические учения разных школ, но не стал приверженцем ни одной из них. Силы отталкивания были не менее сильны, чем силы притяжения, но конструктивной была и его критика сложившихся фонологических взглядов и его положительный вклад в теорию фонологии, в первую очередь в фонологию художественной речи.

**17.** В конце XIX — первые годы XX века начала работать Московская диалектологическая комиссия. Задача ее была — изучить русские говоры, но и литературному языку уделялось много внимания. Председатель комиссии академик Ф. Е. Корш, его молодые соратники Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново и другие были влюблены в московскую речь, в ее звуковое и интонационное богатство, т. е., говоря более терминологично, в многообразие и «парадоксальность» позиционных мен, в стройность речи, которая создается строгой регулярностью этих мен, в сложную иерархию стилистических разновидностей этой речи. Подход к языку был во многом эстетическим: самая обыденная, бытовая речь воспринималась как художественная ценность, которая требует любовного восприятия и познания ее.

В этом пристрастии не было никакой националистической ограниченности и самодовольства. Ф. Е. Корш в своих работах сопоставлял произношение русского языка с фонетическими системами других языков — и всегда, без желания поставить русский язык впереди каких-либо языков, без намерения их унижить.

Обладая «абсолютным фонетическим слухом», Ф. Е. Корш оставил массу тончайших наблюдений над особенностями русского произношения. Оригинальны его попытки понять внутреннюю необходимость в фонетических со-

отношениях, свойственных современному русскому языку. Вот один пример: как многие фонетисты, он приравнивал [γ'] к [j], считал их одним и тем же звуком (это не совсем верно, но сходство между ними, действительно, велико; заслуга Ф. Е. Корша в том, что он первый заметил это родство). Тогда [j] и [x'] — парные звуки, отличающиеся только звонкостью — глухостью. Звонкие оглушаются на конце слов, почему же [j] не чередуется с [x']? Этому мешает другой закон: [x'] возможен только перед гласными переднего ряда. Поэтому вместо [j] на конце слова произносится [и], неслоговой гласный, который, как гласный, не подлежит оглушению.

Интересна попытка понять внутреннюю осмысленность, т. е. взаимосвязанность языковых фактов, иначе говоря, попытка понять язык как систему. В данном случае эта попытка очень уязвима, и не только потому, что неверны исходные фактические данные: [γ'] не тождествен [j]. Уязвима сама формула, по которой строится рассуждение. Эта формула не принадлежит самому Ф. Е. Коршу, она многократно использовалась в исторических работах А. А. Шахматова и других лингвистов. Вот как ее можно обобщенно передать: в таком-то языке в такую-то эпоху звуки определенного класса (в определенной позиции) изменялись в звуки другого определенного класса, но звук **Н** не мог измениться в том же направлении, так как мешал другой закон, поэтому звук **Н** изменился совсем по-другому. Формула эта диалектична, она представляет развитие языка как борьбу закономерностей. Но она неполна: она указывает невозможность определенных изменений, но не объясняет, почему именно так было решено противоречие, не обосновывает системность, внутреннюю обоснованность «обходного» решения<sup>8</sup>.

Ф. Е. Корш эту историческую формулировку использовал для строго синхронного описания. У него объясняется не причина процесса (почему [j] в конце слова исторически перешел в [и]?), а дается синхронное обоснование определенного фонетического факта: [j] должен заменяться в конце слова гласным [и], так как [x'] сочетается только с [э, и], гласными переднего ряда.

Синхронный подход к явлениям языка был сознательной, обдуманной позицией Корша. Он жестко критиковал некоторые работы Я. К. Грота за подстановку вместо реальной характеристики звуков современного русского языка их этимологической характеристики.

Наблюдениями над русским произношением Ф. Е. Корш часто делился в своих письмах с А. А. Шахматовым. В одном из писем он рассказывает Шах-

---

<sup>8</sup> Иногда эта формула применялась в более огрубленном виде: ...но звук **Н** не мог измениться в том же направлении, так как, изменись он таким образом, появился бы звук **Н<sub>1</sub>**, но такого звука в этом языке не существовало. Эта разновидность формулировки еще более уязвима.

матову о разных семейных событиях (они были знакомы семьями), над каждой ударной гласной при этом ставит нотный значок.

Кончается письмо словами: ты спрашивал, что такое московская интонация; я тебе показал это.

Интересные наблюдения над современным русским произношением встречаются в статьях Корша о классических и тюркских языках. Законы русской звучащей речи была постоянная и любимая мысль его.

**18.** Тонким наблюдателем русского произношения был академик А. А. Шахматов (он тоже принимал участие в работе диалектологической комиссии). Его наблюдения над фонетическим составом русского языка замечательны. Он, например, первый заметил, что мягкие губные в конце слова могут в современном русском языке являться только при одном условии: если они подержаны положением тех же губных в середине слова (в соотносительных морфологических формах). Здесь чувствуется подход историка к фактам современности: известна неустойчивость мягких губных в истории других славянских языков, в некоторых русских говорах; Шахматову было естественно заподозрить неустойчивость мягких губных в современном русском литературном языке. Открыть закономерность Шахматову помог и строго позиционный анализ фонетических единиц: учитывалось положение на конце слова и необходимая связь с теми же единицами в другом, контрастном положении (не на конце слова). Позиционное изучение фонетики — достижение самого А. А. Шахматова и той школы (фортунаговской), к которой он принадлежал.

И вместе с тем работы А. А. Шахматова по современному русскому языку для начала XX века, для бодуэновской эпохи в фонетике, выглядят безнадежно архаическими. Они демонстрируют, как недостаточен подход к языку, когда синхронические и диахронические связи спутаны и принципиально не разграничиваются. В описании русского языка у Шахматова, после замечательно тонких наблюдений над позиционной обусловленностью разных оттенков гласных, читаем (в главе «Действующие в настоящее время в современном литературном языке звуковые законы»): «... гласная [ы] не терпима в начале слова и слога и известна только после согласных... Гласные [ы́, ѱ́, ѱ̂́, ѱ̃́] известны только под ударением; в неударных слогах им соответствуют ненапряженные [ы, у, ѱ́, ѱ̂́]: [дѱ́шу], [сѳ́нь], но [душá], [сынóк]... [Безударное] сочетание [эи] произносится как [ии]: [с'ѳ́н'ѳ́и], [каров'ѳ́и]... Звуки [ш, ж, ц] отвердели при всяком положении в слове... Язычные согласные теряют свою этимологическую мягкость перед твердыми язычными: [гóрнѳ́и], [гóднѳ́и], [д'ѳ́ир'эв'ѳ́нскѳ́и]... Мягкое [л'] сохраняет свою этимологическую мягкость во всяком положении, между прочим перед твердыми зубными...».

Описание законов, действующих (!) в современном русском языке, превращено в перечень разрозненных наблюдений: одни из них описывают дей-

ствительно современные соотношения в языке, другие обращены в прошлое. И дело не только в формулировках (как может показаться), не в том, что вместо «мягкое [л'] сохраняет свою этимологическую мягкость во всяком положении» надо было сказать «мягкое [л'] возможно во всяком положении». Вторая формулировка не вытекает из первой. Сказано: где [л'] был мягким в предыдущие эпохи, там и сейчас он мягок. Но каково его размещение в предыдущие эпохи? Может быть, в определенных позициях он был невозможен, тогда в современности эти позиции могли остаться запретными для [л']. Так ли это? Из сообщения о судьбе [л'] установить это невозможно.

Согласные [ш, ж], пишет Шахматов, отвердели во всех положениях. Следует ли из этого, что в современном русском языке есть только твердые [ш, ж] и, значит, у них твердость несоотносительна с мягкостью? Очевидно, что не значит. Сообщение Шахматова говорит одно: сейчас в русском литературном языке есть [ш, ж]. Никаких законов оно не раскрывает. У Шахматова нет описания системы языка — системы единиц, системы позиций. По методу его работа принадлежит дободуэновской эпохе.

Не случайно, очевидно, отрицательное отношение Шахматова к теории фонем.

**19.** Влюбленность в московскую литературную речь объединяла с Коршем двух замечательных лингвистов младшего поколения — Н. Н. Дурново и Д. Н. Ушакова. В одном из своих последних докладов Д. Н. Ушаков сказал: «Между прочим, в театральном обществе есть студия звукозаписи. Там записана моя лекция о московском произношении и прочитанный мною чеховский рассказ „Дачники“. И после моей смерти вы все это можете слушать». Эти слова характерны: Ушаков знает, верит, что московская литературная речь может цениться эстетически, и хочет оставить потомкам образцы этого произношения — именно как художественную ценность.

Этот речевой эстетизм не был консервативным: новации в языке не отвергались. Ведь как раз Д. Н. Ушаков и Н. Н. Дурново открыли «новацию» в русском литературном произношении: *йканье*.

В послереволюционную эпоху нормы московской речи изменились, «классическое» московское произношение уходило в прошлое (по крайней мере в некоторых своих характерных деталях). Д. Н. Ушаков не пытался удержать это уходящее: любя старую, освященную традициями литературную речь, он оставался ученым, а не ревнителем старины. Он приветствовал попытки установить нормы литературного говорения с учетом послеоктябрьских произносительных новшеств. Он говорил: надо торопиться, надо поточнее описать то, что уходит; его интересовала борьба нового и старого в орфоэпии. Д. Н. Ушаков оставил прекрасный образец описания такой борьбы — статью о произношении [γ] и [г] в русском литературном языке. Образцовы-

ми в чисто научном отношении остаются и другие его описания русских литературных фонетических норм.

Борьбу за культуру речи, особенно за орфоэпическую культуру, Д. Н. Ушаков хотел сделать общественным, массовым делом. С гордостью он говорил о трех своих «орфоэпических походах», о трех попытках (в 1921—1922, в 1936 и 1940 годах) начать широкую работу по определению норм современного русского произношения. Его требованием было строить эту работу, во-первых, на строго научных началах, во-вторых, опираясь на широкие массы новой, советской интеллигенции, учитывая требования этих масс. Достойным образом решить заданную временем труднейшую задачу — в этом завещание Д. Н. Ушакова.

**20.** Ф. Е. Корш, А. А. Шахматов, Д. Н. Ушаков по отношению к фонологии сохраняли доброжелательный нейтралитет. Н. Н. Дурново, блестяще начав свой научный путь в той же Московской диалектологической комиссии, глубоко воспринял фонологические идеи; он стал одним из крупных деятелей пражской фонологической школы. В его творчестве соединились эстетическое отношение к языку и остро аналитическое прозрение его внутренних системных связей.

**21.** В самом начале XX века был очень резко поставлен вопрос о реформе русского письма (графики и орфографии). Подготовкой этой реформы занялась Орфографическая подкомиссия при Академии наук, возглавлял дело академик Ф. Ф. Фортунатов.

Ф. Ф. Фортунатов не менее строго, чем Бодуэн де Куртенэ, разграничивал синхроническое и диахроническое изучение языка. Одной из самых крупных ошибок он считал «смешение фактов, существующих в данное время в языке, с теми, которые существовали в нем прежде». Поэтому и задачу Орфографической подкомиссии он определил так: надо освободить русское письмо от тех его особенностей, которые не отражают каких-либо особенностей в современном языке. На этом основании и были выработаны знаменитые предложения Орфографической подкомиссии (1904—1912), которые, будучи значительно и безосновательно урезаны чиновниками, воплотились потом в реформу 1917—1918 годов.

В обсуждении орфографических вопросов самое активное участие приняли Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Е. Корш, Р. Ф. Брандт, Д. Н. Ушаков, Л. В. Щерба, В. И. Чернышев, А. И. Томсон. Одна из самых важных проблем была определить отношение письма к звуковому строю языка. И лингвисты решали ее в соответствии со своими фонологическими взглядами.

И. А. Бодуэн де Куртенэ в 1912 году издал книжку «Отношение русского письма к русскому языку». Содержание ее очень многогранно, но самое важ-

ное в ней — первая попытка определить характер русского письма как фонемный. Это такое правописание, «по которому в местах зависимого произношения применяются графемы, заимствованные от мест произношения независимого».

Так впервые был указан фонемный характер русского правописания.

Впрочем, в отношении практических рекомендаций по усовершенствованию русского письма Бодуэн де Куртенэ (как показывают протоколы комиссии)<sup>9</sup> не был последователен и защищал иногда фонематически не обоснованные и поэтому практически не самые лучшие орфографические предложения.

Напротив, почти все предложения, поддерживаемые Фортунатовым, были фонематически целесообразны. В одном только случае Фортунатов отклонился от фонематического принципа в орфографии: в правописании приставок. Предложение было принято большинством в один голос, за него голосовал Фортунатов (имевший, как председатель, два голоса). Так установилось современное непоследовательное правописание приставок. Будучи почти всегда последовательным сторонником фонологических написаний, Фортунатов, однако, теоретически их целесообразность не обосновывал и прямо как сторонник фонематической орфографии не выступал. Последовательным фонематистом в теории орфографии, очевидно, и невозможно было стать в эту эпоху. Фонология была провозглашена, открыты ее первые истины и законы, но последовательной теории еще не создано, детали (важные для орфографической теории) не определены.

А. И. Томсон, как сказано, считал существенными все фонетические различия в слове. В словах, например, *ель* и *ел* важна разница и в согласных, и в гласных — чем больше контраст между словами, тем легче их различение, тем менее вероятны ошибки восприятия. Если этот принцип перенести на письмо, то, очевидно, и письмо тем лучше, чем больше отличий между отдельными написаниями. Поэтому написания *ель* — *ѣль*, *вѣсь* — *весь* лучше, чем написания без *ѣ*, с буквой *е* в обоих случаях.

Одно утверждение логично было бы связать с другим. И действительно, А. И. Томсон был упорным сторонником традиционного принципа в орфографии; традиционный принцип позволяет широко использовать условные, «иероглифические» написания, которые включают дополнительные различительные особенности, такие, которые не обоснованы языковым строем (письменные различия между *ѣ* — *е*, *і* — *и*, *ѳ* — *ф* и пр. имели именно такой характер).

Фонологическая теория Щербы, как сказано, в сущности оказалась чисто фонетической. И в орфографии он защищал фонетический принцип: по его

---

<sup>9</sup> В Ленинградском архиве Академии наук СССР.

мнению, высказанному в 1904 году, звуковые написания — единственная подлинная ценность в орфографии. Естественно, что эта малопродуктивная точка зрения не оказала влияния на работу комиссии.

Наиболее горячим сторонником фонетической орфографии был Р. Ф. Брандт, один из зачинщиков реформы русского письма. Он выступал в печати с изумительным темпераментом, с азартом, последовательно защищая правило: пиши, как произносишь. Его работы по теории орфографии были по стилю остро публицистичны, а иногда просто напоминали фельетоны. Он остроумно парировал доводы «охранителей», сторонников старой орфографии. Но на заседаниях комиссии ему пришлось встретиться с серьезными противниками. Под влиянием обмена научными мнениями Брандт стал изменять свои пристрастия, приближаясь к сторонникам фонематической орфографии.

В конце концов Фортунатов в лице Брандта нашел союзника, а не противника.

В. И. Чернышев в популярных брошюрах тоже поддерживал фортунаатовское направление орфографической реформы. Наконец, А. А. Шахматов, мало принимая участия в разработке теории орфографии, был хорошим помощником Фортунатова, поддерживая его и на заседаниях комиссии, и в печати. Последнее было важно: газетный вой был весьма громок и пронзителен.

Фортунатовский подспудный фонологизм, единство подкомиссии в поддержке фортунаатовской линии (хотя споры на ее заседаниях были горячие) и обеспечили классические, предельно обоснованные предложения подкомиссии по реформе письма.

Дискуссия по орфографии в 1901—1912 годах вызвала усиленное внимание к русской фонетике. Ведь было очень важно, проектируя новое письмо, выяснить детально и определенно, что именно подлежит письменной передаче, каковы звуковые особенности литературного языка. Появилась статья «О русском правописании» Ф. Е. Корша — замечательный анализ звуковой стороны языка (он был сторонником фонетической орфографии — это естественно при его любви к русской звуковой речи, при его эстетическом отношении к московскому литературному говору). Каскад статей Р. Ф. Брандта содержал множество фонетических наблюдений; в некоторых случаях они отражали специфические черты произношения петербургской интеллигенции и этим были особенно интересны. Появились работы Д. Н. Ушакова, В. И. Чернышева, посвященные русской орфографии и в связи с этим русскому произношению.

Орфографическая дискуссия 1901—1912 годов, подготовившая реформу 1917—1918 годов, опиралась на достижения русской фонетики (и фонологии), и сама она дала толчок для дальнейшего развития исследований русского произношения.

22. В изучении русской фонетики участвовали многие иноязычные ученые: Ф. Финк, Г. Свит, В. Шерцль, Р. Кошутич, Й. Люнделль, О. Брок, затем Д. Джоунз, Дж. Л. Трейджер, Г. Фант и другие. Часто им удавалось заметить то, что упорно ускользало от русских наблюдателей. Причина понятна: они оценивали русскую фонетическую систему меркой своей фонетической системы; те оттенки звуков, которые в русском языке позиционно обусловлены и поэтому не воспринимаются как качественно особые оттенки, в других языках могут иметь самостоятельный фонематический характер и поэтому находиться в светлом поле сознания. Так, Свит обнаружил, что в соседстве с носовыми согласными гласный может в значительной степени назализоваться. Верность этого наблюдения была подтверждена с помощью экспериментально-фонетических методов исследования. Свит заметил это на слух, помогло, может быть, хорошее знакомство с французской речью.

В. Шерцль тонко оценил длительность гласных в разных положениях — перед одним, перед двумя согласными; в чешском языке, родном для Шерцля, долгота и краткость гласных фонематически значимы.

Д. Джоунз и В. Трофимов рассматривали мягкие губные (в некоторых позициях) как сочетания «губной + [j]», а мягкие язычные (в тех же позициях) — как целостный звук<sup>10</sup>. Долгое время считали это ошибкой слуха Джоунза (он это различие интерпретировал фонологически, а не фонетически, но его фонемная теория в сущности фонетична). Лишь недавно опыты Н. И. Дукельского показали, что это различие имеет определенное основание. Наблюдение человека, находящегося вне пределов русского фонематического слуха, значит, вне иллюзий этого слуха, оказалось верным.

О наблюдениях Финка Д. Н. Ушаков писал А. А. Шахматову: «Несмотря на многие неточности (часть их отмечена Вами), все-таки у нас нет пока подобных записей, а сделанные иностранцем, они дают повод подметить кое-что недоступное обычному русскому уху; при этом, впрочем, есть, по-видимому, и погрешности, объясняемые только свойствами немецкого уха»<sup>11</sup>.

Идеи фонологии, развитые впервые казанской и петербургской (ленинградской) школами, получили широкий резонанс за пределами России. Знакомясь с идеями фонологии, зарубежные фонетисты вместе с тем знакомились с фактами русской фонетики и приобретали интерес к ней. Эта причина, а также и общее внимание к русскому языку, вызванное социальными причинами, определили в XX веке оживление в изучении законов фонетического строя русского языка за рубежом.

Наиболее ценными работами по русскому произношению, несомненно, являются работы Й. Люнделля и Р. Кошутича. Они создавались в творческом

<sup>10</sup> Подобные же наблюдения есть у В. Шерцля и А. Дирра.

<sup>11</sup> Архив АН СССР. Ф. 134. Оп. 3. № 1330. Л. 24 об. (9 февраля 1909 г.).



содружестве с русскими фонетистами — Ф. Е. Коршем, А. А. Шахматовым. А. А. Шахматов писал Ф. Е. Коршу: «Очень рад, что Кошутич воспользовался Вашими указаниями. Меня смутило то, что я слышал от него до поездки к Вам. Он старался объяснить мне, что большинство русских говорит *старика, сапаги* с чистым [а] в третьем от конца слоге, также *слова* с [а] чистым и т. п. Очень хорошо, что Вы предостерегли Лунделля... Досадно, что все, что Вы дали теперь Кошутичу и Лунделлю, явится не под Вашей фирмой, а под фирмой иноземцев»<sup>12</sup>. Вряд ли надо придавать большое значение последним словам этого письма: и Корш, и Шахматов, как настоящие ученые, делились своими знаниями с другими исследователями, не очень заботясь о том, какая «фирма» выиграет от этого, имея в виду только выигрыш науки.

23. Подъем демократической культуры в начале XX века в России требовал распространения и языковой культуры, ее пропаганды, ее популяризации. Общедоступные книжки В. И. Чернышева успешно выполняли это требование. Большой популярностью пользовались его книги о русском произношении, о его нормах. Оценка этих книг фонетистами была различной. В популярной книге неизбежно некоторое упрощение фактов, в книге фонетической — упрощение транскрипции. С другой стороны, такое упрощение почти всегда порождает недоумение, непонимание, ошибочное толкование. Поэтому популяризаторское упрощение фактов у Чернышева вызвало резкую критику у многих русистов. Ф. Е. Корш увидел в книге Чернышева даже вульгаризацию науки, искажение фактов; с большой долей снобизма он писал: «Совесть моя спокойна. Сомневаюсь, чтобы в таком состоянии могла оказаться совесть Чернышева, если найдутся такие учителя, чтецы или артисты, которые усвоят себе его „Законы и правила русского произношения“. И он называет этот выговор московским! Скорее уж это выговор „калуцкий“... *Быстрота* с той же гласной в первом слоге, как в *сапоги*, то есть будто бы *сыпаги!* *тяжело* в виде *тижыло!* *явился* исковерканное в *ивилса!*.. *атвирнул* вместо *атьве* <sup>н</sup>*рнул* (если уж по-московски!)... И еще Вас осрамил благодарностью! Поговорил бы об ударениях и — скромно — о формах, а то куда ему, сиволапому, лезть в физиологию звуков!» (Письмо А. А. Шахматову 24 ноября 1906 г.)<sup>13</sup>.

Недоволен был А. И. Томсон: «... я принялся за... исследование неудар[ных] гласн[ых] общерусского языка... После ересей Чернышева я считаю очень нужным выяснить в точности фактическое положение дела» (Письмо А. А. Шахматову 19 апреля 1908 г.)<sup>14</sup>.

Как видно из примеров, все ереси Чернышева заключались в упрощениях, вызванных стремлением сделать доступным свою книгу для широкого,

<sup>12</sup> Архив АН СССР. Ф. 134. Оп. 4. № 73. Л. 23—23 об.

<sup>13</sup> Архив АН СССР. Ф. 134. Оп. 3. № 729. Л. 308—308 об.

<sup>14</sup> Архив АН СССР. Ф. 134. Оп. 3. № 1533. Л. 10 об.—11.

самого демократического читателя. Правда, в иных случаях это упрощение заходило слишком далеко и становилось опасным.

Справедливо оценивал книгу Чернышева воинствующий демократ Бодуэн де Куртенэ: «Патентованным авгурам и жрецам науки кое-что в книжке г. Чернышева может показаться кошунством против принятых и освященных приемов и рецептов. Эта книжка носит ⟨...⟩, с научной точки зрения, не аристократический, а чисто демократический характер. Но именно благодаря своему „демократизму“ она может послужить популяризации лингвистических данных с гораздо большим успехом, нежели многие рассуждения, составленные по всем правилам учености и с соблюдением всех тонкостей научного метода».

Бесспорно, в оценке работы Чернышева прав не «патентованный авгур и жрец науки» Ф. И. Корш, а И. А. Бодуэн де Куртенэ — «умственный пролетарий, именуемый петербургским профессором».

**24.** Конец XIX — начало XX века — время первых значительных успехов экспериментальной фонетики. Открылся «микромир» звуковых различий, и он волновал открывателей не менее, чем настоящий микромир его первых наблюдателей.

Стали появляться одна за другой работы, посвященные описанию новых приемов исследования звуков речи, новых инструментов и приборов для такого исследования.

Началась трудная борьба ученого с аппаратом и с записью. Как заставить аппарат охватить те качества звука, которые важны фонетисту? Как понять запись аппарата? Эти вопросы сложны во всяком экспериментально-фонетическом исследовании; на первых же порах они были особенно тяжелыми. Бывали случаи, что инструмент записывал сам себя (вибрацию одной из своих деталей), а исследователь не мог понять, какая особенность звука отражена записью. Аппарат выбрасывал запись нескольких последовательных звуков — где граница между ними, какому звуку отвечает каждая часть записи? «Я по несколько раз менял деление моих плохих кривых», — писал Л. В. Щерба. Все было трудно в этой работе, но результаты настолько интересны, что хотелось преодолеть препятствия. Сложные и напряженные отношения между первыми экспериментаторами-фонетистами были не случайностью, а следствием напряженности их пионерского дела и сложной противоречивости первых результатов их исследований.

**25.** Энтомолог, изучая насекомых, может радоваться находке какого-нибудь ранее неизвестного жука потому, что этот жук еще никем не описан, он необычен, не такой, как другие жуки; он сам по себе — достаточная награда ученому за поиск. При этом может оказаться, что находка позволит сделать новые обобщения материала, новые выводы, но не стремление полу-

чить эти выводы руководило поиском, а любовь к реальному факту, в своей бесконечной сложности дающему материал для всевозможных выводов.

Другой энтомолог, открыв неизвестный вид жуков, радуется тому, что находка позволяет достроить какую-то часть его теории, подтвердить или уточнить гипотезы и предвидения; сам факт его не радует — нужна не бесконечная возможность выводов, которая содержится в открытом куске действительности, а возможность вот *этих* выводов.

Ученые этих двух типов есть и в языкознании.

В. А. Богородицкий был исследователем, беспредельно преданным факту. Это не значит, что он был узкий эмпирик: он умел делать широкие обобщения, но у него не было излюбленных идей, которые руководили бы всеми его поисками. Его беспристрастие, вернее, его ровная пристрастность к разным фонетическим идеям была большим плюсом: в первые годы развития экспериментальной фонетики, когда в поисках методики приходилось идти ошупью, любая предвзятость могла увести далеко от цели. Равная заинтересованность Богородицкого в любом выводе позволила ему сделать много достоверных описаний из области «микрофонетики». Они обобщены в большой его работе «Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных» (1930). Некоторые его наблюдения оказались недостаточно четкими, но это определялось младенческим возрастом экспериментальной фонетики в начале нашего века.

В. А. Богородицкий собрал вокруг себя и воспитал немало фонетистов-экспериментаторов (И. Н. Ершов, Н. И. Берг, Н. П. Андреев, С. К. Булич, А. И. Покровский).

**26.** Ученым иного склада был А. И. Томсон. Как и Богородицкий, он умел наблюдать факты и был изобретательным экспериментатором. Но его точные инструментальные исследования были большей частью посвящены доказательству определенных теоретических взглядов; в другую эпоху, когда экспериментальная фонетика прочно стала на ноги, это было бы крупным достоинством научной работы. В детскую же пору эксперименталистики этот теоретически предвзятый подход к результатам наблюдений мог и повредить их полноте и объективности. При не выработанной еще методике исследователь, ища нужных ему фактов, легко мог обмануться. Высокая научная добросовестность Томсона избавила его от серьезных промахов; однако некоторые теоретические увлечения (имевшие у него к тому же застойный, многолетний характер) заставили Томсона много сил тратить на проблемы, которые в ту пору экспериментальная фонетика еще не могла решить. Это касается его работ, посвященных дифтонгичности русского [ы]. Неоднородность гласного [ы] Томсон установил; однако при неисследованности того, насколько неоднородны могут быть другие гласные, явные недифтонги (на-

пример, [a], [э]), оказалось все равно неясным (даже если опыты Томсона безупречны), что значит эта неоднородность [ы], превышает ли она пределы неоднородности, свойственные любому монофтонгу. Также излишни были его попытки доказать, что остались микроследы древних [ъ] и [ь] в конце слов.

Эти идеи Томсона были попыткой найти в современном русском языке следы далекого прошлого. Они связаны с еще более общей мыслью Томсона об устойчивости языка и о функциональной ценности такой устойчивости. Та же мысль отразилась и в его защите традиционной орфографии.

Но теоретическая пристрастность не всегда мешала Томсону, его работы — большой вклад в изучение русской фонетики. Пафосом всей его экспериментальной работы была мысль о важности для общения всех стабильных, типичных, общих у всех говорящих признаков звука.

Особое значение имела для развития экспериментальной фонетики изощренность методики Томсона. Если Богородицкий создал первую технологию экспериментального исследования в фонетике, то Томсон начал создание теории такого исследования.

Несомненно, самый ценный труд Щербы по русской фонетике — его «Русские гласные в качественном и количественном отношении» (1912). Работа начинается фонологическим вступлением; оно стоит особняком и слабо связано с основной, экспериментальной частью работы. Правда, и в основной части есть фонологические экскурсы, но они не создают единства фонологической теории и экспериментально-фонетической практики. Л. В. Щерба на протяжении книги несколько раз перевоплощается из фонетиста в фонолога, не становясь в этой работе фонетистом-фонологом. Его работа была большим достижением в фонетической эксперименталистике, она была интересна как фонологическое исследование, и она же говорила о разрыве в ту эпоху между фонетикой и фонологией.

27. В 20—30-х годах положение в фонологии сложилось такое.

Господствовала фонология Щербы; после ряда упрощений она стала обычной фонетикой, наряженной в фонологическую терминологию. В работах некоторых учеников (или псевдоучеников) Л. В. Щербы вульгаризация этой фонологии достигла предела.

Существовали антифонологические работы А. И. Томсона, но в форме борьбы с фонологией ученый строил особую фонологическую теорию. Здесь нефонологическая форма скрывала возможности глубоких фонологических выводов.

Наметился достаточно резко разрыв между экспериментальной фонетикой и фонологической теорией той эпохи. Все достижения экспериментальной фонетики, все открытые ею тонкости произношения с точки зрения фонологии 20—30-х годов попадали в разряд явлений, несущественных для об-

щения. Положение не исправляли щедрые комплименты фонологов эксперименталистам.

Наконец, существовала консервативная оппозиция всякой фонологической мысли. Оберегая свое право мыслить эмпирически-упрощенно и патриархально, многие фонетисты враждебно-озлобленно относились к фонологической теории. Любое отступление фонологов от фонологии они приветствовали и поощряли.

В таких кризисных для фонологии условиях были сделаны замечательные попытки перестроить фонологическую теорию, преодолеть внутренние ее противоречия, отказаться от эмпиризма, подтачивающего теорию фонем, резко противопоставить фонетику и фонологию. Эти новые достижения в отношении именно русистики связаны с деятельностью трех научных коллективов: Н. Ф. Яковлева и его соратников, пражской и московской фонологических школ.

**28.** Октябрьская революция вызвала невиданное по размаху культурное строительство. Бесписьменные народности получили возможность создать свое национальное письмо. Нужна была общая теория, помогающая для каждого языка найти наиболее удобное и практически выгодное письмо. Такая теория была создана Н. Ф. Яковлевым — создана на основе глубокой фонологической теории.

Н. Ф. Яковлев вернулся к теории молодого Бодуэна де Куртенэ, но «вернулся вперед», т. е. изменил и упрочил эту теорию. Было полностью изгнано обращение к сознанию говорящих. Кривое зеркало этого сознания было заменено прямым объектом изучения: языком. Если звуки позиционно чередуются, то они варианты одной фонемы, независимо от того, как они отражаются в сознании говорящих. Хотя эту теорию Н. Ф. Яковлев не разработал детально для русского языка, но в ряде работ он дал глубоко верный общий анализ русской фонемной системы. В дальнейшем эти «раннебодуэновские» взгляды были детализированы и углублены московской фонологической школой.

**29.** Представители пражской школы, работавшие над русским фонетическим материалом (Н. С. Трубецкой, Н. Н. Дурново, Р. О. Якобсон, С. О. Карцевский) пошли иным путем. Они создавали синтагматическую теорию фонем, преодолевая непоследовательность теории Щербы: ее фонетизм, ее нефункциональность. Как говорилось, щербианская теория была противоречива. Звук в слабой позиции механически приравнивался к звуку в сильной позиции на основе акустико-артикуляционного сходства. В словах *том* и *мот* оба [т], т. е. [т̣] и [т̤], рассматривались как одна и та же фонема, хотя у [т̤] меньше различительных признаков, чем у [т̣]; [т̣] не противопоставлен [д̣]. В синтагматической теории фонем надо было преодолеть этот фонетизм.

С другой стороны, пражцы считали невозможным вводить морфологические понятия в фонологию; сопоставление звуковых единиц в морфемах было для них запрещено. Отсюда следовал неизбежный вывод, что звуки, объединяемые в одну фонему, должны иметь конкретно-акустический общий признак (или признаки), иначе нет основания их объединять. Это верно именно для синтагматической теории.

Н. С. Трубецкой и его единомышленники были создателями именно синтагматической фонологии.

По словам самого Трубецкого, для его фонологической теории разграничение языка и речи — более важная предпосылка, чем разграничение синхронии и диахронии (у Бодуэна де Куртенэ, как помним, было наоборот). Почему это разграничение оказалось таким существенным, первым среди всех остальных, для теории Трубецкого?

Трубецкой вводит в фонологию понятие архифонемы. В слове *тон* у [т-] четыре различительных признака: зубной, твердый, взрывной, глухой. У [д-] в слове *дом* тоже четыре признака: зубной, твердый, взрывной, звонкий. В обоих случаях все признаки различительны: возможно не только [то], но и [т'о] (*потемки*), и [со] (*колесо*), и [до] (дом). Возможно не только [до], но и [д'о] (*идём*), и [зо] (*зори*), и [то] (*том*). В конечном положении (*мот*) у [-т] те же фонетические признаки, что и перед гласным, но глухость неразличительна, нефонематична: нет в этой позиции [-д]. Значит, звуку [т-] (перед гласным) соответствует четырехпризнаковая функциональная единица, звуку [-т] — трехпризнаковая, и эти три признака те же, что у четырехпризнаковой. В трехпризнаковой единице нивелируется различие между четырехпризнаковыми [д] и [т], в ней нейтрализованы [д] и [т]. Это архифонема. В звуковом строе языка сосуществуют фонемы и архифонемы; вторые — более отвлеченные, более абстрактные единицы, чем первые. Между фонемой /т/ и архифонемой /Т/ отношение такое же, как между понятиями *коза* и *парнокопытное*: второе включает в свое определение меньше признаков, чем первое.

Следовательно, в словах *том* и *мот* фонематически не одно и то же *т*; в первом случае это фонема /т/: /том/, во втором — архифонема /Т/: /моТ/. Щербианский фонетизм был преодолен, функционально различное не рассматривалось как тождество. Единица в сильной позиции, полная словоразличительной силы, не отождествлялась с единицей в слабой позиции, малоразличительной. В синтагматической, разграничительной фонологии такое отождествление, действительно, неправомерно. С другой стороны, объединялись, как выражение одной и той же архифонемы, различные звуки. Например, в словах *гвоздь* и *гвозди* оба согласных [с'] и [з'] имеют два различительных признака: они оба зубные щелевые. Следовательно, оба согласных реализуют

одну и ту же архифонему /С/. Это тоже было смелым преодолением плоского фонетизма, на время поработившего было теорию фонем.

Фонемы /т/ и /д/ нейтрализуются в архифонеме /Т/. Она выражается в нашем случае звуком [т], глухим согласным. Чем отличается от нее фонема /д/? Звонкостью. Можно было бы записать: /д/ = /Т/ + звонкость; ведь признаки архифонемы /Т/ таковы: зубная, твердая, взрывная. Тогда /т/ = /Т/ + нуль: архифонема /Т/ и фонема /т/ выражены одинаково, звуком [т]<sup>15</sup>, они не отличаются друг от друга глухостью. Итак, /д/ = зубная артикуляция + твердость + взрывность + звонкость, /т/ = зубная артикуляция + твердость + взрывность + нуль.

Так были введены в фонетику нулевые показатели. С их помощью Трубецкой пытался объяснить (очень интересно и оригинально), почему архифонема реализуется таким, а не иным звуком. По его предположению, она всегда реализуется в единице с нулевым показателем (в немаркированном члене противопоставления). Если противопоставлены три единицы, например гласные трех подъёмов, то нейтрализация должна всегда реализоваться в крайней единице. Крайняя единица может быть представлена как немаркированный член, т. е. как какая-то совокупность признаков плюс нуль. Тогда средний член представляется как та же совокупность признаков плюс что-то, противоположный крайний член — как та же совокупность признаков плюс еще одна добавка. Средний член таким немаркированным членом представить нельзя.

Предположения Трубецкого сбываются в большинстве языков; например, можно было бы напомнить факты русского языка: [ó] и [á] нейтрализуются в [а], [í] и [é] — в [и] (во всяком случае в и-образном звуке); в обоих случаях нейтрализованные фонемы выражаются в крайних членах.

Н. С. Трубецкой первый пришел к выводу, что нейтрализоваться могут только одномерные противопоставления ⟨...⟩. И он сделал очень смелый вывод: следовательно, чередование [ó || а] — это чередование фонем, [ó] и [а] не варианты одной фонемы, невозможна их синтагматическая нейтрализация, ведь признаки, общие для [ó] и [а], как бы их ни рассматривать, не являются общими только для этих фонем. (И. А. Бодуэн де Куртенэ, напротив, в своих работах 80-х годов рассматривает [ó] и чередующийся с ним [а] как ва-

<sup>15</sup> Архифонема /Т/ выражена звуком [д] в случаях *отбежать*, *подбить*, но здесь реализация ее ассимилятивно обусловлена соседом; с точки зрения Н. С. Трубецкого, такие случаи, когда реализация архифонемы внешне обусловлена, несущественны. Напротив, в конце слова глухая реализация архифонемы не распространена на него соседним глухим, глухость внутренне, системно обусловлена. Она выявляет системные качества единиц: немаркированность /т/.

рианты одной фонемы, тогда в случаях [вада́], [трава́] нейтрализованы фонемы ⟨о⟩ и ⟨а⟩.)

Решение Трубецкого для синтагматической фонетики является единственно верным. Решение же Бодуэна де Куртенэ единственно правильно для парадигматической фонетики. Кажется бесспорным, что [ó || а] — позиционное чередование; однако остается в тени, что установить его позиционность можно только в пределах парадигматической фонологии. Поэтому кажется бесспорной принадлежность [ó — а] (в случаях, например, *водный* — *водой*) к одной фонеме. Только фонетист, вероятно, может оценить смелость Трубецкого, который признал с точки зрения своей (т. е. синтагматической) фонологии непозиционность мены [ó || а].

Н. С. Трубецкой создал синтагматическую фонологию, не «заложил основы», не «намелит общие черты» — это уже было сделано Бодуэном де Куртенэ, — а создал. Но его теория не была свободна от значительных наростов парадигматики; синтагматические соотношения не были описаны в чистом виде. Это и минус, и плюс теории Трубецкого. Минус — потому что чистый и полный анализ синтагматики еще не достигнут. Плюс — потому что после достижения такого раздельного анализа синтагматики и парадигматики неизбежна работа над их синтезом; синтез и предугадывает Трубецкой.

Он, например, отмечает, что при нейтрализации твердых — мягких согласных их твердость или мягкость говорящими воспринимается неясно. При этом фонетическая твердость или мягкость при нейтрализации осознается легче перед гласным, чем перед согласным. Согласные перед [э́], считает Трубецкой, всегда (т. е. позиционно) мягки, перед безударным [а] всегда тверды. Следовательно, в обоих случаях нейтрализованы твердые и мягкие, но твердость в одном случае и мягкость в другом легко осознаются. Это потому, что существуют чередования: [э́ || и], а перед [и] твердость — мягкость не нейтрализована. Поскольку в [с'ир'э́йт] мягкость [с'] перед [и] осознается (ср. [сыро́э]), постольку осознается и в [с'э́рыц], хотя здесь [с'] и [с] нейтрализованы. Так же и в случае чередования [ó || а], [á || а]. В словах [валы́], [важу́] нейтрализованы [в — в'] : перед безударным гласным [а] может быть только твердый согласный. Но есть соответствие с ударными формами: [вал] (ср. [в'áл]), [во́д'ит] (ср. [зав'о́т]); здесь перед ударным гласным нет нейтрализации — твердость — мягкость не может не осознаваться, а в связи с этими случаями она осознается и тогда, когда налицо нейтрализация. Иначе говоря, если в *вал* твердость [в] для говорящего несомненна (по контрасту с *вэл*), то и в *валы* она воспринимается без труда. Это интересное рассуждение — островок парадигматики в синтагматической теории Трубецкого. И таких островков у него много.

В некоторых случаях Трубецкой один звук рассматривает как представителя сочетания из двух фонем. В слове *солнце* произносится гласный [ó] на-



пряженный; такой гласный встречается только в соседстве с твердым [л]. Следовательно, произношение [сѡнць] фонематически равно /солнца/. Здесь тоже неявно в синтагматике используются данные парадигматики. Вывод делается при учете таких фактов чередования: [сѡнць] — [сѡлн'ичныи], [сѡлн'шкъ]. Не будь этих фактов, нельзя было бы говорить, что [ѡ] встречается только рядом с [л]. Ведь это «только» неверно: в слове *солнце* [ѡ] встречается не рядом с [л]. Если Трубецкой решается и это слово подвести под общее правило, то только потому, что учитывает указанное чередование. (Само наблюдение вызвало оживленное обсуждение среди фонетистов: насколько оно верно? Вероятно, указанное Трубецким произношение слова *солнце* возможно как один из нескольких произносительных вариантов.)

Перед [ш̄, ж̄] в русском языке не встречаются [с, з]. С другой стороны, нет случаев, когда [ш̄, ж̄] морфологически не членятся совершенно очевидно на /с, з/ + /ш, ж/. Поэтому [ш̄, ж̄] русские рассматривают как /с, з/ + /ш, ж/. Очевидно, что и здесь к анализу синтагматики привлекаются парадигматические соображения. Это незаконное, неправильное смешение двух планов изучения, но незаконное здесь обращено в будущее, к синтезу четко отграниченной синтагматики и четко отграниченной парадигматики.

Н. С. Трубецкой преодолел сведение фонологии к фонетике. У него нет и никакого отрыва фонологии от фонетики, о котором так яростно кричали его критики. Работы Трубецкого, в которых анализируются факты русского языка (в первую очередь «Das morphologische System der russischen Sprache», 1934, «Основы фонологии», 1939), полны тончайших наблюдений над литературным произношением, богаты глубоко интересными фактами, каждый из которых ярко фонологически интерпретирован.

Пражцы стремились исходить из языковой данности, а не из сознания говорящих. В ранних работах Трубецкого (даже в «Das morphologische System...») еще встречаются ссылки на языковое сознание, особенно при описании фактов русского языка, в дальнейшем они исчезают. Если в шербианской фонологии необходим «субъективный критерий» — другого нет (и с отказом от «субъективного критерия» она превращается в фонетику), то в фонологии Трубецкого нет необходимости в этом критерии, и отказ от него был безболезненным.

После описания взглядов Трубецкого становится ясно, почему он (и его единомышленники) выдвигал, как основное, разграничение речи и языка, конкретной данности и системных отвлечений, управляющих этой данностью. В центре учения Трубецкого находится понятие архифонемы, понятие высокого отвлечения; оно может быть понято только как абстракция. Поскольку слова состоят из архифонем и фонем, сами фонемы могут пониматься только как отвлечения, как понятия, которым противостоят конкретности.

Фонеме как понятийной единице противостоит звук, реализующий фонему или архифонему, звук как речевая конкретность. Теория архифонемы обусловила понимание фонемного строя языка как целиком понятийной системы. Такое толкование фонем может при известных предпосылках привести к идеализму. Но система Трубецкого может быть интерпретирована и материалистически.

Теория Трубецкого не свободна от противоречий, уязвима самая сердцевина этой теории — учение об архифонеме. Это не мешает признать вклад Трубецкого в общую фонетику и в изучение русского языка на основе общefonетической теории исключительно большим, огромным.

**30.** По-другому решала основные проблемы звуковой системы русского языка московская фонологическая школа.

В конце 30-х годов, в 40-х «столицей», средоточием московской фонологической школы была кафедра русского языка Московского городского педагогического института. На ней работали Р. И. Аванесов (заведующий кафедрой и ее создатель), В. Н. Сидоров, А. М. Сухотин, А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов, И. С. Ильинская, Г. О. Винокур, А. И. Зарецкий, А. Б. Шапиро — все они были исследователями русской литературной фонетики, у всех свой вклад в теорию фонем.

Р. И. Аванесов начинал свою работу в Московской диалектологической комиссии, в 20—30-е годы, когда ею руководил Д. Н. Ушаков. Изучение русского литературного языка параллельно с изучением русских диалектов, на фоне диалектов стало одной из важных особенностей научной работы Р. И. Аванесова. При этом с самого начала безоговорочно соблюдалось основное требование: закономерности одной системы не переносить в другую. Диалектный материал используется не для того, чтобы «дополнять» и «домысливать» факты литературного произношения (тем их искажая), а для выявления отличий, внутренних особенностей каждой системы.

На работах Р. И. Аванесова по современной литературной фонетике лежит отсвет его исторических исследований. В дободуэновское время историческое изучение языка было подчеркнуто несистемным. Исследователь брал какой-либо факт языка и изучал его изолированно на протяжении нескольких эпох без учета того, какие другие факты в каждую эпоху были современны изучаемому явлению, как они влияли на него и как его системно определяли. И. А. Бодуэн де Куртенэ первый показал, что историческое изучение должно строиться на основе синхронного: надо изучить данный языковой факт в системе, в соотношении с другими фактами той же эпохи; затем этот синхронный срез сопоставляется с другим, последующим срезом (или предыдущим; именно Р. И. Аванесову принадлежит идея строить в некоторых случаях исследование в глубь истории: часто последующие эпохи раскрывают потенциалы

предыдущих). Блестящий образец такого исследования — работа Р. И. Аванесова о судьбе [и — ы] в истории русского языка. В древнерусском языке определенной эпохи они были разными фонемами, так как встречались в одной позиции. Затем позиционное распределение изменилось; [и — ы] стали позиционно взаимоисключены. На фоне предыдущей эпохи становится особенно ясной значительность происшедших перемен, рельефно определяется фонологический смысл вновь сложившихся соотношений.

Изучение современной произносительной системы на фоне предшествующих систем позволяет точнее определить характер соотношений и взаимосвязей, присущих единицам этой современной системы. Например, состояние «ассимилятивной мягкости» согласных в современном языке может представляться просто хаотическим. Есть люди, которые говорят *pa[z'v']e*, *pa[z'v']ut*; есть люди, которые говорят *pa[z'v']e*, *pa[zv']ut*; есть люди, которые говорят *pa[zv']e*, *pa[zv']ut*. Как характеризовать состояние современной системы? Какие факты отсечь как несущественные, какие выделить как определяющие? Считать ли, ориентируясь на произношение *pa[z'v']e* — *pa[zv']ut*, что возникло различие твердых — мягких согласных там, где раньше его не было? Или, напротив, считать такое произношение переходным к другому: *pa[zv']e* — *pa[zv']ut*, т. е. всегда с твердым зубным перед мягким губным? В последнем случае позиционная слабость не изменилась. Р. И. Аванесов дает эту последнюю трактовку. Основание — то, что в истории русского языка последних столетий во многих русских диалектах (и в ряде других славянских языков) мягкие фонемы постепенно устраняются из системы. Этот исторический факт дает основание для определенной трактовки синхронно изучаемых фактов современности.

Дело не в том, действительно ли в данном случае бесспорен этот вывод, важно подчеркнуть новизну и перспективность научного метода. Наступило время, когда история языка, понимаемая как история движущейся системы, стала обогащать синхронную теорию современной русской литературной фонетики.

В 1945 году вышел «Очерк грамматики русского литературного языка» Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова. Здесь дано классически ясное, предельно лаконичное изложение взглядов московской фонологической школы. В основу положен один принцип: все позиционно чередующиеся звуки являются вариантами одной фонемы. Московская фонологическая школа строила именно парадигматическую фонологию — все выводы делались для единиц, которые сменяют друг друга в силу различия позиций.

Приняв это основное положение, необходимо допустить, что одна и та же фонема может выражаться совершенно различными звуками и что один звук может выражать разные фонемы. Критерием для объединения звуков в фонемы может служить только их позиционная сменяемость, а эту сменя-

емость можно обнаружить лишь путем сопоставления морфем. Отсюда «морфологизм» московской школы: она настаивает на том, что в чисто фонетических целях надо звуки рассматривать в морфемах. И это — «не измена фонетике, а преданное служение ей».

**31.** Фонологи московской школы опираются на традиции раннего Бодуэна де Куртенэ (в первую очередь на две работы 1881 года, о которых говорилось выше) и на учение о фонеме Н. Ф. Яковлева.

Один из основателей московской фонологической школы А. М. Сухотин работал вместе с Н. Ф. Яковлевым, участвовал в разработке алфавитов для народов Советского Союза. Он был связующим звеном между группой Яковлева и московской фонологической школой. Участие его в разработке фонемной теории «московской» интерпретации очень значительно. Человек исключительно широких лингвистических интересов, увлекающийся, живой, работавший сразу над множеством проблем, А. М. Сухотин был едва ли не в первую очередь фонологом. Наблюдения над русским произношением, разбросанные в его трудах, все освещены одной фонологической теорией — той, которую он сам помогал строить.

**32.** Говоря о связях московской фонологической школы с яковлевской группой, надо подчеркнуть, что «москвичами» был сделан очень большой шаг вперед: появилось учение о нейтрализации фонем. Ее разработка — результат общего научного творчества московских фонологов; особо надо отметить создание В. Н. Сидоровым теории гиперфонем. Теория эта не нашла целостного отражения в какой-либо статье В. Н. Сидорова, она существует в устной традиции московской школы, и отражениями этой теории полны статьи фонологов уже не одного поколения.

В. Н. Сидоров начинал свою работу в той же Московской диалектологической комиссии, у Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново. Системы фонетических нейтрализаций в русских говорах многообразны; для описания фонетических систем диалектов и литературного языка необходима общая теория нейтрализации. Она нашла свое отражение в уже упоминавшемся «Очерке»; однако там изложение ее нельзя считать совершенно полным. Учение о гиперфонеме, сердцевина теории нейтрализации в ее московском варианте, не раскрыто полностью в этой книге.

Фонема в «московской» трактовке — это ряд позиционно чередующихся звуков, которые могут не иметь никаких общих фонетических признаков, они объединены только своим позиционным поведением. Между собой фонемы тоже могут объединяться в группы, и тоже по своему позиционному поведению, а не по акустическому сходству.

Фонемы нейтрализуются — в какой-то позиции разные фонемы выражены одним и тем же звуком. Фонемы объединяются именно тем, что они ней-

трализируются; нейтрализованные фонемы образуют гиперфонему. В русском языке, например, фонемы ⟨а — о⟩ составляют гиперфонему, ⟨т — т' — д — д'⟩ образуют другую гиперфонему, ⟨с — ш⟩ — еще особую и т. д. Теория гиперфонем, как видно, противоположна теории архифонем у пражцев; эта противоположность концентрирует в себе контрастность обеих школ.

Родство фонем, объединенных в гиперфонему, может отражаться в сознании говорящих, они могут в позиции нейтрализации ⟨о — а⟩ «слышать» [о] или [а], колебаться между [о — а], слышать промежуточный звук (хотя бы это и был очевидный [а]). Это отражение в сознании говорящих может быть причудливо искаженным, поэтому изучать надо языковую реальность, а не ее отражение. Психологизм у «москвичей» был полностью удален из фонологии.

Характерна такая черта парадигматических фонемных теорий: они строятся для одного языка. Чередование в разных языках очень различно, в принципе любой звук может чередоваться с любым. Установить эти чередования (именно как позиционные) можно лишь при глубоком, всестороннем знании языка, когда на счету все лексические единицы языка, все грамматические формы. Упустив хотя бы одну из них, мы можем исказить характеристику парадигмофонем. Ведь позиционные чередования отграничиваются от непозиционных только одним качеством: они охватывают все слова. Следовательно, фонолог, определяя отношения как позиционные, должен быть уверен, что он учел все слова (определенной подсистемы, т. е. либо нередкие, либо редкие).

**33.** Московская школа впервые отвергла утвердившийся было среди фонологов взгляд, что для построения фонемной модели языка достаточно небольшого количества фактов; считалось, что фонемные противопоставления строятся на небольшом количестве различительных признаков, а их можно-де установить по очень ограниченному набору языковых единиц. Углубленное изучение фонетической парадигматики как системы позиционных отношений толкало к отказу от такого ограничения материала и от такой ограниченности взглядов. Не случайно, что все основатели московской фонологической школы были русисты, т. е. специалисты в области детально изученного языка (в исследование которого они сами внесли немало нового).

Синтагматическую теорию легче строить с самого начала как сопоставительную, беря из многих языков ограниченные совокупности соотнесенных единиц. Синтагматические отношения менее капризны, более однотипны от языка к языку. Поэтому многие основополагающие теоретические работы по синтагматической фонологии строятся как просмотр фактов многих языков (например, «Основы фонологии» Н. С. Трубецкого, «Руководство по фонетике» Ч. Хоккета, «Фонемика» К. Пайка). Напротив, парадигматические декларации фонологов обычно обретают форму описания одного языка (например, работы Н. Ф. Яковлева, московских фонологов).

Характерно, что Бодуэн де Куртенэ в 1881 году, создавая основы фонемной парадигматики, демонстрировал их в описании русского языка. В 1895 году, перейдя к формулировке фонемной синтагматики, он пишет «*Próbu teorii alternacyj fonetycznych*», построенную на обозрении нескольких языков.

«Русистский» уклон, свойственный всем основателям московской фонологической школы, с одной стороны, помогал действительно глубоко и всесторонне осветить парадигматические отношения в языке. Именно труды московской школы позволили впервые преодолеть теоретический разрыв между изучением сегментных и суперсегментных фонетических средств. Пражская школа сделала очень много для изучения суперсегментных фонетических отношений, но их описание в трудах Трубецкого и его единомышленников находилось в противоречии с описанием сегментных единиц. Фонологическое изучение А. А. Реформатским разграничительных единиц, П. С. Кузнецовым — ударения и интонации создает единую фонологическую теорию и для сегментных, и для суперсегментных единиц.

С другой стороны, сосредоточенность всех «москвичей» на изучении материала русского языка вызывала обособленность этой школы; специалисты по германским, или романским, или угро-финским, или тюркским языкам, за редкими исключениями, оставались чужды фонологическим исканиям, которые строились целиком на постороннем для них фактическом материале. Это тяжело отразилось на судьбах московской фонологической школы: ее борьба с марристской «фонологией», с вульгаризацией теории фонем не была поддержана (в 40-е годы) фонетистами других специальностей.

**34.** Надо, однако, подчеркнуть, что «москвичи», будучи в первую очередь русистами, на материале русского языка ставили и решали общие проблемы фонологии. В этом отношении очень показательна деятельность А. А. Реформатского.

Свою языковедческую работу он начал книгой «Техническая редакция книги» (1933). Как ни парадоксально, но это именно так: практический учебник по технической редактуре книги был в то же время глубокой работой по теории знаковых систем. Эта работа предвосхитила некоторые идеи теории информации. В книге выдвигалась теория «избыточной и достаточной защиты».

Понятие избыточной защиты ввел в теорию шахматной игры шахматист А. И. Нимцович. «... Если на какую-нибудь фигуру, пешку, или вообще на какой-нибудь пункт (квадрат доски) направлено два нападения, нам необходимы две защиты (двумя пешками, пешкой и фигурой или двумя фигурами), — такая защита будет достаточной; если при тех же двух нападениях наш пункт защищен один раз (одной пешкой или одной фигурой), это будет защита недостаточная; если он защищен трижды (фигурами или пешками), это будет избыточная защита».

Эта избыточная защита была переосмыслена А. А. Реформатским применительно к печатному и устному тексту; она *implicite* содержала идею избыточной информации. В других работах того же исследователя, посвященных полиграфической технике, уже прямо обсуждался вопрос о необходимых и достаточных показателях при реализации знаковых системных единиц.

Книга «Введение в языкознание» А. А. Реформатского посвящена общим вопросам языковой теории, но в ней дается, именно для решения этих общих вопросов, глубокое описание русской фонологической системы.

Статьи А. А. Реформатского, посвященные орфоэпии пения, казалось бы, должны быть целиком техничны и «практичны», но в них особенности певческой речи используются тоже для постановки и решения общefonологических задач.

Так всюду сочетается изучение конкретных особенностей русского языка с решением общетеоретических проблем фонологии.

Для всех работ А. А. Реформатского особенно характерно стремление прочно связать фонологическое отвлечение с фонетической конкретностью; делается это на основе теории московской фонологической школы.

Почти все основатели московской фонологической школы были учениками Д. Н. Ушакова — исследователя, не только умевшего глубоко анализировать факты языка, но и преданно любившего язык. У всех московских фонологов сохраняется это пристрастное внимание к языку и его практическим нуждам. Они много сделали для изучения современной русской орфоэпии, в частности театральной орфоэпии (Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров и И. С. Ильинская, Г. О. Винокур), и теории русской орфографии.

**35.** Взгляды московской школы складывались, конечно, постепенно. Например, вывод о невозможности классифицировать парадигматические фонемы по акустико-артикуляционным рубрикам, поскольку они «внутри себя» не едины акустически и артикуляционно, появился сравнительно поздно. Этот шаг был особенно труден, так как представление о том, что классификация фонем должна строиться на реальных физических признаках, было общепризнанным и имело за собой давнюю и никем не поколебленную традицию.

Трудности создания теории московской фонологической школы были в первую очередь трудностями размежевания синтагматики и парадигматики. Поскольку «москвичи» сосредоточили свое внимание на парадигматике, постольку они должны были освободить свою теорию от всяких «загрязнений» синтагматическими примесями. Работы разных деятелей этой школы представляют как бы разные ступени такого размежевания.

**36.** Развитие московской фонологической школы протекало в трудных условиях. И причина не только в тематической уединенности этой школы, как сказано выше. На вульгаризованной форме щербианской фонологии было

воспитано немало фонетистов, они привыкли фонологию сводить к фонетике; настоящая фонология требовала ломки этих устоявшихся, патриархальных взглядов; самый отказ от привычной «фонологии без фонологии» казался покушением на авторитеты и незыблемые основы.

Московской школе предъявили тяжкие обвинения. Многие фонетисты были обескуражены тем, что в одну фонему объединяются звуки, не имеющие никакой конкретной общности. Это представлялось «отрывом» фонологии от фонетики, забвением звуковой материи языка, отсюда следовал вывод об идеалистической сущности московской фонологической теории.

Удивляло и беспокоило, что в некоторых случаях, по теории «москвичей», нельзя определить фонему в слабой позиции. Например, в слове *вдруг* последняя фонема — ⟨к / г⟩, т. е. ⟨к или г⟩, в слове *собака* первая гласная фонема — ⟨а / о⟩, т. е. ⟨а или о⟩. Московских фонологов всерьез обвинили... в агностицизме: они-де говорят о непознаваемости фонемы.

Эти обвинения — свидетельство философской беспечности их авторов. (В то время вульгаризации марксистской философии были достаточно распространены.) Фонема лишена акустического единства у «москвичей», но это ряд конкретных, материально определенных звуков, они позиционно чередуются, и чередование устанавливается всегда в позициях, материально строго определенных. Вряд ли стоят опровержения другие «философские» обвинения.

Однако в 30—40-х годах, при господстве аракчеевского режима марристов в языкознании, они были тяжелы. И выдвигали их главари марризма. Взгляды московской фонологической школы, далекие от какой-либо спекуляции на ходовой «социологизованной» терминологии, были ненавистны марристам. Напротив, вульгаризованную форму фонологической теории Щербы марристы признали приемлемой; при этом подчеркивали, будто бы Щерба отказался от психологизма в фонологии... под влиянием Н. Я. Марра, что было уже прямой ложью. Н. Я. Марр очень любил слово «фонема», часто его употреблял, но был крайне беспомощным фонетистом. Никакого влияния ни Марр, ни марристы на Л. В. Щербу, конечно, не оказали и не могли оказать. Привлечение Щербы в качестве союзника было тактическим шагом марристов, направленным против «крайностей» московской школы. (К сожалению, некоторые ученики Щербы пошли очень далеко навстречу марристам.)

37. Все это осложняло работу московских фонологов, но не могло, конечно, повлиять на формирование теории. Однако случилось так, что московская школа была единственной изучающей парадигматику звуковых единиц. Все остальные — пражская, ленинградская, копенгагенская, американская — сосредоточили внимание на синтагматике. Это создавало изоляцию московской и в то же время будило творческую мысль, заставляло искать причины теоретических расхождений и найти пути синтеза разных научных мнений.



Положение изоляции толкало к изучению причин расхождений с другими школами. Оно обязывало дать обоснованную критику взглядов других фонетических школ, пражской и американской в первую очередь, как наиболее результативных в области фонетики. Такой критический анализ был сделан в статьях А. А. Реформатского. Но критический анализ других школ не снимал всех разногласий; следовало повернуть критику против собственных взглядов — процесс всегда мучительный, если его надо вести в глубь теории.

В той или иной форме московские фонологи попытались в 50-х годах синтезировать свои взгляды с тем, что было ценного у фонологов других школ. Иначе говоря, синтезировать парадигматическую и синтагматическую фонологию. Так или иначе в парадигматические построения московских фонологов вводится понятие единицы, которая эквивалентна пражской фонеме, т. е. единице синтагматической.

В наиболее резкой форме это сделано в книге Р. И. Аванесова «Фонетика современного русского литературного языка». Щербианцами работа была воспринята как поиски компромисса между московской и ленинградской школами. Объективный смысл работы (независимо от комментариев автора) иной: ленинградская школа, с ее подменой фонологических проблем фонетической фактографией, целиком принадлежит прошлому; синтез возможен между подлинно фонологическими школами. Р. И. Аванесов, вводя понятие «фонемный ряд», стремился сохранить достижения московской школы; термин же «фонема» теперь означал единицу синтагматическую. Глубоко было понято соотношение между этими «проектируемыми» единицами: «Можно было бы высказать предположение о том, что фонетика<sup>16</sup> и фонология так же относятся друг к другу, как морфология и синтаксис в составе грамматики. Однако это предположение не будет вполне правильным, так как морфология и синтаксис имеют разные объекты... в то время как фонетика и фонология имеют в качестве своего основного объекта одно и то же: кратчайшие единицы языка».

Здесь, хотя и в отрицательной форме, поставлен вопрос о соотношении синтагматических («синтаксических») и парадигматических («морфологических») единиц в фонетике.

Синтез, данный в работе Р. И. Аванесова, — большое теоретическое достижение; все же его нельзя признать окончательно решающим проблему. Введение понятия «фонемный ряд» не гарантирует полного сохранения всех достижений московской школы: поскольку совокупность позиционно взаимоисключенных звуков оценивается как ряд, теряется понимание их как

---

<sup>16</sup> Синтагматическую фонологию представители московской школы часто трактуют как фонетику, даже если она функционально-содержательно рассматривает звуковые единицы.

единства, и притом не менее прочного, монолитного, целостного, чем любая синтагматическая единица. Сами отношения между этими единицами — фонемой (в новом понимании) и фонемным рядом — оказались не вполне выясненными.

Одновременно с Р. И. Аванесовым появились работы П. С. Кузнецова, в которых предлагалось вместе с понятием фонемы (в московской парадигматической трактовке) ввести понятие звука языка — и это была попытка синтеза двух фонологий. Однако в этом построении, напротив, обиженной оказалась синтагматическая единица: ее фонологические качества остались нераскрытыми. Работа по синтезу двух фонологических аспектов — синтагматического и парадигматического, — конечно, будет продолжаться. Пока сделаны еще первые шаги в этом направлении.

**38.** Близок к московской школе по своим фонологическим взглядам был Н. В. Юшманов. Осталась пока что не изданной его замечательная работа «Экстранормальная фонетика». Она посвящена тем разделам фонетики, которые обычно остаются вне внимания лингвистов: фонетике эмоциональной речи, заимствованных слов, фонетике междометий и табуированных слов, детскому произношению, сценической речи, звукоподражанию и т. д. Работа построена на материале разных языков, но преобладают факты русского языка. Н. В. Юшманов, специалист по редким, экзотическим (для нас) языкам, и в русском языке нашел экзотические, отъединенные участки и их изучил.

**39.** В 30-х годах снова встал вопрос об усовершенствовании русской орфографии. Неоправданная урезанность реформы 1917—1918 годов была очевидна для многих филологов и педагогов. В дискуссии выступали представители разных взглядов; новым было то, что фонетический принцип никто из серьезных ученых не защищал. Нерациональность его стала очевидной именно в свете фонологической теории. Впервые были сделаны предложения по улучшению русского письма на основании пражского фонологического учения (статьи Н. Н. Дурново, С. О. Карцевского). В это же время были сформулированы, последовательно и точно, задачи усовершенствования русского письма на основе парадигматической фонологии (работы Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова, А. А. Реформатского). Н. Ф. Яковлев, не выдвигая конкретных предложений по усовершенствованию русского письма, именно в это время выступил с важными статьями, раскрывающими достоинства орфографии, построенной на основе парадигматической фонологии.

Этими учеными был намечен верный план улучшения русской орфографии. Их работы показали, как плодотворно могут быть применены общие фонологические идеи к решению вопросов практики. Наиболее полное и глубокое фонологическое освещение вопросы орфографии получили в работе И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова «Современное русское правописание» (1952).

Глубокую оценку русского письма с точки зрения пражской фонологической школы дал Н. Н. Дурново (эта была одна из его последних работ; в конце 30-х годов он погиб).

Практического результата дискуссия 30-х годов не дала, но в этом нет вины языковедов.

**40.** В XX веке потребности общественной жизни полнее, чем раньше, требуют вмешательства фонетики в разные области культуры. Возникают сложные формы сотрудничества языковедов со специалистами в других областях.

Замечательная книга С. М. Волконского «Выразительное слово», полная метких и свежих наблюдений над произношением, оказала сильнейшее воздействие на театральную речь; достаточно сказать, что учение К. С. Станиславского о сценической речи в очень значительной степени идет от книги Волконского. Несмотря на налет дилетантизма, книга Волконского должна считаться очень значительным вкладом в фонетическую литературу.

Изучению фонетики стиха много внимания уделяли и стиховеды. Подъем в фонетическом изучении стиха начался работами А. Белого; много было сделано Л. П. Якубинским, Е. Д. Поливановым, С. И. Бернштейном (языковеды), Ю. Н. Тыняновым, Б. М. Эйхенбаумом, Р. О. Яacobсоном, Б. В. Томашевским (литературоведы-«формалисты»).

Выдающимся достижением в языкознании и психологии были работы Н. И. Жинкина, посвященные механизмам речи.

Союз фонетистов со специалистами в других областях налаживался (и налаживается) не без труда. Инженеры, например, решили определить спектрограммы звуков разных языков. Пока дело касалось английских звуков, все было хорошо: всем известно, что написание и произношение английских слов не совпадают. Но авторитетным специалистам в области техники и в голову не приходило, что русская орфография и русское произношение — тоже разные вещи. Обвинять их не в чем: в школе русскую фонетику не изучают и нефилологам просто неоткуда узнать, более того, нет никаких стимулов заподозрить, что русское письмо нефонетично. И они стали устанавливать спектрограммы... «звуков» *я, ю, е* (и отдельно *э*)! При этом «звук» *я* они спектрографически определяли, без различия, и в слове *земля*, и слове *змея*. В ответ на замечание, что нет звука *я* и что в словах *земля* и *змея* буква *я* передает не одно и то же, специалисты по технике бросились спорить: «Эти сложные звуки (т. е. *ю, я, е*. — *М. П.*) нами принимались не за два, а за один, что единственно правильно, поскольку такой сложный звук отличается от обычного гласного по формантному составу лишь тем, что в процессе произношения частотный интервал между первой и второй формантами непрерывно меняется — от первого стационарного состояния, соответствующего примерно обычному *и*, — до второго стационарного состояния, соответствующе-

го звукам у, а или э, причем этот переходный процесс занимает большую часть времени звучания такого звука. Вследствие этого восприятие такого звука происходит как единое новое (?) явление, а не „сумма“ восприятий j и второго звука; здесь нельзя указать границы перехода восприятия одного звука в другой»<sup>17</sup>. Если так рассуждать, то и какие-нибудь сочетания [мо], [на] тоже надо считать целостными звуками — на тех же основаниях!

Но были и очень дельные работы по русской фонетике, выполненные квалифицированными специалистами по акустике. В первую очередь это относится к работам Л. А. Варшавского и И. М. Литвак, которые в полной мере учитывали фонетическую, языковую специфику материала, и это обеспечило успех.

Исключительно содержательны работы по физиологической акустике на материале русской речи Л. А. Чистович. Фонетическими и неврофизиологическими одновременно являются некоторые глубокие исследования А. Р. Лурия.

Языку как второй сигнальной системе много внимания уделяет павловская школа в физиологии. Были попытки использовать достижения этой школы для исследования русской фонетики, но успехи пока незначительны<sup>18</sup>.

Общий вывод очевиден: при изучении фонетической системы необходим союз фонетистов со специалистами в других областях знания; разъединение усилий не приводит к добру.

В общей работе участвовали и поэты. Конечно, это удивительно: поэты, которые часто интуитивно очень глубоко чувствуют звуковую стихию речи, обычно далеки от ее сознательно научного исследования. Человека, который умело, ярко пользуется языком, говоруна, златоуста, нельзя считать только за эту способность языковедом, так и поэт, блестяще инструментующий свой стих, не фонетист. Общий подъем фонетики в 20-е годы принес удивительное исключение: поэт-конструктивист А. Н. Чичерин именно в своих произведениях сделал многое и для научной фонетики. Его стихи и проза — это капризная, творчески непоследовательная, но часто удивительно тонкая и смелая фонетическая транскрипция. В ней отразилась наиболее разговорная форма литературной речи — тот беглый, непринужденно-небрежный стиль, который особенно трудно заметить и фонетически определить. А. Н. Чичерин, например, записывает: «Рзвирнулс канечнсьтью, — кык йилды!кньт

<sup>17</sup> Быков Ю. С. Теория разборчивости речи в линиях связи. М., 1954. С. 114—116.

<sup>18</sup> Настойчиво, но безуспешно пропагандировали павловскую физиологию применительно к изучению фонетики Н. Я. Марр и марристы. Безуспешно, так как они были в большинстве случаев несведущи в фонетике и в еще большей степени — в павловской физиологии. См. об этом в статье: Панов М. В. О редукции гласных (в свете теории И. П. Павлова) // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. 1952. Вып. 2.

па НЁ!!УМ (Выпаду!!мйти...)). Гласные не обозначены там, где они в разговорном стиле превращены в простую прослойку меж согласными: *рзвирнулс* читается, конечно, так же, как *развернулс* (с последним глухим гласным). Очень тонко отмечено, что в эмоционально напряженной речи гласные растянуты и при этом становится заметно, что [о] перед [м] имеет энергично лабиализованный исход: *на НЁ!!УМ*.

Еще примеры: «Жаврнки, курганы д сталбы...». Действительно, достаточно у [д] перед [с] сохранить звонкость, чтобы этот [д] стал восприниматься как слог, т. е. как *да*.

Особо отмечаются в стихах Чичерина звуки [т'л'], [д'л'], [ж'] <...>. Они берутся в рамку, потому что «значат комплексный звук московского произношения». Перед текстом стихов напечатано крупно:

#### ЧИТАЙТЕ ВСЛУХ МОСКОВСКИМ ГОВОРМ.

Ни один исследователь современной беглой, разговорной стилистической разновидности русского литературного языка не пройдет мимо удивительно метких, творчески смелых записей А. Н. Чичерина.

**41.** В наше время стало шире проводиться экспериментально-фонетическое изучение языка. Русской фонетикой занимались лаборатория при Ленинградском университете (руководитель М. И. Матусевич, а затем Л. Р. Зиндер), лаборатория при Московском университете (в 50-е годы руководитель А. А. Реформатский; позже в этой лаборатории интересные исследования проводились Л. В. Златоустовой), лаборатория при Казанском университете (здесь были выполнены работы Л. В. Златоустовой), лаборатория при Киевском университете (здесь провела свои исследования Л. Г. Скалозуб). Русская фонетика освещается в некоторых работах, выполненных лабораторией при МГПИИЯ (руководитель В. А. Артемов; работы на материале русского языка направлялись С. И. Бернштейном, П. С. Кузнецовым и др.).

Следует отметить работу фонетической лаборатории при Институте русского языка (руководитель С. С. Высотский) — здесь проведены очень значительные работы по изучению русской фонетики, диалектной и литературной, по усовершенствованию методики этого изучения, по проверке данных, полученных другими лабораториями.

После нескольких лет спада в общей работе по исследованию русской фонетики теперь снова начался несомненный подъем. Немало появляется содержательных фонетических работ по русистике. Правда, в них больше новых слов и словечек, чем новых идей и фактов, но есть несомненное стремление добыть эти факты и идеи. Очевидно, ближайшее десятилетие будет плодотворным для фонетической теории русского языка.

## Из истории отечественного языкознания 20—40-х годов. Н. Ф. Яковлев (1892—1974)\*

Среди советских языковедов старшего поколения видное место по праву принадлежит недавно скончавшемуся лингвисту-теоретику и кавказоведу Н. Ф. Яковлеву. Он относился к числу тех представителей советской науки, которые с первых дней ее становления полностью посвятили ей свой талант. Не будет, вероятно, преувеличением сказать, что определяющую черту всего творческого наследия этого выдающегося ученого составило тесное единство лингвистической теории и практики.

Николай Феофанович родился 22 мая 1892 г. в Москве. Он окончил историко-филологический факультет Московского университета, где слушал лекции В. К. Поржезинского, Д. Н. Ушакова, В. Н. Щепкина и других известных языковедов. В 1914 г. в содружестве с П. Г. Богатыревым, А. А. Буслаевым, П. П. Свешниковым, Р. О. Якобсоном и другими и при содействии акад. Ф. Е. Корша он становится членом-учредителем Московского лингвистического кружка (МЛК), послужившего, в частности, прообразом будущего объединения пражских языковедов, и принимает участие в создании его устава. В 1922—1924 гг. он являлся заместителем председателя МЛК. Знакомство с трудами П. К. Услара, особенно с его монографией «Абхазский язык» (Тифлис, 1887) послужило отправной точкой формирования Н. Ф. Яковлева как кавказоведа и фонолога. Уже начиная с 1920—1921 гг., он возглавил ряд комплексных экспедиций на Кавказ — в Кабарду, нагорную Чечню и Дагестан. В 1923 г. ученый опубликовал «Таблицы фонетики кабардинского языка», составившие основу его доклада на Первом тюркологическом съезде в Баку в 1926 г., из которого в свою очередь выросла его известная работа «Математическая формула построения алфавита»<sup>1</sup>, определившая программу его активной деятельности во ВЦК НА (Всероссийский центральный комитет

---

\* Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. Т. 34. № 4. С. 362—367. (В соавторстве с Г. А. Климовым, А. А. Реформатским.)

<sup>1</sup> См.: Культура и письменность Востока. 1928. № 1 (перепечатка в кн.: *Реформатский А. А.* Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 123—148).

нового алфавита) по созданию латинизированных алфавитов для бесписьменных языков и по совершенствованию уже существовавших систем письма. В этой статье, наряду с разработкой принципов построения алфавита, проиллюстрированной на материале русского, кабардинского и казахского языков, Н. Ф. Яковлев рассмотрел многие трудные вопросы русской орфографии (об отношении *ы* и *и*, о твердых и мягких *к* и *г* и др.), что способствовало более глубокому пониманию русского вокализма и консонантизма, а также дальнейшей разработке вопросов русской орфографии. Следует упомянуть и его статью «„Аналитический“ или „новый“ алфавит» (ответ на заметку С. А. Врубеля «Унификация или латинизация», опубликованную в № VII—VIII журнала «Культура и письменность Востока»). В ней показано, в частности, как должны сочетаться подлинная научная теория и насущная общественная практика вопреки тем, кто считает, «что палеонтология речи и разложение на элементы более актуальные задачи, чем создание хотя бы одного приемлемого национального алфавита для одного из народов СССР»<sup>2</sup>. В 1927 г. Н. Ф. Яковлев был советским делегатом на Международном фонетическом конгрессе в Гааге, где вместе с С. О. Карцевским, Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном выступил с тезисами, которые легли в основу Проекта фонологической стандартизованной терминологии, напечатанного в Трудах Пражского лингвистического кружка (№ 4, 1931 г.). В том же 1927 г. при ВЦК НА он организовал «Технографическую комиссию», в составе которой объединились лингвисты, психологи, полиграфисты, стенографисты и другие специалисты, занимавшиеся проблемами алфавита, орфографии и вообще письменностью любого вида. Главной задачей этой комиссии, существовавшей до 1933 г., была технографическая унификация письменностей народов СССР. Помимо исполнения своих основных обязанностей в Институте языка и мышления, Н. Ф. Яковлев работал также в Институте востоковедения. Еще с середины 20-х годов он приступил к изучению фонетического строя ряда дагестанских языков и принял активное участие в разработке для них письменности. К концу 30-х — 40-м годам относится создание им целой серии крупных лингвистических исследований по кавказским языкам. Среди воспитанников Николая Феофановича были такие ученые, как Н. А. Генко, А. М. Сухотин и др.

Если попытаться кратко охарактеризовать общелингвистическую сторону многочисленных работ языковеда, то прежде всего необходимо отметить два неизменно сопутствовавших ей обстоятельства — стремление к последовательной реализации системного подхода в анализе языковой структуры и яркий дух историзма в исследовании. Попытка раскрыть принципы систем-

<sup>2</sup> Культура и письменность Востока. 1931. № 10. С. 59; см. также с. 48, 49, 51.

ного взаимодействия компонентов языкового механизма особенно очевидна в совокупности взглядов Н. Ф. Яковлева на проблему эргативности. Очень показательно, в частности, что он был едва ли не единственным автором, уже в 40-х годах подходившим к решению вопроса генезиса эргативной конструкции предложения (в его терминологии — «продуктивного оборота») в неразрывной связи с формированием коррелятивно соотносящейся с ней абсолютной конструкции («непродуктивного оборота»). Системными же соображениями, а именно, отсутствием в переходном глаголе эргативных языков дифференциации форм действительного и страдательного залогов, была продиктована острая критика им популярной в тот период концепции пассивности эргативной конструкции (в то же время он отчетливо осознавал ее семантическую активность). Убежденность в типологической специфике падежной парадигмы представителей эргативного строя заставляла его усматривать здесь оппозицию не именительного и творительного или даже эргативного и именительного, а так называемых «активного» и «именительно-винительного», которая легче обоих первых может быть переведена на метаязык современной теории эргативности. Системное осмысление соотношений между внешне как будто несвязанными языковыми явлениями привело Н. Ф. Яковлева к предположению о неслучайности — типологической мотивированности — комплекса структурных аналогий, существующих между северокавказскими, чукотско-камчатскими и некоторыми североамериканскими языками<sup>3</sup>. Нельзя не отметить, наконец, что постоянные поиски иерархических зависимостей между различными уровнями языковой структуры нашли свое отражение даже в последовательности презентации материала в его грамматиках абхазско-адыгских языков<sup>4</sup>.

Не менее характерным для исследований ученого явилось неизменное понимание языка как исторического по своей природе объекта. Оно отчетливо заявляет о себе не только (и не столько!) в многочисленных диахронических экскурсах, в изобилии встречающихся и в работах многих его современников. Прежде всего оно выступает в осознании им того обстоятельства, что лингвист всегда имеет дело с определенным структурным состоянием языка, находящим свое закономерное место в общей перспективе его исторического развития. Отсюда естественно вытекает его стремление увидеть в «синхронном срезе» языка явления как инновационной, так и остаточной природы (ср.,

---

<sup>3</sup> См. *Яковлев Н. Ф. Древние языковые связи Европы, Азии и Америки* // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1946. № 2. Развитие этой мысли см. в работах Н. В. Юшманова, Т. Милевского и других авторов.

<sup>4</sup> Ср. *Яковлев Н. Ф. Изучение яфетических языков Северного Кавказа за советский период* // Языки Северного Кавказа и Дагестана. Вып. 2. М.; Л., 1949. С. 307.



в частности, его замечания о зачатках страдательного оборота в нахских языках или о деградации различия именных форм органической и неорганической принадлежности в адыгейском<sup>5</sup>). Этим в определенной мере, по-видимому, объясняется и проявляющаяся в работах Н. Ф. Яковлева тенденция к использованию соответствующей — иногда несколько необычной — лингвистической терминологии.

Эпоха, конечно, не могла не наложить своих ограничений на теоретическое наследие ученого. Мы встречаемся в нем и с упором в историческом исследовании на внутреннюю реконструкцию, и с настойчивыми поисками стадильной схемы языкового развития на основе выдвижения формально-типологических по своему существу критериев, и с нередкими упрощениями в понимании социальной обусловленности тех или иных явлений. Впрочем, все это, будучи подчинено программе творческого поиска объективных закономерностей изучавшихся им языков, никогда не становилось самоцелью исследования.

Всеобщее признание получила работа Н. Ф. Яковлева по созданию новых письменностей, приобретшая особенно широкий размах в 20—30-е годы. Как ведущий ученый, он участвовал в разработке письма для многих народов Северного Кавказа и Дагестана (кабардинцев, адыгейцев, чеченцев, аварцев, даргинцев, лаков, лезгин и др.), для тюркских, финно-угорских, монгольских языков, а также для языков народностей советского Крайнего Севера.

Теоретические основы, на которые он поставил свое алфавитное и орфографическое творчество, оказались глубоко жизненными и были использованы при создании многих других письменностей, уже без непосредственного участия ученого. Эти основы можно охарактеризовать так: единица, подлежащая передаче на письме, — фонема; одно и то же фонемное содержание можно передать разными алфавитными способами; выбор такого наиболее удобного способа определяется «математической формулой алфавита».

Фундаментальным здесь является понятие фонемы. Когда Н. Ф. Яковлев начинал свою деятельность, господствующим было психологическое определение фонемы: фонема — такая единица, которая осознается говорящими как минимальный различитель слов. Такое определение (принятое, например, в работах Л. В. Щербы) было ненадежным орудием в построении письменностей. Обращаться к сознанию говорящих — значит ставить лингвистический анализ в зависимость от многих нелингвистических факторов. Индивидуальное речевое сознание может очень причудливо и неполно отражать языковую реальность.

---

<sup>5</sup> См. Яковлев Н. Ф. Синтаксис чеченского литературного языка. М.; Л., 1940. С. 89—94; Яковлев Н. Ф., Ашхамаф Д. Грамматика адыгейского литературного языка. М.; Л., 1941. С. 292—304.

Л. В. Щерба писал следующее: то, что [ɛ] и [æ] представляют собой разные фонемы, «видно хотя бы из такой пары слов, как [strovɛ] „здоровье“ и [strovæ] „здоровые“. А что здесь дело не в „твердости“ или „мягкости“ [v], а в гласном, этому меня выучил один пьяница, который, будучи в подпитии, очень старался исправить мое произношение... и так вразумительно выделял различие двух *e* как раз в этой паре слов, протягивая каждый из этих звуков, что я до сих пор (через 7 лет) ясно помню звук его голоса и тембр этих *e*»<sup>6</sup>. Нельзя, однако, ручаться, что не встретится другой носитель того же языка и диалекта, который стал бы тянуть, не менее выразительно, именно [v] и [v']<sup>7</sup>.

Как определить фонематический статус [ɛ] и [æ], не обращаясь к сознанию говорящих? Возможно, сопоставляя звуковые записи, установить реальность таких случаев: 1) либо существуют разные морфемы с [ɛ] и [æ] (напр., аффикс существительного -ɛ и аффикс прилагательного -æ); одна и та же морфема (например, корень strov-) в соседстве с [ɛ] получает один фонетический облик, а в соседстве с [æ] — другой. И это изменение систематично, оно охватывает грамматические формы любого типа и, следовательно, является фактом фонетическим, а не грамматическим; 2) либо существуют разные морфемы, некоторые замыкаются твердым, другие — мягким согласным, и в соседстве с ними одна и та же морфема (например, аффикс отвлеченного существительного) получает то один облик, то другой (то [ɛ], то [æ]).

В первом случае [v] и [v'] — разновидности одной фонемы, а [ɛ] и [æ] — разные фонемы; во втором — [ɛ] и [æ] фонематически одно и то же, а твердые и мягкие согласные — разные фонемы. Так, без привлечения «субъективного метода в фонетике» можно дознаться, как фонемно устроен язык. При этом необходимо использовать морфологический критерий: надо узнать, как ведет себя одна и та же морфема, попадая в разное соседство<sup>8</sup>. Признать, что фоне-

<sup>6</sup> Щерба Л. В. Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915. С. 15.

<sup>7</sup> Ср. факты русского языка: в звуковом ряду [прап'ёт — л'и] (что может быть равно *пропет ли, про петли и пропеть ли*) мягкость — полумягкость [т'] не всегда хорошо слышна. Рекомендуют прислушиваться к качеству закрытого [e], чтобы по этой закрытости установить нетвердость следующего [т']. Здесь даже трезвый мог бы тянуть именно гласный — не для того, чтобы установить различительную самостоятельность закрытости [e], а именно для того, чтобы помочь услышать согласный. Ср. «произношение пе[тл']и... следует отвергнуть не столько из-за твердого затвора, сколько из-за открытости ударного гласного, открытости [e], являющейся следствием твердого затвора»: Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1972. С. 117.

<sup>8</sup> Тождество морфемы дает гарантию, что и фонемный состав — тот же (в двух сравниваемых случаях, см. выше); значит, различие в звучании — например, [strov] и [strov'] — обусловлено разным соседством (гарантия, разумеется, не полная: могут быть у одной и той же морфемы грамматически обусловленные чередования, но это осложнение преодолевается при грамматическом изучении языка).

тическое исследование должно использовать грамматические понятия — шаг необычайно смелый. Этот шаг Н. Ф. Яковлев сделал. Даже сейчас на него не решаются многие фонологи: мешает ложная уверенность, что фонетика и грамматика — две логически последовательные ступени в изучении языка. В действительности же фонетика и морфология — два аспекта языкового исследования, которые присутствуют одновременно (в «логическом времени») и при непрерывной и постоянной взаимной корректировке.

В работах Н. Ф. Яковлева 20-х годов фонология впервые получила последовательно синхронный и функциональный вид. Последовательное использование функционального принципа должно было привести к выводу, что одна фонема может быть представлена в разных позициях звуками разного типа (объединенными только функционально), а две разные фонемы могут быть выражены (в определенной позиции) одним и тем же звуком. К такому выводу Н. Ф. Яковлев подходит уже в 1923 г.<sup>9</sup>, хотя явно тогда он еще не был им сформулирован. Позднее, в 40-е годы, ученый принял его как одно из важных оснований фонологического описания языка: он не отказался от этого вывода и тогда, когда была предпринята попытка навесить на теорию нейтрализации фонем ярлыки «агностицизма», «идеализма» и т. п. Такова была фонологическая база, созданная Н. Ф. Яковлевым для построения письменностей.

Собственно, концентрация внимания на той стороне теории фонем, которая необходима для создания письма, — характерная черта его фонологической концепции. Например, теория фонем требует тщательного изучения всей системы позиций, но Н. Ф. Яковлева в первую очередь интересовало выделение сильной позиции, так как именно она важна для определения буквенного облика морфем и слов. Теория нейтрализации, принятая и оцененная ученым, тоже не стояла в центре его исследований: при создании орфографий, ориентированных на сильную позицию, разработка теории нейтрализации не является первоочередной задачей (важно принять во внимание случаи отсутствия нейтрализации).

Теория письма не была для Н. Ф. Яковлева полем механического применения теории фонем. С самого начала своей научной работы он считал, что письмо в определенной мере автономно — но не тем, что может не считаться с фонемным строем языка, а тем, что может по-разному с ним считаться. Так, слово *пятеркой* (творит. пад.) может быть передано на письме двояко: *пятьоркой* (или *пятьоркоь*) и *пятеркой*. В обоих случаях объект передачи — фонема, ср. фонемную транскрипцию: ⟨п'ат'оркој⟩ (фонетическая орфография дала бы такие буквенные последовательности: *пйтёркај* или *пйтюркај*). Объект передачи — тот же, но способы разные.

---

<sup>9</sup> Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 78.

В своей составившей чрезвычайно важный этап работе «Математическая формула алфавита» Н. Ф. Яковлев определил принципы выбора наилучших приемов для письменной передачи фонем. Приходится преодолевать противоречие «код — текст»: всегда можно уменьшить количество алфавитных знаков, но при этом возрастет длина текстов. И наоборот: при способах письма, которые дают сокращение текстов, необходимо увеличить число знаков в алфавите. Н. Ф. Яковлев нашел способ выбрать для каждого языка оптимальное решение этой контраверзы. Это и обусловило высокую плодотворность его работ по созданию новых письменностей<sup>10</sup>.

С именем Н. Ф. Яковлева как кавказоведа прежде всего связана постановка на научную основу исследования абхазско-адыгских и нахских языков. Опубликованные им грамматики целого ряда последних заложили тот фундамент, от которого отправляются авторы как отечественных, так и зарубежных исследований в данной области<sup>11</sup>. Этому не приходится удивляться, если учесть, что он всегда сознательно связывал изучение богатейшего материала кавказских языков с разработкой общетеоретических проблем языкознания.

Здесь будет нелишним напомнить, что именно ему принадлежит целый ряд наблюдений, значение которых становится возможным оценить должным образом лишь в настоящее время. Среди них следует, например, отметить обнаружение Н. Ф. Яковлевым аблаутных чередований в абхазско-адыгских и нахских языках. Оно послужило стимулом не только к последующему углубленному исследованию этого явления, но и к выдвижению ныне оживленно дискутируемой в специальной литературе гипотезы о возможности «моновкалического» состояния абхазско-адыгского языка-основы. Существенным наблюдением явилось установление им полисинтетического типа абхазско-адыгских языков, особенно проступающего в структуре их глагола, и выявление вероятных пережитков инкорпоративной связи последнего с дополнением. Исключительное значение приобретает открытие им оппозиции так называемых «центробежной» и «центростремительной» форм в абхазско-адыг-

<sup>10</sup> Ср.: Яковлев Н. Ф. Унификация алфавитов для горских языков Северного Кавказа // Культура и письменность Востока. 1930. № 6; *Его же*. О развитии и очередных проблемах латинизации алфавитов // Революция и письменность. 1936. № 2.

<sup>11</sup> Яковлев Н. Ф., Аишамаф Д. А. Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка. Краснодар, 1930; Яковлев Н. Ф. Краткая грамматика кабардино-черкесского языка. Вып. I. Синтаксис и морфология. Ворошиловск, 1938; Яковлев Н. Ф., Аишамаф Д. Грамматика адыгейского литературного языка. М.; Л., 1941; Яковлев Н. Ф. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.; Л., 1948; *Его же*. Синтаксис чеченского литературного языка. М.; Л., 1940; *Его же*. Морфология чеченского языка. Грозный, 1960; *Его же*. Морфология ингушского языка (рукопись, 1948); *Его же*. Грамматика абхазского языка (рукопись, 1947).

ском глаголе, отражающей один из наиболее ярких реликтов доэргативной типологии языка (ср. противопоставление центробежной и нецентробежной версий активного глагола в представителях активного строя) и, наряду с реконструкцией актива и медиума в индоевропейских языках, серьезно обогатившей перспективы историко-типологических исследований в целом. В этом же плане очень интересным оказалось выявление им остаточного функционирования в адыгейском языке оппозиции форм органической (неотчуждаемой) и неорганической (отчуждаемой) принадлежности в именной морфологии, как правило, типологически соотносимой со структурой, знающей бинарное распределение субстантивов на одушевленный и неодушевленный классы. Перечисление подобных наблюдений Н. Ф. Яковлева могло бы быть без труда продолжено.

Не забывал ученый и о необходимости популяризации знаний науки о мало изученных в то время кавказских языках<sup>12</sup>.

Последние годы Николай Феофанович долго и тяжело болел и 30 декабря 1974 г. его не стало. Однако и своими кавказоведческими исследованиями и своей теорией фонемы он проложил путь поколению последующих ученых в разработке ряда направлений отечественной лингвистической науки и в постановке их на службу практике.

---

<sup>12</sup> Ср.: Яковлев Н. Ф. Языки и народы Кавказа (краткий обзор и классификация). Тифлис, 1930.

**[Рецензия на кн.:] Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов.  
«Дело славистов». 30-е годы. М.: Наследие, 1994. 286 с.\***

История науки — это создание теорий, напряженная, часто мучительная проверка их истинности, становление новых концепций, новых методов исследования. Это, как было когда-то сказано, драма идей. Но вместе с этим история науки — драма (часто — трагедия) людей. Истории науки принадлежат не только мысли Коперника, но и судьбы Галилея и Джордано Бруно.

Трагедия науки и людей науки возникает тогда, когда она оказывается в плену. В плену антинауки: инквизиции (не обязательно средневековой), массовой невежественности, партийной тупости, идеологической одержимости. Трагичны страницы русской науки во время ее великого пленения «единственно правильной идеологией». Книга Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова раскрывает трагедию лингвистики в советской России. Каждое слово — достоверно, проверено, документально обосновано. Тон книги серьезный, сдержанный, без подчеркивания эмоций (эмоции авторы оставили на долю читателя). Иногда мелькнет искра иронии, сарказма, возмущения издевательствами над людьми, когда этого возмущения нельзя было сдержать. Объективный тон рассказа позволяет авторам создать образы людей, их смелой и упорной стойкости, достоинства, преданности науке, умения не сломиться в трагических обстоятельствах. Относительно других, тех, кто не выдержал натиска следствия, тоже сказано сдержанно, в достойном тоне. Об одном из откровенных подследственных сказано так: «Не надо только ставить ему в вину его грех, своей трагической судьбой он с лихвой искупил ее» (57)<sup>1</sup>.

Две противоположные мысли возникают у читателя книги. Первая: брали и уничтожали кого попало, лишь бы дать контрольную цифру. В создании «Российской национальной партии» обвинили и выдающихся ученых, и простых служащих, не связанных с наукой, и девочку 18 лет... Всех связали лживым обвинением. Но вразрез с этой мыслью возникает другая: конечно, были и контрольные цифры, но был и целенаправленный отбор. Им нужно

---

\* Вопросы языкознания. 1996. № 1 (январь-февраль). С. 154—159.

<sup>1</sup> В скобках указаны страницы книги.

было уничтожить самый верх науки, наиболее талантливых, наиболее влиятельных ее создателей. Судили и уничтожили блестящих языковедов-русистов Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинского, П. А. Бузука (украиновед, славист, специалист по общей теории языка). Долго мучили М. Н. Сперанского, В. И. Перетца, В. В. Виноградова, В. Н. Сидорова, А. М. Селищева. Судя по документам, предполагали захватить в свои сети Р. И. Аванесова (80), Л. А. Булаховского (80), С. П. Обнорского (80), М. Н. Петерсона (80), Д. Н. Ушакова (77, 157). Но их «версии не стали развивать» (80)... Разве этот перечень не охватывает как раз наиболее значительных ученых-специалистов по русистике?

О том, что отбор у «инстанций» был всегда чутко направлен против наиболее талантливых, говорит кампания 1948 года. Генетику погромили; появился аппетит так же урезонить другие науки. В лингвистике главным «забойщиком» был Ф. П. Филин<sup>2</sup>. По его предложению президиум Академии наук СССР принял решение: запретить преподавание Р. И. Аванесову, В. В. Виноградову, П. С. Кузнецову, М. Н. Петерсону, А. А. Реформатскому, В. Н. Сидорову. Снова безошибочный отбор.

Знакомясь в книге Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова с ходом следствия по делу «Российской национальной партии», мы опускаемся, круг за кругом, в «мир наоборот», в мир антилогики. Интересно читать у Замятина и Оруэлла про этот мир. Читатель понимает, что в художественном произведении есть место выдумке, гиперболе. Документы, собранные и сопоставленные друг с другом в книге Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова, показывают ужас мира не выдуманного, а подлинного.

Обвиняемые должны были выдумать преступную партию, которой не существовало, выдумать свои роли (шпиона, диверсанта, контрреволюционного агитатора, вредителя, вербовщика в антисоветские агенты), выдумать свои преступные действия. Само название партии стало делом их вынужденной активности. Н. Н. Дурново пишет: «Название партии я долго не мог придумать, поэтому его нет ни в январских, ни в февральских показаниях, и оно появляется только в марте» (108).

Как материал для обвинений в документах следствия появлялись такие характеристики: «из старой дворянской семьи», «бывший книгоиздатель», «по происхождению чех» (60).

Филолог-украинистка признает: «Вела антисоветскую линию», которая заключалась в том, что она в своих книгах не сближала нормы украинского

---

<sup>2</sup> О роли Ф. П. Филина в погроме лингвистики в 1948 г. см. работу В. М. Алпатова [Алпатов 1991: 148—149]. Назвав лингвистов, которые подверглись преследованиям, автор замечает: «Филину не откажешь во вкусе: он не задел ни одного малоизвестного ученого» [Там же]. См. также рецензируемую книгу, с. 164, 179.

языка с нормами русского языка (146). После таких признаний не кажется странным, что Д. И. Хармс на допросе признал контрреволюционным свое стихотворение для детей «Миллион»<sup>3</sup> [Хармс 1994: 292].

Главным преступлением П. И. Нерадовского, искусствоведа, работника (одно время — директора) Русского музея, «было создание в 1922 г. и сохранение вплоть до дня ареста экспозиции залов, посвященных русскому искусству дореволюционного периода, которая, как сказано в деле, «тенденциозно подчеркивала мощь и красоту старого дореволюционного строя и величайшие достижения искусства этого строя» (37). В прошении о реабилитации П. И. Нерадовский писал: «Даже экспозиция памятников искусства XVIII века вменялась мне в вину, как „прославление дворянства“, как будто я мог переделывать памятники этой эпохи» (209).

В этом мире наоборот действует презумпция виновности: если человек чего-нибудь не делал, не говорил, не думал, но не может доказать это «не», то считается, что он именно это делал, говорил и преступно думал. Дурново уже после осуждения объясняет, почему он оговорил себя на следствии: «Так как я не могу доказать, что мои связи с эмигрантскими и чехословацкими политическими деятелями носили именно тот характер... какой они действительно имели! [т. е. неполитический], то у прокуратуры... не может быть полной уверенности в их правдивости» (117). Авторы книги замечают: «Ученому и в голову не приходит понятие презумпции невиновности, в показаниях он находит даже нормальным то, что „преступный характер связей с зарубежными и эмигрантскими кругами“ должны доказывать следователи» (118—119). Такая мысль не приходит в голову Дурново потому, что в том мире, в какой он попал, такой мысли не существовало; господствовало ее «обратное» извращение.

Мир за решеткой подчинялся своим законам — «законам наоборот». Категоричность этих законов поддерживалась тем, что и вне решетки тоже господствовал мир наоборот — и хотя многие люди его не принимали, им приходилось об этом молчать: иначе грозила решетка.

Так, Н. Я. Марр, классик марксистского языкознания до июня 1950 года, писал, что «по пластам некоторых стадий» русский язык ближе грузинскому, чем любому славянскому (93). Возможно, был расчет, что вождю это понравится.

Движение декабристов истолковывалось так: в начале XIX века в Европе поднялись цены на хлеб; помещикам стал невыгоден малопроизводительный труд крепостных, они превратились в сторонников наемного труда, отсюда их свободолюбие. Но в середине 20-х годов цены на хлеб упали, отсюда — неудача декабристского восстания. Пушкин от свободолюбивых стихов пе-

---

<sup>3</sup> Допрашивал Хармса в 1931 году тот же чиновник ОГПУ, который впоследствии участвовал в фабрикации дела «Русской национальной партии».



решил к охранительным. Эта концепция М. Н. Покровского вошла в обязательную школьную программу, ее изучали дети в 7 классе.

Другая официальная точка зрения: все писатели представляют классовые интересы. Л. Н. Толстой выражает взгляды патриархального крестьянства. Пушкин — среднепоместного капитализирующего дворянства, Гоголь — мелкопоместного консервативного дворянства... Идеологам не приходил в голову вопрос: почему же Пушкина, Гоголя, Толстого читают и любят тысячи непатриархальных некрестьян? Эта мысль не была в числе указанных и спущенных вниз. (Потом ее спустили: классики оказались народными «выразителями» и тем самым предшественниками «великой партии».)

Своеобразны были приемы дискуссии. В одном научном учреждении некий общественник-активист (притом дипломированный ученый) критиковал В. В. Виноградова за его взгляды, выходящие за пределы дозволенного, и рекомендовал «ударить Виноградова по кумполу» (180). «Дать по кумполу» (уволить с работы, арестовать, выслать и т. д.) — это был очень ходовой полемический прием. Действовал безотказно.

Этот свободный мир навыворот рождал у обвиняемых чувство безысходности. Они понимали, что обращение к логике, к здравому смыслу, доказательствам совершенно бесполезно: они не имеют цены в мире наоборот. Вот почему они признавались во всем, что было угодно следствию: из чувства полной безысходности. Антилогика за решеткой была поддержана антилогикой вне решетки.

Психология обвиняемого «органами» убедительно раскрыта в объяснении Г. А. Бонч-Осмоловского (63—68). Это — описание психического состояния автора, антрополога, ни в чем не виновного, но «завербованного» советской охранкой в члены «Российской национальной партии». Убедительно показано, как, не применяя в прямом смысле пыток, человека заставили сломиться.

Другая причина, почему они признавались, — приемы ведения следствия. Пыток в прямом смысле слова в начале 30-х годов обычно, видимо, не применяли. Требовали признаться, запугивали, проводили очные ставки с людьми, уже потерявшими себя. «Если человек продолжал стоять на своем, процедура могла повторяться несколько раз и следователи угрожали револьвером. В результате подследственный приходил в невменяемое состояние. Участники данного дела впоследствии вспоминали, что они сходили с ума, думали о самоубийстве, им казалось, что следователи их гипнотизируют. В такой ситуации хотелось одного: чтобы этот кошмар как можно скорее кончился. Ради этого подписывали самые нелепые показания» (53). «И даже в этой ситуации, — продолжают авторы, — несколько человек, арестованных по делу „Российской национальной партии“, сумели все выдержать и не признать себя виновными» (53).

Пытки не применялись? «В. Н. Сидоров еще до ареста страдал туберкулезом коленного сустава. Его состояние во время следствия, где его нарочно заставляли часами стоять на допросах, было крайне тяжелым» (121). Значит, неверно, что пытки не применялись. Просто набор разрешенных пыток был еще не так широк, как впоследствии.

«Мы вовсе не заинтересованы в вашем осуждении. Ведь не с головы же мы получаем!» — говорил следователь одному из обвиняемых (65). Именно с головы! «Не добирай меня сотым до сотни!» — просил Б. Л. Пастернак, обращаясь к эпохе. Но именно все время добирали сотым до сотни, тысячным до тысячи, миллионным до миллиона! Набирают «двадцатипятидесятников» — отправляют в деревню, делать колхозы. Набирают «добровольцев» на ударную стройку (не специалистов, нужных стройке, а любых, на кого направлен указующий перст). «Ленинский набор» — набирают в партию, после смерти Ленина, чтобы получать установленные сверху контрольные цифры. Набирают «врагов народа», чтобы обеспечить рабочей силой стройки ГУЛага. И просто набирают «разоблаченных» и осужденных, чтобы заслужить одобрение ЦК партии.

Конечно, здесь не до логики. Н. Н. Дурново, в своей исповеди, написанной уже после осуждения, хочет объяснить, почему на следствии он принужден был прибегнуть к самооговору. «„Мои“ показания следователю, — пишет Н. Н. Дурново, — вызваны отчасти моим болезненным состоянием...» Далее он приводит другие причины своего самооговора. «Ввиду всего этого, боясь, что отрицание политического характера моей поездки в Чехословакию, Вену и Югославию и моей дальнейшей политической активности только затянет следствие... я решил признать и то, и другое. Признание моей политической активности вело к признанию моего участия в политической организации. В качестве такой организации я мог назвать только кружок лиц, бывавших у акад. Сперанского и проф. Ильинского, так как у меня лично никто не собирался» (109). Из посылки (ложной посылки, вымученной следователем) логично вытекают все следствия. Но в мире антилогики сама логика становится предательницей. «В моих показаниях, — пишет Н. Н. Дурново, — говорится, что собрание, на котором было решено организовать партию для борьбы с Советской властью, было назначено в понедельник и в этот день состоялось. Это явная несообразность, так как на понедельник никто не приглашался, приходил кто хотел, и всегда мог прийти человек, присутствие которого на конспиративном собрании было бы нежелательно. В действительности такого собрания не было» (116). «Так как!» Причинно-следственная связь! Да не нужна она в мире наоборот...

Центральная часть книги Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова — публикация документа, который авторы условно, но удачно назвали «Исповедь» Н. Н. Дурново. Это — обширный текст (108—118), глубоко освещающий взгляды и переживания Дурново. Он решил говорить правду и только правду. Даже ес-

ли она свидетельствует против него (в глазах официозов) и может ухудшить его участь. Он, например, прямо заявляет об отрицательном отношении к советской власти. Он говорит, что в евразийской концепции Н. С. Трубецкого принимает только ее критическую часть, то есть, по официальной терминологии, антисоветскую.

По своей исторической ценности «Исповедь» стоит так же высоко, как письмо Д. И. Ушакова Сталину, опубликованное Ф. Д. Ашным<sup>4</sup> [Ушаков 1990: 287—290].

«Исповедь» Н. Н. Дурново — это послание заключенного. Кому послание? На Соловки приехал прокурорский чин, с задачей — контролировать. Заключенному Дурново позволили написать объяснительную записку. Он написал многостраничную исповедь, заявляя, что не требует пересмотра дела. Он хочет, чтобы ему дали работать. Авторы книги заключают: «Видно, как хотел выговориться человек, уже третий месяц томящийся в одиночной камере...» (118). Думаю, что надо говорить не о словоохотливости Дурново; его исповедь направлена не прокурорскому чину, — она обращена в века, как голос свободного человеческого духа, с надеждой, что она достигнет когда-нибудь неполицейского читателя. Чувство достоинства и верность своим убеждениям — вот содержание этой исповеди... Мнение о евразийской теории Н. С. Трубецкого; высокая оценка своих современников-русистов, причем как раз нелюбезных «органам» — Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона (о последнем Дурново пишет: «Он самый талантливый из моих учеников»); собственные политические взгляды; характеристики ученых — обеляющие их... Многие вместили в себя страницы его исповеди.

В Соловках, в одиночной камере, Дурново продолжает напряженную научную деятельность. Он написал «Граматику сербохорватского языка», передал рукопись начальству, для пересылки домой. «Попытки разыскать, рукопись, представляющую значительный научный интерес, пока не дали результатов» (125). Его письма домой полны просьбами прислать книги из его библиотеки, нужные ему для научной работы. «...Несмотря на ужасные условия жизни и надвигающуюся слепоту Н. Н. Дурново все-таки старался не терять времени и работать! На Соловках, где в это время еще сохранились

---

<sup>4</sup> Он пишет: «Пусть... возьмут у В. Н. Сидорова... мои книги и из них пришлют мне корректурный экземпляр моего „Повторительного курса грамматики русского языка“, выпуск 1, изд. 2-е» (124). Авторы книги констатируют: «Издание не осуществилось». Но корректурный экземпляр сохранялся в библиотеке Сидорова. В 1964 году Владимир Николаевич подарил его мне. В хрущевскую оттепель возникла надежда на издание этой книги; впрочем, реальных возможностей, как выяснилось, не было. В настоящее время книга находится в моей библиотеке; когда-нибудь она будет издана. Во втором издании (существующем в одном корректурном экземпляре) много теоретически важных дополнений.

традиции лагеря 20-х гг., это все еще было возможно... В более новых лагерях... какая-нибудь научная работа уже была невозможна» (125).

Значит, в мире наоборот были люди, для которых этот мир был неприемлем. Авторы рисуют мощный характер А. М. Селищева, другого подвижника науки; он не был сломлен допросами и не признал себя виновным. К счастью, он смог, «по отбытии срока», продолжить свою научную работу, осуществить свою неистовую преданность науке... А Н. Н. Дурново, без предъявления новых обвинений, был в 1937 году расстрелян. Тогда же погиб Г. А. Ильинский и много других заключенных<sup>5</sup>.

В книге Ашнина — Алпатова говорится о всех, обвиняемых по делу «Российской национальной партии»<sup>6</sup>, естественно, больше всего внимание авторов привлекли люди, много сделавшие для науки. Но для человеческой совести не менее горьки и тяжки те немногие строки, которые посвящены знаменитым узникам. Варвара Трубецкая, девушка 18 лет, арестована ни за что (как и все ее «однодельцы»); ее сослали, а в 21 год расстреляли. У верующих людей есть такие слова, которые ничем нельзя заменить: создание Божье. Каждый человек. Когда человека убивают за то, что он создание Божье, — это невозможно простить. Никогда. И не будет прощено<sup>7</sup>.

С чем имя Дурново уходит в историю, в вечность? Навсегда вошли в культуру России его научные труды.

Он (вместе с Д. Н. Ушаковым) определил многообразнейшие системы русских диалектов, со сложными позиционными взаимодействиями звуков (в некоторых говорах с диссимилятивным яканьем появление определенного гласного обусловлено пятью-шестью позиционными условиями). Впервые, при охвате огромного материала, главным объектом исследования стали позиционные чередования. Это — центральная тема в трудах московской (фортунатовской) лингвистической школы.

---

<sup>5</sup> «Пик репрессий 1937—1938 гг. совпал с решением по стратегическим соображениям ликвидировать старейшие Соловецкие лагеря... Поэтому в конце 1937 г. шла массовая ликвидация заключенных... Уничтожили тысячи людей...» (136).

<sup>6</sup> Г. Г. Шпета в 1937 г. не беспокоили новыми допросами. Кто-то из гепеушников написал «его» новые чудовищные признания. Результат — расстрел [Поливанов 1990: 160—164].

<sup>7</sup> Ее убили за одну фразу: будто бы после смерти Кирова она сказала, что не пожалела бы и вождя. Если она действительно это сказала, то мнение ее не было одиноким. В середине 30-х годов в подмосковных деревнях пели: *Ераплан летит, Крыло приставлено. Убили Кирова, а надо Сталина*. В эти годы в Подмосковье ходил ряд свирепых частушек с общим зачином: *Ераплан летит, Крыло припаяно... Ераплан летит, Крыло приварено... Ераплан летит. Крыло приклеено...* В рифме было имя собственное (включая Каина). Пели эти частушки с опаской, среди своих. Я (школьник) записывал подмосковный фольклор, услышал эти частушки... и записал их? Нет. Запомнил.

Он на основе анализа позиционных фонетических данных и типов грамматических систем создал строгую классификацию русских говоров — и показал (опять-таки вместе с Д. Н. Ушаковым) эти звенья русского языка на карте, теоретически выявленные типы четко «прикрепил» к местности.

Он впервые дал монографическое описание говора одного села (Парфенки, бывшее его поместье), и это позволило выяснить такие отношения между речевыми явлениями, которые ускользают от внимания при глобальном, многоохватном описании говоров.

Его история русского языка — исследование о том, как одно языковое состояние (в области фонетики и грамматики) порождает другое языковое состояние, как одни синхронные отношения перетекают в другие, создавая непрерывную жизнь языка.

В грамматических трудах «Повторительный курс грамматики русского языка», выпуски I и II, «Грамматический словарь» Дурново поддерживал, совершенствовал, перестраивал грамматическое учение Ф. Ф. Фортунатова, усиливая в нем наиболее ценную идею: язык есть отношение.

Перечень научных ценностей, созданных Н. Н. Дурново, можно продолжить. Но и сказанного достаточно для вывода: Дурново — величественная глава в истории русской филологии. Теперь мы можем назвать и еще одно высокое творение Н. Н. Дурново — этическое: его исповедь. Ей тоже не суждено забвение.

Есть еще один образ необыкновенной светлоты, нарисованный в книге; о нем сказано немного, он не был жертвой охранки... Д. Н. Ушаков. Отбыв срок, А. М. Селищев возвращается в Москву. Репрессированный работу найти не может. Помощь нашел у Д. Н. Ушакова. «Ученый иного поколения и иной научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева...», Д. Н. Ушаков решает помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя последствиях. Имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу „Российская национальная партия“ и попало в список лиц, материалы по которым выделены в отдельное производство» (157). А. М. Селищев нашел пристанище на кафедре Д. Н. Ушакова. Так же у Д. Н. Ушакова нашел работу другой каторжанин — В. Н. Сидоров. Напомним, что В. В. Виноградова опять-таки Ушаков привлек к работе над «Толковым словарем русского языка». Да, любовь к человеку, смелая и самоотверженная. И к науке.

Какой-нибудь посторонний и нелюбопытный наблюдатель может удивиться, что 20—30-е гг., годы страданий для миллионов людей, были временем высокого подъема русской культуры — искусства и науки. Продолжалось мощное движение, начавшееся еще в девятисотые годы. Поэзия, художественная проза, музыка, театр, филология переживали расцвет.

Обусловленный не политической обстановкой, а саморазвитием, самодвижением духовных сил человека, автономией его духа. В поэзии работали:

А. Ахматова, М. Кузмин, О. Мандельштам, В. Нарбут, М. Волошин, Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Асеев, Б. Пастернак, Д. Петровский, С. Маршак, К. Чуковский, А. Пиотровский (его гениальные переводы Эсхила и Аристофана — значительный вклад в русскую поэзию), Н. Тихонов, В. Луговской, К. Вагинов, Д. Хармс, Н. Заболоцкий, П. Васильев, Б. Корнилов, К. Некрасова, Д. Кедрин, С. Липкин (перевод калмыцкого эпоса «Джангар»)… Это еще далеко не полный перечень. И только внутри страны советов. Перечень имен показывает, какая им выпала судьба: одним положен был физический предел, другим суждена немота (творчество продолжалось, но выход к читателю был невозможен), третьим внушена была бездарность: мощное начало и бесславное завершение… Немногие избежали печальных исходов.

Ряд замечательных филологов, работавших в 20—30-е гг., не менее замечателен и богат именами. Предоставляем читателю самому вспомнить их. И судьбы были такими же. Но талант, чувство долга, вера в родную культуру давали им силы для работы. Ведь это важно: смерч прошел не по пустыне, а по плодоносным садам и нивам. Это был пир во время чумы — но именно пир. Мы должны тем, кто тогда работал.

В книге есть тщательно составленный именной указатель (составитель — С. А. Крылов). Он очень помогает пользоваться книгой. Все же есть «недоумения». Почему Пушкин Борис Сергеевич, архивист, по алфавиту идет раньше Пушкина Александра Сергеевича, писателя? И странна квалификация: Сталин — «вождь Советского государства»… Разве есть такое ампула — «вождь государства»?

Много труда вложили авторы в эту книгу. Ф. Д. Ашнин начал собирать документальную основу книги тогда, когда доступ к архивам был очень трудным. Работе в архивах, преодолевая препятствия, он отдал годы. Вместе с В. М. Алпатовым он написал очень нужную книгу. Многие, многие страницы ее читать больно. И все же она не вызывает чувство отчаяния или беспомощности. Сам выход в свет этой книги — знак того, что справедливость побеждает. В конце концов. К сожалению, часто — не скоро.

## Литература

- Алпатов В. М. 1991 — История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991.  
Поливанов М. К. 1990 — О судьбе Г. Г. Шпета // Вопр. философии. 1990. № 6.  
Ушаков Д. Н. 1990 — Неизвестное письмо // Язык: система и подсистемы. М, 1990.  
Хармс Даниил 1994 — Сочинения. Т. 2. М., 1994.

## Значение трудов Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново для становления фонологии\*

Для теории фонем (в ее «московской» трактовке) необходимы такие положения:

1. Существуют чередования звуков, обусловленные позицией. Слова «обусловленные позицией» означают, что они не знают исключений, т. е. распространяются на все языковые единицы с данной позицией.

2. Поскольку в определенной позиции звуковая единица А заменяется звуковой единицей Б без исключения, постольку эти чередующиеся единицы не могут быть (в данной позиции) друг для друга различителями.

3. Как «неразличители» друг для друга, эти единицы образуют тождество, они — одна и та же функциональная единица.

4. Эта единица, ряд позиционно чередующихся звуков, требует своего наименования, утверждающего ее функциональную целостность. Имя ей было дано: фонема.

5. Нет основания требовать от этого единства, фонемы, чтобы ее составляющие (позиционно чередующиеся звуки) образовали акустико-артикуляционное единство, были звуковым типом. Также нет необходимости предполагать, что звуки, образующие позицию, и звуки, находящиеся в данной позиции, непременно должны принадлежать к одному фонетическому типу.

Иными словами: закономерности, относящиеся к фонемному строю языка, имеют чисто языковой, а не природный характер.

6. Так как фонема — это ряд позиционно чередующихся звуков, понятых как функциональное единство, то вполне естественно, что в некоторых позициях эти ряды могут совпадать, осуществляться одним и тем же звуком. Это — нейтрализация фонем. (Напомним, что позиционно чередующиеся звуки не обязаны быть акустически подобны друг другу.)

7. Таким образом, есть позиции, где данная фонема отличается от всех других фонем, это сильная позиция; и позиция нейтрализации, где данная

---

\* Язык: изменчивость и постоянство: К 70-летию Л. Л. Касаткина. М., 1998. С. 218—224.

фонема совпадает с другой фонемой (или с другими фонемами), это слабая позиция.

Вся эта теория фонем пронизана мыслью, что язык — это отношение, что он — система притяжения и отталкивания единиц. Вполне последовательно эта идея развивалась в России двумя лингвистическими направлениями: школой И. А. Бодуэна де Куртенэ и московской лингвистической школой Ф. Ф. Фортунатова и его учеников.

Полностью описанная фонемная теория сложилась в трудах Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова, А. А. Реформатского, П. С. Кузнецова, учеников Ушакова. Но истоки этого учения уходят далеко в глубь истории отечественного языкознания.

Первый шаг в сторону фонологии сделал замечательный В. К. Третьяковский в своем труде «Разговор российского человека с чужестранным об орфографии» (1748). Он открыл, что в языке есть позиционные чередования, выделил их, подчеркнул их особенную важность. Он писал: «В московском выговоре все О неударяемые за А произносятся... Сие наблюдение есть без изъятия». Несколько раз Третьяковский с воодушевлением подчеркивает безысключительный характер таких чередований: эти правила «не имеют никакого изъятия, толь они генеральны!». Рассказав о мене [o] || [a], он замечает: «И поистине, сие коль ни коротенькое правило, однако всему языку равное: надобно токмо знать, которые оны ударяемые, а которые неударяемые». В. К. Третьяковский открыл позиционный характер чередования глухих и звонких согласных в определенных позициях: «Слова, кончающиеся на мяхкие согласные, ... российский выговор все оканчивает на твердые буквы». Выговор российский «соединяет мяхкие с мяхкими, а твердые с твердыми...» Средние (сонорные) соединяются с теми, и с другими. (Мяжкие, по терминологии XVIII века, — это звонкие; твердые — глухие.) «Два сии, толь небольшие правила объемяют весь наш чистый нынешний выговор...» Шаг был сделан важнейший!

Следующего шага в сторону фонологии русскому языкознанию пришлось ждать более ста лет. В 1881 году И. А. Бодуэн де Куртенэ в своей работе «Некоторые разделы „сравнительной грамматики“ славянских языков» выделил в языке особую категорию звуковых единиц — дивергенты. «Дивергентами называем гомогенные звуки, различия которых объясняются теперь существующими (имеющимися налицо) антропофоническими условиями. Иначе: дивергенты — видоизменения одного (и того же) звука, обусловленные теперь действующими звуковыми законами». «Следует дивергенты обобщать в фонемы». Здесь схвачена самая суть, сердцевина фонологии.

Таким образом, И. А. Бодуэн де Куртенэ «выполнил» первые 4 положения фонологической теории. И он сделал важный шаг: отстаивал не антропофонический, не природный характер фонологических отношений. Ученик



И. А. Бодуэна де Куртенэ писал о том, что дивергенты должны быть артикуляционно и акустически («антропофонически») подобны друг другу. И. А. Бодуэн де Куртенэ возражал: «Совсем ошибочно и необоснованно дается у Н. В. Крушевского близкое антропофоническое родство чередующихся звуков, если они — дивергенты». Итак, то, что было выше отмечено как 5-й обязательный тезис фонемной теории, Бодуэном было глубоко осознано.

Понятие нейтрализации у И. А. Бодуэна де Куртенэ отсутствует. А понятие сильной позиции уже намечено! Он спрашивал: какое из звеньев дивергенции надо считать основным? То есть: какой из позиционно чередующихся звуков находится в сильной позиции? (Речь идет, если использовать более позднюю фонологическую терминологию, о перцептивно сильных позициях.) И отвечал: «Следует всегда принимать основанием то, что менее осложнено», именно: менее зависит от позиции.

Итак, в работах Бодуэна уже в 80-х годах прошлого века была представлена фонологическая теория. Чего недоставало? Были даны важнейшие теоретические положения, но они оказались слабо представлены фактами. Не возникла мысль, что эти отношения, связи звуков внутри фонем и их взаимодействие — важнейшая сторона звукового строя языка.

И строго синхронный аспект был фактически выдержан, теоретически провозглашён Бодуэном, но терминологически знал отступления.

Обратим внимание на слово *гомогенные* в определении дивергентов (см. выше). В свои теоретические построения, выдержанные в духе синхронии, автор вдруг вводит чисто диахроническую оговорку: гомогенные — имеющие общее происхождение. Это — кричащее противоречие со всем духом бодуэновского построения. Отношения звук — фонема могут быть построены только как синхронная система. Между тем Бодуэн постоянно предостерегал от этой ошибки, свойственной языкознанию его эпохи, — смешение синхронии и диахронии. Он критиковал современные ему труды лингвистов за то, что они часто являются только «сборниками... языковых частных, может быть, и не синхронических, то есть друг другу не современных».

Значит, строить фонологию на строго синхронных принципах — это оставалось задачей для продолжателей И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Наконец, нужно было достроить здание: не хватало теории нейтрализации, важнейшей части фонологии.

Следующий шаг в развитии фонологических идей сделали Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов. Они продолжали традиции Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново, но сделали сильную прививку к этим традициям бодуэновского начала. Однако прививка эта прошла удачно, потому что и внутри «ушаковской» школы все было готово к такому шагу. Теоретически поиски подошли к той черте, за которой начиналась фонология.

Д. Н. Ушаков и Н. Н. Дурново (и их сотрудники) выполнили колоссальную работу и исследовали русские диалектные звуковые системы европейской России с целью классификации народных говоров. Они изучили множество типов позиционных чередований, нашли границы их распространения в народной речи. Позиционные связи часто оказывались сложными. Так, в говорах с диссимилятивным яканьем явление гласной [а] или [и] (в разных позициях) зависит от следующих условий: 1) этот гласный должен находиться в безударном слоге; 2) притом — в слоге, который непосредственно предшествует ударному гласному (он — первый предупредительный); 3) гласному предшествует мягкий согласный; 4) в ударном слоге наш гласный не выступает как [и] или [у]; 5) в ударном слоге данного слова находится гласный определенного качества: принадлежит к группе типа [а] или к группе типа не-[а]. Например, в одних говорах чередование приобретает такой характер (при склонении слова, например, *село*): *сила* (перед ударным [а]), *сяло* (перед [ô] закрытым), *сялом* (перед [о] открытым), *в силе* (перед [э] закрытым)... (Это — фрагмент чередований диссимилятивного яканья жиздринского типа.)

Или в других говорах; *сила* — *сяло* — *сялом* — *в силе*... (Это фрагмент чередований диссимилятивного яканья суджанского типа.)

Такому же пристальному исследованию подверглись десятки других позиционных чередований в говорах. Исследовались именно позиционные закономерности: всегда точно описываются условия, определяющие позиционно мены звуковых единиц — мены, как мы видели на примерах, достаточно сложные.

Казалось бы, это и есть фонологические исследования... если бы исследователи приложили к ним синхронную мерку. То есть сказали, что позиционно изменяется в современных говорах, следуя современным фонологическим законам, современная единица — назвать ли ее фонемой или как-нибудь иначе, неважно. Но точка зрения у Дурново — Ушакова была иная: эти звуки, меняющиеся в разных положениях, образуют единство, потому что они восходят к одному и тому же гласному-прототипу. Они этимологически обеспечили свое единство. Понятие об их современном единстве отсутствовало, то есть отсутствовало понятие фонемы или его эквивалента.

Для этого были определенные основания. Одни говоры различают гласный [э] закрытый и [э] открытый, [ô] закрытый и [о] открытый, для других оба о или оба э слились, для них такое различие — историческое прошлое. Но классификация говоров требует единой, общей матрицы для звуковых единиц, чтобы можно было провести сравнение через весь фонетический материал. Такой единой матрицей, позволяющей дать тотальное сопоставление диалектных систем, могла быть только максимально различительная система, а она принадлежит прошлому. Таким образом, для того аспекта, который дан

в работах Дурново — Ушакова, приверженность к диахронии была закономерной. Должна была возникнуть другая мысль — о том, что наблюдаемые факты допускают и другое обобщение, с точки зрения синхронных отношений. Эта мысль и ведет к теории фонем. Готовы ли были «москвичи»-фортунатовцы к такой мысли? Готовы. Этого шага они не сделали, но готовность к нему была.

Идея о необходимости различать синхронные отношения от диахронных у Ф. Ф. Фортунатова была не менее ярко и ясно выражена, чем у И. А. Бодуэна де Куртенэ. Любимой эта идея была и у верных учеников Фортунатова — Ушакова и Дурново. Так, Д. Н. Ушаков писал: «Один из главных недостатков школьных учебников — это смешение современных фактов в языке с фактами прошлыми... Смешивая факты различных эпох, школьная грамматика не дает понимания ни фактов языка, ни истории». Тем не менее Ушаков — Дурново, исследуя современные русские говоры (XX века), исходили из классификационной матрицы, обращенной в далекое прошлое. Хотя: «При изучении языка одно из важнейших правил — не смешивать различных эпох его жизни», — объяснял Д. Н. Ушаков. Напомним, что в пределах поставленной задачи (классификация говоров) избранный путь не приводил к промахам, но можно было и выйти за эти пределы — к теории фонем.

Таким образом, у первого поколения фортунатовцев было глубокое осмысление многих систем позиционных чередований и идея о том, что возможно и необходимо строго синхронное изучение — толкование языковых фактов. Стоило соединить эти две теоретические базы — и возникает фонология. Но такого сочетания идей первое поколение фортунатовцев не сделало. Ждали прихода Аванесова — Сидорова — Реформатского — Кузнецова.

Итак, две мысли. Первая: позиционно чередующиеся звуки образуют единство, потому что они этимологически родственны. Вторая: позиционно чередующиеся звуки образуют единство (фонему), потому что они функционально тождественны. Переход от первой мысли ко второй прост и естественен. И переход от первой мысли ко второй труден и не дается сразу. Он требует новой ориентации лингвистического мышления.

На путях построения фонологической теории ее создателей ожидала опасность: позиционные взаимодействия звуков понять как «антропофоническую», природно заданную реализацию акустических и артикуляционных качеств, заложенных в самом произношении: глухие согласные требуют перед собой глухих же, ударные гласные требуют, чтобы рядом были ослабленные безударные и т. д. При этом и понятие фонемы используется «антропофонически», как естественно-природная сущность. Диалектически-сложное понятие фонемы подменяется простовато-бесхитрым понятием звукового типа. Так рассуждал Н. В. Крушевский: фонемы — это дивергенты, то есть по-

зиционно чередующиеся звуки, подобные друг другу, то есть составляющие один производительный тип. С этим ограничением понятия фонемы спорил И. А. Бодуэн де Куртенэ. Фонологию, построенную на этом основании, А. А. Реформатский шутливо (и справедливо) называл у-щерб-ной. Заключалась ли опасность такого упрощения фонологической идеи в той предфонологии, которую создавали Ушаков — Дурново? Нет, их взгляды исключали такое продолжение развиваемых ими идей.

Само многообразие позиционных систем, произошедших из одной протосистемы, говорит о том, что акустико-артикуляционная данность не является определяющей силой в формировании отношений в звуковой системе. Н. Н. Дурново, например, особо отмечает значение аналогии — то есть чисто языковых отношений — в становлении разных типов диссимилятивного яканья.

Исходная система одна, а ее позиционные преобразования в системах-наследниках различны. Они явно определены не «антропофоническими» свойствами, особенностями источника, а чисто языковой эволюцией. Эволюцией языковых отношений.

Трудный шаг мысли при создании (и при приятии) фонемной теории в ее «московской» трактовке — это необходимость признать, что фонематически тождественными (позиционно чередующимися) могут быть единицы, не имеющие между собой сходства, без общих признаков. Например, гласные [а] || [и] (*сыло* — *силом*). Сам приведенный пример говорит о том, что диалектные исследования Ушакова — Дурново готовили сознание филологов к приятию таких выводов. Это особенно важно для «московской» теории фонем: только она определяет состав каждой фонемы (ряд позиционных чередований) исключительно на основании системных отношений. Все остальные фонологические построения (пражская теория фонем; американские; не говоря уже о щербинской «фонологии») включают, прямо или косвенно, требование сходства реализации каждой данной фонемы. Таким образом, труды Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново и подготавливали, и направляли поиск первых фонологов.

Плодотворное единство фонологических и диалектных исследований продолжалось и в дальнейшем в работах К. В. Горшковой, К. Ф. Захаровой, С. В. Бромлей, Л. Н. Булатовой, Н. Н. Пшеничновой, Л. Л. Касаткина, Р. Ф. Касаткиной.

Так разными путями лингвисты шли к созданию фонологии.

## «Толковый словарь русского языка»

под редакцией Д. Н. Ушакова\*

Есть в высшей степени достойная отрасль нашей отечественной культуры — толковые словари русского языка. Толковый словарь — одноязычный: слова русского языка истолковываются по-русски. Зачем нужен такой словарь? Для того, чтобы существовал русский язык как язык культуры, с четкими, строгими нормами, с закономерной гибкостью этих норм, чтобы он мог нести от поколения к поколению свои богатства, умножая и совершенствуя их.

Толковый словарь нужен не только для справок: открыл, взглянул и снова его на полку. Конечно, и для справок он хорош; это авторитетный разъяснитель и советчик. Но толковый словарь можно читать. Перелистывать страницу за страницей. Читаешь — и перед тобой протекает полноводная Волга русской речи. Недаром многие писатели говорят, что их любимое чтение — толковый словарь В. И. Даля; а более ранние словари уже недоступны. (Вот становится малодоступным и «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова... Печально!)

В истории русской культуры XVIII—XX веков было пять великих толковых словарей.

1. «Словарь Академии российской». 1789—1794 гг. 6 томов. СПб. Словарь не только описывает слова, их значение и употребление, но и предписывает, как их надо употреблять, т. е. это нормативный словарь.

XVIII век начался «большой языковой смутой». К нам хлынули слова, заимствованные из европейских языков, наряду с нужными — много и ненужных. Словарь должен был отсеять одни от других, точно определить значение необходимых слов.

Сложными оказались взаимоотношения между церковнославянским языком и русским — бытовым, разговорным. До реформ Петра I граница между их употреблением была четкой: один язык для церковных, другой — для

---

\* Предисловие к «Толковому словарю русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1994. С. III—IV.

светских дел. В XVIII веке стала создаваться широко разветвленная светская культура, ей нужен был свой язык. Он должен был смыкаться и даже сливаться с языком быта. Но язык быта сам по себе был недостаточен: не хватало слов, в первую очередь — отвлеченного, абстрактного и торжественного характера. Смешать два языка? Были и такие попытки, получался хаос. Как беспорядочное смешение двух языковых стихий превратить в стройное целое?

М. В. Ломоносов создал теорию, которая помогла созиданию русского культурного языка. Он предложил теорию трех стилей (или «штилей», как говорили в XVIII веке). Один стиль — высокий, он допускал широкое использование не только русских, но и церковнославянских слов, тех, которые не устарели. Другой стиль — средний, в нем церковнославянские слова уравновешивались исконно русскими словами. Наконец, низкий стиль строился на основе русских бытовых слов, церковнославянизмы были в нем нежелательны.

Ломоносов дал ясные советы, в каких жанрах, с какими целями употреблять каждый из трех стилей. Эту теорию и положили в основу своей работы создатели «Словаря Академии российской». Оказалось, что умная теория — хороший помощник в деле.

Словарь устанавливал нормы употребления слов, пригодных для культурной речи. Влияние словаря на созидаемый русский литературный (культурный) язык было очень значительным. Этому гордому фрегату предстояло долгое плавание.

Создавали его крупнейшие деятели культуры — и ученые, и писатели: в их числе — Фонвизин, Княжнин, Державин. Целое учреждение — Российская академия — имело главной своей задачей создание этого словаря. Руководителем работ была княгиня Е. Р. Дашкова, президент Российской академии (одновременно она была президентом и Российской императорской академии наук). Внимательна к созданию словаря была Екатерина II, и за это ей спасибо.

2. Второй большой корабль в этой флотилии — «Словарь церковнославянского и русского языка». 1847. 4 тома. СПб. Союз «и» в заглавии говорит о том, что эти два языка уже осознавались как самостоятельные ценности. И вместе с тем они соединены в одном словаре; употребление слов одного языка характеризуется при внимании к употреблению слов другого: четко проведены границы в лексических значениях, в стилистических различиях.

Словарь отразил новый этап в развитии русского языка и русской культуры. Время хаоса миновало, его уже незачем бояться. Наступила эпоха шлифовки норм, строгой координации двух языков, служащих двум культурам — светской и церковной.

Составители, видимо, еще продолжали видеть в церковнославянском языке источник пополнения русского. Действительно, возможность использовать церковнославянские слова для обогащения русского языка в области науки, публицистики, журнальной и газетной речи были еще велики. Но была и другая мысль: следовать законам, сложившимся внутри каждого языка, разделяя области их функционирования.

В создании словаря принимал участие гениальный русский лингвист А. Х. Востоков. Все грамматические указания («пометы») были сделаны в соответствии с его «Грамматикой русского языка», выдающимся лингвистическим исследованием начала XIX века.

Двухпалубный корвет 1847 года тоже с пользой проплыл по морям русской речи. «Словарь Академии Российской» опирался на литературу классицизма; в словаре 1847 года были представлены примеры из произведений поэтов-романтиков, из Пушкина. Лексикография торопилась поспеть за временем.

3. Третий гордый корабль в нашей флотилии — знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля. 1863—1866, СПб. — первое издание. Словарь несколько раз переиздавался.

«Даль выполнил всю работу сам, один. Словарь Даля — это в буквальном смысле Далев словарь (так называл его сам автор). В нем, действительно, все было — Далевое: и принципы составления, и приемы размещения слов, и огромная собирательская работа. Это беспримерный в истории русской лексикографии плод героического труда»<sup>1</sup>.

Важнейшее новшество в этом словаре — установка на народный язык, на диалектную речь. Литературный язык должен получить новую жизнь, сблизившись с устной, существующей в народной среде выразительной речью.

Словарь Даля — праздничная, разукрашенная многопалубная расшива, она до сих пор «не списана на слом»: продолжает свой путь по рекам русской речи.

4. Далев словарь не ставил перед собой задач нормативных. Поэтому был нужным и желанным четвертый большой (по замыслу) лексикографический труд: «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением императорской Академии наук» (Второе отделение — гуманитарное). Первый том вышел в 1895 году (СПб.) под редакцией академика Я. К. Грота. Этот словарь имеет большое достоинство: в нем выработана система грамматических и стилистических помет; разумеется, по нормам XIX века. Эта система в общем была принята и последующими словарями. Грот нашел многие экономные

---

<sup>1</sup> *Виноградов В. В.* Толковые словари русского языка // *Язык газеты.* М.; Л., 1941. С. 376.

типы толкований; у него это не описания вещей, как часто бывает у Даля, а именно филологические определения семантики слов.

Смерть Грота в 1896 году оборвала эту работу. Задуман был прекрасно оборудованный пароход. На уровне словарной техники конца XIX века.

Редактором словаря стал блестящий ученый, энциклопедист славяноведения академик А. А. Шахматов. Он резко изменил замысел всего издания. Нормативная сторона отошла на второй и третий план. План Шахматова был грандиозен (как и многие его другие замыслы): создать словарь —местилище всех слов русского языка, которые когда-либо, начиная с XVIII века, были употреблены в печати, и всех диалектных слов русских говоров. Для этого он начал создавать в Академии наук картотеку, которой предстояло вобрать в себя всю лексику русского языка (с XVIII века до современности). Картотека существует до сих пор и постоянно пополняется. Словарь выходил отдельными выпусками, разрозненно. После смерти А. А. Шахматова (1920 г.) в создании словаря участвовали разные ученые. Он остался неоконченным, последний выпуск — в 1937 году.

Поражает грандиозность замысла, умение видеть океан языка целиком, всеохватно. Шахматов готовил океанский лайнер; не достроил.

5. Наконец, пятый словарь — «наш», ушаковский. За дело взялись выдающиеся ученые (фамилии их смотри на титульном листе), они хотели во всеоружии современной лингвистической науки описать русский язык нового времени.

Продолжая цепь наших сравнений, можно этот словарь сопоставить с научно-исследовательским судном, результаты работы которого, однако, важны для всего населения.

Как видно из нашего беглого обзора, толковые словари выполняли две важнейшие функции. Во-первых, они содействовали обогащению литературного языка. Они узаконивали тот прилив новых слов, который был необходим русской культуре. Нужно усилить отвлеченно-абстрактную струю в русском лексическом составе — ищут источники в церковнославянском языке; нужно укрепить связь языка культуры с народной речью — ищут источники в русских диалектах. Словарь ставит на новых (для литературного языка) словах «знак качества», утверждает их способность участвовать в литературной речи.

Во-вторых, у словарей была еще одна цель: распределять. Лексические богатства надо ввести в систему, найти для каждого слова его место в языке и речи. Это задача нормативная: исходя из народного опыта, определять нормы употребления слов — смысловые, грамматические, стилистические, произносительные. То есть заботиться о том, чтобы в языке не было хаоса.



Эти две функции воплощены в разных толковых словарях в разной степени. «Словарь Академии российской» одинаково внимателен и к тому, и к другому назначению: его дело — соединить русскую бытовую лексику с церковнославянской, но сделать это можно только координируя, «сопрягая» нормы использования той и другой. В словаре 1847 года задачи лексического обогащения языка отходят на второй план, главным является нормативное разграничение той и другой составной части литературной речи. В словарях Даля и Шахматова нормативные цели оттесняются на задний план. Они, напротив, полноценно представлены в словаре Грота, но он доведен только до буквы Д.

Так получилось, что на протяжении почти века (с 1847 года) не было вполне авторитетного, полноценного нормативного толкового словаря. Даже и не будь социальных катаклизмов XX века, возникла бы острая нужда в словаре, который указывает, как использовать слова русского литературного языка.

Социальные сдвиги сделали эту задачу особенно необходимой. В мир литературного языка, т. е. в мир языка культуры, входили новые широкие слои народа. Они нуждались в том, чтобы их научили пользоваться этим языком.

Нужда была велика. В журнале «Литературная учеба» (1936 г.) консультанты, разбирая рукописи начинающих авторов, советовали: не надо писать «Она вышла к нему в голубом компоте». Не совсем уместно, когда в пьесе молодого драматурга профессор говорит студентам: «Соскучился я с вас. Дай, думаю, пойду поставлю им лекцию». Максим Горький считал, что молодой поэт не должен писать: «Вернее ставь ступень ноги» — лучше: «ступню». Невладение литературными нормами было обычно даже среди тех, кто стремился ими овладеть. Бесспорно, что многие слои общества нуждались в нормативном речевом руководстве.

С другой стороны, в послереволюционные годы в язык хлынули разные ненормативные потоки речи. Чиновничий «канцелярит», мещанское просторечье, «блатная музыка», шаблоны — часто уродливые — массовой политагитации, вульгарные словечки люмпенпролетарской шпаны — и вместе с тем многие нужные, выразительные неологизмы, созданные творческой энергией народа. Следовало выловить из этого потока то, что достойно литературного языка, принять эти новшества и, конечно, дать им нормативную характеристику.

Обе эти задачи выполнил «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова. Таково его историческое назначение. Чем же он интересен современному читателю? Главная его ценность — в толкованиях слов. Д. Н. Ушаков принадлежал к тому направлению в лингвистике, которое возглавлял Ф. Ф. Фортунатов, один из самых великих русских исследователей языка.

Важнейшая идея его учения, которая проходит через все его труды, состояла в том, что первостепенное значение в каждой языковой системе имеют отношения между единицами. Само слово есть пересечение нескольких таких отношений.

Отсюда в словаре Д. Н. Ушакова — пристальнейшее внимание к различиям в значениях слов, в стремлении найти языковую систему в лексических группах. В этом словаре впервые в русской лексикографии было уделено серьезное внимание, с одной стороны, различию между смысловыми значениями разных слов и, с другой стороны, смысловым оттенкам внутри слова. Слово изучалось как единое сочетание значений, возникающих в определенных речевых условиях.

Нередко говорят, что орфоэпические указания этого словаря (данные главным образом в предисловии и изредка — при самих словах) в наше время устарели. Это и верно, и неверно. Конечно, произношение меняется, и сейчас оно не то же самое, что в 30-х годах. Но, во-первых, основные нормы сохранились. А в тех случаях, когда произошли изменения, «ушаковские» нормы сохраняют свою ценность. Ведь русская поэзия до первой половины XX века включительно в подавляющей своей части рассчитана на классические нормы произношения. Например, в четверостишии Б. Л. Пастернака:

Ты в ветре, веткой пробуешь,  
Не время ль птицам петь,  
Намокшая воробушком  
Сиреневая ветвь.

Или вы не произнесете  $ve[t'f']$ , рифма будет разрушена, а вместе с тем разрушена звуковая партитура произведения, которая у Пастернака всегда играет важную роль. Переключка  $ne[m']$  —  $ve[tf']$  не дает полноценной рифмы. По «ушаковской» норме (т. е. по норме речи интеллигенции XIX века и первой половины XX века, а в значительной степени она сохраняется и в современной речи) зубные согласные непременно смягчались перед мягкими губными, откуда —  $ve[t'f']$ . Знать об этом — значит знать о том, как звучит и как должен звучать русский классический стих. Это важное знание дает толковый словарь Ушакова.

... Словарь был создан в эпоху «диктатуры пролетариата», но авторы сделали все, чтобы он остался интеллектуально независимым, служил русскому языку, а не интересам партократов. Политическая терминология — вот та единственная область, где пришлось сделать уступку идеологическому натиску (см., например, толкование слова *правый* в политическом значении). Д. Н. Ушакову и его товарищам приходилось выбирать: или дать в словаре навязанные характеристики политических терминов, или вообще отказаться

от мысли создать словарь. Они выбрали первое, и это, безусловно, правильное решение.

После выхода в свет этого словаря нападков на него было немало. Одна из главных — слишком много церковных слов (т. е. слов, относящихся к церковной службе и религии). Д. Н. Ушаков разъяснял, что эти слова есть в произведениях классиков русской литературы и читатель должен их понимать. Этот разумный довод заставил умолкнуть большинство недовольных.

Обвинений было много. Но Д. Н. Ушаков и его соратники находили нужные слова в защиту словаря. Гораздо труднее и сложнее была обстановка во время самого создания словаря.

Словарь издавался в неудобное время: в 30-е годы. Несогласие с правящей кастой, с торжествующими чиновниками грозило гибелью. Политический надзор за словарем был жестким. Для работы Д. Н. Ушаков собрал блестящих специалистов, но среди них не оказалось членов партии! В верхах решено было усилить партруководство словарем. Во втором томе (1938) появилась надпись на титульном листе: «Главная редакция: Б. М. Волин и Д. Н. Ушаков». Партфункционер призван надзирать за Ушаковым<sup>2</sup>.

Кроме того, был бдительный аппарат издательства, из многих и многих звеньев. Наконец, была цензура, с главной задачей всей своей деятельности: держать и не пущать. Был, правда, один плюс: цензор еще не стал номером, он являлся лицом, с которым можно вести переговоры. Вся эта пирамида давила на авторов словаря.

Д. Н. Ушаков говорил друзьям:

— Теперь моя главная работа — спасти словарь.

Спас. Ценой огромных усилий. Вот один пример из множества, далеко не самый тяжелый.

В словаре, как известно, слова следуют в алфавитном порядке. Например, так: *ленивый, ленивец, ленинец, ленинский*... Этого цензор стерпеть не смог! Он сказал, что ставить такие слова рядом — значит дискредитировать ленинизм. Ему объясняли, что алфавит не может бросить тень на слова, стоящие рядом. Убедили. Победа? Увы, временная. Когда С. И. Ожегов готовил к печати свой однотомный «Словарь русского языка» (созданный на основе ушаковского), этот вопрос всплыл снова. И С. И. Ожегов принужден

---

<sup>2</sup> Б. М. Волин — член партии с дореволюционным стажем. После 1917 года непрерывно заседает в исполкомах; одно время — заместитель наркома внутренних дел Украины. «Критик» рапповского толка, автор погромных статей о писателях, неудобных идеологам. Например, ожесточенная травля Б. Пильняка в 1929 г. началась со статьи Б. Волина (разумеется, не он был инициатор травли: просто его первого выпустили на газетную страницу и поручили начать).

был вставить между словами *ленивый* и *ленинец* слово *ленинградец*, хотя названия лиц по месту жительства в толковых словарях, по вполне разумным причинам, не даются (не то словарь сильно разбухнет). Ну, вставил, беда не велика? Нет, велика беда, что приходится выполнять глупые требования официальных чиновников. (Впрочем, низовые работники из ведомства «держат и не пушат» не очень виноваты: они сами были перепуганные люди, боящиеся, что их в чем-нибудь обвинят.)

Таких указаний было множество. Например, цензор... (нет, не цензор, а «уполномоченный Главлита», ведь цензуры в Советской стране нет, а уполномоченные вполне возможны; так сам язык заставляли лицемерить). Продолжу: цензор запретил слово *любовница*. Вон его из словаря! Потому что, объяснил уполномоченный, это слово старого быта и не нужно советскому человеку. А словарь должен оберегать нравственную чистоту нашего общества! Сошлись на компромиссе: слово появилось в словаре, но с пометой: «устар.», т. е. устарелое. А это слово необходимо: на протяжении XIX века оно меняло свое значение (первоначально значило: любимая), и это надо пояснить читателю, чтобы он понимал Пушкина.

Были серьезные испытания. С. И. Ожегов, правая рука Ушакова в разных организационных делах (и прекрасный лексикограф), рассказывал о событиях 1938 года. Получены были гранки второго тома, составители внимательно читали их. И — остолбенели. Притяжательное прилагательное *ежов*, *ежова*, *ежово*, *ежовы*... Оно истолковано: принадлежащий ежу. Затем — фразеологизмы с этим прилагательным: *держат в ежовых рукавицах* — строго, жестко держать.

И вдруг дальше: «По имени Сталинского Народного комиссара внутренних дел, Н. И. Ежова, истребляющего на Советской земле правотроцкистских извергов, врагов народа»... Творчество Волина. Он, как редактор, делал «довески» к тексту, ни с кем не советуясь. (Вставка раскрывает культурный уровень Волина: он не знаком с «Капитанской дочкой» Пушкина; там выражение *ежовы рукавицы* использовано сюжетно.)

С. И. Ожегов рассказывал:

— Наступило очень долгое молчание. Уже стемнело; встал Дмитрий Николаевич и с отчаянием воскликнул: «Никто не скажет — Волин дурак. Скажут — Ушаков дурак».

Он вычеркнул волинское «творчество» и заполнил брешь другим материалом (в гранках менять количество строк в столбце нельзя).

Через несколько дней Ушаков и Ожегов получили вызов в Наркомат внутренних дел. Следователь сказал им:

— Я имею сведения, что вы в словаре вычеркиваете имя Генерального комиссара внутренних дел Н. И. Ежова. Зачем вы это делаете?

— Не знаю, — рассказывал С. И. Ожегов, — заранее подготовился Д. Н. к допросу и «проиграл» в уме разные его возможности или ему именно в данную минуту пришла удачная мысль, но он сказал:

— У нас есть строгая инструкция, что в толкованиях слов мы можем ссылаться только на классиков марксизма-ленинизма. Отступить от нее мы не имеем права.

— Если есть такая инструкция, то у меня вопросов нет, — сказал следователь. Подписал пропуск на выход.

Много ума и воли требовала от Д. Н. Ушакова его миссия — создание словаря для народа.

### **Кто же он — Дмитрий Николаевич Ушаков?**

Ушаков Д. Н. (1873—1942) родился в Москве в семье врача. Мать — дочь священника. С отличием окончил гимназию. После гимназии учился в Московском университете, где его заметил и выделил среди студентов Ф. Ф. Фортунатов — создатель московской лингвистической школы, особого направления в науке о языке. Взгляды Фортунатова, новые и смелые, оказались близки и дороги начинающему филологу, и Ушаков в своих научных работах следовал основам, заложенным Фортунатовым, развивал их, дополнял и, когда это было нужно для науки, пересматривал. Он был деятельным, талантливым, последовательным работником московской лингвистической школы.

Много лет он возглавлял работы Московской диалектологической комиссии, которую сам же создал. Из сотен сел и деревень шли к нему письма: писали учителя, земские врачи, священники, местные чиновники, а иногда и сами крестьяне; говорили о своих местных говорах, присылали списки диалектных слов, сведения о грамматике, о произношении в тех местах, где они жили. Это было драгоценное народное слово.

На основе полученных материалов, результатов диалектологических экспедиций и исследований других ученых Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново и Н. И. Соколов составили и в 1915 году издали «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе (с приложением Очерка русской диалектологии)». Это очень большая карта, на которой сотнями значков и разными цветами показаны все главные различия в народных говорах европейской России. Значительный итог работы составителей и многих ревнителей русской народной речи.

Это итог? Ушаков и его соавторы так не считали. Диалекты — драгоценные свидетельства о прошлом языка (иногда об очень далеком прошлом), об истории народа. Но диалектные данные размываются литературным языком, исчезают на глазах. Надо торопиться записать, сохранить для будущих исследователей многое из того, что еще не удалось поймать в записях, на картах. Так продолжалось до 31 года, когда распоряжением чиновников эта ра-

бота была прекращена. Им показалось, что она не отвечала интересам советской общественности. Д. Н. Ушаков тяжело переживал этот удар.

В 20—30-е годы Д. Н. Ушаков погрузился в заботы об организации преподавания русского языка в новой, демократической школе. Он создает новые программы, он всегда в гуще учителей, их главный советчик и помощник, пишет учебники для средней школы — в соавторстве с учительницами, чтобы соединить научную теорию с опытностью практиков. Его «Орфографический словарь» для школы выдержал более 40 изданий и переиздается до сих пор.

Вместе с Н. Н. Дурново он сделал научную транскрипцию текста (рассказа А. П. Чехова «Дачники»), виртуозно-точную, с обозначением множества звуковых оттенков, которые уловить помогла авторам их влюбленность в русский язык, в его звуковое совершенство. Превзойти эту запись по точности оказалось возможно только в нашу эпоху, с помощью аппаратуры.

Об Ушакове — ученом, педагоге, Учителе ученых, гражданине — можно еще написать много. Ограничимся одним фактом. В 1932 г. Д. Н. Ушаков, глубоко огорченный обстановкой погрома, которая сложилась в языкознании, написал письмо Сталину. Письмо — акт большой смелости; за гораздо более умеренные высказывания люди платили жизнью.

Д. Н. Ушаков написал о судьбе крупных ученых, попавших в немилость у «предводителей» науки: «Печататься они не могут, так как издательства боятся их печатать. Заживопогребенность, социальная „зачумленность“ — вот то „внимание“ и „забота“, которыми они окружены». О положении в языковедении он пишет так: «Впервые в истории нашей революции взяты под подозрение не те или иные течения внутри науки, а вся наука в целом. Вся она объявлена метафизико-идеалистической, буржуазно-империалистической, классово враждебной пролетариату»<sup>3</sup>. Д. Н. Ушаков высказывает надежду, что положение в науке может улучшиться. Он этого не дождался. Хорошо, что рыцарский поступок Ушакова не привел к трагическому исходу<sup>4</sup>.

Д. Н. Ушаков пригласил работать (лучше сказать: увлек работой) над словарем выдающихся ученых, глубоких исследователей русского языка.

**Виктор Владимирович Виноградов** (1895—1972) свой путь в науке начинал с исследования фонетики русских народных говоров. Эта работа была вдохновлена его учителем, академиком А. А. Шахматовым. Но затем в круг

<sup>3</sup> Неизвестное письмо Д. Н. Ушакова / Публ. Ф. Д. Ашнина // Язык: система и подсистемы. М., 1990. С. 288—289.

<sup>4</sup> Но Дмитрия Николаевича Ушакова все же расстреляли. Не замечательного филолога-русиста, а его полного тезку. Архивные документы говорят, что в 1937 году его двойник попал в сети НКВД и погиб. Расторопные чекисты гнали план, и им, возможно, вместо беспокойного Д. Н. Ушакова попался другой. См.: Указ. соч. С. 287—288.

его интересов вошла иная исследовательская область: язык художественной литературы. Язык — в широком смысле: все, что служит писателю для построения художественного целого. Распространен такой взгляд на творчество: писатель задается определенной идеей, для ее воплощения создает образный строй произведения, затем подыскивает языковые средства для этого образного строя, «работает над языком». Книга В. В. Виноградова «Этюды о стиле Гоголя» (1926) показала, что язык, в его художественной функции, играет гораздо более активную роль в создании произведения и художественные поиски часто начинаются именно с построения эстетической модели языка.

В самом центре исследований академика Виноградова было творчество А. С. Пушкина. Его работы «Язык Пушкина» (1934) и «Стиль Пушкина» (1941) дают сотни образцов глубокого проникновения в смысл произведений поэта — на основании постижения его языка. В. В. Виноградов много сделал для «Словаря языка Пушкина». Монументальный труд ученого «Русский язык» (1947) оказал большое влияние на развитие грамматической мысли в нашей стране.

В. В. Виноградов был дважды репрессирован. Поэтому в четвертом томе «Словаря» Ушакова его имени нет в числе составителей словаря.

Блестящие лекции **Григория Осиповича Винокура** (1896—1947) вызывали восхищение студентов своей глубиной и убедительностью. Его научные труды были в центре научных споров, вызывали новые направления мысли. Он пересоздал учение о словообразовательной системе русского языка. Г. О. Винокур как исследователь языка был учеником Д. Н. Ушакова, то есть фортунацем; он увидел, что словообразовательные возможности языка можно понять в том случае, если изучаются отношения между словами, между производными и производящими единицами. Теперь этот взгляд считается общепринятым.

Г. О. Винокур был инициатором создания «Словаря языка Пушкина». Проспект этого словаря, определяющий работу над ним, написан Винокуром.

В книге «Маяковский — новатор языка» (1943) Г. О. Винокур с особой пронизательностью раскрыл новизну и закономерность языковых дерзаний поэта. (В молодости Винокур был близок к ЛЕФу, литературной группе во главе с Маяковским.) Книга, в резком контрасте с тенденциями времени, была совершенно чужда политиканству.

Блистательным пушкинистом был **Борис Викторович Томашевский** (1890—1957). Творчество всякого поэта со временем «покрывается паутиной», перестает восприниматься с первоначальной живостью и художественной остротой. Б. В. Томашевский в своих научных работах путем тонкого филологического, исторического, психологического анализа возвращал читателю это свежее, «юное» восприятие произведений Пушкина.

Его самоотверженная работа текстолога помогла восстановить подлинный текст произведений многих классиков, в первую очередь — Пушкина. Самое название науки (сейчас общепринятое) текстология — было введено Томашевским.

Наверное, не случайно, что вокруг словаря Д. Н. Ушакова объединились замечательные пушкинисты — В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. В. Томашевский. Словарь продолжал пушкинские традиции заботы о русском языке.

Те ученые, о которых было рассказано, соединили в своих работах две области филологии: лингвистику и литературоведение. Таким же разносторонним было и творчество **Бориса Александровича Ларина** (1893—1964). Язык древней Руси, живая речь XVII века, современный язык в его эстетической функции — от Хлебникова до Горького, — вот только часть научных областей, которые были близки Б. А. Ларину. Чуткость к слову в его разных функциональных проявлениях — именно этим близок был Ларин другим составителям словаря Ушакова. Они ценили ларинское живое восприятие языка.

**Сергей Иванович Ожегов** (1900—1964) был правой рукой Ушакова во многих сложных делах, соратником в испытаниях, через которые проходил словарь. В 1940 году увидело свет первое издание однотомного «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. Словарь был составлен на основе ушаковского четырехтомника, но «перекодировка» толкований, отбор лексического материала потребовали от автора много творческой энергии. Словарь по праву стал одним из популярнейших массовых справочников.

Эти шесть филологов и создали словарь.

Сейчас являются «действующими» несколько толковых словарей. Некоторые из них заслуживают похвалы. Но между всеми этими словарями (скажем мягче: почти всеми этими словарями) и словарем Ушакова проходит тонкая, но ясно ощутимая линия: от словаря Ушакова веет талантливостью. Поэтому в нем легко дышать. Его хочется читать. Не обязательно подряд. Перелистывать. Встречаться со словами. Чувствовать обаяние и мощь русского языка.



## Дмитрий Николаевич Ушаков

### Жизнь и творчество\*

Дмитрий Николаевич Ушаков родился 12 (по новому стилю — 24) января 1873 г. в Москве; отец его был глазной врач, доктор медицины, мать — дочь священника, посвятила себя семье. Отец умер, когда мальчику было два года, и он рос в доме деда с материнской стороны — священника.

Он окончил 5-ю московскую гимназию, затем поступил в Московский университет, на историко-филологический факультет. Огромное влияние на научные взгляды Д. Н. Ушакова оказал Ф. Ф. Фортунатов, профессор университета, основатель Московской лингвистической школы. Новаторские, необычные для своего времени языковедческие идеи Ф. Ф. Фортунатова оказались близки Д. Н. Ушакову и во многом определяли его деятельность в науке.

Ф. Ф. Фортунатов дал Д. Н. Ушакову тему для кандидатского сочинения «Склонение у Гомера». Работа была высоко оценена Фортунатовым, и он рекомендовал оставить Ушакова после окончания университета для подготовки к профессоруре по кафедре сравнительного языкознания и санскритского языка.

Но жизненные обстоятельства заставили молодого кандидата наук отложить научные занятия. Окончив университет (в 1895 г.), он много занимается преподаванием в средней школе. Но и наука не была совсем заброшена: он увлекается этнографией и в 1894—1904 гг. публикует в научных журналах ряд этнографических статей о поверьях и обычаях русских крестьян.

Только в 1900—1901 гг. Ушаков в Московском университете сдал магистерские экзамены и прочел две пробные лекции: первая — на тему «Главные направления в изучении русского народного эпоса», вторая — на тему «Московский говор как основа русского литературного языка».

В 1907 г. он начал чтение лекций в должности приват-доцента.

Д. Н. Ушаков был связан с Московским университетом в течение 35 лет — до конца жизни. Он преподавал на многих московских курсах, в нескольких высших учебных заведениях, как до, так и после революции, всегда

---

\* *Ушаков Д. Н.* Русский язык: Учеб. пособие для студентов пед. ун-тов и ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение: АО «Учебная литература», 1995. С. 8—40.

вызывая восторженную благодарность слушателей. Но постоянной его любовью был все-таки Московский университет.

Несколько молодых ученых, последователей Ф. Ф. Фортунатова, пропагандировали идеи учителя, развивали их, обогащали, изменяли их, оставаясь верными их главному смыслу. Они составили московскую лингвистическую школу — особое направление в науке о языке. Это направление известно также как «формальная» школа, фортуновская, или функциональная (Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков, М. Н. Петерсон, А. М. Пешковский, А. И. Томсон, В. Н. Щепкин, В. К. Поржезинский). «Формальной» ее называли потому, что в основе грамматического учения Фортунатова лежало понятие грамматической формы (которое, однако, вовсе не было противопоставлено понятию содержания; см. об этом дальше).

Одним из самых деятельных участников этой школы был Д. Н. Ушаков. В своих книгах «Краткое введение в науку о языке», «Русский язык» и других он выступал как последовательный фортуновец. Он защищал эти идеи в сложной и напряженной обстановке 20—30-х годов, когда самое название «формальная школа в лингвистике» было превращено в осудительную кличку, в порочащее клеймо.

Официальную, т. е. вульгарно-социологическую, филологию (или, вернее, «филологию») возмущало, что московская школа не допускала политиканта, демагогии с понятием «классовости языка», не принимала провокационную идею о классовой борьбе в лингвистике. Сама суть теории, защищаемая этой школой, была непонятна сторонникам вульгарной социологии. И даже название «формальная школа», которое взяли себе сами фортуновцы, стало предметом ненависти. Взгляды сторонников и последователей Ф. Ф. Фортунатова, в числе которых были Д. Н. Ушаков и другие языковеды, получили ярлык «буржуазной контрабанды в языкознании».

Д. Н. Ушаков продолжал напряженно работать, не отказываясь от своих взглядов; он с достоинством их защищал.

В действительности эта научная школа развивала взгляды, исключительно плодотворные для филологической науки и методики русского языка.

В. М. Фриче, в 20-е гг. влиятельный «управляющий филологией», обеспокоенный широким влиянием московской лингвистической школы на учительство, на общественность, вызвал из Ленинграда Е. Д. Поливанова как контрсилу, как таран, направленный против фортуновцев. Поливанов, коммунист, работник интернационального политфронта, казался особенно пригодным для этой роли. Но Е. Д. Поливанов свою мысль, и в самом деле мощную, направил против марристов, против вульгарной социологии в языкознании. Е. Д. Поливанов дал убийственную критику «научных» вымыслов Н. Я. Марра и его приспешников. Это определило трагическую участь Поли-

ванова и вместе с тем на время отвело беду от московской школы: оказалось, что погромщиков, готовых «разоблачить» фортунатовцев и громить их, среди авторитетных филологов найти не так легко (но все же, как показали последующие события, возможно).

\* \* \*

Особенно близкими были у Д. Н. Ушакова отношения с диалектологией. С 1903 по 1931 г. он был связан с Московской диалектологической комиссией и как участник общего дела, и как ее руководитель (с 1915 г.). В 1931 г. эта комиссия была ликвидирована по инициативе Марра, а ее труды постарались опорочить — на этот раз исполнители нашлись. О диалектологических работах Д. Н. Ушакова будет рассказано дальше.

Еще в предреволюционные годы работы этого ученого были направлены не только на выяснение лингвистических истин, но и на практические дела. Д. Н. Ушаков, долгое время преподававший в школе, близко к сердцу принимал ее нужды и потребности.

Особенно тесной стала связь Ушакова со средней школой в первые послереволюционные годы. Он участвовал в десятках дел, которые кипели в области образования в революционной России. Он со своими соратниками собрался — ни много ни мало — преодолеть схоластику в преподавании русского языка в школе, внести в обучение науку о языке — ту науку, фортунатовскую, которую он считал (и не без основания) благотворной для умственного развития учеников, для культурного роста молодого поколения России.

К сожалению, эта деятельность захлебнулась в 30-е гг., когда школа оказалась и растеряла то, что было накоплено в предыдущие, героические годы (героическим периодом в развитии школы назвал это время сам Д. Н. Ушаков).

Последние годы своей деятельности Ушаков отдал «Толковому словарю русского языка». В кратчайший срок усилиями энтузиастов-ученых, которыми руководил Д. Н. Ушаков, был создан прекрасный памятник русскому языку XX в. и вместе с тем памятник подвижнической деятельности советских филологов новой эпохи.

Д. Н. Ушаков был учителем ученых. Он взрастил плеяду лингвистов — замечательных исследователей и педагогов. Вот их имена: Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн, Г. О. Винокур, С. С. Высотский, И. Г. Голанов, А. М. Земский, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, А. Б. Шапиро, Р. О. Якобсон...

В 1941 г. Д. Н. Ушаков был в кругу своей широкой, многогранной, оживленной деятельности. Началась война, Д. Н. Ушаков был эвакуирован в Ташкент. Здесь он заболел; 20 апреля 1942 года было последним днем его жизни.

\* \* \*

Когда говоришь о Д. Н. Ушакове, то часто бывают необходимы слова «Москва», «московский»...

Родился в Москве, в московской интеллигентной семье... Московская гимназия... Московский университет... Учительство в школах Москвы... Московская диалектологическая комиссия... Московская лингвистическая школа... Все книги Д. Н. Ушакова первыми изданиями выходили в Москве... Преподавание во многих вузах Москвы... Связи с московским учительством...

«Отчетливо слышу его голос: „Я очень редко покидаю Москву, и то лишь на короткий срок; в других городах мне как-то не по себе“», — так вспоминает об Ушакове С. Б. Бернштейн.

Легко прийти к выводу, что Д. Н. Ушаков был деятелем «областного» масштаба, что его деятельность замкнулась в границах столичного города. И это было бы уже значительно — деятельность в пределах огромной Москвы, на пользу роста ее культурного достоинства.

Но по широте своей деятельности, по значительности ее, по принципиальному научному влиянию своих трудов на культурную жизнь Д. Н. Ушаков был деятелем русской, и общесоюзной, и мировой культуры. Да, и мировой! Это станет ясно, если мы хотя бы бегло вспомним результаты его работ, их историческую роль.

Он подерживает и развивает идеи фортунатовской грамматики — подлинно новаторские, которые и сейчас для нас, для нашей лингвистической науки, во многом не «позади», а «впереди», — об этом у нас еще будет речь.

Д. Н. Ушаков создает позиционно-ориентированную классификацию говоров, и его путь продолжают создатели диалектных атласов и для русского языка, и для других восточнославянских.

Он дарит народу словарь нового типа, который влияет на создание многих других национальных словарей, его фототипически переиздают в других странах Европы, им пользуются русисты всего мира...

Так можно перебрать все области науки, в которых работал Д. Н. Ушаков, и убедиться: необычайно широк был его научный поиск. И был он исторически исключительно плодотворен.

\* \* \*

Все в деятельности Д. Н. Ушакова кажется проникнутым духом спокойной уверенности, доброжелательного и ровного внимания и к единомышленникам, и к оппонентам, гармоническим сознанием достоинства науки и зна-

чительности собственного вклада в нее. Все — покой и постоянная сила духа. Но, вглядываясь внимательнее в его научную биографию, с удивлением замечаешь, что он был все время в центре напряженной и часто жестокой борьбы. Покой духа был, но он существовал вопреки трудным внешним обстоятельствам, он отстаивал себя в непрестанной борьбе.

Жестоким был многократный натиск антикультуры, которой Д. Н. Ушаков мешал. Раздражали именно чувство достоинства у Д. Н. Ушакова и его нежелание (невозможность для него) подыгрывать силам бескультурия. Иногда эти силы «в сложных общественных условиях» (используем заезженный публицистический штамп) временно побеждали, нанося ущерб науке, просвещению, Ушакову. Но победы были мнимые: интеллектуальная победа была за Д. Н. Ушаковым.

Можно разгромить Московскую диалектологическую комиссию, но развитие диалектологии показывает, что именно ее методы и приемы работы наиболее плодотворны.

Можно отвергнуть всю новаторскую работу, которая велась в школах страны в 20-е гг., но преподавание русского языка в результате этого стало хиреть, дошло до сегодняшнего незавидного уровня, и выход все-таки видится ушаковский: вместо схоластики ученику нужна настоящая наука о языке.

Можно опорочить грамматическую теорию «формальной» школы, но решения, которые она предлагала, во многом остаются перспективными и сейчас...

Перейдем к более детальному рассмотрению разных сторон работы Д. Н. Ушакова.

\* \* \*

Деятельность Д. Н. Ушакова была на редкость разносторонней: его работы посвящены диалектологии, лексикографии, теоретической грамматике, педагогике, описательной фонетике, стилистике, истории русского языка... Но особенной его любимицей была орфоэпия. Здесь соединились и теоретические интересы Д. Н. Ушакова, и его эстетические пристрастия, и блестящая его педагогическая практика.

Красота московской речи признана не только теми, кто ею владеет. Еще М. В. Ломоносов (который сам, несомненно, по-севернорусски окал) в своей «Российской грамматике» писал (1755): «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии. М.; Л., 1952. С. 430.

Речь самого Д. Н. Ушакова воспринималась его современниками как эстетическая ценность. А. А. Реформатский говорил: «Он был ученым, но он одновременно был и художником. Каждый его научный труд — это до некоторой степени художественное произведение... Он был и актером, декламатором, во всяком случае большим мастером устного живого слова»<sup>2</sup>.

О речи Ушакова Р. И. Аванесов писал: «Сам Дмитрий Николаевич был носителем исключительного по красоте и совершенству русского литературного произношения и обладал безошибочным языковым чутьем. Слушать его было эстетическим наслаждением. Естественно, что именно Д. Н. Ушаков был постоянным консультантом по вопросам орфоэпии во Всероссийском театральном обществе, Радиокомитете... Сохранилась пластинка с записью лекции Дмитрия Николаевича о русском произношении и чтения им же рассказа А. П. Чехова „Дачники“. Слушание этой пластинки доставило бы огромное удовольствие всем любителям и ценителям русской речи. Интересно наблюдать не только его несравненное произношение, всеми признанное. Интересна также предложенная им фразировка, которая свидетельствует о незаурядном даровании чтеца-исполнителя»<sup>3</sup>.

Орфоэпическое («московское») произношение было дорого Д. Н. Ушакову как явление культуры, как материально-очевидное выражение духовной близости людей.

\* \* \*

В эпоху, когда колебались многие основы культуры, Д. Н. Ушаков хотел спасти одну из ее опор — русскую орфоэпическую традицию.

Свои выступления в защиту орфоэпии Д. Н. Ушаков называл «походами»: «Мне вспоминаются два моих орфоэпических похода. А то, что сейчас предпринимается, — это уже третий поход»<sup>4</sup>, — писал Ушаков в 1940 г. Почему так воинственно? Потому что действительно в этом деле надо было проявить мужество, чувство независимости и сознание своей личной ответственности за культуру.

В 20-е и 30-е годы получил большое распространение вульгарный социологизм во всех гуманитарных науках. Все было пропитано запахом примитивно-извращенного «классового» подхода. Пушкин был идеологом среднепоместного дворянства, Гоголь — мелкопоместного. Языковеды тоже были оклеены ярлыками.

---

<sup>2</sup> Стенограмма заседания на филологическом факультете МГУ 23.7.1942 в память о Д. Н. Ушакове. В дальнейшем в тексте указывается: Стенограмма. Страница.

<sup>3</sup> См.: Вопросы культуры речи. Вып. 5. М., 1964. С. 17.

<sup>4</sup> Русская речь. 1973. № 3.

Естественно, традиционная орфоэпия («дореволюционная») тоже получила свой ярлык: это было произношение буржуазно-дворянской интеллигенции. Порицать его считалось очень революционным. (А защитник этого произношения Д. Н. Ушаков сразу становился подозрительным лицом.)

Уже то, что орфоэпическое произношение принадлежало интеллигенции, звучало как осуждение. «Слово *интеллигент* звучит у нас как *провока-тор*», — писал тогда известный партийный публицист Л. С. Сосновский. Итак, в защите произносительной традиции видели вредную идеологическую подоплеку.

Другим препятствием на пути орфоэпии было равнодушие, безразличие неведения. Люди, в чьих руках была культура, просто не представляли, что можно говорить орфоэпически правильно и неправильно. Они научились пользоваться носовым платком, могли прочесть газету, но до орфоэпии у них дело не дошло. Для них орфоэпия была простая блажь. Наполеон I, который, чтобы выступать публично, брал уроки у Тальма, был для них неподходящая фигура. Их негативное отношение к культуре произношения оказалось долговечным. Совсем недавно руководители радио отдали команду: нечего всякие выдумки выдумывать, по радио надо говорить, как все! Можно себе представить, какая стена в 20-е годы встала перед Д. Н. Ушаковым...

Как же Д. Н. Ушаков совершал свои походы за орфоэпию? Он поступал так, как ему подсказывало его чувство достоинства и ответственности за судьбу речевой культуры. В прямые споры с социологической вульгарностью он не вступал. Он читал доклады, лекции, выступал перед учителями, писал статьи, беседовал, объяснял, убеждал своим собственным произношением. Он сам любил правильную орфоэпическую речь, он наслаждался ее красотой и поэтому мог увлечь учителей, артистов, студентов...

А. А. Реформатский зорко увидел одну важную черту Д. Н. Ушакова: у него и в статьях, и во всей его деятельности «ясно выражены и подлинный, интимный интерес к теме, и его убежденность, и его „веротерпимость“ в отношении „инакомыслящих“»<sup>5</sup>. Это относится и к орфоэпическим его походам.

Для Д. Н. Ушакова орфоэпия была важным проявлением культуры, а культура не насаждается путем нажима. Нажим, как правило, выгоден антикультуре. Поэтому «оппортунизм» Д. Н. Ушакова в орфоэпических рекомендациях нам кажется плодотворным.

Д. Н. Ушаков в самом начале своей работы в науке открыл (вместе с Н. Н. Дурново), что в московском произношении появился новый тип редукции гласных — йканье. Открытие было до того неожиданным, что Ф. Е. Корш, сам блестящий фонетист, сперва не поверил молодым ученым и

---

<sup>5</sup> Вопросы культуры речи. Вып. 5. С. 7.

лишь потом нехотя согласился с ними. Д. Н. Ушаков обладал искусством схватывать то, что в языке возникало как новшество. В отношении йканья дело было легкое: Ушаков нашел и узаконил то, что было свойственно его собственному произношению. Но он был готов и на орфоэпическую самоотверженность (сознаемся, что немногие на нее способны). Он признавал законность и перспективность новшеств, которые противоречили его собственному речевому опыту. С. Б. Бернштейн вспоминает: «Уже в конце 20-х годов Д. Н. Ушаков не требовал от нас произношения *жылеть, шыги, высокый, тихый*, был снисходительным к произношению твердого *р* в словах *кормить, корни, первенец* и мн. др.» (81). В этом признании нового Д. Н. Ушаков считал необходимым руководствоваться не зыбкими «нравится» — «не нравится», а только реальными тенденциями развития языка. Он хотел узаконить в произношении те новшества, «которые могли бы считаться продуктом прогрессивного процесса в языке и имели бы право претендовать на место в языке общерусском»<sup>6</sup>.

Еще один штрих. Л. В. Щерба считал, что иканье не сможет одолеть экающую произносительную норму, что эканье занимает в произношении наиболее прочное положение. И в качестве довода прибавлял: если бы победило иканье, то это было бы изменение в языке, лишённое всякой идеологии, поэтому оно невозможно! Как видно, Л. В. Щерба поверил (или сделал вид, что поверил), будто в языке, даже в фонетике, все пропитано идеологией. Нельзя себе представить, чтобы Д. Н. Ушаков аргументировал таким образом. Ни разу он не пытался «подкрепить» свои доводы идеологической аргументацией — это противоречило самому духу его деятельности, его жизни!

\* \* \*

«Принято считать, — говорил М. Н. Петерсон, — что общее языковедение не было специальностью Дмитрия Николаевича. Это не совсем правильно, ибо вся деятельность Дмитрия Николаевича была посвящена общему языковедению, только проблемы общего языковедения решались им на русском материале»<sup>7</sup>. Особенно верно это по отношению к грамматическим работам. Д. Н. Ушаков выступил как горячий, энергичный, неустанный распространитель, поборник, защитник, истолкователь и — это важно — усовершенствователь учения о грамматической форме Ф. Ф. Фортунатова. В чем же суть этого учения?

---

<sup>6</sup> Ушаков Д. Н. К вопросу о правильном произношении // Вопросы культуры речи. Вып. 5. С. 15.

<sup>7</sup> Стенограмма. С. 66.



...М. В. Ломоносов писал: «Взирая на видимый сей свет, двоякого рода бытия в нем находим. Первого рода суть чувствительные в нем вещи, второго рода суть оных вещей разные деяния. (...) Изображения словесные вещей называются имена, например: небо, ветер, очи; изображения деяний — глаголы, например: синееет, веет, глядят»<sup>8</sup>. И далее: «Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оное вещи деяние. Например: *земля тучнееет*»<sup>9</sup>. Язык рассматривается как прямая копия действительности. Это мнение пережило и XVIII, и XIX в. и продолжает, сильно затвердев, свое существование в наши дни.

Иной взгляд можно сформулировать так: язык имеет право выбора, и «самое нужное» в грамматической системе одного языка в грамматической системе другого языка может отсутствовать. Какие значения воплощены грамматикой данного языка, можно судить только по самому языку, — эта мысль была на пороге сознания некоторых лингвистов, но ясного и категорического ее приятия не было.

Ф. Ф. Фортунатов пошел на разрыв с традиционным мнением. Каждый язык сам себя строит. Это и легло в основу деятельности московской (фортунатовской) лингвистической школы: изучать язык в его внутренней сути, не пытаясь эту суть растворить в сопредельных науках или извлечь эту суть из внеязыковых областей. Контакты с другими науками желательны, но не с целью подгонки языка к другим социальным или природным явлениям.

Что же характеризует язык как его основная черта и отделяет от сущностей иного рода? К общей мысли (или к близким мыслям) об этой сути одновременно подошли три великих ученых конца XIX — начала XX в.: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Ф. Ф. Фортунатов.

Это мысль о системе.

Выражение: «язык — это система» — стало общеупотребительным, затрепаным и семантически большей частью опустошенным. Под системой понимают просто упорядоченность. «Нет безобразья в языке! Полный порядок!» — вот вам и весь смысл понятия «система» в общем употреблении. Один из лингвистов приводил такой пример «системы» (чтобы потом применить его к языку): парты свалены в углу комнаты — системы нет; расставлены рядами — есть система.

У Соссюра (так же как у Бодуэна де Куртенэ и Фортунатова) это понятие было глубоко содержательно. Система — это осуществление принципа: единица *A* существует только потому, что существует единица *B*, и одновремен-

<sup>8</sup> Ломоносов М. В. Указ. соч. С. 418.

<sup>9</sup> Там же.

но: единица *Б* существует только потому, что существует единица *А*. Полностью системна грамматика. У существительных формы множественного числа возможны лишь в том случае, если есть формы единственного числа. И, в свою очередь, формы единственного числа предполагают существование форм множественного; в противном случае существительное просто не изменяется по числам. Грамматическое значение времени осуществляется только в том случае, если формам прошедшего времени противопоставлены формы настоящего. Грамматическое значение — это всегда отношение грамматических фактов. В лексике значение одного слова «окружено», поддержано и семантически определено значениями других слов. В фонетике сущность каждой единицы охарактеризована тем, с какими другими единицами она связана в той же позиции и с какими сопоставлена (путем позиционного чередования) в других позициях...

Системен весь язык целиком. Это его специфическая черта. Она настолько специфична именно для языка, что в других областях реальности ей нельзя найти прямого аналога. (Параллель с родственными отношениями — «без племянника человек не дядя» — годится в качестве учебного наглядного пособия, но по существу ложна: родственные связи имеют безусловный биологический характер, а языковые связи условны.)

Двигаясь далее в глубь специфики языка, мы обнаруживаем, что он — позиционная система. Но в трудах Фортунатова позиционный характер всех отношений в языке представлен в скрытой форме. Полностью эта характерность языка была развернута у преемников Ф. Ф. Фортунатова.

Итак, язык — это совокупность отношений; именно этой идеей проникнуто все учение Ф. Ф. Фортунатова о языке. Эта же идея формирует его теорию грамматической формы. Прежде всего надо сказать о термине «форма» в употреблении Фортунатова. Расхожее понимание этого слова: форма — нечто внешнее, то, что служит «оболочкой», «оберткой» для содержания. При этом можно многократно повторять, что форма существенна (имеется в виду, во вторую очередь, после содержания), что всякое содержание оформлено (имеет свою оболочку), но все равно она остается чем-то добавочно-второстепенным. Ф. Ф. Фортунатов в своем употреблении слова «форма» исходит из традиций классической философии XIX в. (известно, что он серьезно изучал классиков немецкой философской мысли). Форма — это принцип организации. Это то, что определяет строение объекта исследования, это конструктивное выявление его сущности. Именно таким конструктивным выявлением грамматических сущностей и является у Фортунатова грамматическая форма.

В простейшей формулировке: грамматическая форма — это связь определенного грамматического значения с его особым («отдельным») выражением.

Сама действительность не подскажет, что должно быть выражено в грамматической системе данного языка. «...Каждый язык должен быть изучаем в нем самом...»<sup>10</sup>.

Теперь более детальное рассмотрение этого понятия в формулировках самого Ф. Ф. Фортунатова. Обратимся к его разъяснениям.

1. «Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется... способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова» (136). Основная принадлежность в слове — это его основа; формальная принадлежность — аффикс. Речь, следовательно, идет о членении слова: в слове соотнесены лексическая и грамматическая части.

2. «Всякая форма слов, образуемая аффиксом, предполагает существование другой формы, в которой те же основы являются без данного аффикса, т. е. или с другим аффиксом, или без всякого аффикса...» (141). Грамматическая форма требует соотносительности грамматических единиц, различающихся аффиксами.

3. «... Для того чтобы выделилась в слове для сознания говорящих известная принадлежность звуковой стороны слова в значении формальной принадлежности этого слова, требуется, чтобы та же принадлежность звуковой стороны и с тем же значением была сознаваема говорящими и в других словах, т. е. в соединении с другой основой...» (137).

Следовательно, грамматическая форма требует двух рядов отношений:

*нес-ёшь, нес-ёт* (см. п. 2);

*бер-у, бер-ёшь* (см. п. 3).

В основе идеи грамматической формы, как видим, лежит идея отношения: «... Всякая форма в слове соотносительна с другой, т. е. предполагает существование другой...» (137).

Из слов Фортунатова следует, что грамматическая форма требует трех отношений: а) слово должно делиться на две части, лексическую (основа) и грамматическую (аффикс, «грамматическая принадлежность»). Это отношение — лексической и грамматической частей — возможно только потому, что существуют два других отношения; б) данное слово соотносится с другим, у которого та же основа, но другой аффикс; в) данное слово соотносится с другим, у которого тот же аффикс, но другая основа. «Та же», «тот же» — и в смысловом отношении, и в звуковом.

Не случайно в своих определениях понятия «грамматическая форма» Ф. Ф. Фортунатов не раз использует слово *отдельно*. *Отдельно* — значит в виде особого знака.

---

<sup>10</sup> Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. 1. М., 1956. С. 49. Далее в тексте ссылки на страницы этого издания.

Есть или отсутствует в языке определенный знак с данным грамматическим значением — это решается языковыми отношениями. Отдельно — от вещественной, лексической части слова. Отдельно — от значений, выражаемых другими аффиксами при той же основе. Отдельно — в соотношении с лексической частью и с другими аффиксами при той же лексической части.

Итак, грамматическая форма — это отношение. Знаки (основы, аффиксы) понимаются не как набор кубиков, которые можно ставить рядом друг с другом, менять их комбинации, — нет, представление о грамматической форме у Фортунатова полно динамики. Грамматическая форма — скрещение лучей, или наложение друг на друга световых пятен, или пересечение плоскостей (двух рядов отношений: *вода, водный, водица, наводнение* — *вода, трава, борода, коза*).

Начал Ф. Ф. Фортунатов разъяснение понятия грамматической формы на материале аффиксов, но сейчас же распространил на все другие грамматические способы: внутреннюю флексию, повторение основ, порядок слов и т. д. Толки о том, что он ограничил грамматику одной аффиксацией, совершенно ложны.

Оценивая факты языка с этой новой и непривычной точки зрения, Ф. Ф. Фортунатов был непримиримо последователен. И это помогло ему сделать ряд открытий. Оказалось, что отсутствие знака можно рассматривать как знак, если соотношения с другими единицами этого требуют. Так были открыты нулевые морфемы, шире — нулевые грамматические единицы. Ф. Ф. Фортунатов писал: «Формальные принадлежности слов в их формах могут быть не только положительными... но и отрицательными...» (137). «... Не только присутствие известного аффикса в сочетании с основами служит для образования известной формы, но и вследствие этого и отсутствие всякого аффикса при тех же основах в других словах образует также форму слов по отношению этих к словам, заключающим те же основы в сочетании с аффиксами» (140). Из слов Фортунатова видно, что только системные отношения позволяют установить класс нулевых единиц.

Общеизвестно, что в 20—30-е годы были открыты немаркированные члены противопоставлений, они охарактеризованы в трудах Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона (пражская лингвистическая школа), В. Н. Сидорова (московская лингвистическая школа). Об этих единицах можно так вкратце дать представление.

Сопоставим: *парижанин, эстонец, англичанин* (названия лиц по месту жительства и по национальности, обозначают мужчин) — *парижанка, эстонка, англичанка* (тоже название лиц, но обозначает женщин). Еще сопоставление: *учитель* — *учительница, директор* — *директриса, билетер* — *билетерша, чертежник* — *чертежница, корреспондент* — *корреспондентка* (назва-

ния лиц по сфере занятий). Но в этом противопоставлении слово жен. рода называет женщину, а слово муж. рода не содержит указания на пол: *Пастернак — поэт*, и *Ахматова — поэт* (и вместе с тем *поэтесса*). Итак, существуют ряды единиц, где один член противопоставления обладает указанием на определенный признак, а другой обладает отсутствием этого указания. Это — немаркированный (неотмеченный) признак противопоставления. Такие единицы играют большую роль в языке. Досконально их стали изучать в 20—30-е годы нашего века, но впервые их заметил Ф. Ф. Фортунатов. Термина он не ввел, но последовательно отмечал немаркированные грамматические единицы при толкованиях их значения: в индоевропейском языке «основным значением формы среднего залога было значение возвратное... Форма не-среднего залога, так называемого действительного, не имела этого значения и этим только отличалась от формы среднего залога». Различались формы перфекта и имперфекта, «первая обозначала данный признак в полноте его проявления во времени, а вторая не имела этого значения, т. е. обозначала тот же признак без отношения к полноте его проявления во времени». В формах имперфекта различались форма длительного вида и форма недлительного: «первая обозначала данный признак в его длительности, а вторая — без отношения к длительности». Формы изъявительного наклонения не обозначали действие (в отличие от желательного наклонения) «как ожидаемое лишь в мысли» и потому могли обозначать его (по отношению к данному субъекту) «и как являющееся в действительности» (159—161). Последовательно устанавливаются немаркированные категории и для имен, и для глаголов.

Так богато было содержание грамматической теории Ф. Ф. Фортунатова. Более того: на основе своей теории грамматической формы он, во-первых, построил грамматическую классификацию словоформ и, во-вторых, определил, какие словоформы должны входить в пределы одного слова.

Все грамматические способы создания слов делятся на словообразовательные и словоизменительные. Словоформы со словоизменительными грамматическими формами можно классифицировать по тому, в какие противопоставления они входят. Получились такие группы:

- 1) слова, которые изменяются по падежам: *дом, вода...* (существительные);
- 2) слова, которые изменяются по падежам и родам: *голубой, мой, сверкающий...* (прилагательные);
- 3) слова, которые изменяются по родам (но не по падежам): *высок, написан, читал*;
- 4) слова, которые изменяются по лицам: *читаю, напишу, иди...* (глаголы);
- 5) неизменяемые слова: *кенгуру, всегда, смеясь, беж, когда, хотя, но...* и пр.

Положительные и спорные стороны этой классификации обнаружились в 20-е годы, когда эта классификация вошла в практику школы. Об этом

расскажем дальше, когда речь у нас пойдет об Ушакове — работнике просвещения.

Если же оценивать в целом грамматическую теорию Ф. Ф. Fortunatova, то надо отметить, что с нее начинается новая эпоха в изучении грамматики, и по своему значению она конгениальна (пронизана «одним духом») с учениями Бодуэна де Куртенэ и Соссюра.

Недостатки ее обусловлены двумя причинами: Fortunatov, добиваясь особой точности в передаче мысли, часто излагал ее сложным, тяжелым языком и тем затруднял «вхождение» в нее; он часто был неудачлив в своих терминологических новациях. Термины, даже хорошо объясненные, вводили читателя в заблуждение. Так было в первую очередь с термином «форма». Привычное значение этого термина: то, что относится к внешности, в данном случае — к звуковому выражению значений. И хотя из текста работ Ф. Ф. Fortunatova стократно явствует, что он имеет в виду именно связь значения и выражения, что именно это он называет формой, все же читатель всегда готов соскользнуть на свое привычное понимание.

Другой недостаток этого термина — многозначность. Первое значение: слова «грамматическая форма» употребляют для обозначения падежных форм имен, личных форм глагола, т. е. единиц, входящих в парадигму определенного слова: *рукой* — грамматическая форма существительного *рука*. Это значение общеупотребительно, оно используется и Fortunatovым.

Второе значение: грамматическая форма у Ф. Ф. Fortunatova — это членность грамматических единиц на вещественную и грамматическую части.

Третье значение: это связь грамматического значения с грамматическим выражением, специфическое для данной единицы соотношение смысла с фонетическим сигнализатором. Ф. Ф. Fortunatov, например, пишет: «... Всякая форма в слове является общею для слов с различными основами...» — и пример такой: «... слово *несу* в русском языке включает в себе известную форму, общую ему, например, с словами *веду, беру...*» (137). Здесь формой названа флексия *-у* со значением 1-го лица.

Третье значение неразрывно связано со вторым: членность грамматических единиц на вещественную и грамматическую части («форма» во втором значении) возможна только потому, что есть единицы, обладающие единством грамматического значения и выражения («форма» в третьем значении). Но все же это два разных аспекта единой мысли.

Такая многозначность слова «форма» (в грамматическом смысле) мешает ясности его употребления.

Общее значение теории Ф. Ф. Fortunatova удачно характеризовал Л. В. Щерба: «Историческое значение формального метода сводится к тому, что это учение подвергло критике старую грамматику и утвердило положе-

ние: не устанавливать таких смысловых категорий в языке, которые не имели бы того или иного внешнего выражения...»<sup>11</sup>.

В чем же заслуга Д. Н. Ушакова? Во-первых, он выбрал эту вершину научной мысли, глубоко усвоил дух фортунаатовской теории, понял самую сердцевинную ее суть. Во-вторых, он выступил как ее талантливый популяризатор. Фортунатов свою мысль выражает с предельной точностью, но часто сложно, громоздко, с тяжелой и неповоротливой доскональностью, считая, что читателю неплохо и потрудиться. Замечательно, что он был неумолимо точен в изложении своих теоретических взглядов — предупредил разнотолки и колебания в понимании их. Но важно принять во внимание и другую сторону: необходимо было эти мысли, без потери их глубокой сути, сделать доступными широкому кругу читателей. Такое важное дело и выполнил Д. Н. Ушаков. Изящество, простота, прозрачность изложения — в данном случае это были не просто достоинства стиля. В этом была судьба теории: будет найден доступный язык для ее изложения — и она завоеует внимание учителей, студентов, широкого круга работников слова... Ушаков нашел такой язык.

Основополагающие труды Фортунатова выходили ничтожными тиражами, печатались на гектографе как лекции для студентов — слушателей Фортунатова. Общественность (филологическая) знала эти труды по изложению их в книге Д. Н. Ушакова «Краткое введение в науку о языке» (и по немногим другим изложениям).

Наконец, в-третьих: Д. Н. Ушаков, преданно следуя путями Ф. Ф. Фортунатова, искал и свои дороги, в продолжение и развитие мыслей учителя. Остановимся на его вкладе в «формальную» грамматику.

Эволюция идей московской лингвистической школы в самых общих чертах может быть представлена так. Труды Фортунатова и первых его учеников — этап овладения идеей системы (в ее лингвистическом значении). И это связано с требованием сосредоточиться на специфике языка, на его «особливости». Ранее язык постоянно растворяли то в логике, то в поэтике, то в психологии — но ведь особенно важно узнать его собственные черты, те, которыми он определен в его специфике. Важнейшая из этих черт — с и с т е м -

---

<sup>11</sup> Щерба Л. В. Формальное направление грамматики // Родной язык в школе. Кн. 1 (2). М.; Л., 1923. С. 95. Так пронизательно подчеркнув, что «формальная грамматика» касается именно смысловых категорий, Л. В. Щерба, однако, тут же пишет: «С научной точки зрения формальное направление не выдерживает критики, так как формы (!) могут быть вскрыты лишь при параллельном анализе их значений». То есть: хороша формальная школа — она отдала должное внимание значениям. Но плохо тем, что не отдала внимания значениям... Так термин «форма» приводил к заблуждениям.

ность. Системность характерна и для других семиотических систем; но не от семиотики получила лингвистика идею системы, а, наоборот, одарила ею семиотику, и это понятно: язык — универсальная семиотическая система, и все остальные можно рассматривать как вырожденную ступень естественно-го языка; и само понятие языковой системы в них в том или ином отношении вырождено, не выступает в своей полноте<sup>12</sup>. Эту идею Фортунатова разделяли Ушаков, Дурново, Петерсон и другие фортунатовцы.

Но подспудно готовился уже следующий шаг: понять язык как позиционную систему. Разграничить единицы, независимые от контекста, и единицы, обусловленные контекстом. Первые шаги в этом направлении замечаем уже у Фортунатова.

У Фортунатова читаем: «К формам словоизменения в сказуемом предложении принадлежат: а) формы самой сказуемости, обозначающие различия в открываемом мыслью отношении данного предмета мысли, образующего сказуемые предложений, к другим предметам мысли, образующим подлежащие к этим сказуемым (таковы в индоевропейских языках формы наклонения и времени в словах, называемых глаголами), и б) формы, образующие известное уже отношение данного предмета мысли, образующего сказуемые предложений, к различного рода другим предметам мысли, образующим подлежащие к этим сказуемым (таковы в индоевропейских языках формы лица в глаголах). В формах словоизменения во второстепенных частях предложений могут различаться: а) формы, обозначающие различия в самих отношениях данного предмета мысли к другим, отдельным от него, предметам мысли, образующим части в данных предложениях, причем эти отношения являются известными уже, познанными прежде (таковы формы склонения существительных слов), и б) формы, обозначающие известное уже отношение данного предмета мысли как несамостоятельного (т. е. как признака) к различного рода самостоятельным предметам мысли, образующим части в данных предложениях (таковы в индоевропейских языках формы словоизменения в роде имен прилагательных)» (155—156; выделено везде мною).

Это значит: выбор лица глагола уже предопределен подлежащим: если *я* — то *иду*, если *ты* — то *идешь*, если *поезд* — то *идет*. Иное дело наклонение и время: подлежащее *ты* дает возможность выбрать *идешь* или *иди*, *идешь* или *шел*. Точно так же и род прилагательного, и падеж существительного (при сильном управлении) предопределены грамматическим контек-

---

<sup>12</sup> Это не относится к искусству. Является ли искусство семиотической системой в полном смысле слова или выходит за ее пределы — вопрос сложный, и мы его здесь, конечно, обсуждать не будем.



стом. Используя более позднюю терминологию: выбор грамматической формы определен грамматической позицией. Так появилось в работе Ф. Ф. Фортунатова признание позиционных связей.

Дальнейший шаг делает Д. Н. Ушаков: «... Различия между, например, *стол, столы, столик, столовая* одинаковы, в связи ли или вне связи с другими словами мы их скажем; а различия между, например, *рука, руку, рукой* не имеют значения вне сочетания этих слов с другими...». Первые различия «называются формальными принадлежностями словообразования, а формы, ими образованные, — формы словообразования; вторые — формальными принадлежностями словоизменения, а формы, ими образованные, — формами словоизменения»<sup>13</sup>.

У Фортунатова речь шла о выборе грамматических значений, о закреплённости или свободе (многовариантности) этого выбора; у Д. Н. Ушакова — о выборе форм. И высказана смелая мысль: выбор данной словообразовательной формы не зависит от грамматического контекста, а выбор словоизменительной формы существует именно для данного грамматического контекста, им обусловлен, от него зависит. Можно ли положить этот принцип в основу различения словообразования и словоизменения? Текст Д. Н. Ушакова не решает этот вопрос, но допускает возможность разработки или обоснования такого решения.

До создания позиционной грамматики путь (даже и сейчас) предстоит очень неблизкий, но это — путь. Вступил на него Д. Н. Ушаков.

Во всяком случае, мысль о том, что между словообразовательными и словоизменительными формами существуют различия, связанные с их позиционным поведением, глубоко плодотворна.

Сложен вопрос о психологизме в теоретических построениях Ф. Ф. Фортунатова. В начале XX в. у многих лингвистов была тяга к психологическим истолкованиям языковых фактов. Они рассуждали о том, как воспринимается, «чувствуется» говорящими та или иная грамматическая форма, определённая грамматическая категория. Это характерно для работ и И. А. Бодуэна де Куртенэ, и Ф. Ф. Фортунатова. Хотя, казалось бы, все лингвистические устремления Фортунатова уводили его прочь от психологических соблазнов!

Дело, очевидно, в том, что Фортунатов (так же как Бодуэн де Куртенэ) потребовал строгого разграничения фактов, свойственных одной эпохе в жизни языка, и фактов предшествующих эпох. Это — живой нерв всех научных построений Фортунатова. Если нет такого разграничения, если спутаны данные прошлого и настоящего, невозможно изучать язык как системное целое.

---

<sup>13</sup> Ушаков Д. Н. Краткое введение в науку о языке. М., 1929. С. 68. Далее в тексте даются ссылки на страницы этой работы.

Казалось, что надежный критерий такого различия — обращение к психологии говорящих. Если есть определенные противопоставления в сознании говорящих, значит, они живые, относятся к современному состоянию языка, не привнесены искусственно из исторического прошлого. Как орудие в борьбе за разграничение диахронии и синхронии (здесь уместно использовать термины Ф. де Соссюра, единомышленника Фортунатова и Бодуэна) сознание говорящих было «с руки» этим исследователям языка.

Но, с другой стороны, это противоречило глубокой идее Фортунатова: изучать язык в себе самом, не подменяя его специфику категориями других наук. Так, одним из постоянных стремлений Фортунатова было освободить грамматику от логицистских пут, от подгонки синтаксических понятий под понятия логики. И это Фортунатову блестяще удалось.

Грамматика рассматривалась Фортунатовым как определенное устройство, где все функционально обусловлено, где работа одной части грамматического механизма определяется работой других частей. И соображения о том, что чувствуется говорящими, как ими оценивается то или иное грамматическое явление, в такой теории — инородное тело.

И естественно, что второе поколение московской лингвистической школы — В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов, Г. О. Винокур, А. М. Сухотин, Р. И. Аванесов — отворачивается от психологизма и свои грамматические работы строит на строго системных, строго позиционных началах.

Д. Н. Ушаков первый сказал «нет» психологизму. Его словоупотребление еще во многом психологично, он пишет о «сложных представлениях и чувствованиях, которые переживает говорящий» (61), но это — проявление инерции. Он заявляет прямо и ясно, что лингвистика сильна своей самодостаточностью, что она должна отличать свои категории от психологических. При анализе предложения «надо прежде всего дать себе отчет, что мы будем разбирать: возможное психологическое суждение, лежащее в основе этого предложения, или логический смысл предложения, или грамматическое его выражение» (98). «Формальная точка зрения ищет для предложения формальных, языковых признаков и требует, чтобы члены предложения определялись теми формами, в которых являются в предложении слова и их сочетания» (99).

Антипсихологизм не проведен Д. Н. Ушаковым категорически через всю систему лингвистических взглядов (это сделали А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров и другие ученики Ушакова; значительный вклад в этот теоретический акт сделал и Н. Ф. Яковлев). Но такой подход недвусмысленно явлен. У Фортунатова этого не было.

Многие основные идеи у Д. Н. Ушакова представлены более концентрированно, с категоричностью, не допускающей кривотолков, — более прямо и

настойчиво, чем в работах Фортунатова. О системности грамматики говорится так: «... Форма может существовать в слове лишь соотносительно с другими словами; ... формы слов в языке могут существовать лишь постольку, поскольку те или иные слова соотносительны между собой... И если, вследствие исторического изменения в языке, случилось бы так, что от прошлого уцелело бы одно только слово, имевшее известную форму, то для настоящего эта форма в нем не сознавалась бы, или, что то же, не существовала бы уже» (69).

Так богата содержанием книга Д. Н. Ушакова «Краткое введение в науку о языке».

Книга не переиздавалась с 1929 г., но оставила по себе хорошую память. «В его курсах „Введения в языковедение“ строгая научность сочеталась с простотой и живостью изложения, была насыщена яркими и интересными, доступными начинающим студентам материалами. Они приохотили многих студентов-словесников к лингвистике как науке. Недаром его университетское пособие „Краткое введение в науку о языке“... до сих пор рекомендуется в вузовских программах»<sup>14</sup>.

«Мы все начинали подготовку к экзаменам по курсу введения в языковедение с изучения „Краткого введения“. Я не раз слышал высокомерные отзывы об этой книге. Не могу с ними согласиться. Я убежден, что начинать знакомство с языкознанием и теперь следует с „Краткого введения“. У него есть достоинства, которых нет во многих толстых и ученых руководствах, опубликованных в последние десятилетия», — писал С. Б. Бернштейн в 1973 г.<sup>15</sup>

У книги Д. Н. Ушакова есть недостаток, который бросается в глаза: она написана слишком просто (вот, кстати, откуда «высокомерные отзывы»). Ее легко читать, легко вместе с нею думать — у читателя возникает чувство, что все, что он читает, элементарно и «само собой разумеется». Единство и целостность концепции, ее глубокие основы, принципиальное новаторство книги (она и сейчас нова и во многом идет наперекор массовой лингвистической продукции) — все это разглядеть не так легко. Прозрачность самого языка книги мешает заметить ее глубину. Но можно предположить, что новый читатель будет внимателен и вдумчив и тогда он легко простит автору «Краткого введения» этот недостаток.

В ряду выдающихся «Введений в языковедение» И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова, Е. Д. Поливанова, А. А. Реформатского книга Д. Н. Ушакова по-прежнему занимает достойное и почетное место.

---

<sup>14</sup> *Аванесов Р. И.* Дмитрий Николаевич Ушаков // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1973. Вып. 2. С. 203.

<sup>15</sup> *Бернштейн С. Б.* Дмитрий Николаевич Ушаков (страницы воспоминаний) // Вестник Моск. ун-та. Филология. 1973. № 1.

\* \* \*

К началу XX в. русская диалектология обогатилась уже целым рядом выдающихся научных трудов. Но накопленные знания имели выборочный характер. Об одних местностях (даже в европейской части России) было собрано много материалов, другие были представлены единичными и случайными наблюдениями. Вместе с тем неравномерно были освещены в диалектологических трудах и разные стороны языка. Поэтому описания отдельных диалектов часто были несопоставимы друг с другом и не создавали возможностей для широких обобщений.

В 1911 г. по инициативе А. А. Шахматова была создана Московская диалектологическая комиссия. Председателем ее стал (опять-таки по предложению Шахматова) Ф. Е. Корш — крупнейший лингвист, полиглот, специалист по античной культуре, по тюркскому языковому миру, по древнерусскому искусству слова, по славянской поэзии, по сравнительному языкознанию, по сравнительному (славянскому, иранскому, тюркскому, античному) стиховедению. И, кроме того, в данном случае самое важное — тончайший наблюдатель живого русского языка. С самого начала работы комиссии товарищем председателя (т. е. его помощником) был избран Д. Н. Ушаков. После смерти Ф. Е. Корша в 1915 г. Д. Н. Ушаков — бессменный председатель комиссии до 1931 г., когда она по чиновничьему произволу была ликвидирована. Что было необычно в работе комиссии? Нужна была решительность мысли, чтобы с призывом записывать диалектные данные обратиться не к одним только ученым-специалистам, а ко всей массе сельской интеллигенции — к каждому учителю, агроному, конторскому служащему, священнику и к грамотным крестьянам! И смелость Московской диалектологической комиссии была необыкновенно щедро награждена — народом: на ее призыв откликнулось много читателей народного языка, и в том числе крестьяне.

Потом Д. Н. Ушакову это демократическое доверие к неспециалистам было поставлено в вину: зачем использовал неквалифицированную информацию, зачем опирался на мнение людей с непроверенными анкетными данными! Но Д. Н. Ушаков был прав в своем доверии к рядовому наблюдателю диалекта. Пусть среди этих сведений окажутся и ошибочные, но при массовом притоке фактов они будут взаимно корректировать друг друга — неверные данные отсекутся.

С самого начала комиссия поставила цель: создать диалектную карту европейской части России, включающую говоры русского, белорусского и украинского языков. Размах работы был громаден. Без преданности родной речи, без самоотверженной любви к ней она была бы невозможна. (Не забудем, что для Ушакова и его сотрудников и украинский, и белорусский языки входили в круг понятия «родной язык».)

За короткое время было собрано достаточное количество материала, чтобы создать такую карту и в 1915 г. выпустить ее в свет, сопроводив очерком диалектологии — характеристиками говоров всех трех языков<sup>16</sup>.

Но, как всегда у Д. Н. Ушакова, в этой работе была и большая теоретическая мысль, важная для изучения диалектной речи, для понимания соотношения говоров друг с другом.

Диалектология, естественно, требует карты. Если изображается единичное диалектное явление, то проводится какой-то контур, обнимающий всю площадь этого явления; вне контура — нечто иное, безразлично что, важно — не это явление. Факты изучаются как изолированные предметности — вне системного соотнесения.

Но задача может быть и другая: изобразить «ковер» говоров, показать их соотношения в пространстве и в языковой их сути. То есть определить различительные признаки, на основании которых можно классифицировать говоры. Надо сами эти признаки соотнести, построить из них систему (в фортуна-товско-сосюрковском смысле слова). И эта система не может не быть позиционной. Например, установлены разные диалектные системы безударного вокализма: яканье умеренное, яканье ассимилятивное, сильное, диссимилятивное (разных типов). Набор звуков во всех этих системах один и тот же. (Если есть артикуляционные различия, то на определенном уровне системной абстракции они снимаются.) Не набором единиц отличаются эти диалектные системы, а их позиционным размещением. Так проблема позиции была выдвинута самой задачей составления диалектного атласа.

В то же время эта задача связана с системным пониманием языковых сущностей: проведены границы между говорами; диалектное явление *А* (существующее по одну сторону границы) и диалектное явление *Б* (наличное по другую сторону) взаимно ограничивают и взаимно определяют друг друга. Это и есть системные отношения.

Итак, три новшества, принципиально обогащающих лингвистические знания: системное понимание диалектных отношений, а для этого — определение дифференциальных признаков, отличающих говоры, а для этого — последовательно проведенный позиционный взгляд на фонетические явления.

Уже у А. А. Потебни, в его работе «О звуковых особенностях русских наречий» (1866), было широко использовано понятие «позиции». Но мир Потебни — это мир, где все подчинено безостановочным временным изменени-

---

<sup>16</sup> Труды Московской диалектологической комиссии / Под ред. пред. комиссии Д. Н. Ушакова. Вып. 5. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе: (С прилож. Очерка русской диалектологии) / Сост. чл. комиссии Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов и Д. Н. Ушаков. М., 1915.

ям. Гласные в говорах протекают сквозь сеть позиций. Слово — решето: сквозь его ячейки (позиции) струятся, изменяясь, сливаясь и разъединяясь, звуки говора. Позиция важна как средство показать непостоянство звука. А так как говоры можно представить как разные временные срезы, то оказывается, что звуки протекают сквозь время, сквозь пространство диалектов, сквозь «пространство позиций».

И. А. Бодуэн де Куртенэ — отрицание этого взгляда (в развитии лингвистики — новый виток диалектической спирали). Звуки позиционно изменяются, но в их изменениях есть строгие законы. И поэтому звуки, если различие между ними позиционно обусловлено (т. е. строго закономерно), образуют тождество, константу, которую И. А. Бодуэн де Куртенэ назвал «фонемой». У Бодуэна де Куртенэ был каркас терминов, теоретическая схема, гениально намечающая дальнейшее развитие лингвистической мысли; факты использовались только как иллюстрации этого каркаса.

В диалектологических работах Д. Н. Ушакова, Н. Н. Дурново и других деятелей Московской диалектологической комиссии огромный фактический материал, фонетические системы множества говоров были проверены позиционной меркой. Например, замечательна была работа «московских» диалектологов по открытию систем диалектного безударного вокализма. Каждый говор подвергался экзамену; у него спрашивали, как в нем ведут себя гласные:

под ударением и без ударения;

в первом безударном слоге и в остальных безударных;

перед твердым и перед мягким согласным;

после твердых и после мягких согласных;

перед гласными типа [а] и перед гласными типа не-[а]...

Так были установлены разные типы, например, диссимилятивного яканья. В качестве исследовательского орудия послужило установление сложных (состоящих из 5 условий) позиционных зависимостей.

Многим, возможно, покажется парадоксальным мнение, что Д. Н. Ушаков и его соратники ближе к фонологии, чем Л. В. Щерба. Но это мнение справедливо.

Л. В. Щерба в своих фонологических работах решал два вопроса: 1) как определить количество фонем в данном языке; 2) как установить, какие звуки входят в пределы одной фонемы («принадлежат» одной фонеме). Первую задачу Щерба решает на позиционном основании: фонем столько, сколько звуков в позиции наибольшего различия. Второй вопрос решается при полном отказе от позиционного критерия: в одну фонему объединяются звук в сильной позиции и все похожие на него звуки в слабых позициях (любых, без различия!). Основа объединения — не позиционное размещение, не функция, а чисто физическое (акустическое) и артикуляционное сходство. Так идея фо-

немы подменяется тривиальным понятием звукового типа. Ответом на второй вопрос Щерба зачеркнул фонологичность первого<sup>17</sup>.

Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново и их единомышленники уже в работах начала века оба вопроса решали строго позиционно. Термина «фонема» у них не было, но по существу они вплотную подошли не к «ущербной» (как каламбурил А. А. Реформатский), а к подлинной теории фонем.

Например, типы вокализма устанавливались так. Определяли звуки в позиции наибольшего различия: под ударением, перед твердым согласным. Затем анализировали звуки в слабых позициях (см. выше) и тем самым анализировали сами позиции, их различительную силу. В каждом говоре были установлены позиционные чередования. Например, при диссимилятивном яканье жиздринского типа гласные [ô — о — ê — э — а] после мягкого согласного в первом предударном слоге перед слогом с гласными [и — у — ô — о — ê — э] реализуются звуком [а], а перед ударным [а] — звуком [и]. Чередование позиционно, то есть определяется позицией, оно осуществляется во всей массе слов (с исключениями для слов, заимствованных из литературного языка). Таким образом, выстраиваются ряды позиционно чередующихся звуков.

Описывая аканье, Д. Н. Ушаков относит к нему не только те случаи, когда гласные *о* и *а* одинаково произносятся как *а*, — он говорит о том, что всякое совпадение этих гласных, каким бы звуком оно ни выражалось, тоже является аканьем. Совпадение этих гласных в звуке *и* (или *э*) в безударных слогах после мягких согласных — «одна из сторон того же многогранного явления в истории звуков русского языка, в широком смысле называемого аканьем» (Орфоэпия и ее задачи. — С. 23—24). Таким образом, для понятия «аканье» существенной оказывается не чисто акустическая данность («говорят на *а*»), а ее функциональная сторона: неразличение гласных, которые в других позициях различаются. А это и есть сердцевина фонологии — понятие нейтрализации.

Характеризуя чоканье, Д. Н. Ушаков и цоканье рассматривает как частный случай чоканья, так как в этих двух случаях суть одна: неразличение *ч* — *ц*. Так близка Д. Н. Ушакову идея нейтрализации (в пределах одного диалекта и в междиалектных отношениях), хотя термин «нейтрализация» он не употреблял.

Для того чтобы это была теория фонем — настоящая, целиком функциональная, не половинчатая, как у Щербы, — Ушакову не хватало только термина «фонема». Слово *фонема* подчеркивает функциональное единство всего

<sup>17</sup> Оставляем в стороне вопрос о зависимости взглядов Л. В. Щербы на фонему от взглядов Бодуэна. Коротко говоря, взгляды Щербы являются редукцией взглядов Бодуэна. Все сказанное не умаляет заслуг Щербы в лингвистике: у него достаточно замечательных достижений. Уже одна только *глокая куздра* совершенно бессмертна!

ряда чередующихся звуков (они, в отношении друг друга, не могут быть различителями слов, не выступают как единственные дифференциаторы). Вот этого важного слова — *фонема* — не было. Следовательно, не было и теории фонем. Но пройдена была к этой теории важная часть пути.

У деятелей МДК было то важное, чего нет в половинной фонологии Щербы, — идея первостепенной важности позиционного чередования звуков. Следующее поколение фортунатовцев создало теорию фонем как целостную теорию, основанную на многих фактах ряда языковых систем. Источники? Их два: фонологические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ и теоретические достижения Московской диалектологической комиссии.

Глубоко прав был А. А. Реформатский, сказав, что Ушакову был свойствен «стихийный фонологизм»<sup>18</sup>.

Была значительной книжная продукция МДК. Вышло (по 1931 г.) 12 выпусков ее трудов — драгоценное собрание фактических материалов и исследований. «МДК была своеобразным и единственным в Москве лингвистическим обществом, и обсуждаемые на ее заседаниях вопросы нередко далеко выходили за пределы диалектологии в область общего языкознания, проблем истории языка, грамматики, лексикологии и мн. др. И здесь Дмитрий Николаевич выступал как талантливый организатор, вдохновитель всей работы и педагог в широком смысле слова»<sup>19</sup>.

Д. Н. Ушаков не только глубоко владел говорами как предметом изучения, он и в речевой практике был безупречным их знатоком. «Любимый прием Дмитрия Николаевича заключался в том, что он на первом курсе на семинарии по русскому языку каждому студенту говорил, откуда тот приехал в Москву. Это производило неизгладимое впечатление на присутствующих. Они сразу проникались интересом к науке. Люди, которые никогда не думали о лингвистике, не подозревали о ее существовании, проникались уважением к ней, им хотелось работать и учиться в этой области»<sup>20</sup>.

Политикам тоже понадобилось доскональное знание восточнославянских диалектов, которым владел Д. Н. Ушаков. Он был включен в состав комиссии, которая готовила документы для переговоров с Польшей (1921), перед заключением польско-советского договора об условиях разграничения советских белорусских областей и областей Польши. С точки зрения советской делегации, должны были быть приняты во внимание данные об этнографиче-

---

<sup>18</sup> Реформатский А. А. Из истории нормализации русского литературного произношения: К 90-летию со дня рождения Д. Н. Ушакова // Вопросы культуры речи. Вып. 5. С. 7.

<sup>19</sup> Аванесов Р. И. Указ. соч. С. 202.

<sup>20</sup> Г. О. Винокур (Стенограмма. С. 17.)



ской принадлежности населения, в первую очередь — о его языке. Как известно, переговоры велись в неблагоприятной для СССР обстановке, и граница в конце концов не была этнолингвистически обоснована. Все же рассказать здесь об этом эпизоде стоило: он показывает открытость науки Д. Н. Ушакова для служения общественным делам.

Конец 20-х — начало 30-х годов: яростный натиск на науку вульгарной социологии. В языкознании во главе погромщиков — сторонники «нового учения о языке» Н. Я. Марра, официально поддержанные и административно господствующие. Марристы ликвидировали МДК. Об этом событии писать мучительно и тяжело; передадим слово С. Б. Бернштейну: «В 1931 г., по представлению акад. Н. Я. Марра, президиум Академии наук СССР принял решение о преобразовании диалектологической комиссии в диалектографическую комиссию при Институте языка и мышления. Председателем комиссии был утвержден Н. М. Каринский... Новый председатель счел для себя возможным опубликовать статью „Труды диалектологической комиссии“, в которой резко отрицательно оценил всю ее деятельность. Даже публикацию ценнейших диалектологических материалов он квалифицировал как преступление...

Ликвидация диалектологической комиссии нанесла серьезный удар не только русской диалектологии. Практически было закрыто Московское лингвистическое общество, где обсуждались разнообразные проблемы языкознания. В работе новой диалектографической комиссии принимали участие всего 2—3 человека (прежняя комиссия объединяла около 40 человек). Новая комиссия опубликовала книгу Н. М. Каринского „Очерки языка русских крестьян“ (1936) — яркий пример вульгарной социологии в языкознании.

Д. Н. Ушаков тяжело переживал ликвидацию диалектологической комиссии, которой отдал почти три десятилетия своей жизни. В 1931 г. прерывается связь ученого с диалектологией»<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Бернштейн С. Б. Указ. соч. С. 84. О других «достижениях» марристов в области диалектологии (в частности, о «Лингвистическом атласе района озера Селигер» М. Д. Мальцева и Ф. П. Филина) см.: Аванесов Р. И. «Новое учение» о языке и лингвистическая география // Против вульгаризма и извращения марксизма в языкознании: Сб. ст. М., 1951. Ч. I. С. 304. Здесь читаем: «О полном непонимании того, что язык есть система, свидетельствуют карты № 12—14, посвященные *ц* и *ч*: на карте № 12 обозначается произношение *ц* вместо *ч*, а на карте № 13, наоборот, произношение *ч* вместо *ц*. Авторы не понимают, что это — разные стороны одного и того же соотносительного явления, что цоканье не есть просто произношение звука *ц* вместо *ч*, а цоканье, напротив, произношение звука *ч* вместо *ц*, а есть неразличение имеющихся в других русских говорах аффрикат — свистящей и шипящей, наличие вместо них в фонетической системе данного говора одной аффрикаты». Как видим, удар был нанесен самому ценному в идеях МДК — пониманию языка как системы.

\* \* \*

Пробегая «умственным взором» историю русской лингвистики, встречаем два типа исследователей. Для одних цель изучения — открыть законы языка, не данного, конкретного языка, а Языка как достояния человечества. Конкретные факты определенных языков для них — материал, позволяющий установить эти законы. К такому типу исследователей относятся два великих «испытателя Языка» — Бодуэн де Куртэнэ и Фортунатов.

Другой путь (и ему соответствует другой тип ученого) — изучать данный язык, свой родной или культурно бесконечно близкий, изучать именно как единственную драгоценность, в ее сокровенных и неповторимых особенностях. Так гениальный Шахматов изучал судьбу славянских народов, отраженную в языке, летописи, фольклоре. И на том и на другом пути были великие научные достижения.

А Д. Н. Ушаков принадлежал к особому, иному («третьему», если считать по пальцам) типу исследователей: у него были уравновешены обе задачи. Он посвятил себя изучению русского языка, который был его любовью и предметом постоянной деятельной заботы. Но ничуть не меньше ему были близки и задачи общей лингвистики — найти принципиально важные общие законы существования и развития, свойственные человеческому Языку как целому. Те законы, к которым вели и грамматические теории Фортунатова, и позиционное исследование диалектов Московской диалектологической комиссией.

В истории нашего языкознания этот же тип ученого был представлен величайшими фигурами Востокова и Буслаева.

Общая черта этих трех ученых (и, может быть, она связана с типом их научного подхода к языку) — эстетическое отношение к языку и жизни. Д. Н. Ушаков был тонким художником-акварелистом, любил писать небо, листву, облака, мир природы вместе с миром людей. (Сохранились его акварели.)

\* \* \*

Каждый большой словарь русского языка был значительным событием в нашей общественной жизни, в истории языка, в лексикографии. Вот гордая череда этих словарей — флотилия лексиконов:

«Словарь Академии Российской» (СПб., 1789—1794), шесть томов. Этот словарь — результат развития русского языка в XVIII в. Он по-ломоносовски трехпалубный: три стиля, восходящие к церковнославянскому и русскому бытовому языкам, образуют ярусное единство; он многолюден: простая обиходная речь занимает в нем большое место. Отсюда — впечатление от этого словаря жизненности и безыскусной полноты.

«Словарь церковнославянского и русского языков» (СПб., 1848), четыре тома. В его создании участвовал А. Х. Востоков; ясно чувствуется его талантливая рука. Словарь изобретателен и хитер в толковании слов; более изоциренно, чем в предыдущем словаре, размежеваны отдельные значения слов; но — архаичен в иллюстрациях-цитатах (увы, здесь он старомоднее словаря Академии). Он уже простился с надеждой слить две языковые стихии — церковнославянский и русский языки, он рассматривает их как два языка и впервые подчеркивает это заглавием. Но церковнославянский по-прежнему мыслится как опора и средство пополнения русского литературного языка.

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (СПб., 1863—1866), четыре тома. Это — поворот к народному языку. В нем видит Даль источник пополнения, развития, совершенствования русского литературного языка. Словарь этот — не только справочник, но и художественное произведение. Его хочется читать страница за страницей. Он величествен своей верой в полноценность и величие народной культуры.

«Словарь русского языка» А. А. Шахматова (1891—1937), без начала<sup>22</sup> и конца. Издавался многими выпусками на исходе XIX века, в начале нашего. Чувствовалось, что кончается долгий великий период истории — в развитии общества, в развитии культуры, в успехах русского языка. И А. А. Шахматов задался колоссальным, поистине эпическим замыслом: создать словарь, вобравший в себя всю русскую лексику. Слово, хотя бы раз когда-либо кем-либо употребленное (в печатном виде), должно войти в этот словарь. Великий замысел не был и, видимо, не мог быть завершен. Но эпоху подведения итогов он отразил достойно.

А далее во флотилии словарей проплывает этот красавец — «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (М.; Л., 1934—1940), четыре тома. Словарь Д. Н. Ушакова — последний в этой величавой чреде<sup>23</sup>.

Создание его было особо ответственным делом: требовалось и сохранить традиции русского языка — поддержать их именно этим словарем, и отобрать из новшеств языка советской эпохи то, что имело право на долголетнее существование в нем.

«Говоря о Словаре Ушакова, нельзя обойтись без слов „первый“, „впервые“. Это первый советский толковый словарь. Это первый советский нормативный словарь, в котором достаточно полно отражена лексика литературно-

<sup>22</sup> Первый том вышел под редакцией Я. К. Грота.

<sup>23</sup> 17-томный «Словарь русского литературного языка» не может считаться великим деянием в русской филологии. Созданный в тяжелое время, он несет очень резкие черты этого времени. И профессионально он стоит не на высоком уровне.

го языка. Нормативность словаря обуславливалась отбором слов и их значений, указанием правильного произношения, ударения, правописания, уместного употребления (с помощью многочисленных стилистических помет)... Впервые в отечественной лексикографии разработана и применена сложная и многоаспектная система стилистических помет, представляющих собой такую сеть противопоставлений и сопоставлений, которая позволяет увидеть сразу несколько функционально-стилистических и эмоционально-оценочных ипостасей слова: литературное — просторечное, литературное — областное, книжное — разговорное, нейтральное — высокое, общелитературное — специальное, официальное — канцелярское и т. д. Впервые словарю предпослан (в 1-м томе) очерк орфоэпии и морфологии. Это первый толковый словарь, зарегистрировавший слова, вошедшие в язык в конце 10-х — начале 30-х годов (около тысячи). Впервые наиболее употребительным морфемам посвящены словарные статьи (есть статьи о приставках *анти-*, *без-*, *за-* и нек. др., о первых частях сложных слов *дву-*, *бое-* и т. д.). Впервые в отечественной лексикографии четко сказано об отличии словаря языка от энциклопедического (и это отличие соблюдено в словарных статьях)<sup>24</sup>.

Здесь удачно сказано о том, что словарь в качестве одной из важных сторон лексической системы рассматривает «сеть противопоставлений и сопоставлений», т. е. слово дается в его отношениях к другим словам. Впервые такое отношение возведено в принцип. Плодотворная теоретическая основа словаря, тонкая интуиция Д. Н. Ушакова и его сотрудников, создавших словарь, дали народу замечательную ценность — плод трудов выдающихся советских языковедов (В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, С. И. Ожегова, Б. В. Томашевского, Д. Н. Ушакова). С. И. Ожегов справедливо писал: «Стройность в классификации значений слов, четкость в видении оттенков значений, точность, краткость и простота определения значений есть достоинство каждого словаря. Мне вспоминается, с какой настойчивостью, с какой неутомимой энергией добивался Дмитрий Николаевич этих качеств в определениях, как часто он возвращался к отдельным словам, определения которых не удовлетворяли его, переделывал их и достигал иногда совершенно неповторимых образцов точности, выразительности и простоты определения» (Стенограмма. С. 31).

Этот словарь часто вызывает эстетическое чувство. Читать его подряд вряд ли кто-нибудь станет, кроме специалистов. Но каждый читатель, внимающий в него со вниманием, бывает вдруг остановлен прекрасным по точности и изяществу определением значения, яркой цитатой-иллюстрацией,

---

<sup>24</sup> Хантунга Э. И. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова: (К пятидесятилетию выхода в свет 1-го тома) // Рус. яз. в шк. 1984. № 6. С. 73.

тонким разграничением значений. Особенно удавались Ушакову (и его соавторам) определения глагольных значений (так же как Далю — значений существительных): в этом сказался и динамизм эпохи, и интеллектуальная подвижность характера самого Д. Н. Ушакова.

Словарь у современников встретил положительный прием. Но далеко не у всех. Трудное время не смогло уберечь Д. Н. Ушакова от погромных выступлений неквалифицированной критики и от препятствий, которые воздвигали во время подготовки словаря разного рода чиновники. Сам Д. Н. Ушаков вспоминал: «В рецензии на наш первый том в „Литературной газете“ прямо говорится: „словарь похабный“ и проч. Этому очень скоро поверили, и все на нас косились. Года полтора мы прожили в таком положении, что не знали, как быть дальше... У нас статья на слово *бог* была полтора столбца. „Много!“ — говорят. Ну, давайте опустим фразеологию. А в *боге-то* фразеология и важна была»<sup>25</sup>.

Резонанс от этого словаря был значителен. Много национальных и русско-национальных словарей народов нашей страны было создано под влиянием и с учетом опыта словаря Ушакова. «Дмитрий Николаевич оказал и непосредственную помощь в создании двуязычных словарей. Так, под его редакцией... Институт языка и письменности АН СССР выпустил типовой словник для русско-национальных словарей. Больше того, Дмитрий Николаевич уже на закате своих дней сам принял участие в редактировании русско-узбекского словаря. Для этой цели он изучил в очень короткий срок узбекский язык, и товарищи, которые были в Ташкенте... говорили, что он очень неплохо в 2—3 месяца овладел узбекским языком», — вспоминал С. И. Ожегов (Стенограмма. С. 25).

Э. И. Ханпира заканчивает свою статью о словаре Ушакова словами: «Ни одному из классиков русской литературы не в обиду было ставшее крылатым выражение: Все мы вышли из гоголевской „Шинели“. И ни одному из составителей наших толковых словарей не будет в обиду, если сказать, что все они вышли из ушаковского Словаря»<sup>26</sup>. Справедливо!

\* \* \*

Д. Н. Ушаков сразу же после окончания университета стал работать учителем в школе — с 1896 по 1913 год. «Следовательно, почти 6 лет, будучи уже приват-доцентом и ведя занятия со студентами не только в Университете, но и на высших женских курсах и в других местах, Дмитрий Николаевич

<sup>25</sup> Современная русская лексикография: 1981. Л., 1983. С. 152.

<sup>26</sup> Ханпира Э. И. Указ. соч. С. 75.

все-таки продолжал оставаться учителем средней школы. Он часто говорил об этом своим молодым ученикам, и когда студенты иногда выражали неудовольствие по поводу того, что им предстоит работать в средней школе, он им говорил: «От всей души желаю вам поработать хотя бы 5—6 лет в средней школе — это вас обогатит на всю жизнь» (Г. О. Винокур. Стенограмма. С. 9).

В 1911 г., когда академическая Орфографическая комиссия подготавливала проект усовершенствования русской орфографии, Д. Н. Ушаков издает свою книгу «Русское правописание». Комиссия именно еще подготавливала проект: постановление комиссии вышло позднее, в 1912 г.; Д. Н. Ушаков не стал ждать окончательного решения и бросился на помощь реформаторам, в защиту нового письма. Проект был разработан под руководством Ф. Ф. Fortunatova; здесь опять сошлись интересы учителя и ученика — общие заботы о просвещении народа, о распространении грамотности, общие взгляды на долг науки перед народом.

Д. Н. Ушаков выступил со своей книгой в напряженный момент: большинство пишущей братии не поддерживали самую идею усовершенствования письма — надо было разъяснять и доказывать, притом в первую очередь тем, кто не хотел слушать и понимать. Невероятно трудно! В 1917 г. проект усовершенствования письма был принят правительством (сначала — Временным, потом, в 1918 г., — Советским), и книга Ушакова выходит вторым изданием — снова встает в строй, как опытный воин, защищающий правое дело.

Характеризуя теоретическую сущность книги «Русское правописание», А. А. Реформатский писал: «Если все сказанное перевести на другую терминологию, то получается, что не фонетизм современного языка, не традиции письма и уважение к истории, не этимология, а структурные соотношения в новом современном языке, живая связь структурных явлений — вот что должно быть основой рационального правописания» (Стенограмма. С. 42).

Революционное время дало возможность обновить преподавание в школе. Д. Н. Ушаков — в центре всех дел, связанных с улучшением обучения русскому языку. Вводятся новые программы, созданные Ушаковым и его единомышленниками, издаются учебники, написанные им для новой школы (в соавторстве с опытными учителями); он постоянно пропагандирует научную (fortunatovskuyu, «формальную») грамматику среди учителей.

Основы этой грамматики нам уже известны. Определенное грамматическое значение существует там, где есть для него отдельное выражение; его отдельность выявляется в том, что оно противопоставлено другому грамматическому значению, которое имеет другое выражение. Таким образом, грамматическое значение непременно соотнесено с грамматическим выражением, их связь называется грамматической формой. Из таких грамматических форм (то есть определенных связей) и состоит грамматика каждого языка.

Грамматические единицы можно классифицировать, объединяя в один грамматический класс те из них, которые имеют одни и те же грамматические значения (то есть входят в противопоставления одного и того же вида).

Вместо старой школьной схоластики, где перепутаны логика (с ее учением о суждении) и грамматика, современность и исторические предания, реальности языка и застарелые грамматические предрассудки, учителям предлагалась ясная теория.

Учителя были рады. Фортунатовскую грамматику встретили с воодушевлением. Однако это воодушевление (может быть, как всякое воодушевление) постепенно стало угасать. Обнаружилось, что некоторые выводы этой теории обескураживают учителей и вполне убедительного ответа на свои сомнения они не получают.

Неприятие вызывали такие стороны этой теории:

1) разорваны грамматические единства, которые интуитивно признаются именно единствами. Так, формы *сидел* — *сидела* — *сидело* — *сидели* (объединенные значением рода и числа) отрываются от форм *сиджу* — *сидишь* — *сидит*, объединенных совсем другим грамматическим значением (лица и числа). Нет общих грамматических скреп, объединяющих два ряда этих форм, их надо отнести к разным грамматическим классам, к разным словам. Но как раз этого и не хочется. Грамматическая интуиция протестует;

2) в одну группу объединены (в соответствии с основами теории) такие слова, которые интуиция не хочет считать единством. Так, к одному грамматическому классу отнесены слова, которые изменяются по родам; то есть признаны грамматически тождественными формы: *сидел* — *сидела* — *сидело* — *сидели*; *умен* — *умна* — *умно* — *умны*; *отрезан* — *отрезана* — *отрезано* — *отрезаны*; *рад* — *рада* — *радо* — *рады*. Но считать эти формы относящимися к одному грамматическому классу, иначе говоря — к одной части речи, что-то мешает;

3) введено понятие единиц, лишенных грамматической формы. Здесь обраны слова, не изменяющиеся ни по падежам, ни по родам, ни по лицам, то есть не имеющие грамматически соотнесенных форм. В одно место ссыпаны такие разнородные единицы: *ах*, *эге*, *да*, *нет*, *вчера*, *наобум*, *кенгуру*, *пенсне*, *перебегая*, *прочитав*... Оказались неграмматическими и некоторые типы предложений, например: *Весь сад в цвету* (нет выражения предикативности). Все это смущало учителей.

Современник писал: «Положительным итогом истекших лет следует признать несомненные успехи, завоеванные новой формально-грамматической точкой зрения в самых широких преподавательских массах. (...) Трудный первый шаг был сделан, заработала дремавшая под гнетом векового шаблона критическая мысль, и начали неожиданно разворачиваться на уроках языка

новые и новые перспективы. Но, захватив широкие круги, перенесясь из стен кружков, конференций в обстановку класса, молодое движение остановилось на полдороге, затерялось в лабиринте сбивчивых вех и начало определенно, под влиянием неизжитой еще нами тяги к шаблонам, обнаруживать тенденцию успокоиться на подновленных формулировках»<sup>27</sup>.

Итак, сама грамматическая теория Фортунатова была в пути и некоторые вопросы оставляла в тени. Естественно, что новый взгляд в науке не дается сразу во всей полноте, а раскрывается, разворачивается постепенно. И многие большие вопросы 20-х годов сейчас решаются безболезненно. Так, оказывается ненужной группа бесформенных единиц. К бесформенным относились, например, предложения типа *Весь сад в цвету*. Стоит поставить это предложение в прошедшее время: *Весь сад был в цвету*, как обнаружится, что есть глагольная связка, именно она и передает значение предикативности; в настоящем времени она представлена нулевой формой. Ф. Ф. Фортунатов открыл нулевые показатели в грамматике, показал их на примере нулевых аффиксов, но понятия нулевой связки у него не было. В предложениях *Он болен*, *Ворота раскрыты*, по мнению Ф. Ф. Фортунатова, сами формы *болен*, *раскрыты* несут в себе предикативное значение. Действительно, все единицы, которые изменяются по родам и по числам, но не по падежам, то есть: *написал*, *причесан*, *справедлив*, *рад*, сами по себе выражают предикативность. Они — непременно сказуемые. Добавим: но притом ее выражает и связка, в том числе и нулевая, которую сразу ученым можно было и не заметить! Так размывается и постепенно исчезает группа бесформенных предложений, не имеющих показателей предикативности<sup>28</sup>.

«Прояснились» разные *кенгуру*. Если основа существительного кончается на гласный, то она неспособна сочетаться со звуковыми падежными флексиями. Но этой морфонологической закономерности не противоречит способность таких основ сочетаться с нулевыми флексиями. Они совпадают в разных падежах у слов типа *кенгуру* («нулевые омонимы»), но явно обнаруживают свое различие; ср.: *солдат* (им. ед.) и *солдат* (род. мн.): и там и там нулевая флексия, но грамматические формы различны: эти нули имеют разное значение. *У этих кенгуру... к этим кенгуру... этого кенгуру*. Почему меняется флексия у зависимого слова? Либо потому, что прилагательное обладает способностью изменять свои падежные флексии без согласования, авто-

---

<sup>27</sup> Павлович А. Между Сциллой и Харибдой // Родной язык в школе. Кн. 1(2). М.; Л., 1923. С. 10.

<sup>28</sup> Нельзя сказать, что исчезла вся. Вопрос о том, какова предикативная форма предложений типа: *Миру — да! Войне — нет!* (и тем более *Мир — да! Война — нет!*), — остается невыясненным.



номно, — но тогда оно типологически совпадает с существительным. А так как очевидно, что такого совпадения нет, то приходится признать, что прилагательное здесь, как обычно, зависимо, и флексии его определены грамматической сущностью существительного; следовательно, мена прилагательного — отражение мены в существительном; е > о: в формах *кенгуру* (род. мн.), *кенгуру* (дат. мн.), *кенгуру* (род. ед.) — разные, хотя и омонимические (нользвуковые) флексии<sup>29</sup>. Ф. Ф. Фортунатов открыл нулевые показатели, но пределы их использования сразу не были ясны, поэтому появились многие неграмматические единицы...

Так же со временем были сняты и другие интуитивно неприемлемые моменты в «формальной» грамматике. И сняты они именно на той теоретической основе, которая была провозглашена Ф. Ф. Фортунатовым и получила широкий резонанс в работах Д. Н. Ушакова.

И когда снова возвращаешься мыслью к опыту советской школы в 20-х годах, когда спрашиваешь себя: почему же все кончилось ничем, почему не удалось соединить уроки русского языка с наукой? — то не таким уж верным кажется ответ: не были найдены теоретические ответы на некоторые вопросы грамматики. Разве можно когда-либо ожидать от науки ответов на все вопросы? Видимо, более существенными были другие причины: неготовность многих учителей к усвоению научно-непривычной мысли; это во-первых. Во-вторых (и более существенно): постепенно школа вползала в период чиновничьей схоластики, теряла свой запал революционных лет. И новшества стали не ко двору.

В этих сложных условиях борьбы за науку на уроках русского языка Д. Н. Ушаков был непримиримым и — уступчивым. В 1926 г. вышла его книга «Русский язык: краткое систематическое школьное руководство по грамматике, правописанию и произношению». (В 1929 г. вышло последнее, 6-е издание.) В этой книге автор сохраняет полную верность «формальной» грамматике Фортунатова, но ищет путей сблизить ее с теми сторонами традиционного взгляда на язык (в первую очередь — с традиционным делением слов на части речи), которые были совместимы с новым взглядом.

Здесь связались черты характера и деятельности Д. Н. Ушакова: принципиальность позиции вместе с терпимостью к другим мнениям.

Учителя говорили Ушакову, что детям милее значение, чем его выражение. И Ушаков отвечал: «Если значение, а не его выражение ближе детям, то пусть с этого и начинается изучение, но необходимо говорить и о формальной стороне осознанных слов». «Такая терпимость к индивидуальным подходам может сделать переход от традиционных методических приемов при изу-

<sup>29</sup> Первым нулевые флексии у слов типа *кенгуру* в 40-х годах признал В. Д. Аракин.

чении грамматики к новым способам легким и безболезненным для учителя», — писал современник. «Учитель приглашается только пробовать программу, — справедливо заметил Д. Н. Ушаков, разбирая в одном из своих докладов спорные вопросы в новой программе грамматики. — Если кто не может, пусть занимается по-старому, но пусть он знакомится с программой. Узнавши новую программу, он уже не сможет от нее отказаться целиком, так как будет заражен обновлением»<sup>30</sup>.

Уступчивость Д. Н. Ушакова никогда не была отступничеством — отречением от самого себя. Он готов был уважать чужое мнение, готов был менять свои взгляды в ходе естественного развития науки. Но нажиму вульгаризаторов он не уступал, идеологическому натиску не подчинился. Он был уступчив и тверд.

А. А. Реформатский вспоминал: «Он обязательно должен был общаться с людьми, и он действительно общался и с учителями, и со студентами, и с аспирантами, с актерами, с докторами, с певцами, с режиссерами, с кем угодно, вплоть до чиновников разных ведомств, которые не знали, как надо писать название их собственного учреждения. И он охотно с ними общался. Иногда казалось: зачем Дмитрий Николаевич идет к телефону, когда он может заняться чем-нибудь важным? Но он шел, и он нас научил не отгораживаться от практической жизни...» (Стенограмма. С. 34).

Когда Ушаков стал работать над орфографическим словарем для школы, телефон стал очень энергично работать в другом направлении: Д. Н. Ушаков постоянно звонил учителям (у него было много знакомых учителей), спрашивал: включать или нет такие-то слова в этот словарь? В таком живом сотрудничестве и создавалась эта книга<sup>31</sup>.

«Орфографический словарь для начальной и средней школы» вышел 1-м изданием в 1934 году, 41-м — в 1990-м. Это про него сказано: маленький, да удаленький. Д. Н. Ушаков был велик в своей любви к родному языку, в своей преданности научной мысли.

---

<sup>30</sup> Стремнинин А. Неограмматическое направление и школьная действительность // Родной язык в школе. Кн. 1 (2). М.; Л., 1923. С. 9.

<sup>31</sup> В 1944 г. в шестом издании словаря на переплете и титульном листе стали печататься два имени: Д. Н. Ушаков и С. Е. Крючков. Издательство, видимо, пригласило С. Е. Крючкова, чтобы сохранить современность словаря, чтобы дополнить его новыми словами. Но ушаковская основа все равно осталась главной и определяющей.

## Воспоминания об Алексее Михайловиче Сухотине\*

Алексей Михайлович был руководителем студенческого лингвистического кружка. (Время действия: конец 30-х годов, место: Московский городской педагогический институт, филфак). Хорошо он вел наш кружок: бывало на нем весело, бывало серьезно, и почти всегда — интересно и удивительно.

Кружковцы заметили: если доклад пустоват и кривоват, если он сероват, Алексей Михайлович волнуется и начинает шутить. Его беспокоило отклонение от нормы. А норма такая: чтение докладов интересных, спорных, с иглой.

Занудный доклад вызывал у А. М. осуждение, и он отбивался от него шутками. Расшутился А. М. — это докладу в осуждение.

— Петь, как твой доклад? Что Алексей Михалч? Как отнесся?

— Весело.

Это значит: своими шутками вытаскивал доклад из унылости и равнодушного фактоописательства.

Вот кто-то читает бесконечно-длинное описание одного говора. Может, бесконечным оно казалось нам по молодости и нетерпеливости, вряд ли было длиннее 20 минут. Но не было мысли, не было защиты в этом докладе. А мы, студенты, уже привыкли (нас Алексей Михайлович приучил), что всякий доклад — защита: либо своего взгляда на факты языка, либо методики наблюдения. А здесь — ни того, ни другого.

Алексей Михайлович, видя нашу унылость, заерзал, забеспокоился. Удивительно подвижный, он и в председательском кресле (которое на этот раз было стулом) оставался необыкновенно динамичен. На каждое слово, на каждую фразу — очень естественная и живая реакция, мимикой, репликой, жестом, полной отдачей всему, что он слышит.

Докладчик читал:

— А еще в говоре деепричастия... И они используются предикативно... Он выпимши, он указамши... У них это часто. Он пришедши. Он засмеявшись. Он повесимшись. У них это часто.

---

\* Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 182. Памяти Алексея Михайловича Сухотина (К 100-летию со дня рождения). М., 1988. С. 21—37.

Алексей Михайлович пришел в волнение. Срывающимся голосом, тревожно глядя на докладчика, спросил:

— Неужели... у них... там... это часто?

— Что? — сонно-невразумительно спросил докладчик.

— Да вы говорили! Повесимшись! Часто!

Общий смех скрасил пресноту доклада. А главное было после: А. М. Сухотин стал рассказывать, почему интересно изучать говоры. Почему совершенно необходимо. И нам захотелось изучать говоры — вместе с Алексеем Михалычем: он ведь ездил со студентами в диалектологические экспедиции.

И еще было на кружке скучное сообщение, мы перетерпели его, надеясь, что потом А. М. нас вознаградит за терпение. И он на самом деле стал нам рассказывать что-то невероятно интересное... живо блестя глазами, сдержанно и быстро жестикулируя. И мы жили его рассказом: сгрудились вокруг него, улыбались, серьезнели, подавали свои реплики.

Сухотин закончил. Остановился. Помолчал. Потом, неодобрительно глянув на докладчика, сказал:

— Да, вот еще что. Хочу вам... чтобы не забыть. Чтобы вы это поняли. Наука — дело веселое. Запомнили?

И ушел. Мы тоже стали было расходиться, вдруг слышим: бежит он назад по лестнице, каблуками стучит.

— Послушайте, никто не ушел? Я бежал. Я боялся: не ушел бы кто-нибудь. Я не все сказал, поэтому — неправильно. Наука — жестокое дело.

И торжественно, медленно ушел.

Во всем была игра, но игра не для нас, а для себя — без нарочитости. Конечно, не только игра: Алексей Михайлович на самом деле, я уверен, мучился бы, если бы недосказал своей мысли о двуединой сущности науки, о ее мучительной и веселой природе. Он испугался, что молодежь науку будет путать с развлечением. И — искренне разыграл свой испуг.

Прежде, чем я по-настоящему познакомился с А. М., я с ним поссорился. В 1938 году в Московском городском педагогическом институте, на филологическом факультете, выходил студенческий журнал «Молодость». Печатался на пишущей машинке. Кажется, всего один номер и появился; характерный для того времени заморыш. В журнале, в самом конце, примостилась и моя статья — «Ритм прозы». Почему-то я очень застенялся этой статьи и просил ее печатать без подписи.

Я о чем-то мирно беседовал со своим товарищем, членом редколлегии, как вдруг на нас набежал Алексей Михайлович. «А чья статья о ритме прозы?» — спросил он у редколлеги. Редколлега замялся. «Тайна редакционного

портфеля», — сказал он неуверенно, поглядывая на меня. «Да я же член редколлегии! Или я не член редколлегии? Если вы мне не скажете, я выйду! Издавайте без меня!». Разволновался: не хотят считать участником общего дела! Тогда мой приятель испуганно указал на меня пальцем и вскричал: «Это он! он!». Очень сердито поглядел на меня Сухотин и быстро ушел. «Пропал», — подумал я. «А мне ему экзамены сдавать!».

Но экзамены прошли складно, без занозы. Алексей Михайлович был обрародван, что я прочитал-полюбил Сэпира. Он придирчиво проверил, читал ли.

Потом в стенной газете появилась его заметка о только что вышедшем машинописном журнале «Молодость». А. М. Сухотин сообщал о нем деловито, строго, требовательно. Про мою статью сказал скупо и (мне показалось) все еще сердито: «Статья Панова показывает, что он умеет думать, но еще не умеет доказывать свою мысль».

В делах молодежи он видел себя равноправным участником и обижался, когда его немножко отпихивали. Обижался! Своеобразный человек... По увлеченности делом, по стремительной отзывчивости, по самоотдаче — он, действительно, был и в свои профессорские годы по-студенчески молод.

Зал Исторической библиотеки вечером. Ряды белых ламп. Склонившиеся головы. Шелест страниц. Я листаю книги, их целая горка передо мною. Отдельно лежит книга стихов А. Е. Крученых «Четыре фонетических романа» и том сочинений Хлебникова. (Хлебников всегда был на столе.) Вдруг сзади знакомый голос:

— «Четыре фонетических романа»! А я и не знал, что такие романы существуют! Можно посмотреть?

Он садится и смотрит книгу Крученых, а потом читает на корешках названия других книг. Видно, что ему не-ве-ро-я-тно интересно.

Он часто вечерами приходил в общий читальный зал (сам, вероятно, занимался в одном из научных кабинетов) и любопытствовал, что читают его студенты. Любил разговаривать о книгах. Не учитель с учеником, а читатель с читателем (более опытный и знающий — с менее опытным).

Если бы кто-нибудь другой так делал, было бы в тягость. А у Алексея Михайловича — не было. Иногда, посмотрев то, что приготовлено для чтения, он говорил улыбаясь: «А я про это же другую книжку знаю, и еще интереснее!». И называл. Всегда его книжки были самые интересные.

Как-то я застыдился (почему — не помню) одной книги, спрятал ее и сказал ему: «Я эту книгу не покажу!». Нет, ничего неприличного в ней не было. Просто не захотел показывать<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Возможно, это была книга А. Е. Крученых, и я боялся, что А. М. его обидит.

Алексей Михайлович после этого долгое время в библиотеке ко мне не подходил. К другим подходил, а ко мне — нет. Обидно.

В 1938 году в курсе введения в языковедение нужно было читать лекцию про достижения Марра. Алексей Михайлович прочел ее блестяще. Говорил про статью Марра «О третьем этническом элементе в культуре Средиземноморья»<sup>2</sup> (кажется, так?). Статья всего в 4 странички — а она была переворотом, открыла новую эру в науке о языке! Также очень высоко оценил Алексей Михайлович работу Марра «Конь от моря до моря». Слова со значением «конь» обзревались не от моря до моря, а от Тихого до Атлантического океана, во всей Евразии! Какая титаническая мощь мысли! Каков эпический размах! И все кони, закончил он неожиданной шуткой, оказались из одного табуна, все они — одного корня. Говорил Алексей Михайлович увлеченно; искренне радовался смелости марровской мысли.

Студенты бросились в библиотеки читать Марра. Помню, и я сидел в Историчке, натащив себе на стол книг Марра и Мещанинова. Неожиданно (как всегда) подсел Алексей Михайлович. Увидел, что книги — сплошной марризм. Болезненно сморщился. «Да не читайте вы его! Зачем вам столько Марра?». Я удивленно что-то пробубльнул в ответ. «Фантазер он, фантазер! Напридумал всякого. Он увлекает, да, конечно. Сам увлекается. Но это-то ведь и плохо. Хотите я вам хорошую книгу подарю? У меня недавно вышла книга. Хотите?»<sup>3</sup>. От счастья и смущения я сказал: нет, я уже купил. «А то подарю. Я хотел вам подарить. Надпишу и подарю. Кажется, уже надписал...». Так я был смущен, так выбит из колеи, что с каким-то бессмысленным ожесточением повторял: да нет, не надо мне, зачем. «Ну, как хотите», — сказал А. М. с сожалением. Так и нет у меня книги с его надписью. До сих пор жалко самого себя за глупость.

Марр, наверное, на какое-то короткое время заморозил А. М. Сухотина. Он был человек увлекающийся, необыкновенно отзывчивый на всякую честную научную мысль (а Марр тогда многим, вероятно, не казался нечестным)<sup>4</sup>; может быть, А. М. был в поле притяжения Марра всего какую-нибудь

---

<sup>2</sup> Надо принять во внимание, что эта статья — еще не настоящий марризм, не яфетическая теория. Сал-бер-йон-рош'а здесь еще нет. И компаративизм не изничтожается.

<sup>3</sup> Речь шла о книге: *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Пер. Д. Кудрявского, перераб. и доп. по 7-му фр. изд. А. Сухотиным. М.; Л., 1938.

<sup>4</sup> Н. Я. Марра Алексей Михайлович, видимо, отделял от толпы марристов. Как-то он сказал: «Беда не в большом Марре, а в маленьких подмаррах». (В конце 30-х годов была первая попытка аракечевщины в языковедении — во славу Марра.)

неделю, месяц — когда готовился к лекции о яфетидологии. Чувствуя свой «грех», испугавшись, что соблазнил Марром «младенцев», А. М. на заседании лингвистического кружка принялся сокрушать всякие его фантазии и выдумки.

Желая разобраться в дивергенции и конвергенции языков, я, в то время студент 3-го курса, написал какой-то доклад на эту скользкую тему. По моим предположениям выходило так: дивергенция — основной тип жизни языков, господствующий во времени. Он характеризует периоды их эволюции. Но есть еще и периоды революций в языке, они в том и состоят, что языки бурно скрещиваются, сходятся, конвергируют. Фактами это было обставлено очень скудно. Сама мысль была неопределенно-двойственна: с одной стороны, господствует дивергенция, времени на нее приходится львиная доля; с другой — господствует конвергенция, потому что революция главнее эволюции и за короткое время может сделать такое, что эволюции и не снилось.

А. М. доклад прочел и решил устроить его обсуждение на студенческом лингвистическом кружке. Во время чтения доклада А. М. проявил свою обычную заинтересованность и внимание.

О докладе он сказал, примерно, так. (Точная передача его слов уже невозможна.) Доклад, говорил Сухотин, составлен по разным источникам, это — компиляция. А новое, то, чего я раньше нигде не читал, это мысль: расхождение языков равно эволюции, схождение — революции. Не знаю, верно ли...

И здесь А. М. привел удивительнейшие факты, огромное количество примеров из истории языков Европы, Азии, даже, кажется, из языков Америки, и все время вывод был на острие ножа: то он соглашался с выводами докладчика, то опровергал их.

Тут-то стало понятно, почему он ценил вселенский размах у Марра: он сам любил и умел оперировать фактами из языков разных систем, от их необыкновенной пестроты восходя к общеязыковым выводам.

Марина Бунина<sup>5</sup>, поверив, что доклад и в самом деле прямо ведет к тем соображениям, которые высказал А. М., предложила его напечатать (Марина Бунина была старостой нашего кружка. Она была гордостью нашего кружка. Она была душой нашего кружка. Своим обаянием, красотой, юной доверчивостью, умной проницательностью она много способствовала тому, что студенты любили наш кружок. Вот она, по доброте, и предложила напечатать доклад).

Сухотин улыбнулся — так ясно и светло, как он умел (почти ослепительная у него была улыбка).

---

<sup>5</sup> Потом, после войны — преподаватель той же кафедры, доктор филологических наук.

— Напечатать нельзя. Нужны факты. А здесь — ну, скажу так: фантазия. Фантазией заниматься — тогда надо по-настоящему, как Гофман и Гоголь. А в науке фантазировать... Стыдно. Начинать с фантазии можно, но потом от нее надо уходить. Все дальше, дальше от нее.

Мы задумались. Приступили к пониманию. Молчали. Может быть, Алексею Михайловичу показалось — удрученно. И он добавил:

— Да, стыдно. Стыдно. А впрочем! Люди постоянно занимаются тем, что стыдно... Ничего. Иногда — посмотришь — прекрасные результаты...

Алексей Михайлович несколько раз видел у меня на столе в Исторической библиотеке томики «Собрания сочинений» В. Хлебникова. И забеспокоился. Работы Марра показали опасность беспочвенных фантазий в науке; А. М. боялся влияния на молодых филологов и «беспочвенных фантазий» Хлебникова — вероятно, так.

— Хотите, я вам расскажу про Хлебникова? Я его всего один раз видел — на студенческой сходке в университете. Время было горячее, шла напряженная безостановочная дискуссия между большевиками, меньшевиками, эсерами, анархистами. Очень резко расслаивалось студенчество. Seriously изучали Маркса, философию, политэкономия. Обсасывался каждый пункт каждой политической платформы. И помню — на одной такой сходке в университете появился на кафедре студент, долго молчал, а потом начал говорить, страшно тихо, но все заинтересовались, замолкли — вы знаете о чем? Надо вернуть язычество. Надо вернуться к язычеству. Слушали пять минут, потом мы все разом фыркнули! Просто нелепо. Он стоял еще, бесшумно шевелил губами, а мы смеялись и кричали. Нелепо! Чем он вас привлек?

Я понимал боязнь Алексея Михайловича. Слишком много было соблазнов, уводящих от науки — в фантазию, честную или спекулятивную, в игру фактами.

Все же этот разговор с ним был мучителен.

Вскоре этот разговор нашел свое продолжение — в широком и светлом коридоре Московского городского педагогического института. А. М. снова вернулся к своему впечатлению от Хлебникова. (Возможно, он чувствовал, что разговор остался с острым краем.)

— Я тогда подумал, и всерьез! А что, если он марсианин? Как раз выходили фантастические романы о марсианах. Это казалось возможным. Среди людей — марсианин! Так он был целиком не у нас, весь окружен своим. Марсианин. Как вы к этому?

Мне понравилось. Я понял, что А. М. не отталкивает Хлебникова, а хочет его понять. И я с благодарностью закивал головой, вверх-вниз (знак: согла-



сен, да!). Тут же понял, что Хлебников от меня уходит. Если он марсианин, то — чужой, мне не нужен. И я энергично замотал головой слева направо (знак: нет, не согласен!). Может, что-то я при этом и сказал, не помню.

А. М., глядя на эти манипуляции, задумчиво промолвил:

— Вы умеете быть последовательным. — Видимо, шутил.

Стало известно: А. М. Сухотин вернулся из отпуска (было это глубокой осенью) и готовит доклад о языке Маяковского. Все радостно ждали и Алексея Михайловича, и его доклада.

И вот — филологи шумно стекаются на его доклад. Комната битком набита. Дверь открылась — явился Сухотин. Мы его впервые увидели после отпуска. Наголо бритый, дочерна загорелый. Решительным, широким шагом подошел к столу; сурово нахмурен. Взял, резко вздынул портфель над столом, перевернул, вывернул его за углы — на стол грохнули книги.

— Я! сегодня! про Маяковского читаю! В докладе — три части: звук! слово! конструкция!

Почти прорывал — отрывисто и громко, низким голосом.

Мы поняли: Алексей Михайлович так вошел в свою тему, что он уже сам для себя превратился в Маяковского.

В это время двери приоткрылись и в них заглянул Александр Александрович Реформатский. Немножко близоруко, поверх очков, он обвел взглядом комнату, не зная еще, здесь ли доклад. Гневно обернулся к нему Сухотин.

— Это чья? борода? торчит?! — насупившись провозгласил он.

— Ах, это ты, Александр Александрович, прошу, очень-очень я рад, что пришел, — на минуту стал самим собой любезный и вежливый Алексей Михайлович.

Но вот он снова — Маяковский.

Доклад был по-маяковски острым. А. М. Сухотин говорил о поэзии выделенного звука, выделенного слова, выделенной конструкции. Это определяет стиль Маяковского. А. М. описывал приемы выделения — не гармонического слияния всех элементов стиха, а резко доминирования одних над другими. Это был доклад-диалог. То и дело Г. О. Винокур, А. А. Реформатский, Р. И. Аванесов и другие вступали в спор о Алексеем Михайловичем, и он или соглашался, или резко возражал. Например, он говорил, что в стихе: «Муча перчатки замш...» прилагательное замшевые заменено обрубок по образцу *беж*: *перчатки-замш*, как *платье-беж*. Г. О. Винокур тут же возразил, что это обычная инверсия, вместо обычного «муча замшу (или замш) перчатки». Александру Александровичу очень понравилось толкование Сухотина (А. А. уже тогда был большой любитель аналитических прилагатель-

ных), но он все-таки усомнился, что это единственно возможное понимание. В стихе бывает колебание между двумя восприятиями, и на этом может играть поэт. Так каждая деталь вызывала обмен мнениями и спор.

Остро сказалась в этом докладе и впечатлительность Алексея Михайловича, и его артистизм, и замечательное искусство научного диалога. А превратить доклад в непрерывный диалог, где, однако, главенствует докладчик, — это искусство и это трудный научный жанр.

Появилась книга В. В. Виноградова «Современный русский язык», второй выпуск. Ко мне подошел Абрам Борисович Шапиро (я был студентом, кажется, второго курса) и веско сказал, что я должен к следующему заседанию кружка подготовить реферат: «Значения форм творительного падежа по книге В. В. Виноградова».

— Что вы! — стал я отнекиваться. — Я же фонетист!

— Именно потому, что вы фонетист, вы и подготовите такой реферат.

В тоне приказа.

Абрама Борисовича я очень уважал; отказать ему не мог; пришлось мне взяться за реферат. (Но почему в таком жестком тоне?) Читал я его на кружке безрадостно:

— Гэ! Значение способа действия! Пример:

Еще! в полях! белеет! снег!  
А воды! уж! весной! шумят!

с неостывшей обидой, равнодушно тарабанил я.

А. М. забеспокоился, заволновался и ворвался в мою рубку стихотворения Тютчева:

— Погодите! Погодите! Я ничего не понимаю. — Пожал плечами. Оглянулся вокруг, приглашая и других тоже ничего не понимать. — Воды шумят весной... Когда шумят? Весной. А вы говорите — «способ действия». Да откуда вы взяли?

— Виноградов считает — способ действия, — невразумительно ответил я. (Видно было, что этот ответ огорчил А. М.)

А. Б. то ли угадал стратегию и тактику Сухотина, то ли не угадал, но поспешил ему ответить:

— А вы, Алексей Михайлович, послушайте-ка... Вы послушайте! Еще в полях: белеет сне-е-е-ег... (И здесь А. Б. мечтательно задумался. Видно — представил себе этот снег. И продолжал душевно, лирично:) — А воды уж весно-о-о-ой (и он опять задумался) шумят...

— Ах, вот оно что! — все понял и зардовался Алексей Михайлович, поглядывая на меня. Да и я тоже понял.

В свое оправдание скажу, что такую рубку стихов я и сам не переносил, но здесь стало мне тоскливо, муторно стало от своего собственного реферата, и я торопился сбыть его с рук.

Такими мелочами, но памятными и, значит, нужными мелочами, занимался Алексей Михайлович на заседаниях кружка, вообще — когда встречался с новичками в филологии. Урок здесь заключался не в том, что стих требует внимания и понимания (это-то мы все знали), а в том, что всякое дело, и нелюбимое тоже, надо делать так же отточенно и четко, как любимое. А может, и никакого урока не было, а была простая заинтересованность настоящего ученого в том, что делает молодежь.

Другой случай на кружке. Еще один реферат по книге В. В. Виноградова (ее любил А. Б. Шапиро; это он был организатором рефератов). Тема — образование наречий.

Читал один мальчишечка, едва ли не с первого курса. «А еще при образовании наречий предлог превращается в приставку. Например: в купэ».

— Разве есть такое наречие: в купэ? — удивился Сухотин.

— Есть! — с торжеством сказал мальчишечка. — Вот оно, в книжке!

— Ах, вкупе! — прочел А. М. и развеселился. — И мы все развеселились.

Мы развеселились — Алексей Михайлович на нас рассердился и накричал.

— Вы не филологи! — сказал он. — Вы не умеете ценить ошибку!

А ошибка... может быть, это самое нужное для филолога. Извольте сейчас же подумать и сказать, почему это очень интересная, прямо замечательная ошибка.

Мальчишечка, придумавший наречие *в купэ*, приободрился и покровительственно посмотрел на нас.

Мы стали разбираться, в чем дело. Во-первых, в условности, непоследовательности правил о слитных и отдельных написаниях. Во-вторых, в двузначности буквосочетаний *пе*, *бе*, *те*, *де* и т. д. (ведь пишется *в купе*). В-третьих... В-четвертых...

Разобрались. Хорошо. Сухотин похвалил нас. Студент, придумавший наречие *в купэ*, одобрительно кивал нам головой.

— А еще, — заявил он неожиданно, — ударения надо ставить! Чтобы не ошибаться!

Потом Алексей Михайлович стал рассказывать. Все в языке можно рассматривать как укоренившуюся и прощенную ошибку. Он взял текст: какое-то двестишье (забыл, какое) и показал, что любая фонетическая и грамматическая норма, отраженная в этом тексте, когда-то считалась ошибкой.

— Обыватель смеется над ошибками. А вы должны оценивать их профессионально. И любить, любить хорошие, заставляющие думать ошибки.

Уходя, мы крепко жали руку студенту, придумавшему наречие *в купе*.

Может показаться, что Алексей Михайлович занимался с нами всякими азбучными, элементарно-простыми вещами. То стихи учил не тарабанить, то какому-то чудаку объяснил, что нет наречия *в купе*. Всем этим, очень простым, действительно, занимался А. М. Сухотин. Но были и серьезные дела.

На первом же курсе, после нескольких начальных лекций, А. М. сказал, что он разрешает, но только самым вдумчивым студентам, прочесть книгу Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики». Книга перед этим вышла в переводе Алексея Михайловича.

Надо ли говорить, что книгу Соссюра после этого трудно было застать и в институтской читальне, и в библиотеке: ходила все время по рукам. И А. М. в разговорах со студентами говорил об отдельных мыслях Соссюра, разъяснял их, интерпретировал, иногда — спорил с ними. Теория Соссюра была его всегдашней мыслью. Творчески перерабатывая ее, Сухотин оставался верен ее наиболее плодотворным основам.

Одно из важных его расхождений с Соссюровой теорией было понимание истории языка. А. М. не раз говорил, что исторически изменяется именно система, соотношения единиц; изменчивость этих соотношений и есть действительный объект исторического языкознания. Тогда же он говорил, что в поздних работах И. А. Бодуэна де Куртенэ реализована эта идея.

Как-то на лингвистическом кружке студенты разбирали темы для рефератов. Юра Юрковский встал и медленно, как всегда, с раздумьем, сказал:

— Вот. В прошлом году... у нас... был... Соссюр. (Значит: в прошлом году для рефератов были предложены темы и по книге Соссюра.)

Алексей Михайлович вскочил, подбежал к Юрковскому, выкрикивая:

— Соссюр был в прошлом году! Соссюр есть в этом году! Соссюр будет и в будущем году и еще потом-потом-потом! Соссюр явление не сезонное!

Потом мы и по лекциям А. М. Сухотина узнавали, насколько глубоко продумал он, в самых ярких ее сторонах, теорию Соссюра, насколько творчески ее применял к языковым фактам. Для него, как и для всей живой лингвистики, Соссюр был явлением не сезонным. Идеи Сосоюра были близки и подлежали развитию.

У Сухотина были очень своеобразные, чисто лингвистические шутки. Если бы так шутил не А. М., живой, стремительный, острый, то они могли бы показаться педантическими. Но связанные памятью именно с образом Алексея Михайловича, они сохраняют свое обаяние.

Идет разговор об этимологии слов *Пошехонье* и *Шексна*.

— Здесь какая-то ошибка... — замечает А. М.

— Какая же ошибка?

— Просто русское *ха* прочли как латинский *икс*.

Или другая шутка.

— Бульварная литература, — говорил А. М., — это то же, что во французском *littérature boulevardère*.

— А у них, — неожиданно и серьезно добавил он, — конечно калька с русского. Скверная литература. Не знали, что такое скверна. Думали — от сквер.

Лекции Алексея Михайловича были необычны. Он говорил о том, что его сейчас, в день лекции (или в неделю лекции) волновало, не всегда стремясь точно приурочить тему разговора к вузовской программе.

Вышла книга М. А. Рыбниковой «Введение в стилистику». Книга чем-то затронула Алексея Михайловича, он писал на нее рецензию; две или три лекции он нам рассказывал о стилистике, попутно иногда споря с Рыбниковой, но больше развивая свои собственные взгляды.

В журнале «Литературная учеба» появилась статья Н. А. Соколова о рифме Маяковского. «Как вы к ней?» — спросил А. М. студента Панова. «Очень интересно! Но многое на фу-фу», — ответил студент Панов. «Вот именно! Я буду об этом в лекции...» И на самом деле: одну из лекций по языкознанию посвятил важному разговору о том, что звуковой анализ стиха должен считаться с замыслом поэта и его целостной эстетической системой.

Сэпирово различие деривационных и реляционных значений послужило темой двух живейших лекций по введению в языковедение. (Вышла книга Сэпира «Язык» в переводе А. М. Сухотина.) Знаменитый анализ значений в английской фразе «The farmer kills the duckling» был «переведен» Сухотиным и продемонстрирован на русском тексте (забыл я все подробности этого анализа, от лекций осталось только впечатление лингвистического чудотворства, живости, обаяния).

Выходили во множестве книги марристской ориентации с разглагольствованиями о языке жестов. Маррюги считали, что «кинетическая речь» исторически предшествовала звуковой. Мысль не пустая, но доказательств ее у сторонников «нового учения о языке» не было никаких. Как бы в ответ на эти «бубликации» (на раздачу дырок от бублика) Алексей Михайлович посвятил свою лекцию соотношению словесных и жестовых знаков — в истории и современности.

Он изучал случаи несовпадения слова и жеста. Если говорят: «Положите на эту полку тонкую книгу (ладони отстоят далеко друг от друга, показывая значительную толщину), а на эту — толстую (ладони сильно сближаются, чуть не касаются друг друга)» — какая реакция будет у собеседника? Послу-

шается он слова или жеста? «Высокие (показывает рукой низкий рост) подойдите ко мне, а среднего роста (показывает рукой верзилу) пока отойдите». Словесная или жестовая инструкция победит?

А. М. считал (так он нам говорил на лекции), что в разных условиях общения, с разной аудиторией преимущество будет отдано то слову, то жесту. Позиционное понимание знаковой иерархии?!

Так А. М. превращал свои лекции в текучий, непрерывный отклик на то, чем ежедневно жила наука.

Странно, но фонология в лекциях Алексея Михайловича (когда я его слушал) отсутствовала полностью. Зато на кружке об этом речи были. Как-то на собрание кружка А. М. привел Александра Александровича, приговаривая:

— Это Реформатский! Это Фонематский! Про фонему знает все!

А перед этим заставил кружковцев перечитать несколько страничек из Соссюра — те, которые были нужны, чтобы понять лекцию-рассказ Реформатского.

В 1939—40 годах А. М. Сухотин некоторые понятия фонологии ввел в свои лекции для студентов, но я эти лекции уже не слушал.

Много позднее В. Н. Сидоров говорил мне, что больше всего ему помогли понять фонемную систему русского языка беседы с А. М. Сухотиным. «Вначале мы с Алексеем Михайловичем больше всех об этом думали», — сказал В. Н. Сидоров.

Лекции А. М. увлекали. Но он, пожалуй, был иногда слишком щепетилен и обидчив. Рассказывает... вдруг посередине лекции замолчал. И обратился к какому-то слушателю:

— Вы зачем шелестите? — (Видимо, тот перелистывал книгу). — Вы не понимаете, что это мне мешает? А если так... А если вы не хотите... Я и всем уйти могу! — и сделал шаг к двери.

Все затихли. Алексей Михайлович снова читает лекцию. И — опять остановка:

— Так тоже не надо! Совсем без звука. Вы должны сидеть с легким заинтересованным шумом!

Все рассмеялись. Напряжение исчезло. И мы опять внимательно слушали Алексея Михайловича с тем самым шумом, который он рекомендовал нам.

Рассказывая об учении Соссюра, он поведал нам и о том, как была создана его книга: по записям студентов. А. М. сказал, как будто немного смущаясь:

— Вот и вы... лучше записывайте. Может, потом выйдет книжка. Мы все... я и мои товарищи по кафедре... многое по-своему о языке передумали. К Соссюру и близко, и не близко. Надо постройку закончить. Спорим. Рассуждаем. Должно получиться.

Кафедра русского языка в Московском городском педагогическом институте<sup>6</sup> тогда (в 30—40-е годы) была столицей московской лингвистической школы. На ней преподавали: Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, А. М. Сухотин, Г. О. Винокур, И. С. Ильинская, А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов, А. Б. Шапиро, И. А. Василенко... Цвет МЛШ<sup>7</sup>.

Заведующий кафедрой Р. И. Аванесов, — молодой и (тогда) смелый, — не побоялся пригласить на кафедру А. М. Селищева и В. Н. Сидорова, только что вернувшихся из лагерей. Владимир Николаевич не имел права жить в Москве и на лекции каждый раз приезжал поездом из дальней дали.

На заседания кафедры приходил Д. Н. Ушаков, спорил со своими «ушаковскими мальчиками».

Осень 1941 года. Фашисты недалеко от Москвы.

Кто-то по глупости сказал Алексею Михайловичу:

— Ну, вам-то что... Фашисты к дворянам милостивы. Не то что к простому народу.

Сухотина это оскорбило.

— Я и есть простой народ, — ответил он.

Получил в Минпросе направление в Ульяновский пединститут и ушел из Москвы. С портфелем, в котором были рукописи.

Об этом после войны мне рассказывал В. Н. Сидоров.

В начале 1942 года мне писали из дома, что А. М. спрашивал мой военный адрес, хотел переписываться со своими учениками...

Алексей Михайлович очень много сделал для воспитания филологов. Почему же в языкознании сейчас работает «сухотинцев» — раз, два и обчелся? Или было кратковременным то увлечение лингвистикой, которое умел пробуждать А. М. Сухотин? Нет, причина иная. Война.

Юрковский, Рудаков, Растобаров, Лихачев, Скударь... (и многие другие, кого я не знаю) ...Все они не вернулись. Нет, не просчеты воспитательного творчества А. М. Сухотина. Судьба.

Самое главное в Алексее Михайловиче Сухотине... Нелегко сказать. В каждом человеке много «самого главного». Но все-таки. Что в первую очередь? Его человеческое обаяние. И самоотверженная преданность науке, призванию, долгу...

Студентов он награждал своим товариществом и видел в них будущих соратников в области науки и просвещения...

<sup>6</sup> В 1960 году расформирован. Не путать с Государственным педагогическим!

<sup>7</sup> Фамилии перечисляю в беспорядке, чтобы подчеркнуть, что в МЛШ не было и нет чиновничьих рангов.

## Александр Александрович Реформатский \*

*...Фонологическая теория.  
Проблема собственных имен.  
Фонетика в зеркале стиха.  
Техническая редакция книги.  
Взаимоотношения агглютинации и фузии.  
Топонимика.  
Словообразование; членимость слова.  
Лингвистика и математика.  
Законы и парадоксы словообразования.  
История языкознания.  
Система в лексике.  
Композиция новеллы.  
Нейтрализация языковых единиц.  
Письменность для дунган.  
Связь грамматики и фонетики.  
Типы тюркского сингармонизма.  
Теория пограничных сигналов.  
Орфоэпия пения.  
Грамматическая синтагматика.  
Теория письма.  
Понятие языковой структуры.  
Морфонология.  
Сущность термина и терминологии.  
Разграничение синхронии и диахронии.  
Экспериментальная фонетика.*

Вот неполный (очень, очень неполный!) перечень тем, особенно близких А. А. Реформатскому. Размах поисков очень велик. Конечно, есть ученые, у которых еще шире разброс интересов, разбег тем. Но, увы, этот разброс обычно говорит об отсутствии стержневых стимулов научного творчества:

---

\* Фонетика. Фонология. Грамматика: К 70-летию А. А. Реформатского. М.: Наука, 1971. С. 5—17. (В соавторстве с Р. И. Аванесовым.)



нет ствола, широко разбрасывающего ветви. Есть широко разбросанный хвост. Эклектизм (который может быть даже талантливым) пробует свои силы на всем, потому что все по сути своей безразлично.

Нет, уж чего-чего, а такой апатичной всеядности у А. А. Реформатского искать нечего. В каждой его книге, статье, лекции, в каждом докладе и выступлении, во всем — что бы он ни говорил и что бы ни делал — чувствуется одно дело. Есть внутренняя целостность во всех его словах и делах. Если это помнить и сравнивать работы А. А. Реформатского с работами ученых, имеющих «стержень», целостную основу всех своих поисков, то станет ясно: эта широта предельна.

В чем же это единство? Чтобы понять это, надо подробнее рассмотреть научное творчество А. А. Реформатского.

Взгляды А. А. Реформатского складывались в 20-е годы. Позднее они менялись, обогащались, естественно разрастались, охватывая новые и новые области исследования, — но оставались верны своим истокам. Исследователь всегда выступал (и в тех случаях, когда это требовало большого мужества и самоотверженности) поборником взглядов новомосковской лингвистической школы. А. А. Реформатский, вместе с другими основателями этой школы — Р. И. Аванесовым, В. Н. Сидоровым, П. С. Кузнецовым, отстаивал взгляды, имеющие очень ясную родословную. Все четверо зачинателей были учениками учеников Ф. Ф. Фортунатова. Новомосковская школа продолжала дело московской, фортунатовской школы. Изучение языка как системы — вот что объединяет всех «новомосквичей» (и дает им право считаться наследниками фортунатовской линии в отечественном языкознании).

Система — это целостность, в которой каждый элемент определяется всеми другими элементами. Быть системой свойственно совокупности знаков. И язык в новомосковской школе (с самого начала ее истории) изучается именно как система знаков. Нет ли модернизации в таком понимании деятельности новомосковской школы 20-х годов? Не привносятся ли в ту эпоху намерения и помыслы 60-х? Ничуть. Напротив: часто мы, в 60-е годы, оказываемся людьми с короткой памятью и считаем новоприобретением то, что было уже, в самом основном и главном, найдено в эпоху бурного лингвистического развития — в 20-е годы.

Мысль о системности языка всегда была основной мыслью А. А. Реформатского. Но у него свое место в четверке создателей школы. Изучение системных отношений в языке требует высокой абстракции. Можно строить эти отвлечения, полностью очищая их от конкретной языковой плоти. Резон есть: потом, когда будет найдена вся совокупность таких полнейших, последовательнейших абстракций, они в совокупности позволят вернуться от холода

отвлеченности к теплу конкретного языкового явления. Но можно попытаться самую систему отвлечений построить так, чтобы каждое обобщение сохраняло это тепло языковой реальной данности; притом построить ее так, конечно, не ценой непоследовательности, не ценой нарушения законов абстрагирования. Это трудно, но исследовательская интуиция, изобретательность, чувство меры (необходимое и в науке — не только в искусстве) помогают преодолеть и такой трудный путь. Это — путь А. А. Реформатского. Как бы ни были отвлечены его теоретические построения (иногда они крайне отвлечены), они сохраняют краски и запахи языковой реальности. Ни об одном из других лингвистов новомосковской школы этого не скажешь. Какой же путь лучше: хранить при самых высоких абстракциях отзвук, ответ конкретности или полностью, целиком отлететь в область «конструктов»?<sup>1</sup> Вопрос бессмыслен. Что лучше: стиль Льва Толстого или Герцена? Стендаля или Романа Роллана? Одни рисуют непосредственную, живую, наглядно-единичную реальность, в ней обобщая действительность (Толстой, Стендаль), другие эту картинность большей частью пропитывают эмоционально-понятийным обобщением, менее наглядны, менее «вещественны».

Советские языковеды 20-х годов стремились строить свои теории на марксистской методологической основе — одни более целеустремленно и последовательно, другие менее. Ученые новомосковской школы твердо стояли на материалистической основе и искали путей диалектического осмысления языковых фактов. Фонологическая теория ими с самого начала строилась как материалистическая. Разумеется, это не мешало им строить обобщения очень высокой отвлеченности.

Позиционно чередующиеся звуки следует объединять в одну функциональную единицу — фонему; вот одно из принципиальных положений московских фонологов. Обобщаются и понимаются как тождественные единицы звуки, акустически и артикуляционно совершенно различные. Такая степень абстрактности основной функциональной единицы в фонетике (фонемы) не свойственна ни одной другой фонологической теории.

Такая абстрагированная единица может быть установлена лишь при сопоставлении тождественных морфем<sup>2</sup>. Это условие как бы возвращает фонологию конкретность и живость языкового факта: предельная отвлеченность устанавливается путем сопоставления конкретных, прямо-таки индивидуаль-

---

<sup>1</sup> Слово 50—60-х годов, но применимо и к теоретическим поискам более ранних десятилетий.

<sup>2</sup> О том, что привлечение понятия «морфема» к анализу фонологических фактов не ведет к порочному логическому кругу, написано уже немало. Нет надобности здесь говорить об этом подробно.

но-тождественных морфем. А. А. Реформатский, как и другие фонологи-«москвичи», пишет о необходимости морфологического критерия в фонологии; и пишет он об этом с особой пристрастностью, так, что видно, как для него важно, строя Останкинскую радиобашню абстрактных понятий, знать и видеть, на какую твердую почву она опирается.

Постоянно подчеркивается, что без ориентации на морфологию фонетическую сторону языка в ее функциональном аспекте и невозможно исследовать. Например, о явлениях сингармонизма в уйгурском языке говорится так: «Для выяснения соотношений фонетики и грамматики интересно сопоставить такие далекие явления, как „обратный“ (для тюркских языков), т. е. регрессивный, сингармонизм уйгурского языка с аналогичным явлением в германских языках. Оба явления невозможно рассматривать вне морфологического аспекта, так как речь идет по преимуществу о взаимодействии вокализма корня и постфикса, а не „вообще“ о взаимодействии гласных...»<sup>3</sup>

А. А. Реформатскому принадлежит разграничение перцептивных и сигнификативных позиций. Нововведение не всеми было признано и даже оценивалось иногда как излишнее. Другие, считая это разграничение удобным (например, для вузовского преподавания фонологии), относили его все же к периферии фонологической теории. Наконец, у третьих новшество получило высокую оценку, поскольку оно доводило до конца то разделение понятий, которое было введено в науку с разграничением вариантов и вариаций фонем. Действительно, в словоформе *науке* звук [к'] — вариация фонемы, в словоформе *наук* (род. мн.) звук [к] — вариант той же фонемы /к/. В словоформе *тревоге* [г'] — вариация фонемы /г/, в словоформе *тревог* [к] — вариант той же фонемы. Вариация налицо тогда, когда фонема (в виде такой-то своей реализации) испытывает влияние позиции. Понятие же варианта двойственно: учитывается, что это такая реализация фонемы, которая обуславливает ее совпадение с другой фонемой. Деформированы ли реализаторы фонемы позицией, в которой выступает вариант этой фонемы, или не деформированы — остается не указанным. Термин «вариант» не дает такого указания: и [к] в словоформе *наук*, и [к] в словоформе *тревог* — одинаково варианты. Введение понятия сигнификативно слабых и перцептивно слабых позиций позволяет быть более последовательным: [к] в *наук* обусловлено перцептивно сильной, но сигнификативно слабой позицией; [к] в *тревог* — и перцептивно и сигнификативно слабой позицией.

Думается, не случайно это разграничение было выдвинуто А. А. Реформатским. Оно ориентировано на обостренное внимание к реальному звуку, к

---

<sup>3</sup> Реформатский А. А. О соотношении фонетики и грамматики (морфологии) // Вопросы грамматического строя. М., 1955. С. 105.

фонетической «плоти» языка. Учитывается не только функционально существенный результат (такие-то фонемы в данной позиции не различаются), но и тот страстный путь, которым прошел звук<sup>4</sup>, представляющий фонему, к тяжелой, к ущербной роли варианта. Абстрактная теория здесь непосредственно и цепко увязана с конкретной данностью языка.

Конечно, и у всех фонологов-«москвичей» есть такая связь конкретности и отвлеченности, напрасно мы бы стали искать коренных различий в позиции А. А. Реформатского и, например, В. Н. Сидорова. Недаром они создатели одной фонологической теории и основатели одной научной школы. Но оттенки теоретических взглядов — различны, и В. Н. Сидорова трудно представить инициатором разделения сигнификативной и перцептивной «слабости» позиций.

Оттенки эти — не пустяк. В обостренном внимании к языковой конкретности кроется и интерес А. А. Реформатского к широким орфоэпическим вопросам, к проблемам нормы. Здесь же исток постоянного и глубоко результативного внимания ученого к изысканиям в области прикладного языкознания. Становится понятным и деловой, профессиональный интерес А. А. Реформатского к экспериментальной фонетике (в течение нескольких лет он руководил экспериментально-фонетической лабораторией в МГУ).

Можно было бы привести немало других примеров, показывающих, как А. А. Реформатский высокую абстрактность лингвистической теории сочетает с любовью к «плоти», к мельчайшей конкретной данности языка, более того: это же устремление сказалось в стиле его научного мышления. Приведем один пример. Определенную языковую закономерность А. А. Реформатский любит показывать на парадоксальном, озадачивающем материале. То, что сущностно различно, демонстрируется на явлениях, материально (в случае фонетики — акустически и артикуляционно) совпадающих; то, что сущностно тождественно, — на различно выявленных материальных фактах. Примеров можно было бы привести немало<sup>5</sup>. В таких парадоксальных ситуациях острее обозначается закономерность, а вместе с тем подчеркнута выявляются и диалектические взаимоотношения сущности и явления; внимание привле-

<sup>4</sup> «Прошел» — в строго синхронном смысле!

<sup>5</sup> Еще характерный пример: «Для того, чтобы определить, какие элементы входят в структуру языка, разберем следующий пример: два римлянина поспорили, кто скажет (или напишет) короче фразу; один сказал (написал): *Ео rus!* — Я еду в деревню, а другой сказал: *И!* — Поезжай... Это самое короткое высказывание (и написание), которое можно себе представить...» Далее идет анализ, какие языковые единицы представлены в этом высказывании. Вывод: «Маленькое *И*, оказывается, заключает в себе все, что составляет язык вообще: 1) звуки... 2) морфемы... 3) слова... 4) предложения...» (*Реформатский А. А.* Введение в языковедение. 4-е изд. М., 1967. С. 28—29).

чено к этой строптивости, к активности явления (звука), выражающего сущность (фонему).

Работы А. А. Реформатского — книги, статьи, заметки, его лекции, доклады производят яркое эстетическое впечатление, и это не в ущерб, конечно, их научной доказательности. И эта черта опять-таки, несомненно, связана с умением отвлеченное показать через остро понятое единичное.

\* \* \*

«... Мне хочется рассмотреть некоторые вопросы русского консонантизма, памятуя, что язык есть общественное явление...»<sup>6</sup>. Такая постановка задачи типична для работ Реформатского.

Исследователи поэзии Пастернака говорят, что у него такой взгляд: непосредственно ближайший план — и сразу за ним план безмерно удаленный:

На тротуарах было скользко,  
И ветер воду рвал, как вретище,  
И можно было до Подольска  
Добраться, никого не встретивши.

Вероятно, эта черта была и личной собственностью поэта (его стиля), и даром всей эпохи. Ведь сам Пастернак это подчеркнул, взяв эпитафию из Гоголя (к стихотворению 1919 г.): «Вдруг стало видимо далеко во все концы света».

В 20-е годы стало видимо во все концы света и в науках; в языкознании — тоже. Все объединилось одним окоемом (мировоззрением и мироощущением). Взгляд А. А. Реформатского — уже в самых первых его исследованиях — от частного, близкого, прикладного разом переносится к далям, к самым общим основам науки. От некоторых вопросов русского консонантизма — к самому главному вопросу языковедения: к общественной природе языка.

Доклад об орфографии, о возможностях ее улучшения, Реформатский начинает словами Пушкина: «Да здравствует разум!». И это никому не показалось натянутым: в докладе шли лучи от частного к общему, к философии, к общественно важному.

Может ли книга о технической редакции быть глубоким семиологическим трудом, намечающим перспективы развития науки о знаковых системах? Оказывается, может. Если эта книга написана А. А. Реформатским. Здесь<sup>7</sup> предвосхищены важные положения теории информации.

<sup>6</sup> *Реформатский А. А.* Согласные, противопоставленные по способу и месту образования... // Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР. 1955. № 8. С. 3.

<sup>7</sup> *Реформатский А. А.* Техническая редакция книги. М., 1933.

В книге выдвигалась теория «избыточной и достаточной защиты». Понятие избыточной защиты ввел в теорию шахматной игры шахматист А. И. Нимцович. «... Если на какую-нибудь фигуру, пешку или вообще на какой-нибудь пункт (квадрат доски) направлено два нападения, нам необходимы две защиты (двумя пешками, пешкой и фигурой или двумя фигурами), — такая защита будет достаточной; если при тех же двух нападениях наш пункт защищен один раз (одной пешкой или одной фигурой), это будет защита недостаточная; если он защищен трижды (фигурами или пешками), это будет избыточная защита».

Эта избыточная защита была переосмыслена А. А. Реформатским применительно к печатному и устному тексту; она *implicite* содержала идею избыточной информации. В других его работах, посвященных полиграфической технике, уже прямо обсуждался вопрос о необходимых и достаточных показателях при реализации знаковых системных единиц.

В работе «Техническая редакция книги» нашли отражение сильные стороны научной деятельности А. А. Реформатского: его роль в формировании «невиданных», т. е. новых научных дисциплин, его умение наглядно раскрыть истины этих новых отраслей знания, его умение сочетать высокую отвлеченность («схема») с конкретным объяснением, полным примеров и применений.

\* \* \*

В. Н. Сидоров вспоминал (шутливо) о первой печатной работе Реформатского: «Она была вся сплошь в формулах. Так что некоторые даже покупали, думая, что это книжка химическая, потому что Реформатские были известны как химики».

Стремление к точности в понятиях, к полной их определенности, к строгости научной мысли очень характерно для А. А. Реформатского. Такая строгость вовсе не требует непрременной математизации; более того: склонность к математическим одеяниям мысли иногда даже мешает мыслить лингвистически четко. Возникает уверенность, что формула (в которую затолкнули лингвистический материал) сама обеспечивает четкость мысли, сама «домысливает» ее до ясности. Этим можно объяснить самые неожиданные логические промахи именно в тех работах, где формул — роскошное преизобилие (но, конечно, в некоторых, не во всех таких «изобильствующих» работах). Свое отношение к математической лингвистике Реформатский высказал с полной ясностью и убедительностью: серьезное применение математических методов в языковедении очень желательно, но оно не создает особой науки, со своим особым объектом изучения.

Точность в работах Реформатского иного, не математического порядка: это полное соответствие понятия (так-то определенного) объекту, отраженному в понятии и заданному языковой действительностью.

Точность в работах филологов вообще специфична. Литературовед настаивает на том, что Л. Н. Толстой в произведениях позднего периода был выразителем взглядов патриархального крестьянства. Понятие «патриархальное крестьянство» не поддается точной статистической проверке; провести перепись именно патриархального крестьянства не удалось бы. Куда определеннее понятия: однолошадные крестьяне, зажиточные и т. д. Но филологу они не нужны; объект, который необходимо выделить и определить, покрывается именно словами: патриархальное крестьянство. Имеется в виду общественная позиция, мировоззрение, имущественное положение — в их связи. Конечно, такая филологическая точность понятия допускает широкое использование интуиции; вряд ли это страшно.

Точность у лингвистов — иная, не та, что у литературоведов. Она предполагает постоянную экспериментальную проверку (эксперимент понимается в пешковско-щербианском смысле). Но это — филологическая точность; она включает значительную долю интуитивной оценки фактов; и она требует, чтобы интуиция нашла определения, точно, исчерпывающе точно покрывающие объект исследования.

Работы А. А. Реформатского дают блестящие образцы лингвистической точности мысли. Легче всего увидеть борьбу за точность, сравнивая разные издания «Введения в языковедение». Даже ключевые, главнейшие определения, оставаясь в принципе тождественными, все время оттачивались. В третьем издании говорится: «Фонемы — это минимальные единицы звукового строя языка, служащие для складывания и различения значимых единиц языка: морфем, слов, предложений»<sup>8</sup>. В последнем, четвертом, издании снято последнее слово в определении. Это значит, что идея об иерархическом, «пирамидальном» (а не только линейном) строении языка и речи стала теперь последовательно проводиться через всю книгу. Предложения не складываются непосредственно из фонем; фонемы (основание иерархической пирамиды языковых единиц) складывают морфемы (алломорфы); алломорфы сочетаются в слова (словоформы); словоформы образуют предложение. Фонемы — единицы основания пирамиды языковых единиц — непосредственно не входят в состав предложения (оно — вершина пирамиды)<sup>9</sup>. Но это вопрос спор-

<sup>8</sup> *Реформатский А. А.* Введение в языкознание. 3-е изд. М., 1960. С. 175 (название книги колебалось вслед за колебаниями вузовской программы).

<sup>9</sup> Может быть, при изложении той фонологической теории, которая дана в книге А. А. Реформатского, следовало бы из определения убрать и слово «слов» (см.: *Аванесов Р. И.* Фонетика современного русского языка. М., 1956. С. 38).

ный и побочный; методически, думается, лучше в учебнике для студентов не привлекать к нему внимания. Изъятие одного слова из определения говорит о существенной доработке учебника, о более точной пригонке понятия «фонема» к другим научным понятиям, данным в книге, о более точной характеристике объекта изучения.

Первая работа Реформатского изобиловала формулами. Они точно передавали (должны были передать) сюжетное строение Мопассановых новелл. Позднее, в лингвистических работах, формулы использовались более скупой. Требование к точному выражению мысли, к строгости в теоретических построениях осталось — но ушло в глубину, в самые принципы определения объектов изучения, в принципы оперирования с этими определениями.

Никакого научного импрессионизма, конструктивная ясность и четкость построения — очень важная черта теоретических работ А. А. Реформатского. Основы научного стиля у него складывались в 20-е годы, когда конструктивизм определял и художественные, и научные поиски. Отсюда — инженерность, точность, конструктивность лингвистических построений А. А. Реформатского.

В годы юности он брал уроки рисования у известной художницы Наталии Гончаровой. «Ничего не получилось из этого», — вспоминает А. А. Реформатский. Может быть, в частном этом случае влияние и не было результативным. Но в целом-то общий конструктивный настрой 20-х годов дал заряд всей научной деятельности ученого. И так же, как во многих других областях, в науке этот настрой, рожденный первыми годами новой социальной эпохи, оказался долговечным и на редкость плодотворным. Работы Реформатского подтверждают: и в языкознании.

«Habent sua fata libelli...» И эта книга имеет «свою судьбу»... Так начинается голубиная книга А. А. Реформатского — «Введение в языкознание». У каждого ученого есть одна либо две голубиные (любимые, стержневые) книги. У Реформатского их две; вторая — фонология русского языка. Она состоит из десятка статей, напечатанных в разных изданиях, но они явно составляют одно целое. Это — книга, хотя еще не собранная.

В 1955 г. вышло второе, в 1960 г. — третье, в 1968 г. — четвертое издание книги. Она по-прежнему оставалась учебником; она стала книгой для всех. Для студентов, аспирантов, для языковедов, для всех, кого интересует языкознание.

Говорят иногда: для студентов книга трудновата. Надо добавлять: при плохом лекторе. Жанр учебника предполагает опору на уроки, на лекции, на практические занятия. Если они ведутся неквалифицированно, если они уводят от учебника, а не ведут к нему, то учебник становится трудным.

Книга нашла дорогу к студентам, об этом говорит ее тираж: в четвертом издании — 100 000.



Но это и книга для специалистов. Было бы интересно составить перечень тех исследовательских работ, где есть ссылки на книгу А. А. Реформатского: апелляция к его мнению, спор с ним, разработка идей, сформулированных во «Введении». Не одна сотня книг и статей вошла бы в этот список.

«Введение в языкознание» Реформатского соединяет, казалось бы, несоединимое: изложение общепризнанного, устоявшегося, проверенного (как и следует быть в учебнике) с исследовательским, индивидуально-авторским освещением всего материала. Она сочетает разумную традиционность — с предельной современностью, с учетом того, что *сейчас* делается в науке (и уже настолько проверено, что может считаться явным вкладом в нее). Стоит посмотреть любую главу в книге (хотя бы раздел о внутренней флексии), чтобы убедиться в этом. Книга сочетает строгость тона с яркой эмоциональностью в подаче всего материала. Эмоциональность дана не «поверх» научного содержания — нет в книге ни ахов, ни охов, — а впаяна в самое изложение науки, видна именно в строгом и точном стиле изложения.

Русская лингвистическая традиция знает несколько превосходных и очень разных учебников по введению в языкознание (Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. И. Томсона, Д. Н. Ушакова...). Но книга А. А. Реформатского выделяется даже и в этом ряду. Только она сочетает, органически и нераздельно, объективное воссоздание общепризнанного в науке — и исследовательское новаторство, традиционность — и внимание к самому новому в науке, научную строгость изложения — и эмоциональную яркость текста.

«Твердый. Меняющийся» — эти слова Маяковского можно отнести и к автору «Введения». В последнем издании освещаются такие вопросы: структура языка, язык как система; теория знака; знаковая система; язык и речь; перцептивная и сигнификативная функция языковых знаков; синхрония и диахрония. Когда, в каком издании книги впервые появились эти понятия? Легко ответить: скорее всего, в третьем (1960 г.); только к концу 50-х годов они стали в центре внимания советских лингвистов.

На самом деле эти понятия, притом как основные, ключевые в книге, были уже в первом издании 1947 г. В дальнейшем их выяснение становилось полнее, рельефнее, но принципы книги, построенной на основе этих ключевых понятий, оставались теми же. Да, именно: Твердый. Меняющийся.

Чем обусловлена эта стойкость? Определенностью позиции. Точными теоретическими основами, которые определяют научную школу. Взгляд на язык как на систему; на единицы языка как на величины, определяемые законами позиционного варьирования.

Ясность исходных позиций позволяет иногда предугадывать, как решит А. А. Реформатский тот или иной теоретический вопрос (иногда — т. е. в тех случаях, когда это решение не есть лингвистическое открытие). На заседани-

ях орфографической комиссии А. А. Реформатский высказался за сохранение двойных согласных в заимствованных словах (*суббота, комиссия* и проч.). Это мнение сразу учениками и последователями Реформатского было оценено как «антиреформатское»; дело не в игре слов: действительно, Александр Александрович должен был занять, исходя из своих «главных» взглядов, прямо противоположную позицию. Редкий случай непоследовательности у Реформатского; и, из-за редкости таких случаев, из-за последовательности «реформатских» устоев в науке, это отступление легко было обнаружено (но Александр Александрович остался при своем «антиреформатском» мнении).

...Жюль Верн, Я. П. Полонский, Данте, В. К. Арсеньев, Лев Толстой, Маяковский, А. Дюма-сын, Крылов, А. Блок, А. Н. Островский, Евгений Петров, Пушкин, Огарев, Игорь Северянин, Гомер, Грибоедов, М. Горький, Мятлев, Ломоносов, В. И. Даль, Бестужев-Марлинский, Леонид Леонов, Лермонтов, Лесков, былины, Чехов, Достоевский... На них ссылается, их зовет на помощь, с ними спорит А. А. Реформатский только в одном из разделов своего «Введения в языкознание». Острое внимание к художественной речи характерно для большинства работ этого ученого. Некоторые даже целиком построены на истолковании фактов поэтического языка (вспомним замечательный этюд «Точьца, тачьца и пятаец»).

Но восприятие научных работ Реформатского как эстетически полноценных, как «искусства в науке» обусловлено не этими обращениями к художественной речи. Не ими в первую очередь. Сквозь каждую страницу исследования, строгую и точную, просвечивает эмоция исследователя. Другая причина, наверно, — в умении, поднявшись в самые верхи, в самый холод абстракций, сохранять тепло языковой конкретности (об этом уже говорилось).

Анатомические рисунки Леонардо да Винчи; нотовские инструкции Гастева, «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» И. П. Павлова, словарь Даля, зарисовки растений Дюрера, диалоги Галилея, лекции Ключевского, естественнонаучные труды Гёте... Наука в самом своем истинном и чистом проявлении сочетается в этих человеческих творениях (очень поразному сочетается, художественно-неожиданно) с подлинным искусством. Вещи А. А. Реформатского, не все, но многие, стоят в этом же славном ряду.

\* \* \*

Мы бурно негодуем, если ценный станок простаивает без дела. Мы возмущаемся (может быть, менее энергично), когда талантливый артист (или, особенно, -ая артистка) в течение долгого времени не получает значительных ролей. Но мы совсем равнодушны, если блестящий лектор, преподаватель, учитель и Учитель — многие годы не ведет педагогической работы. Вот уже,

пожалуй, более десятка лет А. А. Реформатский не читает лекционных курсов, и это очень жаль.

Реформатский-лектор, Реформатский-экзаменатор, Реформатский — наставник и воспитатель лингвистов окружен легендами, воспоминаниями (увы! воспоминаниями!), воспет в устных студенческих преданиях. Судя по этим легендам — в основе своей они правдивы — Реформатский мог за шпаргалку поставить... пять. Он, наверное, единственный экзаменатор, который позволяет во время подготовки к ответу пользоваться учебником. «Вынул билет, вижу — не очень удачно. А тут сидят, готовятся, и перед каждым — книга Реформатского. Черт, — говорю, — забыл дома учебник ваш, Сан Саныч. „Погодите, — отвечает, — я-то, кажется, взял“. Роемся, роемся, чуть не весь в портфель засунулся. Нашел. Дал»<sup>10</sup>. Налет хлестаковской «легкости в мыслях» в таких рассказах разглядеть нетрудно, но также нетрудно увидеть, что они сохраняют достоверный (во всех основных чертах) облик учителя. Любимого — и крайне требовательного. Это ведь у Реформатского ходят сдавать введение в языковедение «до энного раза». Это он твердой рукой ставит тройку в зачетную книжку, сверкающую пятерками. И не менее твердой — «пять» в зачетку, уныло троечную. Убеждение, что студент понял «основ основное» (самое трудное!) — только это основание для отметки. Конечно, так и должно быть... Да, должно. И все же это — резко отличительная черта Реформатского-педагога<sup>11</sup>. Учебником пользоваться разрешает, а щедростью отметок не славится. Студенты филфака МГПИ (в те счастливые годы, когда там читал лекции Реформатский) говорили: «У нас в студенты принимают два раза: первый — после вступительных экзаменов, а второй, по настоящему, — после сдачи экзамена по введению [в языкознание] Сан Санычу».

Да, можно пользоваться учебником, записями лекций; но при ответе проверяется понимание основ науки. Это особое искусство экзаменатора — раскрыть, понят ли прочитанный (выученный, зазубренный, усвоенный, выдолбленный... etc) материал. Мнение студентов: «Учебник читать позволяет, но это ни к чему, если раньше не работал, не продумал. Только стыда больше, когда Реформатский покажет, как ты все недодел» (sic!).

<sup>10</sup> Этот и следующие рассказы студентов записаны в 1951 г.

<sup>11</sup> Рассказ студента: «Приходят пересдавать Реформатскому. Он — каждому вопрос, и уходит в столовую чай пить. Пьет власть. Потом приходит, громко разговаривает в коридоре, около комнаты, где готовятся. Ногами стучит. Приоткрыл дверь, не входит, продолжает с кем-нибудь там говорить. Входит — всё, порядок, готовы отвечать. Казалось бы, тут всякий сдаст на пять. Не-е-ет, уж известно: условия готовиться — льготны, а отвечать... Если пришел наудачу — не пройдешь. Ведь срезаются! Ему подай понимание. Очень он своеобразный».

При такой системе ясно, шпаргалки ни к чему. И Александр Александрович к ним относится с полным самообладанием, больше: с равнодушием («непедагогично»? есть педагогика и есть высшая педагогика). Снова рассказ студента: «Отвечал тут один, получил четыре. Пошел к двери, а из него шпаргалка и выпала. Александр Александрович побряхтел, поднял шпаргалку. Тот ушел, не заметил. Саныч сидит, изучает. Потом зовет: кто мне сейчас отвечал, пусть вернется. Тот уже понял в чем дело, вернулся. Красный. „Садитесь. Дайте зачетную книжку“. Четыре зачеркнул, ставит пять. „Исправленному верить, Реформатский“. „Такую шпаргалку мог составить человек, который очень верно и очень глубоко понял суть дела. Это — ювелирная работа, и все очень конструктивно. Одно у меня только «но»... Почему вы здесь поместили вот это под этим...“ — и начинается чисто технический разговор. Напоследок: „Больше себе доверяйте“. Отпустил. Вот как вышло. По правде сказать, это со мной было, но стыдно всегда говорить. То ли хвастаешь, то ли каешься».

Каждая лекция Реформатского оставляла нераздельное научное и эстетическое впечатление. Конечно, никакой театральности; скорее — антитеатральность. Полнейшая непринужденность; крайняя разговорность речи; притом: изумительное чувство аудитории, постоянный контакт с нею, постоянный обмен токами взаимопонимания. К сожалению, лекции Александра Александровича остались незастиенографированными (а может быть, это удастся сделать?), но даже и точная стенограмма не даст того чувства эстетической полноценности, какое у всех вызывают «живые» лекции Реформатского: в любой стенограмме будет утрачена эта живая связь с аудиторией. Здесь ничего не поделаешь.

Чуть ли не каждая работа Александра Александровича Реформатского — событие в советском языкознании. Пожелаем, чтобы этих событий с каждым годом было все больше и больше.

## Р. И. Аванесов — фонолог\*

В 1881 г. И. А. Бодуэн де Куртенэ написал: «Дивергенты следует обобщать в фонемы». Дивергентами он называл позиционно чередующиеся звуки. Здесь — истоки той теории, которую разрабатывали основатели московской фонологической школы. В работах И. А. Бодуэна де Куртенэ гениально раскрыты многие основные принципы фонологии, построенной на последовательном учете позиционных чередований.

В некоторых науках, по крайней мере в филологических, создание последовательной теории проходит два этапа. Сначала формируются принципы, которые определяют общие контуры новой теории, отделяющие ее от ранее принятых взглядов. Принципы иллюстрируются примерами, иногда даже очень щедро. Важно, чтобы примеры были разные, из нескольких языков, из многих ярусов.

Затем наступает второй этап: попытки целостно описать объект при помощи провозглашенных принципов<sup>1</sup>. Здесь уже нужна не калейдоскопическая яркость и подвижность примеров, а долгое сосредоточенное углубление в один объект.

При таком последовательном описании всегда оказывается, что выставленных принципов недостаточно, что надо достраивать теоретическую базу. Последовательное применение новых принципов к описанию объекта во всей его полноте — это, как правило, и достройка теории, создание ее во всей понятийной полноте.

Именно такой второй этап в развитии фонологической теории и связан с деятельностью основателей новomosковской лингвистической школы (Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, А. М. Сухотин, А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов).

Уже самые ранние работы Р. И. Аванесова — пример строго систематического применения теории к описанию фонетических систем (говоров и литературного языка). В некоторых случаях приемы такого описания сейчас кажутся неэкономными. Описывается, например, говор с рядом своеобразных

---

\* Русское и славянское языкознание: К 70-летию чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972. С. 13—23.

<sup>1</sup> В 20-х годах у самого Бодуэна были такие опыты.

черт в фонетическом строе. И в ряд с описанием этих отличий говора идут такие характеристики: «Согласные фонемы, парные по глухости — звонкости, различаются перед гласными (например, *там* — *дам*), сонорными согласными... , перед губно-зубными фрикативными *в*, *в'* (*свои* — *звон*), перед *ј* (*пью* — *бью*). В других положениях они не различаются: звонкие согласные на конце слова и перед глухими согласными (как парными со звонкими, так и внепарными), оглушаясь, совпадают с соответствующими глухими согласными фонемами, напротив, глухие согласные перед парными звонкими озвончаются, совпадая с соответствующими звонкими»<sup>2</sup>, и т. д. Не проще ли было сказать: позиции для глухих и звонких согласных те же, что в литературном языке? Нейтрализуются они так же, как в литературном языке?

Нет, такое изложение было бы нежелательно (говорим о времени, когда была написана эта работа Р. И. Аванесова). Одно из основных положений современной лингвистики, развернуто и ясно высказанное Ф. де Соссюром и имплицитно данное в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ, — положение о системности языка, о том, что качества каждой единицы, каждой совокупности единиц определяются отношением к другим единицам. Это положение надо было научиться последовательно применять. Надо было уже не демонстрировать его на примерах, а построить на нем все описание.

Но господствовал дифференциальный метод в описании говоров. Указывались лишь отличия данного говора от литературного языка, разрушалась системная целостность описания (черты, «общие» у говора с литературным языком, могли быть функционально совершенно различны — благодаря соотношению с другими участками системы, которые различны в говоре и в литературном языке). В работах Р. И. Аванесова 30—40-х годов и нашел отражение этот категорический разрыв с приемами дифференциального описания, поворот к системной характеристике говора<sup>3</sup>.

Задача последовательного, целостного описания фонетической системы решается Р. И. Аванесовым уже во всех его ранних фонетических работах (посвященных и литературному языку и народным говорам). При таком описании пришлось полностью развернуть и систему основных фонологических понятий (полностью, конечно, применительно к научным задачам, которые ставило время). В работах Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова впервые вводит-

---

<sup>2</sup> Аванесов Р. И. Очерки диалектологии рязанской мещеры // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 1. М., 1949. С. 178.

<sup>3</sup> В наше время, когда мысль о системности языка кажется всеми усвоенной, возможен «возврат» к старым приемам: описание того или иного участка языка через ссылку на литературную норму. Но это мнимый возврат; прием не означает отказа от системности, а только делает его более экономным.

ся и последовательно применяется понятие нейтрализации фонем. Этого понятия (в его эксплицитном выражении) не было даже в работах Н. Ф. Яковлева, ближайшего предшественника московской фонологической школы. Понятие нейтрализации повлекло за собой разграничение вариаций и вариантов фонем — тоже важное нововведение; но нему и всю теорию московской фонологической школы называют «теорией вариантов и вариаций». В редакции, которая была дана Р. И. Аванесовым и В. Н. Сидоровым, а также А. А. Реформатским, А. М. Сухотиным и П. С. Кузнецовым, эта теория стала безотказным орудием для анализа и последовательного описания любых фонетических систем.

Отличия этой теории можно сформулировать так.

1. Позиционно чередующиеся звуки признаются одной функциональной единицей (фонемой), рассматриваются как «то же самое».

Другие фонологические теории тоже учитывают позиционную вариативность звуковых единиц, но только у «москвичей» этот принцип — отождествлять в качестве одной и той же фонемы все звуки, которые связаны позиционным чередованием, — проводится без всяких ограничений как основной принцип, формирующий фонему<sup>4</sup>.

2. Из последовательного применения этого принципа вытекает, что две фонемы в определенной позиции могут реализоваться одним звуком; что одна фонема может в разных позициях выражаться звуками, полностью различными в акустико-артикуляционном отношении<sup>5</sup>. Фонема, таким образом, рассматривается как единица, лишенная «антропофонической» характеристики. Характерность ее чисто функциональная, позиционная.

3. Установление позиционных чередований и, следовательно, определение рядов позиционно чередующихся звуков (эти ряды и есть фонемы) возможно только при сопоставлении морфем. Значит, для московской фонологии необходим морфологический критерий.

Это — наиболее рельефные, наиболее отличительные особенности. Все они встречали ожесточенную критику, все их приходилось отстаивать в напряженных и не всегда мирных спорах. Р. И. Аванесов никогда не отказывался принимать участие в таких дискуссиях, но его более привлекала другая форма доказательства московской фонологической теории: конкретными работами. Огромное фонетическое богатство русских диалектов с комфортом располагалось в той сети понятий, которую предоставила московская фонологическая теория. И здесь — лучшее доказательство правоты этой теории.

<sup>4</sup> Например, пражская фонологическая школа тоже объединяет «дивергенть» в фонему, но только те, которые обладают общей функциональной характеристикой. См. об этом дальше.

<sup>5</sup> А также — и звуковым нулем.

Откуда это постоянное стремление к систематической полноте описания (при максимальной строгости его теоретических предпосылок)? Один исток уже указан: это второй этап формирования теории, естественно вырастающий из первого этапа. Но есть и другая причина, стимулирующая именно такое направление теоретических решений. Это — требования практики. «Языковое строительство», сознательное воздействие на язык, ставшее актуальным с первых же послереволюционных лет, требовало систематичности и теоретической последовательности.

В 30-х годах выдвигались один за другим проекты усовершенствования русской орфографии. Половинчатость орфографических решений, принятых в 1917 г., чувствовалась достаточно остро. Но проекты обладали одним общим недостатком: не обоснованные целостной лингвистической теорией, внутренне противоречивые, они страдали явной эклектичностью. Проекты не выдерживали критического анализа и, не без шума и суеты, бесследно исчезали.

В это время и появилась статья Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка» (1930). Авторы впервые формулируют основной принцип русского письма: наша орфография фонематична. Ее совершенствование, внесение в нее большей последовательности (и, тем самым, простоты) означает усиление этого фонематического принципа, более последовательную его реализацию. Исходя из этого принципа, авторы и делают ряд предложений. Вопрос о том, нужна ли и своевременна ли реформа орфографии, решают не лингвисты (или не только они), а общество в целом; но если реформа окажется реальностью, так или иначе будут реализованы (может быть, частично) те предложения, которые выдвинуты в 1930 г. двумя авторами. Обсуждение орфографических вопросов в более поздние годы (имеется в виду не орфографическая шумиха, а квалифицированное, деловое обсуждение) подтвердило, что эти предложения наиболее обоснованы и целесообразны.

«Орфография будет легка, если она последовательна» (С. П. Обнорский). Те улучшения, которые основывались на наиболее явных теоретических положениях, были реализованы орфографической реформой 1917 г. Дальнейший выигрыш мог быть достигнут только в борьбе за последовательность нашего письма; иначе говоря: сами задачи практики «языкового строительства» требовали последовательного, систематического лингвистического исследования. Требования внутренней логики научного развития и требования практики были едины.

Усовершенствование орфографии, пропаганда орфоэпических норм, определение норм современной сценической речи<sup>6</sup>, кодификация русского ли-

---

<sup>6</sup> Р. И. Аванесов в течение многих лет был участником работы совета по сценической речи при ВТО и консультантом актеров и режиссеров в Методическом совете ВТО.



тературного произношения, преподавание русского языка в средней школе, в педагогических техникумах, в вузах, преодоление диалектного влияния в речи, обучение русскому языку иностранцев — все эти практические задачи решаются в работах Р. И. Аванесова с единых теоретических позиций, при остром внимании к фонологической основе русского языка.

Пример, говорят, заразителен (пример Рубена Ивановича часто бывает заразителен!). Чтобы решить, какой из вариантных орфоэпических норм отдать предпочтение, надо учитывать и фонологию: какая норма «различительна», «дистинктивна», — утверждает в своих работах Р. И. Аванесов. После его исследований стало обычным, обсуждая вопросы орфоэпии, принимать во внимание их различительную, фонологическую сторону (см. ценные работы И. Г. Голанова и других фонетистов).

Анализ практических задач «языкостроительства» с позиций старой теории — вот в чем один из заразительных примеров Р. И. Аванесова.

\* \* \*

У Рубена Ивановича много работ по истории языка и много — по современному языку. Внимание, кажется, в равной степени обращено и к диахронии, и к синхронии.

Если же попытаться понять внутреннюю связь исследований Р. И. Аванесова, их логическую последовательность, то надо признать, что исторические работы у него стоят «впереди» работ о современном языке. В исторических исследованиях — ключ ко всем другим. Сам пафос синхронического исследования у Р. И. Аванесова диктуется задачами диахронии.

Напомним, что так было и у И. А. Бодуэна де Куртенэ. Историческое языкознание выделяло отдельные точки в языке (явления, единицы) и изучало их изменения во времени. При таком атомарном изучении обычно пропадала общая картина, оставалось неясным, какие атомарные состояния одновременны, т. е. сосуществуют в определенную эпоху. Велика была опасность перенесения фактов одной языковой эпохи в другую. Из понимания и боязни такой опасности возникла мысль о синхронии. Не смешивать одну языковую эпоху с другой — вот простейший девиз синхронического изучения.

Оказывается, верность этому девизу вознаграждается: становится видно, что предметом лингвистического исследования должны быть не только языковые единицы, по и их связи, отношения. Они тоже исторически изменчивы. При атомарном подходе это затушевано; определение же целого поля сосуществующих (синхронных) единиц проясняет исторический характер внутриязыковых отношений. Так уже у Бодуэна де Куртенэ из исторического изучения выростала идея строгого синхронизма (во-первых), идея языка как сис-

темы, где каждая единица определяется отношениями с другими единицами (во-вторых).

Такова же логическая последовательность и в работах Р. И. Аванесова<sup>7</sup>. Основным для него остается историческое изучение языка. И в работах о современном русском языке он остается историком. Это проявляется во внимании к вариативности фонетических норм; варианты сосуществуют, но один тянется в прошлое, другой — в будущее. Это видно и по последовательному разграничению (в синхронных исследованиях) продуктивности в языке, постоянно создаваемого в разговорной практике, и непродуктивного, фразеологизованного. Ведь и основное фонетическое разграничение — позиционные чередования *contra* непозиционные — связано именно с фонетической живой продуктивностью.

Но особенно ярко это видно в точном мгновенном отражении тех новшеств, которые характеризуют отношения единиц в современном языке. Эти изменения особенно подвижны, особенно важны и в то же время трудноуловимы. Они всегда в центре внимания Р. И. Аванесова как исследователя языковой современности. Приведем пример. Произношение [шы<sup>3</sup>]ги, [шы<sup>3</sup>]ры, [жы<sup>3</sup>]ра, во[жы<sup>3</sup>]ка сменилось произношением [ша]ги, [ша]ры, [жа]ра, во[жа]ка. Смена норм, орфоэпический «конфликт» поколений был многократно отмечен в фонетической литературе. В аванесовских работах впервые ставится вопрос о фонологическом статусе изменений, т. е. о новых отношениях между звуковыми единицами. Ведь в ряде слов новая норма не победила; литературная норма осталась прежней для слов [жы<sup>3</sup>]леть, ло[шы<sup>3</sup>]дей и ряда других. Кажется, эти слова — островки неизменной традиции в потоке фонетических новшеств. Нет, в этих-то словах и произошли радикальнейшие перемены: их фонемный состав ранее был <жа>леть, ло<ша>дей (ср. жалко, лошадка), теперь он изменился: <ж<sup>0</sup>>леть, ло<ш<sup>0</sup>>дей.

Легко заметить изменение конкретной звуковой единицы в языке; трудно — изменение отношений единиц (в частности, фонологические изменения). Обычно они фиксируются с большим опозданием, в прошлом, а не в современности. Открытию таких изменений в современном русском языке посвящены многие страницы работ Р. И. Аванесова. Он изучает их как историк и как исследователь, видящий в языке системную целостность, сеть отношений, в первую очередь фонологических.

Нет надобности подчеркивать, что и в исторических работах Р. И. Аванесова изменение фонемных отношений остается в центре внимания. Одно из свидетельств этого — блестящая работа об исторических судьбах *и* — *ы*<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Повторяем, что это не столько путь во времени, сколько внутренняя обусловленность отдельных ветвей исследования.

<sup>8</sup> Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма: Звуки *и* и *у* // Вестник МГУ. 1947. № 1.

\* \* \*

Одни языковеды стремятся приемы и методы, оправдавшие себя на одном материале, широко продвинуть в другие области, испытать их на совсем другом фактическом материале. При этом исходные понятия оказываются частично трансформированными: слишком большая жесткость помешала бы их экспансии в другие объектные области.

Другие языковеды всю свою заботу сосредоточивают на точности, строгой закреплённости понятийного аппарата в работе. Расширительное применение этого аппарата не допускается, так как это приведет к сдвигу в значениях ключевых терминов, к неряшливости в понятийной основе исследования.

Эти два типа ученых представляются антиподами. Совмещение их в одном исследователе — большая редкость. О таком редком совмещении свидетельствуют работы Р. И. Аванесова. С одной стороны, как говорилось, последовательное, строго систематическое описание объекта исследования, его анализ при помощи выверенной системы фонологических понятий, с другой — смелые попытки достижения фонологической теории применить в совершенно иных ярусах языка. «Неряшливость» в работе с терминами здесь преодолевается тем, что связь с фонологией не подчеркивается, при изучении иных ярусов фонологическая терминология не эксплуатируется, хотя методика исследования строится на основе опыта фонологии.

В 1939 г. появилась статья Р. И. Аванесова о второстепенных членах предложения. Чтобы установить, является ли существительное определением, надо его в данном контексте попытаться соединить сочинительным союзом с прилагательным, т. е. с морфологизованным, морфологически типичным способом выражения определения (например, *это дом отца — это дом отца и мой*; существительное *отца* здесь определение).

Что общего с фонологией в этом взгляде на синтаксические явления? То, что сущность единицы определяется ее преобразованием в другую единицу. Словосочетание *дом отца* преобразуется в диагностическое сочетание *дом отца* плюс *и* плюс прилагательное. Так же определяется и фонема в позиции нейтрализации: она вместе с контекстом (т. е. в составе той же морфемы) преобразуется — и по этому преобразованию, когда она уже в сильной позиции, определяется ее сущность. Можно было бы попытаться использовать фонологическую терминологию и сказать, например, так: в форме присубстантивного существительного нейтрализованы дополнение и определение; надо поставить в ту же позицию еще прилагательное, и возможность или невозможность подстановки определит синтаксический характер нейтрализованного члена. При этом термины «позиция», «нейтрализация» потеряли бы ту определенность, которую имеют в фонологии, и только намекали бы на существо

дела. И поэтому такое перенесение терминов избегается в трудах Р. И. Аванесова. Опыт фонологического исследования использован без попытки нарядить качественно особые явления в торжественные фонологические одежды.

Такая смелая экспансия фонологических методов в работах Р. И. Аванесова встречается часто. Например, форма существительных с нулевым окончанием рассматривается как нейтрализация двух акцентных типов: с ударением на основе и с ударением па флексии (*много мук* = *много сортов муки* и *много мучений*, нейтрализованы *му́ка* — *мука́*). Таким образом, в этой форме ударение вовсе не «переносится на основу». (Эти положения потом были развиты в работах А. А. Зализняка<sup>9</sup>.)

После сказанного становится понятным интерес Р. И. Аванесова к грамматико-фонетическим явлениям. Сложные вопросы чередования фонем в соотношении с чередованием морфем освещаются во многих его работах. Хитрые сплетения грамматики и фонетики (притом в сложных синхронно-диакронических поворотах) распутываются в статьях «Об одной фонетико-морфологической особенности северно-великорусских говоров» (1947), «К истории чередования согласных при образовании уменьшительных существительных» (1968) и др. Это работы, в которых особенно очевидна аналитическая пронизательность того метода, той лингвистической (в частности, фонологической) теории, которой пользуется Р. И. Аванесов и которую он, вместе со своими товарищами, создавал.

\* \* \*

Работа Р. И. Аванесова 1956 г. «Фонетика современного русского литературного языка» для многих (может быть, для всех) была полной неожиданностью, тем не менее появление ее вполне закономерно. Существует несколько фонологических теорий: либо все, кроме одной, неверны, либо в каждой (или в некоторых) есть своя правда, и все их можно объединить в «полную» фонологическую теорию; либо эти теории охватывают свой объект — фонетический строй языка — с разных сторон, и существование разных, несводимых друг к другу фонологических взглядов вполне закономерно. Надо решить, какое «либо» верно. Попытка синтезировать, слить разные теории сделана в работе 1956 г.

Очевидно, что синтезируются московская и ленинградская фонологические теории. Это прямо сказано в книге. Многолетние бесплодные споры

---

<sup>9</sup> Терминология, здесь использованная, конечно, не принадлежит Р. И. Аванесову — он предпочел и в этом случае не наводить шатких словесных мостов между акцентологией и фонологией.

рождают естественное стремление уйти от них, попытаться преодолеть разногласия терминологически, создав такую систему обозначений, которая охватывала бы обе теории. Так, старая, надежная, полностью себя оправдавшая в исследовательской практике московская фонема превратилась в фонемный ряд.

Была ли безусловно плодотворной попытка синтезировать московскую и ленинградскую фонемные теории — об этом до сих пор идут споры. Во всяком случае, эта попытка стимулировала поиски фонологов в определенном направлении (см., например, введение понятия «звук языка» в работах П. С. Кузнецова).

Бесспорно перспективным был другой синтез, который прошел почти совершенно незамеченным. В этой же книге Р. И. Аванесов делает очень важную попытку сблизить, синтезировать понятия пражской и московской фонологических школ. Приведем одно из свидетельств этого. В словах *разнеслась*, *резьба* автор транскрибирует фонему *а*; *разн/а/слась р/а/зьба*; она же отмечена в словах *х/а/дъбе*, *п/а/жар* (с. 220—221). Какие же основания для обобщения? У них общая характеристика: это фонема неверхнего подъема, нелабиализованная (с. 221).

В основе пражской фонологической теории лежит такой принцип обобщения звуков в фонемы: в одну фонемную единицу объединяются звуки, имеющие общую функциональную характеристику. Например, в словах *указ*, *указка*, *перенос*, *переноска* звуком [с] выражается одна и та же фонемная единица: зубная, фрикативная, твердая. Но в словах *сон*, *сразу* звук [с] выражает другую фонемную единицу (именно фонему с признаками: зубная, фрикативная, твердая, глухая). Так это будет и по теории Р. И. Аванесова (1956). Вообще там, где трактовка фонемы совпадает у «пражцев» и у «ленинградцев», работа Р. И. Аванесова (1956) позволяет говорить о синтезе взглядов «москвичей» и «ленинградцев». (Но, конечно, в той же степени и о синтезе московской и пражской теорий.) Там, где трактовка пражцев отличается от трактовок других школ, Р. И. Аванесов следует именно пражской<sup>10</sup>.

Повторим, что сама необходимость синтеза разных фонологических теорий часто оспаривается. Сделаем 6 шагов:

#### 1. Фонология — это функциональная фонетика.

<sup>10</sup> Пример: по пражским взглядам, в словах *указ*, *указка*, *перенос*, *переноска* — как уже сказано — одна и та же фонемная единица, выраженная звуком [с]. И для Р. И. Аванесова (1956) — это одна фонема, так же и по-ленинградски.

В словах *переноска*, *переносок* — по-пражски не одна и та же фонемная единица. Так и для Р. И. Аванесова (1956). Это сильная и слабая фонемы (разные фонемы). По-ленинградски же «все едино».

2. Фонология не может не учитывать функциональную характеристику звука — набор признаков, которые являются у него в данной позиции различительными.

3. Московская фонологическая теория требует, чтобы в одну фонему объединялись (фонематически отождествлялись) позиционно чередующиеся звуки.

4. Позиционно чередующиеся звуки имеют разные функциональные характеристики.

5. Следовательно, функциональные характеристики не учитываются московской фонологической теорией (точнее: учитываются только в той мере, которая определена основным принципом московской фонологии; см. шаг 3).

6. Московская теория фонем, в ее классическом виде, не включает (полностью) важную сторону звукового строения языка, несомненно функционально значимую.

Где мы оступились? Какой шаг неверен? Можно думать, что мы здесь нигде не оступились. А если так, то необходимо либо искать синтеза московской и пражской теорий, либо признать, что они обе представляют собой самостоятельную ценность, характеризуя разные стороны звукового языка<sup>11</sup>. Р. И. Аванесов в своей работе идет первым путем, путем синтеза. Притом сближение с ленинградцами прямо формулируется — и оно, конечно, было замечено; синтез с пражской теорией не был декларирован<sup>12</sup>, остался незамеченным, а значение этого синтеза исключительно велико.

Конечно, книга Р. И. Аванесова не заканчивает обсуждения вопроса об отношении двух крупнейших фонологических движений в языкознании нашего времени, а только начинает его.

\* \* \*

С 30-х годов Р. И. Аванесов читает лекционные курсы в вузах Москвы. Десятки тысяч филологов учились лингвистически мыслить на его лекциях.

---

<sup>11</sup> С другой стороны, пражская лингвистическая теория фонем только частично учитывает факт позиционных чередований — когда он может быть принят но внимание без нарушения «пражского» принципа: объединять фонемы по их функциональной характеристике. Поэтому, например, чередования *o / a* или *ɔ / ɔ̃* (водный — вода, звезда — звездный) для сторонников Н. С. Трубецкого должны оцениваться как чередования фонем (или фонемы с фонемным нулем), а не чередования внутри фонемы.

<sup>12</sup> Это достаточно объясняется датой выхода книги: 1956. Тогда еще не ставился вопрос об учете достижений Н. С. Трубецкого и других.

Полноценная лекция — не только научный жанр, но в то же время и искусство. Лекции Р. И. Аванесова оставляют эстетическое впечатление своей строгостью и «прекрасной ясностью»: ряды фактов, сложно пересекаясь, строятся в кристаллическую сквозную целостность. Теоретические принципы, точно сформулированные, пронизывают все построение. Научная значительность лекции усиливается ее эстетической значительностью.

Педагогичны и все научные печатные работы Рубена Ивановича. Они воспитывают лингвистическую мысль. Более того — они увлекают мысль, у них есть способность вербовать сторонников и продолжателей. Множество идей, высказанных Р. И. Аванесовым, стало стимулом, отправной точкой для исследований многих его учеников — продолжателей и сторонников.

## Фонологические взгляды К. В. Горшковой\*

Среди научных работ К. В. Горшковой, пользующихся заслуженной известностью, ее фонологические труды для невнимательных читателей нередко остаются в тени. В этих заметках мне хотелось бы напомнить о них. Читатель, может быть, простит меня за то, что я не обременяю свою статью развесистой библиографией...

Слово об этих работах необходимо вставить в историческую раму.

Дело началось великим дерзанием И. А. Бодуэна де Куртенэ: в 1881 году он впервые ввел в науку понятие фонемы и дал глубокое толкование этого термина. Фонема, по Бодуэну де Куртенэ, это единица, которая служит для различения морфем (потом Р. И. Аванесов уточнил: морфов) и тем самым — слов. Фонему составляют позиционно чередующиеся звуки; различия между ними, которые определены позицией, незначимы. Позиционные чередования могут быть установлены при сопоставлении одного и того же морфа. Морф один и тот же, следовательно, мы бы ожидали, что в разных словах, в разных морфемных окружениях будет у него один и тот же звуковой состав; если же это не так, то следует искать причину звуковых чередований во влиянии позиции. Позиционные чередования не знают исключения: они одинаковы для всех слов языка (это требование позволяет отделить фонетические чередования от морфонологических). Таким образом, фонемы служат различителями, но «внутри себя», в ряду позиционно вызванных разновидностей, они неразличительны. Это — идеи Бодуэна 1881 года. Как бы ни были различны по звучанию составляющие фонему варианты, они — одно и то же, одна языковая единица.

Н. В. Крушевский в том же 1881 году, на полгода раньше Бодуэна, изложил очень близкие понятия о фонеме. Он тоже считает, что фонема — различитель значимых единиц, в ее состав входят позиционно чередующиеся звуки. Тоже выдвигается требование, чтобы они принадлежали одной морфеме (во-первых) и чтобы чередование не знало исключений (во-вторых). Но прибавлено и третье требование: одной фонеме могут принадлежать только зву-

---

\* Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: Сб. науч. ст. к 80-летию проф. Клавдии Васильевны Горшковой. М.: МГУ, 2001. С. 411—415.



ки, которые антропофонически, то есть артикуляционно и акустически, подобны друг другу; иначе говоря, составляют один звуковой тип. Значит, в случае *дам* — *давай* корневые гласные принадлежат одной фонеме, а в случае *дом* — *дома* — разным, так как [о] и [а] принадлежат разным антропофоническим типам.

Н. В. Крушевский поступил плохо в двух отношениях. Во-первых, идею фонемы, ее главные определения и характеристики, он взял из лекций своего университетского учителя — Бодуэна де Куртенэ, до того, как сам Бодуэн обнародовал свои взгляды; но Крушевский ни слова не сказал, что эти взгляды принадлежат другому ученому и заимствованы Крушевским у его учителя. Потом Бодуэн де Куртенэ, в некрологе Крушевскому, горько жаловался, что Крушевский так его обидел — присвоил себе взгляды, принадлежащие «кому-то другому». Редкий случай, когда некролог используется для укоров покойному, но, видно, Бодуэну было очень больно, что его идеи у него похитили.

Во-вторых, Крушевский сильно ухудшил теорию Бодуэна, и об этом Бодуэн тоже с горечью пишет в некрологе. Бодуэн де Куртенэ фонему рассматривает как отношение: в формах *дом* — *дома*, *том* — *тома*, *сон* — *сонлив*, *ходит* — *ходьба* и т. д. Гласные [о] и [а] (безударное) объединены Бодуэном в одну фонему, потому что они находятся в одном отношении друг к другу. И вот [о] ударное и чередующееся с ним [а] безударное не могут быть различителями друг для друга, их объединяет общее отношение неразличительности. Одинаковое отношение между этими единицами, а не антропофоническое сходство важно для определения фонемы. Это — величайший сдвиг в истории языкознания. Лингвистика ранее рассматривала единицу языка как вещь, предмет, «штуку», замкнутую данность; теперь, в трудах Бодуэна де Куртенэ, Фортунатова, а в Западной Европе — Соссюра был совершен переход к изучению отношений; их совокупность и есть единицы языка. Так Бодуэн и рассматривал фонему. Это не антропофоническая конкретная данность, не звуковой тип. Крушевский не освоил эту высоту.

От Н. В. Крушевского пошла особая тропа в фонологии — теория Л. В. Щербы. Она дала некоторые частные результаты — только косвенно связанные с исходными, идущими от Крушевского позициями. В конце концов эта теория показала свою бесплодность — в итоговой работе, в академической грамматике 1956 года.

Линия Бодуэна была продолжена, последовательно и плодотворно, в 30-х, 40-х, 50-х годах (и жива сейчас) трудами Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова, А. А. Реформатского, П. С. Кузнецова. В основу их фонологии положена констатация отношений, которые и образуют фонетическую систему. В равной степени внимание исследователей было привлечено к многообразию конкретностей (которые запечатлены на кимограммах, спектрограммах,

осциллограммах и т. д.) и к ментальному снятию этих различий, к построению тождеств, воспроизводящих единство мира.

Это именно то, что сейчас называется московской теорией фонем. Она создана четырьмя замечательными фонологами, имена которых я назвал только что. Их всегда поддерживал А. М. Сухотин.

Одновременно развивалось другое фонологическое направление — пражская теория фонем. У «москвичей» фонема имеет конечной необходимой единицей звуковой сегмент, звук. Сегмент может быть расчленен на признаки, но это для московской теории необязательно; В. Н. Сидоров отрицал такую необходимость в «московской» фонологии.

«Пражцы» пошли другим путем. У них элементарная составляющая фонемы — это различительный признак, «мерисм». Исток и этой фонемной теории — у Бодуэна, но непосредственными создателями пражской фонологии были Н. С. Трубецкой и Р. О. Якобсон. У них никак не могло быть, чтобы в корне форм *дом* и *домов* была одна и та же фонема: у [o] и [a] мерисмы не одинаковые, и это исключает их фонемное отождествление.

В результате разных позиций у «москвичей» и «пражцев» понятия нейтрализации фонемных единиц, их варьирования, объема, «вместительности» фонем получают разное толкование.

В 1956 году Р. И. Аванесов выступил с новой теорией: он сделал попытку объединить московскую и пражскую фонологическую линию. (По условиям времени попытка была замаскирована объявлением, что автор синтезирует московскую и ленинградскую точку зрения.)

Синтез проведен следующим образом. Введен новый термин — фонемный ряд. Это ряд позиционно чередующихся звуков; то, что в «московской» теории называлось фонемой. Ряд этот состоит из звуков, сегментов, которые можно расчленить на различительные признаки; это дань пражской теории.

Далее: в каждом фонемном ряду, в чреде разных звуков, надо найти объединяющие эти звуки дифференциальные, различительные признаки. Делается это, например, так. Взята ориентация на экающее произношение. То есть произносится: *без п[э]ти минут, т[э]нуть*, так же: *расп[э]вать* (от *петь*, отменно от *расп[и]вать*, от *пить*), *дела, седьмой* — с предупредительным звуком типа [э]. Тогда в этой позиции могут быть звуки [э — и — у]. Среди них [э] — по артикуляции самый нижний. Значит, в словах *пять — без пяти, час — часы, тянут — тянуть* гласные в корне объединяются такой характеристикой: гласный нижний (среди гласных данной позиции!), нелабиализованный. Этому будет рад каждый «москвич»: позиционно чередующиеся звуки объединены в определенную целостность. Правда, дорогой ценой: пришлось исходить из эканья, хотя господствующая норма в современном русском языке — йкающая. С нею такая операция не удалась бы. (Как видим, и здесь сказались

львиные когти Аванесова: ученый исходит не из безотносительной фактической данности, он преобразует ее в отношение! Не гласный нижнего подъема, а гласный более открытый среди других гласных в той же позиции!)<sup>1</sup>

Главная причина, которая вызвала неприятие новых взглядов Р. И. Аванесова некоторыми фонологами (в том числе — В. Н. Сидоровым), — другая, более глубокая. Неприемлемой была замена понятия *фонема* как чисто позиционного толкования фонологических закономерностей понятием *фонемного ряда*, в котором разобщенность фактов не преодолена. И функциональное их тождество не схвачено. Само слово *ряд* предполагает физическую, конкретно-материальную разобщенность объекта исследования. Между тем классическая «московская» теория фонем стремится понять мир как единство, увидеть больше, чем показывают разобщенные факты. Она охватывает две стороны реальности: учитывает и материальное богатство мира, изучает это богатство со скрупулезной тщательностью — и видит, что «в механизме языка» (как любил говорить Бодуэн де Куртенэ) снимаются эти различия, разное понимается как тождественное, как нераздельно-целое<sup>2</sup>.

В это же время О. С. Широков дал другую интерпретацию звукового строя русского языка. Он тоже стремился фонологически объединить Прагу и Москву. В качестве исходного понятия он взял «мерисм», различительный признак, как и «пражцы». Но ведут себя эти единицы в теории Широкова по-московски: фонологический признак «лабиализация» позиционно преобразуется; он равен фонетической лабиализации в ударном гласном (*дом*), но в безударной позиции, оставаясь фонологически тем же мерисмом, реализуется в звуковом конкретном устранении огубленности.

В эти же годы, богатые фонологическими исканиями, новое слово было сказано и К. В. Горшковой. Она в своих фонологических высказываниях (в печатных трудах, в лекциях, в беседах со студентами, аспирантами, учеными) предложила рассматривать фонему как парадигму; см., в частности, [Горшкова и др. 1985]. Да, применила грамматический термин в фонологии. Понятие «парадигма фонемы» многое поясняет и заставляет понять по-новому.

---

<sup>1</sup> В беседах со мной Р. И. Аванесов убедительно раскрывал положительные стороны своей новой интерпретации фонологического строя русского языка, но не убедил меня полностью. Я пошел иным путем (1967): попытался не объединять две теории, а полностью разъединить их, последовательно развернуть их функциональные различия; построить две координированные картины, в совокупности характеризующие фонологический строй. Последователей не нашел.

<sup>2</sup> Каждая фонологическая работа «москвичей» вызывала вопли, что это идеализм. На самом деле эта теория целиком остается в пределах лингвистической проблематики, допуская различные философские интерпретации.

Во-первых, взят грамматический термин, тем самым перекинут мост между двумя разными областями языка. Парадигма, в ее традиционном понимании, объединяет словоформы в такие ряды: *вода* — *водой* — *воде...*; *белый* — *белая* — *белыми...*; *пишу* — *пишут* — *писала...*; *пять* — *пятью* — *о пяти...* Это понятие используется в фонологических целях. Наше время — время перебрасывания мостов между разными объектами научного рассмотрения. Поэтому взгляды К. В. Горшковой — подлинно современный научный шаг.

Во-вторых, парадигма обычно рассматривается (при всей расшатанности употребления этого термина) как ряд позиционно распределенных единиц: *он пришел...* *она пришла...* *они пришли...* Или: *он встречает сестру...* *дарит сестре...* *гордится сестрой...* *заботится о сестре* (сильное управление: падеж обусловлен глаголом).

А не противоречат ли этому факты употребления при глаголе нескольких различных падежей — *дарю сестре цветы...* (или *режет ножом пирог...*): при одном глаголе разные падежи, значит выбор не обусловлен однозначно глаголом, не вызван однозначно-позиционно?

Нет, здесь разные позиции: при сильном управлении лишь один падеж обязателен — *дарю сестре, режет пирог*. Это в позиции при глаголе. К этому сочетанию, как к определенной позиции, прибавлен еще другой падеж: он, входя в синтаксическое сочетание, требует, чтобы в сочетании уже было существительное сильноуправляемое. Он не в позиции «при глаголе», а в позиции «при глаголе с сильноуправляемым словом».

Итак, сравнение обусловленности форм в парадигме и звуков, составляющих фонему, обоснованно, «имеет резон».

В-третьих, выбор грамматической формы относится ко всем единицам данного класса, например ко всем существительным. Переведем на язык фонетики: позиционные чередования не знают исключений.

В-четвертых, обобщение, сделанное К. В. Горшковой, имеет общеязыковое значение. Языку свойственно объединять в тождество единицы разного материального наполнения: разные звуки в фонему, грамматические формы — в одно слово, хотя значения этих форм (например, падежные) лежат в разных областях.

## Литература

Горшкова и др. 1985 — *Горшкова К. В., Мустейкис К. В., Тихонов А. Н.* Современный русский язык. Ч. I: Учебник для студентов пед. ин-тов Литвы. Вильнюс, 1985.

## О теории русской интонации Е. А. Брызгуновой\*

Этот взвихренный, буревой XX век не давал остановиться, обдумать то или иное явление культуры, оценить его значение. Многие выдающиеся работы оставались недооцененными, не были поняты в своей общей значимости.

Исследования Е. А. Брызгуновой сразу обратили на себя внимание, но вся их общелингвистическая значительность была все-таки недооценена. Наверное, это надо сделать сейчас.

Русская интонация изучалась методами инструментальной фонетики с конца XIX века; первые опыты такого изучения принадлежат вездесущему В. А. Богородицкому. В 30—60-е годы XX века уже появилось множество научных работ, посвященных русской интонации. В лаборатории профессора Артемова были выполнены десятки исследований русской интонации, изучены многие синтаксические конструкции на аппаратуре, отвечающей требованиям того времени. Работы эти были, как правило, выполнены тщательно, со всей научной добросовестностью, фактов получено очень много.

Но у работ этого периода есть один серьезный недостаток. Они рисуют отдельные интонационные конструкции разрозненно, как изолированные самости, несопоставимые друг с другом. Один исследователь избирает в качестве характерных такие признаки, другой, при описании другой конструкции, обращает внимание на другие, одному видятся характерные признаки данной интонации в таком наборе различий, другому при описании избранного интонационного типа — совсем иной набор примет, не сопоставимый с тем, что отмечают исследователи других интонационных кривых. Еще одному кажутся значимыми совсем другие показания интонографа, и они отмечаются в качестве особенно важных. Поэтому поле интонационных наблюдений оказывается похожим на брусчатую мостовую: каждый брикет выточен хорошо, ладно, положен прочно — но каждый на свой образец, имеет форму иную, чем другие.

---

\* Вопросы русского языкознания. Вып. 11. Аспекты изучения звучащей речи: Сб. науч. ст. к юбилею Е. А. Брызгуновой. М.: МГУ, 2004. С. 7—11. Это последняя работа, написанная М. В. Пановым.

Здесь примешивается и еще один мотив исследования: все эти работы обычно готовились для защиты диссертаций на конкурс кандидата филологических наук. Но кандидатское исследование непременно должно содержать новый материал — наблюдения и обобщения категорической новизны, не встречающиеся у предыдущих исследователей. Если один соискатель степени защитил диссертацию на тему «Интонация предложений с придаточным цели», а другой — диссертацию на тему «Интонация в предложении с придаточным цели», то второй не может положить на стол аттестационной комиссии записку: «Мое исследование показывает, что интонационные признаки те же, что в диссертации моего предшественника». Степень кандидата за эту записку не присудят. Поэтому различия между ИК иногда гипертрофированы, а сходства смазаны. Нужна особая диссертация, с особыми открытиями, с описанием иных, чем у предшественников, особенностей ИК. Поэтому появляется гипертрофия различий между объектами исследования. Различия выискивают и там, где их нет, и там, где они не типичны, не обязательны.

Обучать русской интонации иностранцев по таким исследованиям — мучение. Каждая синтаксическая структура имеет свою неповторимую индивидуальность и требует для усвоения своих отдельных усилий. И вот в это изобилие описаний, определений, наблюдений вошла теория Е. А. Брызгуновой. Она создала теорию — характеристики ИК (их немного; в классической редакции — всего 7), — охватывающие весь язык. Все неисчислимо богатство интонаций живой речи, вся бесконечность взлетов и падений в разговорном языке, все разнообразие интонационного движения — вобрали эти 7 конструкций.

Можно ли найти ложку, которая способна вычерпать океан? Е. А. Брызгунова ее нашла: ее теория — это 7 ИК, 7 образцов построения интонации, и любая фраза, сказанная на русском языке, среди этих 7 моделей интонации найдет свое отражение. Эти 7 конструкций покрывают собою весь русский язык. Шит кафтан не на одну конструкцию («сложные предложения с придаточным цели»), а на весь язык — всякое интонационное целое корреспондирует с какой-нибудь из 7 конструкций Брызгуновой. Очевидно, в них схвачены самые существенные различительные признаки интонационных целых.

Эти всеохватные конструкции построены так: всякая интонация реализуется во фразе, в части текста между паузами (реальными или потенциальными). Фраза объединена единой интонационной дугой. Один слог во фразе несет фразовое ударение — он сильнее, громче других слогов.

Как же устроены эти 7 интонационных центров? Каждая конструкция имеет центр со своим особым звучанием: интонация всех 7 конструкций в центре различна. Они по движению интонации противопоставлены друг другу — и их связывают такие отношения: каждая отлична от любой другой, а все они в совокупности исчерпывают возможное в русском языке строение

интонационного движения в центре фразы. Это — с одной стороны, со стороны звука. Но интонация, как и всякий знак, имеет и другую сторону: значение. И здесь эти 7 конструкций выбраны, собраны, найдены премудро: каждая конструкция значением (или пучком значений) отличается от всех остальных, а все вместе они исчерпывают необходимые для русской речи значения интонации.

Различительными возможностями (смысловыми, эмоционально-стилистическими) обладают тип ИК, место центра ИК, сочетаемость ИК, степень выраженности одного и того же типа интонации. Многообразие значений и оттенков звучащей речи выражается в единстве с синтаксисом и лексикой предложения. Один и тот же тип интонации, например, ИК-3, употребляется при выражении разных значений:

Он решил задачу? (*Вопросительное предложение без вопросительного слова.*)

Если он решил задачу / пусть объяснит. (*Незаконченность повествовательного предложения.*)

Надо же, какая задача! (*Удивление.*)

Такая трудная задача! (*Оценка: высокая степень признака.*)

Путь русского языкознания, от Третьяковского и Ломоносова до сегодняшних дней, являлся движением от грамматики вещей к грамматике отношений. Для лингвиста XVIII в. звук, слово, грамматическая форма были вещью, замкнутой в себе, не нуждающейся для своего понимания в соседних вещах. Стакан, огурец, очки, шляпа останутся сами собой, если какой-нибудь из этих соседей исчезнет или изменится.

Ученым XVIII в. плохо удавалась классификация гласных, очень приблизительны и путанны были их классификации. Это и понятно: чтобы понять их особенности, непременно надо сопоставлять разные типы гласных: [y] и [o]. Один более лабиализован, другой менее, один высокого подъема, другой среднего; [o] и [э]: один имеет такие признаки, другой другие, и только из сопоставления они выясняются и определяются. Характерно, что меткие замечания о гласных у лингвистов XVIII в. появляются при целостном сопоставлении звука со звуком. Так, Ломоносов пишет, что русское [y] между мягкими напоминает французское [y]. *Тютелька в тютельку, чуть-чуть, любить*; «русская» *штука* похожа на французскую *штуку*. Такие ценные сопоставления звука русского с иноязычным есть и у А. Барсова. Но научная классификация гласных появилась только у Востокова, как результат шага в сторону грамматики отношений.

Грамматика отношений получала значительные приобретения в трудах Поттебни, Бодуэна де Куртенэ, но полностью она торжествует только у Фортунатова. В дальнейшем грамматика отношений распространяется все шире и

шире, охватывая новые разделы русистики: диалектология, история языка, морфология, теория поэтической речи, стилистика.

В теории интонации продолжалась демонстрация вещей. Берет интонолог отдельный интонационный тип и ставит своей целью: уж и опишу я эту плюшечку! Все ее повороты, каждую загогулилку! Покажу ее несопоставимость с другими ИК, другими плюшечками! В результате получалось множество описаний разных интонаций, несопоставимых друг с другом, написанных со вниманием к разным параметрам, с неразличением основных, образующих показатели и таких, которые не входят в основу данного типа.

Е. А. Брызгунова, разделив каждую фразу на три части — предцентровая, центр, постцентровая, — указала, что надо сопоставлять, где искать соотносительные части интонационных конструкций. Предцентровая часть у всех ИК одинакова: тон держится на среднем уровне. Различия наступают в центральной части; именно центры интонационных конструкций соотносятся как содержательно и фонетически отличные друг от друга. Их отличие обусловлено функционально: разные цели речи, разные назначения общения вызывают определенную ИК, с ее особым центром. Это — парадигматические отношения в интонационной системе.

Звучание — значение центра — определяет постцентровую часть: центр соседствует со следующими шагами, которые определены в своем звучании центром. И все интонационное целое, все ИК — единство значения и звучания.

Решение Е. А. Брызгуновой — пример научной смелости. Сам замысел — найти ложку, с помощью которой вычерпать океан русской интонации. И этот невероятный проект удался! Если в каком-нибудь людном месте, где сотни людей все время говорят, поставить магнитофоны и записать живую, донельзя разнообразную речь, то, прослушивая записи, убедимся, что все интонационные отрезки, все фразы, найдут свою квалификацию среди семи ИК Брызгуновой. Записанные тексты будут все нацело разделены на эти ИК.

Смелостью проникнуты и отдельные решения Е. А. Брызгуновой. Описывая ИК, показывая движение тона, сопровождающее звуковой ряд, она замечает: у этой конструкции есть такая особенность — она завершается гортанным взрывом, особым звуком, который производят щелканьем гортанные связки.

Так, этот гортанный взрыв хорошо слышен в отрицании *He-a!* (ИК-7) между гласными [э] и [а].

Надо оценить смелость этого решения. Преодолена граница между сегментными и суперсегментными единицами. Сегмент — это звук, его можно вырезать из магнитофонной ленты с записью речи. Он имеет свою отдельную протяженность. Интонация идет «поверх» звуковой цепи, это ее признак, ее качество. Интонацию нельзя отдельно вырезать из звуковой цепи, она подана совместно со звуками, неотъединимо от них.



Е. А. Брызгунова в своем анализе интонации дерзко преодолевает различие между сегментом и суперсегментным признаком, делая и то, и другое признаком ИК-7.

Чтобы дать представление о смелости этого шага, приведем такое бытовое сравнение. Топится домашняя печь. Весело, дружно трещат дрова, с хрустом сгибается береста на поленьях, щелкают искры. Радостный шум! Входит ли в состав этого шума кочерга, которая стоит у печи? Вопрос безумный. В реальной жизни он является абсурдом. Не то в языке, знаковой системе, которая может все превратить в знак. Там оказывается, что гортанный взрыв (сегмент, отрезок) превращен в часть интонации; кочерга стала звуковым признаком.

Некоторым лингвистам эта смелость не понравилась. Они грозятся построить свое описание интонационной системы без таких «грехов». Но на самом деле преодоление границ, если этого требует языковая система, — это достоинство, это смелость, идущая на пользу делу — теории языка. При том смелость — высокого уровня.

Бодуэн де Куртэнэ не побоялся сказать, что очень разное — звуки самых разных категорий — могут входить в состав одной фонемы; более того — фонема может включать в качестве одного из своих членов... ноль звука! Среди транскрипций у него есть и такая фиксация аллеговой речи: *пароход* — [прахот].

\* \* \*

Мы начали статью словами о том, что XX век еще не успел оценить значительнейшие свои приобретения в области культуры, в частности — в науке. Но как будто это не относится к интонационной теории Е. А. Брызгуновой — она сразу была высоко оценена. Добавим: как практически первоклассное средство обучения. А общенаучная, теоретическая значительность этой теории остается многими лингвистами недооцененной. Об этой ценности и шла у нас речь.

Октябрь 2001 г.

## Список трудов М. В. Панова

### 1952

- Заударный вокализм современного русского литературного языка: Автореф. ... дис. канд. филол. наук / МГПИ им. В. П. Потемкина. М., 1952. 15 с.
- О редукации гласных (в свете теории И. П. Павлова) // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. 1952. Вып. 2.

### 1953

- О значении морфологического критерия для фонологии // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. 1953. Т. 12. Вып. 4. С. 373—377.
- То же в кн.: *Реформатский А. А.* Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М.: Наука, 1970. С. 368—373.

### 1954

- Контрольные работы по современному русскому языку: (Лексика и морфология): Для студ.-заочников II курса учит. ин-тов. М.: Учпедгиз, 1954. 55 с. [В соавт. с М. С. Буниной.]
- Об особенностях артикуляции некоторых редуцированных звуков (в свете учения акад. И. П. Павлова) // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. 1954. Т. 33. Вып. 3. С. 3—18.

### 1956

- О слове как единице языка // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. 1956. Т. 51. Вып. 5. С. 129—165.
- Современный русский язык: Сб. упражнений [для пед. ин-тов] / Под ред. И. А. Василенко. М.: Учпедгиз, 1956. 232 с.
- 2-е изд., доп. М.: Учпедгиз, 1961. 244 с.
- 3-е изд., доп. М.: Просвещение, 1982. 255 с. [В соавторстве].

**1957**

- О влиянии грамматической аналогии на произносительные нормы в современном русском литературном языке // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. 1957. Т. 42. Вып. 4. С. 3—34.
- О преподавании «Истории отечественного языкознания» // Вопр. языкознания. 1957. № 3. С. 84—93.

**1959**

- О грамматической форме // Грамматика современного русского языка. М., 1959. С. 5—39. (Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Каф. рус. яз. Т. 73. Вып. 6).

**1960**

- Вопросник по современному русскому литературному произношению: (Инструкция) / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 23 с.  
То же: М.: Изд-во АН СССР, 1961.  
То же с некот. изм.: М.: Наука, 1964. 22 с.  
То же на англ. яз.: Aids for Describing the Russian Sound System. Pennsylvania: Univ. Press, 1964. 34 p.
- О некоторых тенденциях в развитии фонетической системы русского литературного языка // Совещание по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени: 27—30 июня 1960 г.: Тез. докл. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 25—31.
- О частях речи в русском языке // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. 1960. Вып. 4. С. 3—14.

**1961**

- Современный русский язык: Сб. упражнений [для пед. ин-тов] / Под ред. И. А. Василенко. 2-е изд., доп. М.: Учпедгиз, 1961. 244 с.
- О разграничительных сигналах в языке // Вопр. языкознания. 1961. № 1. С. 3—19.

**1962**

- О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX в. // Всесоюз. конф., посвящ. закономерностям развития лит. языков народов СССР в сов. эпоху: Тез. докл. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. С. 26—31.
- О развитии русского языка в советском обществе (к постановке проблемы) // Вопр. языкознания. 1962. № 3. С. 3—16.
- Сост. и один из авт.:* Русский язык и советское общество: Проспект: (Материалы Всесоюз. конф., посвящ. закономерностям развития лит. языков народов СССР

в сов. эпоху) / Отв. ред. С. К. Кенесбаев. Алма-Ата: Изд-во КазССР, 1962 (разделы: Словообразование. Словоизменение. Синтаксис. Фонетика. Письмо (графика и орфография). Стилистика. С. 23—108).

### 1963

О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX в.: (Основные позиционные изменения в фонетике и морфологии) // *Вопр. языкознания*. 1963. № 1. С. 3—17.

О стилях произношения (в связи с общими проблемами стилистики) // Развитие современного русского языка: Сб. ст. / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 5—38.

Об усовершенствовании русской орфографии // *Вопр. языкознания*. 1963. № 2. С. 81—92.

В каква степен стихосложението в славянските езици зависи от техните прозодически особености? // *Славянска филология: Материали за V Международен конгрес за славистите / Бълг. акад. на науките; Бълг. ком. на славистите*. София: Изд-во на въпросите за научната анкета по литературознание, литературно-лингвистични проблеми, народно поетическо творчество, общославистични историко-филологически проблеми, 1963. С. 238—240.

*Ред.*: Развитие современного русского языка: Сб. ст. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 172 с. [Совм. с С. И. Ожеговым].

### 1964

Вопросник по современному русскому литературному произношению: (Инструкция) / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Наука, 1964. 22 с.

И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках. М.: Наука, 1964. 167 с. (Науч.-поп. сер.).

О дефисных написаниях: (Замечания к предложениям проф. А. А. Реформатского) // О современной русской орфографии: [Сб. ст.] / Редкол.: В. В. Виноградов (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1964. С. 150—154.

О правописании глагольных окончаний // Там же. С. 125—128.

О силе привычки // *Известия*. 1964. № 244, 246.

О слитных и раздельных написаниях // *Вопросы русской орфографии*: Сб. ст. / Редкол.: В. В. Виноградов (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1964. С. 100—119.

*Aids for Describing the Russian Sound System*. Pennsylvania: Univ. Press, 1964. 34 p.

*Сост. и отв. ред.*: Вопросник по современному русскому литературному произношению: Для деятелей театра. М.: Наука, 1964. 40 с. [Сост. совм. с др.].

*Ред.*: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М.: Наука, 1964. 364 с. [Совм. с И. П. Мучником].

**1965**

О строении заударной части слова // Проблемы современной филологии: Сб. ст. к 70-летию акад. В. В. Виноградова / Под ред. М. Б. Храпченко и др. М.: Наука, 1965. С. 208—214.

*Рук. и соавт.:* Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.) / Отв. ред. В. В. Виноградов. М.; Л.: Наука, 1965. 500 с.

**1966**

О восприятии звуков // Развитие фонетики современного русского языка / Под ред. С. С. Высотского и др. М.: Наука, 1966. С. 155—162.

О тексте для фонетической записи // Там же. С. 173—181.

Русский язык // Языки народов СССР. Т. 1. Индоевропейские языки / Редкол.: В. В. Виноградов (отв. ред.) и др.; АН СССР. Ин-т языкознания. М.: Наука, 1966. С. 55—122; Библиогр.: с. 117—122.

Русский язык и советское общество: (План моногр.): Фонетика // Русский язык и советское общество: Тез. докл. на открытом расш. заседании сектора совр. рус. лит. яз. М.: Наука, 1966. С. 27—31.

Русский язык и советское общество: (Постановка проблемы и основные задачи изучения) // Там же. С. 52—53. [В соавт. с И. П. Мучником].

Социальные и внутриязыковые факторы развития фонетической системы русского литературного языка советской эпохи // Там же. С. 60—61. [В соавторстве].

Характеристика социальных факторов по их воздействию на развитие русского языка советской эпохи // Там же. С. 61—69.

*Ред.:*

Развитие фонетики современного русского языка. М.: Наука, 1966. 182 с. [Совм. с др.]

Языки народов СССР. Т. 1. Индоевропейские языки. М.: Наука, 1966. 659 с. [Совм. с др.]

**1967**

Русская фонетика. М.: Просвещение, 1967. 438 с. Библиогр.: с. 415—436.

**1968**

*Соавт. и ред.:*

Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исслед. Лексика современного русского литературного языка / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Наука, 1968. 187 с.

Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исслед. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Наука, 1968. 367 с.

Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исслед. Словообразование современного русского литературного языка / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Наука, 1968. 300 с.

Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исслед. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры / АН СССР. Ин-т русского языка. М.: Наука, 1968. 213 с.

### 1969

О наложении морфем // Вопросы филологии: К 70-летию со дня рожд. ... проф. И. А. Василенко / Редкол.: А. Н. Стеценко (отв. ред.) и др. М., 1969. С. 274—282. (Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина; № 341).

### 1970

О значении морфологического критерия для фонологии // *Реформатский А. А.* Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М.: Наука, 1970. С. 368—373.

Об изучении русского словообразования // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1970. Т. 29. Вып. 3. С. 258—264. [О книге Н. М. Шанского «Очерки по русскому словообразованию». М., 1968].

### 1971

Александр Александрович Реформатский // Фонетика. Фонология. Грамматика: К 70-летию А. А. Реформатского / Редкол.: Ф. П. Филин (отв. ред.) и др.; АН СССР. Ин-т языкознания. М.: Наука, 1971. С. 5—17. [В соавт. с Р. И. Аванесовым].

Об аналитических прилагательных // Там же. С. 240—253.

О грамматических факторах развития фонетической системы современного русского языка // Развитие фонетики современного русского языка: Фонологические подсистемы / Редкол.: С. С. Высотский (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1971. С. 20—32. [В соавт. с М. Я. Гловинской, Н. Е. Ильиной, С. М. Кузьминой].

О том, как кодировался фонетический вопросник // Там же. С. 302—314. [В соавт. с Г. А. Бариновой].

О том, как составлялся вопросник по произношению // Там же. С. 294—301.

Поведение конечного двусonorия // Там же. С. 259—261. [В соавт. с С. М. Кузьминой].

Русские гласные, просеянные сквозь испанское фонетическое сито // Там же. С. 264—267. [В соавт. с О. И. Чечиным].

О русской орфоэпии // Рус. яз. в нац. шк. 1971. № 3. С. 8—16.

О членимости слов на морфемы // Памяти акад. Виктора Владимировича Виноградова: Сб. ст. / Редкол.: В. Г. Костомаров (отв. ред.) и др. М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 170—179.

*Ред.*: Развитие фонетики современного русского языка: Фонологические подсистемы. М.: Наука, 1971. 344 с. [Совм. с др.]

*Реф.*: Русский язык и советское общество. Т. 1—4. М.: Наука, 1969 = The Russian Language and the Soviet Society. Vol. 1—4. Moscow: Nauka Publishers, 1969 // Social Sciences (Moscow). 1971. № 4 (6). P. 203—205.

### 1972

О литературном языке // Рус. яз. в нац. шк. 1972. № 1. С. 9—19.

Р. И. Аванесов — фонолог // Русское и славянское языкознание: К 70-летию чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесова / Редкол.: Ф. П. Филин (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1972. С. 13—23.

О синтагматике гласных в говорах с диссимилиативным яканьем // Там же. С. 218—226.  
К проблемам грамматики современного русского литературного языка // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1972. Т. 31. Вып. 4. С. 328—339. Рец. на кн.: Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1970. [В соавторстве].

*Сост. и ред.*: Проект программы по русскому языку для средней школы. М., 1972. 171 с. [Сост. совм. с др.]

### 1973

Об одном из возможных описаний фонетической системы русского языка // Проблемы теоретической и прикладной фонетики и обучение произношению: (Материалы межвуз. науч.-метод. конф.) / Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы. М., 1973. С. 8—10.

### 1974

Единый орфоэпический минимум при обучении русскому языку // Оптимальные методы преподавания языка и теория русского языка: Тез. межвуз. конф. Ч. 2. М.: ВПШ, 1974. С. 34—36.

О культурно-историческом подходе к орфографии // Исследования по славянской филологии: Сб., посвящ. памяти акад. В. В. Виноградова / Отв. ред. В. А. Белашапкова, Н. И. Толстой. М.: Изд-во МГУ, 1974. С. 247—255.

Об изучении русских падежей в национальной школе // Русский и родной языки в школах народов РСФСР. Вып. 4. Л.: Просвещение, 1974. С. 32—48.

Теория фонем Н. Ф. Яковлева и создание новых письменностей в СССР // Народы Азии и Африки. 1974. № 4. С. 210—223.

### 1975

Из истории отечественного языкознания 20—40-х гг.: Н. Ф. Яковлев (1892—1974) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. Т. 34. Вып. 4. С. 362—367. [В соавт. с С. Г. Климовым, А. А. Реформатским].

- О переводах на русский язык баллады «Джаббервокки» Л. Кэрролла // Развитие современного русского языка 1972. Словообразование. Членимость слова / Отв. ред. Е. А. Земская. М.: Наука, 1975. С. 239—248.
- О степенях членимости слов // Там же. С. 234—238.
- Об одном из возможных описаний фонетической системы русского языка // Теоретическая фонетика и обучение произношению: Сб. ст.: Посвящается А. А. Реформатскому в связи с его 75-летием / Редкол.: С. А. Барановская и др.; Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы. М., 1975. С. 11—20.
- Фонетические «фантомы F» // Ин-т рус. яз. АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 74. М., 1975. С. 30—36.
- Die Entwicklung der russischen Sprache in der sowjetischen Gesellschaft (zur Problemstellung) // Sprache und Gesellschaft in der Sowjetunion. München, 1975. S. 137—153.

**1976**

- Два анализа? (Об изучении состава слова в школе) // Русский и родной языки в школах народов РСФСР. Вып. 5. Л.: Просвещение, 1976. С. 105—112.
- О «Российской грамматике» А. А. Барсова // Вопросы русского языкознания. Вып. 1 / Под ред. К. В. Горшковой. М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 113—130.

**1977**

- О двух типах фонетических систем // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л.: Наука, 1977. С. 14—24.
- Об использовании моделей при обучении русскому языку // Вопросы преподавания русского и родных языков в национальной школе. М.: Просвещение, 1977. С. 83—92.
- Совершенствование методики обучения русскому произношению в национальной школе РСФСР // Родной и русский языки и литературы в национальной школе РСФСР. М.: Просвещение, 1977. С. 90—91.

**1979**

- Изучение состава слова в национальной школе. Махачкала: Дагучпедгиз, 1979. 192 с.
- Современный русский язык: Фонетика. М.: Высш. шк., 1979. 256 с.
- Разные суффиксы или один? // Русский и родные языки в школах народов РСФСР. М.: Просвещение, 1979. С. 48—65.
- Соавт. и ред.*: Русский язык: Эксперимент. учеб. материалы для средн. шк. Ч. 1—4. М.: Педагогика, 1979. [Ред. совм. с И. С. Ильинской].  
Ч. 1. 191 с.; Ч. 2. 176 с.; Ч. 3. 143 с.; Ч. 4. 239 с.
- Сост.*: Программа курса «Современный русский язык» для гос. ун-тов / Отв. ред. В. А. Белошапкова. М.: Изд-во МГУ, 1979. 27 с. [В соавторстве].



**1980**

- Какая нужна теория на уроках русского языка в национальной школе? // Совершенствование преподавания русского языка и литературы в национальных школах РСФСР: Тез. докл. науч.-практ. конф. / Редкол.: Н. М. Хасанов и др. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1980. С. 137—141.
- О парадигматике и синтагматике // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1980. Т. 39. Вып. 2. С. 128—137.
- О позиционных чередованиях в фонологии и морфонологии // Вопросы русского языкознания. Вып. 3. Проблемы теории и истории русского языка / Под ред. К. В. Горшковой. М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 68—79. [В соавт. с С. М. Кузьминой].

**1981**

- Введение; Фонетика // Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 5—132.

**1982**

- Русский язык: Лексика. Фонетика. Теория письма. Морфология: Учеб. пособ. для учащихся нац. пед. уч-щ РСФСР. Л.: Просвещение, 1982. С. 50—471. [В соавт. с Р. Б. Сабаткоевым].  
2-е изд., дораб.: СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 1993.  
3-е изд., дораб. СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 2002.
- Современный русский язык: Сб. упражнений [для пед. ин-тов]. 3-е изд., доп. М.: Просвещение, 1982. 255 с. [В соавторстве].

**1983**

- Русский язык: Синтаксис: Учеб. пособ. для нац. пед. уч-щ РСФСР. Л.: Просвещение, 1983. С. 137—156. [В соавт. с Р. Б. Сабаткоевым].  
2-е изд., дораб.: СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 2002.
- О значении вида у глагола // Рус. яз. в нац. шк. 1983. № 4. С. 93—94.

**1984**

- Занимательная орфография: Кн. для внекл. чтения учащихся 7—8-х классов. М.: Просвещение, 1984. 159 с., ил.
- О разграничении сегментных и суперсегментных единиц // Исследования по славянскому языкознанию: Сб. ст. / Под ред. В. П. Гудкова. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 58—66.
- Типология лексических ошибок, вызванных взаимодействием языковых систем // Лексические ошибки в русской речи учащихся национальных школ РСФСР / Отв. ред. Х. Х. Сукунов. М.: Просвещение, 1984. С. 81—93.

*Сост.*: Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). М.: Педагогика, 1984. 352 с.

### 1985

Приемы обучения русскому произношению учащихся финно-угорской языковой группы // Методика обучения русскому языку в 4—10-х классах школ народов финно-угорской группы. Л.: Просвещение, 1985. С. 98—141.

Приемы изучения состава слова и словообразовательных типов // Там же. С. 165—187.

### 1986

О способе определения однокоренных слов // Рус. яз. в нац. шк. 1986. № 3. С. 62—64.

Попытка сопоставления основных понятий московской и пражской фонологических теорий // Проблемы фонетики и фонологии: Материалы Всесоюз. совещ. М.: Наука, 1986. С. 80—84.

Сценическая речь и театральные системы // Русское сценическое произношение / Под ред. С. М. Кузьминой. М.: Наука, 1986. С. 20—33.

*Рец.*: Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова // Вопр. языкознания. 1986. № 2. С. 131—136.

*Сост.*: Программа дисциплины «Современный русский язык»: Для гос. ун-тов / Отв. ред. В. А. Белошапкова. М.: Изд-во МГУ, 1986. 29 с. [Совм. с др.].

### 1987

*Сост.*: Программа по русскому языку для национальных педагогических училищ РСФСР. М., 1987. 64 с., табл. [Совм. с Р. Б. Сабаткоевым].

### 1988

Воспоминания об Алексее Михайловиче Сухотине // Памяти Алексея Михайловича Сухотина: (К 100-летию со дня рождения) / АН СССР. Ин-т русского языка. М., 1988. С. 21—37. (Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации; Вып. 182).

Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной публицистики: Учеб. пособ. / Отв. ред. М. В. Шульга. М., 1988. С. 4—27.

О причинах фонетических изменений // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка / Отв. ред. Ю. Д. Дешериев, Л. П. Крысин. М.: Наука, 1988. С. 41—55.

### 1989

Лингвистика и методика преподавания русского языка // Вопр. языкознания. 1989. № 1. С. 31—43.

Работа над морфологическими ошибками // Фонетические, морфологические и синтаксические ошибки в русской речи учащихся национальных школ: Учеб. пособ. М.: Изд-во НИИ нац. школ МО РСФСР, 1989. С. 42—110.

Ритм и метр в русской поэзии // Проблемы структурной лингвистики 1985—1987 / Отв. ред. В. П. Григорьев. М.: Наука, 1989. С. 340—371.

Ред.: Фонетические, морфологические и синтаксические ошибки в русской речи учащихся национальных школ: Учеб. пособ. М.: Изд-во НИИ нац. школ МО РСФСР, 1989.

### 1990

История русского литературного произношения XVIII—XX вв. / Отв. ред. Д. Н. Шмелев. М.: Наука, 1990. 453 с.

О балансе внутренних и внешних зависимостей в развитии языка // Res Philologica. Филологические исследования: Памяти акад. Г. В. Степанова / Ред. Д. С. Лихачев. М.: Наука, 1990. С. 200—207.

### 1991

Ритм и метр в русской поэзии. Ст. 2. Словесный ярус // Поэтика и стилистика 1988—1990. М.: Наука, 1991. С. 3—23.

### 1992

Позиционные отношения в стилистике // Russian Phonology & History: In Honour of Viktor Levin. The Hebrew Univ. of Jerusalem, 1992. P. 136—145.

### 1993

Русский язык: Лексика. Фонетика. Теория письма. Морфология: Учеб. пособ. для учащихся нац. пед. уч-щ. 2-е изд., дораб. СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 1993. 431 с. [Разд. «Морфология» в соавт. с Р. Б. Сабатковским].

О скрытых грамматических значениях // Семантика языковых единиц: Материалы III-й межвуз. науч.-исслед. конф. Ч. 2. Фразеологическая семантика. Словообразовательная семантика. Морфологическая семантика. М., 1993. С. 159—164.

Предсказуемость алломорфа // Русистика сегодня: Функционирование языка: лексика и грамматика. М.: Наука, 1993. С. 30—35.

Фонетика поэзии // Проблемы фонетики = Issues in Phonetics. Вып. 1. М.: Прометей, 1993. С. 135—151.

### 1994

Предисловие // Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1994. С. III—XV.

Русский язык: Учеб. для сред. шк. 5 класс / РАН. Ин-т русского языка. М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994 (разделы: Вступление. С. 5—9; Фонетика [в соавт. с С. М. Кузьминой]; Лексика [в соавт. с И. С. Ильинской]; Синтаксис. С. 94—208).

*Ред.* Русский язык: Учеб. для сред. шк. 5 класс / РАН. Ин-т русского языка. М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994.  
2-е изд., доп. М.: МИКО «Коммерческий вестник», 1995. 400 с.

### 1995

Русский язык: Учеб. для сред. шк. 5 класс / РАН. Ин-т русского языка. 2-е изд., доп. М.: МИКО «Коммерческий вестник», 1995 (разделы: Вступление; Фонетика [в соавт. с С. М. Кузьминой]; Лексика [в соавт. с И. С. Ильинской]; Синтаксис).

Московская лингвистическая школа. 100 лет // Русистика сегодня. 1995. № 3. С. 5—37.

О слогоделении в русском языке // Проблемы фонетики = Issues in Phonetics. Вып. 2. М.: Прометей, 1995. С. 29—42.

Рассказы о русском стихе. 1. Пиррихий // Рус. словесность. 1995. № 1. С. 48—52.

Числительные в новом учебнике // Рус. словесность. 1995. № 2. С. 49—55.

Даниил Хармс // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыты описания идиостилей. [Вып. 5]. М.: Наследие, 1995. С. 481—505.

Д. Н. Ушаков. Жизнь и творчество (вступ. ст.) // Ушаков Д. Н. Русский язык. М.: Просвещение, 1995. С. 8—40.

*Ред.*: Русский язык: Учеб. для сред. шк. 5 класс / РАН. Ин-т русского языка. 2-е изд., доп. М.: МИКО «Коммерческий вестник», 1995. 400 с.

*Сост. и подгот. текста:* Ушаков Д. Н. Русский язык. М.: Просвещение, 1995. 320 с.

### 1996

Рассказы о русском стихе. 2. Цезура // Русская словесность. 1996. № 3. С. 37—42.

Морфологическое обозначающее // Семантика языковых единиц: Докл. V Междунар. конф. Т. 1. М.: МГОПУ, 1996. С. 244—247.

### 1997

*Ред.*: Русский язык: Учебник для сред. шк. 6 класс / РАН. Ин-т русского языка. М.: Реал-А, 1997. 399 с.

### 1998

Русский язык: Учеб. для сред. шк. 7 класс / РАН. Ин-т русского языка. М.: Реал-А, 1998 (разделы: Числительное. С. 5—36; Причастие. С. 79—81; 184—186).

- Динамика русского языка в XVIII—XIX—XX веках (фонетика и морфология) // Семантика языковых единиц: Докл. VI Междунар. конф. Т. 1. М.: СпортАкадемПресс, 1998. С. 28—31.
- Значение трудов Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново для становления фонологии // Язык: Изменчивость и постоянство: Сб. ст. к 70-летию Л. Л. Касаткина / Отв. ред. М. Л. Каленчук. М.: ИРЯ РАН, 1998. С. 218—224.
- Как устроен язык; Состав слова // Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. М.: Аванта+, 1998. С. 10—50; 132—135, 151, 153.
- Рассказы о русском стихе. Логаэдический стих // Русская словесность. 1998. № 4. С. 86—90.
- Трансформы и нейтрализация // Лики языка: К 45-летию науч. деятельности Е. А. Земской / Отв. ред. М. Я. Гловинская. М.: Наследие, 1998. С. 275—284.
- Ред.*: Русский язык: Учеб. для сред. шк. 7 класс / РАН. Ин-т русского языка. М.: Реал-А, 1998. 320 с.

## 1999

- Позиционная морфология русского языка. М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. 276 с.
- Русский язык: Учеб. для сред. шк. 7 класс / РАН. Ин-т русского языка. 2-е изд. М.: Реал-А, 1999 (разделы: Числительное. С. 5—36; Причастие. С. 79—81, 184—186).
- Позиционные мены значений у слов в зависимости от текста // Структура и семантика художественного текста: Докл. VII Междунар. конф. / Отв. ред. Е. А. Диброва. М.: СпортАкадемПресс, 1999. С. 296—300.
- Тишина. Снег: Стихи разных лет. М.: Carte Blanche, 1999. 128 с.
- Ред.*: Русский язык: Учебник для сред. шк. 7 класс / РАН. Ин-т русского языка. 2-е изд. М.: Реал-А, 1999. 320 с.

## 2000

- Из рассказов о русском стихе. Тактовик // Русская словесность. 2000. № 3. С. 72—76; № 4. С. 74—79.
- Московская фонологическая теория сегодня // Фортунатовский сборник: Материалы науч. конф., посвящ. 100-летию Московской лингвистической школы. 1897—1997 гг. / Под ред. Е. В. Красильниковой. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 344—348.
- Отношение частей речи к слову // Традиционное и новое в русской грамматике: Сб. ст. памяти В. А. Белошапковой / Сост. Т. В. Белошапкова, Т. В. Шмелева. М.: Индрик, 2001. С. 53—56.
- Сочетание несочетаемого // Мир Велимира Хлебникова: Ст. и исслед. 1911—1998. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 303—337.

Фонологические взгляды К. В. Горшковой // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: Сб. науч. ст. к 80-летию К. В. Горшковой / Отв. ред. М. Л. Ремнева; Сост. Е. А. Галинская, Е. В. Клобуков. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 411—415.

Ред. Русский язык: Учеб. для сред. шк. 8—9 классы / РАН. Ин-т русского языка. М.: Реал-А, 2000. 350 с.

## 2001

О позиционных чередованиях в лексике // Текст: структура и семантика. В 2 т. Т. 1. М.: СпортАкадемПресс, 2001. С. 107—111.

## 2002

Воспоминания о Р. И. Аванесове // Аванесовский сборник: К 100-летию со дня рожд. чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесова / РАН. Ин-т русского языка. М.: Наука, 2002. С. 7—13.

Русский язык: Лексика. Фонетика. Теория письма. Морфология: Учеб. пособ. для студ. и учащ. пед. учеб. заведений. 3-е изд., дораб. СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 2002. 446 с. (разделы: Фонетика. Теория письма. Морфология). [В соавт. с Р. Б. Сабатковым].

Русский язык: Синтаксис. 2-е изд., дораб. СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 2002. 268 с. (разделы: Обособленное определение. Обособленное приложение. Обособленное обстоятельство, выраженное деепричастием. Обособленное уточняющее обстоятельство. Обособление членов предложений со служебными словами (союзами и предлогами)). [В соавт. с Р. Б. Сабатковым].

## 2003

Русский язык: Учеб. для 10—11 классов нац. шк. 7-е изд. СПб.: СПб. отд-ние изд-ва «Просвещение», 2003. 432 с. (разделы: Фонетика. Орфоэпия. Словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное). [В соавт. с Р. Б. Сабатковым, Л. З. Шакировой].

## 2004

Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 1 / Под ред. Е. А. Земской, С. М. Кузьминой. М.: Языки славянской культуры, 2004. 568 с. (Классики отечественной филологии).

Воспоминания о В. Н. Сидорове // Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова / Отв. ред. С. Н. Борунова, В. А. Плотникова-Робинсон. М.: ИРЯ РАН, 2004. С. 78—88.

Позиционные чередования в лексике // Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения А. А. Реформатского / Отв. ред. В. А. Виноградов. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 448—452.

О теории русской интонации Е. А. Брызгуновой // Вопросы русского языкознания. Вып. 11. Аспекты изучения звучащей речи: Сб. науч. ст. к юбилею Елены Андреевны Брызгуновой / Отв. ред. М. Л. Ремнева. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 7—11.

### **2006**

*Сост.*: Энциклопедический словарь юного лингвиста / Отв. ред. Е. А. Земская, Л. П. Крысин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: Наука, 2006. 544 с.

## Summary

The two volumes of the “Papers in General Linguistics and the Russian Language” by M. V. Panov are a collection reflecting his manifold activity. They contain articles as well as fragments from collective monographs inspired and supervised by M. V. Panov.

Quite a few of papers published here have become a bibliographic rarity, as for instance, a theoretical prospect of the collective monograph “The Russian Language and the Soviet Society”, which contains profound novel ideas and 550 copies of which were published in Alma-Ata in 1962.

M. V. Panov worked in various branches of general linguistics. Having begun with phonetics and phonology, he later switched to orthography and punctuation, and then got interested in word-formation, morphology, syntax, stylistics of everyday speech and the language of literature, as well as the history of linguistics. The titles of sections in the collection reflect the scholarly interests of M. V. Panov, but the distribution of his papers among these sections is rather arbitrary. Thus, his paper “About Parts of Speech in the Russian Language” got into the part “General Theoretical Problems” (vol. 1), whereas the paper “About a Grammatical Form” got into the section “Morphology and Word-Formation”, though both papers are concerned with the theory of grammar.

All works of M. V. Panov are of a theoretical nature, though at the same time he was very much interested in the language facts, sometimes unique, the analysis of which helped him come to the conclusions relevant for the language theory.

In his work, M. V. Panov made extensive use of various methods of linguistic analysis, such as experimenting with language, compiling questionnaires and tests of different kinds, and creating speech portrayals of people. He charged numerous colleagues and students with his creative energy.

These two volumes of M. V. Panov’s works will enable the readers to get familiar with his ideas and to apply them in Russian linguistics and beyond.





# Contents

## VOLUME 1

About Mikhail Viktorovich Panov (E. A. Zemskaya, S. M. Kuz'mina).....	8
---	---

### General Theoretical Problems

About Paradigmatics and Syntagmatics.....	17
Positional Relationships in Stylistics .....	30
Text-Dependent Positional Word Meaning Shifts .....	36
Transforms and Neutralization .....	41
A Word as a Language Unit.....	51
About the Standard Language.....	88
Pronunciation Styles (with Respect to General Problems of Stylistics) .....	103
On Analytical Adjectives.....	137
Parts of Speech in the Russian Language .....	151
The Russian Language.....	165

### Phonetics. Phonology. Sociophonetics. Orthoepy

Modern Standard Russian Phonetics .....	255
On a Text for a Phonetic Transcript.....	288
On the Delimitative Signals in Language .....	297
Two Types of Phonetic Systems.....	320
On Sound Perception .....	330
How the Pronunciation Questionnaire Has Been Compiled .....	338
How the Phonetic Questionnaire Has Been Encoded .....	346
The Behavior of the Final Combination of Two Resonants .....	359
Vowel Syntagmatics in Dialects with Dissimilative Jakanje.....	362
Some Grammatical Factors of Modern Russian Phonetic System Development .....	371
A Variant of Russian Phonetic System Development .....	384
The Meaning of Segmental and Suprasegmental Units .....	393
The Relevance of a Morphological Criterion for Phonology .....	401
Phonetic 'F-Phantoms' .....	406
Russian Syllabification .....	413
The Structure of Post-Tonic Word Part .....	425

Moscow School Phonological Theory Today .....	434
On the Causes of Phonological Shifts .....	439
Russian Vowels Through the Sieve of Spanish Phonetics .....	455
The Balance of Inner and Outer Factors of Language Development .....	458
Russian Orthoepy .....	467
The Influence of Grammatical Analogy on Modern Standard Russian Pronunciation Norms .....	479

### Orthography

On a Cultural-Historical Approach to Orthography .....	513
About the Improvement of Russian Orthography .....	522
Solid and Separate Variants of Spelling .....	538
Hyphenated Spelling .....	554
The Spelling of Verbal Inflectional Endings .....	559

## VOLUME 2

Individuality .....	9
---------------------	---

### IV. Theoretical problems

Language antinomies as inner stimuli of language development .....	17
Some general tendencies in 20-th century Standard Russian development .....	23
The development of the Russian language in the Soviet society (a preliminary approach) .....	43
Some observations concerning the style of modern press .....	63
From the draft of the collective monograph “The Russian language and the Soviet society” .....	85
Word formation .....	85
Inflection .....	122
Syntax .....	144
Phonetics .....	158
Writing (graphics and orthography) .....	171
Stylistics .....	176

### V. Morphology and word formation

Fragments from the monograph “The Russian language and the Soviet society Modern Russian word formation” .....	197
Abbreviation .....	197
The Degrees of Word Divisibility into Morphemes .....	203
Morphological Word Divisibility .....	207
Degrees of Word Separability .....	218

The Translations of L. Carroll's Ballad "Jabberwocky" .....	223
On the Morphemic Overlap .....	233
The Predictability of an Allomorph .....	242
Positional Interchanges in Phonology and Morphology .....	250
'Implicit' Grammatical Meanings.....	260
Semantics of Verbal Aspect.....	265
The Study of Russian Word Formation .....	269
The Relationship Between the Parts of Speech and a Word.....	282
Modern Standard Russian Grammar Problems.....	286

### VI. Russian language teaching

Linguistics and Russian Language Teaching Methods.....	305
To Make More Complicated to Simplify.....	322
Two Kinds of Analysis? The Study of Word Structure at School .....	329
A Way to Find Same-Root Words .....	337
The Study of Russian Cases in a School for Non-Native Speakers of Russian.....	342
The Numeral in the New Textbook .....	359
The Typology of Lexical Mistakes Caused by the Interaction of Language Systems.....	373

### VII. Poetics

Rhythm and Meter in Russian Poetry .....	387
Rhythm and Meter in Russian Poetry. Word Layer.....	423
Stories about Russian Versification. Taktovik.....	446
Stories about Russian Versification. Phyrrique .....	464
Stories about Russian Versification. Caesura .....	472
Logaoedic Verse .....	485
The Combination of the Incompatible .....	496
Daniil Kharms.....	525
Scenic Speech and Theatrical Systems .....	551
Phonetics of Poetry .....	567

### VIII. The history of Russian linguistics

About the "Russian Grammar" by A. A. Barsov .....	587
The Teaching of the "History of Russian Linguistics" .....	601
Moscow Linguistic School: 100 Years .....	615
From the History of the Study of Russian Phonetics .....	647
From the History of Russian Linguistics of the 20-ies — 40-ies. N. F. Jakovlev (1893—1974).....	707
F. D. Ashnin, V. M. Alpatov. <i>Delo slavistov. 30-e gody</i> ( <i>The Slavists' Case. The 30-ies</i> ). M.: Nasledie, 1994. 286 p. (a review).....	715

The Relevance of D. N. Ushakov's and N. N. Durnovo's Works for Phonology Emergence.....	724
The Explanatory Dictionary of the Russian Language ed. by D. N. Ushakov.....	730
D. N. Ushakov. Life and Creative Work .....	742
Recollections of Aleksej Mikhailovich Sukhotin .....	776
Aleksandr Aleksandrovich Reformatskij .....	789
R. I. Avanesov as a Phonologist .....	802
K. V. Gorshkova's Phonological Views .....	813
About E. A. Bryzgunova's Russian Intonation Theory .....	818
Index of works by Panov .....	823
Summary .....	835
Contents .....	836

**Михаил Викторович Панов**  
ТРУДЫ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ  
И РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
*Том 2*

Издатель А. Кошелев

Оформление переплета О. Максимовой  
Оригинал-макет подготовлен В. Гусевым  
Корректор М. Григорян

Художник-консультант Л. Панфилова

Подписано в печать 27.03.2007. Формат 70x100<sup>1/16</sup>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная.  
Усл. печ. л. 68,37. Тираж 800. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».  
ЛР № 02745 от 04.10.2000.  
Phone: **207-86-93** E-mail: **Lrc@comtv.ru**  
Site: **<http://www.lrc-press.ru>**

\*

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**  
**Тел./факс: (095) 247-17-57, тел.: 246-05-48, e-mail: [gnoxis@pochta.ru](mailto:gnoxis@pochta.ru)**  
**Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**  
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1  
(Метро «Парк Культуры»)

Foreign customers may order this publication  
by E-mail: [koshelev.ad@mtu-net.ru](mailto:koshelev.ad@mtu-net.ru)